ДЖОН

ФАУЛЗ

Дневники
1949—1965

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

История жизненного и творческого пути Джона Фаулза, рассказанная им самим.

Странствия по Европе и страстная, трудная любовь к замужней женщине…

Ранние стихи, пьесы и рассказы…

Возвращение в Англию — и начало становления Фаулза как писателя…

Вот лишь немногое, о чем повествует первый том «Дневников» Джона Фаулза, книги, которую по достоинству оценили и самые авторитетные критики, и читатели.

- Джон Фаулз
  - Введение
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Часть третья
  - Часть четвертая
  - Часть пятая
  - Часть шестая
  - Часть седьмая
  - Часть восьмая
  - Часть девятая
  - Часть десятая
  - Фотографии
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16

- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60

- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104

- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148

- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192

- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236

- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280

- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324

- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368

- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412

- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456

- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500

- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544

- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588

- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632

- ○ 633
- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676

- ○ 677
- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720

- ○ 721
- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764

- ○ 765
- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808

- ○ 809
- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852

- ○ 853
- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858

Джон Фаулз
Дневники 1949-1965

Введение

Дневники, составившие этот том, Джон Фаулз начал вести достаточно внезапно — на последнем курсе Оксфордского университета. Джон и прежде вел дневники, однако счел, что те не заслуживают внимания и обнаруживают лишь его полную незрелость. «Какое огромное расстояние отделяет меня от 1946 года! — пишет он по поводу одного из старых дневников. — Записи столь незрелые и наивные, что это пугает меня». Собственные комментарии приводят его в изумление: он «объясняется невразумительно, словно манекен». Джон задавал себе вопрос: сможет ли «когда-нибудь преодолеть прошлое?» В записях выпускника Оксфорда, сделанных всего три года спустя, мы еще не видим по-настоящему зрелую личность, однако там зафиксирован момент, когда Джон впервые задумался о своем месте в жизни. Тогда же в нем созрело твердое желание стать писателем. Теперь это его главная цель.

Вышеозначенные причины помогают понять, почему первый том публикуемых дневников начинается именно с этих записей, но, чтобы должным образом их оценить, следует заглянуть в то прошлое, которое, по мнению писателя, нужно было преодолеть.

Джон Роберт Фаулз родился 31 марта 1926 года в маленьком городке Ли-он-Си (графство Эссекс), расположенном примерно в тридцати пяти милях от Лондона. Его отец, Роберт, по словам Джона, принадлежал к «поколению, чью жизнь раз и навсегда определила война 1914–1918 годов». Роберт учился на юриста, но гибель брата под Ипром, а потом и отца, у которого была новая семья от второго брака, заставила его принять на себя ответственность за судьбу семейства и встать во главе семейного бизнеса — табачной фирмы. Ежедневно он ездил из пригорода в Лондон и, отягощенный множеством обязательств, «старался не оскорбить нравы обоих миров, в которых существовал, — предместья и делового Лондона».

В дневнике Джон использует характерный символ — личинку майской мухи, которая из любого доступного материала строит себе надежное укрытие. В Бедфорде таким укрытием для Джона стали спортивные достижения, академические успехи и уважительное отношение к школьной системе. Он завоевал право изучать в Оксфорде современные языки. Стал капитаном сборной по крикету и главой школьного комитета — на него возложили ответственность за дисциплину пятисот мальчишек. И хотя со своими обязанностями он справлялся хорошо, однако в глубине души испытывал сомнения по поводу выставляемой напоказ

правильности, какой требовала его роль пособника дирекции. Ему приходили на ум бомбардировщики, совершавшие налеты на бедфордский вокзал. «Я все чаще сравнивал то, что творят наци, с тем, что приходилось делать мне с оравой младших учащихся школы».

Этот глава школьного комитета с нечистой совестью (в глазах учеников — представитель власти, в душе же диссидент) видел во внешних атрибутах своей должности своеобразную маску. Балансирование между ценностями среднего класса, в уважении к которым его воспитали, и внутренним чувством справедливости стало катализатором, сделавшим Джона именно таким писателем, каким он стал.

После окончания Бедфорд-скул Джон поступает в училище, готовящее офицеров для английского военно-морского флота. После прохождения основной подготовки в военном лагере его срочно направляют в Плимут, а затем в Оксхэмптонский лагерь в Дартмуре инструктором по подготовке десантно-диверсионных отрядов. Это назначение не вызвало у него никаких негативных эмоций: ведь оно возвращало его в любимый край, и, обучая будущих диверсантов, как выжить в экстремальных условиях, он рассказывал о том, что особенно любил. Под конец отбывания воинской повинности Джон настолько сжился с военной службой, что стал задумываться, не связать ли ему жизнь с военно-морскими войсками, отказавшись от Оксфорда. Знакомство с сэром Айзеком Футом, мэром Плимута и социалистом, помогло ему разрешить эту дилемму. Только дурак на его месте выбрал бы военную карьеру, сказал мэр, когда Джон поделился с ним своими сомнениями.

В 1947 году Джон поступил в Нью-Колледж Оксфордского университета, чтобы изучать там французский и немецкий языки, но вскоре отказался от немецкого, решив сосредоточиться на французском языке и литературе. Сейчас он жалеет, что не читает па немецком; по его словам, основной причиной отказа было отвращение к вечерам Lieder[1] на немецком отделении.

Дисциплина и порядок военной жизни резко отличались от пьянящей свободы Оксфорда, где, если не считать еженедельных встреч с научным руководителем, можно было заниматься тем, что тебе по душе. В этом месте, свободный от ответственности, ты мог отправиться на поиски себя, поиски, которые поколению, знавшему не понаслышке, что такое военная служба, не хотелось затягивать.

Растущее самосознание Джона привело к бунту не только против устоев, которые он прежде защищал, но и против родных. Рождение сестры Хейзел, намного младше его, привело к

непониманию между ним и родителями: имея на руках крошечную дочь, те не могли оказывать существенную помощь почти взрослому сыну. Решение отца в конце войны уехать из Девоншира и снова поселиться в Ли-он-Си еще больше убедило Джона, что родители не принимают во внимание его желания. Обретенный в Оксфорде опыт превратил их раз и навсегда в символ всего того, что мешало ему, тянуло назад.

От бывшего ученика и морского офицера вскоре не осталось и следа. Теперь будущее для него виделось в новых друзьях, новых идеях и новых местах. В апреле 1948 года он впервые посетил юг Франции в составе студенческой группы из Оксфорда, приглашенной туда на месяц — в рамках культурного обмена — городскими властями города Экс-ан-Прованс и университетом Экс-Марсель. В составе группы был и его школьный друг Ронни Пейн. Вскоре после войны, когда мало кто ездил за границу, первое беззаботное путешествие на юг было чем-то вроде сказки. «Нам приходилось изредка посещать лекции, — вспоминал Пейн, — но в основном поездка была сплошным праздником. Vins'd honner[2] не прекращались, город кишел хорошенькими девушками, впервые оказавшимися в университете».

Однажды вечером, когда приятели сидели в кафе «Два холостяка» на Кур-Мирабо, к ним подошел студент из их группы в поношенных армейских брюках и спросил, не хотят ли они присоединиться к нему и выпить по аперитиву. Фред Портер по прозвищу Подж[3] служил с начала войны в армии, в дальневосточных войсках. Сейчас он изучал французский в колледже Св. Екатерины. Он был старше их на десять лет, женат и имел маленькую дочь. На приятелей произвела большое впечатление его иронично-язвительная манера держаться. Это был «прирожденный смутьян, — вспоминал Пейн. — Однако нас привлекал его цинизм, высмеивание всех и вся». Убежденный марксист, он с годами стал близким другом Джона и вместе с женой Эйлин способствовал формированию его радикальных взглядов; этот новый тип семьи в Оксфорде не имел ничего общего с идеологически равнодушным семейным союзом в Ли-он-Си.

Лето 1948 года было похоже на сказку. После того как группа студентов из Экс-Марселя нанесла в июле ответный визит в Оксфорд, Джон и Ронни Пейн вновь отправились на юг Франции. Остановившись в средиземноморском портовом городе Коллиур, неподалеку от испанской границы, они некоторое время работали на уборке винограда. Джон остался там и после того, как Пейн в конце августа вернулся в Англию.

Спустя несколько дней после отъезда друга, когда Джон

голосовал на дороге неподалеку от Банюлс-сюр-Мер — к югу от Коллиура, его подвез пожилой миллионер из Лиона, М. Жули, ехавший в сопровождении молодой подруги Мишлин Жильбер. М. Жули предложил молодому человеку поработать на его яхте «Синдбад», стоявшей на якоре в Коллиуре.

Мишлин во время войны участвовала в Сопротивлении, в Париже у нее был муж, она придерживалась левых взглядов, исповедуя их яростно и открыто; в течение последующих недель она просветила молодого оксфордца относительно истинного положения вещей в мире и подсказала, как лучше всего с этим уживаться. Джон в нее по уши влюбился, но, как он впоследствии вспоминал: «Я удостоился только единственной награды — стал ее доверенным другом и мишенью для насмешек: она рассказала, что на самом деле представляло Сопротивление, как ей удается одновременно любить парижского мужа и великодушного миллионера (но не меня — мое очевидное щенячье чувство к ней было таким смешным и сентиментальным), делилась своими взглядами на жизнь, удивлялась поразительной наивности англичан и говорила о чудовищном эгоизме обуржуазившихся соотечественников».

Потом яхту отвели на место ее зимнего пребывания — в Ле-Гро-дю-Руа в Камари — и лето закончилось. Молодая датчанка по имена Кайя Юл, служившая на яхте кухаркой, с радостью стала любовницей Джона и оставалась ею на протяжении всего путешествия, познакомив его еще с одной гранью человеческого существования.

Так закончилось это удивительное, полное открытий лето. Долгие каникулы на следующий год не уступали предыдущим. Вместе с Гаем Харди, другом по армии и Оксфорду, Джон отправился в орнитологическую экспедицию в фюльке Финнмарк (область Норвегии). Организатор экспедиции, Севернский фонд по изучению диких птиц, поставил перед ее участниками следующие задачи: отловить и доставить в заповедник фонда в Слимбридже несколько экземпляров малых белогрудых уток и выяснить, встречается ли там редкий вид гаги Стеллера. Ни одна из этих задач выполнена не была, однако недели, проведенные в арктической тундре и еловых лесах, дали будущему писателю не меньше материала, чем приключения прошлого лета на Средиземноморском побережье.

Одиноко стоящая ферма на севере фюльке Финнмарк произвела на него неизгладимое впечатление. «Ноатун» располагалась у реки Пасвик, вблизи границы с Россией, хозяйство на ней вел некий Шаанинг — он жил здесь постоянно, с женой, племянником и племянницей, на расстоянии нескольких

десятков миль от другого человеческого жилья. «Великолепное место для подлинной трагедии, — записал тогда в дневнике Джон, — здесь есть нечто вечное и роковое, как у древних греков». Много лет спустя он обратился к этому своему опыту и создал образ Густава Ню-гора в «Волхве», образованного фермера, опекающего слепого и безумного брата-отшельника Хенрика, ждущего в дебрях леса встречи с Богом.

Эти следующие одно за другим два студенческих лета подарили Джону два прямо противоположных опыта: теплоту, культуру и цивилизацию Юга и ледяное безлюдье Крайнего Севера. Оба оставили след в характере Джона, ценившего как славные гуманистические достижения одного, так и целомудренную уединенность другого. «Ноатун» обладала для него опасной и неотразимой притягательностью острова Цирцеи. «Покой, покой и тишина, — писал он об этом месте. — Такой покой был, когда человек еще не существовал, никто не был здесь со дня сотворения мира. Это мир без человека. Иногда тишина здесь пугает — так было однажды, когда я возвращался в сумерках с рыбной ловли и вдруг почувствовал всю жуть этой тишины, олицетворявшей пустоту и бесчеловечность». Эти слова, написанные всего за несколько недель до начала ведения публикуемого здесь дневника, говорят о высокой чувствительности Джона; способный оценить крайности человеческого существования, он, однако, неоднократно делал попытки приспособиться к уютному «срединному» положению между ними. Ли-он-Си, где вырос Джон, на самом деле был очаровательным местечком неподалеку от Лондона, но чем больше молодой человек узнавал внешний мир, тем более удушающей казалась ему заурядная атмосфера этого городка.

Эти два лета помогли Джону открыть свое призвание. Главная тема первого тома дневников — его стремление стать писателем; не просто публикуемым писателем и даже не писателем, чьи книги становятся бестселлерами, не высоко чтимым критиками автором, а писателем, достигшим высшей планки по установленным им самим правилам. Дневники дают возможность проникнуть в глубину эмоциональных затрат, неизбежных при такой цели, да и вообще сопутствующих периоду ученичества.

Литературный успех пришел к нему не скоро, но огромная решимость и уверенность в своих силах дали Джону возможность благополучно миновать все сомнения, разочарования и трудности, неминуемые при такой задаче. В этой всепоглощающей страсти и напряжении, с каким он делал свою работу, было нечто героическое. В то время как другие писатели

удовлетворялись тем, что взбирались на Парнас только в своем воображении, для Джона не было ничего необычного в том, чтобы преодолеть Аргивскую равнину и совершить восхождение на настоящие горы.

Дневники также показывают тесную связь между литературным вдохновением и событиями личной жизни. Ален-Фурнье, автор «Большого Мольна», одного из любимых романов Джона, однажды заметил, что как писатель он годится только на то, чтобы сочинять истории, которые впоследствии случаются с ним самим. Из дневников Джона видно, что он часто думал точно так же. В них описывается жизнь, которая проходит не в замке из слоновой кости, — драматических коллизий в ней более чем достаточно.

Решив не лукавить с собой, Джон вкладывает сердце во все, что его занимает: литературный труд, путешествие по незнакомой стране, любовное приключение. Одна из наиболее привлекательных сторон дневника, иногда сглаженная иронией и ощущением абсурдности происходящего, — полное, без всяких ограничений, погружение в жизнь. Писатель ни над чем не опускает завесу молчания, избегает всяческих компромиссов, — напротив, он вглядывается в жизнь острым, проницательным взглядом — безжалостно откровенный, когда дело касается своих или чужих промахов.

Это не означает, что он не подвержен заблуждениям. На самом деле его склонность к самообману и эмоциональная уязвимость добавляют горький привкус в процесс самоопределения, о чем и говорит дневник. Несмотря на многократно расширившееся за время пребывания в Оксфорде представление о жизни, автор дневника, пустившийся в плавание по времени, выглядит робким и застенчивым человеком, одиночество заставляет его остро переживать как презрение, так и любовь. Поразительна его чуткость к окружению. Молодой человек, год после Оксфорда преподававший во французском университете города Пуатье, все еще остается нерешительным и одиноким и, оказавшись на прекрасном греческом острове Спеце, переживает духовное возрождение, чем-то похожее на ту радость, что испытал будучи школьником, когда ему открылась красота Девоншира.

Этот покрытый пихтовыми лесами остров с его отмелями и видом на далекие Пелопоннесские горы стал для молодого человека еще одним обожаемым местом. Когда много лет спустя Джон впервые прочел «Большого Мольна», он, должно быть, испытал удивительное чувство сопричастности прочитанному: ведь история мальчика, который находит, а потом теряет

волшебный мир, не раз была и его историей.

В дневнике Джон пишет о нескольких таких местах. На остров Спеце он прибывает, чтобы преподавать в престижной школе Анаргироса и Коргиаленеоса, однако больше всего ему нравится бродить, подобно Робинзону, по острову и радоваться, что он обрел «такую драгоценность, Остров сокровищ, истинный рай».

Завершив учебный год, Джон отправляется в путешествие по Испании в компании французских студентов, знакомых ему еще по Пуатье, и страстно влюбляется в Моник, девушку из их группы. Он считал, что в ней «есть все, чтобы стать совершенной женщиной», — пусть она и слишком идеальная, чтобы преуспеть в жизни. В девушке Джон видел «отблеск иного мира» и так и не открыл ей своих чувств. В то время как автобус вез их по выжженным солнцем равнинам, переваливал через высокие горы, Джон страдал, сознавая, насколько недостижима его мечта; околдованный этой princesse lointaine[4], он не мог по достоинству оценить величественные соборы и мавританские дворцы Испании.

Из поездки он вернулся, чувствуя себя «еще более одиноким, чем когда-либо». Однако на втором году преподавательской деятельности его начинает неудержимо тянуть к Элизабет, жене нового учителя английского языка. Он внушает себе, что ему нельзя к ней привязываться: «Остров — наихудшее место для возникновения любовного треугольника». Но от судьбы не уйдешь.

Уже в Англии, после многих треволнений, треугольник наконец перестает существовать, но до конца дневника остается ощущение, что Джон продолжает скитаться, в его жизни возникают новые дорогие места; и только будучи уже известным писателем, он поселяется в Лайм-Риджисе, городке на южном побережье, где живет вот уже сорок лет.

Учитывая прямой и бесхитростный характер этого дневника, важно подчеркнуть, что между оценкой Джоном ситуации или человека и объективной реальностью часто зияет пропасть. В дневник заносишь вещи, которые не осмеливаешься произнести вслух, где позволяешь излиться своему гневу, чувству неудовлетворенности и предубеждениям, какими бы неразумными они ни были.

При редактуре дневника самым главным для меня было сохранить уважение к этой свободе мысли. Я сознательно не подвергал записи никакой цензуре, однако не мог не испытывать сомнений по поводу многих мест, которые могли огорошить людей, и подумал, что надо предоставить право самому Джону решать, не стоит ли снять некоторые его комментарии.

В результате наших бесед стало ясно, что он сожалеет о многих своих суждениях, однако считает, что раз уж он их высказал, то какими бы глупыми, неправильными и обидными они сейчас ни казались, если их выбросить, дневник утратит живое начало: ведь он отражает его прошлые чувства.

Решение оставить все как есть, несмотря на то что некоторые записи могли больно ранить его ближайших друзей — ведь именно они были самой удобной и доступной мишенью, — проистекает из его топкого писательского чутья. Стоит процитировать кое-что из самого дневника, чтобы показать, как важен для Джона принцип полного соблюдения правды. Влюбившись в свою первую жену, Элизабет, он вскоре делает следующую запись: «Она попросила ничего не писать о ней в дневнике. Но я люблю ее так сильно, что не могу не писать». И делает такой вывод: «Если я что-то и предавал, то этот дневник — никогда». Так же он думает и по прошествии пятидесяти лет.

В одной из недавних статей писатель Уильям Бойд высказался так: «Ни один правдивый дневник, заслуживающий, чтобы его так называли, не может быть напечатан при жизни автора. Только после его смерти дневник воспринимается как достоверный документ». Мне кажется, случай Джона опровергает это высказывание. Непоколебимое решение сохранять верность всему написанному — лучшая гарантия его правдивости.

Гораздо более серьезная угроза для цельности дневника исходила из необходимости ужать его в целях публикации (изначальный объем — два миллиона слов — равнозначен двадцати крупным романам). Доводя его до нужного объема, я не ставил перед собой цель собрать воедино «лучшие отрывки», мне хотелось доискаться до сути характера Джона, его интересов, стремлений на протяжении этих лет. Было очень трудно отдать должное исключительно широкому кругу его интересов, к большинству из которых он относится так же серьезно и страстно, как и к сочинительству. Джон однажды назвал эти столь разные свои ипостаси «клубом Джона Фаулза». Среди его членов (назовем далеко не всех) — поэт, орнитолог, натуралист, путешественник, великолепный садовник, неутомимый краевед, музыкант, киноман, книжник, собирающий раритеты, и критик, обстоятельно и проницательно анализирующий почти все, что читает или видит. Если эти персонажи появляются на страницах дневника чаще, чем мне бы того хотелось, то надо помнить, что все они и по сей день остаются почтенными членами клуба, хотя центральное положение в нем все же занимает писатель Джон Фаулз.

Этот дневник — своего рода барометр, показывающий, как

меняется и взрослеет личность (иногда идет откат назад) под влиянием жизненного опыта. Каждый, кто читает дневник, сразу же отмечает яркость и мощь повествования. Чтобы сохранить эти качества, приходилось идти на сокращения. Те места, где Джон выступает только как наблюдатель, изучающий людей и окружение, сокращались, чтобы ярче проступала его собственная жизнь. При отборе учитывалось, насколько та или иная личность, эпизод или вещь помогает лучшему пониманию его характера, способствует движению действия вперед.

Этот процесс дистилляции упорядочивает и придает направление свободно написанному дневнику, который сам Джон назвал «бессвязностями». Редактор, которому доступен ретроспективный взгляд, может систематизировать материал, то есть сделать то, что было невозможно для писателя, заносившего в дневник события текущей жизни. Однако такая логическая последовательность, при всей ее внешней привлекательности, все же является упрощением.

Сжатый вариант дневника, где особый акцент делается на значительных событиях и достижениях в жизни Джона, таит в себе опасность представить писателя человеком, целиком поглощенным собой, живущим чрезвычайно напряженной жизнью, что не совсем так. Создается впечатление, что в его жизни одна драма следует за другой, хотя читатель дневников, не подвергшихся редактуре, увидел бы, что у Джона много времени уходило на то, чтобы просто «предаваться созерцанию». Например, сюда не вошли интереснейшие рассказы о его многочисленных путешествиях, потому что они были скорее отступлением от главного повествования, чем его продолжением, а ведь сами по себе они принадлежат к наиболее счастливым и дорогим воспоминаниям писателя. Поэтому надо помнить, что хотя мы, подготавливая дневник к печати, старались сделать его представительным, однако никогда не претендовали на полноту материала. Только изначальная версия может считаться исчерпывающей.

В небольшом произведении «Дерево» Джон сравнивает работу над романом с путешествием по незнакомому лесу. Он считает, что «леса, большие и не очень, на самом деле изощреннее любого художественного произведения — ведь в нем, в отличие от леса, всего один путь». Эта мысль показалась мне удачной аналогией: ведь и я, как редактор, выбираю один путь в лесу со многими тропами. Те же, кто захочет увидеть весь лес, могут прочитать полный текст дневников, которые хранятся в Гуманитарном центре Гарри Рэнсома в Остине (штат Техас)[5]. Как говорил сам Джон: «Именно там будет находиться мое эго, моя личность, чего

бы она ни стоила».

Дневники, из которых собран первый том, почти целиком написаны от руки мелким, подчас неразборчивым почерком, но мы не делали проблемы из трудности их прочтения и наших сомнений. Пойди мы по этому пути, дневники — увлекательнейшее чтение — могли бы кое-что утратить. Я просто опускал недоступные прочтению места или сам подбирал слова, подходящие по смыслу. Я избрал этот скорее практический, чем академический подход, потому что понимал: серьезные ученые, задайся они целью полностью расшифровать текст, смогут этого добиться, имея в своем распоряжении оригинал.

По этой же причине я старался делать как можно меньше сносок. Голос Джона такой уникальный, что любое постороннее вмешательство только раздражает. Я прибегал к ним лишь в том случае, когда их отсутствие вызвало бы еще большее раздражение. И все же некоторые вопросы, которые читатель может счесть важными, остаются без ответа. Чаще всего они относятся к многочисленным рассказам, пьесам и стихам, написанным Джоном задолго до того, как его стали печатать. Большая часть этих ранних произведений уничтожена, и, хотя их названия сохранились в дневнике, теперь, по прошествии многих лет, Джон не может вспомнить, о чем они. Это досадные упущения, но нас должна утешать мысль, что личный дневник — не каталог, от него глупо требовать педантичной основательности.

Последний роман, «Червь», Джон Фаулз опубликовал в 1985 году, почти двадцать лет назад. Такой затянувшийся перерыв в работе может навести на мысль о конце литературной деятельности, если не вспомнить, что «Волхва» он писал пятнадцать лет. Джон не торопит себя, не подгоняет под график, роман у него вырастает из сложнейшей мыслительной работы, которая движется в удобном для нее, непредсказуемом темпе. За последние два десятилетия в жизни Джона произошло много событий, которые могли бы подавить творческий импульс, — это и потери близких, и собственная болезнь, однако ощущение себя писателем в нем сильно, как всегда.

В какой-то степени дневник вытеснил очередной роман, став главным делом писателя после смерти его первой жены, Элизабет, в 1990 году. В этот переломный момент дневник дал возможность Джону оглянуться назад, окинуть взглядом жизнь, попытаться понять себя — то, к чему он стремился во всех своих романах.

Когда работа над первым томом близилась к концу, я спросил Джона, чего он ждет от издания своих дневников. Мы сидели в

его кабинете, края письменного стола почернели от следов множества искуренных сигарет, и я подумал, что первые из них относятся еще ко времени написания «Коллекционера».

— Дневник может показать людям, кто ты и кем был на самом деле, — ответил он. — Альтернатива этому — не писать совсем или создавать что-то наподобие безжизненного, то есть лишенного листьев, сада.

Эти слова показывают, какая сокровенная связь существует между Фаулзом-романистом и Фаулзом — автором дневников.

Много лет назад Джон говорил, что роман не передает никаких философских утверждений или научных истин, вместо этого он «дает ощущение жизненной правды». Его дневник обладает тем же свойством, ему присущ обычный парадокс художественной литературы: воздавая должное одной стороне действительности, одной правде, писатель часто наносит вред другой.

В действительности связь между творчеством Джона и его жизнью очень тесная, и сам он считает, что к его дневнику правильнее было бы относиться как к еще одному роману. Если допустить, что в процессе написания художественного произведения создается серия масок, за которыми таится автор, то два тома дневников предлагают еще одну маску, порожденную не каким-то одним событием или определенным отрезком времени, а всей жизнью — от юности до старости. «Вот почему я думаю, что мои дневники, или «разрозненные записи», как я их называю, — действительно последний роман, который я должен написать».

Этот том — первая часть романа. В его конце молодой писатель добивается огромного успеха, но решает жить вдали от литературного мира. Во втором томе мы узнаем, как он использовал эту добровольную ссылку.

Чарлз Дрэйзин Июль 2003 г.

Часть первая
ОКСФОРД

63, Филбрук-авеню, Ли-он-Си, 11 сентября 1949

Какое скучное существование, в него вплетены также ненависть, раздражение и печаль. Никаких попыток изменить жизнь или ускорить ее темп. Хозяйственные заботы занимают целый день — уборка, выбивание пыли, работа с пылесосом, перестилание постелей, шитье, мытье посуды и тому подобное. До ужина никто даже не присядет. Это плохо, но теперь видно, как малы комнаты и сам дом. Детская забита вещами, в ней всегда беспорядок; в столовой темно и мрачно, — только гостиная поприличнее, но там никто не живет. Изолированность существования — не с кем поговорить, не с кем посмеяться. Здесь я чувствую себя отшельником — противоестественное ощущение. Непреодолимое желание увидеть новые лица, новые места, завести новые знакомства. Как много мог бы я им рассказать, но мешает непонятное сопротивление! Эта вечная атмосфера упрямой враждебности.

24 сентября

Два прекрасных явления. Огромное, бескрайнее, залитое закатом небо — изысканное, без чванливости, но вся красота, как ни странно, сосредоточена на востоке, на западе же — низкие, темные облака. Часть торичника под микроскопом — как маленький зеленый сатурн[6]. Крошечный сверкающий шарик окружен прозрачным кольцом. И еще затянутые туманом паруса барж на Темзе. Забавная вещь. Перед тем, как бросить скомканную бумажку в желтый кувшин, заменяющий мне корзину для бумаг, я сказал себе: «Шансов попасть туда — столько же, сколько у меня быть гением». Комок скользнул в кувшин бесшумно, хотя шансы были по крайней мере двадцать к одному.

Еще один день, полный молчания; слушаю банальности, произносимые другими. Ужасный час, когда вечером повторяют и обсуждают пустейшую информацию, полученную от пришедших в гости родственников. Хотелось бы знать невозможную вещь — два математических подсчета. Первый — график количества слов, произносимых мною в течение года изо дня в день, с момента, как я открываю глаза, и до того, когда смыкаю. В этом доме он опускается почти до нуля, в других местах будет в норме. И второй — количество слов, произносимых мною и матерью: Давид и Голиаф!

Визит незнакомых родственников пугающе воздействует на

самую глубину моего существа. Я чувствую себя неловко не из-за сознания моего превосходства, а потому что понимаю: они считают именно так. Возможно, виной сверхчувствительность, но им действительно не по себе в моем обществе.

Попытка найти себя — постоянная смена кожи, причем новая всегда уступает предыдущей в красоте и ценности. Но под каждым новым слоем — семя истины, все большее приближение к себе. Такому саморазоблачению нет конца, но восприятие притупляется.

Быть поэтом, постигать красоту — то же, что и постигать природу, — дар. Не важно, являешься ли ты сам творцом. Достаточно обладать поэтическим видением. Зреть сокрытую красоту. Подобное было со мной сегодня вечером, когда, стоя у открытого окна, я услышал, как кто-то вдалеке посвистывает. Я проникся разными состояниями вечерних улиц, среди которых были прогулки с любимыми женщинами, переливы темно-синего и белого, непривычная ночная пустота. Все это я ощутил *мгновенно*, обвал впечатлений, их невозможно удержать. Алжернон Блэквуд: «Чувствовать, как поэт, не значит быть поэтом»[7]. Это правда, но поэзия не сводится только к напечатанным словам. Главное — философский взгляд на вещи, эпикуреизм, гедонизм.

25 сентября

Три часа ночи. Звучит потрясающий нью-орлеанский джаз — кларнет в нижнем регистре, очень живые туба и корнет. Поет Бесси Смит. Тут есть настоящая музыка, которая будет продолжать жить.

Опус 55. Необыкновенная мощь, присутствует таинственная лиричность поздних квартетов[8].

Лихорадочно тянет писать. Университетские задания побоку. Множество идей для «Коньяка» и уныние из-за отсутствия времени для их воплощения. «Коньяк» должен быть понятным и доступным — искусство отдыхает. Идея сформировалась за два предрассветных часа.

30 сентября

Опять полчаса жутких разговоров. Я еле удержался от смеха. Предметы беседы самые банальные — цены на матрасы, замужество дочери миссис Рэмсей, связавшей судьбу с врачом из Монреаля. Коснулись и поэзии. Невозможно пытаться им что-то объяснить — это выше их разумения. Об искусстве нельзя заговорить, чтобы тебя тут же не причислили к «высоколобым». Господи, как я ненавижу это слово! Стоит заговорить о философии, как тут же всплывают имена Томаса Харди и Дарвина. Исходит это от la mure[9]. Она всегда начеку. От меня

требуют, чтобы я говорил и высказывал свое мнение, но стоит мне это сделать, как она тут же вмешивается и твердит свое — не важно, разбирается ли она в предмете, имеет свою точку зрения или нет. Мне с большим трудом удается не вылезать из своей раковины и хранить молчание. Нельзя никого обижать. От le pure[10] я, можно сказать, защищаюсь — все современное игнорируется, старость подозрительно относится ко всему новому.

К этому проклятому городу я чувствую пылкую ненависть. Не столько из-за его географического положения (когда-то я очень любил Девоншир), сколько из-за сложившегося в нем стиля жизни и людей, позволивших лишить себя красоты бытия. Мои симпатии на стороне юноши, сбежавшего отсюда, чтобы стать тореадором. Уверен, он ощущал ужас этого места. Для чувствительного человека такой город не менее кошмарен, чем для человека без воображения город под бомбежкой. Узость мирка, невежество, бесцветность — вот что убивает. Нет интересных людей, с которыми можно поговорить, нет людей искренних, нет никаких необычных занятий.

И наконец высшая оценка — «приличный». Это слово я тоже ненавижу! «Приличная девушка», «приличная дорога». Приличный — это бесцветный, практичный, держащий нос по ветру, с узкими интересами, сплошная заурядность. Брр!

Оксфорд, 6 октября

Перечитал кое-что из ранних стихов. Плохи все. Словно увидеть себя в кино — голым среди толпы.

А потом почувствовать, как распускаешься, словно цветок.

7 октября

Ленч с Гаем Харди, Бэзилом Бистоном и серьезным поляком[11]. В Кемпе. Никогда не могу сосредоточиться на тех, с кем пришел. Всегда за соседним столиком оказываются более интересные люди. Красивые женщины. Кажется, что Гай и Б. Б. прочно обосновались в этом мире — сидят на террасе у моря, а меня проносит мимо, и я, несчастный, с завистью гляжу на них. Но я обладаю сокровищем. И могу достичь террас и земель еще прекраснее.

Бессмертие — условность, никчемная вещь. Совсем бесполезная. Нет смысла на него рассчитывать. В нем ни красоты, ни радости. Жизнь нужно спланировать так, чтобы уместиться в отведенный срок. Внутри замкнутого круга. За стенами театра аплодисменты не слышны. Ничтожество, сумевшее прославиться при жизни, живет и тем самым обладает огромным преимуществом перед поэтом, обретшим славу после смерти и пребывающим во мраке. Бессмертие — могильный камень духа.

Какой прок от могильного камня?

5 ноября

Ночь Гая Фокса. Огромная толпа испытывает подсознательное удовлетворение от того, что нарушает установленный порядок. Большинство — студенты последнего курса, они наблюдают за происходящим, и только несколько наиболее активных кричат, вопят, поют, произносят речи. Во всем этом есть какая-то неестественная натужность. Ввысь взлетают ракеты и шутихи, и когда они гаснут, люди шарахаются от места их падения. Полицейские и университетские надзиратели бездействуют. Автобусы еле ползут, студенты раскачивают и опрокидывают автомобили. Многие карабкаются на подмостки памятника Мученикам[12], потом толпу несет к ресторану «Тадж-Махал», там один человек лезет наверх, все орут, народ прибывает. Из окон льют воду.

Нельзя не презирать весь этот canaille[13], шумный и крепко поддатый, ничего хорошего он не делает. Большинство позирует и выглядит при этом смешно. Очень много девушек, они, видимо, испытывают настоящее волнение.

В какой-то степени в этом можно видеть проявление доброй воли граждан; все, или почти все, слились в едином порыве, наслаждаются жизнью, вместе с полицейскими и надзирателями символизируют самые разные переживания и в конечном счете жизненный детерминизм. Г. Х. и Б. Б. получают от всего этого огромное удовольствие и только ищут возможность продемонстрировать презрение к законам. У меня же нет других желаний, кроме как быть наблюдателем, мне хочется побывать всюду и все увидеть, в том числе лица людей. У Роджера Хендри[14] та же позиция, но он не так последователен, ему приходится притворяться, хотя такая вольница ему не по нутру.

Слишком много пустых, праздных лиц.

Было мучительно видеть девушку в зеленом — героиню «больничного» рассказа — в обществе крепкого, хорошо сложенного молодого человека. А надо всем этим в ясном ночном небе почти полная луна. После серенького, дождливого дня не очень холодно. Хотелось бы видеть, как кто-нибудь из тех, кто взобрался на памятник, свалился оттуда и разбился до смерти. Задержка дыхания и неожиданный взрыв смеха — то, что надо.

12 ноября

Исповедальный вечер у Поджей[15] с Фейт[16].

Фейт, любопытный тип экстраверта, доминирует в разговоре, голос ее поднимается до визгливых нот (когда хочет кого-то переспорить), дерзкая, с мальчишескими ухватками, говорит о своем монашествующем отце — по ее словам, она о нем часто

тревожится.

Подж и Эйлин — великолепный дуэт, и в ладу, и в разногласии.

В течение всего вечера я молчал (с утра чувствовал себя нездоровым и мучился от этого), понимая, что не способен отстаивать свою точку зрения. Не из-за застенчивости и обостренной чувствительности — мне не хватало чего-то большего, чем утраченной живости. Во мне присутствуют два начала: я сам, рождающий мысли и заражающийся словесной энергией от других, тогда во мне бурлят нужные слова, острые мысли и тому подобное; и мое второе «я», неспособное поддержать никакую беседу.

Ничем не примечательное возвращение домой [17] с Фейт; я зевал, она посвистывала и пела. Во мне бродило смутное желание объяснить свое состояние и узнать, о чем думает она. Сырой, теплый, ветреный вечер.

В такие моменты я осязаемо чувствую философию жизни. Быть убедительным, наблюдать, анализировать — это внешнее; внутреннее — фиксировать и творить. Абсолютно необходимо соблюдать равновесие, то есть — никогда не уходить в себя полностью, всегда сохранять намерение созидать красоту для других, каким бы малым ни был твой вклад. Теоретически я хотел бы быть сущностью, испытывающей постоянные воздействия, которые ее формируют, не меняя, однако, главного устремления — творить красоту. Не стану притворяться и утверждать, что это естественная позиция; она ведет к подавлению чувств, опасному дозированию потребности выражать себя, к повышенной рефлексии. Есть и преимущества: 1) формирующее окружение (хотя какой-то доли объективности и самокритики следует достичь); 2) окончательный результат — внешнее признание, слава благодаря воплощенной красоте. Творение — выход, отдушина, а не только конечная цель. Самое главное — постоянная забота о совершенствовании мастерства, вера в себя и ревностное служение до конца.

Думаю, для меня это кратчайший путь к самореализации, принимая во внимание — а таково мое мнение сейчас, — что все относительно и красота не вечна. В бессмертной славе я не вижу особого прока и все же верю, что человек против всех законов логики творит добро, создавая прекрасное произведение, — пусть оно и не вечно. (Не забывая о пространственно-временном законе: ничто из существующего не может исчезнуть.) Надо *стремиться* добиться славы при жизни; лезть вперед — противоестественно, но это необходимо.

Мы поговорили также о взаимоотношениях детей и

родителей.

Трудности возникают, когда наступает прозрение. Родите-ли — другие, они самостоятельные люди, не лишены недостатков и часто оказываются не на высоте. Нужно сохранять прочную связь, основанную на уважении (Э)[18], однако о каком уважении может идти речь, когда «истина» (пусть на самом деле и фальшивая) кажется такой очевидной. Если родители кажутся недостойным *x*, как увидеть в них уважаемый *y*? Это будет лицемерием и уступкой условностям. Все равно как, будучи атеистом, стать главой англиканской церкви. Любопытная теория Эйлин: разрыв с семьей способствует становлению личности; в счастливых семьях дети не могут ни воплотиться в родителей, ни отторгнуть их, и потому вязнут в семейственности, не реализуя свою индивидуальность.

Затянувшийся период недовольства собой, теряю веру. Нет сомнений: некоторые замыслы, особенно пьес, хороши, но мешает невозможность надолго сосредоточиться и еще сомнения — хорошо ли я владею техникой, способен ли довести дело до конца. Более того, понятно, что по меньшей мере в течение года никаких перемен не будет. А временами сознательное уединение достигается с таким напряжением, что отнимает всякую уверенность в своих силах.

21 ноября

Постоянный уровень самооценки и периодические поползновения писать, но этим позывам суждено погибнуть, потому что нет времени направлять вдохновение в определенное русло. Чувство потери.

Д.У.[19] Опрятен, безупречный вкус, из состоятельной семьи. Ничем особенным не выделяется, разве что проблесками остроумия, общительный. С ним легко иметь дело. Щеголем его не назовешь. В манерах есть нечто французское, он не типичный англичанин (несколько лет провел во Франции).

Г.Х. Служил в английских военно-воздушных силах, числится пилотом запаса. Хладнокровный, бестактный, бывает непреднамеренно груб — из-за самоуверенности. Умен, но лишен воображения. Его эгоизм, хоть и не очень бросается в глаза, все же заметен — частично из-за того, что он его просто не осознает. Не столько неприятен, сколько раздражает. Самоуверенность не чрезмерна, но она есть. Чувствительные люди не бывают самоуверенными. Окружающие его любят.

Р.Ф. Религиозный, глуповатый, недотепистый. Хочет быть школьным учителем. Много занимается, не позволяет себе расслабиться. Носит в лацкане пиджака значок бойскаута. Плохое французское произношение, много глупых фраз. Его наивность

иногда доводит до бешенства. Всегда готов помочь, на него можно положиться. Увлекается фотографией. Чувство прекрасного отсутствует. Маловпечатлительный.

П.У. Наиболее интересный характер. Бывший военнопленный, отличное положение в Оксфорде. Президент Французского общества и Драматического общества Оксфордского университета, редактор «Isis». Тихий, молчаливый, невысокого роста, круглолицый, всегда носит темные очки. Его прошлое и молчаливость наводят на мысль, что в нем есть потаенные глубины, но их может и не быть. Его не назовешь суровым или нетерпимым, он исключительно тактичен, никогда не бывает невежливым, резким или грубым. Хорошее чувство юмора, взвешенные суждения, удачные реплики. К нему прислушиваются. Сегодня он впервые за время нашего знакомства чуть приоткрылся в разговоре, признавшись, что робеет в дискуссиях.

М. Л. Г. Характер легкий. Провинциалка из Прованса, но без ярко выраженных черт южанки, разве что темперамент поживее. Замечательное чувство юмора, хорошее воспитание, очень вежливая. Не ханжа, но вид неприступный. В обращении нет той теплоты, какую можно встретить у молодой англичанки (без всякого намека на скрытую влюбленность).

А.Ф. (Анри Флюшер)[20]. Темпераментный провансалец, небольшого роста. Хорошее чувство юмора, великолепный собеседник, его диссертации по литературе демонстрируют широкий научный кругозор и в то же время полны софизмов. Наружность нерасполагающая — хитроватый, лукавый взгляд, но это обманчиво. Прекрасно говорит по-английски, однако произношение ужасное.

3 декабря

Для двадцатого века характерно изобилие писателей, трудно выделиться из этой клокочущей массы. Нужен порядок; гения оттесняют, душат. Приятно вообразить некое совершенное государство, где писать могут только признанные писатели. Рост образования способствует появлению все большего числа неопытных новичков в искусстве, каждый хочет попробовать свои силы. Потребность в яркой индивидуальности.

Ехал на велосипеде по мокрой дороге, облака стремительно неслись по небу, полная луна светила сквозь них, создавая поразительные эффекты — розоватые пятна среди непрозрачной массы. Дул резкий западный ветер. Меня охватил радостный порыв, чувство единения с природой, я испытывал счастье от сознания, что я человек — ведущий актер на фоне гармоничного окружения. Такое ощущение более свойственно человеку из восемнадцатого столетия, но, если ты *действительно* его

переживаешь, оно наполняет тебя безграничной радостью. Все в мире связано любовью, пантеистическим восторгом. Наука и цивилизация постепенно вторгаются в эти отношения между человеком и природой, но некая не поддающаяся изменению бессмертная стихия препятствует их полной победе. Небеса остаются. Когда испытываешь подобное состояние, кажется, что видишь Землю Обетованную.

Три дня спустя. Красная божья коровка, несмотря на холодную погоду, села на мой письменный стол. Испытал при этом легкое суеверное чувство.

Вопрос стилистического своеобразия — объективист всегда пишет для потенциального читателя, а не для себя, он никогда не остается наедине с собой и chez soi[21], никогда не доходит до сути вещей, ведь стиль влияет на содержание. Субъективист пишет исключительно для себя, эгоистично выражает свои мысли в той форме, в какой они точнее всего представляют его точку зрения, ни на кого не обращая внимания. Любая творческая деятельность тяготеет к одному из этих двух полюсов — грубо говоря, классическому и романтическому. Можно поставить любопытный эксперимент на мемуаристах и тех, кто ведет регулярные дневниковые записи. А что, если великие совмещают оба начала?

Время — важнейшая вещь. Это основная жизненная проблема, вокруг которой должны вращаться все метафизические теории. Время как условное понятие, как система мер не имеет никакой ценности — это искусственное изобретение. Главное — становление, динамизм.

Для некоторых искусств время значит больше, чем для других. Живопись, скульптура — в большей или меньшей степени статичные виды искусства. Поэзия, музыка, кино существуют в движении, конечный результат в них тесно связан со временем.

Чудо фотографии, которая фиксирует момент и тем бросает времени вызов.

Смерть — всего лишь не существование, утрата движения во времени. Потеря фактора присутствия. Смерть убивает время и возводит на престол пространство, усиливает его роль.

Жизнь дарует нам осознание времени. Этот дар, если уж его дали, отнять нельзя. Приходит постижение себя. Постоянное ощущение своего присутствия.

Может ли смерть наказать нас, похитив радость и самоощущение — преимущества времени, и вознаградить, изменив саму сущность времени?

Самоощущение может принести нам величайшее счастье. Мы не способны вообразить отсутствие времени и потерю ощущения

себя как большее счастье, ибо эти категории никак не связаны с нашим сегодняшним положением.

Так как нас *одарили* ощущением себя во времени, бессмысленно, подобно мистикам, стремиться к обратному. Этот дар должен быть радостно изжит на земле: ведь в данной ситуации он — лучшее, что у нас есть. Такая позиция необходима, хотя и не до конца верна. Она верна только относительно.

Абсолютное счастье — это вечность и потеря самоощущения, но несовершенные организмы не могут понять значение абсолютных категорий.

Ли-он-Си, 16 декабря

Приступ ненависти. Пытался слушать квартет 465 Моцарта[22], когда М(ать) сознательно все испортила. Во мне всколыхнулось внутреннее беспокойство, ярость и сознание мученического жребия. Ярость частично проистекает оттого, что им все (как в целом, так и конкретно в данном случайном окружении) неинтересно; упреки порождают у меня чувство вины. Наконец (в середине третьей части) принимается решение развесить праздничное убранство: «Все уже это сделали. Фермеры украсили свои дома». Мы не как все, какой кошмар! Пассивность отца, до сих пор простого наблюдателя, вызывает ее гнев, и тогда он вместо того, чтобы сказать «с этим можно и подождать», бормочет «лучше поторопиться» и затевает возню с полосками из цветной бумаги. Я понимаю, что в какой-то степени все это делается, чтобы уязвить такого «интеллектуального задаваку», как я. Выключаю приемник и начинаю помогать, не скрывая раздражения. Какое-то время чувствую, что с радостью убил бы их. Они возражают, не желая поджигать сухие ветки остролиста[23], я же сознательно подношу к ним огонь и получаю большое удовольствие от демонстрации пренебрежительного отношения к ритуалу — пусть видят, что для меня развешивание рождественских украшений не удовольствие, а всего лишь долг. Хейзел[24] заходится кашлем и плачет, она болеет. Мне ее жалко; рождественский дух, пусть и слабо, но присутствующий в убранстве, смягчает мою ярость. Я помогаю принести уголь для камина, делаю еще что-то. О. прожигает дыру в новых фланелевых брюках об электроплиту. Когда он рассказывает мне про свое несчастье, я не могу удержаться от смеха. Юмористическое отношение к мелким неприятностям и болячкам у меня от него. Этот абсурдный штрих разряжает ситуацию, и вечер завершается бетховенской сонатой и ощущением, что череда уродливых сцен рассосалась сама по себе.

В доме часто возникает напряженная атмосфера — это связано с теснотой, пребыванием в одной и той же небольшой

комнате, когда общаться приходится на усредненном уровне, то есть на том, который задает М., — банальном и приземленном. Сейчас все мои симпатии принадлежат О. Трудно добиться нужного состояния духа, совместив вынужденно почтительное отношение, которого от меня здесь ждут, с подлинной позицией, сложившейся в Оксфорде. Между той и этой средой — пропасть. В интеллектуальном и эстетическом плане я превосхожу домашних, однако это нужно тщательно скрывать, чтобы не портить себе жизнь. Меня не покидает унизительное сознание того, что в финансовом отношении я — пассажир тонущего корабля.

Хейзел — любопытный объект для тестирования эготизма. Для моего материального благополучия было бы лучше, чтобы она вообще не существовала. Я не ощущаю особой ревности от того, что родительская любовь неизбежно перемещается на нее, однако испытываю раздражение и жалость при мысли, что ей достанется любовь таких старых родителей. Мне жаль сестру: ведь ее станут воспитывать по старинке, прививать устаревшие взгляды, забивать головку избитыми клише. Остаться сиротой — вот единственная надежда на то, что из нее вырастет современный человек. Или если я займусь ею. Она моя сестра, родной человек, но большая разница в возрасте препятствует развитию душевной и родственной близости. Сестренка для меня — что-то вроде забавного домашнего зверька. Положение изменится, когда ей исполнится пятнадцать или — это уж наверняка — двадцать лет. Тогда я — уже человек в возрасте, — возможно, буду жаждать омоложения, et la voila![25] Но в настоящий момент она — помеха мирной старости двух людей, желать видеть счастливыми которых — мой долг. Она — Фаулз и следовательно, нервная, смышленая, sans[26] интеллекта, sans культуры, все это в зародыше я уже вижу в ней. Кроме того, у нее слабое здоровье, тут тоже будут трудности. Мне, однако, ясно, что *теперь* они не могут быть счастливы *иным способом*. Но в этом-то и дисгармония. Мне кажется, родители были бы счастливее, если бы могли думать только о себе. Впрочем, надо признать, поздний ребенок их как бы омолаживает, но это не доставляет мне особой радости. А малышка Х. сыплет соль на рану, когда говорит:

— Мой папа — Джон, ты мой дедушка, а М. — мама.

Какое дьявольски постыдное заявление!

Писать стихи — все равно что встать на берегу со словами: «Сейчас отправлюсь вон к тому волшебному острову». Когда же начинаешь грести, радость от самого действия заставляет позабыть о направлении и в конце концов возвращаешься на прежнее место, обретя опыт, но не добившись настоящего

успеха, — он так и остался недосягаемым. Со временем я стал оглядываться на пройденный путь, и тогда гребля, всегда бывшая радостью, показалась пустой забавой.

Как красивы болота Ли! Простор, глушь, заповедные места. Уродливые очертания острова Канви, отдаленная узкая полоска берега с кубиками домов и купами низкорослых деревьев. Канви-Бек, заброшенное местечко. Холмы Хэдли, такие изысканные, в них типично английское сочетание легкости и прочности, романтические руины замка. Чопорный безликий город с рядами домов, похожих друг на друга, как близнецы. Олд-Ли, усеянный остриями мачт и очертаниями лодок, имеет свое лицо. Южный пирс, отвратительно напоминающий железнодорожный путь, разрезает море, как рельсы — землю. Темза, спокойная и величественная.

Берег моря, то заливаемый во время прилива, то обнажаемый при отливе. Волнорезы, солончаки порождают острое чувство одиночества. Только зима может вызвать такое. Скромные, непритязательные птицы — щеврицы, кроншнепы, травники, прекрасные солисты. Уединение и покой. Когда свистит свиязь, о городе забываешь. Дух птицы превосходит ее щуплое тельце.

Стайки чаек и кроншнепов, словно созвездия темных звезд, носятся в отдалении над морем на фоне неба, отливающего желтизной в своей западной части. Зрелище заката. Красно-коричневое солнце погружается в золотистые неровные края низко плывущих свинцовых облаков, погружается где-то далеко, много миль отсюда, над Лондоном. Возбужденный крик болотных цапель, расхаживающих у края воды при отливе; этот мир так же далек от нас, как Марс. Слышать этот крик — все равно что побывать на некой мифической планете. Какое удовольствие ощущать холод и сырость, чувствовать в себе мощное животное начало! Отправиться одному на поиски опасных приключений, и все это в уютной близости от мерцающих огоньков на берегу.

Запах моря и островков водорослей в зеркальной глади.

Как приятно чувствовать слияние с каким-нибудь уголком природы. Шум прибоя, ущелья, ручейки, потрескавшиеся дамбы, раковины, места уединения.

29 декабря

Суетливое Рождество, полное мелких тревог и недомоганий. Ссоры детей. Глупость взрослых. Только светская болтовня — никаких других разговоров. Я всех обескураживал и повергал в смущение. Мне хотелось быть самим собой, но даже робкие попытки вести беседу в таком русле вызывали непонимание.

Чувствительность — самая легкая проверка на человечность. Ни один по-настоящему чувствительный человек не обидит

другого.

Плыву по течению в ожидании свежей струи или земли, которая не окажется миражом. Так много абстрактных «измов», так много больших и мелких затруднений. Пора бы сражаться с драконами, а вокруг скребутся одни мыши. Я в камере, ищу шаткий кирпич, но если найду, как это отразится на моем будущем? Оставшись здесь, я превращу свою жизнь в тюрьму и навсегда уничтожу свою подлинную сущность. Это особое самоубийство — уход от реальности. Ведь если эта жизнь настоящая, то тот человек, которым я обязательно был бы при других обстоятельствах, — призрак. Ненавижу этот город и его дешевую, жалкую пародию на жизнь.

2 января 1950

Девушка Саутенд-Хай-стрит. Доступная, плохо одетая. Но хорошенькая и, что любопытно, потом я понял: в ней есть нечто лоуренсовское. Саутенд-Хай-стрит я еще как-то выношу, в этой улице есть определенность, своя индивидуальность, это занятно.

Хейзел за чаем:

— Наверное, до меня, когда я еще была на небесах, вы так же сидели здесь, пили чай и смотрели на огонь.

Новая стадия моей непонятной болезни. Ощущение — будто спишь в доме с привидениями, но призраков *не видишь*. Этим утром я ускользнул от miaiseries[27] и пошел по дороге между Чокуэлом и Олд-Ли. Тусклый, промозглый, ветреный день, всепроникающая серость. Прилив в своей высшей точке, море неопределенного серо-зеленого цвета, предвещающего шторм. Людей немного, у берега стоят на якорях яхты и катера. Птиц не вредно, одни только чайки покачиваются на волнах или неуклюже взлетают ввысь. Из Ли в сторону затянутого мраком восточного побережья движется рыболовная флотилия, одномачтовые суда покрашены в серый или зеленый цвет, вся команда на палубах. Я завидую вольной жизни рыбаков. Олд-Ли — расположенная особняком узкая улочка, на ней стоят пахнущие морем грязносерые дома, все так же хранящие рыбацкий колорит и naïveté[28]. Железная дорога в данном случае не дает распасться этой своеобразной общине. За Олд-Ли темной полосой тянутся сараи. Эллинг. Дальше — дамба, неподалеку — городская свалка. Тоскливо. Хотя в каком-то смысле все упорядочено, все на своем месте. К этому району можно испытывать даже любовь — с примесью печали.

5 января

Капризное желание отправиться на дальнюю прогулку. К острову Канви, за дамбу туда, где находится «Шелл Хейвен»[29]. Тусклый прохладный день, как бы поделенный по погодным

условиям пополам. Приглушенная синева неба пробивалась утром сквозь непрерывно бегущие облака и окрашивала все вокруг в интенсивный серо-голубой цвет, отчего трава казалась ярко-зеленой, а вода серой и покрытой рябью, воздух был прямо акварельный. Позже стало холоднее, ветреннее, свет потускнел. Эта часть острова пустынная, здесь множество кроликов. Мне повстречался дружелюбный мужчина с красным лицом, он нес старую холщовую сумку, из которой торчала бутылка. Один из немногих оставшихся здесь крестьян. Вскоре я дошел до пустыря, мне открылись горы булыжника, снующие туда-сюда грузовики, краны, причалы, вдали автоцистерны. Один или два покинутых, пустых дома, мало птиц. Странное место. Рядом с автоцистернами, навевающими представление о живой атмосфере погрузки нефти на танкеры, оно кажется особенно заброшенным. Здесь не было ни души. Бухта в этом месте широкая, открытая и безликая — совсем не то что у Олд-Ли.

Иду мимо стоянки автоцистерн — людей там на первый взгляд нет; мимо белого дома в окружении нескольких низкорослых, похожих на кустарник деревьев, — в нем на верхнем этаже светится окно; и, обойдя пустующий армейский лагерь, с казармами, вышками и прочим, уже непригодным, оборудованием, направляюсь в густо заселенный центр Канви. Все дома — одноэтажные, непрочные постройки, однако повсюду телевизионные антенны. Живущие здесь люди, похоже, не обращают внимания на разруху и запустение в остальной части острова — к востоку, где пропадают сотни акров лугов и болот. Здесь же — словно сердцевина салата.

Разочарование от Оксфорда — будто прокололи булавкой воздушный шар. Недружелюбие как стиль поведения. Мучительное желание обрести цель, жизненную задачу. Сомнения по поводу будущего и литературных способностей. Наводящие уныние результаты — успехи чередуются с провалами.

Весь день на ногах, встречался с преподавателями, просто с людьми. День сырой и теплый. Вечером тротуары напомнили мне о том, что забыл, — о лете, об ощущении счастья. Необычный запах, западный ветер, чувство, что оживаю. Ностальгия по прошлому и заглушающая ею печальная мысль: какой прок в такой чувствительности, эмоциональности, погружении в прошлое, когда настоящее такое, как есть? Здесь конкуренция, соперничество. Chacun pour soi[30] в социальном и академическом смысле. Каждый обладает недоступными мне качествами.

«Три сестры» Чехова. Слушал пьесу в серое, унылое воскресенье, в этот день мне всегда особенно одиноко. Получил огромное удовольствие. Столько всего прочувствовал. Оптимизм,

исторгнутый из повального пессимизма, абсурдное fardeau[31] жизни. «Счастья нет, есть лишь жажда его». «Душа моя, как дорогой рояль, который заперт, а ключ потерян». Неудовлетворенность, тоска, сдача позиций. Чехов знал, как из страдания сестер, такого узнаваемого, универсального и вечного, высечь красоту, радость и трагедию, катарсис, даровать удивительную помощь. По существу, в пьесе слабо ощущается понимание человеком своего положения в равнодушном мире, нет света подлинного самосознания. Мазохизм, сочувствие к общему через индивидуальность; общее можно постичь только через личности — иначе оно не существует. Трагедия должна вызывать сострадание, должна расширять, углублять, освобождать близкое по духу воображение, переводить его в область, где следующим этапом будет осознанное желание творить, действовать; у рожденных ею призраков должно быть желание перебраться в реальный мир.

19 января

Стало известно, что специалист диагностировал мою болезнь[32]; облегчение, ощущение поддержки, легкое сожаление о прошлом состоянии, мазохистское. Это не пустые слова — много глубин еще не раскрыто. Страдание необходимо для самопознания. Самоанализа. Возвращение к норме — вовсе не благо.

Восхитительный предвечерний свет разлит над Лондоном — буквально все стало прекрасным. Никогда не обладал я такой обостренной чувствительностью — во всех областях, во всех видах мне вдруг открывается неуловимая прелесть. Нежно-голубое сияние Темзы, грязно-белый бетон мостов приобрел золотисто-розовый цвет. Небо яркое, с бирюзовым оттенком.

Любопытное вкрапление сна в действительность — соблюдение точной последовательности. Мне снилось, что я нахожусь именно там, где и был, — в своей постели, дома, в ожидании медицинской сестры, которая придет и сделает укол. Но во сне кто-то тоже этого ждал, горел свет (на самом деле было четыре часа ночи), и по радио объявили, что кого-то зовут Рей(монд?). Аристократ собрался играть на рояле. Когда медицинская сестра действительно пришла, это случилось и во сне. На этот раз я не проснулся мгновенно.

30 января

За мной ухаживают три сиделки — яркие типажи в этой однообразной среде. Одна — полногрудая мощная девица, от нее разит потом; она входит, широко улыбаясь, с дежурной шуткой наготове — в ее поведении есть здоровая сексуальность, как у барменш или скандинавок (она блондинка). Ее естественная

стихия — постель, естественная позиция — раздвинутые конечности. Вторая — скромная мышка, тихая, маленькая, впалые щечки, женственная, несексуальная; в ней есть своеобразная мягкая красота. Держится робко, застенчиво, на губах играет легкая дружелюбная улыбка. Жизнь ее проходит печально, незаметно, бесцветно, хотя и в этом существовании есть своеобразный шарм. Третья — получше, годом старше предыдущей, подтянутая, красивые ноги, великолепная грудь, хорошенькая, в чертах лица есть что-то еврейское. Практичная, сдержанная, холодная. Сексуальность, видимо, есть, но тщательно скрыта. Самая нарядная униформа. Необщительная, равнодушная ко всему, что находится вне ее обязанностей, их она выполняет быстро и толково. Тип энергичной секретарши, из тех, что предпочитают джин с апельсиновым соком. Интересно было бы отправиться с каждой из них в путешествие или переспать со всеми — не то чтобы мне этого хотелось, просто тогда можно было бы точнее определить и описать каждую из них.

Ткань жизни. Боль и смущение от лечения; его явная безуспешность; скука; любовный и авантюрный крах; три молоденькие сиделки; фантасмагория извне — безумные дряхлые старухи, которых я не вижу, но слышу их голоса; унылая комнатенка, пустая кровать, зеленое кресло, фарфоровая восточноевропейская овчарка, взбирающаяся по зеленым ступеням, дрянной приемник, карманные часы с гравировкой; неаппетитная еда; строгий режим — кровати застилаются; безобразный клочок сада — вид из окна; редкий проблеск солнца (Клод) на небе. Посещения родителей — быстро прячусь в раковину: банальности, притворство, равнодушие, чувство вины. Уход от жизни, от реальности, от ответственности — так жаба прячется под цветок при шуме быстрых шагов. Так пчела затаивается в сотовой ячейке. Бледный, молчаливый, равнодушный, отчаявшийся, одинокий, я ощупью возвращаюсь в пещеру, чтобы у входа не осталось никого, кто мог бы общаться с проходящими мимо. Но за моим плечом слышится раздраженный голос из темноты — я тоже кому-то помешал.

Удивительные изменения в ходе болезни. Так как мне не становится легче, включается своего рода компенсаторный мазохистский механизм — не столько хныканье и жалость к себе, сколько бьющая на эффект поза молчаливого стоика. Трагедия, связанная с таинственной болезнью и ее непонятным воздействием на организм, становится реальной, а сознание своей обособленности, продолжающийся отход от нормального существования универсальным. Большинство моих грез — яростные прорывы в жестокую, активную, полную приключений

романтическую жизнь; этому способствует ситуация застоя, в которой я оказался. Порой в грезах я идеально использую возможности из прошлого и будущего; чаще, конечно, из будущего. Иногда я даже выхожу за пределы своих возможностей. Заключение «эго» в эту трагическую (или трагическую в грезах, потенциально трагическую) оболочку, хоть это и разрушительно, нельзя отменить. Похоже на течь в лодке — долгое время с ней можно плыть, но в конце концов она возьмет верх. Вычерпывание осуществляется при двух условиях — надо прилагать для этого все усилия и одновременно следить за внешними обстоятельствами, соблюдая периодичность. Природный эгоизм всегда победит (хотя он тоже цикличен), даже если нет воли продолжать борьбу. Как всегда, он распахнет двери в сады и склады самоосуществления.

Когда написал это и прочитал, все показалось ложью.

3 февраля

Достоевский «Записки из Мертвого дома»[33]. Бесстрастная объективность, хладнокровное описание. Жертвенность. Монотонность, серость жизни раскрашена его исключительным журналистским даром. «Страстное желание снова подняться, быть нужным, начать новую жизнь дало мне силы ждать и надеяться… хотя у меня были сотни товарищей, я был ужасно ранимым и в конце концов полюбил эту леность… иногда я благодарил судьбу, пославшую мне это одинокое существование, без него я не смог бы так судить себя».

Его тюрьма сродни моей болезни — это барьер, отделяющий от свободы, которую ждешь, воображая более подлинной, чем она есть на самом деле. В таком положении есть только два выхода: надежда, а если она невозможна, то мученичество, какое принимает описываемый писателем Верующий, — славу и страдание через крайнее унижение.

12 февраля

Долгий, невыразительный период грез, чувство разочарования и безысходности, унылой подавленности. Работа идет по настроению, хотя я знаю о безответственности такой привычки и последующей расплате. Амбиции огромные, а стремиться не к чему. Психологическая клаустрофобия. Нет вдохновения, и потому нет уверенности в себе. Полдня провожу в мечтах. Обычно мне грезится провансальская ферма, где шедевры вызревают, как виноград на лозах. Полная противоположность этому тихий, заселенный спокойными жильцами домик в ничем не примечательном буржуазном пригороде. Не то чтобы я испытывал ненависть к буржуазии, нет, при условии, что к ней не принадлежу. Нахожу отдушину в Геродоте. Другое время, другие

нравы, но, к счастью, воображение от этого не становится менее мощным. Мое будущее, похоже, обретает пугающие очертания. Ничего определенного. Появляются новые люди, они женятся, общаются, любят, ссорятся, живут. Я же бездумно плыву по течению, без всякого желания изменить ситуацию. Нет никаких признаков, что болезнь отступит, на что все надеялись. Что касается меня, то мне уже все равно. Абсолютное безразличие порождает печаль.

За три недели пребывания в санатории ни одного посетителя. Tant pis![34] Я это переживу, но все-таки странно. Огромная пропасть между родителями и детьми нелепа и в то же время трагична, ненужна, хотя и неизбежна. Врожденная чувствительность лишь заставляет скрывать свои подлинные переживания. Никаких точек соприкосновения. Я слишком горд и занят своими мыслями, чтобы говорить на ничтожные темы или обсуждать то, что для меня важно и дорого (ведь чтобы меня поняли, пришлось бы искать подходящую форму, то есть снижать уровень, спускаться с высот, где я чувствую себя как дома), они же слишком поглощены, слишком enfoncé[35] сиюминутными событиями и аспектами vie quotidienne[36]. Даже если обе стороны предпримут искренние усилия, чтобы достичь rapprochement[37], различие не исчезнет. Когда я слушаю музыку, любой посторонний шум приводит меня в ярость, а мои домашние могут в это время есть, разговаривать, шуршать газетой, играть с Хейзел. Такая разница в нормах поведения обусловлена многим: частной школой, офицерской баландой, университетом — все они расширили мой горизонт больше, чем это случилось бы, проведи я двадцать пять, довольно интровертных, лет в одном и том же семействе, чей уровень жизни постепенно снижался[38].

Затяжной период détente[39], хотелось бы его поскорее завершить. Я ощущаю себя человеком, бегущим против ветра к берегу, где нагромождение скал и только один проход ведет к спасению, но он узкий, как расстояние между Сциллой и Харибдой. Может, лучше сгинуть, потеряться, влача существование посредственности. Однако к году во Франции я должен относиться как к продолжению détente[40]. Нужно сосредоточиться на двух пьесах. Рассказы пишутся от случая к случаю. Мучительно идет один о юности, premiure jeunesse[41], весна проходит мимо, а ничего не изведано, ничего не исследовано. Я хотел бы не упустить шанс, испытать нечто необычное и, предпочтительно, это исследовать. Однако жизнь здесь — единственная истина. Никаких высших духовных наслаждений. В основе только земные вещи. Хуже всего — нет попыток уйти от этого. Можно сидеть и писать о необходимости

собрать всю волю для élan vital[42], а реальное существование будет рассыпаться в прах.

2 марта

Есть особое удовольствие слушать в предутренние часы по приемнику результаты выборов. Музыка постоянно чередуется с оглашаемыми цифрами. Пробуждается интерес — как у ребенка, наблюдающего за состязанием корабликов в канаве. Либералы умело стараются сорвать планы противников. Консерваторы тайком крадутся следом. Унылая, сырая ночь[43].

Разнообразный день. Дома выборы а l'arriure-fond[44], сам я испытываю беспокойство и тошноту при мысли, что надо снова участвовать в жизни. Временно утрачиваю контроль над собой. На Пэддингтоне встретил Т. С., дальше едем вместе. Во Французском доме мне трудно играть новую роль, продолжаю играть старую, она все еще подходит — сдержанные холодные манеры и все та же раковина. За столом мне трудно непринужденно общаться, хотя по-французски я говорю лучше остальных. Затем, безучастный ко всему, я совершаю довольно безрассудный (учитывая, сколько у меня дел) поступок: иду с Гаем на спектакли Экспериментальной театральной труппы. Ставили «Медведя» Чехова и «Мальчика с пальчик» Филдинга. Спектакли играют в небольшом неуютном помещении, на крошечной сцене, что создает удивительно интимную атмосферу, и это великолепно. Хотя актеры переигрывали и в обоих спектаклях были недочеты, я получил большое удовольствие. Однако мне не повезло: в зале оказался Мерлин Томас[45], и он меня видел. Чувствую себя провинившимся маленьким мальчиком. В театре ощущается неуловимый шарм Оксфорда, блеск молодого и разумного человеческого сообщества. Домой возвращаюсь теплым сырым вечером по сверкающим от дождя улицам в обществе Г. Х. Мрачная, полная призраков Вудсток-роуд. У Самервилла прощаются девушки. Мы увлечены разговором, и время проходит незаметно. Удивительный, полный дружелюбия Оксфорд. Здесь всех принимают, здесь торжествует умеренность, а крайности и подлинное знание встречаются редко. Большое скопление традиционно мыслящих людей удерживают в равновесии лодку современности.

Снова боль в животе. Чувствую отвращение к своему телу, даже к разуму. Я могу выйти из тела, объективно отделиться от него, хотелось бы проделать то же самое и с мозгом. Можно ли с ним расстаться? Можно ли отделиться от него, чтобы он маячил рядом или отошел?

7 марта

Внезапная боль в простате. Всегда получаю удар, когда

привычный пессимизм отступает. Сегодня я ощущал себя счастливее обычного — и вот результат. Этому не видно конца. После санатория я не почувствовал улучшения. Если б я выздоровел, то сразу бы почувствовал. В мозгу у меня никогда не формировалось желание стать здоровым: мозг знал, что тело еще болеет. Итак?

9 марта

Еще один день болезни. Есть невозможно. Протолкнуть в себя пищу — мука смертная. Никакой радости от жизни. Время от времени меня печалит, что я не могу объяснить свое поведение близким людям. За обедом было весело, все смеялись, горели свечи. Еда была великолепная. Говорили о самых разных вещах, и так как я молчал, то, должно быть, все думали, что я отяжелел и осовел от еды и питья. Меня же отчаянно тошнило и хватало только на то, чтобы продолжать сидеть за столом, — о том же, чтобы улыбаться и вести остроумную беседу, не могло быть и речи. Но мне неприятна мысль, что я могу оттолкнуть людей, которым должен был бы нравиться. Желание блистать в обществе — эгоистическое, в сущности, но давить его в себе противоестественно. Люди не понимают самоотречения. Оно может иногда приводить в восхищение, но его никогда не поймут и не оценят в полной мере. Все мои социальные и психологические трудности проистекают из физической неполноценности: целых два года еда не приносит мне радости. Я нисколько не преувеличиваю. Или поташнивает, или нет аппетита — есть могу, но без всякого удовольствия. Это в сочетании с общей слабостью и дурнотой лишает радости жизни. Не помогает даже сознательное игнорирование или преуменьшение болезни — ведь это, в сущности, разновидность ипохондрии. В таких случаях притворство не срабатывает.

Невозможно понять, что происходит на самом деле. Мне уже трудно вспомнить то время, когда я чувствовал себя совершенно здоровым. Когда в весенний день я выходил на улицу и кровь бродила в моих жилах, как сок в древесной коре. Когда я мог упиться в стельку без всяких последствий для здоровья и ел раз в двадцать больше, чем сейчас. Я пишу эти слова в надежде, что когда-нибудь перечту их с улыбкой. Пока же мне не верится, что такой день придет.

26 марта

Последнее время у меня рождается много мыслей, много идей, но нет никакого желания переносить их на бумагу. Творческий импульс размяк, сник. Правда, однажды, когда я ехал вечером на велосипеде мимо Кебл, радостное возбуждение охватило меня; подобное случалось здесь и прежде, так что,

возможно, здесь неподалеку обитает фея. В другой раз ночной ветер, холодный и порывистый, пронесся по необычно пустынной Бэнбери-роуд, неожиданно вызвав у меня отчетливое ощущение полного одиночества, — казалось, этот ветер вот так облетит весь земной шар, не встретив на своем пути ни одной живой души. Ветер гуляет по миру, в котором нет людей, нет жизни. Женщина среднего возраста гонится за маленькой черной собачкой по Вудсток-роуд и кричит со все возрастающим отчаянием в голосе: «Роланд! Роланд!» — не получая, естественно, никакого ответа.

Пребываю в депрессии, ибо не знаю, кто я и кем стану. Постоянное желание писать, чувство ответственности перед работой, конфликты, сомнения, хаос. Презрительное отношение к профессиональному преуспеванию. Ведь есть кое-что и получше. Все эти многоумные преподаватели и студенты-выпускники не делают ничего для обретения личного бессмертия. Оно их, похоже, совсем не волнует. Они знают пределы своих способностей, и это ужасно. Хочется, чтобы каждый использовал по полной программе свой выдающийся ум и стремился обессмертить свое имя.

Но вместо этого они осваивают узкие ниши. Секрет же заключается в том, чтобы никогда не соглашаться на то, что само идет в руки, — постоянно, день за днем. Всегда быть в поиске, никогда не останавливаться на достигнутом.

Бывают периоды полной опустошенности, когда надежда покидает тебя, уходит уверенность и, главное, воля. Остаются раздражительность, тоска и чувство собственной бесполезности.

Две причины для недовольства. Во-первых, родился я не в то время, в месте, где цивилизация завершилась, оставив загнивать монархию. Франция достигла расцвета в XVII веке, мы — в XVI, Германия — в XVIII–XIX веках, Россия — в XIX, Италия — в XII, XIV и XV веках (не считая Рима). Когда являешься под занавес, у тебя нет шансов. Невозможно преодолеть барьеры, присущие твоему веку. Во-вторых, обречен служить самому ограниченному и преходящему виду искусства — литературе. Изобразительное искусство и музыка живут дольше и волнуют большее число людей. Поэзия — самый закрытый жанр литературы. Писать означает совершать акт самоотречения. Единственная надежда — новая великая американская культура.

Сегодня в какое-то мгновение я подумал, что мои мысли развивались в согласии с музыкой, — внезапный двойной скачок мысли точно совпал с двойным взлетом музыкальной темы в Восьмой симфонии Шуберта. Возможно ли, чтобы музыка так взаимодействовала со слуховыми нервами, что пульсирует в мозгу, привнося в него силу интуиции? Почему музыка

пробуждает во мне осознанное стремление к творчеству? Возможно, существует электромагнитная связь между звуковыми волнами; некоторые ноты пробуждают определенные эмоции, стимулируя нужные участки мозга (в моем случае связанные с литературным творчеством).

Гений Бетховена заключается в особой чуткости к универсальным проблемам бытия (его основные темы — радость и страдание, жизнь и смерть) — так сложился интуитивно избранный им стиль, который может передать с предельной полнотой такое вчувствование в жизнь. Здесь нет религиозного чувства. Это исходит из глубины его существа, что глубже религии. Чувство человечности.

Прекрасная книга Джона Салливана[46] о Бетховене. Объективно романтическая.

Я не устаю читать о его жизни, меня притягивает эта позитивная ясность, этот властный гений. Даже просто читая о последних квартетах, я умиляюсь при мысли, какие чувства они пробуждают в людях. Вчера исполнилось ровно сто двадцать три года со дня его смерти.

Д.Г. Лоуренс «Дева и цыган»[47]. Странный, наивный, неровный стиль. Вспышки почти детской ненависти. Психологические неувязки, атмосфера то ли сна, то ли безумия. Потрясающее чувство сельской жизни. Иветта — почти прерафаэлитская девушка. Цыган — угрюмый, необузданный, охваченный неудержимым желанием. Все характеры искажены, почти сюрреалистичны.

Д.Г. Лоуренс «Св. Мор»[48]. Отличается от предыдущей повести большей полнотой, изобразительным мастерством. Символизм пантеистической природы, творческий стимул (= Св. Мор). И здесь все характеры неестественны, искажены. Великолепно написаны пейзажи, изображение ранчо превосходно. Много патологически страстных эмоций — тоска по Югу, ненависть к цивилизациям «середнячков» (то есть буржуазии), которые не способны тонко воспринимать природу, а могут только разрушать. Художник, поэт (в широком смысле слова) против мира, каков он есть. Л. не способен вписаться в реальность. Он воспринимает действительность очень остро, у него множество оттенков настроения, чувства и лежащего в подтексте философского содержания, и потому он неизбежно втискивает себя (или его втискивают) в положение, отличное от того, что занимают те, кто видит жизнь в нормальном свете, без обостренной чувствительности. Л., видимо, не понимает, что именно здесь он мог бы найти «лекарство» от противостояния обществу. Жалости к цивилизации «середнячков» у него мало. Тут

он явно сближается с Олдосом Хаксли. Если оценивать Л. как стилиста, то, думается, его грубоватость, романтизм, декадентские фразы быстро устареют. Слишком много longueurs[49], слишком много цветистых фраз.

Ленч с Конни Моргенштерн[50]. Необычная личность. Рассеянный взгляд светло-голубых или голубовато-серых глаз почти ничего не выражает. По глазам о ней не узнать ничего. В беседе взгляд почти не меняется, в нем по-прежнему рассеянное, незаинтересованное выражение — не за что зацепиться. Она редко проявляет интерес или удовлетворение, обычно с ней трудно говорить. Кажется, ей всегда хочется быть в другом месте, в другой жизни или в другом теле.

Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби». Сильное впечатление. Несомненно, лучший роман из всех прочитанных мною в последнее время. Лучше Хаксли и Во. Как сатирик Фицджеральд не уступает им, но идет дальше, затрагивая вопросы окружения, наследственности и самой цивилизации. Пустота и обреченность, воплощенная в таких персонажах, как Дейзи и Джордан, предопределена. Гэтсби — единственный, кто поднялся над временем, он пытается победить, но, естественно, терпит поражение[51]. Роман тонкий, безжалостный, краткий и выразительный, во многом объективный и *глубинно* трагический, как пьесы Расина.

Гэтсби пытается вписаться в эпоху, используя ее же приемы. Особая тонкость в субъективной основе истории: известно, что в образе главного героя Скотт Фицджеральд частично изобразил себя, остальное же гениально домыслил. Поэтому все слегка смещено, или, лучше сказать, сведено к одному уровню из-за некоторой ослепленности Фицджеральда временем: писатель в какой-то степени принимает свой век — ведь он живет в нем, и потому испытывает симпатию, пусть и поверхностную, к своим героям с их проблемами. В целом он, конечно, против подобных нравов и осуждает их. Однако именно сострадания недостает в «Шутовском хороводе» и (несколько в другом ключе) в «Возвращении в Брайдсхед». Стиль Фицджеральда — гибкий, легкий и подчас резкий; местами великолепно передано настроение (первая сцена в доме Бьюкененов). Отлично написаны все эмоционально напряженные сцены. Этот роман долговечнее произведений Лоуренса. Еще один аспект — классическая история верной, но неразделенной любви с трагическим концом. История разворачивается словно в беспредельной тишине, ощущение неотвратимости катастрофы дается как бы исподволь. Композиция романа безупречна.

Брейфилд. 1 апреля, уик-энд. Долгое путешествие через всю

страну; вид грязновато-зеленых пейзажей не очень привлекателен. Старинные города в уродливом окружении фабричных строений. Интересные попутчики, мелькание чужих жизней. Три странных литовца или славянина сначала сидели рядом, потом устроились в разных концах автобуса, перестали общаться и не разговаривали друг с другом. Крупные смуглые лица, на всех новые габардиновые плащи и шляпы с загнутыми полями, придававшие незнакомцам несколько глуповатый вид. В грубых, тяжелых чертах затаилось нечто зловещее и жестокое. Из автобуса они вышли по отдельности, но на тротуаре собрались кучкой. Чем-то похожи на чикагских гангстеров, бесчеловечных, безжалостных и беспринципных, и потому выглядели совсем неуместно на мирном рейсовом автобусе. Один из них посмотрел вслед проходившей хорошенькой девушке, посмотрел оценивающе, без всякого восхищения, в его взгляде не было даже сексуального желания — только животный интерес, как у задумавшегося быка. Кондуктор только мне говорил «сэр».

Брейфилд — внушительный особняк в большом поместье, что-то вроде Брайдсхеда; во время войны он был разрушен, и сейчас стоит заброшенный и непригодный для жилья — дом из другой эпохи. Уродливые хижины из кирпича и рифленого железа разбросаны по парку, из-за этого он тоже выглядит не лучшим образом. Фасад стоящего на холме особняка обращен к реке Уз и маленькой, уютно обособленной деревушке Ньютон-Блоссомвиль, за которой тянется цепь холмов.

Майкл Ф. — занятный тип[52]. Черты джентри в нем явно присутствуют, но, как ни странно, он не очень-то соблюдает строгие правила провинциального общества (вроде майора Лоренса)[53]. Высокий, худое лицо, голубые глаза, белокурый, притворная naïveté[54]. Молодой сквайр с развитым чувством ответственности. Два своих прихода он посещает дважды по воскресеньям как почтительный церковный староста. Это раздражает Констанс. Он очень любезен, проявляет живой (часто поддельный) интерес ко всему, что ему говорят. Исключительно воспитан — так, что этого не замечаешь. После того как высморкается, тщательно прочищает нос — это целая процедура: каждая ноздря получает основательную долю внимания. Слушает Третью юмористическую программу: «Жутко смешно! Но если вы, ребята, не смеетесь, значит, буду считать, что это очень серьезно». Типичная притворная naïveté. Трудно сказать, сколько ему лет. Широкий диапазон — иногда он выглядит как двадцатилетний юноша, а иногда кажется, что перед тобой серьезный, обремененный заботами мужчина лет тридцати — тридцати пяти.

Роджер Пирс — вежливый, приветливый, как кокер-спаниель,

хорошо воспитан. Как и у М., наигранная naïveté — своего рода протест против «высоколобых». Но в целом интеллектуальнее М. Кина на рыбалке. Носит ветхую куртку и потрепанные брюки. Очень общительный, прямодушный и терпимый, глубокий, но без запутанности.

У Констанс строгий взгляд, но теперь она выглядит счастливее. Вроде бы энергична, однако на все затрачивает неоправданно много времени. Находясь у них, гостем себя не чувствуешь. Нужно тоже работать — не меньше хозяев. Лучшее (еда и т. п.) тебе не достается — разве только случайно. Никакого желания угодить гостю. По воскресеньям надолго уезжают кататься верхом. Они не ощущают ответственности перед гостем в старом (возможно, буржуазном) понимании — когда хозяин и гость каждую минуту ощущали связь, словно скрепленную какой-то фальшивой договоренностью.

Характеры. Б., сестра М., — высокая, стройная, носит вельветовые брюки и твидовый пиджак; белокурые волосы постоянно в беспорядке; резкие, немного грубоватые черты лица говорят о твердом характере. Увлекается верховой ездой. Вечно занята — кормит лошадей или чистит конюшни. Ее муж, полковник Родзянко, выходец из России, — плотный, массивный, высокий мужчина, говорит на ломаном английском, носит густые полковничьи усы и до сих пор не изжил комплекс плебея. Известен как инструктор по выездке лошадей. Раздражает семейство тем, что не помогает вычищать конюшни и т. п. Похоже, его считают несколько жуликоватым[55].

Миссис Фаррер[56] — пожилая леди с острым умом и не менее острым языком, все еще деятельная и живо интересующаяся происходящим. По-прежнему grand dame[57]. Религиозная, практичная, великолепно воспитанная — этого не отнять. Странные голубые глаза, похожи на глаза ящерицы, она постоянно играет ими в разговоре. Наверное, в молодости была вызывающе красива. Слишком умна и проницательна, чтобы иметь сына такого наивного, каким представляется Майкл. Похожа на свою младшую дочь и на Р., которого К. не любит за его эгоцентризм.

Лэсси. Колли. Необычные иссиня-черные глаза со странно-отчужденным выражением. Овец побаивается. В доме фермера на положении домашней любимицы.

Дик. Хороший фермер, бычья шея, не лишен самодовольства, хотя и стыдится этого (ведь мы все его моложе). Практичный делец — своей выгоды не упустит. Не местный, говорит с акцентом, грубоватый язык. Его жена тоже практичная, в отношении К. проявляет себя несколько по-собственнически —

словно хочет мне показать, насколько близка к семейству Ф. Подозреваю, что она судит о людях предвзято и грубо, по-снобистски.

Особняк заперт; за прошедшее время он сильно пострадал от непогоды, даже фасад выглядит уныло. Кое-что осталось от бывшего сада, цветет кустарник.

В воскресенье утром я надолго отправился гулять в леса поместья. Путь мой пролегал мимо очаровательной старой церквушки в Ньютоне по идущей вверх дороге — там дует холодный сильный ветер, и когда начинается ливень, он несет его дальше. Прекрасный апрельский день, терпко ощущается приход весны, все вокруг зеленеет, появляются цветы — фиалки, примулы, чистотел — они растут повсюду. Дальше простирается долина, затянутые дымкой леса, красные домики и зеленые поля. Все пестрит солнечными пятнами, они чередуются с тенью. Огромное небо, белые облака и яркая синева — в те моменты, когда небо не мрачнеет и не начинает идти дождь. Я жую бледно-фиолетовые цветы, высасывая из них нектар. За мной увязалась Лэсси, мне приятно, что она пошла со мной, чужим для нее человеком. Ветер холодный, дорога пустынная, все яркое, свежее, все полно надежды. Я чувствую себя счастливым, укрывшись от дождя в стогу, и особенно потом, когда могу продолжить путь к лесу, быстро обсыхая под лучами выглянувшего после дождя солнца. В лесу — ни души, я бреду не спеша по тропам, слушаю пение птиц, испытывая радость от того, что снова, после долгого перерыва, нахожусь на природе и наслаждаюсь одиночеством. Ко мне возвращается прежняя пантеистическая гармония, чувство, что мне понятно все происходящее в лесу; я испытываю восторг от разных мелочей, сценок, от всего, что происходит в ежесекундно меняющейся обстановке. Сверкающий и переливающийся под солнцем хохолок крупной синицы. Визгливый крик сойки, дрозд деряба, малиновка — все поют на разные голоса. Аромат цветущих растений, кучно растущих примул, нежный запах фиалок.

Феодализм все еще жив, сохраняется стародавняя атмосфера уважения к главной семье округи. Все крестьяне знают о существовании особняка и «мистера Майкла». «Мистером Фаррером» по-прежнему называют покойного père[58]. Невозможно даже представить, чтобы коммунистическая идеология смогла овладеть умами этих селян.

Бэзил Б. С нетерпением передает интимные подробности удавшегося в этот уик-энд любовного свидания. Петушиное самодовольство, рев удовлетворения. Ведь в этом доказательство его мужской силы, он вызывает зависть и восхищение, хотя его

рассказ — смесь эгоцентрической гордости и психологического садизма. Вопрос в том (я начинаю ощущать раздражение от его «исповеди»), почему такие откровения не нравятся? Что это, обычные ревность и зависть? Или ханжество, мораль, оскорбленная на подсознательном уровне (я говорю на «подсознательном», потому что любой на его месте, в том числе и я, мог поступить так же, не испытывая при этом угрызений совести)? А может, это естественное неприятие интимных признаний, исходящих от друзей: ведь они тем самым открывают новые, неизвестные возможности в себе, а мы-то думали, что все о них знаем? Устоявшееся мнение теперь поколеблено, его надо как-то увязывать с новыми обстоятельствами. И когда я начинаю увязывать, то не могу отделаться от ощущения, что Б. все преувеличил, а то и выдумал — рассказ обольстителя, подобный пресловутым рыбацким байкам.

Невыносимая борьба между желанием писать и размышлять и необходимостью выполнять всю эту осточертевшую лишнюю филологическую и другую работу, что в конечном счете сводится к борьбе между нечистой совестью и добровольным принятием этого вызова, — вот откуда моя нерешительность и сомнения.

Питер Нерс[59]. Всецело поглощен экзаменами. Постоянно задает мне вопросы и сам же на них отвечает. У него есть все основания окончить «первым». Говорит только на профессиональные темы. Знает ответы на все важные вопросы. Мне неприятны люди, которые замкнулись только на университетских предметах, — они мирятся с пустотой и бессодержательностью, вместо того чтобы их отвергнуть.

Констанс. Чай и прогулка по Оксфорду. Она потрясающе выглядит, еще более юная, чем обычно. Меня непостижимым образом влечет к ней, хотя я нисколько не влюблен. Находиться в ее обществе спокойно и приятно. Даже молчать с ней не в тягость. Ее необычные причуды; когда она ничем особенно не занята, красота ее становится печальной.

Ли-он-Си, 6 апреля

Весна в расцвете, счастье, свет, радость и уверенность в себе.

Можно сказать, раскаленный вечер, хоть я и не вышел из себя. Исполняли Девятую. Мать вслух считает петли и шуршит бумагой. Отец спит. Тяжело и грустно: то, что пронзает мне сердце, с них как с гуся вода. Полное непонимание. Меня все чаще посещает чувство разрыва с миром. Печально, что мир так бесчувствен и плох, однако я горжусь, что сам обладаю интеллектом и знаниями. Особенно печально то, что человечество не стремится к самоусовершенствованию, и все же нужно предпринять усилия в этом направлении. Атлант всегда

нужен.

«Набережная туманов»[60]. Великолепный фильм. Обнаженная трагедия алчности. Кафкианская безысходность. Безукоризненный профиль Мишель Морган. Сотни тонких, поразительных нюансов и удивительная музыкальная тема — простая, ностальгическая, полная драматизма. В зале во время сеанса раздавались смешки и хихиканье — часть зрителей в буквальном смысле не понимала, о чем фильм. Когда шли сцены с поцелуями, сзади доносился шепот: «Вот это по-нашему», — а какая-то женщина сказала: «Не стоило брать его с собой». В конце, когда собака рвется с цепи, чтобы выбраться наружу, зал громко хохочет. Ужасно сознавать, что так много людей не могут вообразить или почувствовать трагедию. Англичане питают естественное отвращение к катарсису, к sensibilité[61], ко вкусу трагедии. Они боятся проявлений чувств. Ненавижу проклятое высокомерие Бэзила Г.[62], когда он снисходительно называет этот фильм «одной из тех штучек, где жизнь выглядит как она есть», всем своим видом выказывая при этом дружелюбие, терпимость, удовлетворение, как если бы «жизнь как она есть» была чем-то вроде анекдота, а не реальностью, обыденной, убогой нормой существования жителя пригорода, получеловека по сравнению с горожанином. Средний англичанин лишен воображения и чувств, а если они у него все же есть, то он слишком занят, чтобы их выказать.

9 апреля

Новое слово для определения моего ощущения от сегодняшнего утра — жизнестремительность. Кажется, что жизнь с бешеной скоростью проносится мимо — целые периоды жизни мысли уходят, подталкивая друг друга, чтобы пройти мимо меня, сквозь меня, выйти из меня. Шпоры сомнения, шпоры самоуверенности, близость нервного срыва, слабость, предчувствие болезни и смерти. Внезапное стремление к нормальной жизни, желание поиграть в гольф. На четырнадцатой лунке я почувствовал усталость и расслабленность — все-таки физические нагрузки мне необходимы.

Особенность этого утра. Мне вдруг показалось, что мое сердце бьется, как кузнечный молот; глухие пугающие удары — бум, бум, бум. Я не знал, что делать. Меня охватила слабость, состояние было ужасным. Вышел в сад и выкурил сигарету. Потом вернулся в свою комнату. Сохраняя спокойствие, сверил эти глухие удары с ходом часов, с движением маятника. Я здесь слишком зажат.

12 апреля

Пребываю в странном беспокойстве. По существу, за эти

каникулы я ничего не сделал, так что непременно буду третьим, или четвертым, или вообще провалюсь. Я говорю себе: нужно провалиться, чтобы стать свободным, дать себе реальный шанс. Если закончу вторым, это будет означать забвение. Стану преподавать историю, а не делать ее. Деньги, деньги, деньги — все упирается в них. Если бы только были деньги на два года спокойной жизни. На время для размышлений, чтения, неторопливого, без гонки, сочинительства. Представляю себе, как проваливаюсь на экзаменах, остаюсь без гроша и устраиваюсь работать на ферму или на корабль — куда придется. К счастью, мне все равно куда. Оксфорд уже выжат как лимон.

Внезапное потрясение при виде исключительно красивой девушки после малоинтересной партии в гольф серењким, тусклым днем. Появление ее неожиданно и неуместно. Рыжеволосая маленькая распутница в длинном темно-голубом вельветовом пальто и черных туфельках без каблуков, похожих на балетные пуанты. Итак, снизу вверх: черные туфли, несколько сантиметров чулок, голубое пальто, рыжая грива волос, коротко подстриженных по последней моде. Она шла подчеркнуто жеманно, слегка неуклюже, как будто не привыкла ходить пешком. Яркое пламя на скучной лондонской улице, заполненной магазинчиками, барами и щитами с уродливыми афишами и объявлениями. Во мне она вызвала странную, ноющую боль, сердце подсказывает: она — совершенное воплощение девушки, с которой можно быть сексуально предельно раскрепощенным. Она — весна несостоявшаяся, упущенная весна.

Оксфорд, 18 апреля

Пьем с Джоном Ли[63]. Крепкий, приземленный, раблезианский тип. Никакой утонченности, плаксивости и лицемерия. Консерватор. Клиентура здесь многоликая, находящаяся в основном на периферии общества, — социалисты, литераторы, разные сомнительные личности, бывают и semi-demi — женщины из светского общества, они сидят у стойки и поглядывают по сторонам. Одна хорошенькая живая девушка постоянно посматривает на дверь, хотя никого не ждет — возможно, надеется на некое символическое явление. Кафкианское чувство. Наверху блондинка в зеленом платье с глубоким вырезом, молоденькая, простодушная, много пьет, строит глазки, громко говорит и смеется с мужчинами за своим столом. Жалкий эрзац подлинной радости и веселья. Похоже, что для нее пить вино в модном заведении, болтать с вульгарными мужчинами, курить, ничего не делать, просто существовать — на самом деле скука смертная плюс смутное ощущение, что жизнь протекает бессмысленно. Возможно, простая, искренняя,

естественная попытка сблизиться с ней могла бы снять налет показного равнодушия и типичного ресторанного поведения.

«Праздничный день». Замечательный французский фильм[64]. Почти документальные съемки жизни французского провинциального городка. Насыщенная, достоверная атмосфера. И сам Тати, долговязый, ни на кого не похожий, застенчивый клоун.

25 апреля

Идет снег. Очень холодно, а все деревья в цвету. Что-то странное витает в воздухе, рожденное холодом предчувствие нового времени, смены прежних погодных условий.

26 апреля

Болезнь возвращается. Я чувствую себя одержимым, проклятым. Мне понятны средневековые суеверия — если бы я только мог поверить в эти духовные выдумки вроде чудес в Лурде. Но я знаю, что всему виной какой-то микроб или некая физиологическая аномалия. Фантазией тела не вылечишь. Здесь нет ничего духовного.

Днем гуляем в парках. Ясный теплый день. Люди хорошо одеты, на водной глади прудов — лодки, лебеди, дикие утки. Видел выводок утят — шесть пушистых комочков. Шоэн, молодой рыжий сеттер, невоспитанный, гибкий, аристократический, носится скачками по дорожкам, по траве, обнюхивает людей, гоняется за другими собаками, все время пребывает в движении. Маленький мальчик в ярко-красных брючках и девчушка в ярко-красном пальто смотрят на тускло-зеленую, в солнечных бликах реку, у девочки в руках желтые цветы чистотела. В этих парковых сценках есть особое очарование, идущее от величественного фона — деревьев, троп, зелени. И еще движущиеся пятна, разноцветные платья, собаки, детские коляски, сами дети. Вспышки ярких, кричащих красок, ярко-красных и ярко-синих, — все просто, наивно, весело. Парк — это радость. Тропы ведут невесть куда, нет коротких маршрутов, и потому все гуляют в свое удовольствие. Торопливая ходьба — грех.

Бэзил хочет помочь мальчику запустить игрушечный планер. Чтобы немного утяжелить его, он кладет в зажим на носу шестипенсовик. Монета оттуда вываливается и теряется в траве. Бэзил терпеливо объясняет мальчугану, как запустить планер, почему он летает и почему сейчас ничего не выходит. Затем сам бросает его, игрушка разбивается. Питер Мэлпес и я не можем удержаться от смеха — мальчик же вот-вот расплачется. Грех смеяться, но очень уж смешно. Бэзил становится на колени, говорит, оправдывается, дает мальчугану шиллинг. Подходит отец мальчика. Бэзил опять пускается в объяснения. Все кончается хорошо.

Бэзил исключительно точен во всех нюансах своих действий и

поведения — он, как искусный фехтовальщик, отбивает удары жизненных обстоятельств. Вежливый и обаятельный, он может, если надо, быть и резким. Люди бессознательно принимают его жизненную тактику, им импонирует его savoir vivre[65]. На практическом уровне он также обладает достаточными социальными навыками.

Еще мы встретили на своем пути огромного желтого шершня. Похожее на осу, упитанное мощное насекомое сидело у дренажной канавы. Я направил на него свой велосипед, но оно юркнуло в щелку и взлетело только после того, как я проехал мимо. Жуткая тварь.

Дни проходят бессмысленно. Ты просто существуешь, тебе то весело, то грустно. Больше ничего — никаких определенных достижений. Эти дни не останутся в вечности, их не коснутся лучи славы. В этом величайшая вина Оксфорда — тут понемногу, плавно, мягко, легко скользишь, сползаешь в уютное состояние никем и ничем не нарушаемой праздности, когда все дни — как старое золото, и все углы сглажены. Такое впечатление, что в городке установлен фильтр, отсеивающий как крупные неприятности, так и высшие радости бытия.

3 мая

Вечером зашел Подж Портер и объявил о крахе своего брака[66]. Его спокойствие и кажущийся цинизм выглядят удивительно неуместными. Подж относится к своему положению бесстрастно, никаких истерик или других проявлений экзальтации. Его отношение к жизни — любопытная смесь реализма и цинизма, сочетание естественного и надуманного разочарования в природе вещей. Подж — ярый антиромантик, разрушитель воздушных замков. Эйлин он сравнивает с опасно слабохарактерным Орестом. Ему недостает сердечности, но это искупается его подлинностью, сильным характером. Ум, разочарованность и чувство юмора — неплохое трио. О своих домашних и финансовых трудностях, о космологических отблесках на абсурде тривиальности он говорит в забавной, шутливой манере заправского шоумена. Блестящее использование им метода Сократа — позитивная, атакующая, разрушительная критика при недостаточной образованности — развивает ценные качества в его друзьях. Такие люди встречаются чрезвычайно редко, хотя он никогда не согласится с этим.

5 мая

Сегодня прилетели стрижи — значит, пришло лето. Они летали в тумане из-за низко нависших облаков.

8–9 мая

Люсьен Жак — плюгавый, невидный человечек с узким

лицом, седыми волосами и прекрасными кроткими карими глазами. Снисходительный и мудрый джентльмен-крестьянин. Простой и искренний. Умен. Знает Матисса. Несколько лет пас скот в Провансе. Его облик дышит спокойствием и миром, в нем есть та животная смышленость и мягкость, какая встречается только в людях, тесно сжившихся с природой — цветами, запахами, пейзажами, сельскими видами. Восхитительный человек. Не помню, чтобы кто-то другой так быстро произвел бы на меня столь чарующее впечатление[67]. Какой контраст с раздражительностью и циничной приземленностью Флушера! Спокойный, доброжелательный человек. Расположен ко всему миру. Создается впечатление, что он всего лишь бесхитростный любитель жизни, но на глубинном — не поверхностном — уровне он достиг великой вещи: мира в душе. Поразительно, когда вдруг встречаешь человека, обретшего мир.

9 мая

Люсьен Жак. Сегодняшнее впечатление подкрепляет вчерашнее. Он превосходно вписывается в свой мир. Умный, скромный, редкие вспышки самолюбия. Любимый композитор — Моцарт. Знает Г. Дж. Уэллса, Жида и других. Удивительно легко приспосабливается к обстоятельствам. Говорит очень тихо и медленно, но люди останавливаются и слушают. Речь его проста, иногда несколько эксцентрична, pittoresque[68]. Удивительно, но он принес с собой солнце — вот уже два дня стоит солнечная погода. Ни одного облачка за сорок восемь часов. У него дар Мидаса. Руки полные, с короткими пальцами, чуткие. Непрерывно курит. Особая манера сидеть — полностью расслабившись и опустив плечи, причем видно, что ему вполне удобно, да и сутулым его не назовешь. Когда ест, крепко держит нож и вилку, держит по-мужицки, не заботясь об окружении; мы следим, чтобы нож составлял одну линию с указательным пальцем, он же держит его под углом, довольно неуклюже. Сегодня вечером, на закате, он сидел в саду, привалившись к дереву и надвинув берет на глаза, одну ногу согнул в колене, опершись на него локтем так, что кисть свободно свисала, другую вытянул. Поза дышала непринужденностью и — хотя ему, должно быть, уже есть пятьдесят — юношеской непосредственностью. Такую позу не сможет принять человек, не работавший семь лет пастухом и не сидевший на изнурительной жаре, присматривая за стадом неделями, месяцами. Казалось, он может провести в такой позе вечность. У его глаз пролегли морщинки — следы не сходящей с лица улыбки.

Ненавижу ясную майскую погоду. Она слишком хороша. Абсолютная красота, счастье всегда несовершенны. Недалеко от

вершины, но не сама вершина.

18 мая

Первый день лета, ужасный день. Бледно-голубое небо, белый пух облаков, ни ветерка, только тяжелый, изматывающий жар. *Космически* прекрасная погода. Слишком много некрасивых Цветов хвастливо раскрыли свои бутоны, люди же выглядят подавленными. Летней хорошей погоде в Англии почти всегда сопутствует тяжелое чувство.

Разговор с Мерлином Томасом о моем будущем. Я чувствую себя виноватым, пристыженным и слегка недовольным тем, что решил плохо учиться. Когда я сказал ему, что не осмеливаюсь учиться хорошо, он не придал моим словам значения и заметил: «У меня ты между первым и вторым учеником». Это настолько не походило на правду, что я промолчал. Мне хотелось рассказать ему все об охватившем меня чувстве протеста, но такие вещи нельзя рассказать. Я не собираюсь исповедоваться ни перед ним, ни перед домашними, ни перед кем-то еще.

Вийон. Как он выделяется на фоне остального литературного леса! Мощный, темноволосый, яркий, наивный и мудрый, болезненный, ироничный, веселый, недовольный судьбой, мускулистый, нервный, искореженный. Тугой как лук. Никакого послабления, никакого перерыва, чтобы снять напряжение. В этом литературном лесу он очень тонкий и очень высокий. Никакого отложенного на будущее жирка — только твердое, неодолимое ядро[69]. Никаких ложных романтических свойств, никакой мягкости или сентиментальности (он находится на противоположном от Вордсворта конце; последний, напротив, добивался эффекта с помощью мягкости и сентиментальности. Вордсворт и вполовину не достоин неувядаемой славы Вийона, но работать в его романтической манере гораздо труднее).

Весь вечер меня, словно туманом, окутывает невозможность чем-то заняться. Этот туман никак не рассеивается. Перечитываю пьесу «Пандар» и вижу столько недочетов, longueurs, что это нагоняет на меня скуку. Главное — продолжать работать, тянуться к вершине воображения и творческого потенциала, что находится всегда впереди, где-то в новом мире за углом. Живительная сущность; только с ее помощью можно проникнуть в сопротивляющееся будущее и ярко осветить настоящее.

Банкет в честь победы на лодочных гонках. Состоится в 1.15 сегодня ночью. Мужская средневековая оргия. Пьянство и еще раз пьянство. Крики, марши, беззаконные действия. Помнится, я колотил по забору железными прутьями. Потом забился в дальний угол университетского общежития. Сейчас чувствую себя очень уставшим.

Консультация с Хардингом[70]. Вот типичное порождение Оксфорда. Невыносимо медлительный, дотошный и педантичный. Голос невыразительный, навевающий сонливость, однако без всякой протяжности, — в нем нет ничего, за что можно было бы зацепиться.

Скучный, как пустыня. Еще один маленький человек здесь — своей незначительностью он полностью подходит под категорию «маленького человека», — у него есть тетрадь с белой наклейкой, на которой аккуратно выведено «Литература восемнадцатого века». Видно, что на написание каждой буквы потребовалось время: палочки и изгибы букв толстые, такое достигается многократным параллельным вождением пера. Буквы украшают завитушки, но все в меру. Психология человека, тратящего время на подобную каллиграфию, — это психология умственно отсталого школьника. Было интересно представить себя на его месте, праздно раскрашивающим тетрадь. Какое пустейшее занятие! Вообразить это оказалось так же трудно, как представить себя в Патагонии. В любом случае таким людям надо запрещать работать.

28 мая

В золотистом очаровании — сам день неровный, солнечная погода перемежается с облачной — мушка с изумрудным брюшком села на мой залитый солнцем грязновато-серый подоконник ровно в 10.21 утра. Я мог бы написать по этому поводу стихотворение, но решил запротоколировать это событие. Маленькая мушка с зеленым брюшком появилась на Вудсток-роуд, 72, в 10.21 утра, 28 мая 1950 года, в момент краткого проблеска солнца. En fais ce que tu veux[71]. Мне хочется все записать — каждое мимолетное, мельчайшее пятнышко, которое входит в симфонию света.

Чтобы быть точным, я должен записать так: моя комната, Вудсток-роуд, 72, Оксфорд, Англия, наш мир, наша Солнечная система, наша Галактика, наш космос. Мы представляем себе один космос, я же представляю несколько, они увеличиваются в объеме и сближаются. Взаимопроникновение космосов! Как вращающиеся спицы колес — так же заменяют друг друга, разрушая.

В уик-энд опять не работаю. Вечер провожу с Бэзилом Бистоном и Джоном Ли. Наутро День Святой Троицы. У меня раскалывается голова, а во рту и в мозгах отвратительный привкус безделья и пустоты. Тупая, однообразная безнадежность похмелья. Бесполезность его. Бесполезность моей бесполезности. Ненавижу себя: ведь совершаю вещи, за которые испытываю презрение к себе. Я сел за стол, пытался работать, слушал радио,

думал, мечтал, и все мне было противно. В такое утро можно сгоряча, в порыве раздражения, покончить с собой, понимая, что впоследствии пожалел бы об этом. Грустный, подавленный, переживая перепады настроения — постоянные спутники похмелья, я понимал (мне ненавистна мысль стать рабом чего-либо, в том числе и алкоголя), что все это вещи второго сорта, пустая трата времени. Можно найти занятие получше.

Я пытаюсь жить, быть экзистенциалистом, наслаждаться каждой секундой, но что-то все время мешает — мучает подозрение, что есть нечто, что я упустил. Кроме того, всегда есть завтра и вчера. А из того, что мы о них знаем, причем много знаем, невозможно замкнуться в сегодняшнем дне. Прошлое — судья и критерий настоящего. Подлинное наслаждение — в настоящем моменте, однако насколько это воспоминание будет приятным, зависит от того, как оно воспринимается на фоне прошлого. Будущее же — испытательный полигон, где проходят проверку наши мечты и планы. Шкаф для идеалов, умаляющих настоящую реальность.

Большую часть дня лежу в саду. День жаркий, располагающий к лени. Вокруг много людей. Пришла пить чай Констанс, стройная, молчаливая и скрытная, как обычно. Сидя на ковре, мы маленькими глотками пили китайский чай и изредка перебрасывались отдельными фразами. Я чувствовал себя удовлетворенным, bien[72]. Потом отправились к Поджам. Мы сидели в саду, и я играл с котенком, глаза которого в зависимости от угла зрения приобретали то цвет морской волны, то розовато-лиловый. Поджи были непривычно циничными, но не теряли свойственную им способность быстро переключаться на вопросы метафизики, философии, жизни и искусства. Они специалисты по части углубления темы. Говорили об успехе и искренности. Они отказываются верить, что я мог бы работать на ферме, не испытывая интеллектуального голода. Я же чувствовал, как во мне крепнет смутное намерение устроить из своей жизни эксперимент, попробовать быть полностью честным и искренним с собой. Ведь это мой единственный шанс — так используй его с умом, насладись этой возможностью. Нет никакого смысла готовиться к экзаменам — они ведут к благополучной карьере и постепенному загниванию. Такой путь — открытая дверь, но входить в нее не надо. Отнесись с презрением к предлагаемому благополучию — вот правильное решение. В ответ мне приводили неопровержимые факты, работающие против моего решения. Но я, слава Богу, еще достаточно молод, чтобы справиться со всем, что будет мне препятствовать без всяких на то причин. Этот вечер я провел не без пользы, и хотя сам говорил, по своему

обыкновению, немного, зато сумел оформить в мысли свои чувства. Я истово верил в свободу воли и был готов признать правильность своих убеждений и действовать в соответствии с ними. Нет сомнений — я хочу жить по своему выбору, то есть, говоря другими словами, писать. Хочу быть как можно свободнее, чтобы живущему во мне художнику было просторно.

2 июня

Вчерашняя консультация с Хардингом была адом. Два потерянных часа. Настолько бездарно потраченных, что кажутся двумя годами, вот настоящий грех, чистое варварство. Эта его неуверенная манера, поиск нужного слова. Он постоянно теребит очки или шнурки, раздумывая, что бы сказать. С уважением относится к банальностям, подчеркивает очевидные вещи. Его речь перемежается долгими паузами, такими долгими, что испытываешь смущение, гнев, смех. Полное отсутствие живого интереса к работе. Академическая сухость. Чувство юмора отсутствует. Раздражает его манера делать ударения, повышая голос или делая его более вкрадчивым, на словах или предложениях, несущих значение, к которым традиционно существует уважительное или восхищенное отношение. Словно им движет не искреннее восхищение, а один лишь обычай. Голова моя раскалывалась, трещала от неудовлетворенности. Находясь в подчиненном положении, я был взбешен, напряжен и взволнован тем, что такой недоумок может быть преподавателем. Лица остальных студентов были неподвижными и непроницаемыми. Я видел, как за окном двое шедших по улице людей вдруг остановились и прильнули друг к другу, жадно целуясь. Она провела рукой по его голове. В то время как Хардинг витийствовал, навевая сон, я мечтал о губах той девушки, на Квин-лейн.

8 июня

Ежедневный ад и атрибуты экзаменов. Это значит, что надо рано вставать, надевать темный костюм и белый галстук, брать с собой плащ и академическую шапочку, входить в университетское здание, подниматься по каменным ступеням, оказываться в большом зале, где сидят согбенные фигурки, а после писать, писать, писать. А каждый вечер зубрить как безумный, готовясь к очередному экзамену. Череда настроений: эйфория, самонадеянность, склонность к шутливости, отчаяние, усталость, возбуждение, депрессия. Сейчас я поглощен экзаменами и переживаю все эти эмоции. Отношусь к сдаче серьезно и удивляюсь, как много знаний удается извлечь из прошлого. Невозможно сопротивляться желанию победить экзаменаторов. Но сейчас я сижу между двух стульев. Умен, но ленив.

14 июня

Экзамены. Сегодня я сдал самый трудный экзамен. Чувство облегчения и самодовольного ликования. Никто не работал меньше меня и никто не заслуживал меньшей оценки. Мне повезло, и еще сработал мой метод усиленной подготовки непосредственно перед экзаменом — я верю в него. Каждый вечер я зубрил как сумасшедший и легко справился с вопросами. Какой все же фарс эти экзамены, они не позволяют правильно оценить знания! До смешного неэффективны. В основном дело тут в памяти. Один вопрос по огромному материалу! К счастью, я отношусь к экзаменам как к фарсу, как к игре, которой не избежать, — будь что будет. Относиться к экзаменам серьезно — должно быть, большое страдание.

16 июня

Э.М. Форстер «Хауардз-Энд». Скучная, лишенная очарования книга. Странная, написанная в женской манере, со старомодным душком. Словно автор — образованный кролик. Неинтересны и неубедительны попытки писателя разрешить мелкие моральные, философские, психологические и метафизические противоречия. Относительно красочный стиль, но при этом ни одного по-настоящему яркого описания. Есть в книге и *чувствительные*, романтические моменты. История, возможно, и достоверна, но ей не хватает убедительности, вредят и элементы цинизма. Атмосфера приглушенная, болезненная.

19 июня

Последний день выпускных экзаменов. Экзамен был трудный, и сдал я его неважно. Когда все закончилось, я чувствовал себя ни хорошо, ни плохо. Своего рода антикульминация, но не совсем. Облегчение: ведь неприятный период в жизни остался позади. Новое ощущение свободы, независимости и — бесцельности.

20 июня

Расположившись в саду Нью-Колледжа в солнечный ветреный день, читаю «Грозовой перевал». Как приятно читать книгу, действие которой не тормозится символическими или психологическими отступлениями. В саду появилась хорошенькая девушка в пляжном костюме; подобрав повыше юбку и обнажив плечи, легла на траву у берега. Тут в сад входит тучный Исайя Берлин[73], по убеждениям космополит, и следовательно, человек неприятный по традиционным английским стандартам, а с ним юный Джеймс Джолл, стройный и белокурый. Оба в темных костюмах. Совершив невероятные прыжки, оказываются за углом, где лежит красавица — голова ее прикрыта капюшоном, — поглядывают искоса в ее сторону, что-то обсуждают, весело и самодовольно посмеиваясь. Я пытаюсь представить, на что похожа

эта сценка, и решаю, что она взята из жизни монастыря. Как если бы монахи увидели купающуюся пастушку. Я вижу Исайю Б., погружающегося, подобно морской свинье, в глубокую, темно-зеленую тень каштанов, в то время как его совиная голова, выпученные глаза и толстые губы по-прежнему обращены в сторону девушки. В какой-то момент он выглядит совсем как сатир.

21 июня

Интересный вечер с Поджами и их другом, малоизвестным режиссером Стивеном. Этот высокий бунтарь выглядит для своих лет (35–37) молодо, его переполняет наивная вера в коммунизм.

Сам он это отрицает, но левое крыло, к которому он примыкает, простирается так далеко, что «социализм» тут — простой эвфемизм. С неприязнью относится к среднему классу (из которого вышел сам). Называет себя прирожденным революционером, судя по его словам, можно подумать, что это же везение, как врожденное умение плавать или кататься на коньках. Ненавидит Америку, капитализм, консерватизм. Опасная, ограниченная, пылкая личность. Не имеющая корней, разрушительная. Поджи, как обычно, циничны и веселы, их пессимизм выглядит нелогично. У Эйлин есть привычка шокировать, вести себя вызывающе, и это вносит свежую струю. Время, проведенное в их обществе, после недели безделья, сосредоточенности на себе и потворства своим капризам подействовало на меня как холодный душ. Говорили о войне, экономике, о шансах на существование, выживание. Теперь это был уже пессимизм взрослых, серьезных людей. Темная полоса, внезапно закрывшая тонкую радугу. Я молчал, никак себя не проявлял, слушал, чувствуя себя чужим, мудрым и более глубоким, чем остальные. Слушая коммуниста, я почувствовал правоту Вольтера («cultiver notre jardin»[74]), эти слова подходят для такого раздерганного существования, как наше. Они означают: занимайся своим делом, но не будь эгоистом — живи и оставайся самодостаточным, помогай, если нужно, будь терпимым, довольным, не высовывайся, занимайся философией, наслаждайся природой и простотой. И никогда, никогда не связывай себя обязательствами, касающимися неких идеалов. *Мученичество никогда не приносит результатов*. Когда дело касается ума, широта важнее долготы.

Когда я уходил, мне вручили подарок, пьесу «Юнона и павлин»[75], с дарственной надписью. Поступок тронул меня: несмотря на разницу наших взглядов, я чувствовал большую симпатию к этим людям. Они принадлежали к тем моим друзьям, которых я меньше всего хотел бы потерять. У Бэзила Бистона есть

здравый смысл, он близок к природе; у Роджера Хендри напор; Гай Харди невероятно обаятелен; Подж и Эйлин умудрились соединить в себе все эти качества. Я воспринимаю их как одну личность.

Большую часть дня провел с Бэзилом в Минстер-Ловелл. Рисовали пейзажи. Я, как всегда, был слишком нетерпелив и радостно возбужден. Использовал слишком много кричащих сочетаний. Потом тот же вид передал в кубистской манере.

Ли-он-Си, 27 июня

Последние дни я провел с большой приятностью для себя. Бэзил — отличный товарищ, но он подавляет во мне все лучшее. С ним я потакаю своим прихотям. В течение долгого времени я не пишу стихов, вообще ничего не пишу. И все же жизнь моя наполнена, и, если бы не последнее обстоятельство, я был бы счастлив. *Жизнь должна быть свободной для творчества*. Здесь, в Ли, я ощущаю себя как в вакууме, находясь меж двух миров. Оксфорд, передавший мне все лучшее и худшее, что в нем есть, остался позади. Чувствую, как во мне растет новое физическое «я» — тело стало мощнее, кожа смуглее, лицо округлилось и повзрослело, и, если я нахожусь в хорошем настроении и улыбаюсь, верхние веки опускаются под углом и набегают морщинки. Эта новая личность более гедонистическая, самодовольная, доминирующая и напористая. Однако я чувствую себя глубоко аморальным человеком, как будто неприятие абсолютных понятий ослабляет у меня чувство справедливости, добра, долга и респектабельности. Как раз в это время известия о корейском инциденте затмили яркие события личного существования. Американцы вмешались, и возможно, в этот момент их убивают. Война потирает руки[76].

29 июня

Брейфилд: радость от тяжелой работы, напряжения и ритма физического труда. Моя задача — управлять лошадью с телегой, проезжая две-три мили по проселочной дороге. Чувствую себя летчиком-испытателем на новом самолете. Кожа на руках у меня нежная. От черенка вил мгновенно образуются волдыри. Вокруг дома множество ласточкиных гнезд — под крышами конюшен, рабочих сараев. Какие это радостные, красивые, блестящие, воспевающие синеву небес создания! Двенадцать голубей выпорхнули из зарослей желто-зеленого клевера и дикой горчицы, их веерообразные черно-белые хвосты и бронзовые спинки смотрятся великолепно. У дороги работник косит траву; в ремне за спиной он держит точильный камень, кожаный ремень специально изготовлен для этой цели. Каждый, кто проходит мимо, говорит что-нибудь про его успехи. Тут очень тесное

сообщество. М.Ф. знает, по сути, всех — и взрослых и детей. В Ньютон-Блоссомвиле — название на скорую руку! — теперь на девять жителей больше, чем в Книге первой всеанглийской переписи.

Новой жизни сопутствует множество мелких неприятностей. Волдыри, порезы, синяки. У меня притупилось чувство физического напряжения, медленно текущего времени. Здесь меня все критикуют, каждый по-своему; это критика сельских жителей, они счастливы высказать свое мнение и получают от этого удовольствие. Фрэнк и Джек; один мрачный нытик, вечный жалобщик; другой тоже любит поныть, но делает это с улыбочкой, веселым огоньком в глазах. Они вспоминают старое время, расцвет их молодости. Сегодня произошла катастрофа. Я вывозил за ворота телегу, груженную сеном, и случайно въехал в боярышник — телега накренилась, опрокинулась и сбила с ног Трупера, тащившего воз. Шок, паника. Трупер старается встать на ноги. Я не отхожу. Прибежали остальные. Несколько минут продолжалась безумная возня — пытались отцепить коня от телеги. Клубы пыли и взлетающие в воздух копыта. К счастью, никто не пострадал. Я не получил ни единой царапины. Майкл чуть ли не потешался над этой сценой, он удивительно умеет владеть собой и не теряет присутствия духа, когда встречает препятствия на своем пути.

Длинноногий худой М. — настоящий сгусток энергии. Постоянно что-то делает. Если прекращает свою деятельность в одиннадцать, то возобновляет ее в полшестого утра. Обходит поместье, все осматривает, проверяет, чтобы убедиться, что все в порядке. И так 14–16 часов каждый день. «Я слишком устаю, у меня не остается времени для себя — даже почитать не успеваю, не то что писать».

6 июля

Работа и усталость притупляют все остальное. Замечаешь нечто интересное, какое-то время помнишь, представляешь, как это можно изложить и записать, а потом забываешь. Главное здесь — земля и напряженный труд. Навоз и работа. Неумолимая череда кормлений и возделывания почвы, почти всегда на грани срыва. Есть хорошие минуты. Гусята, глупые и пугливые (ну-ка следуй за вожаком), — у них крошечные крылышки и дрожащие лапки. Гончие, Богиня и Гордон, вечно голодные, грязные, тощие, в постоянном поиске, держатся дружелюбно, но близко не подходят, о дисциплине не имеют ни малейшего представления.

Майкл Фаррер — любопытная смесь интроверта и экстраверта. Он приветлив, вежлив и ласков со всеми, однако ни с кем не хочет близко сходиться, не хочет знать мысли и

характеры других людей. Все его старания уходят на решение мелких проблем. У него есть собственный, хорошо разработанный словарь сленга — экстравагантные названия для разных состояний. Так, стужу он именует Генри Чиллингтоном. Меня неизвестно почему зовет Веллингтоном. Кормление свиней у него «операция хрюшкаест» и т. д. Все семейство отличает крайне несентиментальное отношение к жизни. Лишь изредка ледяная корка трещит, и ты видишь под ней настоящего, живого человека. М. каждому говорит почти одно и то же, со всеми обращается с грубовато-снисходительным добродушием. Он не считается с чувствами других людей, но его резкие выпады окутаны таким шармом, что не могут обидеть и не приносят вреда. Он и миссис Ф. беседуют и вежливо обмениваются небольшими подарками; создается впечатление, что оба при этом знают: это одна лишь игра, ничего серьезного. Двойная радость — давать и получать. Констанс часто приписывают чувства, которые редко ее посещают: «Констанс ужасно рада, она шлет свою благодарность…» и т. п. Майкл всегда ее прикрывает.

Констанс беседует преимущественно о лошадях и скачках, часто повторяется и говорит то же самое, слово в слово. Я сижу, улыбаюсь и молчу, чувствуя, как во мне нарастает скука и раздражение. Ненавижу атмосферу соревнований, когда к лошадям и к девушкам-наездницам относятся как к игрушкам. Братство пота и опилок. Мне кажется нелепым вот так сидеть и серьезно обсуждать подобные вещи.

17 июля

Установленный порядок в Брейфилде — тяжелый, притупляющий восприятие. Я всегда так устаю, что пустил все на самотек. Деревенское существование, где недостает мужской силы, слишком напряженное, слишком перегружено работой, чтобы удовлетворить того, кто не является животным в человеческом облике. Ни на что не остается времени. Майкла это не смущает. Похоже, он не нуждается в отдыхе, в смене сельского труда на интеллектуальную или художественную деятельность. Только работа — никаких развлечений. У меня день на день не приходится, но обычно с 7 до 9 утра я кормлю цыплят, телят и гусей; с 10 до 13 заготавливаю сено или окучиваю сахарную свеклу; с 14 до 17 делаю то же самое; с 17.30 до 19 кормлю животных и собираю яйца. Но по непонятным причинам мой рабочий день никогда не заканчивается раньше 21 часа. Однажды я работал с 6 утра до 21 вечера только с двумя перерывами: час на завтрак и полчаса — на чай. Временами от всех этих бесчисленных обязанностей на меня наваливается усталость, и тогда приходится бороться с собой, доказывая, что я могу

работать. Однако такая жизнь — великолепное очищение после Оксфорда: тяжелый труд, жизнь на природе, близость к естественному существованию. Смерти и рождения животных, ощущение связи между событиями; факел продолжают нести, невзирая ни на что. Я не мог бы прожить всю жизнь под таким давлением. Существование становится насмешкой. Кто-то делает добровольно то, для чего в противном случае потребовался бы концентрационный лагерь. Но есть и свои награды. Я обожаю управлять трактором. Сам трактор представляется мне большой и дорогой игрушкой.

Особенно запомнились два случая — один приятный, другой ужасный. Последний связан с ягненком, в котором завелись черви, они проели ему весь зад, с легкостью забираясь через его кожу внутрь и вылезая наружу. Это был какой-то кошмар. Мы вымыли ягненка в сильном дезинфицирующем растворе, удалив около кварты червей. Потом я пытался вытащить оставшихся червей из проеденных дыр хирургическими щипцами. Ягненок умер через полчаса после ванны. Бессмысленная жестокость этой жуткой смерти пугает. Какое ужасное, нелепое существование! В другом случае в старом железнодорожном вагоне вдруг обнаружили груду рамок со старыми медовыми сотами, они по-прежнему хранили крепкий, дивный аромат бывшего меда, запах этот — свежий, тонкий, настоянный, медово-восковой, бархатный — был смягчен безветрием и временем. Запах подобен тихой заводи, навевающей тоску о прошлом, полной разного рода воспоминаний — душевных и плотских. Воспоминаний о богатстве и наслаждении, здоровом природном наслаждении, о всеобъемлющем золотом веке. Среди этих воспоминаний и сочные, густые, незабываемые ароматы.

Кормлю поросят из бутылки; к ним чувствуешь какую-то удивительную нежность. У матери нет молока, и поросята слабели и умирали один за другим. Они ходят, приволакивая ноги, визжат и все время ищут местечко потеплее. Их веки, реснички, крохотные пальчики прелестны и утонченно-хрупки.

Ванна для овец. Я сам придумал такую ванну — лист железа и плотная загородка вокруг. В одно прекрасное утро мы пропустили через это устройство пятьдесят овец. Довольно утомительная процедура: они такие большие и неуклюжие, а каждую надо погрузить с головой. Мы сами промокли до нитки. Деревенский полицейский со смехом следил за нашими усилиями и даже назвал меня «старина». Полицейский хочет казаться строгим: ведь он еще молод и явно рассчитывает на повышение.

Неизбежное однообразие дней. Они исчезают зловещим образом, как невидимые двери-тайники, о которых никто не

помнит, где они были раньше. Начинаешь привыкать к полям, животным, людям, тебя поглощает поток текущих, однообразных дел, и ты уже не знаешь, как выбраться из этого потока. Деревня — сама себе часы.

Ситуация в Корее заслоняет все остальное. Сам я равнодушен и безразличен к тому, что там происходит. Уверен, что для Южной Кореи коммунизм был бы лучшим решением, но уверен также и в том, что для нас этот вариант был бы наихудшим. Если бы обе стороны могли видеть эту относительность. В каком-то смысле для коммунистов это крестовый поход.

Устный экзамен. Нас по одному вводят в экзаменаторскую. Пять преподавателей, трое мужчин, две женщины, сидят за столом — трое во главе, двое по бокам, словно военно-морской трибунал. Мы входим по одному и беседуем с ними. Мне дали говорить на французском всего пять минут. Я прочел последний монолог из «Федры».

Чендлер «Прощай, любимая». Обыкновенный, легкий, изобретательный писатель, умеющий держать аудиторию в напряжении. Скоро назад, в безжалостную сельскую рутину. Временное пристанище.

20 июля

Весь день чувствую себя больным. Недомогание, слабость, Тошнота. Но работы много. Утром рыли яму, чтобы похоронить свинью. Нам обоим это напомнило, как мы копали канаву для сортира; возможно, вскоре нас ждет то же самое.

Не знаю, что делать с фермой, если начнется война, — говорит Майкл.

Говорит так, будто остаться дома и продолжать работать невозможно. Его добросовестность просто уникальна. Однако именно поэтому я испытываю к нему легкую толику презрения. Не могу отделаться от мысли, что долгие часы работы, его упрямство, повышенное чувство долга — и на народе, и наедине с собой, все это говорит об уме, чьи пределы велики, но все же ограниченны. Прекрасный член общества. Неприкаянные же, вроде меня, остаются в одиночестве.

Тони. Белокурый темноглазый мальчуган, великолепно знает птиц. Робкий, простодушный, соображает медленно, но не дурак. Ум не городской, а сельский. Его родители — бедняки. Прекрасные человеческие данные. Я вспоминаю о нем, когда узнаю, что лорд Лейк ежегодно жертвует на гончих Окли 350 фунтов. Как мне это противно! Десятки богатых фермеров и скотоводов отдают деньги на охоту. Будь у меня воля, я покончил бы с охотой как с чумой. Эти деньги нужно было бы раздать мальчишкам — таким, как Тони, чтобы они могли купить себе

рыболовные крючки и леску для рыбалки, и еще бинокли, чтобы наблюдать за птицами, и книги для чтения.

23 июля

Снова начинаю чувствовать «контакт» с дикой природой. Весь секрет в медленном, осторожном движении, развитии интуиции, а также в постоянном — не время от времени — внимании к окружающему миру. Я видел, как водяная крыса плавает в пруду, заросшем кувшинками; это усатое животное издает своеобразный запах, оно добродушнее нашей обычной крысы и приятнее на вид. Крыса плавала в пруду неспешно, но без вялости и с пользой для себя. Заливаются ласточки. Слов не нахожу, как мне нравится их пение.

Хелен Сондерс. Крупное темноволосое массивное существо с грубоватым голосом. Произошла небольшая contretemps[77]. Сегодня утром меня оставили с Хелен на час наедине. Я с ней не разговаривал, читал; по радио звучала музыка. Заговори я с ней, умер бы от скуки. Позднее, когда все думали, что меня нет, я слышал, как она жаловалась, что я за все время словом с ней не обмолвился.

Себе я сказал; «Je m'en fous»[78]. Мне она не интересна; сама мысль о том, чтобы ее поцеловать, вызывает отвращение. Но все эти объяснения кажутся низменными. Эгоистичными в высшей степени. Мое поведение было грубым и привело ее в смущение. Возможно, я нетерпим к наследственным недостаткам. Но мне наплевать, я доволен, что держался независимо и искренно. Однако в обществе такая модель поведения невозможна.

Этот эпизод из ужасного периода détente[79] — тогда интеллектуальное и творческое начала дремали во мне. Я бездействовал. Выполнял свою работу, существовал. Но не творил.

26 июля

Письмо от Поджа, он сообщает, что я окончил Оксфорд «вторым». Безумная радость. В какой-то степени я этого ожидал. Никто мне не верит, когда *я говорю*, что совсем не готовился. Но мой опыт говорит, что традиционную систему можно изменить с помощью интеллекта и решительных усилий в нужный момент. Я сдал, потому что каждую ночь перед очередным экзаменом несколько часов интенсивно занимался. Все это кажется совсем не важным, как кажется не важной туристическая виза в сравнении с самим путешествием.

29 июля

Странный, запутанный сон. Мы с Констанс остались одни в коттедже в Брейфилде; между нами пробегал слабый ток, мы ощущали напряжение и смущение. Приди она ко мне, я оказался

бы бессилен. Но я заснул. Во сне я был в гостиничном баре, куда пришел с мужчиной, другом. Там же находилась девушка, она сидела, опираясь на стойку, и пила в одиночестве, не поворачивая головы. Мой друг с кем-то заговорил, и тут девушка вдруг повернулась ко мне и сказала: «Хотите еще по одной?» Меня шокировало такое грубое обращение, и я отрезал: «Нет, не хочу». Однако позже мы с ней вместе шли по коридору. Там были другие люди. Потом я понял, что девушка — la petite Suedoise[80] с копенгагенского парома, которая тогда мне так понравилась[81]. Любопытное использование ностальгических воспоминаний для выражения сегодняшней неудовлетворенности.

31 шюля

Письмо от Кертиса. Место в Пуатье свободно. Будущее улыбается.

1 августа

Неожиданно отец впал в депрессию. Угроза войны в Корее, состояние бизнеса. Как изводит его жизнь! Сотни незначительных обстоятельств, и вот он уже не способен на волевое усилие, решительный поступок. Окружение — как пиявки, пьющие из вас кровь. Никакой свободы действий или мысли, никаких причуд, никаких ярких проявлений и искренних связей. Из паутины провинциальных предрассудков ни на шаг. Рутинное, лишенное воображения существование, словно ты мышь или крот. Его нельзя убедить пойти на финансовый риск ради возможной выгоды. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Однако новая, более надежная и выгодная деятельность могла бы принести силы и омолодить, как весеннее утро. Стоит взглянуть, как отец ходит по саду, потрогает тут, коснется там, просто смотрит. В саду просто повернуться негде, и однако эти пол-акра он называет «колоссальными угодьями», «безграничными» и тому подобное. Его так же трудно воодушевить, как старого фазана. Он всегда найдет новый предлог, новые препятствия, новые отговорки. В том, что он во всех ситуациях предполагает самое худшее, есть даже нечто комическое. Ужасно видеть, что он ко всему утратил интерес. Никакого хобби, никаких интересов вне дома. Медлительная улитка. Жаль, что не могу достать на пару недель автомобиль, я показал бы ему новый мир.

Батлер «Путь всякой плоти»[82]. На мой взгляд, роман тяжеловат. Слишком много проповедей — золотой середины, терпимости, много мудрствования, все слишком основательно, умеренно, скучновато, беспристрастно. Однако место, где он говорит, что нам следует многое позаимствовать у животных, которые живут настоящим, не думая ни о чем, кроме ближайшего прошлого и будущего, произвело на меня впечатление. Здесь я

узнал много о своем теперешнем — где-то эгоистическом, где-то экзистенциалистском существовании. Мне не следует ехать во Францию. Но я поеду. Когда читаешь роман, становишься лучше. Действительно крупное произведение. Чувствуется влияние Филдинга. Большой недостаток — отсутствие страсти, жизни, вездесущей души. Книга написана — и душа умерла. От книги веет классикой, ее следует читать в классическом издании. Исчерпывающий, выдержанный, выверенный стиль. Полная противоположность стилю Лоуренса.

1—31 августа

Каникулы во Франции с 1 по 31 августа[83]. Нельзя сказать, что они очень удались. Причин несколько. Отсутствие понимания с остальными. Если я не позволяю себе иногда быть интеллектуалом, умником, то впадаю в депрессию.

Кроме того, Франция утратила для меня свою новизну, а глубоко эту страну я еще не узнал. Свежесть первого знакомства осталась позади, а благодарным старым клиентом я не успел стать.

Я плохо себя чувствовал и не мог писать. Был зажат.

Не люблю путешествовать так далеко и так стремительно. Люблю пустить корни и разрастаться.

Не стоило ехать и по финансовым соображениям.

2 сентября

Невероятный застой, царящий в этом городе, действует на меня. Малоподвижный, уединенный, закрытый стиль жизни. Я могу сидеть целый день, пытаясь думать, планировать, писать, но все сводится только к мечтаниям. Меня убивает бедность, она грозит погубить мое будущее. Я чувствую, как старею, не познав глубин наслаждения, не обретя опыта. Сосредоточенное на себе, убогое существование. Живу с людьми, с которыми трудно говорить, а ведь они мои родители. Никаких общих тем. Застарелые проблемы. Сексуальная неудовлетворенность. Ощущение безответственности, медленного дрейфа, невесомости. Двадцать четыре года — и нет работы и надежды на успех. Бесцельность и пустота. И вырваться нет сил. Учиться в Оксфорде, не имея денег, — большая ошибка. Обетованная земля рядом, но тебе туда нельзя. Нужно работать, зарабатывать деньги, чтобы вести существование, которое тебе по средствам, — материальное существование, жена, машина, дом. Моя жизнь ненужная, бесполезная, потраченная впустую. На этом фоне даже депрессия — всего лишь заурядная вещь. Жизнь бесцветна.

12 сентября

Гайдн. Опус 772. Квартет фа-мажор. Элегическая простота третьей части. В музыке Гайдна есть что-то очень наивное и

трогательное. В нем нет того ума и силы, что отличает Бетховена и Моцарта. Он то печален, то радостен, всегда интересен, никогда не груб. Утонченная домашняя жизнь.

Теперь я сохраняю бабочек по-новому. Отрываю крылышки, наклеиваю на полоску бумаги и затем кладу в целлофановый пакетик. Эта работа без всякой претензии на научность. Собирание необычных экземпляров — своего рода наркомания, с которой я борюсь, как и с некоторыми другими вещами. Но здесь присутствует красота. Работаешь с красотой. Крылья так прекрасны. Особенно бледно-зеленое сияние на крыльях голубого парусника, там выцветший голубой цвет вдруг обретает необыкновенный радужный блеск.

15 сентября

«Джеймс-грив». Очень аристократичное яблоко. Одно из лучших по вкусу и аромату. Я получил удовольствие, собрав сегодня утром корзину этих яблок — крупные, оттенки колеблются от бледно-зеленых до желтых, некоторые красноватые. Большинство не червивые.

Гомер «Илиада». Она так величественна, огромна и легендарна, что недосягаема для критики. Поразительно, с каким добродушным юмором описывает Гомер и людей и богов. Он вознесен над всеми. Все действия, все эпизоды изображены условно — лаконично и безукоризненно. Высокая степень стилизации — так расписывают вазы. Однако на тексте лежит отсвет человечности, встречаются изумительные метафоры. Ощущаешь любовь автора к простым вещам, к их незамысловатым формам и свойствам. Человечность Гомера проявляется в иронии — он представляет героев (среди них могут оказаться и боги) со всеми их недостатками. Они сами постоянно умаляют свое величие. Как мимы, у которых сползают маски. На самом деле создатель героической мифологии, похоже, сам смеется над этим. Другая отличительная особенность — юмор. Чтобы юмор ощущался через три тысячи лет, он должен быть исключительно живучим — взять, к примеру, сцену игр, когда Ахилл покупается на очевидную лесть Антилоха, а Агамемнон получает незаслуженную премию[84]. Ахилл оценен беспристрастно и изображен скорее темными красками. Самодовольный, напыщенный хвастун и забияка. Подкупает только его краткая речь в заключительной сцене с Приамом[85].

Диомед — еще один неотесанный забияка. Как и должно быть, самый притягательный герой — Одиссей.

Как правило, испытывают сострадание к троянцам. Греки, за исключением Нестора и Одиссея, — невероятные зануды, надутые и самовлюбленные.

23 сентября

Пернатая дичь в болотах Ли. Холодный ветреный день. На болотах никого, кроме сборщиков мидий. Облачно. Но закат прекрасен. И еще тонкая линия иллюминации, горящая драгоценными камнями, бриллиантами, изумрудами, рубинами, оранжевыми огоньками; в четырех милях от болот, она тянется вдоль набережной Саутенд вплоть до пристани. Приятно сидеть в темноте, знать, что к тебе подкрадывается все ближе опасный прилив, а за спиной догорел закат, ощущать ледяные порывы ветра, слышать крики травников, чернозобиков и ржанок, видеть вдали яркие огни цивилизации. Похожее чувство испытываешь, забравшись на вершину горы, когда смотришь вниз на деревушки и поселки в долине. Наслаждение от уединения.

Были у меня и этические борения. Я убил кроншнепа, он упал, раненный, в ста ярдах от меня. Я подбежал к нему. Он издавал тихие, невнятные звуки и пытался отогнать меня крылом.

Отсюда — два взаимоисключающих чувства. Радость — ведь я перехитрил и поймал дикую тварь. Это чувство пришло первым, сразу же. И затем, по здравом размышлении, — скорбь из-за того, что ранил птицу, сомнения в правильности такого поступка.

Да нет, сомнений не было. Нельзя убивать. Охота и убийство доставляют удовольствие и причиняют боль. Охота пробуждает в нас зверя. Нет ли здесь сублимации секса? Интересно было бы узнать.

Чувствует ли животное боль и понимает ли, откуда она пришла? Есть ли у него самосознание? Усиливает ли самосознание боль? Управляемая частично инстинктом, не является ли боль только формой острого рефлекса опасности, без дополнительного привлечения страдания?

25 сентября

Алан Фаулз[86]. Высокий, худой, сутулый и бледный как мертвец, он переходил на противоположную сторону улицы. На нем было поношенное коричневое — скорее даже бурое — пальто и темно-коричневая фетровая шляпа, он направлялся в Чокуэлл-парк, холодный, ветреный и пустынный, откуда открывался вид на серые воды Темзы. Какая жуткая жизнь! Он шел, глядя прямо перед собой, как если бы боялся встретиться с кем-нибудь взглядом, а может, сознание его просто притупилось от бедности и однообразия его существования. Казалось, даже уши его прижаты к голове, как у бездомной собаки, которая натерпелась и голода и побоев. Мне вдруг стало страшно оттого, что это мой двоюродный дядя. Я задумался о своем дедушке. Он истратил весь свой капитал и размножался как кролик. Я представлял его эгоистичным и самодовольным. Это от него мужская часть нашей

семьи унаследовала слабую волю, жалость к себе, медлительность и презренную неспособность к действию. Страх перед переменами, перед устройством собственной жизни. Ненормальное смирение с собственным жребием.

Он был на другой стороне улицы, и я не поговорил с ним. Меня охватило чувство стыда. Частично из-за того, что жизнь моего родственника была — не по его вине, а в результате неумолимых законов наследственности — такой жалкой, бесцветной, ничтожной, пресной, скучной, серой. Он должен был иметь достаточно развитое воображение, чтобы почувствовать ущерб, ужасную пустоту своей жизни. Частично же я испытал животный стыд оттого, что он был моим родственником.

Э.М. Форстер «Поездка в Индию». Значительный роман, но после прочтения почему-то оставляет некоторую неудовлетворенность. Нет связи с читателем. Форстер возводит холодный барьер объективности. Все видно как бы сквозь стекло. Говоря о структуре, последнюю часть романа я рассматривал бы как спад. Повествование развивается быстро и увлекательно вплоть до окончания поездки к пещерам. Последний эпизод очень запутан, а концовка почти банальная. Что у него хорошо получилось, так это изображение англо-индийских отношений. В целом его метод можно назвать беззлобной и беспристрастной сатирой, он словно говорит: «Изображу-ка я их в сатирической манере, как это сделал бы человек, полностью незаинтересованный в этих событиях». У него нет личных обид. Он слишком уж объективно пытается представить позиции обеих сторон — ведь он все же не олимпиец. Он нигде не увидел сатану, даже его хвостик; и тут, как и в «Хауардз-Энде», чувствуется все тот же образованный кролик. Стиль не блестящий, временами несколько тяжеловесный, не изящный, чрезмерно романтический, устаревший. Я терпеть не могу эти заумные обобщения, они задерживают развитие действия и создают атмосферу театра марионеток, что неправильно. Автор слишком изощренный и женственный, слишком академический, слишком буржуазный гуманист — только-взгляните-на-меня, разве-я-говорю-в-снисходительной-манере?

Глава 14. «Жизнь в целом так скучна, что о ней и сказать-то нечего»[87]. Типичное обобщение. Но оно также открывает нам одно из характерных свойств самого Э. М. Ф. — становится ясно, что он пессимист, лишенный иллюзий, а писать может, только собрав волю в кулак; его кредо отчасти сходно с мыслями миссис Мор, которые приходят ей в голову в пустой пещере[88]. В его словах никогда нет страсти, они звучат как бы по принуждению. Возможно, он понимал, что его произведениям недостает

завершенности. Можно сказать, что из-под его пера выходят тщательно продуманные, прекрасно выполненные социально-исторические документы.

Отец. Его абсолютная апатия, безразличие к жизни. День он проводит, глядя в окно, разгадывая кроссворды, бродя по дому, побрякивая монетами и поднимая шум из-за сущих мелочей, — ведь только так он может доказать, что существует. Ужасно, когда у человека пропадает всякий интерес к жизни.

2 октября

Внезапный приступ мрачного отчаяния. А день красивый, холодный и ветреный. Но, ох, эта унылая бесконечность города, людей, домов, настроений. В основе всего деньги — без денег даже друзей не заведешь, ни мужчин, ни женщин. Я не могу пойти к ним. Не могу пригласить сюда. Не могу встречаться с девушкой. Ничего не могу себе позволить: ни приличной одежды, ни книг, ни пластинок — ничего. Я живу здесь за чужой счет. Мне следует работать, но я не могу работать по строго установленному графику. У меня нет сил перепечатать написанное, попробовать опубликовать. Нет воли выйти в большой мир.

Здесь я никого не знаю. С тех пор как вернулся сюда в августе, у меня не вырвалось ни одного радостного слова. И вообще я не говорю непосредственно. Все продумываю, вычисляю. И почти забываю, что такое настоящий разговор.

То же самое, как я вижу, происходит и с О. Он все время то охает, то бормочет, то чихает и кашляет — классический случай ипохондрии. И на все отбрасывает мрачную, траурную тень. В основе всех его интонаций слышится стон.

Чувство семейной любви или признаки какой-то привязанности полностью отсутствуют. Не думаю, что все происходит только из-за моей сдержанности. Не понимаю, почему я, эмоциональный, мечтательный и чувствительный в душе, выгляжу таким черствым, холодным и необщительным. Откуда-то должна была взяться эта корка. Что-то ожесточило меня. Мне кажется, виной всему жизнь на жалкой окраине уродливого города. Многие приспосабливаются к такой жизни. Они могут жаловаться, могут искренне переживать, но все же приспосабливаются. Я же не приспособился, хотя и вынужден здесь жить, — вот откуда эта твердая корка. Вижу все эти условности, маски, за которыми пустота.

Я видел другие судьбы, мне есть с чем сравнивать — попытка осмысления была предпринята. Сравнения. Выяснения, как живут другие.

Но выхода нет. Я пишу и пишу, и вижу, что пишу

недостаточно хорошо. Но все же — это правда — не теряю надежды, что когда-нибудь смогу писать хорошо, и это единственное, что не дает мне сойти с ума. Помогает сохранять упорство. Впрочем, с ума я не сойду — уж очень прочная образовалась корка. Я просто скачусь в привычную колею. Устроюсь на работу и стану Фаулзом, обычным смертным, не знающим о своей заурядности и беспечно не думающим о конце. Сейчас это представляется невозможным. Но, возможно, однажды я приму забвение.

Работа помогла как-то справиться с депрессией.

В один из самых черных дней, возвращаясь домой после гольфа, я проезжал на велосипеде мимо мальчишки, который замахнулся мячом на приятеля. Когда я был совсем рядом, мальчишка вдруг угрожающе поднял руку и крикнул мне:

— А ну проваливай, слышишь?

В его голосе слышалась необычная грубость, жестокость и даже ненависть. Он говорил с южным акцентом, в нем угадывался будущий громила. От этой мысли мне стало так грустно, что я просто смотрел на него, не говоря ни слова. Это был всего лишь невоспитанный уличный мальчишка, обладавший, как и все такие же ничтожества, талантом говорить в самое неподходящее время бестактные и злые слова. Гомер бы сказал, что в него вселилось враждебное мне божество. Во всяком случае, его поступок был настолько типичен для всего этого грубого, хамоватого и невежественного города, построенного на скорую руку, что, казалось, сам город таким образом обрел голос. Время было чертовски подходящее. Его совет соответствовал отношению между двумя мирами — моим личным, бесконечно малым, и их огромным обывательским.

6 октября

Скандальная ситуация с «Аллен и Райт», там управляющий может украсть 300 фунтов в год без всяких последствий. Его фамилия Вуд. У него, кроме жены, есть еще и любовница, так что деньги ему нужны. В его обязанности входит работа с заказами и вся торговля. Он управляет магазином. Неизвестно, берет он деньги или товары, но прибыль всегда меньше, чем должна быть. В этом году она меньше на 300 фунтов. Прямых улик нет, так что доказать ничего нельзя. Кроме того, он умелый управляющий и знает дело как свои пять пальцев. Ему известны все ходы и выходы, он умеет заказать и продать товар. Если он уволится, продажа тут же пойдет на спад. Ужасно, что такой человек, как он, может не считаться с законами нравственности. Он хозяин положения. О. не может без него обойтись, ему приходится его терпеть. Старая история о слуге, который знает, что незаменим, и

извлекает из этого выгоду.

9 октября

Смерть Шейлы.

Внезапная болезнь, паралич задних конечностей и осложнение на печень. Весь день — ветеринар пришел усыпить собаку в 9.30 вечера — был сплошным кошмаром. Она не могла двигаться, и любое прикосновение было для нее болезненным. Ее поместили в чулан под лестницей. Там она сидела и жалобно скулила, а в глазах застыло ужасное — поистине ужасное — выражение. В нем был неподдельный страх — она ведь всегда была довольно робкой, деликатной собакой, — страх перед неведомым, грозным и болезненным наказанием; недоумение; предчувствие смертных мук и утраты жизни; тихое отчаяние от невозможности рассказать нам о своем состоянии. Глаза ее стали необычно большими и кроткими, уши она прижала к голове и смотрела на нас с выражением глубокого, глубочайшего страдания, а мы утратили силу духа из-за невозможности общения. Казалось, нас разделяет пропасть, которая до сих пор была не видна, и собака смотрит на нас с противоположной стороны; но по мере того как ее смерть неизбежно надвигалась, взгляд ее стал каким-то нездешним, словно из другого мира. Ведь страшна не столько сама боль — страшно это грустное взаимное непонимание. Она сидит, сопит и дрожит всем телом, ее огромные глаза устремлены на нас, мы тоже смотрим на нее, она слышит наши голоса и изо всех сил хочет понять, что мы говорим, хочет, чтобы мы ее поняли.

Ветеринар оказался плюгавым человечком, он странно улыбался — одним ртом, а говорил так, словно не был полностью уверен в том, что ему верят. Держался серьезно и встревоженно. В его серьезности, которую он иногда смягчал каламбуром, было что-то клоунское. Пустяковые вещи он произносил с важным видом. Он делал все, что мог, — не очень много по большому счету. Правда, наука эта по-настоящему сложная.

Все были ужасно расстроены. Хейзел сначала пыталась убедить себя, что все не так плохо, но потом, ближе к концу, пряталась за закрытыми дверями, чтобы ее рыдания не были слышны. Окончательно она потеряла самообладание, когда пришел ветеринар, чтобы усыпить собаку. В узком кругу замкнутого существования такая маленькая трагедия принимает большие размеры. Ведь Шейла стала частью жизни семьи — ее присутствие при семейных трапезах, приступы веселой игривости, обязательные вечерние прогулки. Ее удивительные глаза, особая «прелесть», нежная доброта. Другая собака могла и испортиться при таком снисходительном отношении.

Но у нее был исключительно хороший характер. Не помню собаки добрее. Она обладала благородным достоинством, веселостью нрава, аристократической непринужденностью, равнодушием к чужим, женственной робостью в сочетании с истинно бойцовским характером по отношению к мышам и кошкам. И что всего милей, ей никогда не надоедали наши приставания и заигрывания.

Я отнесся к этому событию внешне спокойно и бесстрастно. О собаках не плачут. Собака есть собака, и то, что Шейла стала для матери и Хейзел членом семьи, только отражает стиль их жизни. Но утрата животного — странная вещь. Здесь не обязательно сдерживать себя, а чувство потери почти такое же сильное, как и от смерти человека. Я обнимал ее, когда она кричала от боли, изо всех сил желая, чтобы страдания отпустили ее; и это несчастное измученное тельце медленно, очень медленно обвисло в моих руках, несколько раз дернувшись в конвульсиях. В такие минуты, когда раскрываешь всю душу, чтобы понять, сопережить и облегчить боль, тебе, несмотря на сложные отношения человека с домашними животными, дано испытать францисканское сострадание ко всему живому, трогательное братское единство бытия.

Для меня Шейла (ведь ее родиной был Пул[89]) была связующей нитью с Девоном, с Ипплпеном, с тем счастьем, которое я там испытал. Особенно с Пулом, где жила милая пожилая чета. Я помню щенков в амбаре и как трудно было выбрать из них одного.

Ветеринар усыпил собаку, и я помог вынести ее труп. Мы положили ее в мешок, а мешок засунули в багажник. Она уже перешла в разряд воспоминаний. Правда, все еще берущих за душу — место, где она лежала, было теплым; я взял в руки ее ошейник, потом заметил шерсть на матрасике, и накатили воспоминания, но я знал, что воспоминания со временем поблекнут и что она ушла навсегда.

11 октября

Тороплюсь закончить пьесу «Пандар». Из-за того что работаю над ней все время, не уверен в качестве своей работы. Беда в том, что она слишком актуальна, слишком связана с моими теперешними мыслями и страхами. И слишком многословна.

Новый взгляд на родителей, охватывающий все их недостатки, — точнее, те качества, которых им недостает. У них совсем нет ощущения стиля. Они не могут отличить стильный кувшин от просто симпатичного, они не чувствуют стиль вещей, книг, музыкального произведения, еды, приправы, жизни. Это то же, что отсутствие эстетического чувства, только глубже; лучше

всего это понимаешь путем наблюдения. И тогда приходишь к основательной критике предместья. Тут полностью отсутствует чувство стиля — есть только традиционные и ограниченные представления о красоте и тем более о «симпатичности», и нет способности лицезреть стиль в чем-то, помимо искусства. Но стиль есть во всем. Даже в девственной природе. Разнообразие стилей в пейзаже, в форме цветов, в полете птиц.

14 октября

Генри Джеймс «Родерик Хадсон». Что-то в Джеймсе наводит на меня тоску. Многоречивость. Бесплотность. Хотя, возможно, все дело в моем настроении: нельзя судить о книге, пока не прочитал ее три раза с солидными интервалами.

15 октября

Отличный репортаж по радио о найденной гробнице матери Эзопа. Возникает бесконечно волнующее, романтическое и трогательное чувство при известии, что в косметичке нашли инструмент «заостренный с одного конца, чтобы чистить ногти, и округлый и плоский с другого, чтобы отодвигать кожицу». Такой факт помогает не бояться времени. Вчерашняя смерть ничем не отличается от той, что случилась 5 тысяч лет назад. Древние египтяне по-прежнему «живут»! Живут в своем энергичном, полном жизни искусстве. Экзотические, но все же близкие соседи.

Закончил «Пандара». Это мое третье сочинение, и первое прочно сбитое, с «продуманным» языком. Основная трудность — точность языка. Я доволен, что все позади. Хотя многое надо почистить и сократить. Есть слишком сентиментальные куски. Слишком напыщенные. Но есть и хорошие драматические отрывки, хотя и не всегда к месту.

24 октября

Коренастый молчаливый старый толстяк, плохо одетый и похожий на умную жабу, пришел сегодня купить одежду. С видом знатока он тщательно все осмотрел и предложил мне тридцать пять шиллингов. Тридцать пять шиллингов за костюм, два пиджака, свитер и рубашку, все в отличном состоянии. Я отказался. Он вытащил фунт и еще десять шиллингов и, похоже, думал, что от вида такой суммы я потеряю голову. Я вновь отказался, и он удалился, прихрамывая.

Геродот[90]. Читал шесть месяцев. Получил огромное удовольствие. Самое великое и лучшее в нем — гуманность. То, что он был легковерным, неточным и не всегда поступал благородно, только усиливает мой интерес, особенно если эти недостатки не чрезмерны. Поражает его любознательность, пристрастие к мелким событиям, а иногда почти вневременное подтрунивание над человеческими слабостями. Его работа

изобилует темами, которые прямо вопиют, требуя современной обработки. Бескрайний сад идей. Снова и снова подчеркиваются основные essences[91] человеческой природы, а с другой стороны — пикантность и экзотика незнакомого варварского прошлого. Я отметил самые значительные места; значительными я называю отрывки занимательные, доставляющие эстетическое наслаждение или же интересные, приоткрывающие тайны. Большинство же так называемых исторически значимых сухих фактов о разного рода событиях скучно и представляет интерес только для историков. Все зависит от того, что вам интереснее знать — где X был в такой-то день или что он в этот день ел. На мой взгляд, последнее гораздо интереснее. Самая восхитительная книга о Египте. Первые четыре книги лучше пяти последующих, и, если бы мне пришлось готовить полное собрание, я бы ничего не исключил. Перевод «классический» в том смысле, который обычно вкладывают в это слово. Самая оригинальная черта Геродота — сочетание академической объективности и очаровательного, казалось бы, неуместного здесь старомодного изящества.

25 октября

Сомнения относительно «Пандара». Временами кое-что кажется безупречным. Временами — ужасным. Но сейчас уже поздно что-то менять. Думаю, я никогда не смогу быть достаточно объективным. Если я вдруг увлекусь написанным, то, очнувшись, буду опять сомневаться. Ведь слова лишь кодируют истинное вдохновение, а не выражают его прямо. Они всего лишь камни для перехода на другой берег.

Начинаю понимать, что мое основное достоинство с творческой точки зрения — острое критическое чутье, нюх на faux tons[92]. Пока я не могу с успехом применять его к собственным сочинениям. Но, думаю, со временем с этой двойственностью удастся справиться. Мне кажется, что именно самокритичность сделала того Элиота, какого мы знаем. Острые критические способности содействовали его величию, однако все было в меру, не до такой степени, чтобы это качество повредило его замыслам.

Отец, напрочь лишенный чувства прекрасного, любит при первом удобном случае затевать споры по эстетическим вопросам. Он говорит:

— Вот самая гениальная симфония, ее написал такой-то. — В этом заявлении уже присутствует скрытый вызов. Нет чтобы мягко выразить восхищение, просто поделиться своей радостью.

28 октября

Три дня ужасной суеты, связанной с попытками перепечатать «Пандара». Но ничего не вышло. Текст нужно отдать до 1 ноября.

Я же печатаю недостаточно быстро; кроме того, понимаю, что пьеса далека от совершенства. За всей этой суетой я ощущаю тупую боль, будто упущен еще один шанс проверить себя на публике. Всегда существует заманчивая возможность, какой бы труднодоступной она ни была, внезапно прославиться. И все же нужно сдерживать себя. Ведь живу я в полной изоляции, влачу исключительно однообразное vie quotidienne[93], и потому могу полагаться лишь на достоверность собственных суждений. А так как они со всей очевидностью выражают не полную истину, то нужно быть *абсолютно* уверенным в их обоснованности, прежде чем отважиться представить свои творения на суд общественности. Малейший намек на вялость стиля, на неточности — уже основание для переработки. А в «Пандаре» множество слабых мест. *Даже* мне это видно. В поэзии все проще. Там созидаешь и разрушаешь в самом себе, *только в самом себе*, пока руины не достигнут высоты, достаточной для строительства чего-то стоящего. Можно провести параллель с растущим кораллом, который через какое-то время начинает выступать над поверхностью моря. Поэзия стала некоммерческой литературой и теперь может быть чистой, а ее создатель уже не должен приспосабливаться к моде текущего времени. Малая производительность — определяющая черта подлинного поэта. На ум мне приходят Вийон и Т.С. Элиот. А не Шекспир и Данте.

Автору романа или пьесы проявить решимость гораздо труднее. Дьявол здесь прячется под намерением «напечататься во что бы то ни стало». Возникает непреодолимое желание предать себя, стать самому себе Иудой — ради злата, реального или метафорического. В каком-то смысле я рад, что «Пандар» не подвергнется проверке, не будет вынесен на всеобщее обозрение, ведь согласие на это далось бы мне с большим трудом. Но и лишняя задержка приводит меня в отчаяние. Ведь я сознательно упустил возможность сделать карьеру и предпочел внутренние ценности внешнему успеху.

Часть вторая
ГОД ВО ФРАНЦИИ

Пуатье, 1 ноября 1950

Переезд во Францию. Он прошел без приключений, если не считать одного случая. От вокзала Виктории мы ехали в одном купе с хорошенькой юной шведкой, похожей на озорного мальчишку. Всю дорогу до Нью-Хейвена я курил в коридоре в надежде, что она выйдет из купе. Но она не вышла. На пароходе я увидел ее у бара. Я подошел, взял себе выпить и заметил, что она немного придвинулась ко мне. Но у меня по-прежнему не хватило смелости. Я же, напротив, отодвинулся, наблюдая за ней краешком глаза, и тут обратил внимание, что у меня дрожат руки. Какое неприятное состояние! И все же я не сомневался, что теперь заговорю с ней. Но в решающий момент, когда она была от меня всего в нескольких шагах и только отпила из бокала, в окружающей нас синеве раздался голос американца:

— Не рановато ли для выпивки? — А когда она повернулась к нему, продолжил: — До Франции пить нельзя, разве вы этого не знали? — Девушка улыбнулась. — Вы из Скандинавии?

— Да. — И они ушли вместе, американец с еврейской внешностью и похожая на гречанку молодая космополитка лет восемнадцати. Он был губастый, стройный, с желтоватым цветом лица, манеры выдавали в нем человека примитивного, глуповатого и порочного. На нем была рубашка в ярко-красную клетку. Ушли они, разговаривая. Некоторое время я слышал их разговор и завидовал развязности американцев: перед целой толпой этот тип, нисколько не смущаясь, громко объявил:

— Я был в пятидесяти двух странах, но лучше Франции ничего не видел.

Скажи он, что был только в двадцати двух странах, и это прозвучало бы вызывающе. И еще:

— Афины мне показались маленьким Парижем.

Не знаю почему — и это не такая уж редкость, — многих англичан, в том числе и меня, передергивает от отвращения при виде подобного хвастовства, особенно если такое случается в самом начале знакомства, когда фальшь особенно заметна, и давние отношения еще не могут ее сгладить. За те несколько минут, что длилась эта сцена, я подверг себя мучительному самоанализу. Когда мы отчаливали, я, глядя на сине-зеленую морскую воду, омывающую опоры пристани, успокоился, найдя этому безжизненному цвету параллель — желто-зеленый цвет,

столь же лишенный страстности. Две стихии, пребывающие в борьбе. Я анализировал мое отношение к сексу — весьма старомодное, — и утешился мыслью, что моя роль — это роль художника-наблюдателя, пылкого и красноречивого внутри, а снаружи — спокойного, недоступного и молчаливого. Я верю, что во многих отношениях конфликту между реальностью и моей искусственной мечтой лучше оставаться неразрешенным. Ведь если случится так, что я не только достигну сексуального удовлетворения, но и сумею высвободить то внутреннее красноречие и способность к действию, которые таятся внутри, то, думаю, переживаемое счастье значительно снизит уровень поставленных мной художественных задач. Для меня они станут уже неподъемными.

В Париже. Питер Нерс[94]. Странный человек. Стоило мне оказаться у него в комнате в Эколь Нормаль, как он извлек «Тропик Козерога» Миллера и зачитал мне оттуда один или два наиболее пикантных места[95]. Потом рассказал, как легко сходится с женщинами. Ту, что ему понравилась, он приводит сюда и развлекается с ней сколько хочет. Практически весь вечер он твердил об одном и том же. Рассказал, сколько раз за вечер совокуплялся со своей невестой в Оксфорде и что собирается поехать на Рождество в Германию к девушке, которая готова с ним спать, — похоже, он даже не догадывался о двусмысленности — даже для 1950-х — такого поступка; рассказал, как однажды заплатил двум женщинам на Монмартре, чтобы они разыграли перед ним лесбийскую страсть, — этот случай он описал во всех подробностях; как у них с невестой порвались два презерватива и как потом они мучились страхами. И много чего еще рассказал. Рассказал мне, с которым шапочно знаком. Я перебирал в уме причины, почему он это сделал: во-первых, это могло быть от чувства неудовлетворенности — этими рассказами он хотел компенсировать свою несостоятельность; во-вторых, он мог иметь обо мне превратное мнение, полагая, что я опытный и умелый в сексе, и хотел показать, что он тоже не промах; в-третьих, он отчаянно боялся, что его примут за молодого преподавателя, не знающего ничего, кроме науки. Думаю, что скорее всего дело в последнем. Если эти излияния — его искренний и честный взгляд на отношения полов, тогда он более чем странный преподаватель. Для Оксфорда просто уникальный. Пользовался бы там большой известностью, но, боюсь, дурной. Он основательный, но не всесторонне образованный, смышленый, но не блестящего ума. У него врожденные способности к языкам. Ах да, возможна еще одна причина — он может быть очень болен, — пропади все пропадом, думает он, demain nous seron morts[96]. Любопытно, но

его поведение не разозлило меня, не вывело из себя, как это случалось пару раз, когда самодовольно расхвастался Бэзил Бистон, — напротив, он меня почти развлек, и я даже выдавил из себя без особого отвращения тоже какую-то грязную историю. Во всем этом было что-то наивное и простосердечное. Париж чувственно возбуждает. Запах дешевого табака, чеснока и дорогих духов в бистро. Учтивость с долей слащавости пожилых мужчин и задорная, самодовольная мужественность молодых. Вызывающая сексуальность женщин, знающих толк в одежде, их яркая женственность. Ночная жизнь. Мы зашли выпить в модное кафе «Дюпон». К нам пристала маленькая темноглазая блондинка с утонченным, порочным лицом, ее синее платье было с таким глубоким вырезом, что, казалось, груди сейчас вывалятся наружу. Она держалась вызывающе и была возбуждена, словно наглоталась наркотиков. Говорила на ломаном английском. Мы сели в углу, она же, проявив изрядную смекалку, умудрилась довольно быстро пристроиться неподалеку, строила нам гримасы и громко говорила по-английски. Питер сидел к ней лицом, я же вполоборота. Думаю, Питер как-нибудь переспит с ней. Она что-то говорила об английских сигаретах, которые я курил, но обратилась непосредственно к нам только после того, как сказала молодому человеку, пытавшемуся ее обнять:

— Je n'aime pas les pédérastes[97]. — Вот тогда она и задала нам вопрос: — Vous comprenez? Comprenez?[98]

В ней чувствовалась лихорадка и еще какая-то неуверенность в себе; мне было ее немного жалко.

Когда я вернулся в гостиницу, некая злая воля побудила меня заглянуть поверх гардероба, где лежали три порнографических журнала. Один из них (французский) выполнил свое предназначение, но я заметил, что меня совсем не волнуют места, связанные с садомазохизмом и гомосексуализмом. Небольшая победа!

2 ноября

La Toussaint[99]. В Пуатье. Познакомился с будущим боссом и неохотно ощутил, что держусь с ним вежливо и предупредительно. Он живой, энергичный и нетерпеливый, влюблен в свой город и чувствует интерес ко мне, хотя я вижу, что он считает меня немного тугодумом, — а я просто мысленно изучаю его. Он явно старается быть любезным и все делать правильно. Мне он тоже понравился, несмотря на разницу темпераментов. Мы встречались с разными людьми, осматривали церкви, факультеты, главную улицу, проехали весь город, чтобы иметь о нем представление.

Во время войны город пережил сокрушительный налет

авиации — 300 самолетов бомбили его в течение 22 минут. Только один налет, но какой жестокий! И это сделали мы, англичане. Я выразил традиционные соболезнования, но сам при этом ничего не испытал. Мне это показалось даже забавным. *Абсурд* в духе Камю.

У меня небольшая комната на четвертом этаже, из нее открывается вид на круто скошенные уродливые крыши, сортировочную станцию; ближе к холму, напротив, неряшливо расположены новые, но какие-то грубо сварганенные, непривлекательные дома. Вид не так чтоб очень, но все же вид… Почти пустая комната, нет ничего красивого, кроме роскошного турецкого ковра на постели и миленьких — именно миленьких, лучше не скажешь, — розовых обоев с цветочным рисунком.

Удивляет неуместный запах нафталина в туалете — система да va de soi[100] не очень вдохновляет, как и маленький унитаз и кувшин с холодной водой для слива. Французские дома так несуразно оборудованы.

Хозяйка, мадам Малпорт, блондинка лет сорока, держится достаточно сдержанно. Мартин как-то странно намекнул, что она вышла из очень хорошей семьи и ее родная сестра, живущая прямо за углом, ведет дом на широкую ногу. Кроме того, мадам М. держит couture[101] мастерскую. Я видел здесь одну красивую и одну очень красивую девушку. Чувствую, что мог бы упасть. Это место полно скрытых соблазнов. В зеркале на стене я вижу образы многих неизвестных, нематериализовавшихся девушек и женщин, они пьют вино и поправляют макияж. Начало романа — лучшая его часть. Но я не должен этого допускать.

Вчера признался П.Н., что не работаю над диссертацией, потому что хочу написать книгу. И тут он спросил:

— А что за книгу? — и я вдруг смутился, перестал быть естественным и сказал, что в ней кафкианская тема будет раскрыта в манере Джойса. Глупее трудно ответить. Но я не мог заставить себя выразиться точнее. Пока буду писать, в мой стиль и темы войдут робость и неточность.

Университетский ресторан «Ситэ» — новый, красивый, на стенах яркие охотничьи сценки из средневековой жизни. Кормят вполне прилично, только еда всегда холодная. Надеюсь, мой желудок со временем привыкнет к этому. Я приходил сюда уже пять раз, но ни с кем не разговаривал. Все говорят очень быстро и, похоже, разбились на прочно спаянные группы. Я же как чужеродный элемент — не знаю, куда приткнуться. Первые несколько дней принесли разочарование. Я никого не знаю, а Мартин отдалился. Между посещениями «Ситэ» пустые интервалы. Пуатье показался мне довольно скучным, закрытым

городом. В нем чувствуется какая-то тайна, но она скрыта от посторонних глаз. Другие города, вроде Парижа, Оксфорда, Эдинбурга, Стокгольма, Копенгагена, более открытые. Видел работающую здесь ассистентку-англичанку. Страшная, как смертный грех. Мечта развеивается, обнажая суровую правду.

Un cortuge civil[102]. Очаровательный, не вызывающий грусти катафалк с аркой из розовато-лиловых цветов поверх гроба. Процессия людей в черном, но на траурную не похожа, все болтают между собой; среди провожающих два солдата — хоронят ancien militaire[103] — в шинелях цвета хаки и синих с золотом képis[104]. Мартин взволнованно шепнул мне:

— Гражданские похороны! Это необычно. Да будет тебе известно, в нашем городе много священников.

Но то была действительно дивная картина; становясь все меньше, процессия удалялась, заключенная, как в раму, в старинную улицу Пуатье с закрытыми светло-серыми volets[105], нормандскими крышами под синим шифером и однообразным рядом незамысловато отделанных штукатуркой фасадов — с одной стороны улицы они были озарены золотисто-розовым светом заходящего солнца, с другой — погружены в легкую тень. Гармония цветов — самые разнообразные оттенки серых, черных, янтарных и синих. Гуляя с Мартином по городу, я стал ощущать его очарование, оно проникало в меня постепенно, как все хорошие старинные вещи. Старинные вещи, в силу своего возраста, никогда не поражают с первого взгляда. А если все же поражают, то теряют в привлекательности, ведь сильное воздействие означает, что в их природе таится нечто неистовое и жестокое.

6 ноября

Два немца в университетском «Ситэ». Boursiures[106]. Оба говорят на прекрасном французском и вообще приятны во всех отношениях. Народ за столиками воспринимает их нормально. Однако смелый поступок — не успели отгреметь пушки, а они уже приехали сюда.

7 ноября

Бывают такие неожиданные и ужасные минуты, когда оглядываешься на свою жизнь с презрением. Думаю, страшнее этого нет ничего. Тогда слабеет воля, удерживающий ее кулак разжимается, и ты видишь, как она летит вниз. Как драгоценный старинный бокал! Почти инстинктивно бросаешься за ним, чтобы поймать. Я вдруг подумал: что делаю я здесь, в этом Богом забытом маленьком французском городке? Просто бездарно трачу год жизни? Нужно было устроиться на работу в Англии, бороться, войти в этот мир. Я живу, как отшельник, жизнь пугает меня.

Единственные люди, с которыми я здесь говорил, были немцы, и то они первые обратились ко мне. Одним из них я восхищаюсь — великолепное владение французским, основательность, стремление к знаниям. Он мечтает посещать лекции по французской литературе. А вот мне этого не надо. История французской литературы больше не интересует меня. Теперь мне хочется только читать книги. Да и то не очень. Я чувствую, что качусь, качусь вниз. Держит только надежда на то, что из меня выйдет писатель, но и она тает с каждым месяцем. Я по-прежнему боюсь попытать удачу, боюсь сделать это прежде, чем обрету уверенность в себе.

Почему я трачу лучшие годы своей жизни в ничтожном городишке? У меня нет даже денег, чтобы получить удовольствие от того, на что их можно здесь потратить. С каждым днем растет пропасть между моими мечтами и реальностью, между стремлениями и поступками. Меня это буквально разрывает. С людьми я не могу разговаривать: ведь с ними я становлюсь персонажем из моих мечтаний, и контакта не возникает.

И все же я успеваю перехватить бокал. Он не падает на землю. «Что такое двадцать четыре года?» — думаю я. Чтобы судить, я еще слишком молод. Во мне есть чувственная плоть и сверхчувствительный разум. Из такой смеси непременно вызреет артистический плод. Что-то уже получается. Нужно принимать выпадающие тебе на долю разочарования и мучения.

Сегодня я опять видел англичанку-ассистентку. А она совсем не уродина.

9 ноября

Вечером, вернувшись домой после ужина в «Ситэ», я обнаружил, что в моей комнате не горит свет, и направился в апартаменты Мадам. Месье уехал en voyage[107]. Я смело постучал.

— Entrez[108].

И тут стало ясно, что мы вступили в новую фазу отношений. До сих пор после моего стука слышалось шарканье ног, дверь открывали, но не пускали дальше порога. Однако сегодня мне было позволено пробыть короткое время внутри. Зрелище гладильных досок, столы для кройки материала, куски материи. Казалось, меня здесь ждали. От Мадам пахло дорогими духами, и у меня зародилась мысль, что замыкания вовсе не было. Но, возможно, я ошибаюсь. Во всяком случае, Мадам быстро все привела в порядок и неожиданно спросила, люблю ли я танцевать. Ее ученица в скором времени собирается на танцы и заодно хотела бы попрактиковаться в английском. Я неохотно дал согласие на встречу. На следующий день нас должны были

познакомить. Можно сказать, я еще счастливо отделался. Как обычно, мое воображение разыгралось, за десять минут я перебрал сотни вариантов развития этого знакомства. В этом моя беда. Я заранее предвкушаю удачу. Сегодня мной владеет только одно желание — творить, выражать себя. Я чувствую, что контролирую ситуацию, оседлав могущественного коня — судьбу. Этим вечером я познакомился с Леодом[109], кельтом по происхождению, владельцем лимузина. Я рассказал ему, что пишу роман. Не могу больше держать это в себе.

11 ноября

Знакомство с девушкой так и не произошло. Как всегда, у меня слишком разыгралась фантазия.

Ужасный вечер, в течение которого я не переставал обвинять себя в одиноком существовании. Это проблема не физического, а психологического свойства. Сегодня за весь день я ни с кем и словом не обмолвился — сказал лишь пару фраз по необходимости за ленчем: «Передайте хлеб, пожалуйста» и «Спасибо». Вечером понял, что больше не выдержу ужина в окружении тысячи болтающих французских обезьян, и пошел в булочную на углу. На улице было сыро, мне повстречалась влюбленная парочка, из некоторых домов доносилась музыка, в городе ощущалась праздничная атмосфера. Булочная, к счастью, была еще открыта. Булочник поздоровался со мной, спросил, чего мне надо, и от этих простых слов голос мой взволнованно задрожал. Я купил шесть круассанов и плитку шоколада. И пошел домой. В то время как все остальные разошлись кто куда.

13 ноября

Мне ясно, что работа здесь подобна танталовым мукам. Трудно быть беспристрастным и объективным, когда в классе есть и красавицы и уродины. Трудно быть обаятельным и интересным. К счастью, красота редко встречается. Пока настоящих красавиц не видел. Но есть две очень привлекательные молодые женщины и одна погрубее, в духе худышки Твигги, но темным вечером и она сойдет.

У меня родилась новая мысль, как синхронизировать мои стихи и роман. Надо создать систему сносок, знаков, с тем чтобы каждое стихотворение соответствовало определенному месту в сюжете, — полнее раскрывало бы его, но не входило непосредственно в роман. Что-то вроде необязательных для прочтения заметок на полях или комментария. Это помогло бы по-новому подойти к литературе. По-моему, неправильно без особых на то причин резко размежевывать жанры.

17 ноября

Читать здесь лекции — нелепое занятие. Я говорю громко и

членораздельно, все имена пишу на доске. Меня, похоже, совсем не понимают. Если я не буду смеяться своим же шуткам, меня не будут признавать.

Во время суматошного перерыва на ленч нас призвали к минуте молчания в память о погибших на войне студентах. Меня поразило, как мгновенно повсюду воцарилась торжественная тишина. Французы непостоянны, но, если надо, их веселые физиономии могут тут же принять постный вид. Снаружи доносился веселый гомон тех, кто ждал второй séance[110], это немного портило впечатление, и все же…

Я познакомился здесь с американским студентом, несколько раз мы с ним выпивали[111]. Он выпускник Гарварда, говорит неторопливо, серьезный, любит беседовать об интеллектуалах, интеллектуальной жизни и культуре. Несколько раз повторил мне, что очень неуклюжий и невежественный. Тщательный и скрупулезный человек и, по-моему, слишком уж осознает себя американцем в Европе. Джеймсу бы он понравился. Весь в планах — хочет на рождественские праздники посетить Ближний Восток, Грецию, Италию и Сицилию, провести неделю в Вене, слушать там оперу — фантастический человек! Такое обилие денег и свободного времени вызвало у меня насмешку, особенно когда я понял, что его эстетические претензии явно ему не по силам. Замедленность и бесцветность речи говорят о его физической неспособности чувствовать короткие внезапные разряды истинной красоты. Он стремится изучить искусство, как будто знание является ключом к восприятию. В музыке он показался мне более продвинутым, однако считал, что у Бетховена есть Одиннадцатая симфония. Только один прокол, хотя и очень серьезный. Впрочем, он заслуживает снисходительности: возраст, красота и разнообразные утонченные европейские штучки ошеломили американца — особенно учитывая его тугодумие и нерешительность. Он похож на гладкий круглый мяч из магазина. Его нельзя назвать хвастуном, однако он сказал, что считался «одним из лучших студентов в Гарварде». Его слова прозвучали так, будто это было чем-то вроде необходимой любезности и хвалиться тут нечем. Большинство англичан тоже хотели бы сказать такое о себе, но не говорят. Эта американская закругленность: никаких впадин, зазубрин, никаких выступов. Золотая середина. В разговоре с ним я чувствую себя более зрелым — и как личность, и как представитель своей нации. Жизнь не продукт фабричного производства, это не напечатанная книга с множеством фотографий.

25 ноября

Танцы, устроенные Бриджит Руэл. Мадам Руэл, равнодушная,

soignée[112]. Месье Руэл, преуспевающий бизнесмен, худой, обходительный. Танцы продолжались с семи вечера до трех утра. Все это время я скучал и неловко себя чувствовал. Я так плохо танцевал, что ни одна партнерша не выдерживала со мной более двух танцев подряд. Да и говорить с ними было не о чем. Последнее время мне все тягостнее говорить о пустяках. И нет желания заполнять томительные паузы разной ерундой. Людям со мной скучно, потому что мне скучно с ними. Только одна или две девушки показались мне привлекательными. Я подумал, что, возможно, буду бедным, и тогда мне повезет и я женюсь на милой одаренной девушке, которая поймет меня, — она должна быть поистине гениальной, чтобы пробиться через все наслоения к сути, или, напротив, буду богатым и смогу покупать красоток. Чувственные женщины обычно прекрасны физически. Я даже не надеюсь встретить когда-нибудь подходящую пару. В ней должно быть столько всего!

Для танцев отвели гостиную. Присутствовало около двадцати пар. Но все было как-то нелепо, по-школьному, без подлинной теплоты.

Я продолжал стоять в стороне. Несколько пар прошли мимо, окинули меня взглядом, слегка улыбнувшись, и я услышал слово «Anglais»[113], на что не обратил никакого внимания. Я был холоден, отчужден и ощущал смутное разочарование.

Я стоял в стороне. Танго, пасодобль, джаз. Иногда я тоже шаркал по паркету. Среди моих партнерш были вежливые, скучающие, испуганные. Приходилось говорить во время танцев, чтобы отвлечь их внимание от моих неловких движений.

Домой я возвращался под дождем, сражаясь с комплексом неполноценности. Единственное, что можно ему противопоставить, — это слабую веру в мою будущую славу. Правда, сейчас я чувствую себя настолько неинтересным и скучным, что не могу даже хорошо писать. Я основательно надрался, но с меня это как с гуся вода. Только ненадолго согрелся. К часу снова был как стеклышко. Мне кажется, что я постоянно упускаю шансы на улучшение своего положения, что мои надежды рухнули навсегда, а характер закостенел и не способен изменяться. Я обречен вечно стоять на обочине, наблюдать, наблюдать и никогда ни к кому не примыкать, никогда не находить того утешения, которого ищу. Я стою в стороне. Вспомнил К.[114]. Я не любил ее. Она какое-то время любила меня. В этом вся проблема. Я никогда не встречу ту, с которой смогу полностью слиться. Никто не заставит меня сдать позиции и принять требования их сердца и тела.

Я стоял, стою в стороне. Теперь мне все труднее пребывать

даже в собственном теле. Каждое действие, каждое слово критикуется этим ужасным чужаком со стороны — мною. Даже слегка faux ton[115], неловкость, промах учитываются. Как и малейшие следы реакции в других. Каждый, кто заговаривает со мной, подвергается критическому анализу, и я внимательно слежу, как он отзывается на мои реальные действия. Во мне два «эго»: одно — эмоциональное, жаждущее любви, непривлекательное, сдержанное; другое — холодное, циничное, отчужденное, постоянно все принижающее.

26 ноября

Воскресенье. В соборе исполняют Баха. Холодно и сыро. Grand Orgue[116] сумел уничтожить в Бахе всю радость. Грохот, громовые раскаты и буйство — словно слон решил поиграть на спинете.

1 декабря

Изматывающая ночь с Чарлзом. Я слегка ослабил волю, и тут же грянула большая пьянка. Бог никогда не дает спуску. Сначала мы играли в бильярд, пили пиво в «Кафе де ла Пэ», затем же, не чувствуя усталости, зашли в модное кафе в закоулке и там пили виски до шести утра. Я умудрился поскользнуться и удачно съехал по склону, а с полседьмого до двенадцати регулярно блевал. Никогда раньше мне не было так плохо. Между приступами рвоты я серьезно подумывал, стоит ли дальше жить. Такие сомнения закономерны, когда сидишь на полу с ведром между колен. Тогда сомневаешься во всем. С двенадцати до полшестого спал урывками. К счастью, мне удалось доковылять до телефона и отменить все назначенные на сегодня встречи. Постепенно жизнь возвращалась. В полшестого я нашел в себе силы слабо улыбнуться и первый раз внимательно посмотрел на часы.

Думаю, я еще долго не буду так напиваться. Мой желудок не принимает алкоголь в таком количестве. Чего хочет разум, отвергает сердце.

Кручу приемник. Странные, расчлененные обрывки речи, музыки — шовинистические, беспристрастные, субъективные, полные разных настроений, nostalgie[117]. Ночные клубы, нежные цветы, приглушенный свет. Звучит фортепьяно, уголок музыки в огромном зале. Испанская музыка, пронзительная и трагическая. Разноязычие, многообразие атмосфер, внезапное ослабление звука, плохо различимые вещи. Некоторые вызывают неприязнь, и тогда щелчок пальца отбрасывает их в никуда. То, что неинтересно, отправляется туда же. И тут я вдруг чувствую, что и здесь растрачиваю жизнь. Вслушиваюсь в нее через приемник.

Слишком много времени я провожу в безделье — слушаю,

сижу, пью кофе, играю в бильярд. Когда не пишу, я становлюсь скучным. То высокое, что есть во мне, постепенно деградирует. Никогда мне не стать по-настоящему великим писателем. Мои усилия не приводят к достойному результату. Я должен переписывать одно и то же по десять раз, и все равно меня ждет неудача. Пребывание в Пуатье — пустая трата времени. Скучный, сонный, выпавший из времени город. Сплошной застой. Не вижу здесь никого, с кем бы хотелось сойтись. С каждым днем я ощущаю себя все более одиноким. В чудаках все-таки что-то есть. Особенно в Поджах. Гай, Бэзил, Роджер. Я всех их потерял. И никто из них, по существу, не знал меня. С Поджами мне было лучше всего. Сложное чувство — все это несерьезно, но это не должно быть несерьезно, однако несерьезно. Что-то вроде наводящей ужас игры в пинг-понг между двумя вялыми игроками внутри меня.

Международные новости нагнетают жуткую тоску. Кажется, что война рядом, она несет с собой всемирный хаос, абсолютный тупик, когда каждый человек в отдельности хочет одного, а природная стихия — другого. И последняя побеждает. Ведущее к столкновению медленное скатывание по склонам навстречу друг другу двух крупных тел. Крушение неизбежно. Все отвратительно. Впервые такой кризис оказывает влияние лично на меня. Сколько во всем этом боли, жестокости, глупости и бессмысленности. Я понимал это и раньше, но никогда прежде не воспринимал события так остро, никогда не чувствовал, что они непосредственно задевают меня. Хочу писать и не могу. Провожу время в «Кафе де ла Пэ», потому что должен быть среди собратьев, чтобы возродить в себе хоть каплю веры. Хочется посмеяться с ними и обо всем забыть. Эго стало навязчивой идеей. С такими новыми мыслями уже нельзя пребывать в одиночестве, поэтому я играю в бильярд, пью кофе, отпускаю шуточки и позволяю времени течь сквозь пальцы, словно оно не имеет никакой цены.

8 декабря

В полночь опять зашли с Чарлзом в бар, но уже с твердым решением не напиваться. Позже, когда мы разошлись, я испытал необыкновенное орнитологическое переживание. Было три часа утра, пустынный город спал, окутанный дымкой тумана. Горело несколько уличных фонарей. Внезапно я услышал множество тоненьких голосков, ошибиться я не мог: то были дрозды. Повсюду. В небе. На крышах домов. У них удивительный свист — тонкий, высокий, *звенящий*; само вдохновение; в нем отчетливо различается нежный звон. Словно внезапный блеск старинного серебра в темной комнате. Странные, нездешние, прекрасные

звуки. Затем, когда я стоял посреди площади, где располагалась префектура, раздался неподражаемый свист дикого селезня, и меня пронзила нервная дрожь. Вряд ли что-то в искусстве или в природе, за исключением разве что пения лесного жаворонка, может мгновенно привести меня в такое острое состояние волнения и радости. То, что этот дикий, пронизанный романтикой свист прозвучал в центре скучного, сонного, удаленного от моря города, было как электрический разряд. Это случилось так неожиданно и так много значило для меня: подумать только, из 60 тыс. жителей города один я удостоился услышать их пение. Полчаса я стоял на площади. Было очень холодно и тихо. За все это время не прошел ни один человек, не проехал ни один автомобиль. И постепенно до меня дошло. Все небо было в птицах. Я отдал бы все на свете, чтобы узнать наверняка, что там, хотел, чтобы мгновенно явился дневной свет, будто его включили. Время от времени я слышал зеленых ржанок, золотистый бекас облетел площадь, словно заблудился, он летел так низко, что, казалось, я его вижу. Повсюду дрозды. Потом раздался сладострастный крик — кому он принадлежал, я не распознал. Непрерывное посвистывание и шуршание крыл. И вдруг стремительное приближение большой стаи, такой шум бывает только от стаи диких уток. Должно быть, они летели относительно низко. Наверное, по каким-то причинам происходила великая миграция птиц, а я случайно оказался на их пути. Бог знает, почему птицы летели через Пуатье. Я вернулся домой около половины четвертого и открыл окно. Комнату тут же заполнил свист дроздов. Зеленых ржанок. Я бросил взгляд в сторону сортировочной станции. Неожиданно над железнодорожными путями пронесся крик диких уток, они как будто узнали все еще освещенную станцию. Через некоторое время крики повторились. В конце концов, сильно продрогший, я отправился спать.

У меня не было сомнений, что я являюсь связующим звеном между двумя мирами. Стоя у окна и слушая крики уток, я принадлежал к несравненно большему и таинственному миру, чем кто-либо другой в городе.

Во мне теснились печаль и грусть, их вызывала громадность переживания: я понимал, что никогда не сумею передать в словах всю его силу и очарование. Я способен чувствовать эту магию, потому что много часов провел, наблюдая за птицами и охотясь на уток.

Да, восхитительное переживание, особенно взволновавшее меня из-за его полной неожиданности. Весь день я всматривался в небо, но больше ничего не видел.

Концерт Моцарта: исполнители из местных музыкантов. Нельзя сказать, что я получил большое удовольствие. У дирижера во фраке очень странная фигура: этот высокий человек в бедрах шире, чем в плечах. Сзади выглядел совсем как таракан. Пианист же — вылитая морская свинка. Он казался встревоженным, испуганным. Каждый раз, отыграв свою партию, он с величайшим облегчением устремлял глаза ввысь, словно справившись с тяжелым физическим упражнением. Концерт запомнился именно этим содружеством таракана и морской свинки, а вовсе не музыкой Моцарта.

Не могу писать. Хочу, но времени никогда нет. И если его у меня нет сейчас — при семичасовой рабочей нагрузке, — то не будет и впредь. Уже давно я торчу на одном месте. Нужно закончить «Мятеж» к лету.

17 декабря

Затянувшийся творческий застой. Было большой ошибкой приезжать в этот город. Здесь жизнь стоит на месте. Встречаются интересные люди, но с ними пуд соли съешь, пока сойдешься. Социальные инстинкты в провинции почти не существуют. Отсутствует и непосредственность. Закрываются от всех, как актиния. А мое невозможное «эго» само как актиния — распускается только в одиночестве, когда же к нему прикасаются, съеживается и пропадает. Не понимаю, почему мне все кажутся невыносимо скучными. Редко когда мне бывает не скучно. Если я совершу над собой усилие и вступлю в разговор, меня хватает только на два предложения. Кто-то продолжает говорить за меня, но настоящий «я» уже не принимает в этом участия. Я слушаю других и удивляюсь, как они, испытывая скуку, тем не менее говорят, потому что так надо. Самые большие зануды — французы. Дело не в том, что я могу не понять оттенки их остроумия, — даже когда все понятно, мне неинтересно. Хуже всего обстоит дело с девушками в моей языковой группе. Где бы я их ни встретил, они застенчиво потупляют глазки, я же не обращаю на них никакого внимания. Если мне кто-то не нравится, я все чаще просто игнорирую его. А иногда, когда мы хорошо знакомы, я просто из упрямства прохожу мимо. Ч. Г. подружился с одной девушкой, ее зовут Джинетта — не глупа, не уродина, я сам мог бы завязать с ней дружбу, но не сделал этого. Теперь же, когда ее захватил Чарлз (как вор, укравший гуся), меня терзает ревность. Я с трудом говорю с ним. Сегодня дважды я находился рядом с ней — один раз она явно постаралась оказаться у двери в одно время со мной, — и оба раза сделал вид, что не заметил ее. Всех раздражает, что обычно я не обмениваюсь рукопожатиями. Мне же хочется поскорее сбежать.

20 декабря

Совсем один. Уже несколько дней чувствую себя очень одиноким. Все мои американские друзья разъезжаются или уже уехали. В магазинах оживление, на улицах полно людей, все делают покупки, у меня же перспектива провести Рождество в одиночестве. Когда я один, мне плохо. Утешаю себя тем, что такой опыт пойдет на пользу. Видеть в жизни инструмент для литературного творчества — абсурд, однако нужно верить, что в этом есть смысл. Людям я говорю слишком много жестоких вещей. Их это задевает, они не понимают или не любят меня.

Американцы подавлены и несколько испуганы создавшейся международной ситуацией[118]. Остальные мало что об этом знают и проявляют равнодушие. Французы от всего отгородились. Им наплевать, что происходит далеко от них. Однако сейчас война настолько реальна, что от нее не отмахнешься. Тут таится одна из причин, почему я не пишу, — это кажется бессмысленным занятием. Ведь все погибнет, а не просто изменится. Войну, в результате которой прежние вещи обретают новое значение, ни с чем не сравнить. А еще я чувствую себя бедняком. Сегодня холодно, а мое пальто — то, что я приобрел после демобилизации, недостаточно теплое. У меня всего одна пара коричневых туфель. Деньги тают, и я не могу себе позволить купить новую одежду. Конечно, бедность моя относительная. На свете миллионы и миллионы людей по-настоящему бедны, жалкие страдальцы. Я же просто мечтатель, образование оторвало меня от реальности. И я никогда не пытался преодолеть этот разрыв. Это невозможно.

Но я думаю — и это все, во что я верю, — жизнь моя непременно изменится. Будет и на моей улице праздник. Поэтому моя ситуация, даже если бы она была еще хуже, чем сейчас, не критическая. Только после многих лет бесплодных попыток можно сказать: «Я неудачник!» Вот тогда я остановлюсь у последней черты.

Я двигаюсь по туманной дороге в ожидании поворота, откуда новая дорога поведет меня к новой жизни, новой судьбе. Только когда ноги мои подкосятся, а поворота все не будет, только тогда я сдамся. Не раньше.

21 декабря

«Царство за штопор». Новый тип рассказа. Написан за один вечер, с восьми до часу. К концу работы глаза мои слипались, но всегда лучше не останавливаться и не делать перерыва. Я весь день носил этот рассказ в себе. Мне представлялось, он будет длинным, но оказалось как раз наоборот. В нем около 4 тыс. слов.

22 декабря

Меня пригласили на вечеринку, затеянную студентом машиностроительного факультета, он сегодня сдал экзамены. Ни его самого, ни его гостей я не знал достаточно хорошо. Приглашение мне передали через моих американских друзей, и я явно был не в центре внимания. Довольно долго я чувствовал себя там чужаком, лишним человеком. Мы сидели за круглым столом, пили вино, шампанское, ели пироги, пирожные, мандарины и много курили. Атмосфера понемногу теплела и наконец стала совсем дружественной. Во многом из-за одной необычной девушки, довольно привлекательной испанки с шиньоном, — черные глаза, смуглая кожа, губы негроидные, но красивые. Личность глубокая и таинственная. Ее конек — гадание на картах. Замечательное чувство сценического эффекта, сочетание серьезности и taquineries[119]. Было видно, что все ее немного побаиваются. Гости краснели, трепетали и пытались шутить. Она, несомненно, великолепный физиономист. Дело вовсе не в картах. Меня она весьма напугала: анализ моего характера был впечатляющим. Она сказала, что я «de bonne coeur, de très bonne coeur, mais infianciable»[120]. Что у меня часто бывают периоды депрессии. «Vous avez souvent le cafard»[121]. Что до любви, то я к ней «indifférent»[122]. «Vous avez beaucoup souffert». «Votre moral est bas»[123]. И дальше: «Vous marierez une dame de très bonne situation, une dame d'un certain âge. Elle sera riche, très riche». «Vous êtes très honnête, très droit»[124]. Все сказанное, кроме женитьбы — что тоже вполне вероятно, — правда. Я промолчал, но впечатление осталось сильное. Не сомневаюсь, что все это она прочитала на моем лице.

Она меня очень заинтересовала — и как женщина, и как tireuse de cartes[125]. Думаю, я тоже смог бы гадать. Все дело в интуиции, наблюдательности и умении обобщать.

Занятие это приятное, потому что тут можно говорить людям все под предлогом, что видишь это в картах. Люди же любят быть в центре внимания. До какой-то степени в карты можно верить, надо только отвести им определенное место — для большинства людей это развлечение. Но главное тут психоанализ — и рациональный и интуитивный.

Промолчав весь вечер, теперь я привлек к себе внимание остроумными — для этого случая — замечаниями.

— Карты сказали: «…une dame de très bonne situation». Une princesse?[126]

— Vous voulez un mariage avec la princesse Margarète[127]?

Небрежно:

— J'y pence[128].

— Une dame d'tin certain âge[129].

— Ah, Pour avoir une jeune femme, quelle carte faut-il choisir?[130]

— La dame de coeur[131].

С сожалением:

— Mais je ne la savais pas[132].

И все дружно расхохотались.

Говоря о гадании, я забыл упомянуть о трех вещах. «Vous n'avez pas une grande volonté»[133]. Это единственное, что вызвало у меня сомнения. «Vous êtes très doux, très, très doux»[134]. Затем она спросила:

— Voulez-vous demander une question?[135]

Надо задумать вопрос, выбрать четыре карты, и тогда она скажет «да» или «нет». Я задумал: буду ли я великим писателем? — и она ответила:

— Нет. — Помолчав, женщина сказала: — Vous pensiez que j'allais dire «oui», n'est-ce pas? Vous étiez presque certain[136].

Она была абсолютно права.

Рождественский сочельник

Рождественский сочельник. Страх остаться одному в этот день заставлял меня совершать вещи, которые я обычно не стал бы делать. К счастью, в таком положении оказался не я один. Во Франции принято отмечать праздник после полуночной мессы. Молодой человек с развитым чувством товарищества пригласил всех нас в Католическое общество. Я не знал, где оно находится, и провел ужасные полчаса, блуждая по Пуатье в поисках этого места. По телефонному справочнику выяснил, что мне нужно на бульвар Жанны д'Арк. Это оказалась сильно пострадавшая от бомбежек, глухая темная улица. Камни и руины домов. Проехало несколько автомобилей. Я чувствовал полное одиночество, необычность дня только усиливала его. Минут десять я провел в поисках, потом мне встретился человек, который знал, где располагается общество.

Попав наконец в нужное место, я увидел группу людей в комнате, похожей на монастырскую приемную. Жесткие стулья, ветки остролиста, доска для объявлений, стол, распятие на стене. Вокруг стола разместилась довольно разношерстная компания. Два или три француза, католический священник, я, несколько выходцев из Ирана, Сирии и Ирака, один турок и один негр, которого все называли «Берег Слоновой Кости». Было вино — каждому по бокалу, чай без молока и по куску пирога. И еще было пение. С 9 до 11 мы пели. Я получил большое удовольствие. Сложилась поразительная певческая группа. Один из иранцев,

чемпион по борьбе, пел хриплым монотонным голосом, бесстрастно, на его губах блуждала легкая улыбка, в пении слышался скрежет. Другой иранец великолепно пел на арабском, его приятные ритмические напевы носили явно скандальный характер, потому что его соотечественники покатывались со смеху, когда он пел и когда пытался объяснить на французском, о чем его песня. Звучала также прелестная миниатюра о газели, потерпевшей фиаско в любви, однако весело скакавшей по лесу. Каждый раз после очередного певца вступал сам молодой организатор праздника и что-нибудь пел — на испанском, баскском, французском, чешском и польском языках. У него был приятный голос, и пел он с явным удовольствием. Меня тоже попросили внести в праздник свою лепту. Тогда я рассказал анекдот, который поняли только французы, однако по их виду можно было заключить, что они его уже слышали. Под конец я спел несколько английских песен вместе с молодым организатором, а молодая француженка исполнила песню на беарнском диалекте. Святой отец премило спел сентиментальную песенку. И вот в 11.30 пришло время торжественной мессы.

Мы с молодым организатором привели посланцев Среднего Востока в собор. Но служба не потрясла наше воображение. Епископ был где-то в другом месте. Поэтому мы по одному выходили. Стоял жуткий холод. Я обратил внимание, что у певчего солиста дыхание при пении тотчас обращалось в пар. Оказавшись на улице, мы побежали, смеясь и расталкивая прохожих, к собору Нотр-Дам ла Гранд. Собор был переполнен, но служба оказалась тоже не на высоте. Нас затолкали в угол, откуда мало чего можно увидеть. Все равно что попасть на плохие места в оперу. Само пение (и орган) никуда не годились.

Дома в два часа. И потратил эти отмеченные судьбой часы без особых тягот и саморазрушения. Иногда в попытках не быть одиноким человек деградирует.

Рождество

Очень холодный серый день. Ветра нет, всюду пасмурно, в том числе и в моем сердце. Я поднялся в одиннадцать, оделся, побрился и прочел два письма из дома. Точнее, письмо и открытку Открытка от Бэзила Б. А я-то думал, что потерял с ним связь. Только приветы с родины и внесли рождественскую нотку в этот день. В 12.15 мы встретились в прежнем составе в небольшом кафе, ели мелко нарезанный сельдерей с холодной свеклой, непрожаренный тощий бифштекс, картофельное пюре, каждый получил семь сушеных плодов инжира и стакан воды. Все были слегка подавлены и грустны, хотя для большинства из них — жителей Среднего Востока — Рождество ничего не значит. Я же ощущал всего лишь некоторое оцепенение. Был слегка печален и довольно циничен. После двадцати лет непоколебимой веры в светлое величие этого дня трудно прожить его просто как очередные двадцать четыре часа. Пишу эти слова и вижу стоящий на станции поезд. Он только что подошел. Не видно, чтобы кто-то из него вышел. С другой стороны, поезда приходят на станцию каждый день. После этого веселенького рождественского обеда я пил кофе в обществе двух немцев в пустом «Кафе де ла Пэ». За окном, на плас д'Арм, мелькали фигуры людей, но их было немного. В это время все сидят за праздничным столом en famille[137]. Сидящие в кафе ощущали себя изгоями и, находясь в самом центре города, чувствовали, что оказались скорее за его пределами. Немцы осуждали черствость горожан, которые не позаботились о том, чтобы двадцать иностранных студентов не ощущали в этот день одиночества. «В нашей стране люди соперничали бы за честь пригласить таких людей на праздничные торжества». Не знаю. Небольшой провинциальный городок повсюду — замкнутое сообщество. Пуатье никак нельзя назвать процветающим, деловым городом. Он почивает на прежних лаврах. Покрытых толстым слоем пыли. Все мы находили для него резкие слова упрека. Возможно, не совсем безосновательно.

Однако во всем этом была и светлая сторона. Мне лично доставило горькую радость — своего рода извращенное удовольствие — находиться в одиночестве, стать посторонним. Быть покинутым и несчастным — в этом тоже есть своя прелесть. И *единственная* возможность «познать себя».

Как от убитого льва бывает польза, так и одиночество приносит свои плоды. У меня родилось стихотворение, и оно кажется мне самым лучшим из всех, что я написал. Оно навеяно

акварелью, нарисованной мною несколько дней назад. Алый цветок у пустынной дороги на фоне унылого зимнего пейзажа. Можно сказать, что оно о человеческом существовании, несчастном существовании, и об утешении, даруемом человеку художником. Думаю в качестве названия взять строку: «Одна дикая роза должна расти».

Меня пригласили сегодня на ужин, но я отказался. Почему? По правде говоря, и сам не знаю. Думаю, просто не хотелось, чтобы знали о моем одиночестве, о том, что меня никуда не зовут. Частично причина в этом, а частично — в извращенном удовольствии быть всеми покинутым.

27–30 декабря

Легийон-сюр-Мер. Небольшая рыбацкая деревушка, одноэтажные домики стоят на открытом пространстве, в пейзаж входят луга, болота, траншеи, дамбы и море. Люди здесь низкорослые, крепкие и энергичные, но очень замкнутые. Смуглые, кельтского вида, жесткие и требовательные, с обветренными лицами.

Шел снег, когда в 7.30 мы выехали из Пуатье. В Легийон прибыли около часу. Долгое и холодное путешествие, в машине нас было как сельдей в бочке. В Фонтенэ-ле-Ком мы остановились, чтобы получить permis de chasse[138] в Вандее. В Англии такую лицензию можно купить в любом почтовом отделении, здесь же нужно проходить серию ненужных формальностей.

И вот мы в Легийоне. Уютная теплая гостиница, вкусная еда. За ленчем нам принесли устриц. Я их никогда раньше не ел. Однако всегда прикидывался, что плохо их переношу: стыдно признаться, что до двадцати четырех лет не пробовал устриц. Принесли также ската под соусом au beurre noir[139]. Мясо ската несколько клейкое, но вкусное. Была за столом и кефаль с обычным соусом из растопленного масла, на вкус не хуже форели, и еще жареная лиманда.

В первый вечер я подстрелил селезня, еще одну или двух мелких птиц, и больше ничего. Шестнадцатикалиберное ружье совсем мне не подходит. Помимо всего прочего, охотиться с ним на пернатую дичь — жестоко. Стреляя на дальнее расстояние, чаще ранишь, чем убиваешь. Но французы как-то не увязывают дистанцию с силой боя.

Каждое утро и каждый вечер мы выбирались на охоту. Уток тут великое множество. В самое первое утро мы стреляли по гусям, у них были белые манишки, и летели они высоко, много сотен футов над землей, издавая величественный гогот. Мы и потом их часто видели, но всегда на недоступном расстоянии. Я

не переживал по этому поводу. Если уж охотиться на гусей, то с собственным ружьем. Здесь все было диким и недоступным.

Мы плавали в небольшой лодке, стреляя болотную птицу. В том числе подстрелили двух шилоклювок. Какие прелестные, грациозные создания! Одни из самых изысканных творений на земле. Даже в дерзкой линии вздернутого клюва есть утонченная элегантность, ее не найдешь ни у одной другой птицы.

Я отказался в них стрелять и хотел, чтобы моему примеру последовали остальные. Видеть, как птицы бессильно шлепаются в воду, в грязь, равносильно тому, как видеть красоту, гибнущую в сточной канаве. Я все больше ощущаю ужасную символику, кровавый комплекс охоты. Шерно, профессиональный охотник, специализирующийся по пернатой дичи, держал в руках раненого кроншнепа, чтобы тот кричал и тем самым приманивал других. Внезапно во мне вспыхнула бешеная ненависть к нему за такую вопиющую жестокость. Но она тут же погасла. Нельзя бороться с многообразием и сложностью мира. Радость и страдание находятся в одной и той же действительности.

Остальные не добивали подстреленных птиц. Мне казалось, они получают удовольствие, держа в руках подранков и наблюдая за их судорожной борьбой. Нет сомнений — они (французы) более жестоки, чем мы. А если эту индивидуальную жестокость помножить на всю нацию, получим огромный резерв жестокости. В основе английской любви к спорту, при всех ее традиционных и снобистских чертах, лежит отвращение к жестокости. Большинство англичан стараются не продлевать мучения животных.

Два раза мы выходили в море. Я страшно замерз и не получил большого удовольствия.

Зато я получал большое удовольствие от птичьих перелетов. Удивительное состояние, когда слышишь в темноте шум сотен поднимающихся и опускающихся крыл, свист и кудахтанье свиязей, кряканье и гогот уток, кроншнепов и гусей. Все твои чувства обострены в ожидании стремительных силуэтов.

Под конец нашего пребывания я, подкравшись к двум уткам пеганкам, выстрелил и в одну попал. Тяжело раненная, она упала на отмель. Мне было жаль ее. Мы все ее искали, но не нашли. Просто чудо, что ей удалось скрыться. Этим она обрекла себя на муки.

Я устал все время говорить по-французски. Никто из остальных ни слова не знает по-английски, и потому я чувствую себя как бы в изоляции. Правда, теперь я свободно говорю на французском и даже иногда думаю на нем, но мне не удается на этом языке так шутить и фантазировать, как на английском. У

французов нет такой причудливой, барочной фантазии.

В конце концов я сильно простудился. Кара и возмездие. Но от этих четырех дней я получил большое удовольствие. Особенно мне запомнились устрицы, тысячи летящих уток и веселое окончание года.

1 января 1951

Охотничья лихорадка. Не могу думать ни о чем другом. Весь день писал длинное письмо ББ[140] о поездке в Легийон. И заново переживал все события, видя в них все больше символического. Охота — вид поэзии и в то же время захватывающий спорт.

1 января. Начало нового года. Веха в своем роде. Интересно, какой будет страна в новом году. И, *кстати*, не станет ли хуже мне?

Все время пишу. Не могу отрицать: жанр рассказа мне подходит. Творческая работа — время полнейшего счастья. Все куда-то исчезает, остаются только ручка или пишущая машинка, еще какие-то предметы на столе, а я словно стою в проеме между двумя комнатами, в одной — темнота, другая полна света, увлекательных бесед, интересных людей. Удивительнее всего то — при всей объективности остального, — что на самом деле они живут не так и говорят не то, что ты задумал. А иногда так увлекаются, что опережают меня, и я уже не могу воспроизвести все, что они говорили, и тогда, раздосадованный, должен сесть и попытаться вспомнить.

Как-то вечером мимо пронесся грузовик с ярко горящими фарами. Ослепил меня и умчался, оставив в темноте, и в ту минуту, когда грузовик был уже позади, я подумал, что он мог раздавить меня, и тогда бы я умер. Отсюда вывод: я давно уже живу на этом свете. С этого момента и впредь надо изображать жизнь, все больше и больше совершенствуя стиль, и никогда не останавливаться на достигнутом.

Уничтожаю старые рукописи. Печальная, трудная и необходимая процедура. Темы обычно хороши, но воплощение ужасно. Одна, история с привидениями, — о призраке в черном за окном; другая — о человеке, соблазнившем в лесу девушку и покинувшем ее в решающий момент; такие сюжеты стоит помнить.

7 января, воскресенье

Почти весь день сижу в кафе. Люди ужасно мне наскучили. Есть одна девушка (Дж.), которая слегка заинтересовала меня[141]. Она все время спорит со мной, а я с ней, и делать это нам совсем не скучно.

Мысли по поводу книги о народонаселении.

Статистика и экономические концепции жутко надоели. Мне

совершенно неинтересно, падает рождаемость или нет, и меня не волнует то, что для автора книги это серьезно. Знаю только одно: я хотел бы иметь жену и семью, но для этого нет ни финансовых, ни психологических предпосылок. Не очень волнует меня и то, что нация сокращается. Во всяком случае приятно представлять себе Землю, не очень густо заселенную. Или мир, в котором человек полностью подчинил бы себе машину, мир просторный, во всем комфортабельно обустроенный, или возврат к природной, пасторальной простоте — к самостоятельности. Любой из них предпочтительнее современной модели — сельди в бочке. Секрет жизни — погоня за наслаждением, которое таится в красоте. А она всегда проста и непритязательна, несмотря на кажущуюся сложность. В великом искусстве всегда безупречное чувство пространства. Простые детали, тишина, и только таинственные нежные сочетания. Простор.

Чувствую себя больным и весь вечер играю в кости с Джинеттой и Филом. Джинетта — смуглая, в меру живая. Черные озорные прелестные глазки. Мы с ней постоянно подкалываем друг друга. Она подчеркнуто иронически демонстрирует свое уважение ко мне как к преподавателю. Филипп — высокий, рыжеволосый, спокойный и абсолютно надежный. Скромный и интеллигентный. Из него почти наверняка выйдет хороший университетский преподаватель. Я научил их играть в «лгуна». Мы играли до двенадцати ночи, и я выиграл пятнадцать франков, что равноценно четырем пенсам. Приятно провести вечер в компании — быть вместе в полном смысле этого слова, отгородившись от остального мира.

14 января

Зашивал дыру в плаще. Он расползается на глазах. Не люблю эту работу. Все равно что раздевать некрасивую женщину. Верный знак бедности.

Заключил молчаливое соглашение с моим вторым «я» (художником), что не буду неделю писать. Недельный отпуск от честолюбивых амбиций. Ничего не написал, кроме крошечного стихотворения. Но совесть моя неспокойна, ощущение такое, будто я сам себе наношу удар в спину.

Новая шляпа. Синтетическая, в американском стиле, *imperméable*[142], цвета хаки. Стоила тридцать шиллингов больше, чем я мог позволить себе истратить, но в первый же вечер (вчера) я получил удовольствие на всю эту сумму, когда в сильный дождь вышел на улицу с Дж. и Филом. Голова моя осталась сухой, и я постоянно помнил, что на мне модная новая шляпа. И испытывал от этого большое удовольствие.

Уик-энд с Андре Броссе в Туаре[143]. Андре — необычный

молодой человек, крупный и сильный, довольно сдержанный, но дружелюбный, у него раблезианское чувство юмора, бывают эксцентрические выходки. Чем-то напоминает барсука. Производит впечатление тугодума, однако он не только отличный натуралист, но человек начитанный, хорошо знающий искусство, замечательный художник — словом, гораздо более умный и тонкий, чем кажется с первого взгляда.

Семья ведет происхождение от крестьян, мелких арендаторов — соли земли. Мать — крупная, величавая женщина с умными и добрыми глазами. Отец грубоватый, умный, с хитрецой. Все в семье рассудительные, даже маленькие девочки. Семья большая — девять или десять человек, все, как один, крупного сложения. Живут они в среднего размера доме, довольно обветшалом, внутри изрядный беспорядок и грязь.

Семья богатая; они весьма преуспели в жизни: бывшие владельцы мастерской — теперь они хозяева большой фабрики. Дом полон разрозненных, несочетающихся предметов — хорошо сохранившихся прялок, старой мебели, дорогих антикварных вещей, распятий (ведь семья большая!), этажерок, безделушек, — невероятное, экстравагантное соседство. Еще один сын, спелеолог, недавно нашел практически не поврежденный горшок, относящийся к периоду неолита. У него красивая, основательная и простая форма. Вещь словно создана для семьи Броссе. Горшок довольно изящен. Я взял его в руки, представил, что ему несколько тысяч лет, и подумал: ведь впервые я держу в своих руках такую древнюю вещь. Это меня по-настоящему растрогало.

Кормили нас замечательно, вкусно и обильно, и вина было вдоволь. Воскресный обед был особенно впечатляющим — много разнообразных блюд и несколько сортов вина. Я ел, ни в чем себя не ограничивая, и чувствовал себя превосходно, испытывая bien-être[144]. Мы говорили о политике, и во мне укрепилась порочная уверенность в том, что я произвожу хорошее впечатление и все вокруг дышит bonhomie[145]. Причина того, что причащаются вином, не одна. Жаль, что там дают лишь глоток.

В тот же день мы отправились в Эжантон, ближайшую деревушку, чтобы поставить капканы на черных хорьков. Остановились мы у дедушки и бабушки Андре. Эта очень старая чета (обоим около девяноста) живет в древнем, покосившемся домике. Старая дама очень мила, у нее живые, веселые, удивительно простодушные глаза на морщинистом, увядшем лице. Ее муж одного роста с ней, у него тоже добродушное, веселое выражение лица, оно усиливается неким подергиванием век, заметным у них обоих. У старика великолепные седые усы, кончики их топорщатся вверх. Словом, прелестная пожилая пара,

настоящие Дарби и Джоан. Поставив капканы на хорьков, мы вернулись и пообедали в их обществе. Старики мало говорили, ели суп, их веки подрагивали, словно они нам подмигивали.

Каждый вечер мы с Андре допоздна говорили о литературе и искусстве, все лучше узнавали друг друга, а утром шли проверять капканы. Первый раз в них ничего не было. На второй день в капкан попала одичавшая кошка, которая съела приманку. Она не погибла, и мы ее выпустили. Крупная, жирная кошка. Андре притворился расстроенным, но я понимал: в глубине души он рад, что хоть кто-то угодил в наши ловушки.

В Пуатье мы возвращались по широким плоским равнинам Пуату, в отличном настроении. День был ветреный, по огромному ярко-синему небу плыли облака. Природа после ночного дождя словно умылась и раскрасилась в яркие и нежные цвета. Как будто Коро, Констебл и Сислей объединились, чтобы изобразить идеальный пейзаж. (Любопытно, что на картинах раннего Коро всегда безветренная погода, а у Констебла всегда дует легкий ветерок.) Голубые небеса Сислея. Мягкий свет Констебла. Ясность, четкость форм Коро. На равнине Пуату много небольших долин, речек, деревушек, старых мостов, мельниц, рядов голых тополей.

17 января

То, что меня сейчас отвлекает. Мне хочется рисовать больше, чем писать, ведь последнее для меня серьезное занятие. В живописи я никогда не претендовал на оригинальность, и рисование — всего лишь побочное занятие, временный отход от того, что должно быть магистралью моего развития. Единственное утешение: всякий возвращающийся после такого зигзага к основному занятию становится немного мудрее.

К тому же я понемногу влюбляюсь, и, как обычно, в южную красотку (Дж.). Она одна из немногих хорошеньких девушек здесь, у нее черные волосы, красиво очерченный рот — ярко-красный на бледном лице. Не решусь точно описать южный, греко-латинский цвет кожи, он матовый — светло-янтарный или алебастровый. Глаза большие, темно-карие, выразительные, белки ослепительно белые. Немного полновата, но лишь слегка. Не красавица, но больше чем просто хорошенькая. К тому же она интересный человек. Умна, ее ум схож с моим, мы всегда насмешничаем и поддразниваем друг друга, однако умеем вовремя остановиться. Единственная проблема, что у меня нет шарма jeune premier[146]. И в физическом плане я не выдерживаю сравнения с самыми скромными из кинозвезд. В довершение всего она энтомолог и коллекционирует мотыльков. Что ж, возражений нет, если я стану главным из них или одним из самых

главных. Но после… И еще: она живой человек, что делает ее чуть ли не исключением в Пуатье.

19 января

Разговор со священником-иезуитом. Со мной связались, желая узнать, смогу ли я вести английскую разговорную практику с их учениками. Нет, ответил я, регулярно не смогу, но от одной встречи не откажусь. Разговор состоялся в знаменитом колледже Св. Иосифа. Это здание с весьма невыразительным по размеру фасадом, за которым скрываются другие, более просторные корпуса. Очень по-иезуитски. Пройдя несколько унылых темных коридоров, мы поднялись по лестнице на этаж, где располагались комнаты духовных отцов. Длинный мрачный ряд закрытых дверей с высокими стенными шкафами между ними.

Сопровождавший меня студент-француз постучал в одну из дверей, и мы вошли в вытянутую сумрачную комнату, лишенную тепла и комфорта человеческого жилья. Пыльное, грязное, заброшенное помещение. Длинная полка, книги с темными корешками. Заваленный бумагами стол. Посреди комнаты печка, на полу перед ней следы золы. Всюду беспорядок. Атмосфера затхлости. В нише неубранная постель, на ней пижама в голубую полоску.

Святой отец протянул мне сигареты — французские или английские. Меня удивило, что он курит. В пепельнице гора окурков. Он докурил сигарету до конца — дальше обжегся бы, — зажав ее большим пальцем и ногтем, по-крестьянски.

Начались переговоры. Не успел я опомниться, как он уже уговорил меня заниматься раз в неделю и склонял к двум. Но я быстро пришел в себя, дал задний ход и даже стал торговаться по поводу одного часа. Каждую неделю у меня шесть часов на факультете, и я не хотел загружать свободный день дополнительными занятиями. Потом встал вопрос об оплате. Колледж бедный, сказал иезуит, и после долгих предисловий выяснилось, что за мои услуги он может предложить мне еженедельно один бесплатный ленч. Такие условия меня разочаровали, и, полагаю, это было заметно. Однако я согласился — правда, довольно снисходительно.

Святой отец — маленький тщедушный человечек в очках и поношенной сутане, нервный и легко все схватывающий. Его глаза под очками — единственно живое, что есть в этой комнате. Он вел жесткий торг, и мне не нравились его коварные ходы, игра на слабых сторонах моего характера, — прямая, открытая просьба прозвучала бы куда лучше. Тот факт, что вопрос о вознаграждении обсуждался в последнюю очередь, я расценил как дипломатический ход и хитрость иезуита.

Возвращаясь домой, я подумал, что, возможно, сам веду себя недостойно. Ведь учить ребят английскому языку означает способствовать пониманию между народами. Однако трудно согласиться с тем, что я всего лишь крохотная частица и должен выполнять некий микроскопический труд. Я чувствую, что в моих силах решать более глубокие социальные задачи. Меня не могут удовлетворить беседы на английском языке два часа в неделю с учащимися ничем не примечательного провинциального иезуитского колледжа. Я хочу оказывать влияние на тысячи людей — не на десятки. Преподавание — вещь, на которую можно опереться, откинуться, — диванная подушка. Посредственные мысли для заурядных людей. И все же, думаю, я соглашусь на два часа. Мне этого ужасно не хочется, но все неопределенное всегда заманчиво. Возможно, тут будет что-то творческое: все-таки колледж иезуитов.

Английский клуб. Длинная речь Мартина. Его слова о необходимости «притираться друг к другу» вызывают дружный double entendre[147] смех, потому что все знают, что он за человек. Chasseur de jupon[148]. Всегда лапает студенток.

Развитие сюжета с иезуитами… Мартин возмутился, услышав, что я вступил с ними в переговоры. Обе системы никогда не пересекаются. У меня, естественно, есть оправдание. Так что все мои добрые намерения (это надо с грустью признать) пошли коту под хвост.

Нужно держаться в стороне от так называемой литературной жизни. Ее следует усердно избегать. Стоит стать критиком, начать постоянно читать и оценивать сочинения других, как это неизбежно нанесет непоправимый ущерб собственным творческим порывам. Их убьет наслаждение евнуха. (Не совсем точное слово, но другое не приходит в голову. Ужасно, когда такое случается. Недозволенное? Искусственное? Что-то вроде этого.) Все равно что каждую ночь спать с любимой женщиной и не прикасаться к ней. И однажды, придвинувшись поближе, вдруг захотеть ее и тут понять, что уже импотент. Новый подход — извне — невозможен.

25 января

Я болен. А меня ждут танцы до утра. Bal des Lettres[149]. Непонятно, что за болезнь на меня напала. Может быть, любовь, а может, голод, или воздействие большого числа лекарств, или грипп, или недосып, или дизентерия. Что бы это ни было, состояние отвратительное.

Bal des Lettres — шумное студенческое мероприятие под музыку хорошего латиноамериканского оркестра. Приняв кучу лекарств и запив их тремя рюмками коньяка, я надел свой

лучший синий костюм и отправился на бал. В сопровождении Джинетты, Пат и Фила. Весь вечер я ворчал, не желая идти на бал, но, очутившись там, веселился не меньше остальных. Почти все время танцевал с Джинеттой, у нас с ней сложился своеобразный сексуальный танец — медленный, на близком расстоянии друг от друга, этому стилю мы оставались верны, даже когда менялся ритм. Его дальнейшему развитию мешали мои ученики, присутствующие в зале, они буравили меня глазками-бусинками, стоило мне ненароком прижаться к Джинетте. Танцуя с ней, я был полностью счастлив: у нас обоих хорошее чувство ритма, и она не избегала телесного контакта.

С танцев мы ушли после трех ночи, ушли все четверо. Над городом повис холодный туман. Мы разделились, и я пошел провожать Дж., но, оказавшись у ее дома, предложил погулять еще. Мне очень хотелось ее поцеловать, но к этому времени я еще не набрался мужества. Она же перебирала мои пальцы с момента, когда мы покинули танцевальный зал. Мы ходили по пустым и темным улицам, все теснее льнули друг к другу, но до поцелуев дело все не доходило. Наконец на одной темной улице я прижал ее к себе и поцеловал. Все прошло хорошо. Сначала она сказала:

— Ну зачем?

Потом мы долго целовались. Она несколько раз спросила, спланировал ли я это заранее. А потом сказала:

— Bizarre. C'est bizarre[150].

Возвращаясь к ее дому, мы все время целовались и резвились на пустынных улицах. У нее выразительные глаза, красивый рот и чудесный нежный цвет лица. Очень привлекательное лицо. Она пощипывала мою руку.

Домой я вернулся в пять и теперь пишу дневник, на душе весело и радостно.

Я не безумно влюблен. У нее есть недостатки. Однако для Пуатье их очень мало.

28 января

Странно, но даже влюбленность не приносит полного удовлетворения. С каждым днем хочется большего. Сегодня Джинетта приходила ко мне до ужина, и после ужина тоже; я включил приемник, притушил свет, мы лежали на моей узкой кровати и целовались. Иногда она становится очень серьезной, как будто происходит что-то ужасное. У нее довольно широкое лицо — еще немного, и было бы уже некрасиво. Самые сладкие минуты — когда она перестает поддразнивать меня. У нас постоянно идет интеллектуальная схватка. Но бывают моменты, когда она делает передышку и расслабляется, и я чувствую, что психологически, так же как и физически, она уступает мне. На

людях мы скрываем наши отношения, общаемся холодно, изъясняемся односложно и получаем огромное удовольствие от успеха нашего лицедейства. Глядя на нее, я отмечаю недостатки ее внешности. В профиль часто необыкновенно хороша. Анфас иногда чуть ли не безобразна. И все же, даже когда я пресыщен поцелуями и объятиями, в наших отношениях присутствует нечто, чего я не могу постичь. Что-то вроде души, больше, чем просто плоть. Нежное постижение, связь. В ее интеллекте я не нахожу изъянов. Она умна, сообразительна, «первый сорт». Галльский ум. Мозги у нас работают в одном направлении. Так что между нами устойчивая связь, которая остается даже при физических несоответствиях. Больше понимания, чем любви. Мне кажется, при настоящей любви интеллектуальная критика невозможна.

В моей жизни появилось что-то вроде подводного течения. У меня пропал аппетит. Я не могу ни писать, ни читать. Интенсивность существования всегда убивает во мне всякую надежду на творчество. Мне нужно затишье после бури — как сегодня. Мы вместе пообедали и выпили кофе в «Кафе де ла Пэ». Потом просто гуляли по улицам и чувствовали себя счастливыми, хотя этот воскресный день холодный и пасмурный. И расстались, ощущая сладкое недовольство добровольным воздержанием.

С Дж. После обеда вместе с остальными пошли в «Кафе де ла Пэ». Нас было человек десять — три американца, канадец, две кошмарные английские девицы, один или два француза. Бессвязный разговор, тягостная атмосфера. Я умирал от скуки. Сидевшая напротив молодая англичанка привела меня в содрогание. Она пухлая, робкая и заурядная. У нее не укладывается в голове, что я могу быть таким чудовищем, каким себя изображаю. Если я говорю ей, что безучастен к общественным проблемам и безответствен как преподаватель, она только смущенно улыбается и ничему этому не верит. Она, конечно, права, что не верит, однако — при своей чудовищной консервативности — должна бы знать элементарные правила ведения беседы. Ужасно, насколько приехавшим сюда английским девушкам недостает тонкости — частично это из-за проклятой традиции соревнований и «честной игры». Приятная беседа подразумевает озорные шутки, тонкие оттенки лицемерия, тайны, коварства, щекотливые подробности. Постоянные поддразнивания и уколы. Так пикируемся мы с Джинеттой и редко когда бываем серьезными. Она говорит: «Je ne fait jamais des compliment en publique»[151]. В этом секрет успеха. Но бедная застенчивая англичанка методично и неуклюже вела разговор на банальные темы, используя при этом заезженные клише.

Джинетту, похоже, это настолько утомило, что она внезапно поднялась и ушла. Немного поколебавшись, я последовал за ней. Она сказала, что ей захотелось на свежий воздух. Держалась холодно и нервно.

Мы бродили по улицам Пуатье. Джинетта позволила взять ее за руку; постепенно мы оттаяли, стали смеяться и целоваться на ходу. Так цветок после заморозка раскрывается навстречу солнцу и теплу. Покинув пределы Пуатье, мы взобрались на холм и оказались на дороге, ведущей в Сен-Бенуа. Отсюда смотрели на Пуатье, на залитый огнями склон. Вот мы и на природе — все вокруг голо и пустынно, впереди меж безлистных деревьев бежит вдаль дорога. Мы продолжали резвиться и целоваться. Было очень холодно, дул резкий ветер, все вокруг затянуло отвратительной влажной дымкой. Но, несмотря на это, мы были до смешного счастливы — как дети. Джинетта рассказала о своем прошлом романе, я ей — о своем. Рассказал о Кайе и еще об одном — вымышленном — любовном приключении. В Пуатье мы возвращались поздним вечером в какой-то сладостной расслабленности, хотя нас окружали сырость и темнота. Невозможно описать это состояние. Просто чудо. Пусть и старейшее из чудес, но ни у кого из сидевших с нами в кафе не могло произойти ничего подобного по необычности и глубине. Об этом я написал стихотворение, но потерпел неудачу.

Однако в процессе его написания родился потрясающий сюжет для повести.

30 января

Закончив работу, мы вернулись в мою комнату и там лежали, заключив друг друга в объятия. Я одновременно испытывал два чувства, одно — что первая пылкая нежность и трепет обладания проходят. Джинетта часто повторяет: «Nous nous embrassons trop»[152], — и она права. Пресыщение рождает отвращение. Зато другое чувство все компенсирует — это нарастающая теплота отношений, близость, дружеское общение, легкое добрачное предвкушение семейного уюта.

Сначала побеждало чувство отвращения. Даже не столько отвращения, сколько потеря интереса или первые ее признаки. Но потом, позже, когда мы как-то шли вместе в студенческий ресторан, я вдруг увидел ее в новом свете. Джинетта спросила меня, о чем я думаю, но я не смог ей этого объяснить, сказав только, что мое представление о ней меняется: кажется, что я завладел ею, но это не она, а только тень моего любовного желания. Однако я сознавал, что тело, отбрасывающее эту тень, находится рядом. И всегда будет рядом, мне же суждено всегда ловить только тень. Двое людей, как бы близки они ни были,

знают лишь тени друг друга.

Я задавал себе вопрос, не жениться ли мне. Наше чувство не «grand amour»[153]. Сейчас это не более чем сильное увлечение. Но оно восхитительно взаимно, хотя меня страшит момент, когда я могу узнать, что меня любят: ведь я ее преподаватель и подданный страны, чей язык она изучает. Интересно, возможно ли любить другого человека так целомудренно, что внешность перестает иметь значение. Сомневаюсь. У любви должны быть корни. Я думаю о Джинетте, как если бы она сама думала о себе, — о ее некрасивости, недостатках, отдаленности от смутных идеалов, которые я ношу в себе. Вот в чем проблема — преодолеть, заполнить разрыв между идеалами и действительностью. Мои планы не так уж фантастичны (или мне так кажется). Возможно, литературный талант дарует мне блестящее будущее, в котором у меня будет такая же известная, красивая и умная жена. Не Джинетта. А может быть, следует брать то, что предлагает тебе жизнь? В какой-то момент оказываешься в месте, где нужно смириться с необходимостью вернуться назад. Вроде недосягаемого Эвереста. Так как часть пути к идеалам пройдена, надо спуститься как можно достойнее. И тут может подойти Дж. В литературе великими скалолазами были Малларме и Флобер — в своих высочайших устремлениях они похожи на Ирвина и Мэллори. Как быстро устаревают такие сравнения. Через сто лет на имена Ирвин и Мэллори придется давать сноску[154].

31 января

Первое напряжение в отношениях. (Эти вещи я изучаю с клинической точки зрения. Думаю, так буду поступать с каждой женщиной.) Как правило, Джинетта ест за другим столом и уходит раньше меня. Я подумал, что она, не дожидаясь, пока я закончу, пошла домой. Однако она направилась в «Кафе де ла Пэ». Я же пригласил туда на кофе другую девушку. Умненькую, из хорошей семьи, с необычными чертами круглого лица и великолепными густыми черными бровями. Мы сознательно сели за столик рядом с Дж., но она оставалась жутко мрачной и угрюмой — такой может быть только южанка. Я говорил с Мойрой (так зовут девушку с густыми бровями) по-английски, но Дж. не принимала участия в разговоре, и я ушел из кафе, не дожидаясь ее. Думаю, она расстроена больше меня.

Знакомство (через посредство Доминика и Андре) с безумным Маркизом — маркизом д’Абади. Это зрелый мужчина, лет шестидесяти, с тяжелым, полным высокомерия лицом — такое лицо требует парика, но здесь его заменила пышная грива седых волос. Этого богача, носящего известную аристократическую

фамилию, хорошо здесь знают. В его жизни три интереса: коллекционирование птиц, особенно их помета, непристойных анекдотов и рекламных объявлений. Любопытное сочетание мальчишеских выходок и жестов в grande maniure[155]. Он то и дело упоминает в дневнике о своей коллекции летучих мышей — так мальчишка хвастается о найденных им птичьих яйцах. Маркиз хорошо одевается — он богатый человек. У него полные, чувственные губы, выражение лица порочное и нездоровое. Мы познакомились в «Кафе де ла Пэ», и он стал громко рассказывать нам непристойные анекдоты, им не было конца, и рассказывал он с автоматической горячностью экстраверта, смакующего скабрезности. Среди них были и анекдоты, направленные против англичан, ему хотелось подколоть меня. Один хуже другого. Вот например: «Англичанин решил искупаться. Разделся догола и вошел в воду. Тут пришли хорошенькие девушки и сели поблизости от одежды. Англичанин оказался в затруднительном положении, не зная, что прикрыть — зад или перед. В конце концов он нашел выход из положения. Поймал большую медузу, налепил ее на чресла и прошествовал мимо девушек. Одна из них повернулась к подруге со словами:

— Посмотри на этого мужчину! Какая очаровательная сексуальная фантазия!»

Этот анекдот еще из наименее отвратительных. Маркиз приехал в Пуатье, потому что тут живет его любовница. Свою нынешнюю сожительницу он описал как «delicieuse, eile est si charmante ä ma femme et mes enfants»[156]. Он пригласил нас приехать в четверг в его замок.

Первая размолвка набирает силу. Я ждал Джинетту после обеда. Мы пошли по освещенной стороне, что было символично. Молчали и ощущали некоторую неловкость. Думаю, она играла роль, хотя, возможно, действительно считала себя оскорбленной. К обеду я спустился в отличном настроении, теперь же пришел мой черед страдать. Я всячески старался ее задобрить, но меня ждал провал. Я держался неестественно, был подавлен и сердит. Сказал, что сожалею об инциденте в кафе. Она ответила, что не видит повода для сожалений: я могу встречаться с кем хочу. Типичное проявление недовольства. Она смотрела на меня с видимым отвращением и что-то напевала под нос, как делают люди, когда хотят показать, что им все безразлично. Я терпеливо, слишком терпеливо старался смягчить ее. Даже прибегал к психологическому давлению. Но она была как кремень. Мне казалось, что она наполовину играет, наполовину серьезна. Меня по-настоящему заинтриговало такое удивительное извращение наших отношений. Так бывает, когда два предмета невозможно

приладить друг к другу, их соединяют, потом разъединяют, опять соединяют, прикладывая все большую силу. Это может привести к поломке.

Но в случае настоящей любви и т. д. Единственное утешение, что, думаю, она страдает не меньше меня, а может быть, и больше: ведь во мне сидит некая все регистрирующая машина, готовая принять любую боль ради обретения опыта и разнообразия информации. Мне приятно представлять, как Джинетта плачет, уткнувшись в подушку. В такой ситуации уместно проявить немного садизма. Смесь мазохизма и садизма — намеренное отчуждение, ожидание примирения.

Мы холодно пожали друг другу руки, она сказала:

— Тогда до понедельника.

Не будем видеться пять дней. Я уезжаю завтра, а она в пятницу едет домой. Зловещий знак. Мне кажется, она рада этой отсрочке. Ее пугает развитие наших отношений.

Даже сейчас, когда я пишу, мне все еще больно. Но в этом несчастье есть и своя сладость.

Я слишком много пишу. Как будто сам себя наказал.

1 февраля

За ленчем я видел Дж., но мы не разговаривали. Вид у нее был такой мрачный и несчастный, что я с облегчением ушел из столовой раньше, вместе с Домиником и Андре. Наши взгляды один раз встретились. Она отчаянно изображала равнодушие. Мы оба не улыбались. «Отчаянно» — вот точное слово.

Ушел я раньше, потому что меня, Доминика и Андре маркиз д'Абади пригласил в свой замок. Это в Шеркора, вблизи Маньяк-Лаваль, в восьмидесяти — девяноста километрах от Пуатье. В приподнятом настроении мы пустились в путь. На автомобиле Д., довоенном раздолбанном «опеле». На передней шине была большая дыра. Однако спустило — примерно через двадцать пять километров — не ее, а заднюю. Вокруг на много миль ни одного населенного пункта, и нам пришлось заменять колесо еще более ветхим roue de secours[157]. Кое-как мы добрались до ближайшей ремонтной мастерской в Ломмезе, где механик-немец устранил неполадки. В два часа — время, на которое маркиз назначил нам встречу в замке, — механик еще работал. Наконец мы отъехали. En route[158] что-то ударило прямо в ветровое стекло. Д. сказал, что это скорее всего кусок стекла, валявшийся на дороге. Мы продолжали весело ехать дальше. Добравшись до замка, выяснили, что одна фара разбита. Я не мог удержаться от смеха и должен был на месте выдумать причину такого безудержного веселья. Возвращаясь домой, мы обнаружили, что не работает задний фонарь, и заехали в ту же мастерскую в Ломмезе. Механик

лез из кожи вон, чтобы поправить дело, но все, что ему удалось, — это разбить гаечным ключом стекло. Jour néfaste[159]!

И все же поездка в этот холодный, но солнечный, бодрящий осенний день по восхитительной сельской местности была чудесной. Красновато-коричневые деревья, небо сислеевской синевы, розовато-голубые равнины и леса вдали. Преобладал августовский тон — золотой. Живописные старые деревушки, плоские, méridionel[160] крыши домов. Неподалеку от Шеркора несколько очаровательных лесистых долин — несмотря на голые деревья, в них были свежесть и синева. Маркиз приветствовал нас. Его замок — небольшой загородный дом, довольно невзрачный снаружи, но вполне пристойный внутри. Нам показали коллекции. Тысячи птиц, яиц, окаменелостей, рептилий. Их созерцание мне быстро наскучило. Единственным живым существом здесь была симпатичная маленькая пестрая сучка кокер-спаниеля. Никто не убедит меня, что коллекционирование (исключение — когда этим занимаются прирожденные ученые) не является признаком низшего, мертвого интеллекта. Глядя на собранные хозяином гравюры и картины, я видел, что он не обладает хорошим вкусом. Человек с хорошим вкусом (пусть это покажется парадоксом) не может собирать то, что было живым. Маркиз также познакомил нас со своей коллекцией непристойных историй. Их у него шестьсот или семьсот, все тщательно пронумерованы и снабжены перекрестными ссылками. Показал и порнографические «Mémoires d'une petite comtesse»[161], их он сейчас пишет.

Он также продемонстрировал нам экземпляры нескольких своих работ. Брошюры по орнитологии, сборники местных преданий и т. д. Au fond[162] он провинциал, незначительный представитель местной научной литературы.

Чай мы пили в обществе маркизы. Обоим супругам чужды условности — в этом они чем-то близки английским сельским жителям. Чай подавали в элегантной гостиной, но потом маркиза, заметив, что мы голодны, позвонила и приказала принести хлеб и банку консервированной свинины, которую мы тут же умяли. Похоже, я ей понравился: уже через четверть часа она пригласила меня приехать к ним на Пасху, несколько дней погостить и поговорить на английском языке с ее дочерьми. Д. уверяет, что они очень красивы. Получив приглашение, я выразил недоумение, удивление и благодарность. Думаю, это просто каприз. On verra[163]. Маркиз открыто говорил при жене о любовнице, называя ее une petite amie[164], потом отвел Андре в сторону, чтобы через него назначить ей свидание в субботу. И даже вручил письмо. Кажется, ему нравится, что его роман многим известен.

Дома. Не могу сказать, что не думаю о Дж. Но мысли уже не столь болезненны. Напряжение спадает. За ленчем она подошла ко мне и спросила, как прошел вчерашний день. Мною овладело восхитительное чувство победителя, хотя я не потребовал контрибуции. Я хотел держаться с ней холодно, но это было невозможно. Мы пошли пить кофе, и наши глаза говорили, что мы прощаем друг друга. Потом отправились в музей. Кроме нас, там никого не было, мы нашли укромный уголок и стали целоваться. Это была спальня, демонстрирующая крестьянскую мебель. Мы бродили по комнатам, держась за руки и непрерывно целуясь. Восхитительное для обоих чувство bien-être[165]. Облегчение. Потом она уехала на поезде домой, а у меня на душе по-прежнему было светло. Весь день рисовал. Получилось довольно плохо, я порву этот рисунок, хоть он и большой и я рисовал его четыре часа. Вечером нарисовал маленький, гораздо лучше, а работа заняла всего час.

4 февраля

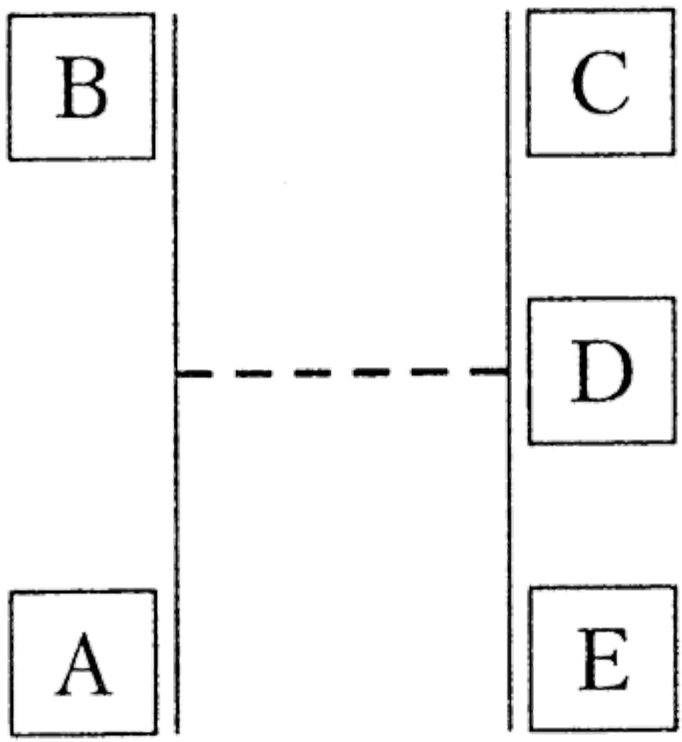
Дж. вернулась. Она пришла ко мне перед обедом. Мы оба были уставшие и предавались ласкам в каком-то восхитительном, почти бессознательном состоянии. Я целовал ее руки и плечи.

Она быстро обрывает меня, когда я готов преступить границы дозволенного, но делает это с явной неохотой. Я чувствую, что мы уже исчерпали тот запас поцелуев, который сладок без настоящей близости, и не могу не критиковать ее в душе. Иногда я остро ощущаю ее провинциальность. Однако, расставшись с ней после обеда — у обоих были неотложные дела, — я почувствовал боль при мысли, что не могу провести вечер в ее обществе. Подчас мне трудно с ней говорить. Особенно на людях. Дневной свет разрушает иллюзии. Повторяя ее слова, нам не хватает общей бессонницы. В наших отношениях нет фундамента. Даже сейчас мы прослеживаем каждый этап в развитии нашей любви, словно она из древней истории.

Всегда испытываю затруднение, когда даю названия своим произведениям, — может быть, было бы во многих отношениях честнее просто нумеровать их, как музыкальные сочинения. Думаю, так и стану делать. Указывать годы, числа. 1950 A, B, C. В поэзии названия более оправданны. Они — неотъемлемая часть самого сочинения. Иногда.

Безрассудство. После обеда пошел дождь. Я был с Джинеттой. Расставаться не хотелось, и я предложил пойти погулять. Под проливным дождем. Уже тогда я был на грани бронхита. К концу прогулки у меня разыгрался сильный кашель и заболела грудь. Мой поступок был нелепым, но я был счастлив. Иметь бы достаточно денег… Не знаю. Тогда, возможно… Сколько проблем

сразу разрешилось бы! Когда мы вдвоем шли по мокрым улицам, я испытывал глубокую связь с ней, чувствовал ее частью себя. Однако она говорит, что никогда не знает, искренен ли я. Тут моя вина. Я и сам подчас себя не знаю. Теперь я точно заболею. Джинетта предложила мне решить забавную задачу:



На берегах реки пять домов. Их соединяет только D — паром.

E — девушка, помолвленная с A. B любит ее, но безответно. C — старик. D — водит паром. Однажды E решает, что ей необходимо срочно повидаться с A. Девушка идет к D, но того нет на месте и она заходит к C, чтобы спросить его совета. Река разлилась, переправляться опасно, говорит старик и советует ей переждать. Но она все-таки отыскивает D и просит перевезти ее. Он смотрит на бурлящую реку и говорит: «Хорошо, но при одном условии — ты должна снять с себя все, что на тебе есть». Девушка соглашается. Паромщик благополучно перевозит ее на противоположный берег, но оставляет там в чем мать родила. E идет к дому A, но его там нет. В отчаянии она просит B приютить

ее. Тот рад и просит ее посидеть с ним. Одежду он девушке не предлагает, однако и не трогает ее. А приходит в гости к В, видит голую невесту с посторонним мужчиной, приходит в ярость и разрывает помолвку.

В каком порядке вы распределите ваши симпатии? Кто самый лучший? Вот обозначение символов: А — нравственность и консерватизм; В — авантюризм; С — разум; D — материализм; Е — любовь. Мой выбор — EBCDA.

В каком-то смысле этот тест — проверка характера. Разумеется, он нуждается в доработке.

12 февраля

С Дж. на спектакле театра Колледжа иезуитов. Спектакль дневной и весьма посредственный. «Каприз» Мюссе и «Антигона» Ануя. Постановки совсем нас не заинтересовали. Гораздо интереснее было смотреть на двух мальчуганов, сидевших впереди. Они были просто влюблены друг в друга, обнимались, и я видел, как один поцеловал другого в ухо. Им, вероятно, не больше десяти. Невинные — их переполняла братская любовь. Потом мы с Дж. вернулись домой. Мы все сильнее влюбляемся друг в друга. Теперь, оставшись вдвоем, чувствуем, как нас окутывает мечтательная томность, смутное влечение, заставляющее забыть все остальное. Мы говорим, что совсем abruti[166]. Это французское слово лучше выражает наше состояние, чем любое английское. В нас просыпается животное начало. В этом нет ничего уничижительного. Оцепенение, помрачение сознания от близости, мы оба утрачиваем волю. Джинетта говорит, что я сбросил маску. Это правда. Я воспроизвожу в памяти каждую секунду, проведенную с ней, — например перед сном, когда ложусь в постель.

Ближе к вечеру мы пошли на танцы в студенческий центр. Танцевали в дремотном, чувственном полумраке. И все время вдвоем, тесно прижавшись друг к другу. Я очень устал, у меня болела голова, но, согласно кружась с ней, чувствовал полную свободу от тела. Или, точнее, обретение нового тела. На этот раз полная победа над собственной плотью.

Это зло, деградация. Власть прошлого над будущим. Танцующие выглядели заторможенными. Поцелуи, тесные объятия. Мы с Дж. покинули зал в любовном тумане и бродили по улицам необычно серьезные, как будто чувствовали, что в буквальном смысле катимся вниз, всеми покинутые. И тем не менее ничего не предпринимали.

Будь у меня деньги, я, может быть, и женился бы на ней. К счастью, их у меня нет.

Я рухнул в постель в 2.30 и спал мертвым сном вплоть до

1.45. И все-таки чувствую усталость.

Весь вечер провел, исправляя сочинение Дж. Ей хочется, чтобы оно было хорошим, — нужно отдать его Лео. Это нечестно, да и ей ничего не даст. Я не испытываю угрызений совести. Обман сам по себе недостойный, но если ей нужна от меня тайная помощь, она ее получит. Завтра я буду вместе с Лео просматривать ее сочинение и притворяться, что вижу его впервые.

13 февраля

Любопытный и забавный случай. Я завтракал с Дж., сидя у окна. Неожиданно я увидел ярдах в двадцати от нас желто-зеленого попугая, он залетел за стену.

— Бог мой! Попугай! — воскликнул я.

Дж. рассмеялась, но не поверила мне. Возникла одна из тех ужасных ситуаций, когда ты убежден в своей правоте, но не можешь заставить другого в это поверить. Когда ты всего лишь свидетель. И вдруг из-за угла вышла женщина с попугаем в руке. Я издал радостный крик. Кто-то из сидевших на другом конце стола сказал:

— Разве вы не знали? Внизу, на кухне, живет попугай.

Il faut croire[167].

Грэм Грин «Человек внутри». Потрясающе плохая книга. Сродни роману Э.М. Форстера «Куда боятся ступить ангелы». Романтическая и беспомощная проза. Обычное дело — путаные мысли и напыщенный слог. Герой — хам с золотым сердцем, по жанру роман — исторический триллер. Множество погрешностей в мотивации и стиле, и это подстегивает собственный творческий импульс. Единственная достоверная деталь — отвращение, которое вызывает продолжающий движение труп. И скаредные священники. Во всем остальном это удивительно старомодное и сентиментальное произведение. Но все же он его написал. И как раз в моем возрасте[168]. А мне до этого еще далеко.

15 февраля

Пишу с запозданием. Сначала я всегда делаю краткую запись, чтобы потом на досуге подробно воспроизвести остальное. Неожиданно высвобождается время, а я не могу найти записи и зверею от этого.

Пометки на полях. Я сделал их в книге Грина «Человек внутри» и теперь еще в «Святилище» Фолкнера. Приятно, когда можешь анализировать, критически оценивать прочитанное, чутко на все реагировать. Понимать — где просчет, а где хитроумный прием. У Г. больше первых, у Ф. — вторых. Некоторые люди яростно возражают против таких пометок. Все потому, что они не способны оценить произведение, которое

держат в руках. А может, боятся выдать себя через комментарии. Никто не решится испещрять пометками дорогую и прекрасно изданную книгу.

Дж. За последнее время она несколько раз удручала меня проявлениями плохого вкуса. Интересно, смогу ли я когда-нибудь встретить женщину, которая не вызовет у меня шок в этом смысле — раньше или позже? Мне не нравится, когда Джинетта говорит на английском: слишком сильный акцент — утрированное «h» и протяжные слоги. Но проходит какое-то время, и я чувствую, что снова безумно влюблен в нее. Мы уже достигли кое-каких признаков семейного блаженства. Первое очарование прошло. Следующий этап — постель. Но она слишком целомудренна, а я боюсь серьезной связи. Не верю, что именно она — моя судьба. Однако мне нравится, когда она лежит в моих объятиях и я щекочу ее. Она извивается и поддается, и я чувствую, что во много раз сильнее ее. Это звучит наивно. Чувство самое примитивное. Во многих отношениях я не возражал бы видеть ее своей женой — она по крайней мере выполняла бы все свои обязанности и давала бы мне время писать, писать, писать.

17 февраля

Доминик и Маркиз. Доминик ездил с Маркизом и его любовницей в Туар за летучими мышами для коллекции д'Абади. После ловли они обедали в ресторане. Похоже на то, что Маркиз вел себя отвратительно. По словам Доминика, он поднял ногу любовницы, водрузил ее прямо на стол, а сам, к ужасу официанта, полез к ней под юбку. Маркиз также рассказывал, как он брился в ванной и туда вошла его дочь, которая стала раздеваться прямо перед ним, собираясь принять ванну; она такая красавица, прекрасно сложена, говорил Маркиз, и даже его ввела в смущение. Эти истории поступали из ненадежного источника, их поведал нам Д., но они похожи на правду. Их герой — тучный декадент-ствующий старик, прожигатель жизни, безнравственный нездоровый гедонист.

Когда я читал французскую книгу по Part anglais[169], меня вдруг осенило, что все о Франции я узнал в Англии, теперь же — наоборот. Беспристрастность усиливает интерес и любовь. Мне нравится ощущение собственной изоляции во Франции, ссылка без строгого режима.

Плохой вкус Дж. Я очень чувствителен к этому. Когда же она говорит на английском с несусветным акцентом, меня охватывает ярость. Как можно так уродовать то, что я так люблю! Сегодня вечером мы вышли из Английского клуба, и она опять стала жеманно произносить английские слова. Я подчеркнуто хранил молчание, и она поняла, что я сержусь. В чуткости ей не

откажешь. Позже, когда мы остались одни, она пристала ко мне, требуя, чтобы я сказал, в чем дело. После некоторого колебания (не могу сказать, чтобы неприятного) я все объяснил. Экспериментов в наших отношениях я не боюсь, потому что знаю: разрыв я переживу. Я вижу в ней все больше недостатков. Все они из разряда провинциальных, а я изрядный сноб. Невозможно любить человека, если ты его не уважаешь. От моей критики она сначала поникла, а потом стала очень нежной. Это разрядило обстановку. Я выпил два стакана пива, и между нами снова воцарились теплые отношения. «Сила ее — в ее слабости». Мне кажется, это относится и к недостаткам. По крайней мере Дж. признает свои недостатки — так у других хватает храбрости не скрывать своих убеждений. Сегодня вечером она всячески старалась меня ублажить — хвалила мою новую стрижку, свитер, вообще мою внешность. Под конец, когда мы вышли ненадолго погулять, перед тем как разойтись по своим постелям, я ее поцеловал. У меня появилась уверенность, что меня кто-то любит. Хотя бы только в этот вечер. Вот такая объективность.

00.15. Резкий шквалистый ветер. Казалось, окно не выдержит, а дом рухнет.

21 февраля

Джинетта. Отношения все теплее. Вчера я стал медленными движениями ласкать ее шею, опускаясь все ниже, пока не коснулся груди. Лицо ее хранило напряженное и серьезное выражение, но было видно, что сама она страстно хочет этого. Когда дело доходит до ласк, у нее всегда печальный вид, и это меня смешит. Женщины вообще очень серьезно относятся к таким вещам. Но сейчас мне самому надо подумать. Ясно, какой следует шаг после ее обнаженной груди. Но прежде чем его совершить, надо принять важное решение. Если бы не все эти сложности! Меня волнует только ее плоть. Вряд ли мой дух вообще здесь затронут. Я сознаю, что в отношении Джинетты я циничен и аморален; ведь мои чувства неглубоки. Все, что мне нужно, — доставить удовольствие своему телу; большая часть этого удовольствия — конечно же, взаимное наслаждение. Ларошфуко[170]. Радость даришь ради самой радости дарения. Если я ласкаю ее соски, то потому, что разделяю с ней сексуальное удовольствие. Странно, что кожа — чуть ли не единственное, что доставляет нам тонкое осязательное наслаждение. Мне нравится ее упругая гладкая кожа, чистая, от нее идет нежный аромат. Нежные, округлые бездны.

Но не все сводится к телу. Я чувствую некое родство, связь с миром — то, что смутно вспоминается еще со времени романа с Кайей. Я не заблуждаюсь. Мир полностью индифферентен, и

время неумолимо движется вперед, однако прибежище в любви и взаимном понимании — прекрасный миф. То, что оно — миф, только прибавляет трогательности. Как-то раз я написал стихотворение, где говорилось, что однажды я отказался верить в нереальность мифа. На какой-то момент я почти обманулся.

Как же относительно время! Разве можно сравнить полчаса ожидания любимой и полчаса ожидания поезда? Нелепо думать, что полчаса существуют сами по себе. Время — скрытый признак врожденного человеческого пуританства. Чем сложнее человек, чем больше у него комплексов, тем больше он думает о времени.

26 февраля

Ужасный день. Дж. пробыла у меня большую часть дня. Я написал с нее очень плохой акварельный портрет. Мы, конечно, целовались и ласкали друг друга. Потом я раздел ее до талии. У нее большие и крепкие груди. Она продолжала стонать:

— Je t'en prie… laisse-moi… pas plus[171], — и в то же время льнула, как бы умоляя продолжать.

Жаркое сильное тело. Я страшно возбудился. Мы оба не в силах сопротивляться чувственному влечению. Однако я никогда полностью не теряю головы. Всегда отступаю и, глядя на распростертое предо мной тело, закрытые глаза, вижу в ней только орудие наслаждения, а не другого человека. Когда она пытается мне объяснить, насколько серьезны для нее наши отношения, я ей не верю, потому что сам не испытываю ничего подобного. И в то же время это порождает чувство вины. Ведь я заставляю ее прыгнуть туда, откуда сам выплыву, а она утонет. Между поцелуями в ее глазах и выражении лица проступает нечто тяжелое, сонное и торжественное.

Самое ужасное случилось после, когда мы пошли обедать в Английский клуб. У меня вдруг отчаянно засосало под ложечкой. Я почувствовал резкую боль. И хотя раньше я пообещал Дж. пойти с ней на танцы, которые устраивают здесь раз в неделю, но, почувствовав себя совсем больным, вернулся домой, лег в постель, согнув ноги в коленях (отчего сразу полегчало), закурил и стал размышлять. Не могу понять происхождение этой боли. Может, слишком много ласк и слишком мало подлинного удовлетворения? А может, проблемы с животом — дизентерия, аппендицит? Непонятно. Впрочем, это не важно. Меня поразила только та молниеносность, с какой я из счастливого человека превратился в несчастнейшего из смертных. Что-то вроде шутки Провидения. Уже некоторое время я ощущаю боль в гениталиях. А все потому, что мы с Дж. очень близки, но наша близость не приносит полного удовлетворения. Знаю, что я ипохондрик, и все же мне кажется, что эта боль имеет серьезное основание. Похоже,

я обречен зря тратить время и страдать. Но мне претит жалеть себя.

Позже, в 10 часов, я пошел повидаться с Дж. Она была в обществе Доминика. Пойти на танцы я отказался. Втроем мы отправились в кафе и там сидели с несчастным видом. Дж. и я были молчаливы и замкнуты. Я уже не чувствовал прежней боли, но некоторый дискомфорт ощущал: Д. постоянно побуждал нас к разговору, предаваясь воспоминаниям. Молчание его пугает. В конце концов мы печально побрели домой. Теперь вот я сижу и пишу.

Все-таки я подозреваю аппендицит. Поэтому и сел писать. Все может быть — вдруг это последняя запись. Я не очень волнуюсь по этому поводу. Смерть не играет никакой роли и хотя бы является неоспоримым фактом в проклятой путанице относительных и изолированных явлений.

Обычно мы преувеличиваем ценность каждого жизненного эпизода. Когда ты убежден в относительности всего, вещи начинают обретать особую самостоятельность, неповторимость. И сейчас, когда боль уже тупо шевелится во мне, я чувствую себя почти раздавленным, вспоминая, как она стояла посреди этой самой комнаты — комбинация болтается на талии, упругие груди рвутся вперед. Эта картина — что-то вроде эротического отдыха от настоящего, факт, которым можно заслониться от всех возможных угроз ближайшего и отдаленного будущего. Я искренне благодарен ей за это. Ужасно то, что на чистую любовь я отвечаю лицемерием. Впрочем, иногда меня охватывают сомнения. Она мне ближе, чем кто-либо, кого я *когда-нибудь* знал. Даже Кайи.

Замолкаю до завтра.

Завтра. Все написанное кажется жутким преувеличением. Я все еще болен, но понемногу иду на поправку. Состояние промежуточное, вроде междуцарствия, — острая тоска, но при этом я не чувствую себя несчастным из-за того, что несчастен. Вчера же в это время все казалось ужасным. Все это из-за чрезмерных плотских забав, ярко-красным цветком распустившихся на сереньком, хилом стебельке последнего года или даже последних двух лет моей целомудренной жизни; и еще из-за сопровождавшей эти забавы боли и расплывчатых, смутных фантасмагорий, хищными птицами преследовавших меня. В основном это чисто физиологическая озабоченность по поводу моей способности к сексу в сочетании с невозможностью проверить ее на практике. Потому что, несмотря ни на что, я не могу быть безнравственным. Пока не могу. Нравственность — моя наследственная черта. Нужно время, чтобы понять, какие

конкретно качества ты унаследовал. Стоит это понять, и эти качества побеждены. Они могут остаться, но теперь у них есть хозяин. Чтобы узнать себя, необходимо вынести решение по делу всех твоих предков.

28 февраля

Мы с Дж. иногда пьем кофе в обществе Мари-Терезы Кошар, стройной миниатюрной девушки; у нее свеженькое личико, некрасивый шрам на лбу и озорной, несколько невротичный взгляд. Как все хорошенькие женщины маленького роста, хрупкие, с кукольными мордашками, она сообразительна и умна, у нее красивый, звучный голос и нервные руки.

Мы долго сидели в кафе, много смеялись и серьезно беседовали. Со мной не соглашались, когда я говорил, что платоническая любовь — всего лишь прелюдия, щекотание нервов, игра с огнем. Было бы интересно узнать, сколько раз удавалось остановиться на этой стадии, когда ни одна из сторон не хотела большей близости, не видела эротических снов и не страдала от раздвоения души и тела. Платоническая любовь — время перед началом роскошного пира, время голодного ожидания. Но такое состояние не может длиться вечно. Иногда чувство голода обостряется, но еда уже холодная. Дж. понравилось сравнение. В таких случаях она употребляет слово *astuce*[172]; ее забавляют сентиментальные и сексуальные двусмысленности.

Они согласились со мной, что иногда иностранец ближе соотечественника или соотечественницы. Для меня пример — наши отношения с Джинеттой. Даже если возникают языковые трудности, они мало что добавляют к обычным сложностям общения. Джинетте я могу сказать все, что хочу, зная, что меня поймут глубже, чем можно передать словами. Во Франции установилась такая традиция — они извлекают удовольствие из подробного анализа чувств, из откровений о себе, при этом всегда говорят искренне, не кичась. Я же со многими англичанками не могу найти общего языка. Констанс Фаррер — практически единственная женщина, с которой я чувствовал себя свободно, хотя она, что интересно, преимущественно молчала, постоянно думала о чем-то своем, не проявляя особого понимания.

Проводив М.-Т., мы с Джинеттой зашли в другое кафе и там продолжили разговор — теперь говорили уже о себе. По ее словам, я всегда стремлюсь обособиться. Даже когда ей кажется, что мы близки, что-то от нее ускользает. Думаю, она интуитивно чувствует мое жесткое и объективное отношение ко всякому жизненному переживанию, хотя я всячески стараюсь скрыть это от нее. Есть люди, сказала она, которые раскрывают перед тобой

душу и это сразу понимаешь. На мой взгляд, это означает только одно: такие люди обычно себя не знают. Я не «раскрываюсь» оттого, что сбит с толку собственными комплексами, теми безднами, о существовании которых мне известно, но они не облечены в форму слов. Пусть это звучит нескромно, но я хочу сказать только то, что аппарат, заведующий во мне самоанализом (дневник, возможно, потворствует этому), достаточно восприимчив и доносит до меня представление о моей пространной и запутанной личности. Сам я не могу всего объяснить, и мне претит мысль, что кто-то другой попытается это сделать. Всю жизнь я буду сопротивляться вмешательству извне из-за этой неопределенности. Парадоксальная позиция — горделивая сдержанность. Возможно, самопознание — единственная бесконечность, а невозможность достичь его — единственный абсолют. Джинетту все это пугает и завораживает: ей кажется, будто от нее что-то таят. Но мне ненавистно нравственное раздевание. Оно гораздо постыднее обычного. Даже объяснить это Дж. было саморазоблачением, своего рода стриптизом. Умные люди больше всего ценят в своей интеллектуальной жизни вот такие откровения; а умные люди есть повсюду — там, где ты их находишь. Разум и сострадание — самые космополитические качества, а сам космополитизм — одна из величайших ступеней к вершине человечества. Братство духа и разума — и к дьяволу братство по крови.

Так мы говорили, целиком погрузившись в свои проблемы. Слегка коснулись темы брака. Я сказал, что прежде чем изменить жене, сообщил бы ей об этом. Опасное признание в том случае, если собеседница может стать этой несчастной жертвой. К Дж. я начинаю чувствовать настоящую нежность, она нужна мне. Иногда моментами я вижу ее некрасивой, непропорционально полной, с подчеркнуто еврейской внешностью, в разговоре с другими (со мной никогда!) она проявляет излишнюю горячность и аффектацию, что в сочетании с южным акцентом выглядит вульгарно. В другое время она сама нежность и романтичность, душа ее прекрасна, а тело желанно. Думаю, все по-настоящему прекрасные вещи обладают такой изменчивой природой, что в каком-то смысле и является их настоящей сущностью.

Прекрасный вечер слегка испорчен легкой, но постоянной болью в простате. В сексуальном механизме разболталась деталь. К черту тело!

1 марта

Холодный день, ослепительно солнечный, ясный как хрусталь, такой день бывает в горах; город переполнен людьми, всюду припаркованные автомобили, деревенские жители в

темных костюмах — лучших, они надевают их только по воскресеньям. И все из-за la foire de la mi-carême[173]. Я ощущал смутное недовольство оттого, что все эти люди вторглись в *мой* город, меня раздражали все эти перемещения, голоса, толпы людей на улицах, переполненные кафе. Похоже на летний день — только без жары. А я ненавижу лето. Для меня оно равнозначно сенной лихорадке, дизентерии, другим недомоганиям, вялости, постоянной войне с собственным телом. Мое любимое время года — зима. Мне нравится, когда после обеда мир погружается во тьму. А Дж. сегодня все время повторяет: «Как красиво все вокруг, как будто пришло лето. Как я люблю лето!» Из кафе впервые выставили наружу столики. А я испытал смутное волнение, возмущение в сердце и животе.

2 марта

Джинетта. Этот уик-энд она проводит дома. Я скучаю по ней. До боли — мрачная перспектива. Примечательно, что без десяти шесть (ее поезд отправлялся в шесть) я выглянул из окна и увидел, как она далеко внизу, слева, пересекает сортировочную станцию. Скоро она скрылась из вида, но мой подход к окну не показался мне простым совпадением: ведь еще десять секунд — и я бы ее не увидел. Она ушла, и я почувствовал печаль. Но одновременно и радость, что есть о ком печалиться.

5 марта

Стиль. Вихляние стиля — один из главных моих недостатков. Перечитывая рассказ об Андорре, я вижу постоянную смену стилей, серию стилизаций. Я старался его выровнять, но тени Д. Г. Лоуренса и Джеймса все же маячили в отдалении. Теперь к ним присоединился Фолкнер. Тогда я задумался, такой ли уж это грех и, может, единство стиля совсем не благо. В отдельных эпизодах одинаковая тональность не всегда хороша. Каждое событие претендует на собственный стиль, который точнее всего его передает. Не вижу ничего плохого в том, чтобы писать, чередуя разные стили. Некоторые вещи лучше всего передаются с помощью техники Джойса, другие — Грина. Каждой серии эпизодов — свое выражение. Особенно наглядно это ощущается в искусстве. Я вижу это в живописи — к примеру, в картине, которую только что закончил. Пустынный пейзаж, предгорье, в отдалении город. На заднем плане по диагонали неясно вырисовываются облака. Все это нарисовано в более или менее реалистической манере. На переднем плане две кубистские фигуры в черном, белом и карминном цветах. И никакого диссонанса. В картине есть свои недостатки, но они не связаны с нарушением стилистического единства.

Джинетта. Она отсутствовала три дня. Приехав, пришла ко

мне. Мы лежали на кровати, целовались. Чувствовали себя счастливыми. Потом пошли обедать. Внезапно она переменилась — стала молчаливой, угрюмой, замкнутой. Я безуспешно пытался вывести ее из этого состояния. Мне показалось, что она подыгрывает себе, и я высказал это вслух: в ней только шевельнулась печаль, она же разрешила ей заполонить всю себя — обычный мазохизм. Все равно что, споткнувшись, позволить себе упасть, объяснил я. Она возразила:

— Я никогда не подыгрываю себе.

Однако это свойственно всем, хотя, может, и не в такой степени, как мне. У меня не было сомнений, что она играет. И тут вдруг у нее на глазах выступили слезы. Да и сами глаза покраснели. Такой поворот событий заставил меня изменить взгляд на вещи. Я ей поверил и даже смутился при виде таких сильных эмоций. Она не захотела объяснить мне, что вызвало такой прилив горя, сказала только, что почувствовала себя страшно одинокой. Навсегда одинокой. Все это отдавало позированием, мне и сейчас так кажется. Но слезы-то были настоящие. Мы пошли к ее дому, и она хотела — или сделала вид, что хотела, — сразу же покинуть меня, я же убедил ее еще немного погулять. Вечер был холодный, безлунный, свежий. Мы направились в разбомбленный квартал Пуатье, бродили среди руин, стояли у железнодорожных путей. Есть что-то романтическое в ночных поездах, сказал я. Прошлись вдоль реки. Впереди по дороге пробежала крыса. Потом стояли на широком мосту, смотрели на звезды и на темную тихую воду. Казалось, город вымер. Ночь, морозная, искрящаяся, подсмеивалась над скучным земным существованием. Небо как будто таинственным образом ожило. Я показал Джинетте созвездия Ориона, Дракона, Пса. И меч Ориона, хотя, сказал я, на самом деле это его пенис.

— Кто так решил? — спросила она.

— Древние народы.

— Древние англичане, — прибавила она.

Не такие уж и древние: ведь я только сейчас уловил сходство и приписал его прежним поколениям. Но, разумеется, его замечали и до меня. Сходство с мечом не такое уж и большое. По мосткам мы вернулись в город, постояли молча у реки — она, уткнувшись в мое пальто, доверчиво, безмолвно. Таинственное, недоступное пониманию безмолвие. Мы потонули в некоем глубоком, благотворном и все же мучительном союзе. От времени никуда не деться, оно проходит. Мы пошли дальше. У какого-то забора, в тени, снова обнялись, потерянные, трогательные. Если б то были не мы, я прибавил бы: смешные. Двое обнимаются холодной ночью на пустынной улице. Но где бы вы это ни

встретили, знайте: вы попали в святилище.

10 марта

Ржанки. Тихая теплая ночь, низкие облака. Тонкий прерывистый свист — странный, зловещий звук. Где бы я ни был, всегда его слышу. Сегодня вечером он почти испугал меня, показавшись чем-то сверхъестественным, демоническим, крадущимся ко мне. Ночью эти невидимые, летящие в темноте птицы — свидетельство иной Вселенной. У ржанок главное — их крик, очень тонкий, говорящий об одиночестве, отдаленный, сиротливый. Этот крик значительнее самой птицы. Птиц словно и нет. Только непрерывный тонкий свист. Кажется, сегодня летит много птиц. Думаю, некоторые отдыхают на крышах. Их передвижение на север происходит незаметно. Для ночных перелетов две причины: нет ястребов, людей. А может, и огней города? Не верю, что птицы, в отличие от людей, не имеют памяти.

11 марта

Несколько дней депрессии. Бессмысленно прожитый год. По существу, ничего не написано, я утрачиваю оригинальность. Вернулись старые проблемы с кишечником, боли в печени, жуткие запоры, неприятности с простатой, робость, психологические проблемы — психика катастрофически зависит от тела: иногда это хорошо, а иногда плохо. В моем случае это очень плохо. Нужно искать работу на следующий год. Но я для этого и пальцем не пошевелил. Хочу плавать, но стою, поеживаясь, на берегу. Все университетские уезжают куда-нибудь на Пасху, я же не могу себе этого позволить. Когда мне говорят: «Не понимаю, как вы можете торчать все время в Пуатье», — не очень-то хочется отвечать: «Видите ли, у меня просто нет денег». В целом я не страдаю от своей бедности — просто здесь трудно жить на тридцать тысяч в месяц. Особенно когда, как я, изрядно переплачиваешь квартирной хозяйке. В среднем выходит пять тысяч франков в месяц. Хозяева (Малаперты) — самодовольные ограниченные люди, я их не люблю и презираю. Возможно, они это чувствуют. Во мне они видят дойную корову. Когда хозяйка болела, я не приносил ей цветы. Черт бы побрал всех малапертов в Пуатье! Дни бегут, а я ничего не делаю. Рисую глупые картинки, кручу любовь с Дж., уделяю минимум времени университетской работе и совсем не могу писать. У меня с полдюжины начатых и незаконченных вещей. Когда я их перечитываю, то впадаю в уныние. Все они без исключения самые заурядные.

Никак не могу согласиться с тем ужасным обстоятельством, что я всего лишь посредственность. Знаю это, но не решаюсь признать. Несколько дней я был абсолютно в этом уверен. Нет ни

воли, ни настоятельной потребности писать. Написав несколько страниц, я чувствую усталость, меня охватывает скука. Существует своеобразная конкуренция между живописью и литературой. Я трачу часы на баловство с акварелью, хотя должен в это время писать.

Не знаю. Я растрачиваю впустую жизнь. Ни денег, ни амбиций.

13 марта

Джинетта. Мы все больше времени проводим вместе. Перестали поддразнивать друг друга — разве только чуть-чуть. Когда остаемся одни, сразу же воцаряется сердечность, euphorie[174]. Без нее я чувствую себя все более одиноким: ведь наша любовь — единственное, во что я еще верю. Даже в себя перестал. Только в нашем возникшем союзе есть смысл. Я не могу не критиковать ее внешность. Глаза не обманешь. Она страстная, сексуально привлекательная, но красивой ее не назовешь. Мне кажется, она быстро увянет, растолстеет, как все женщины, в жилах которых течет еврейская, южная кровь. Я представляю ее в разных ситуациях и в тех, где требуется изящество, элегантность — словом, шик, — она разочаровывает меня. В ней есть все то, что ценил Д.Г. Лоуренс: сердце, душа и пылкость, человечность, ум и, когда это требуется, простота, — качества крестьянского, а не аристократического клана. Но сидящему во мне эстету нужен налет аристократизма — осанка, манеры, породистая красота. В социальном плане брак с крестьянкой больно заденет меня, но по крайней мере я буду стыдиться своего снобизма. (Теоретически мне плевать на классовые различия. Для меня существуют только три класса: мудрецы, к которым я причисляю не только собственно мудрецов, но и просто умных, искренних, простых и образованных людей; интеллигенция, то есть умные и образованные люди, и «не интеллигенция», состоящая из глупых, примитивных (не исключено, что и злых) и невоспитанных людей. Вопрос о наследственности и благоприятных возможностях. Установление классовых различий по иным, кроме разума, отличиям представляется мне главной ошибкой в любой цивилизации. Утопия Платона — единственная. Даже по одной этой причине следовало бы жениться на Джинетте. Это пошло бы мне на пользу. Пришлось бы ограничивать себя и достичь определенного смирения, которого сейчас мне явно не хватает. Помогло бы избавиться от аристократического прожектерства. К примеру, только сегодня я воображал, как соблазняю принцессу Маргарет. Думаю, многим мужчинам такое приходило в голову. Ведь для холостяков встреча с принцессой должна казаться яркой возможностью порвать с монотонной, безрадостной жизнью. Но я

привел исключительный пример этой тенденции. Хотел увидеть свое будущее в самом аристократическом (в эстетическом, социальном и художественном смысле) из миров. Дж. для меня могла бы стать своеобразной платформой, точкой отсчета. Отсюда можно было бы проводить новые исследования.

Все это навевает меланхолию. Бедность не позволяет думать об обладании Дж. по меньшей мере еще год. Помолвка тоже отпадает. Длительное, затяжное расставание, расстояние в сотни миль. И еще я боюсь ошибиться. Вдруг Дж. не та — единственная. Ведь она всего лишь первая любовь. Но сейчас все в моей жизни идет вкривь и вкось, и мне кажется, что с Дж., напротив, все пошло бы как по маслу. Нет, не то. Просто я интуитивно, бессознательно чувствую, что мне необходимо с кем-то жить, поделить себя. Я слишком отяжелел: мне не выдержать собственного веса. Образования, в широком смысле слова. Огромный, многообразный мир становится суккубом, когда поглощает созревшего юношу Большинство браков приходится на первые двадцать пять лет жизни, одна из причин заключается в том, что именно в это время молодые люди начинают ощущать в себе сокрушительное множество образов мира и чувствуют, что должны от этого избавиться. Они уже не могут в одиночку противостоять миру. Что-то в этом роде я чувствую сейчас. И для меня Дж. с ее душевной теплотой и сочувствием — оазис. То, что она француженка, значения не имеет. Я художник, многим обязан Франции и уважаю эту страну не меньше, чем родину. Во всяком случае, с Дж. мы хорошо ладим. И нас влечет друг к другу. На днях мы говорили о том, чтобы перейти к настоящей близости. Я признался, что хочу ее. Но она сопротивлялась. «Pour moi c’est une chose si serieuse. Je ne le pourrais pas»[175]. Признаться, при этих словах, несмотря на сильное желание, я почувствовал почти облегчение. Мы подолгу ласкаем друг друга. Но сложностей слишком много, и ее целомудрие меня восхищает. Ведь оно никак не связано с условностями. Мы все это обсуждаем. Просто она слишком высоко ставит чувство любви — то, что является главным в достойном человеке. А любовь и распутство не самое лучшее сочетание. Противостоять этому не значит быть сентиментальным. Я говорю так, зная, что у меня самого при определенных обстоятельствах не хватило бы воли сопротивляться распутству. Я не задумываясь завтра же стал бы спать с Дж., согласись она на это. Но ее отказ восхищает меня. И дело тут совсем не в браке. Брак — это узаконенное удобство. С точки зрения метафизической религии, где сильно духовное начало, подобное таинство так же нелепо, как крещение или конфирмация. Но в религиозном символизме есть своя истина. Не

прелюбодействуй — замкнутый круг. Здесь присутствует все то же обдуманное и добровольное уважение к чувству любви. Существует два пути к обретению любви — во-первых, через опыт, когда после множества любовных приключений наконец останавливаешься на наиболее пикантном и многообещающем варианте. Но такой союз рискует подвергнуться новому преобразованию — ведь тут экспериментальный подход к любви. Существует и второй путь, когда дар девства сохраняешь до дня, когда навсегда вверяешь себя другому человеку. И не только этот дар, но и все предыдущее воздержание. По-своему это более отважный поступок, чем жить безнравственно. Безнравственность уже утратила былой шик — это все равно что класть все яйца в одну корзину.

Уважение к чувству любви отсутствует у многих людей. Когда завязывается такой роман, как у нас с Дж., спать вместе считается современным, объяснимым, почти нормальным явлением. Каждый вечер сотни девушек знакомятся с мужчинами на танцах, а потом совокупляются с ними. Это животная связь, свободное действие, но при полном отсутствии воли. В нашем случае воздержание происходит по нашему желанию. Здесь больше свободной воли, чем следования запрету. Уважение к чувственной стороне любви — форма самоконтроля. Если можно что-то успешно противопоставить цинизму (а он в нашем абсурдном и относительном существовании становится естественной, спонтанной и потому в 1951 году распространенной реакцией), так это истинное уважение к любви. Веру в то, что любовь может принести нечто большее, чем чисто физическое наслаждение. Единственно подлинное — хоть, к сожалению, и временное — убежище. Истинную надежду.

Все это ex cathedra[176]. Лично для меня звучит надуманно. Во мне не живет моралист. Но я могу постараться и направить практику на путь морали.

Старик, превозмогая боль, идет, прихрамывая и опираясь на две палки; у него не слишком чистые седые, отвисшие, как у моржа, усы; поношенный черный пиджак. Этот очень старый, немощный человек переходит мокрую после дождя улицу у «Кафе де ла Пэ». А мы двое, молодые, тайно прижимающиеся друг к другу бедрами, сидим в кафе и пьем кофе после ленча.

16 марта

Дж. Сегодня мы расстались на две недели. Это будет своеобразной проверкой. Не так давно я пережил затяжной приступ депрессии — казалось, надо мной сомкнулись морские волны и я лишь изредка, подобно дельфину, выныривал на поверхность, переживая резкие смены настроения, в том числе

иногда и радость, но по большей части чувствуя себя больным. Джинетта вытащила меня оттуда, подарила надежду. Я все больше раскрываюсь перед ней, и хотя какая-то доля театральной аффектации в этом присутствует, в основном я искренен. Исповедь приносит невероятное облегчение. Я пытался объяснить ей, почему так одинок, рассказал о пропасти между мною и родителями.

Университетский ресторан закрыт с сегодняшнего дня. Висит объявление: «Студенческие талоны нигде больше не принимаются». Для меня это оборачивается серьезной финансовой проблемой: в других местах придется брать самые дешевые блюда. Теперь я уж точно никуда не поеду. У меня всего 10 тысяч франков до следующей выплаты, и, даже если я буду питаться скверно, 5 тысяч уйдет на еду. Экономия, экономия.

Вчера вечером я написал небольшой рассказ о «Кафе де ла Комеди». Короткий, без прикрас. Это будет опус 1, — надо все же вести учет своим сочинениям.

17 марта

Суббота. Невыносимое чувство одиночества, одолевают предчувствия. На ужин съел два яйца вкрутую, 50 граммов паштета, толстый ломоть хлеба (заплатив за все 69 франков) и выпил чашку какао. Пойти в этом городе некуда. Мучительная жажда общения. А ведь часто, когда я нахожусь среди людей, хочется быть одному. Никак не могу усадить себя за работу.

Концепция слезливости в трагедии. Можно сказать, сырость, пышная витиеватость, болезненность, раздумья заложены в самой природе трагедии. Только у греков была подлинная трагедия. Испепеляющая, сухая, единственная жидкость, единственный подвижный элемент в ней — кровь.

Т С. Элиот. Его мнения невозможно оспорить, и это бесит. Он как пробный камень для творчества. Его стиль — логический итог Флобера и Малларме. И все же он так и не осмелился сойти со своей вершины и ступить на тропу великих. В творчество он не вкладывал сердце и останется в литературе холодным каменным изваянием. Возможно, в этом он схож с Малербом[177].

21 марта

Сегодня после ленча серые, унылые облака исчезли и на яркой синеве неба показалось солнце. На востоке — дул легкий восточный ветерок — высоко и таинственно закрутились крупными завитками перистые облака, они напоминали колыхавшиеся замки или руку со множеством пальцев, тянувшихся к середине неба. Воздух свежий, солнце пригревает — чудесное сочетание. И я отправился на прогулку. Заново открывать местность. Вдоль долины Буавра к grottes de la

Norée[178]. Долина тихая, но люди здесь живут. Сейчас она вся в зелени и искрится водой: Буавр разлился и затопил низины. Дорога шла вдоль русла реки, путь преграждали тополя и ольха.

Я вышел в три, и когда к пяти часам, пройдя пять миль, вернулся, изрядно уставший, домой, облака затянули длинными неровными полосами все небо. На прогулке необъятный простор, классически ясные, словно умытые пейзажи. На пути мне встречались женщины и дети, они несли букетики фиалок, примул, чистотела. Вдоль реки отдельными группками растет первоцвет. Первоцвет — замечательный пример артистизма природы; она более художник, чем натуралист. Эти цветы распускаются, излучая joie de vivre. Soleils d'or[179]. Прекрасный миниатюрный символ весны. Простота и bon goût[180].

Я живо реагировал на все, радостно ощущая связь с миром. Прекрасно сочетать в себе художника и натуралиста. Один восполняет недостатки другого, а вместе они усиливают впечатление от увиденного.

То был настоящий праздник природы. Однако на нем присутствовала старая крестьянка с огромным мешком; согнувшись, она рвала сморщенными руками весеннюю траву и запихивала в мешок. Это напомнило мне одно жалкое зрелище: жители здешних окраин сами подрезают ножницами траву в своих крошечных садиках. Проходя мимо таких французских домиков, замечаешь нищету, какой не увидишь в Англии: здесь люди все еще выполняют работу, которая в других местах является уделом только последних бедняков. В обычной французской деревне все еще сохраняется атмосфера ancien regime[181], когда жители еле сводили концы с концами. Почти феодальный уклад. Ничего похожего на прочность, чистоту и порядок английской деревни, где сохраняется пуританское самоуважение и не дающая унывать иллюзия независимости. То очарование, что все же есть у французских деревень, проистекает из их романского прошлого — плоские южные крыши, крытые полукруглой желто-красной черепицей. От этих крыш так и пышет жаром. Легкий налет восточной экзотики контрастирует с молодой зеленью предместья, эта зелень больше похожа на нормандскую или английскую, чем на средиземноморскую.

Эти два часа на природе были для меня чем-то вроде побега из ссылки. Я родился в городе и большую часть жизни провожу в городах. Пока. Странно, но мне не нужно часто выбираться из города. Однако иногда возникает ощущение, что не хватает воздуха, и тогда я срываюсь и сбегаю на природу. И там понимаю, что вернулся домой, потому что здесь меня окружает знакомая с детства живность. Я слышу славку-черноголовку в долине реки

Буавр и знаю, что такую же славку я слышал как-то раз утром, лет девять или десять назад, в зарослях остролиста, когда ехал верхом вблизи Марлдона в Южном Девоншире. Каждый раз при звуках ее пения у меня возникает то же чувство, что и при встрече со старым другом. И так со всеми прочими живыми существами, кроме людей. Там, где различаешь индивидуальность, чувствуешь себя более одиноким среди незнакомцев, но и более счастливым среди друзей. Для меня прогулка на природе — встреча со старыми друзьями.

Возможно, это кажется сентиментальным. Наивным и пасторальным. Отдает пантеизмом восемнадцатого века. Но я глубоко уверен, что эти мои чувства принадлежат к разряду подлинных и не являются фальшивыми ни в каком веке. Как не являются и неуместными.

Питание. Я ем в «Шандрон д'Ор», небольшом ресторанчике в переулке неподалеку. За 150 франков здесь можно прилично поесть, я считаю, если можно заказать demie de blanc[182], то обед хорош.

22 марта

Я опять чувствую себя одиноким. Не знаю никого в этом городе. С несколькими здороваюсь и прохожу мимо. Не с кем назначить встречу. Никто не зовет меня в гости. Здесь я нашел только Джинетту. Виной всему моя холодность. Предварительные этапы дружбы вгоняют меня в тоску. Если я не могу держаться с людьми просто, то теряюсь, становлюсь надменным и скучным. Ненавижу, когда нужно думать, что сказать, стараться быть забавным, улыбаться. Единственный человек, с которым я умею быть неискренним, — я сам. А потом, я заметил, что людям со мной скучно. Tant pis[183]. Могу лишь сказать, что Пуатье город живых мертвецов.

Писал до двух утра пьесу «Отделение номер один». За день — 7 тысяч слов — весь черновой вариант второго действия. Ужасно устал. Замысел возник пятнадцатого, на этот раз времени я не терял. Много мыслей, они переполняют меня. Но я научился не радоваться слишком рано. Пьеса в двух действиях. Уже готова. Осталось написать подходящий пролог, который я уже набросал.

Пасхальное воскресенье, 25 марта

Холодный, ветреный день. Я ездил на велосипеде в Лигуж, чтобы послушать пасхальную службу в старинной церкви[184]. На службе было много народу — местные крестьяне вперемежку с туристами. Мне по душе непринужденная обстановка на католических службах; нравится, как общаются люди: они не столько принимают участие в службе, сколько глазеют на происходящее. В них меньше смирения, чем в их протестантских

собратьях.

Как принято на Пасху, в церковь прошествовали процессией монахи из монастыря. Монах в белом одеянии, с митрой, за ним еще два монаха, затем сам настоятель монастыря — дородный, напыщенный, исполненный чувства собственного достоинства, он производил внушительное впечатление; его сопровождали два монаха, священники в белых одеждах, расшитых золотом, и монахи в черных одеяниях. Многие из них были высокого роста. Неспешно проходили они мимо в странном ореоле тайны и величия. Многие производили впечатление культурных людей, лица хранили светское выражение d'un certain âge[185]. Однако тонзура и монашеская ряса сводили их к одному возрасту, одним устремлениям. Один монах особенно выделялся — высокий, тучный мужчина лет шестидесяти с внешностью богатого бизнесмена или генерала. Служба продолжалась долго — много сложных ритуальных действий и незамысловатых песнопений. У настоятеля был необычный глухой голос — казалось, он шел со дна большой бутыли, поднимаясь по узкому горлу к сморщенным губам.

Из церкви они выходили один за другим, все в полных парадных одеяниях; настоятель — в митре, с епископским посохом в руках — останавливался и благословлял верующих, особенно детей, протягивая перстень для поцелуя. Величественная фигура — тяжелая челюсть и стальные выразительные глаза. Словно земная и небесная силы воплотились в одном человеке. Надо сказать, я не часто испытываю ощущение полной власти надо мной другой личности.

31 марта

Сегодня мне исполнилось двадцать пять. Я собирался много написать здесь. Но приехали члены ДООУ[186], внесли много суеты, и у меня ни на что не осталось времени. Эти особые дни в жизни каждого человека теряют свою особенность, если человек одинок. Чтобы создать миф, нужны двое — даже если речь идет о двадцатипятилетии.

В прошлом месяце начал осваивать новую поэтическую форму. Очень экономную, внутренне напряженную, с привлечением старых слов и фраз, точную, правильную, с редкими и небольшими взрывами рифмы и музыки. Малларме был прав, когда говорил о значении интервалов и выделении главного. Экономия и подчеркивание характерного. Теперь осталось найти подходящий прозаический стиль. Вольтер, Свифт. В живописи я проделываю тот же путь, борюсь с нудной детализацией и разгулом красок. Так я удаляю сорняки моей врожденной сентиментальности и многословия.

1 апреля

Дж. Как быстро я ее забываю. За две недели я почти забыл, что она нужна мне. Ее возвращение мало взволновало меня. Мне нравится быть свободным, одиноким, несчастным, но честолюбивым. Не думаю, что смог бы хранить в браке с Дж. супружескую верность. Сегодня я познакомился с прелестной девушкой, дочерью управляющего одного из крупных местных банков. Любопытно, что именно встреча с ней заставила меня много думать о Дж. — и всякий раз не в пользу последней. Тридцать первого я получил от нее поздравительную открытку — очень мило с ее стороны. Хотя сама открытка чудовищна! Текст глупый, но не настолько, чтобы быть забавным. Хотя, будь у нее внешность дочери банкира, думаю, я бы ей все простил. Красота жаждет beaucoup[187]. И накапливает самым циничным образом.

ДООУ. Пришлось пригласить кое-кого из них на ленч. Как же мне скучно с ними, этими юными звездами Оксфорда! Все еще звезды, все еще юные. Неприятный юноша из классической школы, Дэвид Томсон, носит очки, держится вызывающе, просто отвратительный. Говоря о постановке, три раза употребил выражение «в духе Хелпман», откинувшись в кресле и поглядывая по сторонам — все ли слышали? Высокая полная девушка, готовая в любой момент прыснуть от смеха, говорит на сленге, из актерской студии. Молодой еврей, энергичный и дружелюбный. Вышел из окружения, которое я покинул. Все они остались позади. Тони Ричардсон, режиссер-постановщик, — высокий, нервный, экзальтированный, во многом похож на большого ребенка. Не фальшивый. Безвольные рот и лицо, однако умен, хорошие глаза[188]. Саймон Ли, стройный, энергичный, но довольно легкомысленный администратор. Мне он нравится. Очень живой, темпераментный, переменчивый, наивный и ребячливый, полон энтузиазма. Кажется, он многих знает. Говорит без умолку. Однако я не полностью ему доверяю. Этот обаяшка никогда сознательно не обманет тебя, но из-за его разболтанности могут быть неприятности.

Помощник электрика — неряшливый молодой человек, вечно грязный и плохо одетый. Весьма неотесанный, говорит только об электричестве и осветительной технике. Зубы торчат изо рта, как у кролика. Каково было мое удивление, когда я узнал, что он второй сын лорда Роузберри. Виконт Праймроуз. Ездит здесь на новом дорогом автомобиле, на нем и перевез из Англии всю электроаппаратуру. Невозможно представить, чтобы кто-то еще мог так решительно выпасть из своего круга.

Я пошел с ними в театр Колледжа иезуитов, чтобы позаимствовать там реостат. Мы попали как раз на середину

мистерии, и, пока обсуждали за кулисами наши дела, со сцены пришел Иисус Христос — именно так его и представили. Но нас слишком занимал разговор, и мы только кивнули, чем вызвали божественное недовольство. Он ушел в парике и ночной сорочке, не скрывая своего раздражения.

Мы и дальше продолжали охотиться за реостатом, пытались разыскать директора местного театра. Я тщетно искал его по двенадцати разным адресам, пока не застал в торговой палате. Никакого реостата я не получил. Но его фамилия — Бремон — и название реостата по-французски — la rhéostat — навсегда останутся в моей памяти.

3 апреля

Неожиданная удача. Просидев в Пуатье все праздники по финансовым соображениям, я сегодня обнаружил, что мое жалованье повысилось на 7 тысяч. И еще, что мне задолжали за последние месяцы 28 тысяч франков. Сколько радости могут принести небольшие деньги! Я немедленно купил полное собрание стихов Валери.

Также я пошел справиться относительно моего будущего (как будто будущее — это вещь, за которой можно пойти и что-то о ней выяснить). Как обычно, после нескольких практических вопросов ценность моя как работника резко снизилась. В мою пользу свидетельствовало только хорошее знание французского. Но в этой конторе хотя бы работал доброжелательный и приятный мужчина, Марион. Он был совсем не похож на рационального и дерганого Джона Тэннера из Оксфорда. Нельзя отшвыривать людей, как футбольный мяч. Марион пообещал представить меня grand commerçant de vins[189]. Я уже представляю себя в качестве агента коньячной фирмы. Мне это нравится. ДООУ все еще здесь. Им постоянно чего-то надо. Живого попугая, акушерские щипцы, плетеную вазу для фруктов. Надо сказать, что мне даже приятно часто их видеть. Будто возвращаешься к былой манере общения. Все, что они говорят, всегда необычно и эпатажно. Для тех, кто не учился в Оксфорде, отдает показухой. Так называемый стиль избранных.

ДООУ играют пьесу Уэбстера «Герцогиня Амальфи» в средневековом Дворце правосудия. Очень эффектно смотрятся одеяния на фоне камня, загадочные жесты. Сама пьеса мрачная, патологическая. В ней присутствует мелодраматизм, но стиль возвышенный. Постановка несколько сыровата, но создана энтузиастами и подчас даже заумна. Во всяком случае, лучше спектаклей обычных профессиональных французских трупп. На мой взгляд, лучше всех играли Хью Риксон в роли Фердинанда и Найджел Дэйвенпорт в роли Кардинала.

6 апреля

Дж. Визит оксфордской труппы странным образом высветил ее образ. Стал заметнее ее провинциализм. Теперь меня раздражает то, что раньше устраивало, — отсутствие элегантности, черный южный юмор. Провинциальный акцент. И особенно бесит постоянная мелочная ревность к другим девушкам. Она всегда говорит о них в уничижительных, ядовитых выражениях, когда ей кажется, что я ничего не имею против этого. Ей хочется отгородить нас от всего остального мира. «Они или я» так она ставит вопрос. Я этого не терплю, так же как и ее неучтивости. Физически она перестает меня интересовать. Мне с ней душно, я чувствую пресыщение. И еще она плохо одевается.

Как-то мы провели с ней целый вечер — гуляли по окраинам и спорили. Мне было скучно, я слушал ее равнодушно, а под конец стал попеременно то утешать, то вызывать ее гнев. Джинетту раздражало, что ей приходится играть роль второй скрипки. «Если ты думаешь, что можешь бросать меня (имеется в виду то время, когда у нас гостили члены ДООУ), а потом приходить снова, когда *ты* пожелаешь…» — и так далее, до бесконечности. Абсурд чистой воды. Все эти ссоры и ворчание по пустякам кажутся мне пустой тратой времени, инфантильными штучками.

До какой-то степени секрет взаимного понимания кроется в том, чтобы понять, когда можно сбросить маску. Мы оба скрывались под маской иронии и не сбросили ее в одно и то же время. В браке чрезвычайно важно чувствовать момент. Знать, когда раздеться — нравственно и физически. Это искусство недоступно Дж. Она ждет, что за ней будут постоянно ухаживать, в каком бы мрачном настроении она ни пребывала. Если бы она могла понять, что все хорошо до поры до времени. Наступает момент, когда ухаживание, та же охота, перестает доставлять удовольствие. И даже лесть не заставит вытащить ружье из стойки.

12 апреля

Работа здесь вызывает у меня чувство вины. На одну мою лекцию, которую я планировал прочитать в этом семестре, никто не пришел. На мои семинары по разговорной практике ходит мало студентов. Несмотря на весь свой цинизм, я чувствую, что мне оказывают неуважение, подвергают остракизму. Меня раздражает, что Лео приходится рекламировать мои лекции как свои. Я слишком эгоцентричен, чтобы быть хорошим педагогом.

15 апреля

Экскурсия по замкам Луары. Прекрасный весенний день, теплый и в то же время свежий, на небе ни облачка. Автобус

заполнили иностранные студенты, преимущественно англичанки, были и американцы. Дж. поехала со мной. Как только мы отъехали, англичанки запели и пели непрерывно всю дорогу до самого нашего возвращения.

Мне не нравится туризм. Я пресыщаюсь красотой так же быстро, как и едой. Возможно, поэтому я не способен долго заниматься творческой работой. Помимо всего, пресыщение — великолепный критерий отбора. К тому времени, как мы добрались до Азе, только безусловные шедевры могли заставить меня дважды взглянуть на них. В этом я вижу аргумент в защиту творчества, оправдывающий мою лень, но не уверен, что такая аналогия верна на все времена.

Сумасшедший вечер. Весь город en gala[190]. По улицам движутся процессии, оркестры; музыканты — обычно мужчины — играют отвратительно, рядом изображают живые картины, прыгают шуты. Уровень жалкий, но энтузиазм бьет ключом. В Пуатье так мало развлечений, что люди трогательно жаждут веселья и готовы аплодировать самым неумелым клоунам.

Позже с Дж. — на одном из наших ночных маршрутов. Мы углубились в темный переулок и там стали ласкаться и обжиматься. На днях она позволила ласкать ее ноги по всей длине, а потом и все остальное. Она все время повторяла:

— Tu n'as pas le droit[191], — но сопротивляться не могла.

В темном переулке я забрался к ней под юбку и снова стал ее ласкать. В этом было нечто животное, атавистическое, но я не мог сопротивляться желанию. Какой контраст по сравнению с моей обычной жизнью, всем моим образованием, положением джентльмена и англичанина. Позже, у залитой лунным светом реки, облокотившись на парапет, мы час или больше говорили о наших отношениях, избегая упоминания о браке. И остановились на распутье: либо надо расходиться, либо стать настоящими любовниками. Нас мучили весна, полнолуние и наша собственная плоть. Вдали заливался соловей. Если б она позволила, я бы ее взял. Но мне не хотелось завязывать связь, которую невозможно было бы разорвать. Плотская близость непременно породит страхи, обязательства. В отношении будущей жены у меня есть честолюбивые планы. Однако иногда кажется, что именно Джинетта — то, что надо. Любовница, друг, француженка, с ней я могу говорить обо всем. Думаю, будь у меня деньги, стоило бы на ней жениться и позабыть о своих амбициях. Все амбиции преходящи и быстротечны, они — порождение плоти, а ведь со временем мне придется перебраться в вечность.

2 мая

Дж. Отношения становятся невыносимыми. Порывы нежности

и физического влечения сменяются периодами напряженности, отвращения и дурного настроения. Вчера мы весь день провели вместе, были счастливы, нежны друг с другом. Пили у меня чай, лежали обнявшись на кровати, я читал ей кое-что из моих «Бессвязностей», написанных в Коллиуре[192]. Потом пошли в кино смотреть фильм Офюльса. Домой возвращались под проливным дождем. Капли стучали по зонтику, она опиралась на мою руку, крепко, нежно. День, озаренный мягким светом.

И вдруг сегодня за ленчем она неожиданно поднялась из-за стола и, не сказав ни слова, вышла, и после я не нашел ее ни в одном из наших кафе.

На этот раз виноват был я. За столом я говорил только с Филиппом, и тогда она встала и ушла. Был бестактен — Джинетта спросила, как я провел утро, а я не поинтересовался, как провела его она. И еще отдал другому человеку книгу, которую прежде обещал ей. Для меня одно из проявлений настоящей близости — когда ты можешь молчать, витать в облаках, говорить с другими людьми, постоянно чувствуя любимого человека рядом, и этого для тебя достаточно, потому что ты знаешь: все остальное — чужое.

Книгу я отдал зря. Мне следовало тут же выйти за Джинеттой, но у меня замедленная реакция. Или, точнее, я не сразу понимаю, что виноват.

И еще французский. Трудно быть учтивым, когда мысленно выстраиваешь каждую фразу.

Это рождает во мне чувство неудовлетворенности. Но здесь есть и позитив. Фразы менее эмоциональны.

Я эгоист. Джинетта говорит, что я люблю и ласкаю ее только для своего удовольствия. Это почти правда. У меня нет слепой преданности. И все же я не знаю, есть ли во мне этот цинизм Ларошфуко. Интересно, другие люди так же непредвзято себя анализируют?

Даже жесткость моего цинизма и нигилизм в какой-то степени наигранны.

Как всегда, все путает мое эстетическое чувство. Оно властно во все вторгается, царя над моими мыслями, мечтами, поступками. Джинетта недостаточно красива. Я заслуживаю лучшего. Она не любит музыку. Плохо знает искусство. Неважно одевается. Она темпераментна, напориста. (Она говорит: «Ce qu'il te faut, c'est une caniche»[193]. Она права. В моей жизни большой дефицит любви, и потому я хочу, чтобы меня по-настоящему любили, даже мои недостатки.) Она отказывается признать подчиненную роль женщины. Ей это важно. Женщина помудрее даже не задумывается над этим. Она понимает, что это не имеет

никакого значения.

Но она милая, надежная, теплая, любящая, постоянная; даже вульгарность кажется в ней почти добродетелью. Она была бы опорой.

Однако могу ли я смириться с ограничениями? Кроме того, встает вопрос о совместных расходах. Впрочем, я могу подождать.

Даже если бы я очень хотел жениться, надо признаться, что для этого у меня нет ни денег, ни положения, и перспективы самые неопределенные.

Она ненавидит во мне переход от страсти наедине к холоду на людях. Но для меня общество всегда было чем-то, чего надо опасаться. В личной жизни — если она у меня появляется — я раскрепощаюсь. Джинетта не верила, что англичанин может быть таким нежным в ласках. Для нее эта раздвоенность кажется чем-то бесчестным. Лицемерием.

Мне же проще быть холодным на людях, чем нежным наедине. Это дефект моего темперамента и воспитания.

Кроме того, у меня необычное чувство времени. Все мне кажется относительным. Один день я с ней ласков, другой — холоден, потому что такое поведение заложено в истинной природе сложившихся обстоятельств. Эти обстоятельства для меня не связаны между собой, и у меня нет доказательств, что каждое имеет длительность, то есть прошлое и настоящее. Меня не очень волнуют общие тенденции, я предпочитаю жить сегодняшним днем или уходить в прошлое.

Я понимаю, что других людей мое отношение может ранить или разочаровать. То я охотно разговариваю с ними, то прохожу мимо, даже не глядя в их сторону. Я и сам не понимаю, почему так происходит, — просто это почему-то кажется более естественным и более искренним. Возможно, просто лень. Я слишком ленив, чтобы притворяться.

Я не готов *постоянно* смазывать шарикоподшипники. У меня не хватит на это масла. Ненавижу приносить жертвы. Этому мешает мое высокое мнение о себе, его постоянно поддерживают мечты о будущем. Если же я впадаю в самоуничижение, то признаю его пользу. Моя гордыня не знает предела. При всей моей чувствительности, ранимости, склонности к унынию она непобедима.

Думаю, об этом следует помнить.

По-прежнему бывают периоды, когда писать не могу. И тогда возникает желание послать все к чертям, начать упорно трудиться, сделать финансовую карьеру, по возможности разбогатеть и просто наслаждаться искусством. То есть стать в жизни деятелем и не пытаться прививать новые вкусы. По правде

говоря, мне надоело быть «будущим писателем».

Все чаще задумываюсь о супружеской жизни. Трачу много времени, размышляя, хочу ли видеть Дж. своей женой. Непонятно, нужно ли решать эту проблему в субъективном состоянии влюбленности — когда мы близки, а вокруг полоса отчуждения, — или в объективном состоянии отчуждения. Вчера вечером на танцах я не мог не отметить, как много девушек красивее Джинетты. Частично это связано с привычкой, реакция на нее. Но со сколькими из них смог бы я достичь такой духовной близости, чувства товарищества?

Сегодня я подстригся. И, глядя в зеркало парикмахера, испытал привычное чувство неполноценности. Я кажусь себе слишком тяжелым, флегматичным и очень некрасивым. Думаю, мне даже повезло с Джинеттой. Если бы мы поженились, то был бы апрельский брак — ливни сменялись бы ярким солнечным светом. Если бы только дожди не зарядили надолго.

Хотя у меня появились новые мысли по поводу собственного творчества, хочу начать с общеизвестных вещей.

Мне кажется, Кафка и Камю установили новую границу. Они докопались до сути вещей и обнажили одну важную истину. Абсурдность и бесполезность всего. Конец бессмертия. Все наши действия носят временный характер. Единственная «жизнь после смерти», которая может существовать на пространственно-временном уровне, — это повторение той, какую мы знаем. Действительно, даже после смерти мы не можем выйти за пределы прожитой нами жизни.

Всякая надежда отсутствует, жребий наш жалок, поэтому нам остается лишь попытаться сделать его менее жалким. Это отражено в понятии «espoir»[194].

Другими словами, мы выбираем «искусство ради Weltanschauung»[195], так как ясно, что мир и жизнь с философской точки зрения не имеют никакого значения. Это точка отсчета.

Итак, искусство должно развлекать и искусство должно снимать боль, успокаивать. Это относится к сфере фантастического и романтического, прекрасного, необычного.

Но каждое из этих новых «espoir» произведений — своего рода апострофа, внушающая, что «мир не имеет смысла, но…». В других сочинениях вообще нет попыток отрицать весь ужас существования. Есть только факелы в темной пещере. Но о пещере нельзя забыть. Никакие факелы тут не помогут.

12 мая

Понапрасну трачу здесь время. Нужно писать с лихорадочной быстротой. Вместо этого работаю от случая к случаю. По сути, у

меня нет учеников: обычно ходят человек десять, не считая одной общей лекции.

Идеи и темы бродят в голове, но дальше этого не идет.

Недавно вечером я четыре часа провел у насыпи близ реки — там разбит небольшой парк, — целуясь и обнимаясь с Дж. Я ласкал ее всю, и она не противилась моим ласкам. Их пылкость и необузданность в конечном счете закончились, как обычно, ничем. Сырая холодная трава, грохот составов на расположенном неподалеку железнодорожном мосту, молодая луна, скрывшаяся за тучами. Под конец, когда минула полночь, мы, продрогшие и усталые, заговорили о браке.

У меня никогда не будет денег. Расставшись с Дж. на месяц, я обязательно захочу жениться на ней. Если бы сочинительство было для меня рутинным, каждодневным делом… Но я не могу писать без желания. Если стану себя насиловать, только все испорчу.

Нужно получить постоянное место преподавателя и жить в надежде на лучшее. Однако ожидать худшего.

В двадцать пять лет я не создал ничего заслуживающего публикации. Все, мною написанное, либо вторично, либо несовершенно по замыслу или воплощению. Я не знаю, кем хочу стать. Однако явно не способен быть тем, кто может примирить имеющиеся у него разные устремления. А время неумолимо подпирает. Скоро я останусь совсем без денег и буду вынужден искать работу. Все, что выходит из-под моего пера, вызывает у меня отторжение — часто прямо при рождении. Поэтому нелогично с моей стороны сохранять непробиваемый оптимизм по поводу собственного будущего.

Как медленно приходит опыт! Как долго приходится ждать, пока сформируется характер!

19 мая

Иногда мои идеалы оборачиваются против меня. После обеда мы с Дж. пошли в «Пуатье-пляж», прибрежный парк, взяли напрокат лодку и поплыли вниз по течению. На Джинетте были некрасивые босоножки, они постукивали при ходьбе. Река была спокойная, зеленоватые воды медленно струились меж молодой зелени садов. Голубоватые тихие сумерки, свежесть и благоухание вечера. Смеркалось, в воздухе разлилась прохлада, светила полная луна, и никого, кроме нас, на реке. Потом мы пошли в парк Блоссак, там проходит ярмарка. Сотни людей, торговые палатки. Все это, вместе с ее ужасными босоножками, подействовало на меня сокрушительно. На открытой эстраде шло представление, в нем участвовали третьесортные местные артисты. Вокруг стояли люди и глазели на происходящее,

посредственность созерцала посредственность.

Когда мы уходили, я увидел словно зацепившуюся за верхушку дерева полную луну, и вдруг меня пронзило отчаяние, мука, накатило дурное настроение. Эти убогие прилавки, иллюминация, макулатура, затхлый воздух ярмарки, дешевка. Дрянная обувь Джинетты. Бедная девушка, это не ее вина.

Я купил нугу, которую вовсе не хотел, по несуразной цене в каком-то вульгарно разукрашенном ларьке. Не хотелось казаться жадным. Стуча каблуками, мы побрели домой под ясным темно-синим небом, в просветах между домами ярко горели звезды.

Джинетта почувствовала неладное и стала спрашивать, что со мною. Я с трудом это выдерживал. В самый неподходящий момент она взяла меня за руку. А каблучки все постукивали и постукивали. Мне же хотелось только одного — оказаться на какой-нибудь высоченной горе, далеко от всех населенных мест, и нестись вслед за звездами все выше и выше. Куда угодно — только бы уйти от настоящего.

Дж. пришлось многое вынести. Я понимаю, что босоножки стучат из-за стальных набоек, которые ей прибили на каблуки, чтобы кожа не так быстро снашивалась.

Позже она сказала:

— Подобное отношение свойственно поэту. Оно неестественное.

И только подлила масла в огонь. Конечно, неестественное. У меня нет никаких рациональных причин злиться на ее босоножки.

Такая реакция связана с эстетическим отвращением, порожденным моим положением здесь. И возникла неожиданно, как приступ тошноты.

Дребезжание крышки на чайнике.

Июнь

Ленч в Колледже иезуитов.

Лектор прочитал свою речь с фантастической быстротой, полностью проглотив конец. Сразу же послышались смех и болтовня. Я был этим шокирован. Сам лектор, спускаясь с кафедры, улыбался. Была пятница, и потому подали рыбу. Правда, еще землянику и два сорта вина.

Я изумился и тому, что юноши курят, и тому, как свободно они беседуют с преподавателями.

Два священника шутили, пересмеиваясь, как школьники.

Колледж располагается в огромном доме неподалеку от реки, его окружает изумительный парк.

Все проведенное там время я остро ощущал свою предубежденность против иезуитов и их порядков — антикатолический настрой, связанный с протестантским

воспитанием; и чувствовал себя среди присутствующих отважным исследователем. Хотя сознавал, что являюсь тем, кого презираю, — стопроцентным англичанином.

Робер Брессон «Дневник сельского священника»[196]. Поразительный фильм. Чрезмерно мрачный. Не взрыв отчаяния, а затяжная депрессия. Нет ни радости, ни утешения, действие развивается медленно, многое недосказано. Кафка, Паскаль и ранний русский кинематограф. Глубокая печаль на лице молодого священника незабываема, но, когда смотришь фильм, не можешь отделаться от мысли, что, возможно, именно этот страдальческий жребий и мазохизм заставляют его (и многих мучеников) действовать. Такое глубокое, всепоглощающее страдание, такая серьезность противоестественны. Нельзя вообразить людей, до такой степени охваченных скорбью. Это экстремальная ситуация, психологический казус. Художественное решение вполне достойное, хотя и не очень оригинальное, если не считать пауз на саундтреке. Не помню другого случая, когда после фильма люди покидали бы зал в таком молчании. В высшей степени католический фильм.

Перед показом выступил монах-доминиканец, давший что-то вроде церковного комментария. Стиль его выступления был близок укладу жизни французской провинции, он долго объяснял то, что и без него известно и очевидно. Зато он великолепно смотрелся в кремово-белой рясе на фоне зеленого занавеса. В целом зрители его слушали, хотя кое-кто шептался, кто-то позевывал. Пуатье — один из немногих городов, где еще можно наблюдать такую сцену.

Мы с Дж. часто ссоримся — в преддверии неизбежной разлуки через две недели.

На днях я сказал Дж., что вряд ли способен испытывать настоящее чувство к женщине, а так, как сейчас люблю ее, мог бы любить нескольких. И я действительно мог бы любить других женщин больше, чем ее. Но не отдавая себя целиком. Объяснил я это тем, что больше всего люблю себя, свое будущее, свою еще не сформировавшуюся личность, и потому не способен на большее. Никакой радости по поводу своего эгоизма я не испытываю: совсем не легко нести одну ношу, когда хватает воображения представить себе множество других вещей.

Я мог бы жениться на Дж. хоть завтра — я достаточно люблю ее для этого, — но у меня нет денег. И не будет еще несколько лет. За это время она может превратиться для меня в древнюю окаменелость, сам же я могу встретить другую женщину и получить нужные мне нежность и заботу. Невозможность для меня раствориться в любимом человеке связана с тем, что я

слишком завишу от времени. Я не смогу любить Дж., если ее не будет рядом. Конечно, может случиться, что года через два я по-прежнему буду один и у нее никого не будет, и тогда мы сможем начать все заново — с того места, на котором остановились.

Я никогда не говорю о своей сильной стороне — смеси честолюбивых амбиций и всего талантливого, что во мне есть, — она жестко нацелена на достижение поставленных целей. Девиз: «Забудь прошлое и завоюй будущее». Мне вообще не следует жениться, но я женюсь.

Два дня назад она непрерывно рыдала.

— С этим ничего не поделать, — говорила она. — Я люблю тебя сильнее, чем любишь меня ты.

Я этого не отрицал, но объяснил, что этот мой дефект врожденный, носит общий характер, а не распространяется только на нее, и что любовь — одна из тех вещей, где воля ничего не решает. Надуманная, идущая от головы любовь между двумя чувствительными людьми вроде нас заранее обречена. Фальшь тут же обнаружится. В нас сидит счетчик Гейгера, мы постоянно с ним сверяемся.

— Я начинаю верить в Бога. Случилось прямо противоположное тому, что было в Париже, — сказала она. (Она была неофициально помолвлена со студентом юридического факультета, но разорвала помолвку.) — Только теперь я понимаю, как он страдал.

Чувствуя себя виноватым и несчастным, я старался ее утешить. Но даже в этом я участвовал всего лишь процентов на восемьдесят. Ни один контакт с внешним миром не затрагивает меня целиком. Выше того, что испытал с Джинеттой, я не поднимался. Какая-то моя часть всегда отходит и следит за происходящим со стороны.

Что это? Шизофрения? Или тайное самодовольство?

6 июня

Джинетта. Я с ней отвратительно лицемерен. Психологически я играю с ней, как со старым мячом, — экспериментирую, рискую, рисуюсь. Ведь сейчас в моей голове зреет nouvelle[197] о ней или о ее окружении; я вижу в ней скорее персонаж, чем самостоятельную личность. В повести неизбежен «печальный» финал — разлука, что для меня вовсе не является печальным (печаль — романтическое лицемерие), — и потому я готовлюсь к отъезду, потакая своей меланхолии. Ей следовало бы взорвать меня динамитом. Я кажусь себе чудовищем, потому что теперь мы больше (для меня) не люди, а персонажи будущей повести. Я начинаю осознавать, что в своих попытках объективно взглянуть на реальность, *оценить* ее, слегка от нее отстранился. Не уверен,

что мне хочется снова ступить на твердую землю, и потому дрейфую в море запутанного самоанализа — вдали от земных контактов, искренних и безусловных, *вслепую* подаренных отношений с приятелями или женщиной.

— Лучше бы нам не знать друг друга, — говорит она. — Если б я только знала, сколько горя меня ждет.

На это я ответил, что всякий опыт ценен.

Она:

— Какой в этом смысл, если все кончается néant[198], неизбежной разлукой?

Но на этом основании можно отрицать жизнь и оправдывать самоубийство. *Ничто* все равно придет. Важно, что ты будешь делать в ожидании прихода.

Однако я понимаю огромную разницу между нами. Разворачивая прежнюю метафору, Джинетта все еще на берегу, она находится в состоянии переживания — радуется или страдает. Я тоже страдаю и радуюсь, но в то же время я в море и могу созерцать горе и радость как проходящие перед глазами картины.

— Ты должна постараться забыть меня, — сказал я. — Мне же не надо этого делать. Для меня ты навсегда останешься частью прошлого.

Я имел в виду, что мое художественное, «морское» начало недоступно земному страданию. Эта раздвоенность, шизофрения — своего рода благословение. Мне дана милость, ей — нет. Высокая привилегия художника быть в той степени, в какой он может, романтическим и гордым в подобных вещах. Быть провидцем.

Разница между художником и не-художником. Для последнего люди и их отношения четко определены, реальны, одномерны. Для меня они полны прозрачности и неопределенности, притворства, тайны. Все усложняется высокой чувствительностью рефлектирующего мозга и его разнообразными реакциями; его способностью рождать гипотезы, переносить художника в вымышленный мир.

15 июня

Джинетта. Никогда ничего не просит — напротив, приходится хитростью выведывать ее желания. Ее родители — противники клерикализма, девочку даже не крестили. Мне кажется, если ребенку привили привычку молиться — это для него полезно. Создается привычка обращаться с просьбой. Абсолютная независимость изгонит из мира милосердие. Самые трогательные моменты в жизни — это приношения даров, жертв, но тот, кто дарит, должен уметь просить и слышать просьбы.

Своей независимостью она напоминает Б.У. Брили, но мужчине независимость больше к лицу.

Когда я на днях сказал, что, обращаясь к священнику-иезуиту, называю его «отец», у нее это вызвало взрыв сарказма. Мне же такое обращение представляется всего лишь проявлением вежливости. Мне нет дела до армии, но я обязан, вступая в разговор с офицером, называть его по званию. Необходимое уважение по отношению к другим слоям общества.

Сегодня она спросила меня, есть ли смысл в нашей переписке во время разлуки. Я сказал, что переписка представляется мне более естественным делом, чем ее отсутствие. На это она возразила:

— Твои письма всегда такие продуманные, recherchées[199]. Ты пишешь так, словно между нами ничего нет.

Это правда. Терпеть не могу изливать чувства на бумаге — тем более когда пишу не для себя. Родители приучили меня, что всякое проявление эмоций — признак дурного вкуса. И педагоги тоже. Но они правы. Хотя несколько переборщили. Эмоции существуют и должны проявляться. Тайно (как здесь), открыто или случайно. В ежедневных мимолетных встречах. Чувства — не для чтения, не для передачи в письмах.

Однако подлинная причина ее раздражения — наша разлука. Ее горечь, требовательность ко мне нарастает.

— Какой смысл писать, если мы расстаемся навсегда? — говорит она.

— Чтобы смягчить боль, — отвечаю я.

Она цинично предлагает болезненный разрыв, но, мне кажется, еще передумает.

Она: «Не вижу никакого смысла в нашей переписке».

Я: «В таком случая, как бы мне ни хотелось тебе писать, буду ждать первого письма от тебя».

Она (горячо): «Я *никогда* не напишу первая».

Типично женская логика.

17 июня

Наш последний день с Дж. Первый раз за несколько недель мы «вместе». Почти весь день в моей комнате, потом — по сандвичу в кафе и прямиком в Блоссак. Там мы молча сидели под тяжелым, свинцовым небом. Казалось, говорить не о чем. Я пытался притворяться сказал, что ничего еще не решено. Она попросила меня не лукавить. Пришлось сказать правду: да, мало шансов на то, что нам суждено снова встретиться. Меня наполняла светлая — нельзя сказать, чтобы неприятная, — меланхолия. Я предвкушал свободу. Она принесет одиночество.

Позже мы пошли в ночной клуб «Сюлли». Оттуда — в парк у

реки. И домой. Я не знал, что говорить, когда мы прощались. В такой ситуации слова «прощай навеки» непостижимы. Мне кажется, я засмеялся. Кажется невозможным, что эта пытка может прекратиться.

Разлука подобна смерти.

Конец эпохи.

Написав эти слова в 2.30 ночи, я вдруг пожалел, что не овладел ею, не удержал, не женился на ней.

Через три часа мой поезд. En route[200] — в Бретань! Ад наступит, когда я вернусь домой.

Пять часов. Сильный дождь. Смутное состояние неопределенности. Линия раздела.

Бретань

Долгое путешествие на север, много пересадок, невыразительная, серенькая природа. Я перенес жуткую сенную лихорадку, чувствовал страшную усталость и еще не оправился от потрясения при разлуке.

Меня смущала и низость, которую я продемонстрировал вчера. Я чувствовал, что должен сделать Джинетте подарок, но тянул до последнего, не зная, что выбрать. В субботу, перед самым закрытием магазинов, купил роскошное издание «Исповеди» Руссо. Вечером перед сном прочел несколько отрывков, они околдовали меня. На следующий день я постоянно откладывал вручение подарка, пока не понял, что делать этого не стану. Частично это было связано с тем, что я знал: ответного подарка не будет. Улучив минутку, заглянул в ее сумку и, убедившись в этом, не захотел ставить ее в неловкое положение. Но ведь я знал, что у нее нет денег, и подобная щепетильность, возможно, была смехотворной. Думаю, мы испытывали сходные чувства — не хотели ни дарить, ни получать подарки, и не из каких-то там эгоистических соображений, а из-за нежного и таинственного смущения, сопутствующего таким минутам.

Надеюсь, когда-нибудь я выясню это.

Почти постоянно думаю о Дж. Все приятные моменты путешествия мы словно переживаем вместе, всех женщин я сравниваю с ней. Особенно удручающий результат у англичанок.

Воссоединение с семьей. При встрече мы не выставляем наши чувства напоказ, и можно подумать, что я отсутствовал не восемь месяцев, а всего лишь одну ночь. Все эти условности ничтожны, банальны, quotidien[201].

Произнося неискренние вещи, я испытываю отвращение к себе. Говорить только для того, чтобы не молчать, — варварство, которое мне трудно вынести. Англичанам недостает способности к преувеличению, astuces[202], шутливости, легких уколов, иронии.

Мон-Сен-Мишель. Поражает воображение своей причудливостью. Однако испоганен продажей сувениров, ненасытностью жадных торгашей. Цены меня просто взбесили. У отца ко всему отношение Панглосса, он полон решимости получить удовольствие. Все кажется ему дешевым и доброкачественным. Из духа противоречия я ругал все подряд. Бывало, что я проклинал саму объективность, извечную позицию критики. Иногда хотелось изобразить восхищение, фальшивое

удовольствие. Но стоило начать лицемерить, как меня охватывал стыд и я замолкал.

Мон-Сен-Мишель лучше смотрится издали, как Каркасон. По мере приближения магия уменьшается. Монастырь по-прежнему великолепен, особенно крытые галереи и готические интерьеры.

Но что все это значит для тех людей, что плетутся за гидом? Думаю, ничего. Еще одно название, отмеченное галочкой. Что касается архитектурных стилей, то каждый век наложил свой отпечаток…

Вечером поток пошлостей в гостиной отеля… удушье… медленно, грустно изнываю от напора английского среднего класса. Разговоры самые заурядные — экономия, собаки, дети, болезни. Все отклонения от этих тем встречаются молчанием. Возможно, причина в островном положении, замкнутости, передающейся от одного к другому. Вера в превосходство своей нации — то, во что верит, хотя и не признается в этом, каждый англичанин.

Острое желание снова погрузиться во французскую стихию, шутить и пикироваться с Дж. На дне тарелки увидел клеймо «Лимож», и острая боль пронзила грудь[203].

Невыносимость нашей семьи. Люди не всегда понимают, кем мы с Хейзел приходимся друг другу — братом и сестрой или отцом и дочерью. Остальные члены семейства недалеко от нее ушли.

Отец как-то вечером громко заявил:

— Зимой я написал несколько рассказов.

Я был изрядно сконфужен, особенно когда Хейзел поинтересовалась:

— А как ты их назвал? — и кое-кто из окружающих заулыбался.

Возвращение пасмурным, дождливым и холодным утром в Пуатье. Моя комната, воспоминания, грустная записка от Джинетты.

«J’attends mes parents Dimanche, et je suis presque contente de quitter Poitiers, j’ai vécu quelques journées horribls, n’avoir rien à faire, et surtout n’avoir envie de ne rien faire; rester impossible à l’A. G. sous les regards ironiques ou apitoyés, éviter les endroits où nous allions parce que tout en’y parle de toi; bref, me sentir dans le plus total isolement, tout cela n’est pas très drôle»[204].

Приемник стоял там же, где был в тот наш последний день вместе. Я оставил еще пакет с книгами.

Впервые я почувствовал, что мне ужасно чего-то не хватает.

Думая о том, какую речь произнесет Сократ перед смертью в моей будущей трагедии о нем, я заплакал. Заплакал, хотя мысли

еще не оформились в слова, да и самих мыслей еще не было. Было только напряженное и острое предчувствие их.

6 июля

Внезапный приступ дурноты, случившийся в моей комнате. Я едва не упал. В это время у меня находился священник-иезуит, он пришел договориться о дате экзаменов, которые мне нужно принять. Пришлось чуть ли не силой выставить его из комнаты, после чего я рухнул в кресло. Иезуит, наверное, счел мое поведение странным; любопытно, что животные всегда ищут уединения, когда больны. Прошло три часа, а я еще чувствую слабость, головокружение, спина болит все сильнее — это может быть и желтуха, и простуда.

Я никогда не терял сознания, но в этот день, как никогда прежде, был близок к этому. Обедать я не пошел. Начиналась лихорадка. Такой неожиданный приступ болезни испугал меня. Я одинаково чувствителен и к жизни, и к смерти. Хватило нескольких минут, чтобы я погрузился в мрачную пучину отчаяния. Воображение рисовало мне самые разнообразные перспективы: внезапную или, напротив, долгую и мучительную смерть, больницу, похороны, приезд из Англии родителей, приезд Джинетты. Но все переживания перекрывало горькое сознание: ничего-то я не успел сделать; можно сказать, даже не приступал.

Глядя на свое фото, я не могу представить, как возможно, чтобы меня не было. Страх смерти как бы уплотняет прошлое. Я помню время, когда отказался от того, чего ожидали от главы школьного комитета или морского офицера. Стал искать другие пути, окольные, ведущие к высотам, которых не видно за густыми зарослями. Все было — лыжные тропы, ошибки, наивные поступки, открытия, решения; я и сейчас еще в поиске, но уже начинаю видеть вершины. Должно быть, я ужасно разочаровал отца.

Он хотел бы, чтобы у меня была хорошая работа, уверенность в завтрашнем дне, перспективы на будущее; я же гоняюсь за химерами.

За этот год я вырос. Одиночество, обусловленное пребыванием вдали от дома, — то есть географическое и социальное — благотворно влияет на меня. Если бы, попав в незнакомую страну, я стал подстраиваться под ее обычаи, то многое утратил бы в себе. Люди меня спрашивают, чем я сейчас занимаюсь: ведь в университете лекции закончились. Я отвечаю, что «читаю» или — реже — «пишу». Но я знаю, что они думают: этот медлительный и равнодушный тип слишком уж вялый, из него не получится художник. Но я горжусь собой. Позиция, — я называю ее «pmassive» — единственно возможная в наше

время[205].

Я планировал встретиться с Джинеттой в Беллаке[206] в следующую среду, и теперь вижу, как наивно что-то загадывать наперед. Я всегда заболеваю накануне важных поездок. Но этот раз — особенный. Если в среду я буду болеть, у нас больше не будет возможности увидеться: в пятницу она уезжает отдыхать. Спасибо Господу за нее. Большое утешение, если ты сумел вызвать любовь хотя бы у одного человека. Мне оно было нужно, потому что родители давно отошли от меня.

На этой неделе у меня из головы не шел Шпицберген[207]. Там сейчас тепло и сухо. Мне представлялись птицы, цветы, лето и снег. Но самое главное — полное одиночество. Я постоянно воображал, как поеду туда, буду там жить — одинокий и счастливый. Мне нужно место, находящееся в величественной изоляции, вне этого шумного мира. Как бы преддверие того, что пока пугает меня.

Если я умру. Постарался привести дела в порядок. Мои книги отдать Джинетте. Это все, что у меня есть. Что-то на память немногочисленным друзьям — хоть они и далеко. Возможно, что-то можно извлечь из моих бумаг, планов; сейчас мне трудно писать, думать, меня тянет ко сну.

8 июля

Возвращаюсь, еще трясущийся и ослабевший, к жизни. Доктор диагностировал солнечный удар средней тяжести. Руссо: «Je puis bien dire que je ne commençais de vivre que quand je me regardais comme un homme mort»[208]. У него было гораздо больше, чем у меня, причин представлять себя мертвым. Хотя рост познаний во всех вопросах означает и большую осведомленность в вопросе смерти.

10 июля

Ездил в Беллак повидаться с Джинеттой. Два часа езды жарким июльским днем по ровной лесистой местности Пуату и Лимузена — и ты в сонном городке на вершине большого холма, откуда видна синеватая гряда гор Мон-де-Блон, — ландшафт напоминает дартмурский; горы живописно удалены, к ним словно ведет слегка помятая ковровая дорожка из поросших лесом холмов.

Огромная радость при виде Джинетты. Иногда с моих губ любовно срывалось «une caniche»[209]; и действительно, счастье, которое я испытывал от встречи с ней, было похоже на многажды увеличенное удовольствие от вида домашней четвероногой любимицы, когда сознаешь, что тебя по-прежнему высоко почитают. Не думаю, что смею презирать собачью преданность только из-за того, что сам на нее не способен, — слишком уж

méfiant[210]. На самом деле я хотел бы иметь это в себе.

Долгое возвращение домой в train omnibus[211]. В моем купе сидела женщина лет пятидесяти — шестидесяти в траурной одежде. Она нервно оправляла на себе платье, то и дело обнажая колено. Не будь женщина такой старой и уродливой, я бы подумал, что она заигрывает со мной. А так мне кажется, все дело в том, что она впервые надела платье из черного нейлона и никак не могла привыкнуть к ощущению новизны.

11 июля

Тур де Франс. Сегодня в течение двух или трех часов участники этой акции — вереница грузовиков, джипов, мотоциклов — ехали по улицам Пуатье. Рекламировали почти все товары. Жители покинули свои дома. Когда появились велосипедисты, ажиотажа уже не было. Они промчались блестящей цепочкой один за другим и через минуту или две скрылись из виду. Яркие трикотажные костюмы, шуршание шин. Люди аплодировали, но особого веселья не было.

20 августа

Вчера, в воскресенье, я вернулся из двухнедельного путешествия по Швейцарии, австрийскому Тиролю и Баварии. Поехал, не сомневаясь, что путешествие разочарует меня, но все случилось наоборот: я пребывал в непрерывном восторге. Вчерашний вечер резко оборвал постоянно звучавшую во мне музыку — я переживал расставание с новообретенными друзьями острее, чем когда-либо. Только два случая были подобны этому.

Первый произошел еще в отрочестве, тогда я влюбился в девочку в Норфолке. Мне было тринадцать или четырнадцать лет, и я до сих пор помню, как сидел в своей комнате на Филбрук-авеню, 63, охваченный невероятной — ведь в этом возрасте она иррациональна и невыразима — тоской в сердце.

И второй раз, когда покинул Экс-ан-Прованс; тогда я всю ночь не спал в поезде Марсель — Париж, страдая от того, что уезжаю[212]. Я написал стихотворение — при отсутствии прочих достоинств оно было по меньшей мере искреннее. В этом случае оборвалось много привязанностей — любовь к Провансу, к Югу, ко всем физическим и психологическим аспектам пребывания там, смутная любовь ко всем девушкам, с которыми я неумело флиртовал, — они остались просто camarades[213]. Но в моем воображении то была нежная дружба, и все они казались мне необыкновенно красивыми. В обоих случаях условия были сходные: новые места, несостоявшаяся, смутно сексуальная любовь, краткое, строго фиксированное пребывание.

Здесь же был род корпоративной, всеобщей любви. Остальные члены группы были родом из Туара или Пуату, большинство

знали друг друга с детства. Они больше напоминали семью, чем группу молодых людей. Средний возраст около девятнадцати. Я был одним из самых старших. Психологически, возможно, моложе. До поездки я знал только одного — Андре Броссе. Он нес в себе полную противоположность общему духу группы. То были свежесть, веселье, простота, сентиментальность, непосредственность. Время от времени игривая волна возносила нас на мгновение в страну вечной юности. Но *движение* автобуса тут же возвращало в реальное время, напоминая об одной из величайших истин — всему вечному недостает изюминки. Если рассматривать эту поездку только как отдых, то условия были не самые идеальные: стояла плохая погода, кемпинги оставляли желать лучшего, были и организационные недостатки. Однако, оглядываясь назад, я вижу только мелкие помехи, которые отступали перед безудержным весельем и единодушием группы.

Жизнь в автобусе напоминает жизнь на корабле. Совокупность отдельных личностей — все пассажиры туристского автобуса — постоянно, неотступно вместе. Для психологического анализа лучшего транспортного средства не подобрать, это в своем роде увеличительное стекло. Все пороки и добродетели, очарование и уродство видны и даже преувеличены. Вне зависимости от того, хороший получился состав или плохой, вы оказались в нем и разделяете его судьбу. В моем случае состав был подобен виноградному вину, молодому и пьянящему.

Группа делилась на vieux и jeunes[214] (классификация «молодых»). Свежесть и обаяние шли от последних. Моник Бодуэн, самая юная, так и излучала веселье, энергия ее переполняла, в ней проступали то enfant terrible[215], то Бетти Хаттон, то усталое дитя; голос ее — словно под воздействием алкоголя, хриплый, сиплый — часто срывался; у нее был талант петь не в лад, намеренно говорить gaffe[216], выбирать точное время для шпилек и bon mots[217]; в придачу к этому — темные живые глаза, лукавая улыбка, тугие косички, круглое загорелое личико, полные щечки; в ней было что-то индейское, но в целом то был латинский тип красоты. Французский. Эта полуженщина-полудевочка за внешним озорством скрывала провинциально-наивное простодушие, и я находил ее очаровательной. Полагаю, Моник была самой умной из девушек. Она делала вид, что ее шокируют gauloiseries[218], а ее поведение при этом было более gaulois[219], чем сама gauloiserie. Когда кто-то рассказывал что-нибудь подобное, она несколько раз повторяла «dégoûtant personnage»[220] и притворялась, что затыкает уши. А как она любила пирожные! То, как она поедала пирожные с кремом, было наглядной картиной плотского наслаждения. Когда Моник

произносила особенно шокирующие фразы, на ее губах блуждала застенчивая и несколько напряженная улыбка, в ней присутствовали и удовольствие и страх. Возможно, этот женский тип самый привлекательный — острая на язык девчонка-сорванец, не теряющая, однако, своей женственности. Невозможно устоять перед этим хриплым, непринужденным голосом, переходящим от нежности к карикатурному пародированию, от разногласий к гармонии, от сопрано к контральто, но всегда сохраняющим индивидуальность. А ведь она еще школьница. Такой характер — порождение более свободного, более благородного, более чувственного и, возможно, более декадентского общества, чем то, что существует у нас в Англии. В каком-то смысле Моник представляет именно то, что так нравится иностранцам во Франции.

Остальные девушки не столь замечательны, но все по-своему привлекательны и оригинальны.

Тити, la sylphide camus[221], гибкая, атлетически сложенная, современная, в светло-голубых полотняных бриджах. У нее крупный мягкий рот и необычный приплюснутый нос.

Нанни Баратон с лицом Mater Dolorosa[222] и темными глазами, в которых таится печаль; довольно молчалива, холодна, но точна и грациозна в танце; великолепные черные волосы до пояса, схваченные красной лентой; и привычка скромно потуплять глаза. Чудная фигура, тонкая талия, широкие бедра, полная грудь и крупная голова. Ее красота несколько старомодна, современная — более изощренная и лишена естественности.

Армель — в облике есть что-то неуловимо еврейское; мягкая, воспитанная и доброжелательная; тихо уплетает пирожные и слушает, что говорят другие. Она обручена с Жан-Полем, братом Нанни.

Бриджит, fille du peuple[223], жизнерадостная, слегка грубоватая, у нее простонародная, яркая красота. Слегка усталый вид — кажется, что она только что из постели.

Франсуаза Броссе, резкая, умная, строптивая.

Франсуаза из Бордо, пухленькая блондинка с сильным южным акцентом, каждый раз, когда она открывает рот, чтобы заговорить, все вздрагивают. Круглое доброе лицо, с него не сходит улыбка, в ней есть что-то от девчонки-сорванца, очень жизнерадостна. Южный акцент не сочетается с ее внешностью северянки.

Жаклин — может говорить непрерывно, речь ее льется неспешным потоком, у нее короткие кудрявые волосы, в лице есть что-то поросячье (это ее не портит), носит черные брючки.

Жозетта, poule[224] в зародыше, бойкая, с острыми грудками,

аккуратная, постоянно прихорашивается, и надо сказать, не без успеха. Очень юная, но уже умудренная в житейских делах; demi-mondaine[225] в миниатюре; неторопливые похотливые повадки. «Меня можно купить, но только очень дорого». Порочна.

Иветта, ее хорошенькая анемичная подружка, слабенькая, бледная, неумная, безвольная — словом, прилипала.

Девушки постарше внешне менее привлекательны.

Клодин «Коко» Баратон, небольшого роста, сильная и энергичная, хотя у нее грустные глаза и усталый взгляд ищейки. В каком-то смысле играет роль приемной матери «молодых», хормейстера и maotress de ballet[226].

Колетта, крашеная блондинка с печальным лицом; непрерывно поет и с удовольствием примыкает к обществу, стоит ей заслышать разговор или смех. Присасывается как пиявка, стараясь любым способом скрасить свою незадачливую жизнь. Может быть, упустила свою любовь. Думаю, ей приблизительно лет двадцать восемь, и она тянет энергию из «молодых». Очевидно, в молодости была очень красивой. Но ей недостает женственности, она тип северной лесбиянки, потерявшейся в среде естественной любви.

Щедрая, всегда готова прийти на помощь, принести жертву, вступить в члены какого-нибудь общества — тип девочки-скаута в области духа, а я, как большинство индивидуалистов, терпеть не могу такой тип.

Некрасивая богачка Маринетта.

Бесполая Мари Шалле.

Джинетта Пуано, молчаливая, робкая девушка с красивой, изящно очерченной линией губ и удивительными, очень искренними серыми глазами — в их взгляде легкий упрек, непонимание, как если б она слегка побаивалась, что ей сделают больно.

Мадлен Нарвель, тип *parfaite femme d'intérieur*[227] у для нее мужчины — существа, которых надо кормить и о которых надо заботиться, как будто жизнь — всего лишь приготовление пищи в кукольном доме.

Теперь о мужчинах.

Мишель Годише и Жан-Поль Баратон, парижские студенты; мне они интересны: оба приятные в общении, нормальные люди. Они и Поль, брат Андре, относятся к «молодым».

Поль похож на любимого спаниеля, ленивого, но милого, ему все потакают. Он часто принимает виноватое выражение, оно помогает избежать лишних затруднений. Я завидую ему, завидую отсутствию у него всяческих комплексов, запретов, завидую его беззаботности. Вспоминая, как был одинок в его возрасте,

понимаю, как много потерял из-за отсутствия брата, сестры, города, в котором бы постоянно жил, устойчивого круга знакомых — никаких «корней».

Жак — un jeune egoiste imberbe[228].

«Старики». Жан-Клод Жуто, щуплый молодой человек невысокого роста, с тонкими усиками, талантом имитатора и шута. Первый остряк в группе, может сказать и грубость, если это будет звучать забавно. Непорядочен в личных отношениях. Если ему нужно, всегда говорит что-нибудь приятное собеседнику — привычное лицемерие. Если дела шли плохо, он всегда публично возмущался, как бы демонстрируя благородную объективность. На мой взгляд, Жуто — слабый человек, он остановился в своем развитии. Un renard de La Fontaine[229] — обаятельный, но ненадежный.

Тинар, высокий, аскетического вида молодой человек с лицом китайца и большим крючковатым носом. Экстравагантный, но его экстравагантность запрограммированная. Предпочитает держаться в стороне, иногда неожиданно исчезает. Говорит в довольно вычурной манере; в разговор вставляет boutades[230], ругательства и изобретательные оправдания. У меня было ощущение, что его мозг — сложный лабиринт, мало связанный с реальностью.

Лаффон, козел отпущения в группе. Полное отсутствие чувства юмора при безумном желании похваляться, быть в центре внимания, изображать бывалого человека. Карикатура на Дон Жуана: при первой же возможности старается лапать девушек. Строит из себя опытного путешественника, притворяется, что умеет читать карту, отдает распоряжения, советует, командует другими. Хвастун, и все это понимают. Мне его жаль: у него грыжа. И еще у него подергиваются нос и рот, что-то вроде нервного тика. Он пишет сотни открыток — понятно почему. Он сам рассказал нам, что мать дала ему целый лист адресов, и тогда стало ясно, что все недостатки достались ему по наследству. Грубый и хвастливый.

Ричард, староста группы; он из тех людей, которые, даже уйдя из армии, остаются с ней связанными. По духу шотландский пуританин; инвалид, однако выносливый и усердный; находит удовлетворение в преодолении трудностей жизни. Настаивает на строгом соблюдении расписания, ночевках на открытом воздухе, самостоятельном приготовлении еды — словом, на самых неприятных вариантах любой ситуации. Пессимист, извлекающий из этого удовольствие. Ввалившиеся щеки, суровый вид. Нельзя сказать, что лишен чувства юмора, но юмор у него особый, военный; иногда кричит, какие коварные и жестокие немцы.

Говорит неторопливо и размеренно, как школьный учитель. Медлительный и недоверчивый. Свою неприязнь ко мне не показывал из убеждения: хороший офицер в запасе не должен иметь любимчиков. Сердился, когда кто-нибудь из нас заводил affaires de coeur[231]. Если отвлечься от языка, скажешь, что я француз, а он — ярко выраженный англичанин.

Поль Шалле; с ним мы почти все путешествие спали в одной палатке. Я сразу дал ему определение — первоклассный коммандос. Среднего роста, честные глаза, простодушен, хорошее чувство юмора, безграничная выдержка, способность жить в экстремальных условиях. Он спелеолог и, следовательно, должен обладать особым мужеством и нервной энергией. Наивный, не очень образованный, здравого смысла больше, чем интеллекта. Подозреваю, что и с воображением у него туго. Мне кажется, для спелеолога отсутствие воображения — необходимость. Поль рассказывал, что однажды, когда он находился на глубине километра под землей, подход к пещере оказался таким узким, что за пятнадцать минут можно было преодолеть только три ярда, продвигаясь вперед сантиметр за сантиметром. При одной только мысли об этом меня мутило от ужаса. А каково сознавать, что, потеряв фонарь, ты обречен на смерть в лабиринте из подземных коридоров. Поль рассказывал, какие волшебные ощущения переживаешь, находя дивные пещеры, которые никто до тебя не видел. Рассказывал о сталагмитах, сталактитах, водопадах, но все это не казалось мне достаточной компенсацией. В нем есть животная суровость и самодостаточность, что автоматически вытесняет чувствительность. И все же он приятный молодой человек, на него всегда можно положиться, идеальный спутник в походах.

Два шофера — Макс и Марко. Марко (Марк Жирар) — похож на клоуна, нервный и неутомимый, как марионетка. Отличный водитель, осторожный и внимательный, но на отдыхе непрерывно смеется и дурачится — Ариель при Просперо (Андре). Большие глаза, четко обозначенные брови, подвижный рот и клоунская жестикуляция. Гений по части сбивания цен; в нем есть нечто от обаятельного мошенника. А еще летчика-истребителя. Сочетание мастерства и безответственности, риска и надежности. Мне он не очень нравился. В каком-то смысле он порождение механического века, рыцарь машины. Я же ненавижу механизмы, их гладкие поверхности. У него любовная интрижка с Жозеттой, и затаившийся во мне аристократ и сноб сокрушается, что шофер может флиртовать с пассажиркой. Иногда я думаю, что он изменяет своим привычкам, только чтобы нравиться другим, казаться великодушным и щедрым. Возможно, я отношу это к

недостаткам, потому что сам неспособен на такое. Он сделал для нас много больше, чем требовалось по контракту.

Андре (le President[232], как его называют) больше всего напоминает медведя или барсука. Крупный, сдержанный, здравомыслящий, терпимый, хотя силищи у него на десятерых. Он на месяц моложе меня, но у него вид vieux tigre[233] — грузного, величественного, с грозным рыком. Голова же как у Ллойд-Джорджа, Клемансо, Эйнштейна, Швейцера — массивная, тяжелая, с крепким подбородком, тонким, но выразительным ртом, густыми бровями. Широкие, слегка сутулые плечи. В группе он пользовался поразительным авторитетом. Стоило ему заговорить, тут же воцарялось молчание. У него явный ораторский дар, что было удивительно для меня, и еще он, как никто другой, умел давать наставления. Однако с ним трудно иметь дело. Иногда он отказывается с тобой разговаривать. Его интерес к естествознанию и искусству совпадает с направлением моих устремлений. Его вкус тоньше, но мой — шире. Кроме того, я ощущаю себя космополитом, в то время, как он прочно связан с родной землей, хотя в каком-то смысле живет в другом мире, чем его братья и друзья. В родном Туаре он должен казаться чудаком, которого трудно понять. Прирожденный лидер, так же как Ричард — прирожденный служака. Думаю, он может преуспеть в политике или философии. Мне кажется, он такой же фантазер и бродяга по натуре, как и я. И потому прозябает. Однако я считаю его ярким, необычным человеком, себе ровней. Часто хочется произвести на него впечатление, а это совсем для меня не характерно. Только из-за него у меня сохранилось чувство вины перед Джинеттой.

Джинетта Пуано. У меня с ней исключительно необычные отношения. Эта загадочная, державшаяся особняком малышка с таинственной и слегка ироничной улыбкой занимала срединное положение между «молодыми» и «стариками». И почти все время молчала. Прекрасная фигура, бледное, веснушчатое лицо, слишком узкое, чтобы его можно было назвать красивым, однако не лишенное шарма. На мой взгляд, она одевалась лучше остальных — возможно, потому, что впервые отправилась в такую поездку. За границу она тоже выбралась впервые и, похоже, первый раз рассталась с родителями. По непонятной причине она все время жалась ко мне. Должно быть, остальные члены группы, шумные и энергичные, пугали и отталкивали ее. Робкая и неопытная, она была также полностью лишена интеллекта, культуры и кокетства. Бледная и тихая. Когда же Джинетта немного оттаивала, становилось понятно, что человек она теплый. Но и тогда она предпочитала помалкивать. Несмотря на

то что провел с девушкой много времени, я практически ничего о ней не узнал, кроме того, что у нее строгие родители и ей отчаянно надоел Туар. Она продавала мебель в отцовском магазине. Постепенно у нас завязался дорожный романчик. Не думаю, что она раньше с кем-нибудь всерьез целовалась, — чувствовалось, она сама поражена, что за такое короткое время близко сошлась с иностранцем.

Я оказался в затруднительном положении. Девушка мне нравилась, я был заинтригован, с удовольствием гулял и целовался с ней, однако трудно проводить много времени с человеком, предпочитающим молчать. Я испытывал гордость, как коллекционер, в руках которого оказался редкий цветок, и как мужчина, одержавший победу над другими представителями своего пола в самой главной игре. Когда мы сидели в автобусе, держась за руки, я внутренне торжествовал, как тщеславный петух, и только посмеивался, видя, как другие «старики» недоверчиво косятся в нашу сторону. «Молодые» относились к нашим отношениям более естественно.

3 августа

Мы влились в экскурсию в Пуатье. Было это серым, пасмурным днем. Одна из девушек приветливо улыбнулась мне из глубины автобуса; позже я узнал, что ее зовут Бриджит. Из-за постоянного шума, пения и всеобщего ажиотажа мне было не по себе; кроме того, меня поразили девушки: никак не ожидал, что их будет так много, да еще таких красивых. Неподалеку от Невера, рядом с каналом, мы разбили лагерь. Было холодно и сыро. Андре произнес речь, она в основном касалась дисциплины, однако носила не только воспитательный характер, но еще и отличалась мудростью. Для меня этот его талант был большой неожиданностью; нас стали представлять друг другу, каждый вставал, на него направляли свет фонариков. Терпеть не могу публичное внимание к своей персоне. Меня заставили вслух назвать мое имя.

— Джон Фаулз, — сказал я.

— Джон Фаулз, — произнесли все хором и повторили еще несколько раз с ироническим благоговением, растягивая гласные.

Несколько раз за путешествие мое имя всплывало в разговоре, и одна из девушек даже его пропела. Моник позже призналась, что как-то ночью она не сомкнула глаз, размышляя о моем имени. Тогда же, в первый раз, они пели хором под еле заметными звездами. В траве вспыхивали светлячки. Я держался ближе к Тинару. Нас обоих немного испугал энтузиазм остальных. Ночное пение было подобно ключу с чистой водой. При свете фонариков мы ели сардины.

Спал я плохо — не привык к палаткам и спальным мешкам. Впрочем, плохо я спал только в первую ночь, больше бессонница не повторялась.

4 августа

До швейцарской границы мы ехали целый день, местность становилась все более гористой и необычной. То было лесистое плато Юра, перерезанное глубокими сырыми долинами; шел дождь, и одноименных гор не было видно.

Тогда я и обратил внимание на Джинетту Пуано; на ней была черная лыжная куртка и зеленые брюки с отворотами; костюм подчеркивал изящество ее фигуры и острые грудки. Ричард так и присосался к девушке и все время что-то ей внушал, но я видел, что он ей до смерти надоел. На закате впереди замаячили Альпы, снег на вершинах пылал всеми оттенками оранжевого и розового. Великолепный финал дня, который иначе был бы однообразным.

5 августа

Утром Женева. Побрился я у горного ручья; на память пришли Норвегия, морская пехота — все те случаи, когда приходилось бриться с холодной водой, под открытым небом. Необычно, но не лишено удовольствия.

Женева вызвала в моей памяти Стокгольм и Копенгаген — так же просторно, все сверкает чистотой. Лебеди в воде, чайки в небе, яркие сады и люди, гуляющие по залитым солнцем улицам. Вдали маячил темно-зеленый массив Юра. Мы вышли у мола, чтобы осмотреть огромный фонтан в виде белой колонны, похожей на гигантский обелиск[234]; водяные струи, радужно переливающиеся брызги. Лавки, где продают сигареты.

Пообедали в небольшом городке на побережье Лаг-Леман на фоне темнеющего вдали Монблана. Затем — остановки в Шильоне, Монтре, Лозанне. Все очень красиво, но я не люблю находиться в толпе, быть частью туристической акции и с сожалением вспоминал пустынный, дикий пейзаж Н. Норвежские фьорды. Ненадолго остановились в Невшателе, хотя туристский лагерь там был прескверно организован. Вечером отправились пешком в соседний городок посмотреть на замок, ворота которого были освещены. Мы с Джинеттой шли отдельно от остальных, и она немного рассказала о себе, изрядно при этом нервничая.

6 августа

Утро в Берне. Город аркад и раскрашенных статуй. Взобравшись на башню кафедрального собора, мы любовались видом далеких гор. Сам собор некрасив. У швейцарцев и шведов совсем нет вкуса. Особенно это бросается в глаза при переезде из Швейцарии в Австрию. В городе вроде Халла больше архитектурных красот, чем во всей Швейцарии. Тун, Интерлакен.

Вульгарные, космополитические города посреди роскошной природы. Лагерь разбили в Бриенце. Горы здесь круче, больше напоминают норвежские. В Бриенце есть магазин деревянных поделок, там много сувениров, статуэток, но среди всего этого изобилия ничего по-настоящему красивого. На некоторые вещи затрачено много труда, но не один только труд рождает красоту.

7 августа

Ранним утром отправился плавать. Было холодно, и удовольствия я не получил. Представление, вбитое нам в головы: если плаваешь утром, это *должно* нравится. Осмотрели Люцерн в мрачную погоду. Альпийские стрижи кружили у башенки деревянного моста. На ночь остановились вблизи озера Лаг-де-Цуг. Вечер был сырой, моросил дождь, в камышах перекрикивались поганки и лысухи. Мы с Полем поставили палатку в некотором отдалении от остальных. Пообедали все вместе в Gasthaus[235]. Девушки пели, танцевали. Нанни играла на пианино, кто-то принес нам вина. Когда возвращались в лагерь, девушки продолжали петь под дождем: ненарушаемая гармония.

8 августа

В Цюрихе унылая погода. Позавтракали в железнодорожном буфете бесцветными и безвкусными сосисками. Мы направляемся в Австрию, горы затянуты облаками, льет дождь, но в автобусе царит веселье. Кто-то всегда готов затянуть песню. Маленькая cliques[236] начинает разбиваться на группки, люди сходятся друг с другом, становятся дружелюбнее, непосредственнее, исчезает скованность. Все это очень по-французски — не по-английски. Мы собирались заночевать в Фелдкирх, но там не было свободных мест. Наконец нам удалось устроиться неподалеку, в горной деревушке, где нас поместили в танцевальном зале. Мужчины должны были спать на сцене, за занавесом, девушки непосредственно в зале. Шутки не прекращались. Мы поужинали, за ужином присутствовал немец, высоким тенором он пел в романтической манере: «Der Tannenbaum»[237], «Die Forelle»[238] и «Лили Марлен». После ужина он с несколькими друзьями и наши девушки пели попеременно. Он немного говорил по-английски, и между нами возникла атмосфера entente cordiale[239]. Под конец он попросил меня перевести на французский свой исключительно эмоциональный порыв. Думаю, он был разочарован тем, что перевод оказался слишком кратким, но музыка говорит больше слов.

Улеглись под звуки хихиканья и галантной любезности. «Les Gaulois sont sur la scéne»[240]. Жуто попросил Франсуазу из Бордо не играть с занавесом — этим она доводит его до щекотки. Меня смущало отсутствие всяческих запретов, но все ограничивалось

шутками, поведение же моих спутников было таким невинным, как если бы они пришли к викарию на чай. Постепенно я оттаял от обаяния «молодых» и почувствовал прилив второй молодости, baigné dans la jeunesse[241].

9 августа

Перевал Арлберг. Холодно, сыро, но мы видели горы. Под дождем добрались до Инсбрука. Здесь нам снова предоставили для ночлега танцевальный зал, правда, на этот раз — стеклянный и расположенный отдельно. Шквал astuces[242]. Удивительно, насколько различны за столом манеры французов и англичан. Англичанин никогда не начинает есть, пока еду не принесли всем, обычно выбирает самую маленькую порцию, ждет, когда ему предложат приступить к трапезе. Французы преспокойно едят что хотят и когда хотят. И нисколько не заботятся, какие при этом используют приборы. Окруженный горами Халл, очаровательный городок восемнадцатого века, — архитектура рококо и дух Моцарта. Образец элегантности в диком, хаотичном мире. Этим же вечером мы видели тирольские фольклорные пляски в местном ночном клубе и сами танцевали. Именно тогда я научился танцевать вальс. Я видел, что Ричард испытывает tendre[243] к Джинетте. В основном из вредности я раньше времени увел ее с танцев.

10 августа

Вечером подвесная канатная дорога доставила нас к подножию горы Патшеркофель. Шумно поели в небольшой столовой; далеко внизу — огни Инсбрука. Я впервые в жизни гадал на картах и всех развеселил. Моник пообещал двух любовников после свадьбы, Бриджит нагадал судьбу Нинон де Ланкло[244], а Лаффону сказал несколько горьких истин. Спали в общей спальне, перед сном много смеялись.

11 августа

Самый памятный день нашего путешествия. Мы взобрались на вершину Патшеркофеля. Погода резко изменилась к лучшему, с вершины открылся потрясающий вид. Спускались под жарким солнцем, Клодин задала бешеный темп. Этот день — один из лучших, что я провел в горах.

12 августа

Инсбрук не произвел на меня большого впечатления, хотя, должно быть, улица Марии-Терезы на фоне гор — одна из красивейших в мире, тем более что в ее конце виден Голден-дахл[245]. Вечером отправились на довольно вычурную танцевальную программу. В лагерь мы вернулись вдвоем с Джинеттой. Остальные начинают понемногу привыкать к нашей обособленности.

14 августа

По Северному Тиролю — в Германию. Глубокие, поросшие лесом долины, невысокие горы и неожиданно — цепь из чистых изумрудно-зеленых озер. Настроение переменилось, в душу закралась печаль. Я в Германии. Очевидно, Германия не проиграла войну. Цены кусаются, но все есть — и в изобилии. Лагерь разбили на озере Констанц, в Лангенаргене. Мы с Джинеттой пошли в сияющую огнями гостиницу и, устроившись на веранде, пили и смотрели на залитое лунным светом озеро; тени от облаков раскрашивали его причудливыми узорами. С невидимого кораблика доносилась музыка. Неспешно вернулись мы к остальным. Я не прикасался к Джинетте, хотя чувствовал идущую из глубин ее молчания волну симпатии.

15 августа

Мы задержались в Лангенаргене. Утром я видел над камышами двух зябленников, они охотились на насекомых — невероятно стремительные, шустрые создания совершали молниеносные повороты, невероятные трюки, не уступая в этом пустельгам. Видел также зеленых и обычных перевозчиков.

Днем отправились на шлюпке по направлению к швейцарскому берегу. Некоторое время я сидел рядом с Нанни. Мы окунали в воду ноги. Никогда не ощущал я так отчетливо свежесть этих девушек, их юную девственную чистоту, и одновременно — признаки будущей порочной женской жизни. Возможно, Нанни — самая красивая среди них; в ее красоте для меня легкий привкус инцеста. Она похожа на мою мать в девичестве. Мягкость, робость, скромность — редкие качества в наши дни. Нанни хорошо танцует современные танцы. Странный эффект — резкие, судорожные движения и сдержанные, грациозные жесты. Ее танец — павана, однако под джазовую музыку она тоже танцует превосходно. Когда девушки смотрят на озеро и тихо поют, в их глазах появляется какое-то томление, неопределенная тоска — я отчаянно пытаюсь уловить это выражение, но мне не удается.

Озеро было спокойным. Лодочник-немец называл высоту каждой горы и рассказывал о каждой деревушке с методичностью путеводителя Бедекера. На обратном пути я вступил в беседу с немецким предпринимателем, он говорил о войне в извиняющемся тоне. Немец дал мне две сигареты. Но это не могло скрыть, что он всего лишь жирный преуспевающий бизнесмен из Штутгарта и война его почти не коснулась.

Позже все пошли купаться. Мы с Джинеттой плавали вдоль тихих берегов озера сначала на байдарке, а потом на pédalo[246]. В купальном костюме ее потрясающая фигура смотрелась особенно

эффектно — стройная, пропорциональная, — фигура балерины. Тогда же я узнал, что она интересуется балетом и клавесином. При этом никогда не слышала о Скарлатти и не бывала на балете.

Мы пошли на танцы — тринадцать девушек и один кавалер: я. Гостиница весьма буржуазная. Я был довольно неряшливо одет, но не имел по этому поводу никаких комплексов: слишком большое презрение испытывал к немцам. Однако я не смог танцевать под ту музыку, какую там играли, и провел в смущении целый час в окружении нетерпеливых девушек, желающих танцевать. Осмелился только на один танец. Возвращался с Джинеттой. Ярко светила луна. Девушка ждала, чтобы ее поцеловали, — я это знал и потому тянул.

16 августа

Через разочаровавший меня Черный лес (Шварцвальд) — к Сент-Блазьену, тихому городку, собор в котором увенчан огромным уродливым куполом. Мы весело пообедали в переполненной столовой. Я вновь гадал. Существует только одно правило в гадании на картах — говорить грубо и жестко.

Мы с Джинеттой задержались и возвращались в лагерь последними, одни по пустынному городу. Мы шли вдоль ручья, текущего от церкви, тут я ее и поцеловал. Луна, струившийся поток, дымок тумана. И она, неопытная, нервная и возбужденная; ее легкий смешок можно было расценить как высокомерный. О чем она думает? — спросил я. Ни о чем — был ответ. Верю, что она сказала правду. У нее все время был робкий, испуганный вид, однако она явно хотела продолжения. Конечно, Джинетта не боялась, что ей придется отбиваться, ведь она сама отвечала на мои поцелуи. При первом же проявлении недовольства с ее стороны я бы немедленно остановился. Презрения я боюсь больше всего на свете. Ночь была очень холодной.

17 августа

Озеро Тити. Мы устали от гребли и держались за руки. Возможно, нежные пожатия устарели, однако для чувствительных людей они таят в себе бесконечное количество возможностей. Фрейбург. Красивый собор с великолепными витражами. Переехали Рейн — все разом опечалились, что вновь оказались на родине, но потом внезапно развеселились. Миновали Кольмар и остановились в Мюнстере, где разбили лагерь в парке и пили боденское вино, — такого дивного сухого вина я еще не пробовал на своем веку. Мы с Джинеттой пошли в город В кафе нас удивило механическое чудо — пианола, включавшая в себя скрипку: фантастический, поразительный инструмент исполнявший скрипичные сонаты и вариации; при этом непостижимый механизм непрерывно потрескивал. Потом гуляли

по залитому лунным светом парку. Джинетта была нежнее и естественнее обычного, но по-прежнему мало говорила. Удивительно стройна: я мог бы обхватить ее талию пальцами рук. Полусонная, она прижалась ко мне, на ее лице блуждала довольная улыбка.

18 августа

Великолепное утро, едем по Вогезам. Эти горы производят на меня более сильное впечатление, чем Шварцвальд. Никаких остановок. Cassis[247] в Дижоне. Вечером провели час в Везелее — это один из самых красивых маленьких городов, которые я когда-либо видел; единственная улица ведет к величественному собору[248]. Исключительные капители и тимпан. Одна капитель посвящена св. Петру, пробуждающемуся ото сна с опухшими глазами, рядом с ним еще один человек, он хитро улыбается. Величественный неф. Высота — почти как в готическом храме. Андре и я забрались на колокольню, откуда открывался прекрасный вид на леса и долины Морвана. В эти места надо приезжать не один раз. Лагерь разбили в Кламси. Вечером был parade aux flambeaux[249], шли pompiers[250], исполнявшие очень громкую и неблагозвучную музыку. Все были в восторге. Великолепная луна Мы С Джинеттой устроились под мостом и долго лежали там Было холодно и неудобно, но нам не хотелось расставаться Я примерял на нас роли героев романа Лакло. Порочный виконт и невинная Сесиль[251].

19 августа

Возвращение домой. Я по большей части дремал, настроение у всех было подавленное. Сентиментальное расставание страшило меня. Я подарил Джинетте веточку вереска. Прошло несколько минут, и она, смущаясь, вручила мне сосновую шишку. Я сжал ее руку, и мы въехали в Пуатье. По прихоти судьбы пошел дождь. Когда мы все на станции выбрались из автобуса, полило как из ведра, и нам пришлось столпиться в зале ожидания. Девушки запели «Auld Lang Syne»[252]. К счастью, я встретил отца-надзирателя из Колледжа иезуитов и не присоединился к общему пению. На прощание мы все пожали друг другу руки. Моник и еще одна или две девушки плакали. Мы стояли, не в силах расстаться. Я стоял рядом с Джинеттой и шепнул ей: «Méfiez-vous des Anglais»[253]. Она слабо улыбнулась. Все сели в автобус. Я послал воздушный поцелуй Моник. Мы с Жуто проводили взглядом отъехавший автобус.

Стоявший позади нас продавец газет заметил:

— Одна из них плачет.

— Mon Dieu, ça me coupe la parole[254], — сказал Жуто.

Мы вместе поднялись по ступеням в город. Я предложил ему

выпить. Стоя у окна, я надеялся увидеть идущий в гору автобус, но он, должно быть, уже проехал. Мы немного поговорили о поездке. Потом Жуто ушел, и я остался один. Мне вдруг пришло в голову, что я обделен друзьями, — они так необходимы, когда нужно утешение. Я сидел на стуле и в то же время продолжал катиться на автобусе по Франции. Мои спутники совершили чудо — заставили меня поверить, что я очаровашка. Но я слишком хорошо себя знаю.

Пустая комната — я упаковал почти все вещи — выглядела пугающе. Я не представлял, о чем писать, с чего начать. Казалось невозможным передать на бумаге все разнообразие, всю насыщенность этих озаренных солнцем четырнадцати дней. Я сознавал свое полное бессилие перед временем, единственным оправданием была острота еще живых переживаний. Теперь, два дня спустя, эти переживания непостижимым образом отдаляются, блекнут, усыхают и пропадают. Кое-что забывается, но я не корю себя за забывчивость. Может быть, все было так хорошо, потому что они католики и радостно принимают религию, она для них скорее удовольствие, чем обязанность. Над ней можно даже подсмеиваться, и над национальным гимном тоже, и над королями, и над отечеством. Мы же к таким вещам относимся строго, не проявляем никакой гибкости. А пение и танцы девушек — я наслаждаюсь простотой, непосредственностью любительского пения, — оно замечательно, пусть и несовершенно. В этом пении — прелестная неискушенность, простота. Я остро сознаю собственную неспособность развлечь общество; у меня нет никаких трюков про запас. Хорошо бы научиться играть на гитаре. Нужно заняться этим зимой.

Из песен, что пели девушки, две мне особенно полюбились: «Песня болот» и «Мужья нашего городка». Моник также пела шуточную песенку «Фруфру, Фруфру», вкладывая в исполнение столько пыла, что заводила всех нас. От ее вибрирующего «р» звенели стекла. В различиях французского и английского языков можно найти психологический аспект, если сравнить силу и ясность французского — энергичного и экстравертного языка, с невнятностью и бурчанием английского — языка, располагающего к лени, интровертного.

22 августа

Попытка уцепиться за время, удержать его, чтобы оно не потускнело. Все время предаюсь воспоминаниям и теперь понимаю: прошлое — это прошлое. В Пуатье пасмурная, прохладная осенняя погода, жизнь в городе словно замерла. Однако ездят автомобили, на железнодорожную станцию приходят поезда, слышны голоса рабочих, строящих вблизи

дома, — все это говорит о том, что в городе кипит работа, выполняются обязанности, не прекращается механический ритм жизни. Я же отчаянно цепляюсь за прошедшие четырнадцать золотых деньков. В каком-то смысле они упрощают меня, сглаживают противоречия. Я лишен простоты, слишком сложный, скрытный, космополит, интеллектуал. Меня же вернули в мое прежнее, более естественное состояние.

На день приехала повидаться Джинетта Маркайо. Она расспрашивала меня о другой Джинетте — я мельком упомянул о ней в письме. Я солгал — не говорить же правду. Она проделала путь из Лиможа только чтобы попрощаться. Большую часть дня мы провели на моей кровати, обнимаясь. Солнце покрыло ее кожу темным золотом, она никогда не была красивее. Мы пообедали с Филиппом. Бокал вина развязал ей язык, она трещала без умолку, и это раздражало меня. Днем, после серии страстных поцелуев, она спросила, не хочу ли я что-то сказать. И мы вернулись к прежним проблемам — как сильно она меня любит, как хочет стать моей женой, как сожалеет, что встретила меня, как ужасно любить кого-то больше, чем любят тебя, и все в таком роде. Театр женской души. Я холодно выслушал ее излияния. Она, видимо, рассчитывала воспользоваться этим шансом, чтобы надавить на меня и связать определенными обязательствами.

Но я никогда не скрывал своих намерений. Я пока не хочу жениться. Да и мое финансовое положение не позволяет думать о браке. А любовь, которая все побеждает, — не для разумного человека. Я повторил то, что уже говорил: она мне очень нравится, и наше расставание не разрыв; у меня по-прежнему сохраняется некий идеал брака, который, без сомнений, рано или поздно исчезнет, и тогда для меня будет огромной радостью соединиться с ней. Шесть месяцев в Англии — и я буду с ума сходить без нее. Вот это я и сказал.

— Значит, я понадоблюсь, только когда тебе будет плохо, — сказала она. — Довольно эгоистично.

Я ответил, что это прежде всего искренне. Одно из величайших назначений любви — помогать в преодолении препятствий. Я мог бы жениться на ней и быть вполне довольным своим жребием. Она больше всех других женщин, которых я знал, подходит мне, но я верю, что *могу* быть безумно счастливым.

Мы распрощались на вокзале — несколько сухо, извинившись друг перед другом, расстались доброжелательно, но холодновато. Ненавижу расставания. Отправление поезда задерживалось. Мы пожали друг другу руки. Я помахал вслед поезду, повернулся к нему спиной и зевнул. Приятно быть снова свободным и не ощущать себя циничным чудовищем.

23 августа

Если не берусь за перо всего две недели, я чувствую, как заржавели мозги — с трудом подбираю слова, составляю фразы; между истинным смыслом, заключенным в голове, и тем, что оставляет перо на бумаге, то увеличивающийся, то уменьшающийся разрыв.

24 августа

Последний вечер в Пуатье. Уезжаю отсюда с радостью, хочется перемен, хотя ясности тут пока нет. Я боюсь связать себя с определенным видом деятельности. Однако в течение месяца перемен не предвидится.

Год частично упущен. Начинаю понимать, что мои сочинения не могут быть напечатаны, потому что я еще не обрел свой стиль. Здесь мною написано немного. Возможно, всему виной весна.

Серый, скучный город, но все же он во Франции. Сейчас я убежден по крайней мере в одном — в любви к этой стране. Мне не хочется возвращаться в Англию, хочется остаться здесь. И пусть меня принимают за англичанина — это не страшно. У меня нет желания стать французом. Думаю, никто не способен так восхищаться Францией, как англичанин, — однако при условии существования противоположного полюса, который необходим для сравнения. Нет сомнения, что французы живут более полной жизнью, чем англичане. Как космополит я не могу не отдать предпочтения чувственной радости и простоте галльской любви к жизни. Франция — для личности, Англия — для порядочных граждан. Как ни противна мысль об отъезде, необходимо отправиться на годовую ссылку в Англию. Именно «в ссылку», потому что ясно: родился я не в той стране.

29 августа

Пробыв в Англии четыре или пять дней, я уже не сомневался, какая из стран — моя. Не выношу заурядность, монотонность, универсальную приспособляемость — того, что здесь норма. Усталые глаза Англии. Я ехал в Лондон в каком-то отупении. Множество туристов-англичан возвращались тогда из Парижа, и я чувствовал себя среди них белой вороной. Покидать Францию было невыносимо, нестерпимо больно.

Мой багаж еще не привезли в Лондон, и мне пришлось провести там день. Я отправился на Английский фестиваль[255]. Приехал рано и встал в хвост очереди, длинной и организованной. Двое полицейских следили за порядком в очереди из семисот человек. На ум пришли французы, горячие, независимые, недисциплинированные, — для удержания порядка потребовалась бы целая армия полицейских. Очередь вилась вдоль Темзы. Высокая вода потихоньку спадала; небо было

стальным и холодным; здание парламента казалось усталым и нервным. Только удары Биг-Бена дарили надежду относительно судьбы родины. С Фестивалем я поверхностно ознакомился этим же утром. Мастерство, практичность и дидактизм, пропагандируемые там, были мне отвратительны.

Днем я пошел в зоопарк через Риджент-парк. В парке стояла тишина, как на природе, пестрели клумбы, носились воробьи. Я не был в зоопарке, наверное, лет пятнадцать, но там ничего не изменилось. И клетки и животные не радовали взгляд — особенно грустными показались мне цапли и чайки.

Потом домой — по грязной унылой железной дороге южного направления. На перроне в Чокуэлле — пронизывающий, холодный ветер. На ужин — макрель под маринадом, безвкусная, с множеством костей.

Физическое и психическое здоровье отца ухудшилось; он тяжело дышит, у него отделяется мокрота; все это выглядит особенно ужасно из-за натужной веселости матери. Он твердо верит, что все к худшему в этом худшем из миров. В любой жизненной ситуации видит самый пессимистичный исход из всех возможных. Преувеличивает неудачи и находит тысячи возможностей избегать счастливых моментов. Любит изображать из себя дряхлого старца, ходит ссутулившись, кряхтит и все время ворчит. Нам хотелось бы больше знать о финансовом положении семьи, но отец говорит об этом довольно неопределенно. Мне нужно повидаться с Сассини[256]. Но здешний климат истощает волю, непосредственность, и я чувствую, что погружаюсь в прежнюю апатию — состояние, когда с трудом проживаешь день, сотканный из паутины условностей, недомолвок и лицемерия. Отца подкосила война. Когда он вернулся (перенеся фронт и службу в оккупационных войсках) в 1920 году домой, переживания, связанные с войной и потерей отца, спровоцировали нервный срыв — он даже не мог удержать в руках чашку. В 1923 году он лечился психоанализом. Согласно фрейдистскому объяснению, он, потеряв в шестилетнем возрасте мать, так и не смог привыкнуть к молодой мачехе. Бизнес тоже стал тяжелым бременем: отца совершенно измотала торговля предметами роскоши во время спада деловой активности и всяческих ограничений. Ему свойственна щепетильность, которая должна была превратить свалившуюся на него ответственность в непрерывную пытку. А ведь он воспитывался в богатом доме, жил среди обеспеченных людей, у него и сейчас оставались друзья и связи в более влиятельных кругах. Он тоскует по всему этому и теперь зациклен на чужом богатстве. Я вижу только один выход: мне надо выиграть крупную сумму в футбольном тотализаторе.

Вместо того чтобы писать и рассылать в разные места резюме, готовиться к переводческому экзамену, я бездействую. Трудно представить себя за рутинной работой. Мне все равно, что будет, — пока определенности нет. Я хотел бы работать за границей, жить в уединенном месте, на острове, среди снегов. Уехать! Сегодня потратил день на чтение книги о Шпицбергене. Как только смогу, поеду туда. Я ненавижу не Англию, а английскую цивилизацию.

Генри Миллер говорит о греческом поэте Сефериадисе: «…его стихи все больше и больше уподоблялись самоцветному камню, становясь компактнее, сжатее, искрометнее и откровеннее»[257]. Я тоже.

Чехов «Вишневый сад». Необычная, бессюжетная пьеса, в ней нет ни начала, ни конца. Герои загадочные, нереальные, однако их настроение улавливается мгновенно. Это настроение всего города — повсеместная пустота, изящный спуск в забвение, где никто уже не сможет сказать, что у них на сердце.

1 сентября

Голсуорси «Сага о Форсайтах». Основательная книга, несмотря на занудную детализацию. Композиция безупречна, равновесие соблюдено. Устарел только стиль, особенно внутренние монологи. Мне не нравится сатира с примесью комизма. Сатира должна быть жесткой. Конечно, здесь все искусственно — семейные перипетии, совпадения. Но это необходимо, и не только по техническим соображениям — дабы удержать в поле зрения несхожих героев, — нет, этого хочет сам читатель, ему нужно знать, как ведут себя герои, как общаются между собой. Думаю, это самый популярный роман первой половины столетия. Во всяком случае, я помню, как в нашей семье его обсуждали перед войной — редкий случай литературной дискуссии.

4 сентября

Семья совершила вылазку на остров Канви. В гостиницу «Вкус омара», расположенную на дамбе, — оттуда видны пароходы и берег Кента, а также сложный рабочий механизм «Шелл Хейвен»[258]. Серебристые цистерны цилиндрической формы, соединенные стальными балками, дым, трубы. Мы позавтракали на выступе дамбы. День был пасмурный, сонный, небо серое, утомленное. Стая дельфинов лениво проплыла мимо; крачки ныряли за рыбой. Возвращались долгим путем вдоль дамбы. Отец настаивал, чтобы идти пешком, и полдороги шел, скорчившись от боли в седалищном нерве. Дальше мы двигались медленно, с остановками, наш путь сопровождался взаимными упреками, обвинениями и жалобами. Я взял такси, чтобы облегчить ему

жизнь хотя бы в конце пути. Дома ему сразу стало лучше.

Никто так сильно не ненавидит эту страну, как отец, однако он сознательно делает то, что ему неприятно. И еще не осмеливается получать удовольствие; думаю, для него высшее наслаждение — отказ от всяческих удовольствий. Чтобы заставить себя страдать, он даже меняет образ жизни.

5 сентября

Письмо от Джинетты Маркайо. Только теперь я понимаю, что значит быть вдали от нее. Ее письмо чрезвычайно достойное и искреннее, такого я никогда не смог бы написать: оно написано от сердца, у меня же пером управляет рассудок. Однако она, несмотря на упреки, протягивает мне руку. Будь у меня деньги, стоило бы жениться на ней. Отсутствие денег терзает меня, и все же мысль о повседневной работе с двухнедельным отпуском невыносима. Я хочу сам распоряжаться своим временем.

14 сентября

Поездка в Лондон на экзамены; сдавал их вместе с тремястами других молодых людей на право работать переводчиком в ОЕЭС[259], но более важным было то, что на меня периодически накатывали приливы поэтического вдохновения. Несколько раз это случалось на Чокуэллском вокзале. Этому могло способствовать его превосходное расположение, а может, само путешествие в неведомое. Такие моменты дарят огромное утешение — не сами по себе, а потому, что, приходя, подтверждают, что есть нечто внеземное, идущее извне, вдохновенное в сочинении стихов. Тот факт, что подобные моменты не поддаются контролю, что их нельзя вызвать, есть своего рода гарантия личности, подтверждение моей собственной веры в себя. Таинственная способность привести в движение сложный, но автоматически работающий механизм и создать крупицы медового янтаря. Говорят, со временем научатся искусственно развивать самые разные способности, — не сомневаюсь, что поэзию приручат в последнюю очередь.

Период затянувшегося психологического запора. Нужно найти работу. Я сижу здесь день за днем в ожидании чуда, и мои мечты все больше удаляются от реальности.

17 сентября

В одной почте письма от обеих Джинетт. Это совпадение доставило мне огромное удовольствие.

20 сентября

Два замечания о себе. Мне недостает мужественности. Основные ее признаки — способность действовать, решительность, твердость, безусловная независимость в поступках. А вот чувствительности требуется деликатная

обстановка, и чем обстановка деликатнее, тем более чувствительным становится человек. Эта часть меня — там, где таятся кротость, мягкость, инертность, полностью лишена сексуального начала — можно сказать, что там я сродни евнуху. И лишь изредка пользуюсь своими мужскими качествами — силой, выдержкой, независимостью…

Дома я даже не могу спорить. Ведь я ни на минуту не забываю, что мне уже двадцать пять и я живу не по средствам — у меня нет работы и я обуза для семьи. Избегаю обсуждений, споров: мне кажется, что так я посягаю на права остальных, являясь безответным орудием в руках отца. Другой бы заартачился, но у меня хватает терпения переносить мелкие неудобства.

Сегодня получил фотографии, сделанные во время путешествия по Тиролю. Из них ушла теплота — все равно как разогретая вчерашняя пища. Только Моник Бодуэн выглядит на них прежней — то же радостное лукавство, нежная живость, искренность и природная грация. Яркая личность.

Филателия. Отобрал несколько марок на продажу. Удивительно чистая форма коллекционирования, почти абстрактная, — его квинтэссенция. Единственный интерес, который я в нем вижу, финансовый: запредельно высокие цены за мелкие клочки скверной бумажной печати. Мне нужны деньги — сейчас, когда я не могу позволить тратить их. Ужасно — не иметь ничего про запас. Бедность — как приятель, который однажды тебя позабавил и от которого потом не знаешь как избавиться. Надо попробовать футбольный тотализатор. Сделать ставку, попытать удачу.

Джинетта Пуано прислала в своем письме меж страниц высушенные фиалки и миниатюрную розочку. «Je vous écris du jardin, et une rose minuscule se penche ver cette feuille — peut-être a-t-elle reconnu un ami? Je vous l'envoie. Heurese fleur!»[260] Письмо ее написано в старомодной, традиционной манере, много цветистых фраз и эвфемизмов — прямо восемнадцатый век; в этом есть свое очарование. Цветы я выбросил в корзину для бумаг, а ей послал в ответ перо из хвоста травника.

1 октября

Беседа в Британском совете. Приятная, доброжелательная атмосфера, я хотя бы чувствовал, что мне хотят помочь. Совсем не похоже на холодные и даже несколько враждебные четверть часа, недавно проведенные мною в Унилевер. Я провел полтора часа, общаясь с разными людьми. Самая соблазнительная вакансия — должность преподавателя на греческом острове Спеце, к югу от Афин[261]. Вряд ли буду там счастлив, и все же я размечтался об

этой работе. Есть еще место в Бразилии и еще одно — в Багдаде. Сегодня утром стало известно, что я не сдал экзамены на переводческую работу в Париже для ОЕЭС. Есть еще место в Британском музее.

Согласиться ехать в Грецию — безумие. Никаких перспектив — сплошное сибаритство. Но я знаю, что, если выпадет такой шанс, я соглашусь.

Выборы. Народ проявляет к ним интерес меньший, чем в 1950 году. Надо выбирать между романтизмом тори и практицизмом социалистов. Тори — за национализм, империю, свободу предпринимательства и тому подобное; социалисты — за растущее единообразие, за гибель ancien régime[262] индивидуалистов. Как социальная единица я буду голосовать за государство всеобщего благоденствия. За то, что, на мой взгляд, лучше для общества. Программа тори устроила бы меня больше, но я еще достаточно молод и беден и могу позволить себе голосовать против собственного разложения[263].

14 октября

Пэт Фаулз, моя двоюродная тетка, выходит сегодня замуж. Я отказался идти на свадьбу. Мне не нравятся свадьбы, свадебная атмосфера, специфические шутки в произносимых речах. Родня со стороны Фаулзов страшно недовольна. Но я не люблю семейные сборища. Вернувшись, мать остаток дня вспоминала всякие мелочи — что сказал тот или другой гость и что ответила она. Эта неутомимая банальность льется, как безмятежный поток или клубок ниток, который только и нужно ненароком задеть, чтобы он пришел в движение.

Новая учтивость. Что-то вроде стерильной доброжелательности при объяснении чего-либо, это свойственно молодым интеллектуалам и преподавателям. Пример — Мерлин Томас, мой наставник в Оксфорде. На радио таких много. Они удерживают равновесие, стараясь быть и очень современными, и хорошо информированными, и объясняют предмет, преподнося его в узнаваемой, тщательно выверенной разговорной манере. Их цель — рафинированная популяризация. Они говорят на уровне человека с улицы, стараясь не возвышаться над ним. Никогда не проявляют энтузиазма, а если это случается, то смягчают его банальным замечанием или шуткой. Это их система самострахования. Не хотят компрометировать себя проявлением эмоций. Возможно, это как-то связано с логическим позитивизмом и научным мировоззрением. Чего мне следует избегать. Лучше быть вздорным и яростным приверженцем какой-то идеи, чем обворожительным, лишенным всякой определенности умником.

20 октября

Жду решения отборочной комиссии по поводу работы на Спеце. Ничего заранее сказать нельзя, и все же предчувствие, что меня возьмут. Это может мне повредить или, напротив, помочь, но только в одном плане. Я могу впасть в леность. Здесь, дома, я совершенно утратил стыд и живу за счет родителей. Сейчас пишу довольно регулярно. К середине следующего месяца должен закончить «Приманку», а к началу 1952 года дневник за 1951-й. Последний требует большего труда. «Приманку» я пишу, почти не останавливаясь и не делая пауз. Что касается дневника, то я обдумываю каждое предложение.

Когда сегодня я мастерил книжную полку, меня позабавило, что я подсознательно стремлюсь к бессмертию. Недаром я сбил ее крепко, она должна служить как можно дольше. Мне доставило удовольствие сделать собственными руками вещь, которая, может быть, переживет меня; в работе я использовал дерево — прочный дуб — из старой облицовки камина, недавно разобранного в детской. А сейчас, когда я делаю эти записи в кровати, меня вдруг осенило, что кто-то в свое время соорудил эту кровать. Ей тридцать или сорок лет, другой мебели в комнате нет. Такова вся мебель au fond[264]. Анонимные творения, память об ушедших руках.

1 ноября

Сегодня утром пришло письмо — меня рекомендуют преподавателем на Спеце. Прошел ровно год с моего прибытия в Пуатье. Известие я принял спокойно, почти равнодушно. Думаю, не проявил бы особых эмоций, даже узнав, что я сын Божий. Я умею сохранять бесстрастное лицо игрока в покер, но сердце мое ликовало. Вчера я ходил в отборочную комиссию гражданских служб и, кажется, произвел там неплохое впечатление. Шел разговор о школе при верфи в Розите — раньше там школы не было, и мне пришлось бы прививать ученикам зачатки образованности. Надежная работа с хорошими перспективами; была еще возможность попробовать силы на Би-би-си. Следовало бы ухватиться за это. Но я клюнул на экзотику.

8 ноября

Уэбстер «Белый дьявол». Мощный писатель. Его поэзия производит на меня сильное впечатление — в ней есть дикость и странность. А его фантастические сравнения и метафоры говорят о неистовом, почти не поддающемся рациональному объяснению таланте. Гениальный писатель. Я вижу его в одном ряду с Лотреамоном, Гофманом, По, Фолкнером. Ближе всего — Лотреамон; мне кажется, оба сознательно себя сделали. Их творчество — проявление не столько таящейся в подсознании болезни, сколько

намеренное изображение экзотического мира, живое воображение в здравом уме. Там я нахожу сходство и с собою — я читаю Уэбстера, как брат. Многое можно почерпнуть из его перемешивания поэзии с прозой. Для некоторых героев органично говорить стихами.

На мой взгляд, в «Белом дьяволе» основной герой — Фламинео. Виттория, Медичи, Бранчиано — все порочны по-своему, но они не так зависят от плотских страстей, жажды мести, животных инстинктов. Без Фламинео пьеса превратилась бы всего лишь в арену борьбы между великолепными животными. У Фламинео есть свои причины желать победы, но они нужны только для сюжета. Он — персонаж типа Фигаро, живущий еще в одном измерении, вне пьесы. Прожженный циник, он знает все о своих мотивах, даже когда им подчиняется. Такая полная объективность означает, что он лишен всех абсолютных понятий — даже зла. Он понимает, что живет в мире, где царит случай. Фламинео глубже всех остальных персонажей — как Босола в «Герцогине Амальфи» — и, как, во всяком случае, мне кажется при чтении, намного выше всех остальных. Он в большей степени, чем другие герои, говорит от лица Уэбстера.

Думается, что «Герцогиня Амальфи» уступает «Белому дьяволу». Самой герцогине недостает блеска и великолепия Виттории. Да и Босола не столь зловещ и саркастичен, как Фламинео — шедевр среди драматических героев.

Мне нравится реплика Чарлза Лэма a propos[265] подражателей Уэбстера: «Внушаемый ими страх лишен красоты».

Тернер «Трагедия атеиста». Не выдерживает сравнения с темным миром Уэбстера, его «черным озером». Легкий привкус морали и светскости сводит яркое действие к мелодраме. Кроме того, его язык не столь драматичен и не столь красочен, как у Уэбстера.

«Трагедия мстителя». Несравненно лучше предыдущей. Трудно представить, что их написал один и тот же человек. И все-таки уступает Уэбстеру Вендайс — значительный характер, но остальным не хватает глубины. Кастайза — ужасная ханжа. Одна или две сцены ловко закручены, но кровавая баня в финале неправдоподобна. На это нельзя смотреть без смеха.

«Девственность — запертый рай».

12 ноября

Политика. Должен отметить перемену в моих взглядах, о ней я уже некоторое время знаю, но ленюсь анализировать или признавать. Дело в том, что я перестал верить в демократию. Это не означает отход от социализма. Альбер Камю сказал как-то по радио, что люди становятся социалистами par simple décence[266].

По-моему, великолепно сказано. Если претендуешь на то, чтобы считаться разумным человеком, должен считаться с определенной международной и нравственной объективностью. Очевидно, что почти у двух третей человечества низкий жизненный уровень, ниже, чем у нас в Англии. Их спасение — в социализме. Свободное предпринимательство — идеальное решение вопроса при условии, что идеальны люди. Но будем искренни и признаем, что дело обстоит не так. Люди нуждаются в контроле. Коммунизм — крайний вариант, социализм — золотая середина. Тот факт, что тори вернулись, заставил меня задуматься. Они вернулись исключительно на эмоциональных переживаниях нации. Народ хочет экономических авантюр и нового хвастовства. Думаю, лишь один из ста может голосовать в нашей стране; впрочем, во многих странах на это годится лишь один из тысячи. Наши люди голосуют по вопросам не менее значительным, чем проблемы Абадана и Египта, даже не представляя себе их сущности[267].

Очень многие здесь голосуют за себя и свой образ жизни. Разумные люди из влиятельных кругов — профессионалы, ученые, представители мира искусства — голосуют за тори, чтобы ничего не менялось. Ясно, что никому выше или ниже определенного достатка не стоит голосовать. Они будут слишком пристрастны.

Я мечтаю о власти в руках левых интеллектуалов, объективных, бесстрастных, чьи филантропические деяния основываются на научном подходе, мечтаю, чтобы они справились с различными проявлениями невежества — прессой, фанатично приверженной какой-нибудь партии, — нет, en mass[268] периодические издания неплохи, но ведь большинство людей изо дня в день читают одну и ту же газету. Легко подсесть на одну точку зрения. Капля камень точит… И вообще современное избирательное право ничего не стоит. Я знаю заранее, что изберут Чэннона[269], а он ни в коей мере не представляет мои взгляды; и я никогда не буду с ним говорить или влиять на него (бесконечно малую возможность того, что это может произойти, не стоит принимать во внимание — так много практических препятствий). В моем округе член парламента особенно никудышный. Он никогда не выступает в парламенте, что, может быть, и неплохо: ведь он круглый дурак, а Саутенд — ближе всего к тому, что зовется «дырой». Так что в парламенте моей страны я не имею голоса. Один человек из пятидесяти миллионов значения не имеет. Я могу только мечтать о полисе — городе-государстве.

Чем больше я об этом думаю, тем сильнее крепнет во мне уверенность в необходимости разделить мир на города-

государства.

Делить, потом еще делить, пока каждый вновь не станет жить в общине, где он всех знает, часто встречается с соседями и может непосредственно общаться с правительством.

Ласки «Вера, разум и цивилизация»[270]. Очень здравая, производящая глубокое впечатление книга; удивительно живо написана, некоторые фразы врезаются в память. Опасно четкий, хорошо информированный и убедительный ум. Думаю, эта книга останется в истории, время от времени к ней будут обращаться. Одно смущает: непохоже, чтобы СССР мог в настоящее время соответствовать представлению о нем Ласки. Христиане со временем изменили своему учению, то же произошло и с коммунистами — только гораздо быстрее. Но основные положения работы Ласки: упадок всех известных религий, несомненная справедливость теоретических основ социалистического государства — кажутся мне убедительными. Книга важная и значительная для меня.

Грустно, что за восемнадцать месяцев ее только два раза брали из библиотеки.

Уже несколько недель во мне кипят жизненные силы. Я живу в семье, никуда не выхожу и нахожусь исключительно в обществе своего воображения, с которым мне не скучно. В прошлом у меня были периоды, когда я испытывал беспокойство. Теперь же, мне кажется, я мог бы вечно жить, замкнувшись в себе.

20 ноября

Чай с семейством Ноубл[271]. Все те же избитые фразы, пошлости. Я чувствовал себя существом с другой планеты, чужеродным, демоническим, по-бетховенски одиноким. Хейзел (моя сестра) под конец чаепития уселась на ковер и стала разглаживать ручонками ворс. Хотелось бы мне оказаться на ее месте.

6 декабря

Письмо от Джинетты Маркайо. Короткое, холодное, унылое и приводящее в уныние. Я не получал от нее писем около трех недель. Для нее наши отношения — дело прошлое, вчерашний день. Так и есть, наши письма становятся все суше и однообразнее, конец неизбежен.

Библия. Так случилось, что я стал читать отрывки из ветхозаветных пророков. Сколько поэзии, великолепный язык и образность. Ошибочно думать, что Библия одинаково прекрасна на всех языках. Английский перевод — это творение гения, он для нас должен быть тем, чем были для греков поэмы Гомера.

Охота на пернатую дичь в Ли. В районе нашего дома все затянуто густым слякотным туманом. Я пошел по направлению к

морю. Туман понемногу редел, видимость улучшалась. Обнажившееся при отливе дно тянулось далеко — как всегда, слегка завуалированное, полное чарующей магии. Вдали я увидел рыбака, собиравшего мидий. Поднявшийся ветер разогнал остатки тумана. Небо стало таким прекрасным, каким я его еще в подобных ситуациях никогда не видел. Ясное, залитое зеленовато-синим светом; синий цвет в переливах мерцающего зеленого — нежного, радостного, сияющего. Несколько легких аметистовых облачков, розоватых и нежно-голубых. На западе, над островом Канви, низко повисло солнце — необычно большое, оно казалось искаженным среди массы облаков на далеком горизонте. Когда солнце наконец скрылось из вида, облака окрасились в огненно-красный и черный цвета; впрочем, они были маленькими и находились очень далеко. Небо стало бледнее, явственно проступил зеленый цвет. Теперь ярче всех блистал месяц, и поблизости от него — Юпитер. Резко похолодало. Я направился прямо к основному руслу. Траулер с двумя мужчинами на борту, один из которых, сгорбившись от холода, стоял у руля, а второй сортировал фильтры для моллюсков, шел с Канви навстречу приливу, рассекая мелкие волны. Я стоял и смотрел, как устье реки заполнялось водой, а ветер свистел в дулах ружья. На расстоянии я видел кроншнепов и травников. Ли и Уэстклифф, все еще окутанные туманом, казалось, находились за много миль отсюда. Только городской храм Ли странным образом проступал из тумана, а несколько тополей росли так, что напоминали крепостную стену и башни далекого замка — в Каркасоне[272]. Небо было повсюду — в лужах, ручьях, над головой. Как слегка просвечивающее утиное яйцо. Я ранил кроншнепа и удерживал его ногой в ручье, пока он не задохнулся. Стоя под божественным небом, я бесстрастно наблюдал за его яростными попытками избежать смерти.

Отправляясь в Грецию, я не возьму с собой написанные здесь стихи. Сейчас я стараюсь все урезать, сократить. Но стихотворение редко кажется полностью плохим. Среди всякой ерунды встречаются неплохие строчки, обороты, мысли. Придется оставить здесь много «руды» — из твердых пород. Если знать о неизбежной близкой смерти, можно проявить безжалостность и уничтожить все, кроме самого лучшего. Но при теперешнем положении я предпочту иметь определенный запас на будущее.

Письмо от Джеффри Флетчера из Голландии, дела у него идут хорошо[273]. Всякий раз, услышав, что кто-то из моих ровесников разбогател, я прихожу в уныние. Однако, учитывая мою новую философию жизни, я не смог бы удовлетвориться сиюминутной практической популярностью. Даже предложение

стать председателем мирового правительства не покажется мне достаточно интересным. Мой враг — забвение, все остальное идет от этого. А именно — мое отношение к жизни, отсутствие интереса к обычным людям, интерес к выдающимся личностям, презрение к современным художникам, мой страх впасть в банальность или пошлость, отказ от возможной будущей карьеры, жалкая зависимость от родителей, отход от общества и связанных с ним удобств.

26 декабря

Последние четыре-пять месяцев практически нечего было записывать: я вел, по сути, монашеский образ жизни. Я уже не испытывал того ужаса, который прежде вызывало во мне это место (Ли-он-Си). Я как-то подумал, что был здесь несчастлив, потому что живо воображал себя во множестве других ситуаций, — теперь же мне кажется, что я счастлив или вполне доволен, чтобы не бунтовать, по той же самой причине. Мое воображение — противовес, отдушина, я могу его контролировать: это больше не прежний необузданный мир фантазий. Организовать свое воображение перед творческим процессом — жизненно важная необходимость: так ты учишься оценивать результаты своих усилий. Все новое — удовольствия, возможности — не обязательно хорошо только потому, что обладает новизной.

Если бы меня сейчас убили, то осталось бы всего два-три заслуживающих внимания рассказа и пятнадцать — двадцать стихотворений. Все остальное — незрелые попытки творчества, а часто вообще макулатура.

Греция, поначалу такая романтическая, желанная страна, теперь, по мере приближения отъезда, представляется мне зловещим, полным ловушек местом. Письмо от директора школы уже сейчас дает все основания думать, что условия будут гораздо хуже, чем я предполагал. Хорошо, если я найду применение своим способностям, но если новая жизнь не устроит меня, я ожесточусь и забьюсь в норку, как в Пуатье, и это не принесет мне никакой социальной пользы. Другой Джинетты мне не встретить.

Думаю, что глупо отворачиваться от очевидных благ и открывающихся возможностей. Однако если ты поэт (как его представляли греки), тогда ты неизбежно отвергнешь безопасность и очевидность. Трудно ожидать от кошки, чтоб она прыгнула в пруд, так же трудно ждать, что поэта заинтересует нечто безликое и бесцветное. Мне ненавистно находиться в подвешенном состоянии, сбиваться в группы, улаживать разные дела, куда-то мчаться, предчувствуя возникновение дополнительных трудностей, что-то просчитывать, находиться в

бесконечной спешке. Движение мне отвратительно. А вот находиться в новых местах я люблю.

Часть третья
ОСТРОВ И ГРЕЦИЯ

2 января 1952

В такси до Афин — через обширный пригород, протянувшийся от Пирея до столицы, — грунтовая дорога, ветхие домишки, пальмы. Мы также проехали мимо апельсинных деревьев, сгибавшихся под тяжестью плодов, ярко пылавших на солнце. Эти вроде бы незначительные вещи важнее всех многочисленных памятников, виденных мной ранее. В Афинах я разыскал отделение Британского совета, познакомился с Боллом, советником по образованию, — лысеющим усатым чиновником в очках, равнодушным и бездеятельным. Он направил меня в гостиницу поблизости от площади Омония, где жили мои новые коллеги.

Следующие два дня я провел в Афинах с Шарроксом и Принглом, попивая винцо и слушая их рассказы о школе. Принглу за сорок, любит выпить, легко раздражается, начитанный, но не очень умный. О литературе говорит, прибегая к мыслям самих писателей и критиков, и использует, по сути, перекрестные ссылки. Здесь мне с ним трудно тягаться. В таком разговоре можно принимать участие только на том же уровне — делиться информацией, ссылаться на известные имена — личное мнение тут значения не имеет. У Прингла неприятные, глубоко посаженные глаза-бусинки. Длинные и довольно грязные ногти. Он работал в школах Индии, Судана и в других местах. Жалкий неудачник, шумно восхищающийся отношением Роя Кэмпбелла и Хемингуэя к бунту[274]. Иронию по этому поводу, как я успел заметить, не переносит. Он рассказал мне множество историй о школе — атмосфера там, похоже, действительно не из легких: преподаватели плетут интрига, желая выслужиться перед директором и добиться популярности у учеников. Что до самих учеников, то они недисциплинированны, излишне любопытны и несдержанны в проявлениях как любви, так и ненависти. Атмосфера искусственная, тепличная, в таких условиях любые чудачества обретают преувеличенные размеры.

Шаррокс — высокий мужчина, утонченно красивый, так и видишь его с букетом лилий на Пиккадилли; изысканная обходительная речь, безукоризненное произношение — я заметил только раз или два ланкаширские оговорки. Похоже, он хорошо знает Афины и Грецию, у него здесь много друзей. По словам Прингла, Шарроксу недостает огонька, он пробыл на острове

больше, чем кто-либо, — все потому, что ему удается находиться здесь в равновесии. Он, несомненно, poute manqué[275]. С Принглом проявляет удивительную гибкость в общении — и это при том, что никогда не бывает с ним согласен[276].

С первого взгляда Афины не производят впечатления — огромный город, беспокойный, полный движения, все в нем работает нерегулярно, много богатых людей; между площадью Омония и площадью Конституции бедняков почти не встретишь. Женщины красивы и очень женственны, среди них не увидишь мужеподобных лиц мышиного цвета, так же как не встретишь и подлинно классических греческих черт, — зато турецкое наследие повсюду: круглые щечки, восточные выразительные глаза с поволокой, полные губы, приоткрытые и слегка надутые. Все женщины нежны, у них кроткий, податливый вид — нет и намека на современное фригидное равенство полов. Многие гречанки умеют загадочно улыбаться одними глазами — теплой манящей улыбкой, sympathique[277]. Языка я совсем не понимаю — на слух он мягкий, шелестящий, отдельные звуки трудно уловить, много гласного «и».

В Акрополь я отправился в пасмурный день. Удушливый и спертый воздух, на всех тротуарах какая-то грязная слизь — можно поскользнуться как на льду. Пройдя мимо заурядной современной церкви, я выбрал, как мне показалось, правильный путь к Акрополю — через старый квартал, заселенный беднотой; на улице много мясных лавок с рядами освежеванных туш молодых барашков, а также прилавков, заваленных яркими апельсинами с еще не оборванной листвой и прочими фруктами. Босой мужчина в лохмотьях тащил огромный мешок и при этом пел, раскачиваясь из стороны в сторону. Я поднимался все выше, минуя низкие белые домики, крытые красной и коричневато-желтой черепицей; я хотел попасть на дорогу, идущую вверх под самой стеной Акрополя. Но, как сказал мне местный юноша, я выбрал неправильный путь. Пришлось снова спуститься на основную дорогу и оттуда уже идти к Пропилеям[278].

Не знаю, как описать мое впечатление от Акрополя — все в нем я видел раньше: в книгах, на фотографиях, рисунках. И все же у меня не было общего представления об ансамбле, то есть о самом главном. Парфенон — величественное творение, как на него ни посмотри: вблизи или снизу, находясь за стеной. Погруженный в раздумья, он утратил связь со временем. Я видел во всем грусть и *канувшее в прошлое время* — было холодно, моросило, посетителей очень мало, если не считать фотографов, собственным дыханием согревавших руки. На фоне темно-серых склонов горы Гиметтос Парфенон казался красно-коричневым.

Парные колонны двухъярусной колоннады образуют секции в виде ваз, из которых открывается прекрасная перспектива. Особенно хорош вид с восточной колоннады, если смотреть на север — туда, где два кипариса словно заключены в рамку.

По свинцовому небу плыли спутанные облака. Было очень холодно. Я смотрел вниз на город, на старые византийские церкви, на древнюю Агору, на Гефестейон[279]. Над Пелопоннесом небо расчистилось — облака стали ярко-золотыми, по морю побежали серебряные тени, над темно-синими вершинами гор облака разошлись, приоткрыв зеленовато-голубое небо. Но все это было далеко от меня, на Акрополе по-прежнему моросило и дул пронизывающий ветер.

Эрехтейон очень красив. Парфенон тоже красив, но мужественной красотой, а этот женственный, изящный, гармоничный[280].

Я спустился к гостинице, раздосадованный тем, что не знаю, как относиться к Акрополю: он не вызвал во мне живой реакции.

В этот вечер мы много пили — Прингл был сварлив, категоричен и под конец здорово надрался. Ш. (Шаррокс), напротив, был сдержан и трезв. Вздорность Прингла вызвала у меня отвращение и досаду, захотелось поскорее лечь спать. Но Прингла нельзя остановить. Вечер закончился в ночном клубе рядом с гостиницей, мы проторчали там два часа и изрядно потратились. Большинство клиентов клуба — бизнесмены, Прингл называл их «папас»; две-три женщины décolleté[281] развлекали посетителей — ходили по залу, танцевали и пили шампанское. Одна, пострашнее других и не с таким глубоким вырезом, сидела с нами или, точнее, с Шарроксом, который просто ее терпел. Вдруг Прингла что-то разозлило, и он с криком прогнал женщину. А потом так смеялся, что у него из глаз полились слезы. Я следил за карикатурным поведением бизнесменов и развязностью девушек — у одной были иссиня-черные волосы, широкие податливые бедра; даже густо наложенные румяна не портили хорошенькое личико. За ней увивалось четверо или пятеро бизнесменов.

Мы ушли только в половине пятого утра. Нам с Шарроксом надо было успеть на пароход, отплывавший в восемь часов на Спеце. Прингл жил в соседнем номере, после нескольких промахов он все-таки вставил в замок ключ и открыл дверь. Вскоре за окном запел петух, было слышно, как Прингл орет на него:

— Пошел отсюда… Кукарекай в другом месте!

Потом он просто бубнил:

— А ну вали отсюда… Пошел прочь!

То были последние слова, которые я от него слышал. Этот странный плюгавый неудачник с яростным темпераментом написал несколько романов, много путешествовал и много пил на своем веку. Его писательская манера язвительна и неприятна, к тому же и маловыразительна, если судить по письму, которое он мне прислал. Очень взрывной характер, никакой беспристрастности, легко обижается, может быть даже вредным, однако у него бывают интеллектуальные прозрения и точное понимание вещей.

Я проснулся в 6.30, чувствуя себя прескверно. Протянул руку за таблетками от морской болезни, случайно столкнул их с полки, и они провалились в сток раковины. Решетки не было, и они исчезли навсегда. В отчаянии я позвал горничную, та — носильщика, чтобы узнать, нет ли в трубе смотрового отверстия, оказалось — нет. Таблетки уплыли. Теперь тошноты не избежать.

Однако все сложилось совсем не так плохо. На такси мы добрались до Пирея и сели на пароходик, ходивший на Парос и Спеце, — когда-то это была яхта Чиано[282]. Я спустился в каюту и продремал четыре часа. Был прекрасный день, и плавание наше проходило среди восхитительных пейзажей. Но я лежал в темной каюте, расплачиваясь за то, что вчера пошел на поводу у Прингла. Когда я поднялся на палубу, ее всю заливало солнце, море было ярко-синего цвета, оно сверкало и искрилось, а мы входили в залив, на одном конце которого виднелась деревушка с чисто побеленными домиками — Эрмиони[283]. Яркая белизна домов на фоне невысоких голых гор, слева — живописный мыс, поросший сосной.

Через полчаса мы прибыли в Спеце — довольно большое поселение на северной стороне вытянутого зеленого острова; вдали виднелись покрытые снегом вершины Пелопоннесских гор, оранжево-красное побережье залива Арголикос, протянувшееся на милю к северу, и несколько лишенных растительности островов, чудесным образом пребывающих в равновесии, как детские волчки (мираж), среди искрящихся волн.

Островные деревни — невероятно белые и чистые — похожи на собранные в кучу кубики; они — как кристаллы у подножия поросших сосной склонов, на краю голубой воды. В Спеце лодка доставила нас на берег, к причалу. Я познакомился с двумя учителями. На меня поглядывали с любопытством. Мы зашли в небольшой ресторанчик; похожий на испанца гитарист исполнил несколько греческих песен. У греческой музыки есть общие черты с андалузской, арабской и, конечно, турецкой музыкой. Она очень своеобразная, пряная, диссонирующая, в ней много ниспадающих нот, рваных ритмов, восточных интонаций. Чистым сильным

тенором гитарист пел, обращаясь к только что вернувшемуся из Америки греку; тот уже выпил с дружками много рецины и теперь танцевал в греко-турецкой манере, двигаясь между столиками. Гитарист пел импровизированную песню о нем, там было много озорных намеков, колких шпилек, и всех это очень веселило.

Потом мы пошли в школу. Я не ожидал, что она занимает так много места — пять больших зданий в несколько этажей, широкие коридоры без всякой мебели, пол из камня. Когда говоришь, звук сильно резонирует — так бывает в церкви, морге, тюрьме. В моей комнате — 30 на 30 футов — мебели достаточно.

Школа расположена в парке у моря, отсюда слышно, как шумят, разбиваясь о гальку, волны. Много кипарисов и оливковых деревьев. Гибискус в цвету. Прекрасно оборудованный гимнастический зал, есть футбольное поле, теннисные корты, даже большие. Не школа, а мечта — великолепное место, прекрасное оборудование. Школа рассчитана на четыреста человек, но в настоящее время в ней учится только сто пятьдесят, и тенденция к сокращению учеников сохраняется. А сколько всего можно было бы тут сделать — открыть международную школу, школу совместного обучения. Однако Шаррокс считает, что надежды на перемены нет никакой.

Я встретился с заместителем директора — приятным мужчиной с морщинистыми веками и открытой улыбкой. За нашим обедом присутствовало несколько учащихся. Я совсем не знаю греческого, остальные учителя не говорят по-английски, так что я общался только с Шарроксом.

6 января[284]

Утром я вышел немного погулять. За ночь похолодало, море было неспокойным. Я не ожидал тут встретить птиц, однако увидел на берегу двух зимородков, пустельгу, вроде бы клушицу и еще несколько птах. И множество цветов. По словам Шаррокса, птиц на острове не было, однако то, что я увидел, давало надежду. Разнообразие природной жизни возбуждает меня — естественник обладает несомненным преимуществом перед всеми остальными. Когда я оказываюсь в новой стране, знакомство с ее птицами, цветами и насекомыми значит для меня — если говорить о получаемом удовольствии — не меньше, чем знакомство с людьми и их искусственным миром. Природа — наше извечное прибежище.

С Шарроксом я пошел в Спеце, чтобы купить необходимые вещи. В маленьком ресторанчике, где с потолка свисало побитое молью чучело канюка, мы съели жареную каракатицу — очень вкусную, — крупные оливки и жареный картофель. Все были очень дружелюбны, настроены мирно, по-товарищески.

Сегодня я познакомился с остальными преподавателями, и так как все они были пока для меня загадками, сосредоточился на одном — старался запомнить непроизносимые греческие фамилии.

Ужинать я сел за стол с семью учениками — с одной стороны моим соседом оказался критянин, который и двух слов не мог связать по-английски, с другой — турок, тот говорил вполне прилично. Однако будет трудно заниматься с ними в течение семестра, используя словарный запас слов в сто, не больше.

Итак, начало положено. Работа, похоже, не из трудных, если исходить из количества часов. Четыре занятия в день, составляющие в совокупности три часа, и два дежурства в неделю — еще пять. Итого — двадцать три часа в неделю. Грех жаловаться! Мальчики живые, непосредственные, энергичные; более женственны в поведении, чем английские подростки. Я видел, как вернувшийся после каникул мальчик поцеловал друга в щеку. Старшие более дружелюбны и ласковы с младшими и оказывают им больше внимания, чем осмелился бы их английский ровесник. А в целом внешний облик и одежда учеников мало чем отличаются от того, что видишь в Англии.

Мальчикам, однако, не удается наладить определенный порядок в своей жизни; у них нет организованных игр, и после семи школьных занятий они еще два часа сорок пять минут тратят на приготовление домашнего задания. Это слишком много. Педагогическая методика явно устарела. Школа нуждается в реорганизации. Частично дело в отсутствии университетских традиций вроде тех, что существуют в Оксфорде и Кембридже (в Англии) или в Эколь-Нормаль и Сорбонне (во Франции). Основная масса преподавателей не очень образованна. Свой предмет они знают, но в остальном мало чем интересуются — разве что перемыванием друг другу косточек. Так же себя ведут и их коллеги в Англии.

Но сам остров — драгоценный камень, Остров сокровищ, рай. Я совершил длительную прогулку в удаленные от моря холмы — по сосновым рощам, горным тропам, — в холодное и яркое безмолвие. Был прекрасный ясный день, с Пелопоннеса дул легкий ветерок, погода была почти такая, как в Англии в теплый мартовский день. Пихты растут редко, они невысокие и бесформенные, поэтому не загораживают великолепные пейзажи, а напротив, выгодно их оттеняют. Когда смотришь на них издали, кажется, что перед тобой одни круглые вершины, как у пробковых деревьев. Удивительнее всего в этих горах — полное безмолвие: ни птиц (в районе школы их множество), почти нет насекомых, ни людей, ни животных, только полная тишина, ослепительный свет,

голубое море внизу и Арголисская равнина с низкой цепочкой гор посредине. Чистота и простота ощущений, какой-то особый средиземноморский экстаз витает в воздухе, пропитанном запахом сосны, зимней свежестью и морской солью.

Долгое время я никого не встречал, только слышал перекличку пастухов вдалеке — звук разносится здесь великолепно. Казалось, что маленький катер, который направлялся к дневному пароходу, пришвартовавшемуся у поселка, пыхтит на расстоянии нескольких сотен ярдов. Он же находился в двух или трех милях. На своем пути я наткнулся на обсерваторию, непонятно по какой причине установленную в горном лесу. На другой вершине, дальше к востоку, был виден монастырь, белизну его очертаний особенно подчеркивали сторожившие его черные кипарисы[285]. По мере подъема вид становился все красивее. Напротив Арголис — как рельефная карта, с неровными очертаниями, изрезанный заливами, с розовато-оранжевыми скалами по краям и темно-зелеными пихтовыми лесами в глубине. Но эти леса настолько открытые, настолько воздушные, что совсем нет ощущения мрачности — того, что есть на дальнем Севере. Переиначивая пословицу, можно сказать, что за этими деревьями виден лес, деревья дают отдохновение, приют от нестерпимой жары на открытых равнинах. Арголис, похоже, густо заселенный остров — там есть пара беленьких деревушек и еще стоящие в изоляции фермы и коттеджи. Пустует только гористая местность в центре острова. Справа, недалеко от Идры, виднеются очаровательные острова, а сама Идра — голубая, бледно-зеленая и розовая — колышется в изумрудно-синем море. Эти большие острова с остроконечными горными вершинами, крутыми обрывами и утесами гармонично располагаются относительно друг друга. Краски очень живые, но нежные; пастельные, однако не расплывчатые — акварель, хотя и довольно четкая.

Справа, по ту сторону залива Науплия, — высокие горы центральной части Пелопоннеса, их снежные вершины кажутся розовыми облаками, слабо поблескивающими под косыми лучами солнца. Далекие горы, скалы, деревни и безграничный простор моря.

Я взбирался все выше и наконец выбрался на неровную дорогу, шедшую по гребню горной гряды; меня заливало солнце; те же пихты росли и на южном склоне — вплоть до самого побережья, гораздо более безлюдного, чем северное, там не было ничего, кроме нескольких коттеджей и одной или двух вилл. Солнце сейчас стояло над Спартой; море между Спече и Пелопоннесом ярко сверкало, его оживлял легкий бриз, он

волновал и рябил воду.

Далеко внизу, рядом с коттеджем, горел костер, дым поднимался вверх; там же, где я находился, легкий прохладный ветерок смягчал жару. Неподалеку мужчина (первый, кого я встретил на своем пути) рубил сучья. Еще двое мужчин на ослах выехали на дорогу. Один из них, поравнявшись со мной, придержал животное, посмотрел на меня с улыбкой и что-то энергично произнес. На нем был грязный голубой берет и потрепанные штаны; загорелое лицо лоснилось, как старая крикетная бита, черные усы были великолепны. Он еще раз повторил ту же фразу. Я что-то пробормотал. Он с удивлением уставился на меня.

— Anglike, — сказал я.

— А-а! — понимающе кивнул он, слегка пожал плечами и поехал дальше не оглядываясь. Его товарищ на другом осле, который был еле виден под горой наваленных на него пихтовых веток, проезжая мимо, дружески кивнул:

— Kal'emeras[286].

— Emeras, — отозвался я и пошел дальше.

Некоторое время я шел по дороге. Миновал рощу, где прямо из-под моих ног вылетел вальдшнеп. Проскользнула ящерица. Было очень тепло, но не душно; свернув с дороги, я направился к обрыву, обращенному на запад, и сел на камень прямо у края пропасти. Мир был у моих ног. Никогда еще не ощущал я такой вознесенности над миром, не испытывал чувства, что он раскинулся у моих ног. Отсюда лес ниспадающими волнами шел к морю, сверкающему морю. Берег Пелопоннеса был полностью лишен глубины и деталей — просто широкая синяя тень на тропе солнца; даже в бинокль ничего не разглядеть за исключением снежных шапок. Фантастический эффект, и в течение нескольких минут я переживал невероятное возбуждение, как если бы произошло чудо. Я действительно никогда в жизни не видел ничего прекраснее открывшейся предо мною картины — сочетание сияющего голубого неба, яркого солнца, скал, пихт и моря. И каждый из перечисленных элементов в отдельности был настолько безупречен, что захватывало дух. Похожее чувство я пережил в горах, но там стихия земли как бы отсутствует — переживая восторг, ты удален от всего. Здесь же она повсюду. Какой-то высший уровень познания жизни, всеобъемлющая эйфория, которая не может долго продолжаться. В тот момент я не смог бы описать свои чувства — потрясение и духовный подъем заставили позабыть о себе. Я словно парил в прозрачном воздухе, утратив чувство времени и способность к движению, меня удерживал только величайший синтез всех элементов. И

затем — благоухающий ветерок, знание, что я в Греции, и к тому же проблеск того, чем была Древняя Греция; и тут же неприятное воспоминание о серых улицах, серых городах, о *серости* Англии. Подобные пейзажи в такие дни бесконечно способствуют росту человеческой личности. Возможно, Древняя Греция — всего лишь результат воздействия пейзажа и света на чувствительных людей. Это объяснило бы свойственную им мудрость, красоту и ребячливость; мудрость покоится в высших сферах, а греческий ландшафт полон высоких мест, горы возвышаются над равнинами; красота в природе повсюду, *простодушие* пейзажей, чистота, которая усиливает подобную ей чистоту и простоту; что до ребячливости, то ведь такая красота не человеческая, не практическая, не губительная — и разум, взращенный в таком раю, сам становится его копией, и после первоначального подарка (Золотой век), люди не могли не начать творчески слабеть. Красоту создают, когда ее недостает, здесь же она в избытке. Ее не создают, ею наслаждаются.

Такие фрагменты являются хорошей опорой.

Я пустился в обратный путь, размышляя об Острове сокровищ. Солнце село, позолотив вершины; свет в долинах стал зеленоватым, мрачным. В одной долине стоял непрерывный звон от колокольчиков на козах. Коз было двадцать или тридцать, пастух регулярно выкрикивал:

— Ахи! Хиа! — и издавал мелодичный, пронзительный свист.

Я видел, как он идет меж деревьев в окружении коз, — высокий мужчина в серо-голубых штанах с заплатами светло-серого цвета на коленях и черной куртке. Я поспешил вниз по тропе, чтобы догнать пастуха, но тут мой взгляд упал на нечто, растущее сбоку от дороги. Я опустился на колени, не веря своим глазам: то была цветущая паучья орхидея, маленькое растение, не больше шести дюймов, с одним большим цветком — его пурпурная, в пятнышках губа дерзко торчала, слегка прикрытая бледно-зелеными чашелистиками, — и еще одним зеленым бутоном. Опустившись на колени, я вглядывался в цветок, позабыв о пастухе и его козах, чьи колокольчики позвякивали все слабее. Смеркалось. Горы казались теперь темно-синими, а долина — черной. Похолодало. Я быстро пошел по козьей тропе — путь оставался неблизкий — и наконец достиг места, откуда мог видеть школу. Край обрыва был весь покрыт анемонами — маленькими цветками, не больше трех-четырех дюймов, розовыми и розовато-лиловыми; они колыхались на слабом ветерке.

Я быстро спустился по террасам оливковых деревьев, миновал разрушенную ферму и оказался на дороге, которая через

несколько минут привела меня к школе. Думаю, я совершил одну из моих самых лучших прогулок. Педагогическую деятельность можно принять как необходимое зло, когда знаешь, как прекрасна окружающая среда. Но в такой день — не день, а мечта — преподавание и все с ним связанное представляется ничтожным. Вечером, после ужина, я пил кофе с Шарроксом, Гиппо[287] и Тараканом, который нес всякую чепуху. Под конец Гиппо сказал, что «совершил прекрасную прогулку по городу и прекрасно провел время». Тени великих — они живут на таком острове и не видят его. Чудо не повторится.

Однако тем временем мы, бледнолицые северяне, можем еще кое-чему поучиться.

Кессерис, 5 «В»: «Я хочу стать археологом и узнать побольше о древних людях, обладавших удивительными дарованиями».

12 января

Невероятно мягкая, ясная ночь; цвета не сливаются — матовое море, гармония белых домов и темных кипарисов. Была суббота, и днем преподавателей собрали, устроив поистине кафкианскую разборку. Главный вопрос в повестке дня касался учеников, которые провели ночь на Паросе, где пили и играли в азартные игры, вместо того чтобы сразу после посещения Афин вернуться в школу. Здесь принято, чтобы каждый пустяк обсуждался всеми без исключения учителями на особом заседании. На сегодняшнем было два лагеря: один более снисходительный, либеральный; другой — консервативный, алчущий крови, во главе его стоял архиковарный Тимайгенис, преподаватель теологии, законченный Тартюф. Директор открыл дискуссию поразительными словами:

— Нам не позволено наказывать учеников, но эта провинность требует наказания.

Он суетился, как старая бабка, темпераментно нападая на каждого преподавателя, который высказывал взгляды на дисциплину, идущие вразрез с его собственными. Шаррокс заметил, что большинство учеников считают школьные «судилища» не более чем фарсом.

— Но ведь и мы, взрослые, относимся к нашим греческим судам так же, — отозвался директор.

Атмосфера на грани безумия.

Так как была суббота, мы отправились ужинать в Спеце, в ресторанчик, где играет замечательный гитарист. Сложением заставляющий вспомнить Санчо Пансу, лукавый, злой, изобретательный импровизатор и остряк, он сидел в окружении приятелей. В ресторанчике было много рыбаков и местных торговцев. Мы пили рецину, к ней я пока не привык, хотя и

понимал, что ее придется полюбить, раз уж я нахожусь в Греции, — это была капля дегтя в бочке меда, — съели по большому блюду жареной картошки, бараньих котлет и печенки. Гитарист сложил о нас песню, а мы поставили ему и его друзьям пива. Подняли стаканы. Высокий толстый пожилой лодочник в синей кепке спел с гитаристом дуэтом песню — пел он высоким тенором, очень темпераментно, выводил трели, приподняв голову, так что горло его вибрировало, как у певчей птицы. К ним присоединился юноша, его тенор звучал сильно и скорбно.

Сменить обстановку было для меня облегчением, хотя атмосфера в школе была вовсе не так плоха, как я ожидал, — мрачновата, но не безысходна. Живые, неугомонные мальчики могли привести кого угодно в ярость, но они могли быть и другими — нежными, любящими. В классе они галдели, перешептывались, постоянно вскакивали с места, тянули изо всех сил руки, задавали вопросы, смеялись. Тишина здесь — вещь относительная. Но причина всего этого — их рвение. Они хотят учиться. Хуже обстоят дела с педагогами, большая часть которых — неуверенные в себе, плохо образованные пожилые женщины, придерживающиеся системы, в основе которой тяжелый труд и жесткая дисциплина.

В парке при школе растет множество пихт и кипарисов; в просветах между их кронами небо еще синее. Как прекрасна форма кипариса: темное пламя, памятник или фонтан. Самый распространенный сорняк в парке — оксалис, или кислица, его яркие желтые цветки раскрываются только при свете солнца. И все это множество как-то очень по-человечески покачивается на тонких, грациозных стебельках.

В этих каменных зданиях необычный, гулкий резонанс. Каждый звук усиливается, становится звонче, разносится эхом и обретает черты, свойственные определенным учреждениям — тюрьме, моргу, больнице, школе, казарме. Из радиоприемников несутся какие-то загадочные отдаленные звуки. Каждый этаж разделен на три продольных отсека и центральный коридор, такой же широкий, как расположенные по обе стороны комнаты, в нем-то и концентрируются все звуки. Сейчас, когда я пишу эти строки, из приемника соседа доносится женский голос, поющий по-арабски, — звуки музыки вдвойне экзотичны, они приходят откуда-то издалека, из прошедших веков, ностальгические, печальные, как мертвая красота.

Сегодня днем состоялся футбольный матч. Уровень игры хороший. На игроках были желтые и черные футболки в красную и белую полоски. Все играли с жаром, без знания техники — на буро-красной земле ученики проделывали немыслимые пируэты,

устремляясь за мячом или высоко подпрыгивая в надежде его достать. Матч проходил между двумя классами, и вся школа собралась на бетонных трибунах для зрителей, из городка тоже пришло много народу. Мальчишки вооружились игрушечными трубами, свистками, они кричали и улюлюкали. Мы, преподаватели, сидели на почетном возвышении в центре трибуны и смотрели на поле, за которым тянулся ряд кипарисов, белые здания школы, сиренево-голубой пролив и арголисские горы в предвечернем солнце, — там, за мирными голубыми очертаниями, укутанные бело-розовыми облаками таятся Микены, Тиринф и прочие исторические жемчужины. На таком фоне школьная деятельность кажется муравьиной возней, а игры — профанацией настоящих поступков. Дисциплина, организация, начальники, белые стихи, футбольные ворота — все это лишь пенка на вечности.

Сегодня приехал еще один преподаватель английского языка — Египтиадис; это пожилой человек, его седые волосы подстрижены так коротко, что он кажется почти лысым, у него вид борца или бывшего заключенного. Бычья шея, крупный рот, мало зубов, массивное тело и хорошие манеры. Он девятнадцать лет жил в Штатах и прекрасно говорит по-английски. Как и на многих других языках. Во всяком случае, на нескольких он с нами заговаривал; похоже, полиглотство — предмет его гордости, хотя, возможно, знание других языков сводится у него к заучиванию нескольких изречений. В нем есть что-то жуликоватое. Несомненно, всем скоро надоест слушать, как он, подобно попугаю, будет бубнить отрывки из молитв или пословицы на разных языках. К несчастью, он мой сосед.

Тамарус, 4-й класс: «Тапочки — туфли ночи».

Потамианос — самодовольный юнец с пухлыми губами, пухом на щеках и кудрявыми, зачесанными назад волосами; у него облик полного энтузиазма, нравственно чистого молодого подвижника, гордости духовной семинарии. На самом деле он толстокожий эгоист. У него есть несколько часов в классе практики английского языка, и он простодушно сообщает нам, что ученики в восторге от его методики, и критикует доброго старого Египтиадиса.

Сегодня он подошел ко мне в преподавательской и спросил, как я «намереваюсь решить (!) на этом острове проблему потребности в женщине».

— Мне хватает коз, — ответил я.

— Так вот почему вы лазаете по горам? — спросил он.

— Конечно! — сказал я.

— Перед тем как покинуть Пирей, — сказал он, — я провел

два часа с женщиной в гостинице. Кончил четыре раза за два часа. Раньше больше трех у меня не было.

— Вот как! — отозвался я.

— Мы с Папириу (учитель физкультуры) хотим пригласить профессионалку из Афин, — сказал он. — Хотите присоединиться к нам? Приедет моя девушка. Все, что ей надо, — это жилье и питание. Докос, учитель музыки, тоже готов вступить в долю, и, возможно, мистер Шаррокс, — так что это не влетит нам в копеечку.

И он вопросительно посмотрел на меня взглядом доморощенного Руссо, невинного и порочного. Я дал ему полчаса на то, чтобы выговориться, и за это время узнал все о его личной жизни.

— Мечтаю о вдове, — признался он. — Вдова поможет достичь многого.

Позже о том же самом он говорил с Шарроксом — этот агрессивный глупец чрезвычайно высокого мнения о себе. Он пел в музыкальном салоне, не имея даже отдаленного представления о том, что такое музыка; он заливался, как еще не известный миру Карузо, предвкушающий будущую известность.

Последний soirée musical[288] оживил Египтиадис, он предложил имитировать (с помощью сложенных чашечкой рук) крик совы, шум американского поезда и — подумать только! — гимн команды гребцов Итона. Докос, лысеющий очкарик с загорелым лицом клоуна, играл отдельные места из «Риголетто», танцевальные мелодии, популярные греческие напевы, «Травиату», Штрауса и, наконец, Буальдье, оперы которого, по-видимому, считал вершиной западноевропейской музыки[289]. Докос играет очень громко, с большим пылом, иногда фальшивит — должно быть, он прежде работал в модном ресторане, где нужно уметь переиграть все посторонние шумы.

Я начинаю чувствовать своеобразную прелесть существования на острове. Никаких контактов с внешним миром; со времени своего приезда я не прочел ни одной газеты. Можно, конечно, узнать новости по радио, но у меня нет ни малейшего желания его слушать. Как-то попался в руки «Нью стейтсмен», который вдруг загадочным образом стал выглядеть в новых обстоятельствах фальшиво интеллектуальным; а критика вообще показалась плодом усилий молодых неуравновешенных всезнаек из недоучек. Мир «НС», который совсем недавно я не без удовольствия считал доступным лишь посвященным, почти тайным обществом — крикетной командой графства, чьи уроки я усваивал, — теперь представлялся мне чем-то незначительным, чуть ли не шаржем, крохотным центром небольшой группы

людей, обосновавшихся в северном Лондоне, Оксфорде и Кембридже — и больше нигде. По моему мнению, географическая отдаленность не могла повлиять на мою систему ценностей. Я полагал, что она устойчива к физическим переменам. Однако человека создает окружение[290].

Неудовлетворенность тюремным существованием. В этой тюрьме нет даже такого блага, как одиночные камеры: ведь здесь отдельная комната — весьма ненадежное убежище, оно доступно для учителей, звонков, криков мальчишек и голосов; кроме того, ее меблировка и местоположение невыносимо казенные. Однако тюрьма — только видимость: ведь вокруг прелестный остров и всего в минуте от дома — дивное море. И все же школа (когда находишься внутри здания) может отравить всю красоту. Но стоит выйти наружу — и все тут же меняется. Впрочем, мало кто из преподавателей часто ее покидает — иногда кто-нибудь идет в город, но в пихтовые леса — никогда. Никаких попыток вырваться из заточения.

Возможности уединиться здесь мало — особенно в помещениях учеников, где царит такая же атмосфера, как в тех частях, где офицер питается за одним столом со своими людьми.

Чувство абсурда и нелепостей обострилось до крайности. Мы с Шарроксом большую часть дня проводим вдвоем и хохочем до колик. Остальные педагоги так необразованны, ребячливы, мотивы их поведения настолько ясны и убоги, что остается только смеяться. Однако некоторые вещи, которые вызывают у нас смех, вовсе не забавны, они кажутся такими только на Спеце. Главное — смехотворно само существование огромной и нелепой английской школы на этом райском острове, жемчужине Эгейского моря. Как тут не смеяться! А то, что мы — англичане, дает нам исключительно объективную позицию, с нее очень удобно насмехаться над иностранцами. Мы неинтересны, но непоколебимы. У иностранцев нет такой прочной позиции — или она зиждется на чисто личных интересах. Они мечутся, ездят с места на место, меняются. Мы же застыли на одних и тех же принципах, мы, нравственные, демократические, мудрые, управляющие и управляемые, взрослые и снисходительные, — остальной же мир пребывает в состоянии юношеской незрелости.

Арапангис, класс 6 «А»: «Я мог бы рассказывать и дальше, но звонит колокол». По ком звонит…

18 января

Сегодня я пошел с Гиппо в город узнать, как мне получить permis de séjour[291]. Гиппо обычно нудит всю дорогу, и, признаться, путь до полицейского участка дался мне с трудом. День выдался пасмурный, материк и острова на востоке затянуты

прелестной безмятежной серо-голубой дымкой. Море спокойное, цвета серого шелка. Гиппо услаждал мой слух анекдотами — в основном непристойными вроде того, как он ехал на ослице и вдруг на нее стал карабкаться осел.

— Я поскорее спрыгнул и пустился наутек — испугался ужасно. — Потом начал подробно расписывать, как насильственно спаривают жеребца и кобылу. — Очень любопытное зрелище.

Все это он рассказывает очень серьезно, его лицо прямо молит о доверии, так что стоит большого труда удержаться от смеха, И в перерывах поет — из итальянских опер, из «Веселой вдовы» и так далее. Клоун, Кандид.

Мы провели уморительные полчаса в кабинете шефа полиции, с невероятными муками заполнявшего необходимые бланки. Английские фамилии давались ему с большим трудом. Грустный человек с прилизанными черными волосами и брюзгливым лицом ищейки; две большие серебряные звезды горели на эполетах мундира старой Британской армии цвета хаки. Он с трудом волочил по бумаге скрипучее перо, обмакнутое в красные чернила. Когда мы подошли к вопросу о религии, я быстро ответил (довольно нелепо — а как еще отвечать в стране абсурда):

— Религии нет.

— Должна же быть какая-то религия! — сказал Гиппо.

— Нет, — упорствовал я.

— У него нет религии, — сказал Гиппо по-гречески начальнику полиции. Этот достойный человек бросил на меня испытующий взгляд, потом перевел его на Гиппо и что-то с раздражением произнес.

— Послушай, — сказал Гиппо, — он говорит, что такого не бывает.

— Вот и бывает.

— Но у тебя ведь христианское имя?

— Да.

— Значит, ты христианин.

Я не сумел ничего противопоставить этому триумфу логики. Только пожал плечами и упрямо произнес:

— Я не исповедую никакой религии.

Гиппо что-то сказал начальнику полиции, тот посмотрел на меня, почесал голову и неожиданно расхохотался.

— Какого черта он смеется? — спросил я.

— Он говорит, что никогда ничего подобного не слышал. Находит это очень забавным.

Я никак не ожидал вызвать своим заявлением смех — скорее

провинциальный ужас перед заклятым атеистом.

— Скажите ему, что раньше я был протестантом, — покорно признал я. — Пусть запишет «протестант в прошлом».

Так и записали. Когда форму заполнили, лейтенант попросил дать ему шесть или восемь моих фотографий.

— Так шесть *или* восемь? — спросил я. Гиппо обсудил этот вопрос с полицейским.

— Он говорит семь или шесть, но шести хватит, он сам уладит это с фотографом.

Греки сумасшедшие.

В тот же вечер Шаррокс и Египтиадис выпили бутылку моего бренди. Греческий коньяк слабее и мягче французского и, соответственно, пьется быстрее. И все же бутылка бренди — небольшая цена, учитывая, сколько церковных гимнов проорал Египтиадис, сколько спел турецких и греческих песен, всяческих новинок, национальных гимнов, сколько прочитал отрывков из «Илиады», не говоря уже об отдельных цитатах и поговорках. Он немного перевозбудился, и его голос гремел по всему дому. Директор жил как раз надо мной. Он, должно быть, испытывал нестерпимые муки. Египтиадис пел то басом, то тенором, очень энергично, а в этих стенах даже шепот отдается гулким эхом.

Бренди он не разбавляет и пьет залпом. В ответ он угостил нас рахат-лукумом, изготовленным в Сиросе, и еще турецким пирогом, который зовется *ката*, — песочное тесто с начинкой из измельченных грецких орехов.

Египтиадис считает, что ему очень повезло с работой, и немного робеет. Постоянно говорит, как гордится быть нашим коллегой; все записывает, чтобы не забыть; добросовестно отзывается на каждый звонок — в то время как большинство из нас опаздывают или вообще не приходят на трапезу. Однажды, когда он был у меня, пришел ученик и сказал, что его ждут — он должен проводить урок. Оказывается, Египтиадис спутал время. Он выскочил из комнаты как ошпаренный, и я видел из окна, как он, испуганный, несся во всю прыть, чтобы быстрее попасть в учебный корпус. Это выглядело смешно, потому что по природе он тучный представительный мужчина, движения которого в обычном состоянии неторопливы и полны достоинства, однако в этом его беспокойстве было и что-то трогательное. И трогательного было больше.

Работа составляет всю его жизнь — добросовестный труд и учеба. Он не курит и, по его словам, может воздерживаться от всех прочих излишеств. Сдержанный, умеренный, лишенный всех пороков, кроме излишней болтливости (почти пасторской), что вступает в противоречие с его могучим физическим обликом.

На следующее утро после незабываемой беседы с шефом полиции я вновь вышел из дома с Гиппо — на этот раз чтобы сфотографироваться. Свежее, сияющее утро; горы и равнина весело нежатся в ярких солнечных лучах. Придя к фотографу, мы стали торговаться о цене. За услугу он заломил больше, чем берут в афинских ателье, что не лезло ни в какие ворота. Наконец пришли к более-менее приемлемому компромиссу. Мы вышли на площадь, и я принял красивую позу. Тут вдруг фотографа одолели сомнения.

— Он боится, что эти фотографии окажутся слишком маленькими для полиции, — объяснил Гиппо. — Могут потребовать большие, а они дороже.

— Бог мой, — проговорил я со смехом, — не сомневаюсь, что он знает, какие именно нужны в полиции.

Гиппо вступил в переговоры с фотографом.

— Все зависит от того, какую форму заполняют, — сказал Гиппо.

— Тогда пойдем к шефу полиции, — предложил я.

Мы вышли через дверь с выцветшей надписью, пересекли сад с небольшими апельсинными деревьями, с них свисали маленькие апельсины, и поднялись по ступенькам в полицейский участок. Казалось, шефу полиции приятно нас видеть. Опять пошли споры и торговля. Я только коварно улыбался в сторонке, не взрывая пока бомбу.

— Скажите им, чтобы послали счет в школу, — сказал я наконец.

— В школу!

Шеф полиции и фотограф переглянулись, пожали плечами и на удивление легко с этим согласились. Мы вышли на площадь, и меня сфотографировали.

Потом мы с Гиппо сидели за столиком, стоявшим прямо на гальке, у небольшой уютной гавани. Столик стоял под сосной, у линии древних укреплений; мы грелись на солнышке и ели пирожные. Море было темно-синего цвета, Идра и другие острова — розового, коричневато-желтого и оливкового. Большая шлюпка — каик, — выйдя из-под укрытия острова, покачивалась на волнах.

У меня было легкое похмелье.

Славная попойка в городке. Мы с Шарроксом пошли в местный кинотеатр на фильм об аборигенах Австралии — «Горькие весны». Аборигены хороши. Народу в кинотеатре мало — всего шесть человек. Звуковая дорожка на английском, хотя я осознал это не сразу. Долгие паузы, когда меняли бобины, портили впечатление.

Затем направились к Ламбрису, где было еще четверо официантов. Один из них, сидевший в задней комнате с учителем музыки Докосом, отмечал свои именины. В центре стола стояло огромное блюдо с жареной печенкой и еще какими-то внутренностями, тонкими ломтиками апельсина и сырными шариками, оттуда каждый из нас — на арабский манер — брал то, что ему по вкусу. Нам с Шарроксом из уважения к нашему иностранному происхождению подцепляли лучшие куски и подносили на вилке, надо было только открывать рот — очаровательный обычай. Любезность греков не знает границ, но между собой они могут быть и жадными и эгоистичными. Ученики за моим столом хватают что хотят, при случае всегда берут лучший кусок, а если приносят добавку, тот, кто сидит ближе, берет себе больше, чем приличествует. Может и вообще все забрать, и это, похоже, никого не удивляет. В греческом характере есть что-то грубое, нехристианское. Они своего не упустят и уважают удачливых людей. Если вам что-то перепало, держите это крепко, если нет, вы заслуживаете презрения, а не жалости.

Однако с иностранцами они вежливы, милы и по-своему терпеливы. Кроме того, в насмешках над несчастьем другого нет того лицемерия, какое есть в привычном выражении участия у англичан; думаю, эти насмешки — более надежное оружие против неудач. Ведь все, что ты можешь сделать, — это пожать плечами, рассмеяться, молча страдая и стараясь выпутаться из беды как можно скорее.

Звон бокалов не прекращался. Все пьянели и добрели. Пришел гитарист Евангелакис, он уклонился от ответа на вопрос До-коса, не хотел бы он вести занятия в школе. Докос расхвастался, стал пускать пыль в глаза, заговорил об истории музыки и как глубоко он ее знает. Коротышка гитарист, в одном мизинце которого больше музыки — пусть и не столь высокой, — чем у тысячи таких, как Докос, слушал его откровения с мрачным видом. Мы с официантами упросили гитариста сыграть (если он начинал играть, то уже не останавливался) известную песню, фривольную, грустную, сентиментальную, по ходу дела он импровизировал, и от этих остроумных импровизаций официанты и Шаррокс покатывались со смеху. Стихи рождались у него мгновенно. Докос тоже раза два пытался импровизировать, но довольно неудачно — гитарист ответил ему мгновенно и гораздо лучшими стихами. Казалось, для него нет ничего невозможного. Докоса слегка расстроили успехи гитариста, да и наши тоже. Шаррокс великолепно держится в компании, искусно подыгрывает, когда нужно, — его не назовешь душой общества,

но это человек, с которым хочется быть рядом. Спокойный, дипломатичный, любящий шутки, он и сам не прочь пошутить; социально гибкий и податливый, как все они здесь — преподаватели, слуги, ученики… Я не могу поддерживать такой высокий уровень — подчас сникаю, становлюсь вялым, молчу, выпадаю из разговора.

Они пели греческие песни, пели с закрытыми глазами, раскачиваясь, со страстью. Некоторые ломаные ритмы глубоко действуют на меня — как каталонская музыка. В половине второго мы покинули кафе и пошли по дороге у моря; волны тяжело бились о скалы. Сквозь водяную пыль и мелкие брызги — в постель и забвение.

Прошлой ночью я сказал себе: еще два таких вечера, и мне конец. Два таких похмелья я просто не переживу. Рецина бьет по голове — как же она раскалывается у меня сегодня утром! Свет слепит, в ушах звон. С час я промаялся, пытаясь как-то ослабить головную боль, и только проглотив таблетку веганина, почувствовал себя лучше. Вышел на морской берег и там стоял, глядя, как грозно бьются о берег волны. В море присутствовали все оттенки сине-зеленого цвета; солнце играло на воде; волны кудрявились белыми барашками.

Днем отправился на длительную прогулку к дальней оконечности острова, путь мой пролегал по пастушьим тропам вдоль крутого склона. День был ветреный, но ясный; народу ни души. На склонах — пихты, заросли дрока и отполированные разными стихиями скалы. На каждом шагу, стоит только взглянуть вниз, ярко сверкает изумрудом море. На открытых участках земли кучно растут ярко-синие гиацинты — и темных и светлых оттенков. В одном месте я увидел большое количество паучьих орхидей — крупнее и плотнее тех, что видел раньше. На этих склонах живет мало птиц. Северная сторона острова холоднее, пустыннее и более зловещая. Берег высокий и крутой, с закрытыми бухточками. Одна бухта в окружении кипарисовой рощи особенно красива.

Запомнился один момент, наполнивший меня восхищением и восторгом. Я уже несколько часов шел по лесу над морем и никого за это время не встретил, из-за волн в море тоже не вышла ни одна шлюпка — и вдруг, словно яркая вспышка, ко мне пришло ощущение чего-то удивительного, поэтического; все смешалось — легендарный, волшебный лес и духи этого места, нимфы в рощах, наделенные французскими, средневековыми, чертами и классическими, греческими, и вдобавок окрашенные моим воображением. Я стоял на опушке и глядел вверх на темную стену пихт, почти ощущая присутствие иного мира.

Потом пошел домой, пошел быстро через лес, и хотя возвращался уже по дороге, а не по тропе, но опять никого не встретил. Правда, я слышал странный крик и сначала подумал, что кричит пастух, но потом крик раздался рядом, из кроны высокого кипариса. Я запустил туда камнем, и оттуда в густеющие сумерки вылетела небольшая сова. Вот он, певец, сказал я себе. Одиночество взбодрило меня, и похмелье прошло.

Папириу, преподаватель физкультуры, чемпион Греции по метанию молота — самодовольный мускулистый атлет с начальными признаками тучности. О своем теле он не забывает, постоянно выбрасывает вперед грудь, играет мышцами и тому подобное. Любит хлопать коллег по спине, и в этом всегда, помимо задиристости, есть что-то похотливое. Сексуально озабочен, и еще ему ужасно не хватает такта и savoir faire[292]. Возможно, он ведет себя так бесцеремонно, потому что не сомневается: никто не захочет вступить с ним в драку. У него жутко волосатая грудь и нет левого глаза, что не очень-то его красит. Сам он этого очень стесняется и обычно носит темные очки. Воплощение грубого животного начала; он действует мне на нервы.

Старшеклассники говорили сегодня о коммунистах. Они рассказывали ужасные истории о Гражданской войне[293]. Стаммаоятис сказал, что коммунисты выкалывали глаза пленным, складывали их в железные банки и посылали в Москву; заключенных казнили, отрубая конечности — одну за другой. Он сам видел, как матери обнимали разложившиеся трупы детей. Я не очень верил этим рассказам, но нельзя отрицать — в греческой натуре есть грубое начало. Возможно, это идет от турок, но христианство в числе прочего привнесло в философию Древней Греции отсутствие сострадания. Юноши были такими ярыми антикоммунистами, что это меня испугало. Они даже умеренно левого Пластираса считают коммунистом[294]. Когда я попросил назвать имена четырех людей, которых они хотели бы уничтожить, ответ последовал: Сталина, Мао Цзэдуна, Вышинского[295], Пластираса.

Ужас в том, что эти юнцы не умеют взглянуть на предмет со всех сторон. Они знают о случаях проявления насилия и жестокости только коммунистами. Потому и боятся всяких реформ, а Греция нуждается в реформировании. В будущем крестьяне снова взбунтуются, и тогда опять развяжется кровавая война. Такая же ситуация в Испании, Ираке, Персии, Италии, Египте, там тоже крестьянские массы угнетены, их положение не облегчили мирным, демократическим путем, а напротив, только усугубили его, проявив жестокость и безумие. А на нынешнее

молодое поколение, так называемые сливки нации, которые показывают себя махровыми реакционерами, вообще нет никакой надежды.

Паучьи орхидеи. Они растут по всему острову. Надменные, причудливые растения с полной коричневой губой, приобретающей на солнце золотистый и пурпурный оттенки, и нежными желто-зелеными лепестками. Они растут по одному, иногда по два или по три, на одном растении редко бывает больше двух цветков. Одно растение я держал в воде больше десяти дней, рисовая его и часто любовался. Вид этого цветка доставляет мне большое удовольствие. Перевернутый, он странным, экспрессионистским образом напоминает человеческое лицо — невротического клоуна.

За столом любимые темы для разговора — те, что граничат с непристойностью. Ученики, особенно жирный Кабелла — коротышка с Крита, постоянно хихикают и, бормоча, говорят мне такое, за что их немедленно исключили бы из английской школы. Если видят, что я сержусь, переходят на греческий; если я выгляжу смущенным, поддразнивают меня, так что мне остается только смеяться. Вчера за столом староста, сын бывшего министра труда, вручил мне листок с анекдотом, который он собственноручно записал.

Владелец гостиницы (*новобрачному после первой брачной ночи*): «Ну и как все прошло?»

Муж: «Прошло, не застрял, размеры подошли».

— Не правда ли, смешно? — крикнул он с другого конца стола.

— Очень, — ответил я.

— Этот анекдот рассказал мне мистер Потамианос, — сказал староста.

Я постарался изобразить на своем лице некое подобие радостного изумления.

Мой сосед слева — Асимакос, высокий красивый юноша с оливковым цветом лица, блестящими глазами, длиннющими ресницами и несколько женственными манерами. Большую часть времени он смотрит на меня, хлопая ресницами, и спрашивает, какие оценки я ему поставлю. Они с критянином соревнуются по части порочных поступков. По словам критянина, Асимакос в прошлом году совратил дома служанку — глядя на этого красавца, трудно винить девушку. Последний же утверждает, что юноша с Крита (ему шестнадцать) проводит все свободное время в Афинах с «дурными женщинами». Кабелла великодушно предложил познакомить меня с ночной жизнью Афин, а староста пригласил погостить у него дома в Салониках, там есть «бьюик»,

джип и много готовых на все девушек.

Посещение парикмахерской. Здесь клиент — король; ради меня был совершен полный ритуал стрижки. Мне то и дело помадили волосы; все инструменты несколько раз продезинфицировали; постоянно смахивали волоски; три раза смазывали волосы бриллиантином. Артистически щелкали ножницами. Рядом с парикмахером стоял помощник, юноша в короткой куртке, и вручал мастеру поочередно ножницы, расчески, пульверизаторы — так медсестра помогает усталому хирургу. Раз он ошибся и дал не ту вещь, и от него с раздражением отмахнулись. Вскоре я уже с трудом сдерживался от неудержимого желания расхохотаться. Хорошее обслуживание здесь превращается в культовое поклонение. А боги должны смеяться. Какое отличие от равнодушного отношения демократической Англии, где парикмахер работает как машина! Не рабское начало лежит в основе желания сделать эту услугу приятной. Никто не думает, что мастер занимает низшее положение по отношению к клиенту. А последний расплачивается от избытка чувств, а не потому, что того требует закон.

Гитарист Евангелакис. Он подошел к нашему столику поговорить. Скромный, застенчивый, немного подозрительный человек. Под конец спел одну или две песни, а на прощание еще одну, которую, по его словам, пел нечасто. Песня пронзительная, мучительная, напряженная, что-то между испанской погребальной песнью и негритянским блюзом. После он рассказал мне, что эта песня ассоциировалась у него со смертью матери, там упоминались больницы и врачи в белых халатах. Гитарное сопровождение было яростным, резким и гневным; он пел с закрытыми глазами, в его голосе была спокойная, почти экстатическая сила, он звучал протяжно, выводя трели. Один из школьных официантов, Дионисос — он сидел с нами, — вдруг зевнул, и не на нервной почве, а просто от непонимания. Это было ужасно. Дионисос — хороший человек, с легким веселым характером, но он — олицетворение равнодушной, невозмутимой, закостеневшей глупости, слепоты простого народа перед подлинной искренностью и красотой. Бедный коротышка гитарист заметил, что Дионисос подавляет зевоту, вновь закрыл глаза и запел, обнажая перед нами по-прежнему свое сердце.

3 февраля

Ветер свирепствует все воскресенье; небо почти безоблачное; море великолепно — оттенки от голубовато-стального до желто-зеленого, ветер яростно набрасывается на воду и заставляет ее бушевать. Волны с бешеной скоростью несутся по проливу и разбиваются о берег или проносятся мимо по направлению к

Идре, Докосу и Трикере[296], теряясь в густом тумане. Было холодно, ветер дул с Пелопоннесских снежных вершин. Кипарисы лишь слегка наклонили верхушки, стволы же стояли прямо — эти аристократы кланяются с элегантностью старых придворных. Утром я два часа занимался с учениками в комнате на верхнем этаже, окна ее выходили на пролив, на Арголис напротив и на Дидиму в короне из облаков. За окном завывал ветер, ставни стучали, а снаружи, наперекор ветру, все заливал яркий солнечный свет. Бедные, лишенные свободы невинные души.

После полудня я пошел на прогулку по подветренной стороне одной из возделанных долин, она шла в глубь острова. В широкой долине много идущих волнами террас, вызывающих представление о женском платье; узкими лентами вилась зеленая поросль пшеницы; по вершинам росли пихты. Под солнцем, овеваемый ветром, брел пастух со своим стадом; цвели фруктовые деревья; террасы покрывала бело-розовая пыль; черные черенки скрывались под цветами. Я вышел на приподнятую середину долины и встал на ветру. Ветер дул точно с Пелопоннесских гор, их накрыли штормовые облака; море ярко сверкало. Я постоял под лучами солнца у разрушенного дома, потом пошел по центральной тропе, откуда хорошо видны обе стороны, и вскоре набрел на еще одну развалившуюся постройку, окруженную забором. Я вскарабкался на него и посмотрел вниз. Там росли огромные кроваво-красные анемоны, ветер пригнул их к земле. Возвращался я по этой тропе мимо коттеджей, окна которых выходили на извивы террас и цветущие деревья, впереди виднелись снежно-белые дома Спеце и синие воды пролива, золотисто-зеленый берег Арголиса и темные очертания Дидимы[297]. Я прошел краем городка — прижатые друг к другу коттеджи, все в цвету, живые изгороди из опунции, на белоснежных домах — ни пятнышка, чистые улицы. Закончил я свое путешествие в гавани. Солнце скрылось, над Идрой и Докосом, мрачно синевшими вдали, плыли легкие, пушистые облака — белые, розовые и оранжевые. Я пошел к школе, не удаляясь от моря, оно же по-прежнему яростно билось о дамбу.

Реализм. Пытаюсь написать рассказ в стиле Моэма; такие вещи необходимо уметь делать — как художнику подражать великим, овладевая искусством рисования.

6 февраля

Смерть короля Георга VI. Люди подходят ко мне и с веселым видом сообщают печальную новость. За обедом ученики радостно пялились на меня, а староста, широко улыбаясь, объявил:

— Умер король Англии.

Думаю, их слегка удивило, что я не в трауре и не заливаюсь

слезами.

Смерть королей теперь уже не так волнует подданных, к этому событию относишься как к одной из вех, концу одной эпохи и началу другой. В скончавшемся короле не было ничего выдающегося — ни ярких качеств, ни энергии. В наши дни король по конституции — никто, он может остаться в истории только благодаря своей личности.

Теперь в изобилии польются некрологи и приветствия блистательной новой королеве, непременно проведут параллели — к всеобщему самодовольству. Но елизаветинские эпохи и условия, при которых они возникают, канули в прошлое, теперь царит политика, а наша Елизавета — консерватор и педант, она — вторая Виктория.

Почему первое неожиданное известие о смерти обычно вызывает улыбку?

* * *

Египтиадис. Он учит меня греческому языку. Днем я постучался к нему. Ответа не было. Я ушел. Позже, встретив коллегу, стал подшучивать над его привычкой долго спать. Это его задело. Часа через два он ворвался в мою комнату.

— Мистер Фаулз, я знаю, почему меня не было в комнате, когда вы приходили. — Он всегда решительно и точно выражает свои мысли, не терпит возражений и не делает пауз. В предложения непременно вставляет глагол — у него профессиональное отвращение к односложным репликам. — Теперь мне понятно. Я выходил испражняться. — «Испражняться» прозвучало у него так же громко и твердо, как и остальные слова.

Он оригинал. У него быстрая пружинящая походка, как у полной дамы атлетического сложения, — шажки мелкие, но частые. Крупной фигурой, длинными руками и огромным животом он отдаленно напоминает гориллу, а бритая голова, бычья шея и опухшие глаза делают его похожим на опустившегося старого борца. Бреется он вечером, и потому весь день ходит с серебристо-седой щетиной на подбородке и шее. Всегда носит один и тот же галстук — шелковый, в красно-серую полоску. У него две рубашки, которые еле застегиваются на шее — это видно из-за свободно завязанного галстука, — и два костюма, старый и новый; последний, по его словам, он приобрел, когда получил назначение на остров.

Вся его жизнь — сплошное самоограничение. Он аскетичнее многих монахов, скромный, бережливый, добродетельный,

трудолюбивый. Родился он в Анкаре, получил образование при американской миссии, потом эмигрировал в Америку и девятнадцать лет кем только там не работал — бухгалтером, государственным служащим, помощником аптекаря, сменным механиком. По его словам, он не завел там друзей, не курил, даже не пил кофе. Вернувшись с работы, садился за книги. Учил языки — у него феноменальная память. Он говорит свободно на трех языках — греческом, турецком и английском. Неплохо знает французский. Знаком с немецким, испанским, арабским и итальянским. Перед войной решил уехать на родину. За это время он скопил какие-то деньги и собрался жениться. Предварительная договоренность была достигнута. Он вернулся домой, купил дом и женился. Говорит об этом так, словно женитьба — тоже бизнес. Теперь у него есть жена, дочка и дом в Неа-Ионии, пригороде Афин. Во время войны он тайно преподавал английский; когда же война закончилась, стал давать частные уроки, и еще — как он утверждает — был лучшим переводчиком в Британской полицейской миссии.

Он идеальный преподаватель — послушный, не задающий лишних вопросов, полный идей и энтузиазма, до крайности пунктуальный. Только раздастся звонок, он уже мчится исполнять свои обязанности. В столовую приходит из вежливости на десять минут раньше. И на все встречи тоже является на десять минут раньше. Все его разговоры — о грамматике, учебной методике, о том, что он собирается делать в будущем.

Кроме того, он любит цитировать, — ведь в его памяти хранится про запас множество отрывков на многих языках. Его познания и интересы в литературе практически нулевые. Большую часть свободного времени он проводит, читая учебник по английскому языку. Ему нравятся беседы, преимущественно в форме викторины — происхождение имен, трудные места в грамматике, редкие слова. Если вы знаете ответ, он расстраивается. Знает много песен, и если поет, лучше его не перебивать.

Нельзя сказать, чтоб мы не подвергали сомнению это воплощение добродетелей. Своим достоинствам и особенно умеренности он отдает должное, но без хвастовства, а скорее с мудростью, подобной Сократовой, скромно признает их наличие. Каждого он оценивает по себе.

— Почему здесь ученики разговаривают на уроках? — спрашивает он. — Когда я учился, все мои мысли были только о том, чтобы усвоить слова учителя. Мне не хотелось все время болтать с соседом. О чем таком важном можно болтать?

Он много говорит о себе — не так, как это делают

экстраверты, душевный эксгибиционизм которых — осознанное поведение, а как интроверт, который мало что видел, кроме повседневного труда и жизни, полной самоограничения. С ним о многом не поговоришь. У него смышленая улыбка; иногда он прямо заходится визгливым смехом, и тогда его физиономия становится похожей на сморщенное от плача младенческое личико. Иногда он кажется туповатым; он не понимает новую методику. В классе строгий, серьезный; пылкость, с которой он демонстрирует подчеркнуто правильное английское произношение, так преувеличена, что я почти перестаю его понимать. Когда он говорит по-немецки, кажется, что чихает испорченный двигатель; его арабский слишком глотализованный, а французский, хотя и безупречен, лишен музыкальности — как если бы симфонию Моцарта играл Духовой оркестр.

Но человек не бывает без недостатков. Египтиадис любит бренди, ни с чем его не смешивает, пьет большими глотками знатока, и тогда на какое-то время привычное беспечное выражение покидает его лицо, а глаза затуманиваются. В такие моменты он больше всего напоминает жабу, которая только что проглотила муху. Он щурится, и по лицу его расплывается некое подобие удовлетворения.

Он замечательно непоследователен в разговоре, обычно перебивает собеседника совершенно неуместными вопросами или вдруг начинает предаваться воспоминаниям. Сегодня я в сумерки шел с ним из школы. На тропу перед нами села малиновка.

— Взгляни, малиновка, — сказал я.

Птичка улетела.

— Ты сказал, лягушка? — переспросил он.

Скажи я, что у лягушки бывают крылья, и он бы мне поверил. Кроме языков, его ничто не интересовало. Он мог бы рассказать на латинском языке систему Линнея, но не знал названия простейшего цветка. Для него и малиновка и лягушка были лишенными плоти метафизическими понятиями, словами из словаря.

Такие вот мимолетные погружения в его фантастический внутренний мир являются компенсацией за не столь подкупающие качества — догматизм, бестолковость и примитивную мораль.

11 февраля

Отличный денек. Погода как острая бритва — на небе ни облачка, ветер со стороны Альп — ледяной, пронизывающий мистраль. К нам он идет с Пелопоннеса над неспокойным морем разных оттенков синего цвета. Воздух кристально чист, хорошо видна снежная линия гор по другую сторону залива; по мере того

как солнце движется к западу, снег все больше розовеет. Небо абсолютно ясное, веселящее душу, ветер разогнал облака; однако это самый холодный день за все время моего пребывания здесь. Когда смотришь от школы, кажется, что гора Дидима находится всего в пяти или шести милях. Вечером она затягивается изумительной фиолетово-синей дымкой, а небо, на фоне которого она вырисовывается, становится лимонно-голубого, бледно-зеленого, розоватого цвета, сохраняя по-прежнему удивительную чистоту и прозрачность. Серебристое побережье, отполированные до блеска красно-коричневые утесы, зеленые, раньше времени залитые золотистым светом деревья.

Сегодня этот прекраснейший из пейзажей показался мне почти нереальным по своему совершенству и произвел бодрящий эффект. Сам же день, по разным причинам, был полон мелких неприятностей. Кроме того, я неважно себя чувствовал. Но стоило выглянуть из окна или пройтись по саду и увидеть великолепную застывшую волну из горных вершин, которая, казалось, вот-вот обрушится, как все ничтожные мелочи жизни отступали. Я ощущал что-то вроде эстетического возбуждения, прилива умственных сил, обострения восприятия, восторга от того, что меня окружало.

Я побывал у Шаррокса, послушал новости из Англии. Как все серо, холодно, методично, неинтересно! Весь этот мир после того, как я видел из окна темно-синее море, освещенные солнцем, гнущиеся под порывами ветра оливковые деревья и неправдоподобно прекрасные горы, весь этот мир казался ничтожным, уродливым, надменно-кичливым, — такую жалкую жизнь видишь под камнем, когда его переворачиваешь. А снаружи — этот восхитительный пейзаж, и я, ящерка, греюсь на солнышке.

Вчера мы с Шарроксом отправились на длительную воскресную прогулку. Мы шли по окраине городка, который с моря кажется гораздо меньше, чем есть на самом деле. Шли по стертым камням улочек, через глубокие высохшие канавы, лужайки, мимо похожих, как близнецы, чисто побеленных, утопающих в солнце домиков со ставнями на окнах. Было ветрено. Очертания деревьев смягчились, округлились благодаря нежным бутонам — белым и розовым. Ветви лимонов свисали под тяжестью фруктов. В западной части поселения мы набрели на заросшую травой площадь; пастух сидел на траве в окружении овец, были там и бараны, а также резвящиеся ягнята. Солнце играло на цветках миндаля, подчеркивая черные цветоножки. Вокруг стояли развалившиеся дома, лежали груды камней. Очаровательная пасторальная виньетка. Потом мы вышли на еще одну запущенную площадь, там играли дети. Они смеялись, когда

Ш. фотографировал. Дети окружили нас шумной толпой — их глаза горели, они трещали без умолку; у мальчишек бритые головы, такая здесь мода — на мой взгляд, отвратительная.

В городе много разрушенных домов и свободных земельных участков. Он строился без всякого плана вдоль высохших ныне русел, строился в разных направлениях. К каждому дому ведет небольшая аллея. Поражает белизна стен, из-за этого каждый цвет — голубой, желто-коричневый, зеленый, — обретает особую ценность, становясь нежнее и в то же время интенсивнее.

Восточный край острова менее дикий, не столь холмистый и более обжитой. Здесь луга, фруктовые сады, виноградники и даже маленькие поля зеленеющей пшеницы. Островок Спетсопула, еще более похожий на Остров сокровищ, чем Спеце, с лесистыми склонами и идущей по центру горной грядой, заслоняет далекий южный берег Пелопоннеса. На западе в море один или два небольших острова, а где-то у самого горизонта — острова Киклады. Мы повернули в глубь острова, направившись к вилле, где жил друг Ш. Она затерялась меж оливковых деревьев и кипарисов. Хозяин отсутствовал, сад же был полон синевой ирисов, здесь росли террасами цветущая герань, гвоздика, левкои и бугенвиллея. Мы отправились восвояси — мимо птичьего двора, где в тени сбились куры под присмотром великолепного, неагрессивного петуха; похожий на изваяние, он стоял неподвижно, напоминая фигуру из групп Джотто или Карпаччо.

Мы поднялись выше, к монастырю — нескольким неказистым постройкам, чье уродство скрашивала ослепительная белизна побелки и стоявшие на страже кипарисы. Отсюда открывался прекрасный вид на оливковые деревья и цветущий миндаль и дальше — на спокойные очертания бухты с пристанью для яхт и темные леса Спетсопулы. Монастырь расположен высоко над уровнем моря — здесь хорошо лежать после смерти. Солнце садилось, и мы стали спускаться по тропе в городок; рядом с тропой росли уже совсем другие ирисы — на каждом бледно-зеленом цветке по три зеленовато-черных пятнышка, — черный цвет искрился зеленым.

Неожиданно подул холодный ветер, набежавшие облака закрыли солнце. Мы шли по набережной старого порта, у берега носило из стороны в сторону шлюпки, раскачивались мачты, ветер усиливался. Поблекли яркие краски на холмах — разнообразные оттенки красного, зеленого и синего. Склоны Дидимы все еще отливали золотом, особенно ярко горевшим на фоне надвигавшихся чернильно-черных туч. Набережная, прилегающие к ней улочки выглядели уныло. Беленькие домики казались серыми. Мы зашли в деревенскую церковь — главную из

шестидесяти пяти небольших церквушек и часовен на острове — и погрузились в густо пропитанную благовониями атмосферу икон, тяжелых декоративных тканей, нарядных канделябров; византийская пещера, красные огоньки лампад, зловеще светящиеся во мраке.

Потом отправились в таверну с побитым молью канюком[298] и сидели там, предаваясь бесконечным разговорам, до полуночи. Как раз тогда таверну в буквальном смысле оккупировали киношники. Все они в какой-то степени говорили по-английски. Актер на главную роль очень красив, un trus brave cavalier[299], но в его манерах и улыбке есть что-то женственное. Ассистент оператора, полукровка, молодой и деятельный, говорит много, американский акцент. Два-три импозантных старых священника — фильм, до некоторой степени, религиозный — в рясах, как и положено служителям Православной церкви, бородатые, с благородными сократовскими лицами. Еще один молодой человек с бородкой, но совсем другого толка — в духе аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Высокий, по-богемному одетый юный художник с благородным классическим профилем и очень милой — непосредственной и застенчивой — манерой общения. Мне он показался красивее главного героя. Пришел Евангелакис, он играл, демонстрируя свое мастерство перед киногруппой. Гитарист был в ударе и импровизировал быстро и изобретательно. Режиссер-постановщик сидел за центральным столом, на его лице было напряженное, мрачное выражение, он ничем не проявлял своего интереса. Евангелакис танцевал, его грузная коренастая фигура двигалась легко — он мягко ступал и ритмично вращался; руки он выбросил для равновесия в стороны, прищелкивая пальцами в такт музыке и при каждом повороте отпуская очередную шуточку. Несколько местных рыбаков тоже пустились в пляс; трое исполняли что-то вроде танца крепко выпивших мужчин — они живописно раскачивались в замедленном «пьяном» ритме, обнимая друг друга за шеи; один из них, с краю, после каждого припева делал вид, что валится на пол, но друзья в последний момент поддерживали его. Очень спортивное представление. Потом на освободившееся пространство вышел еще один мужчина — в его танец входили прыжки через стул. Художник нарисовал карикатуру на Ш., изобразив его в виде болвана с фашистскими наклонностями, на меня — представив неопрятным арийцем, смахивающим на герцога Виндзорского, и на Евангелакиса, который сам по себе карикатурен.

Танец в Греции рождается стихийно, его исполнители часто очень искусны. Скажу больше: если мужская компания собирается

в греческой таверне, где играет музыка, всегда наступает такой момент, когда необходимо встать и танцевать, — в английском пабе в такой момент рассказывают грязный анекдот. Греки тоже могут рассказать грязный анекдот, но англичане никогда не танцуют.

С нас содрали три фунта за этот вечер, — по крайней мере вдвое больше, чем следовало. Эта черта греков менее симпатична. Дорога назад в школу была вдвойне неприятна: во-первых, нас взбесил счет, и, во-вторых, ледяной ветер с гор дул нам прямо в спины.

Типичное письмо от Джинетты Пуано. Провинциальная скучноватая учтивость и правильный язык. У нее дар писать письма. Нет ни капли той живости и остроумия, какие отличают стиль Джинетты Маркайо, однако она несравненно изящнее выражает свои мысли, любовь и мечты на бумаге. Я с удовольствием ей отвечаю.

«Partout dans la ville, sur les terrasses des collines, des fontaines, nuage, flocons d'arbres en fleur»[300]. От своих последних слов я сам пришел в восторг.

Она хочет, чтобы я поехал с famille thoursaise[301] в Испанию на следующий год. Я бы с радостью поехал — путешествие обещает быть замечательным, и она сама отличная спутница, — но я чувствую что-то вроде ответственности — теперь я придерживаюсь принципов морали только в личных отношениях — и не хочу укреплять в ней определенные надежды, хотя я и так как мог препятствовал их созреванию; «je ne veux pas voir développer une amitié désespéré, nourri de brefs rencontres et longues tristesses»[302].

В другом месте я писал о «une énigme à la jolie taille»[303].

«Je ne veux point vous faire mal, mais non plus vous charmer au point où vous oubliez notre situation et les plusieurs distances qui nous séparent»[304].

Похоже, что у «famille» планы дать концерт и, если я не смогу сам оплатить проезд до Франции, отдать выручку мне. Я тронут и несколько смущен такой заботой; честно говоря, в это трудно поверить, хотя и очень хочется.

24 февраля

Весь день гулял один. Ясный — ни облачка — сказочный день. Прошел несколько миль и никого не встретил. В центре острова необычно тихо, нет ничего, кроме местных растений. Я влезал на крутые склоны и так добрался до удаленных долин, поросших пихтами, откуда видно сверкающее лазурью море. Четко вырисовывались Пелопоннесские горы, казалось, совсем близко, несмотря на разделявшие нас десять миль залива; их

снежные шапки выглядели ослепительно белыми на фоне чистого голубого неба. Атмосфера слепила чистотой и солнечным блеском; день был так прекрасен, что мне стало неспокойно, такое совершенство чуть ли не раздражало. Я перекусил, сидя на большом камне, обращенном на запад; вся срединная часть Пелопоннеса раскрылась предо мной. Залив представлялся чем-то искусственным; полоска пенистой голубой воды окружала стоявшие напротив горы. По камню ползла черепаха. Я попробовал ее покормить, но единственным ее желанием было унести поскорее отсюда ноги. Дул теплый ветер, в воздухе пахло гиацинтами, их было множество, и над ними жужжали пчелы. Ворон прокаркал над головой. Мне захотелось пить, и я с удовольствием утолил жажду апельсином. Насытившись, стянул с себя рубашку и улегся под пихтой на солнышке; овеваемый теплым ветерком, дремал, лежа на земле, слившись с ней. Солнце и обнаженная кожа сделали свое дело: во мне проснулись эротические желания. У культа солнца эротическая основа: он порожден человеком, влюбившимся в огненное светило.

Думаю, что пейзаж, открывающийся с западных высоких холмов Спеце, самый красивый в мире. Можно встать так, что, немного повернув голову, увидишь одновременно Эрмиони и Дидиму, и тогда Греция предстает обнаженной женщиной, открывающей через пейзаж все свои тайны. Это страна Одиссея, страна странствий и подвигов древних греков. Голубые моря, пихты, снежные вершины гор — все как охлажденное вино: свежее, благоухающее.

Я спускался по длинным, залитым солнцем склонам к бухте, которая даже на этом острове, где множество прекрасных заливов, выделяется своей красотой[305]. Два мыса обрамляют далекий Пелопоннес; пихтовая роща растет параллельно сбегающей вниз дороге. Среди деревьев виднеются, поражая своей белизной, часовенка и вилла. Вдоль моря активно бродят, пощипывая траву, черные, низкорослые козы с колокольчиками на шеях. У часовни я увидел длинный плащ и сумку пастуха. Пустынный рай.

Домой я вернулся изрядно уставший: мне тяжело дался переход через серединную гряду. На фоне синего ионического неба Дидима пылала розовато-лиловым и пурпурным цветом, сменившимся вскоре на индиго. На расстоянии двух миль я услышал школьный звонок, звавший на урок. Раздались голоса из деревни, дети пели и танцевали.

Позже я пошел в Спеце, чтобы там встретиться и поужинать с Ш. Он зачитал отрывки из «Нью стейтсмен», в том числе из редакторской статьи с критикой королевских похорон[306].

Политика и короли — как далеко все это! Мы пошли в «Ламбрис», слушали, как поет Евангелакис и другие греки, смотрели, как актеры развлекаются с четырьмя афинскими проститутками, пили пиво, потом добавили полбутылки бренди, которым нас угостил хозяин, и вернулись домой, совсем не готовые к тому, чтобы бодро встретить начало недели.

Прекрасная страна с прекрасным климатом — сегодня уже третий абсолютно безоблачный день этой волшебной весны. Безупречная природа — всего лишь тонкий слой сливок на молоке реальности. Ужасный диссонанс между красотой пейзажа и современными греками. Они слепы, живут как кроты — в подземных переходах.

Нелепое несоответствие между всеми oraisons funubres[307] и высокопарной хвалой в адрес покойного короля и новоиспеченной королевы. Некрофильское обсуждение до мелочей организации похорон, критика самой церемонии — критика стала такой неотъемлемой чертой современного мира, что скоро станут критиковать даже природу, — и выражение преданности. Наибольшая глупость — параллели с великой королевой Елизаветой. В то время Англия была одним племенем, сильным, но все же иерархическим; люди не возражали, что над ними есть некто высший. Теперь же мир — это улей из множества индивидуальных сот; люди не считают себя ниже других, и у них нет семейственной, национальной любви к монарху. Монархия существует только потому, что жизнь масс бесцветна и они рады любой возможности сублимироваться. Корона — тот же психологический якорь; чуть что — и благополучно возвращает нас назад.

6 марта

Спеце может стать камнем преткновения для человека, ведущего дневник. Дни убегают как вода сквозь пальцы, особенно при хорошей погоде. Все время что-то происходит, я вижусь с людьми, преподаю, играю в теннис и не делаю ничего толкового. Ни один месяц в моей жизни не пролетал так быстро, как этот февраль. Уже несколько дней идет Масленица — Апокриас[308]. Украшена вся школа, на стенах спален и столовой — забавные фигурки и вымпелы, повсюду красиво и чисто. Сейчас на острове полно богатых родителей и хорошеньких сестер. Погода изумительная. Нам с Шарроксом оказывала покровительство богатая супружеская пара, Гованоглоусов, они прекрасно говорят по-английски и намного образованнее остальных мам и пап из нуворишей. Приехал Сотириу, председатель опекунского совета, и совершил обход спальных комнат. Плюгавый седой старичок, слабый и дряхлый, плелся, опираясь на палку; инспектирование

чуть ли не военного образца. Мальчики стояли у кроватей по стойке «смирно», пока Сотириу и его сопровождение ковыляли мимо, заглядывали в личные тумбочки и вежливо наставляли школьников. Еще один напыщенный коротышка — лет пятидесяти — шестидесяти, в рыжеватом твидовом костюме, с офицерскими усиками — исполнял при председателе роль помощника. Затем шли — директор школы, его заместитель, заведующий пансионом и длинная процессия учителей, старших учеников и родителей. Все бы хорошо, но взятый Сотириу темп похоронной процессии вызвал у самых легкомысленных из нас приступ неудержимого смеха.

Утром в воскресенье мы сидели на солнышке неподалеку от гавани, глазея на множество оживленных людей, пьющих пиво. Днем должен был состояться футбольный матч, а затем торжественная церемония в память одного из основателей. Вся школа собралась у памятника Анаргиросу. Шарканье ног, хихиканье. Одного из мальчиков послали за стулом, чтобы возложить на плечи великого человека венок. Стул поставили на нужное место. Все хорошо.

— Венок! — кричит директор. В ответ молчание. О венке забыли. Маленький, мальчик стремглав бежит за венком. Опять шарканье, смешки. Мальчуган возвращается, у него в руках большой лавровый венок. Директор стоит с венком в руках, он смущен. Он только что осознал, что выпускник школы, которому поручено возложить венок, отсутствует. Шарканье, смешки. Видно, что старшеклассники бегут не по той тропе, они заблудились. Раздаются крики. Старшеклассники, потеряв головы, бегут к месту церемонии через кусты, наступая на клумбы. Смех. Преподаватель физкультуры сердито кричит на них. Воцаряется молчание. Выпускник торопливо поправляет галстук, приглаживает волосы, ему вручают венок.

— Смир-р-рно! — кричит физкультурник.

Лица всех обращены к школе и памятнику. Греческий флаг медленно плывет вверх. Половину пути он проходит хорошо, но потом что-то в механизме флагштока заедает. Судорожные рывки, флаг немного опускается, потом резко дергается вверх. Но преодолеть помеху не удается. Все кусают губы, чтобы не рассмеяться.

Выпускник смотрит на директора, директор оглядывается; шарканье, смешки. Выпускник выступает вперед, чтобы возложить венок. Он явно не понимает, почему всех душит смех. Кладет венок у основания памятника и быстро возвращается на свое место. Кое-кто из мальчишек смеется.

Директор и старшеклассники стоят и смотрят друг на друга;

директор делает знак шляпой. Старшеклассники растерянно переглядываются. Молчание становится невыносимым. Каждый ожидает, что кто-то произнесет речь.

Наступает звездный час преподавателя физкультуры.

Он свистит в свой свисток. Ученики начинают переговариваться, родители тоже зашевелились. Кризис предотвращен.

Директор говорит:

— Хорошо!

Старшеклассники склоняют головы. В душе все смеются. Физкультурник снова свистит. Ученики расходятся, смеясь и болтая. Директор останавливает маленького мальчика и заставляет его водрузить венок на плечи статуи. Старшеклассники стараются скрыть смущение.

Церемония окончена.

Только Анаргирос возвышается над этим абсурдом. Пустые глазницы его каменной головы идеалиста, человечного, проницательного, терпимого и благородного, смотрят куда-то вдаль, поверх этой нелепой толпы. Голова великого идеалиста, почти мечтателя. Его мечта очень далека от своего осуществления, но камень терпелив.

Памятник, кстати, совсем не похож на его портрет, но факты говорят, что духовный человек в нем был почти так же прекрасен, как статуя.

10 марта

Лучшим днем праздника был последний, когда мы на каике поплыли через пролив к деревушке на материке — довольно грязной — Порто-Хели. Чудесный день. Пелопоннес виден как на ладони, волны нас нежно покачивают, небо безоблачно. Мы зашли в деревенскую таверну и пообедали под рожковым деревом; ели исключительно греческую еду — праздничные белые булки, креветки, крупные, сочные оливки, больших моллюсков, лук, салат и халву на десерт; пили узо и рецину. Ш. и я сидели за столом с чьими-то родителями. Греческие танцы не прекращались, танцевали все, обнявшись за плечи, под музыку, несущуюся из граммофона, установленного у дверей. Звучал смех, лилось солнце, дул легкий ветерок. Младшие дети запускали змея; кто-то собрал большой букет темно-красных анемонов и поставил его в стакане среди тарелок на наш столик. Они простояли весь день на ветру и остались такими же свежими — больше других цветов напоминая о древних греках.

20 марта

Время летит быстро; неделю я провалялся в постели с гриппом. Больным я себя совсем не чувствую — просто нет

желания снова надевать хомут, когда можно отсидеться дома. Моральная неустойчивость — вот как это называется. Слава Богу, в школе от меня не требуют ничего особенного. Могу отдавать все свое время собственным проблемам. Это место — просто находка. За ту ничтожную работу, что я здесь выполняю, получаю кучу денег и удовольствия в придачу.

Экскурсия на Спетсопулу, прелестный островок в миле к юго-востоку от Спеце. Там почти никто не живет — не остров, а жемчужина. Мы с Шарроксом отправились на долгую прогулку вдоль южной оконечности острова — по высокому крутому берегу; он постепенно разрушается — трещины доходят до самых скал. Спокойная морская зыбь и отличный вид на Пелопоннес, растянувшийся вдалеке на многие мили. Горячие Камни, сверкающее море. Мы шли по заросшей тропинке, вдоль нее росли розовые гладиолусы и ярко-желтые кустики мяты; попадались целые полянки невысоких белых лилий и очаровательного дикого лука — его еще называют трехгранной черемшой. С самого высокого места мы увидели цепь рощиц в окружении террас, нависших над морем. На этих островах, куда ни посмотришь, повсюду море, или, точнее, *талласса*. Я видел удода, коричное дерево, черно-белую сойку на выбеленной скале. Послышалось мощное хлопанье крыльев — рядом с утесом пролетел сокол. Эти утесы, рощи, холмы, террасы и пихты, море и небо — как рай, и все воспринимается как открытие. Каждый день приносит что-то новое — новые цветы, новые птицы. Такой пейзаж всех приведет в восторг, но пейзаж — еще не все. Птицы и цветы — это речь, движение и одежда на обнаженном безжизненном теле. Без естествознания мир — всего лишь фрагмент. Глядя на Шаррокса, я особенно это понимаю: он не знает ни птиц, ни цветов. Для него, как и для многих других, они — не имеющие смысла иероглифы.

Назад мы возвращались мимо стоявшей особняком фермы — вокруг луга, бродят пони. Вполне ирландская картина. Учителя с женами обедали на большой вилле. Все мы сидели за длинным столом, во главе с директором, по-отечески заботливым и веселым. Обед длился до обидного долго. Снаружи залитый солнцем чудо-остров, а мы торчим в столовой, что-то бесконечно жуем и обмениваемся остротами из школьного юмора. Докос, учитель музыки, желчный, лысый мужчина с землистым цветом лица, завистливый и тщеславный, выставил себя клоуном — залез на стул и изобразил однорукого дирижера: высунув из брюк палец, как будто это пенис, он, на то время пока сморкался, вкладывал в него дирижерскую палочку. Нас с Шарроксом эта шутка поразила: на обеде присутствовали жены учителей — пять

или шесть, — и важная родительская чета — пожилая дама и ее муж. Но все смеялись, хотя некоторые при этом заметно нервничали, а одна дама — к ее чести — не побоялась выразить на лице отвращение. То, что в таком обществе возможна подобная выходка, многое говорит о греческом коллективе. Позже тот же Докос рассказывая непристойные истории, перешел все границы — в Англии такое было бы невозможно за обедом даже в самой современной компании. Не gaulois[309], а именно непристойные. Не выношу гремучую смесь азиатского и буржуазного в Греции — вроде нечестивой свадьбы между арабом и швейцаркой. Египтиадис пропел свой обычный репертуар и подвергся безжалостному вышучиванию. Глаза его насмешливо улыбались, он как будто думал: «Как же я вас всех ненавижу!» Он привлекает к себе внимание, и потому Докос и Гиппо злобно и ядовито его высмеивают.

Можно сказать, это был день, когда Греция и современные греки вступили в решительное противоречие.

5 апреля

Карагеоргис, 4 «А». Стройный, похожий на фавна ребенок с копной черных волос, раскосыми глазами и небольшим красивым ртом. Кажется, что он постоянно где-то витает: то смотрит куда-то вбок, в какую-то таинственную даль, то становится бешеным и неуправляемым — словом, живет только в двух темпах — замедленном и убыстренном. Остро реагирует на ерунду: может от пустяка-расплыться в прелестной непосредственной улыбке, а мелкая неудача вызывает в нем приступ ярости. Сегодня, к примеру, не смог ответить на некоторые вопросы теста. Какое-то время он сидел с отрешенным и мрачным видом, потом вдруг встал, подошел к моему столу, швырнул работу и пошел на свое место. Я крикнул, чтобы он вернулся. Каждый мускул его тела был напряжен, вид оскорбленный, в глазах — мука. Внезапно я понял, что он плачет. Что-то садистское проснулось во мне, я повел себя жестко. Дело того не стоило. По словам мальчика, у него не было времени повторить материал. Я приказал ему выйти из класса. Он молча стоял, охваченный юным гневом, почти не в силах сдвинуться с места. Я разорвал его работу и сказал, что он на две недели лишается бассейна. Мальчик бросился к парте, уронил голову на руки, лицом вниз, и зарыдал. Остальные ученики продолжали трудиться. Прошло десять минут. Я написал на доске еще несколько вопросов. Карагеоргис поднял глаза — они были все еще красные от слез, но вдруг засветились радостью. Он подошел ко мне и спросил, нельзя ли ему попробовать еще раз. Подобрал разорванную работу, переписал предыдущие ответы и задумался над новыми вопросами. К концу

урока он уже улыбался и объяснял то, что я говорил, другим школьникам. На перемене, играя с ребятами, он вдруг на секунду поднял глаза, улыбнулся мне счастливо и взволнованно, дружески помахал рукой и вернулся к перетягиванию каната. Воплощенный дух апреля тринадцати лет от роду; нужно ли говорить, что я его не наказал.

Сейчас, в конце семестра, я все больше осознаю дремлющее во мне гомосексуальное начало. Мне нравится проводить время с некоторыми учениками, смотреть на них, говорить с ними. Это меня не тревожит: некоторым мальчикам на исходе отрочества неопределенность половой принадлежности придает женственные черты, и они очень красивы. Озорные, полные жизни и щенячьей невинности, они как весенние песни птиц или фруктовые деревья в цвету. Иногда мне кажется, что я купаюсь в реке нежности, но вода поднимается и есть опасность наводнения. Я знаю, что никогда не потеряю головы и не позволю себе соблазнить кого-то из них. Так уж я устроен: могу признаться в потаенных мыслях и даже потешить себя фантазиями, не видя в этом зла, но дальше не пойду.

Фарс в учительской. Сегодня мы с Гиппо начали переводить на греческий язык список действующих лиц «Сна в летнюю ночь» — для драматической программы летнего семестра. Все шло хорошо до тех пор, пока не пришел черед персонажа под названием Bottom[310]. Я объяснил, что здесь имеется в виду скорее определенная анатомическая часть, чем что-либо другое. Гиппо сказал, что единственное греческое слово с таким значением звучит очень грубо.

— А что вы говорите, когда нужно назвать именно это место? — спросил я.

— Употребляем эвфемизм. Говорим «нижняя часть спины» или «верхняя часть бедра». Вот так.

Я рассмеялся. Тут в учительскую вошел преподаватель богословия. Гиппо попросил его совета. Тимайгенис пришел в ярость.

Он что-то гневно проговорил, пулей вылетел из комнаты и почти сразу же вернулся с директором — он говорил без остановки и указывал на меня, будто я прокаженный. Завязался спор, который длился почти час. Переводить или не переводить это прозвище? Подошел заместитель директора, все высказали свои точки зрения, присоединились и другие учителя. Все единогласно (за исключением меня) решили, что Bottom — грязное и неприличное слово.

— По-гречески это звучит ужасно, — сказал Гиппо. — Просто ужасно.

Но не только Bottom оказалось непереводимо, все остальные прозвища афинских пастухов тоже вызвали глубокое сомнение. Нельзя забывать про родителей; господину Вракасу вряд ли понравится, если его сына будут называть Рылом. В конце концов решили не переводить скандальные имена и оставить их на английском.

Было видно, что директора этот случай чрезвычайно взволновал. В заключение он сказал:

— Нельзя, чтобы пьеса показалась забавной.

Он даже не представлял, какой ужасный сюрприз его ждет.

После этой в высшей степени пуританской (и типичной) бури в стакане воды из-за «гнусного» прозвища Bottom, в тот же самый день в школе произошло совершенно парадоксальное событие. Шестой класс устроил вечер в честь окончания семестра, на который пригласили десять — двенадцать преподавателей (в том числе и Старика). Мальчики украсили комнату и соорудили небольшой помост для оркестра из четырех учеников. С одобрения улыбающегося директора начались танцы. Рослые мальчики выбрали партнеров покрасивее; они танцевали самбу, танго, фокстрот, прижимаясь друг к другу явно с удовольствием. Некоторые просто весело проводили время, другие же, как мне показалось, испытывали при этом не вполне невинные эмоции. Дружеские чувства на практике вдруг оказались любовными. Для меня все это выглядело довольно безвкусным, а после утренней пуританской сцены еще и забавным.

В дополнение к характеристикам современных греков — питьевая вода и канализационные трубы проходят у них рядом; их мозги то подвергаются мощной дезинфекции, то просто смердят, и все это невероятно инфантильно. В каждом греке уживаются два совершенно разных человека.

11 апреля

Семестр близится к концу. Если не произойдет ничего чрезвычайного, я еще здесь поработаю. Учителя мне не нравятся, как и школьная система, и публичный характер (Тартюф) современного грека, но это уравновешивается восхищением красотой местной природы, пустынностью острова — можно бродить часами и не встретить ни одной живой души, только растения и насекомые, даже птиц почти нет, — восхитительным климатом и привязанностью к некоторым ученикам. Мальчики рано развиваются, в них есть цинизм, делающий их слегка faisandé[311]; даже в самых невинных есть что-то порочное. Здесь не встретишь розовощекого английского мальчугана с личиком херувима; тут не обошлось без дьявола — в облике юных греков есть нечто от фавна, и еще они более практичны.

Юноша, сидящий слева от меня за столом, Гларос (в переводе «чайка» — подходящее для него имя: он очень красив, пернатый тезка уступает ему), интересует меня больше остальных. Он жил в Америке и служит мне переводчиком; иногда мы просто болтаем друг с другом. Высокий, стройный, очень смуглый, с явной примесью восточной крови: я вижу в его лице черты арабской красавицы. Выразительные темные глаза; нежные пухлые алые губы; смуглая, теплого оттенка кожа; невероятно длинные загнутые ресницы; от него веет обольстительной атмосферой «Тысячи и одной ночи». Он постоянно говорит о девушках; открыто обсуждает со мной других учителей и критикует школу. Однажды даже сказал мне, что не верит в православие. Не по годам развитый мальчик, эгоцентричный, темпераментный, ему совсем не место в таком неприветливом и ограниченном заведении, как эта школа.

15–30 апреля

Пасхальные каникулы. Казалось — не столько сознательно, сколько бессознательно, — необходимые; теперь же, вернувшись, вижу, что становлюсь почти во всех отношениях островным, замкнутым человеком.

Ездил на Крит с Шарроксом. Вести дневник было трудно. Удавалось делать лишь краткие записи — одну-две ключевые фразы (ключи часто от пустых комнат). Мгновенное фиксирование легко оборачивается просто красивой фразой, ловушкой, сладкоголосой сиреной; это сбивает с пути и вносит ненужную путаницу. Стоит подождать, и перспектива появится; если же в момент записи происходили вещи, которые, на твой взгляд, были важны и заслуживали внимания, но впоследствии забылись, значит, память распорядилась по-своему. Raturer le vif[312] — вот что нужно.

Кроме того, и Шаррокс и я стесняемся наших литературных амбиций, хотя и проводим много времени в беседах о писателях и литературном творчестве. Его мир полностью сводится к литературе. Но мы никогда не показываем друг другу наши сочинения, не обсуждаем нашу работу; писать в присутствии другого означало бы пойти — настолько мы сдержанны в этом плане — на почти непристойное сближение. Есть много общего между застенчивой девственницей и еще не печатающимся молодым писателем — оба испытывают адские муки, не могут быть искренними и патологически робки. Те немногие записи, что я сделал, написаны в редкие минуты, когда я оставался один. Точнее, в те редкие минуты, когда мне хотелось писать и я был один.

11 мая

Этот семестр отличается от остальных. Новый распорядок — занятия с восьми до часу, потом дневной сон. Каждый день перед ленчем плаваю. Жарко; небо обычно затянуто легкой дымкой облаков, трава пожухла, пыль и потрескавшаяся земля. Иногда дует ветер — горячий и совсем не освежающий. Вечером душно, донимают комары. Дни знойные, сухие, безжизненные, жизнь кажется безрадостной. Гор не видно, они постоянно затянуты дымкой. Я жажду дождя, грома, прохлады. Иногда мне кажется, что я в полубессознательном состоянии, ослабевший, заторможенный. Ничего не пишу, в том числе и стихи. Дни пылают и догорают, пылают и догорают — безжалостно, как дуговая лампа.

Ежедневно плаваю по часу с маской. Это делает существование терпимым, появляется стимул жить. Мгновенный шок от вхождения в воду, затем медленное движение над камнями и морскими водорослями; я рассекаю воду над таинственным и полупрозрачным иным миром — морских ежей, морских звезд, голубого песка и темных щелей, зелени и медуз, театральным миром балета или немого кино, где все движения грациозны и непредсказуемы. Здесь много видов рыбы, чаще всего встречаются разновидности брамы: размеры этих рыб колеблются от пенни до большой столовой тарелки. Эти серебристо-серые диски с черным пятном у хвоста плавают стайками и даже пристраивались за мной — особенно когда я переворачивал камни; так дрозды внимательно следят, как копает садовник. Я видел длинных полосатых рыб, уродливых и нелепых морских ершей, оригинальных маленьких ярко-красных и ярко-желтых морских собачек, великолепных рыб с длинными ярко-изумрудными боками, синими плавниками и хвостом. И зеленых, с оранжевыми плавниками и пятнами на спинке. И маленькое царственное существо с шестью лапками и громадными относительно крошечного тельца, ярко переливающимися лазурными плавниками-веерами. И крупных рыбин жемчужного цвета, вроде лосося, с печальными глазами; они плавали вокруг меня — очень близко, но мне никогда не удавалось их поймать. Я боюсь осьминогов и акул. В Греции от акул ежегодно погибают лишь один-два человека, но об этих чудовищах трудно забыть — есть что-то завораживающее и пугающее в плавании над глубокими пещерами и подводными грядами в голубовато-зеленой воде. На расстоянии камни кажутся неподвижно застывшими фигурами, они таятся и поджидают тебя.

Мицо, школьный почтальон, перебрал сегодня все письма, чтобы узнать, нет ли корреспонденции из Англии. Нашелся большой конверт на имя учителя, покинувшего школу еще до

войны. На нем я увидел слово «Бедфорд». В конверте оказался альманах «Выпускники Бедфорда», посланный по непонятной причине в нашу школу, хотя Ноэль Пейтон уволился еще в тридцатые годы. Я прочитал альманах и словно вновь посетил забытые места; ожили старые воспоминания. Внутренне я еще не примирился с Бедфордом, хотелось о нем забыть. Впрочем, последние годы мне там нравилось. Однако школа года на два затормозила мое умственное развитие. Я стал взрослеть только на последнем курсе Оксфорда. Дух альманаха казался старомодным, затхлым. Наивный викторианский мир школьных ценностей, сентиментального былого товарищества. Из альманаха я узнал новости о моих ровесниках. Похоже, они так и не стали самостоятельными личностями — участвуют в проекте «Выпускники Бедфорда», держатся вместе. Тоже иллюзия — по крайней мере на 99 процентов; я же предпочитаю полный разрыв с прошлым, стопроцентную изоляцию.

14 мая

Пять миноносцев и две подводные лодки таинственным образом объявились у берегов Спеце и встали на якорь. Рейд греческого флота. Зловещие очертания в мирных водах.

* * *

Генри Миллер «Колосс Маруссийский»[313]. Энергичный, мощный стиль, хотя мне не по душе этот постоянный, бьющий ключом энтузиазм; к концу книги складывается впечатление, что говорит приходской священник, пытающийся оживить скучное чаепитие. Взгляд Миллера на современного грека кардинально отличается от моего, и непонятно, кто из нас прав. Мне кажется, прав я, хотя, возможно, эта уверенность слишком субъективна. В настоящий момент мне трудно найти в современном греке что-нибудь хорошее. Миллер по крайней мере заставляет об этом задуматься.

«Сейчас Греция — единственный райский уголок в Европе». Греческие пейзажи подобны музыке Моцарта. Миллер рисует, выдавливая краску из тюбика и размазывая большим пальцем. Однако по сравнению с его ярким письмом мой стиль скучный и пресный.

23 мая

День в духе Миллера. Сегодня я отправился бродить по холмам. Яркое солнце, приятный ветерок, все вокруг сияет. В глубине острова все выжжено солнцем — цветет только голубовато-лиловый тимьян и желтоватый утесник. Но пихты дают тень. Птиц нет, мало бабочек, зато много ос, пчел, мух, кузнечиков. Небо свободно от облаков, пшеница желто-соломенного цвета. На противоположной стороне небольшой долины три девушки пели ритмически мощно и резко. Я никогда не слышал такого пения, оно было в полном соответствии с сухостью и великолепием дня. Только отчасти это напоминало песню, в пении не было нежности, полутонов, оттенков, — так можно петь только на открытых, залитых солнцем холмах. Девушки пели в полный голос — неистовые юные жрицы солнца. Перед тем как они запели, я и представить не мог, что на фоне такого пейзажа может что-то звучать. И вдруг девушки подарили ему голос. Они спустились по тропе к водоему, потом пошли обратно. У одной были обнаженные загорелые руки, черные волосы. Я не видел, красива ли она. У меня был бинокль, но пользоваться им не хотелось. Девушка подоткнула верхнюю юбку, солнце засверкало на нижней. Еще с полчаса я слышал их пение. Оно все больше удалялось.

Июнь

Мопассан «Мисс Гарриет».

Читая Мопассана, я почувствовал, как меня охватывает волна

безысходности. Ни один писатель не превзошел его в наитруднейшей технике письма — реализме. Я не надеюсь когда-нибудь достичь такого мастерства.

Здесь я бездельничаю. Греки заразили меня своей эгоцентричностью, медленным сползанием от солнечного блеска к загниванию. Загнивание на солнце — вот что такое жизнь здесь. У меня есть время, но нет желания его использовать. Я недоволен всем, что делаю сейчас и делал раньше.

Ученики, учителя, школьная система — все действует мне на нервы. Греки изменили меня, теперь я подавлен, полон презрения и je-m'en-foutiste[314], ожесточенный и яростный, всегда готовый излить на другого свою злобу. Меня выводят из себя мелочи, ничтожные случаи. Единственное, что осталось во мне от пуританина, — чувство времени, оно заняло место нечистой совести. И то, что оно бездарно пролетает, мучает меня. Червяк в бутоне лотоса.

4 июня

Прекрасные дни. Жаркое солнце, безоблачно. Небо насыщенного синего цвета, море — сама нежность. Приближается день ежегодного школьного праздника, царит суматоха — репетиции, подготовка костюмов, новое расписание, бесконечный список необходимых дел.

Как-то я шел вдоль берега к Византийской бухте; солнце — как комета, ветер, на склонах холмов никого — ни птиц, ни животных; мало цветов и бабочек. Даже рептилий не видно. В такие минуты понимаешь, что на острове ощущается нехватка воды. Деревья дают тень, растительность есть, но какая она скудная, жухлая. Сейчас буйно цветет только тимьян, однако в тени рожкового дерева я видел семейство ярко-розовых васильков, звездочки герани. Залив пустынный, еще более пустынный, чем небо. На одном конце пляжа стоит развалившаяся мельница. Я плавал, рассматривал рыб, потом выплыл за границу бухты — туда, где скалы ступенями таинственно и пугающе уходят в сине-фиолетовую бездну. Когда плывешь над подводной пропастью, появляется ощущение полета, как у птицы. Выбежав на берег, я бросал камешки, стоял на солнце. Казалось, прошло не больше часа. Вокруг по-прежнему не было никаких признаков присутствия человека. Все еще во власти четырех стихий, я заторопился в школу, чтобы успеть на ленч, и там с удивлением обнаружил, что опоздал на два часа.

Поход в деревню. В сумерках холмы окрашены по-кошачьи мягким, серо-голубым цветом, их контуры ярко вырисовываются на фоне слабого лимонно-голубого сияния безоблачного неба. Над темной стеной Пелопоннесских гор огненно-красные завитки

облаков. Ветер покрыл море рябью, острова вдали затянуты призрачной — серой, розовой, голубой, фиолетовой — дымкой. Кроваво-красный гибискус у ослепительно белых домиков. Деревенские дети играют у дороги, пожилые женщины сидят и болтают на крылечках. Мы проходим мимо древней сгорбленной старухи в черной юбке, синей линялой кофте и серой повязке на голове; она прижимает к груди три крупных незрелых лимона цвета сегодняшнего заката. Мгновенная восхитительная картина — не щемящая, а ласкающая душу. Маленькие девочки в красных платьицах на краю моря.

Мы сидели в небольшой таверне «У Георгоса», смотрели на Дидиму, отделенную от нас морем; постепенно ее очертания затягивались тьмой. Ели жареную жирную рыбешку, в большом количестве поглощали оливки, огурцы, запивая все пивом. Говорили мало.

На открытом воздухе прошла репетиция отрывков из пьес Мольера на французском языке. Все собрались посмотреть на это зрелище под звездами. Люди, запинаясь, произносили французские слова. Мальчишки смеялись над одноклассниками, которые исполняли в платьях женские роли. Из-за тучного ученика, игравшего Аргана[315], репетиция прервалась на две минуты — он вышел в бархатном пурпурном костюме, остановился и молчал, густо покраснев и от смущения, и от злости. Постановка никуда не годилась. Школьникам — простительно, а вообще пьесам Мольера требуются профессионалы высшего класса.

Потом пел хор — марши, патриотические песни, школьные. Все песни на один манер. Докос, учитель музыки, с жаром дирижировал. Когда он резко соединял руки, его пиджак взмывал вверх, открывая на всеобщее обозрение засаленные сзади брюки. Все давились от смеха.

— Il a de belles fesses[316], — сказал я учителю физики.

Лоснящийся зад то появлялся, то пропадал, гипнотизируя всех нас. Прозвучала соната Моцарта, потом что-то из Гайдна, «Plaisir d’Amour» на двух визгливых скрипках. Учитель богословия тихо что-то бубнил; он твердолобый византиец и, должно быть, недолюбливает Моцарта.

Я спросил Гларoса, понравился ли ему и его товарищам вечер.

— Не знаю, — ответил он. — Мы спали.

В нем есть привлекательная утонченность и изощренность соблазнителя — в тринадцать лет. Теперь я всегда сажаю его рядом с собой за столом. По крайней мере он бегло говорит по-английски. Озорной, очень красивый, глубоко презирает школу,

из-за него я теперь всегда тороплюсь в столовую. Не могу сказать, что влюблен в него. Однако если почему-то он не выходит к столу, я чувствую острое разочарование.

Странный, по-своему красивый сон. Как будто я живу за городом в некоем удивительном доме. Ближайшие соседи — в нескольких милях, там живет девушка, ждущая от меня известий. Я не могу ее навестить. Кто-то, какой-то старик — наверное, ее отец, — постоянно звонит, желая что-то сказать, но это касается не дочери, а чего-то другого, потому что, когда однажды надо мной пролетал самолет, он разрешил мне сказать (кому?), что на нем мое письмо. Помнится, я направил бинокль в ту сторону, где жила девушка, и долго смотрел. Я увидел блондинку (Кайя)[317] в красном плаще и резиновых сапогах, за ней шел мужчина, в котором я угадал соперника, и почувствовал ревность и злость. Потом пришло известие, что девушка покончила с собой. Следующее, что помню: я сижу за столом, в комнату входит Дионисос, один из школьных официантов, и говорит: «Она написала стихи о тебе». В руках у него большой лист, на нем множество напечатанных строф. Неожиданно я ощущаю прилив радости. Не помню, чтобы я испытывал горе по поводу смерти девушки. Переданный Дионисосом лист бумаги становится в моих руках книгой. Странной книгой, полной сюрреалистических фотографий и всяких печатных трюков. Название — нелепая игра слов. Я его не помню, но автором значился А. К. в роли Графа. К моему величайшему сожалению, я увидел дату издания — 1916 — и печально улыбнулся, решив, что это шутка. Но когда стал читать книгу, то заметил, что она необычно напечатана: казалось, каждая ее страница покрыта тонким слоем кремовой краски, — и тогда я понял, что книгу реставрировали. Некоторые страницы выглядели черными, рисунки и печать невозможно было различить под закрепляющими эмульсиями. На других же поверх них чернилами были нанесены новые записи, а фотографии четко показывали, что 1916 год — неверная дата. На глаза мне попалась фотография девичьей головки поразительной красоты — классические черты лица, высокие скулы и большой выразительный рот. Девушка была похожа на Марлен Дитрих, или, скорее, печальным выражением лица, на Грету Гарбо. Проглядывало и что-то общее с Констанс Фаррер, но девушка была гораздо красивее; длинные волосы обрамляли ее лицо. На одной фотографии она радостно улыбалась. На другой, напротив, была очень грустной — смотрела куда-то вдаль, а над ней висел муляж черепа. Я увидел там и свою фотографию, на ней отсутствовал рот, — вообще вся нижняя часть лица была плоская и невыразительная. Внизу — подпись, что-то вроде: «Садовник»

или «Мой любимый садовник». Надо сказать, тема сада проходила сквозь всю эту книгу воспоминаний. Необычный фронтиспис — нарисовано окно, за стеклом широко улыбается бледное лицо. Поверх окна крупными буквами написано: «PAPADOPOULOS, A MOI LA REVANCHE!»[318] (Интерполяция — посредством Дионисоса — в основной сюжет сна?)

Самым интересным для меня в этом сне было лицо девушки. Я сразу же ее узнал, и меня охватила нежная, романтическая грусть при мысли, что она умерла. Когда я проснулся, мне показалось, что я хорошо ее знал. Но где? Очевидно, что не в жизни (если это не К. Ф. и Брейфилд). Может, она пришла из другого сна? Я потом еще видел ее во снах, но содержания их не запомнил.

10 июня

Летний школьный праздник «В кругу семьи»; на три дня родители превратили остров в ад. Бесконечные рукопожатия, лицемерие, интриги, обжорство. Всей школой мы спускались к пристани, чтобы приветствовать прибытие «Нереиды» — парохода, на котором приплыли комитет[319] и основная масса гордых родителей. На пристани мальчиков, одетых в белые костюмы, выстроили в два ряда, меж ними, подобно новобрачным, проходили гости. Наиболее почтительные учителя — по сути, весь греческий личный состав — окружили важных персон; обычная восточная возня за право пожать руку человеку, занимающему более высокое положение. Множество льстивых улыбок и притворной веселости. Напыщенность греческих высокопоставленных чиновников и низкопоклонство подчиненных отвратительны. Это приводит меня в ярость, и я становлюсь мрачным.

Долгий уик-энд, полный всяческих церемоний, богато одетых некрасивых женщин и тучных мужчин в серых костюмах. Все родители одинаковы — буржуа, нувориши; говорить с ними невозможно. Исключения все же есть; отец Везироглу, обворожительный доктор с усами моржа, от него исходит ощущение мудрости и добродушия. Еще один замечательный пожилой человек, у него юный сын, и нельзя не заметить, как нежно они любят друг друга, как поглощены общением; отец задумчив и молчалив, да и сын тоже говорит мало, их переполняют эмоции и чувство удовлетворенности. Но остальные довольно мерзкие. Никогда еще Мольер и Моцарт не метали бисер перед таким количеством свиней.

Устроили спортивные соревнования, стадион был набит до отказа. Когда поднимали греческий флаг, все встали. В середине подъема что-то треснуло, и, ко всеобщему ужасу и моему

восторгу, флаг рухнул на землю. Члены комитета — мы сидели в королевской ложе — были в ярости, ученики оцепенели от страха, директор почти в слезах. Быстренько принесли еще один флаг и прикрепили к мачте. Я сожалел, что флаг не достиг вершины. Он был огромен, а мачта хлипкая и тонкая, как розга. Думаю, тогда зрелище было бы еще веселее. Все пошло обычным порядком, но атлетические соревнования прервали в середине: приехал заместитель премьер-министра, Венизелос[320]. Все приостановилось, смешалось, оркестр заиграл до нелепости слащавый приветственный марш. Великий человек, пяти футов росту, пересек поле, вызывая представление о диктаторе на отдыхе, за ним толпой следовали разные знаменитости. Краснолицый белобрысый коротышка щедро помахивал всем рукой политика, расточал вежливые улыбки политика и демонстрировал грубовато-добродушные манеры политика. Даже четырехлетний карапуз мог бы догадаться, что популярность этого дяди раздута, что он всего лишь марионетка, ничтожество. Послышались вежливые аплодисменты, один или два энтузиаста что-то выкрикнули. Все презирают Венизелоса. Известно, что он держится только за счет заслуг отца и крупных капиталистов, чьи интересы он поддерживает. И как все же характерно, что греки его терпят, называют «великим», несмотря на всю его очевидную заурядность. Он вознесся, и его чтут. Ни один человек в Греции не добился большего.

Мы с Шарроксом в этот вечер лицезрели писателя Кацимбалиса. Это его Генри Миллер назвал Колоссом в «Колоссе Маруссийском», плохой книге, как мне теперь кажется и в чем я убедился, увидев воочию Кацимбалиса. В нем есть что-то от обманщика и прирожденного болтуна, у которого одна забота — произвести впечатление на окружающих. Дородный, крепкий мужчина лет примерно шестидесяти, седая шевелюра, брюки цвета хаки и трость. Что-то армейское есть в его облике, наигранная веселость. Его портрет в книге Миллера, похоже, так же точен, как описание Пароса[321].

Кацимбалис находился в обществе семейства Тэтем, директора Британского совета в Афинах и его жены. Муж — высокий, весь во власти условностей, типичный англичанин; из тех, про которых понятно, что они преподавали в Итоне, еще до того, как они сами об этом скажут. Жена — великанша с лошадиным лицом, из среды крупной буржуазии. Жеманная, неглупая, пьющая джин женщина, явно презирающая мужа. Он курит трубку — старший офицер, который снизошел до общения с подчиненными. Не могу сказать, чтобы он мне решительно не нравился; ему повезло, что у него такая противная жена, — по

контрасту с ней он смотрится неплохо. Это особы, помешанные на карьере, снобы, коллекционирующие знаменитостей, однако они очень влиятельные люди, и потому я предал себя, став послушным пай-мальчиком и энергичным спортсменом. Похоже, литература их не интересует.

Наша пьеса (в основном моя) имела (как мне кажется) успех. В амфитеатре было много народу, тысячи две или около того, над шутками смеялись. Думаю, результат стоил наших мук. После спектакля обычные горячие, неискренние поздравления. А во время представления за кулисами сплошные волнения. В «Сне в летнюю ночь» были заняты двадцать греческих мальчиков, а с ними не очень-то поспишь! Эта необычная труппа обожала торчать за кулисами. Постоянный страх провала и борьба — чтобы его избежать.

После того как все кончилось, мы с Шарроксом пили до 2.30 в таверне «У Георгоса» и любовались морем. Ш. несколько разоткровенничался — сказал, что не умеет быть грубым с людьми. Как обманчива внешность, скрывающая застенчивую, робкую личность! Под конец он напился и, когда мы возвращались, пытался поджечь наш театр на открытом воздухе. Но, увидев, как пламя стало распространяться, быстренько его затушил. Он делал это дважды, но не в его натуре дать себе волю. Думаю, все, на что он способен, — это прожигать в пустом театре дырочки в декорациях.

Сейчас все вернулось к норме, воцарился покой.

11 июня

Пустота и поверхностность нашей школы. Наш коллега Абделидес, учитель французского, старый, страдающий заиканием румынский грек, эгоистичный, обидчивый, нервный и злой старик, задал своим дребезжащим, невнятным голосом вопрос на греческом языке Афанассиадису, нашему двенадцатилетнему школьному шутнику. Тот без всякой задней мысли, совсем не желая обидеть учителя, ответил, не подумав, по-английски. Абделидеса это вдруг задело за живое, он вскипел, стал орать и колотить мальчишку, пока тот не разревелся. Абсолютно неадекватная реакция. Когда Абделидес проходил мимо меня, я спросил:

— Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait?[322]

— Je l'ai demandé (типичная грамматическая ошибка) une question, il m'a répondu en anglais. Voilà le type![323]

Бедняга Афанассиадис стоял и рыдал, иногда издавая беспомощные протесты.

* * *

Экзамены Абделидес превращает в фарс. Раздав вопросы, он тут же начинает ходить по комнате, подсказывая ученикам ответы: нужно, чтобы результаты его деятельности пристойно выглядели. Гиппо, присутствовавший на одном таком экзамене, вернулся, кипя от возмущения, и спрашивал меня, как ему поступить. Он был готов закатить скандал. Я посоветовал ему пойти к директору. К моему удивлению — я-то думал, он ищет для себя выгоды, — Гиппо спросил у директора, мог ли он в качестве наблюдателя помешать учителю помогать ученикам. Директор довольно резко ответил, что его обязанность — следить за дисциплиной, и больше ничего, и прибавил, что Абделидес поступает правильно, помогая ученикам.

Тимайгенис, учитель богословия, предупредил учеников, что они получат высший балл, если напишут хотя бы одну страницу на его экзамене.

Иногда на меня нападает тоска — сегодня мне пришлось пять часов надзирать за учениками, готовящими домашние задания. Мальчики с четырех до девяти находятся взаперти, их выпускают только два раза, на десять и на двадцать минут. На сегодня у них такое расписание: подъем в 6.00, занятия 6.00—7.30, завтрак, экзамен 8.00–10.30, занятия 11.00–13.00, обед, сиеста 14.00–16.00, занятия 16.00–21.00, ужин, сон — 22.00. Очень плотный график — сегодня вечером они сидели с остекленевшими глазами, шуршали бумагами, зевали, дерганые, уставшие. Им даже не разрешают плавать — за исключением особых дней, когда они слишком измучены, чтобы заниматься.

Мелкие интриги, лицемерие, убогость школьной системы душат меня. Атмосфера, близкая к иезуитскому колледжу, здесь — поколение за поколением — губит учеников. Ненормально жесткие порядки, слишком большие нагрузки, нечестность и лживость на всех уровнях — в суждениях, оценках, целях, результатах. Мальчикам следовало бы бегать по острову, им нужно дать больше свободы, достаточное количество времени для разного рода увлечений, игр, а в оценках проявлять больше строгости. Но прежде всего — жесткая система наказаний. Пусть наказанием станет свежий воздух — без него школа навсегда пребудет затхлым учреждением, теплицей, где зреют компромиссы, интриги; местом, презираемым учениками и ненавидимым учителями.

Тем временем наступает время дружной трескотни цикад; солнце непрерывно шлет с неба раскаленные лучи; море синее и, как всегда, ласковое, великолепное. Слава Богу, бриз не прекращает дуть.

Светоний — о Нероне, самом удавшемся злодее в его галерее.

Он встал на сторону зла по собственному выбору — логическому, в то время как другие поступали так по традиции или по собственной слабости. Чувствуется, что Нерон мог бы с тем же успехом стать хорошим человеком, — во всяком случае, выдающимся артистом и мыслителем вроде Ницше или Камю. Во многом виновато его положение. Как личность Нерон мог бы проявить себя по-другому, но он понимал, что логическим концом абсолютной власти неизбежно является абсолютное зло.

Его слова: «Ни один правитель еще не знал, какой властью он на самом деле обладает». Страница, на которой описана смерть Нерона, — великолепный образец исторического сочинения, живой, обстоятельный. Его предсмертные слова: «Какого артиста теряет мир!» — отражают сущность абсолютной власти. Вот где была его игра. А его замечание по поводу завершения баснословно дорогого Золотого дома[324]: «Наконец-то я буду жить как человек».

Наше отношение к прошлому. Нерон привлекает меня своей исключительной жестокостью, уникальной сардонической чернотой. Нельзя сочувствовать веку, в котором он был тираном. Слишком далеко отстоит тот во времени. В прошлом предпочитают видеть разнообразие, яркость и жестокость. Любить историю означает любить страдания своих сородичей. Любить беспристрастность суждений, отстраненность удовольствия. Историк — садист. Если мы говорим, что сочувствуем прошлому, то только по традиции. Логически нет никакого смысла жалеть fait accompli[325] и что невозможно исправить. Каким бы варварским ни было прошлое, оно стало истиной, а истина неприкосновенна, неизменяема.

Госпожа Адоссидес, la grande dame[326] Спеце. Мы с Шарроксом посетили ее поместье на противоположном конце острова; там плантация оливковых деревьев и небольшой, но комфортабельный дом, окруженный живописными террасами: яркие цвета, блеск солнца и защита для цветущих кустарников. Сама хозяйка — тучная пожилая дама, седовласая, глаза доброжелательно взирают из-под нависших век, сбоку к ним подходит морщина — она, как говорят, свидетельствует о гуманности натуры. О терпимости и глубине ума.

Она много занимается благотворительностью, свободно говорит на пяти языках, энергичная, умная, прямая. Несколько придирчивая и жесткая старая дама. Всю войну 1914–1918 гг. она работала сестрой милосердия, во время второй ей тоже пришлось нелегко; с тех пор она постоянно сотрудничает с Красным Крестом, отыскивая по всей Европе следы пропавших греков и оказывая помощь жителям пострадавших деревень в Северной

Греции. Глубочайшее презрение к ЮНЕСКО, выпускающей брошюры, в то время, когда люди голодают. Она знает много военных историй, подробно рассказывала о кочевниках. Казалось, боль и страдания завораживают ее, несмотря на все старания их облегчить.

Мы сидели и смотрели, как солнце опускается за холмы. На ближайший кипарис села сова и издала зловещий крик. Нас накормили ужином, очень хорошим ужином, на открытом воздухе при свете лампы; звезды мерцали на бархатном небе. Госпожа Адоссидес рассказывала о Сопротивлении, итальянцах, своей неприязни к джазу. Влиятельная умная женщина, политический лидер тысяч людей.

Она вызывает у меня восхищение, но не любовь.

На днях я поймал маленького осьминога. В маске все кажется крупнее, чем есть на самом деле, и он тоже выглядел довольно большим. Я ударил его острием палки, но он уполз под камень, который мне после долгих усилий удалось перевернуть. Несколько деревенских мальчишек с испугом и восхищением следили с берега за моей титанической борьбой. Они явно ждали чего-то необыкновенного. Когда я вышел на берег с малышом осьминогом, извивавшимся на конце палки, и бросил его на камни, чтобы его добили, они не могли скрыть своего презрения. Один, самый маленький, поднял осьминога и сказал примерно следующее:

— А почему вы не вытащили его просто рукой?

Осьминог был не больше фута длиной. На следующий день я видел еще одного осьминога — меньше уже быть, наверное, не может. Но я все равно не мог себя заставить взять эту кроху в руки. В облике осьминога, этой текучей, колышущейся массе, даже если она миниатюрна, есть что-то ужасное.

21 июня

Конец близок. Семестр заканчивается через три дня. Младшие школьники уезжают завтра. Предчувствия грядущих перемен, планы, прощания, чувства как ностальгические, так и прямо противоположные.

Последние недели солнце отчаянно палит, оно повсюду. Весь день дует жаркий восточный ветер, звенят tzitzikia, греческие цикады; они живут на каждой пихте, на каждой ее ветви. Провожу долгие часы в море, плаваю среди рыб. В столовой всегда рядом Гларос, между нами установились особые отношения — вроде идеального (платонического) брака. Его ясные темно-карие глаза с ослепительными белками иногда встречаются с моими. Я заглядываю под его ресницы, мы читаем мысли друг друга. Думаю, он догадывается о моих чувствах, хотя я избегаю

физического контакта с ним. Я получаю все большее удовольствие, когда вхожу в помещение, где живут младшие школьники; мне нравится ходить среди них, быть рядом, смеяться над ними и вместе с ними. Все они загорели и стали как маленькие мавры — раскованные, эгоцентричные, полные энергии, — никаких розовых щечек и льстивых речей. Нежные, грациозные линии тел — уже на грани половой зрелости. Не вижу ничего предосудительного в моем восхищении и в том, что позволяю его себе. Можно находиться между пороком и страхом перед ним, жить на краю дозволенного. Ученики восьмого класса, нынешние выпускники, приводят меня в восторг. Они тискают хорошеньких мальчиков из младших классов и нежно им улыбаются. Внезапное осознание преимуществ убежища.

Пытаюсь шантажировать комитет — прошу дать мне расчет, хотя и мучаюсь мыслью: не убиваю ли я утку, несущую золотые яйца. В конце концов, на здешнее существование грех жаловаться — все время светит солнце, нагрузка в среднем два часа в день — и это за 520 фунтов в год. Нет нужды иметь идеалы, чувство ответственности, не надо волноваться, что избрал второсортную *métier*[327] — ведь на Спеце трудно всерьез считать себя учителем.

Вечером сижу на террасе у моря в таверне «У Георгоса» и смотрю, как солнце опускается за кипарисы и белые домики, ветер стихает, море успокаивается, горы Арголиса постепенно синеют и наконец становятся бархатисто-черными, а над ними загораются звезды. И в этой тишине, жуя оливки и прислушиваясь к разговору рыбаков за соседним столиком, я понимаю, что живу, живет мое тело.

На Спеце я сформировался как мужчина; руки мои стали бронзового цвета, прорезался хороший аппетит, я почувствовал себя сильным, способным плавать, нырять, бегать, ходить под солнцем, жить среди скал, сосен и солнечного света. Возможно, это всего лишь чисто внешняя эйфория. Но начинать надо с элементарного.

22 июня

Сегодня все ученики младших классов уехали в Афины — в школе тихо и пустынно, пустота и в наших душах. Здания кажутся руинами, где никто больше не живет, памятниками прошлому. Отсутствие детских криков, беготни, звонков, смеха пронзает сердце. В таких зданиях особенно быстро воцаряется тишина: белые комнаты, каменные коридоры, море и оливковые деревья со стрекочущими цикадами. Атмосфера печальная и безжизненная, несмотря на зной и солнце.

Сегодня вечером ко мне пришел Стамматояннис из восьмого класса, лучший ученик по английскому языку. Он рассказал, что

происходило на пристани, когда отплывали младшие школьники. Восьмой класс в полном составе пришел их проводить. Слезы лились рекой. Ипсиланти, всеобщий любимец, рыдал взахлеб и не хотел уезжать. Он целовал Адрианидеса, друга из восьмого класса. Были и другие рвущие душу сцены расставания. Восьмиклассники плакали, понимая, что больше не увидят своих маленьких друзей. Некоторые, не в силах выдержать такое напряжение, покидали пристань. Младшие школьники заливались слезами, особенно самые популярные из третьего класса — Гларос, Седуксис, Ипсиланти, Кириаколис, Рапас, Афанассиадис, любимцы школы. С. дотошно пересказал мне все подробности, в этом было много комичного. Последние, пронизанные печалью дни, казалось, символизировали отношения между младшими и старшими школьниками. Грусть, похоже, коснулась даже самых бесчувственных восьмиклассников.

С. много говорил о гомосексуализме. Он убеждал меня, что любовь восьмиклассников к младшим ученикам действительно платоническая, чистая. Чушь, конечно, но я верю, что они сами именно так и думают. У греков удивительно развита способность к самообману, они его даже не замечают. По словам С., в школе, однако, процветает гомосексуализм, директор пансиона Кессес знает об этом и только пожимает плечами. Я знаю, что об одном случае директору докладывали две недели назад, но он постарался все замять. Двое юнцов, замешанных в случившемся, продолжали спать в одной спальне. У некоторых учеников младших классов была репутация проституток, и старшеклассники между собой называли корпус, где они жили, борделем.

В прошлом году преподаватель английского языка приглашал учеников в свою комнату для языковой практики и там их ласкал. Бобес, бывший директором два года назад, имел забавную привычку зазывать в свой кабинет красивеньких мальчиков, спрашивать, хорошо ли они помыли ноги, заставлял — под предлогом проверки — снять брюки и (тут история, вне всякого сомнения, превращается в легенду) после этого начинал их вылизывать. С. забавлял тот факт, что ученики за версту чуют в преподавателе гомика и умело это используют. Мы разговаривали в темноте: С. — чтобы, рассказывая о расставании, подавить возникающую при этом боль, а я — потому что любил послушать скандальные школьные истории.

В тот же вечер Гиппо надрался, посвятил нас в свою личную жизнь и высказал свой взгляд на женский пол. Развратный шут — смесь животной глупости, дикой непристойности и такой ребячливой наивности, что мы пришли в восторг. Думаю, глагол

«fuck»[328] и его производные никогда не употреблялись так часто за такое короткое время. Его бесконечное презрение к женщинам почти комично в своей ярости. Единственная цель жизни — совокупление, любовь просто смешна. В Греции он и его представления о жизни кажутся почти нормальными.

Мне грустно покидать Спеце. Я привык к своей незамысловатой жизни — ежедневному плаванию, солнцу, послеобеденному сну. Приятно знать, что я еще вернусь сюда. Я с удовольствием обсудил свой круг обязанностей на следующий год с заместителем директора, думал о будущем, об учениках, еще одном спокойном годе.

Я покинул Спеце вместе с Шарроксом. Мы сели на утренний пароход — серое море, прохладный воздух и тяжелые головы, — проводили взглядами отступающий остров, потом спустились в каюту и спали до самого Пирея. Афины такие же оживленные, фальшивые и грязные, как и прежде. У всех женщин обнаженные загорелые руки, сексуальные, волнующие. Кажется, что улицы заполнены жаркими объятиями. Я сразу направился в комитет, где выяснил, что мой шантаж (повышение жалованья или увольнение) сработал: мне вручили премию в сто фунтов. На следующий день я покинул Афины. Две недели мне предстояло провести в одиночестве. Я смутно ощущал, что мой запланированный отдых — своего рода обязательство. Дань прошлому.

1 июля

На следующее утро я выехал в Микены. Путешествие на автобусе в Греции — или любой другой стране — наглядная демонстрация национальных различий. В Греции нет никаких правил, расписаний, элементарного порядка: все постоянно опаздывают, завязываются споры, кого-то ищут — его нет, загружается багаж, люди встречаются, приветствуют друг друга (похоже, в Греции все между собой знакомы). В конце концов все улаживается, никто не отстает от автобуса.

Выехав из Афин, мы повернули на запад, двигаясь по равнинной прибрежной полосе к Мегаре. Мимо Элефси, к северу от которого вздымаются горы, а к югу ярко синеет море — только этот насыщенный темно-синий цвет был живым в поблекшем от жары пейзаже. Лишенные растительности горы, оливковые рощи, сухая красноватая земля. Остров Саламин спокоен и недвижим под палящим солнцем. Элефси — некрасивый убогий городишко, да и Мегара не лучше. Трудно найти что-нибудь столь же уродливое, как эти вопиюще безобразные, лишенные всякого градостроительного плана провинциальные греческие города. После Мегары горы подходят к самому морю, мы мчались вдоль

рыжих разбитых скал — там, где Тесей убил Скирона[329]. Затем вновь выехали на равнину, ее пересекали высохшие русла рек, в изобилии поросшие розовым и белым шиповником. Какие характерные цвета греческого летнего пейзажа? Выжженная пыльно-желтая охра увядшей травы и соломы, красновато-охряной цвет высохшей земли, тускло-зеленый — тех растений, в которых еще остались жизненные соки. Только пихты и кипарисы сохраняют яркий, а не блекло-зеленый или серебристо-серый (оборотная сторона листьев) цвет, какой сейчас присущ оливковой кроне. Серо-лиловые, почти сокрушенные зноем горы окрашиваются в синий цвет, когда на них падает тень от облаков. И сверкающее живое море.

Мы час проторчали в Коринфе — прокол в шине. У города ветхий, неказистый вид, и у меня не было ни желания, ни сил идти его осматривать. К нам в автобус подсела красивая молодая женщина с тремя детьми — стройная, живая, в ярком платье и элегантной соломенной шляпке с красной лентой. Темные горящие глаза, крупный алый рот, ослепительно белые зубы. Она смеялась, болтала, рассаживала старших детей по местам. Затем вышла посидеть в тени ближайшей кофейни и покормить малыша. Кормление на людях и элегантное платье настолько не сочетались одно с другим, что я не мог отвести взгляд от этой картины.

Оставив Коринф, мы миновали крутую серо-рыжую гору под названием «Акрокоринф»[330] и повернули на юг по волнистой равнине к поросшим вереском холмам. Нам встречались высохшие русла рек, где вовсю бушевала зелень, особенно бросался в глаза ярко-розовый шиповник. Я незаметно следил за красивой молодой женщиной — малыш заплакал, и она, просунув руку в вырез платья, вынула грудь. Ее муж смеялся, отпускал шуточки. Она бойко отвечала на них и выглядела довольной. Местность становилась все более дикой и холмистой, и вот наконец мы выехали на Аргивскую равнину, похожую на ту часть Прованса, что расположена ниже Лионских гор. Вокруг горы, к югу море, а посредине равнина, скошенные поля, малоплодородные участки засеяны табаком, кипарисы, оливковые рощи и длинные ряды эвкалиптов.

Я сошел около деревни на основной дороге. Казалось, в ней и было-то всего два-три дома и таверна.

— Микены? — спросил я у хозяина таверны.

Он молча указал на горы. Только тут я понял, что придется идти пешком, и пожалел, что взял много поклажи.

— Eine macrya?

— Tessara kilometres, — ответил он.

Эти четыре километра я прошел неспешно по дороге, обсаженной эвкалиптами, их листва колыхалась при порывах сильного ветра.

Вот где находилась нужная мне деревня. Я остановился в небольшой, гостинице, с наслаждением выпил пива, поел, поспал и продолжил путь к развалинам, испытывая волнение от мысли, что нахожусь от них так близко. Шаррокс говорил, что Микены произвели на него самое сильное впечатление из всего, что он видел в Греции, и мне тоже не хотелось пережить разочарование. Желание мое осуществилось.

Микены окружает тайна, подобная той, что скрывает сфинкс. Вы поднимаетесь по дороге, окаймленной густыми зарослями белой и красной дикой розы. Горы приближаются, подъем становится круче, но по-прежнему нет никаких признаков близости Микен. На дне долины сохранился большой кусок моста, построенного гигантами. Наконец видишь дикое ущелье и слева от него, в окружении стен, Микены — неприступные, как зверь у входа в логово, царственный зверь, жестоко изгнанный из своего убежища и тем не менее сохранивший господство и над равниной, и над прошлым. Мимо прошли мужчина и девушка. Я стоял на дороге и оглядывался, пытаясь понять, где искать гробницу царя Атрея. Из-за куста вышел мужчина, застегивая брюки.

— Вон там! — крикнул он и показал на тропинку за своей спиной.

Я вернулся назад и, немного свернув в сторону, поднялся по тропе к главному входу.

Две огромные стены подводили к большому каменному дверному проему, а за ним… невозможно сказать, что было за ним. Страх, неизвестность, история, внезапно ожившая история, смерть, истоки, прошлое, будущее. Грандиозность и величие, подобное пирамидам. Глядя на этот вход, если ты один, нельзя не испытать благоговейного трепета. Дверь и темнота за ней ужасают и зачаровывают. Я подошел ближе, взглянул на дверную перемычку в 113 тонн и заколебался. Но солнце светило ярко, и я ступил внутрь. Просторный и прохладный каменный улей. Света достаточно, чтобы осмотреться; прошло несколько секунд, глаза привыкли и стали больше видеть. Гробовая тишина. Но стоило топнуть, как послышалось необычное, укороченное, словно вырванное силой эхо. Справа я увидел еще один темный дверной проем, за ним — полный мрак, ритуальное помещение. Там покоилось тело. Я извлек коробок спичек и без особого желания приблизился к двери, за которой — сплошная тьма. Зажег спичку, потом вторую, пятую, шестую, но все они по непонятной причине

моментально гасли. Немного постояв, я отошел, так, по сути, и не войдя во внутреннее помещение. Я чувствовал себя подавленным, мне было не по себе, словно что-то поджидало меня. Уже выходя, я вновь почувствовал гипнотическое воздействие массивной таинственной двери.

Незабываемые минуты, пугающая вечность. Она зовет меня назад, внутрь. Делает меня ненормальным, чужим для самого себя, некрофилом.

Я подошел к крепости. По стенам бегали и кричали поползни. В Микенах их множество, почти ручных, они звонко кричат, недовольные вторжением людей.

Львиные ворота — массивные, величественные; грандиозное воплощение в камне звериного начала; в этом есть нечто средневековое. Я прошел в них, осмотрел так называемые гробницы Агамемнона и его семейства, побродил — кое-где пробираясь с трудом — по крепости. Кроме меня, тут никого не было. Груды камней у разрушенных стен, их основания скрыты за сухой сорной травой и увядшими цветами; во всех канавках, ямках — обломки, черепки, они же торчат из стен. Я взобрался на вершину акрополя — туда, где находятся развалины дворца, и окинул взором затянутую дымкой Аргосскую равнину и пышущие жаром серые горы. В восточном ущелье кричали канюки, их крик напоминает плач. По-прежнему в одиночестве прошел вокруг массивных стен, испытывая благоговение и радость оттого, что никто мне не мешает. Отыскал тайный ход, ведущий в подземный колодец, тот, который Миллер называет мрачным и ужасающим[331]. Зажег огарок свечи. Ступени вели вниз, затем резко поворачивали и уходили в темноту. Не скажу, что мне было легко заставить себя спуститься до конца: пугали тишина, темнота, ощущение, что кто-то крадется сверху, и неизвестность впереди. Мне было не по себе, но все же Миллер — неисправимый романтик: на дне не было ничего, кроме сухой земли и засыпанного камнями отверстия. Но Миллер повернул назад, не достигнув дна. А если бы он не описал свой опыт в таких выражениях? Пережил бы прямо противоположное? Три поползня сидели на стене и хором кричали. Глашатаи царства духа. Откуда ни возьмись появилась лисица и замерла на куче камней примерно в пятидесяти ярдах от меня. Я решил, что она, должно быть, необычная лиса, раз устроила нору прямо под гробницей Клитемнестры. Но потом я понял, что передо мной сама Клитемнестра: высокая, худощавая, дикая и прекрасная, совсем не похожая на лисицу. Я шевельнулся, и она залаяла; в лае слышались раздражение и беспокойство. Наконец легкими прыжками она скрылась из вида, помахивая пушистым хвостом,

не пряча, а скорее подчеркивая свои грехи. Она испугалась не меня. В стороне шли овцы, а за ними пастух, высокий мужчина в широком коричневом плаще. Позвякивая колокольчиками, отара прошла мимо крепости; вдалеке раздался крик козодоя. Первые звезды, и мертвая тишина. Я пустился было в обратный путь, но что-то заставило меня свернуть к гробнице Атрея. Поначалу я просто постоял у входа. Однако почти невидимая в сумерках дверь властно звала меня.

И я вошел с зажженной свечой в гробницу. Я стоял в самом центре и ждал, что сверхъестественное как-то проявит себя. Где, как не здесь, в наидревнейшем склепе, мертвецам восставать по ночам из гробов! Хотелось необычайных ощущений, хотелось окаменеть от ужаса. Но все было спокойно. Молчаливое всеобъемлющее забвение. Я ждал около пяти минут. Смерть оказалась такой, какой я ее себе и представлял. Потом покинул гробницу — торопливо и с облегчением, испытывая гордость, что прошел «испытание». Я спускался вниз, а все вокруг благоухало. Вдалеке, на равнине, загорались огоньки; ярко блистало серебро молодой луны. На циклопическом мосту[332] кричали совы. Я мог разглядеть их в бинокль. Крики сов повторяло эхо. Вдоль стены мягко двигалась Клитемнестра; вот она замерла, принюхалась, взвыла голодным и печальным воем и растворилась в темноте. Должно быть, почуяла во мне кровь Агамемнона.

Назад в деревню — при свете луны и звуках флейты. Какой-то пастух в полях играл на свирели; я уже съел свой ужин при свете лампы и успел лечь в постель, а он все играл.

На следующее утро я отправился в Герайон[333], обособленно стоящий храм, где встретились аргивяне и их союзники. Именно здесь, по существу, началась Троянская война, здесь же Зевс женился на Гере. Мне пришлось идти на юг вдоль подножия гор. Я пересек Аргивскую равнину, большие участки жнивья, где бродили индейки, овцы, ослы и пони. Эти места славились замечательными индейками, а гомеровское определение «лошадей разводящие» все еще применимо к местным жителям. Я чувствовал себя счастливым: солнце пекло, дул легкий ветерок, и я был один. По пути зашел в маленькую деревушку, спросил дорогу. Меня поняли. Я продолжил путь. Оставил позади гору, на которой, как я предполагал, находилось святилище, спустился в узкую, но восхитительно зеленую и сыроватую долину, где росли кипарисы и лимоны. Там были даже грязные лужи. И две фермы. Казалось, я попал в Шангри-Ла. Выбравшись из долины, я миновал оливковую рощу, где во множестве рос тимьян. Солнце нещадно палило. Мне встретился человек на ослике. На нем была строгая шляпа и залатанные во многих местах брюки. Мы

обменялись приветствиями и подозрительными взглядами. От Герайона мало чего осталось. Фундаменты храмов, горы камней, отдельные фрагменты циклопической стены. Я сидел на холмике и смотрел, как два канюка атакуют беркута. Нарядная черно-белая каменка-попутчик мелькала среди руин. Я стал искать какие-нибудь стоящие обломки или черепки — и надо сказать, с большим успехом. Среди моих трофеев — сердоликовая бусина, обломок обсидиановой бритвы, много красивых черепков, странный металлический предмет, найденный в расщелине стены. Я интенсивно продолжал поиски под палящим солнцем, находящимся в самом зените. Обед я решил пропустить. Около двух я вдруг понял, что умираю от жажды. Обратная дорога была ужасной, солнце било прямо в глаза. В прохладной долине я тщетно высматривал какие-нибудь фрукты, но разглядел лишь валявшиеся на земле два старых лимона. Я подобрал их и съел, стараясь, чтобы меня не увидели с ферм. Подгнившие и сухие лимоны дали, однако, мне силы добраться до деревушки, где я выпил целых две бутылки лимонада на глазах изумленных сельских жителей. Теперь домой.

Вечером я пошел осматривать остальные гробницы — темные очертания на стерне и в оливковой роще. На холме за деревней находится современный музей, прекрасно спроектированный. Непонятно почему, он пустой и заброшенный. Из деревни в крепость лучше всего идти мимо него, оставив сбоку темно-синюю стену гор. Занимаясь поисками черепков, я надолго задержался и в гостиницу попал не скоро, решив посетить крепость позднее. Через огромную дверь я проник в местами обвалившуюся, похожую на каменный улей гробницу — в духе архитектуры друидов. В Микенах много сходства со Стоунхенджем.

Ночью дул сильный ветер, ставни ходили ходуном. В крепость я не пошел, чувствуя сильную усталость. В отличие от многих я не нашел Микены мрачными или нагнетающими уныние. Скорее загадочными — таинственными и величавыми. Они более основательны, более примитивны, чем Кносс или Фест[334]. Но, как и там, дают представление об идеальном обществе в совершенной среде — это культурный центр в мире, где человек уверенно себя чувствует и с удовольствием путешествует. Воздух, простор, дороги над равниной. Всадники в Львиных воротах. Короли вдоль подножия гор направляются к Герайону, раскинувшемуся на солнечном отроге. Аргос, Тиринф, все ушло. Одни руины.

Восхождение на Парнас. Частично решение было принято под влиянием тепличной атмосферы роскошного отеля в Дельфах —

все удобства цивилизации, — частично носило символический характер. Мне хотелось подняться на Парнас, гору поэтов, победить ее физически, что уже было бы символично[335]. Лучшим местом для начала восхождения представлялось местечко Арахова[336], куда я и отправился автобусом ранним утром уже на следующий день. На автобусной остановке были еще англичане — немногословные, остроумные, они обсуждали счет. После вульгарных американцев с сибаритскими замашками, на которых я нагляделся в отеле, поведение англичан было как глоток свежего воздуха, они показались мне удивительно славными. Неожиданный слабый прилив любви к родине. Прибыв в Арахову, я нашел небольшую гостиницу и объяснил, чего хочу. Хозяева подтвердили то, что говорили другие: мне нужен гид и осел. Наверху есть пристанище, но оно высоко и там холодно. Сын хозяйки пришел мне на помощь. Он говорил на ужасающем французском, почти таком же плохом, как мой греческий. Я сказал, что хотел бы поесть. Бледному застенчивому юноше было лет пятнадцать-шестнадцать, и, как я понял, он считал себя на голову выше остальных деревенских жителей. Помощник он был никудышный.

— Мне хочется шоколада, — попросил я.

Юноша нашел магазин, где продавались крохотные шоколадки.

— Мне нужны большие, — сказал я.

— Таких нет, — ответил он и посмотрел на меня с легким недовольством.

Но уже в соседнем магазине лежали большие плитки. То же самое повторилось и с яйцами. Я сказал, что хочу яйца вкрутую. «Oeufs durs» он не понимал, а я не знал, как будет по-гречески «варить», не говоря уж о «кипятить». Мы зашли в две таверны — там нас приняли без особого удовольствия и сказали, что яиц у них нет. Юноша был очень удручен.

— Яиц нет, — сказал он.

Меня это стало раздражать.

— Бог мой, ну должен же кто-нибудь продавать яйца!

— Никто не продает.

— Послушай, все, что мне нужно, — это три или четыре яйца, и пусть кто-нибудь их сварит.

— Нет. Их никто не сварит. On ne peut pas. On ne peut pas[337].

Юноша смущенно уставился в землю, не понимая моей настойчивости. И он победил. Я довольствовался булочкой, сыром и шоколадкой.

Затем мы отправились за ключом от хижины на горе; по мощеному переулку пришли к дому, где в темной комнате с

зарешеченным окном за ткацким станком работала женщина. Она к нам вышла. Ключ был у ее отца, а он ушел. «А когда придет?» Женщина пожала плечами, предположила, что через час, но в голосе не было уверенности. Сверху высунулась ее мать, она хотела знать, в чем дело. Из окна соседнего, увитого виноградом дома выглянула женщина с ребенком. Девушка с ведром остановилась и слушала. Греческие нудные переговоры продолжались.

— Ничего хорошего, — сказал юноша, выдерживая свой стиль пессимиста. — Вам нельзя идти. On ne peut pas.

Оставив его слова без внимания, я заговорил по-гречески. Как я понял, требовалось письмо из туристической конторы.

— Это не обязательно, — сказал я. Переговоры возобновились. Мне предложили пуститься в путь завтра.

— Нужен проводник. Дорогу хоть знаете?

— Знаю. — Я назвал расположенное над Араховой летнее селение. Это было ошибкой. Дорога пролегала не там.

— Dexia, — сказала женщина. — Ochi Kalyvia[338].

— Ne, ne, xero — dexia[339].

Мои слова их немного успокоили.

— Я должен идти сегодня утром, — настаивал я.

— Он не знает дорогу, — сказала молодая женщина и прибавила, обращаясь к юноше: — Ты должен его проводить.

Юноша дал задний ход.

— Нет, нет… только не сегодня… then boro[340]. — Он прямо зациклился на отрицании всего, чего можно.

Пожилая женщина перешла к главному:

— За ключ вам придется заплатить десять тысяч.

— Понимаю, — сказал я и полез в карман. Атмосфера заметно потеплела. Стало ясно, что перед ними простофиля.

— Хорошо, — согласилась пожилая женщина. — Завтра. Принеси ключ.

Молодая женщина вернулась с двумя ключами и дверной ручкой. Я подумал, что хижина нечто вроде Опасной часовни — до нее не только трудно добраться, но и войти непросто.

Однако приготовления закончены. Я расстался с юношей и пустился в путь — вверх по виноградникам, посаженным вдоль глубокой и широкой Дельфской долины, к Левадийскому плоскогорью. На первоначальные трудности я смотрел как на естественные препятствия, без которых не вырваться из безликой толпы, важный этап в развитии молодого писателя.

Сильно пекло. Ветра не было. Вскоре тропа, по которой я шел, заметно сузилась, и я перебрался на идущую наискось, мимо церкви и высохшего источника, широкую дорогу. Вид высохшего

источника заставил меня подумать о воде и о том, что я совершенно не знаю пути. Единственным источником информации была страница из путеводителя Бедекера — там несколько туманных строк посвящались этому восхождению. Женщина говорила, что путь трудный. Я представлял возможные опасности: жажда, падение в пропасть. Бандиты из коммунистов, даже сверхъестественное — как вариант — не упустил. Но несмотря ни на что, я был счастлив. Мимо спускалось много людей из летнего селения в Арахову.

— Yassou[341], — говорили они.

— Yassou, — отвечал я.

Один засмеялся:

— Na[342], англичанин взбирается на Парнас.

— Я иду правильной дорогой? — спросил я.

Они кивнули и указали на скалы наверху. Я продолжил путь и, как впоследствии выяснилось, пересек тропинку, ведшую к хижине. Я шел все по той же широкой тропе, постепенно набирая высоту. Напротив простиралось еще одно высоко расположенное плато с участками вспаханной рыжей земли и ярко-зелеными полями. Внизу, далеко внизу, множество олив. Наконец дорога обогнула небольшую скалу и резко пошла вверх, к перевалу, позволяющему выйти на плоскогорье. Дул прохладный ветер. Плоскогорье лежало ниже меня: две-три мили зеленеющих полей и в дальнем конце — компактная группа из каменных домов. На западе и севере поросшие пихтой склоны. У гор был северный вид, они высились темной стеной. На востоке тоже пихтовые леса; крутые серые склоны по мере подъема становились все более голыми, деревья попадались реже, а потом и совсем исчезли; а над всем этим в форме арки вздымалась гора, к которой я шел, — грандиозная, изогнутая, затянутая облаками. Я спустился по каменистой тропе на плато и там увидел росшую из расщелин в камнях гвоздику и горную петрушку. Каменки распускали, красуясь, свои хвосты. Надо было идти к деревне: на плато никого не было, а я не знал, где та тропа, которая ведет налево. Стая серых ворон — зловещих хищных птиц — подозрительно поглядывала на меня из-за груды камней. Дойдя до деревни, я подошел к двум мужчинам, стоявшим поодаль от пашни. Большинство домов выглядели необитаемыми, обветшалыми. Мужчины оказались любопытными, но помогли: двое подошедших юношей показали мне тропу, вившуюся высоко в хвойном лесу, и я продолжил восхождение, следуя на звук пастушьих колокольчиков.

Я вышел на пастуха — загорелого доброжелательного человека, — расположившегося с семейством (жена и трое

сыновей) под развесистой пихтой. Он объяснил мне, как идти дальше, пригласил пообедать с ними — помидорами, огурцами, йогуртом, козьим молоком. Это меню он подробно перечислил, радуясь, что может угостить странника, и чуть ли не умолял меня присоединиться к трапезе. Так я впервые познал удивительное гостеприимство парнасских пастухов. Все они были почти мифически добры. На поверхности молока я заметил частички навоза и попросил стакан воды. Они смотрели, как я пью, и улыбались. Я оглядел их временное пристанище из пихтовых ветвей и каменьев; вместо крыши — натянутая ткань; внутри несколько ковриков, одеяла, много закоптившихся горшков и сковородок. Выше пастухи живут в крошечных, но сложенных целиком из камня домиках; они стоят под нависшими утесами; рядом, за каменной оградой, загон для овец. Однако внутри та же цыганская простота — самодельные коврики, одеяла из овечьих шкур, несколько сковородок, кастрюль. И так они живут все лето.

Тропа круто вилась вверх по пихтовому лесу; казалось, ей нет конца. Вокруг было много птиц — синичек, корольков — и бабочек. Как будто снова вернулась весна. Пролетел черный дрозд. Наконец я вышел на каменистое неровное плато у западной вершины. Холодный ветер дул со стороны облаков, по-прежнему окутывавших горы. Тут тропа разветвлялась. Я заколебался, замедлил ход и впервые почувствовал себя неуверенно. Тогда я еще не догадывался, что пастухи живут и на такой высоте. Было холодно, облака угрожающе потемнели, видимый склон горы отливал серым цветом — холодным, зловещим. Ничего похожего на Грецию. Выбрав одну из троп, я пошел по ней дальше — к долине.

Вдруг я увидел, что за соснами клубится дымок, и воспрял духом. Услышав вдалеке звон колокольчиков, я быстро спустился по склону долины. Противоположный склон был крутой, каменистый, заваленный упавшими деревьями. Костер я нашел, но вокруг не было никаких признаков жизни — только тлеющие ветки, коврик из ползучих искр. Я огляделся и, думаю, не удивился бы, увидев, что меня окружили краснокожие индейцы или по меньшей мере бандиты. Но тут вновь выше меня, в лесу, послышался слабый звон колокольчиков. Я заторопился наверх, обливаясь потом и испытывая нестерпимую жажду. Звон колокольчиков становился все громче, и вот на открытом месте появились овцы. Уже через минуту я был в лагере пастуха. Меня принял глава семьи — суровый на вид, но обходительный старик. Ему хотелось знать обо мне все. К нам присоединились двое юношей и мужчина. Их хижина была просто щитом от ветра. Я видел их ложе: прямо на земле валялось несколько ковриков,

шкуры и теплые пальто. Они преподнесли мне флягу, полную воды. Я подарил им сигареты. Похоже, все пастухи здесь без ума от сигарет. Старик предложил мне прилечь отдохнуть, поесть с ними. Но я спросил, как добраться до kataphygeion — хижины. Один из юношей вызвался проводить меня. Он взял свой пастуший посох, плащ и повел меня в гору. Юноша шел привычной для него, пружинящей походкой, широко шагая с камня на камень и сохраняя равновесие с помощью посоха. Со стороны это казалось просто, но я все время отставал. Время от времени он останавливался и задавал мне вопросы; иногда подбирал гильзы, оставшиеся со времен Гражданской войны, говорил о коммунистах. Я понял, что юноша против них, хотя было видно, что он потрясен тем, сколько потребовалось времени и людей, чтобы освободить от них Парнас. Мы выбрались из леса, миновали несколько небольших долин на пути к маячившей впереди вершине. Я спросил, как далеко до центрального пика. Два — два с половиной часа ходьбы, ответил юноша. Путь долгий и трудный. Он пытался объяснить, как туда дойти, но я не понимал многих слов и только еще больше запутался. Мы прошли мимо глубокой и узкой расселины. По словам юноши, на ее дне лежит снег; он остановился и бросил камень в зияющую пустоту. Камень несколько раз ударился о боковые стороны отверстия, а потом воцарилась странная тишина, бесконечная, как будто у пропасти не было дна. Я так и остался при этом убеждении.

Еще несколько минут — и мы у хижины, почти невидимой издали. Небольшой приземистый домик с круглой крышей, выходной трубой, без окон, словно молельня строгой секты. В ржавой железной двери зазубренные пулевые отверстия.

— Communista kaput, — сказал пастух.

Я попытался отпереть дверь ключом — она не поддавалась. Тогда пастух ее попросту выбил ногой — ключ не пригодился. Внутри — лежанки, матрасы, печка, лампы, пила, даже пара лыж. Меня приятно удивило, даже поразило, что греки смогли устроить такой пристойный приют. Я немного поговорил с пастухом; страшно хотелось есть, но не было желания делиться. Наконец, выкурив три сигареты, он ушел. Осмотрев запасы, я принялся за еду — съел треть сыра, треть булки, плитку шоколада. Было около трех часов. Я раздумывал, стоит ли сейчас штурмовать вершину или подождать до утра. В конце концов пришел к компромиссу: сегодня пойду на разведку, намечу путь, а восхождение отложу на завтра.

Надев лыжную куртку, я вышел из хижины; дул холодный, резкий, неожиданно сильный ветер. Я стал взбираться по каменистому склону прямо к нависшим облакам. Крутой и

изнурительный подъем. Каждые несколько минут приходилось отдыхать. Цветы множились — колокольчики, мелкая розовато-лиловая горечавка и еще неизвестные нежные цветы насыщенного ярко-красного цвета. Попадалась заячья капуста, лихнис, цветущая камнеломка, торчавшая из торфяных щелей. Неожиданно сверху донесся — совершенно невероятный на такой высоте — звон пастушьих колокольчиков. На фоне неба, почти из облаков, выросла фигура с посохом, в туго перепоясанной шинели. Пастух тоже шел вверх, иногда останавливался и смотрел на меня сверху вниз. В просвете между проносившимися облаками я видел высоко над собой его коз. Я продолжал идти; каждый шаг давался все труднее. Но лучше преодолеть этот каменистый склон сейчас, решил я, и не повторять подъем завтра. Так легче. И вот я достиг высшей точки крутого склона; ветер с бешеной силой налетел на меня, от него перехватывало дыхание, обдавало ледяным холодом, я еле удерживался на ногах. Однако внизу, к моему величайшему изумлению, лежала широкая котловина; наклонно поднимаясь, она в двух местах переходила в остроконечные вершины и седловину, за которой высились еще пики. Справа я видел места névé[343], снег ослепительно сверкал на скалах и каменистом склоне. Внизу, в котловине, местами зеленела трава; в одном углу разбил лагерь пастух. Я оказался в раю верхнего Парнаса.

Эта огромная котловина в окружении горных пиков — совершенно особый мир с низинами, поросшими сочной травой и цветами, стойбищами пастухов. Горное убежище. За то время, что я добирался до седловины, небо расчистилось и мир стал прекрасен. Я почувствовал себя свободным, здоровым, без малейших признаков усталости. По камням я пробирался со скоростью пастухов, получая удовольствие от необходимости постоянно принимать мгновенное решение и проявлять чудеса ловкости. Взобравшись на седловину, я увидел сразу несколько пиков. Проблема заключалась в том, чтобы определить, какой из них Ликерий[344], самая высокая точка Парнаса. Все казались примерно одной высоты, хотя самый дальний, по другую сторону огромной котловины, был вроде бы выше остальных. Я видел двух пастухов, но они были очень далеко от меня, слишком далеко, чтобы идти и спрашивать. Я склонялся к компромиссу: можно взобраться на один из ближайших пиков, сочтя его самым высоким, — все равно я уже на Парнасе. Солнце клонилось к закату. Я спустился и вновь поднялся на другую седловину. Горные вороны кружили над головой; цветы были повсюду — горные астры, золотисто-желтые, похожие на маргаритки цветы и множество ярко-розовых гераней. Когда я оказался наверху новой

седловины, то до того момента невидимый пик-великан обрисовался четко. Правильная форма, округлая вершина; но расположен слишком далеко, чтобы успеть подняться на него до темноты, — так, во всяком случае, мне казалось. Почувствовав разочарование, я попытался лгать самому себе. Можно сочинить историю о том, как я забрался на вершину, полагая, что именно она — высочайший пик Парнасских гор. Ближайший пик был с южной стороны, туда я и решил направить свои стопы. За ним находилась еще одна котловина, богатая растительностью, — там паслась крупная отара овец и стоял пастуший лагерь.

Почти все облака разошлись, и вид с вершины пика был превосходный. Но в миле к востоку все тот же непокоренный округлый купол вздымался надо мной, по-прежнему дразня и мучая. Я сел рядом с пирамидкой, сложенной из камней, и съел немного шоколада. Заходящее солнце подчеркивало все контуры, темно-синие тени, фиолетовые холмы внизу — в долинах и на равнинах. Вдалеке виднелось голубое море. Мною овладела усталость, я испытывал удовлетворение, но не совсем полное. Я вновь посмотрел в бинокль на Ликерий, бессознательно припомнив тот символический смысл, какой придавал его покорению.

И вдруг, почти бессознательно, я направился к Ликерию, несмотря на поздний час и сильную усталость. Прежняя решимость вдруг ожила во мне и заставила идти. Я почти бежал вниз по склону к подножию Ликерия и стал взбираться на пик с немыслимой скоростью. Но подъем был слишком крутой — не взбежишь. Я замедлял шаг, останавливался отдохнуть, смотрел на мир у моих ног. Ближе к вершине наткнулся на цветущие фиалки, крупные пурпурные цветы, — изумительное зрелище; неподалеку цвела золотистая камнеломка. Вспугнул двух глухарей и крупных коричневых куропаток, с шумом вспорхнувших с земли. Дальний склон Ликерия обрывистый — просто огромная пропасть. В состоянии нарастающей экзальтации я, совершив зигзаг, ступил наконец на ровную плоскость, на которой тоже была выложена каменная пирамидка. Чувство победного ликования, полного удовлетворения охватило меня — наслаждение чуть ли не на молекулярном уровне. Солнце еще не опустилось за горизонт. На расстоянии двадцати миль ни одного облачка, небо чистого и ясного синего цвета; и пьянящее ощущение, что высоко вознесенный над миром ты теперь вдали от всего — городов, обществ, тревог, верований, времен, — ты центральная точка во Вселенной: ведь ты решился, достиг цели и теперь пожинаешь плоды. Природный монастырь духа.

Вокруг были другие горы, долины, равнины, моря, но у меня

не было никакого желания знать их названия — достаточно просто сознавать, что их великое множество. Горные стрижи рассекали воздух, падали вниз, в пропасть, или проносились на сумеречный восток. По позолоченным вершинам тянулись длинные тени.

Кто-то написал на прекрасном классическом греческом языке слово φωζ — «свет», выложив его камнями рядом с пирамидой. Даже я загорелся и решил оставить письменное свидетельство. На листе бумаги написал: «Джон Фаулз, 4 июля 1952; вечернее небо ясное, видимость прекрасная, на южном склоне цветут фиалки. Я один, с горными стрижами и музами». Лист засунул в жестяную банку и поставил ее в середину пирамиды. Становилось холоднее, солнце садилось. А я все стоял, очарованный высотой, вознесенностью над землей, мирской суетой, стоял, наслаждаясь грандиозным, божественным одиночеством.

Это был один из тех моментов, ради которых стоит жить. Они — вознаграждение за месяцы, проведенные в пустыне, за годы пребывания в темноте. Вырваться из времени, раствориться в природе, почувствовать, что ты по-настоящему существуешь, богоподобный настолько, насколько это способен вообразить смертный.

Такие приключения надо переживать в одиночестве. В обществе других людей они теряют ценность. Нужно одному преодолеть все испытания — усталость, путь по незнакомой местности, тишину. Все это в конечном счете войдет в торжество победы. Никаких проводников, никаких карт. Только ты.

Я спустился по крутому склону. Ниже меня, возвращаясь в загон, двигалась отара овец. Достигнув подножия пика, я увидел девушку пятнадцати-шестнадцати лет с бронзовым от загара лицом и хитрющими, слегка кокетливыми глазками, она шла в мою сторону. На ней было старое коричневое пальто, на голове коричневый платок, и все же эта одежда не могла скрыть ее красоты. На лице девушки играла озорная улыбка, я ее явно забавлял. Нас разделяли двадцать или тридцать метров. В ее чистом, четком голосе звучали властные нотки — это присуще людям, подолгу живущим в одиночестве; многого в ее речи я не понимал. Однако уловил легкое презрение ко мне. Ведь она постоянно живет в тени Парнаса; подняться на пик, с которого я только что спустился, для нее пара пустяков — час, не больше, и потому моя гордость в ее глазах смехотворна. Меня заставили почувствовать, что я чужой на этом высоком этаже мира. Мне же казалось невероятным, что такая хрупкая девушка может существовать в столь уединенном месте. Ее отара из двухсот овец, медленно пощипывая траву, направлялась к лагерю. Мы

заговорили о волках. Похоже, я вызвал ее восхищение, сказав, что собираюсь вернуться в хижину.

— Это далеко, — предупредила она. — Придется идти в темноте.

Я ответил, что хорошо знаю дорогу, и показал направление. Некоторое время мы шли параллельно друг другу, но на некотором расстоянии. Потом я простился с девушкой, она пошла к овцам, что-то тихо напевая, а я смотрел ей вслед.

Назад я шел быстро, несмотря на то что сильно ныли ноги. Сумерки сгущались, ветер стал ледяным и колючим, воздух — морозным. Я прыгнул с камня на тропинку. Раздался щелчок, и ступню пронзила резкая боль. Я угодил в волчий капкан. Высвобождаясь из него, я провел несколько ужасных минут. К счастью, капкан был без зубцов и держал меня всего лишь за пятку. И все же потребовались большие усилия, чтобы его разжать. Я продолжил путь; от напряжения пальцы на руках онемели, потом их охватила жгучая боль. Я прошел под большой скалой, впадина у ее подножия была заполнена водой и льдом. Высоко по скале проходили ледяные прожилки, там же наверху вовсю, как разбушевавшееся море, шумел ветер. Я спустился к пастушьему лагерю, который прежде уже видел. Но стоило приблизиться, как ко мне бросились собаки, они рычали и свирепо лаяли. Три огромные собаки — черная, серая и белая. Я замахнулся на них палкой, и тут они набросились на меня. Одна вцепилась зубами в палку, другая примеривалась к моей спине. Я уже не сомневался, что быть мне искусанным, но в этот момент выбежал молодой пастух и отозвал их. Страшно хотелось пить. Пастух подвел меня к хижине; снаружи большой кусок спрессованного снега понемногу подтаивал в миске. Я жадно выпил эту воду из жестяной кружки. Вода была ледяная, очень вкусная. Я рассказал пастухам о капкане. Они рассмеялись; оказалось, его поставил молодой пастух. Да, волки здесь водятся, два или три. Пастух же, с которым я говорил на следующий день, сказал, что их здесь много.

Я продолжил путь в темноте. Света луны и отблеска ушедшего дня хватало, чтобы ориентироваться на местности. Однако я часто спотыкался, падал, много раз останавливался и искал взглядом удлиненную серую постройку. Ветер свирепствовал, порывистый и холодный. Наконец я добрался до хижины. Со всех сторон слышался звон колокольчиков невидимой отары и лай собак. Навестить меня пришел пастух — молодой человек с серьезным лицом и низким голосом. На нем была теплая, толстая шинель. Он помог мне зажечь лампы, но они вскоре погасли и я развел яркий огонь в печи, подбрасывая туда

крупные поленья. Было очень холодно, и бушующее пламя согревало душу. Я сел на скамью и разговорился с пастухом. Его мучил конъюнктивит — немудрено на таком ветру. Он часто выходил из хижины и пронзительным свистом подзывал овец. Пастух звал к себе, но у меня не было сил двигаться. И он ушел, растворившись в ночи под завывание ветра.

Странное, почти нереальное, обособленное существование — и это в 1952 году! Трудно вообразить склад ума пастуха, пасущего скот в горах, — его жизнь состоит из смены дня и ночи, пересчета голов, дойки, холодного света звезд, тишины, ледяного ветра, страха перед волками и ужасающего одиночества, словно он живет на другой планете.

Я сидел и смотрел на огонь, слишком уставший, чтобы есть. Страшно хотелось пить, но воды не было. Я запер дверь на засов, забрался в спальный мешок и заснул. За день я преодолел около пятнадцати миль — по неровным горным дорогам, карабкаясь на крутые каменистые склоны. Лето в Арахове я сменил на парнасскую весну. Посреди ночи я услышал шум борьбы и рвущейся плоти: волк, лиса или пастушья собака пытались кого-то задрать. Но у меня не было сил встать и посмотреть, что происходит. Солнце стояло уже высоко, когда я окончательно проснулся, проспав более двенадцати часов.

Покинув хижину, я пустился в обратный путь мимо пастушьего tgypa[345]. Два дочерна загорелых пастуха доили овец — по одной-две струи от каждой. Ведро набралось только после дойки Двадцати или тридцати овец. Пастухи дали мне напиться и угостили жирным кислым сыром. Я съел его с видимым удовольствием и внутренним отвращением, залпом выпил кружку все еще теплого молока и распрощался с пастухами.

Спуск занял много времени. Распухшие ноги болели, солнце пекло сильно. В хвойных лесах было много птиц и бабочек — сорокопуты с рыжими спинками, синицы, дрозды-дерябы, пестрые дятлы, разные виды рябчиков и тысячи бабочек репейниц. Я шел краем Левадийского плоскогорья, часто отдыхал; аппетита по-прежнему не было. На краю плато, откуда шел спуск в Арахову, ноги у меня так разболелись, что я мог идти только прихрамывая.

Но один Парнас я все же покорил, а если как следует постараюсь, может, покорю и другой[346].

Часть четвертая
ДАЛЕКАЯ ПРИНЦЕССА

12 июля 1952

Ли. Англия — пасмурная, бесцветная, туманная, холодная. После Греции она кажется подлеском, сменившим открытый простор. Здравомыслящие ничтожества вместо людей, дотошно разработанный семейный порядок. Жизнь не глубинная, а поверхностная. От удовольствий ограждают, удерживают, и ты никогда не радуешься в полную силу. У англичан не дела, а делишки. Ни отдыха, ни солнца, ни любви. Очередное временное пребывание в семье вызывает прежние ощущения: никакой теплоты в отношениях, строжайшее подавление всякого проявления чувств; два дня ко мне проявляли легкий интерес, делились новостями. Мне нужна жена, новый центр личной жизни, хотя бы для того, чтобы заново открыть тепло любви и испытать неведомое чувство близости.

О. (мой отец) сегодня днем принес в мою комнату написанные им рассказы — довольно толстую стопку печатных страниц. Взаимное смущение. Он сразу же снизил тон, отозвавшись о рассказах как о забаве. Некоторые из них я прочитал. Они лучше, чем я думал, но недостаточно хороши для опубликования, хотя не исключаю, что кто-то мог бы их напечатать. Самые худшие, а их большинство, — полуюмористические описания деревенской жизни, старомодные герои взяты прямиком из «Панча». Но есть и вполне приличные рассказы, однако у отца нет чувства слова, литературного мастерства. Ему стоило бы вернуться к войне[347].

23 июля

Завтра опять уезжаю — сначала в Туар, затем в Испанию[348]. Я чувствую, что мне следует сидеть за машинкой, копить деньги, стучаться в двери Би-би-си, однако в настоящий момент я не способен ни на что, кроме подготовки к предстоящему путешествию и повседневной работы. Никакого творчества; все, что написал прежде, кажется незрелым, рыхлым, наивным. Слишком много рефлексии. Когда вернусь, засяду на месяц за пишущую машинку. Если вернусь. Когда много путешествуешь, катастрофы неизбежны.

25 августа

Испания. Необычный месяц, обжигающий, знойный, мрачный, печальный, мучительный для меня, и все же я ни за что не отказался бы от него, хотя он и принес мне много горечи. Я

чувствую себя еще более одиноким и неприкаянным, чем прежде. Меня околдовала Моник Бодуэн; эти три недели были не столько отдыхом в Испании, сколько безнадежным обожанием Моник. Под конец мне с трудом удавалось скрывать то, что я ею очарован. А непосредственно в момент расставания меня пронзила такая острая боль, какой я не испытывал уже много лет, боль от страшного осознания, что любовь между нами невозможна, время безжалостно, а человеческий жребий тяжел — это видно и на моем примере. Красота чувственных влечений, неизбежность смерти и разлуки. Я до сих пор нахожусь в состоянии транса, оторванный от действительности, потерянный; встреча с ней была отблеском иного мира. Шанс полной реализации, счастья в моем мрачном существовании. Я не столько любил ее самое, сколько тот идеал, который с легкостью создал из ее подлинной сущности. Я видел в ней прообраз совершенной женщины, а в ее юности — отражение той нежности и непосредственной радости, какой не было в ее годы у меня. Даже сейчас, когда со дня нашей последней встречи прошло две недели, я вспоминаю ее по сто раз на дню. Помню все то время, какое мы провели вместе, ее улыбки, настроения, позы, минуты задумчивости, жесты, одежду, атмосферу — все. На глаза мне постоянно попадаются вещи, напоминающие о ней; даже самые незначительные ассоциации живо воспроизводят ее облик. Часто представляю ее рядом — она улыбается, что-то говорит. Я стал грезить наяву. Но это состояние лишено чувственности — даже поцелуя с ней не могу вообразить. Я глубоко убежден, что она близка мне по духу, что мы сущностно похожи. Мое состояние можно назвать романтической, платонической идеализацией, ничего такого прежде я не испытывал. Может быть, это из области мазохизма. Ведь были и сейчас бывают такие минуты, когда моя печаль сладка, как сладка и пронзающая душу память о ней. Я понимаю, что мы не могли бы вместе жить; умом сознаю, что в ней есть нечто холодное, отчужденное, что-то от монахини. Над ней имеют власть провинциальные предрассудки, она католичка; в ней есть эгоизм, напористость, у нее стереотипные вкусы и представления о любви и браке, которым я не соответствую. Но по своей сущности и очарованию она моя Джоконда.

В Париж самолетом. Выхолощенное путешествие: радость от непосредственных контактов с незнакомыми местами и людьми тут заменяется удовольствием от расчетов. Столько-то миль за столько-то часов. Современная тенденция — к абстракции. Но я не вижу в скорости никакого очарования и не понимаю, как расстояние может выражаться цифрой. Однако было приятно вновь оказаться в Париже — все равно что вернуться в свой

настоящий дом. Чуть ли не первым человеком, кого я встретил там, была моя студентка из Пуатье; припомнилась прошлая жизнь, пробудив во мне ощущение нечистой совести. Я старался держаться как можно любезнее, но при первой возможности распрощался с ней. Пришлось заплатить 525 франков за комнату на чердаке — просто обдираловка, — но это не помешало мне чувствовать себя бесконечно счастливым: ведь я снова увижу Туар.

Еду в Туар поездом по хорошо знакомым местам. Не могу дождаться, когда буду на месте, — нетерпелив, как любовник. Напротив расположился француз средних лет, в синем берете; иногда он обращается ко мне, но его произношение малопонятно. Запах «Голуаз»; старая женщина и ее внучка завтракают — длинный батон, колбаса, ветчина, яблоки; в коридоре голоса. Прилив любви к французам, к их стране, образу жизни, языку. Французы — народ здравый и эгоцентричный, их жизнь гармонична; они знают о своем животном начале, но не отрицают и духовное. Живут для себя, но проявляют при этом благоразумие. Они принимают иностранцев, оценивают их по заслугам, не заискивают перед ними, но и не проклинают. Общество личностей, золотая середина, именно они наследники Древней Греции. Я почувствовал это в поезде и продолжал чувствовать на протяжении всего пребывания там. Чем больше я путешествую и живу за границей — Англия стала теперь для меня чужой, — тем больше восхищаюсь Францией и вижу, что она моя страна. И физически и духовно именно здесь я дома — так я не ощущаю себя нигде.

Мужчина напротив говорил о Бресюире, своем родном городе. Мы проехали Сомюр. В коридоре я мельком увидел знакомое лицо — то была одна из моих самых плохих и вредных прошлогодних учениц. Долговязая уродина. Я видел, что она собирается подойти, и потому упорно смотрел в окно, чем привел в замешательство даже уроженца Бресюира. В Туаре я еще раз встретил ее, на этот раз в толпе, и тогда ограничился несколькими нелюбезными фразами, оставшись верным мнению, сложившемуся обо мне в Пуатье.

Туар. Когда я прошел через билетный контроль, у меня возникло ощущение, что я никуда не уезжал. Все девушки и Андре пришли меня встречать; казалось, я только час назад расстался с ними. Застенчивая Моник, очаровательная Тити, Андре, похожий на добродушного медведя. Меня немного расстроила прозаичность нашей встречи — в душе я ждал песен, восторженных приветствий, слез, трогательной игры городского оркестра. Но через какое-то время я оценил простоту и

естественность такого приема — как будто я действительно с ними не расставался. В доме Андре я почувствовал то же самое. Тот же стол, за ним пятнадцать или двадцать человек, прекрасная еда, вино в избытке. Тот же громкий смех, деловые разговоры, остроумная болтовня. Младшие сестры и служанка на одном конце стола; племянники, братья, их жены и родственники жен — на другом. Андре напротив меня, еще больше похожий на медведя; он расспрашивал меня о птицах, книгах и жизни в Греции.

После обеда Андре повел меня к Джинетте Пуано, в мебельный магазин ее родителей. Она так изменилась, что я на мгновение утратил дар речи. Стала еще более элегантной и ухоженной; великолепная косметика, золотистые волосы причесаны по-новому. Думаю, она нарядилась ради меня: ведь она знала о моем визите. И все же за год она расцвела, это был уже не подающий надежды прошлогодний бутон. Джинетта провела нас по коридору, заставленному мебелью в буржуазном вкусе, и пригласила в небольшую заднюю комнату. Налила куантро. В присутствии Андре я не знал, что говорить. Мы все чувствовали себя неестественно, скованно. Были паузы, нервозность. Но я тем не менее от всего получал удовольствие — от ее элегантности, от неловкости нашего общения. Я надеялся, что Андре оставит нас вдвоем. Под конец я встал и попрощался — о том, что мы оба помним прошлое лето, сказали одна или две понимающие улыбки. И еще мне показалось, что она заметила, насколько я поражен переменами в ней, и это доставило ей — с ее обостренным чувством юмора — явное удовольствие.

Едем. Первое утро путешествия. Я понимаю, что оно не будет таким запоминающимся, как поездка в прошлом году. Много новых людей, и они мне сразу же инстинктивно не понравились. К тому же я чувствую себя старым, неприлично старым среди этих юных ребят. Да и нахожусь здесь не по праву; ведь я относительно много путешествовал, и многие могут решить, что моя цель — только внести в свой список еще одну страну. Ко мне утратили интерес как к новичку, я уже не был новой забавной игрушкой, а старая игрушка не занимает воображения. Такое впечатление у меня сохранялось, можно сказать, на протяжении всего путешествия.

Мы прибыли в Бордо и там пообедали. К югу от Бордо, в Ландах, пустынные места, в этих песках растут только вереск и сосны. И вот там-то у нас прокололась шина. Я бродил среди деревьев. Вокруг никаких признаков жизни, нет даже птиц. Зато оживленное движение на дороге — артерия в недействующей конечности. Остальные члены группы устроились на обочине и

болтали между собой. Этот пейзаж действовал на меня угнетающе, и я вновь почувствовал себя чужаком. Наконец мы продолжили путь, теперь уже с большим опозданием, и до самого интересного из запланированного на день — морского побережья в Биаррице — добрались уже в темноте. Помнится, мы с Моник задержались у магазина, где купили фрукты. К этому времени мы уже вспоминали старые шутки, поддразнивали друг друга. Я видел в этом единственную возможность как-то приблизиться к ней, а она так добра, что не могла отказаться от предложенной игры. Не думаю, что кто-то из нас получил от этого удовольствие.

Следующий день. Подъем на рассвете. Едем вдоль побережья на юг до Ируна. Много зелени, мысов и заливов — как в Бретани. Переезд через границу. На полицейских высокие черные каски, вроде ведерок для угля. Один из таможенников, закончив работу, увез по рассеянности наши бумаги — взял не тот кейс. Пришлось долго ждать. Жуто гонялся за Моник возле церкви. У убегавшей Моник глаза горели как два черных алмаза.

К Сан-Себастьяну мы ехали по зеленой местности, обезображенной рекламными щитами. Сан-Себастьян — растянувшийся вдоль побережья, международный station balnéaire[349], его пляжи и заливы переполнены. Мы отправились купаться, на нас глазели со всех сторон. Некоторым полицейские не дали дойти до воды под предлогом, что на них слишком обтягивающие купальники. Составной частью купального костюма испанок являются скромные юбочки, мужчины носят длинные трусы. Испанские горожане среднего достатка напоминают мне жирафов или страусов. Консерватизм в умах упорно поддерживается и постоянно нарушается.

Обед в просторном зале из темного дерева; каждая группа за своим столом. Несколько раз встречался глазами с Моник. У нас появилась привычка улыбаться друг другу полудружески-полуиронично, когда нас разделяют пространство, голоса и прочие вещи. В конце концов от острого желания проявить к ней дружественное отношение мои улыбки стали болезненно-кислыми и саркастическими.

Дождь прекратился сразу после обеда. Миновав узкое ущелье — подлинный вход в Старую Кастилию, мы оказались на сухом и бесплодном плато — в нем можно видеть ключ к разгадке испанского характера. Гнетущий пейзаж — в нем нет ни изюминки, ни очарования, ни смысла. Вся северная Испания, от Бургоса до Мадрида и дальше, — окультуренная пустыня. Подлинная пустыня доставила бы мне куда больше удовольствия. В Бургос мы прибыли вечером и поужинали в гостинице, напомнившей мне типичную английскую гостиницу в сельской

местности. У окна попрошайничали дети. Опять глаза Моник из-за другого столика (ровно две недели назад, как раз в то же время, когда пишутся эти строки, — в шесть часов вечера я сидел рядом с Моник и ехал из центральной Франции на север, поглощенный только своей соседкой: склоненное ко мне лицо, легкая улыбка — знак, что она в серьезном настроении).

Я вышел позже, с Полем Шале. Немного поговорили. Было холодно, мы зашли в кафе рі выпили коньяку. Так как Андре большую часть времени проводил с невестой, я часто общался с Полем. Иногда он раздражал меня, как раздражают все простые и деятельные люди. В этот вечер в Бургосе я думал о Моник; начинался тот кошмар, когда ежеминутно думаешь, где она, если ее нет поблизости. У Поля несколько тем для разговора: фотография, спелеология, путешествия. Бедняга, я только под конец путешествия понял, что он влюблен в Армель. Он все время находился поблизости от нее, смотрел на нее преданным и жалким собачьим взглядом. Потом мы пошли в пансион спать. Бальзаковский старик с огромной связкой ключей открыл парадную дверь; у него ключи от всех домов на этой улице. Тоже бальзаковское занятие.

Третий день. Выехали поздно: у Мишеля Годишона украли рюкзак со всем содержимым. Первая из многих краж; почти всюду у нас пропадали вещи. Похоже, воровство — национальный спорт испанцев; еще один побочный продукт фашизма. Правь сверху силой, и внизу исчезнет нравственность. Пообедали в небольшой деревушке. Я купил в булочной каравай и поделился им с Моник. Обычная вещь, но я и сейчас помню ее глаза, помню, как она стоит рядом со мной у прилавка и считает деньги. Ее маленькие ручки.

После Вальядолида равнинная местность все еще сохранялась, но уже стали появляться невысокие горы, синеватые, с округлыми вершинами. Сосновые рощи, кое-где гнезда аистов; ясный солнечный свет пронизывал местность, придавая ей некоторое сходство с Провансом весной.

В этот раз мы остановились на ночлег в горной деревушке, где нас очень хорошо приняли. Мы пошли на сельские танцы. Там собралась вся деревня. Теплая погода и вино всех взбудоражили. Кто-то заиграл на старинной шарманке, и деревенские жители пустились в пляс. Следующий танец был вальс, тогда и наша группа вышла в круг. Молодежь вначале танцевала нормально, но под взглядами нескольких сотен крестьян с серьезными лицами трудно не уступить желанию покривляться. Они стали вводить новые элементы, кричать и петь, танцевать в джазовой манере. С каждой новой мелодией их танец становился все более Диким и

смешным. Крестьяне ничего не понимали, стояли открыв рот, иногда на лицах проступало легкое неодобрение. Такое обычно случается, когда крестьянин впервые попадает в столицу. Я выпил много коньяку и стоял, разглядывая окружающих. Некоторое время провел с Моник у окна и едва не пригласил ее танцевать. Но танцую я ужасно, а к этому времени твердо знал, что *с ней* мне не хочется плохо танцевать.

* * *

Четвертый день. Потратили несколько часов на осмотр Авилы. Городской кафедральный собор, как и все прочие испанские соборы, портит громоздкий клирос — он уродует неф. Потом пошли осматривать монастырь на окраине города. Я шел рядом с Моник и показал ей шарж в газете. Думаю, как раз в тот момент, когда она склонилась над газетой, я осознал, что именно со мной происходит. Во всяком случае, этим утром я не сводил с нее глаз и, как только появлялась возможность, шел рядом. Ее стройная гибкая фигурка изящно покачивалась при ходьбе; в знойную погоду Моник становилась вялой и всегда отставала от группы; волосы она зачесывала назад и укладывала в невероятно большой пучок, элегантно затянутый красно-белым шарфиком, концы которого свободно свисали, — со всех сторон ее головка выглядела одинаково безукоризненно. Я мысленно просил, чтобы она улыбнулась, рассмеялась, — тогда шарфик колыхался, пучок подпрыгивал, а сама она гибкой веточкой склонялась от смеха.

Мы осмотрели монастырские крытые галереи, где прогуливался Торквемада[350], и гробницу Дон Жуана.

— Того Дон Жуана? — спросил я гида, но он, похоже, никогда не слышал ни о Моцарте, ни о Мольере.

Но я все-таки коснулся надгробия из белого мрамора — холодного как лед[351].

После Авилы пошли горы и грозы. Я спал как сурок. Сьерра-де-Гвадаррама — невысокие горы, но после однообразной Кастилии на них приятно смотреть. Мы подъехали к Эскориалу[352], казарменным постройкам, возвышающимся над равниной. Мне вспомнился Версаль, аскетический Север. Оживление, царящее в просторном внешнем дворе, пришлось мне по душе — многочисленная детвора гоняла мяч, матери болтали, было много туристов, бродяг. У кассы я встретил двух англичан, малорослых, усатых, аккуратных и обнищавших. Я был счастлив, что нахожусь в группе. До чего мне противны почти все соотечественники! Эти двое были еще вполне безобидны. Я

заговорил с Моник по-французски, чтобы им насолить. Красивая девушка и иностранный язык. Хорошо их приложил.

Ненавижу походы в сопровождении гида. Гобелены и королевские апартаменты. Королевское подземелье — сплошное безвкусье, мрамор и позолота; вход — как в *дорогой* ресторан; все это по крайней мере забавно. В картинной галерее — великолепный Эль Греко, демонический, нечестивый, живой. Испания — византийская страна; Эль Греко, должно быть, сразу почувствовал себя в ней как дома.

Пятый день. Утром мы умывались у колодца в саду расположенного рядом дома доктора. Мне нравилось смотреть на моющихся девушек, и я часто подгадывал, чтобы совпасть с ними по времени. Не буду лицемерить и говорить, что к этому не примешивалось сексуальное любопытство. Но в основном это было чисто эстетическое наслаждение. Девушки походили на кошек или на какое-то другое животное из семейства кошачьих; они словно вылизывали себя и терли фланелевыми мочалками. Кое-кто расстегивал пижамную куртку, оголял плечи, некоторые совсем снимали куртки и оставались в бюстгальтерах — розовом шелке на белой коже. Одна девушка, а именно Женевьева Буано, миниатюрная, деликатного сложения, кокетливая, была особенно очаровательна, занимаясь туалетом: она делала все с серьезностью котенка и прекрасно понимала, насколько обольстительна при этом, потому что выбирала для умывания как раз то время, когда вокруг было много мужчин. Ни она, ни другие девушки никогда не умывались торопливо, тратя много воды, нет, всегда легкие похлопывания, растирания, поглаживания.

Каждое утро Моник с серьезным выражением лица, в бледно-голубой пижаме с ее инициалами на кармашке и красном шарфике на шее идет умываться.

Мадрид. На первый взгляд веселый современный город, в нем много роскошных зданий, красивых клумб, фонтанов, тенистых бульваров. Много воды; в городе есть нечто от Парижа. Но он не так интересен.

Мы отправились в Прадо. Это супермузей — не музей, а торт с кремом, слишком плотный, чтобы переварить. От Веласкеса я бросался к Эль Греко, от Эль Греко — к Гойе, потом к фламандцам, от них к итальянцам, потом снова к фламандцам — уж очень они хороши! Веласкес, как мне кажется, великолепный зануда, открывший позу и экспрессию. Гойя поразил меня своей техникой — я даже не подозревал о его удивительном даре, смелом, решительном мазке. Он даже превосходит Эль Греко или Веласкеса. Великий дух — гений и социалист. Защитник бедных. Сильное негодование, эмоциональность в «Расстрельной

команде», его шедевре. Тонкая и безжалостная сатира академических портретов — на них скоты в пышных нарядах.

Замечательный зал фламандских шедевров, из них самые выдающиеся — две картины Балдунга Грина: «Три грации» и «Три Смерти». Последняя мне кажется особенно глубокой, это ужасающе точный символ ловушки для человека[353]. Выражение на лице девушки отражает все глубокие жизненные привязанности, всех встреченных ею сластолюбцев и несомненное знание смерти. Она разгадала загадку, нашла ответ и все равно не может поверить в его неумолимую жестокость. Время и Старость — Смерть уже сейчас за ее плечами, и так будет до конца. Великолепный свет, внешний реализм, а за ним как бы галлюцинаторный подтекст придают этой картине невероятную силу Она жжет, замораживает, подобно раскаленной кочерге или ушату ледяной воды. В ней так мало религиозности и так много материалистического пессимизма, что она могла быть написана в 1920-е годы. Вневременная картина. Зловещая простота.

(Детская одержимость временем. Полночь уже минула; сейчас, когда я пишу эти строки, начинается утро понедельника. Две недели назад, когда мы ехали ночью, она спала на моих руках, прижавшись ко мне всем телом. Я до сих пор чувствую ее прикосновение и еще — острую тоску. Мне почти хочется, чтобы в тот момент, когда мы были ближе всего друг к другу, нас настигла смерть.)

Андре, Поль, Клодин и я зашли в закусочную чего-нибудь перехватить. Я не очень люблю находиться в обществе этого вялого трио, избегающего молодых членов группы. Клодин по природе — всеобщая мать, прирожденная воспитательница, у нее печальные глаза спаниеля и — что сразу понимаешь — масса скрытых предрассудков. Странную жену выбрал себе Андре. Перекусив, мы пошли по безлюдному парку к зоосаду. Было жарко, и я засыпал прямо на ходу. Когда присели где-то выпить, я тут же вырубился, прямо на стуле. Мы отыскали остальных — тех, кто провел в Мадриде бессонную ночь, расположившись прямо на траве неподалеку от Прадо. Я подошел к ним и сел рядом с девушками, они расспрашивали меня о Греции. В этот раз — такое со мной бывает — я плохо говорил по-французски. От меня это не зависит, иногда я в форме, иногда — нет. Как будто со стороны я слышал свои погрешности в произношении, в грамматике. Иногда все происходит наоборот, и тогда я восхищаюсь беглостью и точностью своей речи.

Мы отправились искать место для привала поблизости от Мадрида. Я ликовал, потому что с нами была только половина группы — как раз те, кто мне больше нравился, самые

непосредственные и молодые. В небольшом поселке мы купили еды, бутылку муската и устроили привал в широком пересохшем русле реки на пути в Навалкамеро. Поблизости был мост — он громыхал и раскачивался, когда по нему проезжал грузовик или просто автомобиль. Там был пруд, образованный ручьем; вода в нем под вечер восхитительно освежала. Притворно-застенчивая Нанни в купальнике — великолепная фигура, юная Венера Милосская. Мы с Андре ловили лягушек. Остальные стали играть в шарады. Андре и Клодин куда-то ушли вдвоем. Я лег в стороне от остальных, с горечью ощущая себя одиноким, нелюбимым, выключенным из общей игры. Надо мной колыхалось море звезд. Я прислушивался к голосам, особенно к *ее* голосу; и в конце концов пошел один спать.

Шестой день. Утренний заплыв. Вода ледяная, но чудесная. Моник в желтом шерстяном костюме, тоненькая, стройная, груди как яблоки. Мы ждали у дороги автобус из Мадрида, с которым должны были приехать остальные члены группы. Моник сидела у дерева и что-то писала в блокноте. Меня разбирало любопытство, что она пишет, — она, конечно, вела дневник, но иногда мне казалось: то были стихи. Однажды я прямо спросил ее, но она только смущенно рассмеялась. Все считают ее умной, называют туарским юным гением женского пола. Она рано получила степень бакалавра и, очевидно, много работает. Очень волевая, серьезный подход к делу не очень вяжется с ее веселостью и жизнелюбием.

Толедо, старинный компактный город на холме — настолько испанский, насколько Мадрид не испанский. Узкие улицы, патио, декоративные решетки — стиль еще не андалузский, но уже на полпути к нему. Кафедральный собор очень хорош, несмотря на многочисленные орнаменты. Мы бродили по городу, посетили дом Эль Греко, который почему-то напомнил мне дом Шекспира в Стратфорде с его елизаветинской атмосферой.

Пообедали в маленьком ресторанчике, где нас накормили настоящей испанской едой, но заняло это полдня, не меньше. Сервис в Испании — невообразимая волокита. Видимо, перед тем как принести заказ, необходимые продукты доставляют с рынка на кухню, готовят, охлаждают и уж потом приносят. В ожидании еды мы пили в большом количестве вино, с грустью понимая, что при такой жаре немыслимо закатывать скандал и вообще днем можно только спать. Потом мы все же гуляли, хотя по-прежнему было очень жарко. Раскаленный булыжник, узкие полоски тени. Мечты только о воде, соке лайма, охлажденном вине, пиве, легком ветерке, море. А в реальности — пыль и ослепительный свет. Мне хотелось больше находиться с юными членами группы.

Мы, люди постарше, так много путешествовали, что уже не испытывали обаяние всего иноземного. Но с ними, юными существами, вновь переживаешь этот восхитительный трепет от встречи с новым, чужой страной, неизвестными вещами, переживаешь то, что является сущностью путешествия.

Помнится, все они собрались на главной площади и пили лимонад. Я увидел Моник и успокоился. Когда она с группой, я не волнуюсь. Но если ее с ними нет или она с кем-то ушла, я чувствую себя несчастным, впадаю в тоску, становлюсь скучным — un jaloux[354]. Именно в Толедо я почувствовал, что разрываюсь между Нанни и Моник. В группе юных людей неизбежно происходит разделение на пары. Олени-самцы обхаживают молодых самок — психологически обхаживают. Я видел, как этот процесс захватил многих: девушки то потупляли взоры, то играли глазками, звучал смех, юноши напускали на себя важность, объединялись, издавали трубные звуки. Тяжелая атмосфера. Влюбленные пары не расстаются ни на миг, они все время вместе, целуются, сидя рядом в автобусе, куда-то вместе исчезают. У других, не нашедших пары, несчастный вид. Ведь для молодых любое путешествие — путешествие в страну любви. *Карта Нежности* мадемуазель де Скюдери, где путешественник выезжает из селения *Новая дружба* и переживает все чувства от *Ненависти* до *Любви*[355]. Я разрывался между этими двумя пунктами. Нанни находилась у подножия гор, миленькая, даже красивая, хотя в выражении ее лица было нечто капризное, что-то от женской своенравности, — у нее легко менялось настроение. Любит танцы, веселье, жизнь, однако не самодостаточная, ее нужно развлекать. Моник — высоко в горах, очень далеко от меня, но гораздо прекраснее; совершенная лучезарная красота сочетается у нее с периодами сурового аскетизма. Недоступная, но ближе к небесам, и, если не считать моменты острого одиночества, в конце я уже не колебался, кого предпочесть. Не думаю, что Нанни в определенном смысле было бы трудно добиться, а вот Моник — полностью исключено. Нанни олицетворяет компромисс, Моник — идеал. Одну я забуду, вторую — никогда.

В Моник уживаются две крайности: озорство бесенка — тогда она похожа на малого ребенка, и внезапная замкнутость, полная внутренняя закрытость — тогда кажется, что она вдвое старше своего возраста. В ней нет ничего постоянного, все ее настроения изменчивы. Радужный темперамент.

Седьмой день. На следующее утро едем вокруг холмов, окружающих Толедо, вся группа восхищается видом города, его домами. Но я в Греции привык к белому цвету, эти дома кажутся

мне грязными, тусклыми, мрачными. Ущелье с протекающей внизу мутной Тахо не могло не повлиять на Эль Греко. Городской пейзаж вызывает мысль о чистилище. По старому мосту вновь въезжаем в город. Я сделал два снимка, умудрившись в оба включить Моник. В действительности на этот раз на всех моих фотографиях была она.

Восьмой день. Едем весь день. Утром я занял место рядом с Моник, которая устроилась в уголке. У нее есть еще один soupirant[356], кузен Андре, милый юный простак, моложе ее; эта копия моего либидо повсюду следует за ней. Я сел на его место, чтобы быть ближе к Моник; после этого случая он перестал мне доверять. Мы подъехали к Сьерра-Морене, пленительному пейзажу после надоевших равнин. Автобус несколько раз останавливался, и все выходили осмотреться. Обычно я люблю остановки в дороге, но в этот раз мне не хотелось терять место рядом с Моник. Я поймал богомола и напугал им девушку. Она извлекла свой блокнот и что-то написала в нем, загадочно улыбаясь. Похоже, то были стихи. Я спросил, так ли это.

— C'est pour moi. Personne d'autre ne le comprendra[357]. — И Моник положила блокнот в свою холщовую сумку. Поношенную серо-голубую сумку, на ней красным и желтым шелком вышиты две головы: одна мужская, слегка ассирийского типа; другая — девичья, и еще ее инициалы М. Б.

Помнится, мы как раз подъезжали к деревне, где собирались поесть. Она увидела, что я смотрю на вышивку, и вдруг произнесла:

— C'est moi et mon Jules[358].

Я словно полетел в пропасть.

— Tiens, — продолжала она, — je vais vous montrer sa photo. Vous m'en direz quelque chose de gentil, hein?[359]

Порывшись в сумке, она извлекла небольшую фотографию темноволосого молодого человека. В растерянности я сказал:

— Il a l'air très sérieux[360]. — И прибавил: — Qu'est-ce qu'il fait, comme métier?[361]

— Il est dans la marine[362].

Нанни что-то сказала, но я не расслышал, — кажется, что у него очень сильная воля, и Моник согласилась.

То, что у нее есть постоянный бойфренд, потрясло меня. Она всегда казалась такой одинокой, недоступной. Теперь причина ясна. Я впал в уныние, но в то же время почувствовал облегчение: по крайней мере теперь можно не ревновать ее к членам группы. Но позже выяснилось, что у нее есть брат, и тогда я подумал: может, это он на фото? Когда Моник сказала «мой Жюль», я решил, что она употребила сленговое значение слова «жюль»

(мой парень). Но, возможно, так звали брата. Можно было спросить, но я предпочел неизвестность. Тогда я подумал, что это предостережение мне: она не свободна. Я до сих пор теряюсь в догадках. Не в ее духе говорить о себе. Сдержанность — одна из очаровательных черт ее характера.

Мы — как обычно, вчетвером — пообедали в деревенском трактире. Съев много зеленых оливок, я впал в черную меланхолию. За соседним столиком сидел изрядно набравшийся пьяница, и мне захотелось присоединиться к нему. Я не мог отделаться от ощущения, что мне сделали предупреждение. Мы пустились в путь в несусветную жару, чтобы найти местечко для сиесты. Расположились у Гвадалквивира, большой реки, медленно несущей свои темные воды. В томительном зное все размякли и поснимали с себя одежды в тенистой тополиной роще. Девушки собрали ветки и улеглись на них. Нанни заснула, округлым грациозным телом напоминая спящую греческую богиню. Возможно, из-за «нового» поворота в отношениях с Моник, возможно, из-за узорчатого бело-зеленого купальника, подчеркивающего сладострастные изгибы тела Нанни, но я решил приударить за ней.

Позже мы плавали или барахтались в грязи, а потом шли на середину потока, где сильное течение смывало с нас глину и ил. Когда я плавал, кто-то крикнул с берега, что мое фото появилось в испанской газете. Я рассмеялся, поплыл дальше, и поток унес меня на отмель, где стояла Джакотта.

Джакотта — странная девушка. Сорванец, нянька, мать-любовница. Хорошенькое личико, прекрасная фигура, однако в ней нет ни капли сексуальности. Она льнет ко всем, садится на колени, обнимает за шею, со всеми на «ты». Поначалу я принимал ее за нимфоманку — может, так и есть, но в ней совсем не чувствуется порок. Сильный неровный голос, склонность к пародированию, акцент южанки. Наделена здравым смыслом, умна, золотое сердце, знает толк в мужчинах; кажется, что любовь — ее любимая игра, но только игра. Я перенес ее на спине через грязь, смеялся и делал вид, что вот-вот уроню. Но мне трудно долго выдерживать сентиментальные отношения camaraderie[363]. А вот французской молодежи это дается легко. Физический контакт для них не окрашен чувством, это просто игра полуобнаженных тел. Отсюда прямой путь к сексу без чувств и к смерти любви. Избавление от страстей — современная тенденция. Но я, бывший пуританин-протестант, никогда не буду чувствовать себя своим в этом ослепительном мире секса и дружбы без намека на любовь.

Газетное фото было нечетким. На нем я стоял у автобуса

рядом с Прадо. Все мне немного завидовали. Ощутив прилив самодовольства и гордости, я снова пошел в воду, теперь уже с Нанни. Она плыла брассом, подобрав волосы; ее голова выступала высоко над водой. Мы быстро достигли отмели, и я взял ее за руку, чтобы перевести через стремнину на берег; прикосновение к ее руке было в десять раз сексуальнее, чем ощущение бедер Джакотты на шее. На берегу собралось много крестьянок, они стояли в платьях, больше похожих на лохмотья, держали на руках рахитичных детей и смотрели, как мы одеваемся.

Едем в Кордову на закате, который не запечатлелся в моих воспоминаниях, хотя, помнится, облаков на небе не было. Лагерь разбили рядом с небольшим городком, на берегу все того же Гвадалквивира, в местечке, где находился акведук или мост, арки которого странным образом никуда не вели. Когда мы только въехали в город, там двигалась религиозная процессия в сопровождении множества помощников и соглядатаев. Статую Мадонны охраняли четверо солдат с ружьями; мне показалось, что ее улыбка над стволами и черными ботфортами полна иронии. Шел и священник, высокий, мирского вида человек, а рядом плюгавый надутый офицер, постоянно перекладывавший белые перчатки из одной руки в другую. Теперь уже не Trône et Autel, а Mitrailleuse et Autel[364].

Мы с Полем решили поужинать в городе и пошли пешком по ухабистой дороге. Небо было звездным, я что-то напевал под нос. Зная, что остальные пошли за нами, я предложил их подождать. Среди них Моник и Нанни. Когда они подошли ближе, я стал ныть по-испански, изображая нищего. В сумерках, среди людей, Моник была дружелюбнее обычного. А Нанни, напротив, мрачнее тучи. В этой толпе меня неудержимо тянуло к Моник, несмотря на утреннее открытие. Мы заходили в два ресторанчика, но всюду были чудовищные цены. Битый час провели в поисках пищи. Мы с Полем купили вина, сыра, дыню и устроили пикник, Другие тоже что-то ели. Моник объединилась с Клодом. Я тут же стал ужасно ревновать к нему. Гром среди ясного неба.

Этим вечером я словно обезумел — наверное, подействовало вино. В городке царило оживление, фиеста, работала ярмарка. Я повел Моник и Женевьеву на карусель, этот ветхий механизм толкали руками. Вдруг меня охватило возбуждение и чувство полного счастья, я стал дурачиться, танцевать, забрался на спину игрушечной лошадки, изображая конную статую. Я толкал и толкал карусель, пока меня не остановил хозяин. Тогда мы пошли на качели, где я сначала качался с Нанни, а потом с Моник; я раскачивал качели изо всех сил, дурачился, а все остальные стояли внизу и смотрели на нас, раскрыв рты. Затем пришла

очередь миниатюрного поезда. Мне не разрешили вести состав, но я собрал у испанцев использованные билеты и раздал их членам группы — теперь у всех наших было право на две поездки. К сожалению, пришел настоящий контролер, испанцы подняли вой, но в конце концов оценили шутку. Мы въехали в туннель, где находился призрак. Когда мы совершали первый круг, я попытался вырвать у него метлу, но потерпел неудачу, а во второй раз прыгнул прямо на него. Призрак оказался испуганным мальчиком. Я спрыгивал и запрыгивал на поезд, валял дурака, часто оказывался рядом с Моник, которая смотрела на меня с испугом и восхищением; словом, лез из кожи, чтобы ее рассмешить. Думаю, мое поведение было чем-то вроде орхидеи, которую мне хотелось ей подарить, нечто экзотическое, яркое. Под конец я по лестнице взобрался на крышу центрального ларька и там танцевал. Потом спустился вниз и уже собирался выскочить через дверь, когда мое внимание привлекла ужасная картина. Двое голых малышей, худые, грязные, лежали, прижавшись друг к другу, в уголке на куске мешковины. Невероятно, но, несмотря на весь шум, они крепко спали. Снаружи стоял владелец ларька, маленький человечек в засаленном костюме, у него было землистое лицо и грустные глаза.

— Ваши? — спросил я.

Он кивнул. Я угостил его сигаретой и пожалел, что у меня не было при себе денег. Внезапно мне стало холодно, я почти замерзал и чувствовал себя совсем старым; этот случай потряс меня, выбил из колеи. Я подошел к Моник (зачем? — чтобы она знала, какое у меня нежное сердце и как резко изменилось мое настроение. Но еще и потому, что она умница, единственная, кто, я чувствовал, все поймет правильно) и заставил ее пойти и посмотреть на детей. Она медленно повернулась ко мне, у нее было лицо Мадонны — искреннее сострадание чистого сердца. Я не расслышал ее слов и вышел следом за ней. Помню, что домой шел с Моник и со всеми остальными, печальный, сонный и слегка возбужденный от своих подвигов.

* * *

Девятый день. С утра головная боль. Сидя у палатки, слышал, как рассказывали тем, кто вчера не был на ярмарке, о моих выходках. Смех — теплый, как солнце, греющее мою спину. Я пошел искупаться, а потом тщетно охотился с Андре на древесную ящерицу.

Приехали в Кордову. Воскресенье, жуткая жара. Посетили Мечеть — классический сад из прекрасных колонн и арок[365]. Но более, чем архитектурная красота, меня поразил грубый крест, нацарапанный на мраморной стене ногтями древнего христианина, находившегося в заключении. Арабы десять лет держали его в цепях, и все, что ему удалось сделать, — нацарапать этот крест. Трудно вообразить кафкианский ужас такого наказания.

Днем, в самую жару, едем в Севилью. Я сидел в конце автобуса, напротив Нанни и Моник, и держал заднюю дверь открытой, чтобы шел воздух. На Моник короткие красноватые шорты, расстегнутая блузка без рукавов; вид все тот же ребячливо-невинный. Нанни в коричневых шортах — у нее полноватые ноги — и белой рубашке в клетку. Автобус остановился, дав нам полюбоваться большой — птиц сто, а то и больше — стаей аистов; они взмыли в воздух и кружили над нами. Я тоже в шортах, у меня белые ноги — ни мужественности, ни зрелости. Ноги горожанина.

С наступлением сумерек приезжаем в Севилью. Моник холодно, она надела свой красный свитер и еще мой — в желто-зеленую клетку; держится за горло и поглядывает по сторонам. Горло у нее слабое, и положение рук на шее — проявление инстинкта самосохранения.

Бесцельно объехали Севилью, испытывая голод; группа разделилась на две или три фракции, спорили, что делать. Наконец решили провести ночь в ближайшей деревне.

На деревенских улицах было полно народу, толпы гуляющих. Автобус тут же обступили, море вопрошающих лиц. Когда же мы вышли, большинство из нас в шортах, волнение возросло. Нас обступили — кольцо вокруг сжималось — и глазели, словно мы были существами с другой планеты. В центре мы купили еды и пошли к автобусу, чтобы там поужинать. Толпа все росла. Встретили Моник и Женевьеву, они были на грани слез. Их толкали, на них пялились, чем довели девушек чуть ли не до истерики.

Женщины пытались сорвать с Тити приспущенную на плечах блузку. Мы поели в кафе за столиком — двигаться дальше было почти невозможно. Когда выходили, нас провожали любопытные взгляды и улюлюканье. Ощущение такое, будто покидаешь пещеру с хищниками, — в любой момент могла вспыхнуть драка. Любопытство дикарей, naïveté[366] и враждебность к иностранцам. Одна из примет Андалузии. Наши ребята пришли в ярость, они были возбуждены не меньше испанцев, все говорили разом, девушки истерически визжали, юноши (как всегда, когда все

кончается) были готовы casser la gueule[367] каждому испанцу. Мы с Полем обменялись взглядами и незаметно улыбнулись.

Десятый день. Все умывались у фонтана в знаменитом центральном дворике. Моник в голубой пижаме, личико красно-коричневое от загара, как у индейца, смеется.

В Севилье. Мне Севилья не нравится, в ней нет романтики; это современный город, возведенный вокруг исторического центра; место некрасивое, и туристов в нем много. На главной площади разбились по группам. Ненавижу, когда это происходит. На этот раз я потерял и Нанни, и Моник. Нанни, как я мог видеть, общалась с Жуто. Кроме того, в городах наша группа преображалась, изменялась в худшую сторону, выявляя провинциальные черты; тогда мои спутники казались мне неестественными, фальшивыми, они изо всех сил пыжились, стараясь выглядеть современными, гоняясь за химерами. Мне больше нравилось находиться на природе, одному, можно и на острове. Город олицетворял будущее — разобщенность, расставание, забвение.

Утром посетили собор, который показался нам огромным. Я подумал, что ни разу в жизни не входил в столь грандиозное здание. Забрались на колокольню «Ла Гиральда», откуда открывался вид на всю Севилью[368]. Этот вид не вызывал восхищения — большой, широко раскинувшийся бело-серый город на скучной равнине. Потом — в Алькасар[369]. Гид провел нас по дворцу, останавливаясь у каждого портрета и рассказывая, кто на нем изображен, — должно быть, он был монархистом. Похоже, история и искусство совсем не интересовали его, он ничего не говорил о покоях и обстановке, только называл королевские имена и рассказывал о родственных отношениях между ними. С арабским наследием он обращался бережнее. Мне нравится миниатюрная элегантность, грациозность мавританского искусства, бесконечная детализация. В нем есть сдержанность и аскетизм, нечто нечеловеческое. Это орнамент для гурий, там, в пустоте, его никогда не увидит ни одно живое существо. Уставшие после осмотра, мы вышли в большой сад и там бродили по зеленым лужайкам среди фонтанов. Андре сознательно полез под шланг садовника, чтобы его окатили холодной водой. На мне были новые брюки, я впервые их надел и тогда же порвал, пытаясь поймать лягушку в заросшем лилиями пруду. Мы расположились в тени, дожидаясь вечера.

Некоторые из нас пошли смотреть танцы фламенко. На Моник было платье из шотландки в синюю, красную и зеленую клетки с белым воротничком. Я тоже пошел с ними, вновь радуясь, что узнаю ее ближе. Но вечер был испорчен. Моник

почувствовала себя больной и сказала, что возвращается в гостиницу. Несколько сердец сжалось. Однако Мишель взял ее под руку, и она пошла дальше. Я купил два букетика жасмина и подарил Моник и Женевьеве. Хрупкие цветы проживут один день в их волосах, над девичьими ушками. Мы перешли на другой берег Гвадалквивира, решив посетить ночной клуб на открытом воздухе, — коммерческая атмосфера, площадка для танцев, вокруг столики.

Если отключиться от атмосферы, танцы там великолепны. Таких первобытных танцев в Европе больше нет — мощная эрекция, разнаряженные женщины. Над всем маячит тень пениса. В мужском танце — гнев, ярость, вызов; непрекращающийся топот на грани запредельного бешенства. Женщины — само воплощение женского начала, — даже раздевшись догола, они не стали бы более сексуальными. Бальные танцы, сопровождаемые конвульсиями профессионалов, в сравнении с этим ослепительным безумием кажутся безжизненными и нелепыми. Четкий ритм отбивается ладонями, здесь задействованы трое мужчин и пять девушек, и все эти восемь человек в моменты кульминаций отбивали напряженный, взволнованный перекрестный ритм. Когда танцоры отдыхали, я бродил поблизости от гардеробных, посматривая на гибких подвижных женщин и гордых ловких мужчин, — вот они, идеальные мужчины и женщины Д.Г. Лоуренса. Странно и грустно, что *он* никогда не писал об Испании. Когда танцоры выходили на площадку, я смотрел на них, стоя на скамье у стены рядом с Моник; но острое ощущение ее близости мешало мне толком следить за танцем. Ушли мы рано, усталые и расстроенные. Прогулка под звездами. Поль — живой, довольно банальный и надежный. Я шел один. У Моник тоже был грустный вид, но тут братья Годишо стали дурачиться, она захихикала, как школьница, — такой она мне особенно нравится. Клод взял ее под руку, она вдруг развеселилась. Я же впал в уныние, представив, как Жюль, а не Клод, обнимает ее плечи, и почти хотел, чтобы так и было: все лучше неопределенности. Но тут она вновь опечалилась и ушла в себя. У красивых женщин настроение меняется каждые пять секунд.

Еще одной болевой точкой была Нанни, весь вечер она танцевала с Жуто, прижималась к нему, они остались в ночном клубе после того, как все мы ушли. Вот тебе и *Карта Нежности* — все дороги перекрыты.

День одиннадцатый. Провел утро в одиночестве. И не пожалел. Я почувствовал, что устал от группы, устал от сознания разделяющей нас с Моник пропасти. Я гулял по старому

кварталу, на который набрел случайно, отчего он показался мне вдвойне прекраснее. Здесь, на этих узких улочках, среди белых стен и черных решеток, яркой листвы и сумрачных теней я нашел Севилью своей мечты. Здесь сосредоточены ее архитектурные шедевры. Все, что надо, — это приехать сюда, провести час в старом квартале и уехать. Мне вспомнился Оксфорд — спокойный приют в водовороте жизни. Я купил несколько груш и ел их, гуляя по кварталу. Был полдень, и я опять почувствовал одиночество. Мне пришло в голову, что я обязательно найду кого-нибудь в садах Алькасара. Так оно и оказалось. Сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди, когда я увидел группу наших ребят и среди них Поля и Моник. Я предложил показать им старый квартал и, пока они поднимались на колокольню, ждал в садике у собора. Там я написал стихотворение, посвященное Моник, — первое из цикла. «В плену у самой безнадежной в мире любви». Сонет — за пятнадцать минут; я был счастлив и даже поговорил с юным, не по годам развитым гостиничным зазывалой, хорошо знавшим английский и французский.

В современную часть города мы вернулись улицами, загороженными от солнца тентами, купили фрукты, посидели в кафе.

Я пристроился ближе к Моник и вновь почувствовал себя счастливым. Позже купил ей в кондитерской мороженое, она меня поблагодарила, но, как мне показалось, довольно сухо. Tendresse se revule[370]. Когда это случается, я представляю себя в карикатурном виде — нелепый школьный учитель волочится за сказочной принцессой. La Belle et la Bête[371]. Но в этом случае Красавица и Злая волшебница — один и тот же человек.

Автобус опоздал, и мы два часа ждали его на ступеньках гостиницы. Одно место было впереди, отличное место, и видимость оттуда хорошая, но Нанни и Моник сели сзади, и поэтому я не насладился дорогой до Роты. Проехали Херес, где я узнал от говорящего по-английски импортера, что сладкий херес — это английское изобретение. У испанцев это сухое вино. Я попробовал необычайно вкусное сухое амонтильядо. Тротуары главной улицы города были сплошь заставлены столиками. Я обратил внимание, что все пили кофе, хотя время было скорее для аперитива. Судя по костюмам мужчин и их ухмылкам при виде моих шортов, дела в городе шли хорошо. Моник опаздывала и прибежала, когда мы уже отъезжали, запыхавшаяся и сразу ставшая опять похожей на школьницу.

Пересекли пустынный район и вечером прибыли в Роту. Проехав дальше по побережью, остановились возле кафе, уединенно расположенного среди поросших соснами дюн.

Перейдя железнодорожную колею, мы подошли к невысокому обрыву, под нами тянулись пески и море, свет луны играл на воде, южнее виднелись огни Кадиса. Я радовался, что снова вижу море. Вдали от него я никогда не чувствую себя свободным; стоя же на морском берегу, уношусь от цепей реальности.

Мы разбили лагерь на краю обрыва. Я испытал шок, увидев, как Моник и Клод стоят на холме и разговаривают. Вдруг их силуэты на мгновение сблизились, как будто она подалась вперед и поцеловала его. Но при лунном свете я мог и ошибиться. Я слышал их тихие голоса, потом они скрылись в зарослях. Меня обуяла дикая ревность, и я почти сразу же пошел за ними. Но они как сквозь землю провалились. Я бесцельно бродил вокруг, надеясь увидеть их среди остальных. Все были на месте, кроме этих двоих. Прошло несколько минут, и я увидел Моник, она несла дрова. Я успокоился, но память о пережитом потрясении жила еще долго.

* * *

Двенадцатый день. Утренний заплыв, бесконечный широкий пляж, море — все это рождает желание прыгать, скакать, стоять на руках, бегать. Я подбежал к скале и, устроившись под ней, облегчился. Вдалеке рыбаки возились с удочками. Я чувствовал себя бодрым, здоровым; приятно волновала перспектива увидеть Африку. Странно, но в минуты, проведенные на сиденье унитаза или в другом месте с той же целью, нас часто посещают смутные предчувствия — это похоже на приятный отдых перед действием. Хотим мы этого или не хотим, но приходится считаться с нашим животным началом. Прекрасная ежедневная психологическая тренировка.

Едем в Альхесирас — пустыня, солончаки, проливы, каналы, ил, грязь, открытый горизонт. Въезжаем в гористую местность, все выжжено солнцем, оно палит немилосердно.

Гибралтар пробуждает во мне националистические чувства; звучат остроты по поводу «доброй старой Англии»; Жуто запевает «Боже, храни короля», остальные подхватывают. Гигантская серая скала, как каменный корабль, возвышается над Испанией. Но есть перешеек, он, как пуповина, соединяет скалу с полуостровом; географические границы более живучи, чем политические.

Альхесирас, удушающий зной. Нас отвратительно накормили в ресторане для туристов — подали несвежий бифштекс. Скандал с хозяином: я отказался платить, чувствовал себя больным и уязвленным. Ненавижу пограничные города, крупные порты. Мы

опаздывали на пароход до Танжера, пришлось бежать по раскаленному причалу, чтобы успеть вовремя. Я почувствовал себя лучше только в открытом море, когда подул ветерок, а мы все дальше удалялись от знойного берега; слева припал к земле Гибралтар, впереди маячили синие африканские горы. Многие — но не я, что меня порадовало, — заболели морской болезнью. Море было почти спокойным. Мы взяли курс на юго-восток, прошли меж гор, разных течений, по волнам с белыми барашками. М. держалась особняком, стояла на палубе в кормовой части и напряженно смотрела на воду. То ли для нее впервые такое зрелище, подумал я, то ли ее попросту тошнит. Впереди среди стремительных потоков, странных водоворотов и перекрестных волн мы видели много дельфинов, один раз перед самым носом парохода резвилось не меньше дюжины; они то погружались в воду, то выпрыгивали у самого борта. Каждый раз при их появлении раздавались возбужденные крики.

Часть группы во главе с Полем хотела поехать в Рабат, а не отдыхать в Танжере. Моник пребывала в нерешительности; я волновался, пытаясь узнать, какое она примет решение. Поль хотел, чтобы я поехал с ними. Но к этому времени я уже понял, что хочу быть там, где М. Мы находились уже недалеко от берега, когда она подошла ко мне и спросила, поеду ли я в Рабат. Сама она решила остаться. Внутренне я ликовал: уезжала вся ее компания, — но радость оказалась преждевременной: выяснилось, что нужны визы, и потому не поехал никто.

Мы приближались к испанскому Марокко, вдали угадывалась извилистая синевато-серая линия гор, тут и там белели деревушки. Дул прохладный солоноватый ветер с Атлантики. Уже вырисовывался Танжер; высокими жилищными массивами он напоминал американские города; заходящее солнце окрашивало его в мягкие роскошные краски. Пристань, арабы, пестрая смесь языков. Тучный человек в красной феске и синем плаще. Кто-то распорядился, чтобы нас отвезли в кемпинг за городом. Был вечер, перед нами сиял город лимузинов и неоновых вывесок. Лагерь разбили посреди песчаной дюны; вокруг ничего — только несколько домиков и магазинов у ближайшей дороги. У робкого любезного араба, хозяина одного из магазинов, мы купили кое-какой еды и устроили пикник в дюнах. После Испании вечер показался холодным; высыпало много звезд. М. не была с нами, но Н. сидела одна; я почувствовал к ней новый интерес. Жуто остался в гостинице, в Танжере. Мы с Н. спустились на берег моря, где уже находился Поль. Втроем мы долго гуляли по ровному пляжу, вдали разноцветными огнями светилась бухта Танжера. Мне хотелось остаться с девушкой наедине, и я

совершенно игнорировал Поля. Она шла между нами, мы обменивались разными банальностями. Прежде чем лечь спать, мы совершили поступок, который не мог не повлечь за собой неприятности, — стянули из палатки Лаффона его шляпу. Странное желание досадить ему и разозлить. Потом мы, все трое, заснули на песке. Так близко и одновременно так далеко.

День тринадцатый. Экскурсия по арабскому кварталу Танжера. В западном районе много дорогих магазинов, хромированного и зеркального стекла, офисов, жилых кварталов, роскошных отелей, на улицах ошиваются проститутки всех национальностей и разной сексуальной ориентации. Бедные и богатые, ослы и лимузины. Арабский квартал интереснее — запутанные, труднодоступные улочки, — мир, укрытый за ставнями. Женщины в белых одеяниях сидят на ступеньках, вдоль шатких стен. Оживленная толкотня на базаре. Везде я чувствовал независимый настрой, легкое презрение к туристам. За пределами своего квартала, в европейском окружении арабы держатся по-другому, но у себя или за границей города они полностью лишены чувства неполноценности. Несправедливо ждать от них приниженности, но ее ждут, это британское наследие.

Все утро ни на минуту не выпускал из внимания М., постоянно ходил за ней, отставал, если она оказывалась позади, тайно следил, чувствовал себя несчастным, если ее не было поблизости и я не мог ее видеть и слышать. С этого времени моя жизнь стала не столько отдыхом в Испании, сколько существованием в присутствии Моник или страданием без нее.

Берегом моря вернулись в гостиницу на обед. Я сел рядом с Н., чем явно ее разочаровал. Она все время поглядывала на Жуто, который сидел за другим столиком. После обеда ел мороженое в обществе М., Н., Женевьевы и Жуто. Была некоторая неловкость: я почти в открытую оказывал предпочтение М. Она была очень серьезна и не расположена к веселью. Я тоже чувствовал себя неловко, смущался. Мы присоединились к тем, кто хотел ехать к горе Танжер, неподалеку от города. Н. решила остаться. Так как Жуто еще раньше сказал, что не едет, было ясно, что Н. полностью для меня потеряна. От этого стало грустно и горько, такое настроение усугублялось тем, что к горе я ехал в такси один. Каждая машина вмещает шесть человек, и так сложилось, что именно я оказался лишним. Случайность, но мне показалось, что она отражает мое положение в группе — обособленное; меня не очень-то жалуют, скорее просто терпят. У меня такой характер, что, если я путешествую с друзьями или в группе, личные отношения поглощают меня целиком. Поэтому я предпочитаю

путешествовать один, чтобы не увязнуть в эмоциях. Я мог бы бросить группу и уехать, но тогда выглядел бы смешным, продемонстрировав внутреннюю ранимость. Однако, находясь в Танжере, я все время ощущал, что у меня не складываются отношения с остальными членами группы. Я ревновал Н. к Жуто. С Моник чувствовал себя Калибаном рядом с Мирандой. Всякий раз, когда она оказывалась рядом, я считал своим долгом паясничать, озорничать, выкидывать разные штуки — то есть делать то, чего терпеть не мог и делал только ради Моник.

Грустный день; только один приятный момент — мы с Моник какое-то время шли рядом в Танжере. Шофер Андре, грубоватый и обычно ни на кого не обращающий внимания, сказал о ней:

— Elle n'est pas mal, la petite[372].

Для него эта фраза равносильна сборнику стихов. При этом он выглядел слегка удивленным; и я его понимал: настоящую красоту, как и другие подлинные вещи, понимаешь не сразу. Про себя я называл Моник chignonette[373]. Мягкие, плавные движения, классическая походка — держится прямо и не теряет грации; пучок, плывущий за ней и покачивающийся при ходьбе, — все это создает ее неповторимый, уникальный облик. Моник.

И все же этот тринадцатый день полон печали, путешествие кажется пресным, а мои горести — как и оказалось впоследствии — бесконечными.

Четырнадцатый день. Подъем на рассвете, идем по берегу моря в Танжер, торопимся на пароход. Я рад отъезду: значит, группа проведет день вместе. Альфред гонялся за мной по песку, дико вопил, хватался за мой оранжевый спальный мешок. Мы держались неподалеку от Моник, наша беготня проходила на ее глазах. Возможно, мне хотелось казаться юным, выбросить из жизни разделяющие нас шесть или семь лет.

Назад, в Альхесирас. На пароходе я хотел сидеть рядом с ней, даже проявил изрядную ловкость, чтобы занять место напротив. Моник писала письмо, потом подняла глаза, увидела меня и отодвинулась. Неужели причина во мне? В этот момент я решил, что меня избегают, и, чтобы как-то отвлечься, написал письмо домой. Думаю, на нее нашло одно из ее настроений, когда она становилась беспокойной, переменчивой. Все были подавлены: мы возвращались на север, то было началом конца.

Альхесирас — сущее пекло; такова вся южная Испания в середине августа. Автобус повез нас вдоль побережья в сторону Малаги; вспотевшие, измученные, мы мечтали искупаться, но Ричард, пуританин по складу характера, настаивал на соблюдении «расписания».

Заночевали у моря в Торремолиносе. Чувство облегчения от перерыва в движении. Теплое море, снова Средиземное, крутой спуск к пляжу. Вдоль прибрежной полосы рассеяны бамбуковые хижины, это придает пейзажу почти полинезийский вид.

У Моник в автобусе сменилось настроение, теперь она весела и игрива; я поддразниваю ее, она отвечает тем же. Притворяется сердитой, морщит носик и сверкает глазками; потом быстрым движением, согнувшись, безуспешно хочет толкнуть меня — сцена получается прекомическая. Ей самой смешно, хотя она и пытается это скрыть, — выдает улыбка, вступающая в противоречие с жалобным и хныкающим голосом:

— Je ne vous parle plus. Vous êtes dégoûtant[374].

Губы гневно кривятся, «больше» она подчеркивает голосом, — он становится пронзительным и будто срывается от возмущения, но в глазах пляшут чертики. Я дразню ее, говорю, что она специально встала у автобуса так, чтобы видеть, как мужчины переодеваются. Встречные обвинения, шутливые удары, нескромные замечания. Зову ее бедуинкой, чем вызываю гнев.

Пятнадцатый день. Встал рано, чтобы поплавать. Потом в город — завтракать. Бренди, содовая вода и килограмм мускатного винограда. Должен съесть весь килограмм — незаменимый фрукт в жару, противоядие от пыли.

Едем в Малагу, она в нескольких милях. Суббота, начало летней фиесты, город полон туристов. По сравнению с Севильей или Кордовой Малага не оставила у меня какого-то особого впечатления. Широкий тенистый бульвар ведет к Плаца де Торос, небольшой главной площади, за которой как раз и находится заполненный людьми, ничем не примечательный квартал. Нам хотелось посмотреть бой быков, но билеты для «молодежи» слишком дорогие. К моему сожалению, Моник — среди них. Это означало, что вторую половину дня и еще один вечер я проведу без нее.

Мы маялись в ожидании билетов, и тут l’affaire[375] Лаффона внезапно возродилось к жизни. Наконец до него дошло, что его шляпу стащил не танжерский вор, а кто-то из нас. Он начал стенать и жаловаться на плохое настроение, на отсутствие у нас чувства товарищества и ныл до тех пор, пока кто-то не достал шляпу, жалкое мятое подобие прежней вещи, и не кинул ему. Но это только подлило масла в огонь. К сожалению, во всем, что он говорил, было достаточно правды, и вообще шутка затянулась — можно сказать, стухла. Он все время повторял:

— C’est hideux[376].

Потом эта фраза часто повторялась во время поездки. Когда я сказал ему, что он поднимает шум из-за пустяка, он заорал:

— Может, у вас в Англии принято так поступать, а у нас нет.

При этих словах я испытал одновременно чувство вины и вспышку гнева. Он обвинял меня в том, что я похитил шляпу — до некоторой степени обвинял справедливо, — но зачем-то приплел к этому национальный вопрос. Я подался вперед, резко натянул шляпу (он уже успел ее надеть) ему на глаза и сердито сказал:

— Поосторожнее в выражениях. Я не брал твоей шляпы. Мне известно, кто это сделал, но это был не я, так что заткнись.

Этот случай не давал мне покоя: ведь я знал, что Лаффон прав. Н. тоже прекрасно знала, что я виноват. Хотя впоследствии все говорили, что он повел себя неправильно, но, думаю, многие втайне были на стороне Лаффона. И применение силы им тоже не понравилось. Я сразу же обменялся с ним рукопожатием, но Лаффон будет ненавидеть меня до конца своих дней. Хотя проявлять свою ненависть глупо с его стороны — не по причине нарушения христианских заповедей, а просто из-за дипломатических соображений. Если я когда-нибудь прославлюсь, уверен, он станет всем и каждому рассказывать, как мы дружили в юности, пока сам в это не поверит.

В гараже, где стоял наш автобус, мы познакомились с испанцем, представителем парфюмерной фирмы, он прекрасно говорил по-английски; от этого вежливого, приветливого человека невозможно было отделаться. Он пригласил нас в ресторан. Я шел с ним позади Моник, мы все время говорили на английском. На мгновение она оглянулась и посмотрела на меня, и я впервые почувствовал, что она восхищается мною.

— Здорово, правда? — сказал я сухо. — Говорю как на родном языке.

Слегка озадаченная, она наградила меня робкой улыбкой малолетки. Я пытался вытянуть из испанца какую-нибудь информацию о франкистском режиме, но он сказал, что все идет как надо. Похоже, он говорил так не из-за страха, а просто ему наплевать на политику. Испанец привел нас в винный магазинчик, где продавали изумительную малагу, вино коричневого цвета, с нежным букетом и экзотическим привкусом абрикоса. Обед в маленьком ресторанчике; я сидел рядом с Моник — место, которое трудно сохранить. Предпочитаю сидеть напротив, откуда могу постоянно смотреть на нее. Сидя рядом, я считаю своим долгом ее развлекать, а это нелегко. Мне никогда не удается говорить с ней по французски так, чтобы она хорошо меня понимала. Другие понимают, но не она. Моник морщит лоб и задумчиво произносит:

— Je ne comprends jamais ce que vous dotes[377].

Поэтому я нервничаю всякий раз, когда открываю рот, чтобы поговорить с ней. Решив, что понять меня невозможно, она теперь и не пытается. Я стал говорить медленнее — так она лучше схватывает смысл. Но во время обеда она, похоже, специально делала вид, что ничего не может понять. Я чувствовал себя дураком. На противоположной стене, ближе к потолку, висело зеркало с таким наклоном, что можно было видеть столики. Моник не сводила с него глаз и улыбалась. Иногда мне, иногда другим. Я же со своей близорукостью не мог понять, кому предназначалась та или иная улыбка. Просто видел, что она улыбается, и улыбался в ответ. И пару раз слишком поздно понял, что ее улыбка мне не предназначалась. В один момент я заметил, что на меня смотрит Тити, смотрит сухо и бесстрастно, словно хочет понять, чему я улыбаюсь. Посреди обеда вошел один из опоздавших, и Моник тут же вскочила, уступая ему место. В этом проявилось не только ее великодушие (она готова в любой момент помочь кому угодно), но и неустойчивость настроения, потребность в перемене. В автобусе она всегда первая предлагает место тому, кто стоит, первая приходит на помощь; у нее повышенное чувство ответственности, материнское.

Мы взяли фиакр до Плаца де Торос. Толпы людей, оживление — все сосредоточилось вокруг высоких стен Колизея. Пробудились римские корни. Мы поднялись по ступеням, чувствуя себя актерами, ждущими за кулисами своего выхода. На втором ярусе остановились и огляделись. Солнце нещадно палило, вокруг множество возбужденных людей. Хотя мы пришли на час раньше, свободных мест, похоже, не было. Но мы все-таки пробились к поручням и там стояли, тесно прижавшись друг к другу, под несмолкаемый рев голосов. На ум приходил старый елизаветинский театр вроде «Глобуса». Окружавшие нас испанцы прекрасно смотрелись бы в партере тюдоровских времен — лучше англичан. Места в тени тоже постепенно заполнялись; черные и белые мантильи, темные очки, богатые наряды — в украшенной Цветами и флажками президентской ложе, символе баснословной роскоши. Мы же поджаривались на солнце и смотрели, как с грузовика разбрызгивают воду на песок, отчего он из светлого стал коричневато-желтым. Наконец пробил час, послышался рев, участники действа медленно прошествовали по залитой солнцем арене и встали в тенистом укрытии ложи.

Тишина, открываются ворота, арена пуста; напряженная пауза, шепот, крик, и тут жители Малаги видят, как на арену стремительно и агрессивно выбегает черный бык.

Бой быков всегда возбуждает меня — зрелищность, красота, символика происходящего перевешивают жалость к животному. В

момент кульминации не садизм пробуждает в зрителях дикие, необузданные чувства, а универсальный поединок со смертью. Мало кто приходит сюда с желанием увидеть, как растерзают или поднимут на рога тореро; это игра, риск, который от лица всего человечества берет на себя один человек, — битва с судьбой. Когда погибает бык, человечество ликует. Ни в одном спорте нет такой ясной цели, нигде игра так не соответствует реальности.

Это примитивное, даже варварское развлечение, но я одобряю его: ведь ничего подобного нет в жизни зажатого современного человека — он весь во власти разума, психологии, в нем нет ничего животного, он всего лишь призрак того, кем когда-то был. Глоток спиртного по праздникам — и все. Последний бой был превосходный, особенно по сравнению с другими, весьма посредственными. Ордоньес, высокий, стройный молодой человек, — его уже наградили бурными аплодисментами за первого быка — явно решил стать героем дня. На этот раз бык достался горячий, готовый драться. Ордоньес прекрасно провел серию вероник — каждый маневр с плащом он выполнял превосходно; бык топтался, водил рогами, направляя их на стройную юркую человеческую фигуру. Матадор сделал пару стремительных оборотов, бык, словно загипнотизированный плащом, даже не пытался на него напасть. При каждом повороте зрители непроизвольно задерживали дыхание, напряжение росло; наконец Ордоньес сделал заключительный эффектный маневр и отошел под гром аплодисментов, влача за собой плащ. Но успех вскружил ему голову — находясь на вершине триумфа, он захотел большего и пошел на смертельный риск. Великолепное зрелище внезапно обернулось кошмаром; только что матадор стоял, дразня быка плащом, а через мгновение уже взмыл в воздух, подкинутый рогом, тяжело рухнул на землю — плащ отлетел в сторону, — и бык придавил его головой. Раздался дружный, полный ужаса крик, потом воцарилась мертвая тишина, все вскочили на ноги. Матадоры бросились к товарищу. Бык потерял интерес к упавшему человеку и отошел.

Ордоньес лежит неподвижно, потом шевелится. Голову от земли не отрывает. Кто-то пытается его приподнять. Ордоньес садится, сердито отталкивает помощников, пытается встать, падает на одно колено. С внутренней стороны бедра глубокий разрез. Теперь все матадоры помогают ему, он с трудом передвигает ноги. Его ведут к барьеру. Он ругается, отказывается уходить, требует, чтобы принесли плащ и шпагу, — он нанесет быку смертельный удар. Его требование не хотят выполнять. Он рыдает от боли, гнева и обиды, его лицо искажено судорогой. Однако сейчас его власть над людьми так велика, что в конце

концов ему приносят и плащ и шпагу. Он берет их, отшвыривает помощников и, пошатываясь, направляется к быку. Остальные матадоры идут следом, пытаются его увести. Ордоньес говорит им что-то резкое, жестикулирует, стоит на месте, пока все не отходят, оставив его один на один с быком. Бык приближается, потом решительно устремляется вперед. Три безукоризненных оборота матадор выполняет четко, только слегка прихрамывает, когда увертывается от устремленных на него рогов. Бык останавливается в недоумении. Ордоньес приближается, трясет плащом. Бык не двигается, он почти в изумлении. Ордоньес опускает плащ, останавливается в шести футах от крупной головы. Неожиданно откидывает плащ, поворачивается к быку спиной, опускается на колени, устремляет взор на президентскую ложу и простирает к ней руки, гордо запрокинув голову.

Незабываемый момент: от безмолвного восхищения у меня по спине побежали мурашки, то же испытали и остальные зрители; наши чувства мы выразили в крике — не столько громком, сколько восторженном. Через двадцать секунд, когда он поднялся с колен, бык все еще стоял, словно его громом поразило; обрушился шквал аплодисментов, в воздух полетели шляпы, все вокруг бурлило.

Ордоньес неспешно готовился к кульминационному моменту — нацелился, с трудом согнув колено, и нанес удар; бык дернулся, так что шпага на мгновение застряла в холке, но тут же отскочила, когда животное затрусило в противоположный конец арены. Ордоньес быстро, несмотря на хромоту, двинулся за быком, осыпая проклятиями других матадоров, которые в очередной раз пытались отговорить его от опасной затеи. Я видел, как при каждом шаге лицо его искажается от боли. Но он ни разу не взглянул на свою рану и не думал о ней. Ордоньес предпринял вторую попытку, неспешно, неумолимо нацеливаясь шпагой, — казалось, сама смерть не помешает ему убить этого быка. Потом стремительно бросился вперед — прямо на рога — и точным движением вонзил шпагу Несколько секунд — и бык свалился замертво.

В честь храброго матадора разразилась бешеная овация, в воздух полетели тысячи шляп, платков, сигарет — все пошло в дело. Только сейчас, месяц спустя, я понимаю: человек всего лишь убил животное. Тогда же его действия казались величайшим проявлением мужества, такого я еще никогда не видел. Но ведь человек рисковал жизнью всего лишь ради обычного зрелища — артисты на трапеции делают то же самое. Тот день, похоже, был самым жарким за многие годы. «Que calor! Que calor!» Все повторяли: «Que calor!»[378] Мы неспешно шли по

тенистым боковым улочкам в надежде найти ресторан, где могли бы поесть. Наконец мы нашли, что искали, но было так жарко, что не было сил есть. Большинство из нас устроилось ближе к выходу, все сидели безмолвные, измученные. Я дважды выходил пить пиво. Но сколько ни пьешь, пройдет десять минут, и снова мучает жажда. Там была и Моник, она пришла с Клодом, и я равнодушно отметил, что в их отношениях появилось нечто интимное. Говорящий по-английски испанец тоже пил пиво; я был настолько слаб, что даже не вступил с ним в разговор. Я подарил Моник свою бумажную шляпу от солнца и прибавил:

— Pas mal, hein, pour deux pesetes[379], — тем самым подчеркивая незначительность подарка.

Моник рассмеялась, примерила шляпу, скорчила гримаску, а через пять минут, когда пошла есть, я обнаружил свой подарок за стулом, он валялся там скомканный. Обед затянулся, я устал от него и отправился, не дожидаясь остальных, с Полем и англоговорящим испанцем на ярмарку. Мы прошли мимо семейства, расположившегося за гаражом, — видимо, его владельцев; в нарядных одеждах они вышли подышать воздухом и хлопали в ладоши, отбивая ритм двум девчушкам, ловко и изящно танцующим в андалузских платьях; их внешняя непохожесть, быстрые ножки, развевавшиеся белые, в красный горошек, длинные платья — все дышало гармонией здесь, на узком тротуаре под уличным фонарем.

Ярмарка была очень внушительная, множество огней, великолепная иллюминация, сотни ларьков, балаганов, танцплощадок, гонки с призраком, аллеи любви и все прочее. Какофония звуков легкой музыки, танго, самбы, пасодобля; невероятная толчея, позвякивание фиакров, медленно прокладывавших путь через толпу. Нет ни темноты, ни звезд. Как отличается эта ярмарка от маленькой ярмарки в Кордове! Я поискал взглядом остальных, но огромное пространство их поглотило. Поль, испанец и я стреляли в тире, метали кольца. Я выиграл дешевенькую статуэтку Мадонны. Можно было взять и другой приз, но я выбрал Марию, чтобы подарить Моник. Почти сразу я стал придумывать, как бы обыграть подношение, репетировал, оттачивал смешные фразы. Испанец ушел, оставив нас вдвоем. Мы с Полем пустились в обратный путь по территории ярмарки; я, печальный, ушедший в себя, скучал без остальных. К месту встречи на главной площади мы уже бежали. У автобуса стояла одна Моник. Я произнес заготовленную речь и вручил статуэтку. Моник была в игривом настроении, много смеялась. В автобусе сидела рядом с Клодом. Он обнял ее за плечи. К счастью, на коленях у него сидела Женевьева. Он изо

всех сил старался демонстрировать любовь к каждой из них. Женевьеве, похоже, это нравилось, Моник — нет, хотя она не выказывала раздражения, когда он прикасался к ней. Он брал их руки в свои, прижимался бедрами, локтями, обнимал за плечи. Хотя это были всего лишь проявления дружеских чувств, я чувствовал раздражение. Зачем обесценивать любовь?

Мы разбили лагерь в нескольких милях от Малаги. На полпути в горы. Я положил спальный мешок под оливу, неподалеку от группы Моник. Нужно следить, приглядывать, что к чему. Они всегда спали вместе, в обнимку, и мне хотелось выяснить, лежат ли рядом Клод и Моник, — особенно теперь, когда я услышал, как Женевьева отошла от них, сказав обиженно: «Спокойной ночи». Сквозь ветви оливы светила луна. Я уселся и какое-то время сидел, пытаясь разглядеть, насколько близко друг к другу находится интересовавшая меня парочка, но так ничего и не увидел. Тогда я снова лег, поглядел на небо, нашел, что его темная синева смотрится очень печально, и почти сразу же заснул.

Шестнадцатый день. Встал на рассвете. Рассвет в горах — всегда необыкновенное зрелище. Я поднялся на ближайший холм и увидел далеко внизу Малагу. Это утро мне хорошо запомнилось — зеленовато-голубой воздух, прохлада после раскаленной равнины. Но особенно потому, что в автобусе рядом со мной сидела Моник. Некоторое время она стояла, потом кто-то сказал:

— Рядом с Джоном есть место, — и она подошла и села.

Я чуть не урчал от удовольствия, как кот после сметаны: ведь с одной стороны от меня был прекрасный пейзаж, с другой — Моник. Я пытался поговорить с ней серьезно, но это оказалось трудно. Я нервничал, старался быть интересным, забавным. Она была сонная — не то чтобы скучала, просто не выглядела заинтересованной. Я спросил, окончила ли она школу.

— Да.

— Ты работаешь на дому?

— Нет, в лаборатории.

— В лаборатории?

— Oui, je fais des analyses![380] — Черные глаза смотрели на меня искоса, почти враждебно. Если б я стал гадать, чем она занимается, эту работу назвал бы последней.

— Какие анализы?

— Всякие… иногда не очень приятные. — В ее глазах промелькнула усмешка.

— Vous chassez les baccilles, alors?

— Oui, les baccilles.

— C’est intéressant?

— Oui. Ça m'intéresse[381].

— Лаборатория большая?

— Нет. Не большая.

И все в таком духе.

Она всегда отвечала кратко и четко, очень серьезно, разумно; отвечала точно на вопрос, словно он написан на бумаге, вроде анкеты, отметая все не относящееся к делу. Неожиданно я увидел ее в новом свете, увидел лаборантку в белом халате — сидит, склонившись над микроскопом, а потом отдает результаты своих исследований очкастому начальнику. Существование почти монашеское, стерильное, суровое.

— Большой у тебя отпуск? — спросил я.

— Как раз три недели, — ответила она.

Неожиданно я ощутил себя болваном, бездельником, скучным сентиментальным школьным учителем, немощным старцем рядом со стройной и юной девятнадцатилетней естествоиспытательницей. Я прекратил разговор, огорченный, что она, в свою очередь, не задает вопросов мне, и стал равнодушно и бесстрастно смотреть в окно. Замыкаясь в себе, она становилась очень далекой. Не в этом ли был ее особый шарм? И еще — полная эмоциональная открытость. Когда она была веселой, то веселье в ней било через край; когда становилась печальной, видно было, что это всерьез. Она не подстраивалась под остальных, не старалась оправдать возложенных на нее ожиданий. Я видел, как ее пытались вывести из состояния замкнутости, видел ее слабую улыбку — такая улыбка бывает у человека, выходящего из сна. Никакого лукавства, какое обычно сопутствует склонной к расчету женской психологии.

Мы остановились довольно высоко над долинами, чтобы бросить еще раз взгляд на Малагскую равнину, однако тепловые испарения сглаживали на таком большом расстоянии краски. Моник вышла из автобуса передо мной и направилась к Клоду, тот взял ее за плечи и осторожно встряхнул. Она высвободилась из его рук, но тоже мягким движением, и стала о чем-то смеяться с Женевьевой. Я не чувствовал к Клоду особой ревности: он был влюблен в Моник, но она не отвечала ему взаимностью — это я видел. Однако, в своей маленькой группе, они не скучали друг с другом. Много смеялись, подолгу танцевали. Я видел, как они втроем нашли место, откуда удобнее обозревать окрестности, и мне стало горше некуда. Когда пришло время ехать дальше, я нарочно медлил, чтобы дать возможность Клоду сесть рядом с Моник и тем самым подсыпать мне соли на рану. Но они сидели порознь. Я молча сел рядом с ней. Вскоре Моник стала клевать носом и задремала, но каждые пять секунд просыпалась от

тряски. В очередной раз проиграв и позабыв о гордости, я поджидал удобного момента. Когда, после особенно сильного толчка, она подняла голову, я мягко произнес:

— Спи… на моем плече… если хочешь.

Она улыбнулась своей детской улыбкой, нерешительной и просящей.

— Ça ne vous gênerait pas?[382]

Я пожал плечами:

Je n'ai pas sommeil. Allez-y[383].

Она придвинулась и положила голову мне на плечо. Меня пронзило острое, удивительно острое ощущение полного счастья. Она немного расслабилась и еще теснее прижалась ко мне.

— Ça va?

— Oui, c'est confortable[384].

Она замолчала, а меня захлестнула волна счастья. Раньше я, самое большее, касался ее руки. Сейчас же ощущал тяжесть ее тела, чувствовал его плотность — совсем новый уровень. Ее голова, волосы ласкали мою щеку. Мимо прошел Поль, взглянул на меня как-то странно, чуть ли не с ревностью, как мне показалось. Я оглянулся не улыбаясь, с видом даже некоторого превосходства — ни дать ни взять петух на навозной куче.

Сидевший за мной Мишель рассмеялся:

— Ah, ah, c'est comme ça que ça commence [385].

Тити тоже:

— Да, похоже.

Уголком глаза я следил за Клодом, вид у него был грустный.

Но мое счастье длилось недолго: автобус остановился у колодца, где можно было умыться и побриться. Когда мы все собрались у воды, зазвучала болтовня и повсюду распространился запах мыла, я вдруг обратил внимание, что Моник с нами нет, и сразу же отметил, что Клод тоже отсутствует. Побрившись, я бросился к автобусу — вокруг никого. Оглядевшись, тоже никого не увидел, но мест, чтобы укрыться от чужих глаз, было великое множество. Открыл автобусную дверцу и вошел внутрь с печалью в сердце; тут я ее и нашел — она крепко спала, устроившись на широком заднем сиденье: голова на руках, плечи вздернуты, в лежачем положении хорошо вырисовывается тонкая талия, изящная линия длинных ног. У нее поразительная природная грация; великолепным сложением, свободной позой, независимостью она казалась спящей богиней.

Автобус возобновил движение, Моник вернулась на прежнее место, я сел рядом. Некоторое время она была оживленной, болтала со всеми, кроме меня, потом снова стала позевывать и искоса посматривать на мое плечо. Я похлопал по нему,

приглашая прилечь, и она склонила головку.

— Ça ne vous gêne pas?

— Pas du tout[386].

Но мне в очередной раз не повезло. Мотор закашлялся; каждый раз, когда начинался подъем, в нем что-то постукивало. Какое-то время мы ехали неровно, с толчками, потом последовала серия жутких стуков, и автобус остановился. Тогда мы еще этого не знали, но, по сути, то был конец нашего отдыха.

Шофер выискивал поломку, а мы, обступив его, молчали. Впереди, в четверти мили от нас, виднелась деревушка. Вокруг пустынное жнивье, голые холмы, долины, к северу — основная горная цепь, высоко идущая изломанная линия. Андре вылез из-под автобуса с серьезным лицом:

— C'est pour deux heures, au moins[387].

Часть передаточного механизма не работала, такую поломку в деревне не устранишь, даже если там есть мастерская. Мы толпой побрели к домам. Довольно большая деревня, почти городок, под названием Колманар вся состояла из белых, выжженных солнцем домов. Главная улица шла вниз, под уклон; с нее открывался потрясающий вид на серо-голубые горы. Первые два дома были кофейни. Мы пошли во вторую, где на заднем дворе стояли столики под решетчатой, увитой виноградом крышей, и заказали кофе. Поль взял еще консервированные персики. Клод сидел рядом с Моник, держал ее за руку, обнимал за плечи. Она смеялась, склонялась к нему. Кто-то вбежал и сказал, что начинается месса. Все католики повскакали со своих мест. Клод увел Моник, держа за руку. Поль тоже ушел, и я остался один.

Вошли два чернорубашечника. Среди нас были двое или трое юношей, которые всегда ходили в черных рубашках, — полные ничтожества. Им хотелось погулять, повидать «le gibier du pays»[388]. Мы отправились на небольшую экскурсию — я руководил ею. Поднявшись на холм, вышли за пределы деревни, миновали редкую оливковую рощу и спустились в долину, заросшую опунцией. Я был мрачен: мне ужасно хотелось побыть в одиночестве, а эти два черных попугая трещали не переставая. В час дня они заговорили об обеде. Я сказал, что есть не хочу, а они пусть идут обратно. Как только чернорубашечники скрылись из вида, я стал взбираться по склону долины, ориентируясь по вершинам деревьев. Вдоль тропинки тонкой струйкой бежал ручеек из прохладного родника, таившегося в зарослях папоротника. Я вышел на небольшую рощицу, потом на другую — зеленую и тенистую, какую можно встретить в Англии. Множество птиц и полное безлюдье. Посидел немного в тени, у

родника, чувствуя себя совсем несчастным. Первый раз я признался себе, что влюблен в М., признав также и горькую правду — она не проявляет ко мне никакого интереса. Обычно эти два фактора взаимодействуют: когда видишь невозможность взаимности, гордость не дает тебе погрузиться в чувство с головой. Но М. таинственным образом проскользнула в мое сердце, похитив его прежде, чем я это понял, и теперь унесла навсегда, даже не подозревая, что натворила. В этом bosquet[389] я чувствовал себя вне туристской группы, вне обычного течения жизни, вне всяческих обязательств и понимал меланхолическую психологию затворника. Этот час, проведенный на природе, был часом прозрения. Я понял, что, преследуя М., не испытаю ничего, кроме горя; и тогда остаток отпуска принесет мне только печаль и горечь, которые отравят прежние добрые чувства к остальным членам группы. Все было не совсем так, но этим утром я возвращался, понимая сущность моей маленькой трагедии; как обычно, пребывание на природе меня очистило.

Вернувшись, я поел винограда и присоединился к остальным, устроившимся у дороги, — кто спал, кто просто лежал в тени деревьев. М. и ее окружения с ними не было, но из-за жары и усталости я не находил в себе сил волноваться по этому поводу. Крестьяне стояли на верхней дороге и разглядывали нас. Хромой, трясущийся нищий поочередно обошел нас всех. Он так смиренно и долго нас благодарил, что наша милостыня стала не подачкой, а дешево доставшимся чувством самоуважения.

Этот вечер принадлежал Нанни. После ужина она объявила, что надерется. Будет пить малагу. Мы все собрались вокруг большого стола, и она сидела с нами, улыбаясь, как девственница, которой надоело беречь свое сокровище, и пила малагу бокал за бокалом. Я ходил в бар пару раз, чтобы наполнить ее бокал, а заодно и сам выпил достаточно коньяку для поднятия духа. Над Нанни подшучивали, говорили, что у нее двоится в глазах, раскачивали стол, называли неточное количество выпитых бокалов. Ее глаза затуманились, она говорила необычно громко, но в целом держалась потрясающе. Жуто следил за ней с улыбкой, но сам не шутил. Казалось, он завидовал мне, потому что я был заводилой. Нанни, должно быть, выпила десять или двенадцать бокалов, большую часть бутылки, когда мы — пять-шесть человек — решили покачаться на деревенских качелях.

На главной улице было много народу, и мы произвели на них тот же эффект, что и волшебная дудочка на детей из Гамельна. Сначала за нами пошли дети, потом молодежь, и наконец повалили все остальные, смеясь, крича и толкаясь. Мы с Нанни

стали качаться — море лиц вздымалось и опускалось вместе с нами. Нанни визжала от удовольствия. Толпа все больше возбуждалась, а с ней и владелец качелей; в результате я перепугался, что мы можем совершить полный оборот. Сооружение дрожало и пошатывалось при каждом новом рывке. Нанни радостно вскрикивала. Я тоже что-то кричал, стараясь не думать, что случится, если мы рухнем на бетонное покрытие. В конце концов мы остановились, однако Нанни хотела кататься еще, и мне пришлось повторить этот кошмар снова.

Толпа становилась неуправляемой. Мы пошли в направлении кафе, пели, держась за руки, и танцевали в окружении безумной толпы крестьян — их была не одна сотня, и они продолжали идти за нами. Теперь они толкались, щипались — словом, не оставляли нас в покое, беззлобно, но грубо. Разбившись на небольшие компании, крестьяне бегали и орали. Только мужчины и дети. Я устал от этого гвалта и шума и переместился в задние ряды, где на меня не обращали внимания. Вдруг воцарилось молчание — на середину дороги вышли четверо полицейских. Толпа чудесным образом вмиг рассосалась. Плотный коротышка в элегантном сером костюме представился местным судьей и принес свои извинения за причиненное беспокойство. Произошел обмен любезностями; Жуто заговорил с ним о юриспруденции. Смертельно уставший, я сел поблизости на насыпь. Подошла Нанни, плюхнулась рядом и привалилась ко мне, мягкая и податливая. Думаю, можно было бы увести ее с собой — соблазн был велик, — но останавливало самолюбие: я помнил, как она танцевала с Жуто. Я хотел ее, но не сейчас, пьяную, поэтому мы просто сидели и молчали. Жуто поглядывал на нас. На его лице блуждала кривая улыбка, и я понимал, что он боится и ненавидит меня. Всегда ли *ненавидят* соперника? Скорее ненавидят те качества, что привлекают любимую женщину.

В основном из духа противоречия я повел Нанни чего-нибудь выпить. Жуто тоже вскоре пришел и стоял за нами, все так же криво улыбаясь. Похоже, Поль тоже решил быть вредным и предложил нам улечься спать вместе. Мы забрались на холм напротив кафе, где Жуто поставил палатку. Я чувствовал рядом теплоту и нежность тела Нанни, слышал ее смех и заторможенную речь. Ярко светила луна. Мы подошли к палатке, разбитой под оливковым деревом, и здесь нас ожидало первое потрясение. В нескольких местах по палатке прошлись бритвой. Мы разделись и забрались в спальники. Нанни лежала вплотную к палатке Жуто. Повернувшись спиной к набежавшим зрителям, которых мы привлекли своими действиями, я увидел, что Нанни просунула руку под край палатки. Я испытал укол ревности и

лежал без сна, глядя на сияющую луну, но уши навострил — не услышу ли звуки шепота или шорох. Но было тихо. Поль — с очаровательной беспечностью — спал так близко к Нанни, что мог бы дотронуться до нее. Бедный Жуто — как он, должно быть, злился. Хотя у него оставалась возможность посмеяться последним: у меня, как и в предыдущую ночь, недостало сил шпионить, и я заснул крепким сном.

Семнадцатый день. Невеселый завтрак. Стало известно, что сломанную деталь заменят только через несколько дней. У М. и Тити пищевое отравление, у кого-то жар; все устали, горячатся по пустякам, начинается распад. Невыносимый зной.

Вечер безрадостный, унылый; все в депрессии, которую я не разделяю. Немного выпил. Пробовали петь, но без Моник и Тити в пении отсутствует задор. Пели один из грустных мадригалов де Лассо. Все спали в одном месте, под огромным старым ореховым деревом, на склоне холма, подальше от дороги. Я лежал немного поодаль от остальных, внутренне поздравляя себя с тем, что догадался найти место, где утром меня не разбудит солнце. Тридцать спальных мешков, залитых лунным светом. Еле слышный шепот, потом тишина.

Восемнадцатый день. Расчет оказался верен: солнце меня не разбудило, но разбудило моих попутчиков. Однако я не рассчитывал, что все они окружат меня и будут трещать как сороки. Время от времени кто-нибудь говорил:

— Regardez John qui dort, c'est degoutant[390], — а я вздыхал, охал, ворчал, не выходя из дремы; их голоса я слышал сквозь сон. Мне это нравилось. Потом, лежа под деревом, мы подкалывали друг друга, хотя и чувствовали себя разбитыми, и так продолжалось почти до десяти. Несколько раз мимо, с хрюканьем и топотом, проходили гурты деревенских свиней. Чтобы удержать животных на расстоянии, мы бросали в них крупные комья земли.

Мы с Полем пошли умываться к фонтану, оставив после себя отталкивающее зрелище: чистая вода стала мыльной, в ней плавала пена. Но как же приятно умываться ледяной водой, черпая ее из фонтанной чаши, когда тебя вдобавок окружают голые, выжженные солнцем холмы! Я поймал большую жабу, обильно помочившуюся при поимке, и понес ее в кафе, спрятав в сумку для туалетных принадлежностей; у всех она вызвала только отвращение.

Ленч устроили под ореховым деревом. Я предпочел бы поесть в кафе подле М. Впрочем, она вскоре пришла одна и улеглась спать. Во сне она, когда вот так лежит на земле, выглядит очень юной и стройной, нимфой. Пришла Аник, затараторила своим неприятным, визгливым голосом, и тогда Моник встала и отошла.

Я видел, как она расположилась неподалеку под оливой, и, когда к ней присоединилась еще одна девушка, не удержался и тоже пошел туда. Мы лежали там и молчали. Сейчас, холодным сентябрьским вечером, я вспоминаю твердую землю, зной, ветви оливы, платье в клетку, ее голову, лежавшую на правой руке. Солнце, лихорадочное возбуждение. Время и солнце.

Когда Моник вернулась к остальным, я тоже пошел следом, с завистью глядя, как Клод играет с ней, обнимает за плечи. Но во мне крепла уверенность, что она его не любит. Полное равнодушие.

В шесть — митинг протеста, возглавленный мною и Жуто. Ричард и Лаффон уехали на автобусе в Гранаду. Оба были руководителями поездки, и все понимали, что, оставив группу без транспорта, они не выполнили свой прямой долг. Было решено избрать руководителем Андре. Прекрасное решение: его уважают, и он прирожденный лидер. Последние часы в деревне были очень нервными: мы хотели нанять грузовик, чтобы нас довезли до ближайшей железнодорожной станции. Положение казалось безнадежным, но в результате нашли и грузовик и шофера.

Суета, собираем в темноте вещи. Спим всего два-три часа. Пошел небольшой дождь, и кое-кто побежал в автобус. Но я остался спать под ореховым деревом.

Девятнадцатый день. Шофер разбудил меня в три. На дороге полная неразбериха. Грузовик, довольно маленький, подъехал задним ходом к нашему сломанному автобусу; все были вялые, двигались как сонные мухи. Я неожиданно почувствовал прилив энергии — таким бодрячком я иногда становлюсь, когда у остальных заканчиваются силы. Стал командовать, заставлял торопиться, проследил, чтобы все вещи переложили в грузовик, усадил людей, поднял и укрепил откидной борт.

Незабываемая ночная поездка по сьерре в Лоху. Сверкающие звезды, величественные очертания гор, словно затянутые бархатом вершины. Грузовик мчался вперед, въезжал в гору, трясся на поворотах. Полностью проснувшись, я сидел на борту, уверенно сохраняя равновесие, в то время как остальные спали, бессильно уронив головы на плечи соседям. С рассветом горы постепенно светлели, обретая серый цвет и форму, высоко вздымая свои вершины. М. неожиданно почувствовала приступ тошноты — подошла и села рядом со мной у борта. Ее колено прижалось к моему; голову она печально обхватила руками. Как сладко мне было! Хотелось обнять ее, утешить. Вскоре, вместе с восходом солнца, мы подъехали к лохскому вокзалу. Железнодорожная линия вилась у подножия невысоких гор. Пили кофе, ели пирожные. Подошел наш поезд — просторные вагоны,

длинные деревянные сиденья, никаких parois[391]. Я почувствовал сонливость; остальные же, напротив, оживились и стали петь. В вагоне ехало много испанских крестьян. Жуто смеха ради стал обходить их с протянутой шляпой, представляясь победителем цветочной выставки. Они не понимали ни слова из того, что он говорил, но весело смеялись. Что удивительно, большинство, к нашему восторгу, опускали в шляпу немного денег. В нас ожил прежний боевой дух, прежняя радость, озорство, мы вновь объединились против остального мира.

В Гранаде прежде всего пошли искать себе пристанище. Если абстрагироваться от памятников старины, Гранада — современный деловой город. В конце концов остановились в дешевом пансионе в непрестижном квартале недалеко от вокзала — комната на четверых, но все же крыша над головой. Мною овладела обычная городская меланхолия — я знал, что здесь мы разобьемся на группы и я уж точно не буду вместе с М.

Отправились с Клодин осматривать Альгамбру. Несомненно, это самое благородное сооружение в Испании из всех, что я видел; и, на мой взгляд, один из величайших европейских архитектурных шедевров наряду с Шартрским собором и Парфеноном. В Альгамбре присутствует атмосфера безмятежности, грации, сдержанности и таинственности, и это делает дворцы восхитительно прекрасными[392]. Каждая комната, каждый дворик, каждый пруд, колоннада, фонтан окружены дымкой тайны, аристократической загадки. Это восточный рай, персидский сад чудес, скрытая долина Старика с Гор[393]. И все это пронизано ионическим духом Древней Греции, изящным, улыбчивым, несколько причудливо-первобытным, женственным, но более всего — грациозным и глубинно-загадочным. Улыбка кариатид у входа в великий Эрехтейон[394], изображение голов у да Винчи, неповторимость Джоконды в мировом искусстве — все это является результатом одного из самых прекрасных и таинственных подходов к миру. Есть здесь и нечто китайское — тишина, молчание водоемов, мир и согласие, эротические ощущения. Фонтаны в Альгамбре сейчас бьют слабо; жаль, ведь фонтаны — важная часть архитектурного замысла, это живая, подчеркивающая основные мотивы окружающая среда. На меня нахлынула печаль, я сожалел, что величие дворца принадлежит прошлому. Задумался о своей жизни, о том, что рядом нет Моник, и вдруг понял, что у нее с дворцом одна природа, как и с девами Эрехтейона, Джокондой и св. Анной.

Мы подождали на улице остальных. Вдалеке я разглядел Тити, надеялся, что М. будет с ней. Но она и еще кое-кто, наверное, пошли другим путем. Я посидел в тени вместе с

остальными, держась немного в стороне; во мне, угрюмом, меланхоличном, рождалось стихотворение. На тему:

Ее там не было, ее там не было,
Не было вечером во дворце,
Но там был дворец, и она сама была
Дворцом.

Я вернулся со всеми, злой и мрачный. Появился Жуто и куда-то ушел с Нанни. Не думаю, что прежде так остро страдал из-за отсутствия того, кого любил. Постоянно возвращался к мысли, что никогда не увижу ее в Альгамбре, не побываю там вместе с ней, — старый мучительный комплекс.

Двадцатый день. Провели его в Гранаде и довольно весело. День начался хорошо. Проснувшись, я увидел Моник в голубой пижаме, она стояла у окна своей комнаты и что-то шила. Я послал ей воздушный поцелуй, сопроводив его улыбкой фавна; она засмеялась и тоже послала мне поцелуй и улыбку[395].

Когда она отошла от окна, я снова почувствовал себя несчастным. Приняв душ и позавтракав, я увидел, что остался в одиночестве, если не считать двух неприглядных личностей, и поспешил уйти. Отправился в город один. Потом все наладилось. Я пошел в кафедральный собор и там встретил Моник и ее друзей. Мы вместе осмотрели собор. В ее компании я чувствовал себя старым. Обратил внимание на их невежество, плохой вкус (к ней это не относится; она редко осмеливается произнести свое мнение — видно, плохо знает искусство), непроходимую глупость. И не спускал с нее глаз. Не спускал глаз. Неразлучная троица — Клод, Женевьева и Моник — постоянно вместе, шушукаются, касаются друг друга. Клод спокоен только при одном условии: если обе доступны для его ласк.

Пообедали мы вместе. Я старался не смотреть на Моник и выглядеть нормальным. К моей радости, она особенно отчужденно держалась с Клодом. Похоже, он встревожился, пытался ее рассмешить, как-то оживить. Сейчас я думаю, не было ли это связано со мной, — возможно, этим она проявила свой такт. Однако чем сдержаннее она держалась, тем больше я ею восхищался. Ко всем красивым женщинам, как и ко всем величественным горам, трудно подойти, но если все-таки подойдешь, ни те ни другие не откроются тебе до конца. Они хранят тайну, и в этом их особая притягательность. Они что-то утаивают, некий секрет, и тут нет никакой сознательной мистификации, а есть сдержанность и проявление вкуса. У Моник это происходит естественно, подсознательно — так и должно

быть, без этого подлинное очарование невозможно. Мне такого никогда не достичь.

Вернулся в пансион в их обществе; хочется знать, как обстоят дела с автобусом. Новости должны быть сегодня вечером, на худой конец — завтра утром.

Снова едем в Гранаду, теперь за покупками, я опять в обществе Моник — просто не могу упускать ее из вида. Зашли в магазин, где продаются мантильи, я выбрал одну — очень красивую и недорогую. Моник стояла рядом, очень серьезная, понимая, как мне повезло. Ей хотелось купить мантилью для матери. Я предложил ей свою.

— Mais non, John, vous êtes le premier…[396]

Она переворошила всю груду, страстно отыскивая то, что ей надо; наконец вытащила ту, самую лучшую, и неожиданно накинула на себя.

На какое-то мгновение она стала волшебно прекрасной, ее красота пронзила меня. В магазине было темновато; на черном кружеве выделялись вышитые мелкие цветочки. Мантилья обрамляла ее лицо, делала его еще красивее, подчеркивая то, что я называл выражением Мадонны. Слегка наклонив голову, она смотрела на меня, загадочно улыбаясь, и как бы спрашивала, идет ли ей наряд. Взгляд был таким мягким, таким милым и нежным, что выражение моего лица могло ее испугать. Она быстро отвернулась и сняла мантилью. Снова я увидел в ней св. Анну, на этот раз сходство безошибочное. Лучшего выражения у женщины быть не может.

Снова в пансионе. Трагедия малого масштаба. Моник потеряла кошелек со всеми деньгами. Меня позабавило дружное сочувствие мужчин и равнодушие женщин.

— Вечно она все теряет, — сказала одна.

— Теперь уж не вернуть, — прибавила другая.

Однако мужчины — и я не исключение — давали советы, вселяли надежду, искали разные возможности. Что до Моник, то на ее лице играла задумчивая, слегка смущенная улыбка девочки, внезапно превратившейся из взрослой женщины снова в школьницу; улыбка, в какой-то степени признающая свою ущербность. Все уже выразили ей сочувствие, а она продолжала с грустным видом сидеть на скамье. Я немного поговорил с ней, даже предложил ей спать во внутреннем дворике. Она сказала, что не может спать, пока не сошло напряжение. Было сильное искушение сесть рядом с ней, поговорить, успокоить, но я знал, что тогда мое дело проиграно. Речь еще худо-бедно можно контролировать, но глаза… Я мог бы говорить с ней, только отведя взгляд в сторону, но через какое-то время это показалось

бы странным. Поэтому я ушел. Минут через пять вернулся, но коридор уже опустел. Моник пошла в свою комнату, а я остался спать во дворике.

Двадцать первый день. Проснулись на рассвете, ждали автобус на улице у кафе. Решено ехать без остановок до Туара, и от такой перспективы на душе тоскливо и неуютно. Плохой сон, еда в закусочных и никакого туризма. Пришел автобус, и разъединившиеся части группы воссоединились.

Мы погрузили вещи и отъехали; вначале пели от радости, что снова в пути. Последующие три дня были нереальными, прожитыми в лихорадочном бреду: из центра жаркой и страстной Андалузии мы перенеслись в меланхоличный Туар. По непонятной причине в течение этой трехдневной поездки я чувствовал перемену в обстановке более остро, чем во время перелета из Афин в Лондон, и у меня было время это оценить.

Из Гранады — на северо-восток, в Басу, оставив справа величественные снежные вершины Сьерра-Невады. Засушливый район, эродированные почвы. Проехали мимо нескольких термитных поселений; гнезда-термитники построены на холмиках. Внешне похожи на муравейники с наружными отверстиями. Мы едем и едем по стране, все смешалось в памяти, иногда поем, обычно молчим, одуревшие от жары. Остановились, чтобы поесть опунции, — ничего особенного, чуть сладковатое пресное растение, ягоды, похожие на зерна граната, и ужасно колючие. Я весь исцарапался, даже в губы вонзились колючки. Подоспела Моник и вытащила их. Маленькие прохладные пальчики на моих губах — как руки медсестры, умелые и бесстрастные.

В сумерках — Аликанте. Автобус остановился у забитого людьми пляжа. Не выходя, мы в салоне надели купальные костюмы; проходившие мимо испанцы с интересом глазели на нас. Море невероятно теплое, как неостывший чай. Я вошел в воду меж двух пирсов и, отплыв подальше, смотрел на нависшую над городом гору, освещенную последними, слабыми отблесками уходящего дня. Поужинав, мы вновь пустились в путь, и эта ночь подарила мне два-три часа счастья. М. сидела на заднем сиденье между мною и юным Броссе, кузеном Андре. Автобус мчался по темной дороге, ряды черных головок согласно кивали, только шофер сидел прямо — бодрствующий и бдительный.

— Je peux dormir sur ton épaule, John. Ça ne vous gêne pas?[397]

Я был на седьмом небе. Клод сидел напротив, юный Броссе дулся в углу. Несчастный юноша был по-щенячьи, безнадежно влюблен в Моник, повсюду таскался за ней, часами стоял рядом с ее местом в автобусе, трогательно ловил ее улыбку. Она была

приветлива с юнцом, близко не подпускала, не поощряла, но и не раздражалась, не сердилась на него. Одна из ее тайн — как ей удается быть такой милой, ровной и доброжелательной со всеми и одновременно держать дистанцию: если кто-то пытается к ней приблизиться, она тут же замыкается в себе. Идеальную сестру, мать, подругу, любовницу она держит в себе под замком, но можно уловить намеки на эти добродетели, которых почти не осталось в современном мире.

Положение на плече было не совсем удобным, и я похлопал по колену, предлагая ей переместиться. Моник опустила голову мне на колени; тело ее изогнулось и приняло то немыслимое положение, в каком ей, по-видимому, было легче заснуть. Я чувствовал на своих бедрах ее голову и плечи, ощущал все небольшое ладное тело. Левой рукой я поддерживал ее голову, правая лежала на ее бедре. Темнота, непрерывное движение. Давление ее тела мягко нарастало. Моник спала, расслабившись, привалившись ко мне. Моя рука незаметно меняла положение, каждое прикосновение пробуждало новое вдохновение. Казалось, я впитываю Девушку, вношу в себя на кончиках пальцев. Было очень жарко; от этой влажной, немыслимой жары одежда прилипала к коже, в телах просыпалась животная чувственность. Горькая сладость в прекрасном, пусть и временном ощущении тяжести на коленях. Худенькое разгоряченное тело, таившаяся в нем любовница, темнота. Когда мимо проносились фонари, я при их свете видел ее закрытые глаза, тень от длинных ресниц на щеке, красный шарфик в волосах, легкие очертания грудей, обнаженные тонкие руки. Возбужденный сверх меры, я испытал оргазм — такого со мной еще не бывало; я был потрясен, пристыжен и глубоко расстроен. Она, ничего не ведая, продолжала спать; у меня же было чувство, что я предан собственным телом — греческим конем, и оно, заколдованное, попало под ее чары, заставив меня позабыть о возможных опасностях. На какой-то момент я сам поверил, что околдован. Короткая остановка. Вышел из автобуса в смятении. Но когда мы вернулись в салон и она прильнула ко мне, я опять пережил смену солнечного сияния и темных, грозовых туч, и сидел в ночи, остро переживая каждый ее вдох, каждый миг ее близости.

Лагерь разбили в районе Валенсии. Выйдя из автобуса, Моник тут же исчезла в темноте с Клодом. Но скоро вернулась с известием, что есть место для привала. Думаю, она пошла с ним, чтобы привести меня в чувство, не дарить надежду.

Все спали, я же спустился по дюнам к морю. Море было неспокойное, одна сильная волна сменяла другую: удар, шелест гальки и шипение обратного потока. Я стоял на берегу,

потерявшийся перед необъятностью моря, потом снял одежду и вошел в воду по пояс. Море было теплое и бурное — пылкое испанское море.

Двадцать второй день. На пути в Барселону. Начались ссоры из-за мест. Каждый хочет устроиться получше, иногда бывают срывы. А некоторые стремятся быть подле Моник. Первые несколько миль мы с ней сидели в противоположных концах автобуса; чтобы исправить положение, я быстро съел болтушку из яиц на завтрак, первый вернулся в салон и выбрал место позади Моник. День прошел относительно спокойно.

Утром я наблюдал, как Моник расчесывает свои длинные, до пояса, волосы, почти черные, роскошные, блестящие. Обрамляя лицо, они придавали ей вид краснокожей индианки, прекрасной дикой лани — выразительные глаза и смуглое лицо в рамке волос. В эти минуты она священнодействует. Моник кокетлива, очень гордится своими волосами, постоянно их трогает, поправляет красный шарфик. Ее обычная поза: голова слегка откинута, руки изящно двигаются, поправляя волосы, локти — как крылья.

На север, на север, на север. Незадолго до сумерек — Тортоса, там закупаем провизию. У меня кончились деньги. М. у фонтана. Я обрызгал ее, она притворно сердится. Неожиданно обнаружил пропажу шляпы, заподозрил М. или деревенского мальчишку, но ничего не сказал, помня, как сам поступил с Лаффоном. Не рой другому яму… Позже нашел шляпу на сиденье — М. призналась, что подшутила надо мною. Этим утром, к моей радости, она из-за чего-то повздорила с Клодом. Выглядела расстроенной. Возможно, он позволил себе лишнее; бретонец, gaillard[398] и лишенный воображения.

Таррагона. Виноград, сыр, знаменитое вино; на мой взгляд, оно нисколько не лучше тех вин, что мы пили в других местах. М. и Женевьева были в том же ресторане, сидели за другим столиком, ели мороженое и негромко, но оживленно беседовали. Мне приятна опала Клода особенно потому, что на следующий день их пути с Моник расходятся.

Ночью М. спала на том же сиденье, что и Женевьева. Я не был этому рад, но и несчастным себя не чувствовал. Проехали Барселону, море огней, крупный современный город. Ненадолго остановились на краю гавани, вблизи темных очертаний модели корабля Христофора Колумба[399], посмотрели на людей и поехали дальше. Часа в два ночи устроили привал, улеглись на пустынном пляже, слушали шум моря и смотрели на многочисленные звезды.

Двадцать третий и двадцать четвертый дни. Встал на

рассвете. М. идет с пляжа, одеяло наброшено на плечи, волосы распущены; Венера краснокожих движется мне навстречу. Небесное создание, даже в такой час.

Пор-Бу — пограничные формальности и безысходная печаль. Испания и солнце остались позади, впереди — зима. Едем в Перпиньян; я повеселел, потому что Моник по чистой случайности опять рядом; мы так ничего важного и не сказали друг другу: во мне бродит слишком много вопросов, чтобы я мог говорить.

Она снова спала на моих коленях. Я ее поддерживал, лицо мое было бесстрастно: я знал, что это последний раз и другого уже не будет. Несравненное личико, смуглая кожа, закрытые глаза, родинка над губой — словно поставленная в странном месте проба, удостоверяющая ее красоту Волосы гладко зачесаны назад, низкий пучок закреплен шарфиком. Изящное крепкое тело, легкое дыхание. До Перпиньяна мы доехали слишком быстро; в отчаянии я молился, чтобы время замерло или чтобы мы проехали город не останавливаясь. Однако пришлось ее будить, трясти за плечо.

Перпиньян… По этим дорогам я уже путешествовал. Некрасивый город, но старых друзей не судят. Я узнавал знакомые места — «Кастиле», кондитерская, куда я захаживал[400]. Поль, я и Моник с друзьями позавтракали в ресторанчике. Я побрился над раковиной, наблюдая, как все рассаживаются вокруг стола, — оставят ли мне место рядом с ней? Мое место оказалось напротив. Я говорил мало, на Моник смотрел только в случае необходимости, видел, как Клод пытается добиться прощения. Она держалась с ним вежливо, но холодно.

Нарбон. Etangs[401], привычные южные равнины. Клод попрощался с нами. М. спала. Автобус остановился на вокзале, мы все вышли.

— Разбудите ее, — сказал кто-то.

— Нет, не надо беспокоить. Это не так важно, — отозвался бедняга Клод; впрочем, он ее забудет гораздо раньше, чем я.

Но она вышла, потирая глаза, застенчиво улыбнулась и пожала ему руку. Групповые фотографии, последние слова прощания. Праздник кончился.

Неумолимо приближался Каркасон. Моник одна, рядом с ней свободное место. Юный Броссе посмотрел на меня:

— J1 y a une place à côté de Monique, John, si tu n’es pas confortable là[402].

Я понимал, что он сам хочет к ней сесть, а меня просто проверяет.

— Je veux bien[403], — сказал я, пожав плечами и внутренне ликуя; направился к Моник и сел рядом.

Этот поступок говорил о моих чувствах больше, чем все предыдущие. Моник, должно быть, оценила ситуацию. Сумрачный вечер, безрадостный пейзаж на пути в Каор. Некоторое время мы молчали, она со своим обычным холодным и бесстрастным видом смотрела в окно, я украдкой поглядывал на нее.

Спросил ее о работе.

— Il faut que je travaille demain[404].

Мы знали, что ночь проведем в дороге и в Туаре будем не раньше восьми. Я поразился ее выдержке и почувствовал отвращение к жизни, в которой принцесса должна выполнять однообразную, рутинную работу в лаборатории и, что бы ни случилось, являться туда к девяти утра. Я продолжал расспрашивать ее о работе, она отвечала охотнее, чем раньше. Высказала пожелание поехать с группой в Англию. Хотя такая поездка уже была в прошлом году. Я молчал, и она прочла мои мысли.

— On ne se verra jamais, John[405].

Под «мы» она подразумевала всех участников поездки, но для меня ее слова прозвучали только в отношении нас двоих; она произнесла их так небрежно, бесстрастно, будто дала пощечину. Словно сказала: «Видишь ли, на самом деле мне это безразлично». Я надеялся, что Моник заснет, но она продолжала с печальным видом бодрствовать.

У какого-то городка мы устроили поздний ужин на природе. М. повеселела, смеялась моим шуткам. Но я к ней не подходил — робел и стеснялся в такой поздний час пытаться перевести отношения в более близкие.

Снова в путь. Эту ночь я надеялся провести рядом с ней, веря, что она опять прильнет ко мне. Но она села с Женевьевой напротив, моим же соседом стал Альфред, совсем уж некстати. Но вскоре он присоединился к кому-то на заднем сиденье, так что место рядом со мною стало свободным. Я видел, что Моник клюет носом; она откинула голову, но через каждые несколько минут выпрямлялась и устало смотрела в окно. У меня сна не было ни в одном глазу, я смотрел в темноту, сознавая всю безнадежность ситуации. Вдруг ее голос:

— Джон, Джон.

Она перегнулась через Женевьеву, чтобы поговорить со мною.

У меня пересохло во рту. Моник слегка улыбнулась:

— Je ne peux pas dormir ici. Ça ne vous gêne pas?[406]

Она встала; я тоже встал, пропуская ее, чтобы она могла занять место у окна. Когда она скользнула ко мне и тело ее

расслабилось, счастье затопило меня; я чувствовал себя во много раз счастливее, чем когда обнимал обнаженную Дж.

До сих пор я не до конца понимаю, что значил ее внезапный порыв. Просто желание удобнее устроиться? А может, милосердие, ведь не могла же она не догадываться о моей любви. Минута нежности. Обычно она ни с кем так себя не вела. А вдруг это был некий знак для меня, некий намек?

Свет фонарей проносился мимо. Я не спал — нянчил ее тело. Она же спала, прильнув ко мне. В одном месте — в Каоре — мы на минутку вышли, а когда вернулись, я сам сел у окна, а она легла, прижавшись к моей груди, и я чувствовал ее всю. Я наклонился, и теперь наши головы соприкасались. Пальцы нашли друг друга, переплелись, но пожатий не было. На какое-то время мы поменяли положение, теперь моя голова лежала у нее на плече, но я боялся расслабиться и заснуть — слишком хрупкой и нежной она мне казалась. Потом я пытался заснуть, положив голову ей на колени, но и тут ничего не вышло. Я слишком остро чувствовал ее близость, чтобы спать, и потому вскоре снова принял ее, сонную, в свои объятия. Она никогда не узнает — или узнает, или уже тогда знала? — какой огонь зажгла во мне, какое даровала счастье этим своим капризом — тем, что пришла ко мне.

Тогда я твердо знал, что на мгновение познал истинную любовь. Раньше я никогда не чувствовал, что способен на что-то, чтобы удержать любовь. Сейчас я отдал бы все, чтобы продлить эту ночь, отдал бы самое жизнь — только бы остановить это мгновение. Отдал бы всего себя без остатка и без всяких требований к ней.

В Периге сошел молодой человек Франсуазы Броссе. Франсуаза поцеловала его и расплакалась. Моник помогла ей войти в автобус, села рядом и обняла. Я сам чуть не разревелся. По чудовищной иронии судьбы грубая толстуха Аник подошла и спросила, свободно ли место рядом со мной.

— Oui, oui. Allez-y. J’ai assez dormi. Vraiment[407], — сказала Моник, сидя за нами.

И это чудовище плюхнулось на соседнее место. Через некоторое время я обернулся и взглянул на Моник. Она сидела очень прямо, Франсуаза рыдала у нее на плече. Моник отрешенно посмотрела на меня, словно не узнавая; женщина, утешающая другую женщину, полная благородного сострадания, Мадонна. Я же не чувствовал ни ревности, ни горечи, только печаль. Несомненно, в ней живет прирожденная монахиня. Высокое, царственное сострадание Богоматери.

Дальше все было ужасно. Я дремал и мерз от холода.

Непрерывно лил дождь. Аник жалась ко мне, но я решительно отодвинулся. Проехали Пуатье, ожили старые воспоминания; серый, промозглый рассвет. Вдруг резануло в животе, острый приступ колита. Последний час, или около того, был для меня сущей мукой; разум и тело отчаянно сопротивлялись спазмам, раздирающим кишечник. Попутчики тем временем пели. Краем глаза я видел Моник, место рядом с ней было свободно, но подняться и дойти до нее было выше моих сил. Когда прибыли в Туар, мне пришлось сразу же бежать к Андре, но и тогда было уже слишком поздно. Нелепая и отвратительная ирония человеческого организма.

Через пятнадцать минут, слабый, но почувствовавший облегчение, я вернулся на площадь, чтобы со всеми проститься. Повсюду катальпа и дома холодного серого цвета со светло-серыми ставнями. Несколько родителей, затянутое дождевыми облаками небо и груда пожитков на земле. Я отделил свои и стоял грустный, пожимая на прощание руки. Когда подошла очередь прощаться с Моник, я не увидел в ее взгляде обычного озорства, она улыбалась ласково и дружелюбно; нежная и искренняя улыбка не могла скрыть печаль от расставания, в этой улыбке было все, чего я только мог желать. Я чуть не сказал какую-то глупость — а может, и плохо, что не сказал. Вместе с остальными она вошла в автобус, который довезет ее до дома на другом конце города. Я стоял рядом с Полем и смотрел только на ее лицо в окне, а она смотрела на нас — нежно и грустно. Я послал ей воздушный поцелуй, она ответила тем же, потом помахала рукой, и автобус отъехал.

Я погрузился в черную меланхолию. Вернулся к Андре, побрился, умылся, собрал вещи. Из меня, потерянного, вялого, ушла вся воля, вся надежда; я не чувствовал в себе силы вновь вписаться в жизнь, хотелось просто исчезнуть. Пошел на вокзал, испытывая отвращение к холодному серому дню, и вдруг на некрасивом домике из черного кирпича, с вертикально вытянутыми окнами, увидел вывеску «Лаборатория по обработке анализов».

Место работы Моник. Возвращаясь, задержался у этого дома и некоторое время слонялся поблизости, надеясь на чудо, — вдруг она сейчас там и увидит меня, или увидит, направляясь на работу Невыносимо больно было смотреть на этот приземистый мрачный дом. Я вернулся к Андре в полном отчаянии.

Поль пригласил меня к себе, в Шоле, в шестидесяти милях от Туара[408]. На этот раз его воодушевление и практичность успокаивали и облегчали боль — я цеплялся за любое связующее звено с Туаром, с Моник. До сих пор, пользуясь расческой, я

каждый раз вспоминаю, что купил ее в тот день, когда последний раз видел Моник.

После обеда на скорую руку в окруженном цветущими кустами доме Поля спешу на поезд — обычный, идущий с малой скоростью, работающий на стартстопном управлении провинциальный французский поезд. Льет дождь, низкие свинцовые облака, мелколесье и тополя вдоль путей.

Джинетта[409] ждала меня в Париже; перспектива встречи с ней теперь вызывала у меня только отвращение. Всем своим существом я стремился назад, в Туар, меня разрывало на две части. В течение часа я физически ощущал, как меня душит время; никогда прежде я не чувствовал с такой силой его жестокость. Невозможность добиться Моник, мой отъезд, вечная разлука. Я сидел, не в силах ни читать, ни спать, я мог только беззвучно плакать.

В этом году главной была не группа, а Моник. Все, что мне нравилось в этих ребятах, все, чем мне была дорога Франция, я нашел в ней одной. Я увидел в этот раз не озорную, шаловливую школьницу, а молодую женщину. Все в ней — свежесть, все — ожидание; резкая смена настроений — смешливость, задумчивость, веселость, серьезность — вроде апрельской погоды, когда то дождь, то солнце; и все это теперь оплакивал едущий в поезде пассажир.

Я с головой погрузился в меланхолию, идеализировал Моник, не вспоминал о недостатках, об обычных вещах, которые могли бы снизить ее образ, не дать разыграться романтизму. Однако она затронула романтическую струнку в моем сердце, а та глубоко запрятана. Но Моник пробила броню.

Страх перед преходящим, экстатический порыв — древнее, истинное страдание. Римская дорога, всегда прямая. Меняется пейзаж, но не направление. Чувства, переживаемые мною в поезде, тащившемся в Анже, известны каждому любившему и каждому поэту. И все же их стоит испытать.

Моник сделала из меня романтика.

Она также заставила меня исследовать собственную национальность, пока я не понял, что моя истинная родина — Франция.

Печаль постепенно убывает.

Эта звонкая экстатическая свежесть, когда ее голос взлетал вместе с песней.

2 сентября

Рой Кристи, друг Дениса Шаррокса и новый кандидат на должность учителя на Спеце. Аккуратная бородка, морщины под глазами, жена и ребенок. Интеллектуал из среды мелкой

буржуазии; похоже, пишет и делает это всерьез. Написаны две книги. Я испытываю чувство превосходства — в нем есть нечто от крота, трудолюбивого, но лишенного воображения. Нет божественного огня[410].

17 сентября

Ли. Сюсюканье с животными. Ненавижу, когда мать ведет себя с собакой, птицей и даже золотой рыбкой как со своими детенышами. Веселый детский лепет. Никакого чувства гармонии. Чтобы освободить одного дикого воробья, я убил бы тысячу волнистых попугайчиков. Сегодня утром в «Дейли телеграф» полное благородного негодования письмо о жестокости боя быков — как же, британское благородство и все такое. «Мы надеемся, англичане откажутся поддерживать это кровавое зрелище» и так далее. Это пуританское стремление во все вмешиваться. Да, конечно, это жестоко. Но такова жизнь в Испании. Написавшие письмо не принимают во внимание участие людей, страшный риск, первобытную поэзию зрелища, великолепие пролитой крови. Цивилизация может позволить себе такую роскошь. Только люди, живущие далеко от солнца, на окраине современной Европы, могут нести такую ахинею.

Оксфордский выговор интеллектуалов — мой собственный голос. Ненавижу бесцветный аристократизм этого голоса, этих звуков. Все больше и больше люблю все провинциальное, необычное, искреннее. В голосе должна присутствовать индивидуальность, а не академическое благозвучие.

Неприятный спор с отцом об Америке. Он сердито кричал о недостойной позиции «НС» и «Н» по отношению к США[411]. Наши мнения резко разошлись. В детстве он побеждал меня своими обычными методами ведения спора — отвлекающими маневрами, софизмами, задиристой верой во все, что говорил. Черты обвинителя manqué[412]. Теперь я вижу всю его непоследовательность и как он, загнанный в угол, сердито меняет тему спора. Я пытаюсь методично, холодно, четко и объективно говорить на одну тему. Он же эмоционально затрагивает несколько.

— Я считаю Америку замечательной страной, — говорит он, — замечательной. И знаешь почему? Потому что она хозяйка положения.

— Не вижу логической связи.

— Как так? То, что занимает главенствующее положение, всегда замечательно. Иначе не попадешь на самый верх.

— Выходит, Гитлер был исключительно замечательным в 1940–1941 годах. Ведь тогда он был хозяином положения.

— Нет, не был. Нас он не победил.

— Тогда и Америка не хозяйка положения. Она не одолела Россию.

— Тогда хотелось бы мне, черт побери, знать, кто стоит во главе западного мира, если не Америка.

И так далее, и так далее, перескакивая от одного бездоказательного утверждения к другому. Уже через десять минут он отрицал, что когда-либо говорил, будто хозяин положения всегда на высоте. Я сравнил Грецию и Рим и увидел в этом сопоставлении сходство с Европой и Северной Америкой. Но отец слушал меня вполуха и продолжал говорить об Америке и ее богатстве.

— Если ты имеешь деньги, ты имеешь все. Все остальное не важно. Где была бы Европа без Америки? Нигде. С декадентской, слабой Европой покончено.

Эти идеи отец позаимствовал у Тойнби, которого не понял[413]. Чепуха, что каждый новый век лучше предыдущего только потому, что он новый.

Но упоминание о Европе задело меня за живое. Европейская цивилизация не хуже любой другой — американской или азиатской. Грязное предательство интеллектуалом своего континента. Я так разозлился, что замолчал и слушал, как его все больше и больше заносит; мать тем временем не уставала вставлять свои чудовищные клише вроде: «Конечно, теперь Россия против Америки». Отец ничего не читает, кроме книг по философии и логике, но, похоже, ничего из них не извлекает. Особенно жалка закомплексованность на деньгах: если золото, то блестит. Личные заботы, комплексы и ограничения — все это накладывает отпечаток на его глобальные взгляды.

На днях я слышал по радио лучшего английского исполнителя мадригалов, нашего современника. Безукоризненное и бездушное исполнение, сухое и полое, как старая кость. По контрасту припомнились непосредственность и искренность моих друзей из Туара. Теперь нас первым делом поражает мастерство, техника исполнения — если это есть, то об остальном не вспоминают. В Париже я слушал оперу «Так поступают все» — замечательная постановка, очень высокий уровень, и в то же время нет живого огня. Или балет, уже здесь, в Саутенде, придраться не к чему — никаких недостатков, но и никаких достоинств. И дело не только в публике, которая жаждет видеть знаменитостей и их фирменные трюки, но и в критиках, которым тоже подавай трюки посложнее. Слишком многие зрелища сегодня почти механизированы, и это повсеместно. *Меня же* больше покоряет теплота и искренность. Предпочитаю любителей, в настоящем смысле этого слова, пусть они

совершают ошибки, но в них есть пыл, воодушевление, чего нет в холодных профессионалах.

Вот почему мне нравится джаз, нью-орлеанский джаз и вся подлинно народная музыка. В наши дни мастера берегут жар души для премьер и фестивалей; в других случаях они не затрачивают особых усилий. (Очко в пользу кино — там все только один раз, так что сгорай, не жалея себя.)

В эти дни у меня комплекс откровенности. Я стараюсь и с себя, и с других сорвать маски. Мне кажется, я могу проникать в мысли людей, вижу их насквозь, могу анализировать, лучше понимаю их подсознание, чем они сами. Существующее повсеместно чудовищное лицемерие особенно пышно процветает в английской психологии. Я ощущаю себя единственным прямостоящим человеком среди массы идолопоклонников, ползающих в пыли. Меня привлекают только необычные люди.

Рой Кристи произвел на меня некоторое впечатление. Я провел вечер в его холостяцкой квартирке на Хэмптон-корт. Бородатый, проницательный, общительный человек, искренний, с серьезными литературными амбициями. Говорит увлеченно, с легким ланкаширским акцентом; умный, бедный, но довольный судьбой; я не совсем раскусил его (потому он мне и понравился). Прочитал отрывки из его романа — суховато и несколько наивно. Вспомнился Д.Г. Лоуренс, роман «Сыновья и любовники», индустриальный Север. Что я не люблю в соотечественниках с Севера, так это их спокойствие, отсутствие огонька и лукавства — Д. Г. Л. с его пылким характером совсем не типичен, — однообразие их жизни, усталые голоса семейных людей. Это слегка чувствуется в Денисе Шарроксе, и в Кристи тоже, хотя оба чуть ли не с рождения независимые интеллектуалы.

Я позавидовал его смелости: вот так взять и все поменять в середине жизни — тем более что в первой профессии, архитектуре, у него все шло хорошо, — и заняться литературой без гроша в кармане. И его жене, реалистичной, свободной, современной молодой женщине, высокой, красивой, хорошо одетой, которая верила в мужа и поддерживала его искания[414].

Была некоторая неловкость из-за денег. Боже, как бы мне хотелось, чтобы ни деньги, ни любовь никогда не вызывали чувства неловкости! Но я не смогу, встречаясь с ним, не вспоминать, что он должен мне пять шиллингов. Когда я был у него, он показал мне несколько стихотворений Дениса Шаррокса, написанных во время войны. Отдельные эмоциональные переживания — немузыкальные, усложненные (при первом прочтении не улавливаешь смысл). Денис никогда не будет большим поэтом. Он слишком много читает; мог бы стать

эрудированным критиком. Кристи, похоже, читает очень мало. «Чтение отвлекает от творчества», — говорит он. Сейчас я тоже мало читаю, уяснив для себя основные детали в литературной конструкции.

Родители отдыхают в Суффолке; дом в моем распоряжении; восхитительное чувство свободы — ем что хочу; сплю когда хочу; в полночь на всю катушку врубаю джаз. Я наслаждаюсь и ничего не делаю, только пересматриваю старые стихи. Чувствую, что завожусь и скоро созрею для работы. Дело не в силе воли, а в том, знать бы, гениален ты или нет. Талант? К черту талант!

Часть пятая
ЭЛИЗАБЕТ

3 октября 1952

Снова в Греции. В последний момент — не в силах оторваться от горьковато-сладких воспоминаний — взял с собой этот дневник. Здесь же солнце и необычная жизнь постепенно сжигают память о прошлом. Очень трудно писать — как нигде: в этой сказочной стране постоянно хочется бездельничать

4 октября

Приехал на остров. Здесь ничего не изменилось — будто никогда и не уезжал. Все учителя уже собрались, сидели за круглым столом и обменивались банальностями. Я изо всех сил старался излучать радость и веселье.

Вскоре я понял, что мне негде спать. Моя комната заперта а в корпус учеников, где есть свободная кровать, попасть было нельзя. Египтиадис, добрый самаритянин, не покидал меня, громко требуя, чтобы мне открыли. Директор, не выдержав крика распахнул окно и велел нам угомониться.

— Скажите этому ублюдку, что мне негде спать, — обозлился я.

Египтиадис так и сделал.

— Сам виноват, что приехал так поздно, — отрезал старый болван и захлопнул ставни.

Пришлось провести отвратительную ночь на неудобном диване в общей комнате. Поднялся измученный; все тело затекло Жаркий день, полный незначительных событий и мелочей. Но все отступает перед дивным климатом, прелестным островом ярким светом и теплым синим морем. Я плавал около часа надев ласты, и чувствовал себя рыбой.

В саду, и не только в саду, везде, крошечные бледно-лиловые и розовые дикие цикламены. На высохших террасах с оливами — высокая асфодель: белые свечи и пламя. Фиолетовый морской лук под желто-зелеными, давшими прирост пихтами. Осенью здесь и не пахнет.

Тихие лунные ночи; лунный свет заливает все вокруг; спокойное море, ласково плещут волны. Писк летучих мышей, стрекотание сверчков. В серебристой тиши слышится девичье пение. Каждый вечер компании девушек, юношей гуляют по дороге вдоль берега моря и поют. Южная ночь пробуждает желание петь.

Но местное совершенство природы опасно, оно ослепляет.

Пробуждается неодолимое стремление погрузиться в нее, бегать, петь, бродить, заниматься ботаникой, наблюдать за птицами, утонуть в ней, уйти в нее с головой, дать похитить свою индивидуальность. Слишком много здесь воздуха, света и ветра.

В полдень на Спеце, в холмах, воцаряется странное безмолвие; иногда, когда нет ветра, ничто не шелохнется, словно все живое отсутствует. Лазурное небо, яркое солнце и могильная тишина мертвой планеты. Такая тишина, что слышишь шум в ушах.

6 октября

Сегодня дверь в мою комнату отворилась, и вошел длиннобородый священник в полном церковном облачении; перед собой он нес крест и зеленую ветку. Я встал, что-то бормоча. Резким движением он стряхнул на пол воду и поднес к моим губам крест. Я колебался, но крест поцеловал, не придумав никаких отговорок. Он окропил водой с ветки мою голову и удалился, приняв как должное мои поклоны и enchantés[415]. Прелестный ритуал.

Это часть обряда очищения водой. Благословение на новый учебный год. Потом учителя сидели в общей комнате, ели ароматные пирожные, покрытые сахарной глазурью, и пили коньяк из больших бокалов. Грекам приходится отмечать каждый праздник. Своего рода компенсация за страх оказаться слишком традиционными.

Поиски дома для Роя Кристи[416]. Любопытно, что я впервые увидел дома на Спеце изнутри и теперь знаю больше о местной экономике. Снять дом с обстановкой здесь можно за 200–300 тысяч драхм в месяц[417]. Обстановка довольно простая. Длинная, обита я чем-то мягким скамья у стены, диваны, пестрые подушки, домашние растения, ярко раскрашенные бумажные иконки. В каждом осмотренном мною доме внутри было так же безукоризненно чисто, как и снаружи, где сверкала свежая побелка. Сантехнические условия всюду плохие; удобства во дворе, вода из бака, никаких кранов. Дома я обходил вместе с Египтиадисом; думаю, мы производили впечатление странной пары. Он невероятно услужливый и добросовестный — до такой степени, что это начинает меня раздражать, и я подозреваю, что он об этом догадывается. К тому же он неточно переводит мои слова. Я достаточно знаю греческий, чтобы понять, что он не передает моего вежливого обращения к хозяевам. Он говорит с ними резко и кратко, опуская мои добрые слова и комплименты. Осматривая дома, я пожалел, что не женат. Даже Джинетту я мог бы здесь вытерпеть — только бы вырваться из школьной тюрьмы, вести домашнюю жизнь.

Впервые после возвращения отправился бродить по холмам. Обычные безлюдье и тишина — только каменистые склоны и пихты. Через какое-то время это однообразие стало меня угнетать, я почувствовал себя больным. Сел и задумался о будущем: девятимесячное пребывание на острове не дает мне шансов завести дом и семью. Я обречен на холостяцкое существование. На меня нахлынули воспоминания о Моник; яркие желто-зеленые иголки торчали гусеницами на пихтах. Повсюду росли цикламены, нежные, трепещущие на ветру, лишенные запаха, маленькие Моник. Горло перехватил спазм невероятной тоски по ней; это происходило все реже, но все так же болезненно. Вокруг никого не было, будто я один во всем мире, но именно это я и ощущал. Как далеко Туар?

Гитара. Теперь я восхищенный владелец одной из них, Евангелос[418] купил ее для меня в Афинах. Я приобрел самоучитель игры на гитаре и уже узнал, насколько неуклюжие у меня пальцы

И несовершенный слух. Не хочу сказать, что вовсе лишен музыкального слуха, просто я совсем невежественный в этих вопросах. Евангелос обещал меня научить. Первый урок при свете лампы в обшарпанной спальне его дома не был удачным. Он не представлял, как надо учить, хотя сам играл превосходно. Мы просто слушали его игру. Придется учиться по книге.

14 октября

Педагокур — так называется школьный суд; пятеро учителей судят учеников. Микрокосм Греции. На судебное заседание допускаются все. Обвиняемые спорят до посинения, доказывая свою правоту, учителя наслаждаются ролью обвинителей. Правосудие исключительно южное: разбирается не столько конкретный случай, сколько прошлое ученика, его сексуальная ориентация, влиятельность отца, характер ученика, его успеваемость и прочие не относящиеся к делу факторы. Думаю, любое правосудие этим грешит. Но в греческом — это особенно бросается в глаза.

Египтиадис. Последняя «шутка» в его адрес — наличие у него внебрачного сына, который учится в нашей школе. Этот маленький мальчик с бритой головой действительно очень похож на беднягу. Другие учителя, особенно Гиппо, подстрекаемые директором, с удовольствием дразнят коллегу. Каждый раз, когда учителя собираются вместе, внимание автоматически сосредоточивается на Египтиадисе. Он мишень, плевательница, мусорная корзина для садистских наклонностей; каждый дает выход своей мании величия и желанию похихикать над близким. Им необходимо кого-то мучить, над кем-то потешаться, найти

дурачка, чтобы утвердиться самим.

Я пытаюсь выступить в его защиту, но это невозможно: он сам подставляет щеку.

Однажды он сказал:

— В Греции надо быть циником.

Исключительно верное замечание. Истинный циник восхищался бы здешним лицемерием и коррупцией; лжециник (позер) мог бы переносить эти нравы, однако таил бы при этом злобу и имел нечистую совесть; хороший человек, лишенный цинизма, возненавидел бы Грецию.

И еще:

— В США вы говорите то, что вам нравится, но здесь лучше помалкивать. Если вас не поймут, над вами будут смеяться.

Тоже верно. Когда грекам кажется, что их невежеству или филистерству что-то угрожает, они насмешливо усмехаются.

Необычный день для этих мест — ни ветерка, солнца почти не видно из-за густых испарений. Все замерло — перламутрово-серое, дымчато-серое, голубовато-серое, — каждый цвет любовно смешался с серым. Я смотрел, как рыбаки днем вытаскивали сети, — брюки закатаны выше колен, открыв бронзовые ноги; истрепанные рубашки; они тащили сети и пели гимны, пели красиво, неторопливо, скорбно, в духе дня. К берегу медленно подошла лодка приглушенно-карминного цвета. На пристань ступил и благосклонно огляделся по сторонам деревенский священник, высокий, с сединой в темных волосах, в традиционной черной шляпе и с бородой патриарха. У воды стоял мальчик в зеленом костюме и внимательно смотрел на него.

Сумеречные бабочки, их здесь много. Иногда они залетают в комнаты. Почему эти солнцелюбивые существа летят в тень? Сегодня, наблюдая за одной из них, я понял почему. Она кружила по комнате, зависая в воздухе над разными предметами, и как бы проводила инвентаризацию. Цветы — вот что она здесь искала. В это время года цветы на острове растут в основном там, где можно найти влагу, — на тенистых склонах и в долинах. Сколько поколений сменилось, пока это стало понятно? И у бабочки, и у меня. Я рассуждаю, как Дарвин. Особое очарование изучения природы заключается в попытке постичь отдаленные пути ее развития. Это сродни страсти к путешествиям. Tout comprendre[419]. На днях мне показалось, что я уловил особый крик, издаваемый белыми трясогузками после того, как они поймают мошку. Словно узнал новое слово в трудном языке.

Думаю, что стал поэтом случайно. В двадцать лет творческая энергия бурлила во мне и искала выхода, а поэзия — единственное, чем можно заниматься, ничего не зная о технике

стихосложения, не читая специального руководства. Мне кажется, это было удачей. Теперь я художник широкого, а не узкого профиля; я чувствую себя жизнеспособным, чувствительным, полным всхожих семян, катализатором, водоразделом, человеком с многогранным интеллектом. Сейчас, в поэзии, я наивен в своей попытке достичь ясности.

11 ноября

Еду в Пирей встречать Роя Кристи и его жену. Их пароход пришел — необходимые формальности, приветствия, два дня на Афины, Акрополь. Для меня они — как новые игрушки: я наблюдал за их реакцией, проверял, чувствовал свое превосходство, был их гидом и переводчиком. Они вели себя как настоящие англичане, англичане за границей, — ели блюда местной кухни. Были еще наивнее, чем я мог предположить. Конечно же, мы пошли осматривать Парфенон. Они бродили вокруг довольно равнодушно. Рой сделал несколько чисто архитектурных замечаний и выглядел разочарованным, что не было оснований сделать их больше. Похоже, он не ощущал романтической, символической стороны этого места, руин, теней прошлого, прекрасного местоположения. Он дважды повторил:

— Да, сюда стоило прийти.

Странное замечание — как будто он предполагал, что поход сюда будет напрасной тратой времени, и теперь удивлялся, что так не случилось.

Довольно равнодушно они отнеслись и к переезду на Спеце. Когда началось самое интересное, они погрузились в сон; в салоне сидели, повернувшись спиной к красивейшим островам. Приятное разнообразие после Англии — похоже, это все, о чем они думали. Если Рой так прозаически относится к жизни, как он может быть писателем? Ему не хватает артистизма и быстрой реакции; он, как и Денис Шаррокс, почти равнодушен к природе, к естественному окружению. Он впервые увидел Парос, впервые увидел гибискус, но они не поразили его, не подарили ощущение чуда. Восторженность не по его части. Элизабет в этом похожа на него; высокая, сутулая, в ней есть что-то от поджарой собаки, очень сдержанная, довольно беззаботная, но упрямая; ее, как и мужа, Греция оставила равнодушной. Он просто глух к красоте, она же, как мне кажется, считает дурным тоном проявлять восхищение. Такая современная поза — я все видела, все знаю, ничто не может меня поразить — является скорее защитой, чем проявлением агрессии. В очередной раз жалею людей, ничего не знающих о природе, людей, которых не может взволновать мир без человека.

* * *

Белая трясогузка, элегантно покачивая хвостиком, идет через миниатюрный редкий лесок розовато-лилового осеннего морского лука. Я видел это несколько раз — очаровательное зрелище.

30 ноября

Ясный, превосходный день. Прошлый вечер отдал пьянству; мы отправились к Георгиу[420], пили, распевали песни, шутили; рецина лилась рекой. Утром голова раскалывалась, само же утро было чудесным — легкий ветерок и ослепительно яркое солнце. Позавтракав, я пошел на холмы, один, испытывая чувство подъема и желания размять ноги. Все вверх и вверх по козьим тропам — в мире пихт, воздуха и залитых солнцем опушек. Ловил древесную ящерицу изумрудного цвета. Оглянулся — белые домики внизу, лодочки в лазурном море. Пихты, солнце, ветер и одиночество. Я снял рубашку и пошел дальше обнаженный до пояса. Наконец достиг центральной гряды; по другую ее сторону — море, блистающее и сверкающее между Спеце и Пелопоннесом. Бледно-голубые горы в пенистых завитках облаков. Некоторое время шел вдоль центральной гряды, потом стал торопливо спускаться по крутому склону, минуя пихтовые рощицы, к заливу Анаргироса[421]. С грохотом несся я меж пихт, стремясь поскорее добраться до моря. Залив Анаргироса — уединенный уголок острова с четырьмя-пятью коттеджами. Около одного я остановился. Старик возился с цилиндрической упаковкой для хранения оливкового масла. У него были густые брови и длинные седые усы. Жена тоже вышла, почти беззубая, морщинистая, веснушчатая, сгорбленная — вылитая ведьма; ее не назовешь подходящей Бавкидой для Филемона[422]. Но она оказалась очень полезной. Сам залив — широкий, удобный, с прекрасным каменистым пляжем, окруженный кустарником, сквозь него просматриваются белоснежные стены коттеджей.

Переваливаю через холм и оказываюсь в заливе Святой Пятницы (Агиа Параскева)[423]. К моему удивлению, он не безлюден. Мистер Пятница — лысый мужчина с легким пушком на голове, в шортах и зеленой рубашке, загорелый, веснушчатый; глаза приятные, добрые; похож на бывшего руководителя скаутов. Это известный в здешних краях господин Ботасис, владелец ближайшей виллы «Джасмелия» (от жасмина)[424]. Пригласив меня на кофе после купания, он исчез подобно фавну.

Я плавал в холодной кристально чистой воде, бросал камушки, загорал. Этот залив самый красивый и уединенный на всем Средиземноморье. Просторный пляж, за ним пихтовая роща,

часовенка — и абсолютный покой. За этим узким заливом простирается море, вдали видны Пелопоннесские горы. Я съел три яйца, слишком острый рокфор и два яблока. После этого почувствовал себя хорошо — язычником, животным, тем, кто находится в полном согласии с природой.

Поднялся в «Джасмелию». Хозяин тепло встретил меня, провел в уютную гостиную, дал возможность ознакомиться с его картинами, фисгармонией — по его словам, он профессионально пел в опере, — просмотреть гостевой альбом. Впечатляющее количество знаменитостей побывало здесь. Великий старик Венизелос украшал этот список, в альбоме были его фотографии под сводчатой галереей. На других фотографиях — английские адмиралы, аристократы, писатели, художники. Я написал: «Здесь Средиземноморье предельно выражает себя, хозяин же — само гостеприимство». Похоже на визит к дантисту, где каждому вручают книгу отзывов. Этот коротышка — удивительный человек, по-детски обаятельный, энергичный и жизнерадостный; его тщеславие не раздражает, он доброжелательный и гостеприимный. Провел меня по всему дому, словно я — выгодный покупатель. Виллу он спланировал и построил сам; ее не назовешь красивой, но глаз она радует; в ней много полукруглых арок, а уж расположена она исключительно живописно — на крутом склоне, разделяющем две уютные бухточки, в окружении пихт, спускающихся к самому берегу; впереди за морем горная цепь Парной, а позади залитые солнцем лесистые холмы Спеце[425]. Лучшее местоположение трудно вообразить — возвышенное сочетание леса, моря, солнца, ветра и гор. Совершенство не романтического, а классического рода.

Мы поднялись на крышу и постояли на верхней террасе. Где-то далеко внизу, в пустынной долине, пела девушка; сильным голосом она свободно и непринужденно распевала турецкую песню, которая долетала до нас в отрывках, и из них не удавалось сложить целое. Сверху мы увидели, как к дому бежит маленький мальчик.

— Телеграмма, — сказал Ботасис.

Посланец, неожиданный, как Гермес. По извилистой тропинке мы спустились к частной бухте Ботасиса. На хозяине были альпинистские ботинки, кепка от солнца, огромные темные очки; он непрерывно говорил о себе и Спеце. Мы прошли мимо дерева.

— Если кто-то срубит это дерево, то только я. Никому другому не позволю.

Дерево росло посреди дороги, загораживая всем путь. Ботасис заговорил об Анаргиросе:

— Очень несчастный был человек, сплошные семейные неприятности, — потому и оставил все свои деньги на доброе дело.

Он показал мне, где привил побег фисташкового дерева к цератонии. На холм он взобрался не останавливаясь, но дышал тяжело. Для человека его возраста это было нелегкое испытание. Ботасис ругал мою школу, ее директора, попечительский совет, и потому не мог мне не понравиться.

Он проводил меня до половины пути, пройдя две или три мили по своей дороге, которой премного гордился и постоянно о ней говорил, — упоминал о связанных с ее строительством трудностях, применении динамита, рассказывал и другие истории создания этой великолепной, но никуда не ведущей дороги. Мы миновали колонию разросшегося асфоделя — зеленые толпы маленьких человечков. При заходе солнца Парной был ослепительно прекрасен, его голубая линия четко вырисовывалась на зеленоватом небе; на востоке из-за хвойных лесов выплывала полная луна. Строительством внутреннего, удаленного от моря отрезка дороги руководил анатолиец, он без всякой помпы проложил несколько сотен ярдов трассы через сосновые леса в самой уединенной части острова. Этот строитель — «замечательный работник» — умер от голода во время оккупации.

— Он, бедняга, напоследок сказал: «Теперь мою дорогу никогда не достроят».

Я посоветовал Ботасису поставить памятник на его могиле.

В конце дороги мы распрощались, и я продолжил путь уже по дороге Анаргироса — длинной, петляющей, ведущей к морю. Мимо торопливо проехал мальчик на осле, колокольчики на животном громко звенели. Мальчик сидел, высоко подняв колени и откинувшись назад; копыта осла звонко стучали по набитой тропе и гулко разносились в лесной тиши.

Дальше путь вдоль моря. Луна ярко светит, прочерчивая сверкающие дорожки, в ее свете можно читать. Черные ветви пихт, тени кипарисов и волдыри у меня на ногах.

Декабрь

Расследование на Спеце. Вчера одного из официантов, восемнадцатилетнего парня с лицом идиота, уличили в воровстве. Полицейские увезли его в участок. Он сознался в воровстве, отрицал только, что украл плащ. Его били, но он молчал. Тогда его привезли в школу и допросили там. Юношу морили голодом и били палками. Я наткнулся на неприятную сцену в общей комнате. Юноша с красным, опухшим лицом ползал по дивану, плакал, подвывал. Красивый и опрятный

молодой сержант стоял над ним, держа в руках розги. Ученики могли видеть (да они и видели) из соседней комнаты, что происходит. Вечером они только и делали, что шушукались, обсуждая, что полицейские делали с официантом. Говорили, что его кололи иголками, били и не давали есть. Большинство считало это шуткой. Я был в такой ярости, что не выдержал и ушел к супругам Кристи. Они — луч света в хаосе этой невежественной страны.

Сегодня я расспросил о случившемся некоторых учителей. Все подтвердили, что юношу били; мое возмущение действиями полицейских всех удивило. Раз он вор, стражи порядка имели право бить и пытать его. И это европейская страна в 1952 году, после всех ужасов войны. Звери.

Роман Роя Кристи. Не могу сказать, что я высокого мнения о его произведении. Он талантливо и живо воссоздает пейзаж, но большинство его книг — философские дискуссии, а герои не живые люди, а точки зрения, рупоры идей, марионетки. Атмосфера столь мрачная, а психология людей столь таинственная, что эффект подчас комический. Написано очень искренне. Но все перемешано: католицизм, борьба с антисемитизмом, отказ от прохождения военной службы по политическим или религиозноэтическим мотивам, теология, метафизика и туманная, маловразумительная теория Воли (с большой буквы) как истории или Истории в Воле. Ее трудно переварить.

Было неловко заниматься критикой. Я не мог сказать, что, по моему мнению, это ни к черту не годится, ему следует порвать рукопись и все начать заново. В жизни он очень практичный, приземленный, веселый, любящий выпить гедонист, и каждому ясно, что роман фальшивый, умозрительный, и лучше бы ему спуститься на землю и быть самим собой.

Новый стиль в моей поэзии. Сознательно что-то взято от Кавафи, бессознательно — от Роберта Фроста, есть что-то и от Лоуренса. Лаконичный, ровный, разговорный стиль. Отличный способ выгодно преподнести жемчужину. Закончился еще один семестр. Я печатаю «Поездку в Афины, 1952» и собираюсь опробовать ее на Рое Кристи[426]. Я больше чем когда-либо уверен в основной мысли моего сочинения, ее весомости и ценности, хотя и сознаю недостатки стиля, слишком робкого и неоригинального.

В остальном все идет нормально; нагрузка в школе небольшая, и у меня много времени наслаждаться красотой острова, который я все же собираюсь через год покинуть. Я меньше пью и курю, стал более умеренным. Супруги Кристи, на

мой взгляд, слишком земные, грубоватые и лишены стержня. Они пьют, не оглядываясь на других, много курят, и если их этого лишить, будут страдать. Он необычный человек, слегка бестолковый и при этом удивительно проницательный; обладает некоторым живописным даром. И писательским — неясным и вялым. На этом пути ему не стать гением. Мне не нравится его бесцеремонная манера брать чужие вещи, постоянная потребность в «выпивке» и «куреве», его искренний, но быстро проходящий интерес к рыбной ловле, сквошу, теннису, кино и ко всему остальному.

Вспоминаю М. и время, проведенное в Испании, но весь сосредоточен на своей единственной цели.

* * *

Рождественский сочельник. В опустевшей школе бродят призраки. У меня боли в желудке; у Кристи нет денег; небо нахмурилось; идут дожди. Ничего праздничного. Я ненадолго ушел гулять в холмы; вечернее серое небо, низко бегущие облака. Все вокруг серое, холодное, безжизненное. Я набрел на загон для овец: пятнадцать или двадцать ягнят укрылись под большой, нависшей над ними скалой. Пастуха не было видно. Белоснежные ягнята со смышлеными черными мордочками. Один ягненок весь черный. Смеркалось. По нижней дороге проехали на ослах мужчина и женщина. На женщине зеленая юбка и белый платок — такие крестьянки надевают в праздники. На мужчине ярко-оранжевый свитер, поверх пиджак; он что-то рассказывал. Говорил он громко, но, если б не особый акустический эффект, я не расслышал бы его голоса. Словно сценка из далекого Назарета — два сельских жителя на ослах, и я наверху, на пустынном, заросшем пихтой холме.

Рождество на Спеце не празднуется особенно широко. Мне это все равно, но Кристи недовольны: вечеринки, угощение и выпивка играют заметную роль в их жизни. Рой не менее двадцати раз в день упоминает о выпивке; думаю, это реакция первого пьющего поколения на трезвое прошлое множества предков. Рождественский обед мы вкушали одни в школьной столовой — скудная еда, скверная погода и раздраженный греческим негостеприимством Рой; ученики ели где-то в другом месте с другими учителями.

Вечером собираемся в «Посейдоне»[427]; здесь видные люди поселка кружатся в танце бальзаковских времен. Трудно поверить, но вся атмосфера словно перенесена из Франции

тридцатых годов прошлого века. Отцы в парадных костюмах, воротнички накрахмалены; полные строгие матери; притворно-застенчивые дочери — глаза опущены вниз; несколько особенно отважных кавалеров осмеливаются танцевать с дамами «неприличное» танго. Все держатся вблизи небольших столиков — человек четырнадцать-пятнадцать у каждого — и с важным видом потягивают вино или ликер, весь вечер из одной рюмки. Мне казалось, что просто смотреть на них — уже смешно, но Кристи решили взбодрить публику. Рой очень быстро заводится. Он станцевал вальс с Элизабет. Все в полном молчании глазели на них. Гибкая Элизабет танцевала превосходно, несколько в американской манере. Рой — немного неестественно, комично, он становился на цыпочки и подпрыгивал. Когда они кончили танцевать, раздались бурные аплодисменты. Мне все это не нравилось, но им успех ударил в голову. Я не сторонник эксгибиционизма. Рой продолжал свои танцы с прыжками. Элизабет тоже жаждала пусть маленького, но успеха. Рой подошел к самой красивой девушке в зале и пригласил ее на танец. Пока они танцевали танго, царило напряженное молчание, потом такое же напряженное одобрение. Элизабет настойчиво приглашала меня танцевать, но я решил, что не стану принимать участие в танцах: такое испытание не для меня. Между нами возникло нечто вроде классового различия; они, или она, думали, что я считаю их развязными и вульгарными. Так оно и было, но я не хотел, чтобы они это заметили. Потом пошли в «Саванту». Опять греческая музыка. Евангелакис, полный жизненных сил и энергии, исполняет пародии, Рой тоже веселится и продолжает пить — с него хорошо писать молодого Силена. Позже, дома, пение при лунном свете. Думаю, Кристи шокированы и разочаровались во мне. При подобных обстоятельствах они всегда слишком много пьют, становятся слишком взвинченными; я тоже пью, но в отличие от Роя не теряю при этом головы. Как правило, он пьет больше меня. Рой использует спиртное как стимулятор; когда он приходит ко мне, а у меня нечего выпить, он выглядит смущенным и растерянным.

День подарков[428] — безоблачный и теплый. Я весь день просидел один у окна и, раздевшись до пояса, бренчал на гитаре. Этот день принес мне больше радости, чем Рождество.

18 января 1953

Я не использую время полностью. Здесь у меня одна перспектива — забвение; планов хватает, но они не реализуются. Многое в творчестве зависит от упорства и стремления завершить начатое. Легко начать, но вот продолжать… Я по-прежнему не собираюсь идти на компромисс, поэтому каждый проект

подвергаю серьезной проверке: достаточно ли он значителен, красив, может ли принести автору подлинную славу. И тогда многие задумки умаляются, оказываются несостоятельными еще до начала работы. Рою Кристи явно не понравилась «Поездка в Афины», но его пристрастия и антипатии настолько причудливы и субъективны, что его мнение меня нисколько не тревожит. Больше беспокоит стиль. Где он? Или он скоро установится, или этого не случится никогда. По-прежнему много шлака — неточности, непоследовательность, подражательность. Сейчас больше всего я ненавижу поверхностную, современную фотографически-кинематографическую технику. Взять, к примеру, Г.Э. Бейтса, великолепного ремесленника, работающего в реалистической манере, академика от литературы, и чего стоят его жизненные впечатления? Ничего. Академическая дребедень, великолепно преподнесенная и полностью лишенная внутренней духовности. Повсюду, повсюду теперь этот дух глянцевых журналов, первоклассный, отшлифованный репортаж, полный ярких выражений и красочных определений. Да пошли они к черту!

Моник. Феникс.

Тяжелый вечер с четой Кристи. Пустая трата времени. Я не хотел оставаться. С ними надо постоянно пить, потягивать спиртное из бокала. Мне же хотелось побыть одному, провести время с толком. Мне ненавистна мысль, что время идет, а я ничего не делаю. В отношении времени я скряга.

У нас был горячий и нелепый спор о вине нацистов. Рой спорил с необычной, пацифистско-католической точки зрения. Он считает Нюрнбергский процесс ошибкой, ужасной ошибкой; нацистов нельзя было наказывать: союзники не менее виновны, они тоже бомбили немецкие города. Кажется, он не принимает во внимание изначальных намерений и не видит разницы между жаром битвы и хладнокровным истреблением людей.

Я предложил рассматривать Нюрнбергский процесс как зарождение нового правосудия: именно тогда преступления назвали преступлениями, хотя в момент их совершения закона против них не было. Закона против применения газовых камер не существовало, но это не означает, что Олендорфа следовало бы освободить[429]. Рой спорил в абстрактном, бездоказательном духе митингов в Гайд-парке.

Конечно, нацисты невиновны в том смысле, что их заблуждения — результат экономических и социальных условий, прошлой истории. Ведь ни одно животное не виновно в абсолютном смысле. Закон и наказание — всего лишь временные уловки общества вроде подпорки для дерева, чтобы со временем

оно окрепло.

— Ну а что, — взревел Рой, — ты скажешь о том, что все готовились к войне? Все эти чертовы лицемеры. Как насчет Соединенных Штатов, нас?

— Есть разница между подготовкой к войне и объявлением войны. Если в следующий раз войну объявит и проиграет Америка, тогда, надеюсь, мир будет судить зачинщиков, как судил нацистов. Ты можешь утвердить закон против убийства, потом сам убить и быть судимым в соответствии с собственным законом. Это не означает, что закон несправедлив.

Мы перескочили на другую тему. Если бы Рой не был таким эгоцентриком, думаю, он поменял бы точку зрения. Я просто взбесился, когда он завел речь о психической атаке союзников на нацистских заключенных в Нюрнберге.

Какая еще психическая атака?

Это было отвратительно, сказал Рой. Их заставляли носить тюремную одежду. Часами допрашивали, не давая никакой еды. С ними чудовищно обращались.

Чаша моего терпения переполнилась, и я сам стал кричать о концентрационном лагере в Белсене и эсэсовских преступлениях.

Потом разговор перекинулся на евреев, которых Рой превозносил. Только одна однородная нация, ядро, сердце мира, единственный народ, несущий миссию, знающий о своем предназначении и обладающий «историческим чутьем», — так это называл Рой.

— Ты еврей, Джон, — говорил он. — Ты думаешь, как еврей, и сам этого не знаешь. Ты видишь в себе француза и древнего грека, но ты еврей.

Мы продолжали спорить — я не столько из-за несогласия по еврейскому вопросу, сколько из духа противоречия. Хотя у Роя, несомненно, экстремистский взгляд как на евреев, так и на будущее, которое он в принципе не признает; Рой живет в настоящем, пребывает в нем, не задумываясь о будущем. Идеалы — обременительная ноша и т. д. Нет ничего наивнее таких представлений. Отрицать идеалы — безумнейшая из иллюзий. Рой рассвирепел, когда я назвал его гедонистом и *экзистенциалистом*, но в la vie quotidienne[430] он именно такой. Он пьет, думает исключительно об удовольствиях, комфорте. Его занимает только та жизнь, что Проходит здесь и сейчас. Еще я назвал его реакционером и варваром, а потом задал вопрос: почему он занимается творчеством — на который не получил ответа.

Странно, но у него какая-то прерывистая, импульсивная воля. Я знаю, он считает себя волевым человеком, потому что страстно

себя выражает и осуществляет все свои прихоти. Ему нравится встряхнуть человека, вывести его из «летаргического сна». Но такая воля не находится под контролем разума, в этом ее слабость. Его взгляды, такие крайние и неубедительные, показательны, как и автоматическая критика всего, что не соответствует его мировоззрению.

25 января

Необычный для Греции январь — сырой, мрачный; но вот наконец выглянуло солнце. Сегодня явился нежный призрак летнего дня. Я пошел в холмы, бродил среди пихт. Ни ветерка, ни звука; когда сидишь неподвижно — полное безмолвие: недвижные деревья под косыми лучами солнца, заброшенная церквушка. В воздухе разлит сладкий, медовый аромат. Я увидел первую паучью орхидею. Потом сидел на ограде развалившегося дома, остро ощущая очарование острова, наслаждаясь теплом, тишиной, пихтами и покоем. В такие минуты это место кажется чудесным далеким раем. Когда я возвращался, море постоянно меняло цвет — оно было сиреневым, бледно-голубым, ярко-синим, изумрудным. На фоне свинцовых туч острова на востоке сияли голубым и розовато-лиловым цветом. Мне повстречались три девушки из поселка, они шли рука об руку и пели от всей души, как поют жаркими летними вечерами.

Устаревшие слова — «посреди», «надлежит», «обитать». Не могу их употреблять. Против них у меня сложилось стойкое предубеждение. Эти слова, которые я употреблял долгие годы, кажутся мне теперь затасканными, ненадежными; я не уверен в них больше и не получаю от них никакого удовольствия. Нужно вести им учет, чтобы понять, насколько они просочились в текст. Клише и анахронизмы, постоянная осада.

Паучьи орхидеи. Две растут в жестяной банке на моем столе — прелестные, элегантные, маленькие растения; стоят почти прямо, по два цветка на каждом стебельке, смотрят, подобно Янусу, в разные стороны. Два широких зеленых крылышка, два боковых лепестка, зеленый шлем и роскошная бархатистая коричневая губа, длинная и вздутая.

У меня также живет настоящий паук — апатичный черный тарантул, небольшой, он сидит в бутылке из-под коньяка. Паук сплел довольно жалкую паутину и поедает в большом количестве мух. У него крупные зеленые ядовитые зубки; в нем есть какое-то мрачное очарование. Возможно, этому способствует сохранившийся запах коньяка. Сегодня он ничего не ел, лежит скрюченный, ко всему равнодушный, недвижимый — он на пути в нирвану, где никогда не кончается мушиный сок.

11 февраля

Апокриас[431]. Школьный бал. За наш стол после обеда сел американизированный молодой грек. Говорил, думал, танцевал и вел себя настолько по-американски, что как-то забывалось, что он грек. За обедом было скучно — с нами сидел директор. Вина хоть залейся. Супруги Кристи пили, как обычно, много, постоянно наполняли бокалы, и вечер для меня понемногу превращался в кошмар. Во-первых, начались танцы. Я не танцевал, потому что не могу вынести их публичности: иностранец среди местных жителей всегда привлекает внимание. Остальные танцевали, а я стоял и наблюдал. Во взгляде Роя появилось лукавое, заторможенное, пьяное выражение — дьявол в нем уже скалил зубы и потихоньку выбирался наружу, — тогда и начались неприятности. На столе еще оставалось спиртное, когда я предложил пойти в «Саванту», где намечалась еще одна вечеринка. «Никуда я не пойду, пока здесь есть выпивка». Эту разновидность алкоголизма я не выношу. Это не дипсомания, а культ спиртного. Кристи только о нем и говорят — что бы они хотели выпить, сколько способны выпить, как бы им хотелось выпить. Рой всегда уточняет, как много он выпил. Если вы не пьете наравне с ним, в его обращении появляется презрительный оттенок, что я нахожу нелепым и примитивным. Для него способность много выпить — ценнейшее социальное качество. Во время вечеринки я обычно выпиваю три четверти его нормы, но после этого я, как правило, трезв, а он основательно пьян. По остекленевшим глазам и яростной жестикуляции я понимаю, что спиртное для него — наркотик. Он громче говорит, громче поет и страстно спорит из-за пустяков.

Наконец мы направились в «Саванту». Американец вел Элизабет под руку и явно с ней флиртовал. В «Саванте» была скука смертная. Гитарист Евангелакис отсутствовал. Назревал скандал. Рой злился на Элизабет из-за флирта с Американцем. Она старалась сохранять спокойствие и невозмутимость, как искушенная и опытная женщина, но иногда срывалась. Евангелакиса пригласили играть в другом месте, и я категорически не хотел выяснять, где он, и извлекать его оттуда, как того требовала Элизабет. Однако она не прекращала терзать меня, и в конце концов мы с Роем пошли искать музыканта. Звуки его гитары доносились из дома на холме. Все двери там были заперты. Выходит, это частная вечеринка. Рой все же рвался войти и увести Евангелакиса. Я пытался ему втолковать, что он не знает греков и их обычаи. Рой, как и положено, вспылил.

Трудная ситуация в «Саванте»: Рой злится на меня, Элизабет его дразнит. У нас с Роем перепалка; Элизабет показывает на меня Американцу и шепчет:

— Боже, он такой…

Позже все успокоились, помирились и решили все-таки пойти незваными гостями на вечеринку с Евангелакисом. По дороге Элизабет держалась за мое плечо, но меня не так просто умаслить.

И вот мы впятером — Кристи, Американец, Пападакис[432] и я — подошли к нужному дому. Элизабет стала вызывать Евангелакиса. Через некоторое время гитарист вышел с черного хода. Мы его окружили, и, немного поговорив, он пригласил нас в дом. Основное помещение занимал магазин; вечеринка проходила в соседней комнате, мы могли видеть там пустые столы и горы грязных тарелок. За столом продолжали сидеть пять человек, уставшие и отяжелевшие от еды и питья, — такими обычно бывают хозяева после ухода гостей. Элизабет пригласили войти, или она сама вошла, и после этого мы провели там полчаса, постоянно ощущая неловкость. Элизабет танцевала, преимущественно одна; высокая, хорошо одетая, она импровизировала, расправив плечи и прищелкивая в такт пальцами. Смотрелось это не блестяще. Но Рой так и светился от удовольствия, а молодой Американец повторял:

— Прелестно! Вы чудо, Элизабет!

Думаю, она готова была в это поверить, если б не снисходительно-циничная ухмылка на моем лице; она ее раздражала, но именно к этому я и стремился. Не понимаю, как можно до такой степени не чувствовать ситуацию. Четверо мужчин, организаторы вечеринки, сидели с ледяным выражением в глазах, так и излучая враждебность. Некоторым утешением для меня было присутствие Пападакиса, с которым мы поболтали по-французски.

Наконец мы ушли, направившись домой к Кристи. Молодой Американец и Элизабет постоянно отставали, пропадая из виду. Рой драл глотку, распевая песни, а мы с Пападакисом продолжали говорить по-французски. У Кристи — бесконечный треп и ощущение некоего духовного дисбаланса между мной и супругами.

Они загоняют меня назад в пуританство. Может быть, у них комплекс, связанный с происхождением из рабочей среды, может, это он заставляет их напиваться в обществе. Им хочется быть свободными, раскованными. Однако нельзя относиться к спиртному как к единственному способу развеселиться, эта отчаянная попытка обрести радость, не считаясь с чувствами других людей, — всего лишь современный эгоцентризм, ограниченный и пустой. Богемное времяпровождение эмансипированного рабочего класса. Я опишу их в одной из своих

книг.

Частично источником неприятностей здесь является Элизабет. С самого начала я решил держаться от нее подальше. Основной довод — не давать повод для сплетен в школе и на острове. Достаточно раз пройти с ней под руку, и скандал обеспечен. Второе, более важное: мне нельзя, да я и не хочу, вступать с ней в какие-либо отношения. Остров — единственное место, где извечный треугольник просто невыносим, даже если его трудно обнаружить. Здесь, как на сцене, отношения будут драматически изолированы. Установив с ней нежную дружбу, я восстановлю против себя Роя. Да и я буду к нему ревновать. Речь идет не об откровенном адюльтере, а только о незначительных ежедневных намеках на его возможность. Я не знаю, хочу ли стать ближе Элизабет. Но я точно знаю, что в воскресенье меня раздражал ухаживавший за ней Американец, а это уже похоже на ревность.

Было бы самоуверенно, скучно, наивно, глупо отрицать в этом случае мою симпатию к ней. Однако я долго копался в себе — уже сознательно — и не нашел никаких признаков этой симпатии.

25 февраля

Еще одна утомительная пьянка с Кристи. День мы провели на Спетсопуле; праздный день на фоне голубого неба и синего моря. Я повел их на самую высокую точку острова, откуда открывается один из самых прекрасных видов, да и сам остров — сказочная жемчужина. Про такие места думаешь, что они — центр огромного колеса фортуны. У каждой области есть такой центр, но его не так легко найти.

Возвращались на каике, было уже ветрено, и, достигнув острова, мы решили ненадолго зайти в «Саванту». Но наше пребывание затянулось. Рой стал напиваться и взвинчивать себя. К нам присоединился Гиппо. Мы пили узо, а потом я заказал красного вина. Рой и Гиппо запели. Они, должно быть, пели — Рой без передышки — около четырех часов. Мы прикончили четыре или пять бутылок красного; я пил больше других: мне не нравилось пение, и я подумал, что таким образом притуплю восприятие. Чего они только не пели — греческие песни, оперные арии, песни двадцатых, танцевальные песни. Рой пел очень громко. Поет он вполне прилично, не фальшивит, но в его голосе есть своеобразная четкость, что-то от гимна, и это качество он вносит в исполнение всех греческих песен, превращая музыкальное золото южан в позолоту. Поет он и джаз, подражает Синатре — очень скверно, и до смешного неточно воспроизводит американский акцент. Лучше всех пела Элизабет, приятным,

хрипловатым голосом, а Гиппо выстукивал мелодию.

Я вновь почувствовал неловкость и нарастающее напряжение. Думаю, мое лицо не выражало явного неодобрения, но сам факт, что я не пел и по большей части не улыбался кривлянию Роя, похоже, их раздражал. Поведение Роя было дерзким, развязным. Он словно говорил: «Мне хорошо и весело, но я нисколько не пьян, хотя со стороны может так показаться». Есть две стадии опьянения. В первой человек сознает, что напился, и не скрывает этого, а во второй хотя и сознает, но никогда в этом не признается. Пьянство Роя — что-то вроде фигового листа, которым он пытается прикрыть свою наготу.

Остальные гости взирали на нас с отвращением, не скрывая раздражения и враждебности. Особенно недоволен был старик Ламбру, хозяин заведения, весь вечер он грозно хмурил брови.

Чрезмерное пьянство — абсолютная бессмыслица. Я видел растущую неприязнь по отношению к нам и продолжал пить, как бы ничего не замечая. Рою необходим алкоголь — он зависит от него. Без спиртного он не может развеселиться, а под его действием превращается в язычника, в одурманенное животное, сатира. Он видит в этом преодоление запретов, раскрепощение, я же вижу только отвратительный переход в иррациональное, грубое, варварское состояние. Еще для меня это знак раздвоения личности. Психология Роя не вяжется с его художественными амбициями. Он пишет длинные сложные произведения, поднимает в них проблемы воли, самоотречения, страдания и пессимизма, а сам живет как раблезианец. Нет, не раблезианец, потому что в его пьянстве есть какая-то одержимость и невротизм, что-то глубинно нездоровое.

У Пападакиса восточные черты лица, он вежлив и дипломатичен, как мандарин, и обходителен, как главный мандарин. Похоже, у него много влиятельных знакомых, он все время говорит о своих проектах по реорганизации школы. Принадлежит к людям, глядя на которых думаешь, что им чего-то недостает — может, кейса, как в руке у дипломата. Очень быстро утвердил свое превосходство над прочими учителями, называет себя помощником директора, советником по внешним связям. Пападакис действительно образованнее и толковее остальных так называемых профессоров. Он бегло говорит по-французски, много читает. Хорошо знает Сефериса[433] и Кацимбалиса[434]. Что еще интереснее, он встречался с Кавафи в Александрии и однажды целый вечер развлекал меня, рассказывая истории из своей молодости, когда бывал в салоне Кавафи. Великолепный, всегда переполненный салон Кавафи, его спокойная, размеренная речь, огромная эрудиция и «поэтический» облик, вкусная еда, великий

человек в египетских одеждах[435]. Как-то Пападакис познакомился там с молодым англичанином, который больше молчал. Т.Э. Лоуренс. Мне кажется, что Пападакис во многом похож на Кавафи.

Рой Кристи видит в средиземноморской культуре и философии «поддельный, фальшивый гедонизм». Его предубеждение против классицизма Греции, Франции субъективное, лишенное всякой логики. Он все время говорит, что нужно жить настоящим, не думать о будущем, и, можно сказать, так и живет. Но его совершенно дикие заявления, касающиеся философии и искусства, заставляют меня задуматься: а не розыгрыш ли все это? Как у заслоненного от жизни Д.Г. Лоуренса. В нем есть огонь, сложность, острота и сила, и этой необычности нельзя не позавидовать, но в то же время столько путаницы, односторонности, неубедительности, что зависть быстро проходит. Апокалиптическими настроениями нынче никого не удивишь.

Из того, о чем он всегда говорит (немецкий романтизм, христианство, Север против классицизма, язычества Юга), только классика может привлечь общественно ориентированного человека, сторонника прогресса. Это слабый луч света во мраке. Но, пытаясь притушить свет и затормозить медленное движение вперед разума, — ничего не выиграешь.

Рой показал мне первую часть романа, переписанную им заново. Сырой, резкий, чрезмерно эмфатический стиль; его idees fixes (семитизм, историческая воля и т. д.) проводятся с наивностью ребенка, выбалтывающего секрет раньше времени.

Меня раздражает та настойчивость и убежденность, с какой он говорит о себе как о писателе: «мои книги», «мой агент», «моя работа», — словно у него устоявшаяся писательская репутация. Я заговариваю о своих литературных занятиях только когда без этого нельзя обойтись: например, кто-то входит в мою комнату и спрашивает, чем я занимаюсь. И дело не в недостатке уверенности в себе. В конечном успехе я уверен — возможно, даже слишком; просто не выношу, когда успех присваивают заранее, — это все равно что брать заранее жалованье за следующий месяц. Реальность подменяешь болтовней. Поэтому я стараюсь держаться скромнее.

20 марта

Идет к концу очередной год моей жизни. Меня не оставляет тяжелое чувство, что пора не плестись кое-как, а переходить на бег. Я по-прежнему разбрасываюсь и тону во множестве проектов. И все же не могу преодолеть значительное расстояние между зародышем идеи, ее внезапным бурным раскрытием и конечной

стадией — цветком; расстояние, требующее недель и месяцев кропотливого труда. Однако веру в себя не утратил. Я приветствую каждый свой новый промах: ведь его можно устранить, в очередной раз сменив кожу. Чувствую, что копаю все глубже. И даже если с литературной точки зрения глубины моей души не представляют никакого интереса, думаю, я все же не стану сожалеть об этом духовном путешествии. Узнай я сейчас, что все написанное мною не будет иметь никакой цены, или почти никакой, я почувствовал бы глубокое разочарование. Но верю, я сумел бы найти утешение. В настоящее время я ловлю себя на самодовольстве. В обычном общении я не замечаю такого за собой. Но в творчестве — моем творчестве — так много серьезного самоанализа, рефлексии молодого человека, что подобный повышенный интерес к собственной персоне не может не раздражать. Я знаю об этом недостатке и вижу его, но этого мало. Дело в том, что мне не удается избавиться от этой дурной привычки. Пока я не представляю, как писать иначе.

Поездка на Крит, 1—14 апреля

Каникулы не удались. Испортил их собственной филантропией. Покинул Спеце вместе с Кристи на день позже учеников, теплым, лучистым днем, на рассвете. В течение нескольких недель я ощущал скрытое давление со стороны супругов, они явно хотели, чтобы я одолжил им деньги на поездку. Собственных у них не осталось. Всякий раз, выпивая с ними, я старательно душил рвущуюся наружу щедрость. Благополучно обойдя множество опасных моментов, под конец я не выдержал и, попивая с ними кофе, сказал Рою:

— Я мог бы дать вам деньги на Крит.

Они согласились не раздумывая. Не знаю, почему я сделал это предложение. У нас очень разные вкусы. Теперь, задним числом, я жалею о своем предложении. Деньги они не возвратили, и весь мой выигрыш заключается в том, что я кое-что добавил в знание о себе и пережил один-два момента горького разочарования. Мне не жалко денег, мне жалко — и то не очень, — что они оказались неблагодарными. Правда, был один случай, довольно неприятный. Мать прислала мне на день рождения книгу. Дня за два до 31 марта он взял ее в руки и спросил, действительно ли у меня скоро день рождения. Да, подтвердил я, в понедельник. В понедельник ни один из них об этом не заговорил. Про деньги, потраченные на билеты, тоже никто не вспомнил. Конечно, они понимали, как понимал и я, что Рой никогда не сможет их вернуть. Не так уж, впрочем, и много — всего 8 фунтов, и я всегда дал бы такую сумму, если б они попросили. Что мне ужасно не нравится, так это их

пренебрежительное отношение к чужим деньгам, их эгоцентризм. Они живут весело, подчас за чужой счет, но умудряются делать это, не оскорбляя чужие чувства. Физически Рой очень чувствителен: грубая ткань, яркое солнце, минута, проведенная на жестком стуле или в неудобном положении, причиняют ему муки. Он не тянул армейскую лямку, не носил тяжелое снаряжение, не занимался строевой подготовкой, не жил в казарме. В группе он стремится быть лидером; все должны делать то, что и он, — останавливаться, пить, есть, идти дальше. Роя можно назвать современным Лоуренсом, но без шарма последнего, без знания природы, цветов, птиц, земли. Нет, не Лоуренсом, а его тенью — бледной, ничтожной.

Элизабет мне нравится больше; она не болтлива, в ней есть стиль, ее не волнует ничего, кроме того, что происходит сейчас; в повседневной жизни она умнее и добрее своего мужа.

20 апреля

Скандал в школе. Учителей-англичан пригласили на встречу с директором и его заместителем, то есть с Анаспостопулесом и Пападакисом. Поначалу все шло как обычно, но потом А. выступил с критикой преподавания английского в школе, говорил о низком уровне, потере интереса и славном neige d'antan[436]. Его критика застала меня врасплох, хотя я и знал, что последнее время он питает ко мне враждебные чувства. Но самое удивительное: он не знает ни одного английского слова и в то же время убежден, что уровень подготовки падает. При нынешнем состоянии духа я вряд ли могу выйти из себя в такой абсурдной ситуации. Его обвинение основывалось на том факте, что в прошлом году я играл в теннис намного больше, чем в этом. Из этого он сделал вывод, что я утратил интерес к ученикам, а следовательно, и к преподаванию. Я действительно разочаровался в школе, но язык преподавал в этом году лучше — во всех группах, кроме одной из восьмого класса, состоящей из неисправимых бездельников.

Произошел обмен взаимными колкостями, взаимными упреками. Добрые отношения между нами рухнули. Рой взбесился больше меня. Теперь у меня не лежит душа к школе.

Очень тяжело и духовно, и эмоционально находиться в конфликте с обществом, в котором приходится существовать. Даже если бы обвинения А. были справедливы, я не чувствовал бы никакой вины. Сама система школы и атмосфера, порождаемая ею, подталкивают к безответственности. Я не могу обманывать себя, принимать эти правила игры. Опасное положение. Я намерен покончить с этим как можно скорее — не с нежеланием идти на компромисс, не со своей вздорной и упрямой

прямолинейностью, а с порочными, сложными ситуациями, в которых это мое свойство неизбежно усиливается.

1 мая

Иногда Кристи жутко раздражают своим эгоцентризмом. Мне остается только терпеливо это сносить. Они же беззаботно плывут по течению, считая, что мы отличная команда, и даже не догадываются, чего мне стоят эти дипломатичность и терпимость. С Р. основная проблема — деньги; он всегда охотно их занимает и легко тратит. Он говорит: «Одолжи мне несколько тысяч. Через пару недель верну». И никогда не возвращает, а я, если намекну о возврате, чувствую себя назойливым кредитором. Он всем своим видом показывает, что деньги — ничто, их нужно быстрее тратить, и что сам он относится к ним легко и пренебрежительно, хотя любой человек, у кого их так же мало, как у него, может играть эту роль. Не делается никаких попыток сократить расходы. Один день они сидят дома и как бы экономят, а на следующий идут в поселок, чтобы истратить сумму, на которую можно жить три дня. За поездку на Крит никто со мной не расплатился. Видимо, она считается подарком; меня никто не поблагодарил, не преподнес даже никакой символической вещицы — хоть из многочисленных рисунков Роя, вставленных им в рамки. Отношения между членами небольшой группы людей постепенно все больше поглощают меня, я становлюсь более чувствительным к проявлениям эгоцентричности и гедонизма. Мелочи — но Кристи всегда устраивают так, что я оплачиваю большую часть счета; или я заказываю еду, а когда приносят, они забирают ее себе и мне приходится ждать следующей порции (это случилось только дважды, но само по себе показательно); никакой реакции, когда напоминаешь о мелких долгах, неравномерность при распределении. У Э. постоянно возникают небольшие прихоти — *хочу* сигарету, кофе, пирожное, — она превращает это в маленький спектакль, что-то вроде женской или детской мольбы о любви, создавая, таким образом, ложное представление о себе. Р. такой же. Они шумят, пререкаются и хнычут из-за пустячных желаний, будто хотят показать, что они слишком свободные, эмансипированные, «независимые» люди и не могут мириться ни с какими ограничениями.

Сегодня Элизабет стала читать раньше меня газету, только что пришедшую на мое имя из Англии, и не вернула, пока не прочитала всю. На уединенном острове такие мелочи приобретают большое значение. У меня же навязчивая идея, чтобы все делалось по справедливости. А Кристи в моем присутствии каждый день присваивают себе немного больше того, что им положено. Они вносят в общество колорит, но

представляют и определенную угрозу. Это люди, которые один день расположены к тебе, а на другой равнодушны — с легким оттенком дружелюбия или, напротив, раздражительности; иногда они проявляют необоснованный энтузиазм. В них нет зла — только бесконечное легкомыслие, безответственность, с которыми невозможно бороться. Они не прыгают сломя голову в ад, но тихо сползают туда, глядя в небо. В общество они вносят порчу; вот с такими людьми я должен знаться и преодолевать их влияние.

Мопассан. Продолжаю его читать с тем же удовольствием. Почему Мопассана можно читать в большем количестве, чем любого другого писателя? Во-первых, притягивает богатство и широта его таланта; во-вторых, полное отсутствие комментариев; и наконец, свойство, которое трудно описать, — способность плавно менять смысловые оттенки, особая скрупулезность художника, когда от одного предложения к следующему тянется тончайшая нить. Акварельное искусство уточнений и легких намеков. Его особый талант (ведь всякое литературное произведение должно быть изящным и тщательно отделанным) заключается в том, что он никогда не сбивается с ритма, у него нет неоправданных скачков. Даже в миниатюрах нет напряжения и фальши — ни в сочетаниях, ни в темпе.

3 мая

Весь вечер пил с Кристи; колебание курса драхмы означает удвоение жалованья, это мы и праздновали. Мы с Элизабет выпили много узо в моей комнате, и когда к нам присоединился Рой, ей было нехорошо. Потом — к Георгосу, еще узо, пиво, там же познакомились с американцами, пили виски. Р. и Э. выплеснули на них все свое красноречие, как всегда беззастенчиво выставив себя напоказ (новая аудитория для них, как оазис в пустыне для мучимых жаждой путников), потом все вместе пошли к ним пить кофе. Гидру окрасили ярко-красные лучи величественного рассвета; Рой плавал в розовых волнах; гостям показали Анну[437]. Когда мы вышли, один из американцев, боксер, погнался за белым петушком и бросил его без всяких признаков жизни, черная бородка птицы нелепо смотрелась среди белоснежных перьев. Это запомнилось мне больше всего из той погубленной ночи.

9 мая

Еще одна ночь беспробудного пьянства. Мы с Элизабет репетировали в старом амфитеатре и спустились оттуда с настроением выпить. Вдвоем прикончили бутылку бренди, много говорили в темноте, слушали приемник. Я ощущал, как между нами нарастает нежность. Я тщательно избегаю прикасаться к ней, но наши разговоры и действия настолько откровенны и

открыты, что отсутствие физического контакта не очень напрягает. Рой был в раздражении, когда мы вернулись к нему, все еще трезвые — у нас обоих крепкие головы, — и его гнев нас только позабавил. Потом все вместе пошли в поселок, и там Рой, выпив самую малость, быстро окосел. Евангелакис был в ударе; в заведении пировала компания богатых греков. Рой стал «продавать» себя в обычной манере — пытался овладеть всеобщим вниманием. Я сидел в стороне и наблюдал за выражениями лиц. Танцевали, Евангелакис пел; Рой тоже пел. Наконец около двух ночи пошли домой. Рой орал пьяным голосом и заставил везти себя в ручной тележке. (Уже на следующее утро эта новость распространилась по поселку.) Мы доставили его домой, где он заявил, что хочет спать, мы же хотели петь. Что и делали до пяти утра, пропев весь песенник и все популярные мелодии, какие помнили. Рой продолжал спать, а мы лежали на диване в гостиной. Несколько раз прохладными пальцами она касалась моей руки. Но глаза наши ни разу не встретились. Мы близко подошли к опасной черте, за которой открывалась захватывающая, волнующая перспектива. Но даже мысль о возможном треугольнике здесь, на острове, мне невыносима.

17 мая

Началась жара, и я чувствую, как мое сопротивление слабеет. Ничего не могу с этим поделать, хотя и знаю, что все это результат моего одиночества и нашего постоянного контакта. Время от времени я ловлю на себе ее загадочный, слегка презрительный взгляд, иногда она смотрит на меня с жалостью, как будто ситуация, вначале ее забавлявшая, теперь приносит боль. Вчера мы пили узо в моей комнате примерно часов до десяти, и когда наконец встретились с Роем, он был на нас сердит и пошел домой спать; мы же отправились в поселок, чувствуя одновременно близость и смущение, и вечер закончился легким отчуждением. Элизабет пригласила меня домой выпить кофе, и я оставался в ее обществе до 2.30. В атмосфере — скука и скованность. Я все время чувствую желание объяснить ей ситуацию. Она нависает над нами, ощущается в каждом ее жесте, она почти осязаема временами. Сам факт, что я жажду объяснения, хочу привести доводы, почему я (или мы) не можем идти по пути развития наших отношений, говорит о том, что я ищу ее сочувствия, то есть замаскированной формы любви. Я также влюблен (как было с М.) в сам процесс, любовный ритуал, даже если он не принесет счастья и удовлетворения. Разум в восторге, что ему выпал шанс испытать желание и исследовать плоть.

21 мая

Пошел слушок, что мы с Э. обманываем Р. Это должно было случиться на таком острове — раньше или позже. Я рассказал об этом Э. Похоже, она не очень расстроилась, а Р. откровенно хохотал, когда мы встретились вечером, чтобы обсудить ситуацию. Я слишком часто вижусь с Э. наедине, нам надо встречаться реже, и не только из-за сплетен. Мне все труднее отказываться от удовольствия видеть ее; сдерживать проявления чувства, когда она рядом; не прикасаться к ней как бы случайно.

Нужно обязательно жениться не позже следующего года. С острова непременно уеду. Есть несколько предложений — работа в Перу, в Винчестерском колледже, несколько вакансий в Греции. Я все больше и больше (несмотря на растущие сомнения в своих способностях) хочу писать. Здесь же я не могу по-настоящему погрузиться в творчество — слишком много рутинной, каждодневной работы, и я начинаю задумываться, а хватит ли у меня вообще сил для этого.

Рассеянность. Однажды за ужином я потянулся за бутылкой с водой и, не задумываясь, выпил ее всю из горлышка. Только поставив ее снова на стол, я по лицам учеников понял, что совершил оплошность. Ипсиланти изумленно взирал на мой стакан. Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться, и поспешил поскорее покинуть столовую.

24 мая

Вечер с Э. Мы пошли вдвоем в кино (Р. устал и рано улегся спать), потом пили узо в таверне. Когда мы наедине, атмосфера становится напряженной, нервной, заряженной электричеством — или же, напротив, унылой, потухшей, безнадежной. Возвращались слегка пьяненькие, полные обоюдной нежности, однако шли порознь, избегая малейшего прикосновения. Но домой идти не хотелось. Зашли к Георгосу, потом спустились к морю, сидели на камне, болтая ногами в воде, молчаливые, трогательные. Я чувствовал, что она ждет поцелуя, и сдерживался как мог, хотя сам хотел этого. Однако последствия были столь очевидны, что я не пошел ей навстречу. Не хотелось целовать ее украдкой и жить в аду ревности. Мое воздержание имело эгоистические корни. Я знаю, какая это скользкая дорожка. Мы решили вернуться в школу (было два часа ночи), взять сигареты и где-нибудь посидеть. Но когда мы тихо крались мимо их дома, в окне неожиданно вспыхнул свет.

— Ну, все! — сказала Э.

Мы немного подождали. Свет погас.

— Мне нужно идти, Джон. Он ждет меня.

Мы не смотрели друг на друга. В моем голосе слышалась горечь, когда я сказал. «Спокойной ночи!» Домой я вернулся в

крайнем раздражении. Окажись мы у дома десятью минутами раньше или позже, никакого света не было бы. Я горько сожалел, что не успел ничего предпринять. К утру нервное возбуждение спало. Я заглянул к Кристи домой и сразу же заметил в Э. перемену. Она была сдержанной, равнодушной. Я вообразил, что Р. насладился плодами желания, разбуженного мною. В течение всего дня перемежающаяся любовная лихорадка. Вечером опять виделся с ней наедине. Никакого упоминания о прошлой ночи. Если бы можно было все объяснить! Сегодня я чувствовал в ней легкое презрение, словно я упустил свой шанс. К черту плоть!

9 июня

Провели втроем целый день на противоположном конце острова. Плавали, загорали. Когда вернулись, узнали, что заболела Анна, у девочки был жар. Измерили температуру — 39°, началась паника. Послали за доктором, перебранки, va-et-vient[438], советы, листание справочников, волнение. Анна лежала, укутанная, в постели, неподвижная, молчаливая, только голубые глазенки моргали, глядя на людей странным, загадочным и враждебным взглядом. Я немного посидел рядом с малышкой (первый раз она подпустила меня так близко), гладил ее по головке, а Элизабет стояла и смотрела на нас — короткий синий пиджачок, надетый прямо на лифчик от купальника, темно-синие джинсы; стройная, изящная, загорелое лицо, на голове красная косынка, по-матерински встревоженная, но сохранившая при этом природную рассеянность. Ритм ее жизни размеренный, неторопливый; она как бы витает в своих мыслях; к ее природным добродетелям относится спокойный и молчаливый отказ повиноваться силе. Но она не упрямица. Как правило, она идет тебе навстречу, в ней нет таких чисто женских черт, как капризность и своеволие, — я ненавидел их в Дж. Ее обаяние — в особенной реалистичности, бесстрастности; в ней есть что-то уютное, неявное, и это при отсутствии косности. Из нее никогда не получится гениальная любовница или замечательная хозяйка, но она может быть отличным партнером в жизни.

Из книги об образовании, написанной Пападакисом. «Движение человечества вперед (он имеет в виду эволюцию того, что называет биопсихическим человеческим обществом, обретшим вид современной политико-экономической структуры) пойдет не по пути нарастания цинизма, изощренности, интеллекта, а по пути естественности, простоты, искренности».

Об этом ноет и мое сердце. Назрела потребность в большом очищении и опрощении мира. Конкретный пример — литература; нужно вернуться к благородной naïveté[439], подлинной искренности и простым темам, к новому классицизму,

сознательному упрощению запутанного клубка 1900–1950 гг.

Знойное летнее солнце не покидает неба, настало время плотских утех. Дни проходят в плавании, питии; в это время остров опутывает тебя чарами, околдовывает, похищает твою душу, волю и не дает работать. Сопротивляться невозможно.

Ночная рыбалка. Как давно это было, я уже забыл. Небольшой катер, фонарь, тихая вода и освещенный подводный мир внизу. Недавно мы обнаружили на острове еще одну таверну. Ее держат две девицы, по виду шлюшки, и их вдовствующая мать. Мы трое, обе девицы и два рыбака вышли в море. Ловилось неважно. Мы сидели и мало чего видели. В конце концов прилегли и задремали. Рука Э. на моем плече; в небе звезды, плеск воды, девушки, тихо напевающие греческие песни…

Странный сон про нее. Эротический. Слишком реальное ощущение веса ее тела, и я думал во сне: это сон или, может быть, она тайно пробралась ко мне? Никогда у меня не было такой странной иллюзии. Призрачное тело давило на кожу.

11 июня

Болезнь; секс — это болезнь тела. Я увлечен Э., она так занимает мои мысли, что я думаю о ней днем и ночью. И в то же время знаю, что это не настоящая любовь, не та, какую я испытывал к М., а более плотское чувство, — одиночество, жаждущее утешения. Я провел с ней всю прошлую ночь — мы сидели в гостиной (Рой пошел спать), не прикасаясь друг к другу, молчали, испытывая неловкость, но не чувствуя себя несчастными. Пустой, не заполненный никакими событиями вечер. Сидели так до рассвета — плечом к плечу — и смотрели из окна на море.

Теперь я с трудом выношу Р. Должно быть, это ревность, но я также вижу, что с ним трудно иметь дело — уж очень он эгоцентричен. Каждое явление рассматривает применительно к себе. Даже в самых банальных ситуациях ему нужно произвести впечатление, выиграть, победить, преуспеть. Задиристый петушок, постоянно кукареканьем возвещающий миру о своей храбрости. И до такой степени не щепетильный в отношении чужих денег и собственности, что его можно уподобить ребенку. По сравнению с ним Э. спокойна, доброжелательна, сдержанна. Даже если не думать о ней как о женщине, с ней все равно гораздо легче.

Нужно поскорее обсудить с ней создавшуюся ситуацию. Интересно, как она к этому отнесется. Обязательно запишу.

Сегодня вечером они оба пришли ко мне. Пили, были довольно доброжелательны. Я поймал по приемнику классическую музыку. Они заерзали, и я почувствовал презрение

к ним, не желавшим слушать музыку. Атмосфера становилась все напряженнее, они ушли, треугольник деформировался, я остался в одиночестве и в прескверном настроении. Что-нибудь в этом роде рано или поздно неизбежно повторится.

Уик-энд в Афинах и начало долгожданного существования в новой ипостаси. Этот год отмечен для меня медленной моральной деградацией — отвращение к школе, растранжиривание денег (как же деньги, даже небольшие, портят человека!), влюбленность в Э. А в придачу набирающая силу жара, приближение летнего солнцестояния.

На рассвете мы были в Пирее, выспавшись на диванах в салоне первого класса. Мы с Э. лежали на одном из них — голова к голове. Рассвет бледно-голубой, розовый, фиолетовый и лиловый, потом зеленоватый и желтый, нежные, спокойные тона; на берегу огни — яркие жемчужины на черном фоне.

В Афинах душно, пыльно; в магазинах множество недорогих вещей; мы тратили деньги словно сошли с ума — половину месячного жалованья за два дня. Рой совсем потерял голову, Э. — тоже, а я проявил слабину и не мог им противостоять; кроме того, мои денежные возможности больше (им же нужен рядом взрослый человек, который контролировал бы их траты). Все завершилось на второй день к двум часам ночи, когда Рой напился до положения риз в «Зонаре»[440]. Между Э. и мною симпатия все возрастала. Мы отвезли Роя в гостиницу и вышли, чтобы выпить кофе.

Я предложил взять такси и поехать к Акрополю; быстрая езда по пустынным улицам в тесной, но невинной близости. На мгновение за окном мелькнул и пропал Тезейон[441]; миновав пихтовую рощу, мы оказались у лестницы, ведущей к Пропилеям[442].

— Давай вернемся назад пешком, — сказала Э.

Я отпустил такси. Взявшись за руки и соприкасаясь плечами, мы поднимались по ступеням. Огонек сигареты под деревом у входа предупредил нас, что здесь дежурит охранник. Пришлось повернуть назад. Внизу простиралось море огней от Пирея до Ликабеттоса[443]. Тишина, ночь, пространство. Театр Геродота Аттикуса[444], равный по величине Колизею, выделялся темным пятном на светлом фоне. Мне было все равно, где находиться, только бы вместе, и я предложил пойти к Ареопагу[445]. На пути — проволочная изгородь, деревья, под ними мрак, каменные ступени, ведущие к небольшому камню, на котором стоял св. Павел. Мы тоже там постояли, как бы паря над городом и глядя, как первые робкие лучи рассвета встречаются с полной луной. Неожиданно я рассердился на Э.; не хотелось ни прикасаться к

ней, ни говорить. Но все мгновенно изменилось, как только я взял ее руку, чтобы помочь сойти по ступеням. Мы спустились краем Ареопага и сели, прислонившись к скале. Она прижалась ко мне, я чувствовал токи, идущие от ее тонкого, изящного тела; она молчала, молчал и я. Было тепло, как она сказала потом, «повсюду разлита тишина», сероватый свет, борясь с лунным, пробивался сквозь листву.

Потом она прошептала:

Тебе не кажется, что нам следует поцеловаться, или как? — и я что-то прошептал в ответ.

Ее губы, теплые, бархатистые, и глаза, обычно холодноватые серо-зеленые глаза, теперь нежные, затуманенные, или это я как в тумане, и всё — тысячи мелких случаев за прошедшие месяцы — вдруг обрело новую перспективу, сотни раз, когда я страдал, ненавидел, сожалел, вдруг стали понятны, ясны. Она выдохнула:

— Как давно я этого хотела.

— Я тоже.

Мы передвинулись к другой цельной стороне скалы и, лежа на траве, целовались, ласкали друг друга, что-то шептали в изумлении и опьянении; обнаруживали, открывали, что оба думали одно и то же, подозревали, что другой не влюблен то-настоящему. Ее лицо, нежное, преображенное, новая женщина. Мы продолжали там лежать, пока первые лучи солнца не проникли к нам сквозь деревья и не пришла белая курочка, которая стала клевать что-то в траве рядом с нами. Э. поднялась на ноги и воскликнула:

— Как все грустно! — а я пытался ее утешить.

Надо было уходить. Рассвело, нас могли увидеть с дороги. Взявшись за руки и прижимаясь друг к другу, мы стали спускаться, соображая, где можно утолить жажду. Перешли мост к ресторану, но все официанты спали между столиками. Дальше вниз, к центру, на пути уже попадались первые прохожие, они странно поглядывали на нас: высокая Э. с фигурой манекенщицы, короткой стрижкой, и я, — мы обнимались как школьники. Наконец набрели на захудалую таверну, сели за голубой столик, продолжая держаться за руки. Потом снова вернулись назад, немного прошли вверх и вступили в парк, окружавший Театр Диониса[446]. Там нашли тенистый, заросший кустарником уголок под стенами Акрополя и стали вновь с упоением целоваться. Будто разом рухнула плотина — мгновенная сладостная катастрофа. За два часа мы проделали большой путь, знакомясь с нашими телами, нашими мыслями. Мимо проковыляла старуха и скрылась в усыпальнице, пробитой в камне. Я ласкал стройное нежное тело, маленькие груди, гладкие стройные ноги. В конце

концов нам пришлось возвращаться; мы сели в такси, наши руки по-прежнему сплетены, в молчании доехали до гостиницы и только тут вспомнили о Р. и необходимости обмана. Изобретя подходящую историю, вошли с новым ощущением в холл, в лифте снова соединили руки, постучались в дверь. Он был еще в постели, Э. подошла к нему, села рядом и поцеловала, а я смотрел в приоткрытую дверь на его взволнованное, озабоченное лицо и лгал.

Надо было еще съездить в комитет. После поездки я был такой измученный, что еле стоял на ногах, и Э. не намного лучше. Обиженный Р. сказал, что ему спутали все карты. Решили, что мы с Э. немного поспим и встретимся с Р. в четыре. Итак, в полдень мы вновь в гостинице. У нас соседние номера и общий балкон. Она лежала на спине в приспущенном бело-голубовато-ро-зовом платье, пылающее лицо, глаза широко раскрыты. Было очень жарко, тела от прикосновений увлажнялись еще больше, мы лежали, крепко обнявшись, борясь со сном, вожделением и временем. Желание достигло критического состояния. Сгорая от страсти, я чуть ли не бежал из ее комнаты. Наконец сон.

Мы встретились с Роем и узнали, что он решил повидаться со своими американскими друзьями. Нам опять повезло. Договорившись в очередной раз встретиться с Роем позже, пошли в кино. Душный кинотеатр, жаркие руки, плечи. Хороший фильм, но я не мог как следует в нем разобраться, ведь она была рядом. Уже на улице — частые остановки в переулке, поцелуй за открытой дверью, в то время как в комнате наверху кто-то играл Моцарта. Постоянные прикосновения, воспоминания, объяснения прошлых недоразумений. Я безумно рад такое облегчение, что пришел конец этому напряженному состоянию.

Вечер мы провели в обществе других людей, но при каждой возможности касались друг друга. Поцелуй на балконе, когда Р. оставался в комнате. Утром Рой спустился вниз раньше меня, еще один поцелуй, жаркое объятие, она в голубой ночной рубашке.

Пароход до Спеце отошел в полдень. Мы сидели, держались за руки, говорили о каждом в отдельности и о нас вместе, лукавили и в то же время старались щадить Роя. Оба еще толком ничего не понимали, не сознавали, были как в бреду. Обед на Спеце, наши ноги соприкасаются под столом, взгляды встречаются — взгляды заговорщиков. Первый поцелуй на Спеце — мимолетный, при лунном свете, после ночного купания, она в белом купальнике, я в плавках.

На следующий день она пришла в школу с Анной, чтобы вместе поплавать; мы сидели рядом на берегу и ласкались, позабыв о ребенке.

Дни проносились как в тумане. Вернувшись из Афин, Рой и я узнали, что школа на нас отыгралась[447]. Моя гордость была ущемлена тем, что меня изгоняют из такого убогого и порочного коллектива. Это увольнение — почти свидетельство о высокой нравственности. Работы теперь у меня нет, да и денег на жизнь в Англии не много.

Но все это чепуха по сравнению с той удивительной нежностью, естественностью и гармонией, какой мы с Э. достигли в отношениях за три или четыре дня. Сегодня, когда мы целовались всякий раз, когда Р. не было в комнате, он только чудом нас не застукал. Мы целовались в море, если Р. отворачивался. Целовались на крыше, когда Р. сидел за машинкой внизу. Мы находили друг в друге много общего, много нежности, взаимного соответствия. Э. помолодела, посвежела — иногда совсем школьница, нежная, одинокая.

Самое ужасное в этой истории — присутствие Р. Мы все живем на бочке с порохом. Он, конечно, понимает, что Э. от него отдаляется. Но, кажется, меня не подозревает. Однако не сомневаюсь, что за оставшиеся три недели он как-нибудь застанет нас целующимися, и тогда один Бог знает, что будет. В то же время опасность придает особую пикантность любовным отношениям; адюльтер дело безнравственное. Перед Р. у меня нет чувства вины. Любовь не подвластна законам морали. Если он потерял любовь Э. и она обрела мою, произошла химическая реакция, и тут уже ни воля, ни добродетель ничего не изменят. Но жизнь значительно усложнилась — трудно работать, трудно общаться с Р. и очень трудно скрывать свои отношения с Э. В то же время теперешнее существование прекрасно.

Кошмарная ситуация; Э. и я влюблены друг в друга по уши, все трое живем в школе, почти в соседних комнатах. Весь день мы проводим, стараясь избегать Р., украдкой целуемся за его спиной, жмем ноги под столом, обмениваемся быстрыми взглядами — словом, следуем всем порочным законам адюльтера. Треугольника никак не избежать. Э. живет в страшном напряжении. Мы оба стремимся стать любовниками, лечь наконец в постель, но здесь, на острове, это будет верхом безумия. Любовь делает нас безнравственными, лишенными стержня, потерянными, смущенными. Работать я не могу — ее присутствие или отсутствие меня постоянно занимает. Я по-прежнему пребываю в шоке — от неожиданности случившегося, от определенности, сладости и горечи. От странного, переменчивого очарования Э., которая дает и отнимает непредсказуемо, но без тени кокетства.

Дни похожи один на другой: синева, зной, в полдень легкий

ветерок, душные вечера. Мы плаваем — Э. в белом атласном купальнике похожа на сильфиду; загораем; едим всегда вместе: обедаем дома, а вечером идем к Георгосу или в поселок. Мы обречены находиться втроем — выхода нет, ловушка захлопнулась. Я кажусь себе чудовищем — обманываю Р, прикидываясь его другом. Он же мне полностью доверяет. Нас с Э. гнетет чувство вины. В какой-то момент все едва не летит под откос. А через неделю мы уже думаем о том, как станем любовниками, о разводе, о крупных переменах в жизни обоих.

Пришла как-то утром с чашкой кофе, когда я еще спал. Свежая, пахнущая душистым мылом, восемнадцатилетняя девчонка да и только, летнее платье в бело-розовую полоску. Лежала рядом и смеялась; и поцелуй, очень долгий, показавшийся в полусне почти бесконечным.

Восхитительные дни, полные смеха, поцелуев, словно мы два подростка. И дни ужасные, невротичные, с комплексом вины, когда искра легко может воспламенить бочку с порохом. Ее грусть, нежный взгляд, усталость. Ее озорство, игривость, улыбки. Ее жесткость, равнодушие, грубость. Она переменчива, как море. Р. все больше молчит, грустит, отдаляется от нас, ситуация становится все более явной. Скоро она неминуемо взорвется. Сегодня особенно ужасный день. Мы сидели в кафе; Р. придрался к какой-то мелочи и довел Э. до слез. Она убежала. Мы с Р. сидели и молчали, впереди — жуткий, напряженный день. В отсутствие Р. мы с Э. вели серьезный разговор. Она жалеет его, из чего я заключаю, что она по-прежнему под его влиянием. Если она уйдет, «это разобьет его жизнь». Я намекнул на то, что может случиться в Англии, но она не поддержала эту тему. Жизнь здесь, солнце и море, дни, похожие друг на друга, нежелание смотреть вперед. Мы живем одной минутой, от опасности до опасности, от наслаждения до наслаждения. Восхитительное роковое скольжение. Прыжок в реальность будет страшен. Если бы Э. захотела, думаю, я прошел бы через все испытания — разрыв отношений, развод, поиски новой работы и все прочее. Но пока я не совсем уверен, что получу ее всю. Я страстно хочу Э., мне нужно ее общество, однако я не уверен в стабильности ее чувств и уважении (ко мне); это необходимо твердо знать, прежде чем совершить такой важный шаг. Я чувствую в ней девическое влечение ко мне, что-то вроде запоздалых подростковых отношений; ведь я смешу ее, поддразниваю и страстно добиваюсь. Но это влечение, не любовь. Она часто говорит: «Ты такой милый», «Ты просто прелесть». Но любви нужны характеристики посерьезнее.

Любовь так быстро утрачивает новизну. Такие романы нужно

непременно прекращать после первой недели. Как погружение в холодную воду сначала захватывает дух, зато потом получаешь огромное удовольствие (оттого что не превратил роман в рутину) — Любовь порча. Никогда бы не поверил (Э. говорит то же самое), что стану с такой легкостью обманывать Роя, так усердно, так часто. Вчера мы были одни, разделись, рухнули обнаженные на кровать и только чудом удержались от последнего шага. Такой внезапный взрыв вожделения пугает меня. Рядом бегает ребенок, смотрит. Иногда мне кажется, что она все понимает.

Ситуация с каждым днем становится все более неестественной. Мы с Э. не можем скрыть наше желание остаться наедине. День за днем мы обманываем Р, притворяемся, что нас беспокоит его судьба, а сами обращаемся с ним как с попрошайкой. Никогда не думал, что любовь может превратить человека в негодяя. Теперь он иногда посылает в мою сторону дикий, подозрительный взгляд. Первое время я пребывал в гнусной эйфории от своей сокрушительной победы. Ведь я так легко похитил у него Э., она моя до такой степени, что свободно говорит со мной о нем и передает его слова обо мне. Теперь же я чувствую к нему жалость — моя роль мне отвратительна. Однако невозможно сопротивляться растущему чувству, влечению, симпатии, желанию, любви между мною и Э. Мы пытаемся сопротивляться, но каждый раз проигрываем. Р. по большей части пребывает в одиночестве, его мучают невысказанные упреки. Мы же то грустим, то безудержно веселимся. Если оказываемся втроем, молчим или говорим банальности. Сегодня мы с Э. долго говорили об Англии и о том, что там с нами будет. На горизонте уже маячит развод. Пришла любовь, неожиданная, сильная, глубокая. Последний страстный поцелуй вечером у лестницы, ведущей на крышу.

Любовь растет с каждым днем; положение стало чрезвычайным. Мы с Э. все время вместе. Роя видим только за едой, потом исчезаем. Он пишет книгу и, похоже, не замечает романа под самым носом. Мы так часто целуемся и в такие опасные моменты — когда он на секунду выходит из комнаты или в местах, где нас могут увидеть, — что рано или поздно нас уличат. Наверное, Р. думает, что у нас всего лишь флирт. Иногда он даже снисходительно мне улыбается, как бы говоря: «Да знаю я, что происходит, мой друг, между тобой и Элизабет». Не представляю, что случится, если он поймет, какую страсть и нежность пробудили мы друг в друге, насколько сильно он обманут и предан. Теперь мне ясно, что он никогда не понимал Элизабет — так же как и всех остальных, — для этого он страшно

эгоцентричен. Он выдумал для себя некую Элизабет, совсем не ту, какую видит любой нормальный умный человек. Я чувствую, как она стремится к нормальному состоянию, стабильности, естественным любовным отношениям. Она даже утратила собственный возраст, так он давил ее своими тридцатью двумя годами. Мне же, как и ей, двадцать семь; и иногда я бываю шаловливым и юным. Р. личность сложная, он озабочен философскими и церковными проблемами, а также проблемами плоти[448]. Первый раз он женился еще умненьким студентом; в семье был деловой стиль, современный, с честолюбивыми устремлениями. Этот союз провалился. Второй брак был чем-то вроде мистической связи, но свет амбры не помог[449]; затем Элизабет. Еще был бурный роман с финкой, но там о физической близости речь даже не шла. Были и другие романы. Роя я воспринимаю как представителя нравственно неуравновешенной, яростной, антиобщественной силы, не отрицая его стилизаторский талант в искусстве. В каком-то смысле он пародия на Лоуренса. Любопытно — ведь он же не дурак; во всяком случае, человек не бесчувственный, — как он представляет себе наши с Э. отношения. Они оба живут в постоянном напряжении, противоестественно, в атмосфере «мыльного пузыря», каковой я намерен проткнуть. Лично я не смог бы жить с человеком, если между нами разверзлась пропасть, я попробовал бы ее преодолеть, а вот он живет.

Я с каждым днем все больше восхищаюсь Э., загадочной, искренней, нежной, чувствительной, в ней есть все, что хочешь видеть в женщине. Иногда она бывает тиха, молчалива, не склонна к размышлению или к разговорам, и это может раздражать такого болтуна-интроверта, как я. Но под внешней своевольностью и женским упрямством у нее много надежных, земных, здравых качеств. Ее тип красоты никогда не устареет. Зеленые глаза могут быть холодными, а могут таять от нежности, великолепные плечи, маленькая грудь и самое стройное на свете тело. Элегантная нескладность. В ней наверняка есть благородная кровь.

Как меняется любимое лицо: глаза закрыты, и появляется новое лицо, идущее изнутри, — его не увидишь, когда глаза открыты, как бы сильно вы ни любили друг друга.

Днем лежим на холме, в пятнистой тени от пихты, целуемся, разговариваем, часами любуемся синим морем и Арголисом за ним.

Э. попросила ничего не писать о ней в дневнике. Но я люблю ее так сильно, что не могу не писать. Если это предательство, тогда оно современный вариант ситуации из «Похищения

локона»[450]. Грех из-за любви. Если я что-то и предавал, то этот дневник — никогда.

Часть шестая
ВОЗВРАЩЕНИЕ В АНГЛИЮ

28 июля 1953

Снова в Англии. Ли, небо в облаках, мрачные сны. В июле Англия — сущий ад.

Переезд был ужасен: с того момента как мы покинули Спеце, я не ощущал себя по-настоящему свободным. В течение дня рядом с нами вертелась Анна, а вечерами надо было считаться с Р. Это путешествие было для меня чем-то нереальным, все, что не относилось к Э., не имело значения. Мое состояние зависело от ее присутствия или отсутствия, от ее настроения. Понемногу мы впадали в отчаяние, причиной которого были не наши отношения, а сама ситуация, постоянное нервное напряжение.

Последние дни пребывания на Спеце пролетели как в лихорадке, солнце нещадно палило, а мы с Э. ускользали от всех и проводили вдвоем целые дни. Похоже, Р. все это время не догадывался, что происходит у него под носом, и это удивляло меня. Мы обманывали его, исчезая на три-четыре часа, и, когда появлялись, прикидывались, что прошло мало времени. Он нас постоянно где-то ждал, ел в одиночестве и видел жену всего два-три раза за день. А когда мы, все трое, наконец оказывались вместе, то больше молчали, и по этому напряженному молчанию он должен был понять, что нас изводит скука.

Мы с Э. все время говорили — говорили о нас, о том, что уже было и что будет. Занимались любовью, позабыв о времени. Время мы не принимали в расчет до самого конца, когда неожиданно оно само напомнило о себе, и его тень приняла гигантские размеры.

Из-за отложенных напоследок сборов мы покидали остров в страшной спешке. Фотограф, садовник, все, кто присутствовал при нашем отъезде, накинулись на брошенные вещи, как хищные птицы на остатки пиршества. Они ничем не гнушались — тащили бутылки, старые газеты, поношенную одежду, картонные коробки. Последний обед в «Саванте», последние прощальные слова. Я не испытывал никаких сентиментальных чувств, обычно посещающих нас при отъезде. Любовь все меняет: люди притягивают нас сильнее, чем места. Последний долгий переезд в Афины; нам с Э. не удавалось побыть наедине, и мы остро ощущали противоестественность этого. Рядом постоянно Анна и Рой, не спускающий с нас глаз. Часто, очень часто я видел, с каким раздражением она обращалась с Р. и А. Они выводили ее

из себя, она сердилась, дулась, вела себя как злобная мегера. Это помогло мне понять, как невыносимо для нее сложившееся положение — именно оно заставляло ее так вести себя.

Э. много раз любила, и ее любили, она часто попадала в затруднительные ситуации, имела сложные любовные отношения. Рой был той границей, которую она охотно пересекла, вступив в законный брак: яркий, необычный человек, старше ее и на первый взгляд более зрелый — она могла на него опереться, найти в нем поддержку и расстаться с богемной юностью. Э. думала (так она говорила), что распрощалась с романами, сентиментальными любовными чувствами. С Роем она была и счастлива, и несчастлива, так как довольно скоро поняла, что он вовсе не такой зрелый и мудрый, каким поначалу казался, и жить с ним совсем не сахар. У них бывали ссоры, но бывали и веселые периоды. Рой хотел ребенка — появилась Анна. (Думаю, здесь сыграли роль не столько католические убеждения, сколько стремление привязать Элизабет к дому.) Потом произошла наша встреча, и любовь смела все ограничения последних лет, непроизвольно обнажив промахи Роя, его неуравновешенность, неумеренное пьянство, безответственность. Я же был нежен, романтичен, проявлял понимание, и потому все вышло наружу — обнажилась подноготная этого союза. Непримиримые разногласия между умными людьми; даже если бы она осталась с Роем, я все равно понимал бы, что этот брак пустой, фальшивый: дерево еще стоит, но жить ему недолго.

Думаю, по обычным меркам она обходилась с Роем безобразно. Под конец, когда мы всегда сидели рядышком, постоянно прикасались друг к другу, улыбались, не обращая на других никакого внимания, а Рой сидел подле нас или напротив, ситуация была из ряда вон выходящая. Я ощущал себя дерзким любовником, соблазнявшим прямо на глазах старого рогоносца его молодую жену. Мы — все трое — утратили чувство реальности: Р, без сомнения, по-прежнему обманывал себя и считал, что наша близость не более чем дружба; мы настолько запутались, что не могли существовать порознь.

В Кале холодно, море зеленое, неспокойное. Мы с Э. на палубе, пароход качает, брызги летят на нас. Последние горькие минуты близости. Я пытался сказать ей, как много она для меня значит, как необходима мне. Э. была молчалива, говорила нечто невнятное, не могла ничего решить. Плакала, а я не смел ее успокоить, так как в любой момент мог подойти Р. На пароходе много английских туристов, богатых и бедных, нуворишей и пресыщенных снобов, бойскаутов и «Шанель № 5». Но всех легко классифицировать — как составные части какой-нибудь массовой

продукции. Оба чувствуем глубокое отвращение ко всему английскому, к самой Англии. Серость, монотонность, дождливость, однообразие во всем. Дувр; таможню миновали мгновенно. Р. сияет. Он любит Англию, и, конечно же, его радует мысль о нашей скорой разлуке.

По дороге в Лондон мы с Э. вновь сидим рядом. Р. — напротив, у него насмешливый вид, он исподтишка бросает на меня торжествующие взгляды (показательно, что о дальнейших встречах речь не идет); нашу ситуацию мгновенно просекает проницательный, исключительно воспитанный англичанин средних лет, космополит по виду. Повсюду пожухлая зелень, у кирпичных пригородных построек дешевый вид. Лондон. Анна вдруг начинает плакать, и наше путешествие заканчивается в напряженной атмосфере. Девочка не перестает рыдать, издает вопли при малейшей попытке прикоснуться к ее ноге; мы хотели на прощание выпить, но теперь это совершенно невозможно. Берем такси до ближайшей больницы, и там я в последний раз вижу Э. — она сидит в пустой приемной, обнимая рыдающую Анну. Элизабет поднимает на меня глаза — печальные и отчужденные. Я быстро ее целую и ухожу. Это не окончательное расставание. Но тогда показалось, что между нами воздвигли барьер.

Холодный, мрачный переезд домой, в Ли. Как быстро погрузился я в обычную домашнюю атмосферу. Как будто никуда не уезжал! С моей стороны никаких рассказов о Греции, зато мне поведали обо всех мелочах, случившихся с тысячей неизвестных людей, о которых я никогда не слышал и до которых мне нет никакого дела.

Я чувствовал себя одиноким, потерянным — опять мальчиком. Ни работы, ни денег, ни желаний. Холодно, пасмурно, дождливо. В том же городе, в той же тюрьме. Я задыхаюсь и подумываю о том, чтобы сбежать с Э. и потратить все оставшиеся деньги на какой-нибудь чудесный отдых. Но сначала надо отнести агенту две мои книги[451], обосноваться в Лондоне и определиться в отношениях с Э. А это означает: найти работу, заработать деньги и забрать ее к себе.

Жизнь здесь губительна. Я писал об этом прежде много раз в тех же самых выражениях. Мой дом — мой ад.

Любовь — прекрасное подспорье при самоанализе, она заставляет думать. К тому же обнажает душу. Нужно понять себя и любимую. Предельная откровенность. В Э. нет пунктуальности, но зато есть интуиция, что делает общение с ней бесконечно привлекательным. Она чутко улавливает правду в том, что ей говорят. Э. слабохарактерная, капризная, иногда может

оступиться. Однако она самая уравновешенная из всех женщин, которых я встречал. На людях — спокойная, элегантная, собранная; в частной жизни — мягкая, страстная, шаловливая. Чувствительная, без характерных классовых признаков. До сих пор не могу поверить, что она любит меня.

Однажды я ей сказал, что, по моему мнению, у нее есть одна слабость. В ней слишком большой запас любви, и она иногда льется через край. Э. постоянно находит новые объекты для любви — каждый более достоин ее внимания, чем предыдущий. Она взбирается по ступенькам лестницы. Я сказал, что надеюсь оказаться на последней ступеньке, — во всяком случае, приложу к этому все усилия. Интересно, не покинет ли она меня года через три. У нее легко меняется настроение; а стоит ей оступиться, и она теряет точку опоры. Во время ее отлучек я всегда буду терзаться ревностью и сойду с ума, если она меня бросит. Но это не может помешать мне сейчас любить ее со всей силой. У нее нет недостатков, у меня нет сомнений.

31 июля

День в Лондоне. Непрерывный дождь. Свидание с Э. Встретились в зоопарке, у клетки льва, и провели вместе весь день. В зоопарке основательно промокли, вечером крепко выпили и хорошо понимали друг друга. Р. все знает. Анна лежит в больнице, он звонил туда и вызывал Э., когда она навещала дочь. Я в это время ждал ее на улице.

Он требовал, чтобы мы вместе пришли к нему. Э. увиливала от ответа, наш вечер был омрачен перспективой ее возвращения домой. Я боялся, что он сорвется.

До меня еще не доходил весь ужас сложившейся ситуации. Она накалилась мгновенно, когда я, по существу, был к этому не готов.

Э. и Р. совсем отдалились друг от друга и жить вместе не хотят. Нас с Э. охватил такой сильный порыв романтической любви, что я боюсь доверять своему сердцу, а оно говорит: Э. ближе всего к твоему идеалу женщины. Месяц — слишком короткий срок, чтобы прийти в себя после экстаза первых дней: мы все еще как сумасшедшие. С первых дней знакомства я видел в ней жену другого человека и все же считал, что она идеальный партнер в браке. Сейчас я уже так не уверен, хотя по-прежнему не сомневаюсь, что она лучше всех, с кем меня сводила судьба. Ей не хватает воспитания, культуры, умения четко выражать мысли — тех качеств, которые я считал необходимыми для спутницы жизни. Зато у нее есть интуиция, искренность, красота и грациозность. Меня пугает только слабость, или, скорее, неустойчивость ее воли, отсутствие выдержки.

Ни у одного из нас нет денег. У меня хоть что-то есть. Думаю, это очень не нравится Р. — так же, как ему не нравится, что я, его антипод в психологическом плане и по темпераменту, увел у него Э. Есть еще Анна. Оба — Э. (которая это признает) и Р. — не приспособлены быть родителями. Они сами в нравственном отношении еще дети. Взрослые во всем, кроме этого самого важного качества. Я же их полная противоположность: дитя в социальном плане и взрослый в нравственном. При разводе ни один не захочет оставить Анну себе. Я не приму Э. с Анной. Не хочу детей — ни своих, ни тем более чужих. Говорят, дети не дают распасться браку. Если супружеству нужен такой якорь, оно и так обречено.

Предстоят все прелести развода. Придется сражаться с условностями. Родители будут в шоке.

У меня нет работы, нет никаких определенных перспектив.

Через это надо пройти; такие трудности всегда возбуждают меня — или все еще возбуждают. Не хочется отказываться по собственной воле от попытки связать судьбу с Э.

Для человека тонкой организации проблема брака очень трудна; чувствительный, импульсивный, темпераментный, он не может на многое закрывать глаза, терпеть. Он должен находиться в постоянном изменении, должен заново анализировать ситуацию, подвергать всестороннему рассмотрению отношения с супругой. Чем выше интеллект и чувствительность, тем сильнее чувство и тем совершеннее должно быть супружество.

7 августа

Сложности нарастают. Разлад усиливается. На меня обрушивается куча проблем. Р. выставил Э. на улицу. Она не может говорить с ним, видеть Анну, жить в прежней квартире. Пока поселилась у подруги, с ее мужем у Э. был роман до встречи с Р. Эта женщина, перенесшая связь между лучшей подругой и мужем (еще раньше у Э. был роман с ее братом), переживает сейчас личный кризис: они с мужем решили расстаться[452]. Между подругами отношения по-прежнему напряженные. У Э. нет денег, тут она целиком зависит от меня. Э. приехала ко мне одна (ужасная ошибка с моей стороны), теперь в ситуацию вовлечены и мои родители. Я рассказал им о ее разрыве с мужем, умолчав о своей влюбленности. Сказал, что я тут посредник. Мать, обычно строго соблюдающая условности, на этот раз проявила исключительное понимание, зато отец, несмотря на всю свою начитанность, продемонстрировал косность и раздражительность.

Э. приехала только на день, но мы специально опоздали на последний поезд, вернулись домой и на следующий день устроили себе отдых — отправились на побережье, потом в Олд-

Ли, на болота; болтали, занимались любовью, прекрасно проводили время, не обращая внимания на людей. Дошли до Бенфлита, там поссорились и помирились в зарослях на вознесенном над городком холме.

— Ты такой испуганный, — сказала она, — слишком зациклен на родителях.

Она права. Сейчас критический момент. Кульминация. Нужно покончить с родительским комплексом; возможно, подсознательно я пригласил Э. к себе, чтобы ускорить кризис. Родители увидели в ней авантюристку: «никакой основательности», «берет то, что идет в руки».

Их концепция любви и жизни не подходит для таких тонких и сложных натур, как Р. и Э. И для меня тоже. Все равно что требовать от новобранцев, чтоб они занимались строевой подготовкой, как ветераны.

27 сентября

Оксфорд. Шесть необычных недель с Э. — как описать их в общих чертах? Это невозможно. Больше половины времени мы провели в постели. Раньше полудня не вставали — никакого-режима.

Нужно постараться все припомнить. Началось все на станции «Фенчерч-стрит». Э. опоздала, выглядела взволнованной. Мы зашли в бар. Она плакала. Р. пришел в квартиру подруги, где живет Э., и устроил скандал. Причиной послужила Анна. Где она будет жить, когда выйдет из больницы? Р, который вначале требовал, чтобы Э. убиралась на все четыре стороны, теперь решил иначе. Ему нужен компромисс. Э. должна забрать Анну и жить сама по себе — нес ним и не со мной. Я попытался прояснить ситуацию. Измученная Э. полна решимости заботиться об Анне, если нет другого выхода. В довершение всего Р. позвонил ее родителям и все им рассказал. Казалось, единственный выход для Э. — взять Анну и уехать на пару недель домой, дав Р. время уладить все дела. Я был против — не только потому, что не хотел ее долгого отсутствия, но и потому, что знал: Р. не предпримет никаких попыток вызволить ее оттуда. Заточение могло продлиться неопределенное время.

Сев в такси, мы поехали к Пэддингтон-стрит. На ближайшей улице вдруг увидели неоновую вывеску «Гостиница “Акрополь“». Это казалось невероятным. Мы остановили такси, из гостиницы неслись звуки греческой музыки. Войдя внутрь, на греческом языке попросили комнату. Радость охватила нас, словно мы были иностранцами, встретившими соотечественников. Нам дали ключи от маленькой неопрятной комнаты, окна которой выходили на зады унылых многоквартирных домов. С нашей

стороны возражений не было: нас обуревало одно желание — поскорее улечься в постель. Звонок Р. довел Э. до слез, и только забравшись снова в постель, мы обрели какое-то равновесие.

На следующий день я встретился с Роем по его просьбе. Он хорошо владел собой, был спокоен, общителен, раскованнее меня, хотя я не чувствовал за собой вины — во всяком случае, не больше, чем ОН. Мы встретились у станции метро «Кесингтон-хай-стрит», пошли по направлению к Эдвардс-сквер и там обосновались в баре «Скарсдейл-армс», сев за столик на улице. Помнится, с притворной непринужденностью говорили об архитектуре. Похоже, Р. забыл, что я всего лишь прошлой ночью спал с его женой. Я же не забыл и презирал его за то, что он способен об этом не думать.

Говорил в основном он о себе, о своей вине, о своем характере, о том, как он жил, задирая людей, пестуя свое «эго» и портя те счастливые моменты, какие дарила ему жизнь. Несмотря на то что все это говорилось в католическом ключе, мне пришла на ум коммунистическая самокритика. Критика была суровой, но ее сопровождало невыносимое самодовольство. Тут коммунисты и католики схожи: они уверены, что исповедь очищает от грехов. Р. наслаждался — вот mot juste[453] — самоанализом. Об Э. он тоже много говорил. О слабости ее воли, об их физической несовместимости; и в то же время постоянно возвращался к католической идее вечного супружества. Мы пили пиво; он — пинту, я — полпинты. Я предложил поесть, он отказался, сказав, что ему ничего в глотку не лезет, тем самым как бы намекнув, что я бесчувственный, если могу думать о еде в такой ситуации. Его мучают тошнота, бессонница — по своей наивности он ожидал сочувствия, это выглядело жалко и отвратительно. Думаю, мое растущее презрение было иррациональным и неоправданным — ведь на самом деле он вел себя вполне цивилизованно и прилично. Но мне бы скорее понравилось старомодное проявление чувства собственного достоинства. Р. сказал, что собирается начать новую жизнь — напиваться больше не будет. При этом приканчивал уже третью пинту; он был, конечно, вполне трезвый, но язык у него развязался. Начал даже похваливать меня; говорил, что я его лучший друг после Джона Лиделла[454]. Как он любил бы меня при других обстоятельствах! Я предложил отдать Анну на воспитание в монастырь, он согласился, что это лучше всего. И прибавил, что сегодня же этим займется. Расстались мы исключительно тепло. Я был рад вернуться к Э., где мог наконец выплеснуть свое раздражение. Думаю, меня также радовало, что я могу немного сбить с Роя спесь. Мы с ним — даже если не брать во внимание теперешнюю

ситуацию — настолько разные люди, что я обречен вечно бороться с ним и его влиянием, в каких бы обстоятельствах мы ни находились. Э. — обычный человек разрывается между нами, светом и тьмой, черным и белым. В некоем глубинном смысле в этом и заключается ее натура. Мы же с Роем — каждый по-своему (католик и пуританин) — религиозные люди. Я — в нравственном отношении, он — в метафизическом. Оба мы, как священники, боремся за ее душу или — в конечном смысле — за собственную.

В тот же день мы с Э. встретили Джона Лиделла. Думаю, нас обоих переполняло любопытство. Стройный, небольшая голова, умные глаза, сдержанный. Обменялись общими фразами. У меня было ощущение, что мы с ним в чем-то похожи; любопытно, находит ли он тоже Р. интересным объектом для наблюдений и понимает ли Р, что даже с лучшим другом он до какой-то степени играет роль подопытного кролика.

Поздно вечером я позвонил Р., тот был почти в истерике: католики, у которых он был, не смогли ему помочь. Точнее сказать, они задавали вопросы (на мой взгляд, вполне естественные), которые Р. счел неуместными: милосердие должно быть слепым. Он пылал от негодования, возмущенный поведением католического духовенства: мать-настоятельница называла Анну малюткой, и это почему-то привело его в ярость. «Малютка, — повторял он, — малютка»; казалось, только это он и запомнил. Он вел себя так, словно я был другом, на которого можно выплеснуть все обиды.

На следующий день я вновь позвонил ему — на этот раз он был совсем другим. Спокойный, деловой, хотя склонность к драматизму сохранилась: опять говорил о бессоннице, отсутствии аппетита, неумении разобраться в одежде Анны.

— Знаешь, что случилось сегодня утром? — сказал он. — Я выстирал ее брючки и носки и повесил носки поверх штанишек. И ткань окрасилась. Ты не представляешь, Джон, как все это трудно. Ничего не сохнет.

— А электрокамин у тебя есть? — спросил я.

— Думаю, есть, — ответил Р. раздраженно.

Он пристроил Анну в детское заведение, опекаемое англиканской церковью, и потребовал, чтобы Э. купила дочери одежду. Теперь мы могли покинуть Лондон. Перед этим заехали к Бетти, подруге Э. Я — из чистого любопытства: хотелось знать всех действующих лиц. Тихая, робкая миниатюрная женщина, в ее поведении я почувствовал некоторую враждебность к себе. Купили одежду для Анны, я завез ее Рою и там оставил.

Было приятно отправиться в Оксфорд; необычное ощущение свободы — ведь мы совершенно одни. Мы пили чай в вагоне-

ресторане, напротив сидел генерал в штатском и с ним дорогая шлюха. Он холодный и чопорный, она — само притворство и жеманность.

Снова в Оксфорде. Я взирал на все с любовью — это место я знаю, тут я мог бы жить. Переночевали мы в «Кингз-армс», а на следующий день сняли комнату в пригороде, на Уорнборо-роуд. Через неделю перебрались в отдельную квартиру на той же улице.

Я сразу отправился к Портерам и нашел их очень изменившимися. Наверное, находясь за границей, я идеализировал супругов, закрывал глаза на недостатки. Они встретили нас очень радушно, были гостеприимны и все такое. Но я какое-то время не мог войти (или спуститься) в оксфордский мир, вызвавший у Э. шок и возмутивший меня. Похоже, Эйлин утратила естественность, стала злой, холодной интеллектуалкой, настоящей язвой. Подж превратился в ученого зануду, некоторые его теории, касающиеся, например, американцев, просто нелепы, как и его партийный подход к вещам. Нас познакомили с молодым композитором Джоном Вилом[455], остроумным борцом с условностями, напичканным анекдотами; он никому не давал говорить и в конце концов тоже надоедал. Но он хотя бы живой и думающий человек. Его умная, невозмутимая, холодная жена напомнила мне деревянную фигуру на носу корабля. Оба злоупотребляли нецензурными выражениями, говорили подчас более непристойно и откровенно, чем было нужно, демонстрируя тем самым полное пренебрежение к условностям. Мы с ними катались на лодках, потом были еще встречи; познакомились с одним преподавателем, тучным евреем, любителем цитат, и его любовницей, пустой, хорошенькой девицей, типичным продуктом Северного Оксфорда.

Довольно неприятный мирок, когда узнаешь его ближе — холодный, равнодушный; однако, покидая его, ощущаешь подъем. Хорош только в сравнении — не сам по себе. Первое впечатление — ограниченность, показной блеск, любовь к развлечениям в духе восемнадцатого века. Быстрый обмен остроумными репликами, много намеков, полутонов. Постоянное стремление к лидерству, каждый думает только о себе и о том, как положить на лопатки собеседника. Никто не возражает открыто, все лукавят.

Каждый готов на все ради остроумной реплики или злобной выходки. Здесь разговор заменяет бридж, он такая же игра, как карты, и собеседники в конце вечера так же подсчитывают выигрыши или проигрыши.

Мы с Э. чувствовали некоторую потерянность. Я ощущал себя и ниже и выше этого мирка — и провинциалом и небожителем. Э. молчала, держалась замкнуто. Меня восхищала ее молчаливость.

Многие женщины попытались бы общаться на том же уровне, подражать этим людям. Я с беспокойством следил, не поддастся ли она искушению, и когда раз или два она дрогнула и заговорила, стараясь показаться умной, я испугался — частично потому, что знал: насмешек не избежать, — а частично потому, что ничто так не разрушает любовь (это я понял с Дж.[456]), как стыд за другого. Хотя местная публика совсем не снобы, я понимал, что Э. сама знает: она не их уровня. У нее небольшой акцент, ей не хватает изящества — и быстроты реакции в разговоре. Похоже, ее сердило, когда я иногда общался с ними в «оксфордском» стиле.

Никто не посягал на наше уединение. Мы все время были вместе, у нас случались частые и, как мне казалось, глупейшие ссоры; к счастью, они быстро переходили в длящийся долгими и восхитительными часами полный раскаяния самоанализ. Наше существование было исключительно богемным, мы не следили за временем, жили, подчиняясь только своим желаниям, спали, ели, занимались любовью когда хотели. Никакого спорта, только прогулки в парках, кино, чтение газет. Спорили, целовались, писали письма. Я предпринимал попытки устроиться на работу, нисколько не заинтересованный в положительном результате: у меня было достаточно денег, чтобы продержаться еще месяц или два. Мое беззаботное отношение к будущему проистекает из твердой уверенности, что единственное, чего я хочу, — это писать и всякая другая работа будет для меня адом. Ни я, ни Э. не озабочены проблемой быстротечности времени, над нами не довлеют условности и традиции. В целом я сейчас счастлив, мое счастье состоит из нескольких вещей: конечно, секса мне никогда не надоедает заниматься с Э. любовью, она соблазняет меня одним своим присутствием; дружеского общения — когда ты полностью кем-то поглощен, а тот, в свою очередь, поглощен тобой; намерения жениться — будучи вдвоем против всех; быта — его у нас немного, да я никогда его и не любил, в него входят совместные трапезы, мытье посуды, вид Э., наводящей чистоту, — это случалось не часто, хозяйка из нее никакая; периодических промахов; чувства, что я перевоспитываю Э., постепенно вытягиваю ее из болота безнравственного религиозного фанатизма и метафизического бреда, в которое ее затянул Р. Пытаюсь приучить ее хоть немного контролировать себя, свое настроение, приступы раздражительности, угрюмости; захватывающее чувство — видеть, как она противится новому и одновременно усваивает его. Единственное, что выдает в ней крестьянское происхождение, медленная, осторожная, умственная работа; исключительная добродетель в ее случае, она была бы

невыносима, если бы отличалась остроумием.

Мы оба устали от разговоров о будущем; она никак не может решить, как быть с Р. и Анной, придавая, на мой взгляд, слишком большое значение этой дилемме; ей, видимо, приятно иметь нечто только свое. Все это время я ничего не писал, и это огорчало меня. Э. беспокойна, чем очень меня отвлекает. К тому же у нас часто возникали ссоры. Они никогда не имели отношения непосредственно к нам, к нашему будущему или к нашим прошлым поступкам, они всегда касались литературы, художественного творчества. При этом она впадала в настоящую ярость; это поначалу меня забавляло, но со временем и я стал проявлять раздражение. Помнится, был ожесточенный спор относительно Австралии — удастся ли там создать нечто значительное в искусстве, возможен ли в этой стране реалистический театр. А когда я задал ехидный вопрос («Ты когда-нибудь слышала о Стриндберге?»), Э. вышла из себя и с силой ударила меня по щеке — совершенно дикая вещь. В литературном споре она теряет всякое чувство меры. Временами она так сильно меня ненавидит, что кажется; мы живем в разных мирах. Основная трудность заключается в том, что она нечетко выражает свои мысли и, несмотря на интуицию, врожденный вкус и запоздалые попытки образовать себя, остается невежественной. Когда я начинаю сыпать именами и «измами», она приходит в ярость, но эта ярость, по сути, обращена на себя самое, на свою косноязычность. Э. часто высказывает верные мысли — во всяком случае, они имеют право на существование, но всегда как бы направлены против меня и сопровождаются таким бешеным натиском, что я старательно изображаю непонимание (это только ухудшает положение) и вконец запутываю ее. Должно быть, в эти минуты я кажусь ей сухим педантом, хотя, по моему мнению, только свежеиспеченный выпускник филологического факультета может думать, что его взгляд на литературу стоит большего, чем взгляд непрофессионала — мужчины или женщины.

Вот, в основном, что происходило; она не хотела мириться с разницей в нашем образовании, эта интеллектуальная пропасть сводит ее с ума. В споре она, как все женщины, переходила на личности. У нее был целый набор прилагательных: «нелепый», «глупый», «провинциальный», «буржуазный», «ученический», «поверхностный» — все они говорили «я тебя ненавижу» и должны были меня ранить, особенно определение «буржуазный». Э. заявляла, что занимает надклассовую позицию; такая самонадеянность возмущала, не хватало только духу — или мужества — сказать, что порой я вижу ее классовую ограниченность, принимая во внимания пролетарские корни, в то

время как представители среднего класса, вроде Видов или Портеров, лишены классовой окраски. В другой раз я пытался ей объяснить, что, пылко отрицая родство с каким бы то ни было классом, она как раз и находится под влиянием своего класса, ибо ненависть сродни любви. Э. раздражает, что я все еще придерживаюсь некоторых норм и традиций среднего класса. Мне не удалось ее убедить, что даже такая стадия достигнута мною после открытого противостояния родным, откровенного бунта.

В каком-то смысле ссоры отражали нашу любовь к ним. Неужели современным людям для полного счастья необходимо конфликтовать, спорить? И борьба полов добавляет остроты в нашу жизнь? Я мог прогнозировать наши ссоры. Несколько дней счастья — и вот мы уже яростно сцепились из-за какой-нибудь эстетической проблемы, не стоящей выеденного яйца. Сначала слова, потом обиженное молчание, примирение, всегда инициированное мною (никогда не даю полностью вовлечь себя в предмет спора, относясь к происходящему как к психологической болезни, которую надо лечить как можно скорее), слезы, нежные объятия — они, без сомнения, нравятся обоим. У Э. — катарсис, у меня — чувство превосходства.

Мы были так сильно влюблены, что эти ссоры казались нормальным явлением. В другое время я сердился на Э. из-за ее нерешительности в отношении нашего будущего кто знает, что она предпримет, — и из-за ее чувств к Р. и Анне. Были и прочие источники напряжения — какие-то материальные вещи, смены настроения, раздражение. Но надо всем царила любовь, и мы часто были веселы, счастливы и всем довольны.

* * *

Отец спорит, хвастается, говорит свысока. Странные взгляды — викторианские, в духе Хаксли, старомодного протестантского вольнодумца[457]. Реформирование веры, модернизация церкви и т. д. Любители поговорить должны проявлять осторожность: они ведь не слышат другие мнения, и, следовательно, у них нет возможности для развития, к тому же они отталкивают слушателей. Искусство беседы подразумевает умение слушать. Отец может сказать: «А теперь перейдем на личности», — как будто любой спор между людьми не носит личного характера. Мне все труднее принимать споры за чистую монету. Я вижу, что в отце говорит комплекс неполноценности. Для меня в споре всегда маячит еще одна точка зрения, тема для будущего спора.

Какая огромная дистанция отделяет меня от 1946 года!

Нашел сегодня старый дневник. Записи такие наивные и ребяческие, что это пугает. Например: «27 декабря — потратил день на поход к дяде С.[458] в Рошфор. Еле дотащился. 28 декабря — ходил на охоту никаких трофеев. 29 декабря — поездка в Помпей по вопросу демобилизации. 30 декабря — встретил Добби. Демобилизован. Ужасное возвращение». Какое косноязычие!

Славная жизнь. «9 января. Марш-бросок через Дартмур — жуткий ветер и дождь. Промок до пояса. Добравшись до места, постарались развести огонь под дождем. 10 января. Чокка. Возвращение по компасу ночью — были в Терлстоуне в 3 часа. При инспектировании с меня сорвали одну полоску — излишество». Полная неспособность соответствовать образу курсанта военного училища, будущего офицера — единственно подкупающая черта в этих записях[459].

«15 января. Вечернее боксирование[460]. Меня немного поколотили». Жестокая практика. «16 января. Офицерская пьянка в «Гризл-клаб». Я остался трезвым, но большинство офицеров напились».

Искусство. «21 января. «Ключи от королевства» — отличный фильм».

«25 мая. Поездка в Абботсбери с Бобом П. (Пейном) — табак от смотрителя за лебедями».

Преодолею ли я когда-нибудь свое прошлое? Писать такое в двадцать лет!

27 октября

Мы вновь встретились в Лондоне, в Паддингтоне; встреча напряженная — словно заново узнавали друг друга. Удивительно, но можно постоянно о ком-то думать и в то же время уже через неделю увидеть в этом человеке перемены. Поехали в Бейзуотер и там, в гостинице, заново открыли тела друг друга, испытали радости любви. С Э. невозможно соскучиться — она с поистине волшебной быстротой превращается из дурнушки в красавицу. Проведет щеткой по волосам, изменит позу или одежду. Она ни на секунду не забывает о собственной внешности — черта невыносимая в некрасивой женщине и пленительная в красотке. Идет непрерывное кокетство.

Ужасная нервотрепка в Лондоне, связанная прежде всего с поисками квартиры. Бесконечные осмотры, агентства, витрины с объявлениями, телефонные звонки, поездки в метро, еда на ходу, вечерняя усталость, нарастающее чувство безнадежности. Лондон — вечно затянутый туманом, грязный, зловонный, огромный и бездушный — привел меня в смятение. Человек в нем одинок, и это пугает. Мы обратились в два агентства, там нам дали список

квартир и взяли задаток. Однако ни одна из них нам не подошла. Э. измученная, нервная, раздраженная — как я теперь понимаю, моим безразличным отношением к выбору квартиры. Но у меня, сельского жителя, поклонника света, открытого пространства, Лондон вызывает клаустрофобию, ощущение слепоты, и потому каждую комнату я готов воспринимать как убежище. Деньги заканчивались. Работы у меня не было. И над нами маячила тень Роя. Он, наша нечистая совесть, не отставал, шел по пятам, на него можно было наткнуться на улице. Отвергнув квартиры в Белсайз-парке — этот район мы возненавидели — и Хэмпстеде, мы вернулись в Ноттинг-Хилл-Гейт, согласившись на небольшую комнату, от которой отказались в первый день поисков. У нее есть преимущества: расположена в центре, довольно уютная — это особенно важно в Лондоне, где нужно обособиться от серого, холодного, агрессивного мира за окном, — находится в тихом месте. И, снова замечу, не на окраине. Ох как ужасны лондонские окраины! Ненавижу Лондон, ненавижу ощущать себя в нем бедным. Можно быть бедным в Париже, Эдинбурге, других городах, но только не в Лондоне.

У нас были счастливые минуты, но не так уж много. Воскресный день в Хэмпстед-Хит, трава, ощущение того, что ты за городом, обыватели, гуляющие у прудов, красновато-голубая дымка вдалеке. Хорошие фильмы.

Тем не менее мы постоянно ощущали вмешательство рока в нашу жизнь. Невозможность где-то осесть, относиться к чему-либо как к постоянному. Каждый день как последний. Нас разыскал Рой, позвонивший в агентство, где мы оставили наш адрес. Кажется, Анна была очень больна; она, психологически отброшенная в прошлое, действительно превратилась в малютку. Э. нужно было ухаживать за ней. Мучительные дни. Видел раз Роя; он всем недоволен, задирался, упрямился, от него исходило зло. Я ссорился с Э. Иногда приходила мысль: а что, если тут мое освобождение — покончить разом с тяжелой ситуацией, Лондоном, а может, и с самой Э. Несколько раз я принимал решение уехать, однако в последний момент пасовал. Яростно спорил, приводил доводы против викторианского, темного образа жизни Роя. Э. много рассказывала, как Рой ее воспринимает, — он всегда хотел видеть в ней почтенную женщину, матрону, хозяйку дома, мать. Ему претило ее легкомыслие («фривольность»), даже ее юность. Во многих отношениях Рой — старомодный викторианец с устаревшими взглядами на секс и мораль, однако что до денег и выпивки, тут он дает слабину. Неприятие легкомыслия и тяга к невротическому возбуждению. Мрачное, суровое понимание долга и в то же время никакого чувства

ответственности. Фантастический эгоцентрик. Возможно, Э. поступила неправильно, оставив Анну в то время, когда та лежала в больнице. Но ведь именно Рой вынудил ее принять это решение (поставив свои проблемы, как всегда, на первое место), когда не пошел на компромисс и не разрешил отправить Анну на север. Вместо этого Рой забрал Анну к себе, однако плохо о ней заботился и в конце концов обратился к Э., требуя, чтобы она взяла ребенка; он обвинял ее в жестокости. Можно сказать, что Э. оставила двух больных детей.

Э. встречалась с Роем два или три раза, она колебалась, не зная, как поступить. Тогда Рой предъявил ультиматум — или она берет Анну, или он подает на развод. И это в то время, когда он без конца повторял, что не собирается оказывать давление на Э., играя на ее материнских чувствах. Он держал Анну в доме неделями якобы только для того, чтобы передать ее Э. Элизабет разрывалась между нами — то она выбирала меня, то Анну. Мы пережили несколько ужасных дней. А потом Э., скрывая печаль под веселой маской, выбрала наконец меня. На следующий день Р. должен был увезти Анну на север, к своей сестре. Рано утром зазвонил телефон. Подруга Бетти озабочена состоянием Анны: девочка так изменилась, она серьезно больна.

— Казалось, звонил сам ребенок, — сказала Э.

Она позвонила Р, который уже собирался ехать на Юстон-стейшн, поехала к нему и согласилась взять Анну к себе.

Все произошло так внезапно, ужасно — как на сцене. Если бы не этот звонок… Я чувствовал, что он пришелся как нельзя кстати и был частью плана. Рой неразборчив в средствах и стремится любой ценой вернуть Э.

Мы последний раз пообедали вместе, объяснились с квартирной хозяйкой. Выпили по джину, погуляли в парке, дошли до круглого пруда. Опавшие листья, тлеющие костры, зимняя одежда, бледное солнце. Мы слишком подавлены, чтобы проявлять хоть какие-то эмоции, у нас не было времени приспособиться к новой ситуации. Внезапно я осознал, что не хочу с ней расставаться — это будет катастрофой. Такси, слезы — да и раньше было пролито много слез, — последнее прикосновение, и вот я выхожу на Бейкер-стрит, а она едет дальше, к Юстон-стейшн. Долгий путь домой — я опустошенный, на грани отчаяния.

Но долго пребывать в отчаянии мне не пришлось. На следующее утро я поехал в Эшридж на собеседование[461]. Там освободилось место преподавателя. В каком-то смысле мне повезло. Хоть немного отвлекло мысли от Элизабет. Предварительное собеседование со спонсором в Лондоне.

Высокий, внушительного вида, учтивый магнат — серый шелковый галстук, огромная сигара, красная гвоздика в петлице черного пиджака. Держался со мною добродушно-грубовато, я же вовсю демонстрировал независимость. Не горя желанием работать в институте, где заправляют тори, я не скрыл своих социалистических пристрастий и того, что я атеист. Видимо, не очень ему понравился. И он мне тоже.

Еду в Эшридж в обществе еще одного кандидата. Уродливый готический особняк в красивейшем парке. Похоже на декорации из «Гражданина Кейна» — просторные, роскошные холлы, венецианские потолки, зубчатые стены. Это не в моем вкусе. Но прекрасные парки и сады тронули мою душу сельского жителя. Собеседование носило неформальный характер. Присутствовали: Питер Сатклиф — рослый, умный, молчаливый, робкий молодой человек — тот, кто покидает это место; Джон Кросс, серьезный старший преподаватель; Л.Г. Саттон, пожилой грубоватый экономист с темными, оценивающими собеседника глазами. И адмирал, сэр Роджер Бойд[462]. Мне он пришелся по душе. Небольшого роста, крепкий и, несмотря на обворожительные манеры, суровый, волевой человек. Мимо пробегали девушки из выпускного класса — отпрыски богатых фабрикантов. У каждой на лацкане фирменный знак школы. Это мне не понравилось. Но положение обязывает.

Адмирал предложил мне работать у них и рассказал при этом историю, как председатель комитета по Дальнему Востоку в палате общин ухитрился быть одновременно директором одной китайской фирмы да еще с плохой репутацией.

Теперь не знаю, как быть. Мне нужна работа, и, если отвлечься от того, что Эшридж — глухой остров и вся ситуация (удаленность от финансирующей организации) очень напоминает пребывание на Спеце, эта работа хорошо оплачивается и оставляет много свободного времени. Но тогда я теряю Э.

Я не стремился получить это место; думаю, потому его и получил. Был искренним. Сыграло роль и то, что я служил в военно-морских войсках, играю в крикет (леди Б. — дочь морского офицера, а адмирал — страстный любитель крикета), окончил привилегированную школу, джентльмен и так далее.

Снова в Лондоне. Весь день работал в Национальном историческом музее, с головой погрузился в занятия; при мысли об обретенной работе испытывал прилив радости. На безрыбье и рак рыба.

2 ноября

Маниакальная ежедневная переписка между мной и Э. Письма длинные и все более и более откровенные. Э. — женщина,

в которой живет стерва, и с той нужно постоянно сражаться; Э. приносит жертвы, словно совершает преступления, и точно так же удовлетворяет свои желания. Ее захлестывает чувство вины, она ничего не может сделать, чтобы не испытать при этом страдания. Э. из тех, кто нуждается в руководстве, в подталкивании, она не до конца знает себя; Рой давил на нее, и постепенно все ее существо восстало против этого. Будь у меня деньги, я мог бы действовать и забрать ее к себе. Э. плохо в Бирмингеме, а Рой не делает ничего, чтобы облегчить ей жизнь, — не посылает денег, не дает советов и не предлагает никаких других вариантов существования.

Деньги — источник всех бед; и радостей тоже. У меня они кончились. Еду в Эшридж без гроша. Никогда еще не приступал к новой работе с таким равнодушием. Ведь с ней увеличивается пропасть между тем, что я хочу делать и что вынужден. Там будет всего лишь место моего обитания.

Приглашают только одного человека, так что жить в Эшридже Э. нельзя. Да ей и так там не понравилось бы — ни само место, ни заведение: для этого нужно более развитое чувство юмора, гибкость и умение идти на компромиссы. Так что, если не будет deus ex machina[463], мы обречены. Ее мучает чувство вины, меня — отсутствие денег; если наша любовь все же выживет, значит, она по-настоящему сильна. Или она не выдержит борьбы?

Завтра меня ждет потрясение — я проведу с Э. один день в Бирмингеме.

5 ноября

Возвращение из Бирмингема. Еще одно грустное, волнующее, полное отчаяния свидание. Большой скучный город, постоянный монотонный шум, который действует на нервы. Уродливое место, невыразительные люди; скорее северяне, чем южане, но в большинстве своем просто середнячки, порождение Бирмингема.

Э. выглядит постаревшей, подавленной, нервы ее на пределе. Впервые мне становится ясно, что представляет собой ее окружение. Отец — человек необузданного темперамента, лишенный здравого смысла, грубиян и пьяница с психологией неудачника; тяжелая, нудная работа убила в нем хорошие задатки (но он о них еще помнит). Мать — усталая безвольная женщина, тихая мышка, в ней не осталось ни мужества, ни силы, ни твердости. Оба озабочены финансовым положением семьи — Э. для них обуза. (Р. посылает всего два фунта.) В одной комнате живут все — родители, Э., ее сестра и Анна. Э. с невероятным трудом оставила Анну с ними на день, чтобы улизнуть ко мне; бабушка сказала, что не может и не хочет сидеть с внучкой. Э. пришлось выдержать борьбу. Мы провели лихорадочную,

оставившую неприятный осадок чего-то постыдного ночь в гостинице. Рано утром Э. ушла и вернулась в полдень. Дома за завтраком ее встретили гробовым молчанием; по ее словам, когда она окончательно вернется, ее ждет ужасная сцена. День омрачен этим сообщением. Мы пошли на утренний спектакль в театр, посмотрели неплохую постановку «Пигмалиона», около часа бесцельно бродили по унылым центральным улицам Бирмингема, потом выпивали до восьми часов, пока я не сел на поезд до Оксфорда.

Такое положение парализует Э.; я пытался убедить ее порвать с прошлым, начать новую страницу, но ее преследует мысль об Анне, долге перед дочерью. Роя она все больше ненавидит, но не может отдать ему Анну, зная, что тот не будет хорошо о ней заботиться.

9 ноября

Сегодня еду в Эшридж. Меня это радует; я гораздо меньше волнуюсь, чем обычно, когда приступаю к новой работе. Почему? Взрослею. Чувствую себя гораздо увереннее, не ощущаю угрозы; Эшридж может закрепить во мне новое состояние. Частично это связано с Э. — с тем, что я добился ее, наш роман неизбежно повысил мою самооценку. Высвободил мужское начало. Да и книга о Греции почти закончена. Не последнюю роль сыграла и новая философия — экзистенциализм, она вызревала во мне с тех пор, как я уехал в Грецию, но только сейчас я ощутил ее как побудительную силу. Идеи могут бродить в тебе годами, прежде чем принесут плоды, — так друзья могут в один прекрасный день влюбиться друг в друга. Понять это помогла мне книга Э.Л. Алена «Экзистенциализм изнутри»[464]. Ясная, хотя написана с позиций христианина. Когда я ее читал, многое из того, о чем сам недавно думал, выстроилось в законченную систему; особенно близко мне представление де Бовуар и Камю о человеке как о существе, способном победить абсурдность существования. К их выводам я пришел самостоятельно[465].

16 ноября

Уже неделю в Эшридже; четыре дня свободен, потом трехдневный курс. Ощущения переменчивы — то скука, отвращение, го эмоциональный подъем. Огромный псевдоготический особняк, лужайки, кустарники, типовой дом, где я живу, никакой городской суеты. Чувствую, что изменился внешне, вернулся к прежнему облику. Выпускник привилегированной школы, морской офицер; это противно, но нужно соответствовать.

Я уже забыл, что значит стоять перед толпой, читать лекцию в большой аудитории, притворяться, работать, думать при всех.

Здесь все время играешь роль, никогда не бываешь собой, как либерал в коммунистической стране. Правда, я больше похож на коммуниста в стране консерваторов. Или, точнее, на экзистенциалиста, затесавшегося в консервативный стан. Похоже, здесь никто не понимает, кто я на самом деле.

Больше всего общаюсь с Джоном Кроссом. Вот кто идеальный кандидат для работы в Эшридже — бесполый, полон bonhomie[466] и чувства долга, в чем-то серьезен, в чем-то циничен. Наивный, но образованный. Носит очки, робкий, однако при необходимости может продемонстрировать joie de vivre[467] в духе заправского туриста. Устраивает танцы, может заставить людей смеяться, подбадривает их. Человек, нашедший свое место в жизни. Я невысокого мнения о нем, но симпатию он у меня вызывает. Есть в нем некоторая чопорность, она, однако, не раздражает, и простительные грешки (после двух бокалов сидра и джина с апельсиновым соком он пьянеет и употребляет нецензурные выражения), которые являются обратной стороной все той же чопорности.

Лоренс Саттон, заведующий учебной частью, массивный, угрюмый человек лет шестидесяти, его можно назвать одной из бесконечных помех на пути прогресса.

Коротышка адмирал, живой, как бойкая, проворная птичка, но голос у него низкий, манеры уверенного в себе человека, во всем облике ощущаются властность и недюжинный ум; его положение слишком высокое, чтобы он мог общаться со мной на равных. Я для него тот, кем был когда-то в прошлом, — младший офицер. Теперь, обладая Э., я готов к общению с мужчинами на более высоком уровне. Не считаю себя ниже их в сексуальном плане, да и во многих других случаях я им не ровня, а несколько выше. Нужно отыскать эквивалент Э. в жизни — написать книги, добиться успеха. Нельзя продвигаться вперед, не имея кредита в банке знаменитостей.

Жена адмирала — крупная британская женщина с лицом кирпичного цвета, ее вес сто килограммов при росте метр восемьдесят; когда она идет, то напоминает океанский лайнер, входящий в док. Я называю ее динозавром из-за громадного тела и крошечного мозга. Поразительно глупа; это легко объясняется: среди ее предков несколько поколений морских офицеров.

Однорукий капитан Гордон, добродушный, суетливый, как белка, робкий, стремящийся всем угодить, легко отказывающийся от своих претензий.

Хейзел, одна из молодых преподавательниц. Англичанка до мозга костей, хорошенькая, проворная, стройная, источающая сексуальность, хотя секс ничего для нее не значит. Боже, до чего

же англичанки стремятся быть бесполыми! Живая, легко заводится в разговоре — в ней есть нечто от девочки-скаута и хоккейного форварда в сочетании с интеллектуальной изощренностью выпускницы Оксфорда. Над этим надо подумать; полагаю, тут кроется особое очарование англичанки: она замечательно красива, но ее сердце надо растопить, смягчить, раскрепостить. Что-то вроде восхитительного механизма, который хочется привести в действие.

Многие девушки здесь относятся к этому типу — хорошенькие и холодные, такими они стали в результате удушающих условностей, в которых их воспитывали. Сейчас, в 1953 году, они свободнее говорят о сексе, но с детства заложенное отрицательное отношение к нему по-прежнему ощущается.

23 ноября

Наконец-то положение Э. обретает некоторую определенность. Несколько дней назад она написала резкое письмо R, который до этого прислал ей глупейшее послание в викторианском духе: любящий муж ждет, что она вспомнит о долге и станет такой, как прежде. Теперь же он пишет, что его достаточно «унижали», и настаивает на немедленном разводе. И требует возвращения Анны.

Он также сообщил, что незамедлительно едет в Бирмингем за дочерью. Но в последовавшей за этим телеграмме уже другое: его сестра не хочет брать ребенка, так что все меняется. Типичное для него необдуманное решение, которое тут же отменяется. Меня он обвиняет в «бесхарактерности»: ведь я не «предложил» жить втроем, вместе с Анной. И тут же категорично заявляет, что Анна должна остаться с ним: если Элизабет выберет меня, он не отдаст ей ребенка. Он ведет себя дико, непоследовательно, непонятно.

Я отправился в Оксфорд, остановился у Портеров. Туда же приехала Э. — в черном, очень красивая, как мне показалось; молчаливая, уравновешенная и, думаю, более счастливая. Мы провели вместе всего несколько часов — пылкие объятия под мостком у канала рядом с вокзалом; удивительная близость — как близки мы бываем временами! Существует ли более надежный критерий любви? Близость и отчаяние — сексуальное двойничество в страдании. Я мечтал провести с ней ночь. Э. живет во мне, постоянно волнует. Истинная реальность для нее там; она не притворяется, что уважает мое внешнее «я», навязанное условностями, — оно не перестает преследовать меня. Я абсолютно уверен, что хочу с ней жить, не сомневаюсь, что мы созданы друг для друга, и не должен допустить, чтобы нам помешали. В том числе и моя работа в этом бесцветном учебном

заведении.

Из статьи Раймонда Мортимера («Санди тайме», 22 ноября, 1953): «Вера в грех, на мой взгляд, дает писателю больше, чем вера в добро и зло… Католицизм особенно привлекает писателей, наделенных воображением, потому что в нем каждое действие расценивается как потенциально значительное, последствия которого могут длиться бесконечно долго».

Экзистенциализм.

Девушки в Эшридже. Кое-кого из них я начинаю узнавать. Подобно мальчикам на Спеце, они прелестны, испорченны, часто это дети разведенных родителей. Некоторые исключительно красивы: нордические блондинки; жизнерадостные, шумные гречанки; богатые, смуглые и чувственные персиянки. Здесь встретишь и все разновидности традиционной английской красоты. Но насколько лучше одеваются иностранки; насколько они женственнее, насколько больше склонны любить! Они смело подчеркивают свой пол.

28 ноября

С каждым днем ситуация еще больше запутывается. Теперь Р. решил, что Анна должна остаться с Э. Он не несет ответственности за ребенка. Однако, похоже, это письмо, говорящее о разрыве, всего лишь отчаянный блеф. Э. и Р. окончательно разругались, и, по сути, ни один из них не хочет брать на себя ответственность за дочь. Я тоже не могу взять на себя этот груз. Э. не способна одновременно ухаживать за ребенком и зарабатывать на жизнь. Полный тупик. Я дошел до того, что стал задумываться, а стоит ли все продолжать. Кто-то должен проявить мужество. Или Э. должна отказаться от Анны, или я должен оставить эту работу, найти более выгодное место и содержать Э. вместе с Анной (в этом случае нужно не только мужество, но и большое везение). Или Рою взять Анну, но его озлобленность и эгоцентризм берут верх над отцовством и католицизмом. Ключ ко всей ситуации — деньги. Будь они хоть у одного из нас, все трудности были бы преодолены. Деньги — источник как добра, так и зла.

Здесь я подвергаюсь постоянным плотским искушениям — черт бы побрал эту проклятую мужскую неразборчивость, из-за которой мужчина стыдится себя всякий раз, когда на горизонте маячит хорошенькая женщина. Мысль Марселя о браке как гарантии верности кажется здесь весьма уместной[468].

20 декабря

Ли. Закончился первый семестр в Эшридже. К концу машина стала раскачиваться, да и время не так уж тянулось. И так легко оступиться, если этого хочешь. Она — девушка из Южной

Африки, держится непринужденно, не лишена снобизма, умная, элегантная, живая, остроумная — особенно по сравнению с другими здесь, в Эшридже. Изящная, ладная, небольшого роста, с хорошо развитыми, волнующими формами. Великолепная осанка, всегда хорошо одета; замкнутая, от Эшриджа не в восторге. Темно-серые глаза с фиолетовым отливом, живые, проницательные, выразительные на умненьком, пухлом, хорошеньком личике. И потрясающий цвет лица — эту кожу так и тянет погладить. Абсолютно недосягаема: дочь богача, свободно ориентирующаяся в самых разных социальных и сексуальных тонкостях. Очень соблазнительная; я позволил себя соблазнить, и она, в свою очередь, тоже. Ничего не говорилось — все сказали наши глаза. Мы постоянно встречались — нас тянуло друг к другу. Просто сидели вместе, и нам не было скучно. Она вытеснила из моего сознания Э. Мысли, мечты только о ней; письма к Э. — лишь тягостный долг. Присутствуют все сладостно-томительные признаки юной влюбленности — невозможность сосредоточиться на работе, отсутствие аппетита, сознание собственной глупости; в таком замкнутом мирке, как Эшридж, любовная связь будет замечена еще до своего зарождения.

Мы с ней и еще две девушки однажды вечером отправились в Литтл-Гэддесден, чтобы послушать молодого гитариста Джулиана Брима; он замечательно играл в елизаветинском особняке[469]. Старинный резной камин, обшитые панелями стены, нежная лютня и гитара, несколько любителей музыки. Потом — дорога домой. Я держал одну девушку за локоть, а Салли — за руку. Маленькая, холодная, неподвижная ручка; однако никакого поползновения ее выдернуть. Но последние дни были напряженные — мы утратили самообладание. Стали вести себя неестественно. Не представляю, как мы проживем еще несколько месяцев. Она уезжает в апреле.

Две моральные проблемы. Первая — я твердо решил не связывать судьбу с Э., если придется брать Анну. Это даже не связано с экономическими трудностями, какая-то животная часть во мне противится этому. Я знаю, что это плохо. Единственное оправдание, что я принял решение сейчас; любое другое решение было бы бесчестным — как чек банкрота. Вторая — призрак измены, мешающий рациональным планам хранить верность любимой женщине. Я люблю Э., хочу хранить ей верность. Но мы в разлуке, и тут появляется Салли. И воцаряется хаос. Мне известно, что я падок до женщин, не способен жить один и хранить верность; а теперь не уверен, что смогу хранить верность и в супружестве. Сколько в этом экзистенциалистской свободы воли?

Мне по душе Эшридж — нравится место, и жизнь в нем тоже. Приятно жить на свежем воздухе, иметь прислугу, встречаться с посетителями; приятно видеть семьдесят девушек, богатых и счастливых, — они словно входят в архитектурный ансамбль, как фонтаны в Испании; нравится цинизм педагогов и энтузиазм студентов; отсутствие суеты, всего городского. Рутина, соблюдение формальностей. Причудливая старомодная структура — словно выброшенный на берег кит; в ней легко и приятно жить. Много здорового абсурда и эксцентричности.

Я просто в восторге.

День и ночь в Лондоне — с Э. Она теперь живет вместе с Анной в прекрасном доме эпохи Регентства на Эдвардс-сквер. Сумасшедший дом, управляемый привлекательной взбалмошной ирландкой с седыми волосами и исключительно благородным, почти безукоризненно красивым лицом; она прирожденная лгунья, живет, занимаясь хаотичной благотворительностью, в окружении матерей, детей, поэтов и неоплаченных счетов. Крошечный безумный ирландский мирок в центре Лондона. Грязный, чувственный, дружественный, невротичный; никто не думает о завтрашнем дне; все веселятся или печалятся.

Э. каждый день работает с девяти до шести за прилавком парфюмерного магазина. За ребенком присматривают в сумасшедшем ирландском доме. Бедная Э. Анна целиком на ней, Э. несет все расходы — Рой опять без денег; он надеется получить место преподавателя в Суонси. Впрочем, Э. думает, что он его не получит, а жалованье там тысяча фунтов в год.

Она обвиняет меня в том, что мне наскучила вся ситуация. И это правда, я устал от нее. В то же время понимаю, что веду себя как эгоист. Нужно давать Э. деньги. Она еле сводит концы с концами. Недоедает. Но она крепкая, выносливая, изобретательная, несмотря на суровые лондонские обстоятельства.

Хуже всего, что я виноват перед Анной. Я наблюдал за ней сегодня: она смотрела на меня странным, враждебным взглядом; и все же мне совсем не было ее жалко. Она реальность, довольно абстрактная, находящаяся в сфере нормальных человеческих обязательств, от которых нельзя отмахнуться. Я не могу ее игнорировать, но и принимать во внимание тоже не хочу.

Мне хочется, чтобы мы с Э. были свободными, могли путешествовать, вместе жить, храня верность друг другу, — брак меня не прельщает. Я остро ощущаю глубокую внутреннюю нестабильность — не обязательно в плохом смысле, — внутреннюю подвижность, жажду свободы — особенно в передвижении. Мне не нужно много денег — лишь бы хватало на

обычную жизнь, на скромные путешествия; не хочу невыносимого груза домашнего хозяйства, экономической удавки, при которой нет никакой свободы передвижения. Все это противоречит разумному, нравственному началу.

29 декабря

Слава Богу, Рождество позади. Унылое время года. В материальном плане в Ли много еды и питья, но я чувствую себя настолько не в своей тарелке в этом мещанском мирке, среди маленьких девочек, дядьев, теть, рождественских елей, что становлюсь чуть ли не аскетом. Ем мало и в спиртном себя контролирую. Чувствую себя виноватым перед родителями — неблагодарный, отчужденный, мрачный, загадочный тип.

На второй день («день подарков») Рождества еду в Лондон к Э. Две восхитительные ночи в комнате, окна которой выходят на Эдвардс-сквер. Потом трудные, омраченные безденежьем дни; по отдельности мы живем экономно, но вместе становимся неуправляемыми. Тратим все — до последнего. У Э. нет работы, нет денег. У меня два фунта в банке и никаких поступлений до жалованья в конце января. Мне нужна новая одежда, потребуются деньги, чтобы перепечатать книгу о Греции. Э. повязана по рукам и ногам Анной, перспективы — если попробовать заглянуть в будущее — довольно мрачные. Мы же мечтаем о Юге, поездках, путешествиях, пребывании на солнце.

В рождественский сочельник Э. совершила обход ночных клубов в обществе прежнего любовника Алана, брата Бетти. Вечер закончился в его постели. Он пытался овладеть ею, она же, если ей верить, даже не позволила себя поцеловать. Этот рассказ вызвал во мне отвращение, приступ ярости, ревность — начать с того, что я ей не верю, хотя и чувствую силу ее любви. Но она непостоянна по самой природе, теряет над собой контроль в кризисных ситуациях (что лучше, чем постоянная безответственность), и поэтому я иногда задумываюсь: а не стоит ли мне бросить ее.

Кроме того, у меня из головы не идет ребенок. Я его терпеть не могу. Называю его «оно», а не «она». Оно ноет, плачет, скулит, злится; ребенок испорчен родителями и прошлой жизнью. Ему нужно хотя бы год прожить под надзором строгой няни, по старинке, с соблюдением режима, в чистоте и порядке. Не в теперешнем безумном хаосе меблированных комнат. Однако я не могу взвалить на себя ответственность за него. У ребенка уже сейчас отвратительно-эгоцентричное лицо Р., пришлось бы всю жизнь терпеть необузданное, испорченное, беспорядочное создание. Встречаясь, мы обмениваемся враждебными взглядами. Я не предпринимаю никаких шагов, чтобы исправить положение.

Что касается Э., то временами она со мной прекрасно держится, уравновешенная, теплая, с ней так легко; чувственная, легкомысленная, нетребовательная и в то же время любящая. Но иногда бывает чудовищной, вульгарной — возвращаются былые привычки. В ней просыпается продавщица из дешевого магазина, и тогда она устраивает мне сцену. Лицо покрывается морщинами, проступает выражение, свойственное скорее проституткам; видно, что она уже не первой молодости, многое пережила. В другое же время она кажется юной — фигура у нее превосходная, — даже очень юной. Но существуют и факты, конкретные факты ее жизни в последнее время. Работала за гроши в магазине, содержала ребенка, отыскала в Лондоне пристанище для себя и дочери. Лондон — крепкий орешек для бедняков и провинциалов. Ее можно назвать чуть ли не героиней, именно современной героиней; и эта ее необычная истинная сущность — редчайшее качество. Оно ведет ее вперед, и будет вести впредь, и поэтому мне всегда будет ее жаль.

6 января 1954

Унылый день; повсюду мрак — ни одного просвета. Сомнения по поводу моего сочинительства, глубокие, всеобъемлющие сомнения. Невыносимо медленно продвигаюсь я к логической связности и изяществу слога; то и дело выбираю не то слово — по смыслу или по звучанию. Попытка достичь чего-то большего, чем обычное, банальное повествование, похоже, обречена на провал. Я роковым образом связан с прошлым, с окружением в Ли, сформировавшим меня прямо или косвенно. Нет раскованности, нет способности к писательскому ремеслу. Почти всегда у меня стимул к творчеству — воля. Я понимаю, что книга о Греции недостаточно хороша. Того же мнения и Э., прочитавшая из нее кое-какие места; книга нуждается в доработке. Трудно даже вообразить, каких усилий это потребует. А тем временем Э. живет в Лондоне как в аду — ни работы, ни денег. Вчера она продала пальто и обручальное кольцо, выручив за них три фунта. Перебивается с хлеба на воду, а я чувствую себя виноватым по всем статьям, так как не могу ей помочь. У меня есть кольцо деда, я мог бы его продать — смешно испытывать сентиментальные чувства к подобным безделицам, да я и не испытываю. Но я боюсь, что, продав его, огорчу отца. Короче говоря, мои чувства значат для меня больше, чем ее трудности.

21 января

Снова в Эшридже. Мы с Э. провели ночь в гостинице у Юстона — двенадцать часов спокойного счастья, перед тем как вновь окунуться в сумбурную, напряженную, бесцветную жизнь, на которую мы извечно обречены. Э. живет постоянно на грани

нервного срыва — без денег, еды, надежды; ее выдержка вызывает у меня только восхищение. Нехватка денег критический вопрос сейчас. Ей никогда не удается вовремя заплатить за квартиру, покупает она самое необходимое. Однако, находясь вместе, мы не экономим — просто не можем. Тратим фунт на ужин и кино, хотя могли бы то же самое получить за половинную цену. Но сейчас мы хотя бы существуем в гармонии друг с другом, живем в полном единении; эти отношения приносят радость и больше, чем все остальное, похожи на любовь. Я пришел к выводу: зрелая, сильная любовь — единственно здоровое, нормальное, приносящее удовлетворение чувство в абсурдном, больном и неуютном мире. Все, что мы можем, — это хранить верность и надеяться. Надеяться.

В Эшридже никаких перемен, прошло четыре дня — не недель. Через двадцать четыре часа казалось, что я вообще не уезжал. Салли вернулась, в ней все тот же напор, она следит за мной, я — за ней, все стало еще явственней, несмотря на мои чувства к Э. — стройной, зрелой, искренней по сравнению с Салли, этим лучезарным воспоминанием, обретшим теперь пухлую плоть. Салли вернулась, пробудив прежнюю атмосферу флирта. Бадминтон. Она играла с адмиралом, а я с Дайаной. После игры пили кофе, а потом она сидела и ждала, чтобы я присоединился к ней. Я этого не сделал — хотя мне пришлось пережить внутреннюю борьбу. Истинная нравственность — самая тяжелая добродетель. Борьба «свободной» воли с тем, что детерминировано; нечто творческое, но это так же трудно непрерывно созидать, как и поэзию.

29 января

Очередные, полные отчаяния ночь и день с Э. в Лондоне. Страшный холод, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию. Положение Э. становится совершенно абсурдным; Сибил попросила ее съехать с квартиры на Эдвардс-стрит, так как она не платит за жилище. С должности социального инспектора ее уволили. Денег нет. Р. возьмет Анну, найдет для нее няню — сейчас у него хорошая работа, а Э. должна сама о себе позаботиться. Но она обещала найти Р. квартиру. Вот так и проходят ее дни — ищет квартиру для Р, зная, что в субботу ее вышвырнут на улицу. Как и всегда, сознание, что мы живем на краю пропасти, заставляет нас предаваться любви без остатка, жарко, радостно. Но снаружи нарастает опасность. Р. во многом ее контролирует; она задавлена его обвинениями и христианской терминологией. Э. уверяет меня, что это не так, но я-то знаю.

Ходили на выставку Дюфи в галерею Тейт; и первым человеком, кого там встретили, была Салли. Смущение. Так

рисковать нельзя. Я что-то быстро сказал девушке и отошел в сторону. Э. вдруг приняла тон матроны — Салли показалась ей уродливой. Какое-то время я не говорил ей, кто такая Салли, но ложь тяготила, странный внутренний холод охватил меня, и тогда я сказал. Выставка яркая, веселая. Дюфи ходит по высоко натянутой проволоке; за исключением редких погрешностей, он прекрасно держит равновесие. Его падения ужасны, но достижения остроумны и приятны.

Салли преследует меня, подстерегает во время моих передвижений по Эшриджу. Она почти серьезно предлагает отпраздновать двадцать один год ее жизни и вступление в наследство во время плавания из Танжера в Йоханнесбург и предлагает мне принять в этом участие. Ее поклонение мне льстит, но и надоедает, а временами, в Эшридже — этом строгом оплоте добродетели, — расстраивает и смущает. Сама по себе она ничего для меня не значит, просто faute de mieux[470] развлечение, когда рядом нет Э.

3 февраля

Трудное время; здесь я ухожу от главной цели, размениваюсь на мелочи, избегаю разногласий и обманываю себя, говоря, что в тиши я развиваюсь. Книга о Греции движется вяло. Я люблю Э., но только когда мы вместе. Салли искушает меня, а мне доставляет удовольствие каждый раз побеждать искушение. В таком поведении есть таящая угрозу параллель с дразнящей воображение прелюдией перед актом любви. Пока на это не клюю. Э. живет сейчас отдельно от Р. и Анны. Все идет к разводу, и тогда мое пребывание здесь станет двусмысленным. Единственное утешение — я не чувствую себя в таком уж противостоянии Эшриджу. Теперь я вижу здесь больше положительного — слабое raison[471] его être[472], — и моя критика заведения стала от этого более основательной. Меня продолжает занимать проблема верности. Связано это не только с Салли — она возбуждает очевидным желанием поцеловаться со мной, — но и с другими девушками. С одной особенно, она тоже из Южной Африки — серьезная, загадочная, легко поддающаяся переменам настроения Санчия. У нее классическое лицо и удивительная способность приковывать к себе внимание; она молчалива, стеснительна, в ней есть тайна. Может быть забавной — мимика, сдержанный юмор, спокойная, здравомыслящая, уравновешенная; может казаться удивительно зрелой, а может и на свой возраст. Она всегда душится южноафриканскими духами с необычным ароматом — приятным и неуловимым, ароматом экзотического цветка. Неясный, непонятный. Вчера вечером мы с Салли сидели перед камином, а Санчия рассказывала нам

истории о привидениях, — она придумывала их на месте. Ее грудной голос звучал молодо, она разыгрывала разные роли, глядя в огонь. Неожиданно я почувствовал непередаваемое чувство любви и уважения к ней. Прекрасная, умная и воспитанная; женщина-загадка, таких мы видим на полотнах да Винчи; смутная улыбка. У нее есть то, чего нет у Э., — девственная чистота, некоторая неоформленность черт. Красота белоснежной страницы, ждущей писателя.

9 февраля

Странная пора; живу в подвешенном состоянии. Переписка в резких тонах между мной и Э. Я посылал ей жестокие письма с советами, она по-женски раздраженно отвечала. Между мной и Салли нарастает нежность, нам трудно друг без друга. Мы сплетаем руки, касаемся друг друга, обмениваемся взглядами — очевидные знаки. Два раза гуляли вместе — веселые, робкие, по-молодому нелепые. Я чувствую себя гораздо моложе. Э. старше меня, в чем-то гораздо старше. А нежная спокойная пухленькая Салли, черноглазая, с крепким молодым телом — сама весна. Иногда она бывает необыкновенно хороша, живая, пылкая; мы держимся на очень близком расстоянии друг от друга, напряженно осознавая восхитительную опасность контакта. Это лучшее время в любви — хождение у самого края, когда ни в чем не уверен, взгляды, от которых немеешь и теряешь самообладание, прикосновения, за которыми следует неловкое молчание. И это не детская неуклюжесть малолеток, а любовь из восемнадцатого века с множеством оттенков. Мы оба наслаждаемся неопределенностью, игрой. Но раньше или позже произойдет взрыв. Мы поцелуемся; хотелось бы, чтобы это случилось не скоро, перед самым расставанием, возможно.

Бедняжка Э. томится в Лондоне, потерянная, без денег и крыши над головой; и я ничего не могу для нее сделать. По-прежнему чувствую прочную, ничем не разрушаемую связь с ней. Салли этому не мешает, скорее помогает. Она просто близко, это все поверхностно; Э. далекая, но подлинная; здесь все решает расстояние. Поведение мое низко, это поведение гедониста, но Салли неотразима и я могу сейчас прожить без Э.

12 февраля

Еду в Лондон повидаться с Э. — первый раз за десять дней; для нее они были ужасны, она так нуждалась во мне, а я преспокойно отсиживался в Эшридже, писал ей жестокие, ханжеские письма, заигрывал с Салли. Сейчас она живет в доме наподобие борделя — там сдаются меблированные комнаты; улица, на которой расположен дом, была когда-то вполне респектабельной и спокойной, типично викторианская улица в

старомодном Бейсуотере[473]. Когда я приехал, ее не было дома, и записки тоже. Я прождал ее час, томясь от нетерпения, и в конце концов выяснил, что она работает в Сити. Когда в 5.30 мы встретились, Э. поначалу держалась холодно и отстраненно, но в ее комнате, перед камином, мы провели ночь в полной гармонии. Удивительная, необычная страсть, хотя со стороны может показаться, что я — черствый педант, а она — безнравственная неврастеничка. Так мы выглядим в глазах общества, но сами считаем себя совершенно нормальными. В нашей любви нет никакой логики, она, осквернённая, должна была бы давно умереть, однако продолжает гореть чистым, ясным пламенем.

Однако Салли живет во мне; вернувшись в Эшридж, я увидел, что она не отошла в тень, а по-прежнему осталась тем же искушением. После моего отсутствия она держится странно, несколько неуверенно, но стрелы все так же ранят.

Э. выследил Текс (муж Бетти), которого она одно время любила; она целовалась с ним и крепко напилась. Он хочет, чтобы она жила с ним, — еще один мотылек, летящий на ее свет. Как ни странно, я не ощущаю никакой ревности — возможно, благодаря Салли.

Кажется, у меня назревают проблемы, а может, во мне говорит больная совесть. Салли предупредили, что она «ставит меня в неловкое положение». Начальство уже взирает на меня с подозрением. Адмирал, похоже, вообще боится вступать со мной в разговор — ситуация невыносимая как для него, так и для меня. Мне только что пришло в голову, что, возможно, не я тут причина, а его неспособность понять меня. Эти трудности возникают, когда носишь маску, она хороша только на сцене; принимаемая зрительным залом, она прирастает к лицу. Я тоже ношу маску — особенно в обществе адмирала, но часто, когда не разговариваю непосредственно с ним, я ее сбрасываю — даже в его присутствии.

Частично это связано с тем, что мои обязанности просто смехотворны — с такой работой справится посыльный. Никакой ответственности, преподавание и прочие нагрузки самые примитивные. Но безделье никому еще не шло на пользу. Начинаешь вести бездумную жизнь, становишься ленивым, разрушаешься.

22 февраля

Еще шаг по дороге в ад; еще один кусок штукатурки отвалился от фасада; еще один провал; я поддался искушению. Я еще не достиг дна, но все время падаю, падаю; иногда на пути я сбиваю камень, чтобы не забыть того, что лечу вниз. Я не люблю Салли так, как любил и люблю Э. Тут более животное чувство,

желание ощущать твердые, упругие груди, целовать и ласкать ее. В некотором смысле покорить ее, так как она здесь одна из самых красивых девушек. Приключение в духе Казановы. Я уже знаю, что целуется она во много раз хуже Э. И скоро растолстеет. Правда, сейчас она великолепна, у нее лучшая фигура из всех остальных стройных и юных девушек, однако намек на будущую полноту уже присутствует. Ее сознание — пусть и южноафриканское, без наших клише и предрассудков — еще очень незрелое, суждения поверхностные. И ее бледное лицо без косметики — всего лишь пухленькая мордашка. Лучше всего глаза — темно-синие и очень живые.

Как-то сырым, пасмурным воскресным днем мы дошли до конца Голден-вэли[474], там сели и поцеловались в зарослях. Сегодня это повторилось на бадминтонном корте. Но военные действия продолжаются, за нами следят, все против нас.

Я виноват, очень виноват перед Э. Но Салли через шесть недель возвращается в Южную Африку. Теперь я верю в страдания, называю их опытом и получаю от них удовольствие. Между любовью и религией много общего; мир религии — слабое подобие мира секса. И если я когда-нибудь стану религиозным человеком, то, полагаю, это будет в результате сложной сексуальной сублимации. Сейчас я нечто вроде впавшего в грех католика: ведь я верю в любовь, la creation de la fidélité [475], как ни во что другое. И Э. для меня персонификация этой веры. Я грешу, и все же верю. Продолжаю любить Э. и в то же время развлекаюсь с Салли, и то, что между нами происходит, нельзя назвать только развлечением. Она, как и я, и все остальные, тоже носит маску, и снятие этой маски является одним из редких мгновений в жизни, искупающих однообразие изолированного существования. Прильнуть к другому человеку, нежно его поцеловать, увидеть, как он успокаивается, смягчается, стоит того, чтобы снести нападки общества.

Мне кажется, можно говорить с натяжкой о любви одновременно к двум женщинам. Однако сейчас я не испытываю терзаний и острой необходимости выбирать между ними. Конечно, я чувствую за собой вину, но чувство вины в этом возрасте — почти удовольствие и норма.

26 февраля

Две ночи в Лондоне с Э. В какой-то степени я боялся их, сомневаясь в своей способности лгать. Но я никак не мог предугадать, каков будет результат. Общение с Салли сильно повысило ценность Э.; никогда раньше я не замечал, насколько она зрелая, естественная и любящая. Почти идеальная женщина — теплая, цельная, сложная; по сравнению с ней двадцатилетняя

Салли глупышка; уже через десять минут общения с Э. я не мог понять, как мог докатиться до того, что влюбился в Салли. Со временем все расскажу Э. Но до того времени, как Салли уедет в Южную Африку, мне придется играть роль двоеженца. Салли так обрадовалась моему возвращению в Эшридж и была при этом так красива, что любовное переключение на другой объект далось мне исключительно легко. Женщины настолько разные, как и мои чувства к ним, что я не ощущаю в этой ситуации никакого неудобства.

Может, это происходит потому, что я ищу женский архетип, и хотя нашел его в Э., все же сомневаюсь и хочу убедиться, что это действительно так. Возможно, я могу однажды потерять Э. из-за этой или подобной эскапады. Но она единственная женщина из всех, кого знаю, про которую я даже вообразить не могу, что теряю. В ней больше женского, чем во всех других женщинах; ее сексуальность, ее сердечность, ее красота того сорта, что не утрачивают свежесть. Что до Салли, то мне уже надоел ее плотно сжатый ротик, пухленькое тело и тихий голосок с неистребимым акцентом и тоном общественного защитника. Э. по сравнению с ней — сложившаяся личность; «индивидуализированная», если употреблять термин Юнга. Салли же — продукт воспитания и окружения.

Но и у Салли есть нечто, недоступное Э.: притягательность иностранки, молодость и свежесть. И еще простота и воспитание. В физическом смысле — великолепная грудь, кожа, миниатюрность. Но все это чепуха по сравнению с величием Э.

В настоящее время читаю много книг по психологии; в основном Юнга. Жизненно важное знание.

1 марта

Жизнь идет по нисходящей; много промахов, все попытки достичь совершенства проваливаются; пропасть между воображением и реальностью осознается все полнее. Сейчас в моей жизни много нереального. Словно стоишь на шатких камнях, они не дают прочной опоры. Жизнь в Эшридже — ужасная трата времени, долгий день в пустоте. Я все больше отмежевываюсь от института, испытываю даже потребность в ответственности, работе, что совсем для меня не характерно. У меня сейчас нет даже ощущения связи с Э. Я ее люблю не меньше, может, даже больше, но она отдаляется всякий раз, как я ее предаю. С моей стороны нет серьезного предательства, я уже с нетерпением жду отъезда Салли. А пока мы ходим гулять и обжимаемся в кустах, как деревенские любовники. Ее красота, нежность возбуждают, и этого достаточно, чтобы отвлечь меня от более серьезной работы. В каком-то смысле я воспринимаю

женщин или, возможно, половую неразборчивость как своего рода болезнь, от которой следует излечиться, чтобы любить Э. как нужно. Я виноват, однако испытываю потребность быть виноватым, как и потребность в последующем искуплении. Я почти хочу, чтобы меня уличили в неблаговидном поведении и выгнали с позором. Тогда Эшридж останется в прошлом.

6 марта

Еще одна ночь в Лондоне с Э. Притворяться в этот раз было легче, но и наслаждение было не таким острым. Отвратительно, что приходится ее обманывать. Несколько раз она упрекала меня в том, что я с кем-то целуюсь (с Салли), — поразительная интуиция с ее стороны. Однако подозрение исчезло с пугающей быстротой, стоило его высмеять, — в моем неискреннем отрицании поддразнивание прозвучало очень правдоподобно. Обманывать нетрудно, даже если люди так близки, как мы с Э. Невозможно лицемерить в любви друг к другу, а неискренность в прочих вещах трудно распознать. В Э. столько свободы, нежности, приветливости, она готова к пониманию другого человека и открыта сама. Интуитивно чувствует правду, здесь она гений. Это есть и в Салли, но в гораздо меньшей степени. Хотя в институте она кажется поборником истины, так ей ненавистно притворное лицемерие Эшриджа. Как и я, она все здесь порицает, резко критикует. Наш цинизм недорого стоит, но у нас по крайней мере есть прозрения, чувство истины, искренность — редкие качества в окружающем нас лицемерии. В ослабленном виде в ней есть то, чем сильна Э., — цельность, искренность, неприятие показухи.

А я тем временем пребываю в раздвоенном состоянии, играю сразу две игры и от обеих устал.

20 марта

Пять дней в Лондоне с Э. Счастливы, несмотря на отсутствие денег. Один ужасный вечер, когда пришлось ехать на другой конец Лондона, в Кенсингтон, чтобы взять у Бетти пальто. Э. нужно было прилично выглядеть на каком-то собеседовании. Бетти не хотелось расставаться с пальто, а мне тащиться через весь город. Тогда Э. неожиданно расплакалась, а я словно впервые понял, какая узкая граница проходит между спокойствием и отчаянием. Жизнь у нее тяжелая, в постоянной борьбе с трудностями — особенно финансовыми. Временами я понимаю, что веду себя жестоко по отношению к ней, хотя по-прежнему уверен, что исключительность нашей любви во многом связана с тем, что я всегда давал понять, что не смогу оказывать ей поддержку — и, более того, эта невозможность меня не волнует. Поэтому наша любовь проще и чище: ведь ни чувство вины, ни чувство благодарности не замутнят наши истинные

отношения.

Я вернулся в Эшридж и тем самым к Салли. И опять переход от глубокого общения с Э. к приятному времяпровождению с Салли прошел с почти омерзительной легкостью. Эту легкость я объясняю тем, что никого не предаю: женщины очень разные — во всем полные противоположности, и отношения у меня с каждой особенные. Я хочу остаться с Э. и буду рад, когда Салли уедет, хотя она мне вовсе не наскучила. Роман с ней овеян своего рода поэзией. И все же я боюсь растерять собственные нравственные оценки, хотя моему самолюбию льстит, что мною интересуются две женщины одновременно. Но такой опыт отдает безвкусием. Когда-нибудь я все выложу Э., хотя заставить ее поверить в невинность моей измены будет трудно. А ведь на самом деле именно эта история наконец убедила меня в том, что я люблю Э. и нуждаюсь в ней. Тысячи Салли не дадут того, что мне нужно.

Отправился к Полу Скотту[476] из «Пирн, Поллинджер энд Хигем», чтобы узнать его мнение о моих произведениях. Его оценка меня окрылила. Похоже, он считает, что мои книги со временем будут печатать. Усталый, доброжелательный арбитр. Нужно хорошенько почистить книгу о Греции.

Эшридж помог уяснить один мой недостаток. Ясно, что память — мое слабое место. По желанию я могу вспомнить так мало. Память — неоценимая вещь во многих видах деятельности, в преподавании, например. Но для писателя-поэта это просто спасение. Так что теперь я не стану притворяться, что обладаю хорошей памятью.

23 марта

Санчия Хамфриз. Сегодня я провел целый вечер в беседе с ней — беседа велась при обоюдном понимании и в такой доверительной манере, что это безошибочно говорило о нарастающей симпатии. Необычная девушка, умна не по возрасту, печальная, загадочная, с твердыми нравственными принципами. К такой девушке просто так не подойдешь и просто так не оставишь. Она как глубокое озеро по сравнению с весело журчащим мелким ручейком Салли. Последняя ужасно мне наскучила. Наш роман насквозь искусственный, банальный на плотском уровне и в конечном счете поверхностный. Санчия за один вечер рассказала мне о себе больше, чем Салли за все интимные свидания. Разговоры с Салли никогда не выходили за границы обычного недовольства жизнью, пребыванием в Эшридже, и часто сводились к придумыванию разных ухищрений, чтобы улучшить ситуацию. Нам повезло: теперь ощущение опасности перестало щекотать нервы. У Санчии много не совсем продуманных, но глубоких творческих идей. Она не претендует

на широкое знание культуры, однако обладает по-женски тонкой интуицией. Робкая и в то же время очень артистичная. Кроме того, она естественная — как молодой побег. Жизнь в Йоханнесбурге ее не удовлетворяет; во всем потворствующий отец, невротичная ирландка-мать, увлеченная племенным собаководством, — несчастливый брак. Одаренная и пылкая старшая сестра, приемный брат. Дом с длинным темным коридором и комнатами по обе стороны. Мать и сестра постоянно ссорятся, доходило даже до попытки убийства. Один раз избили Санчию; в конце концов ее отправили в Англию, чтобы достичь хоть какой-то стабильности. Странно, но я не знаю, насколько ее рассказ правдив. Она сочиняет легко, шутливо и так правдоподобно, что — как с криком «Волк!» — не знаешь, можно ли этому верить. Но я нахожу очаровательной даже такую неопределенность.

Во мне нарастает недовольство своим положением здесь. Между мной и неприятным семейством Бойд идет непрерывная борьба на подсознательном уровне. Адмирал в моих глазах утратил все обаяние. Теперь я вижу в нем капризного старика — хитрого как лис. Брак с вульгарной уродиной, какой является леди Б., во-первых, приучил его, как католика, к строгой дисциплине, дабы вынести крест несчастного супружества. Отсюда его жесткое требование соблюдать установленный порядок, хотя сам он любит потихоньку его нарушать. Во-вторых, тоска по упущенному счастью выливается в потворство своим привычкам и неприязнь разного рода соперничества. В отношениях супругов царит чудовищная скука. Они могут испортить беседу, рассказав какую-то личную историю или анекдот с бородой. Снобы они ужасные. Я утешаюсь только тем, что с радостью замечаю: они догадываются, что я презираю их.

Но Бойды при всей их невыносимости не так уж страшны. Страшнее другое: оказывается, я вообще не способен работать под чьим-либо началом. Я рожден безнадежным индивидуалистом. И не вижу никакой возможности (шанса) быть счастливым, кроме как писать для себя. Боже, как мне ненавистна иерархическая тирания, когда ты — часть целого, а не независимая личность!

29 марта

В какой-то степени я сам угодил в свою западню. Тщательно продуманный имидж был, однако, таким фальшивым, что люди, даже не задумываясь над этим, должны были чувствовать, что это маска. Но почему мне и теперь приходится прятать свое подлинное «я»? Надо, напротив, раскрывать его — насколько возможно в таком мирке. Обманывать окружение — слишком большая роскошь. Думаю, у меня это вызвано затянувшейся

неуверенностью в своем литературном будущем и еще раньше — страхом перед фигурой отца. Викторианские добродетели капля за каплей вливались в меня, несмотря на нездоровое, расщепленное общество 1930-х и 1940-х годов. У меня, как и у отца, подсознательное уважение к власти — это подобострастие глубоко укоренилось, оно мне ненавистно. Я — материнская сущность в отцовской форме. В физическом смысле было нетрудно преодолеть сложные личные и социальные аспекты прошлого с доминирующей фигурой отца, гораздо труднее воспринимать это прошлое естественно. Я страдал и тогда, и сейчас. Моя ненависть к прошлому неадекватна. Не могу простить родителей за то, что они так яростно выбивали на мне свое клеймо, и не могу простить себя за то, что позволил этому горькому открытию переродиться в неблагодарность и насмешливое к ним отношение. Родители больше не пугают меня; я же сознательно скрываю мою вину по отношению к ним. И все же это они и страх перед наказанием заставили меня так злоупотреблять маской и всегда колебаться перед тем, как ее сбросить.

31 марта

Еще год жизни миновал. За весь день никто меня не поздравил. Теперь я уже не принимаю в этот день никаких решений и не отношусь к нему как к жизненной вехе. Время летит все быстрее, я ни в чем не уверен и больше, чем прежде, склонен довольствоваться малым.

* * *

Вечером я, однако, расстроился, что Э. не позвонила. Когда звонил я, ее не было дома; мне стало грустно и одиноко. Незадолго до этого я был с Салли в нашем потайном месте. У предателя нет прав. Теперь мы с Салли всегда встречаемся утром — тогда все находятся в церкви. Гуляем; пришла весна — зеленая, юная, налитая соком; серые и дымчато-желтые сережки на фоне яркого синего неба; нарциссы; первые пеночки; крики грачей; солнечное тепло; роса; блеск и шум газонокосилки. Год совершил свой оборот. Как-то днем мы вышли на пустошь, поросшую вереском, нашли укромную полянку с высокой травой и улеглись там; впрочем, настроение было скорее осенним; сухие, без слез, глаза, нежность и самоконтроль. Расставание все ближе, а Африка далеко, очень далеко. Этим утром на ней был синевато-серый костюм — глубокий вырез, юбка с разрезом; белая, чистая, гладкая кожа. Уравновешенная, грациозная, великолепно сложенная; внезапно я испытал прилив гордости, что так близко знаком с ней.

Вечерами, после ужина, мы шли в условное место, целовались, гуляли и болтали. Тесно прижимались друг к другу, сплетали руки и обнимались в тени старых колонн. Необычное место, много амариллиса, однако оно не лишено очарования. Грустно, что она уезжает, — словно теряю любимую собаку. Салли была мне здесь очень нужна: ведь Эшридж во многом подавлял мою личность, унижал, пренебрегал мной. Бесил и терроризировал — она же была тайным утешением, картой в рукаве. Благодаря ей я не унизился до мести.

Последний разбор занятий за чаем. Адмирал в очередной раз раскритиковал мое чтение и выбор книг. И я публично отказался читать что-либо теперь. Тогда же он сказал Джону Кроссу, что в дальнейшем каждый должен читать отрывок из Евангелия. Джон в ярости, что ему указывают; Гарри Гордон сердит на адмирала за это вмешательство. Возник скандал. Как бездарно в Англии растрачиваются эмоции!

6 апреля

Последний вечер с Салли. Мы пошли в «Бриджуотер-армс», немного выпили и договорились встретиться еще раз — в полночь. Опасная задумка, да и необходимости в ней не было, но я уже устал от жестких правил, от слепого повиновения, порождающих удушающую атмосферу в Эшридже. Эти правила нужно время от времени нарушать; наш план мы разрабатывали,

испытывая приятное возбуждение. В полночь Салли вылезла из окна нижнего этажа, мы забрались в заднюю комнату строения на Липовой аллее — в восторге от этого приключения. Настоящие дети — застенчивые и самоуверенные, горделиво восставшие против взрослого мира. Сбросив одежды, забрались в постель, целовались, ласкали друг друга, шептались, потом засыпали, но любовью не занимались. Такую ситуацию можно встретить у Казановы, или Дефо; есть особое удовольствие в том, чтобы ходить по самому краю. Обнаженные, позволяющие себе все, кроме последнего. У нее плотное, крепкое, восхитительное тело. Это было настоящее прощание. По прошествии времени оно покажется постыдным, но сейчас — теплое, волнующее — роза в ночи. Унылые крики грачей на рассвете; слабость после бессонной ночи; и вот я en route[477] к Э.

20 апреля

Эшридж без девушек — существование без воображения, это возможно, но неприятно. Умеренная тоска по Салли. Решительная попытка закончить книгу о Греции; волнение по поводу будущего. Я объявил, что в сентябре покину Эшридж, но не имею ни малейшего представления, что буду делать дальше. Нужно время для творчества и деньги, чтобы помогать Э. Непримиримое противоречие. Я прочитал здесь первую лекцию — значительный прогресс по сравнению с лекционной деятельностью в Пуатье. Тест я прошел — мне не скучно, этот опыт не внушает мне отвращение, а скорее удивляет.

Теперь трехнедельный отпуск, который я проведу в Хэмпстеде.

10 мая

Все закончилось. Как быстро пролетели три недели, каким нереальным может быть прошедшее время. Когда-то наполненные три недели превратились в пустую шелуху, забытые пространства.

В Хэмпстеде; спокойная жизнь, одни в квартире. В основном период глубокой, счастливой любви; ссоры, придирки, обиды, но надо всем мощный поток неподдельной любви. Это не означает, что я уверен в Э., а свидетельствует скорее о том, что мы любим друг друга так естественно и глубоко, как только можем. Крепкая физическая основа, но и духовная связь прочная — более прочная, чем мы это осознаем. Временами между нами вспыхивает ненависть, однако доказательство нашей любви в стремлении как можно скорее помириться и в самой пылкости ссор, невозможности долго дуться и копить обиды. Каждый предельно чувствителен к словам другого; мы знаем, какие из них являются проверкой, какие правдой, какие глупой выходкой, какие оплошностью.

Вернулся в Эшридж сегодня словно в наркотическом опьянении; все еще пребываю с Э. — близкой, сердечной, удивительно подлинной, остаюсь в неподдельном, приносящем наслаждение мире личных отношений, постоянных открытий, непреходящей искренности. Из личного, нежного мира любви я перенесся в этот старомодный эталон общественной жизни — консервативный, публичный; как далек он от истинного существования — безжизненный, бездушный и такой же жалкий, как изможденная, мертвенно-бледная, призрачная плоть монаха, — сущее богохульство перед лицом живого мира. Как англичане любят жить в обществе! Даже в частной жизни они не отделены от него, маленькие общественные ячейки — не личности, не сами по себе. Одно мгновение с Э. значительнее тысячи лет жизни в Этридже. Там ты искренний и в мире с собой; здесь постоянно имеешь дело с ритуалами и стереотипами. Для меня мучительно приспосабливаться к пошлости, отвратительно потворствовать лжи. Мое пребывание здесь бессмысленно.

И в то же время голубые воды весело плещутся у берега, поют птицы; природа полна очарования.

12 мая

Теплые деньки, небо голубой шерстью окутало землю; по вечерам с юга дует легкий ветерок; ароматы; тени; огромное белое облако восковых цветов магнолии сияет в лунном свете — наделенные восточным колоритом, они романтически прекрасны, но пахнут конской мочой. Только что звонил Э. — почувствовал себя одиноким. Она ежедневно видится с Р., и я ревную. Каждый день ожидаю, что всему придет конец. Как-то она сказала:

— Что ты волнуешься? Я тебе досталась в самый свой расцвет.

Думаю, это правда. Раньше она бы мне не понравилась — слишком молода, слишком привередлива и непостоянна; и позже тоже — она скоро постареет, износится. Впрочем, у нее безграничные ресурсы привлекательности, но сейчас она находится на самом пике женской красоты.

14 мая

Двадцать четыре часа с Э.; временами я думаю, что наша связь трагедия; любовь растет, и одновременно неумолимо возрастает чувство безнадежности, связанное в основном с финансовым положением. Я абсолютно не уверен в будущем. Но знаю, что любой ценой хочу сохранить Э., и при этом не могу смириться с необходимостью делать карьеру, предпринимать бессмысленные усилия. Я всей душой возненавидел систему — не могу подчиняться, подстраиваться под чужие требования, признаю только самодисциплину. Несмотря на растущее

недовольство собой, хочу писать. Здесь совсем нет времени на такую работу — невозможно сосредоточиться. Книга о Греции, переданная наконец агентам, до смерти мне надоела. Получилось не то, чего я хотел, а мысль о доработке вызывает отвращение. Но как же сильно я люблю сейчас Э., как скучаю по ней! Она — единственный нормальный человек во враждебном окружении. Раньше я мог беспечно соглашаться на разную работу, считая это неотвратимым злом. Но моя теперешняя жизнь, мои желания сделали прошлые компромиссы совершенно невыносимыми. Это из-за страсти к Э.; мучительные поиски истины не приемлют статичных положений, они превращают тебя — с психологической точки зрения — в вечного странника, неудовлетворенного, нигде не обретающего покоя.

Наше взаимное чувство, сердечность, пыл, любовь, страсть — вот истина, все остальное — ложь и пустота.

Р. наконец нашел хорошую работу, живет во французской семье. С трудом верится, что Э. не вернется к нему и что наша любовь сейчас не такая интенсивная, потому что она осознает (возможно, подсознательно) неизбежность расставания. Ее ли это вина? Меня глупейшим образом мучает ревность к Р. Все из-за нашей близости; когда два человека так слились друг с другом, как мы, остальной мир представляется серым и холодным, чудовищно серым и холодным. Разлука хуже смерти.

Э. — само сочувствие, и никакого самоконтроля. Все чувствует, все замечает. Однако между ее проницательностью и умением выразить себя — глубокая пропасть молчания. У нее почти детский страх перед миром.

В женщинах — недостающая половина мужского интеллекта. Они как очки исправляют нашу неизбежную (ведь мы ограничены полом) близорукость. И противоположный взгляд верен. Женщина идеальный компаньон хотя бы для того, чтобы полноценно постичь мир. Мужское общество излишне: оно или представляет более ограниченный взгляд на проблему, или несколько улучшает его. В любом случае это несносно.

15 мая

Рецензия из «Пирн, П. энд Х.» на мою книгу о Греции неблагоприятная. Пережил шок — хотя шансы были небольшие, но надежда умирает последней. Мне все еще трудно принять важный факт относительно моих литературных притязаний — я имею в виду то, что до двадцати одного года я в творческом смысле ничего собой не представлял, да и в последующие годы у меня были ошибки и провалы. Хочется сравнивать себя с современниками. Но нужно отказаться от этого удовольствия: в течение многих лет меня ждет горькое разочарование. В статье

«дебит»: «Это не книга, а скорее ряд глав с вкраплениями симпатичных, но не очень оригинальных комментариев».

«Редко когда отказывается от банальных замечаний».

«Череда мест, скучных обедов и случайных знакомств».

О моей прозе: «Она не приковывает внимания читателя, не захватывает… в целом гладкая и вразумительная, но не более того, а ведь некоторые темы, чтобы прозвучать в полную силу, требуют значительно более тонкого художественного решения».

И наконец: «Слишком сумбурная книга, чтобы ее издавать».

В статье «кредит» — по поводу школы: «Книга сразу выигрывает, становится более сочной там, где автор проявляет свою личность, где он уверен в себе», — то есть там, где я становлюсь «не просто вдумчивым туристом, а… частью пейзажа».

«Я боюсь оказаться несправедливым к автору — ему не так уж многого недостает, чтобы написать хорошую книгу, но уверен: здесь нет той чарующей силы, которая оживила бы и внесла искру Божью в его пылкое восхищение красотой, прошлым страны, понимание драматического напряжения в чужом для него мире. И хотя все это у него есть, что само по себе замечательно, но не складывается в картину такой свежести и силы, чтобы доставить высокое наслаждение».

Мне нужно «углубить творческий замысел, организовать материал, чтобы книга обрела достойный облик».

Справедливый отзыв; сбылись все мои предчувствия. И я не впал в отчаяние, как мог бы. Не знаю, почему я питал иллюзии, что смогу обмануть рецензентов и они не заметят недостатков книги.

* * *

Санчия Хамфриз. Время от времени она поражает точностью замечаний. Почему она любит Африку: «Из-за воздуха — такого воздуха нет нигде». Про английский воздух такого не скажешь. Слишком много вредных выделений.

3 июня

Десять дней с Э. в Хэмпстеде. Возвращение в Эшридж было как приезд после долгого путешествия. За это короткое время мы будто заново пережили наш роман. С понедельника по субботу одна сплошная любовь вперемешку с вожделением и ребячеством; время абсолютного счастья, полной гармонии. Но в субботу мы весь вечер провели в одной из наших ужасных, безнадежных ссор — Э. погрузилась в озлобленное состояние крайнего отчаяния, из которого ее невозможно вывести. Любые попытки утешения она

принимала в штыки; все, что идет от здравого смысла, неизбежно становится клише. На этот раз ее терзала полная безнадежность всех отношений; главное — она утратила веру и надежду в наше будущее. Она заснула на рассвете, что меня взбесило, и спала до часу. За чаем частично примирились. Но в последние четыре дня контакт был утрачен; усталые, измученные, мы все так же любили друг друга, но теперь любовь казалась тиранией, а не утешением.

Частично так получилось из-за того, что Э. после месячного перерыва начала в понедельник снова работать. А для нее, с ее полной неспособностью к самоконтролю, эмоциональная встряска от работы вытесняет все остальные чувства. Тогда с ней невозможно жить. Я чувствовал по отношению к себе ненависть; Э., не сомневаясь в моей любви, нападала на меня по-садистски сознательно. Она несет в себе чистую квинтэссенцию женского существа, и потому я готов терпеть отсутствие воспитания, дипломатичности, резкую критику в мой адрес (я написал рассказ о наших ссорах — она разорвала его в клочья), неспособность точно выразить свою мысль, детскую ярость от интеллектуального превосходства другого, лень, бездеятельность. Она принадлежит к людям, жизнь с которыми никогда не будет ординарной. Придирчиво относится ко всякой новой вещи, мысли и живому существу. А это требует достаточно мужества и усилий, которых у меня часто недостает. Однажды она поздно ушла из дома, чтобы встретиться с Роем, — он сейчас работает в Лондоне. Я страшно разозлился, боялся, что она не вернется. Выпил много узо. Пока не раздался звонок, меня мучил страх; потом охватила ярость. Как любовь любит ненавидеть! Получаешь наслаждение от любого повода чувствовать себя уязвленным.

Э. часто обвиняет меня, что я в своей работе пользуюсь *женским* стилем. Под этим она подразумевает сентиментальность, тривиальность, банальность, дешевую сенсационность и литературные штампы из женских журналов. Это справедливо, учитывая стандарты и вкусы века. Сейчас серьезное искусство — строгое, суровое и мрачное; это реакция на повсеместную неискренность и консерватизм коммерческих изданий. Если произведение не трагично, не пропитано иронией, не эпатажно, значит, оно не современно. Оптимизм, счастливые или даже просто неоднозначные концовки устарели.

Можно поставить задачу — воскресить в искусстве счастье, естественность, чувства в самом лучшем смысле слова, показать борьбу благородства с низменными побуждениями, избегая слащавости. Прелесть солнца, а не искусственных ламп.

Я хочу написать рассказ — что-то в духе трагического комикса. Написать хорошо, не демонстрируя, однако, блестящую

технику, которую требуют литературные журналы. Simplicitas[478].

9 июня

На прошлой неделе я вновь стал писать стихи — впервые за несколько месяцев. Не знаю, что за механизм управляет поэтическим состоянием сознания. Как случается, что ты вдруг опять начинаешь мыслить ритмически, в тебе рождаются образы, метафоры, почему некоторые аспекты, истины, слова предпочитают явиться миру в стихотворном виде.

Мне трудно писать в стиле «современной» поэзии — поэзии, сотканной из резко противоречивых элементов. Такая поэзия была, возможно, необходима, чтобы выразить озадачивающую сложность Нового знания. Но вскоре она стала простым сгустком противоположностей, бессмысленным потряхиванием калейдоскопа, где узоры складываются случайно. Поэт тогда не может быть искренним, неясные образы скрывают скудость подлинного воображения.

Мне кажется, то, что мы называем «современной поэзией», — поэзия, написанная приблизительно между 1908 и 1954 годами, — оставила нам два крупных завоевания: во-первых, продемонстрировала силу яркой метафоры, или сравнения, для выражения универсальных понятий и, во-вторых, научила стилизации (ею гениально пользовался Т.С. Элиот). Стилизация стала почитаться достоинством, уважаемой поэтической метафорой. Она делала понятными все туманные намеки.

Лично мне чужда поэзия настроения, атмосферы, изобразительная поэзия. Я стремлюсь к поэзии интеллектуальной, эмоциональной. И прибегаю к более простому, менее экспрессивному языку. Меня больше привлекают naïveté[479] и архаизм, чем сложность и современность.

Иногда я пишу любовные стихи. Но только на днях мне пришло в голову, что их нельзя печатать. Мне не стыдно за их художественный уровень. Просто невозможно сейчас предъявлять свету откровенные личные чувства. Нельзя печатать даже те стихи, что посвящены Э.

13 июня

Я снова заблудился в лабиринте проектов. А нужно все бросить и переписать книгу о Греции.

Сложный период отношений с Э. Я до некоторой степени ревную к Р., с которым она теперь часто видится. Он преуспевает на архитектурном поприще, зарабатывает кучу денег, выставляет проекты на конкурсы. Недавно один его крупный проект занял первое место. Я попадаю во все большую зависимость от ее любви. Она же все меньше во мне нуждается, говорит, что постоянно думает об Анне и любит ее больше всех.

14 июня

Два великолепных письма от нее. Иногда она пишет почти гениально. Письмо дышит естественной, теплой, классической любовью. С ней никто не сравнится.

Острота Честерфилда о совокуплении — много хлопот, смешное положение и безумные расходы[480]. Мне она противна, я отношусь к ней с лоуренсовской ненавистью. Это отношение к сексу светского человека. Мелкая подачка со стороны худшего социального слоя.

21 июня

Пять дней с Э. Нежность, страсть, любовь. И никакой надежды. Но о разлуке не может быть речи, и вообще — сейчас мы счастливы. Душой я не в Этридже, а с Э. и почти весь в мыслях о нашем неопределенном будущем.

Нужно найти работу в Лондоне. Нужно писать. Нужно печататься. Только «нужно» и «нужно» — сколько дел впереди! Я слишком живу настоящим.

23 июня

Был на детском танцевальном показе в начальной школе деревни Литтл-Гэддесден. Дети исполняли английские народные танцы. Ясный день, синее небо, кудрявые облака, зеленая трава. Танцы энергичные, сельские — тень прошлого. Внезапно печаль пронзила мне сердце. Англия, моя Англия, таинственный, непостижимый призрак, живой, зеленый; он мерещится в сени вековых буков. Но очень редко. Как-нибудь я уловлю его в Робин Гуде, самой отдаленной и, возможно, самой глубокой из моих задумок[481].

27 июня

Странный день, странные дни. Неожиданно обнаружил, что равнодушен к Э. А ведь я несколько месяцев не обращал внимания на других женщин — по сути, с отъезда Салли. И вдруг — бац! — они опять стали меня волновать, какой-то бешеный полигамный ажиотаж. Две кандидатуры — очаровательная, утонченная, загадочная Санчия и глупенькая, но исключительно хорошенькая Мей Макнейл. Последняя покорила американца, и это меня раздражает. У нее фигура сильфиды и, как и положено, интригующее прошлое. Чувствую с ее стороны ответный интерес. Свой же я продемонстрировал довольно явно. Однако ее глупость меня ужаснула — итак, я снова попался на тот же крючок — красивое тело. Но такое тело, как у нее, нельзя не заметить и нельзя забыть.

Гулял с Санчией всю вторую половину дня. Бледное лицо в обрамлении черных волос, губы — как алый бутон, забавно retroussé[482] нос. Лазурного цвета плащ с медными застежками.

Волшебная, фантастическая, инфантильная, мудрая, очаровательная, бесконечно очаровательная девушка. В ней недостает страстности, это правда (или так кажется), и еще есть нечто от школьницы — явный диссонанс. Но какая была бы жена! Между нами существует (или потенциально существует) необыкновенное понимание, подлинная гармония.

Весь день сильный ветер — абсурд для июня. Синее небо, белые башенки, зеленые ветви деревьев. Мы гуляли в лесу, пили вкусный чай в Л.-Г.

— Небо как драгоценный камень, — сказала она, — облака — как когти, а день такой чудесный, и все вокруг словно из олова.

Как точно прозвучало это определение, показавшееся вначале неуместным; странное очарование Англии летом. Милое, английское, чуточку банальное.

1 июля

Слегка очарован Санчией. В каком-то смысле это спровоцировано ею, что-то вроде возмездия за женский пол. Кажется, она считает меня опасным; я же скучаю, если не вижу ее. Брожу в состоянии крайнего возбуждения; пока ее нет, как-то сдерживаюсь, но при ее появлении все выплескивается наружу. Не сомневаюсь, что любовное чувство излучает особые микроволны. Она же, несомненно, принадлежит к той редкой породе людей, которые их улавливают. Мое чувство супружеского толка, такого я еще ни к кому не испытывал. Возможно, это связано с возрастом; видимо, пришло время вить гнездо. Но, думаю, здесь ситуация более сложная — ведь я ищу в женщине тайну. У Дж. ее не было, потому я так быстро ее и разлюбил. У Э. есть, но нет фантазии. Глядя на Санчию, понимаешь, что в ней живет вечная тайна. Желание жениться у меня прямо пропорционально вере в глубину тайны потенциальной невесты. Вот такая формула брака.

2 июля

— Любопытная безделушка, — сказала Санчия о себе: неверное определение ее необычности.

Она обвинила меня, что я отношусь к ней именно как к такой штучке. Думаю, тогда был шанс, которым я практически не воспользовался, сказать, как я к ней отношусь на самом деле. Я пригласил ее на прогулку, она согласилась; прохладный пасмурный вечер, пелена тумана скрадывала звезды. Мы шли по длинной заброшенной аллее и говорили, непрерывно говорили. Нежный, откровенный разговор о неуверенности в любви, намеки, двусмысленности, шутки, серьезность; мне страшно при мысли, что я могу ее потерять. Трудно предположить, что у Санчии ко мне нечто большее, чем простой интерес или симпатия. Вид у нее недотроги, девственницы — вся в броне. Можно было бы

предположить фригидность, физический недостаток, если бы ее голос иногда не теплел, а тело нежно не покачивалось. Думаю, тут скорее простая неопытность, хотя в ней никогда не восторжествует животное начало. В Санчии есть то очарование, которое с годами все больше привлекает меня. По ее словам, она горда, ей необходимо внутреннее убежище; у нее постоянно возникает настоятельная потребность замкнуться в себе. Я нашел это также очаровательным. Если бы только она могла меня полюбить, я выдержал бы свою роль и начал новую жизнь. Нелепость, но и в этом ее очарование; она — та, которую я уже не заслуживаю. Неразвращенный ум, невинность, нераспустившийся бутон. Как будто мне, обожествляющему любовь, потребовалось для моего культа нечто свежее и сияющее; инфантильное желание? Нечто непорочное.

Мы ни разу не прикоснулись друг к другу — даже кончиками пальцев. Сегодня она пройдет мимо в коридоре, будто мы почти не знакомы и совсем другие люди неспешно бродили по буковым аллеям, смотрели на Марс и сквозь ветви на юг — я показал ей созвездие Лебедя, направившего свои гигантские крылья на юго-запад. Санчия его не разглядела.

— Мне всюду видятся разные фигуры, — сказала она.

— Не надо себя обманывать, — запротестовал я. — Привыкай к определенным, принятым всеми созвездиям.

Неожиданно я увидел небо ее глазами — постоянно меняющийся калейдоскоп, бесконечно глубокий; великолепный хаос, каким он, по сути, и является; мое же зрение вычленяет из этого хаоса определенные фигуры — мужской и женский взгляды. Тут она полностью женщина.

5 шюля

Четыре дня с Э. Я был почти готов расстаться с ней. Впервые при встрече не почувствовал любви — только перспективу скуки. Э. слишком чувствительная — она не могла не заметить перемену. Но выглядела при этом такой одинокой, такой беспомощной, что я вновь остался с ней. В нашу любовь вошла жалость — думаю, это может отравить чувство. В воскресенье я написал письмо (в тот день она встречалась с Р. и А.), в котором писал, что хотел бы расстаться с ней, но письмо постепенно потонуло в сомнениях. Э. вернулась поздно, под градусом, ее попытка быть циничной выглядела жалкой; под конец она расплакалась, рыдала долго, сознавая свое одиночество. Впрочем, она уже догадалась, что кто-то заинтересовал меня в Эшридже, и этот кто-то Санчия.

Рой в упор задал ей вопрос о разводе и потом сообщил, что влюблен, — она манекенщица. Словом, все ее бросили, и потому

я не посмел в такой отчаянный для нее момент вручить свое письмо.

Письмо было не очень хорошим, оно сгодилось бы разве что в длинном романе, настолько сложными были побудительные мотивы. Покидая Э., я мог оправдаться, сославшись на общепринятые моральные критерии, но это отдавало бы невыносимым ханжеством. Основные причины просты — С. (оставаясь недосягаемой, она идеализируется) является не столько отвлекающим от Э. средством, сколько доказательством моего непостоянства; моего стремления к более формальным, более необычным отношениям, чем наша «тотальная» любовь с Э., — недостаточно того, что, встречаясь, мы ведем себя непосредственно, как животные, открываем друг другу и тело и душу. Помнится, у нас с Санчией был об этом разговор. Я сказал, что именно такими видятся мне отношения между двумя умными людьми. Но ей эта мысль не понравилась.

— Необходимо что-то скрывать, — сказала она.

Нужно смириться с тем, что у другого могут быть секреты. Именно этого нет в наших отношениях с Э. — такая искренность и открытость по-своему необычны. Однако это изматывает; жизнь без любви становится невозможной. Нет времени ни на что, кроме любовных отношений.

Я хочу писать. Но нет времени. Необходимо одиночество, целомудрие, чтобы запустить процесс любви к себе — чем, по сути, и является сочинительство. Хотелось бы год прожить без женщин.

Есть еще чувство вины, мы делим его с Э., вины перед Р. и А. Оно преследует нас, поджидает за каждым углом, в конце каждого дня, и это раздражает меня — так раздражает лишний вес при подъеме в горы или твидовый пиджак в жаркий день.

Все это так, и, однако, я достаточно сильно люблю Э. Никто не похож на нее, я не могу вообразить женщину более непредсказуемую, с более частой сменой настроения, женщину — во всем.

10 июля

Еще одна ночная прогулка с С. У нее совсем другое настроение, веселое, светлое, ребяческое, я же напряженный, усталый, подавленный. Было темно, шел мелкий дождь; тяжелые, низкие облака и темная стена деревьев. Мы гуляли и беседовали; иногда я прикасался к ней, чтобы поддержать или направить на твердую тропу. В темноте было множество возможностей ее поцеловать. Но Санчию, как ни одну другую женщину (если предположить, что по отношению к ней у меня то же отношение, что у охотника к жертве), нужно осторожно выслеживать, вести

тонкую игру. Ее легко спугнуть. Мне и правда хотелось ее спугнуть, чтобы узнать, как она себя поведет, но была и более благородная причина: обуздать болезнь, то есть вызвать у нее шок и тем самым положить конец отношениям. И все же я решил этого не делать — не только в интересах охоты: она мне доверяет.

Мы вернулись в Эшридж только в час ночи, двери уже заперли. Тут неожиданно подъехал автомобиль, при свете фар мы выглядели не лучше сбежавших заключенных. Я вжался в стену, но автомобиль остановился рядом, у парадной двери. Освещенный ярким светом, торопливо, испытывая чувство вины, я пошел прочь, пойманный на месте преступления, — вне себя от бешенства и страха. Я слышал, как они с хихиканьем говорили обо мне.

— Джон совершенно безнравственный человек, — сказала одна из них.

Сейчас это кажется забавным, но тогда ее слова меня ужаснули. Глупо, но в такие моменты нелепые и примитивные социальные табу могут вмиг лишить душевного равновесия и превратить жизнь в проклятие.

В течение нескольких секунд я держал ее руку — очень теплую.

У Санчии есть поэтическая фантазия — чего нет у Э.

12 июля

Еще одна безумная, невероятная прогулка с Санчией до часу ночи; на этот раз я не сомневался: она хочет, чтобы ее поддерживали — не целовали, для этого она слишком робкая, слишком целомудренная. Влюбленная школьница — хотя удивительно зрелая во многом другом.

В ее обществе я грущу — об Э., о себе, меньше всего — о самой Санчии. Чувствую себя в каком-то смысле освободившимся от Э., просветленным, вновь обретшим себя. В той любви было много напряжения — с ней трудно жить. Я по-прежнему деликатен и нежен с Э., но это постепенный отход, убывание, медленное исчезновение. Сейчас меня привлекает мысль о двух годах уединения — или хотя бы одном годе, во время которого Санчия, как далекая Беатриче, согревала бы душу, не давая ощущать себя в пустыне. У нас девять лет разницы — слишком много для полноценного супружества.

Прошлой ночью я держал ее руку в своей, на прощание поцеловал в голову и потрепал волосы. Я отношусь к ней совсем не так, как к Э. или Дж., — более консервативно, что ли. Э. мне ровня, она стремится к главенству, — слишком близкая, слишком похожая, чтобы жизнь с ней была возможна. Нельзя прожить всю жизнь в напряжении. С. далекая, юная, совсем не ровня: ведь она

не увлечена идеями. Мы с Э. из разных классов, и у нас нет желания уступать друг другу: наши стычки происходят из-за того, что нет точек соприкосновения, общей системы ценностей.

Что касается Салли, то о ней мне и вспоминать не хочется.

14 июля

Ночь с Э. Я забываю, какой она удивительный, прекрасный человек. У нас была великолепная близость — не требовалось изображать страсть. Я понимаю, что многих радостей Санчия не сможет мне дать. У нее никогда не будет того, что есть у Э., — умелого, страстного тела. В физической любви должен присутствовать такой животный элемент, как отсутствие чувства юмора, — у Санчии же слишком богатая фантазия, в ней есть волшебство, причудливость. Мне часто приходило в голову, что от одного ее присутствия получаешь особое наслаждение. Она все хватает на лету и к тому же очень правдивая, как Э. Им обеим отвратительна ложь — может, потому я им и нравлюсь.

Мы с Э. предчувствуем конец нашего романа — печального и отчаянного; все чаще зловещие минуты молчания. Безнадежность.

Однако существует печать красоты; Э. ни с кем не сравнима — великолепная современная красавица с потрясающей фигурой; гордое, выразительное лицо. Но возраст…

16 июля

Назад из Лондона и от Э. Наконец заговорили о необходимости расстаться, и теперь все снова в подвешенном состоянии. Я потерял ее в кинотеатре, и весь путь домой мы дулись друг на друга; потом занялись любовью — тепло, хорошо. И тут я заговорил о расставании; проговорили всю ночь. Ни к чему не пришли — она цепляется за прошлое, я держусь сухо, холодно, отстраненно — печален в классической традиции и сдержан. Однако по дороге в Эшридж начинаю оттаивать, смягчаться; когда я уходил, она стояла посреди комнаты и рыдала. Невыносима сама мысль, что я не увижу ее больше; чувство утраты, момент истины. В Эшридже во время обеда мельком видел Санчию, испытал волнение. Но она уехала на уик-энд. Написал письмо Э., рассказал ей о Санчии и о прочих сложностях. Весь — как натянутая струна: из-за того, что Санчии не будет до воскресенья; из-за того, что Э. так красива и очаровательна — той ночью она даже обрела величие, и я люблю ее; из-за того, что через две недели Санчия покинет Англию; из-за того, что я почти отверг Э. Меня тошнит от женщин, секса, моей религиозной концепции любви… как же я устал.

На днях опять гулял с Санчией при ярком свете луны и чистом небе. Было прохладно, выпала обильная роса. Но что-то утратилось — мы шли на изрядном расстоянии друг от друга,

говорили о пустяках; лишь невзначай я касался ее. Неделю назад я с легкостью мог бы сказать: «Люблю тебя», — теперь это казалось невозможным. Мы сидели на песчаной отмели, к нам подошел барсук (что довольно странно), покрутился у наших ног и внезапно неуклюже заковылял прочь. Хочу поцеловать ее — она такая замороженная, не вызывает плотских желаний, привлекает только загадочностью.

Санчия меня немного пугает; когда девушки заметили, как она вечером выходит украдкой из дома, и спросили, куда это она, то получили ответ: «Погулять с Джоном». Никакого притворства.

Дж. Кросс сказал, что она прошлым вечером проболтала с ним до 12.15; услышав это, я заревновал. Потом успокоился — возможно, она ждала меня.

24 июля

Горькая радость от дней, проведенных с С. Наши прогулки все более натянутые и неловкие; и дело не только в подавлении желания; Санчию дразнят подруги. Два вечера подряд она говорила, что не пойдет больше гулять: слишком много сложностей. Один раз я поцеловал ее в губы. А следующую ночь провел с Э. и страстно любил ее. Какая она высокая, нежная, опытная — как отполированный морем камень. Два места, две женщины — два разных мира. Когда я вернулся, Санчия дала мне стихотворение, незрелое, с ошибками, но удивительно личное. Серьезное, неоднозначное стихотворение.

На днях Э. написала замечательное письмо о дисциплине — о способности любить сразу двоих и необходимости себя контролировать. Но мои чувства к обеим такие нелепые, бессвязные — и непреоборимые. Впрочем, я стал настолько бесчестным, что даже мое «сверх-я» утопает в грязи. Гедонист, распутник.

25 июля

Всю ночь проговорили с Санчией — до четырех утра. Беспристрастно обсуждали наши отношения, сидя в креслах у противоположных стен комнаты; в пустом, гулком помещении слова слышались нечетко, создавая фантастический, галлюцинаторный эффект. Она говорила о верности; в Африке есть юноша, они неофициально помолвлены. Я же говорил о любви к ней — то легкомысленно, то серьезно. Сейчас я ею просто одержим. Она очаровательна — в самом широком смысле слова; в ней шарм не только от жизни у океана. Не могу потерять ее, дать уйти из моей жизни. Возможно, именно это неизбежное и наверняка окончательное расставание придает ей в моих глазах абсолютную значимость; в течение последних дней я в ней растворился. Это один из путей постичь самую суть человеческих

отношений; с Дж. и С. было иначе: они любили меня больше, чем я их, и наши расставания мне удалось принять в какой-то степени весело и с облегчением, а вот Санчия, как и Моник, проникла слишком глубоко в душу. В обеих я прозреваю те миры, которых мне никогда не достичь; они любят меня меньше, чем я их.

Есть еще Э. — проснувшись утром, ничего не хочу так сильно, как позвонить ей. Немедленно позвонить, чтобы просто услышать ее голос — из области реальности, а не мечты, идеализации, классического мифотворчества. Любовь на равных.

Будущее темно, множество нерешенных проблем; переписка с Санчией — увижу ли ее в Лондоне; нет работы; ничего не пишу; денег тоже нет; есть только ощущение бытия.

Начало романа: «Сегодня я покончил с собой».

26 июля

Продолжаю вести беседы с Санчией; ее лицо — постоянно меняющийся калейдоскоп, разные женщины, разные выражения. Если судить по лицу, тогда большинство людей живут в мертвом штиле; Санчия же — при легком, игривом, слегка печальном, постоянном бризе. Дитя апреля.

Санчия делится со мной семейной историей, своими страхами, чувствами; между нами огромная платоническая любовь. Вчера она сказала о молодом человеке из Йоханнесбурга:

— Я должна вернуться к нему, но мои мысли заняты другим.

27 июля

Наконец жертвы; полночи мы просидели на диване в одном из холлов, тесно прижавшись друг к другу. Под конец я ее поцеловал, и она расплакалась; потом засмеялась и сказала, что я второй человек, с которым она поцеловалась. Во всем этом есть что-то от кошмара; ночь, бессонница, сонливость, близость разлуки. Она как-то сразу стала маленькой и беспомощной, такой маленькой, что я почувствовал себя чуть ли не старцем и во мне взыграли отеческие чувства; хлынула нежность, напряжение упало.

И никакого чувства вины: сплошная невинность.

Сегодня на ней пурпурное платье; подсмеивается надо мной, играет; говорит о посторонних вещах; бросает противоречивые замечания в своей обычной манере. Она ставит пьесу, она здесь важная персона.

Набросал еще одно письмо к Э. и на этот раз должен его отправить.

Я мечтаю вот о чем: о разрыве с Э., растущем чувстве между С. и мною и последующем браке. Она едет в Данию, потом домой — в Южную Африку. Заработаю где-нибудь деньги, поеду к ней и женюсь.

Никогда не хотел так сильно на ком-нибудь жениться.

28 июля

Fin de jeu[483]. Дом — как мебельный склад, морг или закрытый музей; в тишине гулкое эхо голосов. Это недостаток больших строений — в них нужно все время жить, и чтобы жильцы были постоянные. Они должны быть хорошо знакомы между собой, знать прошлое и будущее друг друга — не вечно сменяющиеся постояльцы; почва для выращивания цветов, а не гонимый ветром песок. В таких домах всегда осень, в школе, в гостинице — падающие листья, октябрьская дорога.

И Санчия; последние дни были очень нервные — постановка пьесы, бессонница, мое чувство вины, ее чувство вины, наша любовь, тайные встречи. Прошлым вечером мы вновь ускользнули после пьесы, которая никуда не годилась, если не считать коротких выходов Санчии в платье цвета морской волны с украшением из ярко-синего жадеита, — это гармонично сочеталось с ее черными волосами, бледным лицом и алыми губами. Элегантная, непредсказуемая, ускользающая.

Позже я заметил ее, когда она спустилась к буковой аллее и стала раскачиваться на повисшей ветке. Вскоре я уже вновь ее целовал, и мы вернулись вместе — грустные, веселые, усталые, целующиеся. Небольшие, но теплые губы. На бадминтонном корте она села ко мне на колени и стала страстно целовать — я понимал, что внутри у нее все горит; такая маленькая, такая беззащитная. Потом неожиданно встала и ушла. Сегодня утром она вошла в нашу гостиную и немного посидела рядом со мной. Холодная, отчужденная, бледная; никаких обязательств. Но я верю: любовь — это единение; то, что чувствует один из влюбленных, непременно передастся другому. Она глубоко прячет свои чувства, впрочем, это лучше: расхристанной любви с меня хватит.

Теперь я ее люблю. Будущее в тумане; шансы на совместную жизнь минимальные. Но этот маленький далекий огонек мне дороже, чем пылающий костер Э. Бедняжка Э.; она снова в распаде, или, точнее, жизнь распадается вокруг нее. Сдала квартиру, прежде чем нашла новую; вновь проблемы с Анной. Р. собирается отправить дочь к своей сестре, а Э. хочет сама заботиться о ней. Бессвязные звонки мне; близится великое расставание. Это нависает в воздухе как гроза; я жажду дождя, одиночества, чтобы наконец созреть.

Сегодня С. положила на мой стол розу. Я увидел цветок только после ее отъезда. Бутон разделен пополам, словно его разрезали ножницами. Лежит на листе бумаги, на котором нацарапано «Джон». Как это похоже на нее — неясно, загадочно,

восхитительно.

Разрушил цветок? Таково ее чувство юмора.

Два долгих разговора с Э. по телефону. Я должен увидеть ее еще раз — и на этом поставить точку. Написал также длинное письмо Санчии. Двуличность, но письмо к Санчии было искренним, а звонки — из чувства долга. Не могу сказать, что я не испытываю сложного чувства из любви и муки при мысли о разрыве с Э. Но мои чувства к С. гораздо глубже; может быть, потому, что они честнее, — наши отношения с Э. не могли, в силу обстоятельств, не быть бесчестными. А может, они глубже, потому что я сам этого хочу? Насколько любовь эгоистична? Я имею в виду не внешние воздействия, а пустоту внутри, требующую, чтобы ее заполнили, страстное желание еще большего взаимопроникновения. Женское начало; мужчина во мне любит Э., а законченный бисексуал (психологический) любит С.

Как много записей в дневнике за прошедший год посвящено женщинам и моим отношениям с ними; слишком долгий путь в пустыне и слишком роскошный оазис.

Для будущего историка картина времени, напротив, очень скудна; здесь ничего не сказано о том, что волновало тогда человечество, — о водородной бомбе, Индокитайском конфликте, египетском и т. д.[484]. Да и мои проблемы, за исключением любовных, не нашли отражения на его страницах. Злоупотребление экзистенциализмом.

2 августа

Нелепая человеческая ситуация; я езжу к Э. по разным незначительным поводам — мои чувства теперь вполне банальные; близкое знакомство порождает банальность — это так легко, приятно. Быть нежным, есть, пить вино, заниматься любовью, болтать.

Но в подсознании всегда С. Вернувшись в Эшридж, нахожу письмо от нее — эксцентричное, юное, с орфографическими ошибками, «бессвязное» письмо. Но оно глубоко засело во мне. И я провел весь уик-энд в ожидании, надеясь получить еще одно в понедельник. Но письмо не пришло, и я весь день был несчастен — в той же мере, в какой вчера был счастлив, предвкушая его. Испытываю непреодолимое желание позвонить, пойти к ней — что угодно, только бы ее увидеть. Охвачен лихорадочным возбуждением; не могу с ним справиться, разве что немного ослабить. Написал уже четыре письма в ответ на ее одно. Глупо, но начало всех трудных предприятий кажется глупым.

Измучен ею.

Слишком много терзаний даже при наличии вины. *Федра.*

Вчера читал лекцию по экзистенциализму; меня засыпали

похвалами. Только адмирал хранил ледяное молчание. Люди так пылко все воспринимают, они истосковались по философии — и потому, когда говорят о душе, о нравственности, о жизни, они счастливы. Я довольно упрощенно представил предмет, но по крайней мере некоторые из них хоть на какое-то время задумались.

9 августа

Ситуация проясняется; возможно, я был прав, что тянул время, не принимал никаких поспешных решений. В пятницу, пообедав с Э., отправился в зоопарк на встречу с Санчией. В целом все прошло неудачно; несоответствия — в каждом проступило худшее. Зоопарк переполнен, погода сырая, нервы напряжены, Ей хотелось весело провести наш последний вечер; я должен был повести ее в какое-нибудь «злачное местечко», развлечь. Но я взбунтовался; мне не хотелось ничего — только говорить с ней. И еще я боялся встретить Э. Мы посидели в маленьком кафе неподалеку от Пиккадилли, немного выпили; была гроза, дождь лил как из ведра, сверкала молния. Она вся в голубом — голубой плащ со смешным капюшоном. Что в ней такого? Нет грациозной животной красоты Э. Нет красивой внешности; если всмотреться в лицо Санчии, красавицей ее не назовешь. И все же такое лицо не забыть — я не видел ни одной женщины, даже отдаленно похожей на нее.

В конце концов мы пошли в кино, через какое-то время я взял ее руку — горячую и сразу же отозвавшуюся на пожатие. Удивительно, как ей удается почти все время быть такой отчужденной, ведь потом жар выплескивается из нее, как пар из прохудившейся трубы. Кофе и сандвичи в кафе, прогулка — рука в руке — вокруг Лейсестер-сквер. Я спросил:

— Мы еще встретимся?

— Нет, не думаю, — ответила она.

Тут я почувствовал печаль и облегчение. Последний раз я видел ее в метро, в уходящем поезде, — он растворился в темноте, будто покинув время: бледное лицо, темные волосы, голубые блики — все предано забвению.

Домой в Ли. Я приехал туда в два часа ночи; изнуренное небо приняло форму арки; звезды поблекли; кроншнеп объедался рыбешками на обнаженном при отливе дне. Холодный воздух, ни огонька, город словно вымер. Мне было невыразимо грустно.

Что-то вроде обнаженного нерва, который задевают некоторые женщины, — сильная впечатлительность? — но мне кажется, это заполняет светом жизнь. Санчия, недостижимая; звенья, что связывают меня с Югом, Э.; земная кутерьма. Время идет, юность канула в прошлое, заламывая руки из водоворота.

Великая, печальная, болезненная картина жизни, горе, рыдание; все здесь есть, романтизация невозможного. Подходящий символ; прокол гноящегося нарыва из воображаемого, но невозможного.

Все то же самое — в Эксе, и еще с Моник, — но в этот раз любовь предполагала конечную цель. Будь у меня деньги, я бы на С. женился, попробовал. На самом деле во время грозы я почти сделал ей предложение.

Э. Виделся с ней на следующий день, провели его в Хэмпстеде, и следующий день тоже. Все тот же надоевший ритуал — кино и кафешка, со всеми вытекающими удовольствиями, естественно. Абсолютная свобода в общении, никаких физических запретов, мы с ней как двойники. Ее тело остается для меня бесконечно привлекательным. Но в обществе она не производит впечатления умной, элегантной, изысканной. Слегка усталая, невеселая. Богемный вид; уличный мальчишка. Обаяние сорванца, отчего иногда становится неловко. Теперь понятно, почему Р. хотел сделать из нее «матрону» — дело не только в его викторианстве. Мне тоже хочется как-то привести ее в порядок; замедленный ритм ее существования высасывает из тебя энергию. Временами ее лицо выглядит старым, испитым; в нем, при всей его красоте, нет того, что есть у С. Ее серьезность, отчужденность, искренние глаза, непредсказуемость взгляда пленили меня. В Э. — многословие, налет вульгарности; в Санчии — сдержанность, осторожный выбор. Возможно, это всего лишь разница между обычной начальной школой и привилегированной школой для девочек «Роудин» — хорошим образованием и отсутствием оного. Э. называет меня снобом. Но существует нечто в произношении, в осанке, в привычках — умеренность, такт, которые у Э. заменяются неразберихой и раздражением.

Но Э. обладает мужеством. И продолжает меня любить, хотя я не то что любви, но и уважения не заслуживаю; с полным основанием называет себя «преданной любовницей».

Смешно, что я вдруг превратился в соблазнителя; никогда не считал себя красивым или даже привлекательным. По мнению Э., главную роль играет витальность, сильный характер. Я вижу, что во мне больше понятливости и во много раз больше чувствительности по отношению к женщинам, чем у большинства англичан, — но «сильный характер»? Я ищу истину, но не живу по ней. Самым отвратительным образом обманывал обеих — и С. и Э. Обманываю родителей. Слишком ленив (или слишком увлечен поражениями, опытом, приходящим с ними?), чтобы думать о будущем. И все же, несмотря на это, чувствую медленный рост, возмужание — всегда за работой; хвастаться пока нечем.

Чтобы считаться настоящим англичанином в лучшем смысле

этого слова, надо быть объективным, неэмоциональным, разумным, уравновешенным и физически здоровым. У меня есть немного из двух качеств — средиземноморская основа и оксфордский интеллект; это кое-что объясняет.

Сегодня написал письмо С. — как я люблю ее, несколько униженно. Никогда прежде не объяснялся первый в любви; кажется, Санчия — первая женщина, которую скорее соблазнил я, чем она меня. Вечно влюбленный, никогда не останавливающийся.

12 августа

От С. писем нет, я понемногу остываю и успокаиваюсь. Оказавшись вчера в Лондоне, я нисколько не трепетал — напротив, боялся случайно с ней встретиться. А прежняя острая боль при мысли о разлуке, расставании уже успела удивительным образом притупиться.

13 *августа*

Никогда не мог читать Вирджинию Вулф — в ее письме есть некоторая манерность, женственность, небольшой вроде недостаток, но не для меня. Однако недавно, на следующий день после прощания с Санчией, чувствуя себя совершенно разбитым и духовно опустошенным, я взял в руки «Миссис Дэллоуэй» и неожиданно зачитался.

Чтобы оценить школу «потока сознания», нужно быть обессиленным, изможденным, открытым. Не знаю, можно ли ввести себя сознательно в это состояние или оно всегда возникает случайно — под действием внешних обстоятельств.

Саутенд — там раньше я всегда чувствовал раздражение. Прохладный ручеек — не заросшая живописная заводь, пруд с лилиями.

И миссис Дэллоуэй, живо напомнившая С. А я — Питер Уолш[485].

31 августа

Ясный день, на синем небе ни облачка. Впервые за все лето такой роскошный день. Провел десять дней с Э. Сейчас она живет в маленьком коттедже в глубине большого сада при доме на Фицджонс-авеню. Обычная для нас жизнь — периоды отчаяния чередуются с периодами счастья, любви, периодами ненависти и сожаления.

Встреча закончилась на счастливой ноте. В субботу нужно было последний раз ехать в Эшридж. Э. проводила меня на автобусе до Уотфорда, расстались мы с глубоким, теплым чувством друг к другу. И вдруг через три дня письмо. У нее была неприятная история с неким мужчиной, которого она пригласила на кофе. Я был в ярости. Все из-за ее кокетливого поведения.

Однажды вечером я попросил ее идти впереди меня по улице, и за одну минуту с ней заговорили не менее трех мужчин. В ней чувствуется что-то распутное, угадывается половая неразборчивость. Она коротко подстриглась, снова стала такой же привлекательной, как раньше; я горжусь ее успехами у мужчин, но глупость меня раздражает. Одновременно ее в очередной раз уволили с работы. Вот уж социальная неудачница; нет никакой надежды, что она когда-нибудь обретет постоянную работу. Я каждый раз прихожу в отчаяние; у нее просто nostalgie de la boue[486], она рвется к ней, словно ее притягивает магнитом. Санчия почти забыта, она уходит в прошлое. Только здесь, в Эшридже, периодически накатывают приступы тоски, болезненные спазмы.

Безграничная женственность Э. — никакого самообладания. Из-за этого с ней трудно жить сейчас и страшно принимать на себя обязательства, касающиеся будущей жизни.

4 сентября

Скандалы с Э. Звонки со швырянием трубки; все идет к черту. Ущербная личность, противоречивая, надрывная. Сейчас она бесится из-за того, что Рой не позволяет ей видеть Анну, и еще страшно ревнует его к другой женщине, с которой у него роман. Я стараюсь вернуть ей душевное равновесие, но она обречена вечно переживать трагедии, испытывать страдания. В ней есть нечто от греческих героинь; Федра, троянка; ужасные и влекущие черты. Не знаю, что все это означает; у других женщин я называю такое неврозом, отсутствием самообладания и с негодованием отвергаю, но у Э. это грандиозно.

Славная погода; тихие дни, голубое небо. Кричат грачи, воркуют голуби, будто пришла весна; охваченный дремотой сентябрь; в полнолуние после осеннего равноденствия — туман по вечерам. Через два дня не без сожаления покидаю Эшридж — прелестное сердце Англии. Зеленое и благодатное. Здесь нет даже подобия какой-то опасности; плодородное, богатое, зрелое, культурное, хорошо знакомое и мирное место, но главное очень красивое. Не такое, как Греция, которая ежедневно дарит свою лучезарную красоту, но раз или два за сезон оно прекрасно — свойство истинно женской красоты. С Грецией возможен любовный роман, но женой может быть только Англия.

Вновь лишаю себя комфорта; не знаю, сколько еще буду так поступать. Только сумасшедший мог отказаться от такой работы[487]. Столько удобств, все вокруг утопает в зелени. Можно мирно жить, возделывать свой сад. Но я всегда спешу подняться на следующую ступеньку своей особой лестницы.

5 сентября

Как все относительно! Перечитал то, что писал в июле, — кажется, это принадлежит перу незнакомца. Тогда я мечтал жениться на С., теперь смешно даже думать об этом. Нелепо считать, что наши эмоции и желания плавно развиваются; похоже, многие не способны уразуметь, какие они иногда совершают скачки. Думаю, тут дело в неспособности к анализу; такие люди не могут отличить истинную реальность от внешнего правдоподобия. Желание сродни гниющему яблоку — кожура гниет последней. Порча идет с сердцевины, распространяясь наружу. Думаю, мою независимость питает сознание непостоянства желаний и чувств и еще свойственный мне цинизм; и вот эти мои качества некоторые по доброте душевной называют цельностью или зрелостью характера. Потому что в тот момент, когда у меня рождаются желания, я претворяю их в жизнь с большим успехом, чем люди, которые не видят изменчивую, непостоянную природу желаний; я люблю более пылко. И не делаю вид, что они будут долго продолжаться.

Это означает, что жаждать их продолжения — экзистенциалистское несогласие с природой, хаос — вдвойне тяжело.

Здесь таится природа наших острых конфликтов с Э. — ритмическое чередование притяжения и отталкивания. Когда начинается период отталкивания, не надо восставать против такого порядка вещей — надо просто ждать, когда маятник качнется в обратную сторону. Сомнений нет — время глубокой любви вернется. А это такая уверенность (как в писании стихов), которая перенесет даже засуху в чувствах.

14 сентября

Мучительные, полные страданий дни, похожие то ли на роды, то ли на предсмертную агонию. Э. только что ушла на встречу с Р., в Бейсуотер; я остался дома, в коттедже, понимая, что никогда еще не был так близок к тому, чтобы потерять ее навсегда. Я покинул Эшридж, скуля как щенок, и поселился здесь. Думаю, я так привязался к Э., что возможность ее ухода не представлялась мне вероятной. Но возможность превратилась в реальность, и мой роман с С. сыграл здесь не последнюю роль. А также ее желание искупить грех; чувство утраты, связанное с Анной; и еще то, что Рой хорошо устроился, имеет деньги, а она слишком долго живет на грани нищеты. Все ускорил роман Р. с другой женщиной; во мне она не уверена, а видеть, как Р. и дочь тоже от нее отдаляются, выше ее сил.

Я не совсем понимал, что происходит, и потому сначала отнесся к ситуации легкомысленно. До того вечера, когда она ушла повидаться с Р. и вернулась в слезах, сказав, что обещала

вернуться к нему. Это было в четверг. Всю ночь и весь следующий день она лила слезы, бесконечные слезы; взрыв мучительных угрызений совести. Э. будто сошла с ума и не понимала, что произошло.

Неожиданно я почувствовал, что мир рушится, и сделал все, чтобы задержать ее хотя бы на уик-энд. В пятницу она позвонила Рою; выяснилось — ему надо ехать на уик-энд в Абингдон, и потому сошлись на том, что это время каждый проведет сам по себе. Мы спорили весь уик-энд; казалось, я веду борьбу за ее душу, однако проигрываю: слишком неравны силы. Всякий раз, когда я представлял, что живу без нее, хожу один в кино, просто гуляю или обедаю, мне становилось так плохо и страшно, что я хватался за первый пришедший на ум аргумент, чтобы убедить ее остаться. Только сейчас я понял всю силу моей любви к ней. Несмотря на все ее недостатки — или благодаря им, — я люблю ее, как никогда никого не любил раньше. Сомнения есть: существует другая извечная повелительница — свобода, для работы необходимо время; финансовая ситуация неблагополучная — мне одному едва хватит денег, чтобы продержаться до новой работы, не говоря уже о ней; не проходит чувство вины, одолевают сомнения — вряд ли что-то может компенсировать ей утрату Анны или даже Роя; присутствует смутная, инфантильная тревога, что Э. не идеал, не воплощение образа жены; сомневаюсь я и в своей (больше, чем в ее) способности хранить верность; возникает даже чувство, что, если она вернется к Р., ситуация прояснится — и не только на определенный момент, — это может подготовить почву для подлинного возвращения; есть ощущение, что истинное противостояние — религиозного свойства (между мной и Роем) и потому ложное. Все это есть, но есть и страстная физическая любовь; страх перед одиночеством, потребность в друге; знание, что все убеждения, потребности, причуды Э. очень похожи на мои — в нас есть нечто от брата и сестры; все эти личные, эгоистические пристрастия не дают мне, конечно, права удерживать ее при себе.

(Прошел час, как Э. ушла, сейчас она должна быть с ним. При мысли, что прошел час, я чувствую облегчение. Она теперь придет скорее, если вообще придет, — все «если», «если». Жуткий страх, что она не вернется.)

Сомнения. Они не могли не возникнуть, но теперь я уверен, что хочу связать свою жизнь с Э. Написал Рою письмо, в котором сообщил, что готов жениться на Э., так что ему нечего беспокоиться по этому поводу. Ей самой тоже сделал предложение — не один раз.

Что всего важнее, мы сроднились друг с другом. Оба

понимаем удивительную живучесть нашей любви, она помогала ей ждать меня (по иронии судьбы, я пришел к ней слишком поздно — и не куда-нибудь, а в Хэмпстед), преодолевать неимоверные трудности; в моменты расставания мы оба испытываем невыносимую тоску; в наших душах раскрылись глубины; в повседневных отношениях царит полная гармония. Наша любовь подобна любви Тристана и Изольды — чистая, но обреченная[488]. Не думаю, что мы могли бы перестать любить друг друга. На каких-то поверхностных уровнях мы можем забыть, предать, но нам никогда не остановить соединяющий нас глубокий, мощный поток. А если попытаемся сделать это сейчас, когда он достиг своего пика, то навлечем на себя несчастье. Такое пламя не загасить, его можно только притушить, однако при первой возможности оно вспыхнет с новой силой.

Р. имеет над Э. власть, и это приводит меня в недоумение. Она постоянно говорит о его уродстве, эгоизме, жестокости, но, похоже, находится под его гипнотическим воздействием. Сегодня вечером, перед самым уходом, она сказала:

— Рой — мое проклятие. Он унижает меня, а я позволяю ему это делать. Могу лежать всю ночь, чувствуя к нему ненависть, но это ничего не значит. Я только разрушаю себя.

Я сказал, что некоторые его идеи лживы и она верит в них только потому, что Рой ее убедил; с этим она согласилась, но ее глаза говорили обратное. Да, она действительно в его власти, и я боюсь, что в конце концов он ее погубит.

Можно на это взглянуть иначе; два англичанина-интеллектуала, будущие писатели, живут на острове. Один уводит у другого жену. В течение года парочка живет вместе, относительно вместе, потом расстается. Как будто случай из истории литературы; газетный репортаж. Нет, такое может случиться только с другими. С нами — никогда.

17 сентября

Наконец принято решение, ситуация понятна; они с Роем несовместимы, и никакое морализаторство по поводу брака и сожаления о судьбе Анны не приведут ни к чему хорошему. Оба находятся во власти идей, заслоняющих факты. Э. только недавно смогла смириться с тем, что Анна прекрасно себя чувствует без нее; поэтому ощущение своей «вины» связано с нежеланием потерять дочь, что естественно, но не является веским основанием для примирения с Роем.

Дожидаясь Э., я достиг такого состояния нервного возбуждения, испытал такой страх, что мне открылась истина: жить с ней трудно, но потерять невозможно. К тому времени, когда она на последнем поезде метро вернулась из Бейсуотера, я

решил, что худшее уже произошло. Какое облегчение испытал я, увидев ее, какое чувство освобождения!

Потом, конечно, нахлынуло волнение, связанное с финансами, но оно никак не касалось наших отношений, нашей любви. Э. не вписывается ни в какие социальные институты, но в этом ее особый шарм — вне общественных связей. У нее отсутствует чувство времени, но оно отсутствует и у меня, когда я могу себе это позволить. Она непостоянна, как апрель, но единообразие надоедает. Все недостатки компенсируются, а я не похож на педанта Панглосса. Теперь наша жизнь должна как-то соотноситься с обществом. Это трудная задача. Но я верю — и сильно верю — в свою способность убеждать; думаю, мне удастся сделать из нее не совсем то, чего бы хотелось, но все же как-то приспособить ее к моему характеру. Натура Э. нуждается в серьезных перестройках; моя, естественно, тоже.

Надо сделать экзистенциалистский выбор. Сделать и бороться за него. И самое главное — сосредоточиться и собрать силы: писать, укрощать плоть и тренировать ум. Надо найти себя и затем продумать, как нужным образом предложить себя обществу, как лучше войти в него. Пока еще я на это не осмеливался.

22 сентября

Мы нищие, а нищим быть нельзя, когда на пороге маячит зима. У меня же комплекс стрекозы: праздной, легкомысленной, любящей веселье, не думающей о времени; стрекозы, пребывающей на ниве искусства; и что хуже всего — стрекозы с мозгами, которая понимает, к чему это ведет. Нормальное состояние для меня и Э. — мираж, он всегда остается недостижимым. Мне приходится вести почти подпольное существование в квартирке для одного человека; мы боимся, как бы не узнали, что на самом деле здесь живут двое. Если, узнав об обмане, нас выбросят на улицу, это будет конец. Э. трудно найти работу — частично из-за ее чувствительности, частично из-за отсутствия напористости; мы странным образом поглощаем энергию друг у друга, ее не хватает на внешний мир. Сейчас у меня огромное желание писать, но Э. настолько выбита из колеи, что устраниться нельзя. На днях у нас как раз из-за этого была страшная ссора; по словам Э., я был весь день «поглощен собой», и это чистая правда. Она же почувствовала, что ей отведена роль кухарки и шлюхи. Наша давняя ошибка — мы живем в слишком тесном контакте, но ей нужен мужчина, нужен гораздо больше, чем большинству женщин, она знает об этой своей зависимости и тяготится ею.

Еще она не в ладах со временем; постоянно поглядывает на

часы, будто ненавидит их. К сожалению, ее манера передается мне, ведь это выглядит вполне разумно и цивилизованно. Э. говорит, что происходит это «от желания поторопить время, чтобы острее насладиться настоящим». Что ж, прекрасно, но только не в нашем положении.

25 сентября

Еду домой с целью занять денег. Однако так и не смог этого сделать. Нас сейчас разделяет пропасть: ведь я не рассказываю им об Э. — впрочем, они, кажется, сами догадываются. Не знаю, будет ли честно сказать, что только ради них я проявляю такую щепетильность — не хочу, чтобы они волновались или придумывали несуществующие мотивы или эмоции. А может, дело в другом и я просто не хочу признаться, что сошел с их прямой и узкой тропы, не хочу, чтобы меня осыпали советами и упреками. Гордость. И еще одна трудность — как им преподнести все это: ведь они не знакомы с тонкостями современной морали.

Отец предлагал мне чек, предполагая, что я нуждаюсь в деньгах, но я отказался, о чем потом сказал Э. Она назвала это извращенной формой гордости. Отчасти так оно и есть. Но, кроме того, я знаю их повышенную тревожность, не говоря уж о том, что они сделали для меня в прошлом, за что я никогда не расплачусь, не став тем, кем они хотели меня видеть.

По возвращении в Хэмпстед разразился еще один скандал. В мое отсутствие Э. прочитала оставленные мною рукописи; многое из них я на днях ей читал, но она обвинила меня в том, что они «отредактированы». Кое-что я действительно переделал, но отнюдь не так много, как утверждала Э. И сразу опять враждебность, отчаяние, цинизм, сарказм, критика; она разочарована, иллюзии утрачены, любовь «ушла». Я был зол на себя, что не убрал рукописи подальше, — не стоит дразнить гусей. Однако верил, что смогу своей любовью победить ее заблуждения и колебания; не сомневался, что ее слова далеки от того, что она чувствует на самом деле. Надо устроить некоторую передышку в личных отношениях; оставить пока все как есть, это необходимо.

27 сентября

Сегодня Лондон весь голубой, сплошное голубое великолепие; река несет свои чистые воды, постоянно меняясь, очищаясь; дома тянутся вдоль реки, словно прибитый к берегу груз; их вид волнует, в них таятся непредсказуемые возможности, как на берегу после шторма; здоровый город, хотя на берег выбрасывается множество непригодных вещей; прекрасный древний процветающий Лондон, морская соль, соленая сущность — не дубовая; копоть, чайки. Последний день свободы, свободы

от долга; завтра — новая работа. Я встретился с Э. в Чаринг-Кросс — к счастью, светило солнце; она только что устроилась на работу. На ней скромное черное платье и клетчатый черно-белый пиджак. Мы сели на пароходик, курсирующий между Вестминстером и Гринвичем. С реки виден весь Лондон — словно разрезанное пополам яблоко; незнакомая волшебная страна, будто неожиданно оказался на Амазонке; обидно, что раньше я этого не делал.

13 октября

Жизнь в Хэмпстеде. Колледж, готовящий секретарей, — не внушающее доверия, заурядное учебное заведение. Два или три викторианских здания; претензий никаких; студентки — 16—18-летние девушки, интеллектуальное развитие которых не позволяет претендовать на карьеру выше секретарской. Преподаватели в основном женщины, словоохотливые, робкие неудачницы. Атмосфера крайне не академическая; комната для преподавателей мало похожа на «профессорскую», ее здесь называют «учительской». Атмосфера заводская или конторская, преподавание строго практическое. Директор — бледный полноватый молодой человек, член городского совета, входит в ассоциацию консерваторов[489]. Фактическая власть в руках секретаря — неряшливой властной женщины, которой легко манипулировать. Я преподаю на младших курсах, где учатся девушки-иностранки — темпераментные гречанки, шумные, живые француженки, молчаливые, отчужденные исландки, девушки других национальностей, кроме англичанок. Работу я ненавижу, mais il faut vivre[490].

Э. устроилась на работу в «Гэмидж», продает там маленьких свинцовых рыцарей Круглого стола. «МГМ-фильм» задает главные темы рождественских игрушек. Много часов — мало денег.

Живем одним днем, самая крупная временная единица — неделя, дальше не загадываем. Пятница — кульминационная точка, день получки; живем от жалованья до жалованья. Есть некоторые не терпящие отлагательства покупки — пальто для Э., новый пиджак для меня; такие траты делаются по мере возможности.

Еще одна сложность: наша квартирка на одного человека, и мне приходится вести почти подпольную жизнь, скрываясь от правосудия. Когда Э. отсутствует, приходится делать вид, что и меня здесь нет; я не выхожу на улицу, держусь подальше от окна. Собачья жизнь.

И все же в Хэмпстеде есть свои утешения; когда мы с Э. счастливы, то умудряемся наслаждаться простыми и чистыми радостями, и мы знаем, или я знаю: за то, что нас связывает,

можно и пострадать.

20 октября

Время — быстрый, опасный поток; слишком стремительный, чтобы писать — здесь или где-то еще; стремительный, но не возбуждающий, стремительный, но в то же время монотонный, как всякая жизнь горожанина, но этого мало, мы в придачу осуществляем попытку «жизни в грехе». С Э. я чувствую себя совершенно уверенно — хотя даже сейчас, когда я пишу эти слова, она отсутствует и, возможно, находится в обществе Р., — уверенно и умиротворенно, как и положено любящим людям. Единственное, что меня беспокоит, — останется ли она со мной, выдержит ли предстоящую нам долгую, трудную дорогу, трудную даже в физическом смысле, не говоря уж о психологическом, — я имею в виду ее работу в «Гэмидже». Теперь уже нет сомнений: что касается взаимного влечения, мы почти идеальная пара. Но в остальном множество сложностей — оба ненавидим свою работу, оставаясь при этом бедняками; Э. до сих пор мучает комплекс вины. Пытаемся найти квартиру получше, что-нибудь более подходящее, чем маленькая комната и односпальная кровать. А пока я продолжаю жить здесь, как беглый преступник. Дешевые квартиры в Хэмпстеде редки, как ласточки зимой.

18 ноября

Существует два рода писателей: те, кто гениально реализует себя в конкретном жанре, — Мольер, Расин, Достоевский, Мэнсфилд; и другие, которые обладают универсальным умом и просто считают, что лучше всего могут выразить себя в слове, — Жид, Гёте, Д.Г. Лоуренс; интеллектуальные писатели и писатели, приверженные одному жанру. Я интеллектуальный писатель, меня интересуют все жанры. Ни в одном не чувствую себя мастером, но со всеми в ладу. И почему бы не представлять на читательский суд все работы, если ты интеллектуальный писатель (которых больше волнуют идеи, нежели слова), по мере того как они создаются — за годы или другие отрезки времени, — рассказы, пьесы, стихи, эссе, заметки, критические статьи, дневники; цель — быть всецело живым художником, не систематизированным музеем. Пусть систематизацией занимаются невропатологи.

Кэтрин Мэнсфилд (Элперс)[491]. Один из кумиров Э.; мне она тоже нравится — хоть и в меньшей степени. В книге много рассказывается об отношениях Мэнсфилд — Марри, особенно о первых трех годах их совместной жизни; похоже на наше с Э. существование: матрасы на полу, ночевки под открытым небом, поиски «подходящей» (то есть дешевой, просторной, светлой, удобной, приличной — несуществующей) квартиры. Постоянные

стрессы и напряжение в отношениях между чувствительной женщиной и рассудочным мужчиной. Конечно, К.М. могла себя выразить, но с Э. нельзя жить, не принимая во внимание ее молчание; разум кипит, бурлит; это долгий путь в темноте[492].

22 ноября

Денис Ш. решил уехать в Индонезию с женой и ребенком. Глупый современный гротеск, беспокойство, тяга к переменам; это связано с колоссальным послевоенным освобождением личности, вымыванием энергии.

23 ноября

Женственность Мэнсфилд; описания, реакции, настроения, отношения — мир, лишенный социальных, моральных ценностей и дидактизма; женщина, рисующая мужской мир, — клинически, можно сказать, если бы это понятие не имело такой антисептической, научной, холодной окраски. Больше мужчины способна провидеть будущее, как и Вулф. У Джойса, Джеймса, должно быть, был огромный внутренний мир. Он не человек, а целая команда, и еще женщина, смотрящая матч. Мораль для себя? Феминизация моей литературной восприимчивости.

25 ноября

Почему рассказ Платона о смерти Сократа всегда заставляет меня плакать? А четыре Евангелия оставляют холодным и равнодушным. Возмутительно, что у Иисуса из Назарета все еще так много поклонников, это памятник человеческой глупости, свидетельство психологической нестабильности.

Три пьесы. «Смерть Сократа», «Смерть Христа», «Жизнь Робин Гуда».

Э. — Ксантиппа[493]!

29 ноября

Уик-энд в Оксфорде с Портерами. Почувствовал, как я отдалился от Оксфорда; смущен его бестолковым очарованием и блеском. Пустой город. Университет кажется юным и отвратительно бесчувственным. В воскресное утро на улицах маленькие группы серьезных молодых людей в темных костюмах и галстуках своего колледжа — печальная примета, ведь униформа никогда не свидетельствовала о свободе мысли, — со сборниками церковных гимнов в руках. Повсюду удушающая атмосфера религиозности, абсолютно повсюду; нелепое объявление в магазине: «Купи здесь папочке подарок на Рождество», — оно много говорит об изменениях в студенческом характере за эти несколько лет.

Полная несхожесть с академическим миром северного Оксфорда, где царят интеллектуализм, скептицизм или интеллектуальный католицизм. Толкиены, Фейт и Кристофер

заходят выпить кофе и подискутировать; благоухающие облака бесед; в цене стиль и юмор; позы, диалектика. Французская манера вести разговор, континентальная, элегантная, но постоянно скатывающаяся к типично британскому, замысловатому абсурду. Сознательно неправильное использование открытий логического позитивизма; игра словами.

В их обществе я чувствую себя как неуклюжий тупой бык в салоне в стиле рококо. И бычьим нутром чувствую, какие они жалкие, поверхностные, презренные. Ведь их трагедия — это в какой-то степени трагедия клоунов, шутов; бессильные, пустые, они должны паясничать, щеголять положением, стилем, ублажать самолюбие. Ни Толкиены, ни Портеры не счастливы в своих отношениях; им не хватает чего-то главного — уверенности, тепла и, в некотором смысле, крестьянской глубины и простоты, какая есть у меня и Э. В их обществе она постоянно молчала, ослепленная всем этим блеском, и одновременно чувствовала отвращение; я воспринимал это спокойно, понимая, что ее молчание не свидетельствует ни о каком комплексе; удивленные взгляды меня только забавляли. У нее есть способность постигать сущность вещей, они же виртуозы поверхностного — большая опасность для мозга. Платон — сама гармония, их же разум — тиран, подавляющий сердце и чресла.

Родительские чувства. Портеры не наказывают Кэтрин, предпочитая все спокойно объяснять. В основе это сократовский взгляд на разум, равный доброте. Но мне не нравится, что Подж мочится при дочери; а когда она вскарабкалась на перила лестницы высотой двенадцать футов, его спокойное «очень опасно, но нужно позволять это детям» показалось мне чудовищным. Нельзя подвергать ребенка опасности или шокировать его только для того, чтобы произвести впечатление просвещенного родителя на гостящих у него посторонних людей. Беспредельный эгоцентризм.

Косность цивилизованного человека. Потребность в действии, слово «цивилизация» обрело чуть ли не бранное значение! перерубили одну из важных артерий.

Писатель хочет охватить весь мир; мир же ждет от писателя некой изюминки. Величие путают с индивидуальностью, «провидение» со словесной изощренностью. Э. критикует написанные мною недавно рассказы — говорит, надуманные и т. д., — но меня больше тревожит обвинение «отсутствие собственного стиля». Я не люблю обманчиво привлекательное письмо, когда все, что не является совершенно новым, объявляется клише. Придумывать остроумные сравнения и метафоры легко, слишком легко. Отчасти это новые трудности —

страх оказаться поборником какой-то идеи, патологический страх современного человека показаться наивным. Можно сказать, что двусмысленность приносит плоды; в худшем же случае это просто хорошая страховка.

Что мог, я сделал — будет время, почищу эти рассказы. Конечно, назначение художника-новатора вроде Пикассо — пользоваться самой разной техникой. Всему — хозяин, ничему — раб.

12 декабря

Nuit blanche[494], во время которой мы все проанализировали, наговорили друг другу много непростительных вещей и ни к чему не пришли. Как обычно, это произошло в конце счастливого дня. Теперь Э. постоянно возвращается к проблеме руководства, жизненной цели, она все время обвиняет меня в том, что я не говорю ей, «куда иду, в чем смысл нашей жизни и на что, черт подери, нам жить». Конечно, условия, в которых мы живем, хуже некуда: крохотная однокомнатная квартирка, постоянная нехватка денег, ее работа. Теперь она обвиняет меня также в том, что я испортил наши отношения (Салли и Санчия). Тут я ничего не могу поделать — если она предпочитает относиться к этому как к порче, пусть будет так.

А вот желание, чтобы ею руководили, идет из самых глубин ее натуры. Это желание гонит ее от мужчины к мужчине, она верит, что где-то существует идеальная любовь, идеальный муж и любовник — Рой с его авторитетом и благородными понятиями о любви и браке и Джон, исповедующий языческую любовь и наслаждение, — два в одном. Однако раньше или позже ее отношения с мужчинами обязательно заканчиваются — либо уходит сама Э., либо своими придирками она доводит очередного мужчину до бешенства. Когда на нее накатывает, бессмысленно пытаться спорить или что-то объяснять, она обязательно извратит твои слова. Меня пугает ее стремление к истине, сверкающей, абсолютной истине, — так мотылек летит на огонь, и кончиться такой полет может только страданием и смертью. Я вернул бы ее Рою, если бы это могло помочь. Но представление Роя о человеческой природе настолько идеалистическое, настолько католическое, в нем так много догмы и так мало настоящего психологизма, что возвращение видится мне как доставка преступника на место каторжных работ, — это, возможно, заслуженное наказание может еще больше ее озлобить. Как закоренелый преступник, она всю жизнь «таит это в себе».

Ее гложет тоска по порядку; я же говорю, что никакого порядка нет, — его можно обрести, только пожертвовав реальностью; счастье в абсурдном мире возможно лишь при

условии самообмана или утешения от мысли, что ты можешь в какой-то степени представлять себе реальное будущее; то есть реальность есть хаос, а наша собственная ценность складывается из признания этого факта и попыток это исправить. Но Э. жаждет веры, объяснения, Панацеи.

17 декабря

Жду ее; она ушла с Роем на празднование конца семестра. У меня нет никакого права сердиться, но я сержусь. Затянувшаяся неопределенность их отношений представляется мне страшной ошибкой. И не потому, что их брак рухнет во второй раз, а потому, что он в основе своей несчастливый. Маскарад в дурном вкусе — то, что он хочет возобновления отношений, а она соглашается притворяться его женой. Э. называет это экспериментом. Все это из двадцатых годов. Конечно, я тоже виновен, но свою вину таю глубоко. Я могу понять, когда она ездит повидать Анну, но идти с Роем на вечеринку… Как мало гордости у Роя! Я считаю это извращением и допускаю, что такая двусмысленная ситуация доставляет ему тайную радость.

Нужно постоянно помнить о ее возможном уходе, хотя такой вариант будет просто ужасным. Но она так часто угрожает мне этим, что я стараюсь как можно лучше подготовиться. Надо только повторять себе, что все пройдет, — иначе невозможно перенести внезапную острую боль. Моя вера в любовь и женщин подвергнется в этом случае серьезному испытанию; если я когда-нибудь стану относиться к ним беспристрастно, значит, любовь невозможна.

Наша любовь наперекор обществу; против — деньги, условности, покой, порядок. Наверное, я рехнулся, раз продолжаю бороться.

23 декабря

Закончил первый, черновой вариант «Пассажира». Написал целую серию пьес. Несколько рассказов тоже — все за последний месяц. Но время, время… никогда нет времени их доработать.

24 декабря

Еще одно Рождество проводим не вместе. Разъезжаемся по домам, после сплошная неопределенность. Она едет на пару недель в Харрогит, потом ищет другую работу. Такая перспектива, естественно, вызывает у нее отвращение. Время идет, и то, что мы останемся вместе, кажется все невероятнее, как, впрочем, и то, что мы когда-нибудь разлюбим друг друга. Какой же я непрактичный человек — совсем не рвусь к успеху, у меня нет ни малейшего желания его добиваться. Неудивительно, что Э. привлекает тысяча фунтов, которые зарабатывает Рой. Но, может, в некоем тайном смысле тут есть свой шарм — быть

непрактичным в этом меркантильном мире.

До 8 января никаких денежных поступлений — надо жить на десять фунтов, а это невозможно.

2 января 1955

Минуло Рождество, закончился старый год. Скучное, унылое Рождество в родном доме; обжорство и пьянство; полный лицемерия, лишенный искренности праздник — во всяком случае, так кажется, древнее языческое чудо посредине зимы — это прекрасно, зеленое пламя в черном мире. Но вся эта христианская чепуха, жуткое христианское воскрешение. Я только сидел и набивал брюхо, нанося вред печени; страшно скучал по Э. и читал Шекспира — невероятное наслаждение. Особенно «Мера за меру», комедия, похожая на стон; ключевое произведение.

5 января

На десять дней разлука с Э. — она едет в Харрогит на выставку игрушек. Я проводил ее до «Швейцарского дома», где ее ждала машина, чтобы отвезти на выставку; день сырой, пасмурный, восемь часов утра; черное пальто и кепка цвета герани; гололед. Ее работодатель кажется симпатичным человеком, но каково видеть, как она влезает в роскошный автомобиль, который уносит ее по Финчли-роуд; неспособный зарабатывать хорошие деньги, я выгляжу как сутенер. Никогда наша любовь не была так сильна, как в эти дни, между Рождеством и ее отъездом. Жар в зимнюю стужу, долгие, дремотные часы в постели, страстный секс, мы подходим друг другу как перчатка к руке — и вот пожалуйста, эти проводы; в такое время отправлять куда-то любимую — проституирование.

Возвращаюсь один по Фицджонс-авеню; пасмурно, холодно, слякоть, под ногами грязное крошево; массивные, скучные, равнодушные дома, торопливо снующие равнодушные прохожие. Бесконечный подъем, вдоль которого тянутся темные, голые деревья, унылые дома — как жизнь без нее.

Тоскливо, пусто без Э.; не успокоюсь, пока не получу от нее весточку. Разлука — тяжелая проверка любви на прочность.

Фраза из романа Хемингуэя «Иметь и не иметь». Мария говорит после смерти Гарри: «У тебя просто что-то умирает внутри, и становится легко. Ты просто становишься мертвой, большинство людей и не бывают другими». И еще: «Никто не знает, что ты чувствуешь, ведь они не знают, как это может быть».

Так и есть; большая любовь как поток или ток; она уносит, отделяет тебя от всех и — заставляет светиться. Вот и я сейчас ощущаю себя разбитой лампочкой; свет потух.

12 января

Неожиданная телеграмма от Лиз — она возвращается сегодня

вечером, на три дня раньше срока. Нахлынула тревога; с ней всегда как на вулкане. Поссорилась с Джи, работодателем? Может быть дюжина разных причин.

Длинные письма от нее. Большинство очень хорошие; кажется, все прекрасно, но как типично для нее не писать, что плохо — или не плохо.

А я люблю ее так сильно. Но гром, как известно, бывает и среди ясного неба.

13 января

Э. вернулась; ничего необычного не произошло — просто Джи решил, что ей нет больше смысла находиться в Харрогите. Теплое, сердечное чувство, тихое счастье. Два добрых знака — в день возвращения Э. пришло письмо с предложением возможной работы. И еще мы нашли новую квартиру в Вейл-оф-Хелт, где в свое время жил Лоуренс. Две комнаты на верхнем этаже дома в викторианском стиле — одного из ряда подобных домов — прочных и приличных; отличный вид. Оба приятно взволнованы. Когда ходили смотреть квартиру, шел снег; он лежал на ветвях; весь мир словно притих, укутанный снегом. Выпили в пабе у пруда; невероятно — но по соседству проходила репетиция джаз-оркестра.

25 января

Переехали на последний этаж викторианского дома в Вейл-оф-Хелт. Из заднего окна вид на пруд, с фасада — на небольшой сквер и на холм, где находится паб. Вечерами там царит глубоководный мир — машины с угрями, неизвестной рыбой, мерцание оранжевых сигнальных огней. Переплетение черных ветвей на сером небе; со времени нашего переезда солнце здесь не появлялось. Чайки на замерзшем пруду; дом старый, чистый, но холодный; хозяйки — две старухи, деревенские старые девы; умопомрачительно уродливая мебель, обои, ковры, линолеум, что приводит в отчаяние Э., не говоря уже о новом для нас положении: теперь я уже не тайный любовник. Одолевают сомнения относительно будущего, судьбы Анны; переезд не мог происходить в более мрачном расположении духа. Никакого радостного волнения от нового жилища. Э. вообще приспосабливается ко всему с трудом, тут же особый случай. Поэтому мы разобрали не все вещи, вынули только самое необходимое, словно находимся в зале ожидания. Цыгане.

Конечно, мне здесь нравится — простор, зелень, высокий этаж. Думаю, меня устроила бы и oubliette[495], если бы оттуда был живописный вид.

* * *

В «Эвримен» сезон Кокто, личности в стиле рококо. Двойственный талант человека восемнадцатого века; делает все с изяществом, но с изрядной толикой поверхностности. Нет искренности; живой ум, лишенный цельности. Но «Вечное возвращение» — очень хороший фильм; оригинальный и трогательный[496]. Возможно, это из-за Тристана и Изольды, истории любви; в искусстве возможны вечные *возвращения* к ней. Можно вечно жить с Изольдой в лесу…

27 января

Э.; бедность ее словарного запаса; чаек называет «белыми птичками». Говорит: «На дереве сидит коричневый фазан и смотрит на меня». А ее сон, будто она пытается на предыдущей квартире засунуть несколько шиллингов в газовый счетчик. Подхожу я, смотрю на счетчик, потом на шиллинги и говорю: «Дело не в них, Элизабет. А в тебе». Смешно или символично?

Сегодня утром над прудом кружили утки, одна утка с хохолком ныряла; призрачные стайки чаек. Кряканье селезней ночью, крики сов. Удивительный маленький оазис в Лондоне; Д.Г. Лоуренс правильно сделал, что поселился здесь.

1 февраля

Опять яростные ссоры. В пятницу ругались всю ночь. Четверг прошел под знаком любви, а в пятницу утром Э. нашла письма от Санчии, опоздала на сорок минут на ленч со мной, и тут все полетело под откос — споры, взаимное напряжение. На следующее утро она не захотела вставать, а я пошел звонить Рою и встретился с ним за ленчем. Он взял шесть кружек пива. Мы обсудили все недостатки Э. и признались, что оба любим ее. Но хотя я встретился с ним, желая принести жертву, однако при расставании был, как никогда, уверен, что делать этого не надо. Р. такой невероятный эгоцентрик, что ему невозможно противостоять. Э. называет его грандиозной личностью — он якобы велик и в достоинствах, и в недостатках, но трудно поверить, что человек, чьи взгляды так беспорядочны и ограниченны, может быть грандиозной личностью. Он наделен для нее очарованием Свенгали[497]; черно-белый, тогда как остальные серые. Р. нисколько не сомневается, что его убеждения и отрицания верны. В искусстве такой взгляд допустим — там вообще все допустимо, но в морали, в личных отношениях он представляет угрозу для общества и личности. Все мое существо восстает против двойственности Роя — против ауры величия и

убежденности в том, что он прав, а все остальные нет, — что является сутью католичества; а также против нордической импульсивности, гипотетической склонности к насилию, против его темного, запутанного, неопределенного «эго». Люди, подобные Рою, не занимаются самоанализом, не устанавливают связи с внешним миром, не допускают (ведь это означает удар по самолюбию), что, помимо их философии, существуют другие ценности.

Мы с Р. спорили но поводу плотской любви — он называет ее животной похотью и отказывается признать важность такой любви в личных отношениях. Расстались, совершенно разругавшись. Я вернулся в Хэмпстед, отчаянно боясь, что Э. ушла, но мы бросились друг другу в объятия с той же страстью, что и раньше.

Д. Г. Л. «Белый павлин»; иногда текст такой детский, словно писал школьник; конечно, есть и великолепные места. Но вот что удивительно — даже когда текст совсем наивный, характеры все-таки живые. Они не кажутся искусственными, это живые люди, описанные наивным пером.

Жид «Тезей». Великий роман; Жид — единственный Тезей — обманщик, борец с предрассудками, свободный мыслитель[498]. Неизвестный, ритуалистический мир. Личность разрушает религиозное общество. Разрушитель религиозного общества. Разрушитель цивилизации, и потому наиболее цивилизованный.

7 февраля

Ощущение родства с Жидом; раньше такого не было. Теперь чувство большой близости, сочувствие.

12 февраля

Мисс Скиннер, квартирная хозяйка, знаток своего дела. Человек анального типа; патологически ненавидит грязь. Она уже стала сомневаться (впрочем, совершенно справедливо), женаты ли мы; зовет нас людьми богемы; сегодня утром пришла к нам и ужаснулась беспорядку, в котором мы живем. На прошлой неделе она обнаружила у нас, по ее словам, девять бутылок из-под молока, постель же была не убрана весь день. Мы живем в беспорядке — это правда, но не в грязи. Я понимал: следует рассердиться, но она такой законченный экземпляр уверенного в своей правоте невежества, что мне почти доставляло удовольствие слушать, как она «отчитывает» нас.

— Вы не имеете права развешивать тут картины, — заявила она. — Мне это не нравится. — И, указывая на репродукцию греческой вазовой живописи, где изображен Минотавр с великолепным пенисом: — Вот уж грязь так грязь! — И добавила: — Такой квартиры вам больше не найти.

Проще объяснить жабе французские неправильные глаголы, чем оправдываться перед такими непримиримыми стражами общественной морали.

13 февраля

Очередной переворот, изменение в нашей жизни; мы решили съехать с квартиры. Э. провела вечер с Р. — обычный позитивно-негативный результат. Эти встречи всегда приводят к одному: она в очередной раз сознает, что балансирует на канате — границе между двумя враждебными державами. В субботу ходили смотреть новую квартиру; сняли. Дороговато, но квартира хорошая и хозяева люди вполне цивилизованные, не то что наш монстр. В воскресенье — крупный разговор; Э. сказала, что никогда не разведется с Р. Но в конце дня мы пили чай у новых хозяев, а старых предупредили, что съезжаем. Понедельник прошел под знаком утрат и горестей; новая работа Э. в полуподвальном помещении жутко ее угнетает; пустота, бесцельность, наша бедность, отчаянные попытки перепрыгнуть бездну от жалованья до жалованья и ощущение бушующего потока внизу. Ее обычные вопросы: куда мы идем? что все это значит? А когда я ничего не отвечаю: ты безнадежен; ты плохой; ты не *помогаешь* мне. Руководство — она жаждет руководства. Иногда кажется, что любая ложная философия, любое шарлатанство, если преподнести их убедительно, успокоили бы ее. Но мне понятны самые важные вещи: я буду писать — это главное. Я люблю ее, и она любит меня. Не верю, что она может быть счастлива с Р. Значит, ей надо стать моей спутницей жизни. И долго раздумывать тоже нельзя: я не могу взбираться на вершину с ней на плечах; рядом со мной — да, всегда — да, но не тащить ее в гору. Это невозможно.

22 февраля

В голове бродит столько замыслов пьес — хватит на десять лет. А времени нет, никогда нет.

Жертва. Иногда кажется, что я могу пожертвовать Э. ради творчества. Однако не верю, что скромное сочинительство важнее женщины; просто, пожертвовав женщиной, можно все силы отдать литературе. А это морально недопустимо — как если бы я стал принимать средство, усиливающее половое влечение.

Новая квартира (Фрогнал, 55) устраивает нас — уютнее, больше уединения, атмосфера гораздо приятнее. Но наши отношения по-прежнему трудные, шаткие; чувствую, что Э. испытывает скуку, утрату интереса к жизни. Она слишком привязана к нашим делам: «более полноценная жизнь», «стимулирование», «пустые отношения» — такие слова произносятся, когда мы ссоримся. Конечно, в основе всего этого

лежит ее собственная внутренняя пустота — неуверенность в себе, отсутствие творческого начала, богатого воображения. На свете нет женщины психологически менее устойчивой. В любой компании она чувствует себя не в своей тарелке: ей не хватает образования, savoir faire[499]. Она не умеет подать себя, не может самостоятельно общаться с новыми людьми из нашей среды. Не принадлежа ни к какому классу, она, однако, не обладает обычно присущими таким людям талантом и отвагой. Она находилась в тени Роя, пока наконец не выбралась на солнце, но теперь стремится вернуться назад. Теперь все наоборот: ей кажется, что тень и была солнечным светом, а солнце, где она сейчас находится, — это холод, тень.

25 февраля

Напечатал пьесу «Пассажир». Э. прочитала пять страниц, которые ей страшно не понравились; никуда не годится, отвратительно, тошнотворно — определения одно другого хуже. Я был потрясен не меньше, чем она, и весь вечер провел в страшном напряжении; у нас был Денис Ш. Возможно, она права — не в своей яростной реакции, а в том, что пьеса действительно никуда не годится. Одолевают сомнения — не дается стиль, его просто нет. Может, я гоняюсь за химерами? Или литература — только средство, не конечная цель, или еще хуже — тупик для меня? Иногда я чувствую себя совсем беспомощным, будто, сочиняя, воображая, страдая, я бреду как слепой, в то время как другие, и их много, в отличие от меня видят дорогу. Такие сомнения — адские муки; тогда я вдруг начинаю видеть в своем стремлении к самореализации, самораскрытию не raison d'etre[500], а бич Божий.

(Позже): но чувство катарсиса; ощущение — как при обрезке деревьев, когда живительные силы устремляются к лучшим ветвям. Мысли о важном — не о слабости, уродливости сегодняшней листвы, а о мощи, напоре живительных сил.

17 апреля

Возраст; зловещее число — двадцать девять лет. Близится к концу мой третий десяток, а еще ничего не сделано, ничего не определилось, нет никакой надежды на передышку. Перерабатываю книгу о Греции и наконец верю, что кое-что из нее можно печатать. Однако стиль далеко не совершенен, есть повторы, отклонения от темы; разум сопротивляется индивидуализации, но для того, чтобы тебя услышали, надо быть уникальным. Универсализм теперь не приносит славы. С работой в Турции дело не выгорело. Но я не очень жалею. Еще одна дверь закрылась; я вынужден продолжать бороться с собой. Уверен: это самое главное — победа над собой, самопознание.

2 апреля Э. приняла решение вернуться к Р. в конце месяца — в конце, потому что он не хочет прерывать отдых в Шотландии, и еще он сказал, что со своей жалкой тысячей фунтов в год не может позволить себе принять ее до конца месяца. Поэтому теперь я что-то вроде хозяина гостиницы, и мне все это отвратительно; с другой стороны, Э. требует, чтобы я не протестовал. Время от времени у нас случаются бурные сцены, но я понимаю, что на самом деле она не несчастна. Она вновь живет на грани трагедии — бросает меня, а я продолжаю ее любить. Не сомневаюсь, она хочет уйти к Р. Не любит его, но разве она знает, что такое любовь. Конечно, я пытаюсь отговорить ее, но она слишком многого хочет. Сломать мою жизнь, оставить меня помешавшимся от горя. Теперь я знаю, что между нами существует глубокая и нерасторжимая связь — особая родственность, которая делает невозможной мысль об отношениях с кем-то другим. Все последующие отношения могут быть только формальными, тенью нашей близости, нашей жизни друг в друге.

6 мая

Тяжелые времена; Денис провел с нами несколько дней перед отъездом в Индонезию; чувство расставания — не то чтобы утраты, но физической разобщенности; он уезжает, и Э. грозится уйти. Слепая, отчаянная убежденность, что ей надо это сделать. Отход друг от друга, атмосфера отчуждения между нами печалит меня — словно необходимо специально разрушить нашу любовь, чтобы забыть, что она вообще существовала. Э. угрюмая, раздражительная, ко всему придирается, старается со слепым упрямством найти способ побороть любовь. Провоцирует меня, чтобы я пытался ее удержать, чтобы показал, как высоко ценю.

Теперь временами Э. становится отвратительным, злобным существом; она совершенно не способна принять окончательное решение, примириться с утратой. И критично, патологически критично относится ко всем моим попыткам высказать беспристрастное мнение.

— Рой очень объективный, — сказала она. — Он меня любит, но остается объективным.

Я пытаюсь объяснить, что любовь и объективность несовместимы. Но когда дело касается Р., она безнадежно слепа; кроме того, его хвастовство, непринужденная самоуверенность, догматизм — качества, которые импонируют женщинам и требуют от них полного самозабвения. Э. хотелось бы уметь забывать о себе — не всегда, конечно, — но ее надежда, что она сможет делать это с Р, — жалкое заблуждение.

Временами я боролся, стремясь завоевать ее, как боролся Р. Я

был убежден в своей правоте; Денис согласился, что основное стремление Р. — властвовать. Любой другой мужчина при таких обстоятельствах — ведь Э. абсолютно равнодушна к нему — не стал бы так унижаться. Э. верит, что его настойчивость объясняется ее бескорыстным отношением к нему. Но ему отчаянно надо ее вернуть ради собственного спокойствия.

Отвратителен двухгодичный цикл Э., после которого она влюбляется в нового мужчину, заводит нового любовника. Мне стыдно, что я не победил это ее свойство, и тревожно, что у нее недостает гордости, которая заставила бы ее опасаться подобного рецидива.

Я верю, что проявлением любви будет не насиловать ее, вынуждая остаться: нельзя силой заставить любить. Э. любит и уважает силу, но иногда мне казалось, что она переросла это примитивное чувство. Теперь вижу, что ошибался. Я многое скрываю от нее — цели, которые не меняются. Не предпринимаю никаких попыток напечататься. Я словно хочу, чтобы она выбрала меня в самых неблагоприятных обстоятельствах, когда я ничего не стою, а не тогда, когда буду достоин стать мужем и за меня не стыдно будет выйти замуж, как она того отчаянно хочет. У меня могут сдать нервы, и тогда я заставлю ее открыть карты; думаю, я получу моральное удовлетворение, если сам подниму мятеж, а не буду ждать, когда это сделают другие.

Другая сторона всего этого — литературная; эмоции переводятся в разряд опыта, а страдание — одно из самых ценных переживаний с этой точки зрения; оно все приводит в нужное состояние, закаляет лезвие клинка. Даже не Э., а сочинительство (я все больше считаю его скорее размышлением, чем писанием, ведь многое из того, что пишется, — скольжение по верхам, словоблудие, а не погружение в глубины нравственности) — моя самая большая любовь. Даже больше: когда Э. совершенно справедливо обвиняет меня в безынициативности, я только пожимаю плечами. Не могу ей сказать, что для меня все — литература, только одна литература, что я анализирую, смакую, накапливаю. Даже ее уход принесет плоды, пойдет в ту же копилку. Мне кажется, Э. думает, что я не очень литературно одарен — по ее понятиям; я ее не разубеждаю. Это компенсация? Не иметь ни энергии, ни желания присоединиться к какому-то союзу и потому придавать слишком большое значение внешнему положению. Буддизм — я нахожу в нем много полезных дефиниций, терминов. Хотя даже они меня теперь не интересуют — во мне растет, ширится некое обобщающее начало, и все детали, люди, вещи, лица, имена отступают на второй план.

19 мая

Э. попросила Р. заняться разводом, но я ничему не поверю, пока не услышу, как развод подтвердят в суде. Она принимает решение, только если знает, что существует лазейка, которой при случае можно воспользоваться; у меня нет сомнений в том, что она допускает возможность, если будет нужно, приостановить дело.

20 июня

Когда-то я сдерживал себя и реже делал здесь записи, теперь все наоборот. Оправдывая свою лень, называю это литературной бережливостью — все-таки старая, знакомая работа. Но жизнь не поощряет процесс внутрь — не наружу. Подробности не важны. Книга о Греции готова для публикации; Э., похоже, остается со мной — к лучшему или худшему; мы бедствуем, живем от недели к неделе, никакой новой одежды, отдыха, своего дома. Но во мне крепнет уверенность. Я *буду* писателем, буду лучшим среди современников, когда окончательно созрею.

Ожесточенные ссоры с Э., и снова затишье. В основном они из-за Анны — чувство вины, стыд, смущение и такое типичное, необъяснимое желание ничего не менять. В этих ситуациях она абсолютно инертна, и теперь я не верю, что когда-нибудь буду с ней счастлив. Как будто у нее зашкаливает разум — время от времени он оживает, но явно разрушится, прежде чем будет удовлетворен. Она не предпринимает никаких попыток узнать, что происходит с Анной, потому что позвонить Молли Лор[501] «выше ее сил». Когда я назвал такое поведение гордыней, она истерически завизжала. Но ее снедают гордыня и стыд, и в этом она не хочет видеть извращенное самолюбие. Она считает себя чувствительной, но чувствительность распространяется только на ее собственные переживания и никак не на окружение. Только безумец может находиться рядом с ней, когда она такая: она теряет контроль над собой и погружается в необъяснимый, темный хаос, и тогда можно только ждать, пока она не выкарабкается из этой сумятицы и не обретет равновесие.

Странная, претенциозная девица, работающая с Э., до такой степени претенциозная, что выглядит карикатурно. Говоря о Родезии, сказала:

— Конечно, львы и змеи там не совсем такие, как в Соединенном Королевстве.

Словно эти несчастные создания не получили надлежащего воспитания.

Приятные часы, проведенные за игрой пьес из «Фицуильям Вирджинел бук»[502]. Фарнеби, Берд, Дауленд — все они удивительные открытия для меня: эксцентричный Фарнеби, печальный Дауленд, великий Берд. Пикантный Фарнеби, горький

Дауленд и Берд, в котором есть все[503].

25 июня

Выработал для себя стиль жизни — философское, размеренное течение, в котором могу существовать; каркас, систему мер, основание. Мое «я». Всегда к этому стремился; ведь в Англии, чтобы обрести веру в себя, надо уничтожить ряд барьеров — свое англичанство, прошлое ученика частной школы, бывшего офицера, христианина, выпускника Оксфорда! Все препятствует этому. Вот почему я люблю Э. В ней нет тысячи вещей, которые есть в других женщинах, но она *уникальна*, законченная личность, единственная в своем роде.

Летнее солнцестояние. Думаю, этот день для меня важнее всех других праздников года — в нем глубокая сила самосознания. Четыре великих праздника: зимнее солнцестояние — смерть; весеннее равноденствие — жизнь в смерти; летнее солнцестояние — жизнь; осеннее равноденствие — смерть в жизни.

6 июля

Подавленность; обычная хандра в середине лета. Призрак нищеты. Всю неделю мы с Э. ведем борьбу за существование; наших общих денег хватает, только чтобы протянуть от пятницы до пятницы. Вдвоем мы зарабатываем тринадцать фунтов, пять платим за квартиру, остальные восемь испаряются быстро, словно роса в жаркий день. Впереди не маячат ни отдых, ни прочие радости; развода нет, публикаций нет и свободы тоже. Любовь есть, это здорово. Мы в этом уверены. Э. никогда не выглядела так хорошо, она все больше нужна мне и все так же отвлекает от дела. Я могу работать только в одиночестве, в тишине — не в ее присутствии или в присутствии других людей. Гнев переполняет меня, когда приходится тратить время на домашние дела — приготовление еды, уборку, мытье посуды, застилание постелей. Раздражает и работа в колледже — поверхностное преподавание, лекции, ничтожные дела, исправление ошибок у глупеньких девушек — будущих продавщиц, машинисток, разной обслуги женского пола; книгу о Греции приходится печатать урывками. Но страшнее всего — глупость. Когда работаю, я окружен ею, нахожусь в ней, должен ее терпеть. Иногда кажется, что публикация нужна мне для того, чтобы можно было позволить себе быть грубым, разнести всю теперешнюю жизнь в клочья и предать забвению. И самое главное — оправдать ее. Вот почему люди стремятся преуспеть — чтобы расплатиться за проделанный подъем.

1 августа

Nuit blanche после теплого, сердечного уик-энда; все это

предсказуемо, как колебания маятника. Перед сном Э. читала рассказ Хемингуэя «Горы, как белые слоны», он навел ее на думы о наших отношениях, и ночь прошла под знаком невротических обвинений и самообвинений — такой чистой воды неврастению я еще у Э. не наблюдал[504]. Ее поведение становится пугающе шизофреническим — нежность и теплота (это состояние она называет «жить не думая») по утрам разительно отличаются от вечернего ослиного упрямства и злобы.

Главная проблема — ее чувство вины перед Анной, оно отравляет наши отношения, лишает их радости. Мы не занимаемся любовью, а валяем дурака, в то время как горит Рим. Такие вот мысли бродят у нее в голове, грохочут там — это чувство вины, как тяжелая артиллерия. С ним надо справиться, иначе оно ее поглотит. Справиться — значит, на мой взгляд, признать вину, принять и включить сотворенное зло в себя настоящую, но Э. называет это «моральной аэробикой». Для нее единственно приемлемое отношение — ощущать эту вину как открытую рану и страдать, постоянно страдать. Я не могу заставить ее посмотреть на случившееся разумно: рану следует продезинфицировать и дать ей спокойно заживать. Она говорит, что наши отношения обречены из-за наших проступков, — в сердцевине навсегда останется гнильца. Мне трудно серьезно относиться к этой примитивной католической бредятине, но надо учитывать ее искреннюю веру в то, что нельзя предотвратить последствия прошлых действий. Когда она непрерывно стенает, говоря о гнилой сердцевине, я ненавижу ее за принадлежность к подавленной части человечества, которая не борется в меру своих сил, а приспосабливается к обстоятельствам. И это у нее не религиозная позиция; верующие люди (и религиозные доктрины) допускают возможность искупления грехов: добрые деяния в настоящем помогают искупить злые поступки в прошлом. Ее проблема психологическая — пуританская, только фиктивно религиозная.

Э. не способна видеть жизнь в гуманистических категориях практической целесообразности, компромиссов, золотой середины; ей по душе крайности — порядок, хаос. Она постоянно твердит, что у нее нет наставника, который направлял бы ее; Р. был таким наставником, но я не заменил его. Я обычно (все происходит так, словно мы разыгрываем привычную шахматную партию) защищаюсь так: пока она не станет полностью моей (то есть перестанет угрожать, что вернется к Рою), пока не будет эмоционально связана только со мною, как я с нею, у меня не может быть на нее полноценного влияния. Вторая попытка защиты — психиатрическая: я часть ее невроза и потому не могу

ее исцелить.

5 сентября

Жду, что скажут о моей книге о Греции; пропасть между написанием произведения и внешним откликом ужасна и безмерна. Боюсь худшего. Причем худшее *не* потеря рукописи.

7 сентября

Много времени трачу на игру: «Сербские танцы», Куперен, елизаветинцы. Играю уже довольно бегло, справляюсь с большинством трелей, мордентов и прочих украшательств. Но музыка ускользает от меня. Я все больше и больше узнаю о самих звуках, но внутренняя структура музыки остается тайной. Гаммы, интервалы, гармонии, все греческое. В настоящий момент не могу писать; отклоняюсь от темы, и что бы ни начал, теряю нить. Отвратительный период, что-то вроде запора.

В очередной раз мы с Э. на краю финансовой пропасти. Эту неделю пришлось жить на тридцать шиллингов — ей не оплатили недельный отпуск, так что никаких поступлений. Я погряз в примитивной и скучной рутине Св. Годрика; благоухание разных национальностей, непрерывное отвращение к себе.

Набираю вес; все в тревоге. Э. и М. беспокоятся за меня. Появилось брюшко. Я чувствую лишний вес. Жирный римский сенатор. Не могу представить себя толстяком.

Воскресенье. Шумный скандал с Э.; очередной невыносимый приступ депрессии, когда она весь мир тянет за собой в пропасть. Началось все с того, что она хотела видеть Анну, но отказывалась звонить Р., чтобы узнать, возможно ли это. Пошли жалобы на бедность — она называет ее богемным стилем существования, — критика нашего образа жизни. В ее жажде иметь хорошую одежду, красивый дом столько буржуазного! Как это уродливо! В таком настроении она становится еще более упрямой и язвительной; мелкой, саморазоблачительной, самоуничижительной.

Мне известно все о любви-ненависти: природа чувства, конфликт любви и знаний — чем понятнее мне эти периодические взрывы Э., тем труднее прощать и любить ее. Она, в сущности, учит меня человечности.

Вечером в пабе она сказала мне со свойственной ей язвительной несдержанностью:

— Если хочешь, можем расстаться.

Я вышел, бросив на прощание:

— Валяй.

Бессмысленные слова, бессмысленные действия. Боль раздирает меня. Слушаю в темноте, не раздастся ли стук ее каблучков. Неистовство любви. Во всем неистовство.

Она вернулась домой слегка под хмельком, но

прикидывалась пьяной; опять ярость, ярость; глупые дерзкие слова, страшные оскорбления. Она хочет разрушить во мне мужчину. Здесь я объективен. Под конец мы подошли к сути дела.

— Ты представить себе не можешь, — сказала она, — что это такое — просыпаться с ненавистью к себе и не знать, как прожить день с этой ненавистью. Ты такой благородный, идеальный, ты ханжа! Ты… — и т. д.

Что ж, верно. Я никогда не просыпался в таком состоянии. И не могу испытывать к себе *отвращение.*

В моем «сверх-я» есть нечто большее, чем просто совесть. Я могу осуждать себя, но никогда не теряю интерес к собственной личности. Внимательно изучаю ее, но никогда не осуждаю. Может, потому, что все мои грехи совершались обдуманно, по моему желанию, и никогда — или очень редко — импульсивно. Прежде чем проявиться на людях, они, если так можно выразиться, прошли цензуру. «Сверх-я» у меня — замечательный, снисходительный цензор. А у Э. он — грубый тиран.

Или, возможно, голос моего цензора приглушен. Любовь сосредоточена в животе, тут требуется очищение. Нас крепит от любви; ненависть изгоняет оскорбления, злобу, всякие отходы.

9 сентября

Фейер. Ее игра в «Даме с камелиями» озадачила меня. На следующий день мы с Э. пошли на фильм с Карон и Астером. Ничего особенного. И все же он тронул меня больше, чем высокое искусство Фейер[505].

Почему кино легче затрагивает душу? Размеры фигур на полотне. Смотришь вверх — не вниз. Неотвратимость экрана. Возможность режиссера мгновенно сменить тему или угол зрения, чтобы внимание зрителя не рассеивалось. И еще — можно слышать актера, но не видеть его; очень важно соотношение со временем: смотришь ли ты непосредственную игру актера или уже отыгранный материал. Прошлое представление сводит на нет усилия критиков именно потому, что осталось позади. В фильме ты погружаешься в царство грез. Когда же смотришь пьесу, не теряешь связь с настоящим. И никогда не становишься в театре до такой степени соучастником представления, как в кино. В наше время человеческие эмоции подавляются и вытесняются. Поэтому роль кино как фабрики грез помогает высвобождению этих эмоций.

Еще один момент— кинематографический крупный план. Очень волнующий и откровенный. На сцене угадываешь слезы, на экране их видишь. На сцене жесты могут быть преувеличенными, но в кино актер должен играть гораздо правдоподобнее, чем на сцене. Камера требует от актера предельной реалистичности,

пусть даже фильм причудливо-фантастический. Всем великим актерам удавалось точно передать характер. Это побуждает нас предъявлять повышенные требования к театральному актеру. Мы требуем от него кинематографической правдивости и точности. Ведь в кино кажется слишком «театральным» жест, который в театре видят и на галерке. Многие наши киноактеры чудовищно переигрывают.

Не просто реалистический, а естественный стиль должен быть в пьесе. Реалистическая игра еще не все. Должны быть правдивыми чувства.

24 сентября

Опять яростная ссора с Э.; причина все та же. Я говорю, что не стану искать хорошую работу, пока она не решит окончательно остаться со мной; она же говорит, что не примет такое решение, пока я не найду хорошее место. Она страшно разозлилась, что я не получил работу в Брюсселе. Последний день подачи заявлений был вчера. Сегодня утром я его напечатал и сам отвез на Белгрейв-сквер. Хотя Э. часто злится черт знает из-за чего, но тут она права. Такая нищета дольше продолжаться не может.

Скаррон. Купил небольшое издание его пьес 1668 года за пять пенсов у Нормана. Странное смешение утонченности семнадцатого века и грубости шестнадцатого. Энергия «Жодле». Есть хорошие реплики[506]. Следует прибавить еще удовольствие от старых книг, старых вещей. У меня сейчас к ним пристрастие. Из-за лживости и нестабильности настоящего? Или значительности самого времени?

6 октября

Этот дневник много претерпел за последние два года. Мне кажется, он неадекватно отражает мою физическую и духовную жизнь. В нем весь этот период кажется чем-то вроде пустыни. Я не уверен, что ей предвидится конец. Я могу размышлять, могу писать; мне это известно. Но в залах ожидания всегда скучно.

Сочинительство; книгу о Греции раскритиковал рецензент агентства — он назвал ее «бесформенной, непоследовательной», однако Пол Скотт полагает, что ее можно попытаться издать. Я только что закончил небольшой рассказ «Из дневника» — хочу попробовать напечатать его в «Лондон мэгэзин» или в «Энкаунтер»[507].

Тем временем принял решение: ежедневно заносить в дневник отчет о событиях; о том, что меня интересует; о наших делах.

7 октября

Тридцатилетие Э. Утром у меня не было денег купить подарок, но по молчаливой договоренности в пятницу я куплю ей

туфли. Мы пошли в ресторанчик «У Шмидта» в Сохо, ели охотничий шницель, потом в Фестивал-холл на концерт — малоинтересный, за исключением Пятой симфонии Шостаковича.

По пятницам я обычно обедаю с Флетчером, товарищем по работе, — ходим в «Гиннесс-паб» в Хэмпстеде. Маленькая уступка условностям. У него очень редкие волосы. То, что осталось, пушится на макушке.

8 октября

Суббота. Утром перепечатал «Из дневника», ходил за покупками. В два пришла Э., перекусили. Выяснилось, что в четыре она встречается с Р. и Анной. Некоторое напряжение; ничего не имею против ее встреч с Анной, но мне неприятно, когда она проводит вечера с Р. Однако она пришла ко мне в «Гиннесс-паб» в 7.30. На вывеске табачника увидела нужный нам адрес (мы ищем квартиру подешевле и более теплую; вывески табачников — неофициальное агентство по сдаче помещений внаем), и мы позвонили туда. Сразу же отправились смотреть квартиру, но она нам не понравилась. Слишком маленькая, а у хозяйки дома — в нем дневной детский сад — слишком несчастный вид. Вернулись домой, приняли вдвоем ванну, нехитрые домашние радости, легкая сексуальность, оба довольны.

9 октября

Утро в постели. Воскресный обед. Э. недавно купила красивую овальную кастрюлю из голубой керамики, в ней мы приготовили роскошное мясное рагу с красным перцем, помидорами, луком, лаврушкой, чесноком, перцем горошком; горячее вкуснейшее блюдо. Днем предавались любви — так же пылко, как в самом начале; потом заснули. Я проснулся в сумерках, окрашенных теплым серебром, потолок прорезал первый слабый луч света от фонаря. Рядом горячее тело Э., нагое, удовлетворенное; любовь — простые радости. Потом слушали «Путешествие в космос», глупейший, но увлекательный радиосериал о войне между Землей и Марсом; ракеты и смертельная опасность каждые тридцать секунд. Сейчас Э. гладит, а я это пишу.

10 октября

Понедельник всегда окрашен меланхолией. Работаю с 9.15 до 10. С 10 до 11 делаю покупки. Ничего не имею против этого, но терпеть не могу придумывать, что именно купить. Хожу всегда в одни и те же магазины. В одном покупаю газеты, в другом, магазинчике на Перринс-уок, — сигареты, фрукты и овощи, хлеб у булочника напротив Черч-роу. Экзотические сыры и чесночную колбасу в магазине деликатесов напротив Перринс-уок. Все магазины поблизости друг от друга — как в деревне. С 11 до 13

снова преподаю. С 9.15 до 10 вбиваю в головы английских девушек элементарные основы их родного языка — все ученицы, как на подбор, глупенькие, хорошенькие (похоже, два определения часто идут вместе). С 11 до 12 — класс сильных (продвинутых) начинающих: француженка, чешка, шведка, киприотка, норвежка, турчанка, гречанка, итальянка. Хорошо подготовленные, энергичные, довольно умные. В 11 перерыв на чай: мисс Робинсон с длинной гривой рыжих волос, ниспадающих на худое лицо, Флетчер, всегда готовый услужить — подать чай, предложить сигареты. Я не отказываюсь. Раньше это меня раздражало. Но теперь я понял: лучше, чтобы все шло как есть. Ему нравится давать, я не против принимать.

Сегодня во второй половине дня я свободен. Печатал пьесу; что-то годится, что-то нет. Пришлось ходить взад-вперед по комнате и произносить отдельные реплики. Слишком много деталей; просматривается схема сюжета. Но что-то вырисовывается. Я пишу и прозу, но она теряет в силе, как только ее начинаешь записывать. Тут нужно действовать иначе: каждую фразу вначале надо как следует отрепетировать; в поэзии всегда есть подсказки, они в размере, переносе, ударении.

Вечером ничего особенного. Послушали по радио «Великого Гэтсби». Как всегда, прекрасно. Потом забрались в постель, теплую; вели себя как маленькие дети; спали сладко.

11 октября

Вторник. Все то же самое. Ничего нового.

Во второй половине дня вел дополнительные занятия по греческому переводу. Вечером слушали «Шоу тупиц». Комично-абсурдная программа на радио; острая, живая, непоследовательная. Звучит современно. Новый юмор. Другие программы еще доят старый. Слушая их, мы тоже смеемся, но только по привычке. Наш юмор уже другой.

12 октября

Среда. Ничего нового, только вместо греческого перевода — французский.

В четыре у меня была назначена встреча с Э. у кинотеатра «Плейхаус». Пили чай в одном из бесчисленных новых эспрессо-баров. Китайский чай. Странная, словно пришедшая из 1890-х, служанка — рыжая, белолицая, грациозная фигурка, насурмленные брови.

Хороший фильм «К востоку от Эдема»; вполне приличный, с великолепными актерами — Джулией Харрис и Джеймсом Дином. Насколько они лучше своих английских коллег! Частично это объясняется тем, что драматическую игру в Англии тормозят общественные архетипы: произношение и принципы среднего

класса — принятый в стране стандарт для внутреннего пользования. Как это сломить?

Фильм нас несколько раздосадовал взрывом сентиментальных эмоций в конце; хотя, как ни странно, это выглядело вполне логично и жизненно. Удивительно, но хеппи-энд всегда не удовлетворяет; мы жаждем вечных мук и гибели. Э. назвала его просто безвкусным; боюсь, причина тут гораздо серьезнее, более разоблачительная.

13 октября

Днем поход к дантисту. Его отношение ко мне безупречно. Мне предлагаются книги из библиотеки — клавишные произведения Таллиса, «История Англии при Тюдорах», стихи Спендера.

14 октября

Пятница. Преподаю весь день — психологию, историю кино; во время обеда немного выпиваю с Флетчером; тяжелая голова. В пятницу всегда встречаю Э.; в этот раз у меня плохое настроение, спорим, чем заняться. Чтобы прийти к согласию, нужно выпить. Тоска после пива и вина. Мне нужна Э., но мне необходимо также время, время и время, мне нужно читать и писать. Ненавижу бездарно тратить время.

15 октября

Суббота. У Э. один день из четырех — выходной, поэтому сегодня мы долго лежали в постели и любили друг друга; занятие любовью для меня и, думаю, для нее стало таким же здоровым и необходимым, как хлеб. Мне с ней никогда не бывает скучно. Интересно, не потому ли, что к сексу начинаешь относиться как — в основе своей — эгоцентрическому действию. Требуются только две вещи: разумеется, чувственное наслаждение и радость от любви — ощущение, что тебя любят (то есть доставляют удовольствие). Это легко получить — не требуется постоянное возбуждение, новизна. Нужно только относиться к этому как к естественной функции и только потом как к психологической. Э. тает в постели, с легкостью принимая женскую ипостась и становясь Женщиной, я же становлюсь Мужчиной. Я по-прежнему заглядываюсь на хорошеньких женщин, но у меня нет *ни малейшего* желания узнать, что они представляют собой в постели. Любовь с Э. у меня на первичном уровне, на уровне архетипа; все прочие искушения сюда включены.

Утром ходили за покупками, потом в прачечную самообслуживания. Для меня нож острый ходить туда, такой я сноб, и еще боюсь, что меня там застукают ученицы. Ходил вечером в библиотеку — Марциал[508]. Слушали по Би-би-си пьесу «Стража на Рейне»[509]. А потом поссорились. Э. вдруг взбесило,

что у нас нет политических убеждений. Я стал спорить: в прежние времена отношение личности к обществу было важно, теперь важнее отношение личности к себе. Горечь и ненависть, но теперь я научился справляться с этими вспышками ярости — признаю свои ошибки и понемногу убеждаю ее успокоиться и взять себя в руки. Главное обвинение: я несерьезно с ней говорю. Это верно в том, что касается общих этических проблем. Область морали и философии — только моя сфера.

16 октября

Воскресенье. Довольно утомительный день. Э. сердитая, мрачная, ворчливая. Приготовили мясо с красным перцем и фасолью под острым соусом, читали «Санди тайме» и «Обсервер», потом пошли в паб пропустить рюмочку; день холодный, безоблачный, ясный, но ветер пронизывающий. У меня руки чешутся, так хочется писать, но это совершенно невозможно.

Вечером хороший фильм Хьюстона[510] «Алый знак доблести» и Ремю в «Сезаре»[511]. Доброе старое кино. В первом хорошо передана атмосфера сражения середины девятнадцатого века. Проблема страха; чем дальше, тем больше я уверен, что не пошел бы воевать, если б началась война. Ее чудовищная жестокость. Уверен: я самый настоящий трус. Могу рисковать по собственному желанию, но погибнуть под колесами военной машины или по холодному приказу генерала — увольте… Не сомневаюсь, что принесу человечеству больше пользы живой, чем мертвый. Мученичество — пусть, но не участие в бойне.

Чудовищная ложь о величии боя, когда война изображается как полигон, где человек проверяется на прочность. Храбрость, игра со смертью, после чего юноша становится мужчиной. Когда войну станут оценивать без прикрас? И увидят в ней идущий из древности примитивный обряд посвящения?

Вчерашнее требование Э., чтобы каждый был предан идее, — то есть дух войны должен быть в каждом человеке. Выходит, хорошо быть преданным идее, хорошо быть закаленным, постоянно рискуя, — а вот человеколюбие — источник страданий.

17 октября

В понедельник, как обычно, унылое настроение; холодно, неуютно. Шел дождь, а это всегда скверно. Мои единственные туфли промокают, а синтетический плащ разорвался. Сейчас я увлечен Марциалом, он такой же оригинальный, подлинный и сочный, как Вийон, мощный характер. Зоркий, язвительный взгляд словно из нашего времени. Сейчас он звучит современно.

Вечером мы переставили кухонную мебель; в холодную погоду большая комната становится нежилой.

18 октября

Читаю «Горное озерцо»[512]. Удивительно, что такой исключительный арбитр, как Коннолли, пишет не безупречно; никто не может сомневаться в ее искренности. Но результат — в романе героям тесно; образец не классическая Греция, а Византия. И еще — это не совсем правдивая история, а великолепное изображение того, что могло бы быть; картина мира, где все случается к худшему.

19 октября

Э. отсутствует вечером, поэтому я перечитал первое действие «Молодого человека». Что-то выходит.

20 октября

Весь день дождь. У меня только одна пара непромокаемой обуви — старые, добротные туфли, купленные в Пуатье. И никакого плаща.

Вечером снова Марциал; очарован им. Тонкость семнадцатого столетия, цинизм двадцатого, но жгучая ненависть и горечь всегда к месту. Каждому городу нужен бич Марциала. Ночью — любовь, свежая, как фруктовый сад. Подумать — может, в ней главная гармония?

21 октября

Магия слов. Я мог бы их заинтересовать, но восемнадцатилетняя девушка — самое интровертное создание на свете.

Идем в кино с Э.; вечер ветреный, холодный. В такую погоду особенно приятно лежать в постели.

22 октября

Суббота; пьеса. Работа идет медленнее, чем раньше. Приходится все проигрывать; меня увлекают призрачные идеи, побочные линии. Магазины, поздний обед; обычный распорядок, когда Э. работает по субботам. Вечером пришли Шейла Ли и супруги Арда — напряженные, явно несчастные в браке люди. Похоже, жена страдает — она натура утонченная, муж ей не пара. Он работает в «Таймс». Говорит громко, уверенно. Оба с изумлением смотрели на Шейлу; та рассказала забавную историю об Э. Реймонде — он живет этажом ниже и однажды вечером поднялся к ней с просьбой, чтобы она не пускала кошку на пол (покрытый толстым ковром), так как шум мешает ему сосредоточиться.

От всего этого я несколько устал. Глинтвейн и скучный разговор; впрочем, я все разговоры нахожу скучными.

23 октября

Воскресенье. Немного поработал над пьесой; читал воскресные газеты; посмотрели еще один фильм — «Глубокое

синее море». На наш взгляд, лучше всех Вивьен Ли, остальные — как-то не на месте. Но большинство думает иначе.

24 октября

Понедельник. Вечером оклеивали обоями ширму и слушали «Путешествие в Индию». Словно участвуешь в казни; это не назовешь литературой, скорее историей. Нежно-зеленые обои с мелким рисунком. Напоминает Матисса. В остальном — Марциал и пьеса.

25 октября

Встреча с Роем; начал разговор он бойко, но под конец упал духом; обычная неуемная жалость к себе, искажение ситуации — дабы оправдать свое отчаяние. Все шло по тому же кругу: «Почему я должен страдать, почему я все еще люблю Э. и позволяю ей любить тебя, а тебе ее, и вам обоим быть счастливыми?» Наше счастье приводит его в бешенство; он настоящее воплощение зависти. Говорить с ним больше пристало врачу. Нужно, чтобы его баловали, ублажали, обуздывали. Ум его работал с поразительной непоследовательностью; он противоречил себе, почти не слушал меня, выхватывал отдельные слова и привязывался к ним. И повторял одну и ту же фразу: «Не понимаю, почему меня бросили?»

— Видишь ли, — сказал я. — Выросла каменная стена.

Потом он заявил:

— Вы не осознаете мое положение. Пора вам и обо мне подумать.

— Мы думаем.

И все опять по новой.

Вчера вечером он утверждал, что создал Э. и потому она не может его оставить. Комплекс Мефистофеля. Я обвинил его в том, что он потерял Э. как раз по этой причине: увидел в ней, как в зеркале, свое отражение. Рой знал, какой он внушаемый.

26 октября

Только вчера вечером Р. сказал, что никогда больше не хочет видеть Э., и вот сейчас снова с ней встречается. Я уже серьезно думаю, что он подвинулся рассудком.

Ничего не произошло: разговоры, разговоры.

27 октября

———————

28 октября

Закончилась половина семестра. В обед мы с Флетчером выпили слишком много «Гиннесса». Я напился, меня подташнивало. Глупое пьянство. Вечером с Э. отправились на «В ожидании Годо»; все идут — значит, и нам надо. Но билеты раскуплены на три недели вперед. И тогда мы пошли в кино[513].

29 октября

Близится к концу второе действие второй части «Молодого человека». После обеда спал; прелестный вечер дома. Э. в прекрасном настроении — любящая, домовитая; под конец, раздевшись, жарко обнимались на ковре среди подушек перед горящим камином.

30 октября

Э. в плохом настроении, раздражительная, вспыльчивая; кричит, злится; день погибший. Вечером выпили, обрели временное успокоение.

31 октября

Половина семестра позади. Готовился к беседе с сотрудником отдела информации МСЗП[514] в Брюсселе — учил названия птиц на французском языке. Э. вернулась с работы усталая; снова в скверном настроении — гладила костюм, рубашку и т. д. «Болтушка Вайолет» по радио[515], и сообщение, что Маргарет отвергла Таунсенда[516]. Как глуп мир, и то, что мы тоже должны жить среди этих дураков, меня бесит. Наконец мы оба заснули.

1 ноября

Собеседование на Белгрейв-сквер; попытка устроиться на работу в МСЗП. Напыщенные члены комиссии, час глупых вопросов, понимание с обеих сторон, что это пустая трата времени; моя квалификация — не то, что им нужно. Некоторые вопросы были такими идиотскими, что я чувствовал себя, как Алиса в суде. Непонятно, почему меня оставили в списке. Обедал с Э.; настроение подавленное. Поездка в Эрлз-Корт за адресом квартиры от агентства; прочел отрывок из издающегося сериями морского романа «Корабль ее величества “Одиссей”» — чушь несусветная, за которую автор получил 60 тысяч фунтов еще до публикации[517]. От этого становится тошно.

2 ноября

Начало занятий — чуть ли не радость. Кошмар, когда рутинная работа кажется оазисом.

3 ноября

Отправились на вечеринку к молодой паре; у хозяйки дома сложились нежно-сентиментальные отношения с нашим соседом Дж. Мэнселлом. Скучное сборище; все говорят только о себе, своей работе, enfin[518] о своем ничтожестве. Дж. М. — амбивалентный человек, он режиссер на Би-би-си, двуязычный (английский — французский): в Англии демонстрирует блестящий французский, а во Франции (не сомневаюсь) блестящий английский. Большой дипломат — настолько, что изо всех сил старается это скрыть. Такой приятный соглашатель далеко пойдет; чтобы уметь угождать, нужно быть умным, но этот

рост горизонтальный — не вертикальный[519].

Молодые супруги, Сью и Дэвид Харли, эксцентричная и печальная пара. Сью невысокого роста, хорошенькая и энергичная; он — бесхарактерный, симпатичный, плывущий по течению. Мелкие люди. У жены и Дж. М. психологическая близость, иногда переходящая в физическую — чуть ли не на глазах у мужа. Она каждое утро звонит Дж. М.; я слышу, как они сговариваются вместе пообедать. Часто она одна навещает его здесь. Не знаю уж, какие утонченные вещи открылись этому треугольнику, но мне вся эта история представляется довольно грязной. Для меня люди, живущие вместе без любви, — всегда грешники.

4 ноября

Пятница. Еще один тяжелый вечер с Э. Как же она эмоционально неустойчива — как птица перед перелетом! Скорбный ужин из печеной картошки — нашего главного продукта питания.

5 ноября

Суббота. Утром работа над «Молодым человеком»; третий акт скучноват, тяжеловат, педантичен. И грубоват. Надо еще корпеть и корпеть! Магазины, уборка, приготовление обеда. Остаток дня дома. Мирный, приятный вечер. Детские пьесы Бартока; Э. читает Кестлера. Набросал вчерне кое-что для конкурса, проводимого «Обсервер», — нелепый рассказ. Не могу позволить себе упустить шанс, хотя это гнусная проституция.

7 ноября

Понедельник. Зима на пороге, и все сопутствующие ей сомнения.

8 ноября

Вторник. Читаю «Имморалиста» — произведение большого мастера. Безнадежно увяз в третьем акте. Э. ходила к врачу; он сказал, что она нуждается в помощи психиатра. Думаю, нормальному человеку она должна казаться ненормальной. Мне жаль того психиатра, который будет ее лечить. Он не найдет ничего, о чем бы Р. или я ей не говорили, — или того, чего бы не знала она сама; и все пойдет по-прежнему.

Днем (в воскресенье) встреча с Р. Пили кофе в кофейнях неподалеку от Бейкер-стрит. Разыгрывали персонажей из «Huis Clos»[520]; теперь мы оба видим ситуацию достаточно ясно и сходимся в ее оценке. Но Р. проделал большой путь; даже не принимая во внимание его жалость к себе и самогероизацию, он действительно раздавлен случившимся, и мне, пожалуй, впервые искренне жаль его. Мы морально заключены в неразрешимую ситуацию: он не может вернуть Э., я не могу ее отпустить, так как

между Э. и мною — таинство любви. У Р. есть только два человека, с которыми он может советоваться. Дж. Лиделл — в Индии. Остаюсь я. Думаю, мы способны поговорить обо всем глубоко и дружественно; он расскажет мне о пустоте своей жизни, и тут я — главный виновник. Поговорим, словно знаем, что являемся жертвами самой жизни, чувств, ситуаций, личных качеств. Печально и благородно примем эквивалент двадцатого века — marriage mondain[521] восемнадцатого. Раньше удавалось спокойно существовать в условиях извечного треугольника; нам удается спокойно думать о нем.

Кое-кому все это показалось бы и покажется, если станет известным, невероятным. Для мещанской морали, знающей только сложение и вычитание, наши проблемы — из области высшей математики.

12 ноября

Неожиданно заметил свое отражение в окне автобуса. Был вечер. Тревожные складки между бровями. Попытался изменить выражение лица, чтобы их разгладить. Но они не пропадали.

Закончен второй вариант «Молодого человека». Третий акт по-прежнему никуда не годится. Для меня основная трудность в драматургии — разговорная речь. Надо сделать героев не просто сочинителями эпиграмм или интеллектуальными истуканами, а заставить зрителей их полюбить. Это трудно, если они увлечены идеями и абстракциями. Иногда у меня что-то получается, а иногда все ускользает и результат нулевой.

Подруга Э. устраивает большой прием, и мы приглашены. От одной мысли об этом мероприятии меня подташнивает. Расстраивается желудок. Не понимаю, почему я заранее беспокоюсь. Но сотни глупых мыслей не дают спокойно жить — что надеть мне, что Элизабет, как отнесутся к нашим незаконным отношениям. Что это будет за вечер — сумею ли я произвести хорошее впечатление и т. д. и т. п. Я напрочь лишен эгоцентризма, но чудаковат. Мне очень важно, как меня будут воспринимать.

Ужасная вечеринка. Пустые, примитивные люди, почище махровых мещан. Чудовищный дом в тюдоровском стиле; невротичные родители, двое невротичных детей и около пятидесяти вульгарных, шумных, скучных гостей. Дрянная позолота. Танцы под убогий джаз; что до меня, то я отчаянно искал хоть какого-то интеллектуального отклика. Особенно отвратительна на таких вечеринках звериная борьба за партнершу по любовным утехам, и как финал — поцелуи в полутемной гостиной. Мы с Э. сидели в комнате, переоборудованной в бар, болтали с русским танцором и ждали, чтобы кто-нибудь отвез нас

домой. У пригласившей нас хорошенькой девушки непоследовательность печального клоуна — мимолетный, фривольный шарм. Ее испортил неудачный брак родителей и деньги, из-за которых они не могли расстаться. Тоскливо-безучастный взгляд ее серых глаз. На таких вечеринках хорошо видишь, как отвратителен средний уровень горожан. Пустота, пустота, пустота.

25 ноября

Еще одна вечеринка — у семейства Арда. Он — подающий надежды штатный сотрудник «Таймс». Время проходит за разговорами — все поголовно карьеристы. Разговор начинается с вопроса: «Чем вы занимаетесь?» — подспудно сквозит: можете ли вы быть мне полезны? стоит ли напрягаться и производить на вас впечатление? ваша работа лучше моей?

Я сказал, что моя работа легче легкого.

11 декабря

Грипп. Лиз болеет. Я на грани. Она в ужасном настроении — мрачная, упрямая, отчаявшаяся. Я же слишком нездоров, чтобы реагировать. Вчера вечером она разгромила «Исследователя» — над ним нет смысла продолжать работать. Герои мертвые, стиль плохой, годится только для женских журналов и прочего чтива, и все в таком роде. Что до книги — она права и не права, но ее манера высказывать свое мнение слишком уж резкая. Для писателя губительно иметь рядом такую женщину. Помочь может критика, но не полное отрицание.

В общем, наше положение неумолимо нас душит, словно некое средневековое орудие пытки. Давление растет, и однажды раздастся вопль или брызнет кровь, и мы произнесем наконец правду.

Финансовая сторона не лучше, жить от жалованья до жалованья — то же, что вести грузовик с нитроглицерином. Стоит одному сделать неверное движение — и нам конец. Прочитал в местной «Саутенд стандард» о Майке Тернере, «прекрасном» молодом юноше из привилегированного учебного заведения, замешанном в грязную нелепую историю, дошедшую до суда; это касалось денег, взятых взаймы у проститутки. Пожалел его от всего сердца. Знаю, как это бывает, и боюсь этого. Что будет, когда дойдет до развода?

Но я не оставляю надежду. Что-то случится. Мы не перестанем бороться; это трудный процесс. Существование — это крутой склон.

1*5 декабря*

Грипп; гнусная болезнь. Поражает все тело. Невозможно сосредоточиться на чтении, невозможно спать ночью, невозможно

писать. Кошмарная болезнь; тело источает зловоние, миазмы. Э. работает каждый день; я слушаю радио, но вся эта фальшь и банальность может довести до безумия. Удивительно пошлые и лживые голоса. И ужасная, грубая поп-музыка — слабоумные певцы поют идиотские песни. На Би-би-си все говорят так, будто они старше и умнее слушателей, но изо всех сил стараются не показать этого; должно быть, существует некая корпоративная теория радиовещания. И скрытый подтекст, что все несерьезные вещи на самом деле очень важны. Когда я болел, абсурд по ночам вторгался в область разумных понятий — таких, как жизнь и смерть, казавшихся совсем несерьезными. Однажды все разрешилось ко всеобщему удовольствию. Чем абсурднее проблема, тем быстрее она поддавалась решению. Той ночью я крепко спал.

После гриппа я чувствовал себя старой развалиной, но прежние желания болезнь не убила. Я безуспешно пытался писать. Выходила полная ахинея. Мысли путались, я был подавлен. Меня не покидало ощущение, что ничего не меняется и предо мною маячит призрак бедности. Прочитал «Жезл Аарона»; то, что Лоуренс писал легко и никогда не перерабатывал написанное, меня расстроило. Слова изливались ровным (с его точки зрения) потоком. А я чем усерднее, чем тщательнее пишу или стараюсь писать, тем более банальным и плоским становится текст.

У Л. была idée fixe[522] и любимый прием (повторение), но главное — его отличает пылкость письма; создается ощущение, что все выплескивается одновременно, и это дает острое чувство жизни — естественные роды, не кесарево сечение.

19 декабря

Продолжаются непонятные последствия гриппа — нарушена связь с прошлым и будущим. Полная неспособность надеяться на лучшее — ужасна эта утрата дара надежды. Отчаяние принимает угрожающие размеры; смягчает положение лишь жуткий праздничный период. Чувствую себя совершенно потерянным — не могу ни писать, ни думать и зеленею от зависти к чужим успехам. Как остро мы нуждаемся в деньгах! Но заработать их совершенно невозможно. Не могу представить, чтобы я получал больше 550 фунтов в год. Но я приложу все силы, чтобы их заработать. В разгар зимы всегда депрессия, однако эта самая тяжелая за много лет.

27 декабря

Еще одно Рождество дома — еда и питье, еда и питье. Подолгу сидим, говорить не о чем. Каждый раз, приезжая, я с поразительной отчетливостью вижу их все более заметную

незначительность, язвительность. И, цепенея, никак не могу скрыть свое отношение. Между нами непреодолимый барьер — как кусок льда, ничто не может его сокрушить. Я приехал, собираясь рассказать им об Э., сознавая, что это будет пробный тест — что-то вроде исповеди. Но они совершенно не способны понять все сложности нашего романа. Кроме того, есть Хейзел, она простовата, бледна, печальна, маленькая старушка. Мой плохой пример удвоит для нее, увеличит трудности достижения плотского счастья. Ужасно боюсь, что родители постараются воспитать ее в еще большей строгости и с еще большими роковыми последствиями. Был страх, что они вообще ничего не поймут или поймут не так; боюсь даже того, что вдруг они захотят помочь. В любом случае мой рассказ будет принят враждебно.

Я почувствовал упадок воли. Меня охватило раздражение при мысли о наших бездарных отношениях. Вспомнились с тем же раздражением трудности сочинительства, муки при рождении замысла и та беспорядочная тягомотина, которая получается, когда я пытаюсь облечь мысли в слова. Раздражало писательство и потребность в нем, раздражала бедность, на которую я себя обрек. Раздражало то плохое, что Э. упорно вносила в наши отношения, — отношения, которые не разрушались, но которые она не давала упрочить. Она отказывалась сделать важный шаг и, уставая от меня, виделась с Р.

Сейчас все это мне было противно.

Я уже не говорю об универсальном, метафизическом отвращении, охватившем меня; о бессмысленности жизни, материи, разума.

5 января 1956

Работаю над «Исследователем». Половина готова. Сыро и скучно. Выдумываешь что-то. Исторгаешь из себя. И оно начинает жить своей странной жизнью. Здесь получает нужный заряд, там теряет силу. Все равно что реанимация трупа. Я знаю только одно: костяк хорош. Вот плоть мне сопротивляется. Плоть и кожа.

10 января

Книга о Греции: три издателя ее отклонили. Коллинз проявил интерес к моей будущей работе; Секер и Варбург готовы еще раз после переделки ознакомиться с нею. Думаю, она станет еще хуже. Я перешел границу между тем, что хочется написать, и тем, что от тебя требуют. Одно ведет к другому.

Перспективы довольно мрачные. Чтобы книга пошла в печать, требуется не только время. Нужно иметь терпение. Я никогда не бываю удовлетворен; сохраняется постоянный разрыв между самокритикой и реальностью. Очень редко удается удовлетворить

свое высшее «я».

И все же надо идти этим путем. Нельзя творить, замыкаясь в себе. Надо действовать.

Вечер с Денисонами, нашими хозяевами. Собрались все жильцы — две студентки-медички, литератор, пишущий для телевидения, Дж. Мэнселл, мы; не дружеская вечеринка, а комический кошмар. Д. — ужасный зануда — из континентальных (его происхождение, как и английский язык, — разномастная смесь), кожа, как слоновья шкура, и колоссальная пошлость в словах и мыслях. Как будто мемориал Альберта воплотился в человека. Он безостановочно говорит очевидные вещи — ужасно медленно, обстоятельно. Люди из континентальной Европы не понимают, что искусство английской беседы — в подтексте. Этого толстяка-коротышку уговорили играть на пианино — он отказывался, но как-то неубедительно. Играл Брамса, Шопена — в замедленном темпе и фортиссимо. Барабанил что есть силы по клавишам, а стул тем временем потихоньку отъезжал, сокращая место для его пухлого зада. Мы с Э. с трудом сдерживали смех. Остальные безостановочно несли всякую чушь о национальностях и влиянии климата на характер и уже ничего другого не воспринимали. Дж. М. — почти такой же зануда, как Денисон; он подсмеивается над хозяином, но лет через двадцать пять сам станет таким же.

8 января

Вновь прибегаю к своей излюбленной тактике — меняю коней на переправе; на середине романа о Фарнеби. Только что закончил длинный рассказ. Теперь хочу писать пьесу. Руки чешутся — как хочется к ней приступить; растет уверенность, что мой замысел лучше всего передать драматургически. Эти герои могут раскрыть себя только в репликах.

Хочу написать пьесу о человечестве — старик в своем доме, поток беженцев. Его ненависть к людям. Плодиться как кролики — глупость.

И еще комедию. Тема — принцесса и шут. Лоуренс и человечество. В духе современного театра. Пьеса о Тезее слишком большая и сложная — с нее нельзя начинать.

Грейвс «Греческие мифы». Наслаждаюсь книгой, как вкуснейшим пирожным, откусываю по крошечному кусочку. Бесконечно поэтическая, рождает множество реминисценций. Каждый миф и комментарий — как поэма. Жаль, что в молодости я не изучал их — не могу припомнить все тонкости.

Получаю также большое удовольствие от чтения OED[523] — невероятная прелесть слов. Читаю словарь медленно, ничего не пропускаю. Добрался только до середины буквы «С». Но жизнь

длинная.

8 февраля

Увяз в романе о Фарнеби. Нужно писать его от третьего лица — требуется аналитический подход. Никакого самоанализа — природа двадцатого века восстает против этого. Если все же от первого лица, то им должен быть холодный, безучастный человек, не вызывающий никакой симпатии. На это нужно время. Я не могу писать урывками, когда работаю в колледже, а вечерами трудно сосредоточиться при Э. Теперь вроде жизнь как-то входит в колею. На прошлой неделе встречался с Р., говорили о разводе; по его словам, он начинает бракоразводный процесс. Но для этого нужно 60 фунтов, и я их должен найти. Подозреваю, что он попытается вообще избежать расходов. Мы, как и раньше, большие друзья; он доброжелателен, полон энергии и человеческого расположения, и теперь, когда битва окончена, я способен это оценить. И все же эта жалость к себе и огромная поглощенность собою при полном отсутствии творческого начала — просто косность, отвратительное свойство. Я всегда рад его видеть, но расстаюсь с ним тоже с радостью.

Джейн Остин. Странно, но мужчины не могут проникнуть в ее мир; они скользят по другую сторону стекла. Женщины находятся под стеклянным колпаком, а мужчины снаружи. Чистота Элеоноры в «Чувстве и чувствительности»; сплошное благоразумие. Холодна как лед, однако самодовольство поразительным образом отсутствует — и осуждается. Она не просто старается быть правильной, она на самом деле такая. Когда характер выстроен подобным образом, то все проявленные героиней эмоции (или чувствительность) обретают необычайно притягательную силу. Привычное удовольствие от созерцания порока завершается торжеством добродетели. Одной добродетели недостаточно. Чтобы ее оценить, мы должны пресытиться пороком. Ничто не привлекает по-настоящему, пока долгое время не имеешь дела с прямо противоположным. Этот принцип может быть распространен на любой вид искусства.

10 февраля

Исключительно холодная погода; свинцовое небо и крупа непрерывно летящего снега. Каждую ночь мне снится юг и зеленые острова.

Литературный журнал «Стэнд». Чудовищная поэзия — сплошные интеллектуальные бредни[524]. Поэзия — это позиция, не результат ухищрений ума. Ничего общего со словесным жонглированием, усложненностью, неопределенностью. Поэзия — это тон голоса. У этих поэтов его нет. А то, что у них есть, — неясный, безжизненный голосок с вкраплением ликующих нот;

ликующих, потому что в их языке есть стилизованные архаизмы, и это создает эффект экстаза.

Поэзия должна быть искренней, в ней должна биться жизнь. Пока этого нет, она ничего не стоит.

Два замечания относительно моей поэзии — она все больше мне нравится. Тревожный знак — иногда стихи кажутся исключительно хорошими. Не могу поверить, что они действительно так хороши, и потому остается предположить, что начинается возрастная эгомания.

И еще — когда пишу приличные стихи, не могу пребывать в нужном состоянии больше часа или около того. Нет достаточной поэтической выносливости. Любопытно, но и в остальном я такой же. Хорош в одной попытке — по словам Э., очень хорош, но повторения мне не нужно. Не могу вообразить счастливую ночь любви — только счастливый час любви.

14 марта

Plus c'est la meme chose[525]. Через три недели мне тридцать. «Важная веха», как говорит мать. Трудно отрешиться от иллюзий. Но даты при солнечном свете — не вехи; мой ориентир, к которому я иду по нескончаемой пустыне, — литературный успех. Пока я еще в пути — играю на флейте, мечтаю, плыву по течению, парю в воздухе. Жду, пока оформятся или проступят в тумане стихи; тогда я ловлю их, заношу на бумагу или отвергаю. Поэзия очень похожа на энтомологию. Оценочная таблица, мнение широкой публики; вызревание гусениц. Поэтическим гусеницам требуется время; они жадные до времени.

Мою пьесу в духе commedia dell'arte[526] заволокло туманом; слишком легкомысленная, слишком пошлая.

Роман отодвинут и заброшен.

Мы с Э. переходим от любви к невротической ненависти — в основном из-за бедности: грязная пустая квартира, перспектива бесконечной ненавистной работы.

Но я совсем не ощущаю себя на дне — теперь амбивалентное чувство. Не знаю — то ли мне еще долго опускаться, прежде чем утонуть, то ли еще долго всплывать.

31 марта

Тридцатый день рождения. «Что тут скажешь», как говорят преступники.

На Пасху разъехались: я — домой, Э. — тоже к родным. Не могу сказать родителям правду. Я трус. Но с ними бессмысленно говорить. Если в семье есть дети намного младше старшего, семейные отношения рушатся. Не знаю, как совместить два мира — тот, подлинный, в котором живу, и тот, вымышленный, в который верят они. А ведь я им не лгу — разве что случайно.

8 мая

Сегодня приходил частный детектив. Седой, вежливый, приятный мужчина, очень методичный и совсем непохожий на сыщика. Он усердно записал все, что касалось нарушения супружеской верности, и дал нам подписать. Мы вывалили на него разные факты, он их переварил и изрыгнул в нескольких односложных предложениях. Наверное, бывший полицейский. Это меня взбодрило; Э. выглядела взволнованной, но детектив был сама любезность. Нелепо, конечно, что любовь и личные отношения контролируются обществом; такие глубокие вещи рассматриваются наивно и механистически. Вот как он описал греческий период наших отношений: «Мы подружились и полюбили друг друга». Я подумал, не стоит ли немного защитить себя, но, учитывая природу нашего судебного дела, нам вряд ли нужно тревожиться. На врученной детективу фотографии мы выглядели до безобразия распущенными — снимок был с танцевальной вечеринки, очень плохой и не соответствующий действительности: судья мог подумать о нас бог знает что. Но, по словам детектива, за одно утро в суде проходит 125 дел — так что причин для беспокойства нет. Разве только финансовые.

14 мая

Скандал с Э. В заключение, как обычно, пошла речь о том," кто чего стоит; именно это позволило мне во время одной из таких домашних войн, когда все аргументы приведены и сказать больше нечего, понять очевидную истину о себе: фрейдистскую истину. Я всегда ее знал, но никогда — с такой объективностью. Уже несколько месяцев подряд я ощущаю утрату воли и интереса к жизни; написал изрядное количество стихотворений, но все это время сохранял полную неспособность к борьбе, действию. Своего рода паралич, при котором только из поэзии (имею в виду энергетику) я черпал свободу. К пьесе и роману не притрагивался. У меня было несколько вещиц, которые я мог бы попробовать напечатать, но чувствовал полную неспособность покинуть берег этого заколдованного острова. Думаю, поэтому сцены с Цирцеей в недавно вышедшем плохом фильме об Улиссе показались мне такими яркими[527].

До корней этого состояния я не докапывался. Но смутно понимал, что это самонаказание, что-то вроде раскаяния грешника, nostalgie de la boue, потребность падать дальше, стать неудачником, даже прогнать Э. и остаться снова в одиночестве; своеобразное очищение, смешной, но нужный ментальный процесс, в основе которого необходимость извергнуть из себя все дурное, лишнее. Тот самый пуританский мазохизм, к которому я всегда питал отвращение из-за его несоответствия греческому

началу.

Теперь я вижу, что в какой-то степени истоки этого залегают в моем отрочестве, когда я был так одинок, что подолгу мастурбировал, и это в конце концов сделало меня самодостаточным, как Робинзон Крузо, закрытым, как ручейники. Я не нуждался в контакте с окружающим миром — внутренний мир покорил меня первым, прежде чем я стал самостоятельно мыслить. Мне пришлось вырваться из этой крепости, понять, что те метафоры, к которым я прибегал, чтобы обрисовать движение вперед (путь к вершине трудными тропами или игнорирование дураков, копошащихся в предгорьях и подсмеивающихся над теми, кто ниже, вроде меня, — хотя у нас просто значительнее цель), — всего лишь эгоцентрический бред.

Не знаю, почему раньше я не понимал этой глубокой фрейдистской правды о себе. Хотя между знанием и пониманием — пропасть. Этот дневник, конечно, agent provocateur[528]. Но было бы негодным упрощением представить мое развитие как борьбу здорового экстравертированного начала, способного на действия, решения, нужные для издания моих произведений, с живущим в моей душе порочным волшебным островом. Этот остров придется покинуть. Однако сделать это можно, только построив плот из материалов, найденных на нем; сам остров должен помочь мне с ним расстаться. Невозможно убежать от Цирцеи без ее помощи.

27 мая

Ужин с Арда; жена нам нравится; он наивный, неуклюжий, самоуверенный молодой человек, она относится к нему по-матерински. Завязался метафизический спор, в котором я — по словам Э. — «важничал». Совсем не годится чувствовать превосходство над людьми, которые гораздо больше преуспели в жизни. Потом пришел Дж. Мэнселл и заговорил в своей обычной невыносимо важной манере об Алжире. Меня тошнит от мысли, что один из них — парижский корреспондент «Таймс», другой — режиссер на Би-би-си, а я все еще никто.

Однако сравнение с ними неправомерно — они карьеристы. Накипь.

15 июня

Нахожусь в (безумном!) периоде оторванности от всего, чем восхищаюсь, на что надеюсь, чего хочу Как будто сам из себя изгнан. Не пишу, потому что не хочу. Не говорю того, что хочу, и так, как хочу. Что-то подтачивает меня. Чувство беспомощности: если это процесс, то с ним ничего не поделаешь. Не знаю, откуда пришел этот фатализм; точнее, где он находится. Откуда он взялся понятно: источник — моя ленивая, робкая, онанистическая

сущность; люблю поныть, пострадать. Но мне это известно; не стоит так много об этом думать. Из-за своего нутра я не пытаюсь печататься. Если меня так никогда и не напечатают, мечта разобьется вдребезги; если напечатают, произойдет то же самое. По этой же причине я ничего не предпринимаю, чтобы улучшить наше материальное положение. Словно находишься с завязанными глазами в одной комнате с жестокими Эвменидами; каждый раз, когда делаешь шаг вперед, тебя останавливают, толкают назад, изматывают. Постоянно изматывают.

14 июля

Встретил Ронни Пейна — не видел его несколько лет: удачлив, надежен, занимает блестящее положение[529]. Совсем не изменился, очаровал Э. (я же был очарован его довольно молчаливой и доброжелательной второй женой; на самом деле, думаю, все были очарованы друг другом) и развлек меня. Всегда чувствовал, что он поверхностный человек; не знаю, может, такое предубеждение мешает мне взглянуть на него объективно. И все же это чувство по-прежнему сохраняется: в практических вещах он гораздо старше меня, но, по сути, много моложе.

У меня не было острой зависти к нему, которая, как я предполагал, могла появиться. Но не появилась; я начинаю быть самим собой.

Они также первые за несколько лет люди, которые понравились одинаково и мне и Э.

Методика победителя. Мне незнакома эта наука; ей нужно учиться; заучивать слова; лгать — лгать все время. В литературе можно изображать только правду иллюзий. Требуется не искренность (которая у меня есть), а иллюзия искренности. Так в музыке некоторые паузы дают большее ощущение тайны, экзальтации, трагедии, чем сама музыка. Собираюсь завести тетрадь специально для литературных заметок, эту же оставить только для личных записей.

Все, что я делаю, чувствуя: это не то, что мне следует делать, — есть бездействие.

21 июля

Вечеринка у Лавриджей в одном из особняков поздней викторианской архитектуры на Уэст-Хит-роуд; присутствовал весь штат сотрудников — взгляды слегка смущенные, неестественные. Э. принарядилась, я тоже. Атмосфера светской рассеянности. Лицом старик Лавридж гротескно напоминает девушку из «Дороги» — те же забавные брови, невнятность речи и ясная, невинная улыбка безумца; он словно импозантная маленькая птичка; готов прощебетать песенку или рассмеяться в самый неподходящий момент. Я заговорил о миссис Клэр Льюс, после

Соединенных Штатов в Италии, получившей отравление из-за зеленой краски, которой была выкрашена ее спальня, — в состав краски входил мышьяк[530].

— Она могла подцепить это в зоопарке, — с важностью произнес старик.

— В зоопарке?

— Мышьяк бывает в зоопарке.

— Мышьяк?

— Мышьяк.

— В зоопарке?

— Часто бывает в зоопарке.

— Мышьяк?

Его ясное личико просветлело. «Мышь-як», — прошептал он и запрыгал на месте, счастливый как ребенок, — я же как мог пытался скрыть свое замешательство.

Лавриджи — странное семейство; напичканы неовикторианскими предрассудками и в то же время порядочные люди — почти в квакерском понимании. На вечеринке присутствовал работавший при колледже садовник, а также все уборщицы. Хотя я хорошо знал садовника, но несколько раз за вечер задавался вопросом: кто этот хромой человек. Предрассудок застилал мне глаза. Только под конец вечера я понял, кто он. И сожалел, что не поговорил с ним. Комплекс сеньора — снисходительно-любезное отношение к низшему по положению в обществе.

Мы выпили страшно много: каждый — двенадцать или пятнадцать коктейлей с джином. Потом поехали на квартиру к Маготьерам[531] — там Э. стало плохо. Она упала в туалете, обрушила какие-то дощечки и ползала среди них — кто-то вошел, она не заперла дверь. Я увидел ее, когда она уже лежала на кровати хозяев. Лучшего повода для шуток трудно придумать. Пошатываясь, мы побрели домой (такой пьяной она еще никогда не была), там я раздел ее и уложил спать. Однако утром она отправилась на работу; Дионис выявляет лучшие черты в ее характере.

Гарбо, «Камилла». Какое лицо! Почти платоническое — идеальное женское лицо. Кроме того, Гарбо — замечательная актриса, она раньше всех поняла особенности кино; и голос у нее необыкновенный. Загадочная красота, восхитительный каприз природы — один шанс из всех человеческих жизней за пятьдесят лет.

28 июля

Эткер, моя ученица-турчанка, — худенькая, стройная девушка с несообразно пухлым розовым лицом и исключительно

красивыми глазами — лучистыми, сияющими, искрящимися умом. Сама она некрасива, но глаза необыкновенные; и замечательное чувство английского языка. Делает ошибки в грамматике, но в то же время перевела несколько стихотворений Орхана Вели так хорошо, что редактура не требуется[532]. На мой взгляд, у нее есть все, чтобы стать хорошим литератором. Я посоветовал ей писать, познакомил с творчеством Мэнсфилд; очевидно, что та близка ей. В такой стране, как Турция, для Эткер должно найтись место в литературе. На прощание она подарила мне tribouki скатерть, и пластинку с турецкой народной музыкой. Подозреваю, она чувствует, что я что-то привнес в ее жизнь, — возможно, укрепил в желании писать самой. Тронут и смущен; она одна из немногих достойных людей, которых я знал; особенно удивительно, что я встретил ее в Св. Годрике.

5 августа

День на природе; нервный срыв, который требует лечения. Природа — одна из главных ценностей в моей жизни; подозреваю, что на самом деле на природе я скучаю, и все же не могу жить, чтобы иногда не испытывать себя ею.

Весь день, пока мы добирались до Грейт-Миссенден, лил дождь; унылый пригород затянуло влажной пеленой. Но у Чилтернза брызнуло солнце. Восхитительно это возвращение в мир детства, ничего не забыто, разве что некоторые имена, но зато ярко вспоминаются отдельные случаи, прекрасные виды, звуки. Лоскуты полей, лесные уголки — все так знакомо, так невыносимо дорого, как Моцарт, Мариво, Джойс или Донн. Когда живешь вдали от сельской местности, то остро чувствуешь возвращение на природу; обычное видится как чудо — даже самые распространенные цветы и птицы.

Паника вокруг Суэцкого канала[533]; чудовищная агрессивность тори; неуклюжие действия великих держав. Допотопное маневрирование двух гигантских вымерших монстров, слишком глупых, чтобы удерживать в крошечных головках больше одной мысли; борьба. Ну а мы блохи на хозяйском теле — такие же беспомощные. Англия заняла безнадежно безнравственную позицию; осталось только сражаться; руины по крайней мере скроют британскую наготу. Если меня призовут, я откажусь участвовать в этой военной акции.

18 августа

Джон Осборн «Оглянись во гневе». Пьеса гораздо лучше, чем я ожидал; она превосходит все, что создано литературным движением, возникшим после выхода «Счастливчика Джима».

Меня покорила добротность диалога — талантливого,

горького, злого; это смерть для старых словесных и умственных клише лондонской школы. Критики неправильно оценили пьесу; недостатки — в теперешней постановке, а не в характерах или сюжете[534]. Конечно, Джимми Портер видит вокруг себя только пустоту и грязь жизни. Но если у вас хорошее зрение, вы любите свет и открытый воздух, а вместо этого торчите в дрянных кирпичных коробках, в голову лезут мысли совсем не о строительстве.

Это пьеса-предупреждение: близится ломка в умах. Меня пьеса тоже задела — а ведь в течение долгого времени меня ничто по-настоящему не трогало.

25 августа

Переработал половину «Джокера» — теперь название «Волхв». Композиция меня устраивает. А вот в технике постоянные погрешности; нашествие клише. Нужно каждое предложение подвергать тщательному досмотру. Все ли в нем так уж необходимо? Достаточно ли оно емкое? Все ли ясно? Отточено? Нет ли клише? Обычно есть.

7 октября

Собственный стиль; пишу второй вариант «Волхва». За последние пятьдесят лет столько всего развенчано, опровергнуто, ославлено как пустое и претенциозное, что это оказало пагубное влияние на самые разные стили; им всем необходимо очищение — особенно на смысловом уровне. Стиль должен быть более искренним, приближенным к разговорному языку, живым, четким. Энергичным и смелым — как у Руссо, Пипса, Хемингуэя, последователей «Счастливчика Джима»; ясным, чистым, неакадемическим; главное — неакадемическим и негерметичным. Неясность в *прозе совершенно* непростительна.

9 октября

После всех этих месяцев работы над «Волхвом» мне вдруг открылись параллели с «Бурей»: Просперо, Миранда, Антонио, Калибан.

30 октября

Головокружительная глупость человечества. Сначала Венгрия, теперь Египет. На одной и той же неделе мы льем гневные слезы, осуждая жестокость России, и одновременно начинаем согласованные военные действия против Египта, настаивая, что нынешние условия требуют международной интервенции[535]. Тори добились только одного: теперь последующие сто лет арабы будут ненавидеть Англию и Францию. И что хуже всего: причина глупейших действий России и Англии в тщеславии горстки людей — таких как Хрущев и Иден: ведь они могут делать историю. Зло приносят не великие

люди, а ничтожества, которые пытаются быть великими.

9 ноября

В учительской Св. Годрика Флетчер пересказывал бредовые идеи тори глупеньким дамочкам; я хотел было вмешаться, начать спорить, но подумал: а какой в этом смысл?

Начинаю понимать тридцатые годы; теперь я мог бы отказаться от многого. Казалось, я возвысился над миром политики. Даже к египетским событиям мог относиться бесстрастно; эмоциональная позиция бестолковых либералов помогла этому.

Но Венгрия не выходит из головы.

Нам никогда не смыть эту кровь.

* * *

Выставка Брака — попадаем на нее буквально за час до закрытия. Полно людей, которые явно не понимают того, что видят, и ходят ощетинившиеся от непонятной обиды.

А картины прекрасны; Брак все-таки лучший из всех. Во многом потому, что у него неповторимая крестьянская манера: никаких интеллектуальных выкрутасов, головоломок. Собственное видение вещей, мастерство на грани гениальности. Цвета безупречные, гармоничные; формы мощные, округлые, жаркие, цельные, земные, как женщины Майоля. Его можно назвать вдохновенным сельским художником.

Одна из великих задач искусства — это обретение душевного покоя; главное очарование живописи Брака — не броскость, а обращенность внутрь. Нужно видеть Брака и войти в этот покой. Или, говоря другими словами, его картины не против того, чтобы их видели, они не бросаются в глаза, не требуют внимания — они просто существуют; если захотите, можете их увидеть, но они живут сами по себе, как живут только шедевры (у Пикассо, кстати, таких немного). Думаю, я предпочел бы скорее приобрести картину Брака, чем *любую* работу *любого* современного художника.

28 ноября

Холод, зимний холод, и вновь все тот же призрак бедности, личной неудачи — все то же самое. Комфортабельное отопление, деньги на одежду — пусть даже у вас есть самое необходимое, — считаются настоятельной жизненной потребностью, хоть это и не так. У меня есть только старое пальто с капюшоном, оно такое поношенное и потертое, что мне, несмотря на все произошедшие со мной изменения, стыдно его носить. Э. тоже нужно новое

пальто. Сегодня отдал ей отложенные на квартиру деньги, чтобы она купила себе обувь. По соседству живет ухоженная приличная дама — всегда в веселом расположении духа, всегда счастлива — от одного ее вида тошнит. И от всего остального тоже. Отвратительная медлительность, с какой я работаю; куча исправлений; Венгрия, Египет; печаль Э. На всем иней, черный иней.

30 ноября

Джон Уилли «Мятеж». Ясный, конкретный, отрывистый, кинематографический стиль. Теперь он не кажется мне удачным. Что хорошо для кино, не подходит для романа — он должен выполнять задачи, с которыми кинематограф (даже потенциально) не может хорошо справиться. Передача умонастроений, описания, мысли, мотивы — это не для кино.

Наша ухоженная соседка пригласила нас на новую игру под названием «скрэббл». Проведение вечера за такой глупейшей игрой говорит о скудости ума — на каждый ход затрачивается три-четыре минуты, очень велик элемент случайности. Соседка *потрясающе* медлительна, словно воплотившаяся в человека улитка, просто невероятно.

8 декабря

Еще один журнал — «Новый ученый». По мере того как я взрослею, ностальгически всплывает в памяти прежнее желание быть ученым. Впрочем, не знаю — есть прелесть в том, чтобы знать только главные принципы, основы. Обзор с высоты птичьего полета под силу только непрофессионалу, а я по-прежнему считаю, что лучше быть беспристрастным эрудитом, чем блестящим ученым.

В статье о звуке на меня произвел впечатление поток вращающихся капель — в помосте парапетной стенки с бойницами проделывали отверстия, через которые лили масло; неожиданное для меня открытие: помост, оказывается, выступал вперед на манер балкона и шел вокруг основной стены. Вот об этом я прочитал в «Новом ученом», в разделе удивительных вещей и возможностей.

12 декабря

Встреча с Роем — я боялся худшего, но все прошло как нельзя лучше. Около часу мы говорили обиняками, сидя в отделенной перегородкой от остального помещения кабинке (словно в исповедальне, сказал он) старого, почерневшего внутри от никотина паба неподалеку от Бейкер-стрит, но потом он приступил к делу.

Развод состоялся неделю назад. Однако судья неожиданно постановил поделить судебные издержки поровну. Похоже, это

больно задело Роя, поколебав его веру в справедливость правосудия. Меня поразило, что наши законы о разводе дают возможность выносить такие прогрессивные решения; Роя же возмутило, что общество не проголосовало, так сказать, обеими руками за него. Тут и открылась причина, по которой мы встретились.

Рой считал, что раз я морально виноват, то должен платить один; подумав, он прибавил не слишком убедительно, что, если я откажусь платить, он сможет задержать получение документов еще на восемнадцать месяцев, а также не будет давать денег на содержание Анны.

Казалось, что уплата судебных издержек имеет для него символическое значение. Если заплачу я — тогда он невиновен. Итак, мы вернулись к изначальной проблеме — чья вина? С этого момента я стал выступать энергичнее и, чтобы предотвратить скандал, постоянно его задабривал. Дело кончилось тем, что мы оказались в кафе, сидели и анализировали его жизнь, исходя из того, что, хотя он и гений, ему приходится жить без любви. Под конец он сказал, что не может вымогать у меня деньги, и потому пойдет вновь советоваться с юристами. Расстались мы добрыми друзьями.

Рой не утратил прежнего обаяния и интереса ко всему (пусть это будет самая жесткая критика), что касалось его самого. Мне было его жаль: ведь он совершенно непредсказуемый человек и в борьбе с внешними обстоятельствами может проявить нелепую мстительность и жестокость, хотя по натуре совсем не такой.

И все же — гора с плеч. Первым порывом было написать письмо родителям и все им рассказать, но тогда пришлось бы все рождественские праздники, и без того кошмарное время, обсуждать мои дела; от этой мысли мороз по коже. Самое грустное (это я осознал, когда письмо уже было написано), что я не имею ни малейшего представления о том, какой будет их реакция — полным пониманием или шоком, за которым последует слепая ярость. Поэтому я решил подождать — возможно, поговорю с ними на Рождество, хотя не уверен, что хватит духу. Отношения с ними для меня слишком болезненны. Я их жалею — пусть они остаются такими, как есть, — но не хочу вечно ощущать их недовольство из-за того, что не оправдал надежд Филбрук-авеню.

Самое ужасное — это отсутствие денег. Каждая неделя — победа, каждые десять фунтов, которые я нахожу, чтобы заплатить за жилье, — из области чуда. Когда нет сбережений, все время живешь на нервах. Рождество я ненавижу больше всего за то, что в эти дни денег нужно больше обычного, а у нас их

всегда почему-то еще меньше.

Ненавистное время лицемерия.

* * *

Диккенс — до ужаса огромные вводные предложения. Это самый большой его недостаток. Словно сосешь из бутылочки — постоянно останавливаешься и снова начинаешь сосать.

Нереальность его мира (в «Барнеби Радж») — скучная, традиционная красота, веселость, добропорядочность персонажей. Они существуют только в его воображении — не в жизни. Интересно было бы проследить истоки такой характеризации. Откуда берется этот слишком артистичный, слишком реальный, слишком выразительный, слишком яркий, слишком трагический и слишком комичный мир Диккенса?

А какое великолепие! Перечитывать его — все равно что есть сочного жареного гуся.

20 декабря

Э. и Р. словно персонажи Скотта Фицджеральда. Р. позвонил мне и сообщил, что решил повидаться с Э. и пригласить ее на обед. Все исключительно вежливы друг с другом; Р. пожелал мне счастливого Рождества. Однако кончилось все тем, что Э. позвонила в восемь утра на следующее утро в крайнем смущении: она провела ночь с Р. в его квартире. Сказала, что бродит по Лейсес-тер-сквер. Слезы рекой. Похоже, он ее напоил на голодный желудок и они отправились бродить по привычным для них местам, но под утро дела приняли дурной оборот — он даже пытался ее соблазнить. В конце концов они забылись сном на диване. Проснувшись на рассвете, она ушла.

Я почти не спал. Мне приходило в голову, что Р. пригласит ее в свою новую квартиру на Чейн-уок и попытается наставить рога тому, кто сделал его рогоносцем, но понимал, что это (даже не потому, что у Э. «критические дни») ему не удастся. Я боялся другого — боялся, что ее убили. А остальное уже не приводит меня в ярость. Р. — дитя, а Э., сохранившая прежние привычки менады, подчас не может уклониться от очередной вакханалии. Сейчас она страдает от чувства вины и отвращения к себе (фатализм в духе Золя — Р. утверждает, что ее отец «низкий, упрямый и глупый», а она вся в него) и повторяет, что случившееся хороший урок для нее. Но Э. абсолютно не умеет учиться на собственных ошибках — у ее памяти нет моральных основ. Все вечера с Р. заканчиваются одинаково — отвращением и пониманием глупости такой гуманности, однако потом все

забывается.

Меня уже даже не злят отвратительные проявления мерзости и жестокости Роя — вроде устроенной им в своей квартире выставки фотографий Анны: он лишен доброй воли. Когда человек настолько пустой, от него можно ждать самого худшего.

А я-то надеялся, что Э. научилась хоть как-то держать себя в руках. Угрозы покончить с собой; когда-то они приводили меня в бешенство; теперь я только улыбаюсь. Когда понимаешь, что ничего сделать не можешь, лучше всего улыбаться. Это самый верный и простой — можно сказать, классический — совет.

Рагу. Готовим его каждый уик-энд. Мы могли бы позволить себе и жареное мясо (хотя в этом тоже нет ничего особенного), но нам больше нравится тушеное. Я сам готовлю рагу, и лучше жаркого не ел в своей жизни. Рецепты несколько варьируются, но основа следующая. Поджариваем на масле мясо и лук. Вынимаем и на той же сковородке кипятим некоторое количество воды, добавляя в нее томатную пасту, черный перец и шафран. Кладем на дно керамической кастрюли шалфей и чилийский стручковый перец. Затем — пастернак, лук, морковь, брюкву, каштаны (очень важно), фасоль или лущеный горох, чеснок. Если сезон подходящий — сладкий перец и грибы. Соединив все вместе, тушим в духовке на слабом огне не меньше четырех, а лучше шесть-семь часов.

Небольшой поэтический сборник за 1844–1845 годы в переплете того времени, куда вошли произведения трех поэтесс. У Нормана книжка стоила шесть пенсов. Норман — грубовато-добродушный, неуклюжий, доброжелательный книгопродавец, любящий поворчать, а его магазин — один из самых неряшливых, беспорядочно заваленных книгами и очаровательных магазинов северного Лондона. Чаще всего я хожу туда. Цены у Нормана зависят от его настроения. Однажды он продал мне огромную, великолепную «Историю французской революции для детей» за два шиллинга шесть пенсов.

Среди поэтесс — Фелиция Хеменз, вялая, сентиментальная, поверхностная, интеллектуальная зануда. Однако жизнь она вела довольно активную[536]. Произведения Анны Радклиф не очень музыкальные, но в стихах 1800 года попадаются неплохие отрывки — восхитительные по своей безумной печали и нежному отчаянию[537]. Но лучше всех Фрэнсис Энн Батлер (Фанни Кембл), о которой мне ничего не известно[538]. Одно или два необыкновенно пылких ее стихотворения напомнили мне Луизу Лабе[539], есть и довольно банальные вещи, но дух Сапфо ощущаешь повсюду.

Книги как документы. Все больше ищу в книгах сведения по

психологии, социологии, антропологии, истории. Это значит, что малохудожественные книги часто «полезнее» талантливых и высокохудожественных произведений. Слабый роман 1857 года может рассказать об этом времени больше, чем хороший.

Одна проблема. Какие отношения связывают писателя с характерными направлениями его времени? Взять Радклиф — кто она? Романтик или просто психологически «подстроилась» (как сейчас говорят)? Была ли она жертвой романтизма? (Используешь манеру — Weltanschauung, — и постепенно она становится твоей.) Сколько тут сознательного, сколько бессознательного, сколько личностного и сколько привнесенного временем? Есть только один метод анализировать писателя — антропологический.

Прежде всего — его сущность.

Затем — находится он или нет в гармонии с Zeitgeist, духом времени?

Как часто присутствует дух времени в его произведениях и для каких целей?

Сколько сделано непосредственно на злобу дня?

Если художник гений, насколько может он повлиять на дух времени?

Предположительно ясно одно: не стоит легко отказываться от своей сущности. Сдаваться быстро не стоит. Но это не означает, что нужно не принимать свою эпоху. В исторической цепи она последняя, потенциально должна быть самой лучшей и может дать больше материала для художественного творчества, философского анализа, научных открытий, чем любое другое время.

Но антропологу нужно не это. Ему нужны типичные для этого времени люди.

Хороший человек должен сбить с толку антрополога.

Рождество дома. Теперь по крайней мере есть телевизор, в который можно уткнуться, если донимает скука. Завлекая людей, телевизор постепенно порабощает их, как Цирцея моряков. Даже здесь надо быть Одиссеем. Люди на самом деле — ленивые автоматы, вот что доказал телевизор. Они жаждут развлечений, забав. Частично телевизор потворствует их лени, а частично свидетельствует об их неполноценности, пустоте. Мой отец оправдывается: «Мне больше нечем заняться». Это единственное оправдание; под конец жизни знаешь всю несерьезность идеалистической болтовни о самодостаточности и ценности творческих способностей.

Телевидение демонстрирует свое особое отношение к телезвездам, придавая их чертам нечто зловещее. Это понятно, учитывая, как далеко и одновременно близко находятся эти люди,

а также восприятие зрителей, огромной аудитории.

Утешает размер экрана. Когда каждый на нем размером с куклу, грандиозность невозможна. Величие не передашь на площади менее двадцати пяти квадратных футов. Не хватает еще двадцати одного.

Опять тошнит от всего; первый раз поел с удовольствием только в обществе Э. на второй день Рождества, когда мы встретились вечером дома; я принес с собой мяса и полбутылки скверного испанского вина. Стоит побыть в разлуке день — и никаких размолвок!

* * *

Приобрел две новые книги — антикварные. Издание первых пятидесяти номеров «Тэтлера», стоившее мне всего шесть даймов. Похоже, продавец рехнулся, продав книгу так дешево. Все равно что продать за шесть даймов Лондон 1709 года.

И еще «Collection des Mémoires relatife à la Révolution Française. Mémoires sur les Journées de Septembre, 1792» — яростное, обагренное кровью проклятие в адрес революции; книга вышла в 1823 году. Свидетельства очевидцев, сходные по умонастроению с позицией «Дейли телеграф». Книга изъедена молью, но от этого она мне нравится не меньше, — да и что может быть чище этих дырочек. Такие аккуратные разрушители не могут быть паразитами, как не могут быть паразитами сидящие на цветах пчелы.

У нас с Э. есть некоторые телепатические способности; мы получили убедительные доказательства этого, лежа в нашей односпальной кровати месяц или два назад. Загадав страну, оба назвали Гренландию; из фруктов — дыню. Некоторые другие догадки тоже были очень близко задуманному. Этому может быть только одно объяснение. Рождение мысли сопровождается неким излучением. Часто оно содержит одни общие признаки, и тогда приходится выбирать из них — очертания, цвет, размер или первую букву.

Реципиент должен быть очень пассивным; должен отрешиться от себя и целиком нацелиться на восприятие, должен ждать, пока повторяемая характеристика не всплывет в подсознании. Именно там происходит прием.

Хотелось бы экспериментировать больше, но Э. слишком порывистая. Ей трудно сконцентрироваться и быть хорошим подопытным кроликом.

10 февраля 1957

«Тяжелые времена». Внимательно читаю эту благочестивую, невыносимо правильную книгу — неудивительно, что коммунисты так любят Диккенса; у него, как и у них, универсально-добродетельное отношение к девушкам. Девушкам же это не нравится — становится скучно. Любая приличная девушка с тоски умрет. Но есть и компенсации. Поразительная сцена на террасе у озера, в ней принимают участие двое молодых людей: Том Грэдграйнд, раскусывающий пополам розовый бутон, и Хартхауз, большой мастер по части обольщения[540]. Читая, не можешь удержаться от улыбки — так гениально написана эта сцена, но остальное в книге — журналистика, скучное (и первоклассное) поучение, из-за чего этот прекрасный отблеск запретного мира оказывается по другую сторону великой викторианской стены.

15 февраля

Открытие грустной книги. «Поэтическое наследие Лукреции Дэвидсон» (опубл. 1843); поэтесса умерла в возрасте шестнадцати лет 27 августа 1825 года.

Этому гениальному американскому ребенку удавалось с легкостью писать стихи в духе того времени, вялые, романтические вирши. Благочестивые, изысканные.

Однако есть у нее стихотворение «Жизнь» — такое печальное! В нем за набожностью и отвратительным лицемерием того времени видишь удивительное создание. Симптомы маниакальной депрессии налицо. Это видно. Но «Жизнь» сообщает о поэтессе разные маленькие подробности, и с их помощью она вновь оживает. Девушка сидит в своей комнате и пишет, пишет; лихорадочно ищет слова; она знает, что умрет молодой (они все тогда это про себя знали, но она действительно умерла молодой); она была красива, красива лихорадочной, чахоточной красотой; в своем окне она повесила эолову арфу. Муза арфы.

Два последних стихотворения, написанные, когда она уже знала, что умирает, прекрасны: «Прощание с моей арфой» — замечательный комментарий к ее жизни; связь с внешней средой через самовыражение. «Страх безумия» — поразительное стихотворение.

Оно заканчивается так:

…разгоряченный мозг…
…Остынь, затихни и замри,
Не поддавайся круговерти,
Не дай безумию войти…

Почему стихотворение осталось незаконченным? Очевидная рифма — «смерти». Почему, почему, почему? Оно так и не получило концовки. Замечательная предпоследняя строчка — а еще лучше та, которой нет. Причудливая девушка; она любила тонкую шутку; вся в себе, в своих мыслях.

Напомнила мне о С.

Подобные книги дарят живое впечатление, хотя это и может показаться странным; впрочем, я сам до недавнего времени не мог погружаться в прошлое — тут я имею в виду нечто не совсем обычное, а что-то вроде перехода в параллельный мир. Прошлое — иллюзия, существуют только параллельные миры.

27 февраля

Вчера ездил домой и все рассказал родителям. Они расчувствовались и были нежны, как котята. Первая реакция: ну и дурак же я был, что так долго скрывал наши отношения от них, — а потом подумал: может, именно поэтому они сейчас такие ласковые и понимающие.

2 марта

Сегодня перебрались на новую квартиру — ее снимала наша ухоженная соседка; та переехала в Белсайз-парк. Там ей больше пристало жить.

Прекрасная большая комната окнами на запад — светлая. Мы так долго жили без солнца.

Небольшая спаленка с двуспальной кроватью. Отдельная спальня — неслыханная для нас роскошь. И еще большая кровать.

Мы называем новое жилище квартирой и не лжем; почти не лжем.

Но суета… Просто кошмар; предполагалось, что переезд будет развлечением, а я заболел. Провалялся два дня в постели со странным недомоганием, какая-то необычная лихорадка. Впрочем, Э. сейчас очень добра ко мне.

19 марта

«Беовульф». Свежее впечатление. Написано просто, энергично, мощно, цельно; все общество как на ладони. Такой и должна быть подобная поэзия — заменой эпохи. И тогда в основе последующих археологических дискуссий будет поэма, а не сама эпоха.

И еще современное, искреннее отчаяние от того, в каких условиях пребывает человек; густой, темный фон, на котором льется кровь, звенят деньги и мельтешат викинги.

Э. привела в порядок квартиру; я покрасил пол. Стены белые, чуть сероватого оттенка с намеком на серебристо-салатовый. В прошлом месяце мы купили антикварный стул; вставили в рамки картины. Гелиогравюру рисунка Мерийона[541]. Репродукцию

Модильяни. В прошлое воскресенье ездили домой; застолье, обжорство, болтовня. Родители, похоже, были рады. Э. необычно вежлива; нервный отец и ни на минуту не закрывавшая рот мать. Не могу вспомнить, чтобы раньше на столе было столько растительной пищи; блюда следовали одно за другим, потом телевизор, болтовня, кресла, сигареты — и снова за еду. Удушающая атмосфера.

Договорились о свадьбе: в «День дураков», 1 апреля в 10 часов. Но я думаю все переиграть. Не выношу никакой публичности.

22 марта

У меня есть ученица — богатая и вульгарная гречанка из Фессалии. Как она ни старается, ей не удается победить в себе природную верблюжью простоватость. Мне приснился о ней сон. Она — абсолютно голая — стоит и мочится в комнате, где, помимо меня, находится еще несколько человек. «Это все ерунда», — говорит она. Мое безобразное сновидение — из области предательств в снах. Механизм таков: ты составляешь некое смутное представление о человеке. Оно символически отражается во сне. Грубый, неточный символ подсознательно укрепляет впечатление о человеке. Не сомневаюсь, что в этом причина многих необъяснимых антипатий: кто знает, какие страшные сцены разыгрываются в фантастическом мире бессознательного. Основа рационального отношения разрушена; все мы накрененные пизанские башни.

А обратная сторона? Объясняются ли некоторые наши симпатии приятными ассоциациями из снов?

Гречанка вульгарна, но не до такой степени, как теперь, после сна, мне кажется.

Сознание создает пластичные фигуры, мир сновидений отливает их из бронзы.

* * *

Мы с Э. ездили в Кентиш и Кэмден-таун за старинной мебелью; удивительно, как эти места отличаются от Хэмпстеда. Обшарпанные, выщербленные, ужасно грязные дома; играющие на улицах дети. Бедно одетые люди, на некоторых кричащая, аляповатая одежда; лавки старьевщиков, дешевые бакалейные лавки. По словам Э., когда она попросила полфунта сыра, ей несколько раз отрезали от куска, пока не получилось ровно столько, сколько она просила; не так, как здесь, где никто не возражает, если придется немного доплатить. Стоял туманный, в

розовато-голубой дымке день; рынок Кэмден-тауна оживленный, как все рынки, — люди толкаются, смеются, суетятся, глазеют, обманывают, меняются; от всего этого получаешь эстетическое удовольствие. В конце концов, Хэмпстед похож на Париж.

31 марта

Только что добрались до дома. Р. предпринял еще одну отчаянную попытку нас разлучить. На этот раз он пытался убедить Э. пойти к его психоаналитику. Он проходит курс лечения и хотел бы ввести ее в новый круг общения. Я был в ярости. По этому поводу мы с Э. целую ночь ссорились. Прекратили ссору только за час до отхода поезда на Ли. Это мой день рождения. Неспешная поездка по Эссексу; весенняя природа, примулы, зеленая трава. Родители очень добры, взволнованы, полны планов, просто неистощимы; во мне пробуждается чувство вины. Они хотят, чтобы мы все время были с ними, а Э. так бы и проглотили целиком, как прожорливые цыплята. Надеюсь, позже проблем не возникнет. На свадьбу они подарили 50 фунтов. Надо бы вернуть долг Д. Шарроксу. Однако это сомнительно: ведь последние годы деньги были у нас редкими гостями.

2 апреля

Сегодня мы поженились; серенький день, серенький от тумана, но туман рассеялся, когда мы вышли из дома; Э. в светлом желтовато-зеленом костюме, туфлях оливкового цвета, бежевой шляпке. Встретились с Кемпами, которых не видели много месяцев, они совсем не изменились; даже тысячелетие пронеслось бы Для них как неделя. Встретились в Белсайз-парке, выпили. Я нервничал, боялся, что меня увидят, — в колледже никто ничего не знает. Завтра у меня занятия, и мне было бы трудно выносить любопытные взгляды. Но нам никто не встретился, и мы незаметно проскользнули в бюро регистрации браков. Это что-то вроде зала ожидания, на стене картина, складные металлические стулья, большая позолоченная корзина с увядшими цветами; двое мужчин, один со скучающим видом, слегка под мухой, другой весьма обходительный. Глупейший ритуал — короткий и пустой. Из окна виден чахлый садик и больничная труба, посылающая тонкий завиток дыма в бледно-голубое небо. Я заплатил 11 шиллингов 3 пенса, и мы покинули это заведение, направившись по улице в ближайший паб. А оттуда домой, в нашу прекрасную новую квартиру, где нас ждал вкусный обед, «Асти Спуманте», залитая солнцем комната; и рождалось чувство, что быть женатым хорошо; ведь, в сущности, необходимости в регистрации не было — брак не изменит наших отношений, они за пределами антропологии; и все же теперь мы исполнили чаяния, ожидания или надежды других людей — мы

законно сочетались браком, и в нашем взгляде появилось символическое, торжествующее выражение: мы это преодолели.

Кемпы подарили нам мельницу для перца, а подруга Э., канадский архитектор, стремительная, яркая, как хорошая американская машина, — великолепную персидскую вазу.

Итак, мы женаты.

Часть седьмая
СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ В ЛОНДОНЕ

2 апреля 1957

Адлер[542]: я нахожу, что он убедительнее Фрейда; Фрейд исчерпывающ в том, что относится к детству и отрочеству, и бесспорен в той мере, в какой взрослые суть дети их собственного «я». Однако во всем, что в сексуальном плане формирует личность взрослого, Адлер его превосходит. По отношению к собственной работе и сотрудницам Э. оказалась в положении, которое можно назвать классически адлеровским. Это ощущение собственной незащищенности и неполноценности. На днях я, не подумав, дал кому-то наш номер телефона; результат — буйный истерический приступ. Такого рода погружение в невроз ужасно: когда видишь это, кружится голова, чувствуешь, что находишься в другом измерении. Глядя на ее багровое, изменившееся, сведенное криком лицо, я ловил себя на мысли, что передо мной — совершенно незнакомое существо: не только не Э., но и не человек вовсе. Так ведут себя впавшие в неистовство малые дети. Тут было от чего забеспокоиться, но мне кажется, в случае Э. (действительно редком) — это здоровая, самоочистительная реакция: очистительная от владеющего ею чувства неполноценности, не сопровождаемая обычными крайними симптомами истерии. Лучше уж такой взрыв, нежели меланхолия или другие изломы проклятой психики. В то же время ей еще далеко до того, чтобы улицезреть, осознать, смириться с собственной натурой и всеми ее недостатками (если бы только она читала пособия по психологии!).

Она побуждает меня ощущать себя опасно, ненормально уравновешенным, самодостаточным. И убежденным в том, что невроз — ключ к натуре хорошей женщины, в полную противоположность натуре мужчины.

Отчасти ей присущ общечеловеческий невроз наших дней — невроз неудовлетворенности: зазор между готовностью к наслаждению и возможностью наслаждаться. Может быть, его стоит назвать «танталовым комплексом».

Возник он в силу широчайшего распространения средств массовой информации, роста образованного населения, общего уровня знаний, общего уровня культуры; появления дешевых репродукций, радио, грампластинок, фильмов (всего, что демонстрирует отображения жизни, какой она может быть), влияющего на существование любого слоя населения — от

крестьянства до низкооплачиваемых интеллектуалов; а также подавляемой, но неизменно возрастающей способности к потреблению все более широкого набора удовольствий — от грубых, физических, до утонченных, интеллектуальных.

И все это — на фоне плотнее и плотнее заселяемого мира, в котором повсеместная бедность становится все более и более неизбежной. Меняется даже само представление о том, что такое бедность: из года в год относительной бедности становится относительно больше, а возможностей потреблять все, что хочется, меньше и меньше; не говоря уж о том, что пора этого взрослого наслаждения жизнью ограничена периодом не более шестидесяти лет. Налицо углубление и обострение кризиса; неудовлетворенность обречена возрастать все больше и больше.

Не упоминая уже об охватившем мир упадке всех великих морально-императивных движений: до поры до времени бороться с неудовлетворенностью, быть довольным равенством с себе подобными и т. д. учили христианство, буддизм; ныне определенно не время отправлять в огонь шкаф, набитый *такими* целительными средствами, пусть их и прописывали не по назначению.

29 апреля

На Пасху — в Ли. Меня доконал чудовищный геморрой. Неблагородный недуг.

Каждый день подолгу гуляли; возвратившись, наедались до отвала, смотрели телевизор.

Самое ущербное в нем — его размер; как бы хороши ни были программы, они выглядят игрушечными. На игрушечном пианино можно сыграть и Бетховена, но он никогда не возвысится над уровнем игрушечного исполнения.

Теле-видение: игрушечное видение.

Драму должно разыгрывать в человеческом масштабе.

А прогулки были хороши.

«Неверный». Я начал эту вещь с такой легкостью, и она потекла вперед, как прямая дорога; а теперь она полна поворотов, развилок, ложных указателей, шлагбаумов, а я не могу даже взяться за что-нибудь другое. А читается — хуже некуда. Мне неинтересно описывать внешность и социальную принадлежность людей; меня волнуют лишь следствия их поступков. Преобладающая точка зрения (всех писателей и критиков) сводится к тому, что поступки не представляют ценности, коль скоро их истоки в точности не прояснены, объективны, трехмерны и т. д. — иными словами, убедительны и нестандартны; исключения составляют произведения, относящиеся к категории символического романа, — то есть что угодно от Кафки до

волшебной сказки в самом широком смысле слова. Я же пытаюсь воплотить реальность, фиксируемую лишь в поступках и психологии и теории поступков. Без обычных мелочей, которые под силу фотографу.

Применительно к этой книжке чувствую что-то очень похожее на запор: должен продолжать ее — и не могу.

Два зрелища: спектакль и фильм.

«Дневник Анны Франк»[543]. Он не слишком взволновал меня. История сама по себе трогательная, но она отмечена тональностью прошедшего, завершенностью, которую лишь усилила реалистичность режиссуры. Для того чтобы избежать ее замкнутости во времени, необходима стопроцентно условная режиссура.

Постановка страдает также недостатком обобщений (возможно, книге это не присуще): для того чтобы преодолеть реальные пространственные ограничения, сцене требуется масштабный язык.

В десять раз трогательнее «Рождение нации»[544]. Кино, во всех отношениях упивающееся выражением чувства прошедшего времени. В пьесе, как бы хорошо ни было воплощено в ней прошлое, всегда чувствуешь, что действие разыгрывается в настоящем. В фильме и увиденное и воплощенное действие — часть прошлого; его суть можно почти исчерпывающе выразить в уравнении $axa/b = c$, где a — подлинное время отображенного действия, b — время съемок фильма, c — прелесть ощущения времени. Чем более сближены a и b, тем трогательнее это ощущение осознаваемого времени. Любопытно, не лучше ли было бы, к примеру, снять фильм о некоем действии, относящемся к такому-то времени, максимально используя стилистику этого времени. Конечно, «Рождение нации» — творение гения. Но оно также невероятно выигрывает от собственных технических несовершенств, от сообщаемого зрителю ощущения давности фильма; благодаря всем различиям между нынешним днем и 1913 годом 1860—1870-е годы предстают лишь более убедительными. Ни один фильм, как бы хорошо он ни был сделан сегодня, не в силах заставить улочку в южном городке выглядеть такой неподдельно старой, как любой из дрожащих, мерцающих планов произведения Гриффита. И дело обстояло бы так же, не будь даже его фильм шедевром.

Июнь

Керзон «Монастыри»: одна из шести лучших путевых книг на английском языке; самая завораживающая. Автор свято блюдет главное правило хорошей путевой книги: она должна быть книгой о путешественнике, а не о путешествии. Разумеется, не только о

путешественнике, в ней должно найтись место и путешествию; просто, по мере того как длится странствие путешественника, мы все больше и больше вникаем в мир путешествующего[545].

Есть в Керзоне нечто пружинистое, откровенное, непредвзятое, изысканное, но свежее — изысканное от природы. И чувство юмора, неповторимое чувство юмора.

Дома на Троицу. Мы ненавидим смертельную скуку этого крошечного скворечника. Остается либо выйти наружу, либо смотреть телевизор. О. переживает что-то вроде второй юности: ему нравится проявлять знаки внимания к Э. Достойно анекдота. В моем отношении к ним — странный сдвиг. Я люблю, терплю, жалею О.; М. злит меня, раздражает до того, что я забываю о вежливости и перестаю с ней разговаривать, даже не смотрю на нее. А говорит она больше, чем когда-либо, но не думаю, что раньше я так ясно осознавал это: ее вина не в том, что она бесконечно встревает в разговор, а в том, что не умеет слушать. Она не способна услышать мысль; все, что она слышит, отдельные слова, на которые реагирует, перебивая говорящего. Х. на этом фоне предстает молоденькой нонконформисткой. Однако Филбрук-авеню — не что иное, как страшный, чудовищный тупик.

27 июля

Мы зашли в мастерскую Хильды — беженки из Германии, которая дает Э. уроки гончарного дела; нужно было забрать несколько изготовленных Э. горшков. Дверь, окрашенную в ядовитый желтый цвет, открыл Поль — ее муж-скульптор. Большое пыльное помещение бывшей конюшни, полное хлама, скопившегося за годы безуспешных творческих усилий. Все его работы — женские фигуры женщин в стиле Майоля и его школы; плоды гончарной работы Хильды неуклюжи как по форме, так и по раскраске. Есть в них обоих какая-то страшная творческая неуклюжесть. И вся мастерская — огромный склад неуклюжих форм: запыленных голов и торсов, грубых набросков на желтеющей бумаге, старых открыток, вырезок из газет, плохого фаянса; единственные приличные предметы мебели — старое кресло и испещренный пятнами стол. На подносе, как в анатомическом театре, разложены все орудия его труда. На антресолях, на высоте двенадцати футов, ряд желтеющих гипсовых голов, покрытых пылью. А на половине мастерской, составляющей владение Хильды, ведущая наверх небольшая винтовая лестница, железная, окрашенная в яично-синий цвет; ее гончарный круг и большой набор разных бутылочек и всего, что нужно для обжига. Сама печь внизу.

Хильды в этот момент не было, и заговорил с нами он, тучный носатый представитель немецкой богемы в блузе до бедра

со старым резным чубуком. Разговаривая, он помахивал в воздухе лопаточкой с двумя концами. Обсуждали мастерскую: какой она была, какие имеет достоинства и недостатки. Одна ее часть отделена занавеской, ибо в обход закона он там спит.

Такое впечатление, что, возясь с этими гипсовыми головами, он вполне счастлив. Между тем все это трудно не воспринять трагически. Две жизни, безраздельно отданные Искусству (им обоим за шестьдесят), а реальный вклад в Искусство — нулевой. Но их жизнь — как бы жизнь под камнем, жизнь на дне морском; сама по себе она источает ауру уравновешенности и удовлетворенности, даже гармоничности. Такое чувство испытываешь, общаясь с детьми дошкольного возраста, у которых еще нет внешних критериев художественности. Пока у них в руках инструмент и они что-то делают, они счастливы. Вот к чему — объективно — должен подводить художника творческий провал: к возвращению на уровень детского восприятия реальности. В случае Поля, насколько можно почувствовать, такого рода провал отнюдь не катастрофичен; серьезен для него сам творческий процесс настолько, что стал самоцельным и вышел за рамки понятий серьезности. То, что создавалось, в его глазах уже не имело значения. И в каком-то смысле он действительно открыл для себя нечто важное — или, точнее, я в нем это почувствовал.

Все больше прихожу к убеждению, что психический механизм творчества так же важен, как сексуальный, и что он срабатывает сходным образом. Потребность создавать, потребность быть демиургом укоренена в человеческой натуре так же глубоко, как либидо. Будучи подавленной, она проявляет себя иначе: в собирании вещей, в бизнесе, в тысяче видов деятельности, в художественном смысле слова отнюдь не творческих. Главная демиургическая потребность — потребность создавать прекрасное. С эстетической точки зрения можно оценивать все, что кем бы то ни было создается, однако подлинно демиургические творения можно оценивать только эстетически. Фактически все моральные оценки — оценки завуалированно эстетические; произведения искусства с отчетливой моральной направленностью можно и должно оценивать эстетически: как относительную красоту замышленного добра. Демиургическое начало, как и либидо, может быть подавлено избытком снисходительности. Когда его запросы оказываются неудовлетворенными, оно способно инициировать революции. Подавлению демиургического начала современный мир обязан большим числом бед, нежели подавлению начала сексуального. Другой важный компонент данного психического механизма —

вход, выход (переваривание). Если человеческий организм вбирает в себя больше прекрасного (в большей мере воспринимает красоту), нежели выдает наружу (будь то деторождение или экскрементация, хорошее искусство или дурное; критерии художественной *ценности* здесь ни при чем), имеет место нарушение психологического баланса, подобное запору. Современное общество усугубляет это положение дел, обеспечивая для наслаждения (входа) гораздо больше возможностей, чем для сотворения (выхода); в результате в демиургическом плане все нормальные люди страдают запором.

Вот почему люди вроде Поля, обреченные быть невротика-ми-неудачниками, таковыми не являются. Их кишечник работает без сбоев.

И вот почему надо творить.

Август

Ничего не пишется. Хоть и стараешься весь день. Я задался целью написать комедию — во всяком случае, какую-нибудь пьесу. Но ни одна из имеющихся идей меня не удовлетворяет. Так что чувствую себя опустошенным, бессильным, кастрированным; однако есть в этом ощущении что-то неуловимо приятное, ласкающее. Впечатление такое, будто паришь над бренным миром; дни текут не без удовольствия; Э. и я продолжаем жить, как двое любовников. Два дня провели в Ли, два замечательных дня за городом — холмами дошли до замка Хэдли[546]; я без остатка предался своей давней страсти — ботаническим занятиям, испытывая всепоглощающее удовольствие оттого, что опять нахожусь среди цветов. Одолев заросший клевером пологий холм, мы забрались на следующий, обращенный прямо к замку. Я обнаружил там старый черепок, оставшийся то ли со времен Средневековья, то ли еще более древних. Затем, продравшись через кустарники, мы спустились к железной дороге. Заприметили в стаде фризских коров зеленую ржанку; кусты жимолости. И опять вверх — к старому замку, к пепельно-серым каменным башням, а потом вниз по длинному склону — обратно в Ли. А на следующий день — снова в луга, по илистой почве, над которой порхал невесть откуда залетевший чернозобик, ручной, как воробушек; камнешарки, крачки, крохали, не счесть другой живности. Переходили вброд заросшие тиной лиманы, чувствуя, как острые раковины впиваются в босые ноги. Обратно добирались лугами. Дома нас накормили и уморили скукой. С матерью беда: болтает без умолку. Проклятый телевизор сводит все на свете к размеру детской игрушки, замочной скважины. Но может доставить удовольствие.

Коловратки под микроскопом; неутомимая энергия.

11 сентября

С опозданием на неделю начался семестр. Вот уже шесть или семь недель, как я не пишу Странное ощущение: будто я такой, каким кажусь окружающим. Такое чувство, словно люди, полагающие, что хорошо меня знают, не ошибаются.

1 октября

Грейвс и Фрост: Фрост — крупнейший из малых поэтов, Грейвс — наименьший из поэтов крупных. Чего не переношу в Грейвсе, так это мифологизации любого переживания; даже когда ему надоедает жонглировать символами фольклорной фантазии и кельтского воображения, миф не перестает быть постоянным компонентом его стихов. События его жизни предстают в мифотворческом плане: иными словами, Роберт Грейвс-поэт пишет сказку о Роберте Грейвсе-человеке. В сфере большой поэзии это поистине катастрофично: современная поэзия должна быть неявным выражением «я» ее творца. Иначе говоря, голос поэта должен слышаться из самого стихотворения — как было у Йейтса, Лоуренса, как сейчас и у Фроста. Временами это почти удается и Грейвсу — в особенности в некоторых из его любовных стихов. И все-таки слишком много мифотворчества, обобщений.

Однако за вычетом этих недостатков он прекрасный утонченный поэт; два или три его стихотворения: «Английская чаща», «Полнолуние», «Улисс» — своего рода шедевры.

Грейвс не создает мир: он создает только видение мира.

Когда Грейвс перестает изъясняться мифически, эффект пропадает. Если вдуматься, это очевидно. Нет надобности прибегать к мифологическому языку, если можешь выражаться непосредственно. Но когда индивидуальность поэта слаба (особенно литературная, научная, книжная, каковой и является индивидуальность Г.), тогда залогом любого письма становится лишь ее мифологизация (или возведение на котурны, или затемнение). Единственное, о чем думаешь, — это о том, как изобретательно, элегантно, изощренно поэт или прозаик скрывает тот факт, что ему нечего сказать.

Немо; не точнее ли этот страх внутренней пустоты определяет психическую потребность, нежели фрейдовское либидо или адлеровское стремление к превосходству? [547] Особенно в том, что касается писателей. Все, что пишется, есть реакция на немо; большинство интеллектуалов ведут себя в соответствии с определенными жизненными идеалами — с определенными идеальными схемами жизни, — каковые сами по себе неразрывно связаны с сущностной обесцененностью жизни. Таков неизбежный итог смерти; будь жизнь бесконечна, в ней всегда была бы потенциальная ценность. И однажды идеал мог бы

стать реальностью. Однако краткость жизненного срока и неизбежность конца побуждают нас всех с головой погружаться во владение и оценку нашего удела — удела смертных.

В данном случае сублимация воплощается в такую форму деятельности, которая чревата вредом или по меньшей мере нейтральна по отношению к нашим попыткам выстроить ценное, прочное «я». Досужие занятия — такие, как работа, игра; у подлинной деятельности, отрицающей немо, нет названия. Время творения, время полнокровного бытия, время поэзии. Немо и поэзия — вот два полюса нашего существования.

20 ноября

Пренебрегаю дневником. Но жизнь течет ровно, укорененно, спокойно, по-домашнему. Без греха и почти без чувства вины; виноватым ощущаю себя только перед Анной, но и это ощущение удается благополучно подавить. По большей части это чувство наслаждения покоем: мы связаны, незаменимы друг для друга. Переписываю «Волхва». Чувствую себя увереннее, меня меньше разрывают на части проблемы письма. Иными словами, писать буду как всегда, но проза должна быть плотной, уверенной, отработанной. Единственный предмет беспокойства — деньги; нам их постоянно не хватает. Я прекрасно обхожусь самым малым, но у Э. бывают периоды уныния: пассивности, домоседства, растительного существования. Все сильнее узнаю себя в Уилсоне («ДжозефЭндрюс»), и этот восходящий к Веку разума образ, с его отстраненностью и самодостаточностью[548], импонирует мне все больше и больше. Такого рода позиция зиждется на одной лишь физической опоре — хорошем, активном воображении. Причем не столь на его визионерских, выходящих за пределы рационального потенциях, сколь на чисто практических, жизнетворческих, конструктивных. Не могу перестать думать о смерти; она стала такой значимой частью моей повседневной жизни (может случиться то, может случиться это), и не только моей, но и Э. Мне не составляет ни малейшего труда вообразить ту или иную катастрофу, приходящую извне; образно выражаясь, ничто плохое не обходит меня стороной (ничто хорошее тоже, но это общее правило). Не исключено, что в воину это сделало бы меня трусом. И это означает, что всякий свет пронизывают крупицы тьмы. Но ведь именно исходя из такого принципа действует философ, возделывающий свой сад: он привязан к своему саду и к своей бедности, поскольку постоянно сознает, что в жизни есть много вещей похуже.

«Эмма». Что за незадача: не могу припомнить, какой роман доставил мне столько же удовольствия. Целую вечность назад.

Несколько разрозненных наблюдений.

1. Часть обаяния романа с литературной точки зрения в его сценической магии. Как случилось, что ничем не поддерживаемый предмет зависает в воздухе? Как случилось, что обаяние романа не поддается анализу? Ответ, разумеется, таков: секрет этого обаяния в том и заключается, что его на редкость трудно анализировать. Механизм скрыт, приемы завуалированы, следы тщательно заметаются. Другие авторы выставляют их напоказ: в пору, когда о писательской застенчивости еще и не помышляли, вслепую, как Филдинг, прямо в ходе повествования; а когда писательская застенчивость стала притчей во языцех, как Флобер — в его обширной корреспонденции, в автобиографии и тому подобном. Джейн — индивидуальность анального типа: в романе нет не малейшего пятнышка — не только в плане отсутствия «откровенных» сцен и описании, но и в том, как технически безукоризненно все произведение. Ей присуще первостепенное свойство великого иллюзиониста. То, что она делает, — фокус, но она не позволяет и помыслить об этом.

2. Диалог. Посредством внешнего описания законченный, реалистический характер может создать любой. Трудности возникают, когда персонаж начинает демонстрировать себя изнутри, через окна кавычек. Что касается Джейн, то ей присуща абсолютная аутентичность диалога. (Характерная для всех «великих» романистов: их вкусы диктуются британским эмпиризмом.)

3. Умелое введение недостатков; несовершенство есть реальность. Ее конек — персонажи, которые с ходу не могут понравиться (Эмма, Элеонор к примеру), но она побуждает нас полю-бить их против нашей воли; иными словами, когда в мире господствуют низменные инстинкты, чопорность зачастую оказывается защитной окраской, видимым фасадом подлинной добродетели. Это неочевидно, но по сути верно.

4. Ритм. Привычка заговаривать о персонажах за целые главы до того, как они появляются; намеренное неподстегивание хода событий, так что приходится волей-неволей примириться с темпом ее повествования. Как только писатель вводит в текст неожиданные обрывы, ускоряющееся действие, мы понимаем, что он старается нам угодить. А значит, боится нас. Джейн угождает нам в своей манере; другие авторы потакают нашим слабостям.

5. Она — страшный сноб в единственном отношении, в котором снобизм оправдан: в социальном (не светском) поведении. Хорошие люди у нее — те, для кого чувства других важнее собственных; плохие — те, кто считает наоборот. Ее положительным персонажам (той же Эмме) подчас приходится управлять, руководить, влиять на чувства других, стремясь

сделать их счастливыми, — и итог может оказаться несчастливым (в конце концов счастливой оказывается Харриет). Что до плохих, то они могут из amour propre[549] надеть на себя маску доброты и сочувствия (миссис Элтон). Однако различия между теми и другими неизменны. Эмма добродетельна, а миссис Элтон — вульгарна.

6. Часто замечают, сколь узок круг показываемых ею людей и явлений. Но эта замкнутость, эта легкая ироничность служит определенной цели: она призвана сфокусировать поле зрения читателя. Романы других авторов — поля сражений: мы стоим на холме, и все нам открывается; либо пышные зрелища, развертывающиеся на аренах, перед переполненными публикой трибунами. Ее же работу видишь сквозь замочную скважину, сквозь проем в двери, раскрытой в уединенный сад. Она порождает в нас чувство индивидуального входа — доступного *ее* читателю, а не какому-либо вообще. В ее прозе нет фона; она интимна. И таинственна. Вот почему, читая, становишься таинственным соучастником происходящего в ее романах (как и в романах Генри Джеймса, Вулф и др.).

7. Ее часто превозносимая специфическая сатиричность. Это главный источник ее реализма. Такие персонажи, как Эмма и Элеонор, показались бы нереальными (и кажутся нереальными в тысячах несатирически окрашенных романов), не будь с ними рядом разных мисс Бейтс и миссис Дженнингс.

8. Как блестяще передает она болтливость своих персонажей. И пользуется ею, развивая сюжетное действие.

30 ноября

Гераклит: мощь его философии поражает. В точности то самое, чего я так добивался в «Волхве» — хотя слово «волхв», разумеется, имеет в точности противоположный смысл. Что же, тогда это будет «Аристос». А комментарий Кончиса к Гераклиту я вставлю в роман[550].

Сила загадки, эпиграммы, двусмысленного изречения, но прежде всего — истина. Процесс таков: обрести истину, а затем завуалировать ее почти до неузнаваемости. Не так, как это делается в столь многих произведениях современного искусства: сначала набрасывается вуаль, а затем следуют наивные попытки разглядеть под ней истину.

30 декабря

Рождество позади. Встретили его здесь, одни, и не худшим образом; само собой, постольку, поскольку праздничное веселье доступно беднякам. Между тем Рождество все больше становится торжеством (и пробой на толщину кошелька) богачей: сколько денег и за какой срок можно потратить.

Вернулся Денис Ш.: он снова на пути в Индонезию. Преподнес мне бамбуковую флейту, по виду местного производства. Я сел, несколько часов поупражнялся, и теперь уже могу играть на ней. Интервалы, похоже, восточные; и есть в ее звуках некая грустная непоследовательность; она успокаивает. Самые низкие ноты — очень глубокие и отдаленные.

И еще он подарил мне маленькую туземную фигурку — черную, из хвойного дерева: это взметнувшаяся вверх рыба, из разверстой пасти которой торчит беременная женщина с птичьей головой; и то и другое выточено грубо, но выразительно. Пожалуй, более яркую символическую фигуру, учитывая ее размеры, и вообразить нельзя.

«Убеждение». Огромное наслаждение, какое доставляет эта книга, — в том, как мастерски проработаны в ней образы персонажей-моряков и как совершенно воплощены представления Джейн Остин о морали. На одном полюсе, сплошь негативном, — сэр Уолтер Элиот и Элизабет (тот и другая поданы так, что едва верится, что это отец и сестра Энн, — хотя все три сестры складываются в весьма впечатляющий адлеровский ряд); на полюсе абсолютной правоты — Энн (иными словами, она в равной мере отзывчива и сочувственна). Между ними моряки: Крофт, Хар-вилл, Уэнтуорт — те, кто постепенно склоняется к добру, во вся ком случае, в них нет ни малейшей претенциозности; и еще Масгроувы — добросердечные, так сказать, по определению. Во всех романах Джейн мы встречаем четыре ступени нравственности, людей абсолютно дурных (иначе говоря, претенциозных или однозначно злых) — таких, как Уиллоуби, м-р Элиот; подверженных злу, но в силу слабости своей заслуживающих определенной симпатии; добрых, хотя и не столь по внутренней склонности, сколь по обстоятельствам; и людей абсолютно, по определению добрых: Энн Элиот, Элинор, Эмму (последняя интереснее всех, поскольку по ходу действия переходит из одной категории в другую). Вчера я вступил в спор с Д. по поводу Джейн. Он сказал, что ее романам недостает «пустоты» — чувства тотального отчаяния и ужаса, какое находишь, скажем, у Диккенса или у всех романистов двадцатого века. Можно предположить, что эта «пустота», если вглядеться повнимательнее, сводится к описанию ужасающих условий, в которых живут некоторые люди, а также к изображению таких душевных состояний, при каких жизнь предстает бессмысленной: таковы мисс Хэвершем, Гредграйнды — вся та сторона Диккенса, которая воплотилась в «Тяжелых временах».

Однако если по сравнению с диккенсовским диапазон характеров Дж. О. столь узок, то аналогичен и ее диапазон

нравственных категорий от абсолюта до пустоты. Тут уместен релятивистский подход, взять хоть отчаяние Марианны, самопознание Эммы, чувство потерянности, переживаемое капитаном Уэнтуортом, — вне контекста соответствующих произведений, в сравнении с горестями диккенсовских персонажей любое из них нетрудно объявить малозначащим. Но в рамках мира Дж. О. ощущаемое ими несчастье и есть пустота.

Кроме того, одно из ее свойств — умение абстрагироваться от действительности, философствовать на кончике иглы. В то же время качества, вызывающие ее восхищение, не утрачивают своей значимости, в какое бы измерение — «более широкое», «более близкое к действительности» — их ни поместить. Отзывчивость и сочувствие (в греческом и христианском смысле слова) — именно благодаря этим свойствам велики ее героини, какими бы чопорными и строгими они подчас ни представали. Диккенс был непревзойденным мастером в изображении дурных людей; Джейн в изображении добродетельных.

11 января 1958

Валяюсь в постели с азиатским гриппом.

Замечаю, как во мне просыпается особая чувствительность к словам, писательским почеркам. Постоянно должен находиться под чьим-то влиянием. В данный момент это Колридж — или, точнее, его ум. Он — аристос; наверняка читал Гераклита или кого-то из его позднейших последователей; иначе откуда бы появиться его представлению о полярности мира.

Занятно. Сразу после обеда я завалился спать, а Э. ушла на работу. Около трех часов просыпаюсь с отчетливым ощущением, что в этот миг где-то разбилось что-то стеклянное — чашка свалилась с полки в раковину? Как бы то ни было, с постели я не поднялся и скоро опять заснул.

Когда Э. вернулась, узнаю, что ровно в три часа она и ее сотрудницы в Исследовательском ун-те[551] говорили о феномене полтергейста — того, в частности, который колотил посуду в Черч-роу.

Как и следовало ожидать, ничего разбитого мы в квартире не обнаружили.

К. Эмис «Счастливчик Джим». Насколько же смешнее и легковеснее эта книжка, чем я предполагал: глупейшая интрига, глупейшие герои, фарс да и только (комедия, оторванная от реальности). В своем роде триумф. Но — безнравственности, бессмысленности, банальности, узости. Нет, таким путем не достичь Парнаса.

Колридж — что за извращение природы. Великий ум и напрочь отсутствующая воля. Во всем, что он пишет, столько

пустого, претенциозного; и все же то тут, то там — проблески божественной чувствительности и ясности. А как неискренен он по отношению к самому себе как писатель. Его стихи (оставляя в стороне их историческую значимость: она преходяща) зачастую утомительны, порой до тошноты.

Чем-чем, а ухом на стихи он не обладал. Глазом — да, но не ухом.

25 января

Сегодня оттепель; по мерзкой слякоти прусь на почту отправить письмо. Слышу — церковный колокол отбивает три четверти часа; и вдруг ни с того ни с сего на меня накатывает волна смутных воспоминаний: лето, зеленые газоны, башенки, Бедфорд, Оксфорд — ничего конкретного. Вместе с тем в самой хаотичности этих образов скрывается что-то сознательное, целенаправленное, статистически запрограммированное. Будто все таящиеся в заповедных уголках мозга картинки разом выплескиваются наружу и, обгоняя одна другую, выстраиваются, стремясь сложиться в общую фигуру памяти.

Интересно, сколько прошлого неощутимо носишь в самом себе.

Нечто похожее мне хотелось бы передать в поэзии. Слишком часто я позволяю увлечь себя свежему, неповторимому образу; он кажется предпочтительнее.

И все-таки где-то прячется эта фигура памяти (или обобщающий образ). Не могу отграничить его от обычного, не восходящего к памяти образа и все же чувствую, что этого можно достичь; или, во всяком случае, принять во внимание, выбирая «предпочтительный» образ.

Заглянул в Св. Годрик: коллеги участливо интересуются, как у меня дела. В воздухе этого заведения — тонкая, едва уловимая аура незатейливой доброжелательности, исходящей от множества обычных, заурядных людей.

В классах тоже преобладает корпоративный дух, что удивляет.

Каким-то образом он связан с умственными способностями. Те классы, где средний коэффициент интеллекта ниже определенного показателя, обречены на второразрядность, не исключая и наиболее способных учащихся. Над ними тяготеет некая бессознательно телепатическая стадная озабоченность собственным коэффициентом интеллекта, беспокойство по поводу его достаточности.

Отец Э. заболел, она отправилась в Бирмингем проведать его. Исхудавшего до костей, слабого, умирающего. Доктора были либо недостаточно внимательны, либо честны — на расстоянии не

скажешь. Ситуация как в романах Золя: человек — беспомощная игрушка судьбы, исторической ситуации; неведение главных действующих лиц. Похоже, мать Э. не в силах как следует ухаживать за ним. Ее отец — средоточие предрассудков. Семейному врачу мы направили письмо — обходительное, полное деталей и довольно напыщенное; но, как бы то ни было, оно, кажется, возымело желаемое действие. Его положили в больницу — подозревают злокачественную опухоль.

Тьюринг. Невзрачное, умненькое, старообразное создание. Всегда знает ответ на вопрос и готова отвечать; поначалу это раздражает, но со временем начинает приводить в восхищение. Ее отвага — на уровне ее знаний. Недотрога. Персонаж из произведений Джейн Остин, бельгийско-швейцарского происхождения. Лучшая из моих учениц, но я ее недолюбливаю. Впрочем, неверно было бы не замечать в ней некой свежести и честности ума. Эмма.

Бина. Полуфранцуженка, полуперсиянка, хотя и выглядит как милая шотландская девчушка. Обаятельна, мечтательна, обладает даром самоиронии. Темпераментна. Читает быстро и правильно. Писать так и не научилась. Хотя все время и улыбается, мягко, беззлобно, в отличие от всех остальных никогда не теряет контроля над собой. Всегда готова читать. По-своему глубже и серьезнее других. Улыбчивое персидское сопротивление напору жизненных стихий и присущее нелегкомысленным французам — восходящее к мировоззрению гугенотов — ощущение сложности жизни. Подобно всем таким полукровкам гораздо интереснее, нежели чистокровные европейцы.

Альп. Странное маленькое существо. Огромная копна непокорных блондинисто-каштановых волос. Пухленькая, нередко краснеющая физиономия. Поросячьи глазки — впрочем, сами по себе выразительные и чувствительные, прозрачно-серо-голубые, отнюдь не холодные, только очень робкие. Хорошо пишет, тонко чувствует слово. *Видит* окружающее, особенно физическую сторону вещей, как подчас присуще туркам. Они — как дети, но без детскости — могут облечь физические явления в необыкновенно ясные, свежие фразы. Альп очень застенчива, дичится окружающих. Но поглощает все происходящее, накапливает в себе с почти видимой жадностью.

Дриё. Очкастая коренастая коротышка со строгим взглядом. Франко-фламандского происхождения. Очень стеснительная. Поджатые губы, тяжеловатый подбородок, стрижка под мальчика. Говорит с сильным акцентом. Вся серьезность, усилие. Рабочая лошадка, преодолевающая милю за милей.

Романо. Полная противоположность Дриё. Очень обаятельная

полуболгарка-полупортугалка. Изящная, с ленцой, но наделенная цепким, быстро все схватывающим умом. Очень бледная, элегантная, с черными локонами и огромными темными глазами, которые смотрят прямо на вас, тревожаще, выводя из равновесия. В ее облике что-то еврейское. Так, наверное, и есть. Не любит работать, английским владеет постольку-поскольку, зачастую не понимает (или делает вид, что не понимает), что от нее требуется. Молча смотрит на мир, грезит наяву. В том, как она движется, есть что-то от грации маленькой белой рыбки.

Бурла. Гречанка. Веснушчатая, откровенно приземленная. Есть в ней что-то и от шотландки: трезвость, скептицизм. Всегда сидит от меня справа. Подчас не прочь похихикать, но неизменно приходит в негодование, когда это делают другие. Коренастая девочка с избытком здравого смысла. Чисто по-мужски импонирует мне — как своя в доску.

Андрусто, ее подруга, в каком-то смысле жена. Смуглая приятная гречанка. Лучше смотрится, более своевольна. Неторопliва, с низким голосом, чуть-чуть мечтательна. Наделена вполне современным даром все происходящее принимать как норму. Старательна, моральна. И, похоже, счастлива; думаю, ей суждено самое благополучное во всех бытовых проявлениях существование.

Лавик. Норвежка. Высокая худая девочка явно нордического типа, с ясными темными глазами и острыми чертами лица, придающими ей холодное, строгое, отсутствующее выражение. Между тем она смеется, прекрасно читает, выглядит вполне по-английски — совсем как воспитанная девочка откуда-то с крайнего севера страны. Одевается не бог весть как, волосы стянуты в тугой узел на затылке. Воплощает в себе извечный ибсеновский парадокс — сочетание naïveté и глубокой, непостижимой пустоты внутри. Понимает то, что ей говорят, на самом поверхностном уровне, и в то же время поверхностной ее никак не назовешь. Странные они, эти норвежцы, — совсем как высокие простенькие цветы среди щебечущих пташек. Чуть ли не какие-то диковинные особи, для которых не нашлось имен у ботаников.

Рапазоглу. Неприятная изворотливая ленивая девчонка, будто упрямая сухопарая серая кобылка. Вечно лжет, прикидывается, бормочет под нос шуточки. Неглупа. Типично адлеровская индивидуальность: вся — бунт, вся — напряжение, вся — эмоции. Вызывает во мне наибольшее неприятие. Мы воюем, стоим по разную сторону баррикад. Верблюд, жираф.

Зейдор. Очаровательная круглолицая греческая душка, безостановочно журчащая и игривая, как воробушек в летнюю

пору. Органически неспособна усидеть на месте, сосредоточиться на чем бы то ни было. Смеется, без конца смеется. Отлынивает от работы. Чистая, оливкового оттенка кожа и густые черные брови, волосы собраны в пучок. Ребенок, но поистине солнечный, как аромат оливкового масла, постоявшего на солнце. Не могу удержаться от улыбки, когда она смеется — а она делает это всякий раз, как я пеняю ей на то, что она сделала или чего не сделала. Подвержена приступам детской рассеянности. По-своему — отнюдь не в сексуальном смысле — она мне так же симпатична, как антипатична Рапаз.

1 февраля

Киринкида. Киприотка, невысокая с тонкими анатолийскими чертами лица. Ее родители — борцы за свободу Кипра. Прирожденная шепотунья, насмешница, нарушительница спокойствия и в то же время неглупая — редкое сочетание. Когда находишься с ней рядом, неизменно серьезна, нервна, быстро реагирует. Но стоит куда-нибудь отвернуться, взрывается каскадом неудержимого веселья. Маленькое подвижное неугомонное создание.

Куек. Чешка; такую, кажется, ничем не проймешь. Всегда выглядит грубой, надувшейся или беспросветно тупой. Знает меньше других и не уверена в себе. Как-то по-свекольному застенчива, и ожесточенность не более чем симптом. Однако эта застенчивость сродни лебединому гневу: с упрямо насупленными бровями, глубоко коренящемуся в натуре и в определенном смысле неистребимому.

Стефанян. Полуармянка, полуперсиянка. Очень привлекательная, миниатюрная, физически прекрасно развитая девочка. Движется с грацией одалиски из гарема; под фасадом невинности и неуклонного послушания — бездна осознавшей себя чувственности. Самая вежливая из моих учениц. По-английски говорит плохо. Изредка смеется, и в низком, чувственном тембре ее голоса звучит неподдельный юмор. Возбуждает меня, как ни одна другая из девочек. Может быть, причиной тому — ее длинные волосы, волосы взрослой женщины. В ней напрочь отсутствует кокетство. И наконец, еще одно печальное обстоятельство: как я ни стараюсь, не могу отделаться от ее телесного запаха. Ощущаю его задолго до того, как вхожу в класс. Порою она старается заглушить его дешевыми духами, отчего становится только хуже. Иногда, впрочем, я его не чувствую. Как говорят представители других национальностей, сиамцы и персы не моются.

Аркадия. На удивление работоспособна. Смешлива, нетерпелива, недоверчива. На самом деле она мне не нравится. В

ней нашла выражение одиссеевская сторона греческого характера: находчивость, умение не поддаваться грезам, острое как бритва чутье на все фальшивое. Стоит мне сделать ошибку, она первая ее замечает. Ее не интересует ничего, кроме чистых фактов. Говоря, что чего-то не понимает, она имеет в виду: то или иное не заслуживает ее понимания. Принципиально чужда всему поэтичному. Всецело ориентирована на прибыль. Маленькая крепенькая белолицая девочка, коренастая северянка. Родом из Македонии, она производит впечатление разве что не угрюмой. Но глаза у нее блестящие и на диво живые. Иногда, читая (а это ей удается легче, чем любой англичанке), она вдруг разражается беспричинным смехом и с удивлением констатирует:

— Не могу читать.

Следует всеобщий взрыв хохота, и все начинается заново.

С этими девочками я сталкиваюсь дважды в день. Сначала урок грамматики, затем чтение по программе: «Джозеф Эндрюс», «Дилемма доктора»… Но сначала всегда требуется завладеть их вниманием. Мне это неизменно удается, но за счет излишней строгости, холодности, дистанционности. В результате меня уважают, но недолюбливают. И тем не менее в психологическом плане я проникаю в их натуры так же глубоко, сколь далек от физического контакта с ученицами.

7 февраля

Сегодня умер отец Э.; на дворе мокрый снег. Вот уже третий день, как я живу один. Я никогда его не видел. Не ощущаю ни утраты, ни скорби — только сочувствие горю Э. «Все его внутренние органы разъедены раком, — сетует она. — И всегда так грустно смотрит — то на одного, то на другого». А когда его навещали в больнице, то и дело отключался: «Говорит, как хорошо просыпаться и видеть, что мы здесь». И еще: «Его лицо неподвижно и ничего не выражает, но глаза подчас проясняются и тогда в них появляется такое жалобное выражение». «Это такое душераздирающее и невыразимо печальное зрелище. Не отталкивающее, как мне думалось, а бесконечно печальное: человек, ждущий своей смерти».

И вот он умер.

9 февраля

Воскресенье. Еду в Бирмингем к Э., приехавшей туда во вторник. Утомительная поездка; в Лондоне тепло, солнечно, но чем севернее, тем холоднее: поля затоплены, идет редкий снег, и от этого на душе еще безысходнее. Луга — ужасающе грязно-зеленого, омерзительного цвета.

Нью-стрит; Э. выглядит усталой, но оживленной; и наша встреча — как свежевыпеченный хлеб к обеденному столу. Зашли

в паб, заказали по паре кружек «Уортингтона». Она уже все организовала и в какой-то мере испытывает удовлетворение от того, что сумела совладать со своим горем. Идем к ней домой по унылым улицам, застроенным в девятнадцатом веке неказистыми кирпичными домишками, затем, преодолев угольные холмы, усеянные стеблями увядших рододендронов, выбираемся на сельскую дорогу. Впереди — скопище маленьких кирпичных ящичков вроде тех игрушечных, которые мы в войну расставляли на мешках с песком; только — настоящих. Крошечный домик-коробочка, с обеих сторон стиснутая соседними. Ни малейшего шанса избежать контакта с les autres[552].

Мы пробыли там, пока не подошло время обратного поезда; Э. и я наедине в передней гостиной, как парочка влюбленных. В маленькой кухне поели. Масса фотографий, в основном Э.: вся ее жизнь — череда без конца меняющихся причесок. Ее сестра[553] — воплощенный белый жираф, вытянувший длинную шею высоко в небо: ревностная методистка, правильная, взрослая — в двадцать раз взрослее меня, в каком бы возрасте я ни был. Более взрослой пятнадцатилетней девушки мне не доводилось видеть. Такая серьезная, рассудительная.

Мать Э. говорит об Эдгаре, усопшем, в настоящем времени. Смерть не оставляет и следа от временного измерения жизни. Напротив, она придает ему обратимость; это может служить утешением. Несколько фотографий отца Э. До того я его никогда не видел. С фотографий на меня смотрел сухопарый, желчный, обойденный удачей, терзаемый ненавистью человек очень высокого роста, прямой как столб, напоминающий профессионального игрока в крикет, проворно подающего шары. Этого человека нет, но он продолжает жить в собственных дочерях.

Они не настаивали, чтобы я присутствовал на похоронах, которые состоятся в четверг; хотя что-то внутри — что-то от офицера и джентльмена — призывало меня к этому. Но, разумеется, они правы. Речь идет о чистой формальности; уж что-что, а некрофилия им отнюдь не присуща. Не назовешь их и ревностными блюстителями религиозных обрядов; правда, шторы на окнах были все-таки опущены. Если верить Э., когда кто-то умирает, соседи неизменно устраивают сбор денег в пользу осиротевшей семьи. Ее мать настойчиво просила на сей раз этого не делать.

— Ведь, в конце концов, мой отец всех их презирал, — говорит Э.

Странный это, однако, обычай — языческий, а может, и доязыческий. Странное обыкновение отдавать дань ушедшему.

Все эти дни Э. застенчива; в ней борются, попеременно одерживая верх, хозяйственно-покровительственное и дочерне-смиренное; она красива и отталкивающа, как обычно. Целуя ее, я испытывал странное ощущение. Ведь в повседневной жизни мы так близки, так тесно соприкасаемся, что любое расставание кажется пропастью. Однако на дне этой пропасти обретаешь чувство непостижимой уверенности. Вопросы и ответы типа: интересно, а это что такое? а это? ну конечно…

Итак, возвращаюсь восвояси. И Хэмпстед выглядит ничуть не хуже вершины холма на Крите.

3 марта

На уик-энд — с родителями. Я мрачен. Ничего не могу с собой поделать: этот дом вгоняет меня в уныние. Все на свете приносится в жертву таинству приготовления и поглощения еды; все разговоры только об этом. М. добровольно кладет себя на алтарь гастрономического божества. Э. нет надобности напоминать мне, что для шестидесяти без малого она на удивление бодра. Что до меня, то она остается главным противником моего сознательного «я» — мифической матерью-прародительницей растительного мира, ненавистницей искусств, мыслей, всего, что приходит в этот мир извне, душительницей лучшего в натуре моего отца. И Э. и я проникаемся к нему все большей теплотой.

Полагаю, сложилось это так. Материнская опека обусловила мое запоздалое взросление. Не исключено, что именно по ее инициативе меня на полгода забрали домой из Бедфорда[554]. Что побуждало ее опекать меня с такой настойчивостью? Неудача со следующим ребенком — выкидыш. А также полная неспособность как-либо реализовывать себя во внешнем мире (за пределами дома). Возможно, О. очень рано заронил в ней ощущение неполноценности. Тогда ясно, что лежало в основе ее стремления безраздельно властвовать надо мной: в ее глазах я был уменьшенной копией О. А быть может, суть дела — в некой сексуальной несовместимости между ними обоими? Когда ему требовалось ее внимание, она обращала его на меня. Видеть в О. сурового, грозного главу семьи нелепо, но М. моложе и, по сути, во всех серьезных вопросах молчаливо повиновалась ему. Ведь ее собственный отец был родителем в более строгом викторианском смысле слова: по отношению к младшему брату она во многом была матерью, а ее опека надо мной в не меньшей мере напоминала опеку старшей сестры[555]. Налицо, таким образом, отчетливо адлеровская ситуация[556]. Ее место в ней — место тирана, только напрочь лишенного его могущества. Ее не назовешь злорадной, источающей ядовитые флюиды,

злокозненной, хитрой, бесчувственной, непреклонной: у нее ментальность монахини из монастыря. Вот в чем ее беда. Вот почему она встревает в любой разговор, никого не слышит, перевирает все на свете — будь то чьи-то суждения, чьи-то имена, даже собственные воспоминания (хоть и обожает напоминать мне о ничего не значащих происшествиях, относящихся к поре моего детства; она знает, как я этого не люблю, и теперь апеллирует к ним как бы ненароком) — перевирает настолько, что внятно объяснить эти аберрации может только психолог. И все это — с видом полнейшей невинности. Злиться, протестовать, возражать — зряшное занятие; остается лишь мрачно отмалчиваться.

Само собой, мне показалось, что меня предают. Не исключено, что появление на свет Х. травмировало меня сильнее, чем можно было осознать. Как бы то ни было, у меня уже начала проходить эта потребность — потребность в опеке со стороны сестры. Существует ведь и еще одна потребность — интеллектуальная. А в этом отношении она абсолютно несостоятельна. Таким образом, не только эмоционально, но и интеллектуально она явилась для меня тормозом (равно как и для О., которому она так и не дала возможности стать самим собой — или по крайней мере таким, каким он мог бы стать). Итак, сначала она воздвигла преграду между мною и женским полом, потом — между мною и миром идей. Корни всего этого, разумеется, следует искать в Корнуолле, пусть в других отношениях ее кельтское происхождение себя и не проявляет. Черное, врожденное, непоборимое упрямство. Называть его злонамеренным было бы неверно, поскольку оно совершенно бессознательно. Ей не под силу было хотя бы на миг допустить, что она — форменная ослица, вышедшая из местного крестьянского лона.

Но, как замечает Э., когда я намекаю ей, что ее собственную мамашу бессмысленно винить в отрицательных чертах ее натуры: лени, пустословии, безответственности (типичном синдроме осевшего в городах крестьянского населения — и, кстати, недуге, положившем начало методизму), — я сам продолжаю вести себя так, словно М. можно и должно осуждать за эти недостатки.

Я все еще чувствую ожесточение против нее. Проявить к ней сочувствие или мягкость для меня равнозначно тому, чтобы выбросить на ринг полотенце: да, традиции нужно уважать, пусть и мать, и сын падают их жертвой. Но проявить к ней доброту значило бы пойти против законов эволюции. Это звучит как лишенное смысла обобщение, как бездарное оправдание собственной холодности. Однако эволюция исключает для меня возможность проявить хотя бы видимость доброты, какой М., быть

может, недостает.

В Лондон мы возвращались в безоблачно ясный, пронизанный синевой день. Проснулись утром: окрестные окна сияют светящимися голубыми квадратами. Как в Греции. И Олд-Ли, как Греция, поблескивает алмазной синевой и серебром, играя бликами волн, на которых покачиваются траулеры. Одни на залитой солнцем террасе паба выпили пива. Сели на следующий поезд. В мареве янтарного тумана Лондон кажется декадентским, словно сошедшим с полотен Тернера; белый дым, стелющийся из гигантских труб, не спеша растворяется в пронизанном медовыми блестками туманном небе. Не припомню такого разительного контраста — между теплым, ясным, беспримесным сиянием Ли и необозримым, наползающим клубящейся громадой дымного неба Лондоном. Будто обитаешь в двух разных мирах.

Тружусь над «Филом ее величества» — в постоянном страхе, что время оставит эту вещь позади. Ведь идеи, благодаря которым она рождается на свет, рассеяны повсюду: примеров тьма. И все-таки не могу себя заставить работать ритмично: вырываюсь вперед — и медлю, ложусь в дрейф, затем опять продвигаюсь. На этот счет я уже перестал переживать. Ничего не поделаешь: творить я способен только так, уловив череду соответствующих настроений. Причина, возможно, в том, что я не испытываю неуверенности в себе в том, что касается замысла как такового; она просыпается во мне, когда речь заходит о технике его воплощения. Приходится ждать момента, когда мысли понесут на себе стиль. Не думаю, что у меня когда-нибудь выработается стиль, способный нести на себе мысли. Но в мире науки значимы именно мысли.

* * *

«Невежливость в обращении — верный симптом любви» («Г. и п.»[557]). В этом отношении мы с Э. прямо-таки короли. В последние три месяца сделали всего три выхода в свет и без напряга смогли бы просуществовать на необитаемом острове. Второго числа нашему супружеству исполнился ровно год; и как ни абсурдно наделять подобные даты ореолом торжественности, в плане подведения итогов они удобны. Мы продолжаем жить в том же модусе «два в одном»; между нами прежнее равенство, что поистине любопытно, учитывая, сколь мы несхожи друг с другом в тысяче отдельных нюансов. Ко всему прочему, в этот последний год натура Э. обогатилась свойством, в возможность появления которого я никогда бы не поверил: внутреннее равновесие —

способность мириться с неизбежным, выносить его тяжесть, держать удар. Проблемой по-прежнему остается Анна; Рой, похоже, исчез с горизонта. Мы в глаза его не видели с тех бурных дней, когда отбыл Д. Шаррокс.

Различие между Джейн Остин и другими романистами. Будь их воля, они вполне удовлетворились бы м-ром Беннетом, но она делает еще один шаг — в сторону Элизабет. Во всех ее героинях налицо абсолютное моральное совершенство, будь то очаровательные недотроги, сошедшие на грешную землю святые с их ненавистью к притворству, приверженностью справедливости, признанием силы человеческого «я», либидо. Их естественной добротой. Ей все это удается лучше, нежели кому-либо другому в английской (мировой?) литературе, — вот что, помимо ее необыкновенного умения отбирать факты, выстраивать диалог, проникать в глубины психологии, делает ее великой.

Дж. Остин «Нортэнгерское аббатство». Восхитительный образец искрометной злости, только чуть смещенный; чересчур демонстрирующий радость накалывать добытое на булавку; пример иронического стиля — одним словом, садоводство *высочайшей пробы*.

Э. Гордость и предубеждение». Самая сексуально заряженная из всех ее книг. Секрет ее романов — в причудливом блеске сексуального, окрашивающем все, что попадает в поле зрения автора. В точнейшей детализации всего, что предваряет любовное слияние.

В этом изысканном подсчете шансов: кому и с кем выдастся случай составить пару?

Секс и игра случая.

Равно как и неубывающий интерес, какой она будит к любому из своих персонажей — к Эмме и Найтли, Элизабет и Дарси, — интерес, в силу которого они движутся, как никто другой в литературе. Движутся как живые, и интерес не убывает.

«Р. и Джульетта». Прохожу трагедию вместе с девочками. Она страшно утомляет их, особенно изощренностью метафор. Век науки принес с собой особого рода педантичность. Современные школьники вроде улиток: не хотят вылезать на свет из своих раковин. В конце концов, разумеется, Ш. заставляет их это сделать. Когда Ромео катается по полу, они хохочут, но когда брат Лоренцо разражается своей негодующей тирадой, воцаряется мертвая тишина[558]. Странно, каким бумерангом срабатывает шекспировский гений, — в тот самый миг, когда думаешь, что он уже потерпел поражение, он проникает в их души. По-моему, налицо нешуточная опасность: они пребывают в отрыве от фантастического, барочного, метафорического способа мыслить.

Дело отнюдь не в том, что в век Ш. люди мыслили так, а в наше время мыслят иначе; нет, беда в том, что наши современники живут в отрыве от поэзии. Фактически это куда более страшное поражение, нежели то, какое религия претерпела от науки — псевдонауки. На протяжении последних трехсот лет утраченной оказалась не столь вера, сколь поэтическое жизнеощущение.

Я имею в виду, конечно, общее поэтическое жизнеощущение; конкретные поэты и их поэзия — всего лишь индикаторы богатства или бедности общего поэтического жизнеощущения своего века.

12 апреля

Уже неделю у нас гостит мать Э. — стресс, хотя отнюдь не бытового свойства: как тещу ее не в чем упрекнуть. Но она безнадежно поверхностна, инфантильна, бессодержательна; такое впечатление, будто лет в двенадцать остановилась в развитии. Совсем как дети, буквально делает то, что ей говорят. Э. мягко, без нажима помыкает ею. У ее матери, по сути, нет представления о том, какова ее дочь, — а Э. вся в отца, физически и духовно.

Она сосет конфетки, поклевывает то одно, то другое, перебирает и сортирует вещи — все как ребенок. И читает то, что называет «книжками» («Загляну-ка я в свою книжку»), — журналы. Прочитывает их старательно, досконально, от корки до корки. Все сколько-нибудь новое зачаровывает и озадачивает ее. Не будь такая реакция реакцией не вчера пришедшей в мир женщины, впору было бы расчувствоваться. Но на ее лице подобное удивление выглядит комичным до гротеска, моментально будит раздражение (пошутишь, а до нее, как до ребенка, смысл доходит не сразу) и по большому счету — жалость. В ней еще живо стремление познавать, какое-то неутоленное ожидание, порой чуть ли не свежесть восприятия.

И вместе с тем — какая-то страшная, раньше ее самой возникшая, неизбежная усталость, безнадежность. Эта усталость сквозит в ее голосе, в монотонном, жалобном, подвывающем бирмингемском прононсе с его отвратительными дифтонгами и унылодепрессивной интонацией. Словно бесконечно длящийся дождливый день на растянувшейся на мили рабочей окраине.

Какие бездны безвольности, должно быть, зияют в душах тех, кому недостает сил выбраться оттуда, — в душах самых бедных и униженных. Бирмингем — отнюдь не вкусовая категория: это массированное наступление на жизнь.

Джейн «Сэндитон». Думаю, эта вещь сулит наибольшее наслаждение: восхитительную галерею гротескных персонажей; Алису в Стране чудес. Шарлотта не что иное, как Алиса (Доджсон наверняка был знаком с романом); пример — званый вечер у

сумасшедшего шляпника в главе десятой. Седьмая, восьмая и десятая главы — едва ли не самые смешные в английской литературе. С блеском раскрыта завораживающая двусмысленность поведения Шарлотты, злокозненного и одновременно невинного, — и вместе с тем она всегда права, естественно выдвигаясь в центр читательского внимания.

28 апреля

Дневник должен в точности запечатлеть позицию и натуру того, кто его ведет. Потому любые изъятия, исправления, прояснения, подчищения требуют тщательного продумывания. Его язык, не исключено, можно подчищать, устраняя шероховатости; однако любое отклонение от написанного слова есть ложь. В моем конкретном случае, если я вознамерюсь когда-либо это сделать, хотелось бы избавиться от интонаций самооправдания, самоупоенности.

30 апреля

Визит к психиатру Роя Кэтрин Гинзберг. Рой куда-то переехал, не оставив возможности войти с ним в контакт. А Э. не может навещать Анну без его разрешения.

Безобразный квартал кирпичных домов в сторону от Эджвар-роуд; убожество, запустение 1930-х. В приемной жарко, воздух спертый; иконы, статуэтки из дерева, позолоченное распятие, как в кабинете городского священника. А сама похожа на пожилую модистку. Тон резкий, повелительный, ко мне проникла немедленной антипатией; а может, в сложившихся обстоятельствах это стремление «прощупать» посетителей и естественно. «Вы лжете, — показывала она всем своим видом и голосом, безошибочно выдававшим немецкое происхождение. — Факты свидетельствуют о другом, вы чего-то недоговариваете». Почему Э. только сейчас ощутила потребность повидать дочь? Почему нам не доверили воспитывать Анну? Не видим ли мы оба в ней средство укрепить собственный супружеский союз? А счастливы ли в браке мы сами (однозначно подразумевая обратное)? Как бы то ни было, мне ей сказать нечего. Это не моя проблема. Она должна встретиться с Э. Что до Роя, то ни у одного из нас нет ни малейшей необходимости его видеть.

Я понял, что результат аудиенции нулевой. А степень ее влияния на Роя нетрудно себе представить. Это нерушимая воля Mutter[559].

Череда других вопросов. Готовы ли мы взять Анну на воспитание? Да.

Она упорно продолжала утверждать, что основное препятствие заключается во мне. Очевидно, имея в виду, что именно по этой причине Р. не склонен отдавать матери Анну; но,

несомненно, в ее неприятии нашего с Э. союза просвечивало и нечто иное.

Нетленное лоно католичества. Браки заключаются на небесах, и их таинства нерасторжимы.

Возможно, самое странное имело место в момент моего появления. Открывшая мне дверь ассистентка заявила, что я явился не в тот день. По ее словам, прием был назначен не на шесть часов в понедельник (сегодня), а во вторник. Но, договариваясь по телефону, я записал и повторил в трубку час и число. А девушка, на мой взгляд, была слишком методична, чтобы сделать такую ошибку.

4 мая

Сегодня ездили в Кью; на воскресном небе ни облачка. Простуженная Э. в своем лучшем сером пальто. Деревья, небо и восхитительно округлые и изящные стеклянные игрушки. Э. они не понравились. Медленно прошла, нахмурилась с самым серьезным видом; а на платформе вдруг, разом преобразившись в ребенка, принялась сосать оранжевый леденец на палочке. Я пришел в восторг, глядя на группки людей, прохаживавшихся по траве, слушая пение птиц, упиваясь невероятным множеством цветов. До чего импрессионистичны подобные сцены. Когда выдается погожее воскресенье, ничто не может сравниться с импрессионизмом.

Квартплата повышается; сейчас это пять гиней в неделю. А на днях будет шесть. Нам придется съехать. Такие еженедельные расходы нам не по карману — даже при том, что Э. теперь работает в МИИ[560] на полную ставку. С бедностью я успел сродниться, но чувствую, как во мне поднимается буря протеста. До сих пор я мало что готов — да, по правде, и мог бы — делать ради денег; подчас, однако, сквозь оболочку моего смирения прорывается негодование. Высокая черная стена неотступной бедности, что сопутствует нам на протяжении последних четырех или пяти лет; с пятницы до пятницы мы еле сводим концы с концами — и так неделя за неделей. Крутимся как белки в колесе, не позволяя себе и помыслить о том, чтобы передохнуть.

10 мая

Творение, создаваемое непрестанным трудом; вещь презираемая. Повсеместно на щит поднимают «естественный» гений «прирожденного» художника. Процесс художественного творчества объявляется «тайной». Все эти эстетические воззрения сродни религии: искусство выступает в них как символ мистериального. Мне представляется, что они носят преходящий характер и постепенно начинают исчезать; что до поэзии, там они — уже достояние прошлого; «естественный», «прирожденный»

поэт в наши дни — музейный экспонат. Индивидуумы типа Дилана Томаса могут казаться «прирожденными» поэтами; однако он корпел над своими стихами не меньше Малларме[561]. Чем более «искусственным», сознающим самое себя становится искусство, тем в большей мере художник должен быть человеком, сотворившим самого себя. Это возрастающий в геометрической прогрессии процесс взаимодействия воли и труда: роль изначальной одаренности художника в нем в том же соотношении убывает.

Тем не менее ни один критик не принимает это обстоятельство во внимание. Однако в рамках подлинно гуманистических критических теорий борьба художника за самовыражение должна стать фактором, который учитывается при вынесении конечной оценки.

Говорю это, отчасти адресуясь к самому себе. Передо мною, насколько можно судить, стоят бесконечные преграды: лень, сомнения, медлительность, штампы; так что, если в конце концов мне удастся чего-нибудь достичь, это будет посредством само-преодоления: самопознания, самовыстраивания. А не благодаря помощи проклятых муз.

Фрэнсис Мэри Пирд «Один год» (1869)[562]. Интересный образчик викторианской прозы — главным образом благодаря влиянию Джейн; есть в этой прозе нечто от ее отчетливого видения и сосредоточенности на морали. И в то же время что-то от истовой, само-упоенной тональности писаний миссис Хофланд[563]. Но в этом мире, сельском мире середины викторианского века, есть свое обаяние: благолепие в доме викария, кипение зреющих в подполье страстей, муки совести. Что меня занимает, так это как люди той поры проявляли себя в сексуальном плане. Сколь видимый отпечаток накладывала эта сфера на их поведение? Существовало ли этакое самодостаточное сексуальное наслаждение, о котором не принято было говорить? Либо напротив: о нем не говорили потому, что оно не существовало? Либо — еще вариант — то малое, что имело место, было столь запретным, столь тайным, столь восхитительно невикторианским, что его оказывалось достаточно? Интимные оргии плоти и ума, обнародуй которые — и викторианский век не запечатлелся бы в памяти поколений как таковой?

Э.М. Халл «Шейх»[564]. Книги вроде этих, с их необыкновенной популярностью, в десятки раз ценнее для историка, нежели литературные шедевры. К примеру, оттенок садизма, лежащий в подтексте романа: чем не психологический исток фашизма?

1 июня

Московский Художественный театр, «Дядя Ваня». Вот почему я избегаю ходить в театр: как раз по той причине, что нигде не играют как там — с полным отсутствием видимого усилия. У этих русских актеров, как и их лучших музыкантов, абсолютно нет техники: я имею в виду, разумеется, что их техника столь совершенна, столь уверенна (а потому и не может не быть столь же инстинктивной), что вроде бы исчезает[565]. Даже лучшие из английских актеров и актрис слишком сознательно выполняют поставленную перед ними задачу; они как бы рисуются. Русские не рисуются: это ниже их достоинства. Соответственно им чужд неизменно дающий себя почувствовать на английской сцене конфликт конкурирующих исполнительских индивидуальностей. Русские актеры — ансамбль; есть уровень, на котором и они не могут не при-, знать чьего-то превосходства или неадекватности роли, но этот уровень — превыше техники, которой они владеют.

Я думаю — хотя никто из критиков, каких я читал, об этом не упоминает, — что проистекать это может лишь из одного источника: глубочайшей, непререкаемой дисциплины; самодовольство, упоение огнями рампы, эгоцентризм — все это оказывается выдавлено из их натур целенаправленными усилиями режиссера. Они не расставляют себя по разным сторонам сцены; их *мизансценируют*. Думается, на каком-нибудь высочайшем уровне драмы: в «Гамлете», «Царе Эдипе» или любой великой стихотворной трагедии — это может проявить себя под знаком «минус». Тогда они не смогут обрести в себе той самой воспаряющей ввысь свободы; и наружу выйдет элемент механичности, заложенный в методике их подготовки. Но в сфере всего реалистического, будь то комедия, трагикомедия, трагедия в прозе (как замечательно они, должно быть, играют Ибсена!), они отличаются и возвышаются на ступень надо всем, что наработано на Западе; и объясняется это ничем иным, как тем, что они вышли из недр социалистического общества. В капиталистическом мире подобной самоотверженности быть не может.

Единственное, чего я не в силах был принять, — это марксистское прочтение «Дяди Вани»: выдвижение Астрова в центр пьесы и сведение самого дяди Вани к образу слабовольного второстепенного персонажа. Дабы обосновать это, пьесу пришлось свести к большей комедии, нежели та, которой она является, но ведь по большому счету «Дядя Ваня» — трагедия. Ведь все, что говорил Чехов о фарсе, следует понимать не буквально, а метафизически. Его пьесы демонстрируют, что жизни иных людей обретают фарсовое обличье, но их главные герои сами по себе отнюдь не персонажи фарса. Порою их можно уподобить

последним, но и в этом качестве они достойны жалости, но не гогота.

* * *

В Московский Художественный мы ходили с Поджем, более воодушевленным и восторженным, чем когда-либо. Он рассказал забавную историю, произошедшую с Алленом Гинсбергом — одним из новых американских литературных авторитетов, выходцем из поколения битников. Приехав в Оксфорд с лекцией, организованной литературным обществом Колледжа Иисуса, он начал ее с рассказа о том, как на пути в Англию сделал остановку в Ирландии.

— Не успел я приземлиться, как почувствовал, что на затылок мне давит что-то тяжелое. И я знал, что это было. Знал, что это было. Это была Церковь. И знаете, что я сделал? Зашел в первый попавшийся храм, прошел между рядами и остановился перед алтарем. Встал прямо перед алтарем. И знаете, что я сделал перед самым алтарем? Принялся мастурбировать. И это было здорово. Это было *всерьез*.

Члены литературного общества, сказал Подж, все как один поднялись со своих мест и мягко выпроводили его из зала.

8 июля

Сон. Аудитория или большой обеденный зал; длинный стол. Обстановка торжественная, с оттенком ритуального действа. Я сижу на дальнем конце; во главе стола — небольшое возвышение. Что-то напоминающее заседание мозгового треста какой-то организации; терпеть не могу таких посиделок. С огромным почтением собравшиеся обращаются к пожилой женщине — она здесь затем, чтобы помочь им решить трудный вопрос. Однако ее мысли где-то далеко, и она не произносит ни слова. Я выхожу из зала. Оказываюсь в темном коридоре. Через открытую дверь вижу, что снаружи хлещет дождь. Придется переждать, пока он утихнет. Я совсем один, вдали ото всех, кто собрался в зале. И все же меня это ничуть не волнует, я совершенно уверен в себе.

(Это меня несколько озадачивает: накануне ночью я читал «Глубины эксперимента» Мартина[566] — попытку создать новое философское учение, опираясь на открытия Юнга. Попытку во многих отношениях весьма наивную — заходящую, как мне думается, чересчур далеко в анализе клинических примеров сновидений и их юнгианском прочтении. В таком случае «пожилая женщина» — это, очевидно, Magna Mater[567], только в момент наименьшей активности. Или к подобному выводу

исподволь подталкивает мой скептицизм?)

Марк Твен «Простаки за границей». Вещь более смешная, нежели произведения двух моих любимых юмористов — Джерома К. Джерома и Тербера; и нетрудно понять почему. Оба они — не более чем плагиаторы, ворующие находки Клеменса. Джером прибегает даже к найденному тем имени: Харрис. А рисунки Тербера, прославивший его незамысловатый язык — это же чистейший Твен. Твен — неисчерпаемый источник вдохновения[568]

11 июля

Сон. Церковь или часовня. Я сижу на скамье, вокруг собравшиеся прихожане. И вдруг впереди вижу что-то необычное. Приглядываюсь: это же Дж. Мэнселл. Его выводят наружу. Внезапно ловлю себя на том, что все кругом не отрываясь смотрят на меня. Они стоят. А я сижу. И испытываю безотчетную решимость сидеть и дальше.

(У этого видения — явная игровая подоснова: зависть к Дж. Мэнселлу, сделавшему карьеру продюсера на Би-би-си и т. п. Презрение к Мэнселлу и чувство стыда при мысли о моем собственном положении.)

12 июля

Сон. Веду занятие, посадив на колени одну из моих учениц (самую некрасивую — Дриё). В такой ситуации не усматриваю ничего эротического; напротив, это вполне в порядке вещей. Чуть позже, когда я собираюсь продолжить объяснение материала, несколько девочек вдруг принимаются кричать и швыряться учебниками. Я решаю для вида уступить им, кончаю урок, думая про себя: «Ну что же, тебе преподнесли подарочек, нечего зверствовать». Но внутренне уязвлен их стремлением во что бы то ни стало поскорее покончить с занятиями.

(Это один из тех снов, какие посещали меня и раньше — про себя я называю их «школьными». Между прочим, именно Дриё выбрала и купила две пластинки, которые они недавно мне подарили.

Такие вот обрывки снов. И этим, и вчерашним утром я помнил их целиком, но не более полуминуты с момента, как проснулся. Помню только, что второй сон был определенно «школьный»; тот же, что привиделся мне утром 11-го, начисто изгладился из памяти; запомнился лишь момент в часовне.)

13 июля

Сон. В памяти не осталось ровно ничего.

14 июля

Сон. В нем были отчетливо различимы две темы; обе смутно брезжили в памяти, когда я очнулся. Но что это были за темы,

позже не мог припомнить, как ни старался. (Последние два дня сны особенно противятся моим попыткам их вспомнить. Думаю, не случайно. Как это понимать: бессознательное стоит на страже своих тайн? Подобно жрецу, охраняющему тайну мистерий?)

16 июля

Сон. Преобладающая тема — комната для преподавателей. И еще одна, всплывавшая раньше.

(Проснувшись, вспомнил массу конкретных деталей. Но опять заснул, и все они канули в небытие.

Спать я лег с ощущением смутной тревоги и с ним же проснулся. Но в самом сне, по-моему, не было ничего тревожащего.)

17 июля

Сон. Ничего не запомнилось.

19 июля

Сон. Три эпизода. Один в Ипплпене. Иду по дороге — с М., О. и Э.? Вижу, как тропа сворачивает вправо. И знаю, что, поднявшись вверх, увижу за склоном чащобу, где часто резвятся кролики. Однако, преодолев подъем, обнаруживаю, что никакой чащобы в помине нет: напротив, передо мной расстилается просторная равнина — никаких кроликов и вообще ничего похожего на Девон. И вдруг вижу, как с дороги ко мне приближается старый фермер Мейджор. Ощущаю перед ним смутную вину.

Другой эпизод (до или после описанного? Не помню). Школа; как ни странно, она напоминает одновременно Бедфорд, Спеце и Эшридж. Каменные полы. От чего-то бегу, не чувствуя, впрочем, особенного страха. Взлетев по лестнице, оказываюсь на огромном чердаке — судя по всему, под самым куполом. Пытаясь сориентироваться в полутьме, спотыкаюсь о многочисленные препятствия. Стукаюсь головой о балки, выступающие из-под штукатурки. Двигаться трудно. Опасаюсь провалиться вниз сквозь перекрытия, но по-прежнему не испытываю панического ужаса. В конце концов нахожу дверь, через которую можно выйти с чердака.

Третий. Очень смутный. В толпе людей стою на платформе возле железнодорожных путей; по краю перрона с каждой стороны протянуто высокое заграждение. Похоже, все боятся, что лошадь не сможет через него перемахнуть, поскольку очень близко, почти рядом, еще одно заграждение. (Спустя небольшое время я увидел в кинохронике сюжет о том, как проходило международное дерби.) По путям проходит поезд. Под ноги падает черный квадратный ранец; в нем — фонарь и флаги. Судя по всему, он принадлежал проводнику. И вот появляется сам

проводник. Он спрыгнул с поезда на полном ходу. Мы уходим? (Конец тонет в неопределенности.)

(По поводу первого эпизода. Помню: действительно был в наших краях уголок, откуда я любил наблюдать — и красть — кроликов Мейджора. Но сознание отказывается воскрешать это место в деталях; не отсюда ли столь нелогичная перемена декораций?

О втором. В чердаке под куполом узнаю два давних-давних случая, произошедших со мной. Экскурсию в Кентерберийский собор, где мне, как и другим, продемонстрировали просторное помещение под самыми сводами. И аналогичную экскурсию в Эшридж.

Третий. Фигура проводника. Незадолго до того за считанные секунды до крушения машинист действительно на полном ходу спрыгнул с поезда.)

1 августа

Напился. Семестр кончился, и мы с Флетчером порядком нахлестались. Нахлеставшись, я осознал, что в моей жизни он играет роль «égout». Флетчер — мой égout[569]. Но не только это: нахлеставшись, я вступаю в диалог с грядущим. Хочу сказать: когда-нибудь в будущем люди научатся управлять ходом времени; тогда они вернутся в нашу эру и примутся нас разглядывать; с этими-то людьми я и вступаю в диалог.

Еще одно наблюдение: алкоголь способен заставить все на свете устремляться вверх. Ты вперяешься взглядом в какую-нибудь точку, и на твоих глазах все движется, движется. Возможно, алкоголь — лишь стимулирующий движение вверх наркотик, не более того.

Эшридж. Я побывал там вместе с О. Огромное здание совершенно пусто. Мы обошли его, не встретив ни души; подчеркиваю: ни единой души. Вокруг страшное безлюдье. А сад по-прежнему ухоженный, пышный, безмятежный. Sic transit…[570] но для меня-то это кусок личного прошлого. Я ощутил странную, абсолютно неожиданную ностальгию. Колледж, похоже, безвозвратно обречен на закрытие. Как учебное заведение он перестанет работать уже через два месяца[571]. Но для меня в этих стенах еще витает дух девушек — Салли, Санчии и прочих; еще слышится многоголосый гул праздничных толп — и цветет сад. Сад — и девушки; это что-то вроде затерянного лабиринта — одного из тех петляющих и сбивающих с пути, какими полны минойские пещеры; никому неведомо, каково было их подлинное назначение. Словом, в Этридже я открыл для себя нечто, чего не в силах был подвергнуть анализу (знакомая тоска по уходящему времени, как своему, так и культурному, — не в счет); нет, там

затаился древнейший, глубочайший, но еще живой миф. Только проникнуть в него не дано. Как бы то ни было, раз или два я явственно ощутил его дыхание, будто стоял рядом с тем, что случилось лишь вчера, будто был рядом с тем, чему только предстоит еще случиться. Есть ведь в природе и непреложные события.

2 августа

Я ненароком уронил мои новые очки — вместе с футляром. И тут же вспомнил, что разбил их — в одном из моих недавних снов.

5 сентября

И снова начался учебный год. Стайка гречанок, точнее, тех же немыслимых полукровок: полунемок-полуперсиянок, полукитаянок-полуфранцуженок. Пошлость, провинциальность. С одного взгляда могу сказать, какими они станут через год-два. Но такого класса, как в прошлом году, у меня уже не будет. Ни одна из них всерьез меня не интересует. Впрочем, в полунемке-полуперсиянке есть нечто психологически — и орнитологически — любопытное; за ней имеет смысл понаблюдать. Да, есть еще прекрасное дитя природы с Крита — прекрасное в своих греко-турецком нерушимом спокойствии и благородстве натуры, в своей гордости и праздности. Речь не о праздности в буквальном смысле слова (она очень старательно слушает и пишет), а о чисто этнической особенности.

Сегодня вернулась Стефанян и угостила меня сигаретой с разными необыкновенными персидскими травами. Такая красивая, что я потом долго не мог прийти в себя: в молочно-голубом костюме, черная от загара и до того элегантная, что хоть сейчас может выйти на рю де ла Пэ. Потом, в библиотеке, я долго с наслаждением вдыхал великолепный аромат, исходивший от сидевшей рядом со мной женщины; казалось, он следует за мной, куда бы я ни двинулся. Им пропахла вся комната.

Стефанян дразняще сочетает в себе красоту, элегантность, изящество, простоту, веселость и запах пота; странное существо — faisandée[572].

15 сентября

«Доктор Живаго» Пастернака. Это великий роман. Несмотря на невыразительный перевод и исконные огрехи (или намеренные провалы, подобно паузам в музыке), он масштабен. Масштабны характеры его персонажей, при всей их мимолетности; а это, разумеется, означает, что автор проник в самую сердцевину их существа. Когда проникаешь в сердцевину, твой метод — или любого другого (скажем, Джойса, Вулф, Кафки) — себя оправдывает.

Его манера письма очень тесно связана с искусством импрессионистов — прежде всего Дебюсси. Совпадение громоздится на совпадение; отчего раньше это никому не приходило в голову? Что, в конце концов, работа любого механизма, как не цепь поразительных совпадений?

Самое лучшее в романе — трагическая история любви, которую узнаешь посредством тончайших умолчаний и недоговоренностей; она бесконечно реальнее, нежели другие трагические любовные истории, запечатленные в литературе этого столетия. Та, какая изложена в романе «По ком звонит колокол», в сравнении с «Доктором Живаго» сентиментальна. Возможно, к ней могла бы приблизиться история любви в «Великом Гэтсби». Но там она представала как компонент общего осуждения, выносимого определенной цивилизации; у Пастернака же отношения любовников составляют самый центр повествования. Лара, разумеется, предстает как воплощение человеческой души; как душа России (не говоря уже о других символических значениях этого образа), она неизбежно обречена на расставание с Живаго.

24 октября

«Пармская обитель» Стендаля. Я наслаждался этим романом; проглотил его залпом. То на одном, то на другом месте останавливаешься и задаешься вопросом: чем, собственно, он велик?

А он завораживает с ходу, не спросясь. Как музыка Пуччини.

Крестные отцы Стендаля — Вольтер и Расин: он сполна унаследовал ироничность и желчный эгоизм первого, величие и формальную безупречность второго. Даже в наиболее романтичных своих настроениях Стендаль наблюдает, описывает.

Есть в Стендале и резонерство, которое импонирует мне в Джейн О.; правда, его резонерство более аристократичное, снобистское, однако по большому счету оправданное. В фокусе внимания Дж. О. — вопросы морального свойства; в фокусе, внимания Стендаля — социальные, политические. Презрение к духовно несостоятельным; презрение к политически коррумпированным.

И еще: замечательна ясность его стиля. Чем романтичнее материал, тем прозрачнее его изложение. И наоборот.

9 ноября

Джексон Поллок. Выставка в галерее Уайтчепел. Гигантские неряшливые холсты, залитые, забрызганные, исхлестанные краской. В них на полном серьезе вглядываются десятки мыслящих, известных людей. Особенности манеры Поллока вполне очевидны: время от времени (хотя далеко не всегда)

тонкое ощущение цвета и пристрастие к размашистым, асимметричным конфигурациям («каракулям»). Не менее очевидно и то, почему его живопись буквально перевернула вверх ногами теперешний художественный мир. Во-первых, в ней запечатлено тяготение к неискусству, или природе, или субъективному произволу, или хаосу; во-вторых, ее характеризует тотальный отказ от каких бы то ни было ограничений; в-третьих, она открывает беспрецедентный простор для критических истолкований. Последнее обстоятельство наиболее важно. Ведь, какой из видов искусства ни взять, под определением «великое» ныне все чаще подразумевают «любопытное» либо «открывающее поле для дискуссий и демонстрирующее остроту чувств и нарушение правил». Эпитеты типа «хрестоматийный», «значимый», «этапный» призваны свидетельствовать лишь об одном: о том, что характеризуемые ими произведения столь двусмысленны, что зритель волен усмотреть в них то, что ему заблагорассудится. Конечно, и для того, чтобы достичь такой степени двусмысленности — или бессмысленности, — нужно обладать определенным мастерством. Неоспоримо и другое: если век именует того или иного художника «великим», этот художник должен быть велик — по крайней мере в каком-то отношении, а его творчество — представлять некую ценность.

Находясь в галерее, я почувствовал, что в этом искусстве есть что-то нестерпимо декадентское. Декадентское не в смысле чистого разрыва с традициями (не в том понимании, в каком употребляют это слово закостенелые консерваторы из Королевской академии) и даже не применительно к изначальному художническому замыслу, а декадентское постольку, поскольку нынешний век низвергает искусство с пьедестала. Наш век — век зрителя; мы уподобляемся толпам любопытствующих зевак восемнадцатого столетия, разевавших рот на любую диковинку. Итак, теперешние диковинки — экстремальные художественные формы. В них каждый волен найти то, что ему импонирует; а по сути, они не затрагивают ничего. Я уверен, что замыслы Поллока были в высшей степени серьезны, но все, чего он добился в итоге, не более чем легковесное развлечение.

К тому же его живописи легко подражать. Она не требует ни дисциплины, ни творческого духа (коль скоро ее создатель овладел соответствующими приемами); для нее потребно лишь некое наитие, отличающее тысячи людей с прирожденным ощущением цвета. Однако все великое искусство обладает одним общим свойством: оно неповторимо. Оно переносит в другие миры; оно стоит особняком от всего прочего; оно несводимо ни к чему иному. Мы растворяемся в том, чего сами не способны

создать.

Некоторые из его картин неплохи. К примеру, «Номер один»: гигантский водопад цветовых брызг: зеленых, бледно-пурпурных, цинково-белых, неярко-бурых. «Лето». И та и другая могут послужить удачными подступами к подлинной живописи. «Аромат» — каскад излюбленных тонов Дюфи: розовых, белых, желтых, красных. Здесь он проникает в суть.

И одна замечательная картина — «Бездна». Облака белого размыкаются, раскрывая пропасть: пятна сепии, индиго, проблески красного. В ней ему удалось передать нечто глубокое и действительно важное. Важное как в психоаналитическом и поэтическом плане, так и в плане чисто живописной техники. Воплотить абстракцию тайного. Но, кажется, это единственная из его картин, на которую никто не взглянул дважды.

Поразительное зрелище. Классический индийский танец в исполнении Индрани[573]. Плавная изменчивость движений, грация всплескивающих рук, позвякивание браслетов на непрерывно движущихся лодыжках; танец глаз, танец губ, вся пленительная гамма улыбок, вздрагивающих кистей рук, предплечий, бедер, икр, ступней. По сравнению с этим европейский танец бесцветен, монотонен, искусствен.

Ко всему прочему, Индрани очень хороша собой: прелесть юной девушки сочетается в ней с обаянием зрелой женственности. А музыкальный аккомпанемент изобилует репризами, перипетиями, синкопами. То, чего мы ищемся в фольклоре испанцев и народов, живущих на Балканах, давно существует в Индии; то, что отдельными проблесками восхищает нас в их танцах, зримо предстает в индийской музыкальной культуре. Танец так завладел мною, что я весь вечер просидел как вкопанный; он поглотил меня без остатка. Ко мне вернулось почти безвозвратно утраченное чувство восторга, дистанцированности. Чувство столь сильное, что напрочь исчезла эта вечная страсть двадцатого века — критиковать, раскладывать все по полочкам. Такое искусство танца захватывает безраздельно.

11 января 1959

Грэм Грин «Тихий американец». Подобная экономичность повествования сродни цирковому фокусу: она отбивает желание прибегнуть к другому стилю письма или, точнее, к любому иному способу рассказывать. Единственная манера письма, которой она не умаляет, — поэтическая, рождающая настрой. К примеру, манера Вулф, манера Джеймса — поэтов прозы. Но когда стараешься достичь того и другого (то есть одной ногой стоишь в «Гринландии», другой — в царстве поэзии), результат всегда

оказывается чуть… несфокусированным, раздражающим. Грин напоминает Гольбейна: во многих отношениях он настолько правдив, что все остальные способы портретирования кажутся ущербными. Опасность такого положения дел очевидна: случись Гольбейну наградить своего натурщика — мужчину с прямым носом — носом с горбинкой, мы тотчас уверуем, что так он на самом деле и выглядит. Ложь, когда ее со всех сторон окружают приметы реального, воспринимается без труда. А у Грина сплошь и рядом — психологические и даже физические натяжки; иными словами, обычно он так vraisemblable[574], что без всякого риска может позволить себе оказаться invraisemblable[575].

Дефо — Уилки Коллинз — Грин.

12 февраля

Э. заболела. Обморок, тошнота, стонет, диарея — все сразу (около пяти утра). Неистовый бунт кишечника. Врач сказал, что это гастроэнтерит.

Похоже, мы наконец-то скоро переедем — в квартиру на Черч-роу, 28. Угловой дом. Пустующий. Он принадлежит Западной инвестиционной компании; ее представляет некий м-р Шин-дер — увертливый и жуликоватый, как и само его имя. Ни он, ни компания не вызывают у меня ни малейшего доверия; к тому же платить придется больше, чем здесь, а нам и теперь жилье обходится дай Боже. Но место — притягивает. Жить в доме, построенном в 1720 году, высоко, с видом на крыши, сады, окрестности. Любой разумный человек ответил бы на это предложение отказом из соображений экономии (при наших заработках — мы и тут-то запаздываем с квартплатой. На жалованье Э. и без того ложится слишком тяжелый груз); и нам следует поступить так же. Но я отчаянно надеюсь, что мы все-таки переедем.

* * *

«Аристос». Не сдвигается с места. Частью из-за лени; частью из-за недостатка времени. Чтобы сосредоточиться на нем, мне нужно несколько свободных часов кряду. Что до мыслей, то их я встречаю везде, в любой книге, в любой газете. И уже примирился с тем, что встречаю свои идеи сформулированными кем-то еще. Возможно, лучше, чем мной. Более осмотрительно, чем смог или захотел бы сформулировать их я.

Греческие стихи, кажется, почти готовы. Ничего не делаю. Не исключено, что у меня очередной запор. Но каждый раз, когда спустя какое-то время я их просматриваю, появляются исправления. Инстинктивно чувствую, что они *не готовы*. Некоторые придется предать огню, а тогда возникнут пустоты. Зацикливаюсь на отдельных строках. Вот одна из них: «С соленых огородов моря»; вокруг нее будет вертеться все стихотворение. Но она и ей подобные упорно скатываются вниз по склону, не желая остановиться, занять свое место.

14 февраля

Голос старьевщика с улицы. Печальный, тонущий вдали — последний зов улицы. В нем — щемящая нота потерянности, нездешности. Это последний крик иссякающего бытия, страшного, прекрасного былого мира незащищенного индивидуума; короче, просто индивидуума.

19 февраля

Джон Брейн «Путь наверх». По сути, беллетристика невысокого пошиба; слепок с «Фигуры»[576] Арнолда Беннетта. Есть, однако, в этой книжке определенная сила. По крайней мере в ней нет присущей нашей литературе столь многим мертвящей анемии — этой черной метки обреченной на гибель цивилизации, дающей себя почувствовать во всех ее сферах. От нее веет чем-то неумирающим, всеядным, елизаветинским. Но вот ее страшная ахиллесова пята: какова позиция автора по отношению к главному герою — возвеличен он или спародирован? Логичное следствие чреватого смертельным риском стремления вести рассказ от первого лица. Именно этим обусловлена невозможность соблюсти столь необходимую в данном случае объективность повествовательного тона.

А если уж это возвеличивание, то наверняка возвеличивание наименее привлекательных человеческих свойств.

Д. Г. Л. «Послушай! Мы дошли!» В первый раз поэзия Л. нагоняет на меня скуку. Все время ощущается недостаток

подлинного ритма, строки наползают одна на другую из-за чересчур частых повторов, перенасыщенности красок; есть в них и местами брезжущая mievrerie[577], нагнетаемая сентиментальность, которая отнюдь не усиливает впечатление. Все дело — в балансе: чем интимнее тема, тем строже должна быть подача. Или по меньшей мере чуть сдержаннее. Иначе все размывается и тонет в потоке слов. То и дело натыкаешься на прекрасные стихи. Но как целое, как поэтический цикл не воспринимается. В последнее время много читаю Йейтса. Этот великолепный, всегда неожиданный, ясный мелодичный голос; отчетливые, завораживающие образы, звонкие, как песни. Сказать по правде, в сравнении с Йейтсом Лоуренс-поэт весьма зауряден. Й. сочетался браком со смыслом и музыкой; Лоуренс просто выплескивал свои чувства. Лоуренс презирал, или подминал под себя, собственную лиру; Йейтс боготворил ее. На самом деле Лоуренс вовсе не поэт, а эмоция, эмоция, облеченная в слова. В мире слов он — более или менее удачливый стрелок, Йейтс же — оракул; иными словами, боговдохновенный и точный. А Лоуренс — откровенный контрабандист, осквернитель поэтической традиции.

10 марта

Даю частный урок Виллитсуэт, моей ученице из Сиама, и вдруг чувствую запах газа. Не придаю этому особого значения. Когда девочка уходит, открываю дверь, пытаясь уловить, откуда идет запах. В дверях соседней квартиры низенькая женщина — в слезах, с опухшим лицом. Ее молодой муж только что пытался покончить самоубийством. Нам она этого не сказала, но мы поняли, услышав ее разговор по телефону.

Всего полчаса назад я видел, как он заходит в квартиру; притом наверняка зная, что мы дома: наша входная дверь была открыта — в ожидании Виллитсуэт я стоял в проеме ванной. Полагаю, он надеялся, что мы придем ему на помощь, однако неправильно рассчитал время. Ведь для того чтобы газ проник к нам, надо было оставить дверцу духовки открытой (как правило, она всегда закрыта); а входную дверь он, должно быть, закрыл только на задвижку, поскольку его жена без труда вошла в квартиру.

Это очень тихая пара; слишком тихая, добавлю задним числом. Никогда не спорят друг с другом, никогда не видишь их снаружи. Кому-то по телефону она пожаловалась:

— Он опять это сделал.

У него тяжелая поступь и громкий голос, когда он говорит, сколько времени.

Само по себе это происшествие меня не удивляет; однако

действительность странна: ни с того ни с сего входишь к себе в дом и включаешь газ, из суеты повседневности делаешь шаг в сторону смерти. Будто вдруг поднял голову и увидел в дверях ее саму — череп с зияющими глазницами.

Скотт Фицджеральд «Прекрасные, но обреченные». Ск. Ф. нравится мне все больше и больше. Эта книга — трагедия, а не просто прогон к «Великому Гэтсби». Отмеченная неподдельно трагедийным — и к тому же печальнейшим и прекраснейшим — видением нашего века[578]. Вся трудность в том, что это видение просвечивает сквозь мишуру (притом высококачественную) его изощренного владения словом. Я не уверен даже, что это недостаток — ибо истина, истинная трагедия не может вновь и вновь не просвечивать сквозь слишком изощренный, слишком выразительный язык; и в конце концов — это же наш век. Отнюдь не хочу сказать, что именно к этому стремился Ск. Ф., но так вышло; иными словами, расхождение между присущим ему интуитивным ощущением трагедии и распада и его же стремлением запечатлеть их со всем присущим ему языковым блеском — вещь, столь же типичная для нашего столетия. О раке повествует больной раком писатель, к тому же не ведающий, что он неизлечимо болен.

18 марта

Сегодня подписали договор на аренду квартиры на Черч-роу, 28. Одолжили у матери Э. девяносто фунтов. Но я уже предвижу страшные финансовые трудности. Поначалу думали, что со всем управимся сами, а теперь вызываем электрика, штукатура, и впереди маячат одни неоплаченные счета. Сегодня после обеда потратил два часа, сдирая в задней комнате со стен обои. Под ними целых пять слоев краски, и самый нижний — бледно-голубой (хотелось бы думать, что это — георгианская лазурь). Сплошь и рядом пошедшие пузырями и потом наскоро зашпатлеванные места. Делать ремонт — то же, что близко сходиться с женщиной: волей-неволей узнаешь все замаскированные дефекты, слабости; зато потом легче живется. Пригласив декораторов, толком так и не узнаешь, где текут твои дни. Не проникаешь в суть собственного обиталища.

Пока я возился с обоями, появился электрик из компании, маленький крепыш; он ни за что не хотел устанавливать счетчик.

— Этой проводке, — ворчал он, — лет пятьдесят. Почем мне знать, в каком она состоянии?

Поскольку он пришел проверять, в порядке ли электричество, я полагал, что уж это-то он знать должен. Но, похоже, заблуждался относительно круга его обязанностей. Оказалось, прежде чем он приступит к своей работе, наш собственный

электрик должен будет пронумеровать провода, а еще один «специалист» (jadis[579]), именуемый установщиком, принесет и включит счетчик. Диву даешься, сталкиваясь в XX веке с дремучей провинциальностью. Неплохой человек, все беды, включая безделье владельца дома и даже разгильдяйство собственных сотрудников, он приписывает атомной бомбе.

— Всем на все наплевать: через год или два мы взлетим на воздух. Так с какой стати беспокоиться? Скажите мне.

Я пробурчал, что с ним солидарен.

— Ничего в мире прочного не осталось.

С этим я тоже согласился. Э. постоянно дрейфует между кипучей жаждой деятельности и унынием. Вот на нее внезапно снизошла мания хозяйничать — не знаю почему, но именно так, по-хозяйски, начальственно, она себя ведет. Точь-в-точь как нетерпеливая кобылица. Командует, покрикивает, нервно потряхивает гривой, бьет копытом по мостовой; награждает нелестными эпитетами тех, кто ей не нравится. Деловая женщина; женщина, знающая, чего хочет; образцовая домохозяйка со страниц журнала «Дом и сад»; женщина, непоколебимо уверенная в собственной правоте.

On verra [580].

13 апреля

Черч-роу, 28. Две недели как въехали. Все еще в хлеву, но мало-помалу наше гнездышко начинает обретать облик неплохо обустроенной и комфортабельной квартиры. Целыми днями завинчиваю и развинчиваю болты, строгаю, пилю, штукатурю, мою, подметаю, а Э. выполняет обязанности маляра. Руки у меня настолько почернели, что не отмываются. Придется дождаться, пока нарастет новая кожа. Но в целом доволен. В состоянии такого первозданнного разора квартира похожа на дырявую изгородь: без конца латая ее, испытываешь непостижимое удовольствие, хоть исподволь и снедает мысль о бессмысленности такого занятия. Разумеется, она опять загрязнится, придет в запустение, но наш договор заключен всего на семь лет. Не глупо ли работать на вечность? И тем не менее вновь и вновь невольно поддаешься мании непрерывного совершенствования: добавлю еще штришок и еще один, последний.

За неделю до того, как мы съехали, в доме на Фрогнал, 55, начался капитальный ремонт: сносили стены, превращая две квартиры в четыре. Переезжать нам помогал молодой антиквар и торговец подержанными вещами из Кентиш-тауна. Вместе мы спустили вещи со второго этажа и подняли на третий в новом доме. Под конец того дня я был вымотан больше, чем за все

прошедшие годы. С тех времен, когда трудился на ферме. Странно, как мускулы отказываются повиноваться, а пальцы — удерживать тяжести.

Несколько дней — сплошная грязь и сквозняки. Массу времени я потратил на дымоход: прочищая и выравнивая его. Он был забит досками и едва не обрушился. Теперь он в неплохом состоянии. Потом срывал со стен полки, упрощал все как мог. Повсюду валялись груды ненужной бумаги, какие-то крюки, трубы, провода, ширмы. Возился с дверными и оконными рамами.

Но солнечный свет и крыши, трубы, вид, открывающийся прямо на старый Хэмпстед, — все это восхищает. Э. — чисто по-кобыльи — раз или два срывалась. Она тонет в деталях, ставит себе невыполнимые задачи и жалуется на их невыполнимость.

Мы тратим кучу денег и, как нам свойственно, разоряемся на дорогостоящей еде. Надо же чем-то себя побаловать.

Купили на кухню раковину с мраморным верхом. Белого цвета, она хорошо впишется в ансамбль; 30 шиллингов.

Я много чего отштукатурил; приятнейшее занятие. Теперь нам известно все о красителях и жидкостях самого разнообразного назначения, о наполнителях и очистителях.

Не так уж много сохранилось от первоначального дизайна: оконные проемы, неровные полы, одна или две балки. Но жаловаться не на что; осталось ощущение пребывания в старинном доме, прекрасная звукоизоляция, оригинальный вид, мы — высоко над уличным движением, и это жилье — наше; почему бы не полюбить его.

Странно, как в первые десять дней чувствуешь себя оторванным от внешнего мира. Вдали ото всего, мы обживали дом в полной изоляции, затворничестве, чуть ли не в склепе. Выходить на работу, возвращаться в нормальную колею — в этом было что-то нереальное.

1 мая

Писать стихи — значит расставлять слова в соответствии с теми смыслами, которые хочешь в них вложить. Обычный аргумент, выдвигаемый против такого определения, заключается в том, что данный процесс ведет в башню из слоновой кости: к самоизоляции, анархии и т. п. Есть, однако, естественная страховка против подобных опасностей; проще говоря, *общий* смысл, какой намеревается выразить художник, всегда находится под воздействием (и потому не исключает отношение) аудитории. Очень немногие из поэтов искренне *имеют в виду*: «Стихотворение — мое, оно выражает меня, и мне безразлично, будут его когда-либо читать или нет». Порядок в поэзии устанавливается так же, как в обществе; его источник — природа

вещей. Существует естественная осевая связь между тем, что поэт хочет сказать, и той оценкой, какой он жаждет удостоиться. У одного почти все сводится к самовыражению, а оценка извне не имеет значения; другому важнее всего общественное признание; что до его глубинных индивидуальных побуждений, то sauve-qui-peut[581]. И опознается это в ходе живого опыта: уравновешен ли и счастлив поэт, когда пишет то, что пишет? Если да, он пребывает в центре своей оси; если нет, равновесие нарушается. Все великие поэты пребывают в центре оси (не считая иных из так называемых «великих» поэтов современности, чье величие — не более чем симптом эпохи, в которую они живут).

«Симптом эпохи». Итак, эпоха — болезнь. «Что с ним такое?» — «У него эпоха».

5 мая

Бронте «Грозовой перевал». Перечитываю и снова чувствую, что оказываюсь во власти его чар. Почему это один из пяти-шести величайших английских романов? Во-первых, потому, что он стопроцентно правдиво передает мир воображения; иными словами, мир бессознательного и галлюцинативного. А там, где роман бросает вызов обыденной реальности, он лишь набирает силу (Когда я последний раз перечитывал его? В саду Нью-Колледжа, году в 1949-м, думаю[582].) На этот раз я отметил романтически «изысканные» пассажи лишь для того, чтобы убедиться, сколь малозначима их изысканность. Если она что-то и привносит, то лишь еще больше воображаемой реальности. Во-вторых, Хитклиф; разве, sui generis, в нем не воплощен архетип каждого мужчины — как в «Отелло»? И в-третьих, вневременность, пусть и заземленная во времени. Итак, полярность, ощущение времени и отпечаток извечной психологической правды (Хитклиф — мужчина, Кэтрин — его идеал), отпечаток иной реальности, столь далекой, столь близкой. И наконец, полярность целого, яростное столкновение непримиримых крайностей.

Сидя у себя на крыше, слышу странный звук. Бесконечно повторяющийся отчаянный гомон. Над головой пролетела ворона, преследуемая ястребом. Ястреб атаковал снова и снова, пикируя, падая камнем. Я был без очков, но предшествующее нетрудно себе представить. Ворона не испускала криков — вероятно, потому, что не могла разомкнуть клюв. А единственное, чем она могла так разъярить ястреба, — украсть у него птенца или яйцо. Судя по всему, так и было. Но крик ястреба повергал в ужас. Страшнее не придумаешь.

Июнь

«Оглянись во гневе». Фильм. Очень впечатляющий для этого

века и периода. В нем налицо всякого рода несообразности и психологические non sequiturs[583], но тональность угадана удивительно верно: терпкий вкус гнева, намеренная горечь, ожесточенность сердца. И отказ делать что бы то ни было, что-либо утверждать, отказ притворяться — это, безусловно, в духе нашего века. Конец притворства — это конец старого общества. Но пока нет ни нового рождения, ни даже его предвестия.

6 июля

Почти завершен первый вариант нового произведения — «Мозаик»[584].

Лекарство от энтероколита. Пахнет точно так же, как пыльца дикой орхидеи. Меня нередко изумляют эти любопытные параллели между вкусом, запахом и настроением.

Помню, как-то утром я спускался по Аркрайт-роуд. Был пасмурный день, над холмом дул сухой теплый ветер. И вот в такой обыденной, до боли знакомой обстановке меня вдруг посетило какое-то далекое место, странное, нездешнее настроение — в тот миг я был почти что другим человеком; такова мощь генетической памяти. В подобные моменты часто проявляется нечто дикое и природное, не имеющее ничего общего с этим веком, несвойственное моему сознательному «я». Обычно они накатывают с ветром, с его запахом. Вдруг беспричинно возникают озарения, воспоминания. Не могу определить, что во мне пробудил этот миг на А.-р.: лесистый ландшафт, приятное чувство подъема, затем спуск, прогалины в чащобе… Самым любопытным компонентом было пасмурное небо. От него ощущение таинственности еще более усугублялось.

Страдаю от энтероколита. Стоит страшная жара, беспощадное синее небо. Все время потею, терзают кишечные колики. Пришел врач, глянул на меня; насупился, когда я довольно резко, вежливо, но без тени тепла заговорил с ним. Эскулап-служака без чувства юмора. Моего обычного, Чизхолма (это его сменщик), в Хэмпстеде все презирают. Он не спешит поставить диагноз, улыбчив, глуповат, больше интересует тем, что стоит в комнате. Но этот врачишка оказался еще хуже, он был до тошноты уверен в себе; едва я начал перечислять симптомы, как он уже все решил. И когда я сказал:

— У меня саднит в горле… — ответил:

— Инфекция перешла в кишечник.

Скажи я ему, что каждый вечер вижу на дверце платяного шкафа Святую Троицу, он не удивился бы. Думаю, этот врач — по сути, задержавшийся в развитии ученик грамматической школы — испытывал немалые трудности в общении. А люди, стремящиеся в быту опереться на авторитет профессии, опасны.

Выписывая рецепт, он спросил, сколько мне лет.

— Тридцать три, — ответил я.

А позже обнаружил, что на бланке написано: «Не выдавать детям до четырнадцати лет».

Римская пантомима; мастерство американцев в жанре музыкальной комедии. Низкие и вульгаризированные жанры искусства — страховка империи.

Искусство естественно произросло из греческой реальности, а также английской (в меньшей степени). Но у римлян не было естественного источника; они перенимали жанры греков. Американцы либо копируют английское/европейское (подобно тому, как великие римские писатели копировали творения греков), либо пытаются остаться сами собой и тогда опускаются до сниженных форм искусства. Когда американцы и римляне велики, они велики вопреки тому, что они — американцы и римляне. Когда велики греки и англичане, они велики благодаря тому, что они — греки и англичане. На данном уровне, уровне высокого искусства, сравнение, лестное в других отношениях, не срабатывает. Величие уникально: различаются лишь его истоки.

1 августа

Опасность воспринимать самое себя чересчур всерьез — вот как можно сформулировать дилемму, стоящую перед поэзией; и перед ней пасует масса умных людей. Поэзия предполагает некую простоту, наивность.

Мир (наше знание о нем) становится все сложнее. Поэтому нам приходится все чаще прибегать к стенографии — дабы обозначить это знание в символах и обобщениях.

Обычно выдвигаемое против этого возражение — плод мысли философа-естественника: все суждения, включающие причины, не описывающие явления физического мира, ненаучны; а следовательно, дурны. Но они же просто ненаучны. Фактически сложносоставные слова подобны аэроплану: без них не обойтись, коль скоро человеку предстоит познать весь окружающий мир. А познать весь мир — это значит (в научном смысле слова) познать каждую его деталь. Однако очевидная невозможность этого лишь подтверждает ценность другого рода обобщающего знания.

Есть к тому же и педагогический ракурс. Как иначе *обучить* мир миру?

3 августа

Начинаю чувствовать себя лучше; какая бы болезнь на меня ни свалилась, она, кажется, позади. Более или менее завершил «Мозаики». Испытываю соблазн добавлять к ним и добавлять, но они должны быть лаконичными. Как бы то ни было, к черту многословие.

Теперь мне предстоит опубликовать: «Мозаики», «Аристос», пьесу о молодом офицере (она нуждается в переработке) и роман о Спеце — «Магаристос», или «Волхв». Затем, предположительно, наступит черед Робин Гуда.

У меня также готово множество стихов.

Я совсем разленился по части дневника; мне нужен еще один спокойный месяц. Хотя на самом деле «Мозаики» не что иное, как его продолжение.

Не исключено, что Э. беременна. Выражусь точнее: раз или два мы с ней поленились прибегнуть к противозачаточным средствам. Такова неприкрашенная истина. В жизни, не в романе, решив завести ребенка, в это бросаешься очертя голову. «Очертя голову», быть может, и не совсем подходящее определение: скорее — взвесив все, что с этим связано, материально и физически; принципиально лишь, что решаешь положиться на волю случая. Э. хочет ребенка, я тоже — солидаризируясь с ее желанием, а также, как мне думается, с желанием О. Последнее я ощущаю с такой отчетливостью, что ничуть не сомневаюсь: он действительно мечтает о внуке. Хотя, конечно, вслух об этом не говорится. Далее. Согласно романной логике, детей зачинают в момент жаркой страсти или гармонии, бросая вызов скоротечности земного удела; что до нас двоих, то мы отнеслись к этому без подобающего пафоса и даже с оттенком юмора. Суть в том, что в рамках тех отношений, которые я попытался установить с Э., бурной страсти места попросту нет; ее заместило ровное взаимопонимание. Извечное таинство, если можно так выразиться, воспарило над чистой физиологией, не нуждаясь ни в особом церемониале, ни в комментарии. Во всяком случае, когда ребенка зачинают, положившись на волю случая, есть в этом нечто безошибочное. Под безошибочным я в данном случае имею в виду отвечающее голосу глубинной реальности.

Недавно принялся перечитывать с подстрочником Горация. Мне *необходимо* глубже заняться латынью. В римских поэтах — прежде всего Марциале, Ювенале, Горации — мне импонирует как раз то, что принципиально чуждо Риму. Слов нет, мы видим в них — если воспользоваться заезженным штампом — «высочайший расцвет» римской цивилизации. Но фактически все они восстают против нее: образцы их мышления — скорее греческие, сократические, нежели римские. Есть какая-то злая ирония истории в том, что их ассоциируют с веком, который они обличали. Вычтите из него полтора-два десятка великих римских поэтов и историков, и к чему придете? К цивилизации, которая смердит.

Как обычно, то же и в Америке.

Вывод: великие римские и американские писатели велики — вопреки тому, что они римляне и американцы.

Величие греческой цивилизации в том, что, заронив эмбрионы своей культуры повсюду в известном в ту пору мире, она заронила свои эмбрионы в голову каждого, кто с ней соприкасался.

По внешнему облику мы можем быть римлянами, но умом остаемся греками.

1 сентября

Л. Р.[585] увольняется из Св. Г.; я наследую ее должность. Если изъясняться на местном жаргоне, начинаю заведовать тем, что здесь именуют кафедрой английского языка. Утром в первый день учебного года заседаю в президиуме вместе с другими заведующими перед двумястами ученицами. Отвечаю на улыбки Джона, улыбки коммодора воздушного флота[586], смотрю на девичьи лица, для кого-то неотразимо притягательные. Впрочем, при всей притягательности в большинстве своем они весьма заурядны. Но как мало среди них необаятельных!

Платить мне станут на сто фунтов в год больше; если вычесть налоги — не больше чем на фунт в неделю, а нагрузка — гораздо больше, чем добавочный час в неделю. Так что радоваться нечему. Однако, подумав как следует, констатирую: радуюсь. Положа руку на сердце: испытываю удовлетворение. Во мне взыграло честолюбие. Гаденькое, неистребимое влечение к униформе. Радость от лишней звездочки на погонах.

28 сентября

Провожаем Л. Р. Зашли с Флетчером в занимаемые ею апартаменты на Бакленд-Кресент, за Швейцарским коттеджем. Отвратительная квадратная комната с облезшими обоями ядовито-желтого цвета и потрескавшимся потолком, захламленная бланками, конвертами, немытой посудой, брошенным в ожидании стирки бельем, какими-то коробками, газетами, вырезками — всеми отбросами ее тутошнего существования. Постоянно внушая себе, что не надо суетиться, она тем не менее суетилась, лезла из кожи вон, пеклась обо всем на свете. Пока она укладывала вещи, мы стоя пили виски; затем поехали на станцию Виктория, еще выпили. Погрузили Л. Р. на ночной паром и отправились восвояси, помахав ей на прощание и убеждая друг друга: славный сумасшедший дом ее ждет и т. п.[587]. На самом деле сочувствовать ей вряд ли уместно: ведь ступать из чистилища в ад, ступать со всей решимостью воспитанной в антиметодистском духе полу-шотландки-полуканадки — это совершенно в ее стиле. И все же она из тех немногих людей, чье исчезновение с собственного горизонта

ощущаешь болезненно, из тех, на кого можешь положиться, за кем чувствуешь себя как за каменной стеной. Узнав о ее увольнении, многие с сожалением покачивали головой; ничего такого не было бы, не будь ее присутствие на работе столь необходимо. Ко всему прочему, была у нее способность делать случайное закономерным и неизбежным — способность, которой то ли от исконного мужества, то ли из духа противоречия обладают буквально единицы; и, сколько бы ни сокрушались местные доброхоты, заменить ее было некем. Вокруг ее имени возник локальный, но трагический ореол.

Ее уход означает, что на меня свалится уйма мелких забот: составление списков, корректировка расписания, подготовка отчетов. Тьма совершенно бесполезных вещей, пожирающих время. Уйма мерзких организационных и координационных дел, с которыми, как мне казалось, я раз и навсегда покончил после Бедфорда.

«Большие надежды». Глава 29. Одна из тех замечательных хрестоматийных глав Диккенса, которые затрагивают в душе нечто поистине глубокое и важное[588]. Архетипичных глав.

Эмили Бронте задумала «Грозовой перевал», когда читала эту главу. В моих глазах это обстоятельство неоспоримо, несмотря на то что «Г.п.» был написан в 1846 году, а «Б.н.» — в 1861-м. Глубинная связь между тем и другим неразрывна. Пара Эстелла — мисс Хэвишем находится на том же полюсе повествования, что и Хитклиф — Кэтрин; Пип — Эдгар Линтон, а Джо — Нелли Дин.

Две наши новые преподавательницы. Миссис Карри: милая, настороженная, интеллектуальная, постоянно балансирующая на грани язвительности и испуга. Но подо всем этим — трогательный птенчик, абсолютный новичок в нашем деле. И мисс Брэмелд — тридцати лет, осанистая, с одним глазом, накрашенная, благопристойная, брошенная, думается, каким-нибудь юнцом, обладающая голосом чтеца-декламатора. На меня произвела впечатление культурного человека. Но как-то мы вместе шарили по полкам, в поисках того, что можно выбрать для классного чтения, и я предложил ей «Великого Гэтсби».

— Пожалуй, вот это, — сказал я, и тут мисс Брэмелд заколебалась.

Мне подумалось, что роман не кажется ей подходящим для девочек школьного возраста. И вдруг эта самодовольная стерва заявляет:

— А кто такой этот Гэтсби? О нем обязательно надо знать?

30 сентября

Яблоки в раковине под сильной струей: у них странная привычка выстраиваться так, чтобы попасть прямо под струю из

крана. Будто некая сила их толкает. Есть в таком движении какая-то непостижимая тайна тайна самой жизни, ее скрытого коловращения.

Э.: пошлый анекдот, который рассказала одна из ее сотрудниц.

«Изнасиловали девушку. Она идет в полицию.

— Вы можете описать насильника?

— Нет, — отвечает она.

— Совсем ничего не запомнили?

— Ну, я думаю, это был консерватор.

— Консерватор?

— Думаю, да.

— Из чего вы это заключаете?

— Потому что мне никогда не бывало так хорошо»[589].

Всеобщие выборы. Их исход меня волновал, и я пришел в ярость, когда объявили итоги голосования[590]. Ничто не могло бы послужить лучшей иллюстрацией отчуждения индивидуума от общества. Подойдите к любому англичанину и спросите его. «Ваш голос — решающий. Отпустите вы правительству позор Кипра, Суэца, Адена?» Он проголосует против. Фактически отдавая себе отчет, что его голос ничего не стоит. Демократия не более чем фикция, когда демократ из голоса гражданина превращается в безликую цифру. Что уж тут говорить об апатии. Апатичным может выглядеть человек, сидящий в тюремной камере, но он же просто отбывает наказание, ему не на что надеяться, он знает, что он — всего лишь песчинка в пустыне. А потому голосует брюхом или вовсе никак. Голосует за статус-кво.

1 ноября

Лес неподалеку от Саут-Миммз. Раз уж оказались в провинции, решили на денек выбраться на природу. Сели не на тот автобус, доехали до Поттерз-Бара, а оттуда пешком двинулись вперед, надеясь, что город вот-вот кончится. Не тут-то было. Потянулись целые мили «исполинского нароста»: домов, автобусов, гаражей, торговых лавок, асфальта, цемента. Э. расплакалась. Наконец мы вышли на более открытое место и увидели объездной путь. Восемь чибисов на лугу, а по другую сторону — большое скошенное поле. Пройдя по нему, вступили в лесополосу. Позавтракали, поглядывая через поле на шоссе по нему ползли, струились, мельтешили машины, до ужаса напоминая движущихся муравьев. А сам лес — он как-то не замечает всего этого, очень таинственный, как бывает лишь осенью, отзывающийся пением вьюрка и дрозда, дышащий необыкновенным покоем. Особенно странно звучат песни вьюрка и завирушки — дальние, нездешние, чем-то пугающие. Стоит мне

после большого перерыва снова оказаться в лесу, как меня переполняет такое пронзительное, такое невыразимое счастье, что я сам себе дивлюсь. Особенно сегодня: день начался так плохо, но вот каким-то волшебным образом вмиг раскрылся мир дикой природы. Лес был на удивление красив: целая роща папоротников, в которой снуют лесные голуби. Вдоволь насобирав желудей, мы двинулись на север. Услышали, как кричат фазаны. Набрели на дикую яблоню, набрали полкорзины яблок. Ближе к вечеру проступила роса, под ногами стало мокро; в этом есть что-то очень английское. А с объездного пути доносился непрерывный рев машин. Параллельно шоссе, а затем по боковой дороге мы добрались до Саут-Миммз, чувствуя себя существами другого, старого, мира. Контраст между тем и другим ощущается все сильнее и сильнее. Ни на миг не затихающая дорога, а за несколько сотен ярдов — нерушимый сельский покой. Сегодняшний человек — стопроцентное дитя города.

25 декабря

Рождество наедине с Э. К обеду у нас была утка; она подарила мне «Жизнь поэтов» Джонсона; послушали, как по радио читают «Беппо»[591]. Ветер и дождь.

Январь 1960

«Язык» музыки и язык как таковой (слова): их основное различие в том, как функционируют отдельная нота и отдельное слово. Сама по себе нота не имеет значения; она обретает его, будучи поставлена в ряд. Отдельно взятое слово значение имеет; вне контекста оно (слово) может показаться непонятным, но его значение, или значения, фиксированны. Музыкальная нота абсолютно несоотносима с каким бы то ни было значением: языковым, ассоциативным, литературным, эмоциональным, психологическим; даже *в рамках* гармонической (симультанной) группы или мелодического ряда ее значения множественны — в зависимости от темперамента, расовой принадлежности, музыкального опыта и т. п. слушателя. Думаю, это немаловажно, когда речь заходит о поэзии. Прежде всего, применительно к тому, когда поэзию рассматривают *как* музыку; по сути, «музыкальной» поэзии быть не может, ибо конечные задачи того и другого из этих искусств несопоставимы. Музыка пользуется «языком», непосредственная прелесть и желаемый эффект которого заключаются в расширении диапазона значений — к тому же внеязыковых; а поэзия прибегает к языку, изначально наделенному значением (независимо от того, стремится к этому поэт или нет). Большинство так называемых музыкальных образных средств поэзии: аллитерация, созвучие, рифма и т. п. — фактически являются ритмическими средствами, родственными

музыке. Подлинный брат поэзии — танец, но явно не музыка в ее мелодических и гармонических аспектах.

И во-вторых, многозначная образность и неясность постсимволистского стиха; разве не воплощают они точный итог того, к чему может привести попытка насильственно повенчать поэзию с музыкой? Прийти к органичному целому невозможно.

29 января

Перевожу Марциала: проблема афоризма, афористичной строки. Сделать ее на слух современной невозможно. И дело не в языке — оно в способе мыслить. Афоризм есть обобщение, и потому он несовременен. Столь многое в Марциале: циничная, горькая, ироничная, саркастическая, бичующая сторона его индивидуальности — без труда перелагается на нынешний язык. Но римская сторона, классическая, с блеском и на века суммирующая, — в ней-то и все трудности.

Еще одно: разница между переводом с подстрочником и без подстрочника. Несравненно большее удовольствие (при всех сложностях, включая риск превратного прочтения при моем уровне владения латынью) получаешь, переводя без подстрочника. В одном случае перед тобой — путешествие и лицезрение места как такового; в другом — кинокадр или фотография. Чудесно, когда сквозь туман собственного невежества начинает просвечивать смысл.

25 февраля

Изгнание из рая. Этот миф берет начало в природе человека, снедаемого завистью к животным. Завистью к тем, кому не дано сопоставлять и воображать; кто в этом не нуждается.

Читаю «Эклоги» Вергилия; все еще с таким наслаждением, что хочется плакать. С каким необыкновенным мастерством он может наполнить смыслом отдельную строку.

«Братство» — роман, созданный в 1880-е годы под знаком идей ОРХЗ[592], недатированный и анонимный. Сплошь выдержан в ровном сером проповедническом тоне. Sans[593] света, sans красок, sans крови; и тем не менее персонажам присуще определенное жизнеподобие. От подобных сальвационистских текстов легче легкого презрительно отмахнуться; однако, думается, от своих создателей он потребовал большего мастерства, нежели мы готовы за ними признать. Его героям свойственна некая моральная сила; налицо и *карикатура* на благочестие и добродетельность. А сколько торжественности! Сколько серьезности! Добро несокрушимо! Зло абсолютно неискупимо! Истинно *викторианское* произведение.

Иерархия: женщинам *надлежит* смотреть на мужчин снизу вверх. Рабочие уважают работодателей. У всего свое место. Быть

хорошим в глазах викторианца значило держать вещи на местах и не сходить с собственного. Попытка посредством морали упростить все на свете в век художественной и интеллектуальной диверсификации. Так и представляешь себе заставленную, бестолково загроможденную викторианскую комнату 1880-х, а в ней — эти чокнутые добродетельные создания с их неприхотливой моралью, твердолобой приверженностью воле Господней.

Вергилий: величайшая тайна Четвертой эклоги (Sicelides Musae…[594]). Сколько попыток представить ее как пророчество о пришествии Христа[595]. Почему просто не предположить, что апостолы и сам Иисус знали ее и включили в собственный, сознательно сконструированный миф? Спрашивает, скажем, Лука Матфея (или Матфей Луку): «Вот поэт, о котором всегда говорят римляне, с его неизменными пророчествами: «ultima aetas», «iam redit et virgo», «nova progenies caelo demittitur alto», «genus aurea»[596], — отчего бы нам этим не воспользоваться?»

Разумеется, «это» не что иное, как общая культурная собственность. Не в том дело, что Вергилий предвидел, а в том, что апостолы могли оглянуться назад.

29 февраля

Монтраше. Прекрасное вино. Когда оно выпито, что-то навсегда исчезает из жизни. Вино — как живое существо. Не часто оно бывает таким, но не зря же вино становится предметом фольклора, народного мастерства.

«Ученый цыган». Величайшая из поэм, написанных между эпохой романтиков и «Бесплодной землей».

В авторском предисловии к книге стихов 1853 года Арнолд настойчиво акцентирует то, что мне представляется пороком современных поэтов. Вот его слова: «Появляются стихи, существующие, кажется, лишь ради отдельных строк и строф, но отнюдь не ради того, чтобы произвести какое-то общее впечатление». И еще: «Кто пытается постичь поэзию исключительно как набор приемов, посредством которых тщится овладеть ремесленным умением, не привнося души и материи». Вот-вот: речь о техникомании.

20 марта

Роберт Фоулкс «Предостережение грешникам» (1678). Любопытный памфлет, который дал мне почитать Норман. Потом я купил его. Фоулкс был викарием Стэнтон-Лейси в Шропшире; он соблазнил девушку и убил зачатого ею от него ребенка; казнен 31 января 1678 года. Немыслимый страх перед вечным огнем.

Еще одна из шуточек в ходу у дам, с которыми работает Э.

«Приходит мужчина делать педикюр. Девушка, мастер,

приглашает его сесть. Не успевает он опуститься в кресло, как начинает расстегивать брюки.

— Но это же не ноготь!

— Ну почему бы вам *не подшлифовать его* на полдюйма? — отвечает он».

И еще. «Бог Тор принял человеческое обличье и провел ночь с женщиной, к которой проникся страстью. Наутро он решает открыть ей свою тайну.

— Я — Тор, — говорит.

— Я тоже, — отвечает его постельная спутница, — но все равно здорово».

30 марта

«Ярмарка тщеславия». Читаю впервые.

То, чего нельзя представить в сегодняшней литературе, — способ изложения. Постоянные апелляции к оборотам типа «ну, мне надо продолжать рассказ», к собственной биографии («в бытность мою…»), притворное самоумаление («это отнюдь не великий роман» — в смысле: это великий роман), намеренное приукрашивание стиля, избыточность примеров и образов. При всем своем декларированном антидендизме Теккерей — денди; и его литературная техника изобилует тем, что в социальном и моральном плане он так яростно обличал, — притворством и претенциозностью. Я отнюдь не сетую: это украшает его прозу. Но и означает, что его разоблачение мнимых ценностей, осуществляемое с привлечением мнимых ценностей в способе изложения, нечто вроде бравурного циркового номера на ярмарке в Воксхолле в исполнении иллюзиониста-универсала: фокусника, гипнотизера и мага в одном лице, — терпит позорное фиаско в соревновании с писательницей, разоблачающей те же пороки, не прибегая к мнимым ценностям; иными словами, с Джейн.

В сравнении с нею все Теккерей и Диккенсы — цирковые клоуны и ярмарочные фигляры.

* * *

Курение, или, точнее, воздержание от оного. Дойдя до тридцати сигарет в день и на протяжении долгих недель стремясь с этим покончить, в минувший понедельник — а сегодня суббота — я осуществил сие благое намерение; и с того дня не выкурил ни одной. Самый легкий способ достичь этого (до пятницы мне не приходило в голову) — персонифицировать, демонизировать искушение. Когда я чувствую, что тянет курить, то говорю себе: «Это глас Сатаны». Помогает. Любимый аргумент моего антипода:

«Да разве это важно? Что понапрасну мучиться? Все равно придет день и закуришь» — и: «Одна не в счет. Одна-единственная». Его главный союзник, *вне всякого сомнения*, скука. Наибольшему соблазну подвергаешься, когда (иногда это тоже с удивлением открываешь для себя) скучаешь. Проверяешь работу учеников, делаешь что-то для колледжа (сидя в своем крошечном кабинете), в конце занятий (сиречь конвейера), с людьми, которые утомляют, шагаешь по знакомым тротуарам, выполняя прискучившие обязанности, не считаясь с собственными желаниями. Даже после еды возникает нечто вроде намечающейся скуки — ждешь, когда вновь пробудится аппетит. Я курю также, когда пишу, но это — показатель затруднений и неудовлетворенности. Тянусь к сигарете, заблудившись в двух строках.

Выкурил я и несколько сигар; по-моему, они не вредны, ибо их куришь ради удовольствия, а не ради того, чтобы успокоить нервы.

Мои союзники в борьбе с Сатаной: он сам (сознание, что он есть); гордость (ложная ценность, но тем не менее!); рак горла; жажда экспериментировать над собой и деньги. Пять шиллингов в день, тридцать пять шиллингов в неделю, семь фунтов в месяц, восемьдесят четыре в год — чудовищно. Нервы не стоят таких затрат.

8 апреля

В последнее время я не часто смотрюсь в зеркало; и дело не в том, что мое лицо мне наскучило. Нет, оно пугает. Все, чего мне удалось достичь в эти годы, — это некое мастерство во владении словом; однако это неапробированное владение. И еще — философии, которая, похоже, срабатывает; однако я не убежден, что это не просто флегма или рационализация моего природного фатализма. Я продолжаю жить, выражаясь современным языком, в иллюзии величия. В ощущении, что я пишу и/или буду писать лучше, чем мои современники, знаменитые в соответствии с текущей модой. Но подчас все разваливается. Мой новый поэтический стиль. Рубленая, ритуальная риторика — типографская риторика — не выдерживает нагрузки, не задевает, не язвит. Свои стихи я мысленно подразделяю на следующие группы: цикл о Робин Гуде, самый поздний, еще не вполне отстоявшийся или отшлифованный, незавершенный; греческие стихи и прочие, сваленные вместе, хорошие и плохие, впихнутые в две зеленые папки. Греческие стихи беспокоят меня, поскольку она неровны. Микенский цикл завершен; есть еще законченные путевые и «местные» стихотворения, а также другие, написанные в более старой манере. Они диссонируют, сталкиваясь друг с

другом. В портфеле у меня два прозаических произведения: «Аристос», который нуждается в шлифовке, но в основном готов. «Мозаики» тоже никак не угомонятся: движутся ни шатко ни валко. В ближайшее время я должен предпринять решительную попытку опубликовать стихи — те, что выполнены в поздней манере (хотя наверняка и в них нет-нет да проглянет прежняя). Но меня терзают старые, парализующие волю сомнения: хочется и одновременно не хочется всплывать на поверхность. Odi et amo[597]; а единственное, что могло бы все разрешить, — зачатие ребенка, никак не произойдет. Э. ненавидит свою работу, ее монотонность и женщин, служащих под ее началом. У меня нет оснований ненавидеть свою работу из-за ее монотонности: это не так. Но я ненавижу ее потому, что она съедает время. Молчание и время — вот две вещи, которых нам недостает. Когда у меня выдаются свободный день или вечер, я оказываюсь так вымотан, что едва ли могу ими воспользоваться. Я чувствую, что ребенок был бы кстати. Кстати для Э. — по понятным причинам; кстати для меня — как толчок с трамплина, после которого волей-неволей поплывешь. Ибо жить, когда Э. перестанет зарабатывать, будет нелегко. Точнее сказать, трудно, чуть ли не невозможно. А я изголодался по невозможному. Жизнь слишком безопасна.

30 апреля

Денис и М. Шаррокс, прибыв из Индонезии, остановились у нас. Хотя он — и она — мне нравятся, сложности моего нынешнего положения затрудняют общение. Нам приятно видеть Дениса, но его присутствие моментально оборачивается стрессом. Этот стресс принял форму подтрунивания, подшучивания, привычки ни о чем не говорить всерьез. Разумеется, они, особенно М., несколько опасаются, что их примут за несведущих простаков; отсюда — внезапные недоразумения, недопонимание. Их реакция зачастую непредсказуема; кроме того, как мне кажется, у них нет твердой точки зрения ни на что на свете. В довершение всего манера М. держать себя вызывает раздражение. Недостаток образования и неуверенность выливаются у нее в капризы, своеволие, вспышки неоправданного гнева, резкие перемены настроений. «Она актриса», — говорит Э. Но от этого ситуация становится только хуже. Не люблю людей, ведущих себя в соответствии со стереотипами собственной профессии. Денис не переменился: под влиянием новой критики[598] и «продвинутых» американцев, с которыми познакомился в Индонезии, он лишь укрепился в своей проамериканской ориентации. Спорить с этим бесполезно. Полагаю, познакомившись с Горацием (а Горациев там должно было быть много), можно было проникнуться желанием стать римлянином — несмотря на толпу, арену,

Сабуру[599] и все, что с ними связано. Но Америка будит во мне Марциала. Это ложный путь, заблуждение, расточительство, вечная незавершенность. Одна из тех цивилизаций, что выкупают собственный проход в истории, цивилизация бесчисленных Джосов Сэдли[600], выкидывающая любые деньги на своих скаковых лошадей; я хочу сказать — в ней нет внутренней мобильности, изящества, шарма. Она не плывет, не шествует, как нормальные цивилизации; она мчится вперед в пульмановском вагоне.

Странный ромбовидный квартет складывается из нас: Д. и Э. и я составляем равноудаленные точки в этой конфигурации, а М. — нет. Между тем у Д. и Э. немало общих черточек; Д. их обыгрывает, подавая себя как беспечного, отдавшегося на волю волн, чуть склонного к рисовке, пьющего-курящего, растерянного, бесполого интеллектуала; все это весьма импонирует Э. На самом же деле, в определенном ракурсе, Д. весьма целеустремлен. Никогда раньше не чувствовал я в нем этого с такой отчетливостью. Мир его мыслей ни в малейшей мере не соприкасается с сырой реальностью. Он — и это для меня несомненно — вообще воспринимает их совсем не так, как я или, скажем, Подж. В его глазах мысли — это то, что вас отличает, выделяет из толпы, но не имеет ничего общего с тем, чего вы действительно добиваетесь в жизни. Мне это кажется до смешного провинциальным — иными словами, характерным для тех, кто не получил оксфордского образования; однако такого рода провинциализм не слишком бросается в глаза, поскольку мысли Д. гладко сформулированы, современны и модны. Так выходцы из провинции пытаются скрыть свое происхождение, шикарно одеваясь, и тем не менее остаются провинциалами. Притом в случае Д. это отнюдь не назовешь лицемерием — скорее уж можно говорить о неуверенности в себе, чувстве неадекватности. Не касаясь частностей, я нахожу это очень печальным. Взять хоть прозрачную сеть новейших идей и критических концепций, которую он вокруг себя вытачивает: под ней ощущается внутренняя беззащитность. А в утрате контакта с сегодняшним днем проступает и неуравновешенность. Жить в настоящем: наслаждаться едой, произведениями искусства, получать удовлетворение из любого реального источника — все это не доставляет ему удовольствия. Он пребывает в убеждении, что его получает; однако, как уверены Э. и я, в сравнении с другими людьми искренне наслаждающимся его не назовешь. Он пользуется благами жизни, дабы производить впечатление человека, получающего удовольствие. Можно сказать и иначе: на самом деле ему нравятся только две вещи — пить и курить. А в

его случае и то и другое приобретает компульсивный и отчуждающий (от реального) характер. То и другое способствует ослаблению контакта с действительностью и возврату в мыслительное измерение. Между тем, если взять Поджа и меня, мы берем напрокат у французов лишь несколько ключевых идей и вовсе не следим за новейшими тенденциями в критике и учеными статьями, где все раскладывается по полочкам; не читаем «Энкаунтер» и «Тайм» и все прочее; в этом плане, по сравнению с Д., мы ведем крестьянский образ жизни. Он же — перемещенное лицо. И в то же время ухитряется хорошо зарабатывать; быть может, с этой точки зрения и лучше провести между двумя мирами более четкий водораздел?

2 мая

Единственное, чего я действительно хочу, о чем я готов молиться, — это лишний час в сутки, когда я мог бы читать и писать. Невозможная скоротечность каждого дня.

26 июня

С Дж. С. Ф.[601] в Кенте. День ясный, но с сильным ветром; небо голубое, а море до странности зеленое. Нефритово-зеленое с белыми прожилками. Добираемся по утесам до Кингсдауна[602]; с одной стороны — кукурузные поля, с другой — крутой склон, а под ним галька и бирюзовое море. Цветы, выросшие на известковой почве.

Выехав за город, мы двинулись по вымощенной еще в эпоху римского владычества дороге, мимо залитой солнцем изгороди, затем свернули на шоссе вдоль засеянного колосящимся ячменем поля. Я поймал большую слепозмейку — гладкую, шелковистую, извивающуюся в бессильной тревоге.

Последний раз мы остановились на обширной пустоши между Селстедом и Лидденом[603]. Прошли через заржавевшие ворота и по высокой траве и зарослям крапивы зашагали к небольшой обветшавшей башне, некогда служившей крестоносцам часовней. Темный, густой кустарник, сырость. Старые каменные своды. Покрытые мхом окна, проемы пустых залов, коридоры. В конце концов в зарослях плюща и моха обнаружили портал. Страж темных холодных комнат, неясных слухов: повсюду неизгладимая печать смерти — не философской, или бытовой, или клинической, а плесневеющей, наползающей, неистребимой смерти. Ее тень тяжелым облаком нависала над этой местностью. В семнадцатом, а потом в середине девятнадцатого века часовню переоборудовали в фермерское жилище. Куда ни глянь, старые окна часовни, средневековая каменная кладка; и — обрывки банальных обоев викторианской поры, выцветшая, некогда шоколадного оттенка, краска на стенах.

Наши шаги — и наши голоса — тонут в пустоте. Обстановка интригующая, зловещая и неописуемо гнетущая. Верхняя комната, единственный источник света в которой — узкий арочный верх окна часовни, тянущийся с пола до пояса; окно, сплошь заросшее плющом, солнце, тщетно пытающееся проникнуть внутрь; желтый и зеленый, почти фосфоресцирующий свет, какой встречаешь лишь в океанских глубинах. Самое странное ощущение, какое охватывает в этой комнате, — ощущение смерти и тайны, ощущение, что вокруг зреет зло. Все здесь слилось в ауру сгущающегося, доселе могущественного запустения — смертельно враждебного ко всему, что светло и разумно. Старый куст, вытянувшийся среди трав у выхода. Конверты адресованных последнему владельцу лестницы и подвала писем. Ветер, гуляющий в старых балках и пустотах черепичной кровли. Пустота, пустота, пустота. После дня на солнце и у моря, после ласкового побережья, автомобилей с вырвавшимися на воздух семьями, словесных благоглупостей — это Богом забытое место!

Наконец обратно в Сент-Маргарет[604]. На востоке — маяк, розоватая башня, неестественно вытянувшаяся вверх, струящая нездешний свет на огромный, изломанный хребет темно-красной земли; а за башней — слившиеся воедино море и небо: жемчужные, тускло отливающие перламутром, необъятно-серые.

Я доволен этим днем. Мне было не по себе, но я прожил его до конца.

28 июня

Из головы не выходит часовня Св. Иоанна. Ее аура — одна из самых мощных, какие мне когда-либо доводилось ощущать. В ней было что-то от манихейства: темные силы природы возобладали над цивилизацией, рост сменился разложением. Она была знамением какого-то непостижимого вселенского отлива, момента, когда буксует всякий прогресс и начинается движение вспять. Будь этот дом-часовня разрушен сильнее, все могло бы выглядеть иначе. Но в том виде, в каком он мне предстал, он явился *законченным воплощением* чего-то зловещего, островка торжествующего мрака, потаенным ядром тьмы в море или пустыне обыденности и нормального роста.

У Нормана. «Стихи» Ричарда Корбета, издание 1807 года. Семь шиллингов шесть пенсов. Отличная покупка. Замечательный мужик был этот Корбет; и неплохой поэт второго или третьего ряда[605]. Хотя напрашивается вопрос: мог ли вообще кто-нибудь, живший в его век, пользуясь общепринятым тогда словарем и испытывая страсть к метафорам, писать плохие стихи?

3 июля

Мэри Шелли «Франкенштейн». Произведение, вошедшее в классику вопреки самому себе: невообразимо нескладный сюжет, косноязычно-риторический диалог, полная неспособность создать убедительную атмосферу, — и все же действует. Потому, думаю, что заключает в себе символическую правду и незаурядную мощь: чудесную архетипическую идею, при том что даже самые второстепенные персонажи наделены символической силой.

Франкенштейн и его чудовище суть человеческое «я»: естественное «я» и персона. Чудовище жалостно, непонято, ни в чем не виновато (во всяком случае, сама Мэри Ш. ничем это не акцентирует); иными словами, жалости достойна персона, каковой нас вынуждает сделаться общество… и т. д. Хорошие штрихи — скажем, изумление чудовища, увидевшего, что лето кончается. Спасение тонущей девушки.

Символика финального путешествия в Арктику.

Самое странное здесь — как и в других «готических» романах — полная неспособность создать в повествовании атмосферу; почувствовать различие между романтическим отображением пейзажей и психологических состояний и отображением подлинного *ощущения* происходящего. Ведь, по сути, чувствительность (как, разумеется, сознавала и показала в «Ч. и ч.» Джейн) была не чем иным, как способом игнорировать реальное; чувствительность возводила на пьедестал дикое и экстраординарное, одинокое, альпийское (как в буквальном, так и в метафорическом смысле слова — я имею в виду, как в пейзажах, так и в описании настроений): она воспринимала вещи чисто статично. События же не вмещаются в подобные рамки. Литераторы вроде М. Шелли шизофреничны: они тяготеют к романтическому канону, они привязаны к повествованию. Такая манера письма, базирующаяся на приверженности к идее или вещи и безразличии или скуке, как только речь заходит о фактах (что мы и видим в ребяческой машинерии «Франкенштейна»), для романа фатальна. Быть может, поэтому великого романтического романа не создано; ведь фактически величайший из романов, написанный романтиком, принадлежит Эмилии Бронте — и создан он после открытия «атмосферического» письма Диккенсом и другими. Короче говоря, когда была разработана техника отображения ощущения.

13 июля

«Воспитание чувств». Один из величайших романов: разумеется, Фредерик — нечто большее, нежели просто слабый, безвольный герой; быть может, Ф. заставляет его казаться таким для того лишь, чтобы высветить его спасительную положительную черту — неизбывный идеализм, одушевляющую

его — и не присущую никому другому — веру в любовь, непреходящую любовь[606].

Самый блистательный из всех блистательных пассажей в книге — расставание мадам Арну и Фредерика (глава 6, часть 3), но нет, «блистательный» — слишком расхожее слово, чтобы употребить его применительно к этому месту. Глубочайший, отмеченный печатью гения, непревзойденный — ибо здесь все неподдельное презрение (безразличие?) к Фредерику, какое накопилось в наших душах, внезапно оборачивается другой стороной, превращаясь в сочувствие, и притом самое утонченное: не просто сочувствие их незадавшейся любви (хотя Ф. взывает и к нему, взывает с обезоруживающей простотой), но сочувствие их безнадежной неадекватности, сочувствие снедающему обоих сознанию собственной несостоятельности как любовников. Мы жалеем их — не потому, что им не выпало счастье насладиться любовью, но потому, что они — такие, какие есть: она — не только добродетельна, но и труслива, он — не только безволен, но и трус; этот невольный жест — отвернуться за сигаретой, это молчание, этот материнский поцелуй, это «Et ce fut tout»[607]. Какими ничтожными выглядят Диккенс и Теккерей на фоне шедевра такого класса!

* * *

Элиот «Миддлмарч». Восхитительная викторианская книга. Если Элиот и более крупный писатель, чем Джейн (с чем я не могу согласиться), то ее секрет лежит в более утонченной природе ее иронии, а не в других, не менее значимых сторонах (типизации, драматургичности, языке) дарования. То, что мне не по нутру, — многословность интеллектуальных пассажей; так колонны нефа порой оказываются слишком массивными, чтобы исполнять свою задачу. Что до купола, то он прекрасен: это диалог, характеризация. Да и конструкция в целом — отличная.

М-р Казобон: вечно думает о своих крыльях и никогда не взлетает[608].

Д. Шаррокс. Его занятная иллюзия «человеческого контакта»; жалуется, что не находит его в Англии. Интересно, что в точности он подразумевает под этим? (Д. побуждает меня уподобляться Сократу; и хотя я задаю вполне сократические вопросы, вижу, что они никак его не затрагивают. Интересно, не было ли ведомо Сократу тайное отчаяние: находить отклик в малом логичном уме и терпеть поражение со всеми остальными.) Он заявляет, что жаждет встречаться с людьми в пабе, на рынке и находить с ними

«человеческий контакт». Таинственная фраза. Когда я рассказал ему, как мы обсуждали с владельцем бара преимущества инфракрасного тостера и таким образом «контактировали», он, по всей видимости, заключил, что я шучу. Само собой, под «человеческим контактом» он имеет в виду разговор о книгах, стихах, идеях — о том, что производит неизгладимое впечатление. Сознавая, сколь абсурдно ожидать этого в суете повседневности, он даже не решается определить, что представляет собою «человеческий контакт»; коль скоро такое определение прозвучит, его претензии окажутся тщетными.

Он хочет снова отправиться за границу. Разозлившись, я ответил, что считаю своим долгом оставаться в Англии. И вот почему. Во-первых, переезд за границу означает перемену, груз новых поверхностных впечатлений, а значит, и потерю времени; а у меня времени нет (хотя я живу так, будто у меня его вдосталь). Во-вторых, язык. Я ненавижу тину, в которой вязнешь, не до конца понимая иностранцев; а под пониманием я разумею не только значение слов — я имею в виду любой оттенок интонации. В-третьих, я останусь здесь до того, как опубликуюсь; останусь в Св. Г. до того, как опубликуюсь. Такое состояние напоминает блуждание в пустыне: незаметно для себя начинаешь желать, чтобы она длилась и длилась. Опасность заключается в том, что, позволив этой фобии развиваться, можно превратиться в Казобона. И в конечном счете так из нее и не выйти.

31 августа

«Миддлмарч». Великая книга, которая была бы еще лучше, будь она на четверть короче; особенно последняя глава — это традиционно суммарное изложение того, что произойдет после: в одном абзаце суждено погибнуть Лидгейту, Доротее — стать женой и матерью, Фрэнку и Мэри — поседеть. Джейн никогда не допускала таких ошибок: заглянуть на несколько лет вперед — куда ни шло, но отнюдь не пытаться объять весь жизненный срок. Трудность с Дж. Элиот заключается в том, что она нередко мягко и даже самокритично, но все же снисходит к своим персонажам — de haut en bas[609] или, точнее, от чего-то всеобщего до конкретного; есть в ней нечто от викторианской мамаши, нечто царственное; ее не обошло стороной тяготение ее века к властвованию, к авторитарности. Она может утопить вас в тяжелых шелках, в то время как Джейн вся — узорчатый муслин, более легкий и воздушный. Джейн не снисходит до своих персонажей; она просто творит мир, но не властвует в нем, не возвышается над ним — даже для того, чтобы взять на себя, как подчас тщится Дж. Э., роль проводника. В каком-то смысле Джейн отдаленнее (отнюдь не хронологически), отстраненнее, но ее мир

более целен и в высочайшем смысле слова более реален.

4 сентября

Оппенгейм. Занятно: она опять меня достает, как делает раз в несколько месяцев. Подчас я чувствую, что ни перед чем не остановлюсь, добиваясь, чтобы ее уволили; и это не будет произволом, поскольку учащимся она досаждает не в пример больше, нежели нам всем, вместе взятым. Она как блюдо, которое кажется соблазнительным или по меньшей мере съедобным, но стоит поднести ложку ко рту, как начинает рвать. Ее снедает неимоверная алчность, стремление получить все, что ей причитается, и сверх того; кроме того, в силу странной аберрации внимания все, что ей говорят, отскакивает от нее как от стенки горох, бумерангом возвращаясь к сказавшему. И тогда оказываешься на милости ее ненасытного «я» и ее языка. Она — тоже faisandée[610]: с примесью чего-то лесбийского, комплексом беженки, неудовлетворенным честолюбием; вечно настраивает против себя людей, втихаря поносит коллег, в ответ удостаиваясь их жалости, на которую отчасти сама напрашивается безобразным поведением. Сегодня она меня не на шутку разозлила, и я в долгу не остался. Правда, за спиной. Следовало бы чувствовать себя виноватым, но не чувствую.

11 сентября

Выставка Пикассо[611]. Откровение: он отнюдь не гениален. Отчего бы Пикассо не вернуться к одному из ранних своих периодов — реалистическому или импрессионистическому? Невротическая потребность все время двигаться вперед, убегать от собственной тени; столь многое в его творчестве — самодовлеющий, тупиковый эксперимент. В недрах его существа — тьма-тьмущая неизжитых комплексов; отсюда — потребность в компенсации, неудержимый «поток творческой энергии» (иными словами, неспособность углубиться в медитацию) и непрерывная «смена стиля и техники» (иными словами, неспособность сосредоточиться на чем-то с целью добиться реального результата).

Его новаторство сильно преувеличено: он определенно не первый в мире кубист и не первый карикатурист, — в то же время молниеносно отзывается на все новое. Вульгаризируя то, что на самом деле оригинально; подстегивая карусель быстротечной моды.

Пока мы ходили по залам, мне вспоминалась выставка Брака[612]: насколько он крупнее Пикассо как живописец.

Два непомерно разрекламированных художника нашего столетия: Пикассо, Матисс.

13 сентября

Гастроли бомбейской Малой балетной труппы. Очень талантливая и приятная индийская труппа: десяток танцев, горстка аккомпаниаторов[613]. На мой взгляд, этот индийский танец и индийская музыка в десять раз красивее (в самом простом и неоспоримом смысле слова), нежели лучшее, что может предложить Европа. Мне кажется, в них есть то, что отвечает самой сути музыки и балета: определенная спонтанность и отсутствие рассудочности. Я имею в виду: музыка и танец воздействуют на все органы чувств, включая глубинные, довизуальные. Для этой simplicitas musicae[614] фатальны рассудочное подражание и модное манерничание; внести их в ее стихию — то же, что пережарить хороший бифштекс. Я пишу эти строки, слушая «Вариации» Гольдберга. Критик мог бы заметить, что и им не чуждо ни рассудочное подражание, ни модное манерничание (французская увертюра и т. п.); однако сама сердцевина музыки — иными словами, чистая эмоция, которую она будит, в противоположность восхищению виртуозным исполнительским мастерством, — проста, как луговые фиалки. То же верно и в отношении Стравинского, а из самых рассудочных мастеров — Веберна.

8 октября

У меня бронхит; новое испытание не из самых приятных. Весь день сидел на кухне, читая Марциала. Прекрасно его чувствую. Теперь в латыни в гораздо большей степени полагаюсь на угадывание строки. То есть угадываю общий смысл строки или строк, а затем уже стараюсь установить его грамматически, слово за словом. Такой метод во многом предпочтительнее педантичного прочтения одного слова за другим.

Из эпитетов post coitum[615]. Э.: закатно-солнечная.

Съезды трех партий. Либералы: дети, играющие в королей и королев; социалисты: страстные, искренние, серьезные, но печально настроенные; тори: ничего не значащие общие места, собрание сельских обывателей. Даже «Телеграф» признает: в рядах консерваторов иссяк энтузиазм — «пустуют целые ряды». Единственная партия, которая кажется настоящей, современной, серьезной и живой, — социалистическая. Хочу уточнить: мне кажется; ибо реальность нынешней Британии — войлочные мозги заурядных буржуа. Сиречь консерваторов.

24 октября

Болею. Я так радуюсь, когда выпадает день, в который целиком принадлежу себе, что невольно думаю о себе как о симулянте. Даже когда болен, как сейчас (бронхитом). Ужасно, что находишься в положении, когда приходится благословлять болезнь.

Перечитал и исправляю «Поездку в Афины». Очень многое в ней безнадежно наивно, и все-таки эта вещь нравится мне как мало что из мною написанного. В ней что-то сказано: неумело, но твердо.

25 октября

Консультировался с Чизхолмом по поводу бронхита. Проведя подробный медицинский осмотр, он заявил, что у меня угнетенный вид:

— Вы выглядите так, будто вас выслали сюда из более приятных мест.

Я не спал ночь, был небрит, чувствовал себя хуже некуда, так что, наверное, и впрямь выглядел не блестяще. И все-таки он прав. Вот уже на протяжении нескольких лет я не перестаю писать стихи об изгнании. Первое, какое мне на ходу приходит в голову, — о тени, отбрасываемой деревом-мечом; оно было написано не меньше четырех лет назад. Я начал его как литературное упражнение, но, разумеется, по сути, оно (в подтексте) эмоционально; задним числом я осознал это, но не пытался анализировать — я имею в виду, разбирать в эмоциональном плане. Мне остро недостает Греции (вчера, перечитывая описание первого тамошнего утра в «Поездке в Афины», я расплакался), и сейчас, когда пишу эти слова, на глаза мне навертываются слезы. (Я почти написал «чуть ли не», ибо для выражения такого чувства нет слов: слезы не катятся по щекам, но я чувствую, как что-то подступает к самому сердцу; и глаза увлажняются.) Попробую разобраться в самом себе посредством вопросов и ответов; буквой С обозначу аналитика.

* * *

С. У вас обеспокоенный вид? Что вас больше всего беспокоит?

Я. Время — мне его не хватает.

С. Почему?

Я. Думаю, в основном потому, что единственная «работа», которую я хочу делать, — это писать. Хотя и знаю, что, начни я писать регулярно, большого толку из этого не выйдет.

С. Почему вы не смогли бы писать регулярно?

Я. Потому что хорошо пишется только в определенных настроениях. Если я принуждаю себя писать, качество написанного тут же ухудшается. Дело в том, что я легко отвлекаюсь; меня постоянно снедает жажда нового — в литературе и в жизни.

С. А в чем прежде всего?

Я. В литературе. Во всяком случае, в искусстве.

С. Итак, вы хотите вести досужий образ жизни и писать только тогда, когда на вас находит настроение.

Я. Да. Только меня не устраивает слово «досужий». Я стремлюсь к жизни, свободной от необходимости зарабатывать на хлеб насущный.

С. Что еще вас беспокоит?

Я. Деньги: мы вдвоем зарабатываем достаточно, чтобы нормально жить, но мало что удается откладывать. По большей части живем от зарплаты до зарплаты, хотя и не ограничиваем себя в текущих расходах. Вдвоем мы зарабатываем около полутора тысячи фунтов; звучит это впечатляюще, но многого мы себе позволить не можем.

С. Чего например?

Я. Мне хотелось бы иметь дом, машину, коттедж в деревне, старые книги, произведения искусства, пластинки. Пожалуй, сразу и не объяснишь, но я чувствую угрызения совести, покупая для себя что-нибудь дороже десяти шиллингов. Ну и еще отпуск. Я не могу куда-нибудь поехать в отпуск, не проделав брешь в семейном бюджете. Но в общем и целом деньги не очень меня волнуют.

С. Вам почти тридцать пять. Не ощущаете ли вы уколов совести в связи с тем, что ваша жена вынуждена работать?

Я. Да. Мне хотелось бы, чтобы у Э. был ребенок. Она не может зачать. Это еще один повод для тревоги.

С. А вы хотите иметь ребенка?

Я. Подозреваю, что да. Меня пугают связанные с этим проблемы материальные и домашние. Мне хотелось бы иметь ребенка в основном ради Э. — и моего отца.

С. Не ради вашей матери?

Я. В основном ради отца.

С. Другие поводы для беспокойства?

Я. Я пишу и не печатаюсь.

С. Пытались ли вы опубликовать ваши вещи?

Я. Одну. Безуспешно.

С. Плохие отзывы?

Я. Одни были плохие, другие более или менее одобрительные.

С. Критические замечания были справедливы?

Я. Многие да. Сейчас я переделываю часть этой книги, и переделываю основательно. В основном в плане выражения мысли.

С. Почему вы не пытались опубликовать другие ваши произведения? Ведь у вас они есть?

Я. Я написал еще несколько. Но я пишу очень медленно, и время идет на пользу. Я хочу сказать, пишу я очень быстро, но всегда чувствую необходимость перерабатывать и перерабатывать. Иногда требуются годы, чтобы я смог понять, что не так в стихотворении — даже самое очевидное. Поэтому написанное отлеживается, не выходя на свет, очень подолгу.

С. Нет ли у вас чего-нибудь, о чем вы можете сказать: «Здесь уже улучшать нечего»?

Я. Несколько стихотворений.

С. Вы пытались их напечатать?

Я. Нет.

С. Почему нет?

Я. По целому ряду причин. Прежде всего у меня есть что-то вроде умственного запора, сказывающегося на всем, что я делаю. Я не хочу сказать, что мой мозг дремлет, — напротив, он, возможно, слишком активен. Но мой ум кипит внутренне, незримо, ког-да другие кричат; в том, что я говорю, я гораздо умереннее, нежели в том, что думаю; я не стремлюсь «выкладываться» на людях; сторонюсь всего нового — будь то новая рубашка или резкая смена отношений. Думаю, восемнадцатый век импонирует мне именно поэтому: в нем нет характерного для романтиков разрыва с установленными правилами.

С. А еще какие причины?

Я. Слишком большие амбиции. Мне нужно только самое лучшее, а по опыту я знаю, что лучшее в тот или иной день, или месяц, или год зачастую перестает быть таковым, едва наступит следующий. Меня как наваждение преследует фигура Малларме[616]. В такого рода трудностях, в бесконечном терпении взыскательного к себе писателя я нахожу несказанное удовольствие. А оборотной стороной этого, конечно, становится то, что я паникую перед публикацией и критикой.

С. Может быть, в том-то и заключается корень зла? Внутреннее торможение?

Я. Это, безусловно, важный фактор. К примеру, я нередко вижу себя знаменитым писателем. Меня посещают радужные грезы, и я наслаждаюсь ими. Но, думаю, безвестность тоже мне импонирует. Самое страшное для меня — процесс восхождения на Парнас. У подножия я в хорошей форме, на вершине буду блаженствовать; вся трудность — в положении между.

С. Но разве это не ребячество? Существует ли другой путь к вершине?

Я. Да. Написать книгу, которую сразу оценят как незаурядную — я имею в виду, не только с точки зрения письма, но в полной

мере воплощающую в себе автора. Так я одним махом смог бы вознестись с подножия на вершину Парнаса. Я взбирался на него в буквальном смысле слова, живя в Греции. И это было непросто. Однако я не могу применить вытекающего из этого морального урока к Парнасу метафорическому. Карабкаться дюйм за дюймом — это не для меня.

С. Предположим, вы опубликовали книгу, и на нее появились плохие рецензии. Как вы к этому отнесетесь?

Я. Разумеется, буду разочарован.

С. А ваша жена?

Я. Я доверяю ей. Что бы ни случилось, ей в голову не придет меня упрекать.

С. А другие люди?

Я. Мои родители и друзья? Наверное, перед ними мне будет стыдно. Но еще больше — перед коллегами и учащимися. Вот почему мне так импонирует безвестность.

С. Следовательно, их суждения для вас небезразличны?

Я. Не их суждения; их отношение ко мне. Во всех моих книгах есть нечто вроде самораздевания. Если оно увенчается успехом, я не стану возражать. Если нет, чувство стыда возрастет вдвое.

С. Почему во всех ваших книгах есть что-то вроде самораздевания?

Я. Потому что я чувствую, что мое «я» — единственное, что я на самом деле знаю. О собственном «я» я размышляю как о чем-то в третьем лице — настолько оно отделено от меня. Когда я пишу стихи о себе, случается, что глагол, следующий за этим местоимением, я ставлю в третьем лице. «Я любит или ненавидит…» — в таком роде.

С. Что это: результат поэтического выбора или реальное раздвоение вашей личности?

Я. Раздвоение. Я часто думаю о своем «я» как о «другом». Знаю, что это плохо, это ведет человека к наблюдательности, к созерцательности — то есть к бездействию; налицо опять умственный запор.

С. А как обстоит с вашей нынешней работой в Св. Г.?

Я. Я не в восторге от Св. Е и не в восторге от того, что работаю там. Но это имеет свои преимущества.

С. Расскажите.

Я. Я сам себе хозяин, могу преподавать как считаю нужным. В педагогическом плане мне решительно никто не мешает. Меня не устраивает ни одна работа, делать которую приходится из материальной необходимости, — но уж поскольку ее не избежать, я преподаю, и мне это нравится.

С. А как насчет ее издержек?

Я. Мне не нравится работать в школе, не имеющей сколь-нибудь заметного статуса в академических кругах; по сути, она не более чем конвейер, ориентированный на выпуск определенного числа учащихся. Мне хотелось бы преподавать лучше, чем я это делаю. Добиться этого в моих силах, но каждая лишняя минута, проведенная в присутствии, для меня нож острый. Я имею в виду, что мог бы читать больше пособий по педагогике и так далее. Как преподаватель я отнюдь не бездарен, но работаю не на пределе своих возможностей.

С. Стыдитесь ли вы говорить людям — скажем, друзьям, которых долго не видели, и прочим в таком роде, — где вы работаете? И что у вас за работа?

Я. Работы как таковой я ничуть не стыжусь. Что касается места, где я работаю, — да. Но в то же время мне стыдно этого стыдиться. Хочу сказать, я считаю себя выше всего этого и с ужасом сознаю, что краснею, говоря: «В женском колледже, готовящем секретарей». Я не всегда чувствую, что мне повезло с работой, ибо преподавание английского считается чем-то, что может делать каждый, но я-то знаю, что это не так.

С. Почему вы не найдете себе работу, которой могли бы нисколько не стыдиться?

Я. Не могу представить себе никакой работы, которая не побуждала бы меня так или иначе стыдиться, кроме писательской.

С. А более престижной преподавательской работы?

Я. Возможно, я мог бы найти более высокооплачиваемую. Но режим, в котором мне приходится преподавать, лучший из возможных. Главная причина заключается в том, что я неизбежно потеряю уйму времени, пытаясь приспособиться к новому окружению, новой работе, возможно, новому языку. Понимаете ли, время, его недостаток — вот что довлеет надо мной. Я знаю, какой минимум времени могу отдать своей теперешней работе, не причиняя ущерба учащимся или моему работодателю.

С. Вас не терзают угрызения совести?

Я. Только уколы — не больше того. Мне недоплачивают. Мой работодатель и я — мы оба выработали определенный modus vivendi[617]: он недоплачивает мне, но не заставляет работать сверх меры. Не слишком сытно кормит своих лошадей, но и не пускает их в галоп.

С. Можно ли заключить, что условия вашего теперешнего труда способствуют отмеченному выше раздвоению вашей личности?

Я. В огромной мере. В одном измерении я чувствую себя рабочей лошадью; в другом — сам себе хозяин. Вот почему я не

стремлюсь к тому, что многие именуют «работой получше»: она почти неизбежно потребует более тесного сближения обоих моих «я». В каком-то смысле я принуждаю себя выполнять эту работу — для того чтобы побудить себя ее же возненавидеть; я панически боюсь работ, которые накрывают с головой, превращая средство в цель. Как правило, мне удается выкинуть учительские заботы из головы, едва я закрываю дверь, вернувшись домой. Я чувствую, что буквально все — против того человека, которым я хочу быть; мне приходится действовать руками и ногами, чтобы сохранить этот имидж. И в моих глазах это отнюдь не иллюзия. Родители издавна видели во мне лишь не лишенную способностей рабочую лошадь; мои немногие друзья — тоже. Я даже Э. не до конца доверяю; подобно всем женщинам она питает исконное уважение к рабочим лошадям. К примеру, я не раз предлагал ей бросить работу; разумеется, в этом случае нам пришлось бы очень на многом экономить: бросить курить, одеваться в магазинах подержанного платья, на отпуск выбирать самые дешевые маршруты, покупать меньше тряпок и так далее. Однако она отказывается. Мне это непонятно. Что до меня, то я пошел бы на любые жертвы (разумеется, кроме того, чтобы ее бросить), дабы избежать такой конвейерной «работы». Если хотите, назовите это вялотекущей шизофренией. Но для меня это — символ защиты осажденного города моего настоящего «я». Две его разделенные половины, образно выражаясь, его стены.

С. Мне думается, слабым местом вашей обороны является страх перед публикацией. Понимаю, у вас находятся аргументы в защиту сложившегося хода вашей жизни. Но напечататься — это, вне всякого сомнения, самый легкий способ снять осаду. Если вас как писателя ждет всеобщее осуждение, значит, вы защищаете город, который едва ли того заслуживает. Если вас поднимут на щит, с осадой будет покончено раз и навсегда; если — и это наверняка самое вероятное — вас не презрят и не канонизируют, вам придется и впредь держать оборону, но при этом зная, что вам есть что защищать. Вы не согласны?

(Участвовавший в диалоге шизофреник испускает дух.)

Часть восьмая
БЕЗДЕТНОСТЬ

19 ноября 1960

Прощаемся с Д. и М. Они отбывают в Лаос. Э. завидует им: их деньгам, их отправке, открывающемуся перед ними новому миру Обсуждал это сегодня с Д. за обедом в «Короле Богемии». Иными словами, выуживал из него, сколько нормального времени поглощает такого рода работа. Он подтвердил все, что инстинктивно восставало во мне против работы в Азии или еще где бы то ни было, куда едешь преподавать по методике новой лингвистики. Что означает: сорокачасовая рабочая неделя плюс прием учащихся; а когда этим не занят, выходишь наружу, осматриваешь окрестности, встречаешься с кем-либо, будь то каникулы, уик-энд или просто свободный вечер. Такая работа просто пожирает время: либо преподаешь, а потом приходишь в себя, либо расслабляешься, либо исполняешь обязанности образцового европейца: осматриваешь достопримечательности, общаешься с местным населением. Во всех случаях мой подход к проблеме — даже не тот, что у Дениса. Он по натуре не творец и, когда я говорю ему о своей одержимости временем, не способен по-настоящему ощутить, что оно для меня значит.

— Отчего бы нет, писать *можно*, — замечает он, но я-то уподоблюсь ему и, значит, писать не буду.

К тому же, в отличие от меня, он не фанат живой природы, меня встреча с новым растительным и животным миром, безусловно, поглотит без остатка. Просто убьет.

Мы четверо не ладим между собой. Э. язвительна и раздражительна, М. поглядывает то на одного, то на другого, будто мы все свихнулись, а Д. и я разрываемся на части, пытаясь примирить непримиримое. И все-таки ему и мне удалось сегодня провести вместе три или четыре тихих, умиротворенных часа. Он — единственный мужчина, с кем мне не скучно и кто меня не раздражает, с кем мне действительно нравится общаться.

24 ноября

Поэзия — это управляемая шизофрения.

Большинство современных поэтов пишут, адресуясь к своим стихам, а не апеллируют ими к внешнему миру. Многие пишут стихотворение и вовсе не контактируют с ним — пусть оно родилось и помимо их собственной воли. Они создают артефакт: пишут и пускают его по воле волн. Подлинные же поэты — это те, что живут в своих стихах: обживаются в них после того, как стихи

созданы. Навечно.

2 декабря

Маколей (о письмах жены сэра У. Темпла Дороти Осборн): из такого ряда любовных писем черпаешь больше истории, больше жизни, больше знаний об обществе, чем из целых баулов дипломатических депеш[618]. Везет же Маколею!

«Коллекционер». Начал это неделю назад. Не писать о себе — освежает. Коллекционер — это само по себе призвано символизировать заурядность нынешнего общества; стреноженный по рукам и ногам, чьи надежды и подлинная жизненная сила бессмысленно и зловеще затухают.

Заискивание вот главное ремесло этого века. В Англии воцарился Век заискивания. Особенно заметно это на Би-би-си: все и каждый пытаются нравиться, нравиться, нравиться.

C'est ou l'art ou l'amour[619] строка, всплывшая в моей памяти, когда Э. мыла мне голову.

17 декабря

Э. уходила счастливой, вернулась расстроенной. Рой не позволил ей повидаться с Анной перед Рождеством. По ее словам, он был пьян и в самом мерзком из своих настроений: его мелочность достигает поистине космических масштабов.

23 декабря

Записываю новые стихи. Странно, какая грустная у них интонация. Мне невесело, грусть у меня в крови, однако когда я говорю, мой голос не кажется мне грустным. Чтение стихов — хорошая терапия; так проверяется внутренний слух. Правда, я не так уж о нем думаю, когда пишу: меня больше заботит, как фразы разместятся на странице. Но эти стихи кажутся достаточно ритмичными. Некоторые даже подозрительно нравятся. Не доверяю нарциссистическому благозвучию, обеспечиваемому магнитной лентой. На ней даже моя игра на гитаре кажется недурной — а ведь я знаю, что бренчу безнадежно плохо.

Римляне, одержимые темой Орфея, играющего на арфе в аду. прекращением страданий, покоем и умиротворением, приходящими с его мелодией. Целительная мощь искусства. Можно, разумеется, пожалеть, что античным интеллектуалам неведомо было многое из того, что известно нам; однако будь это так, Древний Рим превратился бы в ад несравнимо более страшный, нежели тот, что им было под силу вообразить. К тому же мы забываем, что незнание двусторонне — я не имею в виду то незнание мелких деталей, на которое от века жалуются историки (о, будь я в силах провести хоть час в древних Афинах), но то глубочайшее незнание, какого не развеют и десять лет, прожитые в древних Афинах. Незнание того, чем была жизнь в те времена —

жизнь, постичь которую можно было лишь проникшись античным умом и ничем другим.

Мы часто заблуждаемся, полагая, что тонко чувствующие люди — принадлежность наших дней. Но такие индивидуумы, как Катулл, или Гораций, или Марциал, не менее чувствительны, нежели любой современный интеллектуал; просто износилась — не без постоянного вмешательства с нашей стороны — сама образность их чувствительности, даже оболочка этой образности, иными словами, эта образность перестала быть зеркалом их чувствительности. В итоге Катулл временами кажется простоватым, Гораций — слишком академичным, Марциал — чуть колючим. Я хочу сказать, их стихи напоминают выцветшие страницы — нет, тронутые ветрами времени статуи. Конечно, в этом и определенная доля их привлекательности: очарование древности, но прежнее воздействие утрачено навсегда. И огромная часть этого воздействия апеллирует к сферам (или образам), кажущимся нам наивными — вроде Орфея, играющего в аду. К необъятному, таинственному, не нашедшему объяснения миру, предстающему — даже самому утонченному интеллектуалу — волшебным, неуправляемым, диким, новым; в Древнем Риме не было уличных фонарей. А то, что в нем упорядочено: меры веса, ведомая грекам соразмерность архитектурных пропорций, — должно быть, представало его обитателям (даже такому относительно утонченному уму, как Гораций) со столь значимым отпечатком божественного промысла, какой нам не под силу вообразить. С нашей точки зрения, «amatilis insania» всего лишь невнятный звук — «приятное безумие», как подсказывает мой шифровальный ключ; но, по сути, это сочетание непереводимо, ибо к самой магии вдохновения современный мир относится не иначе как с презрением. Вся эта ода (3.4) — хороший пример того, сколь недоступен нам древний ум[620]. Тщетно пытаться постичь его тайны, прибегая к инструментарию английского языка, к посредству елизаветинских и более поздних переводчиков. Это то же самое, что исполнять произведения западных композиторов на восточных музыкальных инструментах.

(Читаю сейчас много латинских стихов. Если бы только кто-нибудь объяснил мне, как должны были читать и декламировать римляне! Учебники никуда не годятся!)

2 января 1961

Рождество отметили в Ли. Я так этого боялся, что на поверку все оказалось не столь уж тягостным (может быть, мы всегда чего-то чрезмерно опасаемся?). Стряпня М. хороша и сверхобильна, как обычно. Однако портвейн 1920 года и сигара 1933-го

доставили мне несомненное удовольствие; где-то я прочел, что век сигары краток — спустя восемнадцать месяцев они портятся, — но эта оказалась еще очень душистой. Бездна аромата. М. по-прежнему безраздельно господствует в застольной беседе; я отмалчиваюсь, а Э. тактично и послушно ее поддерживает. Мы оба испытываем нечто вроде симпатии к О. — человеку во многих отношениях предсказуемому, но не чуждому неких романтических глубин. Говорим с ним о яблоках, вспоминаем названия забытых сортов, разыскиваем их в его книжках; это целый волшебный мир, мир яблок, чьи разновидности можно проследить вплоть до конкретных мест и людей, подчас даже до одного определенного дерева. Самая амбициозная из моих фантазий (похоже, и О.) — однажды проснуться обладателем огромного плодового сада, настоящего музея всевозможных сортов яблок, чего-то вроде новоявленного сада Гесперид. Яблоко — магический плод: поедая один из отцовских «коксов» и поздний «джеймс грив», чувствуешь, что поглощаешь нечто среднее между отличной дыней и спелым персиком, и начинаешь мечтать еще об одной волшебной субстанции — вине. Иными словами, и лучшим сортам яблок, и лучшим винам присуще нечто общее — гармония.

6 января

Эшкрофт в «Герцогине Амальфи»: возможно, не самая идеальная кандидатура на роль, но исполнение идеально[621]. В 53 года выглядит на 33, не больше, порой на 23; и в очередной раз демонстрирует, что ей — единственной из всех ныне живущих английских исполнительниц — присуща необыкновенная очищающая сила. Каждый раз, когда ее вижу, убеждаюсь, что она великая актриса — в том смысле, в каком великими были Сиддонс, Кембл и Дузе. Она не уступает им в величии, ибо величие актерской игры оцениваешь, целиком отдавшись впечатлению; увы, в наше время мы так не реагируем (это не принято): нас подавляет избыток эмоций. Ну, я говорю «нас»; единственное, что удержало меня от того, чтобы громко всхлипнуть или разразиться слезами в момент, когда она произносила большой предсмертный монолог («геометрические петли»), — страх нарушить гробовое молчание (в одном месте я закрыл глаза: с таким же успехом я мог бы сидеть в пустом зрительном зале один на один с ее голосом). Помню, однажды, читая лекцию о театре, я цитировал байроновское описание игры Кина в «Макбете», его судороги, голоса актеров, тонувшие в рыданиях потрясенной театральной публики. Но, разумеется, великая актерская игра должна производить именно такое впечатление — в любом другом случае исполнитель (или его

аудитория) подавляет нечто важное. В профессиональном смысле Эшкрофт — в высшей степени изощренная актриса, у нее прекрасный чистый голос; в моменты наивысшего подъема он становится *человеческим* голосом; конкретной эмоции, обусловленной конкретной ситуацией — даже столь неестественной, как уэбстеровская, — она сообщает интонацию всеобщности.

Отнюдь не стремлюсь критиковать Уэбстера: эта пьеса не хуже шекспировских, и, к чести Уэбстера, Ш. вряд ли смог бы осилить ее интригу и реплики. Образность Уэбстера тоньше, мрачнее, напряженнее шекспировской. Э. говорит, что не может проникнуться духом пьесы: «ведь она ее не знает». Временами думаешь: хорошо было бы Ш. не существовать вовсе.

Диккенс «Наш общий друг». Почему этому роману придают так мало значения? Первые пятнадцать глав или около того — великолепный пример полифонии (забывая, какой кладезь чудес Диккенс). Да мог ли все это сотворить один-единственный человек? Сравнивая, опять находишь только Шекспира. Инстинктивное диккенсовское умение нащупать архетипичную ситуацию (глава 1): труп, поднимаемый из Темзы[622], фантастические контрасты между миром Венирингов, рекой и миром помойных ям. Способность объять все богатство Лондона, без исключений.

И как ему удается варьировать стиль: убийственное и беспощадное в своем блеске развенчание недалеких Венирингов, безжалостный сарказм, адресуемый тугодумным викторианцам Подснепам[623]. Неудивительно, что его боготворят коммунисты: его ненависть глубока, но выражает он ее революционно. Он не просто осмеивает Венирингов и Подснепов — он буквально подвешивает их на фонарных столбах своего блестящего остроумия.

Дженни Рен[624]: «Вернись и умри!»

15 января

Весь день читал «Наш общий друг». Будто в бездну провалился. По-прежнему одно из величайших эстетических наслаждений — с головой уйти в великий роман. Отдаться ему целиком, чтобы воскреснуть лишь в его персонажах, в их веке и в уме автора. «Наш общий друг» отнюдь не без дефектов: там слишком громко звучит vox humana[625], но звучит с такой открытостью, с такой фантастической решимостью силой затолкать бесчеловечный век в русло человечности, что сетовать на это — значит приносить мораль в жертву эстетике. Пожалуй, Рэйберну стоило погибнуть, чтобы затянувшаяся четвертая книга наконец кончилась[626].

21 января

Шутка. Что случилось с парой обрученных эскимосов? Однажды ночью она сбежала.

Из сочинения ученицы-исландки об «Эмме»: «Мистер Элтон полез на Эмму, и ей пришлось отбиваться».

Симпатичная девушка эта исландка. В прошлом семестре ее соблазнил грек, сделал ей ребенка, а потом заявил, что его мать не хочет, чтобы он женился на гулящей. Она попыталась сделать аборт, потерпела неудачу и загремела в больницу, где сделали все как положено. Теперь она чиста, как дождевая вода.

«Элмер Гентри». Издевательская пародия на роман. Стандартный омерзительный компромисс с коммерцией: все острые углы сглажены[627]. Это голливудское обыкновение вульгаризировать высокие (как «Илиада») или честные (как роман Синклера Льюиса) произведения — одна из наиболее отталкивающих черт США. Складывается впечатление, что все искусство продажно. В фильме появляется Бэббит, он, как и полагается, осмеян. Однако начинаешь подозревать, что в действительности фильм снят Бэббитом. Какой смысл обрушиваться на ханжество, коль скоро весь фильм основан на ханжеском убеждении в святости слова и художника? Гвоздь проблемы, разумеется, в том, что эгалитарная составляющая американского характера — не что иное, как бумеранг: каждому дозволено нести что ему взбредет, свобода слова — абсолют. В конце концов возникает столько свободного слова, что никому уже невдомек, что такое правдивое слово. Такие прилагательные, как «откровенный», «прямой», «нелицеприятный», воспринимаются как синонимы «правдивого».

Девушка в кинозале. С рыжими волосами и занятным плоским курносым личиком. Тонкая, высокая, очень подтянутая, soignée[628]. Одна. Я сел между нею и Э. Оказаться между ними двумя — глубоко поэтичное и волнующее переживание: что передо мною, как не два полюса (со всем невысказанным, что из них вытекает, разумеется). Из-за какой-то мелочи я был сердит на Э. Между этой неизвестной девушкой и моим сознанием возникло таинственное биополе. Я мог видеть ее лишь краешком глаза; однако в ее плоском лице было что-то невинное и в то же время необузданно сексуальное, элегантное и замкнутое, хрупкое. Есть какая-то нездешняя красота в этих полусексуальных, полумифологических («жрица в темной роще») нечаянных встречах. Позднее я увидел, как она сидит за столиком в пустом ресторане в ожидании, опустив глаза на белую скатерть. Рыжеволосая девушка с почти негроидным лицом. Само собой, ничуть не догадывающаяся о своем могуществе. Но оно так же

реально, как одежда, облекающая ее плоть.

1 марта

Хронически не хватает времени: слишком мало сплю, полчаса делаю одно, полчаса другое и так далее до бесконечности. Существую.

Опять перечитываю Монтеня — покой и свет в потоке серых будней[629]. Монтень рафинированный европеец, рафинированная индивидуальность, уничтожающая время с такой легкостью, что чтение его книги превращается в чудо, которому не перестаешь дивиться. Сквозь пелену столетий он проскакивает как сквозь сутки. Не то чтобы это было главным его достоинством. Он пребывает вне времени. Он поразительно реален, человечен. До конца реализовавшая себя личность.

Его coq-à-l'ane — что за восхитительная привычка[630]. Такая по-человечески понятная. А чего стоит его рассуждение о том, как он не может облегчаться на людях (глава 3).

Если бы требовалось спасти от костра одну-единственную книгу — полагаю, это был бы Шекспир. А следом за ним — Монтень.

Стихи. Внезапно нахлынувшее отвращение — отвращение от их риторичности, словесных засоров, неспособности стать моим голосом. Стал вновь пересматривать их. Одну толстую стопу приберегу до того дня — далекого-далекого, когда, думается, начну диктовать это какой-нибудь секретарше, и тогда уж все придет в подобающий порядок. А рядом — тоненькая стопочка тех, какие не вызывают у меня такого отвращения. Странные нынче времена. Я удерживаюсь на плаву потому, что сегодняшний мир до краев переполнен дурным искусством — дурным искусством и тупостью. Когда испытываешь соблазн утешить кровоточащее сердце сравнением, это удается без труда.

Э. побывала в клинике по лечению бесплодия. Судя по заключению врачей, вся проблема в ней (анатомически). Если у нас не будет детей, меня это не слишком огорчит. В конце концов, это всего лишь еще один шаг к отторженности от мира; а любовь, подпитываемая потомством, отнюдь не для меня. Возможно, Э. пережить это тяжелее: ей приходится проходить через все тяготы. Работа, бездетность, крушение честолюбивых замыслов. Подчас сквозь завесу всех этих невзгод, лежащих на нашем пути, она не видит любви. Я чересчур погружен в мой собственный мир, а у нее — у нее нет ноосферы, где можно дышать. Когда она сидит на месте, вздыхает, ничего не делает, я моментально выхожу из себя, раздражаюсь. Для меня день всегда слишком короток (сейчас она в постели, и ей не нравится, что меня нет рядом); а у нее нет необходимого баланса между жизненным успехом и

потребностью существовать в рамках предписанных норм. Она вечно обвиняет меня в том, что я ее ненавижу, что хочу, чтобы ее здесь не было, но мне нужно ее нытье. Покой — это иллюзия, с которой я еще не расстался, но истинная иллюзия — это ложная вера, о которой известно, что она ложная. Может показаться, что Солнце вращается вокруг Земли, но доподлинно известно: это не так. И в любом случае то ожесточенное напряжение, какое подчас возникает между нами, — не что иное, как любовь; только ее так не называют.

Торо «Уолден»[631]. Совершенно замечательная фантазия. Ибо, как мне кажется, Торо вряд ли следует до конца доверяться. Слишком уж извилиста, слишком напоминает Шоу линия его рассуждений; ему непременно нужно всегда быть другим. Я хочу сказать, «Уолден» — произведение того же ряда, что «Утопия» или «Кандид». Стоит снять с него налет довольно приторной реальности, этакой американской прямолинейности, и видишь: оно полно поэзии, прозорливости и восхитительной человечности.

Еще одно обстоятельство: Торо исчерпывающе воплощает собою всеобщий архетипический миф — не глупый миф о Золотом веке, к которому никто никогда не относился всерьез (разве как к утешительной выдумке), но ту, о, столь поэтичную, теорию, согласно которой нет ничего легче, нежели отряхнуть пыль городов и развести на лоне природы сад и огород с аккуратными бобовыми грядками. Жить на ирландской похлебке и озерной водичке.

В глубине души и я ей не чужд.

А то, что у него «нет таланта к милосердию»? Как с Монтенем, чувствуешь подчас, что и сам бы мог написать эти строки. Признаться вслух в запретном.

А его стремление жить на полную катушку? «Убивать время — значит утрачивать вечность».

31 марта

На день рождения Э. преподнесла мне маленькую бутылочку виски, бутылку мадеры, флакон одеколона, сигары, прекрасный галстук темно-оливкового цвета и пластинку Пегги Ли с ее безмятежно-солнечным голосом. А вчера часть подаренного ею чека я потратил на трехтомник Айзека Дизраэли «Всякая всячина» (1806), полный очаровательных издевок над нравами и интеллектуальными вывертами конца XVIII века. Напоминает Стерна, но читать его действительно смешно, чего о Стерне по большому счету не скажешь. Заплатил Норману 25 шиллингов. Хотел также купить «Janua Linguarum Trilinguis»[632] Комениуса, но он буквально выхватил книжку из моих рук, приговаривая:

«Это очень старый друг», — и добавив, что собирается заново отдать ее в переплет. Чем не детская зависть: сама возможность, что я могу покуситься на любимую игрушку, ввела его в транс.

Э. на днях прочла «Коллекционера» и напрочь отвергла его: слишком лично восприняла разоблачение необразованных[633]. Между тем в моих глазах роман был (и остается) книгой о том, что происходит за пределами нашего мирка; в нем нет ничего о нас, за вычетом нескольких случайных деталей. Никак не удается убедить Э. в том, сколь символичен его замысел. Сколь пронизан Платоном. Золото против свинца. Разумеется, ее симпатии, как и всех прочих сегодня, в полной мере на стороне свинцовых душ. В метафизическом плане этим людям можно посочувствовать. Ведь такими они сделались отнюдь не по собственному выбору. Однако цивилизация есть попытка рассудить, какая из двух противоборствующих концепций одержит верх: «Несправедливость сущего (то есть золотые и свинцовые души) требует абсолютной безупречности личной судьбы» — или: «Прогресс определяют золотые души». Если перевести это на мой язык, Аристос воплощен в Миранде, Поллой — в Клегге; и расползание, засилье, безнаказанность Поллоев обусловлены беспечностью Аристосов, не слишком заботящихся о том, чтобы остаться в живых.

1–3 апреля

В Ли. Наедине со всеми. Ангел во Франции. Почти все время шел дождь. Находиться с ними невыразимо скучно. Физически ощущается абсолютная выхолощенность подобного существования. Хватаемся за спасительные соломинки: кулинарный талант М., спорадические выплески культуры О. и доброжелательность старика. Но подо всем этим — мертвая пустыня. Они безвольно влачатся сквозь жизнь, насыщаясь телевизором и сплетнями; сплетни, бесконечно повторяемые пересуды, нищета духа. Быть может, появись у нас дети, они ожили бы. Впрямую об этом не говорится, но эта тема всплывает во всем, о чем говорит М. Машина, ребенок — вот все, что им требуется от нас двоих. А может, причиной тому, что они меня так раздражают, коренящееся во мне самом чувство вины? Их безнадежная отдаленность. Отчасти благодаря Ли, кажется, безысходно погрязшему в 1920—1930-х годах — не только архитектурно (какая была бы находка для Бедекера!), но и во всех других отношениях. Погрязшему настолько, что даже разговор о текущих событиях звучит на удивление старомодно. Ощущение минувшего времени; люди, закостеневшие в манерах, обычаях, привычках тридцати-сорокалетней давности, подобно улиткам, выставляют рожки в сегодняшний день. Но спокойнее им в

собственных раковинах. Улиточные города, города вроде Ли.

9 мая

Месяц назад Элиз вынудила меня подать заявку на работу в Греции (в Британский институт в Афинах). Какой-то частью своего существа я был не против (то есть не против того, чтобы подать заявку); так что «вынудила» здесь — не то слово. Инстинкт же подсказывал другое. Финансовые соображения: во что выльется сняться с места, переехать и обустроить какое-нибудь жилье в Афинах. Неудобства, связанные с новым местом работы. Привычка к этому дому и вещам, которые в нем собраны. Ощущение, что в Св. Годрике я выбился на первые места, — хотя это- то уж наверняка достойно презрения. Причины, причины…

Но главное в том, что моя привязанность к Греции («к» — в данном случае симптоматично) эмоциональна. Греция в моем сознании — нечто чистое, утонченное, золотое, незамутненное; весь шлак и нечистоты, что я там видел (а во время поездки я навидался достаточно), за эти годы жизни в изгнании безвозвратно рассеялись. Реалист сказал бы: «Распростись с мечтой!» Но Греция, живущая в моем сознании, слишком важна. У меня и в мыслях нет расставаться с мечтой. А месяц в Афинах не оставит от нее и следа. Для меня все это символически воплощается в греческих стихах. Не хочу возвращаться в Грецию, пока их не опубликуют. Пока сам не почувствую, что они дописаны (завершены). Они, если можно так выразиться, содержат в себе оправдание прожитых в изгнании лет. Непременно вернусь в Грецию, но лишь тогда, когда до конца переварю последнее путешествие. А возвращаться туда сейчас — то же, что, едва позавтракав, увидеть перед собой тарелку с сытным обеденным блюдом.

Уже понятно, этой работы мне не видать. Полагаю, неприятности 1953 года сняли вопрос с повестки дня[634]. Но, узнав об этом, я чувствую себя гораздо счастливее.

Чувство, что я должен *здесь* помериться со своей судьбой, всепоглощающе сильно.

Эти последние месяцы отравлены мыслью о том, сможет ли Э. зачать. Продувание и рентгеновское обследование дали отрицательные результаты (мы изучили все это по мрачной книжке «Женские болезни», позаимствованной из библиотеки Национального медицинского исследовательского института в Лондоне); следующий шаг — сальпингостомия; вероятность благополучного исхода из нее — 1:4 или 1:6 (после операции). В дневное время отсутствие детей не слишком меня заботит. По ночам, случается, я об этом задумываюсь, и тогда меня посещают мысли, достойные паши или султана Занзибара. Как бы то ни

было, бездетность делает жизнь всего лишь чуточку печальнее, чем обычно. Внешне становишься чуть рассудительнее, циничнее в «панглосовском» смысле слова («должна же быть для этого какая-то причина»). Быть может, железобетоннее. Но я бы променял радость отцовства всех детей на свете на пять лет свободы от необходимости в поте лица зарабатывать на хлеб насущный.

В Св. Годрике потихоньку меняется к лучшему. Новая сетка окладов. Наконец-то мы начинаем получать приличные деньги. Мне причитаются 1445 фунтов в год. В итоге появилась уйма недовольства: каждому хочется зарабатывать больше, но одним платят больше, чем другим. Отсюда зависть, замешанные на почве денег капризы, истерия, объявшая мир в 1961 году. Секретарская комната являет собой отличный срез нашего среднего класса — от его нижних слоев до середины; интересно, что классовые проблемы там едва ли поднимаются и уж наверняка никого не волнуют. Зато все связанное с деньгами всплывает то и дело. Проявляя себя по-разному: то в умеренной показухе, то в грубой, а то и прямо от противного («деньги меня не волнуют»). Прямо-таки наваждение.

Наша (то бишь английского отделения) небольшая комната — тихая заводь в этом омуте. Мы ладим друг с другом — или ладили бы, не будь Оппенгейм. Я подал докладную, прося ее уволить. Отнюдь не без чувства вины: как-никак ей пятьдесят четыре и все такое. Но она дискредитирует колледж, меня, других преподавателей, студентов. Никогда не сталкивался с такой скандалисткой. Если в конце концов удастся побудить Дж. У. Л. отделаться от нее, будет ужасно неловко. Но что-то же надо делать.

23 мая

Олд-Бейли. Отбываю повинность присяжного заседателя. Пытался избежать ее. Потом уступил соблазну. Присяжным, очевидно, нравится их работа. Помимо того что в будничное течение их жизни она привносит определенное разнообразие (резонов типа «слава Богу, пришел конец этой тягомотине»), помимо приятных каждому знаков почтения: поклонов судьи и тому подобного, — сидя в зале суда, испытываешь некое удовлетворение. Вот удачный и безобидный повод проявить собственную манию величия. Вчера нас всех собрали в зале заседаний № 1 и привели к присяге. Мне выпала очередь на сегодняшнее утро. Правда, в качестве запасного присяжного. Так что пришлось провести весь день на задней скамье. Большинство присяжных — из низов: в лучшем случае из нижнего среднего класса; новые люди. Рядовые и сержанты, выдвинувшиеся во

время войны, владельцы небольших магазинчиков и так далее. Кадровых военных и выпускников из Оксфорда очень мало. Спрашивается, почему?

Этим утром шел сплошной поток вердиктов «виновен». Первое дело: Джонс, детоубийство. Тучный, мощный лысеющий мужчина в блестящем темно-синем костюме. Багровое лицо алкоголика, складки жира. Скучные легалистические словопрения по поводу того, не было ли нарушений в ходе его процесса. Затем человек, пытавшийся убить жену Обвинитель с поразительной быстротой за десять минут отбарабанил свое.

— Да, сэр, — отвечал полисмен. — Да, сэр.

И все. Три года. Не слишком ли быстро, подумалось, чтобы приговорить человека к заключению на такой большой срок? Три лета, за двадцать минут. Прямо передо мной сидели жена подсудимого и ее отец. В руках она сжимала носовой платок, совсем как в кино (в процедуре судебного заседания вообще больше театрального и экранного, чем реального). Когда защитник изрек:

— Этот человек еще любит свою жену, — она опустила голову и задрожала.

А когда приговор огласили, ее отец бодро заявил:

— Ну вот видишь, три года.

А подсудимый замер, будто так ничего и не понял — не понял, что отчаяние, гнев и ревность одного-единственного вечера могут прийти к такому концу.

Подсудимых вводят в зал снизу — из ада — и возвращают в ад. Они вдруг оказываются в зале, полном наблюдающих лиц, как на богослужении. Все это действо не что иное, как языческое жертвоприношение. Ритуальное. Вновь и вновь я видел, как жизненные драмы выворачиваются наизнанку. Ведь эти мужчины (и эта женщина) — больные, помешанные. Ими должен заниматься врачебный консилиум, а не верховный жрец в красной мантии со смертоносным ножом («общество требует возмездия») в руке.

Следующим было дело молодого человека, одиноко — очень одиноко — жившего с овдовевшей матерью. Однажды вечером он выехал на машине из дома и застрелил женщину, которую прежде никогда не видел. «Он просто почувствовал, что должен кого-то пристрелить». Полицейским он сказал:

— Да ладно вам. Мне без разницы.

Собственного защитника не удостоил ни словом. Высокий развязный грубый молодой человек. Судье, м-ру Заксу, он не понравился, и его осудили на десять лет. Психопат, за милю видно.

Затем слушалось дело женщины-киприотки, плохо сделавшей аборт. На задней скамье сидели юноша-грек и невысокого пошиба шлюшка с копной блондинистых волос. Юноша старался не смотреть в ее сторону, а она не сводила с него сурового взгляда. Женщине-киприотке все приходилось переводить. Она совсем растерялась. Юноше и его шлюшке очень нужны были восемнадцать месяцев, на которые ее осудили.

Потом разбиралось действительно ужасное дело. Маленький трясущийся человечек в очках, в выбившейся белой рубашке и скомканном галстуке, в костюме, видавшем лучшие времена, бормотал, запинался, произносил бессвязные слова. Вернувшись на скамью, как-то странно уселся, опустив голову ниже барьера. Сидел и всхлипывал. У него пятеро детей, все умственно отсталые, как и он. Старшая дочь принесла в подоле двух внебрачных дочерей; по его словам, обе родились мертвыми. Тела обеих он положил в камин и всю ночь жег их. Невольно задумываешься об инцесте. О бездне, бездонной пропасти человеческого страдания. В подсудимом сомнения не вызывало одно: он страдал. Опустив голову чуть ли не до колен на своей скамье, он наводнил зал своим страданием. Судья проявил снисхождение и объявил об отсрочке приговора до заключения медкомиссии. И даже это было не под силу уразуметь маленькому человечку: его неуклюжее тело охранникам пришлось поднять силой и отправить из зала обратно в ад. Хотя в этот раз судили не его: под судом оказалось наше общество. Больше того — жизнь, вся безжалостная цепочка эволюции.

Последним рассматривалось дело об убийстве. Чернорабочий-ирландец заявился домой пьяным и в приступе гнева зарезал ножом брата. Еще один маленький всклокоченный человечек в старом сером костюме, в очках. Свидетели вновь и вновь дают показания. Ясное дело. Его вывели из себя. И странные мелкие детали. В доме был всего один столовый нож. Оба спали в одной двуспальной кровати.

В сегодняшнем утре есть что-то от мифа. Авель и Каин. Терей и Итис[635]. Страшные архетипические ситуации. Может, все дело в том, что зло первобытно, а добро в высшей степени искусственно и современно.

Любопытно, какие бутоньерки носят судьи: они очень символичны. Вроде обрядовых очистительных цветов античных мифов.

Занятная лакуна в делопроизводстве: процедура не предусматривает процесс установления личности присяжного. Имеется в виду, что вы и есть тот, кем себя называете. А если заседателям вздумается поменяться местами?

26 мая

Все еще в Олд-Бейли. Ирландцу-чернорабочему поменяли состав преступления: его признали виновным в непредумышленном убийстве и скостили срок до четырех лет. Потом меня включили в состав присяжных — по делу о поджоге. Согласно официальной версии, квартиросъемщик из Ньюкасла, повздорив со своей хозяйкой (и сожительницей?), около полуночи разбил ей стеклянную входную дверь (в квартале муниципальных домов Каннинг-тауна), вышел из дома и, вернувшись около 4.30 утра, поджег занавеску, повешенную ею на дверь. В суде магистрата хозяйка и ее дочь заявили: *это его рук дело*; теперь обе это отрицают. Даже навещают его в тюрьме. Продавец ближайшей лавки обеспечил подсудимому стопроцентное алиби. Представитель обвинения задает вопрос свидетелю защиты: разве его ранее двенадцать раз не привлекали к ответственности за мошенничество? Ответ:

— Я ни разу не соврал. Крал и признавался.

Такое ощущение, что все в зале: свидетели с обеих сторон, «потерпевшие» и обвиняемые — сговорились против суда и полиции. Им жаль, что дело вообще дошло до суда. Одна свидетельница кажется честной — это соседка, сурового вида блондинка, клявшаяся, что в ночь преступления слышала, как он орет, и видела его со спины. Исход дела не ясен. Я знаю, что он виновен, но сомнения остаются. В конце концов он из Ньюкасла; не исключено, что он не лжет, утверждая, что был мертвецки пьян. В нашем жюри заседатели подобрались «образованные»: как минимум пятеро — кадровые офицеры. Мнения разделились поровну. Начинается подсчет голосов. И все это — из-за двух футов горелого дерева; как к этому относиться серьезно?

Скука судебного заседания: без конца долбишь и долбишь камень.

Самое интересное, что в нем есть, — судья (Закс). Он говорит не спеша, с достоинством, поправляя свою бутоньерку подобно пожилому трансвеститу. Затем, как опытный кот, готовящийся изловить мышь, принимает лениво-небрежную позу и с быстротой молнии обрушивает свою лапу законника. У него лицо младенца, поджатые губы, синие щеки, на редкость мальчишеская ухмылка. Пенсне, которое он то и дело меняет на очки. Всего-навсего нелепый человечек, однако воплощаемый в нем дух правосудия не дает о себе забыть. Судья — олицетворение здравого смысла и никогда не преступает его рамок. На это может решиться любой другой в этом зале. Но не он…

* * *

Олд-Бейли. Слушали дело нашего шотландца. Он заполучил еще одну старую каргу, готовую лжесвидетельствовать в его пользу. Но Закс вовсю склонялся в сторону обвинения. И когда старшина присяжных в совещательной комнате задал нам сакраментальный вопрос, все дружно подняли руки: «Виновен». Что до меня, я готов был сразу нажать на кнопку звонка и вернуться в зал. Но другим захотелось обсудить дело. Любопытно, сколько в них задора. Сначала высказывались образованные, затем необразованные, констатировавшие самоочевидное и изо всех сил это подчеркивавшие. Каждому находилось что сказать, будто шел обмен сальными остротами. Я не сказал ничего — говорить было не о чем. Но кое-кому захотелось напустить на себя вид преисполненных важности присяжных заседателей. «На это дело стоит посмотреть так…»

В ходе вынесения приговора выяснилось, что за плечами низенького шотландца уже целый ряд отсидок. Я не сводил с него глаз: когда старшина присяжных произнес слово «виновен», он закрыл глаза. Это не было игрой. Он страдал. Ему дали три года.

Моя неадекватность в общении с другими мужчинами. Средний человек не прислушивается к самому себе, думает только о том, как утвердить свою позицию, застолбить свой участок. Мои собратья-присяжные делали это, обмениваясь солеными шутками, как на мальчишнике, суя друг другу записочки, похваляясь своими машинами, домами, деловыми успехами. Самый прозрачный пример — бывший сержант полиции, получивший повышение во время войны; вот уж мастер показывать товар лицом. Один из нас (образованных), он источал доброжелательность ко всем и каждому, предводительствовал в совещательной комнате, всеми, способами давая понять, сколь многого добился в жизни. Все они | исполнены твердой, несокрушимой решимости добиться от окружающих того уважения, снискать которое я способен, лишь говоря то, чего не думаю, выражаясь словами, которые не являются моими, подавая голос, который не считаю своим. Мне нравится смотреть на них и слушать, но общаться с ними — это ад.

В ожидании, пока нас отпустят, мы застали фрагмент еще одного разбирательства. Молоденькую рыжеволосую ирландскую девчонку в общественном туалете изнасиловал выходец из Вест-Индии. Одну за другой из нее вытягивали невероятные детали происшествия. Что из одежды он с нее сорвал, как, где они лежали. Он бросил ее на пол, навалился всем телом, а пуговицы на его брюках были расстегнуты.

— А потом? — бодрым тоном, столь характерным для молодых юристов, как бы удостоверяя, что ничего из ряда вон

выходящего не произошло, заговорил представитель обвинения.

Молчание.

— Вы что-нибудь увидели?

Молчание.

— Просто назовите это, как обычно называете.

Молчание.

— Скажите, из расстегнутых брюк что-нибудь торчало? — вмешивается его честь судья Закс.

— Да, сэр.

— В данном суде этот предмет именуется субъектом. Итак, субъект обвиняемого торчал из его брюк.

— Благодарю вас, мой господин.

— А что произошло потом?

— Я почувствовала боль, сэр.

— В каком месте боль?

И так далее. Все это было бы смешно, не будь оно так трагично. Этот парадокс по-своему великолепен. Стиль, в котором проходит разбирательство подобных инцидентов, не что иное, как триумф пуританской традиции: нежелания избегать нелицеприятной правды в сочетании с таким яростным ее неприятием, от которого двусмысленные смешки застревают в горле. Судилище с инъекцией обезболивающего.

Миллидж и Локет «Пауки Британии». Эту хрестоматийную монографию я приобрел за три фунта, полученных за исполнение обязанностей присяжного. Внезапно меня осенило, что моей жадности (к знаниям) нужно дать волю. И потом — никто же ничего толком не знает о пауках. Я поднялся на крышу и почти немедленно обнаружил там жирного домашнего паука, но не знал, как к нему подступиться. Пауки и ракообразные затрагивают какую-то чувствительную струнку в моем подсознании. Как и осьминоги. Последние, конечно, очаровательные особи — по крайней мере некоторые из них. Вечером под лупой у меня оказался sittaeus pubescens — темноватый маленький прыгающий паучок. У него (это самец) изящный прямоугольный панцирь и два огромных вытаращенных глаза, а по бокам — еще два маленьких, черно-красных, и еще два позади, и, наконец, еще два в значительном отдалении, на задней части головы. Небольшой городок из паука. Я слегка «утопил» его, чтобы успокоить, а затем кончиком иглы сделал ему искусственное дыхание. Он внезапно встрепенулся, проделал кульбит и повел себя как ни в чем не бывало. Прекрасная шерстка из бурых, белых и черных щетинок с одним-двумя коричневыми пятнышками — ни дать ни взять высококачественный твид. Они очень хороши, эти салтициды[636].

23 июня

Воистину собачьи дни. Две или три недели назад у меня началась сенная лихорадка, а за ней теперь непременно приходит очередь астмы. Слабость, не могу дышать. И думать. И делать что бы то ни было. Дни сгорают, как пятифунтовые банкноты в камине. Как пятифунтовые банкноты, на любую из которых в наши чудесные времена ничего не купишь. Все больше устаю от самого себя, от собственных слов и собственных стихов. Время высушивает их до самой оболочки, как заспиртованных пауков.

27 июня

Оппенгейм. Наконец-то ее увольняют. Я приложил к этому руку, Гилберт поддерживает меня с фланга (нечто вроде христианского милосердия не дает ей непосредственно включиться в кампанию — по крайней мере так кажется). Коммодор Воздушного флота ее величества относится к этому как к чистой статистике: одним меньше, одним больше. Так что, можно сказать, все это моих рук дело. Несколько удивлен и ошарашен, однако не могу сказать, что совсем не горжусь содеянным. Только представлю себе, как эта несносная женщина останется без работы — пройдя через целую вереницу унижений. Она как репей: ее необходимо стряхнуть, просто стряхнуть, она раздражает — ничего не поделаешь, таков способ ее выживания: цепляться за что ни попадя. Доказательств ее профнепригодности хватает. Такой финал — вроде выстрела в голову вконец одряхлевшей собаки. Залп милосердия, но не отпускает сомнение, что подобный выход чересчур уж легок — для уничтожаемого и уничтожающего.

Сегодня она была на редкость тиха. Сеанс нормального поведения на людях. Обижена. Настроена исполнять свои обязанности до последнего звонка. Тихонько отсиживается в уголке — как это не похоже на нее. Мы (Гилберт и я) ожидали, что она примется бороться, выходить из себя, паниковать (я думал, к уведомлению об увольнении будет приложен чек, но попридержать его до конца месяца — вполне в лисьей натуре Дж. У. Л.). Ожидали чего угодно, только не этого смирения с миной незаслуженной обиды: «раз-ничего-не-поделаешь-придется-подчиниться». Думается, отчасти напускного. Видно будет.

Оппенгейм. Целых два часа с нею. За что я причинил ей такое зло? Пространные объяснения в собственную защиту. Постепенно удалось перевести все на нее.

— Это студенты. Не можем же мы игнорировать их жалобы.

Думал, она выхватит пистолет, разразится слезами, ждал сам не знаю чего. А она — спокойна, предельно рассудительна.

— Что же мне делать? Что от меня требуется?

Окружающие думают, что я гад, подставивший ей ножку. Но их нетрудно переубедить.

7 июля

Она ушла. Ответных акций не последовало. Коллеги проглотили. Чувствую уколы совести. Нужно было почаще выносить ей предупреждения, давать рекомендации — словом, помогать работать. Но тот жертвенный агнец, коим она была на прошлой неделе, не в силах вытравить из моей памяти старую мегеру, какой она так часто оборачивалась в прошлом. Почему она вызывала столь ожесточенную неприязнь? Культурная женщина с нормальными политическими взглядами и всем прочим? Все дело в том, что Оппенгейм не была англичанкой. В свойственной ей культуре не было и тени облагораживающего чувства юмора, а в самом ее либерализме сквозило нечто агрессивное и высокомерное. Ее (как и всех этих немецких и среднеевропейских беженцев) отличало ошибочное убеждение, что быть англичанином — значит постоянно бежать впереди прогресса. И эта особенность, якобы побуждающая англичан все время восхвалять и рекламировать собственные взгляды и вкусы, усугубляется в их представлении инстинктивной уверенностью, что уж они-то, выходцы с континента, наверняка умнее англичан. Англичане, полагают последние, созданы лишь для того, чтобы их могли ни во что не ставить, презирать и дурачить высоколобые среднеевропейцы. Оппенгейм — превосходный пример, как *трудно* быть англичанкой; ведь для того, чтобы считать себя таковой, недостаточно прекрасно знать язык и провести на английской территории большую часть жизни. Быть англичанином — это манера себя вести и общаться с окружающими, главные черты которой — окрашенная юмором терпимость и огромное, выражаемое на людях уважение к другим. Само собой, иностранцы быстро улавливают, что такого рода поведение ориентировано лишь на публику, и по-тому резонно обвиняют нас в притворстве. Но этого-то притворства им ни за что не скопировать. У Оппенгейм это никогда не получалось: всегда можно было сказать, когда она лжет, когда утверждает то или другое с задней мыслью. В этом отношении она была прозрачна как стеклышко. Вольно ей было в собственной тяжеловатой манере подсмеиваться над теми, кому недостает образованности и savoir vivre; однако ей было невдомек, что в своих попытках быть англичанами среди англичан иностранцы (как бы ни был высок их культурный уровень) подобны детям, заговаривающим с начальником почтового отделения. Они могут прекрасно владеть английским, но их всегда разоблачает степень владения искусством притворства. Можно отдавать себе отчет,

как называется по-английски то или иное, но невозможно отыскать ключ к главному из секретов англичан: тому, о чем умалчиваешь. Вот почему я так ненавидел Оппенгейм. Она *настаивала*, чтобы в ней видели англичанку, но так и не уразумела, о чем у нас вслух не говорится.

14 июля

Встретился с Роем и его en troisième noces[637] Джуди[638]. Когда Э. в прошлый раз наведывалась в Путни, Анна пригласила ее на школьный концерт. Итогом явилось общее оцепенение. Так что не оставалось ничего другого, как всем нам встретиться и, переговорив друг с другом «как взрослые» (само по себе недоброе предзнаменование), решать, что делать. Итак, мы встретились и направились в бар на Бейкер-стрит. Джуди — худенькая девушка с каштановыми волосами, бездумной белозубой улыбкой и миленькими (в буквальном смысле этого ничего не значащего слова) глазками за стеклами очков. Как подобает, поинтересовались здоровьем Анны. Затем на поверхность всплыла деликатная тема: я заметил, хорошо было бы, если б Анна какое-то время пожила у нас. И тут маски «взрослых» вмиг оказались сброшены: наши собеседники моментально предстали в обличье несговорчивых русских, а мы, соответственно, американцев. С их стороны — железобетонное *«нет»,* изрекаемое с побелевшим от гнева лицом, с нашей — негодование. Рой до краев полон Роем; Джуди выступает в амплуа «маленькой женщины»: «Нельзя отрицать, что в каждом из нас живет инстинкт собственника» (следует понимать: «Во мне живет инстинкт собственницы, и потому Анны вам не видать»). Короче, о том, чтобы Анна пожила *у нас*, и речи быть не может. Пытаться их переубедить — потеря времени; оба до крайности мелочны и упрямы. Запуганы. Провинциальны. Фирменный знак провинциала: он с чрезмерной серьезностью относится к своим эмоциям. И второй фирменный знак: провинциал с чрезмерной серьезностью относится ко всему, чем владеет.

Джуди — ком глины, на который Рою дозволено накладывать отпечатки собственного викторианства. Он до смерти боится утратить уважение и любовь Анны. Видимо, тут-то и скрываются корни его невроза: этот страх пронизывает все его поведение. А Элиз, разумеется, не что иное, как зримое воплощение объявшего его ужаса. Я же весь вечер только и делал, что контрастно высвечивал ее существование.

21 июля

Письмо из Британского совета. Странное. Вроде бы извиняются за то, что не пригласили на собеседование, заверяют, что рассмотрят любую заявку, которую подам в будущем;

прилагают перечень имеющихся вакансий. Это повышает мое мнение о самом себе. В любом случае в тот раз ехать мне не хотелось.

2 августа

Время есть. Но не работается. Собачий период. Ничто из того, что пишу, не волнует. Убиваю часы, бренча на гитаре, разглядывая паучков, ухаживая за растениями. Августовские каникулы — поздние; может, в этом все дело. Тошнит от всего на свете. Скрепя сердце что-то делаю. Но подумать: весь год каникулы кажутся раем — возможность писать целыми днями! А потом, когда наступают, — ничего. Похоже, я на дне пропасти. Ум отказывается повиноваться.

7 августа

Выходной день. Обычным маршрутом направились в Вендоувер. Через поля до Дансмора, а затем в Уэтемстедский лес. За городом мое время теперь поглощают пауки. Пока ищешь их, открываешь новый мир. Малюсенький мир малюсеньких насекомых: под кустами, в глубине подлесков, под травяным ковром, под листьями. Мир, где красота редко превышает пять миллиметров в длину. Два лучших образчика из тех, что мне удалось поймать, — самец и самка из семейства Evarcha falcata. Самец очень нарядный: сливки, кофе, жженая умбра с красно-коричневыми крапинками. Прекрасный пример эволюции. «Красивый», — пишут о нем достопочтенные Локет и Миллидж; впрочем, эстетика не самая сильная сторона их таланта. Но пауки действительно красивы, а опознание их — дело чрезвычайно трудоемкое, я, к примеру, сплошь и рядом ошибаюсь. В отличие от цветов пока еще не научился точно распознавать (или с большой долей вероятности угадывать), к какому отряду или семейству относится та или иная особь. По всей видимости, когда речь заходит о насекомых, у систематизаторов и классификаторов вообще голова начинает идти кругом. Стоит им набрести на необычную трихоботрию, у которой один глаз на миллиметр отклоняется от нормы, — и уже объявляют об открытии нового вида. Мартин Листер в 1678 году утверждал, что ему известны все разновидности пауков, обитающих на британской территории; он насчитал их 38[639]. Если верить сегодняшним исследователям, их 560. Второе звучит более научно, первое — убедительнее.

17 августа

Мало что сделал в последние десять дней. Читал, открывал для себя, влюблялся в Катулла. Venit, vincit[640]. Невероятно, до чего превратно истолковывают его филологи (не только наши теперешние, но, не исключено, все, с момента, когда появилась академическая наука) с их хваленым профессорским

самодовольством. Попавшееся мне под руку издание с параллельным переводом (Лоэба) производит нелепое впечатление, да и все остальные переводы (Лэндора, Флекера и других) ничуть не лучше. Универсальные ключи к творениям этого мастера — секс и сквернословие, если вас приводит в ступор секс или вы краснеете, услышав ругательство, значит, к Катуллу вам лучше не подступаться. Судя по всему, он неотразимо притягивает академиков. Они на цыпочках подкрадываются к двери, заглядывают, а потом завязывают языки на замок, дабы не проговориться о том, что увидели. Я постарался переложить некоторые из его самых скандальных стихов на английский. Ложатся прекрасно — при условии, что оперируешь обеденной лексикой, понятной нашему среднему классу. «Трах», «пидор», «ублюдок» — в таком роде. Главное здесь — избегать *каких бы то ни было* эвфемизмов. Ведь именно из-за них Катулл кажется непристойным: из-за того, что такого неистового, печального, дикого, неприрученного гения пытаются обесцветить. Не затем он писал свои стихи — писал кровью, слезами, серной кислотой, — чтобы их переводили дистиллированной водичкой[641].

Изо дня в день — а на дворе холодноватый, такой непохожий на самого себя август — делаю одно и то же. Проинспектирую пауков на крыше, скормлю им пару мушек, пощекочу паутину, умоюсь, застелю кровать, дойду до магазина, принесу чего-нибудь. Над всем прочим господствует «Аристос». Но его афористический характер выматывает. Он, как Протей, все время меняет форму: новые мысли, новые берега, новые сложности, от которых приходишь в уныние. Будто в сильный ветер пытаешься справиться с большим парусом. Полотнище болтается, не слушается, ничего не видишь. Но иногда, когда удается его натянуть, *движешься вперед*. Раньше (в июле) думал представить его на конкурс. Но он слишком велик, слишком аморфен. За каждым хребтом открывается новая долина, а за ней — очередной подъем.

20 августа

Theridion ovatum. Около шести недель я выдерживал в клетке самку — бледно-желтую, с карминовыми полосками, и ее зелено-голубой кокон с яйцами. Сегодня вылупились крохотные паучки: шевелящаяся масса. У каждого — прозрачный панцирь цвета морской волны и матовое брюшко оттенка беловатого масла. Женский секрет оставаться красивой — в ее способности сохранять темперамент подростка. Легко пускаться в плач, капризничать, устраивать сцены. Тело взрослеет, а нрав остается девичьим. Это в натуре Элиз.

Голосовой анализ: как люди раскрывают себя, говоря по радио. Должен быть разработан какой-нибудь научный способ соотнесения характера и голоса. Думаю, сугубо фонетический — не зависящий ни от акцента, ни от манеры произношения, ни от смысла, ни от выбора слов. Иными словами, тех факторов, к которым мы обычно апеллируем. А чисто статистический: с замером продолжительности, тембра, скорости речи — того, что можно отобразить в виде графика или свести к некой формуле. Начать можно было бы с установления связи между голосом и чем-либо более определенным, нежели характер, — к примеру коэффициентом интеллекта или какой-то конкретной чертой, скажем, агрессивностью, застенчивостью.

7 сентября

Читаю Монлюка[642] и Монтеня[643]. Монлюк — блестящий пример эксцентричного мемуариста второго ряда. Там, где на страницах своей автобиографии он описывает сражения, он великолепен; лучшего описателя баталий не отыскать. Местами скучен (в главах, где нет места картинам битв): военный ум не способен к развитию; солдатам вообще не присуще человеческое. Читаю Монтеня и стыжусь того, как я пользовался дневником в последние годы. В нем недостает искренности, недостает всей правды о себе, «самоотдачи» в монтеневском смысле (on se prête aux autrui и т. п.). Отчасти потому, что уже не могу считать дневник стопроцентно личным: в него в любой момент может заглянуть Элиз. Как бы то ни было, вновь не устаю восхищаться Монтенем.

23 сентября

Вечер с Джин Бромли, одной из преподавательниц английского в Св. Г Комната, полная молодежи, немного вина, вежливая беседа, отмалчивание. Ужас; засилье провинциалов. Разумеется, не в географическом, а в духовном смысле; провинциальность — состояние ума (теперь уже и в Лондоне). Они неспособны высказать что-то, что может кого-нибудь задеть, завести любой мало-мальски серьезный разговор; причиной тому — застенчивость, уверенность, что не быть провинциальным — значит без восторга отзываться о чем бы то ни было, ни под каким видом не задавать никому вопросов (имена, профессии, религиозные убеждения — все это под негласным запретом). Под запретом и искусство (допустимо лишь: «А вы видели…»). Таким образом, находишься в комнате, кишащей заградительными знаками; ни один не смеет выйти за рамки дозволенного, опасаясь прослыть то ли столичным хлыщом, то ли провинциалом. Мерзкая ничья земля, напичканная банальностями.

«История современной Франции» Коббана. Постреволюционная история Франции катастрофична. Неужели двойником замечательного эгоцентризма в искусстве выступает чудовищный эгоцентризм нации? Все эти горькие кровопускания; они заставляют меня ненавидеть Францию. А издали мне улыбается Монтень.

А вот Монлюку девятнадцатый век пришелся бы по вкусу: он как раз пролегает по его жалкой улице.

27 сентября

Кингсли Эмис «Девушка вроде вас». Слабая, противная книга; грехи автора искупает, что она легко читается и местами неглупа. Мастерство Эмиса — в создании карикатур; то есть, по сути, оно диккенсовское. Беда лишь в том, что когда-нибудь в будущем ее воспримут как реалистическое отображение жизни, как мы поступили со столь многим из написанного Диккенсом. Такого рода аберрация заслуживает наименования; не назвать ли ее «диккенсовской иллюзией»?

Реальный масштаб Эмиса проступает, когда возвращаешься к жизни, которую он окарикатуривает, к идеям, которые он стремится проиллюстрировать. Выглядят они, похоже, так. Первое: секс — нечто, берущее начало в сфере животного. Де Грие[644] молил: «Избави нас от любви»; персонажи Эмиса, похоже, подразумевают (не говоря вслух): «Избави нас от секса». Второе: в личном плане аморален и способен на предательство каждый; те же, кто на это не способен, «простофили» или «зануды». Третье: любовь — это миф, ее не существует (ни одна пара разумных людей в наши дни не способна оставаться верными друг другу в сексуальном плане).

Он, разумеется, пуританин и плюс к этому прирожденный насмешник: насмехается над буржуазностью, над вылощенным аристократизмом, над «высокими» чувствами, душевными порывами, добром. И, не ведая пощады к прекраснодушным амбициям, зачастую попадает в цель. Однако его сатира сродни беспорядочной пулеметной пальбе. Все, что ненароком попадает в прицел его орудия, сравнивается с землей.

Мне не импонирует клочковатая, напоминающая технику иных живописцев манера его письма. Подчас задевающая за живое, но не трогающая. Шероховатая. Местами настолько, что какие-то фразы перечитываешь по три раза. С «только лишь», всплывающим к месту и не к месту на каждой странице.

Что не затмевает искупающих это несомненных достоинств: его умения чувствовать пульс времени (людей, подобных его персонажам, не существует, но отдельные выхваченные черточки поражают точностью) и саркастического ума.

6 октября

В колледже Св. Г. Чистый фарс. Вчера был вечер, традиционно устраиваемый в начале семестра в честь новых студентов-иностранцев. Кофе, обходительная беседа, показ слайдов и под конец мое коротенькое приветствие — с призывом быть снисходительными друг к другу. Все это — попытка подать в выгодном свете Св. Г., Англию и Лондон, не более. Кошмарного качества слайды знаменитых лондонских зданий при дневном свете, старый добряк бифитер, добренькие старички-ветераны в Челси, добрейшие бабушки-цветочницы, добрая старушка-столица — словом, благодушное старье. И вдруг Гилберт встает и объявляет:

— Днем нам звонили из полиции, сообщили, что в Хэмпстеде орудует насильник, девушкам не следует вечерами ходить поодиночке, а если рядом остановится машина, пусть бегут без оглядки.

Восхитительно; ради этого стоило проскучать весь вечер.

* * *

Наше отделение разрослось; секретариат тоже. Оказия с Оппенгейм не прошла втуне для преподавательского состава; в глазах коллег — смутное ощущение неловкости и что-то от обиды обманутого ребенка; испытываю трудности в общении. Им не по Нраву мой цинизм и то, что я не брезгую крепким словцом и соленой шуткой; похоже, есть подозрение, что я не столь уж выматываюсь на работе. Все недавно получили надбавку, а ничто так не разочаровывает, как надбавка. Странно, но это так. В этом убеждает то, что творится по всей стране. Надбавка — что-то сродни допингу. Можно жить и без него, но, раз приняв дозу, уже не остановишься. В секретариате люди гораздо приятнее, нежели у нас; во всех этих преподавательницах английского проглядывает нечто робкое и неистребимо провинциальное. Кэрри с ее всегдашними «что вы, что вы…»; Брокуэлл с ее приземленностью — милая простая женщина, но, как и все они, без полета. Бромли — эта мышка, выскочившая из стен Оксфорда: по всей видимости, ни Оксфорд, ни английская литература, ни что-либо другое ничему ее не научили. Брэмелд просто невежественна и тупа, что-то вроде зануды-учительницы в сельской школе. А новенькая из Дублина — какая-то странная, двуличная. Не представляю, что она себе думает. Эти нежные создания обмениваются между собой дежурными шуточками, этакими готовыми суждениями, которые прячут, как улитка

рожки, чуть к ней прикоснешься. Чувствуешь, что им наплевать на все по-настоящему важное, будь то запрет на ядерное оружие, или поэзия, или большое искусство, или честность по отношению к самим себе; интересы не простираются дальше их уютных псевдобуржуазных домишек и собственного «я». Искусство волнует их лишь постольку, поскольку говорить о нем считается модным; словом, не спеша откусывают от жизни по кусочку. Провинциалки.

В секретариате народ получше: к примеру, миссис Баррет, пожилая шотландка, знакомая с Дарреллом и Миллером, — славная, энергичная, острая на язык женщина левых взглядов. Мне доводилось слышать, как она поддразнивает чернокожих девушек, а все они ее любят; и еще миссис Зингер, еврейка; у нее нет и десятой доли культурного багажа, каким могут похвастать другие, и, однако, она ухитряется быть современнее всех прочих. Какое-то свежее и вместе с тем трезвое восприятие вещей и людей такими, каковы они есть. Ничего из себя не строит, просто работает. Делает свое дело и курит; не из тех, что никогда не возьмут сигареты и бесконечно болтают о работе. Из сотрудниц английского отделения не курит никто; есть в некурящих женщинах что-то бесполое. Может, в этом-то их проблема: ни у кого из них нет и намека на сексуальную привлекательность. А вот старушку миссис Баррет природа не обделила, и это чувствуется; да и миссис Зингер притягательна, в современном смысле слова. Правда, она никогда не пускает в ход свое умение нравиться мужчинам, как подчас делают — впрочем, без особого успеха — женщины в нашем отделении. Но тем не менее изюминка в ней есть. Я пришел к выводу, что лишь эти двое (и еще Флетчер) — единственные нормальные люди из тех, кто меня окружают. Остальные — манекены.

Временами, когда ощущаю их неприязнь, мне становится не по себе. Начинает казаться, что я скуп: к примеру, ни разу не появился в учительской с ритуальной коробкой печенья, да и другого жеста доброй воли к коллегам не потрудился сделать. Не очень-то помогаю им и по части ведения занятий. Словом, взаимное общение минимально; но, с другой стороны, разве в наши дни это не становится общим местом? В Англии больше никто ни с кем не общается. Со студентами это в десять раз легче: они знают, что я имею в виду, и готовы стараться меня понять.

13 октября

В прошлый уик-энд разглядывал в Ли старые фотографии. Дедушек, бабушек, отцов тех, кого почти не помню. Групповые портреты людей, которые давным-давно умерли. Самое тяжелое впечатление (о фотографиях викторианской поры речи нет: они

лежат слишком далеко во времени, чтобы волновать) оставил выцветший снимок членов филбрукского теннисного клуба. На нем м-р Авила, м-р Терл, м-р Марли, м-р Норман, м-р Мам-форд — чуть ли не все отцы города в период, когда мне не было и десяти; и вот никого из них уже нет на свете. Мой отец пережил всех. Просто невыносимо видеть эти лица умерших — и среди них собственного отца. Идем мы с ним в воскресенье утром по Чокуэлл-Бэк, а меня так и подмывает сказать: «Не хочу я, чтоб ты умирал». Но такие вещи вслух не произносят. Во всяком случае, у нас, англичан.

Дафна Тернер. У нас появилась новая преподавательница английского, родом из Дублина. Окончила Тринити-колледж. Похоже, не в восторге она от новых обязанностей, да и от нас тоже.

Не виню ее. Живой восприимчивой ирландской девочке общаться в учительской с нашими грымзами — тоска смертная. По поводу одной радиопрограммы сегодня заметила:

— Ну, дублинцы вовсю разгулялись.

А я ей:

— Не очень-то вы соотечественников жалуете.

И тут она ни с того ни с сего завопила не своим голосом:

— Картоха-шесть-пенсов, картоха-шесть-пенсов!

Взорвалась; видно, достали ее. Не знаю. Угораздило же меня попасться ей под руку. Но все равно: такой она мне еще больше нравится.

Читаю рассказ в женском журнале. Ну и английский! Им пользуются как чашей, из которой сначала причащают, а потом пускают по кругу как ночной горшок.

22 октября

Послал свое резюме на Би-би-си: в новую сетку программ радиовещания требуется помощник продюсера.

Читаю неплохую книгу о Байроне; автор — Л.И. Уильями. Чем ближе к концу, тем сильнее впечатление, что основной чертой его характера был аристократизм — аристократизм в теперешнем смысле слова: снобизм, слепая, нерассуждающая вера в превосходство крови; и еще стиль. Думается, в повседневных бытовых мелочах — по крайней мере в итальянский период — этот стиль не особенно проявлялся. Зато сколько поразительного изящества, сколько безошибочной элегантности во всем, что он говорит. По существу, для Байрона было не столь уж значимо, что происходит в реальной жизни; его вкус проявлялся в том, как он о ней говорил. Отсюда его вызывающая непочтительность к авторитетам; отсюда — и покоряющее совершенство «Дон-Жуана».

В первой главе Уильями дает блестящий анализ различий между двумя характеристическими свойствами — ханжеством и лицемерием. Ханжество — это выражение таких взглядов и мнений, которых заведомо не разделяешь; нечто на ступень выше лицемерия. Лицемерие же — не что иное, как прямое введение в заблуждение. Лицемер делает вид, будто верит во что-то, во что на самом деле не верит. Ханжа — по элементарной лени, а подчас даже из зависти — исповедует то, в чем нисколько не убежден. Иностранцам никак не уразуметь этого свойства английского характера: мы не страна лицемеров, мы — страна ханжей. Мы не просто лжем, говоря о своих взглядах; нам безразлично, в курсе ли наши собеседники, что мы лжем, или нет. Думается, именно этим объясняется английская сдержанность. Наше преимущество в том, что, делая то или иное, мы полагаемся на инстинкт. На каком-то уровне сознаем, что сами не верим в то, что говорим. Но одновременно полагаем, что в пользу такой точки зрения тоже есть аргументы. В конце концов, где-то кем-то может быть доказано, что английский образ жизни — наилучший из возможных. Однако заявить это без обиняков было бы не по-английски. В итоге наряду с ханжеством в чистом виде возникает уйма мнимого ханжества. Мы оказываемся лжецами, не возражающими, чтобы нас почитали таковыми; и тем не менее втайне продолжаем думать, что мы отнюдь не лжецы.

30 октября

Позавчера попыталась покончить с собой студентка из Португалии. Бросила родной дом, порвала со своим избранником — словом, драма. И — абсурдная деталь: приняв сорок таблеток аспирина, проглотила вдобавок шесть шариков нафталина.

Антониони «Le Amiche»[645]. Поначалу (на протяжении двух-трех первых частей) фильм кажется весьма банальным, и нетрудно представить себе не слишком умного (или не слишком чувствительного) человека, который отзовется о нем как о скучном — или пустом. Другие зрители — из числа тех, кто воспитан опытом традиционного левого кино и, следовательно, ждет от автора зубодробительной сатиры, — сочтут его вызывающе двусмысленным. Мне же представляется, что Антониони, по сути, проделывает на экране нечто аналогичное тому, что в свое время проделал Витгенштейн, осуществляя «очищение» философии (и тому, что сегодня можно назвать общепринятым научным подходом)[646]. Иными словами, он совершенно беспристрастно излагает факты. Ничуть не подталкивая к тому, чтобы делать выводы. И главное — не побуждая испытывать жалость или негодование. Ведь если мы их все же испытываем, эти жалость или негодование должны

рождаться в нас самих. Экран тут не союзник. Он просто излагает факты. Не компонует их, не суммирует, не выносит оценок. Не заключает: «Так должно случиться», — а всего-навсего констатирует: «Так случается».

В плане образного решения режиссер «разряжает» сценарий, препятствуя сколь-нибудь сентиментальной подаче событий. Однако этой объективности, этого нейтрального отображения происходящего он достигает по большому счету благодаря камере — точнее, дистанцируя объектив от актера. В фильме почти нет съемок крупным планом. Зато множество отъездов камеры и отходов действующих лиц на задний план. Антониони монтирует длинными кусками. Он в совершенстве освоил способ обращаться с камерой как с отчуждающим и в то же время наблюдающим объектом. Вы вольны взирать на происходящее, но не отождествлять с ним самих себя. Это очень холодный взгляд.

Факты, которые Антониони излагает в «Подругах» и оценки которых он избегает, могут быть оценены извне. Он заявляет, что в духовном плане буржуазное общество потерпело банкротство. Персонажи фильма — избалованная соблазнительная соломенная вдовушка; молоденькая шлюшка из состоятельного круга; одержимая карьерным ростом девица, пренебрегающая голосом собственного пола; самовлюбленный бесталанный художник; преуспевающий архитектор; и даже девушка, которая покончит самоубийством, внутренне выхолощена, опустошена, отнюдь не трагична. Подлинную жизнеспособность в фильме символизирует жена художника: это своего рода мать-земля, отпускающая грехи всем и каждому. Она неизменно готова жертвовать собой. Неизменно старается устроить все к лучшему. Недаром картина завершается ею. Но в том, что вылепленные ею изделия из керамики раскупают американцы, тоже заключен очевидный зловещий смысл.

1 ноября

Миры, в которых мне не хотелось бы жить! те, где самую лучшую поэзию рождают на свет машины.

Антониони «L'Avventuras»[647]. Еще один незаурядный фильм — притом незаурядность его гораздо более очевидна, нежели в «Подругах». Тот же эффект отчуждения достигнут в нем благодаря камере, как и в предыдущем, а также общей галлюцинативной атмосфере, пронизывающей сюжет и среду произведения. Полагаю, автор вправе заявить, что этот фильм ничего не означает. Он представляет собой сознательную попытку оперировать символами, абстрагированными от смысла (и в этом плане аналогичную абстрактному искусству). Этот фильм допускает десяток возможных толкований. Исчезающая девушка

могла бы символизировать верность, архитектор — современного мужчину. Клаудиа — некую туманную идею вроде любви, прощения; и так далее. Несомненными мне представляются две вещи. Первая: в замысел автора фильма входило добиться создания максимально свободного от всякого рода напластований ощущения таинственности, создать, если можно так выразиться, дистиллят тайны; и второе — аналогичным образом выкристаллизовать материю романтической любви. Весь фильм пронизывает атмосфера мифа о Тристане и Изольде: атмосфера вины и необоримой страсти, утраты и предательства (атмосфера, по сути, глубоко кельтская)[648]. Единственно важное, что есть в жизни, провозглашает «Приключение», — это романтическая любовь. Все иные любовные связи в фильме неизбежно подвержены ошибкам, компромиссам и увяданию; иначе и быть не может, поскольку длиться может только романтическая любовь, любая же другая — спуск по лестнице, порочная слабость. Архитектор изменит своей возлюбленной — изменит почти сразу же после того, как они соединятся в собственном лесу Моруа[649] — сицилийской деревне; и зритель волен сделать вывод, что современному человеку не дано открыть в себе Тристана. Складывается впечатление, что Антониони откровенно презирает своего Тристана. Ведь Сандро уже сделал Анну (девушку, которая исчезает) несчастной, да и в профессиональном плане он небезупречен. Остров же, судя по всему, призван воплотить нынешние условия человеческого существования: любовь, обреченную на бесплодие, ибо за ней не лежит ничего, кроме секса. А исчезновение — не что иное, как некий шанс, посредством которого Клаудиа и архитектор могли бы обрести — но не обретают — спасение.

Все главные герои фильма богаты, близки к аристократическому кругу — и это вполне традиционно для персонажей трагедии. Разумеется, Антониони отнюдь не стремился к созданию трагедии: ныне на повестке дня — внутренняя противоречивость человеческой натуры. А противоречивость, как и трагический конфликт, исходит из того, что личность незаурядна. Такую незаурядность едва ли обнаружишь среди простых бедняков. Можно также предположить, что персонажи А. символизируют нынешний материалистичный мир, в котором в изобилии все, за вычетом духовных ценностей.

Самое странное: этот фильм ввел нас обоих, Э. и меня, в состояние депрессии. Конечно, в каком-то смысле мы пережили нечто сходное (странно, это пришло мне в голову только сейчас, спустя сутки). Страсть, чувство вины, средиземноморский пейзаж,

масса денег. Все так ярко, контрастно. А потом вдруг томительная монотонность повседневности с размаху ударяет по лицу. Полное отсутствие avventura. Конечно, нам обоим ведомо, что пытаться воскресить восторг впервые вспыхнувшей страсти тщетно. Он невозвратим. И все же в ходе совместной жизни нам удалось опровергнуть идею фильма (ту, что мужчине и женщине наших дней не дано въяве прожить историю Тристана и Изольды); если, конечно, идея фильма действительно так пессимистична, как мне представляется. Ведь ее можно было бы прочитать и иначе: в том смысле, что романтическая любовь так сильна, что может перешагнуть через любую измену, и что в самой природе романтических влюбленных заложено стремление бежать от нее — либо попытавшись обрести мужчину или женщину, каковые воскресили бы избранников в их памяти такими, какими он или она были *в момент их первой любовной ночи,* — либо попытавшись свести на нет романтическую привязанность, снизойдя до чего-то гораздо более прозаичного: секса, неверности, цинизма и тому подобного. Последнее не имеет ничего общего со святотатством: ведь никто не верит в существование Бога с таким исступлением, как святотатец.

21 ноября

«La Dolce Vita»[650]. Фильм, разумеется, интригующе скандальный. Но в то же время и несколько внешний. Чем-то напоминающий почерк «Дейли экспресс»: восхищаясь искусством подачи, ужасаешься убожеству содержания. Влюбиться в то, что любишь, — здесь что-то не вяжется. И наконец Феллини снижает эффект финала заключительным кадром — радостной улыбкой молоденькой боттичеллиевской девочки в камеру; все равно что в бокал сухого мартини бросить кусок сахара[651]. «Приключение» в десять раз лучше.

22 ноября

Судный день для Э. В 9.30 выехали в клинику; она находится в районе Энджел на Ливерпуль-роуд. Обстановка казенная: все практично, старомодно, без излишеств; в приемной на стенах местами облупилась краска; только безукоризненная чистота не позволяет спутать ее с заброшенным помещением. Но палата у нее на редкость спокойная, чем-то напоминающая сцену: окрашенная в бледно-голубое огромная комната с высоким потолком, своего рода гигантский аквариум, на дне которого, подобно обитателям тропического моря, копошатся лежащие и сидящие на вытянувшихся в два ряда кроватях женщины в розовом, голубом и белом. А пришедшие к ним посетители — форменные темные мидии, крабы мерзкого вида. Кажущиеся здесь совершенно неуместными. Ни дать ни взять — полный рыбы

садок или птичник.

Я опять зашел проведать ее вечером. Э. полностью вписалась в атмосферу; за стенами аквариума словно ничего не существует. У большинства находящихся здесь женщин гистерэктомия, фибромы. Одной уже девяносто один год, она беспрерывно стонет:

— Господи, Господи, дай мне умереть!

23 ноября

Операция назначена на завтра. Выравнивание матки и сальпингостомия. Хирург — мисс Мур. С толпой студентов бесцеремонно вломилась в палату. У Э. «прекрасное здоровое тело, как видите… Наверное, оперировать начнем отсюда». Фаллопиева труба? «Ну, завтра увидим всю картину». Похоже, тебя вот-вот подвесят за ноги. Разрез может быть передний, боковой…

Э. смеется, она возбуждена. «Как интересно все тут поставлено». Похоже, я напуган больше ее. В клинике витает дух конвейера. Человеческое тело как шестеренка. Ненавижу профессиональный жаргон докторов.

Сестра позволила мне ненадолго заскочить вечером. Тайком: по правилам вечерние посещения запрещены. И вот мы сидим, затаившись за занавесками, будто в ложе на стадионе. В визитах в больницу есть что-то безнадежно тягостное. Приходится притворяться кем-то другим, говорить то, чего не думаешь. Вошла бледная молодая сиделка и пробормотала что-то, чего я через занавеску не разобрал. Похоже, раз она здесь, мне пора ретироваться. Мы с Э. трижды облобызались (эти дни усыпаны суевериями, как колючками), а сказать нечего: Боже упаси усомниться в исходе завтрашнего дня. «Все будет хорошо».

Реабилитационный период в клинике займет не меньше двух недель. А это означает, что жизнь наша потечет по другому руслу. Перемена курса. Противник делает ход; последствия дадут себя знать. Это, разумеется, не важно. Даже приятно, особенно для Э. Слом опостылевшей рутины.

Мне не нравится смерть, когда она так близко и я не могу ничего сделать. Машинально считаю ступеньки: если доберусь до того пролета, пока не тикнет минутная стрелка, все обойдется. По обыкновению, перебираю в голове все выходы из положения: запасные, наихудшие. А вдруг меня самого паралич хватит: вот будет дьявольская шутка судьбы.

Воображая худшее, не принимаешь в расчет, что в этом занятии две стороны: с одной, похоже, изгоняешь бесов, с другой — искушаешь трех зловещих сестер.

Обитаю на кухне, стараюсь делать все как обычно, никак не

могу заставить себя пустить в ход свои кулинарные познания. Квартира слишком велика для одного; по существу, хватило бы комнаты.

24 ноября

Весь день чувствую себя отвратительно; симпатические боли. В 10.30 позвонила Э. (пришлось попросить Сьюэлла выйти из кабинета, но разговаривали мы, будто в комнате есть еще кто-то). Мертвое дело эти разговоры в предоперационный период. Обедал с Флетчером; не слышал ни слова из того, что он говорил. Сам не зная зачем, спустился в библиотеку, потом зашел в польский магазин подержанных вещей и купил несколько старых пластинок, потом не утерпел и выдал звонок в клинику; медсестра, казалось, была удивлена, что я волнуюсь.

— Да, все хорошо. Состояние удовлетворительное. Ее увезли из операционной.

Затем заглянул в небольшую закусочную на Уэст-Энд-лейн, оттуда домой, отправив открытки в Бирмингем и Ли. В один присест проглотил «Ценой потери» Грина — просто оттого, что с души спала тяжесть; позади еще один крутой поворот.

Дж. У. Л. Был у него днем, когда Э. находилась в операционной. Сказал, что слишком уж он деликатничает с подчиненными. Забавно, когда доводится запанибрата разговаривать с собственным боссом. Ну, он, конечно, зарделся от смущения. И от желания во что бы то ни стало нравиться всем на свете. В любом богаче есть что-то от Макмиллана, готовое вырваться наружу. «Ценой потери». Разумеется, читается с большим интересом, как и весь Грин. Можно только гадать, как в 2061 году критики будут ломать себе голову над секретом такой увлекательности. Есть писатели, которые после смерти на редкость быстро иссякают (Бульвер-Литтон). Мне же книга в целом представляется слишком короткой, слишком беглой. Иные диалоги чересчур ускорены, производя впечатление дилетантских. Действие развивается слишком стремительно, чтобы казаться правдоподобным. Будто Грину не так уж интересно, как формулируются его идеи и какой момент оптимален, чтобы их высказывать. Есть и персонажи, в убедительность обрисовки которых трудно поверить. Но, конечно, она в десять раз лучше, нежели большинство теперешних книг; неудачной ее можно счесть, лишь беря за точку отсчета «Сердце тьмы».

Основной дефект произведений Грина — чрезмерная отшлифованность. Страсть к минимализму. Места, где он чуть небрежен, бросаются в глаза, как грязные ковры или пыль в гостиной у помешанной на чистоплотности домохозяйки из

предместья. «Ценой потери» — скетч, не роман.

28 ноября

Дважды навещал Элиз. Вчера (в воскресенье) представлял себе, как она, мертвенно-бледная, лежит на спине. А она выглядит, будто побывала в санатории. Заспанная. Испытывает трудности с дыханием, томится и обводит глазами палату, словно очнулась в плохом фильме и ни минутой больше не намерена задерживаться в этих стенах. Поначалу чувство облегчения, а уже спустя миг — чувство горечи от того, что операция, судя по всему, не принесла результатов: фаллопиевы трубы слишком инцистированы, сделать их проходимыми не представляется возможным. Лечащий врач сказал ей, что шанс есть («такое бывает»), но вполне вероятно, что это присыпанная сахарной пудрой горькая правда. Ничего не скажешь наверняка. Я весь день не мог ничего делать. Пришли рабочие чинить крышу, за ними другие — устанавливать газовую плиту. Быт, писание — все вокруг кажется нереальным, все, за вычетом одного: спуститься в метро и выйти наружу в районе Энджел. Много читаю, глушу себя книгами, как наркотиком. Вышел купить что-нибудь в подарок и не нашел ничего, что понравилось бы мне самому или Элиз: разве что шкатулочка из Баттерси в дюйм длиной («Пусть Дар и мал: его Любимый дал») за десять гиней. Уже почти купил ее, потом раздумал; потом решился — и опять передумал. Дамоклов меч уже упал, а деньги, и еще нерешительность, по-прежнему висят надо мной тяжелым грузом.

Вернулся в Хэмпстед и отправился в приходскую церковь послушать кантату Бриттена «Святой Николай» под управлением Питера Пирса. Под сводами своего нарядного бело-золотого и розово-голубого храма собрались все сливки общества Хэмпстеда: либералы и интеллектуалы. Бриттен доставил мне наслаждение; за пюпитром — Пирс, а между рядами — три маленьких хориста в красном, трогательно возглашавшие возносящееся вверх «Аллилуйя».

Потом вернулся домой, выпил слишком много виски и принялся писать разным адресатам письма: неанглийские, слишком откровенные (что за неволя быть англичанином!) — которые утром изорвал в клочки.

Когда вошел сегодня в палату, она была в слезах — из-за того, что я запоздал на несколько минут. Потом успокоилась. Ей все еще трудно дышать. К чаю ей подали хлеб с медом, а я съел маленький розовый кекс. Утром, как выяснилось, была церковная служба, и, похоже, какой-то проповедник убеждал пациенток клиники в том, что все они грешницы, у всех нечистые помыслы. Впору только рассмеяться. И это — об умирающих старухах,

жертвах гистерэктомии, сальпингостомии и Э. с ее неизлечимым бесплодием.

Вечером заставил себя собраться, навел порядок на кухне и в большой комнате. В ней я могу писать; может быть, мне, как Гайдну, необходимы свеженакрахмаленные манжеты.

Без десяти час заглянул Дж. У. Л.: намеревался пригласить меня обедать. Попал не вовремя. Опасливо огляделся вокруг, потоптался, лихорадочно стараясь придумать, что сказать. Не может ли он чем-нибудь помочь? Добрый, несуразный человечек. Я несколько раз повторил: «Очень мило, очень мило с вашей стороны, но…» Сказал: «мило», а не «любезно». Так отвечают женщинам. Но он, похоже, не обратил внимания.

31 ноября

В хирургическом заключении сказано: «Практически безнадежно».

Перечитываю стихи. Некоторые из них начисто забыл, даже одно хорошее, написанное совсем недавно, в минувшем октябре. Увидеть их снова буквально потрясение. С чего бы так?

Все эти дни голова отказывается работать. Я не в силах думать; меня словно начисто изолировали от собственного внутреннего мира.

2 декабря

Болезнь современных поэтов — некая напускная скромность. «Мы знаем свое место, мы глаз не поднимаем». Вот и пишут грамотные стишки о ничего не значащих происшествиях. Стихи добросовестных ремесленников. Будто ремесло поэта ничем не отличается от ремесла гончара или краснодеревщика. Единственно, в чем они схожи, — это в том, что то и другое доставляет удовольствие.

4 декабря

Элиз гораздо лучше. Даже выглядит до смешного хорошо. Сегодня ей сняли последние швы. Странное это было время. Казалось, все эти дни я просто существовал, на большее меня не хватало. Встал с постели абсолютно невыспавшимся, а на часах уже 12.30. Что ни день, набегает десяток «важных» дел, а сделать успеваю только половину. Несколько дней подряд злился на свою судьбу, но что проку ополчаться на непредвиденное, особенно когда веришь в случайность как в принцип мироустройства. По-моему, в глубине души дети мне безразличны. Сама идея: дом в деревне, детская, голоса в саду, вся эта солнечная картинка с детьми — безусловно, привлекательна. Иное дело — реальность. Пожалуй, можно даже вздохнуть с облегчением. И со странным чувством, что вот появилось еще что-то, что надо затаить в душе, нечто наподобие надолго законсервированного casus belli (если

таковой вообще требуется), который можно предъявить уделу человеческому. Возникает повод, чтобы тебя жалели. Даже в каком-то смысле отличие. Моя философия работает хорошо, порой устрашающе хорошо.

Моя ненависть к толпам, кричащая заурядность толп, банальность всего en masse[652]. Не поэтому ли я люблю малоизвестные книги? Не в силу ли стремления скрыться от переполненного мира?

8 декабря

Сегодня Элиз выписалась из клиники.

Перечитываю свои стихи, рассортированные на две стопки: хорошие и похуже. Такой способ классификации никуда не годится; надо разложить их иначе. Сортировка стихов — нечто вроде профессиональной болезни. Есть в этом что-то мелочное. Существует только один род стихов — хорошие.

14 декабря

Прекрасные морозные дни. Закатное небо затянуто розоватым янтарем; на таком фоне все земное отдает густой поблескивающей чернотой — нет, темно-темно-серым с переходом в черное. (В Ли.) Церковь, кедры, толпы людей на Бродвее и томно колышущийся в такт мелодии духовой оркестр Армии спасения. Великолепное зрелище. В такие часы поразительно ярко светятся неоновые вывески; они — такая же неотъемлемая примета середины двадцатого века, как газовые фонари — середины девятнадцатого. Думаю, к середине двадцать первого приметой каждой обитаемой улицы будет постоянное дневное освещение. Несчастные глупцы!

20 декабря

«Убийство миссис Уир» (1824). Прекрасный образчик местного колорита. Безоблачная старая Англия времен Трафальгара оборачивается мрачноватым профилем. Ничто не воскрешает прошлое так живо, как эти дословные стенограммы судебных заседаний. Когда читаешь их, действующие лица не то чтобы появляются в комнате, а словно стоят за дверьми. На этой копии — автограф судьи, превосходного судьи; каждый его приговор, каждая складка бровей, каждая ухмылка напоминают мне о достопочтенном м-ре Заксе. Это столь английское непоколебимое и почти тщеславное стремление быть справедливым («никто не заставит изменить духу правосудия; правосудие — оплот нации»); и стопроцентно английская неизменная компетентность судей (выгодно оттеняемая столь же неизменной глупостью адвокатов). Есть что-то божественное в этой традиции; если бы Бог существовал, он наверняка изъяснялся бы языком достопочтенного мистера Закса.

Эту книжку я прикончил за пару вечеров — будто в космос слетал. Цена: 15 шиллингов.

Письмо Элиз

Вторник, 18 декабря

Мой мальчик!

Положила блокнот на одну из твоих книг. «Ночные птицы». Тех же авторов, что написали «Дневных птиц».

Лежу под одеялом — прилегла на часок.

Вчерашнее утро — морозное, бодрящее, солнечное. Гуляла с О. Рука об руку прошлись по его любимым магазинам. В каждом немного поболтали. Винный — особый случай. Делали заказ на Рождество. Я присела. Джентльмен лет сорока пяти в твидовом костюме вошел и улыбнулся мне. Славно прогулялись.

Наутро проснулась от страшного шума внизу. Оказывается, доставили заказ из винного магазина: *перепутали все па свете*. Ну он и разошелся. Грозился «задать им по первое число». Уже собрался идти. В этот момент появляется Мэгги. Собака лает, стиральная машина шумит, «Здравствуйте», — слышится голос твоей М. А я сижу в постели, ем твои груши. Опять появляется О., уже почти успокоился, как ни в чем не бывало приглашает Мэгги пройтись. Не успел его гнев утихнуть, твоя мать берет в руки вожжи. «Роб, — вопит она, — прежде чем выйдешь, пол подмети». И он опять, как ребенок, делает, что ему скажут. В результате Мэгги уходит одна. Где-то через час спускаюсь вниз. Вижу его: бодрый и веселый. Здоровается. «Только что был в винном магазине, задал им на орехи. Чудесный день сегодня». Обо мне не беспокойтесь, говорю, со мной все нормально. На самом деле вру. Жутко устаю, делать не могу ничего. И вдруг меня осеняет. Господи, я же сама на себя злюсь. Мне страшно и одиноко. Столько пережила. Хочется встать на четвереньки и выть как побитой собаке.

Приготовила подарки им в Бирмингем, как я ненавижу их в Бирмингеме.

Это они во всем виноваты, не я.

Еле-еле хожу не говорю ни слова, будто вот-вот умру. «И все же хорошо, что ты приготовила им подарки», — замечает твоя М.

Вечера — лучше не придумаешь. После ужина пьем кофе у камина в столовой. Все трое разваливаемся в этих

дурацких креслах. Три пары ног соревнуются за место перед очагом. М. тараторит без умолку. О. слушает и изредка вставляет пару слов. Она излагает Историю семейства — свою или еще чью-то. Постепенно расходится. Сыплет ничего не значащими словами. И не успокаивается, пока не кончит: кто-то родился, женился, умер, опять женился. И так — из поколения в поколение, одно и то же. Будто диктует рецепт. Так что же, жизнь — тесто для пирога? Чувствую, мне промыли мозги.

Сегодня вечером — то же самое. Не проходит и часа, а меня уже тянет в постель. Чувствую, как меня затягивает в омут, который она наворожила своим языком.

По-моему, именно при мне она дает ему волю. Я заметила, с О. она помалкивает, а с Хейзел говорит поменьше.

Без тебя здесь все не так: даже выразить не могу, какая тут атмосфера. А может, все дело во мне. Чувствую себя по-идиотски.

Не самое подходящее время я выбрала, чтобы тебе писать. Ты не мерзнешь? Ешь и спишь нормально? Наверное, делаешь что-нибудь полезное. Что и где? Что до меня, похоже, я занимаюсь всем, в чем нет никакой нужды. Позволяю вовлечь себя в разговоры о том, как живут другие. До тошноты перемалываем, что сказала обо мне Тотс[653], и еще — о том, работать мне или нет. Я просто при этом присутствую, мне абсолютно безразлично, обо мне речь или еще о ком-то. Слова, слова. Бесконечные слова. И все же они на меня физически действуют, ранят, от них саднит. Сегодня вечером — никакого телевизора. Только бумага шуршит, в которую завертывают подарки. Никчемные подарки для никчемных людей. А твой О. молча и беспомощно сидит с нами, не читает, не помогает, не идет смотреть телевизор, не пошлет все к черту. Жаль мне его. Вчера вечером мы оба вперились в экран. Мировые проблемы, события (твоя М. все время на кухне), репортажи — не хуже, чем в газетах, но требуют меньших усилий. Телевизор — вот с ним действительно здорово. Ему я по-настоящему признательна.

Ничего не читаю. Честно — совершенно нет времени, да и возможности.

По-моему, уже час. Легла еще до двенадцати, нужно спать. Завтра еще день. Пожалуйста, приезжай поскорее

и приведи меня в чувство. Я что — инопланетянка или вроде того?

Среда. Вышла на воздух, сижу в кафе, которое ты назвал ПРОСТОРНЫМ. А вот и нет. Тут чадом пахнет. Отсылаю письмо как есть.

Думаю, доживу до твоего приезда. На самом деле со мной все в порядке.

С любовью от меня

29 декабря

В Ли Элиз поселилась с 16-го, и письмо, которое она мне прислала, красноречиво показывает, что такое жизнь в шестьдесят три года и как она влияет на нас (и на любого другого нормального человека). Фигурирующее в письме чудовище — моя мать, чье вечное неприятие внутреннего мира любого (не считая ее собственного — бесконечно узкого) становится все ожесточеннее. Бедняга О. придерживается позиции respectez-la-mère[654] («Она не поймет, если сделают не по-ее», — но говорит, не делая ударения на «она» или «по-ее», лишь мрачно покачивая головой.) Впрочем, Элиз замечает, что бывают дни, когда они огрызаются друг на друга. М. — клинический случай. Готовит она, по-моему, все лучше и лучше, делает все больше и больше, и подчас я вижу, как ее накрывает злое облако мелочных забот и тревог. Иными словами, она и впрямь искренне переживает, что кому-то может не хватить еды; думает, что тот или иной пустяк непременно требуется в энный раз обсудить. Ну уж слишком часто ее заботливость приобретает злонамеренный характер. Ей хочется разорвать все связи с внешним миром.

Есть у ее монологов излюбленные темы. Алкоголь, особенно в связи с моим отцом. Искусство: она регулярно посылает открытку своему учителю рисования (тому, что с вечерних курсов) и подписывает ее: «Миссис Пикассо». И мой отец: при каждом удобном случае она над ним подсмеивается.

Ничего не скажешь, его разглагольствования нелепы. Выпады против мира больших денег, лейбористов и всего, от чего стоимость его драгоценных акций может покатиться вниз. Его мир — мир оставшегося в прошлом круга кадровых военных, «Опекунство над барсуками»[655] Найджела Денниса. В Ли невероятно тоскуют по орденам, регалиям, возможности пройтись по улице в парадной форме. И у кого поднимется рука винить его жителей? Они скучены в этом вонючем городке с серыми улицами, застроенными серыми домами, полными серых людей, и потихоньку вымирают; даже молодежь здесь не обнаруживает никаких признаков молодости. Из нее созревают юные

консерваторы. Одна из них — Хейзел. На самом деле безмозглая. Веселая, доброжелательная, но безмозглая. Чуждая культуры.

В этот приезд я приобрел тут несколько хороших изделий из фарфора. Вот еще одна тема привычных маминых шуток. Подчас мне кажется, она жалеет, что внешне я не в О.; однако поскольку в моих жилах течет и кровь Ричардсов, у нее язык не поворачивается вышучивать меня так, как бы ей втайне того ни хотелось.

Фарфор — единственное, что делает Ли терпимым. В городе есть три-четыре магазинчика, где еще можно по дешевке (по лондонским меркам) купить кое-что из фарфора довикторианского периода; увидеть же в этих лавках что-нибудь действительно замечательное не легче, чем заприметить цветок в пустыне. Сильнее всего я испытал это чувство, увидев в витрине разбитый и склеенный бокал XVIII века с синим донышком и нанесенными эмалью цветочками и фигурками по краям (возможно, вывезенный с Востока, но, не исключено, изготовленный в Плимуте или Бристоле). Вещь, над которой работали с тщанием и любовью. Красивую. Носящую на себе отпечаток человеческого гения. В Ли мне особенно претит *второсортностъ жизни*, заурядность воцарившихся в каждом доме норм, неприятие всего, что не исходит от Ли и не отвечает местным понятиям.

Фарфор и природа. С оживленного в Рождество местного Бродвея мы с Элиз свернули в церковный дворик, просвечивающий сквозь черные безлистные ветви вязов жемчужно-серым и янтарно-розовым, и холодно синеющий в семи милях по ту сторону вечернего залива сизый Кент. Было пронизывающе холодно. Отделенные от толпы зданием старой церкви, мы стояли, глядя на реку: такие же потусторонние (и в то же время — принадлежащие этому миру), как пришельцы на картине Ватто «Прибытие на Киферу», только на зимнем фоне.

А на третий день Рождества двинулись по Саутенд-Хай-стрит к морю, очень тихому и холодному, неслышно перекатывавшему гальку. Несколько обрывков огненно-золотого облака повисли над серо-голубым горизонтом реки на закате. Стая казарок пролетела над пирсом. И какая-то болотная птица, которую я не смог опознать, приземлилась у наших ног, затем, как кулик, взмыла в воздух и вновь беззвучно опустилась. В этом Богом забытом местечке есть чем полюбоваться; надо только оставаться абсолютно чуждым ему. Элиз и мне удастся это сделать, просто переехав с Филбрук-авеню. Но в шестьдесят три года с места не снимешься. На тебя давит целый город бездарно прожитых жизней.

И вот мы лежим в постели, нагишом, страшась любого скрипа проклятой кровати и пола.

Бэзил Гловер[656]; на прошлой неделе фондовая биржа объявила его фирму банкротом. Ветхозаветная радость О. Не так давно дядя С.[657] вложил в это предприятие 750 фунтов.

— Ему очень повезет, если он хоть когда-нибудь их увидит.

Я возразил, что фондовая биржа располагает набором компенсационных средств и никогда не допускает разорения инвесторов.

— Если их потери и впрямь таковы, как они говорят, — замечает О., — то, помяни мое слово, в этом замешаны банки.

Финансовые просчеты восхищают его не меньше, чем меня плохой английский или неверная логика. Бедняга Бэзил Г. зашел к нам пропустить стаканчик и опять попал под удар (на этот раз словесный) О.

— Наберитесь терпения. Об этом долго будут помнить.

— Мне уже предложили два места работы, — говорит Б.

— Об этом долго будут помнить, — повторяет О.

Б. Г. — типичный обитатель Ли: окончил самую паршивую из частных школ, в войну дослужился до капитана, этакий рубаха-парень, вышедший из недр сословного менталитета. До тошноты пустопорожний, как надетая на руку кукла-перчатка. К тому же безмозглый, абсолютно бескультурный. Жалкая, ничтожная пешка в крысиной гонке большого бизнеса. Один из тех, кто в Первую мировую миллионами гибли по милости посылавших их на смерть тупых генералов — в точности таких же Бэзилов Гловеров, только с красными лычками на мундирах и в медных касках. Кстати, отец Б. Г. действительно погиб в ту войну, так что не исключено, что над их родом все еще тяготеет проклятие. Только воплощающееся не в подсознательной жажде смерти, а в не менее сильном стремлении быть пешкой.

Ну вот. Я еще раз попытался разобраться в природе своих чувств. На треть это чувство вины (в свою очередь, наполовину обусловленное ощущением стыда от того, что я не тот сын, какого им хотелось бы иметь: богатый, с машиной, знаменитый, продолжающий род; и наполовину — ощущением, что они не те родители, которых мне хотелось бы видеть. Первое и второе нерасторжимо связаны: будь я тем сыном, о котором они мечтали, я смог бы, вероятно, принимать их как должное — то есть как смешных пожилых детей, коими они и являются). Еще на треть — чистое раздражение несносной болтливостью моей матери и до тошноты демонстративным — как инициированная мэрией публичная церемония — консерватизмом О. А еще на треть — любовь.

* * *

Ювенал. Еще один человек, победивший свое время[658]. Высокий, суровый, настоящий (не в пример тем, кого он бичует) стоик; Марциал же, напротив, низкорос л и вертляв. Два типа сатириков. Тип Вуатюра — Вольтера — маленькие, острые на язык; самые крупные из них — Вольтер, Марциал — не чужды сердечной боли, но она глубоко затаена. И тип Ювенала — Джонсона: эти более величественны, более серьезны, не столь подвижны, не столь язвительны, но их стрелы ранят сильнее, ибо летят от людей, внешне менее предубежденных.

Одна особенность, которая мне импонирует в Ювенале («импонирует»? Вернее, «вызывает сочувствие»): его привязанность к городу, который он ненавидит. Ощущение «odi et amo»[659]. Такое же чувство я испытываю к современной Англии. Столь многое в ней презираю и в то же время так глубоко к ней привязан, что не допускаю и мысли о том, чтобы покинуть ее — во всяком случае, навсегда.

30 декабря

Почему все великие сатирики — консерваторы? Само собой, их не уподобишь краснолицым реакционерам из Баллингдонского клуба[660], но они вечно апеллируют к былым добродетелям: Ювенал и Марциал оглядываются на Республику. Что мешает им обратиться мыслью вперед, к эпохе более благоприятной? Возможно, сатира — своего рода патриархальный жанр: сатирик принимает на себя бремя общего греха, он ненавидит свое время, и эта ненависть застит ему глаза; ныне таких слишком много.

Пенелопа Мортимер «Воскресный обед с Браунингами». Отличный пример преобладающей в середине века манеры письма. Абсолютная чистота языка; строгая функциональность. Короткие фразы, тщательный отбор нефункциональных слов (существительных, прилагательных, глаголов). И — глаз камеры, полное самоустранение художника с холста. Ни сердца, ни индивидуальности: creator absconditus[661].

* * *

Рассказ Элиз о пережитых ею испытаниях:

Проснувшись, удивляюсь, что не лежу без движения, не смея пошевелиться от страха. Накануне я была как натянутый лук: не подавала вида, но была готова в любой момент распрямиться и

сорваться. Не исключено, напоминала себе, что завтра в операционную пойду не своими ногами, а меня повезут — повезут куда-то на каталке, как тюфяк. Ничего, так и должно быть. Где-то в середине ночи невидимый механизм заработал, как в таких ситуациях и положено. Большая часть моего существа отключена; с этого момента все происходящее будет регистрироваться на табло, а мне, то есть важнейшей части моего «я», доверено считывать показания. Итак, констатирую проезд на метро, затем в такси, даже толику внимания к новым районам Лондона. Ворота, приемный покой, передача сопутствующих поступлению бумаг. И вдруг ток отключается, правда, очень ненадолго. Собранно, не давая себе расслабиться, прохожу все детали оформления, Дж. уходит, все показания пока как нельзя лучше. Сижу жду. Замечаю: они вот-вот пустят в ход свои мерзкие медицинские инструменты. Начнут копаться и что-то нащупывать в самом центре моего существа. Чувствую: сейчас мне впору взять и рассмеяться прямо в лицо Д.Г. Лоуренсу, с нелепой претенциозностью описывавшему так называемую «пытку» медосмотра призывной комиссии. Спешно прерываю эту линию размышлений: расслабляться нельзя, ток и вправду перестанет течь, стоит лишь позволить одержать над собой верх досужим ассоциациям.

Возвращаюсь на землю: рядом со мной сидит еще одна женщина, мы обе ждем, чтобы нас разместили на ночь. Прошло не меньше часа; нам принесли кофе. Вяжу; десять раз улыбнулась в ответ на улыбки медсестер, снующих взад и вперед по палате, обслуживая лежачих больных. Ох уж эти лежачие. Я не одна из них. В конце концов делаю то, чего давала себе зарок никогда не делать: вступаю в разговор с незнакомкой. Осведомляюсь:

— Как вы думаете, успеют они нас разместить до ночи?

С этого момента все меняется: мы пускаемся друг с другом в нормальную беседу живых людей, мы чувствуем себя чужими в этом мире недужных. Касаемся всех тем, как нельзя более отдаленных от мук и страданий. Обнаруживаем между собой массу точек соприкосновения. Обедаем, сидя за столом, холодно поглядывая на жалкие фигурки в кроватях. Раздражаемся, когда нас прерывают разного рода приготовления к замкнутому больничному существованию. Нудные расспросы докторов, студентов-медиков, анализ крови. Наконец для нас находят постели, но мы тут же выбираемся из них и продолжаем сидя разговаривать — разговаривать, будто вся наша жизнь кончится, едва прервется беседа.

Так прошел первый день. Второй прошел так же, не считая того, что моя соседка начала клясть больничный персонал за то, что уже пошел процесс размягчения мозгов пациентов. Мы

дольше пролежали в постелях. Как, собственно, и должны были. Все вокруг ощутимо меняло очертания.

На второй день я начинаю контактировать с обитателями. Постепенно включаюсь в ритм жизни палаты; чувствую, что во мне еще жив дух ретивого добровольца ЖВК ВВФ[662]. Говорю с десятком пациенток. Похоже, меня начинают принимать как свою. На полдня оставляю без внимания вчерашнюю свою подругу; она притащила с собой целую библиотечку детективных романов и без устали поглощает один за другим. По-моему, она втайне презирает мою способность «сближаться» с окружением. Ее зовут Перселл; завидую этому имени. Мне не нравится ее акцент; думаю, пора бы уж ей от него избавиться. Она родом из Ньюкасла и уже вечность живет в Лондоне; вообще говоря, в ее облике нет ничего провинциального. Все остальные в палате — безнадежно приземленные женщины. До крайности глупые, абсолютно не представляющие, что с ними происходит или уже произошло. Но по большей части такие веселые и доброжелательные, что я тянусь к ним за поддержкой. Те, кто после операции, — чистый кладезь информации о том, чего ждать, как себя вести, что самое невыносимое и когда это невыносимое проходит. Послушать их, так все это в порядке вещей и каждому через это придется пройти, ничего не попишешь. Их настроение заражает, я узнаю в нем что-то определенно сходное с моим собственным, давно забытым, из времен ЖВК, но не важно: главное — оно срабатывает. Стараюсь помогать сиделкам. Они считают, что я — своя в доску. У них складывается впечатление, что больничный порядок вещей для меня чуть ли не вторая натура; по крайней мере мне так кажется. Время от времени чувствую, что в выстроенном мной невозмутимо-благополучном фасаде проглядывают трещины. Особенно когда принимаются стонать и плакать молодая круглолицая негритянка или дряхлая старушонка мисс Лоример — гувернантка девяносто одного года; у нее вырезали все пораженные раком внутренности. Слишком уж близко я лежу от мисс Лоример, чтобы сохранять спокойствие. От молитв, с которыми она обращается к Богу, меня всю выворачивает. Вот в девять тридцать нас укладывают спать, я льщу себя надеждой, что высплюсь как следует; недаром же мне дали снотворное. И тут с ее стороны вновь и вновь доносится: «Господи, дай мне умереть». И это не стон впавшей в маразм неграмотной старухи. Нет, ее голос — голос культурного человека, в ней еще живо сознание, поддерживающее невыносимо страждущее тело. За что? За что? Кто допускает этот ужас? Ужас существования, принудительно длящегося существования. Словно в этом одряхлевшем теле

сосредоточен ужас существования каждой из нас, запертых в палатных стенах.

Просыпаюсь в день «Ч». Прооперированные доброхотки советуют нам доесть завтрак до последней крошки: ведь в этот день кормить нас больше не будут. Есть в этом что-то пугающее. Едва удерживаюсь от того, чтобы заявить им, что есть в пять часов утра яичницу с беконом превыше моих сил, пусть даже это последняя трапеза в моей жизни. После завтрака шестерым из нас, готовящимся к операции, предстоит принять ванну. Следуем в ванную пара за парой. Моются здесь по двое в комнате; благопристойности ради между ними протянута занавеска. Весело предлагаю своей позавчерашней подруге отправиться туда вместе. Но, похоже, что-то в нашем плане дает сбой. Оказываюсь последней — в компании семидесятипятилетней женщины. Внезапно чувствую себя рядом с ней спокойной и защищенной. Она — простая и незлобивая старушка; помывшись, присаживаюсь к ней на кровать и вступаю с ней в разговор. Тихая, растерянная, она и понятия не имеет о больничном распорядке. По другую сторону от нее лежит только что поступившая женщина восьмидесяти шести лет. Я делюсь с ней своим апельсином и выслушиваю ее историю. Добрый старый воробышек, уборщица из Ист-Энда. Просидев между ними час с лишним, совершенно забываю о себе; меня без остатка поглощает их полное тяжкой работы существование; буквально растворяюсь в нем и его проблемах. Чувствую к ним лишь жалость и симпатию. Отделившись от них, вернувшись на свое место, ощущаю себя неувереннее. Теперь меня волнует очередность. Кого будут оперировать первой? Сестры не знают. Вот пришли выслушивать сердца и легкие. Меня записывают на рентген. Предвижу: меня оставят на потом. Решат, что мои легкие недостаточно чистые. Меня спешно облачают в операционный халат. Похоже, их не удовлетворяет первый снимок; делают еще один. Ну вот, так я и думала, проносится в голове. Но нет: второй показывает, что все в норме. Возвращаюсь и снова нервничаю из-за очередности. Замечаю, что сестра с сиделкой выверяют какие-то имена на листке бумаге; когда они удаляются, не спеша подхожу к столу и заглядываю в список. Загибаю пальцы и про себя повторяю номера и фамилии, словно это выигрышные числа в лотерее. Я под номером третьим. Мадам Перселл все еще погружена в свой детектив. Время идет, а ее, видимо, это ничуть не волнует. Не то что меня. Внезапно ощущаю потребность обрести контакт с внешним миром и нервно звоню Дж. Предчувствую, что вызову его раздражение. Выжидаю, пока пройдет полчаса, чтобы поговорить, когда он наверняка будет у

себя в кабинете. Не знаю, какой тон взять в разговоре, так что призываю на помощь приобретенную в ЖВК бодрость: знаешь ли, все мы через это проходим — в таком духе. Кладя трубку, чувствую себя отвратительно, будто должна была напоследок сказать ему что-то всерьез, раз в жизни сказать то, что действительно имеет смысл и значение. Сижу, вяжу, поглядываю на часы. В палату входят расстелить постели. Их надо расстелить не как обычно, а так, чтоб на них можно было перегрузить бесчувственные тела. Помогаю сиделке расстелить таким образом и мою. Она говорит «спасибо», и мне приятно, что она признательна. В палату вносят шесть наборов одежды для операции, аккуратно раскладывают их на столе; пока мы готовимся, остальным разносят завтрак. Искоса поглядываю на еду — она выглядит прекрасно; досадую на то, что мне ничего не полагается. Злюсь на мадам Перселл, спрашиваю, отчего она ни на что не реагирует, углубившись в свои проклятые детективы.

— Вы что, не понимаете, номер первый и второй уже надевают эти безобразные халаты, а я — номер третий? — говорю.

Моя вспышка ее озадачивает, она извиняется и поднимает голову, но тут сиделки просят ее и всех прочих не выглядывать из-за своих занавесок. Ну, теперь, думаю, мы все заперты в собственных клетках, и ничего с этим не поделаешь. В палате мертвая тишина. Остальные заняты едой. Затем из-за голубых занавесок возникает операционная медсестра. Ей не нравится, как меня накануне побрили, и она снова берется за это. Пытается помочь мне натянуть длинные чулки, настаивает, чтобы я надела чистый халат, хотя и этот я ношу лишь пару последних часов. Я не даю ей себя одевать, это кажется таким смешным, все напяливаю сама, обвязываю голову косынкой. Снимаю обручальное кольцо. Это ее шокирует: здесь требуется снимать только бриллианты. Снимать обручальные кольца не принято, и она настаивает, чтобы я вынула его из сумки и надела обратно на палец, обвязав, как положено, липкой лентой. Меня тщательно смазывают эфиром, соскребая маленькие черные пятнышки с пупка. Чувствую себя восхитительно, неземно чистой. Теперь я просто хорошо отлаженное изделие, готовая к работе машина. Почти утратившая любые эмоции. Лежу поверх постели. Потому что в детстве мне говорили, что постель — не то место, куда следует забираться. Я укрыта простынями. Подо мною — постель, в которую уложат другую меня, бессознательную. Отключаюсь. Не вижу часов, не вижу ничего, кроме голубых занавесок. Жду Она приходит со шприцем. Инъекция в ягодицу, и сразу же лекарство начинает действовать на позвоночник. Чувствую, как меня

медленно парализует.

— Скоро вам захочется спать, — говорит она мягко.

Слышу, как каталка прибывает за номером первым. Удивляюсь, когда они подходят ко мне. Два медбрата в белых шапочках и масках у высокой длинной тележки. Чувствую, как они напрягаются, поднимая меня с постели. Сестра улыбается и помогает им обернуть меня бесчисленными красными простынями. Пытаюсь что-то сказать и улыбнуться. Трогаемся с места. Смотрю на часы: уже почти три. Мне приятно, что в меру сил я помогла им. Резкий холодный воздух, когда мы выезжаем из палаты и оказываемся в открытом пространстве; по пути они обмениваются репликами над моей головой, придерживая мою карту и историю болезни, лежащие у меня на груди, и следя, чтобы не сползли простыни, укрывающие меня до самого подбородка.

Холодный как лед воздух обжигает мое лицо; всерьез опасаюсь, как бы не свалиться с тележки, на которой меня везут.

Потом проезжаем через вращающиеся двери. Быстро поднимаю голову, чтобы понять, где я оказалась; один из мужчин резко тянет ее вниз, приговаривая:

— Нечего любопытствовать.

Место кажется довольно людным и загроможденным, кругом голоса и непрерывное движение, как на кухне большого отеля. Ощущаю, что сыта всем этим по горло, и в то же время не могу пошевельнуться. Какое-то время ничего не происходит, затем рядом возникают люди, сестра представляет их, произносит мое имя, говорит, что оперировать меня будут они. Молодой человек очень симпатичен, огромные зеленоватые глаза над маской, девушки темноглазые. Стоят рядом, переговариваясь с сестрой. Он в это время очень дружелюбно и приятно пожимает мне плечо. Соединенное действие лекарства и такого человечного отношения внезапно рождает во мне ощущение, что предстоит что-то действительно необыкновенное, а эти люди — самые большие друзья, какие у меня есть на земле. Перестав мять мое плечо, он проявляет неожиданный интерес к моему предплечью, которое нежно обхватывает и тоже начинает мять. Я испытываю несказанную привязанность к этому человеку и чувствую, что он, судя по всему, так же относится ко мне. Затем острый укол в предплечье. Игла входит в вену, но я не ощущаю, как ее вынимают.

Чувствую, как меня роняют на что-то мягкое. Слышу: «Все кончено. Вы опять в своей кровати». Кровать мягкая и теплая. На мгновение чувствую себя ребенком. Затем вдруг спрашиваю себя: «И это все? Я правда сделала это?» Страшное ноющее оцепенение

там, где когда-то был мой живот, подтверждает: да. Чувство блаженного облегчения и несколько слов самой себе вроде: «Ты через это прошла, ты это сделала, в это невозможно поверить». Засыпаю, погружаюсь в безбрежное море сна. Ощущаю, что неподвижно лежу на спине, руки аккуратно сложены на груди. Я — статуя из камня, я больше никогда не пошевелюсь.

Часть девятая
ВОСХОДЯ НА ПАРНАС

7 января 1962 года

Две мои цели в поэзии:

1. Отыскать путь к сердцу.

2. Выжать из слов все возможное.

Что касается первого, то прямой подход заведет в тупик. Надо следовать другим путем, не столь прямолинейным. Это можно сравнить с восхождением на гору. Уже не сосчитать, сколько раз альпинисты взбирались по прямой на Монблан; так что ныне (по крайней мере так считают) заслуга состоит не столько в том, чтобы покорить вершину, сколько в том, чтобы проложить к ней новые тропы. Подобное ощущение, что все вершины уже покорены, отличает все виды современного искусства; отсюда поглощенность его творцов вопросами техники — не предметом как таковым, а способами, какими предмет может быть охвачен. Иными словами, сегодня предмет искусства является опытным полем для упражнений и показательных выступлений. Соотношение здесь такое же, как между естественной мышечной силой первобытного человека, Тарзана, и жизнью и устремлениями гимнаста, тренирующегося в спортивном зале.

Под «сердцем» я подразумеваю все, что не имеет отношения к подобной деятельности: напору и упражнениям в спортивном зале. Иначе говоря, все, в чем предмет как минимум не менее важен, нежели подход к нему. То есть когда смысл столь же значим, сколь слова, в которые он облечен. La pensée vaut le style[663].

Но даже окольный путь должен вести к вершине.

Что касается второго, то это вопрос техники. Надо разбивать 1 ритм, подавляя функциональные слова. Стремление к результату сродни двойному прыжку вместо обычного. Или движению товарных вагонов поезда. Слова должны с силой подталкивать другие вперед.

Вчера вечером были на вечеринке в предместье Хэмпстед-Гарден. Супруги Ричард и Джин Тейлор. Комната, полная энергичной и вполне преуспевающей молодежи. Мне идти не хотелось, поскольку Тейлоры — закадычные друзья супругов Хендри, каковые, разумеется, тоже присутствовали.

Вымученная беседа: не мог придумать, о чем говорить. С такими, как Хендри, у меня нет ни малейшего желания общаться, ибо это — чистая потеря времени. Элиз считает, что так

проявляется моя необщительность, но в былые времена именно по ее инициативе нам случалось прерывать отношения. Что же касается моей собственной нелюдимости, на которую она мягко попеняла, то отрицать ее не приходится. В самом деле, подобные вечера, перспектива общения с парами вроде Хендри (новейшие фильмы, спектакли, книги — смертельное лакейское тупоумие подобного трепа) — все это навевает на меня бесконечную скуку.

В таких обстоятельствах я стараюсь вытягивать из людей все, что смогу; а из людей, которых слишком хорошо знаешь, ничего не вытянешь. В итоге от такого рода встреч не остается ничего, кроме чувства пустоты. С большинством людей достаточно общаться раз в полгода. И лишь с очень немногими — чаще.

10 января

Ронни Пейн. С этой супружеской парой мы не виделись много лет. Они стали спокойнее. Одинокие, вроде нас; только кажутся от этого более ожесточенными, сильнее переживающими собственную отчужденность.

Он, как обычно, припас несколько забавных историй. Одна из них — о некоем Джайлсе, корреспонденте «Таймс» в Париже. Сноб до мозга костей, он страшно гордился тем, что его жена не кто иная, как леди Китти. И вот какой-то француз приглашает его на прием.

— И возьмите с собой миссис Джайлс.

— М-м, вообще-то говоря, она не совсем *миссис* Джайлс…

— Не важно, не важно, все равно приводите!

24 января

Проявление воли в искусстве слова ни к чему не приводит.

30 января

Просыпаюсь среди ночи. Очень бледная убывающая луна подпирает новую — сияющую мертвенно-матовым блеском. Становясь свидетелем такого зрелища, чувствуешь в себе что-то вуайерское. Будто в первый раз видишь луну голой.

8 февраля

Камин. Девушка из Танганьики, из племени гуджерати. Сегодня утром провалила тест по стенографии (всего-то навсего ошиблась в двух словах). А в обеденный перерыв исполосовала лезвием собственную ладонь. С какой стати?

— Так мне легче, — отвечает. — Я и раньше так делала.

И не врет. Я сам в этом убедился, когда она продемонстрировала мне свои запястья. Истерика? Мазохизм? Сидит себе, тихо улыбаясь, молчаливо предлагая не устраивать сыр-бор по этому поводу. Я почувствовал, что есть в этом что-то очень восточное. Чего европейцам не понять.

Общий рынок. Обе стороны странным образом уверовали, что

проблема может быть решена исключительно на экономической основе. Словно все исторические, культурные, эмоциональные или международные факторы не более чем пустая сентиментальность. Мне же кажется, что экономическая сторона дела здесь как раз наименее важна и неспособность политиков уразуметь это вполне оправдывает то презрение, какое к ним испытываешь. Я хочу быть европейцем, а не жителем Британского Содружества[664].

Антониони, «Ночь»[665]. Еще один очень хороший фильм, похоже, превратно понятый критиками. Это чистейший Расин: стилизованные персонажи «из знати» существуют по законам некой геометрической психологии, все в их судьбах предопределено в истинно янсенистском духе и разыгрывается с математической последовательностью. Атрибуты обстановки, в которой они обитают, современны, но я не вижу в них никакой принципиальной необходимости. Антониони, как и Расин, демонстрирует свое видение общечеловеческого удела и общечеловеческих отношений. Не могу себе представить, чтобы целью режиссера было тронуть сердца зрителей; при таком раскладе катарсис попросту невозможен. Единственно верная реакция на этот фильм — «чистое» интеллектуальное наслаждение («чистое» в таком же смысле, в каком мы говорим о «чистой» математике).

В последнее время мы снова общаемся с Дженнифер Ардаг. Она рассталась со своим невыносимым Джоном. Приятная сухая женщина, пресыщенная стереотипностью манер и образа мыслей и в то же время не чуждая повышенной чувствительности и застенчивости — по-своему тоже стереотипных. На днях мы пили с ней кофе, все было скучно и скованно, однако украшением вечера стало примечательное чудище — некая миссис Болтон-Смит, истовая мужеподобная христианка лет сорока или около того. В черном платье, как у образцовой вдовы викария, волосы убраны вверх, как у домохозяйки, никакой косметики, за стеклами очков поблескивают колючие серые глаза. Исполненная стародевичьих ужимок, без конца теребящая цепочку на шее, издающая булькающие звуки и хихикающая над собственными шуточками. Одна из новых христианок, стремящихся быть «молодыми», в меру эпатируя окружающих. То и дело роняющая словечки «тупологовый» и «битник» и вечно готовая обратить всех на свете в собственную веру (я ненароком заметил, что частные школы положили христианству конец, и тут-то простодушная овечка вся взвилась). Регби, по ее словам, воспитывает в ребятишках истинно христианский дух: трудиться, трудиться, трудиться. Дженнифер рассказала, как они с сыном зашли в

католический храм и он сказал:

— Не думаю, что здесь живет Бог!

Б.-С. раскудахталась и в конце концов изрекла:

— Поделом папе!

А вот ее мнение о шедевре Гейнсборо в Кенвуде: «Я просто от нее в восхищении. Она так кокетлива! Прямо прелесть! Каждая складка на ее платье дышит чувственностью! Прямо прелесть!»

Но лучшее из ее выражений: «Либо у вас есть Бог, либо Его нет».

17 февраля

Залег на дно, уйдя от повседневной суеты. Валяюсь в постели с простудой. Читаю Свифта и Филдинга. Поэтому любой угол света и тени (особенно тени) переносит меня в XVIII век. Хочу сказать: вижу и слышу все происходящее, и кажется, что я вижу и слышу все это глазами и ушами человека XVIII столетия. Вся трудность в том, чтобы жить в настоящем, а не в прошлом.

Рекламные ролики по телевизору. Запомнилась забавная фразочка: «свежий кофейник».

26 февраля

Произносилась она слитно: «свежийкофейник». Это новый способ изъясняться по-английски, и он обречен на дальнейшее распространение. Не что иное, как упаковка и расфасовка ключевых слов в предложении (кстати, ролик рекламировал растворимый кофе, не что-нибудь). Думаю, эта мода идет от Джойса и экспериментов 1920-х годов, милостью журнала «Тайм» становящихся достоянием аудитории, хотя привычка сливать слова воедино, разумеется, так же стара, как сам язык. Предвижу, что многие сложившиеся по-прежнему слова ждет туманное будущее (от недостатка времени, от недостатка места).

«Погода нынче холоднее некуда» = холоднее-некуда-нынче погода.

Прохладныйсаднапамятьприводящая любовь обречена на увядание

Поэзия еще не задействовала этот прием.

Убийственная головная изощренность нынешних молодых интеллектуалов: их просто *ужасает* мысль, что кто-то может подумать, что они недостаточно умны. Аудитория отнюдь не на их стороне — за вычетом (и это, быть может, очень существенный вычет) критиков, верховодящих теми, кто не умеет самостоятельно мыслить. Но поскольку в редакциях газет и журналов погоду делают именно молодые интеллектуалы — а интеллектуалы всех возрастов неизменно стремятся казаться молодыми, — предела их головной изощренности не предвидится. Думаю, это своего рода феномен: компенсация

неспособности творить. Иными словами, мы позволяем глухим заказывать для нас музыку.

28 февраля

Два стихотворения. Первое — о городке Ипплпене в графстве Девоншир. Однажды мы направлялись в гости к Чарлзмаутам и вышли вместе с Хейзел Чарлзмаут — девушкой — полюбоваться расцветающими цикламенами. Думаю, первыми на моей памяти «дикими» цикламенами. Я вспомнил об этом, когда мы как-то заговорили об Ипплпене, находясь в Ли. Воскресшие позабытые истории: квадратный куст у входа в дом м-ра Петри, вырезанная на двери фермы Дорнафилд дата и эти цикламены. Не припоминаю, как выглядели Хейзел Ч. (я не испытывал к ней сексуального влечения) или дом. Маячит лишь смутное видение о прогулке с девушкой — без имени и лица — и восторг при виде диких цикламенов.

Другое стихотворение — об отсутствии воли. О типичном (для меня) отказе вовремя делать то, что нужно. Образ, к которому я прибегнул, — бесцельное валяние в постели. Хотя на самом деле я редко лежу в постели без сна. Обычно отсутствие воли выражается в моем нежелании ставить оценки, а также писать и исправлять написанное. Я не делаю этого в отведенные сроки, предпочитая занимать себя массой банальных мелочей. Зачастую объясняя это так: «Я не в настроении писать. Муза — или мифический будущий идеальный роман — не дозволяет мне писать». Не делая того, что сам хочу делать, я испытываю некое извращенное удовлетворение, возможно, откладывая письмо «на потом»: налицо фрейдовский анальный комплекс и все из него вытекающее. Такое поведение также представляется мне способом доказать самому себе, что я свободен. Ведь все предопределенное заранее (то, что надлежит сделать — скажем, выставить оценки) противостоит свободе; в то же время в это заранее предопределенное входит и то, что предопределяешь сам для себя (иными словами, то, что хочешь сделать); таким образом, даже самые благородные и высокоморальные из этих личных предопределений (а отнюдь не одни чувственные и эгоистичные устремления) представляют угрозу свободному «я». В итоге я нередко пребываю в состоянии пассивного желания сделать что-то и реального бездействия — состоянии, которое я уподобляю запору; однако по сути такое уподобление неточно, ибо физической преграды, мешающей мне что-то сделать, нет. Запор — это стремление действовать при одновременном ощущении неспособности действовать. Конечно, цинику впору лишь усмехнуться, видя подобное объяснение откровенной лени. Думается, в глубине души мне хотелось бы выйти из этого

состояния; но, с другой стороны, оно — часть моего «я». Именно благодаря ему мне подчас удается достигать необходимого давления в стихах и словах. Это неприятное состояние; порой даже непостижимо, как оно целыми днями удерживает меня от того, чтобы сделать что-нибудь серьезное; однако, найдись у моих стихов адвокат, он привел бы кучу аргументов в его защиту, констатируя его латентную значимость — значимость долгой зимы, необходимой для вызревания плода.

2 марта

Есть какой-то особый тембр в звучащем автомобильном гудке: даже в тишине морозного зимнего утра он способен напомнить о знойных летних вечерах.

9 марта

Почти устроил Элиз на работу в Св. Годрик — секретарем в приемной на два с половиной летних месяца. Когда мы обсуждали детали с Дж. У. Л., в офис позвонил его агент. Речь шла о покупке какой-то недвижимости.

— Я не собираюсь ходить вокруг да около, — заявил Дж. У. Л., — а просто задействую политические круги.

Сказано это было без тени юмора: он всего-навсего намеревался попросить своего друга-парламентария покапать на мозги в соответствующем министерстве.

Нагари, студентка из Персии. У нее интересные мысли об омертвении литературной образности, образности в целом, и о том, как космическая эра способна освежить истосковавшийся по символам разум.

Новая ось должна пройти по линии космос — Земля. Вместо человека, рвущегося между небом и адом, — человек осажденный. Все мы — изолированные существа, атакуемые или пребывающие под угрозой нападения со стороны неведомого, неподконтрольного.

Итак, налицо угроза, опасность и вытекающая отсюда свежая струя чувств и образов. С языковой точки зрения мне импонирует сделанный американцами почасовой комментарий полета Гленна. Новые слова: «Я запускаюсь, капсула запускается». «Обратный отсчет». «Тормозные ракеты»[666].

10 марта

Слишком часто используемые мной наречия: абсолютно, совершенно, чрезвычайно, нелепо, поразительно, невероятно. А также производные от них прилагательные. Ныне они довольно часто встречаются в речи ожесточенных (на человеческий удел) интеллектуалов. Нам приходится высказывать наши суждения в сатирической форме. Мы даже шаржируем собственные мнения. Возможно, именно лежащее в основе отсутствие воли,

неспособность к действию (мы либо чего-то не делаем, хотя и можем, либо не делаем, поскольку не можем, как бы ни старались повлиять на ход событий) побуждает нас так часто прибегать к употреблению «агрессивных», экстремальных наречий и прилагательных. И самовозбуждающих.

«Вулкан». Занимательный фильм — или сюжет, который сам по себе может сделать любой фильм занимательным. Куски лавы, извергающиеся подобно пушечным ядрам; особенно живописно снижение скорости, замедление, пауза и новое ускорение. обрушивающейся на землю пылающей материи. Отколовшиеся обломки словно гигантские вишнево-красные лоскуты на фоне дыма и бледно-голубого неба. Словно скачущие огненные дельфины. Магма — расплавленная масса, из которой образуется лава. Лапифы — дождь мелких камней.

16 марта

Пэт Браун. «Наставница» секретарш в Св. Годрике. В прошлом году слегка поранила руку, сканируя документы. Потом ей становилось все хуже и хуже. Принялась ходить на работу с рукой на перевязи, отважно пренебрегая возможностью подать в суд на колледж. Сначала пришлось ампутировать палец, потом кисть. Она выжидала и выжидала, один специалист сказал ей, что наступит улучшение, другой прогнозировал самый худший итог. Все ей сочувствовали. Она испытывала боль. Надежды не было. В конце концов пришлось ампутировать всю руку. Работать она больше не могла (хотя мужественно продолжала выполнять мелкие поручения).

И вот она в психиатрической лечебнице. У нее никогда не было ни малейших симптомов душевной болезни. Но она никогда не умела печатать с той скоростью, какая необходима преподавателю машинописи.

21 марта

Ают, египтянка. На занятиях ее не было весь день, после полудня она заглянула в мой кабинет. В черном платке. Встала у стены и произнесла лишь:

— Mon père est mort[667].

Судя по всему, погиб он в тот же день, на рассвете, за рулем машины на пути из Александрии в Каир. Врезался в другой автомобиль. Я усадил ее за другой стол, и мы поговорили о ее семье и об отце. Она мне нравится (опасно, когда нравятся хорошенькие девушки в расцвете лет), но в ней есть рассудительность, какая-то прямота. В начале семестра я уже приглашал ее сюда — предостеречь от случайных знакомств с завсегдатаями клубов на Финчли-роуд; и мне понравилось, как она в ответ лишь пожала плечами: что, мол, за странная и

нелепая идея. Она египтянка того типа, какой встречаешь в книгах Оруэлла: очень хорошо воспитанная. Начала неплохо писать, тонко подмечает окружающее, а в ее интонациях сквозит приятная горечь. Сегодня днем с ее биографией все стало ясно. У Насера зуб на их семейство; ее отец был последним взрослым мужчиной в роду (хотя в Бейруте у нее есть десятилетний братишка); мать — турчанка, очень застенчивая, легкая добыча для египтян. Они христиане, некогда очень богатые; жених Ают — молодой миллионер, приговоренный к пожизненному заключению; она писала Насеру, прося помиловать его, тот ответил, что никогда не выпустит его на свободу; а мать не может уехать из Египта, ибо тогда репрессии обрушатся на всю семью. В общем, ее положение — положение «бедной молодой богачки». Но, глядя, как она говорит на своем беглом александрийском французском, физически ощущаешь трагичность ее удела — непридуманную, обжигающую, сродни греческой трагедии, а под нею — трагедию еще более страшную, всепоглощающую. «Je savais qu'il allait mourir»[668]. Несчастный случай на дороге мог быть подстроен, не исключено политическое убийство. Но еще глубже — безнадежная фатальность. Конец касты.

Я задавал ей глупые вопросы. В таких обстоятельствах выразить сочувствие невозможно. На ум приходят самые банальные слова. В нашей беседе случались долгие паузы, и она сидела, теребя платок, окаймлявший ее белое, искаженное болью лицо. По-моему, она презирает женщин и ей хотелось просто побыть какое-то время с мужчиной. Уходя, она все время повторяла: «Vous etes charmant, vous etes très gentil»[669]. Смерть стимулирует сексуальную тягу, толкает к сближению; ведь ощущаешь такую наготу, такое одиночество, холод. Гилберт и Сьюэл отнеслись к этому с привычным цинизмом; оба заметили, что она, возможно, меня провоцировала, и, не презирай я их так сильно, мне впору было бы разозлиться. Элиз тоже усмотрела во всем этом одну неприятную сторону, самый грубый конечный результат — сексуальность. Гадкое слово.

Для меня это был один из тех нагруженных ассоциациями, «чреватых» случаев, какие невозможно объяснить. Я хочу сказать, по сути поэтических или метафизических. Красота смерти и смерть во времени; несчастный случай на рассвете в Египте, отозвавшийся в полуденном Хэмпстеде. Дистанцированность существования этой девушки и ее омраченное горем лицо (обычно она весела, даже любит подурачиться). Смерть — прекрасна, прекрасно время, и девушка в этот час тоже была прекрасна. Спонтанная интенсивность переживания. Как струя льющихся слов. Как синкопа. Ни смерть, ни затаившаяся в

глубинах «сексуальность» не имеют ко всему этому ни малейшего отношения. К красоте момента, когда она застыла со словами: «Mon père est mort».

24 марта

Перечитываю старые дневники. Умопомрачительные выплески самодовольства, тщеславия, самонадеянности. Испытываешь искушение стереть все это с лица земли. Но это означало бы предать дух дневника. Ведь он остается — и навсегда останется — таким, каков ты сам. Я рад, что вел его много лет. С самого 1948-го. Жаль, что я потратил столько времени, занося в него размышления, идеи, взгляды, — и так мало, описывая события и людей.

Nostalgie de soi[670] — неисполнимое желание вернуться в себя и заново пережить прошлое. Не думаю, что в силах человека сделать что-нибудь по-другому. Последнее означало бы не ностальгию, а физическую невозможность. Все дело в том, чтобы воскресить прошлое напряжением воли, сосредоточенным усилием памяти вернуться в места, где когда-то побывал, почувствовать, какие забытые воспоминания нахлынут. В замерших на зиму ветвях деревьев и чуде набухающих ростков.

«La grande definite, en tous, c'est oublier»[671]. Селин, «Путешествие на край ночи».

* * *

Что до Ают: такого рода переживания для меня — в глубочайшем смысле слова *эстетичны*. И лишь во вторую очередь эмоционально или сексуально возбуждающи.

Полемика Ливиса и Сноу Я целиком на стороне Ливиса. На мой взгляд, его критика Сноу явилась одним из самых справедливых и убедительных развенчаний гипсового идола псевдохудожественности со времен прошлого столетия[672]. И, возможно, дело не в Сноу как таковом. Но его амбициозность нелепа. Писать диалоги, рисовать сцены, убеждать мыслящих людей — все это превыше его возможностей. Странно сомневаться, делая выбор между страстным презрением Ливиса ко всему второразрядному и его картонным высокопреосвященством Сноу. Симптоматично, что все персоны второго ряда в литературном мире, «авторитетные» критики и телевсезнайки буквально сорвались с цепи, яростно ополчившись на Ливиса[673]. Налицо действительно две культуры — подлинная и заурядная.

Разбил зеркало в своем кабинете в Св. Годрике (точнее сказать, оно «само разбилось», надумав вдруг выскочить из пазов канцелярского шкафа). Итак, грядут семь лет неудач и невзгод. Начались они довольно неожиданно — с прекрасной бакстерской литографии красотки средневикторианской поры, запечатленной на обратной стороне зеркала.

30 марта

День с Поджем. Не так давно он взял у меня пятьдесят страниц «Коллекционера», чтобы на свободе прочитать в Оксфорде. Говорит, что текст «публикабелен», «отвечает издательским требованиям», а обо всем остальном — ни звука. Меня это немного раздражает, ведь не кто иной, как он сам, настоял на том, чтобы взять текст и ознакомиться. Его молчание, ясное дело, свидетельствует: «Книга плоха, но вслух я этого не скажу». Такое ощущение, что ему вообще не нравится думать, будто я способен сделать что-нибудь хорошо. Будто я способен думать иначе нежели он.

Вчера был один из его «непробиваемых» дней — дней, когда он, по словам Элиз, «выстраивает вокруг себя изгородь». В полемике между Сноу и Ливисом он занял сторону первого; заявляет, что не может дочитать «Безоговорочную капитуляцию» Во, а «Приключение» Антониони считает фильмом весьма заурядным. Впечатление такое, будто он намеренно хочет показаться недалеким, чтобы испытать меня на прочность. В нем живет некий бес, исторгающий *извращенную* ненависть к сочувствию, ненависть к успеху — от самого реального, несомненного и отдаленного (от него самого) до далеко не очевидного и почти немыслимого (вроде моего собственного начинания с «Коллекционером»), В его натуре есть горечь, порою оборачивающаяся суровостью, логическим позитивизмом и т. п. Он не способен принимать всерьез работу любого, кого знает лично (Джон Уил[674], Элизабет Мейвор[675]), настаивая, что единственный их стимул к занятию литературой — заработать побольше денег.

Это пахнет деньгами, заявляет он, словно никто из тех, кто его окружают, не вправе рассуждать об искусстве, о любви к жизни или о философских материях.

Вот уже несколько лет, как я чувствую себя в этом отношении старше его. Ощущаю даже, что он человек лишь наполовину Достойный восхищения, но такой, чья другая сторона неизменно одета мраком. Должно быть, это как-то связано с его браком: преждевременным затуханием любой нежности, любой сексуальности, любой способности чувствовать (в хорошем — восходящем к XVIII веку — смысле слова).

«Коллекционер» распечатывается. Вера, какую я в него питаю, не поддается объяснениям. Элиз его не приемлет. Подж, видимо, тоже; и я не могу представить себе издателей — или, если уж ДО того дойдет, литературных критиков, — которым он понравится. И тем не менее чувствую: в нем есть завершенность, он выражает именно то, что я хочу сказать. Частности могут быть неверны, их, без сомнения, можно править, но это же — как со стихотворением. Я *знаю*: суть верна.

«Большие змеи» Поупа. Интересная книга. Змеи совокупляются часами, порой целыми днями. Их осязание зависит от температуры.

Любопытна история о том, что делать, если на вас нападает удав. Следует плашмя вытянуться, сложив руки и ноги, чтобы он мог вобрать вас в пасть. Нельзя позволять ему просунуть под вас голову (удушит). В конце концом ему это надоест, и он примется вас заглатывать, начиная с ног. Лежите абсолютно не шевелясь, иначе он начнет сокращать мышцы. Когда дело дойдет до колен, сядьте, достаньте нож и спокойно разрежьте его раздувшиеся челюсти.

И проведите остаток жизни в психушке.

6 апреля

Невозможно писать стихи в чьем-либо присутствии. Больше всего раздражает бессмысленность существования других, чувство, что они вынуждены убивать то самое время, в которое с головой погружаешься. Ожидая, что вот-вот окажешься с ним в постели, и тогда… Между тем в стихотворении, как и в процессе его создания, времени не существует. Когда пишешь, пребываешь во вневременном пространстве, в вакууме. Не важно, что Элиз совсем рядом, в соседней комнате. Не важно, какой шум стоит снаружи. Лишь бы не музыка: симбиоз музыки и поэзии я не выношу.

Мысль о том, что поэтический мир (Парнас) далек от повседневного, в корне неверна. Это просто шаг в сторону, мимолетное отступление. Ведь без стихов слоняешься целые недели, им ничего не стоит улетучиться. Делаю этот вывод, по большей части исходя из того, как быстро выходишь из мира поэзии: достаточно поднять голову от листа бумаги и сказать какую-нибудь глупость или банальность. Подъем и спуск с Парнаса — дело секунды.

8 апреля

Уоттс «Путь Дзэн». Интересный человек, хорошая книга[676]. Думаю, я (и Европа) слишком долго насмехались над дзэн-буддизмом. Снова и снова натыкаюсь в ней на тезисы и наставления, к которым давным-давно пришел в «Аристосе»: о

необходимости осознать «сейчас» как ключевой момент существования и о многом другом. Строго говоря, если вообще можно говорить о моей религии, я в гораздо большей степени дзэн-буддист, нежели христианин. Ведь мое безразличие к добру и злу, отказ верить в то, что зло непременно чревато злом, а добро — добром, — все это и есть Дзэн. Подчас это мысленное сходство столь велико, что возникает впечатление, будто я открыл чью-то книгу и прочел на ее страницах стихотворение, созданное мною самим. Déjà vu[677], попросту говоря.

Как рецепт к *существованию* дзэн-буддизм незаменим. Весь вопрос в том, пришли ли мы в этот мир для того, чтобы жить, или зачем-то еще. Дзэн умалчивает о том, какая нагрузка ложится на нас после смерти, о том, что нам надлежит сделать, чтобы и впредь приносить пользу человечеству (или, в редчайшем из случаев, обрести бессмертие). То есть в европейском смысле слова о нашем «долге» перед миром, в котором мы пребываем и из которого безвозвратно уйдем. («Безвозвратно уйдем», само собой, плеоназм. Но, разумеется, я имею в виду не жизнь-после-смерти или тому подобную ахинею.)

* * *

Буквально все, кого мы знаем, вовлечены в дискуссию по поводу испытания водородной бомбы[678]. Меня этот вопрос абсолютно не волнует. Прежде всего, в реально-политическом плане, отказ Британии от ядерных испытаний и разрыв с американцами никак не отразится на проблеме выживания страны в глобальном ядерном конфликте. Можно даже предположить, что такой отказ уменьшит нашу возможность выжить — поскольку будет способствовать еще более ожесточенной конфронтации между США и СССР, открывая обоим (еще более провоцирующе, нежели сейчас) полигон, где два эти гиганта смогут соревноваться, спасая от гибели собственные территории.

В социальном плане этот вопрос не волнует меня потому, что столько людей *смакуют* свое противостояние ядерному оружию. С моей точки зрения, протестуют против него в принципе. Иными словами, протестуя, реализуют собственную *индивидуальную потребность* быть в оппозиции, не слишком задумываясь о результате, к какому это может привести. Проще говоря, таково излюбленное отношение soi-disant[679] либералов.

На метафизическом или философском уровне я равнодушен к этой проблеме потому, что зло нередко влечет за собой благие

последствия. Понятно, в дзэн-буддийской системе ценностей, в которой зло и есть добро.

Равнодушен я и в личном плане, ибо, даже будь я против продолжения испытаний, едва ли согласился бы с тем, что данный способ протестовать, *с моей точки зрения*, оптимален.

9 апреля

Фильм о вулканах. Только сегодня понял, почему он мне так понравился, особенно слово «магма». Любое хорошее стихотворение — вулканическое извержение, выплеск скопившейся в мозгу магмы. Я имею в виду не то горячечное «озарение», о котором грезят непоэты, но то преодоление, то проникновение к сути сквозь твердую оболочку нормальности, банальной прямолинейности, хаос невнятных и бессмысленных слов. Тот прорыв, каким оказывается любое стихотворение.

* * *

Стихотворчество — волевой акт, бурение в поисках магмы, а само стихотворение и есть магма, извергающаяся, изливающаяся, капающая или сочащаяся из глубин. Вероятно, можно даже прогнозировать, где случится извержение вулкана, очертить район, в каком оно может произойти. Но предсказать момент извержения невозможно. И не исключено, что даже с местом предполагаемого извержения выйдет осечка: вулкан-стихотворение может начать клокотать в любой точке земного шара.

13–15 апреля

Ужасный уик-энд в Ли. Очень холодно, несмотря на время года. Бессмысленный треп, впустую потраченные часы. Полное погружение в maya[680]: нескончаемое извержение серых, незначимых вещей.

«Оливер Твист» — отвратительная книга. Она показывает Диккенса таким, какой он есть: блестящим и виртуозным мастером второсортного письма. Позолота сходит, как она сошла с викторианской посуды — намного быстрее, нежели с настоящего изделия (к примеру, произведений Джейн Остин). Просматриваю «Куотерли ревю» за 1837 год: выражая худшие опасения в связи с «Записками Пиквикского клуба», журнал надеется, что «Оливер Твист» поднимет акции Диккенса у читателя; чего и следовало ожидать. Эта книга — в духе своего века: Роуз, Харри Мейли, миссис Мейли и Оливер — существа эстетически отталкивающие. Единственно убедительны лишь «дурные» персонажи романа. К тому же на нем лежит отпечаток

буржуазного снобизма и антисемитизма.

Великие писатели рисуют положительных персонажей, в которых можно влюбиться, — убедительные образы «хороших» людей.

22 апреля

Пасхальное воскресенье. Э. вышла прогуляться с матерью и сестрой. Приехали на праздники. И сводят нас с ума. Ее мать даже нельзя возненавидеть: она ведь «добра желает» — со всем пафосом и несносной бессмысленностью, какие заложены в этом слове.

Когда они ушли, я принялся наблюдать за девчушкой на крыше напротив, по ту сторону садов на Черч-роу. Стоял первый погожий денек в этом году: бесподобное английское голубое небо, ни облачка, воздух теплый и светлый, зеленеющие побеги, розовые искорки распускающегося миндаля, поющие птицы. Девчушка находилась на крыше в обществе мужчины, без конца ее фотографировавшего. Я не мог понять, отец он ей или нет, если да, то во всей ситуации был оттенок чего-то инцестуозного. Подглядывая за ними в телескоп, я увидел, что она — очень хорошенькая, похожа на ирландку, с золотисто-рыжими волосами и зелеными глазами, озорная, подвижная, дразнящая, капризная, все чуть-чуть напоказ, будто знает, что на нее смотрит еще кто-то, кроме ее спутника. Нечто вроде старлетки-любительницы — или настоящей старлетки. Была поодаль и еще одна женщина светлая блондинка лет сорока или около того; пока девчушка принимала по сто поз в минуту, она не снизошла удостоить порхающую по крыше парочку и взглядом. На девчушке был очень красивый зелено-голубой итальянский сарафан и пунцовая соломенная шляпа. Во всем блеске юного очарования — на грязной крыше, а рядом — похожий на быка мужчина с экспонометром и камерой «Роллифлекс». В какой-то момент она разразилась индийским танцем — и довольно умело, должно быть, жила в Индии, — а затем с места в карьер перешла на твист. Затем, кокетливо повернувшись, вытянула из-под сарафана снятый бюстгальтер и распласталась всем корпусом вокруг печной трубы. Любопытно подглядывать за людьми в телескоп. Будто на птиц смотришь. Словно в жизни не видел не скованного приличиями (я хочу сказать, беззаботного, а отнюдь не возбужденного) женского личика. А девчушка — та была полностью погружена в собственное очарование; все вытягивала и вытягивала вперед голые руки, позируя даже тогда, когда быкообразный мужчина не смотрел в ее сторону. Чуть позже она сняла сарафан и растянулась на крыше в бикини; на миг приподнялась, и длинные волосы заструились по плечам, совсем как у боттичеллиевской

Венеры или Примаверы. Она была неотразима скользящей малогрудой и широкобедрой девической красотой, в которой светился какой-то будоражащий оттенок застенчивости, неуловимого перехода от ангельского к сексуальному. Не исключаю, что исходные мои побуждения были нечисты: одно праздное любопытство, Удовольствие, которое я неизменно получаю, разглядывая тот или иной объект (люди, к слову сказать, в этом смысле самые интересные объекты, а визуально самые интересные из них, разумеется, хорошенькие девушки); однако постепенно ко мне приходило понимание, что я испытал столь же прекрасное переживание, как то, что осенило меня при встрече с Ают (21 марта). В себе носишь такой груз условностей, такое обилие вещей и действий, порождающих чувство вины, что требуется время, чтобы распутать и уразуметь истинные мотивы. Английский джентльмен изречет: «Наблюдать за девушкой, нежащейся на солнце, — невоспитанность»; психолог поставит диагноз: «Это вуайеризм, демонстрирующий неадаптированность к социуму». Однако (и то, что это так, вновь и вновь констатируется в книге о дзэн-буддизме, которую я читаю) красота события существует совершенно отдельно от побуждений того, кто ее наблюдает. По сути, эстетическое оправдание не так отрешено от морали, как кажется. *Всегдашнему* вуайеру (и только ему) такого оправдания по гроб жизни не дождаться. Дзэн прокламирует лишь одно: не старайся раскладывать события по полочкам, не категоризируй их. Отдавать — значит быть восприимчивым к происходящему вокруг.

Говоря европейским языком, это значило ощутить Примаверу. Сегодня, в пасхальный понедельник, опять пасмурно и холодно — и что за радость глядеть на эту крышу, такую унылую, такую привычную под ватно-серым небом! Само собой, увиденное было чудом, в высшей степени поэтичным, обещанием красоты, озаренным сиянием тех редкостных случаев, когда повседневность и время переливаются в искусство, рождая формы, к которым стремятся величайшие из творцов. Это и есть событие. И, что бы обо мне ни сказали наблюдатели (а мы всегда выносим оценки любым действиям третьих лиц), к делу это отношения не имеет.

Пережитое исполнило меня ощущением несказанного, лихорадочного счастья. Когда наши вернулись, я все еще был как на крыльях. Как хорошо, что у меня есть Э.: ведь когда ты одинок, такие переживания не могут не показаться подозрительными. В том, что испытывает одинокий человек, всегда есть оттенок онанизма. Владеть кем-то (в обоих смыслах слова) можно, лишь имея эмоционально стабильную сердцевину — и это, несомненно,

сердцевина любви. Разумеется, я не склонен отрицать сексуальную подоплеку таких переживаний; но теперь для меня очевидно, что именно в силу того, что подобные озарения сексуальны по форме, нет необходимости прятать их от чужих глаз. В них нет ничего, чего следовало бы стыдиться. Утверждать обратное — то же, что считать достойным осуждения признание красоты определенных сторон религии (к примеру, обрядов, архитектуры храмов) человеком, не разделяющим церковных догм.

Селин «Путешествие на край ночи». Замечательная книга. Я ставлю ее в один ряд с «Условиями человеческого существования» Мальро и «Чумой» Камю. Сотни духовных детей у этой книги. Вся американская традиция — от «потерянного поколения» до битников. Романы Сартра. Острое, горькое бессилие; оно напоминает мне «Кандида» Вольтера. И Ларошфуко[681].

4 мая

«Коллекционера» перепечатали. Элиз отнесла рукопись агенту, Джеймсу Кинроссу из «Энтони шейл лимитед».

Перепечатка обошлась в двадцать один фунт.

Сейчас работаю над «Поездкой в Афины».

Стрижи.

В Бате[682]. Кажется, в этом году отдыхают буквально все; он стал частью Богатого нового мира. Отдыхать надо два раза в год.

После Лондона Ват приводит в ступор: великолепный тихий и медленный городок, кажущийся богатым и цивилизованным. Считать, что за пределами Лондона простирается лишь пустыня, — заблуждение. Истина заключается в том, что стиль жизни некоторых провинциальных городов, конечно же, ничуть не хуже лондонского. Разница лишь в том, что столица живет в ногу со временем. В Бате я все время ощущал, что жители чопорны и сдержанны, но это побочный эффект добротного провинциального стиля жизни. Все здесь несколько старомодно, враждебно по отношению к столице; все, так сказать, подчеркнуто «батское».

Мы прибыли на поезде — окунувшись в солнечный свет. Ни разу еще, когда я садился на поезд в Пэддингтоне, не бывало иначе. Я привык ожидать этого момента. Где-то за Рединг сразу выходит солнце.

В Лондон вернулись автобусом. Поездка довольно долгая, после Рединга противная. Лондон начинается в Слоу. И после Вата кажется перекошенным, черным, переполненным людьми. Чересчур плотным.

Пока мы были в Бате, я не раз говорил, что хотел бы там жить, однако он выбивает из колеи по двум причинам. Первая —

климат: нам все время хотелось спать. Другая — культурная: город живет прошлым. Слишком много вялости и влажности; недостает холода, сухости, темноты.

Напоминает Экс-ан-Прованс: чудесное место, чтобы жить в отдалении от жизни.

14 мая

Элиз работает в Св. Г.

15 мая

Письмо от м-ра Кинросса.

«КОЛЛЕКЦИОНЕР»

Уважаемый мистер Фаулз!

Благодарю Вас за возможность ознакомиться с Вашим романом.

Я считаю его многообещающим — в том смысле, что он может вызвать сильные ощущения у читателей, и поздравляю Вас с тем мастерством, с каким Вам удалось охарактеризовать персонажей на протяжении первой его части.

Не могу сказать, что меня вполне удовлетворяет его композиция: книга слишком отчетливо распадается на две взаимосвязанные, но совершенно различные точки зрения. Мне кажется, столь отчетливое разделение скорее отвлекает читателя от романного замысла как целого, в то же время постоянно удерживая в напряженном ожидании. Но и при этом Вы написали многообещающее произведение, заслуживающее несомненных похвал.

Есть ли у Вас возможность навестить меня? Я был бы весьма признателен, если бы мы могли встретиться и коротко переговорить, прежде чем я разошлю текст издательствам.

Если Вы профессиональный романист, я, возможно, предложил бы Вам внести некоторые коррективы, с тем чтобы переживания обоих персонажей предстали в перекрестно-монтажном виде; не исключаю и большего: преобразовать вторую часть Вашей книги в новую первую. В то же время я вполне сознаю, что перспектива подобной масштабной переделки может не вызвать у Вас одобрения; в любом случае никогда не знаешь, не принесут ли подобные изменения задним числом разрушительных для авторского замысла результатов.

Как бы то ни было, прошу Вас приехать ко мне, буду очень рад с Вами познакомиться.

Искренне Ваш,

Джеймс Кинросс,

директор и литературный агент[683]

18 мая

Отправился повидаться с м-ром Кинроссом в его просторном офисе с большими светлыми окнами в мансарде дома на Графтон-стрит. Встреча чем-то напоминала сеанс психотерапии: так много комплиментов, что я не в силах был сдержать улыбки от удовольствия, — сознавая всю нелепость происходящего. Кинросс — эдакий либерал-тяжеловес, добродушный слон или морской лев, вышедший из стен Итона. Невозможно понять, что скрывается за всем его многословием, похвалами, уклончивостью: проницательность или бездонное пустозвонство. Честно говоря, не знаю. Возможно, первое. Мне он очень понравился. Понравилось, когда он сказал:

— Стивен Спендер. Не выношу этого сукина сына.

За самодовольство, я думаю.

Бульвер-Литтон[684] «Пелэм» (1828). Ужасно плохой плутовской роман, полный неправдоподобных поворотов, скользких обобщений, французской болезни и всего того, что гниет в мусорном баке литературы. И все-таки продолжаешь его читать. В нем есть жизнь, быстрый и упругий повествовательный ритм. Его, как и не очень хорошие американские фильмы, выручает скорость. Как и роман Эмиса. Кингсли Эмис — Бульвер-Литтон нашего времени.

21 мая

Уважаемый мистер Фаулз!

Весьма признателен за Ваше письмо от 20 мая.

Можете быть спокойны, что Вашу книгу (сегодня она уходит в издательство «Кейп») издатели получат под Вашим новым псевдонимом[685].

Я был чрезвычайно рад с Вами познакомиться и с нетерпением жду другого произведения, о котором мы с Вами говорили. Непременно доставьте нам еще один экземпляр «Коллекционера». Возможно, поступят предложения об экранизации. Искренне Ваш,

Джеймс Кинросс,

директор и литературный агент

24 мая

Из Лаоса вернулся Денис Шаррокс. Не изменился, выглядит даже чуть моложе. Я обрадовался ему, ведь в отсутствие старых друзей забываешь об их недостатках. Он всегда, или почти всегда, играет какую-нибудь роль; с ним никогда не удается добраться до сути. Рассказывает забавные истории о Лаосе и Карачи, точно и умело воспроизводя местный выговор. Очень быстро соскальзывая в свое дежурное «я» маску северянина, не доверяющего югу и порядком потрепанного жизнью. А также напяливая еще одну не слишком убедительную маску — парня-что-надо, пьющего,

волочащегося за женщинами и ни в чем не знающего удержу. Его ни за что не заставишь всерьез говорить о себе или о чем угодно, кроме книг. И он, и Моника усвоили эту мерзкую послевоенную привычку (она ведет начало с «ООЗ»[686] хотя нет сомнений, что такие разговоры можно было услышать еще в первой актерской гримерке) обессмысливать все искреннее и серьезное, пряча в кокон вызывающих смех акцентов. Таков общепринятый сегодня способ скрывать, во-первых, нехватку ума, во-вторых, черствость сердца. Если вы не в силах поддержать разговор на требуемом интеллектуальном или эмоциональном уровне, просто начинаете гнусавить, сводя его содержание до полнейшей глупости.

Это всего лишь незначительные дефекты натуры Дениса, остающегося, как мы до сих пор *ощущаем*, обаятельным и по сути приветливым фланером по жизни. Он по-прежнему тонок и во многих жизненных мелочах проявляет себя прекрасным дипломатом. У него, должен признать, дипломатичность кажется добродетелью качеством, заслуживающим похвалы. Даже то, что он порой переходит на смешной говор, возможно, свидетельствует о такте: он не хочет, чтобы Моника чувствовала себя отчужденной.

Что до Моники, то мы оба пришли к выводу, что не выносим ее. Элиз называет ее наседкой. В обществе Дениса она ведет себя раздражающе ребячливо. Все время кудахчет, воркует и мяукает, как избалованный котенок. Дуется на нас и на разговоры, которые мы ведем. Ей недостает культуры; в результате она ненавидит культуру. Само ее присутствие окисляет атмосферу; ее непреоборимая решимость страдать и выглядеть страдалицей с назойливостью требует аудитории. На самом деле есть в этом что-то свинское. Глубоко эгоистичное.

«Реквием» Бриттена. Величайшее свершение в британском искусстве с 1922 года. (Когда вышли «Бесплодная земля» и «Улисс».)

Все, что сегодня налицо, — *выжившее*. (То, что не выживает, не имеет голоса. Я имею в виду: мир, в котором мы обитаем, — по большей части выживший мир и все наше искусство сотворено выжившими.)

3 июня

Впервые после 1955 года перечитываю «Остров и Грецию»[687]. Ужасно, по большей части. Резонерство, беллетристичность, дикие несообразности в том, что касается вымысла и диалога. Неудача, во-первых, потому что это ни рыба ни мясо (и не Фаулз): переходы от путевых заметок к вымыслу смехотворно неуклюжи; во-вторых, это была попытка уместить все на свете в маленькую сумочку Во многом я долгое время жил

впечатлениями этих двух лет (отнюдь не чувством собственного успеха; я имею в виду совсем другое): просто это была необыкновенно обильная пища. До сих пор не переварил ее до конца. Смешно было даже пытаться сделать это так быстро.

11 июня

Фрэнсис Бэкон в галерее Тейт. Любопытный пример озарения, видения мира, побеждающего все вокруг. По всем живописным меркам он далеко не лучший из живописцев; это очевидно. В нем нет ничего изящного. Чувствуешь, как он царапает и мажет, вонзается кистью и режет, пока чего-то не добьется; и, похоже, правда, что он многое уничтожает. Осечек на его пути, должно быть, немало. Чего у него не отнимешь, так это блестящего умения опускать ненужное и выбирать центр (опорную точку) картины. Его «видение» — страх перед человечеством и человеческой плотью. Пустота человека; низменность человека; низменность плоти. Двое нагих мужчин, насмерть схватившихся на постели; распятие человеческой туши. Думаю, если его манера не изменится, репутация поблекнет. В его взгляде на мир слишком много экспрессионистски-декадентского (Германия 1930-х годов). Добровольное тяготение к извращенному; взрезанное чрево. Я хочу сказать, он не творец, а очевидец. Гойя, не создавший ничего другого, кроме офортов.

19 июня

Майкл Шаррокс. Мальчики в его начальной школе (Крайст-черч-Хилл) разделились на две соперничающие группы. И все свободное время дерутся друг с другом.

— Вы разве не играете?

— Мы деремся. Играют только девчонки.

Любого, кто отказывается влиться в ту или иную группу, постоянно задирают и избивают. Майклу ни та ни другая группа не нравится, но он думает, что, может быть, вступит в какую-нибудь — «на пару дней». К вопросу о природе микрокосма!

«Любовь… любовь?» Стэна Барстоу. «Как Золя», — гласит аннотация на обложке. Но все эти романы о провинции на самом деле — полная противоположность Золя во всем, кроме реалистических деталей. Золя бесстрастен, его персонажей мы видим, а не чувствуем. Барстоу — сентименталист; иными словами, он, подобно Силлитоу и Брейну, рисует героя, который, при всех своих недостатках, может нравиться. Мне не слишком импонирует эта типично современная особенность — своего рода роман между автором и персонажем (в ней есть нечто нарциссическое); но уж Золя наверняка был бы последним, кто одобрил бы такое положение дел.

3 июля

Уик-энд провели с Поджем в Оксфорде. Эйлин отбыла с четой Толкиенов во Францию. Когда мы приехали, Подж повел нас в претенциозный итальянский ресторан с до смешного высокими ценами и плохой кухней. Зашли в Музей Ашмола. Прекрасные, будоражащие воображение полотна Палмера. Затем, в субботу пополудни, поплыли в «Викторию»[688] с подругой Поджа, миловидной, чуть-чуть эмоциональной женщиной за тридцать. Как и все жители Оксфорда, она чересчур нервная. Пробуешь оценить их по их собственным меркам — чувствуешь себя бесчувственным, толстокожим, а стоит трезво посмотреть на них — увидишь бумажных бабочек, этаких хрупких морских ежей. Красивых, но неживых. Потом мы отправились в Гарсингтон — повидаться с Элизабет[689] и Хейро Ходсоном, пишущим для «Обсервер». Они обитают в коттедже, бывшей пристройке к дому леди Оттолайн Моррелл, через аллею. Пока словоохотливая Э. Мейвор распиналась по части «леди Отти», мне вспомнился Лоуренс и то отвращение, которое он питал к Оксбриджу. А потом, говоря о книге, она вдруг обронила:

— Если написано занимательно, чего еще желать, не правда ли?

В этом-то вся их суть. Занимательность — вот их критерий. Их отличает обостренная мелочная ненависть к чему бы то ни было серьезному — при том, что они любят дать понять собеседнику, что умеют «чувствовать». Ничтожный, достойный жалости народец. Подж подпевает им, делает вид, что во всем с ними солидарен, и при этом ухитряется остаться в стороне — или по крайней мере не смешивать свои оксфордские чудачества с человеколюбием. Хейро Ходсон — слащавый маленький человечек: с кошачьей хитрецой, мурлычущий и при случае показывающий коготки. А его жену отличает тот восторженный энтузиазм, то стремление выпятиться, какие обличают тайное желание стать вровень с мужчиной и при этом остаться женщиной; такие женщины, аспирантки ли, выпускницы ли, в сексуальном плане не обладают ни малейшей привлекательностью. Их выдает навязчивость. Даже тогда, когда, как в случае с Э. Мейвор, то, что они думают, по большей части вполне приемлемо.

Вечер провели в доме Джин Симпсон. Подж сел за пианино, наигрывал мелодии 1920-х годов. Физик-неудачник, без чувства юмора, стеснительный и ненавидящий свою стеснительность. Нелепость всего происходящего; и сам до нелепости глупо, как теленок, втюрился в Дж. Симпсон.

Едем на машине в кладбищенски мрачную гостиницу «Стад-холм прайори». Четверо пожилых постояльцев, странные

одинокие скитальцы, слоняются по газонам. На самом дальнем мы устроили веселое чаепитие, а подавал его полковник в отставке, похоже, воспринимавший необходимость кому-то прислуживать как муку крестную. Недовольный гостями, владельцами, газоном, номерами, деревьями, всем на свете. У этой гостиницы — особый флер, какой бывает у пришедших в запустение старых особняков. Мы смеялись, но в атмосфере витало что-то трагическое, с запахом осенней серы. Затем мы двинулись к небольшому изысканного вида домику — обозреть сад. Чудесный вид на восток через всю Англию, зеленые, голубые холмы, одиноко стоящие вязы, мягкие тона английской палитры под вечерним июньским небом. Владелец (Джон Томсон, Вудперри-Хаус), проникшись к нам симпатией, охотно показал окрестности. Впечатляющий особняк, построенный в 20-е годы XVII века, сохранил все признаки барочной пышности, с поддерживающими карниз модильонами и прекрасным фарфором в каждой комнате.

— Собираюсь отреставрировать сводчатую нишу. Как вы думаете?

Любопытно, как он напоминает Майкла Фаррера; есть в нем что-то от Митфорд. Я читаю «Столпов и бунтарей» Джессики Митфорд. Ее замечание о том, что ее родители пришли бы в изумление, назови их кто-нибудь снобами. «Они никогда не смотрели на людей сверху вниз; они просто глядели вперед». В этом человеке было что-то подобное; общаясь с нами, со скотником, со всеми, он прямо-таки лучился обаянием, и все же — как неизменно бывало с Майклом Фаррером — между ним и окружающими пролегала еще большая пропасть, нежели та, какая могла бы разверзнуться, будь он самым отъявленным снобом. Таких людей нельзя презирать, как презираешь снобов. Их отгораживает от вас уверенность в собственной непоколебимой правоте. Их самосознание.

4 июля

«КОЛЛЕКЦИОНЕР»

Уважаемый мистер Фаулз!

Я уверен, Вы будете рады узнать, что столь долгий период ожидания возымел свои результаты.

Том Мэшлер сообщил мне, что издательство «Кейп» хотело бы приобрести «Коллекционера». Условия таковы: аванс — 150 фунтов, авторские отчисления с продаж — 10 % с тиража 3500 экземпляров, 12,5 % с тиража от 3500 до 7000 экземпляров и 15 % с тиража от 7000 до 15 000 экземпляров. Учитывая то обстоятельство, что издатели опасаются, приобретут ли книгу библиотеки, мне пришлось уступить им десять процентов

прибыли С возможной продажи прав на инсценировку или экранизацию, но в данной ситуации это вполне справедливо, поскольку они гарантируют, что книга получит максимальную рекламу. Как правило, мы не поощряем такие действия со стороны издателей, но ныне художественная литература переживает не лучшие времена.

Я согласился с предложенными условиями, так как считаю, что для Вас весьма выигрышно стать автором, издаваемым «Кейп». У них экстраординарный набор авторов, а стать с первого захода автором первоклассного издательства — поистине достижение.

Позвоните мне, пожалуйста, завтра, чтобы я мог сообщить Вам еще ряд деталей. Том Мэшлер хотел бы встретиться с Вами и обсудить книгу. Я думаю, он Вам понравится.

Мои поздравления! Я уверен, эта новость стимулирует Вашу творческую деятельность.

Искренне Ваш,

Джеймс Кинросс,

директор и литературный агент

Трудно поверить в успех, когда он приходит. И дело отнюдь не в том, что во мне не осталось искорки веры в эту книгу. Но у меня не было веры в литературные агентства и в издательский мир.

6 июля

Встретился с Томом Мэшлером из издательства «Кейп». Неглупый искренний высокий еврей — искренний как раз там, где недостает Кинроссу. В нем нет столько обаяния, но больше правды. Похоже, он считает Кинросса глуповатым («Он, по всей видимости, не понял книги»), но, как он сам замечает, стоит ли ждать от агента большего, нежели обеспечить «стартовую площадку» первому роману. Кажется, Мэшлер настроен оптимистично: по его мнению, роман стоит издать в Америке, у него есть шанс быть экранизированным и даже поставленным на сцене. Но общую литературную ситуацию он видит в пессимистическом свете. Судя по всему, полторы тысячи экземпляров в наши дни — очень хороший тираж для первого романа. За месяц было продано только 1800 экземпляров книги Малкольма Лаури, не так давно поднятой на щит Тойнби[690]. А романы Мердок, выходящие тиражом около десяти тысяч экземпляров, числятся в списке бестселлеров, да и то потому лишь, что она — благополучная провинциальная романистка: ее книги нетрудно понять и они неплохо смотрятся на кофейном столике.

Как и со всеми этими людьми из издательского мира, с

Мэшлером я чувствовал себя и дураком, и мудрецом. Чувствую, что все, что ему действительно нужно, — крепкое, упругое, вылощенное изделие, которое будет хорошо продаваться, войдет в моду. Хороший, проницательный знаток того, что купят сегодня; но вряд ли мне удастся уломать его выпустить то, что будут читать в 2062 году.

8 июля

«КОЛЛЕКЦИОНЕР»

Уважаемый мистер Мэшлер!

Исправления. Вот исправленный вариант. Фрагмент дневника девушки я вставил в рассказ злодея на с. 163 (в то место, где она впервые ощущает, что очень тяжело больна). Переписал с. 397–401, на которых повествование изначально велось в настоящем времени; теперь весь рассказ от его лица выполнен в прошедшем времени, хотя в последнее предложение я вставил слово «сегодня» — чтобы у читателя не возникало сомнений в том, что финал возвращает нас в настоящий момент. Я также сократил на страницу текст на первых тринадцати страницах, как Вы предложили; в результате его речь, несомненно, течет более естественно.

Псевдоним. Я еще раз подумал и решил, несмотря ни на что, выступить под собственным именем. Будь что будет.

Запятые. Вы заметили, что к книге могут быть претензии по поводу неправильной пунктуации и т. п. Это немного беспокоит меня, поскольку я внимательно просмотрел все намеренные ошибки в частях 1,2 и 4; ненормативная расстановка знаков препинания в них сопутствует всему остальному — столь же ненормативному. В части 2, излагаемой от лица девушки, я специально избегал точек с запятой.

Перспективы экранизации. Не знаю, сколь серьезны Ваши намерения и действительно ли Вы предполагаете показать рукопись Карелу Рейшу[691], но я набросал на паре страниц собственные соображения в связи с возможной экранизацией и охотно предоставлю их Вам, если это может помочь делу. Не случилось бы только наоборот!

Почему я написал роман. Боюсь, я невольно способствовал тому, что у Вас сложилось не вполне верное впечатление — о том, что поводом к роману послужил описанный в газете инцидент, произошедший несколько лет назад[692] (между прочим, в прошлом году В Северной Англии произошел еще один аналогичный случай). Однако сама идея женщины в темнице завладела мной задолго до преступления в бомбоубежище — когда мне довелось увидеть «Замок Синей Бороды»[693] Бартока. В любом случае сначала родилась идея и лишь потом — способ

облечь ее в форму. Не могу сказать, что я позаимствовал форму «Синей Бороды», а за-тем долго раздумывал, чем ее наполнить.

Упоминаю об этом, дабы внести ясность: эта сторона романа для меня значения не имеет. Просто на протяжении некоторого времени я искал тему, которая позволила бы мне сделать следующее:

1) нарисовать образ косноязычного и гадкого персонажа в противоположность «положительному» косноязычному герою, который, похоже, занял лидирующие позиции в послевоенной прозе и чье косноязычие подается как венец славы;

2) нарисовать образ умного и способного четко выражать свои мысли героя (именно такой представительницей молодого поколения я вижу Миранду Грей); она определенно лучше, поскольку лучше образованна;

3) разоблачить общество, где деньги заменили мораль, — то есть то общество, в котором мы живем с 1951 года.

И наконец, французскую литературу я знаю гораздо лучше, чем английскую; и почти все романисты былых ли времен или современные, которыми я восхищаюсь, — французы (хотя во главу списка я поставил бы Джейн Остин). Я *чувствую*, что на меня большее влияние оказывают такие авторы, как Жид и Камю, даже Лакло, нежели англичане.

11 июля

«КОЛЛЕКЦИОНЕР»

Уважаемый Джон Фаулз!

Большое спасибо за Ваше письмо от 8 июля и за то, что Вы так быстро внесли в текст коррективы. На первый взгляд кажется, фокус удался.

Рад, что Вы предпочли опубликовать роман под собственным именем. Вы знаете, сколь оптимистично я оцениваю перспективы «КОЛЛЕКЦИОНЕРА», а также Вашей дальнейшей работы. Думаю, в будущем Вы пожалели бы о том, что издали роман под псевдонимом.

Что касается редактуры, то мне действительно кажется, что Вам не о чем беспокоиться. Во-первых, наш редактор очень внимателен к тексту, во-вторых, это Ваша книга, и я обещаю, что мы не внесем в нее никаких изменений, которые Вы не одобрите. Для меня очевидно, что Вы пишете очень точно и продуманно; тем не менее нельзя исключать возможности, что с парой поправок книга станет еще лучше. И это все, что нас волнует.

Разумеется, я действительно намереваюсь показать рукопись Карелу Рейшу, так что, пожалуйста, пришлите мне ту пару страниц, что у Вас есть.

Возьму на себя смелость еще раз заметить, что я чрезвычайно

рад тому, что мы опубликуем «КОЛЛЕКЦИОНЕРА», и с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества.

Искренне Ваш,
Том Мэшлер

Уважаемый мистер Фаулз!

Крайне благодарен за Ваше письмо от 13 июля. Думаю, превосходно, что Мэшлер покажет рукопись Карелу Рейшу. Если она его заинтересует, тем лучше. Одновременно мы направили рукопись в кинокомпанию «XX век — Фокс».

Думаю, Вам небезразлично было бы узнать, что издательство «Кейп» уже составляет договор. Согласно издательскому предложению, половина аванса должна быть выплачена сразу после подписания; однако я настоял на том, чтобы по подписании Вам выплатили 100 фунтов, а остальные 50 — по выходу книги.

Конечно, во всем этом нет ничего из ряда вон выходящего, но мне подумалось, что Вам захочется отпраздновать это событие парой бокалов, поэтому я старался как мог.

С наилучшими пожеланиями,
Джеймс Кинросс,
директор и литературный агент

14 июля

Гостим в Ли. Обычный кошмар: общаться невозможно. Мне все еще не позволяют стать взрослым. А их мирок съеживается: ужасно наблюдать, как он становится меньше и меньше, словно музей, в который никто не ходит. Когда я рассказал О. о «Коллекционере», он, похоже, не ощутил ничего, кроме тревоги и недовольства. Мне, видите ли, стоит «нанять хорошего адвоката»; не отразится ли это на моей работе? А дальновидно ли это? И вот что еще страшно: наружу вылезли все его мелкобуржуазные опасения и ни намека на то, чтобы порадоваться или поздравить. Я заметил, что не хочу, чтобы об этом до времени узнала М. Она лишь растрезвонит новость по всему Ли и испортит все дело. Кажется, он был рад сменить тему и за все выходные ни словом об этом не обмолвился.

Насколько ближе я чувствую себя к римским поэтам (в Ли читал Тибулла), нежели к тем, кто меня окружает. Меня искренне пугает мелочность сегодняшнего мира (я хочу сказать, мое ощущение отрешенности от него). Мелочность моих родителей, тех, с кем я работаю; даже Д. и М. Вчера мы были с ними с баре «Грейпс» в Уэппинге. Моника — в своем репертуаре никудышной провинциальной актрисы: чуть ли не все, что она выбалтывает, только усугубляет нашу усталость. Она примеряет на себя, к

месту и не к месту, разные нелепые акценты и говоры, попутно перепирая ритмику и прочее. Заземляя все происходящее, будто вцепляясь в простыню, чтобы та не надулась воздухом и не улетела.

Думается, это одно из проявлений всеобщей подавленности: люди уже не выдерживают столкновения с миром, просто стоя на собственных ногах. Слишком много повсюду специалистов по всему на свете, слишком много мозговых трестов, «круглых столов», знаменитостей, художников; целая орда интерпретаторов и баловней удачи, жаждущих, чтобы их слушали раскрыв рот. В результате обычному человеку уже не под силу рассмотреть мир сквозь густой туман толкований и мнений, навязываемых обществом. Большинство простых смертных не решаются судить о чем бы то ни было, за вычетом незначимых деталей собственного быта. И приходят в негодование, едва какой-либо другой из простых смертных (я, к примеру) отважится проявить серьезность или высказать собственное мнение. Право на собственное мнение имеют лишь те, кто маячит на телеэкране. Всем прочим остается пребывать в плену самых поверхностных представлений о нашем лишенном глубинного измерения настоящем и лютой ненавистью ненавидеть каждого несогласного с этим.

21 июля

Надеюсь, нам удастся съездить на пять недель в Рим — с помощью подруги Джин Бромли в Св. Годрике. В обществе Д. и М. — отчасти потому, что у них машина, а отчасти потому, что Денис — это Денис. После катастрофического вечера в Уэппинге мы виделись с ним дважды, и оба раза он нам очень понравился. Тихий, простой, всегда сообразный своему возрасту и самому себе. Мы оба думаем, что ему так и не удалось «образовать» (воспитать) М. На днях он заговорил о том, что пора-де «привести свою жизнь в порядок»; эта поза человека, смирившегося со своей неудачей, подчас меня раздражает — хочется взять и хорошенько потрясти его за плечи, — но в ней порой сквозит непритворная грусть. Есть в нем нечто элегическое.

Отпуск в Италии, кажется, устраивается: Денис и Моника, даже Портеры. Все беспокоятся за нас. Это был напряженный, нервный июль. Я не могу спать, не могу сосредоточиться. Сегодня я подписал контракт на «Коллекционера». Но я не могу писать.

31 июля (в Риме)

В Италию с Д. и М., на их машине. Весь этот отпуск организовывался наспех, в последнюю пару недель. То было неясно, окажется ли свободной квартира в Риме, то — сможет ли поехать Д., то — захочет ли присоединиться Подж. До самого отъезда — нескончаемый поток бестолковых писем и телеграмм.

Смутная и довольно нелепая потребность довести до сведения Роя, что мы, все вместе, едем в Рим. Не то чтобы Рою и Джуди не льстило подобное повышенное внимание.

Д. и М. недолюбливают французов и симпатизируют итальянцам. По части шарма и общей благожелательности итальянцы явно превосходят французов. Французские же буржуа отвратительны, мало в чем уступая бельгийским и немецким, но при всем том им далеко до наших английских. Мир журнала «Пари матч», по сути, буржуазный. Как бы то ни было, если говорить о народе в целом, я отдаю предпочтение итальянцам перед французами и думаю, нет, почти уверен, что в этом качестве и те и другие уступают испанцам и грекам (повторяю, как народам). Чего, на мой взгляд, недостает итальянцам — так это твердости и жесткости характера. Им свойственна mollitia — черта, которую словарь определяет как «мягкость, нежность, гибкость, уступчивость, умеренность, чувствительность, изнеженность». Всего этого в избытке в любом уголке Италии; что до твердости, то она не только в доступных каждому памятниках искусства и старины, но и в провинции, в лицах сегодняшних крестьян. И все-таки преобладающее ощущение от этой страны — mollitia. Потрясающая гибкость, проявляющаяся в таких областях, как прокладка дорог, устройство водоснабжения, — во всем, что связано с инженерным делом или проектировкой. Огромное радушие по отношению к иностранцам. Ни малейшего расового отчуждения. Что-то вроде всепоглощающего городского гостеприимства.

Не то чтобы итальянцы не выглядели мужественными и сильными — нет, они столь же сильны, сколь итальянки красивы, и гораздо мужественнее французов. Однако, глядя на них, ощущаешь, что это своего рода формальная мужественность; иными словами, пытаясь уловить в их облике силу и твердость характера, делаешь некое внешнее усилие. И то и другое в итальянцев приходится «впитывать». Сила и твердость не вытекают из их натур как нечто неотъемлемое, как у испанцев и греков, не отпечатываются на их лицах.

Такое впечатление усугубляется и тем, как обособленно от женщин ведут себя на людях итальянцы. Пока первые, из вечера в вечер выходя на passegiata[694], неторопливо фланируют парами, они сидят или стоят, сбиваясь в маленькие однополые группки. Это выглядит театрально, надуманно — как на фоне свободы отношений между полами в англосаксонском мире или Скандинавии, так и по сравнению с тесно приникшими к своим избранникам андалузскими крестьянками или совершенно бесправными в мужском обществе гречанками.

Италия — страна распростертых объятий, слишком мягкая, слишком податливая, на мой вкус. Нельзя сказать, чтобы я сожалел о том, что она существует: как-никак она основополагающий ингредиент европейского бульона. Масло, жир. Но ей недостает острого вкуса мяса или овощей.

Через Сестриере въезжаем в Италию. Просто ужасно, что путешествуешь по стране, на языке которой хоть чуть-чуть не говоришь. Глаз намного опережает рассудок. В итоге — то и дело раздающиеся в машине смешки.

Мы остановились в Пинероло, скучном городишке. Ночь провели в гостинице с балконом, выходящим на рынок. В шесть утра — неразборчивый пьемонтский говор. Завтракаем, и наполовину не разобравшись в меню. Alla milanese[695] означает всего-навсего шницель; как тут не разочароваться.

Итальянская еда, на самом элементарном уровне, гораздо лучше французской. Почти все подают хорошо приготовленным. Но набор блюд слишком однообразен. На пути в Рим во всех ресторанах подают одно и то же.

12 августа

В каком-то смысле Рим разочаровывает. Не знаю почему, но мне он напоминает Джеймсвилль. Пинчио разочаровал меня, оказавшись не той огромной пологой террасой, какую я вообразил, читая Джеймса, а Колизей вовсе не то место, где Хадсон повстречал княгиню Казамассиму[696]. Колизей отвратителен: судя по его ночной вони, это гигантский общественный туалет, кишащий юными фарцовщиками и бродягами. Он — все, что так отвращает в древнем Риме: необозримое давящее здание, просторная пыточная камера в стиле барокко. В нем невозможно не думать о бесконечно страдавших здесь людях и животных — игрушках цивилизации, поглощенной не стремлением к культуре, а жаждой развлекать любой ценой. Убийство и боль как способ вызвать веселость. И омерзительная вульгарность: нескончаемый мир телезрелища, мусорной пьесы, спонсируемой фирмой по выпуску моющих средств, безвкусной, претенциозной, дешевой, фальшивой…

Безобразен и собор Святого Петра, разлегшийся как чудовищный краб и простерший свои колонны-клешни, готовые ухватить тебя и забросить в черную пасть Великой католической лжи. От него веет обманом; если наш главный штаб не меньших размеров, значит, мы правы. Он порождает раскол церквей как сыпь, как аллергию на клубнику.

13 августа

Направляемся в Тиволи. Вид очень приятный, особенно когда поднимаются горы — по мере того как удаляешься на восток от

Рима. Едва минуешь Тиволи, оказываясь на дороге Авеццано, как окрестности становятся прекрасными — дикими, какими они всегда были, населенными крестьянского вида людьми, бедняками. Крутые холмы покрыты низким кустарником; по их вершинам протянулись розовые и светло-коричневые деревушки. Пейзаж зелен и скуден. У Виковаро мы свернули влево и поднялись в Личенцу[697] — чудесную дикую долину, зеленеющую дубами и оливами, виноградниками и огородами; такова тончайшая грань меж природным и возделанным человеком. Почти английские изгороди; ежевика, бриония и лесной орех. Извилистая каменная дорога ведет к живописному городку, раскинувшемуся по другую сторону на самой вершине холма, — эти сабинские городки, как пишет Хайгет[698], «словно пятятся ввысь от долин». Как старые девы, завидевшие на полу мышь. Начисто отказываясь снизойти к низинам.

Вот сабинская вилла Горация[699] («o rus, quando ego te aspiciam»[700]: ну, неудивительно, что ему так хотелось ее увидеть. Как во время оно, стоит она в небольшом фруктовом саду, разместившемся на нечаянной плоской поляне среди холмов, прохладная, тихая, просторная, так контрастирующая с давящими зодческими гигантами Рима эпохи Августа. Изысканное место у подножия сада. Само строение не так уж интересно. «Его» спальня, «его» *триклиний*:, обычные атрибуты патрицианского комфорта. Воображение достраивает очаровательный *нимфеум*: четыре фонтана, цветы, внутренний дворик с колоннами, пруд для разведения рыбы, piscina[701]. Нас сопровождает приятный пожилой экскурсовод — хотя как раз в таких местах видеть его нет желания. Здесь впору бродить весь день, просто наслаждаясь тем, что находишься в тех местах, где жил Гораций. И Меценат, и Вергилий. Присутствие Горация, явственное, близкое, ощущаешь в травах, в атмосфере, в цикадах и огромных рыжих и красных шершнях, летящих на липкие стебли олив; по каменной дорожке спускаешься к источнику Бандузии: струе холодной воды — «potabile та fredissima»[702], подсказывает экскурсовод. Загадочные saxis cavis[703] обретают смысл: вода бьет из кромки узкого одетого мхом горного ледника высотой около десяти футов и стекает крест-накрест тоненькими струйками в маленький, засоренный водными растениями резервуар. Громадные водные чертополохи высотой восемь футов. Здесь буквально ничего не изменилось.

Движемся восвояси; над отсвечивающими темной синевой горами повисла огромная, цвета сливочного масла луна, озаряющая Тиволи, а потом и Рим; таково омерзительное возвращение в 1962 год.

Пропасть между Горацием и его слугами. Их абсолютная неспособность понять его стихи: иначе они бы до сих пор пребывали в мире многоударной народной поэзии, поэзии Плавта и Энния. Их странный римский хозяин, извергающий поток ломаных слов. Его силлабика, наверное, казалась им таким же безумием, как музыка Веберна — автобусному кондуктору в Бэлхеме; чистым сумасшествием. Так что уж если Гораций ощущал потребность отправиться в Рим и в Тиволи, то для того, чтобы быть услышанным; так же и с Марциалом и Ювеналом. Сам выбор слов против воли гнал их в город, который они презирали.

Римское небо на закате. Персиковые, янтарные, лимонные, розоватые тона, сливаясь с синими, дымчато-серыми, тонут друг в друге. В этот момент городу можно простить все. Скользящие летучие мыши и ласкающий понентино[704]. Чем бы без него был Рим, не представляю. Невозможно вообразить. Так что мы в долгу перед городом за этот ветер.

16 августа

Д. и М. отправились обратно в Англию. Не так уж преждевременно, если сказать честно. По отношению к Денису невозможно не чувствовать симпатию и жалость, но быть терпеливым с Моникой нелегко. Ради Дениса мы старались как могли, однако временами равновесие держалось на волоске.

Обычная модель поведения Моники — яростное стремление компенсировать собственный комплекс неполноценности, неизменно приобретающая безобразные формы решимость настоять на своем, принижая мнения других. Ее вечное желание противостоять чему бы то ни было — чуть ли не условный рефлекс; и когда этот рефлекс не дает о себе знать и она соглашается с чем-то, что говорят окружающие, это искренне удивляет.

Денис в силу своей мягкости (она же слабость) не сделал того, что должен был: не сделал ее менее вздорной и неуживчивой. Порою он становился на нашу сторону, но всегда с оттенком самоизвинения, самоосуждения, будто такая демонстрация независимости разыгрывалась специально для нас.

Вот она примется без умолку говорить, повторяя избитые клише, изрекая бессодержательные сентенции; я и Э. просто отмалчиваемся, но Денис — Денис неизменно внимателен: да, да. Да, дорогая. Потворствуя ей и подпитывая снедающую ее ненасытную жажду внимания.

Одна из самых невыносимых ее ролей — роль супруги-маленькой-девочки. Этакой избалованной плаксы: «Я голодна-а, я уста-ала, мне жарко». Иногда нытье продолжается часами, перемежаясь пением фальцетом и постоянными: «Денис, ты

счастлив; ты счастлив, Денис? Хелло, Денис!» (с ланкаширским акцентом).

Она, должно быть, сознавала, что это раздражает: даже Денис подчас начинал срезать ее на поворотах. Но от этого хныканье и киданье Моники из стороны в сторону лишь набирали силу, как и тогда, когда бывало очевидно, что ее кривляние откровенно раздражает и ничуть не забавляет нас. Ей присуще гадкое, почти злорадное стремление гнуть свою линию наперекор мнению других.

Внезапные приступы показной заботы о Денисе: бедный Денис, Денис никогда о себе не думает. Денис так добр, до нелепого.

А ее походка — всегда слишком быстрая, словно она знает, куда идет, и ничто ее не остановит. Широкие бедра неподвижны, а Движения рук слишком резки, из-за чего ее плечи вращаются и раскачиваются. Очень напоминает, как вышагивали женщины — волонтеры ВМС в войну. Прямая противоположность манере двигаться итальянок или легкой английской походке Э. Показной шаг; она не отдает себе отчета, что он делает ее мужеподобной.

Один раз Монике вздумалось отобразить, как ее укачивает в машине — всего лишь потому, что как-то раньше ей сделалось плохо от «Асти Спуманте». Все убеждали ее, что вино нельзя оценивать по одному-единственному случаю, но не тут-то было: она предпочла остаться правой — и больной.

Размолвки со мной: она неизменно принимает меня слишком всерьез и, стоит мне раскрыть рот, делает оборонительную стойку. Раз я заявил, что жизнь слишком коротка, чтобы погружаться в изучение малых культур; она тут же отреагировала:

— Малые культуры так же важны, как большие.

На мое замечание, что катание конькобежцев на замерзшей реке напоминает о всеобщем человеческом уделе, отрезала:

— Я вовсе не чувствую себя конькобежцем. Я знаю, что делаю и к чему стремлюсь.

А когда я заметил, что в развитых странах поведение рядовых людей становится все более и более стереотипным (формируемым под давлением общества), возразила:

— Мне кажется, в рядовых людях нет ничего дурного и все они разные.

Еще она не выносит, когда «ей указывают, что должно нравиться». Только это не вполне естественная неприязнь к тому, что вам диктуют художественные критерии, а категорическое неприятие того, что доставило удовольствие другому. Как будто удовлетворение получаешь от того, что первым заприметил то или иное, а не от предмета как такового. Последнее отчасти не

чуждо и Денису. Колючий провинциальный страх, что с ним ведут себя снисходительно; но, увы, и она, и он принимают за снисходительность самое невинное проявление восторга или желание поделиться им с ближним. Стоило мне похвалить бутылку вальполичеллы (Э. и Денис со мной согласились), как она заявила, что вино — дрянь, «самое плохое красное вино, которое мы когда-либо пили». И она, и Денис буквально воспаряют, как только речь заходит о еде и винах.

— Слава тебе Господи, у меня дурной вкус, — сказал Денис в другой раз. — Все, что мне нужно, — это вино, которого можно много выпить.

Этот абсурдный провинциальный взгляд на все напитки как на чистый алкоголь.

И наконец, акценты: стоит М. почувствовать, что почва уходит из-под ног, как она прибегает к этим омерзительным акцентам. А Денис ей подпевает.

Несчастье Дениса — в его действительно не знающей пределов мягкотелости, безнадежном благоговении перед жизнью, неспособности уничтожить что бы то ни было, хотя бы осу. Вот он, обезумев, мчится на машине по дороге из поместья Горация, потому лишь, что следом за нами несколько ярдов пробежала отощавшая собака, рыщущая в поисках пропитания. Впадает в уныние при виде лягушки, нырнувшей из моих рук прямо в недра горячего автомобильного мотора. Спустя миг она выскочила наружу, живая и невредимая, но он все равно не может прийти в себя.

То же нервическое состояние, когда Э., вспылив, отошла в сторону; его это расстроило гораздо сильнее меня. Забавное выражение насмерть перепуганного белого мальчика, хныкающий смешок.

— Она совсем как львица в клетке, — говорит. — Хвостом по земле хлещет.

Хныканье, хныканье.

Этим и воспользовалась Моника, вцепившись в него железной хваткой: стоит ей всего лишь напялить маску маленького раненого зверька и заговорить жалобным голоском, как он оказывается на коленях. Дениса без остатка затягивает в ее убогий жалкий мирок с его провинциальными запретами и мелочностью. Он так слаб, что вместе с нею тонет в трясине.

Ужасный брачный союз осьминога с пловцом, как нам представляется; беспощадная игра на чувстве вины.

Мне хотелось показать им обоим то, что я написал об этой поездке (речь, само собой, не об этой оценке их двоих и их поведения), ибо написанное слово побуждает задуматься.

Надеялся, что это может подтолкнуть самого Дениса начать писать. И чуть-чуть расшевелит ее совесть. Но в итоге позволил Э. отговорить меня: она полагает, что М. «просто рассмеется и начнет читать текст с акцентом». Мне это без разницы. Человека не могут ранить те, к кому он не питает ни малейшего уважения. Хотелось бы также показать Д. переводы Катулла, которыми я занимаюсь; но мы не говорим с ним ни о моих писаниях, ни обо мне. В последние дни я ощутил это очень отчетливо и временами злюсь: с какой стати всегда приходится говорить о Денисе и его прошлом, сто видении прошлого и о том, за что и почему он испытывает чувство вины, — что, в конце концов, за ребячески обидчивая эгоцентричность? С какой радости все позволяют Денису на людях углубляться в нюансы самого себя? А как насчет меня?

Но потом я вспоминаю, что надо «соблюдать правила игры». Образно говоря, я выиграл первый гейм, и это оказалось шоком — очередным — для Дениса и его жалких мечтаний. Знаю, мое бренчание на машинке, обыкновение рано вставать и нелюбовь к сиесте (он спит день напролет) порядком его раздражают. А привычка говорить о себе — в каком-то смысле его последнее убежище.

Любопытно: круг, из которого он вышел, — интеллектуалы из Саутпорта, целиком погруженные в себя и собственные помыслы (их главное развлечение — говорить о том, что они хотят сделать и почему этого еще не сделали — или вовсе не сделали), и все они боготворят собственных матерей. Что страшно не по-мужски, во всех смыслах слова. В этом отношении они похожи на Д.Г. Лоуренса, обостренно ощущавшего атрибуты мужественности (вождение машины, пристрастие к выпивке), но позволившего стреножить себя толпе деспотичных женщин, только и ждавших, чтобы их отрезвили пощечиной. На самом деле в них есть что-то глубоко асексуальное.

Повышенный интерес к собственному «я» проистекает от их подхода к внешнему миру — подхода туристов; они — люди с головой, вмещающей лишь малую толику информации. Сталкиваясь с необходимостью воспринять таланты других (иными словами, большое искусство), они испытывают приступ тошноты. Им нужно сесть за столик в кафе и внимательно проанализировать собственные ощущения. Что угодно, только бы избежать необходимости общаться и получать удовольствие от общения с другими, созерцая созданное кем-то еще.

Провинциал — тот, кто боится других и другого. Тот, кто наслаждается предметами внешнего мира лишь в той мере, в какой они служат зеркалом ему самому. Вот почему Денису

понравился Донателло и привел в замешательство Микеланджело. Эффект, который производит пристальный взгляд на творения Микеланджело, заключается в том, что тот, кто склонен видеть в них зеркало, видит маленького-маленького посетителя: провинциала в подобающем ему масштабе.

Такое отношение в корне чуждо дзэн-буддизму. Слушать, как другие описывают чайные листья на дне чайника, — это, в их понимании, дзэн. Кошмарное европейски-провинциальное превратное понимание слова. А я не мог ничего сказать, ибо это опять выглядело бы так, будто старый умник Джон пускает пыль в глаза. А Денис — ему всегда необходимо показать, что он тоже образован: стоит мне сказать что-нибудь о латинской поэзии, как и он чувствует потребность высказать собственное мнение; и начинается ежевечерний турнир.

Он всегда помогает дамам подняться по ступенькам, выдает им информацию о предметах старины, излагает свои клишированные взгляды, фрагменты того, что прочел. Все это неправильно. Сами по себе памятники важнее. Я хочу сказать, если вы знаете о чем-то, вы цените их плюс собственное знание; но из этого не следует, что памятник, не обремененный вашим знанием, доставит вам меньшее удовольствие. Это в точности то же, что со ступеньками: помогая дамам подняться, вы заставляете их поверить, что сами они взобраться наверх неспособны. По сути, весьма сомнительное благородство — превращать реальных женщин в мифических дам.

Все это жестоко по отношению к Денису. Ибо мир знает много-много времен, в которые его мягкость, обходительность, ненависть к любым проявлениям жестокости или насилия, публичным ли, приватным ли, предстают редкостными добродетелями. И из всех, кого я знаю, он оказался бы в наименьшей степени неуместен в ряду апостолов на картинах Фра Анжелико; он пришел бы в ярость, если сказать ему об этом; но есть в нем задатки святого. В том, что он таков, его трагедия; а в той жизненной ситуации, в какой он оказался, уподобляться святому — значит разбрасывать по ветру годы осмысленного существования.

Сижу рядом с двумя молодыми итальянцами — очень красивыми юношами в форме, возможно, курсантами офицерского училища. За ними — четыре девушки-англичанки: туповатые молочно-белые физиономии, гладко причесанные волосы, говорят без умолку — явно обитательницы лондонских предместий, пытающиеся произвести впечатление благородных. Один из итальянцев вступил с ними в беседу. До чего нелепо выглядит этот контраст между хорошо сложенным смуглым

юношей и суетливыми хихикающими английскими машинистками в отпуске.

Созерцать эти белые, невзрачные создания после сексуальных, загорелых, неподдельно женственных итальянок равнозначно шоку. Они соотносятся друг с другом, как скисшее молоко с кофейными сливками.

* * *

Весь день гуляем по древнему Риму. Безобразный, жуткой белизны памятник Виктору-Эммануилу — не самое ли впечатляющее свидетельство ничтожности националистического искусства?[705] За ним — роскошная и безмятежная Пьяцца ди Кампидо-льо; и вновь статуя Микеланджело, массивная, но мускулистая, предельно величественная и предельно человечная.

Вид на Форум, на Палатинский и Авентинский холмы с высоты Капитолия.

Потом сам Форум и Палатинский холм. Зрелище поистине пугающее: исполинская цивилизация, низведенная до парка с руинами; кости гигантского ископаемого. Здесь не ощущаешь ни ностальгии по этрускам, ни грусти, только какой-то меланхолический трепет. Здесь намного красивее, чем я ожидал, особенно глядя с Палатинского холма, однако понимаешь, что это — сердце Рима, и оно мертво. Прошлое реальнее настоящего, и хотя это прошлое может вызывать уважение (оно — огромная часть европейской души), любить его невозможно. Не можешь отделаться от убеждения, что весь древний город явился невероятным капризом, ошибкой истории, за которую мы до сих пор расплачиваемся.

На всем: на обломках кирпича и мрамора, на огромных зонтообразных соснах, кипарисах, на увядшей траве — подрагивает отблеск ясного тающего света, особенно осязаемого в предвечернюю пору; небо — оттенка не подвластной времени нежности: античная голубизна.

Живописность римских развалин — отнюдь не фигура речи. Живопись на каждом шагу. Стены, аллеи, купола, арки, кубы — все пронизано безоблачным небом, тенью, землей, светом солнца. Целая азбука абстрактных архитектурных форм.

Единственный цветок, какой встречаешь в это жаркое время года, — розово-синий и белый зверобой, бойко пробивающийся из сухих стен.

Были мы и на древней Аппиевой дороге, производящей то же впечатление рухнувшего грандиозного замысла: руины на фоне

исполненного благородства пейзажа. Ее вид не трогает; смотришь — и остаешься равнодушным.

Вспоминая наши прогулки, удивляешься тому, как мало видели Д. и М., когда были здесь; целая неделя бесконечных шатаний по окрестностям, а Моника все время стирала. Они — жертвы своего автомобиля; колесо буквально подмяло их под себя.

Домициан. Весь мрамор в его необъятном дворце должен был быть отполирован как стекло: так он мог видеть, что творится за его спиной.

20 августа

Приехали Подж и Кэти. Мы ждали их с нетерпением, а теперь разочарованы. В Подже есть нечто от старухи: бесконечные хлопоты о мелочах, не стоящих беспокойства или даже секундной мысли, эдакий horror silentiae[706] — непрестанное придумывание незначительных дел, того, что нужно подготовить, спланировать, обсудить, обусловить, так что в итоге минуты, когда он выбьется из сил и умолкнет, ждешь как глотка воды в несусветную жару.

Подобно всем нетворцам, он превращает собственную жизнь в замысловатое произведение искусства, которое создает у всех на виду, пытаясь разместить окружающих вокруг себя, как звенья зубчатого колеса.

Вот головокружительная бездна, которую я ощущаю между собой и нетворцом. Она имеет мало общего с процессом публикации. Это чувство жило во мне всегда. У меня нет потребности творить каждый день, каждый час в том смысле, в каком, похоже, это необходимо Поджу и Денису. Обычный день — это день, через который нужно пройти, который нужно как-то пережить; ведь реальна не жизнь, а творчество.

Кэти выглядит (хоть и не является) подростком бунтарского склада, склонным к отчетливому самоутверждению; у нее красновато-розовое личико, зеленые глаза и нетрадиционный, но быстрый ум под копной волос в русалочьем стиле.

Утром мы отправились с ними смотреть Пантеон, еще один шедевр римского зодчего. Он заслуживает восхищения, но в душу не проникает.

Пьяцца Навона — площадь, выдержанная в строгом геометрическом стиле, вытянутый четырехугольник с фонтанами Бернини. Бернини — мастер добротной садовой скульптуры; он выигрывает, когда его творения не воспринимаешь слишком всерьез и не разглядываешь деталей. Тут же обветшавшая барочная церковь Борромини: сплошная показуха.

Вилла Адриана[707]. Едва начинаешь пресыщаться Римом, он ошарашивает новым чудом. Вилла во многом похожа на

Палатинский холм: испытываешь чисто пуританский шок, открывая, сколь огромна она была во время оно, со множеством рабов и бесчисленными статуями, добытыми из разных стран «способом Геринга», и т. п. Но отдельные ее части так прекрасны, что об этом забываешь. Ведь дай нам волю, мы бы все зажили как наиболее достойные из римских императоров (а может быть, и как не столь достойные). Мне и Э. больше всего пришелся по вкусу Канопус — удлиненное озеро с рядами статуй по берегам, двумя лебедями и неповторимой классической тишиной. Подобно лучшим из священных рощ, оно уносит вас от житейской суеты, погружая в собственную безмятежность.

На вилле Адриана, как и в Domus Aurea[708], возникает ощущение упавшего на землю метеора. Ощущение головокружительного падения сквозь время. Снова и снова во дворцах императорского Рима и ренессансных палаццо (равно как и в лучших британских загородных особняках) меня посещает чувство, что придет день, когда нечто подобное произойдет и с нами (людьми). Мы придумаем, чем заменить рабов. Резко сократим численность населения на земном шаре. Но зато все заживем в собственных Канопусах и Серапеях[709], золотых дворцах и водных садах, где, не ощущая чувства вины, будем вести образ жизни былых императоров.

Разумеется, императорский образ жизни нельзя ничем оправдать; но именно в силу того, что в нем проглядывается проблеск совершенного способа существования, он кажется и неодолимо притягательным.

Подж: его необычайная лихорадочная неугомонность. Хотя она порядком раздражает нас (и Кэти), но, по сути, заслуживает скорее сочувствия, нежели брюзжания. Он словно не может вынести обращенного внутрь себя взгляда, ни минуты тишины, ни остановки на мгновение. Все время что-то организует, моет, прыгает, опорожняет пепельницы, выбрасывает крохотные обрывки бумаги, зачитывает фрагменты того, что у него перед глазами, заводит новые предметы разговора, впопыхах бросая старые. Против этого нечего было бы возразить, раз уже это ускоряло бы ведение дел, но он тратит уйму времени, обсуждая то одно, то другое, выдвигая новые предложения, заявляя, что сделает то-то, и в последний момент передумывая; выписывая восьмерки, как конькобежец на пруду, он скорее тормозит, нежели ускоряет процесс. Даже его треволнения по части того, что надо купить, что вымыть, в итоге кажутся не более чем предлогом для пустопорожней болтовни, маскировкой, призванной создать иллюзию бурной деятельности.

В основе этого, очевидно, лежит что-то вроде внутренней

одержимости; на мой взгляд, отчасти он так действует из-за Кэти. Э. думает, что это сексуальная сублимация; вполне возможно.

Мне кажется, дело обстоит еще печальнее: налицо попытка убедить Кэти и Эйлин, что без него они бы пропали. Кэти его суетливость затрагивает непосредственно: он постоянно указывает ей, что делать, чего не делать. И, что еще непростительнее, что ей должно — или не должно — нравиться. Так, Подж урезает время всех музейных экскурсий («обежим за полчаса», «по мне, здесь нет ничего интересного» — последнее он изрек, стоя у стенда с открытками у входа в Капитолийскую пинакотеку). Бедная девочка боится проявлять интерес и в то же время явно интересуется. Для своих лет она на удивление проницательна и сообразительна, хотя — что, впрочем, типично — не спешит демонстрировать свои мыслительные ресурсы. Очаровательное, но непроницаемое существо: чувствительное, нежное, но с предостерегающими зелеными глазами. Noli me tangere[710].

Энергия П. выливается и в живописание подробностей, какими он ныне в избытке уснащает собственные россказни, стремясь сделать их длиннее, расширить испытательное поле. При этом он уже почти не слышит окружающих: случается, повторяешь ему полдюжины раз то-то и то-то, а он тут же забывает, потом переспрашивает, и уже по тону вопроса становится ясно, что суть дела его вовсе не волнует и вопрос-то он задает затем лишь, чтобы прервать ненароком воцарившееся молчание.

Собор Святого Петра. Сегодня мы зашли внутрь и убедились, что его внутреннее пространство ничем не лучше наружного. Апофеоз барочного позерства — и буквально ни одного достойного произведения («Пьета» Микеланджело не экспонировалась), которым можно было бы оправдать его. Собор представляется мне абсолютно мертвым зданием; гробницей, а не храмом. И десяти тысячам соборов Святого Петра не сравниться с Шартрским собором или даже Уэльским.

Постановка «Аиды» в термах Каракаллы[711]. Грандиозное зрелище, стопроцентно римское во всех компонентах. Абсурден сам его замысел. В картине торжественного шествия на уже переполненной сцене появляются целые полки статистов: в результате к концу по ней церемониальным маршем проходят то ли две, то ли три сотни людей и четыре лошади. «Браво, браво!» — восклицают итальянцы, завидев лошадей; и позже, когда у подножия храма в лунном свете появляется живой верблюд; и еще позже, когда под звуки контрабаса Аида картинно падает на колени. Тут срабатывает не музыка, a grand coup de theatre[712].

Итальянцев во всех видах искусства отличают широкие жесты. Барочность, роскошь, масштабность. У них нет представления о греческой форме, о свойственном французам чувстве фактуры или о британском недоговаривании. (В этом смысле Шекспир, Диккенс, Эмилия Бронте — «итальянцы».)

Считается, что они сильнее чувствуют жизнь; но я думаю, они не чувствуют ее вообще: жестикуляция — суррогат чувства, отчуждающий от истинного переживания. Быть может, поэтому они — такой «солнечный», не затронутый неврозом народ. У них никогда не бывает избытка накопившихся внутри эмоций, не возникает нужды стряхнуть чувственное наваждение; они задумываются лишь о жесте, который должен воспоследовать.

Субиако. Очень милый городок в горах. Прогулялись к двум монастырям бенедиктинцев. Остальные свернули назад после первого, я же двинулся к Сакро спеко[713]. Изящные фрески, монахи служат вечерню сначала в нижней церкви, потом в верхней. Необычные изображения Смерти, сидящей верхом на коне и пронзающей длинным мечом шею молодого охотника. На противоположной стене — едва скончавшаяся юная девушка в гробу, сквозь нежную плоть уже начинают проглядывать кости; далее — она же в виде скелета. Самое сильнодействующее memento mori, какое запечатлелось в моей памяти. Под козырьком двора — нахохлившееся воронье. Священный розовый куст: стремясь к умерщвлению плоти, святой бросился на куст шиповника, но тот тотчас же зацвел розами. Два монаха, пожилой и молодой, выходят из церкви после вечерни: старший пеняет младшему на то, что он рассмеялся во время службы, младший указывает на что-то на фреске, что якобы отвлекло его внимание. Как обычно, я почувствовал острый укол зависти к монашескому образу жизни, к его простоте, дисциплинированности и, самое главное, уединению.

В этом монастыре, этом ласточкином гнезде, уединение поистине райское. Вверх через рощицу падуба по краю зеленой горной долины с ручьем в самом низу ведет тропинка; сужаясь, она сменяется узким пролетом каменных ступеней, спиралью огибающим откос скалы; по ним поднимаешься к небольшой готической веранде, с которой открывается вид на долину. На внутренней стороне стены — несколько превосходных фресок в стиле Перуджино.

Вечером — обратный путь в Рим: длинные зеленые долины, деревушки на холмах, осины, небосвод, от мягчайших голубых тонов переливающихся в янтарно-розовые.

6 сентября

Отбываем домой. Всем, кроме меня, уезжать было грустно, а я

был рад. Не то чтобы мне не понравился Рим и путешествие по Италии, но целых пять недель, когда всерьез не пишешь и не размышляешь, а только смотришь вокруг, перемещаешься, общаешься, — я был рад, что этому приходит конец. Уже за пределами Рима, с плачущей Э. в коридоре вагона, мимо лежащей на холме Тарквинии мы переносимся из знойной, золотой Италии в зеленеющую, пахнущую апрельским утром Францию; два часа, кратких, оживленных и насыщенных, так приятно контрастирующих с римлянами и Римом, проводим в Париже, а затем садимся на пароход в Булони и через пролив направляемся в сумрачную Англию. До дому добираемся около десяти вечера.

Мне больше не доставляет удовольствия путешествовать: в поездах плохо кормят, в копеечку обходятся носильщики и все прочее; международные поезда — лишь сети, в которые проваливаются деньги; а туристы и путешественники — легкая добыча для всех, кому вздумается облегчить их карманы.

Вновь столкнувшись с Англией и англичанами, испытываю некое подобие шока. Давно уже я не чувствовал столь отчетливого отчуждения от этой земли и этих людей. Они для меня чужие, оттого и земля кажется чужой. С британцами невозможно нормально общаться, говорить что думаешь на языке, на котором думаешь: неизменно приходится осуществлять молниеносный перевод с английского на «британский», на то, что принято, и на то, что от тебя ожидают. Поэтому общения не происходит: сталкиваясь с Британией как она есть, можно лишь наблюдать и ненавидеть или презирать ее.

Во всех странах Западной Европы ныне царит беспросветный эгоизм; все они богаты и помешаны на том, чтобы получать удовольствие от жизни. Ненавидеть эту страну за то, что она так тяжеловесно эгоистична, так озабочена мелочным процветанием, неразумно. Быть может, рождающееся сегодня в мозгах самых нерассуждающих масс чувство, что все не так благополучно, как кажется, — здоровый знак. Но, возвращаясь в Англию из Италии, воспринимаешь его прежде всего как ужасающее отсутствие стиля, почти тотальную неспособность придать собственному существованию органичную форму, отобразить собственную тягу к жизни на канве повседневности. На фоне других стран британцы выглядят как толстая очкастая девчонка с одутловатым лицом, приглашенная на общеевропейское торжество.

Это ужасающе торопливое бегство англичан к родным пенатам: можно подумать, что они так рады вернуться восвояси!

Британцы образца 1962 года, кажется, все еще верят, что Британия — лучшее, что есть на белом свете. Что она чище, обходительнее, честнее, цивилизованнее. Ранее я замечал, что

итальянцы — не что иное, как масло или жир в европейском бульоне; в таком случае британцы — просто вода.

В Риме нам довелось прочесть занятную книжку — запрещенное в Англии сочинение бывшего лакея «Моя жизнь с принцессой Маргарет»[714]. Написана она (вполне возможно, кем-то другим) надоедливым, словно вывернутым наизнанку языком; автор предстает перед читателем как вуайер или фетишист. Он постоянно прибегает к оборотам речи — и в особенности эвфемизмам, — какими я наделил своего злодея в «Коллекционере». Снова и снова он, то превознося до небес, то самодовольно ухмыляясь, описывает выходки избалованной девчонки королевской крови, за которые любому порядочному человеку впору предать ее презрению; и весь ужас не в том, что это делает он, а в том, что миллионы глупцов обоего пола по обе стороны Атлантики, без сомнения, думают точно так же. Эта ничтожная книжонка написана не одним человеком, а всем обществом.

Путти. Мы купили эту фигурку на виа Номентана в память о нашем отпуске. Работы XVII или XVIII века, раскрашенное резное дерево, с серо-черными глазами, розовыми щечками, крохотным пенисом и очаровательной лукавой, но безмятежной улыбочкой.

11 сентября

Что означает «подлинное» в понятии «подлинное “я”»? Подж на людях намеренно акцентирует свои чудачества и капризы, пытаясь представить их как собственную «сущность»; таким образом ему удается игнорировать свою непоследовательность и смену настроений. В глазах окружающих он пытается сойти за веселого, расторопного, занятого Поджа, делая вид, что «веселость» — не заемная личина, не защитная маска, а подлинное содержание его натуры. Что до меня, то я, с одной стороны, слишком ленив (и труслив), чтобы проявлять собственное «я», а с другой — слишком мизантропичен, чтобы поддерживать на публике другой убедительный образ. Постоянное поддержание убедительного публичного образа, ношение внешней маски приводит к тому, что она становится подлинным лицом человека. Единственный способ обеспечить жизнеспособность своего внутреннего «я» — не наделять публичный образ конкретностью, относясь к нему как к щиту, объекту, к которому подлинное «я» не испытывает ни уважения, ни пиетета; иными словами, используя его как грим, как намалеванную маску. А отнюдь не как замысловатое барочное изобретение. Вокруг такое множество людей, затрачивающих на выстраивание публичного образа столько творческой энергии, труда, сил и обмана, внушающих подлинному лицу, что оно —

отнюдь не подлинное; в результате последнее становится узником, заточенным в замке. На нем ставят страшные эксперименты. И подчас доходит до того, что его обладателю проще умереть, нежели признать, что его подлинное «я» — вовсе не тот искусно оштукатуренный фасад, какой создало его сбившееся с пути сознание.

Подлинное «я» — это «я», более всего ценимое своим обладателем, будь оно внутреннее или публичное.

* * *

Тот, кто любой ценой (или, точнее, ценой обаятельного, но с начала до конца сконструированного — читай публичного — «я») сохраняет «подлинное» внутреннее «я», и становится поэтом. Путь к этому — не мастерство владения словом, но мастерство сохранения собственной внутренней реальности.

17 сентября

Дома. Хлопотливая заурядность.

Представления экзистенциалистов об одиночестве; я ощущаю себя все ближе к собирательному образу персонажа Сартра — Бовуар — Камю. Это ощущение подкрадывается изнутри, подпитываясь обстоятельствами (моей натурой, воспитанием, историей и т. п.), существовавшими и властвовавшими надо мною задолго до того, как я впервые услышал такие слова, как «Сартр» или «экзистенциализм». Но стоит мне запечатлеть это состояние приближения в словах (как я сделал в «Мозаиках» и некоторых стихах недавнего времени), как возникает — или может возникнуть — впечатление, что оно — лишь поза в духе Рокантена[715], напяленная на себя маска. Однако это не так. Но что за невезение — иметь от природы то, что многие присваивают себе намеренно.

25 сентября

Издательство «Кейп» завернуло рукопись «Поездки в Афины». «Рассказчик кажется слишком молодым человеком». Мэшлер думает, что книга может испортить впечатление от «Коллекционера». Tant pis[716]: придется положить рукопись в долгий ящик.

Ночь в лихорадке (я простудился): вереница беспорядочных видений, в основе которых загадки психологии личности. Исполненных блестящих прорывов в сферу природы человеческого «я». По большей части в форме натянутых каламбуров, подчас на французском. Окончательно проснувшись, я не смог припомнить ни одного из них, но не мог отделаться от

чувства утраты, какое посещает после таких снов-озарении. Вчерашний сон перенес меня в те внутренние глубины, какие обычно пытаешься исследовать, прибегая к рациональному инструментарию. Странная череда глубокомысленных парадоксов, от которой осталась горстка пепла.

Потом уже не мог уснуть. Кажется, парадоксы группировались вокруг фигуры, чем-то напоминающей героинь Бардо. (На прошлой неделе в «Пари матч» было опубликовано «откровенное» интервью с нею. Я прочел его в воскресенье.) По-моему, растаявшее сновидение отчасти протекало в форме вопросов и ответов между интервьюером и звездой, в которой совместились черты Монро и Бардо. В этом обмене репликами не было ничего отдаленно сексуального: просто высказывания и попытки самоидентификации в контексте навязанной публичности и стремления осуществить свое право на личную жизнь.

Думаю, об этом стоит написать. Тема внезапно показалась весьма содержательной. Она видится мне в форме диалога. Не романа. Или необычного спонтанного романа, если на то пошло. А может, и просто повести.

Все это произошло за ночь до того, как я получил ответ от издательства «Кейп».

30 сентября

Э. и я прошлись по рукописи «Поездки в Афины». С моей стороны было глупостью отдавать ее Кинроссу сразу из рук миссис Ширли. Я так и не просмотрел ее распечатку. Кое-что мы изменили, многое выбросили. Но что касается «Кейп», дело уже сделано. А ведь я просил Кинросса не отсылать рукопись до того, как я просмотрю ее. Так что теперь остается винить и его тоже.

3 октября

Элиз в больнице («Флоренс Найгингейл» в Лиссон-Гроув). Новый хирург, мисс Мур-Уайт, ознакомилась с ее рентгеновскими снимками. Прошлую операцию сделали не так, как следовало; все было бы нормально, если бы ее делала она. Обычные сводящие с ума туманности и недоговорки врачей. Под этим прочитывается, как неосмотрительно мы поступили, согласившись на операцию в государственном медицинском учреждении.

— В госбольницах от простуды лечатся, а не операции делают, — негодующе заключила женщина, лежащая на соседней койке во «Флоренс Найтингейл»; для нее непостижима сама мысль о том, что в рамках государственного медобслуживания можно сделать успешную хирургическую операцию!

Это приводит меня в бешенство. Полагаю, сегодня есть против чего восставать в существующей системе

здравоохранения. Но главный камень преткновения — в умах самих медиков, в той ненависти, что накипает в душе каждого врача против системы, в рамках которой они работают. Порочны сами доктора, отнюдь не идея. Мертвый груз их надежд на то, что система рухнет.

Решение делать операцию приняла Элиз. Сложилась своего рода экзистенциальная ситуация. Иными словами, я чувствовал, что это должно быть ее решение. Это тот случай, когда чудовищно решать за другого человека. Другое «я», «я» Элиз, принимает решение, и оно становится частью ее жизни; принимая это смелое решение, она создает нечто реальное и почти столь же ценное, как ребенок. Мы знаем, что шанс на успех минимален; знаем и то, что, коль скоро он выпадет, возникнет тысяча проблем: с ребенком, за которого заплачена столь высокая цена, un tant attendu[717], будут связаны тревоги и опасения, он будет казаться невыносимо хрупким. Однако одно мы должны знать определенно: не исключено, что ребенка у нас никогда не будет; именно поэтому она решилась сделать операцию. Подчас приходится спрашивать ответа у своей судьбы — да или нет; и если ставки достаточно высоки, ответ приходит. Теперь мы будем знать наверняка.

4 октября

Ужасно; день перед операцией. Я видел ее в больнице. Это небольшое обшарпанное здание — больница для дам высшего сословия; поэтому мы испытываем к ней что-то вроде сочувственной теплоты. Элиз выглядит достойно: в костюме от Шанель и с бусами из красного стекла. Самое болезненное во всем этом — добровольный отказ от здоровья и нормального, активного состояния. Делать это нет необходимости; и все-таки это делаешь. Сидя рядом с ней на кровати, чувствуешь, как в воздухе разлита непривычная аура бренности; и, как всегда, не знаешь, что сказать. Расстаешься с ней на три часа, убивая время до семи, до срока следующего посещения. Лондон и Бейкер-стрит выглядят странно, очень странно: это день всеобщей забастовки железнодорожников. На улицах почти нет прохожих и никакого транспорта; в серо-белом освещении все пусто и мирно, как на фотографиях викторианской поры. Я забрел в галерею Уоллес поглядеть на картины, но, глядя на них, ничего не видел. Зашел в кинотеатр «Клэссик» и посмотрел — кусками — «Трамвай “Желание”», мультфильм, хронику новостей; затем в больницу, к внушающему трепет последнему разговору — такому нереальному, к последним минутам вместе. Последний поцелуй, последние слова, последнее прикосновение, последний взгляд.

Сегодня весь день не мог ничего делать; в 16.15, время

операции, пошел в учительскую выпить чашку чаю, затем вернулся к себе в кабинет и перебирал разные мелочи. Потом отправился домой и принялся перебирать струны гитары. Позвонил в больницу в шесть, но:

— Еще полчаса она будет в операционной.

Невнятно бормочущая сестра-ирландка; казалось, ее заботят не моя жена или я, а телефон, это непонятное изобретение. Наконец в семь отозвался отчетливый английский голос.

— Она (мисс Мур-Уайт) сделала все, что могла. Миссис Фаулз пришла в себя. С ней все в порядке.

7 октября

Подж в Лондоне: навещает Элиз. Вечером мы отправились с ним в дом его матери в Бейсуотере и отужинали в странной большой полутемной комнате на первом этаже. Серо-стальные стены комнаты освещала одинокая лампочка, ввинченная в унылый викторианский канделябр. В сумеречном свете сновали канарейки. С нами был его брат Джеффри, совершенно пустой человек; самый его голос казался условным рефлексом. Отвечает лишь потому, что его спрашивают; от него исходит аура смерти, одиночества и неудачи; а где-то на заднем плане маячит пожилая женщина, его мать. Проживает в этом доме временно, но я почувствовал, что именно здесь его истинное пристанище. У его жены Венди — наследственный сифилис, теперь уже в третьей стадии. Они разведены. Но Венди каждый день звонит Поджу в Оксфорд, а его мать время от времени приглашает ее на чашку кофе. Джеффри талдычит о ней все время, хотя сам обручен с диковатой испанской беженкой. Видя все это, впору загрустить, но это высочайшей пробы Чехов, на соответствующем уровне исполняемый Поджем.

Наконец он в деталях поведал мне о собственных отношениях с Эйлин: о ее отказе от здравого смысла, ненависти ко всему, что для него свято, об ужасной напряженности в Оксфорде, которую ныне ощущает и Кэти. Э. долго убеждала П. обратиться к психиатру, и вот теперь, «дабы обрести спокойствие», он последовал ее совету.

— Мне нужен совет. Я просто хочу понять, как трое таких людей, как мы, уживаются в таком маленьком доме.

Мы вовсе не защищаем Эйлин, с ее острым язычком и по-ирландски вывернутым умом; с ее склонностью бросаться из крайности в крайность и интеллектуальными причудами. Что до П., то он, само собой, наделен рассудительностью бобра, эдакой способностью собирать и складывать веточки и хворостинки, силясь выстроить из них нерушимую рациональную дамбу, — если не принимать во внимание, что и сам он зачастую ведет себя

не слишком рационально, собирая веточки в кучу лишь для того, чтобы создать иллюзию занятости полезным делом. Добавим к этому его полное непонимание сути вещей, приводящее к тому, что все его физические соприкосновения: с едой, разговором, питьем, искусством — не более чем ряд погружений на скорую руку, глотков, забегов. Я как-то дал общую оценку кругу его оксфордских знакомых, заметив, что их язык исключает самую возможность стабильности. Процитировал ему фразу Элиз Мейвор: «Если книга забавна, чего еще желать?» И, конечно же, Подж заметил, что «все мы настрадались, все утратили идеалы и теперь берем от жизни то гедонистическое наслаждение, какое можем себе позволить». В общем, то, что я и сам предполагал. Но ломкие маски неискренности, которые надевает на себя эта маленькая группка, собираясь вместе, и Подж в особенности, кажутся мне опасными игрушками. В машину, ветровые стекла которой сделаны из обычного бытового стекла, садиться нельзя, иначе рискуешь, что в один прекрасный день твое истинное лицо изранят осколки.

На этот раз Подж опять мне очень понравился. При всей своей клоунаде и непоследовательности он остается ярым радикалом. Я разделяю ужас, объемлющий его при виде этого мерзкого общества и мира, в котором мы живем, и, как и он, признаю лишь две достойные упоминания альтернативы ему: сартровскую или марксистскую. Он сказал это нынче утром, а я подумал, да. Да, да, да.

Опять не хватает денег. Снова брезжит погружение на дно. Скоро мы действительно окажемся на мели. Придется мне превысить кредит. В этом году мы немного подкопили на депозитном счету; но откладывать, в любом подлинном смысле слова, сегодня такое же постыдно-невозможное занятие, как и десять лет назад.

10 октября

Мартин Кэмерон. Бедный пожилой шотландец, что весной преподавал у нас стенографию, а на лето уехал на родину, в Глазго, вернулся к нам на этот семестр. Жалкое, бесхребетное существо, слишком мягкосердечное и доброжелательное, чтобы прийтись по вкусу кому бы то ни было, один из тех угодливых шотландцев, что напоминают жидкий чай. Он умер во вторник в Нью-Энде, в час ночи. Его кончина явилась для всех большим потрясением, чем я ожидал. Многие ученицы плакали, особенно гречанки. Он умер совсем один, совсем один, повторяли они. Умираешь всегда в одиночку, заметил я. Но они — им хотелось громких причитаний, хотелось, чтобы семья оплакивала беднягу. Поскольку он был болен, ему помогали женщины из учительской:

старенькая миссис Баррет и душевная Мэрион Сингер; и вот когда он умер, люди почувствовали уколы совести. На фоне уютных маленьких мирков, что мы населяем, его одиночество саднило, как воспаленный большой палец; между тем никто из нас не сделал ничего, чтобы облегчить его участь, пока не стало слишком поздно.

У него была челка и круглое розовое, как сарделька, лицо; тучный корпус; мальчишеская шотландская манера повышать голос, когда произносилось что-то, что его шокировало. Но самым запоминающимся свойством его натуры была необыкновенная незлобивость: женщины окрестили его бабой, но в этом было что-то другое — своего рода невинность. У него ни с кем не было секса, от стакана шерри он хмелел, глаза наполнялись слезами, и он всегда очень по-доброму отзывался о людях. Неудачник, полнейший неудачник, всегда думалось мне; а теперь, оглядываясь на него, я вижу смирение и кротость Христа. Очень робкую, но все же несомненную: il voulait bien[718].

Он был полной противоположность человека двадцатого столетия: ни твердости, ни независимости (хотя он, должно быть, большую часть жизни был одинок), ни упрямого фатализма. Человек, как стакан молока. Вот что осознали люди: человек как стакан молока заслуживает большего, нежели презрение.

Несчастная умирающая старуха в палате Элиз: они отходят вовсе не тихо и не покорно. Агонизирующие пожилые женщины из среднего класса (вроде этих) ведут себя намного хуже, чем их невезучие сестры рабочего происхождения. Те, что лежат с Элиз, вываливают наружу все буржуазные неврозы: «Я не могу, не могу». (У них ничего не болит, детское хныканье просто призвано привлечь внимание.) «Я позову доктора, чтобы он объяснил вам, как правильно это сделать». (Сиделкам.) «Вызовите машину. Я поеду на прогулку». Нелепая смесь иллюзий, обнажившийся костяк изнеженной буржуазии. Избегай любого страдания, держи на расстоянии подчиненных, наслаждайся радостями жизни, хныкай и стращай. Элиз, похоже, не замечает этого, но, на мой взгляд, этой больнице, где действительно лучше кормят и ухаживают за больными, недостает человечности, причем катастрофически. Над каждой палатой бдит бессонный призрак леди, противостоящей женщине как таковой, а за ним — призрак главной аристократической медсестры. Самой Флоренс Найтингейл.

11 октября

Утром отправился в крематорий Голдерз-Грин на похороны бедного Мартина Кэмерона.

Утро выдалось по-шотландски туманное, серое и

безветренное. С разных отделений колледжа нас собралось человек двенадцать. Крематорий — несколько кирпичных корпусов с асфальтированными двориками; дверной пролет выводит на сводчатую галерею, за которой открывается вид на зеленый газон с кустарником. Там мы и остановились, обмениваясь невеселыми шутками, а черная фигура поодаль на виду у немногих собравшихся развеивала пепел по ветру, а затем застыла, будто о чем-то забыв. Надо думать, служитель возносил молитву. Есть в крематории что-то напоминающее образцовый гольф-клуб; в любой момент так и ждешь, что появятся подносчики с клюшками, а кто-нибудь из игроков крикнет: «Мяч!»

Затем мы вошли внутрь и остановились в мемориальном зале. Воцарилось неловкое молчание. Траурные осенние акварели на стенах. Объявления: «Так как нашей молельней пользуются представители всех конфессий, *просим воздержаться* от использования благовоний»; и: «Легкие напитки могут быть поданы в передний двор». Наконец нас провели в малюсенькую часовенку, выполненную в романско-византийском стиле, с кирпичными стенами, дубовыми скамьями и турецкими коврами на вымощенном камнем полу. Потолок цвета яркой небесной синевы подсвечен невидимыми панелями. Вместо алтаря — разомкнутые створки, как на подмостках кукольного театра, обрамленные коринфскими колоннами с колотым цоколем, а в глубине — установленный на платформе из нержавеющей стали гроб.

Пресвитерианский пастор суровым голосом прочел заупокойную молитву Другой служитель жал на клавиши фисгармонии, а в нескольких метрах от нас в заднем ряду как ни в чем не бывало сидел сотрудник похоронного бюро. Что за нелепость эта заупокойная служба, эти возвышенные слова, подумалось мне; внезапно я ощутил всю неуместность собственного присутствия на подобной церемонии. Мы, взрослые люди, собрались и выслушиваем этот вздор…

«Прах к праху…» — это еще я могу принять; и тут пурпурный муаровый занавес медленно опустился меж створками кукольного театра (мне уже слышалось шарканье и шумы за сценой), и гроб исчез.

Вся церемония заняла не больше пятнадцати минут; не смешно ли? Я вздрогнул, услышав, как безутешно рыдает сестра покойного.

16 октября

Полтора часа с Томом Мэшлером. Он все больше мне нравится. Противоположен мне во всех отношениях: экстраверт, débrouillard[719], настырный, ловкий и по-современному трезвый.

С ним я разыгрываю роль мудреца из глубокого захолустья, спрашиваю его совета, что делать дальше. Его рекомендация совпала с моим собственным ощущением: продолжать работу над «Волхвом». Он разговаривал с Карелом Рейшем по поводу «Коллекционера». Обложку рисует Чоппинг, сделавший имя на книгах Флеминга[720]; он — гиперреалист, поверхностность и аляповатость его манеры меня раздражают. Посмотрел и издательскую аннотацию: ужас, тебя словно раздевают догола на людях. Печатают пять тысяч экземпляров вместо обычных трех.

— В июле будущего года в самый раз, — ответил мне Мэшлер, когда я спросил, когда бы он хотел получить рукопись новой книги.

В каком-то смысле облегчение — передышка на девять месяцев. И в то же время скука, ожидание.

* * *

Произведение искусства может быть лишь убедительным, но никак не доказательным. Доказывает наука; искусство убеждает.

24 октября

Кубинский кризис[721]. Любопытно, как мало он сказывается на поведении людей. О нем только шутят. Бесконечные шутки — на занятиях, в учительской.

— В одном сомневаться не приходится: мы доели последний английский завтрак, — заявила одна из гречанок.

Я разъяснил, что эта часть Хэмпстеда оборудована так, чтобы выдержать напор самой сильной взрывной волны; в ответ гомерический хохот. Черно-юмористическое настроение и среди преподавательского состава. Я предложил вывесить объявление: «Ввиду того, что сегодня конец света, завтрашние занятия отменяются». Очень смешно. Однако сегодня утром мой класс углубленного изучения языка вышел из-под контроля: все закричали разом, и в голосах промелькнул отголосок той лихорадочной тревоги, какой в последние дни объяты все и каждый. Иду сегодня ближе к вечеру по Фицджонс-авеню и думаю: вот накатит необъятное тепловое излучение, и все дома рухнут. Не знаю почему, но страшнее всего показалось, что с деревьев облетит листва: ведь ее в любом случае сорвет первый же порыв осеннего ветра. В эти часы конец света оказался совсем рядом. Если мы не погибнем, облегчение будет смехотворным. Думаю, не погибнем, потому что русские всего лишь разыгрывают шахматную партию: Куба — это жертва, за которой таится западня. Но в первую очередь поражает сама гнусность этого мира и то, что за ней скрывается — несостоятельность всех существующих политических теорий, философий, религий.

Отношения между Мэшлером и Джеймсом Кинроссом на пределе.

— Он разносчик. Его дело — торговать из-под полы сигаретами у Бранденбургских ворот, — талдычит Кинросс.

— Он чертовски темнит, — отзывается Мэшлер. — Иногда мне кажется, что он вовсе не представляет, кто вы такой, черт возьми.

Мэшлер намеревается запродать «Коллекционера» издательству «Саймон энд Шустер». Говорит, что не возьмет за это комиссионных, потому что книга ему нравится и вообще он «хотел бы оказать им услугу». В то же время он рассказал о книге издательству «Литтл, Браун», и вот Кинросс отослал рукопись им.

Или думает, что ее туда отошлют. Темнит, как обычно. Все, что нам известно, — издательство находится в Нью-Йорке. Последняя новость от Мэшлера: текст запросят из типографии, чтобы на нее мог взглянуть высокопоставленный представитель кинокомпании «Бритиш лайон».

— Во всем этом много шума из ничего, — замечает М., — но может и сработать.

Мне понятно, что ненавидит в Мэшлере Кинросс, но готов поручиться, что там, где он может продать товару на пенни, Мэшлер продаст на фунт.

31 октября

Дорогой Фаулз!

«МЕЖДУ»[722]

Наконец-то мне выпала возможность очень внимательно прочитать Вашу рукопись, и я опасаюсь, что склонен целиком разделить мнение Мэшлера.

Хотя в ней продемонстрировано незаурядное литературное дарование и есть ряд чрезвычайно удачных мест, я убежден, что ее публикация не пойдет на пользу той репутации, которую — я в этом не сомневаюсь — Вы обретете после выхода «Коллекционера». Честно говоря, думаю, что решение опубликовать это произведение обернулось бы катастрофой. Во-первых, потому, что главная линия повествования слишком слаба, чтобы вытянуть всю книгу, и, во-вторых, потому, что в голосе рассказчика звучит слегка настораживающая naïveté[723], которая — вне зависимости от исходных намерений автора — способна оказать раздражающее воздействие на чувствительных английских читателей.

Я очень надеюсь, что Вы не обидитесь на меня за прямолинейность, если я откровенно скажу, что взгляды Вашего рассказчика вызывают у меня ассоциацию с эдаким политизированные Урнеи Хилом. Не выходите из себя. Я был бы очень плохим агентом, если бы не сумел предвидеть неприязненной реакции какую способна вызвать подобная точка зрения.

Может быть, Вы позвоните мне и мы обсудим это более подробно? Тем временем беру на себя смелость возвратить рукопись, выслав отдельной бандеролью. Думаю, Вам стоит на время отложить ее, ибо на повестке дня есть вещи, могущие лечь в основу более сильного произведения. Что до этого, *не делайте попыток* его публиковать — даже под псевдонимом.

С наилучшими пожеланиями,

искренне Ваш,

Джеймс Кинросс,

литературный агент

4 ноября

Вовсю работаю над «Волхвом». На днях Мэшлер обмолвился об «отсутствии стиля», якобы имеющем место у Грэма Грина. Но на мой взгляд, Грин сознательно пытается подавить стиль как средство самовыражения — иными словами, его стиль про пане как стекло. И мне кажется, это отнюдь не так легко, как думает Мэшлер. Высокообразованным людям (а к таковым, по сути, относятся практически все писатели) почти невозможно устоять от соблазна прибегать к редким или малоупотребительным словам создавать метафоры, выстраивать сложные фразы — иначе говоря, писать «под Джеймса». Перегружать слова собственной эрудицией. С другой стороны, можно писать самым простым языком и эффект окажется таким же: читатель увидит сюжет, цепь событий весь мир книги сквозь стекло, но не прозрачное. Я отнюдь не утверждаю, что стекло с гравировкой (как у Вулф, Джеймса) цветное стекло (скажем, у Фолкнера, Джойса, Лоуренса) или матовое стекло (у повествователя в произведениях школы рабочих романистов) образчики неправильного стиля. Фред в «Коллекционере» матовое стекло. Но мне ближе традиция прозрачного стекла (Грин, Во, Форстер). Традиция Дефо — Филдинга, а не Стерна.

5 ноября

Сегодня пришли две телеграммы: обе с поздравлениями. Одна от Кинросса, другая от Мэшлера. Американское издательство «Литтл, Браун» предлагает за «Коллекционера» три с половиной

тысячи долларов. Если верить Мэшлеру, это намного выше их обычной планки — полутора тысяч долларов. Надо предложить книгу издательству «Саймон энд Шустер» — просто чтобы убедиться, не предложит ли оно больше.

Все это странным образом не волнует — может быть, кажется нереальным? Думаю, черед реального настанет, когда книгу опубликуют. В данный момент меня беспокоит «Волхв»: просто ужасно, как может колебаться оценка еще не завершенной работы. Один день мне кажется, что текст великолепен, другой — что никудышен. Но в целом я счастлив. Будто нахожусь за, а не перед чистым полем. Последние дни передо мной маячит образ топографического упражнения — умения читать карту, а также еще один — образ бега по пересеченной местности. Словно, стартовав вместе со всеми, испытываешь несказанное облегчение, наконец оставшись один. Один в открытом пространстве.

Обложка «Коллекционера» — работы Тома Адамса. Оказывается, я неверно понял Мэшлера. Он сказал: «Как

Чоппинг». Похоже, Адамс не жалует Чоппинга и хотел сделать обложку в стиле trompe-l'oeil[724], дабы продемонстрировать, что способен создавать оптические иллюзии даже лучше Чоппинга. Что и осуществил. Бледно-желтое облако, ржавый ключ, прядь темных волос (причем каждый волосок прорисован отдельно) на фоне пробкового дерева. Издательство «Кейп» в восторге от его работы. Я тоже.

12 ноября

Ли. Здесь все зациклено на деньгах и смерти: говорят только об умерших, умирающих и деньгах, которые от них останутся. Диалоги совсем как у Ионеско. У М. ни с кем не сравнимый талант запоминать абсолютно незначащие вещи — числа, детали обедов, ужинов. Если и впрямь настанет день конца света, для нее он пребудет днем, когда она получила письмо от Хейзел. Она поведала Э. о постигшей Хейзел «трагедии»: каком-то молодом человеке, которого, как она надеялась, та сможет заарканить. Но, видите ли, тот намеревался переспать с ней, а она, неразумная, отказалась. Все это выглядит до ужаса неэмансипированно: прося совета, Хейзел написала М. — и это в наши-то дни, в наш-то век, просто поверить невозможно! Бедняжка так и не смогла освободиться от предрассудков, опутавших затхлый мирок Ли, в котором нет места ничему, кроме холодности и приличий.

* * *

Дж. Лавридж. Сегодня рассказал ему о «Коллекционере». Он воспринял новость на удивление доброжелательно. А потом поведал — к моему величайшему изумлению, — что и сам он поэт. Написал большой стихотворный цикл — в форме сонетов, — посвященный Елизавете I.

— Один из них я прочитал другу, и тот разрыдался.

Я замялся, пробормотал какие-то банальности; трудно было не расхохотаться. До чего трогательно: амбициозный маленький человечек и его потаенные стишки.

Если мне импонирует Дж. Лавридж, то его проклятого кузена, коммодора воздушного флота, пытающегося привнести во все, что он делает, лексику штабиста, служаки в мундире, я на дух не выношу. Вся эта абсурдная напыщенность и официальщина: он, извольте видеть, «отдает распоряжения». «Экзаменаторы должны учитывать» (это мы-то, когда проверяем письменные работы учащихся) то-то и то-то. Из породы тех, кто неизменно выплескивают из корыта с водой ребенка, он буквально помешан на таблицах, графиках, расписаниях, цифровых показателях,

фактах. Полагаю, такие люди являют собой не что иное, как современное воплощение miles gloriosus[725], достойное осмеяния, и к ним следует относиться как к таковым. Когда они на сцене, зрители покатываются со смеху, но коллегам по труппе вовсе не так весело. Все его самодурство и грубость — на бумаге; ну что же, придет день, и я отвечу ему тем же — на бумаге.

20 ноября

Пришел сигнал «Коллекционера». Роман воплощается в реальность, читается гораздо лучше, чем раньше. Есть и первая реклама — извещение в «Букселлере».

Ужин с Дженнифер Ардаг. Атмосфера официальная и скованная; у нее талант собирать вокруг себя далеких от естественного поведения людей. Вроде ее шефа Джона Розенберга, главы лондонского филиала компании «МГМ», — несуразного человечка, говорящего этаким особым командным тоном: всегда чересчур громким, гнусавым, пронизывающим. Его манеры отмечены каким-то окаменевшим и чуть циничным налетом светского — вернее, псевдосветского — лоска. Предпочитает безличные формы речи. Странно: такой же голос, как у бывшего мужа Дженнифер. Присутствовал и еще один молодой человек из «Таймс литерари саплемент» — Алан Дэвис: маленький, одноглазый, тоже язвительный или псевдоязвительный и тоже какой-то окаменевший. Люди, безнадежно далекие от живого слова, от творчества. Евнухи от литературы, навсегда застывшие у входа в гарем. Когда они пишут, в лучшем случае получается кто-нибудь вроде Фэрбенка или Честерфилда. Шеф «МГМ» долго распространялся о том, как ему хочется поселиться в загородном доме в Дорсете. А когда ужин кончился, Дж. поведала нам ошарашивающую правду: оказывается, он — американец. И к тому же еврей. И, стыдясь того и другого, напяливает на себя этот режущий ухо тон как защитную маску.

Мы выдержали испытание до упора, позволив Дж. в очередной раз выплеснуть ее семейные горести (месяц назад это уже было). Я сделал попытку перевести разговор на нас, на наше прошлое; но она готова лишь бесконечно рассказывать о себе. Что удивительно — ведь мы так мало знакомы. Полагаю, имеет место некое избирательное сродство. Дж. нравится мне, она способна на экзистенциальные поступки: она доказала это тем, как поступила с недоделанным Джоном Ардагом. Иными словами, смогла, преодолев бремя собственного прошлого, вышвырнуть благоверного за ворота. Но тем не менее продолжает собирать вокруг себя вызывающих тошноту зомби от среднего класса, а этого я не выношу.

22 ноября

Не могу сосредоточиться на работе. Просто нет времени.

Ночь вроде той, что на 25 сентября. Я был очень уставшим, спал плохо. Всю ночь сновидения-галлюцинации, в центре которых — боль. И опять, проснувшись, не мог припомнить ничего конкретного — только общее ощущение, что «увидел» нечто необычное. На сей раз это было сложное единство существования как источника боли; чувство необходимости боли. Вся утонченность слов, вся безграничность идей, вся неизмеримость сознания — это боль. И это ощущение было на редкость бесстрастно. Словно лицезрение безупречного мастерства стратегии собственного противника.

* * *

Есть три уровня постижения экзистенциализма. Неумное и ошибочное представление, преобладавшее в конце 1940-х годов: экзистенциализм как позднейшая гримаса богемного стиля жизни; то же, чем сегодня является битничество. Второй уровень: интеллектуальное понимание, знание сопутствующих теорий, не более того. И третий: ощущение себя как экзистенциального индивидуума, чувство, при котором бесповоротно и необратимо ощущаешь себя экзистенциалистом. Есть два самых важных, на мой взгляд, экзистенциальных чувства: 1) чувство боли и 2) чувство самоизолированности. Разумеется, оба могут быть проявлением некоего одного. Но не обязательно. Подобное ощущение таит в себе приятную бесстрастность. Оно служит убежищем. Никому и ничему не дано проникнуть в сердце-вину этой изолированности; в ней я существую в незамутненном виде; в ней я неуязвим.

8/9 декабря

На уик-энд приехал Подж. На чай зашли Ронни и Бетеа Пейн. Поджу и мне не импонирует мир Ронни Пейна, мир Флит-стрит и ее мишурного блеска. Мы хором заявили, что ненавидим нового человека с телеэкрана: телезнайку, теле-«экс-перта», человека, без остатка поглощенного собственным публичным имиджем. Но это не более чем старая игра в «разоблачение» оппонента. Подстраховка популярности от противного. Р.П., в особенности, хочет быть таким человеком — всегда стремился быть им. А Подж со своим цинизмом всегда готов восхищаться любым мишурным великолепием. Таково новое веяние моральной моды: он на редкость искусен в том, как ударять по клавишам меж старых нот. Оба, два светских льва, повстречав прирожденного Кандида,

подняли на смех и меня, и «Коллекционера».

Не то чтобы меня не восхищали политические убеждения Поджа. Он направил Расселу письмо с благодарностью за его действия в поддержку Кубы[726] — и получил ответ последнего; дошел до палаты общин, агитируя за этого мрачного амбициозного типа Вудхауса[727]. Он постоянно *действует*; он неравнодушен.

13 декабря

Кинросс. Читаю его ирландский роман[728]. Плох до нелепого: пронизан штампами, полон грамматических и пунктуационных огрехов, изобилует «бутафорскими» пьянками и «бутафорским» сексом. И какое он имеет право судить меня?

14 декабря

Сегодня позвонил Огден (партнер Кинросса): некто отдаленно связанный с компанией «Коламбиа» вышел с предложением касательно «Коллекционера». Тысяча фунтов опцион, шесть тысяч фунтов, если права будут приобретены в девятимесячный срок, еще три тысячи, если книгу изберет книжный клуб США, и пять процентов прибыли продюсера. При удаче я заработаю пятнадцать тысяч фунтов или еще больше. Но есть, конечно, десять процентов Огдена, десять процентов издательства «Кейп» и налог. Чего я не знаю, так это стоило ли мне отказаться — ведь, как признался сам Огден, это было предложение под дулом пистолета.

— Жаль, что я не мог послать их подальше, сукиных детей.

В его устах это звучало вполне по-американски.

1 января 1963

Новый год встретили с Джерри Мэнселлом. Вместе с ним и его женой в их загородном доме в Хэмпстед-Гарден. Мертвый дом. Быть может, это ощущение усугубилось еще и снегом. Джерри превратился в еще более непробиваемого тупицу; его самовлюбленность стала еще нетерпимее, его анекдоты еще длиннее, и так без конца, без конца; он не умолкает часами. Его неопанглоссианское (не «В этом…», но «В моем мире все к лучшему») красноречие дает дуба, да только он не тот человек, какой позволит кому-нибудь это заметить. Он по-прежнему самый успешный и самый важный человек из всех, кого он знает. Неуспешна одна бедная Диана — никак не может забеременеть во второй раз и насыщает комнату аурой мертворожденного дитяти. Онемевшего и побелевшего.

Он, в лучших традициях, по снегу и льду доставил нас домой. Ужасно, как такие люди расцветают во всем блеске в неблагоприятных обстоятельствах; ведь сделал он это лишь для того, чтоб покрасоваться, пойти на минимальный риск, показать

себя мастером на все руки. Нелепо.

Меня он ненавидит. Когда Элиз показала ему книгу со словами: «Вот что написал литературный агент Джона», — он не проронил ни слова. В ходе всего вечера ни один из них не поинтересовался, как обстоят мои дела. Во многом, думаю, это личная неприязнь, но еще он ненавидит всех, у кого есть ученая степень. Он не только еврей, который никогда не признает, что он еврей, но и сноб, презирающий культуру и образование, который ни за что не признает, что не обладает ни тем ни другим.

Не забыть: спросить Дженнифер Ардаг, знал ли он о «Коллекционере».

8 января

Кон и Кинберг: двое американцев, купивших «Коллекционера»[729]. Я отправился к ним на Уигмор-стрит. В серых джемперах, серьезные, искренние и, боюсь, чуть-чуть ограниченные. У них сложился неизменный взгляд на книгу, и я чувствую, что сдвинуть их не удастся. Прежде всего это касается финала: девушка не должна погибнуть. Я заметил:

— Это то же самое, что избавить от страданий мученика. Изъять с креста гвозди.

— А разве Христос не воскрес? — отвечает Твидлидум (даже Арчи Огдену неведомо, кто из них кто).

— Она воскреснет в памяти людей.

На этом переговоры прервались, и мы вернулись на исходные позиции.

10 января

«Коллекционер» приносит массу треволнений. Похоже, уже сейчас — за пять месяцев до выхода в свет — он относительно успешен. Я получил за него кучу денег (если учесть, что это первый роман) и множество похвал от тех, кто его прочел. Но чувствую, что профессионалы считают его случайностью, одиночной вспышкой.

Главный вопрос заключается в том, уходить ли мне летом (в мае) из Св. Годрика или нет. Если придут деньги за экранизацию, буду идиотом, если останусь; если не придут, я буду идиотом, если уволюсь. Знакомый бухгалтер рекомендует мне нанять Элиз, чтобы уйти от налогов, и подать на возмещение расходов за последние десять лет.

Все это тревожит, не дает сосредоточиться на работе. Ожидание. Нерешительность по поводу того, что писать дальше. Мелочные соображения: какие подарки нам надлежит делать людям, знающим, что мы «богаты». Достаточно ли мы щедры? Как говорить о книге с другими, говорить ли о ней вообще?

Все это вырастает в тревогу.

2 января

Дорогой Джон!

Я прочел твой роман, возможно, быстрее, чем следовало бы, но я знал, что мама ждет своей очереди. Прошло, должно быть, много лет с тех пор, как я читал романы, и по этой причине — наряду с другими — я наверняка окажусь негодным критиком.

Мне трудно отойти от педантичной манеры письма викторианских романистов, которые не позволяли своим персонажам развиваться на протяжении всего долгого рассказа. Полагаю, после этого появился биографический, социологический тип писателей, ныне ударившихся в психологию Фрейда. Мы порвали с морализаторством наших отцов, но это означает, что некоторым из нас приходится учить новый язык. Это без труда дается со временным писателям, таким как ты, как и искусство изобретения условий, в которых фразы должны вмещать в себя озадачивающий поток идей, каковые должны усваиваться в контексте описываемых событий.

У тебя очень хороший сюжет, хотя, возможно, тебе не нравится, что я употребляю это слово. При инсценировке для него потребовались бы двое (если не трое) первоклассных актеров, а что касается фильма, то ты должен быть готов к тому, что гиены растерзают всю конструкцию. На твоем месте я бы позволил им это сделать. Они знают свою работу.

Что касается твоих героев, Фердинанд[730] выстроен и психологически прорисован так, чтобы помочь разумным людям получить представление о смутном мире фантазий, брезжущих в душах их несчастных собратьев. Я не понимаю девушку и сомневаюсь, что смог бы ее понять, живи я даже в кругу людей ее склада. Это ни в коем случае не означает, что я сомневаюсь в ее существовании, и именно по этой причине некоторые из нас должны быть благодарны за прозрение, которое обнаруживается в твоей истории. Парень-художник — тип, исторически вызывающий отвращение, и я презираю его настолько, что даже самым непечатным словам не дано до конца выразить мои чувства[731]. Но он существует и, несомненно, процветает подобно многим божкам, чьи зоркие глазки проникают глубже, нежели их души.

Удачи. Пусть книга хорошо пойдет. И запасайся желудочными средствами от желчных критиков.

Рад сообщить, что мама чувствует себя лучше и я тоже иногда хорошо себя чувствую. Скоро увидимся.

Привет вам обоим.

Отец

18 января

Издательство «Пан букс» купило «Коллекционера». Три с половиной тысячи фунтов — кажется, это рекордный гонорар за роман-дебют в Англии. Само собой, мне из них причитается только 50 % — 5 % — 45 %. Я в долгу перед Томом Мэшлером, удивившим, судя по всему, даже Кинросса. С 24 октября мое мнение о них обоих не изменилось. Позавчера Мэшлер заглянул к нам выпить стаканчик. Он думает, что я — безнадежный простак: «Ты считаешь, будто мы все твои враги»; что до Огдена, то он «всего-навсего алкоголик»; «Слушай, мы станем твоими агентами и за американские продажи возьмем не двадцать, а всего десять процентов комиссионных». Итак, в его глазах я простофиля; что ж, так и буду вести себя с ним и попутно выясню, что он думает и чувствует. Тем хуже для бедняги Кинросса: мы оба на него нападаем. Т.М. злится, когда я говорю, что мне жаль Кинросса, но это действительно так. Он задарма получает кучу денег, но я ни за что не хотел бы оказаться в деле один на один с Мэшлером. Он разглагольствует о литературе и о том, как любит ее, но он — патологический торгаш. Готов продать даже собственное презрение к торговле.

25 января

Тратим деньги. Весь этот материальный достаток не то что не меняет нас — он не меняет главного: нашего отношения к деньгам. Это что-то вроде резкой перемены климата от холода к теплу: на нас все еще одежда, которая сродни «зиме тревоги нашей».

Между тем пока еще не факт, что я становлюсь богаче. Я подал заявление в Св. Г.; а книга на сегодняшний день принесла мне 150 фунтов + 1250 фунтов + 1000 фунтов + 1750 фунтов, то есть 5900 фунтов, из которых я со временем получу 3510 фунтов (за минусом налогов). Но это равнозначно лишь моему жалованью за два года (если Э. не начнет работать) без учета расходов на машину, на покупку коттеджа и т. п. С другой стороны, нельзя исключать, что денег придет гораздо больше.

Итак, на прошлой неделе мы израсходовали:

на мое пальто и костюм	32 фунта
на костюм Э.	12 фунтов
на фотоаппарат (не новый) марки «Ретинетт IIA-83963» (цена нового — 38 фунтов)	20 фунтов
на фарфоровую посуду (из Нью-Холла)	16 фунтов
на кофейный столик	7 фунтов 10 шиллингов
на стулья (не новые)	4 фунта 12 шиллингов 6 пенсов
Итого:	92 фунта 2 шиллинга 6 пенсов

Элиз считает, что покупка фарфора — расточительство, но вряд ли права: во-первых, это удовольствие для глаза, во-вторых, разумное вложение денег. Такие вещи с годами не обесцениваются. Ведь всего за 14 фунтов я приобрел в антикварной лавке «Пилгримз плейс» три чайника из Нью-Холла (два из них в отличном состоянии, один прекрасный рифленый, не бывший в пользовании из-за трещины от нагрева), супницу, кувшин, пару блюдец (одно — копия из Ливерпуля) и рифленую чашку из Уорчестера, расписанную в Нью-Холле.

Монтень, эссе XIV. Его мудрость по части денег. Три автобиографических пассажа, описывающих три стадии, какие претерпело его отношение к ним, — образец совершенства[732].

Два презабавных ляпа из эссе учениц-англичанок:

«Некоторые считают, что Шекспир — homme de plume»[733].

«Я испытала *флю*страцию».

3 февраля

«Коллекционер». Три источника. Первый. Моя давняя фантазия о заточенной в подземелье девушке. Думаю, зародилась она еще в раннем отрочестве. Помню, ее объектом зачастую бывали знаменитости. Принцесса Маргарет, разные кинозвезды. Разумеется, главным ее мотивом был сексуальный; другим, столь же постоянным, «любовь-через-познание». Иными словами, заточение всегда символизировало наложение моей индивидуальности — равно как и моего члена — на соответствующих девушек. Вот вариации, которые я могу припомнить; гарем (несколько девушек в одной комнате или в череде комнат); угроза насилия (в этой вариации фигурирует плеть, но отнюдь не истязание; вся суть в том, чтобы внушать ужас, входя в комнату в роли палача); товарищи по несчастью (вариация, посещавшая меня не в пример чаще; девушку схватывают и заталкивают обнаженной в подземную камеру; затем под видом другого узника там же оказываюсь и я, и мне

удается преодолеть ее враждебность). Другая нередко представлявшаяся мне эротическая фантазия — сеанс отбора девушек: передо мной предстают шестьсот девушек, из которых мне надлежит выбрать пятьдесят достойнейших, и т. д. Конечно, эти фантазии давно растворились в моем мозгу, и после «Коллекционера» образ подземелья приходит мне в голову гораздо реже. Второй источник — преступление в бомбоубежище. Третий — «Синяя Борода» Бартока.

Симона Жакмар «Le Veilleur de Nuit»[734]. В прошлом году роман получил премию Ренодо. Его сюжет основывается на той же идее, что и сюжет «Коллекционера» — смею предположить, восходит к той же газетной заметке. Как бы то ни было, в нем фигурирует странный молодой человек, исповедующий культ земли; он заточает девушку, намереваясь заставить ее рыть для него подземное убежище, но при этом не вступает с нею ни в какую сексуальную связь. Симона Жакмар гораздо теснее придерживается обстоятельств реального происшествия, нежели я; но как романисту ей это не идет на пользу. Она окончательно упускает свой шанс, прибегая к архаическому языку и насыщая целые страницы напыщенными словесами о тайне земли, перемежая их цветистыми пассажами о дремлющих темных силах; есть описания в манере Робб-Грийе, и вообще книгу отличает некое вулфо- или прустоподобие. В целом незамутненная чистота фантазии первоисточника лишь проигрывает, будучи погружена в повествование, столь насыщенное символикой, что бедная книга просто трещит по швам.

8 февраля

Звонил Кинросс — сообщить, что издательство «Литтл, Браун», по его данным, выпускает книгу первым тиражом 20 000 экземпляров: такого огромного тиража не было со времен издания романа «До свидания, м-р Чипе». А прибыль от издания «Коллекционера» в мягком переплете возросла — потенциально — до 35 000 долларов.

22 февраля

Мы только что отправили подборку стихов Кинроссу и Мэшлеру. Цикл четвертый: тридцать стихотворений о разных сексуальных извращениях и постельных фиаско; о кризисах любви.

* * *

Сейчас работаю еще над одним стихотворным циклом — тоже в минорной тональности — «Testuale»[735]. Часть стихов я написал

прошлым летом в Риме; а еще несколько в последнее время.

В эти два месяца я переработал «Аристос». Думаю дать ему новое название: «Препозиции».

25 февраля

«Дотянуться до славы»[736]. Еще один фильм Кона и Кинберга. Посмотрели в Ричмонде. Гораздо лучше, чем я ожидал. Неподдельно либеральный по направленности, он по большому счету проигрывает возможно, потому, что сюжет слишком умозрителен. Я был ровесником показанных в фильме мальчишек, учился в такой же школе и в тот же момент в истории, и все было не так.

Стихотворные циклы. Ряд расщелин, сквозь которые тщишься заглянуть в некий «внутренний» мир. Я вовсе не хочу сказать, что внутренний мир первичен, а расщелины — всего-навсего окна в него. Нет, расщелины *суть* внутренний мир. Иными словами, я сам создаю мир, сознательно предпочитая видеть его *как бы* сквозь расщелины.

17 марта

В Ли. На прошлой неделе умерла тетушка Тоте (Дороти), и мы приехали посмотреть на «добычу», на оставшиеся вещи. Несколько на редкость хороших предметов мебели: три прекрасных старинных комода (один в стиле королевы Анны), настенные часы в раннеамериканском стиле, еще несколько более или менее ценных вещей. Жалкое существование влачила эта тетушка Тоте: жила, словно в утробе, в затхлом мирке своего частного дома для престарелых[737], с его выжившими из ума обитателями, со своими кошками и собачками, со своим маниакальным пристрастием к Диккенсу, к литературе — нет, к Литературе, вечно понукаемая свирепой, гротескно мрачной Харрисон. Должно быть, это были лесбийские отношения — пусть завуалированные, выражавшиеся каким-то туманным, косвенным образом; недаром же обе умерли с разницей в неделю (или около того) друг от друга. Тоте была мягким близоруким созданием с обычным для Фаулзов стремлением мечтать и обманываться в надеждах и с тем же фаулзовским упрямством. Мы обнаружили ее дневник — беспорядочное скопище повседневных мелочей, цитат, порой довольно трогательных порывов к чему-то благому. «Этот треклятый дневник — сущее наказание», — написала она как-то. Мы отобрали для себя кое-что из оставшегося, но О. просто помешан на том, чтобы исполнить букву закона. Ходил за нами по пятам по всему дому, издавая стоны, когда мы брали что-нибудь в руки или клали в карман. Его маниакальная приверженность букве закона — черта, которую я нахожу на одну четверть достойной восхищения, а на остальные три —

граничащей с безумием; впрочем, Хейзел, М. и Элиз считают ее нелепой. «Если мы не возьмем, рабочие возьмут». Мне думается, он хочет выручить денег, приходит в ярость оттого, что мы хотим приобрести хорошие вещи со скидкой, тогда как их можно было бы продать с аукциона и таким образом заработать больше денег, чем он может инвестировать.

Очень странное это занятие — подобно стервятникам копаться в имуществе покойников. Надо полагать, стервятникам можно позавидовать: ведь то, что они делают, удовольствие, чистое наслаждение, загадка — никогда не знаешь, что подвернется в следующую минуту: то раскроет свои секреты прошлое, то разверзнется настоящее. Возможно, таков истинный рай: вам вручают ключи от дома какого-нибудь опочившего чудака.

24 марта

Газета «Ивнинг ньюс» — одна из версий истины.

НЕМНОГИЕ СЧАСТЛИВЦЫ

Согласно недавнему не внушающему оптимизма отчету Авторского общества, большинство писателей зарабатывают менее 500 фунтов в год.

* * *

Однако немногих счастливцев за последней строкой, сходящей с пишущей машинки, неизменно поджидает клад.

Преподаватель из Хэмпстеда Джон Фаулз *еще до публикации продал* права на экранизацию своего первого остросюжетного романа «Коллекционер» (издательство «Кейп», книга выходит в мае, цена 18 шиллингов).

Роман представляется оригинальным и интригующим.

Молодой клерк, увлекающийся ловлей бабочек, похищает очаровательную студентку художественного училища возле ратуши Хэмпстеда.

То, что за этим следует, описывается от лица похитителя и его жертвы почти как в полицейском отчете.

28 марта

Права на итальянское издание проданы за 400 фунтов.

Права на французское принесут (надеемся) 600 фунтов.

Сейчас ждем фрагмента на страницах «Санди таймс»; пока — в номере за 29 марта — его еще нет.

«Эта спортивная жизнь». Хороший английский фильм. Но в основном благодаря тому, что он чуть более «натурален», нежели все прочие[738]. В глазах тех, кто у нас делает фильмы, близость к

действительности — настоящая палочка-выручалочка. Этот фильм до ужаса напоминает действительность; как книги Золя. И странным образом утрачивает всю поэтичность, всю сложность, всю глубину. Еще один проходной французский фильм — «Жить своей жизнью» Трюффо с восхитительно милой и дерзкой Анной Кариной — кажется мне в десять раз лучше: трогательнее, хотя это и не входило в авторский замысел, как в «Этой спортивной жизни»; гораздо современнее; и намного, неизмеримо поэтичнее[739]. Чем обладают режиссеры nouvelle vague[740] и в особенности Трюффо, так это головокружительной легкостью мазка простотой; и в этом, особенно во втором, возможно, и заключается сущность кинематографа. Она присуща всем великим кинолентам. Простота для кинематографа — то же, что метафора для стихотворения.

Лондон, март, 63

Славьтесь, о сочинитель сюжетов!

Коль скоро вам придут на память летающий воланчик, звездные узоры, деревянные качели, потешные прогулки по зоопарку, настоящая бабочка-адмирал и еще надутые воскресные музейные зеваки, фарфоровые собачки (крапчатые, как и умы тех, кто их создал), рассказы о привидениях, разгуливающих в кладбищенских склепах, «Эдвард», клубника со сливками в день рождения, уроки ботаники на природе, неуловимый барсук, замеченный в ведьмин час, звоните без промедления по номеру ТЕМ: 4343, добавочный 697, спросите секретаря Британского клуба спортсменов и приходите на ленч. Если вам не удалось вспомнить ничего из перечисленного, tant pis[741]. Но если удалось… о, какие забавы вас ждут!

Еще одно неприятное предощущение будущего — явление призраков. Когда я получил эту записку, то не мог понять, от кого она — от Санчии или Салли; пришлось несколько раз перечитать ее, прежде чем я понял, что от Санчии: столь много подробностей поблекло в моем сознании. Запоминался дух, настроение, но отнюдь не конкретные детали. Но когда я зачитывал Э. дневник того периода, обнаружились отсылки ко всему, что в ней упомянуто. Инстинктивным желанием было тут же схватиться за телефон и сказать: нет-нет, береги воспоминания; затем умолкнуть; затем сесть писать и в процессе письма освободиться от наваждения. Минувшим вечером зазвонил телефон, Э. взяла трубку, женский голос отозвался: «Извините, я ошиблась номером», — и теперь мы думаем, что это была она.

Мне придется с ней встретиться. Но я хочу, чтобы она оставалась там, в другом мире, в Эшридже; как на той лужайке в березовом лесу, куда никогда уже не вернуться. Жаль, что музею

грозит вновь превратиться в гостиную; особенно потому, что она, кажется, совсем не изменилась. А я изменился.

Когда получаешь письмо в 1963-м,
А на нем видишь марку 1954-го,
Отчего ты кричишь: «Нет, Нет, Нет!»?
С чего этот страх?
Жизнь обретает смысл Только в это мгновенье,
А за его пределами Не существует ничто.
Реальность, которую мы осязаем, —
Лишь здесь.
Не в прошлом И не в иных временах.
Тогда с чего этот страх?
Силуэт на горизонте Ждет.
Однажды ты усомнишься,
Поднимешь глаза и увидишь,
Что реальность Не осязаема,
А только воображаема,
Когда она в прошлом.
Так с чего тогда этот страх?

Элизабет, март 1963.
«В хвосте таится жало»

10 апреля

Мой последний день в Св. Годрике. Принес шесть бутылок шерри и устроил нечто вроде прощальной вечеринки. Лавриджи преподнесли мне настольные часы; коллеги — Краткий Оксфордский словарь и сифон. речи, поцелуи, все очень любезны и доброжелательны.

Увольняюсь без малейших сожалений; думаю, не оттого, что я уж совсем бессердечен, а потому, что больше всего хочу писать. Мне нравилось находиться среди молодежи, ощущать теплое внимание девушек-иностранок; импонировала их миловидность, их приглушенная сексуальность, их движение на ощупь сквозь дебри семейного воспитания и богатства к духовному росту. Нравилось мне и большинство тех, с кем я работал: их непритязательность и общительность, решительное желание создать своего рода братство. Устраивал меня — с того момента, когда я возглавил кафедру английского языка, — и характер двусторонних отношений: для учащихся я был кем-то вроде старшего брата, а от других преподавателей оказался скорее

дистанцирован; у меня и в мыслях не было слишком возвышаться над первыми и слишком тесно ассоциироваться со вторыми.

Это был медвежий угол. Но, случается, и к самому глухому медвежьему углу проникаешься симпатией. Оглядываясь назад, я сознаю, что принес больше пользы, чем сам ожидал, и именно потому, что работал отнюдь не в академическом учреждении, названием которого можно кичиться. Все, что от меня требовалось в этих стенах, — честно трудиться; я хочу сказать, не возникало искушения делать что бы то ни было ради престижа или продвижения по карьерной лестнице. Это всего-навсего работа изо дня в день, а когда она сделана, взятки гладки.

Ко всему прочему, я еще и профессиональный отшельник-экзистенциалист. Не умею сходиться с людьми; мне они докучают, даже когда нравятся, пусть даже очень. Все чаще и чаще я ловлю себя на том, что молча слушаю или стремлюсь слушать. Помню, когда мне было чуть за двадцать, мне всегда хотелось говорить больше, чем было можно или уместно. Сейчас же единственные люди, с кем я могу разговаривать, — очень давнишние друзья, а большинство остальных мне приходится зачислять в Общую Массу — не из презрения, но с сожалением. Их головы не соображают, как моя, они не «свободны» и не «подлинны» (в том смысле, какой я вкладываю в эти слова). Я не виню их. Они жертвы — жертвы обстоятельств или просто рождены такими. Их — имею в виду коллег по Св. Годрику — я вовсе не намереваюсь вычеркнуть из своей жизни, но и оставлять их в ней не испытываю желания.

Том Мэшлер. Звонит — волнуется, что я пишу рассказы за деньги, что меня «доит» Кинросс. Не смешно ли, что он смеет давать мне подобные советы? Он, не исключено, знает все на свете о том, как продавать книги, я же знаю все о том, как их писать. Самое нелепое, что он даже не сознает, сколь оскорбительны такие «рекомендации».

12 апреля

Приятно быть «свободным», это как награда за добродетель. Мы по-прежнему тратим слишком много денег, но ведь мы столько лет прожили, не смея потратить хоть сколько-нибудь. Испытываю муки совести оттого, что ничего не жертвую на благотворительные нужды. Сознаю, что должен это делать; но, как и со всем прочим, даю такого рода решениям отстояться — так сказать, на время «запираю» их (да простится мне рожденный под настроение неологизм).

Сегодня прошелся по Флит-роуд и купил несколько книг. «Литературные реликвии» Фицджеральда (1889) в трех томах[742]; «Сочинения» Овидия в трех томах; еще один томик — Петрония и

других римских скабрезных авторов; «Лоуренс Аравийский» Томаса[743]: «Избиение младенцев» Уиндема Льюиса (первое издание) и «Дневник» Барбеллиона (первое издание)[744]; кроме того, чашку и блюдце из Нью-Холла, сделанные в 1830 году; стаффордширскую переносную голубую вазу; альбом открыток эдвардианского периода (новое коллекционное увлечение) с видами Хэмпстеда и фото мюзик-холльных красоток; а также дрезденский горшочек для сливок за два фунта.

Часть свободного времени трачу, надписывая свое имя на сотнях книг, которые я приобрел за последние десять лет. На каждой значится: «Джон Фаулз, 1963».

14 апреля

Барбеллион. Его недооценивают — и как писателя, описывающего природу Англии в традиции Джеффриса/Лоуренса[745], и как феномен английского социума: исключение из правила, человек, чье творчество зиждется исключительно на пережитом опыте. По сути дела, он — один из первых «сердитых молодых людей».

Его ощущение себя неузнанным Гулливером в мире лилипутов; его отвращение к преклонению перед Библией; его перечитывание старых дневников и забвение столь многих из них; его метания от научного к художественному в подходе к природе; его расцвечивание повседневного — все это характерно и для меня.

Все мое «сознательное» детство — от десяти до двадцати лет — я провел, в одиночестве блуждая по сельской местности, наблюдая за птицами, разыскивая цветы, бабочек; полагаю, я был бы лучшим литератором, если бы больше читал и учился писать уже тогда, а не в возрасте тридцати с лишним. Но эта влюбленность в природу — так ли уж она тщетна?

16 апреля

Пишу заметку о «Коллекционере» — предположительно для «Энкаунтера». В ней замечаю, что с момента создания книги перестал грезить на тему Синей Бороды. Это соответствует действительности, но произошло не сразу. Одна из причин, не упомянутая в заметке, — то, что я уволился из Св. Годрика; иными словами, оказался оторван от самого плодородного источника. Думаю, некогда я «выкрадывал и заточал» архетипы — обобщенные образы девушек. Но на протяжении многих лет их должны были воплощать те, кого я знал лично, — ученицы.

«Санди таймс», 14 апреля 1963

ПРИПОЗДНИВШИЙСЯ АВТОР

На прошлой неделе Джон Фаулз оставил пост преподавателя в Хэмпстеде. Ему тридцать семь лет, а учительствовал он с момента окончания Оксфордского университета. На протяжении пятнадцати лет он отдавал письму все свое свободное время. Он закончил две книги и начал, но не дописал еще двенадцать. Считая, что его произведения непригодны для печати, он не отсылал их в издательства — до прошлого года, когда отправил агенту рукопись романа под названием «Коллекционер». Ее тут же купило издательство «Джонатан Кейп».

Книга выйдет в свет только в будущем месяце, но уже пять месяцев назад права на ее публикацию в мягком переплете были проданы за 3,5 тысячи фунтов; права на экранизацию приобрела компания «Коламбиа», и работа над сценарием уже завершена. Права на публикацию за рубежом были проданы в Америку Францию и Италию, а издательство «Кейп» уже приступило к выпуску второго издания. На сегодняшний день книга принесла автору 12 тысяч фунтов. По этой причине Джон Фаулз, говорящий о себе: «Должно быть, я — припозднившийся автор», — на прошлой неделе оставил свою работу.

До нынешнего момента он не разрешал издательству «Кейп» делиться с кем-либо информацией о себе, поскольку был слегка обеспокоен впечатлением, какое мог произвести его роман на коллег — преподавателей хорошо известного колледжа для девочек.

Книга повествует о необразованном клерке, похищающем студентку у ворот ее дома в Хэмпстеде. Он запирает ее в загородном доме, но ни разу не прибегает к насилию. Издательство «Кейп» считает роман блестящим образцом мастерски написанного триллера.

Фаулз заявляет, что воссозданная в нем коллизия являет собой архетипическую мужскую фантазию: «Психологи называют это фантазией на тему Синей Бороды. Я и сам позволил себе увлечься ею».

«А он казался таким приятным молодым человеком».

Санчия. Я встретился с нею в пресс-офисе отеля «Савой». За пишущей машинкой — довольно угрюмого вида клерк, два высокомерных сотрудника по связям с общественностью и Санчия — все еще с лицом девочки, но с проблесками седины в черных волосах (ей двадцать девять, я позже не удержался и спросил ее), с ее непривычной манерой общаться непринужденно-официально, словно мы виделись только вчера, а не десять лет назад. Она налила мне виски, повозилась с именными билетами на какой-то обед, помогла угрюмому клерку-иностранцу надписать конверт, после чего он очень по-заморски прикоснулся губами к ее ладони,

пожал мне руку и вышел.

— Это Христов, — сказала она. — Горе мое.

— Христов?

— Тот самый Христов.

— Певец? — Оказалось, это действительно он[746]; вне сцены он похотлив. Затем мимо прошла оживленная иностранка. Это была Амелия Родригеш, исполнительница португальского фадо.

Чуть позже я вытащил Санчию из «Савоя», и мы двинули в бар «Хенеки», что на углу Стрэнда, где я заставил-таки ее сбросить маску наигранной бодрости. Это случилось не сразу, но в конце концов она поведала мне все, что приключилось с нею за минувшие годы. Пять лет в Африке и вот уже два года в Европе: в Париже, в Лондоне, пробавляясь то одним, то другим и находясь едва ли не на грани нищеты — впрочем, невсамделишной, ибо родители всегда готовы ей помочь, если станет совсем уж невмоготу. Она то прозябает на рю де ла Юшетт в Париже, то работает официанткой в Кембридже. Типичная ситуация для женщин из среднего класса: они хотят быть независимыми, стремятся доказать, что на это способны — и тем не менее раз за разом терпят крах, терпят неизменно, при всех деньгах, что за ними стоят.

При ней все еще былой шарм — шарм princesse lointaine[747], с которой она у меня ассоциируется; однако теперь я взираю на него как бы в бинокль и уверен, что этот шарм быстро испарится, стоит лишь оказаться с ним в более тесном соприкосновении. Ибо он в огромной мере зиждется на отказе взглянуть в лицо реальности, как физической, так и духовной. Я вытянул из нее подробности теперешних ее отношений с «женатым мужчиной». Итак, они всегда изъясняются аллегорически. Они живут в Индии (где ни она, ни он никогда не были). С. обитает на дереве, мужчина приходит охотиться в ее «владениях»; иногда она удостаивает его ответом, иногда взлетает «так высоко», что общаться они могут только в третьем лице — через цаплю. «Цапля говорит…»

— Ну что за ребячество, — отреагировал я под конец.

Но в ее глазах это «замечательный» опыт.

— Так мы поверяем друг другу то, что нельзя выразить иначе.

Потом она часами распространялась о своей семье, об ужасной, властной, безумно неуверенной в себе матери.

— Я не могу выйти замуж, — сказала С. — Должен же быть какой-то выход. А для меня любой брак как родители.

Рассказала, что пять лет прожила в Южной Африке с немцем, бывшим эсэсовцем.

— Он был очень суров, но приучил меня быть независимой.

Она без умолку говорила о себе. Из меня, должно быть, вышел бы первоклассный психиатр. Женщины определенного типа, лет тридцати с небольшим, обманутые в своих ожиданиях, доведенные до ручки мужчинами (Дженнифер Ардаг, Лоррейн Робертсон), обретают во мне идеального отца-исповедника. В случае С. я сам на это напросился, поскольку упорно задавал ей вопросы, которые она ненавидит, но в которых, как мне кажется нуждается: иными словами, ей нужно, чтобы, тактично обходя ее уловки, ее загоняли в угол.

Тот вечер был очень любопытен. Под конец мы прохаживались вверх и вниз по Тоттнем-Корт-роуд; и я ощутил, как к старому чувству горечи — оттого, что я никогда не смог бы быть С ней близок (так взираешь на гору, на которую никогда не взойдешь, или страну, в которую никогда не поедешь), — примешивается печаль *за нее*, теплота и жалость. В своей обычной уклончивой манере она пыталась выразить то же самое — позволив себе проявить малую толику непосредственного чувства, которое тотчас спрятала, завуалировав какой-то банальностью.

Думаю, на самом деле она мне нравится — нравится своей неповторимостью, неповторимостью поведения, внешности (хотя ее и не назовешь ослепительной красавицей), неповторимостью своего подхода к жизни и своей необыкновенной склонностью к мифотворчеству. Теперь мне отчетливо видны ее недостатки, жалкая суть ее отговорок, ее обреченность, ее непреоборимая потребность окутать себя пеленой двусмысленных аргументов, упрямое нежелание прислушаться — или хотя бы проявить уважение — к гласу мужского рассудка.

— Ненавижу «Чуму», — заявила она. — Ненавижу, как он выражает то, что думает.

Она очень напоминает мне ту разновидность женщин, какую встречаешь у Пикока: типичную для конца восемнадцатого столетия смесь проницательности, снобизма и женственности — вроде Фанни Берни и Джейн Остин. Да-да. На свой лад она напоминает Джейн Остин.

Мое ощущение Санчии было, остается и всегда будет (должно быть) литературным. Нереальным. Реальность — это Элиз; и я сделал свой выбор много лет назад. Выбор столь определенный, что у меня не было и тени кьеркегоровского страха: другого выбора, сулящего обновление, не существовало[748].

19 апреля

Опять потонул в «Волхве»: потонул творчески. Определился каркас, символика, подтексты, с этим все ясно. Трудность в том чтобы нарастить мясо на все эти большие и маленькие косточки. Пункты назначения и даты прибытия.

Источники: «Робинзон Крузо» и «Буря». Как и в «Коллекционере», но на этот раз иначе, в более прямой проекции.

Отношения между Кончисом и Лилией суть отношения Жули И Мишлин в Коллиуре (плюс мое собственное положение применительно к ним). Алисон = Кайя[749]. Возможно, в психологическом плане доминирует то лето в Коллиуре. А вовсе не Спеце.

23 апреля

Экземпляры книги. Один — Денису, один — Портерам, один — Лавриджам, один — домашним, один — Санчии (на котором я написал подобающе двусмысленное «Возделывай свой сад» и ничего не добавил); и два для себя.

25 апреля

Незадача с Томом Мэшлером. Я написал небольшой материал под заглавием «Коллекционер: некоторые заметки», в котором он фигурирует как прекрасный молодой бизнесмен. Его это задело: никому не хочется быть тем, кем он на самом деле является. Он, видите ли, желает быть глашатаем общественного мнения, гидом, защитником, всем вместе. На днях мы с ним ужинали, и он нравится мне еще больше. Дом полон современной живописи; но даже картины, это чувствовалось, были приобретены потому, что это хорошее вложение денег (хотя он и пытался скрыть это обстоятельство). У него пальцы Мидаса. Все, к чему бы он ни прикоснулся, превращается в золото; и все-таки он мне нравится, ибо, как мне кажется, он действительно хочет, чтобы хоть что-то из того, к чему он прикасается, превратилось в нечто человеческое.

Дал интервью молодой девушке — сотруднице журнала «Букс энд букмен» (никогда о таком не слышал). Милая, но глупенькая; и внезапно мне расхотелось говорить с ней всерьез.

2 мая

«Волхв». Работаю над ним без перерыва. Кончис сбегает в Невшапеле.

3 мая

Странный сон. Стою у окна, разглядывая сверху вниз фасад дома напротив. В других окнах фасада появляются разные фигуры. Я знал, что это призраки — или «гости», как я именую их в «Волхве». И не чувствовал страха, а лишь горячее желание, чтобы они взглянули на меня. Чувствовал, что глаза вылезают из орбит; столь сильным было мое желание. Но их взгляды старательно избегали меня, словно я (живой) был тем, кого на самом деле не существовало. Толковать этот сон можно, следуя одному из трех вариантов:

1. Это просто продолжение «Волхва».

2. Это нечто связанное с неуловимостью созданных мною образов. У них — своя жизнь, своя воля и т. п.

3. Это драматизированная проекция моей тревоги по поводу предстоящей встречи с критиками; первые рецензии выйдут в воскресенье.

5 мая

Первые рецензии. Худшая — в газете, в которой я предпочел бы увидеть лучшую: в «Обсервер». Вышла из-под пера вопиюще дилетантствующего «литератора» Саймона Рейвена, с которого станется и «Войну и мир» сделать весьма заурядным произведением. Но, понятное дело, жаловаться я не смею[750].

7 мая

Первые стрижи.

Просидел сегодня три часа в библиотеке на Уэст-Энд-лейн, просматривая «Таймс» за январь — март 1915 года и «Панч» с сентября 1914-го по март 1915 года. Вот уже несколько дней работаю над этой главой «Волхва». Поначалу испытал живой интерес; потом раздражение. Захотелось вернуться в собственный воображаемый, упрощенный 1915-й.

9—11 мая

Плохие дни. Мне не доставляет удовольствия чтение рецензий на книгу — тем более таких рецензий. В тех еженедельниках и газетах, на которые я рассчитывал, ничего не появилось. «Небольшой шедевр в жанре триллера» — таков, похоже, вердикт «примечательно беглого» критического взгляда. Последняя неделя сделала меня предельно раздражительным, и теперь я страшно жалею, что не уехал из Англии — один. Э., кажется, не понимает, что со мной творится. Кроме всего прочего, завяз с трудным местом в «Волхве»; не могу понять, что меня держит: трудность дать наглядное описание «Бурани»[751] или принципиальная невозможность придать этой вилле конкретные черты. Неужели описать это место выше моих сил, выше чьих бы то ни было сил?

В пятницу съездили в Садбери посмотреть дом — часть помещичьей усадьбы эпохи Тюдоров в Глемсфорде. Но этот вояж окончательно вывел меня из равновесия: по мере того как мы, сев на поезд до Маркс-Тей, пересаживались на боковую ветку и неторопливо катили мимо викторианских полустанков и зеленеющих полей, все происходящее становилось более и более нереальным; и сделалось еще нереальнее, когда мы проезжали в такси через Лонг-Мелфорд бесконечной деревенской улицей, пока, обогнув несколько муниципальных домов, не свернули в узенький проулок[752]. Дом был прекрасный: светлый, с остроконечной крышей, чуть покосившийся, как на иллюстрациях

к диккенсовскому роману. Уютные старые комнаты и лестница, прелестный сад. Не на отшибе уродливой деревеньки, где повсюду высятся муниципальные строения. Но я сразу же понял, что жить там не смогу. В Литтл-Уолдингфилде мы посмотрели еще один, а на другой день третий — в Лавенхэме[753], с чудесной лестницей, образцом восхитительной планировки периода короля Якова; но дом оказался в непотребном состоянии, такой сырой и обветшавший, что я даже не потрудился сделать вид перед его владельцем, что мы всерьез заинтересованы в покупке. Да и все вокруг него слишком отзывчиво к изменчивым веяниям времени, слишком демонстративно «сельское», чтобы привлечь меня. Слов нет, деревушки симпатичные, Садбери — милый городок, но это не то, чего бы мне хотелось. Я понял, что мое представление о том, чего я жду от дома в сельской местности, столь неопределенно, что нет смысла принимать окончательное решение, пока мы не побываем еще в нескольких десятках местечек Англии и не посмотрим еще несколько десятков домов или коттеджей.

Теперь мне ясно, что для спокойной жизни мне требуется: 1) не меньше акра или около того земли; 2) или очень новый дом (спроектированный для меня), или георгианский; дом эпохи Тюдоров исключен — он слишком темный, слишком замкнутый; 3) уединение: не хочу, чтобы за мной подглядывали или меня прослушивали; 4) вода: море или по крайней мере ручей; 5) сад: позади тюдоровского дома в Глемсфорде был прелестный садик на склоне холма; 6) холмистый ландшафт — овраги.

Но даже если принять во внимание все эти ограничения, я все еще не знаю, действительно ли хочу жить в деревне. За городом над всеми чувствительными людьми висит некая чеховская грусть; их пронизывает та ужасная потеря чувства соразмерности, какая именуется местной гордыней; монотонность существования или недостаток впечатлений, недостаток выбора; и там еще торжествует тот старый, старый торийский (в смысле восемнадцатого столетия) взгляд на жизнь, какой подчас чувствуется в глазах всех образованных людей: он слышался мне в голосе агента по недвижимости, виделся в манерах печально-светской, благовоспитанной владелицы гостиницы, в глазах куратора Музея Гейнсборо[754]. (Они отвратительны, эти полотна Гейнсборо — его «ипсуичский период» начисто лишен гениальности.) Мир, отмеченный нездоровым уважением к деньгам, собственности, семье, традиции. Где все еще соседствуют сквайры и землепашцы. И даже еще древнее: вожди племени и их соплеменники.

Когда мы вернулись, Элиз среди ночи внезапно потеряла

самообладание. Совершенно неожиданно. Какой бы неудачей ни обернулась наша поездка в Садбери, это не отразилось на наших занятиях любовью: в гостиничных номерах есть нечто чрезвычайно возбуждающее. Но ее раздражает, что я коллекционирую фарфор, — и, по-моему, зря. Ее не на шутку задело, когда к нам заявилась глупенькая девчонка-репортер и начала задавать мне вопросы о фарфоре и о книгах. Ненавижу коллекционировать живых существ, но не вижу никакого вреда в том, что делаю я. Коллекционирование дурно, когда: 1) собранные в коллекцию предметы перестают быть таковыми; 2) когда собирают исключительно с целью вложения денег; 3) когда их собирание влетает в такую копеечку, что вносит дисбаланс во все остальное. Элиз постоянно обвиняет меня в том, что мною движут исключительно эти побуждения, хотя раз десять читала и слышала мое мнение по поводу того, что считаю допустимым и недопустимым в этой области. В Лавенхэме нам случайно довелось завидеть в окне коттеджа чайник из Нью-Холла, и это доставило мне ничуть не меньшее наслаждение, нежели то, что испытывает коллекционер. Я думаю, эта керамическая посуда — по духу английская, в ней есть именно та «английскость», которой я восхищаюсь и которую люблю. Что до книг, я собираю их по причине, какая заставила бы большинство библиофилов с отвращением сплюнуть, потому что хочу прочесть их, погрузиться в прошлое. А вовсе не потому, что это раритеты, в хорошем состоянии и т. п. Ошибкой с моей стороны было — потому просто, что я не знаю, как поделиться радостью от нью-холловского кувшина для молока, от никому не известной пьесы восемнадцатого столетия похвастать ценой, выгодной сделкой. Та глупая девчонка-репортер — она все допытывалась, «сколько все это стоит»; и нынешний век сводит все к этому: к тому, «сколько все стоит», к деньгам. Меня нередко шокирует, когда я слышу, что Элиз считает все потраченное на неутилитарные нужды «деньгами на ветер», каким-то «расточительством». «Хлебом единым» — такой взгляд на жизнь не более чем пережиток дней, проведенных нами в бедности; и он столь же характерен для всех наших друзей, в чьих глазах коллекционирование — даже в том более чем скромном виде, в каком я его практикую, — не имеет права на существование. Они как Портеры, приобретающие ту или иную антикварную безделушку, потому что она «занятна»; или как Шарроксы, которым импонирует «жить с одним чемоданом». И над всеми довлеет мания без конца менять внутреннее убранство. Если существует кощунство по отношению к предметам, то оно именно в этом.

Досталось мне от Элиз, на сей раз больше по заслугам, и за

мое подглядывание в телескоп за девушкой в доме напротив. Это чистое любопытство, или почти чистое, оно больше сродни орнитологии, нежели вуайеризму. Но, конечно, предполагается, что следует глубоко стыдиться подобных инстинктов. Даже будь я вуайером, думаю, не стал бы так уж стыдиться этого.

Ссора позади. Удивительно не то, что она произошла, но то, что, живя так близко друг к другу, как мы, и в таком отдалении от других, мы не ссоримся чаще.

Арчи Огден. Хороший человек, несмотря на то что не может вырваться из когтей демона по имени Алкоголь. Без стакана в руке он как потерянный; а когда стакан возникает, не спешит его опустошать. Лишь блаженно прихлебывает. Пора, думается, нам поговорить о джентльменстве Нового Света: у него, как у многих воспитанных американцев, манеры и обходительность XVIII века.

Бесподобная (чисто американская) шутка о Филадельфии: «В прошлое воскресенье я провел там неделю».

14 мая

Дождливый день. Нам внезапно пришло в голову поехать в Грецию. Пожить в палатке и побродить пешком по Пелопоннесу.

Хадсон «Зеленые угодья» (1904)[755]. Никогда раньше не читал Хадсона. Думаю, даже испытывал к нему легкое презрение как к ненастоящему англичанину. Между тем он, разумеется, очень английский: «Зеленые угодья» — не менее английское произведение, чем «Робинзон Крузо». «Зеленые угодья», при всей их фатальной детерминированности, сильная и поистине печальная книга. Полагаю, она нравится мне потому, что я могу в точности ощутить, сколь одержим был Хадсон овладевшей им идеей, идеей Римы; в такого рода книгах воображение ярким пламенем высвечивает тьму, тьму мерцающую в бессчетном множестве книг, написанных без воображения и страсти. Жаль только, что он наделил Риму речью, хотя ее последние слова: «Абел, Абел», вы-рвавшиеся из пламени костра, почти оправдывают подобный произвол, досадно и то, что, как только он начинает описывать ее внешность, в повествование вторгаются штрихи в манере Артура Рэкхема, Джеймса Барри; ведь секс — это тот странный, смутный, полубесплотный-полутелесный выплеск эмоций, который МЫ называем страстью (в наши дни это слово, конечно же, носит уничижительный оттенок); а между тем если какая-то книга и могла бы поведать нам о Веке секса, о том, что мы утратили, существуя в нем, то это «Зеленые угодья».

Эта книга заинтриговала меня потому, что в «Волхве» я дошел до того момента, где появляется Лилия; и еще потому, что она обладает тем свойством, которое, по-моему, необходимо вернуть роману и жизни, — таинственностью.

Пантеизм Хадсона и его отказ от идеи Бога-заступника; само собой, он прав. Второе подразумевает первое.

17 мая

Особенный, очень неприятный день. Мне не по себе, но дело не только в этом. Начиналось все не так уж плохо. Мы отправились на Дорсет-сквер посмотреть двухъярусную квартиру, объявление о которой Элиз обнаружила в газете. Однако очень быстро у меня появилось ощущение (оно не покидает меня и сейчас, пока я пишу), столь разительно напоминающее экзистенциалист скую тошноту, что я едва мог поверить в его реальность. По мере того как мы обходили комнату за комнатой, квартира начала удаляться от нас. Как в кино. Тошноту вызывала не чужеродность предметов, которые нас окружали, но их удаленность, чувство, что они не имеют ко мне ни малейшего отношения, словно вижу их на экране — притом в фильме, смотреть который не имею ни малейшего желания. А потом, когда мы были в кафе (Элиз квартира нравится, она хочет ее снять), чувство тошноты усилилось, вылившись в сильнейший приступ, какого мне еще не случалось испытывать. Девушка, проходившая по тротуару снаружи, другие посетители, Элиз, мой собственный сведенный конвульсиями желудок — все это давало о себе знать лишь на четверть. Такое ощущение, будто умираешь. Проходим мы по Бейкер-стрит, спорим, стоит нам снимать квартиру или нет, — все в тумане. Один из показывавших нам ее пареньков отвез нас на машине в контору агента по недвижимости рядом с виадуком Холборн. Жуткие грифоподобные крылатые фигуры темно-красного цвета с золотой (чуть не написал: «злой» — описка явно по Фрейду) окантовкой; бесконечный подъем мимо позолоченных клеток, где жизнь не пульсирует, а замирает. Проходим нескончаемым коридором по верхнему этажу здания и натыкаемся на клерка-заику. Похоже, во всем огромном доме нет ни души, не считая этого кафкианского создания, каковое н-ничего н-не зн-нает. В машине Элиз укачало, и она стоя, ничуть не таясь, принялась читать письма, разбросанные на столе клерка. Мое «я», казалось, начисто отделилось от меня; осталось только тело и телесные ощущения. Моя личность словно взорвалась, не оставив ничего, кроме саднящих осколков распавшегося целого. Потом мы бродили по Холборну подобно бесприютным скитальцам в лимбе. Но Элиз мучила только физическая тошнота. Я же чувствовал и до сих пор чувствую себя онтологически оторванным от реальности; течение моей жизни будто прервалось. Это можно было бы счесть угрожающим симптомом, не будь оно так странно: то, о чем не раз читал и писал, становится столь физически осязаемо.

Ужасает отнюдь не чужеродность вещей, нет; ужасает, когда они утрачивают свою чужеродность, теряют всю присущую им ценность, все свое онтологическое значение. Они есть, и в то же время их нет. Они более не отражают тебя самого, уже не таят и не фиксируют в себе (в навигационном смысле слова) компонентов твоей индивидуальности; она просачивается сквозь них в психологическую пустоту, néant[756].

19 мая

Взяли с собой посмотреть квартиру на Дорсет-сквер Джейн и Берта Саундерс. Слава Богу, их здравый смысл городских (а в прошлом богемных) жителей со стажем забраковал ее с первого взгляда.

22 мая

Проснулся в пять утра от расстройства желудка. Сидел в длинной комнате, уставясь в одно из маленьких окон на восточной стороне. Только-только рассвело. И вдруг огромная спелая хурма поплыла над Хайгейтским лесом. Я смотрел на нее сквозь стекла, круглую, с дрожащей кромкой, оранжевую и необъятную. Из-за какого-то оптического каприза ее нижняя часть, будто, как прежде, удерживаемая горизонтом, вытягивается перевернутой каплей. На правом ее плече черная родинка; еще дремлющее солнце виснет над невозмутимыми серыми кронами пробуждающихся деревьев. Самые чарующие цвета, самая чарующая форма; и ненарушимая тишина вокруг, между мною и солнцем только воркуют голуби и снуют стрижи; вся мощь, вся природа, затаившись, трепещет, будто беременная женщина, — самое прекрасное зрелище, какое предстало мне за многие месяцы.

28 мая

Завтра отбываем в Грецию. Последние дни — суматошные, напряженные, бестолковые, нервные и пустые; но наконец-то мы чувствуем какую-то радость от предстоящей поездки. Сегодня утром я навестил Св. Годрик: в комнату набилось полным-полно девушек-иностранок, запасшихся книгами, чтобы получить автограф. Милые, кроткие, искрящиеся жизнью создания, относящиеся ко мне и к моей книге как к чему-то простому и здоровому — словно мы мать и ребенок; насколько же это лучше тех нервных конвульсий, какие неотделимы от существования литератора в Англии.

6 августа

Начали приходить американские рецензии — большей частью очень одобрительные. Но книгу так часто истолковывают превратно: никому не приходит в голову воспринять ее как параболу, как речение Гераклита; а ведь такой она задумывалась.

Сценарная разработка «Коллекционера», сделанная Джоном Коном, почти без исключений, так плоха, что я читал ее, не веря собственным глазам. Изменения в сюжете, счастливый конец и прочее — все это я готов принять. Но того, что напрочь изменены характеры, до неузнаваемости смещены мотивировки их поступков, а хуже — искажены все мои идеи, — я перенести не могу. Не говоря уже о ряде американизмов, какие вложены в уста моих бедных персонажей-англичан…

9 августа

Мы заготовили длиннейший перечень возражений; и я сочинил письмо.

Уважаемый Джон Кон!

Это очень трудное письмо, и читать его будет тоже нелегко. Но суть его вот в чем: даже со скидкой на все соображения кассового характера и специфику экрана Ваша разработка во многих местах представляется крайне неадекватной.

Пожалуйста, не думайте, что я не оцениваю по достоинству Ваши усилия и все мысли, какие Вы и Стенли Манн отдали данной работе. Мне понравилось очень многое из того, что Вы придумали в визуальном плане, а также — это ключевой момент — то, что в общем и целом Вы избавились от тех персонажей и сюжетных ситуаций, от которых и надо было избавиться.

Можем ли мы, во имя Господа, в будущем вместе поработать над сценарием? Насколько я понял, Вы не считаете меня достаточно компетентным помощником; однако, имея на экране дело с таким сюжетом, как этот, Вам придется быть максимально последовательным и точным в визуальных деталях, мотивации персонажей и диалогах. Если же попытаться суммировать все мои критические замечания к Вашей разработке в одном слове, то вот оно: она неправдоподобна, в ней просто не сходятся концы с концами с точки зрения английского (или любого иного) смысла.

Позвольте мне в заключение заметить, что мое разочарование не было бы столь велико, не будь у Вас за плечами такой прекрасной экранизации, как «Дотянуться до славы».

Так вот. Простите, если можете, все резкие слова (такова моя «первая реакция»); они продиктованы стремлением помочь Вам достичь лучшего. Вы хотите сделать хороший фильм, я тоже хочу, чтобы фильм был хорошим. Может быть, имеет смысл подступиться к нему с разных концов?

Арчи Огден, впрочем, думает, что этим контрактом меня «взяли за горло»: они могут просто послать меня ко всем чертям. И пошлют, если я отправлю письмо. Поэтому он намерен переговорить с ними и попытаться убедить, чтобы меня взяли в

долю — подчистить концы в сценарии. Как бы то ни было, сам он считает, что ребята справились неплохо: решили «действительно сложную проблему». Определенная трудность заключается в том, что между английским и американским воображением лежит пропасть. Даже такой интеллектуальный американец, как Арчи, кажется мне недостаточно тонким, с удивительной легкостью мирящимся с видимой неуклюжестью и выпрямленностью сценария. В конечном счете это вопрос не интеллекта, а вкуса: им нравится, когда все намеки раскрыты, под всеми умолчаниями подведена черта, а символику заталкивают прямо в глотку аудитории. Англичанам свойственно недоговаривать, американцам — говорить слишком ясно. (Лекция закончена.)

14 августа

Два дня в Ли — отвратные, полные с трудом сдавливаемой тошноты. Все больше прихожу в исступление от тупости тех, кто меня окружает: моих родителей. М. раздражает меня до такой степени, что уже спустя пару часов по приезде я не могу смотреть ей В глаза: к О. я по крайней мере испытываю некое подобие симпатии и жалости, хотя его взгляды на литературу и писательское ремесло так провинциально-викториански идиотичны, что мне приходится крепко держать язык за зубами.

Хотя Ли, не исключено, лишь соль на уже растравленную рану. Ибо я на распутье, обуреваемый таким множеством страхов и такой тошнотой, что сосредоточиться невозможно; весь мой успех в Америке ничего не значит — во всяком случае, не доставляет удовольствия. Честно говоря, мне до смерти надоел «Коллекционер», и мысль о необходимости еще раз продираться сквозь его дебри (в ходе написания сценария) побуждает меня задаться вопросом, не кончится ли это психушкой. Я уже забыл, что такое отдых и душевный покой, — и в этом плане каникулы в Греции ничем мне не помогли. То были два месяца, проведенных в вакууме, а теперь наступила пора вернуться к реальности — ровно на то же место, на каком я был в конце мая.

Главная причина этого душевного раздрая — чувство неудовлетворенности стихами и «Аристосом». Перспектива издания тех и другого ныне так же нереальна, как и до «Коллекционера». Меня неправильно понимают, превратно истолковывают, принижают. Само собой, это гордыня — гордыня проповедника в узилище. Но все чаще и чаще я чувствую, что выхожу из-под контроля — иными словами, корабль не внемлет гласу разума. Я — то, что исподволь диктуется моими навязчивыми идеями и глубинными импульсами, а не то, что подсказывает мне рассудок. За блестящим фасадом теснятся темные коридоры; команды поступают из тени, а не с ярко

освещенных мостков.

Когда мы с Элиз на пару часов вырвались из родительского дома, в Ли выдался странный момент умиротворения. Мы присели в саду у публичной библиотеки, глядя на тихое течение реки. И там я почувствовал, что у меня достанет сил пережить, *переупрямить* всю эту лихорадочную возню вокруг успеха, боль от непонимания, неуверенность в том, что смогу написать что-нибудь не хуже. Но это был только проблеск чего-то бесконечно дальнего, миг, который вспыхнул и тут же погас.

Вся тяжесть этого, и в Ли, и в Лондоне, падает на плечи Элиз. Подчас она оказывается стеной между мной и моим безумием, распадом, утратой уверенности в себе; и тогда от нее исходят — возвращаясь путем какой-то невообразимой трансформации — здравомыслие и терпение, некогда присущие мне.

В саду в Ли увидел ежа. Хотел поймать его, а в результате только травмировал бедного зверька, застрявшего под изгородью. Он не сворачивался в клубок, не пытался скрыться, а лишь лежал на боку, выставив наружу одну розовую лапку, тусклый черный глаз укоризненно выглядывал из-под иголок. Я выбранил себя за то, что прибегнул к силе, — за то, что поддался инстинкту старого азартного охотника. На следующее утро еж исчез; но этот урок я должен принять к сведению.

20 августа

Том Мэшлер:

— Мэри Хемингуэй[757] попросила меня слетать (в Америку) разобрать рукописи Папы. Больше никому она не доверяет.

Абсурд: вообразите кузнечика, оценивающего Стравинского. Правда, Том при этом добавляет:

— Одному Богу известно почему, — и еще что-то в таком духе.

Каждый раз, когда мы встречаемся, он нравится нам все больше, а его неугомонность, суетная озабоченность собственной репутацией — иудейские миро и уксус.

Последние четыре-пять дней сражаюсь со сценарием: два долгих совещания на Уигмор-стрит и три дня в одиночестве в собственной квартире (Элиз в Бирмингеме). Странные дни: по восемнадцать часов кряду переписываю худшие куски диалогов (те, что не взяты из романа), и внезапно вся троица: Пастон, Миранда и Клегг — вновь оказывается со мной. Необыкновенное состояние, в котором тобою же придуманные персонажи кажутся столь реальными, что пропадает всякая охота сидеть за пишущей машинкой: ведь можешь видеть и слышать их, просто расхаживая по комнате.

А следом мне пришлось встретиться с другой (не столь

реальной) троицей из компании «Блейзер филмз»: Джоном Коном — возможно, и либералом, но подернутым такой коростой должностного самомнения по-голливудски, таким природным отсутствием тонкости, что его либерализм близок к нулю; Джадом Кинбергом — приятным, обходительным человеком, но при этом чем-то вроде пустого места; и Стенли Манном — этаким комком тугих нервов, вне сомнения, умным, но лишенным творческого начала, поднаторевшим в искусстве подгонять оригинальные произведения под заданный шаблон. Манн более или менее на моей стороне, Кинберг занимает выжидательную позицию, а Кон активно против: ему нужны трюки, нарастающее напряжение, двухмерные персонажи и хеппи-энд.

Я читал вслух свои куски диалогов. Некоторые им понравились, другие нет — Кону не понравилось почти ничего. Язык на этих сценарных посиделках преобладает жесткий и ненормативный: «Ну ладно, хочет он уложить в постель эту чертову шлюшку, а она, эта маленькая сучка, не дает ему»; «Послушай, твоя упрямая целка выпендривается…» И так далее. Что привело мне на память один из романов о войне — «Обнаженные и мертвые», переполненный непечатной лексикой. Наш разговор тоже изобиловал матерщиной, и в этом проступило что-то неуловимо сходное: в конце концов, мои собеседники столько времени думали о фильме, перепробовали столько вариантов, что его герои основательно потрепались и у них появились шрамы, как у солдат в ходе военных действий.

Однако и Кинросс, и Мэшлер считают, что я делаю ошибку, вообще связываясь с ними — особенно не оговорив заранее финансовую сторону. Но в ситуациях такого рода я уверен, что поступаю правильно. Если в картине найдет место хотя бы половина тех корректировок, с которыми они на словах согласились, игра уже стоит свеч. Я способен распознать нечистого, когда он передо мной; и уж он-то не обведет меня вокруг пальца.

«Билли-лжец». В этом фильме играет девушка, Джули Кристи; ее пробуют на роль Миранды. У нее то самое лицо — лучше, чем я ожидал. Исполнительницы с лучшими внешними данными им не найти. А Клегга будет играть Теренс Стэмп. Ставить фильм должен Джон Шлезингер, но, увы, ему послали сценарий.

29 августа

Ищем дом в Лондоне. Элиз занята этим целыми днями. А я не очень-то представляю, где мне хотелось бы жить: в Лондоне, или за границей, или за городом. Да и в плане финансов это не так уж греет, при нынешних ценах. Самые дешевые дома, в самых паршивых районах, стоят около десяти тысяч фунтов. А в

Хэмпстеде не меньше пятнадцати. Нам придется занимать не меньше половины стоимости покупки. И поневоле думаешь о тех писателях, которые всю жизнь прожили в жалком положении должников.

Уайтинг «Бесы». Превосходная пьеса[758]. Печать гения, редчайшая вещь в современной литературе. Мысль сделать ее как мозаику коротких сцен — это да. Если надумаю писать Робин Гуда, надо взять ее на вооружение.

Гений — это когда признаешь в другом достижение, на которое сам в данной ситуации неспособен и которого сам бы стремился достичь. В подобных случаях неизменно испытываешь восторженный шок. Ибо любопытное свойство гения в том, что он убивает зависть.

4 сентября

Издательство «Литтл, Браун» выражает желание, чтобы я съездил в Америку и принял участие в рекламной кампании романа.

Голдинг «Повелитель мух» и «Воришка Мартин». Первый роман лучше, хотя его финал и неверен. Ральф должен погибнуть, а Земля — оказаться под властью темных сил[759]. Второй роман tour de force[760] отображения физического мира; однако флэшбэки в нем разительно слабы[761]. По-моему, Голдинга по большому счету можно упрекнуть в следующих недостатках: 1) следуя традиции Кафки (Рекса Уорнера), он рисует экстремальные ситуации экспрессионистически — а экспрессионизм и экстремальная ситуация плохо сочетаются друг с другом, одно подставляет ножку другому, ослабляет эффект воздействия; 2) его диалоги несовершенны; 3) его пространные описания физических ощущений и действий в конце концов делаются взаимоисключающими — то есть на практике читатель перелистывает эти страницы. Правило: чем экстремальнее и фантастичнее описываемая ситуация, тем реалистичнее (фотографически четче) и строже должны быть описания и диалоги. Примеры: «Робинзон Крузо», «Слепящая тьма». И наоборот: чем обычнее ситуация, тем более экзотичными и фантастичными могут быть язык и диалоги. Примеры: «Улисс», «Миссис Дэллоуэй».

«Коллекционер» — на третьем месте в списке бестселлеров журнала «Тайм».

Перелет в Америку. Он пугает меня. Статистика ничего не значит. Шансы выжить, похоже, пятьдесят на пятьдесят. Не то чтобы смерть что-то значила. Странно, но сейчас я был бы не против погибнуть. Несмотря на незавершенность всего на свете.

14–23 сентября

Как и большинство людей, называющих себя социалистами, я впервые отправился в Штаты, волоча за собой чемодан, битком набитый накопленными за всю жизнь предубеждениями против этой страны — предубеждениями, смягчаемыми немалой долей симпатии к американской литературе и немногим блестящим выходцам из Америки, с которыми сталкивался то тут, то там в Европе, и усугубляемыми всем остальным. Так или иначе мне предстоит объяснить, как неделю спустя я возвратился оттуда по-прежнему социалистом (на свой манер), но к тому же безнадежно влюбившимся. Не то чтобы в этой стране не было изъянов, напротив, они так же явственно различимы, как прыщи на физиономии подростка; однако никто никогда не потрудился рассказать мне, сколь неотразимо наивен, мил и симпатичен этот бедный юнец. И потому, рискуя тем, что все мои знакомые в один голос заявят, что я непростительно сентиментален, замечу, то, что я напишу, будет по большей части во славу Америки. Хотя бы для разнообразия.

Подлетая к Бостону, вооруженный комплексом неполноценности qui-vive[762], приземляешься. Череда неряшливых одноэтажных зданий, грязный коридор, облупившиеся стены, оконные рамы казенного бурого цвета, на стеклах окон зеваками намалеваны снаружи бесформенные каракули, пауки света, пробивающиеся поверх голов сотрудников управления по иммиграции. В Европе такое считалось бы национальным позором, а здесь полагается нормальным, непритязательным. Ага, думаю, вот презренный ирландец из Бостона, ну поглядим. Подхожу к самому малосимпатичному из чиновников. Он пробегает глазами мою анкету. Рвет, достает другую и аккуратно заполняет ее за меня. А когда я бормочу извинения, отзывается:

— Сделали бы понятнее. Ну вот, — продолжает, — надеюсь, вы прекрасно проведете у нас время.

С этого момента я не перестаю удивляться.

Встречал меня Нед Брэдфорд, главный редактор издательства «Литтл, Браун», невозмутимый интеллектуал-администратор. Очки, увеличивающие голубые глаза. Кварталы Бостона, которые мы проезжали, тоже выглядели обшарпанно — непритязательно. Потому что именно такого, приезжая в Штаты, не ожидаешь: грязи, ржавчины, обшарпанности — словом, обычных простительных недостатков старых цивилизаций.

По автомагистрали движемся на юг к Маршфилду, минуя места с английскими именами: Веймут, Брейнтри; а чуть позже их сменяют, смешиваясь с английскими, благозвучные индейские названия: Нантакет, Кохассет, Сайтуэйт. А потом Плимут А потом

Кейп-Код.

Самое большое потрясение — красота жилых домов в сельских местах Новой Англии: коттеджей, хижин и домишек в кейпкодском и колониальном стиле. Прекрасные строгие цвета, в которые они выкрашены. В основном белые, а ставни и другие фрагменты отделаны в серое, синевато-стальное и опять же белое; то тут, то там промелькнет темно-красный дом с оконными рамами и дверями, окрашенными белым. И дома не теснятся, подпирая друг друга. В Америке земля дешевая, а это влияет на национальное сознание. В этих краях, если вы намерены строить дом, нужно купить по меньшей мере акр.

Атмосфера, царящая в доме Брэдфорда, построенном в 1780 году, — абсолютно неофициальная, замешенная на полном бытовом благополучии (воспользуюсь этим словом, начисто игнорируя тот уничижительный оттенок, с каким его обычно употребляют). Просто здесь живут непринужденно и приятно, среди изящных вещей, наслаждаясь простором, газонами, озером, лесом.

— Мы просто хотим жить сами по себе, — говорит Пэм Брэдфорд, — И по-своему.

Одной из трагедий Америки мне представляется то, что, испытывая двустороннее давление — давление конформизма и весьма поверхностного потребительского процветания, порядочные люди, интеллектуалы впадают здесь в ностальгическую тоску по уединению (отголоски Торо), а непорядочные — в секс, пьянство и сеансы психоанализа. Фыркать над неврозами, по рождаемыми богатством, нетрудно. Я и сам нередко так поступал. Но социализм игнорирует эту сторону американского приключения на собственный страх и риск. Между тем и в этом, как во многом другом, они по-пионерски предугадывают и наши будущие пути.

Дух пионеров. В кухне старая плита. «Когда случается ураган, приходится все делать на ней». Рядом со всеми атрибутами современного комфорта она выглядит неуместной. Неуместной и, разумеется, до глубины души трогательной. Таков еще один пример не столь очевидного обаяния этой страны. Тесное соседство сложной бытовой техники с девственными лесными чащобами. С деревьями без конца и края.

В понедельник утром под дождем отправляемся обратно в Бостон. Он кажется невообразимо уродливым, неприветливым, грязным, хотя окрестности Бикон-Хилла по-своему привлекательны.

— Это красивые места, — говорит Нед.

Он не прав. Изящной городской архитектуры здесь кот

наплакал. Несколько со вкусом отделанных эркеров и дверей в колониальном стиле, но по большей части — нескончаемые ряды приземистых викторианско-эдвардианских домов из бурого песчаника. И утомительные пробки автомобилей с удлиненным корпусом. О, с каким апломбом американцы управляют своими громоздкими машинами! Даже дряхлые, побитые жизнью старики, оказываясь за рулем, напускают на себя беспечно-неприступный вид, силясь сойти в могилу, не утратив дежурных признаков мужественности. Жалкое зрелище, маскирующее тоску по утраченному человеческому достоинству.

Боб Фетридж. Заведующий отделом рекламы и продвижения издательства «Литтл, Браун», ему, как все утверждают, я в наибольшей мере обязан популярностью книги.

— Вид у него как у детектива в торговой лавке, — говорит Нед Брэдфорд.

Но он всего-навсего стеснительный нервный человечек с колючим, напряженным взглядом. Мне он нравится. В мою честь устроен торжественный обед в приватной клубной столовой; на нем присутствуют оба Артура Г. Торнхилла — старший и младший. Старший — костлявый старикан, не чуждый доброй старой гордыни своими издательскими деяниями и откровенно презирающий тех собратьев, кто, стремясь укрепить позиции на книжном рынке, опускается до порнографии (вроде «Скрибнерса», недавно опубликовавшего «Фанни Хилл»). Младший — вышедший из стен колледжа начинающий администратор, старающийся во всем напоминать англичанина и не совсем уместный в кресле одного из глав корпорации. Вокруг, очевидно насторожившись, разместились заведующие разными отделами, подгадывая момент вставить нужное словцо, продемонстрировать ожидаемое «непредвзятое» мнение, процедить реплику в сторону (для смеха). Сами по себе люди — приятней не придумаешь, либералы; однако на таких встречах довлеет должностная иерархия, понуждающая всех и каждого действовать по заведенному шаблону, а в основе этого шаблона — опять же власть.

Власть — это и есть Америка. Невроз власти; применение власти; поэзия власти; психология власти. Длинные автомобили, широкие струящиеся автомагистрали и эстакады, высоченные здания, масштаб и простор. Здесь все, даже самый обычный разговор, все, чему свойственны масштабность, энергия, размах, становится символом, эмблемой, метафорой власти.

Летим в Нью-Йорк. Всю дорогу небо затянуто облаками, но вот мы снижаемся, и перед нами Гудзон, Ист-Ривер, статуя Свободы и гигантская гроздь небоскребов на Нижнем Манхэттене.

Останавливаем типичнейшего, по заверению Боба Фетриджа, нью-йоркского таксиста: с гортанным бруклинским акцентом («Трэ-э-тье, авэну-у»), говорящего не закрывая рта, с места в карьер предлагающего стать нашим проводником по Гринвич-Виллидж («Я был копом в полиции нравов, я вам все покажу»).

Университетский клуб. Очень степенно и пристойно. Женщинам вход воспрещен, и вообще зеркально напоминает лондонские, вплоть до дремлющих в креслах старых развалин в читальном зале. Но у меня отличный просторный номер, роскошная ванная. Добротный уют. В окна просматривается дворик Музея искусств, а на расстоянии десяти ярдов Пятая авеню.

Поэзия Нью-Йорка: город под облаками, вершины небоскребов тонут в поднебесье. Солнечный свет, застекленные скалы парят в голубом небе, заоблачные города. В дали необозримых проспектов — умиротворенность в духе Клоде Моне. На зелени листвы — ласкающая дрожь солнечных бликов. Нью-Йорк оживлен, прохладен, юн. Девушки в платьях без рукавов.

Знакомлюсь с Наоми Томпсон, рекламным агентом издательства «Литтл, Браун», — лет сорока близорукой американкой со скандинавскими корнями, пухлой, любящей покомандовать и по-своему сумасшедшей; из нее как из рога изобилия сыплются рекламные восторги и искушения. Вся сиюминутная, пребывающая в непрестанном напряжении, она, как бармен-алкоголик, поглощает и исторгает галлоны литературных слухов. А где-то глубоко в ней ждет пробуждения милая домашняя женщина нордического склада.

Ритм Нью-Йорка. На пути от одного интервью к другому вскакиваешь и выскакиваешь из такси. Это вовсе не так нервирует, как можно предположить (или как любят посетовать местные жители). В Нью-Йорке напрочь отсутствует суета. Входишь в студию, пожимаешь руки, проверяют микрофон, отвечаешь на вопросы, пожимаешь руки, выходишь. Никаких пустопорожних благоглупостей публичной жизни Лондона, которые так изматывают.

Американцы интервьюируют гораздо лучше англичан, проще, раскованнее, стремясь не столько уколоть, сколько выяснить, во что ты действительно веришь, для чего делаешь то или другое, кто ты на самом деле. Моя задача — объяснить им, что такое экзистенциализм, по-прежнему прочно ассоциирующийся в американском сознании с битниками и Норманом Мейлером — нью-йоркским шутом гороховым, по нечаянности снискавшим в народе репутацию гуру. Раз или два меня попытались уткнуть

носом в дело Профьюмо, но в целом общественность понимает, что весь этот скандал — не более чем фурункул, который нужно было вскрыть; и как бы то ни было, при той скорости, с какой деградируют на Западе сексуальные нравы, ни одна страна не может позволить себе роскошь высмеять другую, кивая на такой прецедент.

— О да, мы посмеиваемся, — сказал мне один из жителей Нью-Йорка. — Посмеиваемся, а пальцы держим скрещенными[763].

Дни пролетают так быстро, что кажется, будто все происходит во сне. Поднимаюсь в 7.30 — для того чтобы позавтракать с Нортоном Мокриджем из «Уорлд телеграм». Это не чурающийся отеческой фамильярности тип (вроде бы редактор отдела городских новостей, и брать такого рода интервью ему не приходилось уже много лет) с усыпанной веснушками лысой головой и внешним добродушием, отличающим ньюйоркцев постарше. Светскость американцев — вещь очень импонирующая. Следует долгая серьезная беседа. Однако интервью за завтраком — на самом деле занятие весьма утомительное. В 9.30 моего собеседника сменяет Митчелл Краусе; таких, как он, я чую за километр. Нервный, деланно доброжелательный, изворотливый, как акула, и столь же «неподдельный», как мышь из пластика; прямо-таки гремучая смесь мнимого и настоящего коварства. Во время разговора то и дело с опаской оглядывался по сторонам, пальцы подрагивали. Похоже, моя флегматичность выводит из равновесия не слишком опытных — и не слишком искренних — интервьюеров. И меня это радует.

Потом три головокружительных часа с Маргерит Лэмпкин — знаменитой интервьюершей отдела культурных новостей «Кон-де-наст». Стройной девушкой в солнцезащитных очках, с неврозом, который она преподносит как самые дорогие французские духи, и луизианским акцентом, убаюкивающим, как нескончаемая любовная ласка (что ей прекрасно известно). Я общался с нею и Брюсом Дэвидсоном, асом фоторепортажа журнала «Вог», очень неглупым, неформальным — словом, «простым пареньком» вроде Джеймса Дина. Он почти все время отмалчивался, будто застенчивый подросток. А ведь это самый высокооплачиваемый журналист в самом высокооплачиваемом журнале в Штатах. Между нами тремя как-то спонтанно установился дружеский контакт в духе «Новой волны»: последовала серия снимков в невероятных позах на фоне здания компании «Сигрэм». Маргерит работала с Теннесси Уильямсом, жила с Ишервудом, знала Фредди Эйра. Все это сыпалось из ее уст в неповторимом кисло-сладком тоне.

— Мо-ой второй муж был таким у-умным. Вы не представляете. С ним было так интере-есно дни и ночи напролет, с мои-им му-ужем… — Ох эти ее бесконечно тянущиеся гласные.

— Бросьте, — говорю, — вы же специально выворачиваете слова.

— Не-ет.

— Черта с два.

Она наморщила свой милый носик с удивлением, столь же неподдельным, как фарфоровая безделушка Фаберже.

Мы двинулись в сторону Центрального зоопарка; зоопарки мы все терпеть не можем. Раз десять мою персону запечатлели на фоне полярных медведей. Прогуливаемся по парку, и тут мне приходит идея сделать ряд снимков в стиле Антониони: в смехотворных и неожиданных позах. Будто я Марчелло Мастроянни, а она Моника Витти. Дэвидсон приходит в восторг и танцует вокруг нас, словно Ариэль. Глядя на нас, люди на тротуаре застывают от удивления и сами столбенеют, озадаченные и слегка шокированные. А мне по-настоящему весело. Мы провели друг с другом пару часов, не сказав ни единого серьезного слова, и, после всех тяжеловесных выяснений, что я имел в виду под одним, под другим, вдруг сделалось так легко, так безыскусно.

До постели добрался в половине второго, а уже в 6.15 вновь поднялся: предстояло главное событие недели — интервью в самой престижной утренней телепрограмме «Сегодня с семи до девяти». Она транслируется на всю страну и имеет очень высокий рейтинг. Меня усадили между женой Сааринена[764] и Бобби Кеннеди, так что издательству остается сгорать от восторга. Я чувствовал себя непринужденно, никаких заминок, хотя обсудили мы и не все, что мне хотелось бы.

Интервью с Льюисом Николсом из «Нью-Йорк тайме». Грузный, обрюзгший человек с физиономией огромного мопса. Обладает типично нью-йоркским мрачноватым остроумием в самом концентрированном виде. Мне это импонирует, это трезвое преуменьшение всего и вся, сведение всего наивного к чему-то из области патологии — синдром Олби. Он был слегка навеселе и, очевидно, недоволен жизнью как таковой. Я тоже начал понемногу балансировать на грани дозволенного, и примерно час мы оба разыгрывали укороченный вариант пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?»[765]. Я, как мог, разошелся по части американцев.

— Господи, до чего же я ненавижу англичан, — снова и снова повторял он, извергая слова из своей чарлзлоутоновской пасти. Так мы и ходили взад и вперед по туго натянутому канату между раздражением, грозящим вылиться в битье посуды, и шутливым

не-принимайте-всерьез-я-вас-просто-подначиваю; такое, впрочем, у ньюйоркцев вполне в обычае. Но под конец взяли себя в руки и закончили беседу на вполне миролюбивых тонах.

Моя книга — из тех, какие приняты в Нью-Йорке на ура. Всюду, где бы я ни показывался, люди стремились о ней поспорить, подискутировать о том, что я имел в виду, — и все оттого, что одна из затронутых в ней тем — тема импотенции: сексуальной, физической и психологической. Пьеса «Кто боится Вирджинии Вулф?» — о том же. Она задевает за живое постольку, поскольку речь идет о власти и импотенции, а отнюдь не из-за других вещей, о которых в ней говорится.

— Все американки хотят, чтобы их поимели в подвале, — заявила мне одна дама. — Мы все без ума от вашего злодея.

От такого поворота разговора я растерялся: ведь подобный эффект книги никому не мог прийти в голову. Однако, как бы я ни настаивал на этом, американцы мне не верят.

Пятничное утро. Мой желудок взбунтовался: слишком много крабов, устриц, виски, сигарет. Я принял две лошадиные дозы хлородина и остаток утра продремал, не совсем понимая, что вокруг происходит.

Глория Вандербилт. Едва стало известно, что эта девочка-женщина выразила желание встретиться со мной, у многих глаза выкатились из орбит[766].

— Вандербилт! — восклицают они. — Господи Боже!

Грейси-сквер, роскошный особняк, вверх на лифте, который ведет прямо в холл. И за угол. Очень стройное существо девичьего вида с седеющими черными, забранными вверх волосами и морщинками вокруг темных глаз; все это помогает взглянуть на нее как на обычного человека. И то, что она не красит волосы, и то, что не прячет следы пережитых печалей. В ее кабинете, отделанном готическим деревом, плохая картина в углу (ее собственной кисти) и застекленная дверь на террасу. Шампанское и горка икры в огромной хрустальной вазе со льдом. И трое редакторов журнала «Космополитен». Двое заместителей — приятные, обходительные, но главный — слишком вертлявый, слишком словоохотливый, лысеющий, очкастый, не упускавший случая впечатлить обожаемую Глорию. Мы пили шампанское (каждые полчаса она незаметно исчезала и возвращалась с новой бутылкой) и разговаривали, атмосфера постепенно теплела, я рискнул поиграть в игру «а если подумать серьезно…» и таким способом немного заткнул редактора. Глория мне подыграла и не раз говорила «да, да, да»; она, не приходится сомневаться, женщина, которой катастрофически недостает искренности, серьезности, какой она смогла бы доверять, и вообще —

недостает того, во что она смогла бы поверить. Мы обнаружили, что нам обоим нравится Кэтрин Мэнсфилд.

— О, вы должны посмотреть, что есть у меня в спальне.

Я отметил про себя эту фразу, которая в любом другом месте Нью-Йорка с ходу вызвала бы каскад двусмысленных острот. Над *ее* наивностью смеяться не принято. Глория рассказала историю о Сэлинджере. Одна из ее подруг написала ему письмо, извещая, что хочет покончить самоубийством, вскрыв себе вены. «Режьте глубоко и держите руки под холодной струей, — написал он в ответ. — Кровь побежит быстрее». Подруга до сих пор жива. И еще одну историю — о девушке, которая писала ему длинные невразумительные письма. В один прекрасный день он ответил: «Не думаю, что хочу знаться с девушкой, которая пишет так плохо, как вы». Но вот через несколько лет вышла его повесть «Над пропастью во ржи». С тех пор девушка ходит и причитает:

— Но это же мои письма!

Еще она говорила о Трумэне Капоте и Уне Чаплин, своей «лучшей подруге», — да, она именно такая, американская девушка из общества. На самом же деле Вандербилт показалась мне наименее претенциозной и самой уравновешенной из всех, с кем я встречался в Нью-Йорке. Ну, разумеется (если уж отреагировать на это типично по-нью-йоркски), она может себе позволить быть уравновешенной. Бедняжка, она же всего-навсего самая богатая девушка в мире. Однако, познакомившись с нею, я затруднился сформулировать правильный социалистический ответ. В любом случае, она так подкупила меня своим пониманием того, что я попытался сделать в «Коллекционере» (который она уже прочла), что я с самого начала был застигнут врасплох. Оказалось также, что у нас одинаковые взгляды на искусство и писателей.

В восемь часов мне надо было пойти на пьесу Олби, но она все не отпускала нас, показывая апартаменты. Больше всего похожие на маленький дворец. Вверх по ступенькам поднялись в сад на крыше, на съемочную площадку высоко над Ист-Ривер — удлиненные белые стулья, кустарник, скульптуры и весь Нью-Йорк, распростершийся внизу. Она взяла меня под руку и заставила повернуться.

— Вот откуда я подглядываю. У меня есть полевой бинокль.

Кругом стоят многоквартирные дома. Так мы обнаружили еще одно любопытное совпадение во вкусах. Потом спустились на нижнюю террасу. Тросы, привязанные к огромным лампам, как насекомые, облепленные чудовищными геометрическими паразитами. Река автомобилей, движущихся внизу по набережной, пульсирующий поток яркого света. А на террасе, где

мы стоим, все почти по-тибетски мирно и неподвижно. Комната с огромной каминной полкой, сделанной из позолоченных консолей в стиле Людовика XV и XVI, на каждой драгоценная ваза, отдает неожиданным сходством с магазинной витриной. По стенам развешаны ее картины: дети с цветами в руках смотрят на вас задумчивым, боязливым, уводящим в неведомое взглядом. Таким же, как взгляд ее карих глаз. Полотна слишком большие, впечатление от них удвоилось бы, будь они поменьше. Но в пастельных тонах и странной нездешности лиц есть некое очарование на манер Матисса. Они оказались намного лучше, нежели я ожидал.

Потом мы зашли в ее спальню, и там, на камине, стояла «уникальная фотография» («Я купила негатив») Кэтрин Мэнсфилд; на ней она выглядела очень серьезной, прямой, черные глаза словно бусинки смотрят прямо в твои со смутным беспокойством. Стоя рядом со мной, Глория сказала:

— Я поставила эти вещи рядом с ней, потому что она их так любила.

Две фигурки дрезденского фарфора: пастушки на фоне стены цветов.

У двери она берет обе мои руки в свои, другие гости порядком смущены, но мне-то ясно, что она хочет сказать, несмотря ни на что, несмотря ни на что.

На улице, в такси, мы отзываемся о ней как об уникальном феномене американской жизни, который она воплощает. Точнее, отзываются они. Ведь всем этим жертвам слишком больших денег время от времени хочется выпорхнуть из золотой клетки, а мне, писателю, ведомо, как держать дверь открытой — как, впрочем, и всем писателям с сотворения мира. Мы можем на миг освободить их, а всем им хочется быть свободными — хотя бы на миг.

Парни из «Космополитен» явно используют ее; она уже просила их перестать помещать ее лицо на обложке. Однако ей хочется быть писательницей, и, по-моему, в данный момент она пользуется своим именем, чтобы быть напечатанной; радости ей это не доставляет, но устоять она не в силах.

Словно всю жизнь пробыла Золушкой на балу. Всю эту неделю я тоже чувствовал себя Золушкой. О Золушке на балу можно написать пьесу, и в этой пьесе не будет ничего детского. Только блеск и тревога. Ветер, внезапно дующий в занавески, нежданный ветер, гуляющий по комнате. Потом звук сирен, доносящийся снизу, с реки, все громче, все ближе. Внезапная застенчивость, робость, что ее обуяла.

Айдлуайлд[767]: магия дверей, автоматически раскрывающихся при вашем появлении, напоминает о фильмах

Жака Тати. В холле БОАС — трое бизнесменов из Англии: все с трубками, в коричневых шерстяных костюмах; все смеются. Услышав шутку, один разражается хохотом, поворачивается, отходит на четыре шага, затем возвращается. До чего бесхитростные людишки. Не выношу агрессивной мужественности иных американцев, но эта мышино-козлиная непробиваемость английского самца просто тошнотворна. Весь обратный путь эта троица сидела впереди меня, строя глазки стюардессам, задавая глупейшие «забавные» вопросы.

— А снаружи нет дождя? (Само собой разумеется, на высоте 35 тысяч футов дождя быть не может.)

Стюардесса скалится дежурной улыбкой:

— Мне выйти и проверить, сэр?

Ха-ха-ха. Потешили девушку остроумием.

В Айдлуайлде отрываешься от земли в восемь вечера, в сумерки. А спустя четыре часа над Ирландией брезжит рассвет. Весь полет занял чуть больше шести часов. Назад на Черч-роу, 28; странно сознавать, что еще девять часов назад ты спускался по Пятой авеню, что отсюда в центр Нью-Йорка попадаешь скорее, чем, допустим, поездом в Венецию.

Равнинный ландшафт, отсутствие акцента — это Англия. Таково мое первое впечатление. Воздух словно выкачан. Америка горделиво высится, Англия стелется по земле. Я имею в виду, в архитектурном смысле слова. И нехватка силы: ток внезапно отключается, темп замедляется, давление падает, супермен скукоживается до обычного человека, власть становится фикцией, ее замещают общественный престиж и кастовая система.

Едем с Элиз инспектировать понравившийся ей дом в Долине здоровья. Не думаю, что вытерпел бы его и в лучшие времена, но смотреть его после этого опыта, заглядывать в крошечные комнатушки, чувствовать себя как в коробке, лицезреть его нынешний мелкобуржуазный комфорт, будто приглашающий зажить тихой, маленькой жизнью… Я был сыт всем этим и до Америки. Но теперь я чувствую, ощущаю всеми фибрами, что мне необходима открытость, простор. Завоевывать стоит не Англию, а Америку. Завоевывать из Англии, но живя ближе к Америке, к энергии, к мощи. В пределах возможного мы должны создать обстановку, в которой я смог бы, говоря словами американцев, задействовать себя как писатель. То, что англичане существуют внутри своей истории и во имя своей истории, — штамп; но именно это я почувствовал, возвращаясь сюда. Как и то, что Америка и американцы каким-то смутным — и даже возвышенным — образом открыты контурам и масштабу человека двадцатого столетия и неизмеримой сложности его проблем.

Думаю, точно такое же чувство испытывает и человек, живущий в России. Это ощущение — в данном контексте — не связано с размерами страны; оно лишь сигнализирует о степени, в которой страна понуждает индивидуума посмотреть в глаза проблемам современного существования. Отнюдь не самое главное, как обставлена жизнь изнутри; но существование человека (мое существование) обусловлено тем пространством, в котором он обитает. Это как с ракетами. Необходимо выйти к более широким горизонтам.

Часть десятая
БЕГСТВО В ЛАЙМ

30 сентября — 4 октября 1963

Челтнем. Мы разместились в отеле по соседству с городской управой; он переполнен реликтами давно прошедших дней: вышедшими на пенсию классными дамами и почтенными джентльменами; впечатление такое, будто мозги двадцатых тридцатых забальзамированы в телах, застрявших в семидесятых — восьмидесятых годах прошлого века. Такой уж неспешный здесь прогресс. Челтнем — город аккуратных фасадов и окультуренной природы, цветущих деревьев и живописных пейзажей, изящных железных оград, чернеющих на розовом и бежевом фоне.

Другие приехавшие писатели: Фредди Рафаэль, разговорчивый еврей, очень напоминающий Тома Мэшлера; он буквально фонтанирует идеями, облекаемыми в лаконичную и простую форму, не имеющими ничего общего с напыщенностью, претенциозностью, трепом, idées reçues[768]; такой тип умного молодого человека еврейского происхождения просто не может не нравиться, не может не импонировать типичная для него язвительная гуманность, нетерпимость к заурядной английскости. Но, конечно, в подобном максимализме есть и опасность определенного перехлеста: слишком многого эти молодые люди не приемлют, слишком многое в прошлом Англии считают отжившим.

Габриэл Филдинг[769]: тоже разговорчив, но патологический экстраверт; из него так и пышет католицизм, побуждающий его беспрерывно исповедоваться. Из любых пяти минут наедине с ним четыре проводишь в исповедальне — и тут-то начинаешь понимать, как утомляют священников даже самые интригующие грехи. По профессии он тюремный врач. И Томас Хайнд — молчаливый, чуть замкнутый; и его жена, на удивление удачно окрещенная Сьюзен Читти[770]: по сути, ничем не примечательная девчушка, битком набитая броскими стереотипными мыслишками и, как и все они, трепещущая перед громкими именами.

На первом заседании, посвященном сегодняшнему состоянию литературы, к нам присоединились Айрис Мердок и Джон Бейли. С Бейли мы познакомились в Эксе в 1949 году[771]; это тщедушный, лысеющий, близорукий, заикающийся человечек. Помню, он всегда смотрел в сторону, держался сам по себе,

словно в жилах его текла не кровь, а так, какое-то жиденькое молоко. Его брак с Айрис Мердок — наверняка hors de lit[772], итог физического притяжения. Она строга, корректна, похожа на сельскую учительницу, только со слегка (по ее представлениям) неортодоксальными взглядами.

— Я обожаю Италию, — замечает она робко, будто закомплексованная школьница, преподнося цветы.

Меня посадили с ней рядом на обеде, на котором председательствовал несносный Джек Пристли. Этот озлобленный старикашка, не думавший ни о чем, кроме того чтобы поскорее завершить программу, настроил против себя всех, кроме супругов Бейли.

— Мы не собираемся обсуждать ни других авторов, ни издателей, ни рецензентов, — заявил он. — Это не входит в наши задачи.

И вот мы, собравшиеся как послушные ягнята, волей-неволей подчинились его диктату: отговорили каждый свое, откликнулись, когда к нам обратились, еще раз подали голос — без страсти, без пафоса; в результате абсолютно ничего не прояснилось, собравшиеся солидаризировались и спорили с тем, о чем вовсе не было речи. Все корове под хвост. Скомкав дискуссию, он внезапно объявил заседание закрытым, сказав несколько ни к чему не обязывающих слов о том, что в литературе нам недостает «любви, надежды, восхищения».

Я-то приехал на конференцию, намереваясь подвергнуть критике Мердок и некоторых других авторов; иными словами, оспорить не столь ее личные творческие достижения, сколь то место в храме литературной славы, какое ей отводит критика. Что до самой Мердок, она — мягкий человек с хорошим ясным умом. И разумеется, я не ставил целью дискредитировать персонально ее. Вообще говоря, никто из собравшихся не нападал ни на кого в отдельности; все говорили уклончиво, в общем плане.

Как бы то ни было, за обедом Мердок чувствовала себя разве что не именинницей. Когда в разговоре возникла пауза, она внезапно объявила:

— На прошлой неделе под копытами лошади погибла величайшая из современных женщин-философов.

Воцарилось озадаченное молчание. Шутка? Катастрофа?

— Элизабет Энскомб, — загадочно произнесла Мердок со своей натянутой улыбкой.

Брожу с Рафаэлем по антикварным лавкам. С людьми этого типа я схожусь легче, чем с английскими литераторами как таковыми. Мы оба придерживаемся мнения, что смысла в таких

конференциях никакого. Они бесперспективны. Думается, подчас поговорить с другими писателями не вредно, но по природе все мы — одиночки; а когда собираемся вместе, результат получается не тот, о котором хочется писать.

Долгий разговор в Элленборо с Вольфом Манковичем после его лекции. На ней был и Фредди Рафаэль, фонтанировавший идеями. Ф. Р. вроде молодого Исайи Берлина — своего рода энергостанция, источающая идеи и мнения. Очень быстро формулирует, с удивительной легкостью занимает оборонительную позицию, как присуще евреям-интеллектуалам. Манкович же, напротив, при всей его высокомерной снисходительности, при всем его ироническом уме, при всем профессиональном даре выгодно подавать себя, существо весьма жалкое[773]. Похож на того римлянина, которому, дабы успешно выступить на сцене, требовалось пощекотать перышком язык (его слабости выявляются как раз при таких встречах: мы до трех ночи просидели в коричневых кожаных креслах в похожем на морг отеле). Я заметил, что его жизнь, на мой взгляд, так «перенасыщенна» (в отрицательно-гастрономическом смысле слова), что я просто не понимаю, как ему удается с ней справляться. И тут из него потекли потоки сожалений о самом себе. О том, как ему не нравится ни одна строчка из написанных, о том, как он делает одну работу за другой ради работы.

— У меня шесть островов, сказал он (два или три настоящих и два или три дома, куда он заточает себя).

— А мосты вы ненавидите, — сказал я.

— А мосты я ненавижу, — подхватил он. — Господи, как я ненавижу мосты!

И он, и Ф.Р. (который в десять раз умнее Манковича) — оба жертвы этой странной сублимации снискавшего признание писателя-еврея: любви к громким именам, потребности казаться «своим» в лондонском литературном и кинематографическом мире, иметь самый высокий рейтинг и лучшего агента — иными словами, постоянно пребывать «в титрах» в экранном смысле слова. Оба утверждают, что живут в непрестанной тревоге, никому не доверяют. Я ответил (между прочим, то же я думаю и об американцах):

— Но ведь быть евреем-интеллектуалом чудесно, вы свободны, вы никому не принадлежите.

Разумеется, им нравится быть людьми без корней: евреи всегда хотят, чтобы их жалели. А чуть позже поэт Натаниэл Тарн (тоже еврей, принятый в европейских литературных кругах) заметил:

— Это век негров, евреев и азиатов[774].

Я с ним солидарен. Век людей без корней, неприкаянных.

Томас Хайнд. Выглядит довольно жалко со своей преувеличенной заботой о такте, склонностью постоянно недоговаривать, с типично винчестерской приверженностью ко всему «нормальному», вплоть до патологии, с вечной готовностью отстоять точку зрения рядового потребителя даже тогда, когда этот потребитель глуп, так, он не усматривает ничего порочного в том, как работает телевидение, как рецензируются романы, как организуются туристские лагеря. Худосочный человек с вобранной в плечи головой, точь-в-точь как тоненькая серая былинка. Он и его жена живут в бедности.

— Знаете, я ложусь рано: напитки, что я люблю, Тому не по карману.

Мне подумалось: самое время выложить на стол пятерку Здорово, что он не поддается искушению успехом; а она нам не нравится, поскольку из-за этого комплексует.

Я «председательствую» на выступлении Дианы Ригг — моей любимой молодой актрисы. В «Лире» Скофилда она исполняла роль Корделии[775]. Умная, искренняя молодая женщина, такая же в жизни, как на сцене: перед тем, как выйти на публику, до боли сжала мне руку.

— Я так волнуюсь.

Но она очаровательна и прямодушна, а мне удалось показать, как она мне нравится. По мнению Элиз, встреча с нею — лучшее событие на этой неделе. Ригг отнюдь не красавица. Плоское лицо с курносым носом, но прекрасные, светящиеся карие глаза.

В последний день к нам присоединился Тарн (Майкл Мендельсон). В издательской жизни, да и в жизни вообще, еще новичок; и в то же время — мудрый юноша, чем-то напоминающий Т. С. Элиота образца 1963 года. Пишет полные эмоций стихи и наделен (это чувствуется) в высшей степени эмоциональным внутренним миром. По специальности антрополог в Лондонском университете. Высокий, молчаливый, редко смеется. Есть в нем что-то от денди, но это приятно.

Оксфорд. Супруги Филдинг повезли нас к чете Подж. Все тот же набивший оскомину чопорный мир. Негласное правило, если ты достиг успеха, то неминуемо продался. Меня забавляет, когда они меня достают, изводят придирками. Подж и Эйлин до хрипоты спорят о Кэти, которая завела дружбу с группой молодых «битников» — этих, по словам Эйлин, «поэтов без поэзии». Подж считает, что они не достойны ничего, кроме презрения, ибо беспорядочно мыслят и аполитичны. Другие тинейджеры нарекли группу, к которой примкнула Кэти, «кривляками», а на языке этой группы все прочие представители буржуазного круга

«ничтожества».

* * *

Подж настоял на том, чтобы заплатить по счету в ресторане, куда я их пригласил. Я не возражал: это доставит ему удовлетворение, ведь ему надо на что-то пожаловаться.

Мердок «Отрубленная голова». Все (и я в том числе) немилосердно ее критикуют, но эта книжка действительно очень забавна, отлично выполненный фрейдистский marivaudage[776]. Есть в этом романе что-то абстрактное, холодновато-геометричное и в чем-то даже поэтичное. Если и не достижение в литературном или гуманистическом плане, то в художественном — несомненно.

11 октября

Плохие дни. Элиз в отчаянии, потому что мы никак не можем найти жилье. Я тоже, потому что хочу продолжать «Волхва», но не могу, пока все так неустроенно, так неопределенно. В массе никуда не годных предложений засветились два или три подходящих. Думается, я все больше склоняюсь к дому в провинции, в основном потому, что там хоть места будет достаточно. Элиз понравился дом в Кэнонбери — Кэнонбери-роуд, 15; сам по себе он замечателен, но по проселочной дороге то и дело громыхают грузовые фуры, а выбирать такое место, зная, что день-деньской сидишь дома и пытаешься писать, по-моему, безумие. Ее приводит в бешенство, что для меня не главное обзавестись домом, а меня то, что для нее не главное — время (и спокойствие), необходимое мне, чтобы закончить «Волхва». Так что мы обитаем на разных полюсах.

18 октября

Еще один дом — чем черт не шутит? 44, Саутвуд-лейн, Хайгейт. Фермерский коттедж 1780 года, очень маленький, но приятный. 7500 фунтов.

22 октября

Объезжаем Хэмпстед с Джадом Кинбергом. Ищем места для натурных съемок. Он — симпатичный еврей родом из Нью-Йорка, переехавший в Европу: «Я живу в глуши». Делает сотни снимков, по большей части не в тех ракурсах, чтобы показать режиссеру. Возвращаясь, на противоположной стороне улицы заприметили невысокую, крепкого сложения женщину с тяжелым чемоданом. Это оказалась Айрис Мердок. Я подошел и поздоровался.

— Мы встречались в Челтнеме.

Она чуть покраснела, будто ее поймали за контрабандой

марихуаны.

— Знаете, это все мой колледж. Приходится позировать для портрета[777].

— Мы прочли «Отрубленную голову», — сказала Элиз. — Она задумывалась как смешная?

— Ну-у, — промямлила Мердок, вновь покраснев. — Отчасти.

Так мы и живем: встаем и ложимся (и занимаемся любовью), когда захочется. По-моему, только это и может называться жизнью. Не запрограммированной, не монотонной.

24 октября

В эти дни к нам нередко наведывается Тарн. Оказывается, у него почти нет чувства юмора; слишком уж он серьезен. По отношению к самому себе. Сегодня вдруг заявляет:

— На самом деле мое имя не Мендельсон. Меня зовут Ставрогин. — А чуть позже: — Возможно, я получу титул пэра. И тогда мне придется опять менять имя.

Подчас я с трудом ему верю. Он не скрывает, что его родители — настоящие и приемные (и те и другие евреи) — богаты. И оказывают ему поддержку — «моральную, отнюдь не материальную». На данном этапе он «не может ни работать, ни думать» и подвержен обморочным состояниям.

— Вам может показаться, что со мной все в порядке, — говорит, — но вот в понедельник мне надо быть на работе, а я вовсе не уверен, что буду в форме.

С таким видом, будто хрупкость его организма — сама по себе чудо.

Элиз и я — что-то вроде пары нерукоположенных католических священников. Те, кто к нам приходит, тут же принимаются без умолку говорить о себе. Даже не ожидая вопросов (хотя нельзя сказать, что мы, с нашим теперешним опытом, не умеем расколоть собеседника). Очевидно, в натуре каждого из нас есть нечто от исповедника.

8 ноября

Чудесный рассвет. Неистовый ветер с северо-запада, рваные клочья серых туч, а меж ними прогалины чистейшего неба — белого, лимонного, рыжеватого. Лондон — необозримая гирлянда оранжевого и жемчужно-голубого, сыплющаяся искристыми брызгами; верхние этажи зданий в тени, а холмы и низины, напротив, явственно различимы; от ветра воздух стал ослепительно прозрачным. Весь просыпающийся город блестит и сияет, как юная девушка, чарующая свежестью и чистотой.

Будь я Адамом, мне бы понравилось изгнание из рая. Открытие — всегда облегчение.

Романист — что-то вроде шарлатана, а его наука сродни

алхимии.

9 ноября

«Волхв». Не движется с самого мая. Но наберет темп, хотя мне придется урезать философию. Нет ничего сравнимого с радостью творчества, с погружением обратно в собственный неповторимый мир, собственных персонажей, собственные слова. Кончис, Лилия, Алисон, Николас Урфе — они поднимаются со страниц и глядят на меня. Возникает это странное чувство: они принадлежат мне, но в чем-то — и я им. Стоит мне проделать с ними то-то и то-то, и они перестанут быть моими. Критик, нетворец мог бы сказать, что такова всего лишь логика выстраивания характеров. Однако природа этих отношений эмоциональна: есть вещи, которых по отношению к собственным персонажам не можешь сделать по соображениям логики; и есть вещи, которых не можешь сделать по отношению к своим друзьям.

19 ноября

Уик-энд в Эштеде с Д. и М. Они живут в какой-то глуши: в мрачном неприметном домишке сельского типа, заставленном чужой мебелью, полном вещей, уродства которых не выдерживает сетчатка глаза; а за ним тянется вереница других таких же домишек, прелых листьев, серого неба; между тобой и безумием — только телевизор. Элиз считает, что натура М. - по сути сельская; как бы то ни было, последняя активно ратует за такой образ жизни. Либо из неосознанной обиды на жизнь (на то, что жизнь не позволила ей стать актрисой), либо из ненависти к «южной» претенциозности; а может быть, потому, что, живя в мире иллюзий, оба так много растратили в прошлом; о мотивах остается только гадать. Во многом их мир еще таковым и остается, их стремление плыть по ветру, ослабленное чувство времени побуждают меня думать, что я еще пребываю во вчерашнем дне. Хочется встать и быстро зашагать куда-нибудь, уводя их за собой. Денис хранит верность самому себе, мягкому и тактичному. Он и на Страшный суд прибудет на минуту позже, но с таким достоинством, какое никому из нас и не снилось.

В воскресенье вечером мы вернулись в Челси на прием, устроенный Джоном Коном в честь всех американских киношников, обитающих в Лондоне. Прием оказался холодным и бессодержательным, ибо холодны и бессодержательны были все «очень важные» персоны. Уайлер[778] казался серым и изможденным, с блуждающим взглядом и набором словесных штампов. Меня представили Сэму Спигелу, магнату из магнатов.

— Знатную книжку вы написали, — обронил он и невозмутимо продолжал говорить что-то своему собеседнику.

Стенли Манна, как обычно, задело мое неприятие этого мира. О *мистере* Уайлере он отзывается как об Эйзенштейне, Гриффите и Рене Клере, вместе взятых. В этих представителях киношного сословия, напрочь не способных отрешиться от собственного преклонения перед рангами, властью и деньгами, есть что-то специфически египетское.

Сейчас вся сложность проблемы сводится к тому, что Франкович, глава здешнего филиала компании «Коламбиа», хочет, чтобы Миранду играла Саманта Эггар. Никто другой не одобряет этого выбора, но все считают, что в конце концов Ф. настоит на своем.

В этом мире Джад, с его приятным еврейским скептицизмом по отношению к себе и ко всем нам, какой, похоже, отражает по таенную суть его уравновешенной натуры, кажется островком здравого смысла. Конечно, по многим внешним показателям он ничем не выделяется из голливудского фона, но в глубине души видит его насквозь. Импонирует нам и его жена Сюзанна, некогда игравшая в труппе Луи Жуве[779]. В ходе «прослушивания» она так глубоко вошла в исполняемую роль, что разразилась слезами. Мэтр подошел и взглянул ей в лицо, затем усмехнулся: «C'est l'assistance qu'il faut faire pleurer. Pas vous»[780].

Имея дело с кинобизнесом, я наделал немало ошибок: продал права слишком поспешно и слишком дешево; не оставил их за собой; не избавился от Стенли Манна как автора сценария (что можно было сделать, поведи я себя погрубее); и, наконец, не отказался иметь с ним дело в дальнейшем. И фильм погиб, погиб, еще не родившись.

22 ноября

Убийство Кеннеди. Шок; он, разумеется, обусловлен самим фактом гибели, а не тем, что погиб «лидер западного мира», то есть вовсе не тем, что декларируется в заявлениях официальных лиц. Лично меня удивляет, что в мире совершается не так уж много такого рода убийств. Ведь в капиталистическом обществе имя Кеннеди символизирует успех: деньги, процветание, власть — в мире, одержимом патологической жаждой того, другого и третьего (и где их так недостает), все это воплощается в одном-единственном человеке. Не отсюда ли берет начало вездесущее тайное стремление уничтожить этот идеал — или тех немногих, кто претворил его в реальность? Это стремление продемонстрировать базовое равенство: я = тебе. В итоге оказался уничтожен не только Кеннеди: в мозгу капитализма, пирамидального общества произошла закупорка сосудов. Отнюдь не Ли Освальд[781], а это самое общество нажало на курок.

26 ноября

Переделываю «Аристос» для публикации — или хотя бы чтобы представить его окружающим. Случившееся с Кеннеди подтверждает столь многое из сказанного в этой книге. Испытываю несказанную муку от того, что не могу объяснить это людям: ведь во рту у меня кляп, ничего из того, что я говорю, никто не опубликует.

«***Корреспондент*** (1960): Почему вы хотите стать президентом?

Кеннеди: Потому что в Белом доме сосредоточена власть.

Джон Уилкс Бут (*перед убийством Линкольна*): Мне нужна слава — *слава*!

Руби (*убийца Освальда*): Его сестра сказала о нем: “Ведь он так восхищался каждым президентом. Вот в чем все дело”.

Джеки Кеннеди: Я хочу, чтобы похороны как можно больше напоминали похороны Линкольна».

(Как много этим сказано об американской болезни!)

29 ноября

За слишком упорную приверженность реализму приходится расплачиваться. В «Коллекционере» я, на свою голову, подарил Миранде слова и мысли, присущие именно девушке ее поколения и круга; а ведь большая часть писателей, даже «реалисты», блефуют. Устами своих персонажей говорят сами, не маскируясь.

18.15. Кажется, я закончил «Аристоса».

«Большой Мольн»[782]. Прочел его впервые. Странное чувство: вроде ощущения Робинзона Крузо, который видит следы на песке и осознает, что на своем острове он не первый. Ибо витающий над каждой строкой «Б. М.» зеленый призрак — родной брат тому, к какому я апеллирую в «Волхве». Произведение Фурнье выполнено акварельными, мое — ацетатными красками (не потому, *само собой разумеется*, что я создаю набросок будущей экранизации; просто не учитывать, что кинематограф — особенно фантастический-романтический-поэтический: фильмы Кокто, буньюэлевский «Робинзон Крузо», Антониони и прочее, — исподволь влияет на процесс письма, нелепо); однако сверхзадача того и другого — одна и та же. Тайна, чистая тайна. Ключ к притягательности «Б. М.» в том, что он зиждется на твердой основе сельского быта.

Секрет воздействия этого произведения в том, что его символическая, психологическая правда столь значима, что заставляет забыть обо всех фабульных несообразностях. «Б. М.» мог бы быть еще фантастичнее; и тем не менее мы не подвергали бы его сомнению. Это придает мне уверенность.

3 декабря

«Аристос». Вместе с Элиз убираем из него лишнее. Иными

словами, самоупоенность, напыщенность, проповеди — то, что она называет «подпорками». Надо отыскать тон, свободный от флюктуаций времени, от капризов моды, не зависящий от чего бы то ни было; и если мне удастся его найти, пусть меня обвиняют в претенциозности. Ибо разве не претенциозность — заявлять в наш полный предрассудков и злорадный век о независимости? Мне хочется также, чтобы эта книжка адресовалась не одной стране, но апеллировала к международной аудитории, и потому, рискуя навлечь на себя неодобрение наших критиков, стараюсь не казаться чересчур английским.

Вечер с Бобом Пэрришем и его женой в Эджертон-Кресент[783]. Они арендовали особняк, доверху заставленный антиквариатом и погонными метрами живописи. Вечер прошел неплохо. Присутствовал некий м-р Голдстейн, владеющий яхтой на Мальте и обладающий невозмутимым самомнением Будды, обличающим голливудского магната.

— Моего отца прозвали «Голдстейн-Без-Ружья», — заметил он. — Я родом из Аризоны. Там приходилось носить с собой оружие.

Ностальгическое при этом у него было выражение. Очки подняты на лысый лоб. По-своему, в манере привыкшего повелевать голливудца, он обхаживал, пытаясь завлечь в постель, Сару Майлз. Хорошенькое капризное создание с большой белой собакой.

— Мама не позволяла мне держать животных, — прощебетала она с хрипловатым смешком, свидетельствующим о том, что под блестящей фарфоровой оболочкой таится раскаленная докрасна жаровня. Был еще Нил Патерсон, какой-то сценарист[784], со своей женой-шотландкой. Боб и Кэти Пэрриш нам понравились, да и Сара Майлз — премилая девчушка. Она первая кандидатура на роль Миранды — на мой взгляд, не слишком подходящая, но с ролью справиться ей по силам.

— Складывалось такое впечатление, будто я голая, — это она об одном из эпизодов в фильме «Слуга», — а на самом деле я кое-что подложила под полотенце, чтобы грудь казалась больше.

Быть может, этот хрипловатый, слегка дразнящий тембр лучше всего выражает ее «личность». Сказать правду, все эти «звезды» в столь раннем возрасте оказываются замараны киномиром, что с успехом сыграть роль Миранды смогла бы только совсем неизвестная исполнительница.

Потом Патерсон и его жена затащили нас в свой номер в «Хилтоне», и не так уж плохо начавшийся вечер протух. Он, ясное дело, уже с потрохами запродался бизнесу; не вызвало теплоты и то, как он пытается соблазнить Сару Майлз ролью в фильме:

— Сказать правду, Сара… Послушай, Сара… Я впишу реплики, с которыми ты вся заблещешь, Сара…

А ведь он видел ее впервые в жизни.

За стаканом виски в «Хилтоне» зашла речь о «профессиональном» («Все, о чем я забочусь, — это хороший сюжет») и «заказном» письме («И какое, к черту, право есть у кого-то — иными словами, у Дж. Фаулза — отягощать сюжет идеей?»). Пьяный в доску, разгоряченный, перегоревший шотландец, пустившийся в разглагольствования о Красоте и Правде, о «широкомасштабном радикализме». Его глубоко шокировало и уязвило, что я так и не понял, что он — «либерал». Я, видите ли, «проявил нетерпимость», заявив, что не смог бы искренне подружиться с консерватором или христианином.

— То, что я пишу, в моих глазах, разумеется, не так важно, как отношения с окружающими. А я сказал, что для меня письмо важнее.

— Но быть писателем — значит быть добрым к тем, кто тебя окружает.

Я ответил, что испытываю любовь к человечеству, но большинство его представителей вызывают у меня уныние. Элиз оказалась умнее всех и за весь разговор не проронила ни слова:

— Слишком уж мне было тоскливо.

Вернулись домой в полпятого утра. Непритворная простота таксиста: тихого утомленного трудяги. Киномир смердит.

3 января 1964

В последние два-три месяца читаю и перечитываю Эмили Дикинсон. Л. Б. прислал мне «Полное собрание стихотворений». Она, без сомнения, величайшая из женщин-поэтесс. (По части языка.) Думается, ее постоянно сковывают две вещи: сначала — неуклонность поставленной цели, потом — мастерство владения словом. Ее отличает тот же обостренный инстинкт утонченного изобретательства, какой так трогает и восхищает в Джейн Остин: обе составляют поистине замечательную пару. Гипнотизирует и ее риторика; афоризмы и новые словосочетания, и пренебрежение синтаксисом, чуть ли не сдвиг тончайших ощущений. Трудность ее «манеры» преувеличивают. Мне довелось прочитать книгу Джонсона и Чейза о ней[785]; но чтобы понять, что она имеет в виду, необходимо лишь элементарно освоить ее «словарь» и набор символов; и в конце концов приходишь к тому, что понимаешь ее лучше, чем любую другую из когда-либо живших женщин: лучше понимаешь и больше сочувствуешь. В этом отношении она очень напоминает Катулла. Нельзя представить себе, что чего-то о ней не знаешь (независимо от того, сколько банальных подробностей ее жизни еще может открыться), как и

то, что это знание может прийти откуда-то, кроме стихов. Самим фактом своего существования она утверждает необходимость поэзии. Ведь в конечном счете человеческое раскрывается в полной мере лишь в поэзии. Другие искусства пребывают уровнем ниже. Но мы и сами большую часть жизни вынуждены пребывать уровнем ниже; так что из сказанного вовсе не следует, будто другие искусства в чем-то ущербны. Как бы то ни было, их можно зажечь от поэтической искры; поэзия же не может зародиться от искры ни одного из них.

В природе дарования Эмили Дикинсон заложен некий принцип убывания: ее первые строки всегда гениальны, а последние — не в пример хуже. Все ее стихи, почти все, ближе к концу затухают, завершаясь чем-то вроде семантического надлома. И самое зловещее из всего, что ее сковывает, — это призрак Действительно Плохой Поэтессы: нельзя сказать, чтобы она с головой ныряла в истовое викторианское смирение и отдавалась на волю прихотливой фантазии; нет, просто слова — основной материал ее зодчества не выдерживают требуемой ей степени уплотнения и сжатия.

Похоже, никто еще не уподобил ее поэзию вытканному ковру; а между тем все ее творчество предстает россыпью разноцветных фрагментов, собранных воедино порой на удивление оригинальными и искусными, а порой — до обиды небрежными и criard[786] стежками.

«Близкие»: отчетливое предощущение ноосферы. Столь многое в ней действительно предощущает — буквально, философски (иные из ее размышлений — чистой воды экзистенциализм) и эмоционально. Я пребываю вне времени, ухитряется она дать понять читателю (нигде, впрочем, не заявляя об этом впрямую), ибо все дело — в моем единоборстве с моим жребием, а точные контуры моего жребия — в моей образности, но отнюдь не в моей правде. Ее образы неотразимо притягивают меня; складываясь из верований, которые я нахожу абсурдными, они все же снова и снова обнаруживают такой наклон, из какого делается неважным, значат что-либо или нет ее христианские убеждения: важно лишь, что в своем положении *имеет в виду поэтесса*.

За долгие годы никто так на меня не действовал.

12 января

Итак, теперь мы — владельцы дома на Саутвуд-лейн. В доме, особенно в оранжерее на первом этаже (она отделана резным деревом и допотопным камином), а также небольшом садике, разбитом меж кирпичными стенами, есть некая прелесть. Плотники говорят, что во многих перегородках завелся древесный

жучок — в таком старом доме, по-моему, это неизбежно.

15 января

Подж прислал мне копию журнала «Марксизм тудей». Читаю нападки Кэрью Ханта на коммунистическую догму; весьма впечатляет. Несомненность того, что в марксизме нелепо, уравновешивается лишь несомненностью его сильных сторон. Есть ли еще на свете философия, в которой *столь отчетливы* хорошее и дурное? Полагаю, в «Аристосе» многое можно счесть или, во всяком случае, сочтут — марксистским. Однако, с моей точки зрения, марксизм содержит в себе целый ряд неприемлемых положений: в самом деле, можно ли переварить теорию отчуждения, диалектику и этическую теорию (или ее отсутствие)?

Монотонный труд остается монотонным, в какие социоэкономические рамки его ни вкладывать. В конечном счете работника эксплуатирует не капиталист; его изматывает работа. Отчуждение человека, само собой разумеется, явление объективное — по множеству причин, приводимых Марксом (равно как и приводимые им инструменты борьбы с отчуждением, не исключая и изменения нынешней системы, правомерны); однако абсурдно предполагать, будто что бы то ни было может в корне изменить положение человека, поставленного перед необходимостью исполнять неприятную работу.

И диалектика диалектика, похожая на неопределенность. Предполагать, будто существует идеальное государство (цель, которую указывает диалектика), — не что иное, как логическое самоубийство. Само собой, реальность диалектична (или ради удобства — применительно к человеку — может мыслиться как таковая), и как таковая не может вдруг ни с того ни с сего перестать быть диалектичной. Налицо еще одно утопическое построение.

Этическая теория (ленинизм): в ней коммунисты заталкивают себя в смирительную рубашку, аналогичную той, в какой оказываются верные догмам христиане.

Но самая худшая из возможных смирительных рубашек — язык, к которому сами себя приговаривают коммунисты: невразумительный, засоренный жаргон, облекающий, по сути, простые и бесспорные идеи.

Ключевой материал в январском номере «Марксизм тудей» — об отчуждении. «Общая собственность на производстве восстанавливает истинные человеческие взаимоотношения таким образом, что находят развитие все навыки и способности личности». Однако суть работы не меняется. *Суть* не меняется, каким бы ни было общество. «По существу, человек является

«сгустком социальных отношений», конкретным общественным человеком, не пребывающим в изоляции, а живущим в сотрудничестве». Но, как бы к этому ни относиться — как к реальному положению дел (во многих отношениях человек должен оставаться островом, цельным в самом себе) или к тому, какое предпочитают видеть марксисты (человек обречен быть «конкретным общественным человеком»), — это невозможно расценивать иначе, как оголтелый антииндивидуализм.

26 января

Обед с супругами Кинберг. На нем был и Уайлер — отягощенный опытом, снедаемый беспокойством и на редкость неумелый, когда объясняет свою позицию. До сих пор пребывая в недоумении, завершать ли фильм печальным или благополучным финалом, он разразился длинным и не слишком относящимся к делу монологом, суть которого сводилась к следующему: «Мое кредо — работать в рамках того, за что готова платить публика». Но он, слава Богу, разродился «Бен-Гуром». Впрочем, мне импонируют его нерешительность и откровенность, а также то обстоятельство, что все вокруг отзываются о нем с теплотой. Кажется, о нем в свое время заметил Голдвин: «Ему нужен папочка».

И еще об Уайлере. Однажды он сделал сорок дублей одного несложного плана: мальчик идет по снегу.

— Господи, — взмолился наблюдавший за съемками продюсер, — они же все одинаковые.

— Жду, пока он споткнется, — отозвался Уайлер.

Обедал с Уильямом Уайлером в «Кларидже». Не могу сказать, что получил удовольствие: возможно, потому, что сам Уайлер слишком уж сложен и нетипичен, чтобы сбросить его со счетов как очередного из голливудских столпов, одержимых манией величия. В ресторане мы были одни, и нас обслуживали не меньше десятка официантов и метрдотелей, выстроившихся полукругом и безмолвно взиравших на нас с расстояния пятнадцать футов. Поскольку на правое ухо он глух и, обращаясь к нему, приходится чуть ли не кричать, атмосфера нашего обеда была столь же доверительна, как coucher du roi[787] в Версале. В отеле типа «Клариджа» столь демонстративный сервилизм, разумеется, граничит с абсурдом, и его постояльцев впору заподозрить в чем-то похуже, нежели простое желание вышвырнуть деньги на ветер. Трудно сказать, чем в большей степени определяется образ жизни: роскошной обстановкой и пиететом со стороны окружающих или тем, во что первое и второе обходится. Натура Уайлера исполнена этих крайностей: то, подобно самому заурядному мелкому буржуа, он колеблется,

выбирая к столу вино, как бы на ощупь прокладывая себе путь, не решается высказаться о том о сем, то внезапно демонстрирует высокомерие, «масштаб» в традиционно голливудском понимании. Ему присущ мягкий, закамуфлированный, но безошибочный вид высокомерия.

Судя по всему, от сценарной разработки он не в восторге и хочет, чтобы я заглянул в нее; я же подозреваю, что Джаду Кинбергу и Джону Кону это вряд ли придется по вкусу.

«Во имя чего умирает девушка? — повторяет он чуть ли не со стоном. — Публика наверняка задастся вопросом: “Да что случилось? С чего это она погибает?”»

У него изборожденное морщинами лицо и мягкий взгляд карих глаз, грустных, сомневающихся, словно взыскующих одобрения.

Днем раньше он обедал с принцессой Маргарет. Похоже, она сказала, что ей понравились «Римские каникулы» (основанные на ее романе с Таунсендом) и особенно — счастливый конец.

Уайлер: Счастливый конец, мадам?

М.: Ну она же в конце обрела своего избранника.

Уайлер: Но, простите, они же больше никогда не увиделись, мадам.

М.: Нет, увиделись. Я прекрасно помню.

Я больше не решился спорить, — поведал Уайлер со своей снисходительной улыбкой. — Так она поняла фильм, а ее избранник сидел как раз напротив.

Мой стихийный антироялизм раздражает его, как и большинство американцев. Я предложил ввести в фильм маленькую сценку. Клегг повесит у себя в подземелье дешевенький цветной портрет королевы и Филипа Глюксбурга[788], а девушка, разумеется, снимет его, как только увидит.

О нет, запротестовал Уайлер. — Как вы думаете, что скажут люди, на глазах которых это чудовище вешает на стену портрет вашей королевы, а девушка его снимает?

Бедняга Том Пейн, не перевернуться бы ему в гробу в наши дни.

4 февраля

Занятная маленькая брошюрка о Гарди, написанная его бывшей горничной («Частная жизнь Томаса Гарди», Тьюкан пресс, Биминстер, 1963). Для того чтобы в наше время уверовать в неизбывную грусть Макса Гейта, ее надо увидеть вот такими простодушными глазами. Per ardua ad atra[789].

Стоит мне сесть на автобус или на поезд, меня неизменно начинают обуревать экстремальные фантазии: я чувствую, как

меня запирают, обрекая на вечное нахождение с другими. Вот почему Я так нелюдим. Срабатывает механизм, против которого я бессилен. Равно как и во всех моих эротических фантазиях, сводящихся к одной: подвалу, необитаемому острову, застрявшему в снегах автомобилю.

5 февраля

Странная зима: который уж день почти безоблачно, погода больше напоминает конец марта. В одиночестве я прошел «нашим» маршрутом из Вендовера через Хамденлиф-Вуд в Миссенден. Ветер холодный, но, заслонившись от него, можно сидеть и читать. Последнего я не делал, поскольку читать мне было нечего, кроме последнего выпуска «Энкаунтера», столь же перегруженного банальностями и глупого, как всегда. Интеллектуально-литературная сцена в этой стране смертельно больна: ее разыгрывают с маленькой кружечкой пива, ныне еще и прокисшего.

Но вдали от города очень чисто и ясно. Жаль, что после невероятных холодов этой зимы не видно птиц[790]. Вороны и дрозды пережили ее благополучно. Два или три косяка зябликов, в одном не меньше сотни. Услышал зеленушек, видел пару больших синиц. Одну черную синицу. Очень много синих и, на удивление, луговых — увидел семь или восемь. Не длиннохвостых тем понадобятся еще годы, чтобы восстановить поголовье. Множество завирушек. Слышал одного поползня. Но совсем нет дятлов. Нет щеглов. Нет жаворонков. Нет коньков. Нет ястребов. Нет голубей.

На кусте боярышника, поклевывая почки, сидел, горделиво выделяясь в безоблачно-голубом небе, снегирь. Сочный мягкий кармин на насыщенном голубом фоне. В такие моменты перехватывает дыхание.

Видел, как человек выжигает землю: в рыжую солому натянутой тетивой вгрызается язык огня, а позади тянутся туманные сине-зеленые холмы, ввысь ползет серо-белый дым, и слышится прожорливое потрескивание. Этот зловещий звук долго преследовал меня, когда я удалился в глубь леса.

А в самой глухой чащобе натыкаюсь на зайца.

Так проходил весь день, не увидев ни души. В пять вечера возвращаюсь в Лондон, люди идут с работы, деловые кварталы, автобусы, неоновые огни, городская сторона жизни. Ни одному веку, кроме нашего, неведом столь страшный разрыв между этим миром и миром не знающих возраста зимних деревьев.

28 февраля

«Аристос». По-прежнему в плену у издательства «Кейп». Энтони С. уверяет, что другой экземпляр рукописи все еще не

дошел до Нью-Йорка. По его мнению, он «похоже, потерялся». Я в отчаянии.

Ларкин «Свадьбы на Троицу». Слава Богу, Ларкин — английский поэт, а не просто поэт, пишущий на английском. Без особого удовольствия ощущаю в самом себе ту же непроходимую меланхолию; в ее основе наверняка тоже издержки климата. Но есть, конечно, и нечто приятное: милая мрачноватая приглушенность английской провинции, блюзы неосвещенных переулков, вездесущая, физически осязаемая бренность бытия. Очень характерное для Ларкина умонастроение: все на свете плохо, но — как видно из последней строфы — не так безнадежно, как я описываю. Это очень по-английски. Наш пессимизм — как скорпион, кусающий собственный хвост.

2 марта

Тому Н. «очень нравится» «Аристос». Он полагает, что «Кейп» его опубликует. Потеря рукописи, отосланной в Америку, и вялая реакция на книгу здесь удручают. Мне уже пора с головой погрузиться в «Волхва», но нет сил: я слишком выдохся. Прошедшая зима была тоскливой: умеренной и бесконечной. А когда работаешь на себя, испытываешь самые разнообразные трудности: тоску, недостаток движения, творческую неуверенность, самоизолированность, отсутствие режима дня. Мы ложимся спать в разное время, поднимаемся не раньше десяти, обычно позже. «Коллекционер» не оставляет меня в покое, и это раздражает. Последние два дня убил на чтение позднейшей голливудской «разработки». Она гораздо лучше, чем та, какую я видел в августе. Но ненавижу себя за то, что вновь погружаюсь во все это.

10 марта

Звонок из Голливуда: Джад Кинберг. Хотят, чтобы я прибыл туда на две недели. Лечу в субботу.

Текст «Аристоса» в Нью-Йорке. Бах настроен оптимистически[791].

Америка. 16–31 марта

Лос-Анджелес. Серебристо-розовые башни в вечернем, оттенка меда, воздухе. Пальмы. Высоченные деревья, изобилие листвы и зеленых газонов. Вверх и вниз по шоссе безостановочно струится гигантская мощь: повсюду типично американский способ ускоренно передвигаться; этот темп покоряющего пространство воздушного лайнера чувствуешь и тогда, когда молодой человек переходит улицу или проектируется модель стула: даже неподвижным предметам присуща здесь упругая, пружинистая динамичность.

Джад Кинберг — в своем обычном амплуа радушного еврея:

без конца говорит об Уайлере и его «хунте» (советчиках и консультантах), о схватках на сценарном поле, о проблемах Саманты Эггар и о проблемах, возникших с ее появлением.

Меня с комфортом разместили в отеле на Сансет-стрип, в номере с видом на юг, из окон которого открывается весь Лос-Анджелес. Ночью он великолепен: это бесконечные гроздья алмазов, поблескивающих во влажном воздухе, как в чистом масле, вспышки зеленого, красного, синего, желтого, белого, сверкающие цепи, гирлянды, башни света, уходящие в едва уловимую взглядом даль. Вот она, безумная, богатейшая женщина подлунного мира — Америка, искрящаяся в дерзновенности своих порывов, в неправдоподобности своего изобилия.

Стены номера окрашены в горчично-желтый цвет, мебель — в стиле какого-то из Людовиков. Стеклянная раздвижная дверь ведет на балкон, окаймленный решетчатой оградой, наводящей на мысль о чем-то вроде мальтийского креста. Веселенькие голубые перегородки отделяют его от соседних балконов. Корзина фруктов за счет заведения. Встроенный в ночную тумбочку радиоприемник, телевизор, кондиционер, ванная с бесчисленными кнопками и ручками. Этот повседневный комфорт вгоняет в уныние своей доступностью; к концу суток становится раздражающе привычным, словно шлюха, которая делает свое дело, не потрудившись взглянуть на клиента.

Утро. Просыпаешься в несусветную рань под пение птиц, похожих на дроздов, только гораздо крупнее; слышишь девичий голос гостиничного сервиса, приветливый и обезличенный, как таблетка сахарина («благодарим вас за звонок, будем рады, если вы к нам еще обратитесь»); реплики, как и пение птиц, словно сходят с конвейера или магнитной ленты. Освежающее разнообразие привносит лишь чириканье ненароком залетевшего воробья.

Завтрак. Кофейник с электронагревателем и автоматический медосборник.

В одиночестве направляюсь в номер С.Э. — знакомиться. Она — худенькое создание со светло-зелеными глазами, без грима, с роскошными рыжими (некрашеными) волосами; и не слишком хорошенькая, ибо не излучает ровно никакой жизни. Я ожидал встретить кого-то гораздо энергичнее, но при виде этого безжизненного существа почувствовал непритворную жалость. Что-то непредвиденное (так мне позже сказали) произошло накануне ночью в номере Питера Селлерса: с Сам вроде бы кто-то «плохо себя повел». Что бы там ни произошло на самом деле, держалась она так, будто стала жертвой лобового нападения.

Я прошелся по комнате, а она вглядывалась в меня с дивана глазами, в которых попеременно сменяли друг друга испуг и скука. Обмениваемся вежливыми банальностями. Коридорный приносит ей яблочный напиток, мне — бокал пива. Усевшись рядом с Самантой, пытаюсь растопить лед взаимонепонимания; безуспешно.

Она так далека от Миранды, какой я ее вижу (и не я один), что невозможно вообразить, чего сможет добиться с ней Уайлер. В ней, внешне да и внутренне, начисто отсутствует главное: жизнь, ум, воля к существованию. С другой стороны, в пользу ее кандидатуры на роль свидетельствуют особенности биографии: разведенные родители, папаша-генерал, два года, проведенных в художественном училище (отец не хотел, чтобы она стала театральной актрисой), связь с человеком гораздо старше годами; и все-таки жизнетворной искры не ощущается.

Две вещи, глубоко порочные в деятельности Голливуда, — избыток денег, сверхприбыли, вылетающие на ветер, и убежденность в том, что шоу-бизнес и искусство — одно и то же.

Всю ночь пылали пожары и дул местный мистраль (здесь его называют Санта-Ана); с раннего утра над городом нависает огромное дымное облако. Оно зловещего розоватого цвета, хоть и издает приятно щекочущий запах горелой листвы и дерева. С лица земли исчез тридцать один дом, а телевизионный оракул нагородил уйму ерунды о том, что Лос-Анджелес — все еще приграничный город, а калифорнийцы — народ фронтира. «Конечно, мы уже не носим ружей и оленьих курток, но…» Типично американский вид трепа. Мысль о том, что Лос-Анджелес — приграничный город, глупа до беспредельности.

Весь день в воздухе порхает пепел; от него слезятся глаза. Секретарша Джада при мне говорила в студии по телефону подруге:

— Слушай, сегодня пожары хуже некуда. Глаза у меня прямо вылезли.

А Джону Кону кто-то рассказал о человеке, который «выбросил в бассейн все столовое серебро»; здесь это, похоже, в порядке вещей. Как в Помпеях, вечно предощущая очередное разлитие лавы.

Мимо бесконечных пальм, автостоянок, кричащих фасадов кинотеатров и луна-парков Джон Кон ведет меня по студии. По виду она напоминает испещренный дырами ковер, а по ощущениям — фабрику. Масса техники, обилие механизмов и разного рода приспособлений; невольно задаешься вопросом, есть ли здесь место искусству. Когда мы наконец вошли в большой павильон и остановились в самом его центре на съемочной

площадке «Коллекционера», она показалась каким-то маленьким ядрышком внутри на удивление большого ореха. Это единственный фильм, какой в настоящее время снимает здесь «Коламбиа».

Подземелье, которое они выстроили, напоминает могильный склеп в какой-нибудь часовне XIII века; уверовать в его подлинность невозможно. Ко всему прочему, меблировано оно с неуклюжей претензией на роскошь — то ли в расчете на пародийность, то ли, как закрадывается подозрение, в соответствии с голливудским представлением о том, как должно выглядеть уважающее себя меблированное узилище. Я обошел его, перечисляя недостатки интерьера. На критику здесь никто не реагирует — во-первых, из нутряного профсоюзного инстинкта (в глубине души любой голливудец убежден, что каждый должен делать свое дело, не вмешиваясь в компетенцию других), а во-вторых, в силу откровенного неумения вникать в суть проблемы. Все делается в обстановке аврала, или по крайней мере возникает такое впечатление. Едва ли не самая настораживающая особенность здешнего производственного процесса — отсутствие того непрофессионального, любительского энтузиазма, из которого в конечном счете вырастает любое большое искусство: стремления сделать больше, чем предусмотрено, отказа идти на компромисс и прочего в таком духе. На обратном пути в разговоре Терри и Сам прозвучало: «Теперь будем снимать в английском павильоне. Увидимся на площадке». И стало ясно: вся нескончаемая мельтешня и суматоха по поводу не столь уж сложных вещей, по существу, сковывает, а не высвобождает творческие силы.

Мы: Уилли Уайлер, Сам, Джад, монтажер Боб Суинк, Джон Кон, Терри и я — расселись за длинным деревянным столом в углу. Терри просто прекрасен: это замечательный, ловящий все на лету и моментально соображающий парнишка из кокни, восприимчивый и напористый. На репетиции первого эпизода я заметил, что, на мой взгляд, он даже чересчур напорист, и результат не замедлил сказаться: он тотчас же повторил все свои реплики уморительно монотонным голосом. У него то и дело появляются новые идеи, он пробует реплики на слух; в отличие от бедняжки Сам, лепечущей свое тоном робкой студентки, голосом он владеет виртуозно. Судя по тому, как он приходит ей на помощь, Терри — идеальный партнер в проработке диалогов. И тем не менее у нее сплошь и рядом проскальзывают фальшивые нотки, неправильные логические ударения, а единственное, что всем нам нужно: выражение заинтересованного участия — так и не появляется. Когда надо показать вспышку гнева, она

демонстрирует каприз неопытной дилетантки; когда героиню снедает неподдельная печаль, в ее голосе появляется патетика, уместная разве что в лентах категории «Би». Печально, но факт: на нынешнем своем уровне она — старлетка фильмов именно этой категории. Терри переигрывает ее буквально во всем, а она взирает на сыплющиеся из него находки, на его мимику с восхищением маленькой девочки.

Но самый большой недоумок, конечно, Уилли. Половину того, о чем идет речь, пропускает мимо ушей, а потом вклинивается, комментируя то, о чем уже все успели позабыть. Многие из «ощущений» по поводу развития сюжета просто абсурдны. Так, девушку непременно надо похищать днем, когда она выходит прогуляться. «Чего-чего, а ночных съемок я делать не буду». Когда что-то отвлекает его внимание, Кон обводит сидящих за столом ненавидящим взглядом: видите, мол, я всей душой против этого. Боб Суинк, один из членов уайлеровской «банды», посмеиваясь, кивает: «Согласен», — и не привносит от себя ровно ничего. Не то чтобы метод Уайлера был совсем уж никудышен; он, мне думается, попеременно смахивает то на Румпельштильцхена из сказки братьев Гримм, то на Сократа: дремлет-дремлет, а время от времени попадает прямо в яблочко. И безошибочно устраняет из диалогов все лишнее. И в конце концов это выводит из себя Терри и Сам: она выглядит усталой и скучающей, а Терри начинает крутить динамо, по-идиотски, с акцентом Томми Стила, принимаясь произносить реплики, с невозмутимым видом продолжая смотреть в лицо Уайлеру.

Когда съемочный день закончился, я уединился с Терри в машине Сам и втянул его в долгий разговор. Чем лучше я его узнаю, тем больше он мне нравится. Он рассказывал о ней («Мы ведь, знаете ли, с ней жили. Не забавно ли: она постоянно исправляла мое произношение»). Он хотел, чтобы его партнершей была Сара Майлз.

— На пробах я проиграл с ними обеими один и тот же эпизод. Сара была великолепна, Карл Форман так и сказал Франковичу, но тот и слышать не хотел.

Терри также считал, что роль Миранды могла удаться Джули Кристи.

Вечер провел с Джадом: ищем квартиру для Сюзанны. Надо поставить его в известность о том, что Сам ненавидит Сюзанну, а к нему самому относится с недоверием. Это не просто, поскольку он принимает новость близко к сердцу; но, с другой стороны, здесь едва ли не все обитают в тумане ошибочных представлений об окружающих. И в центре этого тумана Сам, чьи холодность, недоверчивость и страх перед всем и вся — на грани патологии. У

нее странная привычка смотреть на вас без малейшего выражения: черта с два удостоитесь вы у нее какой бы то ни было ре акции. И так она обходится решительно со всеми.

Теперешняя любовница Терри — очень миленькая француженка Анни Фарже, лидирующая субретка на здешнем телевидении. Он в своем репертуаре: на людях обходится с ней по-свински, в лицо называя «моей французской подстилкой», а она в ответ только морщит свою обезьянью мордочку и награждает его поцелуем. Терри живет в согласии с каким-то неведомым, им самим изобретенным стилем существования: несет все, что приходит в голову, делает что вздумается, словно Гамлет, только без невротических угрызений: неизменно в белой рубашке, без галстука, напружинившись, оседлав гребень волны.

Жуткая проблема с американским английским. Уилли напрочь отвергает все, что недоступно восприятию среднестатистического американского дебила. Сегодня остракизму подверглось: «Ясень высотой в фут — тоже ясень». В сценарии была реплика (принадлежащая Пастону): «Я сделал это, дабы навсегда изгнать тебя из своей жизни».

— Навсегда изгнать, навсегда изгнать, — передразнил Уилли. — Кому, спрашивается, под силу это выговорить? Надо перефразировать.

Предлагаю: «Я сделал это, чтобы вынести тебя за скобки моего существования». Да, вроде в самый раз. А Уилли без конца повторяет:

— За скобки, за скобки, ЗА СКОБКИ. Странновато звучит.

Спустя двадцать минут приходим к соглашению, остановившись на: «Я сделал это, чтобы выбросить тебя из головы». Все, решительно все должно быть сглажено до абсолютной банальности.

Телефонный звонок из Бостона — от Неда Брэдфорда. Он готов публиковать новую книжку. О ее содержании соизволил осведомиться сотрудник рекламного отдела компании «Коламбиа». И что же: пришлось по буквам диктовать ему слово «экзистенциализм».

— Господи ты Боже мой, — отозвался он.

А тем же вечером еще один звонок — из Нью-Йорка. Джулиан Бах. Очень обходителен, брызжет оптимизмом по поводу книжки да и по поводу всего остального. Какими же освежающе здравомыслящими, уравновешенными, вообще европейскими кажутся американцы с Восточного побережья, когда пообщаешься с жителями этого города, вечно твердящими «вряд ли» и никогда не говорящими, что они на самом деле имеют в виду.

Только что дочитал последний вариант сценария. В него

опять вставили кучу ерунды, выброшенной из прежних. Он намного хуже, нежели тот, что я читал в феврале. С ума сводят бесконечные зигзаги от плохого к лучшему, а затем к еще худшему; из-за них начинаешь сомневаться в серьезности всего, что здесь происходит. Любая проблема заговаривается до такой степени, что в итоге ровно ничего определенного не остается: perpetuum mobile[792].

На студию сегодня утром меня везла Сам: Джон Кон с само-го утра отбыл обсуждать что-то с Уайлером. Спускаемся, и тут вдруг выясняется, что ее машины еще нет у подъезда. Актриса внезапно впадает в бешенство:

— Я хочу, чтобы впредь мою машину подавали вовремя.

— Прошу прощения, леди, — отвечает швейцар, — в это время дня на улицах пробки.

— Пробки ли, нет ли, знать ничего не желаю. Моя машина должна быть наготове, когда я скажу. — И хлопает дверцей чуть ли не в лицо ему.

Не кипятись, — говорю, мельком глянув на нее.

Не тут-то было. По пути на студию она безостановочно лопочет о Терри.

— Он не хочет со мной разговаривать, за все эти дни не обменялся со мной ни словом.

По ее мнению, на роль Клегга он вряд ли подходит.

— Столько людей говорят, что я прямо создана сыграть Миранду.

Это уж слишком; не выдержав, вперяю в собеседницу озадаченный взгляд. Но разве она признает, что кто-нибудь, за вычетом ее самой, имеет представление о том, что хорошо, что плохо?

— Эта роль так важна для моей артистической карьеры.

Сегодня она привлекательнее, чем обычно, но человеческого в ней не больше, чем у манекена в витрине магазина.

Уайлер долго и нудно объясняет, затрачивая на каждое, сколь угодно краткое, предложение не меньше минуты, почему считает необходимым изменить концовку фильма. Речь заходит об эпизоде «Двойное подземелье» (здесь каждому из эпизодов присваивают название: «Заявление», «Тетя Энни», «Уиткомб», и этими названиями перебрасываются, как камешками).

— В финале девушка должна перехватить у него револьвер. Людям не нравится, если в конце вооруженного мужчину не обезоруживают.

По существу, серое вещество Уилли оперирует на уровне вестерна: Шейн не может не восторжествовать.

У него — нос ярмарочного Панча и карие влажные,

беспокойно бегающие глаза; как у сурка или другого маленького зверька, они вечно выжидают, взыскуя то вашего одобрения, то минутной слабости. И вот наступает момент, когда он может показать характер, задрать нос. Обычная для режиссеров с его известностью неприступность, внушающая людишкам помельче в киноцехе священный трепет, на первый взгляд совершенно ему не свойственна; и все же время от времени, когда нужно одержать тактическую победу, она проступает наружу. Он слегка напоминает мне Квига в «Бунте на “Каине”» — того самого полубезумного-полугениального капитана, которому в свой час засветит военный трибунал.

К настоящему моменту фильм влетел в два миллиона долларов — иными словами, оказался ровно на полтора миллиона дороже, чем предполагалось.

Поведение Терри на съемочной площадке не перестает тревожить: изображая лихорадочную «деятельность», он ни минуты не стоит на месте. Но этот Джеймс Дин из кокни играет, призывая на помощь все тонкости Метода, временами делая своего героя до невозможности обаятельным. Невольно думаешь, сколько девушек отдали бы все на свете, чтобы оказаться наедине с ним в подземелье.

Всю вторую половину дня Джон, Джад и я просовещались, то и дело прерываемые реквизиторами, костюмерами, актрисой, играющей тетю Энни, исполнителем роли дяди Тома Коббла и прочими. Пытаюсь привнести хоть малую толику смысла в декорации и оформление, но безрезультатно. Вся задействованная бытовая техника — на удивление неанглийская; мебель — вопиюще неанглийская; да и костюмы не лучше. Что до английского художника по костюмам, Джона Столла, то он — пустое место.

На всех сценарных совещаниях громче всего звучит голос Джона Кона: он лидирует, оспаривает собеседников, фонтанирует идеями. Он — что-то вроде генератора, непрерывно излучающего энергию: его голосовые связки напрягаются без устали, а у Джада, напротив, бывают страшные спады настроения; в результате оба без конца цапаются друг с другом. Тем не менее здешние посиделки, столь же нудные, как и те, что имели место в Лондоне, все-таки чуть более результативны. В ходе их кое-что действительно заносится на бумагу и решается. Само собой, не исключено, что все сегодняшние придумки Уилли завтра же утром спустит в унитаз. Оба моих молодых соавтора одержимы несбыточными замыслами — несбыточными в практическом плане, и мне приходится тратить долгие часы на то, чтобы свести их к нулю. Это не значит, что мне приходится что-то

доказывать, — нет, я побуждаю оппонентов обосновывать их точки зрения с такой мерой детальности, будто в самом деле настолько туп, что не понимаю самоочевидного.

В ритме всех этих сценарных обсуждений есть что-то, напоминающее тиканье счетчика: мысли облетают стол на таких скоростях, что зачастую я безнадежно отстаю. Поначалу это очень впечатляет, но потом начинаешь сознавать, что в основе — полное абстрагирование от сюжета и персонажей как живого организма. Будто речь идет о цветах, и одна группа спорящих видит в них просто цветы, а другая — всего лишь реквизит.

Когда Уилли собирается высказать нечто, могущее вызвать особые сомнения, он оборачивается к монтажеру Бобу Суинку и весомо закругляет:

— Правильно?

На что Боб Суинк немедленно отфутболивает:

— Правильно!

Кон тяжело вздыхает, а Уилли переворачивает страницу

Вот, разбирая эскизы студенток художественного училища — возможные прообразы рисунков Миранды, Уилли изрекает:

— Какого черта, возьмем вон ту, с большими титьками.

И единственное, что позволяет заподозрить, что он всего лишь провоцирует собравшихся, — предательская обезьянья ухмылка, которая через секунду или две пробежит по его губам.

— Мы написали новый эпизод, Уилли, — на полном серьезе заявил позавчера Джон Кон.

— Да? — откликнулся Уилли. — А нового режиссера пригласить не забыли?

Терри шепчет мне на съемочной площадке:

— Если они изменят эту чертову концовку, я делаю ноги. Хватит с меня.

Под большим секретом он поведал, что вообще хотел отказаться от участия в проекте. И свой окончательный контракт подписал только в минувшую пятницу, предварительно запасшись билетом на самолет в Грецию.

— Какого хрена, я ведь уже намылился смыться. До чего же хреновая занудь весь этот фильм!

Как и у всех кокни, его сквернословие абсолютно беззлобно; с его языка непристойности срываются, когда кому-нибудь из буржуазного круга впору сказать «противный» или «ужасный».

Во всех незадачах Терри винит Майка Франковича. Франкович настоял на выборе Сам. Франкович настоял, чтобы фильм снимали в Америке. Франкович настоял, чтобы его делали в цвете.

— Это все проделки этого хрена.

Гардероб Сам. У ее костюмерши никакого вкуса. Все, что для нее подобрано, — банальные вещи в гамме «Техниколор», призванные подчеркнуть ее грудь и женскую неотразимость. Ее грудь нет ни малейшей надобности подчеркивать; а когда здесь поминают женскую неотразимость, читать следует: «сексуальность». Сам все это надоело до чертиков; и на сей раз я ее не виню. С трудом мне удалось уломать их задействовать в фильме старые выцветшие брюки и свитер, в которых она сегодня появилась на съемках. Да и то с оговоркой: «Пошьем похожие на эти». Что тут возразишь?

И телефон. Последние дни Джон, Джад и я заседаем в административном помещении и страница за страницей проходимся по сценарию. Но телефон трезвонит беспрерывно, и буквально любую мелочь приходится повторять снова и снова. Не могу понять, с чего взяли, будто у американцев дела делаются как по маслу. Это на поверхности у них все быстро и гладко, а копнешь поглубже: треп, треп, треп — и так до бесконечности.

Обед в доме Уайлеров в Беверли-Хиллз. Особняк дворцового типа, чем-то напоминающий тот, что у Лавриджей, только на стенах уайлеровского — четыре или пять работ Утрилло, один прекрасный Ренуар, по одному полотну Риверы, Кислинга, Будена. В неофициальной обстановке Уилли гораздо приятнее, больше походит на француза и вообще человечнее. Приглашены были также миссис Сэм Цимбалист (говорят, «Бен-Гур» стоил жизни ее мужу), Джордж Аксельрод с супругой (о, эта поэзия голливудских имен!), Терри и его хорошенькая французская мартышка Анни Фарже, еще один продюсер и его теперешняя «подружка» из старлеток. Перед ужином подали шампанское, и мы с Уилли, уединившись, заспорили о том, как должен начинаться фильм. Уайлер в плену одной-единственной — и весьма примитивной — идеи о том, что нужно аудитории, чтобы не заскучать; но ему прекрасно известна эта сфера, и поколебать его представление очень непросто. Обед, по обычаям данных мест, званый. Меня усадили между миссис Аксельрод, эффектной седовласой дамой с орлиным носом и взглядом, и женой Уилли, по всеобщему мнению — какового я не стал бы оспаривать, — самой обаятельной женщиной в Голливуде. Из нее и впрямь могла бы выйти образцовая герцогиня с передовыми взглядами.

Терри появился в розовой сорочке с открытым воротом и едва ли не впервые почувствовал себя чуть-чуть не в своей тарелке. Но, благодарение Богу, даже не пытался этого скрыть. Если ему неловко, это написано у него на физиономии. Его неизменно выдает голос голос задорного кокни и соответствующая манера себя держать. После обеда нам вздумалось сыграть в бильярд, без

особого успеха; и тут вразвалку подошел Терри и лихо отправил в лузу три или четыре шара.

— Ничего себе, — заметил я.

— Ну, я немного играл на родине, — отозвался он и ретировался. У него даже хватило выдержки покраснеть.

Уилли устроил для меня экскурсионный тур по комнатам особняка: своими картинами он откровенно гордится. Одно из принадлежащих ему полотен Утрилло великолепно; два других так себе, из так называемого открыточного периода, но на оборотной стороне одного из последних — собственноручное послание Мориса. Уилли рассказал, как однажды они навестили Утрилло в его доме. Супруга живописца препроводила их в собственную огромную мастерскую и заметила:

— Все эти мои полотна продаются.

На что Уилли ответил:

— Ну, вообще-то мы зашли повидать Мориса.

В конце концов несносная женщина отвела их к мужу — в маленькую темную комнатушку в подвальном этаже: его мастерская помещалась там.

Обратно добирались с Терри и Анни. Девушка — вытянувшись в струнку (она не более пяти футов роста), за рулем необъятного автомобиля; Терри — откинувшись на спинку сиденья и вальяжно рассуждая о том, что ему надо учить французский. Пока он освоил только три слова: oui, bonjour и bonsoir, но уж их-то знает назубок. Даже oui произносит с характерной для обитателей парижского дна огласовкой. Мы оба стараемся побудить его, презрев собственную лень, прочитать «Le Grand Meaulnes»[793].

— А что, в нем есть для меня роль? — спрашивает Терри. — Не собираюсь я тратить время на какую-то хреновую книгу, если в ней нет для меня роли. Вот была одна как его, Стиндла, что ли? — так я, к чертям, до половины дошел, пока допер, что мне играть там нечего.

Анни разражается каскадом восхитительных смешков.

— Как это вам? — апеллирует к моему сочувствию Терри, имея в виду «Le Rouge et le Noir»[794].

Робин Заккарино. Я еще дважды общался с ней на студии. Ее теплота и просто нормальная интеллигентность в этой обстановке кажутся вызывающе неуместными. Вот живое воплощение моей концепции мыслящего Меньшинства. Таких я носом чую за милю.

Вчера под конец дня я и этот недоумок, младший братец Уилли, затеяли ожесточенный спор по поводу флэшбэков с участием Пастона.

— Вы убедили меня, убедили меня, мистер Фаулз, — залепетало это унылое существо и побежало к Уилли, который, само собой разумеется, и в мыслях не имел менять собственное мнение.

А сегодня утром опять появляется и на голубом глазу рапортует:

— Мой брат уверен, что вы правы.

— Черта с два он уверен, — обрываю я его. — Вчера вечером я с ним обедал, и он целых полчаса убеждал меня в обратном.

Недоумок умолкает, озадаченный.

— Подождите, подождите, это какое-то недоразумение.

И снова испаряется. В итоге мне приходится претерпеть еще один обед наедине с Уилли, в очередной раз заверяющим меня, сколь он горд тем, что я принимаю такое активное участие в съемочном процессе. Вне всякого сомнения, я должен высказывать все, что думаю по тому или иному поводу; не нужен ли мне для работы секретарь и т. д. и т. п. Я постарался поскорее перевести разговор в другое русло, ибо спорить с Уилли — пустая трата времени. Он один из тех, чья мысль развивается под воздействием медленных, подспудно протекающих эволюционных процессов. В основе своей он — эльзасский крестьянин, который, оказавшись на рынке, не купит ничего, пока сквозь почву его инстинктивного самоощущения не проклюнется росток исподволь оформившегося решения.

Мне удалось спровоцировать его разговориться о себе. О своем прошлом. Его отец говорил по-немецки, мать — по-французски. На его памяти то, как в войну 1914–1918 годов в родных местах раз десять сменялись оккупационные власти.

Никогда не знаешь, кого в этот день приветствовать, поэтому в итоге приветствуешь всех подряд.

И еще:

— Единственное различие заключалось в том, что немцы, вступая в город, всякий раз переводили стрелку часов на здании ратуши на час назад. Вот мы, несмышленыши, и сделали вывод, в чем заключается суть войны — в том, чтобы поменять время. — Он морщит свой смешной нос: — Забавно, правда?

Само собой разумеется, Уилли — демократ. Я спросил, не было ли у него неприятностей в дни, когда в стране свирепствовали комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

— Да я чуть не уехал из Америки, — отозвался он. Чуть не перебрался обратно в Европу. Они, конечно, заподозрили меня, внесли в перечень, но рассуждали в таком духе: «Ясное дело, этот Уайлер — комми, но, с другой стороны, он так чертовски глуп и

мягок, что нет смысла брать его в расчет». К тому же в то время у меня был контракт со студией «Парамаунт». И «Парамаунт» пришлось малость покапать на мозги сенатору Маккарти.

Я попробовал было прощупать Уилли на предмет того, чтобы выписать из Нью-Йорка Сару Майлз и заменить ею Сам. Но ему кажется, что в Саре есть «что-то слегка вульгарное, она недостаточно хороша, чтобы парню вздумалось ходить за ней по пятам».

Сам репетирует сцену болезни. Подошел гример, спросил меня, действительно ли у нее больной вид.

— У нее всегда больной вид, — огрызнулся я.

— Вы, англичане, — отозвался он, — отчего вы такие недоброжелательные?

Славный такой меланхоличный еврей родом из Нью-Йорка.

Пробная сцена Сам с шестью футами изношенного резинового шланга — сорокапятилетним детиной, специализирующимся на ролях громил и бандитов, Максвеллом Ридом. В местных кругах Рид приобрел известность как «англичанин» (по единственной, но веской причине: в свое время он был женат на Джоан Коллинз). Слова выговаривает с сильнейшим американским акцентом, по ходу дела изобретая реплики. Его перлом в этом плане явилось: «Никогда больше не встречусь с тобой, малышка»; каково, спрашивается, услышать такое из уст выходца из Средней Англии? Тем не менее Уилли счел его исполнение прекрасным, а я вспылил и, полагаю, без остатка обрушил шансы м-ра Рида.

Сегодня после обеда в офис заявился Терри, и его буквально прорвало. Думаю, свой взрывной сольный номер он отрепетировал заранее: это был великолепный пятнадцатиминутный монолог, в котором ярость перемежалась отчаянием, то и другое — бесподобной имитацией поведения Сам на съемочной площадке. Джад, как правило, не позволяющий себе даже улыбнуться, не то что рассмеяться (в этих-то местах), просто трясся от хохота, слезы ручьем бежали по его лицу. Такого рода непредсказуемые моменты, когда взрослые мужики заходятся смехом до истерики, очень характерны — и симптоматичны — для Голливуда

Терри:

— Мы все идем ко дну в этой хреновой лодке. Ради этого чертова фильма я отказался от десятка сочных голливудских ролей. Это же фильм, который сделает вам, ребята (Джону и Джаду), имя, какое и не снилось. Это же его первый хреновый роман. Какого, спрашивается, хрена вся эта тягомотина? Смех да и только. — А выйдя наружу, продолжал: — Поверить не могу. Я

же настоящий актер, я знаю: наступит день, и я буду непревзойденным, а что я тут делаю? Торчу, как шиш в заднице. Вот я играю главную сцену, кричу что есть мочи, выворачиваюсь наизнанку, заявляя ей, что отныне она света божьего не увидит, а она сидит и тупо пялится на меня, будто хрюшка, которая только что сытно поела.

Письмо от Элиз, полное слабых и странных эмоциональных отголосков, доносящихся с противоположного конца света. Стремясь восстановить утраченную перспективу, звоню ей в Лондон. Столь же для того, чтобы услышать умиротворяющую тишину холла на Черч-роу, сколь и для того, чтобы услышать ее голос. Ощутить ауру ее присутствия в квартире, ауру нормальных человеческих отношении и всего, что действительно значимо.

Вечером вывел Сам на люди — послушать Сеговию и заодно попытаться пробиться на самое дно ее загадочной непроницаемости. Накручиваем по Лос-Анджелесу милю за милей и наконец — практически наугад — подкатываем к концертному залу. Она выжимает скорость, босой ногой давит на педаль, подпевает льющемуся из радиоприемника мотиву, а я — я чувствую себя Сенекой, запертым в комнате наедине с Поппеей… или кем-то в этом роде. Притом Сенекой весьма циничным: ведь со своей стороны последние дни я делал все, чтобы ее сняли с картины, и, подобно всем в здешних краях, вдосталь поупражнялся в излюбленном на студии «Коламбиа» виде спорта: за спиной подсмеиваться над человеком. Она поразительно неуклюжая. Действительно очень хорошенькая, если смотреть на нее под определенным углом зрения, но лишь как застывшая, недвижущаяся натура. Со скучающим видом просидела весь концерт; затем, не тратя времени, мы двинулись обратно в отель. За рулем она выглядит лучше всего, моложе и оживленнее. Потом я повел ее в ресторан в нижнем холле и за столом заставил наконец внять тому, как неглупые люди отзываются о ее холодности («Я знаю, меня считают бесчувственной; это потому, что мне лень заводить друзей») и хрипловатом тембре («У меня проблемы с голосом»). Не думаю, чтобы на протяжении длительного времени кто-нибудь говорил с ней так прямо и откровенно, однако на нее это произвело минимальное впечатление. В кабине лифта я пожал ей руку и добавил:

— Если я могу хоть как-то помочь вам в работе над ролью, ради Бога, обращайтесь.

Джад лихорадочно названивает в Нью-Йорк и Лондон, пытаясь заполучить Сюзанну Йорк или Сару Майлз. Сюзанна Й. настаивает на гонораре в триста пятьдесят тысяч долларов, а Са ра, по их данным, только что приступила к работе над другим

фильмом.

— Я знаю, как избавиться от Саманты, — заявляет Джон Кон. — Просто подойти к этой шлюшке и сказать: «Ну, дорогуша, обстоятельства сложились так, что…»

Чувствую, как фильм, подобно неисправному авто, выходит из повиновения. Похоже, Джада уже перестал волновать перерасход средств. В любой момент может произойти облом, и всему придет конец.

Вот сидим мы все у Джона Кона, в доме, который он арендует у профессора Калифорнийского университета, и священнодействуем над сценарием: повышаем голоса, упрашиваем, негодуем, грозим уходом и возвращаемся к исходной точке. Сумасшествие, да и только. За окнами — благоухающий сад, гибискус и камелии в цвету, голубым поблескивает плавательный бассейн. А мы с десяти утра до семи вечера не отрываемся от стола. В сценарии — вся их жизнь, придуманные персонажи для них в десять раз реальнее живых людей, что их окружают.

— А ну пошла отсюда! — шугает Джон Кон свою пятилетнюю дочь.

— Ну-ну-ну, папочка, меня уже нет, — откликается малютка, не спеша выходя из комнаты. Его резкость по отношению к собственным детям и то, как они ее не замечают, производят комическое впечатление. Все, что бы он ни говорил, несет в себе заряд такой энергии, что в конце концов перестаешь принимать это всерьез.

— Да сними же трубку, черт тебя побери! — рычит он на жену. А через десяток секунд: — Дорогая, как насчет обеда? Мы проголодались.

* * *

Что ни день, воздух сотрясает вихрь догадок и предположений, по большей части связанных с именами Сам и Уилли. Выйдет ли она на будущей неделе на съемочную площадку, изменит ли Уилли финал картины — все это обсуждается с таким жаром, будто речь идет о жизни и смерти. Бесконечные домыслы, прогнозы, фантазии.

И в каждой слетающей здесь с уст фразе — аллюзии к траху. «Да пусть идет на хрен весь фильм»; «Ну, он делает вид, что намерен шлюшку трахнуть» (в смысле: он ее целует, но продолжения не следует), «А я говорю дяде Вилли: “Иди ты на хрен!”» (в смысле: в этом пункте мы разошлись с ним во

мнениях).

«Сью Йорк — она чудо. Но триста пятьдесят кусков не фунт изюма».

Всю субботу и воскресенье торчим у Джона Кона, терзая сценарий. По мере того как я извожу их своими замечаниями, он мало-помалу становится лучше, обретая некую видимость смысла — или правдоподобия. Они просто непревзойденны в придумывании мелодраматических поворотов, из которых их непрестанно приходится вытягивать за уши. Исподволь готовлюсь также к генеральному наступлению на Уайлера, дабы увязать концы с концами в завязке и финале картины.

На горизонте возникло имя новой звезды на роль Миранды — Иветт Мимье.

Ужасающе монотонный пейзаж города, в котором останавливаешься и оборачиваешься, завидев, как кто-то переходит на противоположную сторону. Здесь все ездят на машинах, автобусы встречаются не чаще, чем дождливые дни. Вокруг ничего, кроме нескончаемого потока людей, закапсулированных в индивидуальные металлические коробки и так перемещающихся из пункта А в пункт Б. Оказавшись в городе без единого пешехода, даже не испытываешь потребности сказать: «Черт бы тебя побрал!» — факт уже налицо.

Господи, трам-тарарам, — заявляет мне сегодня Джон, — нам с тобой надо создать сценарий.

Его голова набита страшным вздором и немыслимыми банальностями, но есть у него какое-то чутье по части динамики экранного действия. Какие бы то ни было тонкости превыше его понимания, но ремесло он знает. Я не сразу осознал это. Он набрасывает общий рисунок, намечая, как должны связываться между собой эпизоды, а затем я прохожусь по тексту, разбивая его на куски. Постепенно мы оба начинаем понимать, в чем заключаются сильные стороны другого: его конек — композиция, мой — диалог.

Телевизор в моем номере принимает тринадцать каналов. Здесь уже не кажутся выдумкой все эти книжки о людях-роботах будущих времен. Сама необходимость думать убывает не по дням, а по часам.

Все стены в главном административном офисе студии «Коламбиа» увешаны фотографиями звезд: куда ни глянь, на вас бессмысленно пялятся высвеченные черно-белой ретушью лица. По гулким коридорам разгуливают их призраки.

Кон, Кинберг, Уайлер, Франкович — все они евреи. Их способностью просачиваться повсюду обусловлено очень многое в том, как складывается облик Голливуда. В этой стране они не до

конца чувствуют себя своими и тем не менее держат руку на рычагах одной из богатейших нефтяных скважин.

Джон Кон:

— Франкович — да кто он, к черту, такой? Перворазрядник по легкой атлетике в Калифорнийском университете, пролез в киноиндустрию сквозь дыру в заборе и, видите ли, только потому, что знает еще парочку языков, вовсю корчит из себя большую-пребольшую шишку. Да ему настоящей актрисы от тощей клячи не отличить!

Schmuck[795]. Здесь это любимое словечко.

Сегодняшний день (понедельник 23 марта) прошел под девизом «Заполучить звезду». Я принял на себя главную роль в замышленной кампании. Написал Уайлеру пространный отчет о съемках в минувший уик-энд, инкриминируя Сам все мыслимые грехи. Уилли делает вид, что выбрал ее он, однако всем известно, что навязал ее Франкович. Терри и я вовсю расстарались, превознося Сару Майлз: я отобедал с ним и Джоном Коном, предоставив Терри играть первую скрипку. Сам, вовсе того не подозревая, сыграла нам на руку, позабыв слова и вдобавок повздорив с Уилли на съемочной площадке; а чуть позже подоспели куски, снятые в пятницу. В просмотровом зале я сидел рядом с Терри. Сначала прошла ее сцена с ним, затем с Максвеллом Ридом, потом третья — где она, в одиночестве, пытается сопротивляться болезни. Последняя произвела на редкость забавное впечатление, и весь дух серьезного обсуждения вмиг улетучился.

— Ну и Франкенштейн, — прогудел Терри.

А Джад и Джон Кон, не вымолвив ни слова, с безнадежным видом вышли в коридор.

В половине шестого Уилли призвал нас троих к себе и признал свое поражение.

— Из-за этой девушки я чувствую себя дебютантом. Вообще перестаю что-либо понимать.

И тут мы по очереди набросились на Сам. Джад мимоходом обронил, что слышал о каком-то замечательном преподавателе актерского мастерства; я прервал его, в соответствующей тональности подав свои впечатления от проведенного с нею вечера: она, мол, эмоционально безжизненна, ни одному преподавателю из нее ничего не вытянуть и т. д. и т. п. Я заставил Уилли пообещать, что он еще раз сходит на «Шестигранный треугольник», дабы поглядеть на Сару в работе. Предположил, что он останется доволен, ведь Терри она нравится, вообще всем нравится, и прочее, и прочее. Всему этому трудно было поверить: мы четверо да Боб Суинк в роскошно обставленном офисе Уилли

сидим и констатируем кризис нашего предприятия; на горизонте явственно замаячило то, чего не может быть никогда.

— Это моя вина, — пробормотал Уилли. — Все это моя вина.

В конце концов мне стало жаль Сам; ведь на самом деле в таком безжалостном мире, как наш, она всего лишь жертва — жертва безличного механизма. Ее с самого начала нельзя было утверждать на роль Миранды; и ей, с моей точки зрения, это тоже постепенно становится ясно. Во второй половине дня она появилась на съемочной площадке, и никто не обменялся с ней ни словом, присутствующие были заняты другим — Джон Кон ожесточенно спорил с Уилли, Боб Суинк еще с кем-то, я — с братом Уилли. Сам прошествовала между нами, как принцесса среди придворных в какой-то ренессансной драме: героиня, знающая, что в этот самый вечер, исходя из высших государственных интересов, ее отравят за ужином. Терри вел себя вызывающе, переигрывая и передразнивая ее, а когда она в десятый раз забыла слова, неожиданно разразившись громким смехом.

Вечером из Нью-Йорка прилетает Майк Франкович. Он — главное невычисленное звено во всем этом клубке.

Кто возьмет на себя смелость сказать ему? — спрашивает Джад.

Я, — отзывается Уилли, и именно скажу. А не попрошу.

Но Джон Кон сомневается:

— Это сегодня Уилли так расхрабрился. Посмотрим, что он запоет завтра.

Джон Кон:

— Всю жизнь я играл во второй лиге и терпеть этого не мог. Теперь я играю в первой и тоже терпеть этого не могу. Почему? Да потому что каждый, кто сидит в этих кабинетах, — такой же schmuck, как и те недоумки.

Эти пронизанные ненавистью к студии «Коламбиа» филиппики из уст Джона и Джада я слышу день напролет.

Сегодня моя собственная неприязнь к этому месту достигла апогея, и пять-шесть раз я был на грани того, чтобы сесть на ближайший авиарейс. Главное, почему я этого не сделал, заключается в том, что кому-то же надо находиться тут, дабы регистрировать все происходящее. В десять часов стало известно, что в минувшую ночь Уилли не выкинул белый флаг. В 12.30 Уилли, Джон Кон и Джад начали совещаться с Франковичем. А я пошел обедать с Сам и Терри. В 14.15 Сам вызвали в кабинет Франковича и сняли с картины. В четыре Терри вызвали в кабинет Уайлера, и через дверь слышно было, как он кричит. Ровно в пять Франкович отзвонил Джону Кону сообщая, что в его

кабинете Сам и ей есть что рассказать ему.

Франкович и слышать не хочет о Сюзанне Йорк — потому ли, что она в свое время отказалась лечь с ним в постель, то ли еще почему-то. Ему подайте Одри Хепберн, лучшую из тридцатипятилетних исполнительниц на роли двадцатилетних в Голливуде; а если не ее, то хотя бы Натали Вуд.

Сегодня утром, пока я у входа ждал Терри, подошла Сам.

— Вы поесть собрались? Можно мне с вами?

Я знал, что Терри не терпится узнать последние новости о Саре Майлз (которая в мае начинает сниматься в новой картине, так что «о ней речи быть не может»), но у меня не хватило духу сказать «нет». И вот Терри возникает. Мы молча прошли пару кварталов к ресторану, он на два-три шага впереди, отказываясь говорить, смотреть, вообще реагировать на присутствие Сам. По том к нам присоединилась помощница режиссера, что чуть об легчило положение. Сам была — или старалась быть обходительнее, чем обычно; на какой-то момент она даже показалась этакой веснушчатой, по-своему невинной двадцатичетырехлетней девчушкой. На обратном пути в студию, отведя меня в сторону она сказала:

— Терри совершенно невыносим. Сегодня я так и скажу Майку. — А помолчав, добавила: — Утром Терри проговорил помощнице режиссера все свои реплики. — И еще! — Я знаю, зачем Майк меня вызывает. Уайлер сказал ему, что я пока не вошла в роль.

А затем задала мне пару вопросов о собственных репликах. Я почувствовал себя страшно неловко, не зная, что ответить. Когда, ближе к вечеру, я признался Джаду, что мне жаль Сам, он взбеленился:

— Бога ради, не впадай в сентиментальность! — Однако его выдало волнение, с которым он это выпалил; ведь фактически ни одному из нас не удалось выйти сухим из воды в этой переделке. Если на то пошло, Уилли не должен был задействовать ее на эту роль, Джон и Джад не должны были с ним соглашаться, а Франкович и вовсе был не вправе давить на Уайлера, рекламируя этот проект как шедевр, с появлением которого Голливуд вернет себе репутацию столицы мировой киноиндустрии.

Когда мы проходили по студийным коридорам, Робин заметила:

— Ненавижу здешнюю работу. Тут все так обезличено. — А потом сказала: — В Голливуде больше не будет хороших картин. Здесь не понимают, что дух времени изменился. Наше поколение ощущает себя иначе.

Я передал это Джону и Джаду.

— Эх, трахнул бы я ее, — отозвался Джад.

— О чем это ты? — возмутился Джон. — Да эта безобразная шлюха — ей впору прислугой быть, ходить по дому с метлой, ботинки тебе чистить.

Я же продолжаю называть ее единственной живой душой в Голливуде, и они злятся. Робин действительно на удивление мила, в ней и впрямь есть что-то от малиновки. Лет тридцати, одевается не бог весть как, отнюдь не красавица, и тем не менее что-то в ней проступает, от чего «ослепительная» внешность Сам начинает казаться раскрашенной подделкой.

Обезьяний братец Уайлера подскакивает ко мне в коридоре.

— Надо заполучить Себерг. В ней решение проблемы.

Отвечаю:

— Она неглупа.

— Больше, чем неглупа, мистер Фаулз, она блистательна. — И побежал докладывать Уилли.

Насколько можно судить, Франкович заявил:

— Сам, у меня для тебя плохие новости.

— Единственный раз, когда у нее лицо дрогнуло, — комментирует Джон Кон.

По вечерам я, как говорится, бываю всецело предоставлен сам себе. Как бы роскошно ни выглядела эта спальня, она начинает мне приедаться; даже смотреть на нее становится тоскливо.

19.15. Дважды пытался дозвониться до Терри, желая узнать, что происходило на студии после моего ухода, но тщетно: в номере его нет. Зато позвонил Джон Кон и сказал, что после того, как Сам упала на колени перед Уайлером, тот пообещал, что даст ей еще один шанс испытать свои силы — завтра.

— О Господи! — простонал я.

— Да ничего. Уилли не сдастся, — заверил Джон Кон.

19.20. Звоню в номер Сам. «Помочь чем-нибудь?» — «Да, пожалуйста, может, вы зайдете?» Когда я входил, она заказывала по телефону напитки. Пройдя по комнате, я выглянул в окно. Она положила трубку

— Уилли сказал мне, вы считаете, что я ни на что не годна. Меня это ошарашило. Вы же говорили в пятницу, что я подхожу для этой роли.

— Ну послушайте, — начал я. — Мне на самом деле казалось, что вы могли бы подойти при условии… понимаете, дело в том, что… поймите, я писатель, и у меня есть свое идеальное представление о героине…

Все это звучало не слишком убедительно, но бедняжка (и, стоит отдать ей должное, в тот вечер она действительно выглядела как обиженный подросток) была слишком подавлена,

чтобы обратить внимание на мою уклончивость. Судя по всему, когда на ее голову упал топор, Уилли в кабинете не было.

— Он сказал Майку, что больше не желает меня видеть. Я ушам не поверила. Увольняет, а сам не наберется храбрости посмотреть мне в глаза.

В конце концов она все же добралась до Уилли. А потом помчалась к Терри — «выяснять отношения».

— Он задет, все дело в том, что раньше мы были очень близки, я была его первой девушкой (у Сам особый дар выражаться эвфемистично), он от меня многому научился и, видно, так и не простил меня.

— Ну что же, сделаю что в моих силах, — сказал я. И мы отыграли пару сцен, я подавал реплики за Фредди и попутно режиссировал ее игру.

Она заказала в номер целый набор напитков.

Если завтра провалюсь, закачу прощальную пирушку. А останусь — пирушку в честь продолжения работы.

За весь вечер не издала ни одного истерического смешка. Мы проходили ее роль реплику за репликой, и я все приговаривал:

— У вас такой хриплый, смодулированный, непоставленный голос… — И вдруг у меня вырвалось: — Слышали бы вы, как орали на швейцара в тот день, когда к подъезду не подали машину. Ни дать ни взять избалованная молоденькая стерва из Белгрейвии.

— О Боже! — проговорила она, широко раскрыв глаза, и я увидел, как из-под ее рыжеватой гривы воспарила в пространство мысль. — Правда?

Подчас она выглядит чуть ли не как ученица профессора из «Пигмалиона».

Ирония ситуации заключается в том, что вчера под конец дня Уайлер заставил Терри целый час репетировать с ней, а на протяжении сегодняшнего вечера ее целый час «натаскивал» я. Так что, случись Сам в ходе завтрашнего генерального испытания каким-то невообразимым чудом заиграть по-настоящему, получится, что удержаться на съемочной площадке ей помогли те же люди, которые больше всего ратовали за ее уход с фильма.

День судьбоносных решений. В 12.15 Терри вне себя врывается в офис:

— Черт-те что, он собирается ее оставить!

Общее оцепенение и тревога. Вдвоем отправляемся перекусить, и тут из него выплескиваются подробности того, что происходило утром. На площадке — только он, Сам и Уилли.

— Она была так чертовски напугана, что сыграла едва ли не хорошо, залила слезами хреновый реквизит и все в таком роде.

И на моих глазах старина Уилли это глотает.

Тогда Терри принялся уговаривать Джада и Джона в знак протеста уйти с картины; заявил, что и сам уйдет. Все мы до смерти перепугались, что в обеденный перерыв Уилли объявит, что она остается в съемочной группе.

14.15. Джон, Джад и обезьяний братец Боб Уайлер. Ожесточенный спор, волнующее ощущение, что буквально через час все должно решиться. Обезьяний братец бросается к телефону — переговорить с Талли, женой Уайлера, чтобы склонить ее на нашу сторону.

— Не знаю, что у нее общего с ролью, кроме рыжих волос.

— Сегодня утром она была на шестьдесят процентов лучше, чем обычно, — встревает Боб Суинк.

— Ага, — откликается Джон Кон. — На шестьдесят процентов от абсолютного нуля.

14.30. Появляется Уилли и прямиком подходит ко мне.

— Режиссером этого фильма должны быть вы. Девушка работает лучше, гораздо лучше.

Джон и я опять стоим на своем. Я заявляю, что она безголосая, совершенно не владеет техникой, не вкладывает в роль душу, не имеет ни малейшего представления о своей героине. А на телефоне безостановочно висит Майк Франкович.

— Скажите ему, что меня нет, — огрызается Уайлер. Проходится по комнате. — Что я думаю насчет Йорк? Стоило бы заполучить Йорк…

Тут же я выкладываю кучу аргументов в пользу Иорк, прекрасной, эмоциональной, непорочной, непревзойденной Йорк.

14.45. Через стену слышим, как Терри кричит на Уилли. Это длится около часа. Позже я перезваниваю Терри в номер и узнаю, что он делал то же, что и мы; превозносил Иорк, выпячивал недостатки Эггар.

— Я заявил старине Уилли, что хочу сыграть в фильме, который останется на века. И знаешь что, Джон? То, что фильм должен получиться, волнует его чертовски больше, чем я предполагал.

15.30. Джона и Джада призывают к Франковичу. Эггар придется уйти. Насколько можно судить, Франкович настроен против всех и каждого, не исключая и меня: ваш, мол, писатель лицемер, натаскивал-натаскивал девушку, а потом объявил, что она ни на что не годна.

— Тут уж Джад вышел из себя, — заметил Джон. — Он заявил Майку, что ты один проявлял к ней максимум сочувствия.

16.00. Они спустились объявить Сам, что она выходит из игры. Уилли продинамил эту неприятную церемонию,

отказавшись ее видеть. Похоже, на прощание она громко хлопнула дверью.

— Надеюсь, что вам повезет с вашей новой исполнительницей.

* * *

— Хандришь, Джон? — спросил Терри. — Чего нос повесил?

Я изложил ему мою теорию лояльности, каковая на слух дельцов со студии «Коламбиа» прозвучала бы не менее дико, нежели эйнштейновская теория относительности — на слух рядового медика 1920-х годов.

— Ну, так ведь все поступают, разве нет? — сказал он.

— Дело не в том, что происходит вокруг, — ответил я, — дело в том, что происходит в нас самих.

Приятно, что Терри не ответил — и я знал, что не ответит, — заезженной банальностью (у него как раз намечалась полоса спада в череде немыслимых постельных побед), а всего-навсего кивнул. ясное дело, ты псих, но мне понятно, что ты имеешь в виду. Ведь сквозь все его неистовое сквернословие просвечивает свойственная ему обостренная чувствительность — не просто безошибочный выбор непечатных слов и ругательств, но инстинктивная безошибочность эмоционального отклика. Вот почему в свое время он станет поистине великим киноактером.

Ему присуща жестокость гения — гения его профессии, игры. Ирония состоит в том, что он столь же несомненно представитель Меньшинства (то есть того разряда людей, к которому относится Миранда), сколь несомненна принадлежность Сам к Большинству (то есть тем, в числе которых Фредди). Само собой, он сразу же это почувствовал, не облекая в слова.

Сегодня (во вторник) над нами весь день витают имена актрис. Список возглавляет Натали Вуд, за ней следует Мимье, за которую голосуем мы с Джоном. Инге Стивенс, Хоуп Лэндж, Сьюзен Плешетт, досужие разговоры о том, как бы заставить Сару разорвать контракт со студией «МГМ», а также многие другие, о которых я никогда не слышал. Теперь все зависит от Вуд. Книга, говорят, «ей полюбилась», но никто не даст гарантии, что ей понравится сценарий. Если она так умна, как о ней отзываются, то вряд ли. Ее имя произносится с придыханием: система звезд отнюдь не отдала концы.

Сам, по имеющимся данным, вылетела в Палм-Спрингс зализывать раны. Однако в восемь вечера она вдруг звонит мне в номер и просит зайти к ней. Якобы в гостях у нее приятель из

Лондона, актер Том Стерн. На самом деле ей хотелось через меня провентилировать ситуацию. Я поцеловал ей руку, похвалил ее за отвагу (отнюдь не греша против истины). Уайлер привел ее в ярость: «Он оказался таким лицемером». Сама же она — воплощенная наивность.

— Терри ненавидит Сару, я точно знаю, он сам мне как-то сказал.

Когда я изложил ей реальное положение дел, она воззрилась на меня с обиженным видом. Что до Тома Стерна, то он явно от нее без ума.

— Сам — великая актриса, — постулировал он. — Такой, как она, им ни в жизнь не найти. Самое здравое, что они могут сделать, — это перезаключить с ней контракт. — И продолжал: — Я прочел сценарий. Эта девушка в подземелье — не кто иная, как Сам. Ей и играть нечего. Это просто ее натура.

Ничто во мне не обнаруживало, что я придерживаюсь другого мнения.

— Сам и я очень близки, — поведал он. — Нас даже сняли вместе на первой странице «Ивнинг ньюс»[796].

Последнее утро. Еще раз проиграли эпизод с тетей Энни. Прощаясь, Уилли сказал:

— Я хочу, чтобы вы были на завтрашней вечеринке, там будут все звезды.

— Увы, не получится, — ответил я. — Сегодня вылетаю.

Последние десять минут потратил на то, чтобы убедить его снять с картины Рида и занять Кеннета Мора, но он был, как всегда, уклончив:

— Посмотрим.

Зашла Робин, и я подписал ей книжку: «Робин Заккарино, живому человеку в городе, где недостает живых». Милая женщина, она тут же заговорила о своем муже и дочери-подростке. Я взял с нее обещание, что она пришлет мне рисунок Лос-Анджелеса.

Мое последнее утро в этом городе. Джад с Сюзанной и Стивеном отвезли меня в «Маринленд». Вниз по бесконечному автобану Сан-Диего через пустыри Редондо, минуя раскинувшиеся повсюду ярмарки автомобилей, над которыми в раскаленном воздухе пылают красные и желтые флажки гадкого неестественного оттенка. Над въездом на каждую красуются объявления. «Крутые (читай: «низкие») цены». И так до самого Палас-Вердес, с поблескивающим сквозь эвкалипты морем и живописными крытыми дранкой домишками, тонущими в бугенвиллеях. «Маринленд» разместился на голом холме; это по-римски роскошное заведение, цирк, учрежденный на потребу

жаждущих масс. Такое пришлось бы по вкусу Тиберию и Нерону, только, стремясь сделать зрелище еще «острее», они запустили бы в бассейн не дельфинов, а акул, а в качестве наживки — не мертвых сельдей, а живых рабов. Особенно впечатляет, какие чудеса выучки проявляют здесь дельфины, киты и тюлени. Дрессировка животных — изобретение римлян; любовь к ним — привилегия греков. В глазах древнего грека такого рода подведение несчастных представителей животного мира под «человеческий» знаменатель, когда их обучают играть в бейсбол, целоваться, плавать наперегонки друг с другом, — занятие не менее тошнотворное, нежели занудное комментирование. Речь не о какой-то явной жестокости: дельфины, в частности, проделывая свои номера, демонстрируют видимое удовольствие, радость, которую не объяснишь одним лишь желанием добиться поощрения. Джад склонен объяснять это исходя из павловской теории, а я думаю, что животным так же, как людям, нравится резвиться, нырять и играть.

За день до того я купил Стивену на Фермерском рынке молоденькую черепашку. Он упрямо носит ее повсюду с собой в маленьком бумажном пакетике. Джад и Сюзанна не прекословят ему, и меня это раздражает. Как бы то ни было, сыну они позволяют делать все, что вздумается. Когда в здешних местах ребенок делает что-то не так, родители отмалчиваются и отправляют его к аналитику — «скорректировать» поведение отпрыска.

— Коррекция поведения детей — вещь, требующая специальной подготовки: ребенка направляют к специалисту, — одобрительным тоном по отношению к этому обыкновению калифорнийцев заметила на днях Сюзанна.

Не могу сказать, чтобы я был определенно против. Дело лишь в том, что это слишком легкий выход для родителей.

Джад ввел меня в курс позднейшего развития событий с фильмом. Франкович отверг кандидатуру Натали Вуд, давшей согласие сниматься. За свое участие та запросила четыреста тысяч долларов плюс десять процентов прибыли — гонорар отнюдь не астрономический по голливудским стандартам. Однако Джад думает, что Ф. по-прежнему не может смириться с тем, что «его девушке» указали на дверь, и исполнен решимости перекрыть Джаду и Джону кислород в кинобизнесе.

— Теперь уж мы точно не будем сотрудничать со студией «Коламбиа». Ни одна из сторон на это не пойдет.

На прощание мы выпили с Джадом и Сюзанной в аэропорту, затем я сел на рейс до Сан-Франциско. Там студия «Коламбиа» зарезервировала для меня номер в гораздо более дорогом отеле,

нежели мне хотелось, но даже это не смогло развеять очарование города, многообразие и человечность которого вмиг ошеломляют подобно оазису по контрасту с оставшейся на юге безводной пустыней.

А отсюда, через все Соединенные Штаты, в Бостон. Таксист провез меня по всему городу до отеля на берегу реки Чарльз — старомодного заведения, где я с восторгом убедился, что из горячего крана течет холодная вода и наоборот, и не без облегчения констатировал, что краска на стенах облупилась, а ковры на полу протерлись до дыр. Спустившись в чуждый помпезной роскоши бар, я заказал гамбургер и пиво и, в противоположность Западному побережью, почувствовал себя почти в Англии. Бостон не назовешь красивым городом, но и вылощенным, ультрасовременным, напрочь оборвавшим связи с прошлым он тоже не является.

На следующее утро я навестил издательство «Литтл, Браун», откуда, отобедав с Недом Брэдфилдом и совершив ознакомительный тур по старому городу, мы отъехали в Маршфилд. В его доме — тот же непритязательный уют: Нед словно отказывается впустить сегодняшнюю Америку в свою личную жизнь. Поговорили об «Аристосе», о тех местах, которые ему непонятны. Он заметил, что многое в этой книге для него слишком сложно; ясное дело, он предпочел бы, чтобы многие вещи были в ней упрощены — до такой степени, какая, с моей точки зрения, пошла бы во вред замыслу; однако в целом она ему понравилась, он думает, что книга «медленно, но верно» раскупится. В девять отошли ко сну, но спать я не мог. Было полнолуние, и за окнами стоял обжигающий холод, на земле местами еще не растаявший снег, и вообще в этом доме чувствуешь себя странно. Не знаю почему, но возникает впечатление, что находишься на краю дикой чащобы, будто сделаешь шаг наружу — и тотчас наткнешься на что-то неожиданное. Острое и прекрасное ощущение отрешенности от цивилизованного мира.

Из Нью-Йорка прилетел Джулиан Б., и мы встретились в баре отеля «Ритц-Карлтон» обсудить, с какими предложениями выходить к Неду. Дж. явил себя образцом деловой обходительности, и они за обедом обсуждали мое будущее, будто я — некий предмет собственности, а не человек. Договорились на том, что заключим новый контракт: начиная с 1965 года «Литтл, Браун» будет выплачивать мне по 10 тысяч долларов в год; сюда войдут платежи издательства «Делл», «Аристос» и второй роман. Нед думает, что «Аристос» выйдет в октябре. Он вселяет в меня чувство спокойной уверенности — то, какого я никогда не

ощущаю, имея дело с Шилом и Томом Мэшлером.

На прощание выпиваем с Бобом Фетриджем и Недом в баре «Ритца»; затем лечу домой в почти пустом самолете над бескрайним океаном туч под луной, с одиноко сияющими в непроглядном мраке Севера Медведицей и Кассиопеей; завтракаем при ослепительном свете солнца, а затем вслепую падаем в тысячефутовую толщу облаков. Наконец над самой землей выруливаем и с места в карьер садимся. Холодный частый дождь и пронизывающий ветер, температура 35 градусов по Фаренгейту в придачу к вечному оскорблению — крохотным размерам Англии — и гадким атрибутам общества XX века: пробкам на дорогах, убогой планировке зданий, стиснутости всего окружающего. Приземлиться на английской почве — все равно что получить кулаком по физиономии.

1 апреля

Не успел прийти в себя в квартире на Черч-роу, как раздался телефонный звонок из Ли. У О. сердечный приступ: он не встает с постели, не сможет присутствовать на свадьбе[797]. М. сообщает об этом как о мелкой домашней неурядице, в ее голосе слышатся безумные нотки. Разразись завтра Армагеддон, она все равно добьется, чтобы Хейзел со всей помпой в пятницу вышла замуж.

Вернувшись к Элиз, испытываю неподдельное, какое-то детское облегчение, словно остался невредимым, играя в «казаки-разбойники». А она приглядывается ко мне с оттенком холодновато-подозрительного любопытства, стараясь понять, сколь сильно я изменился, сколь прочно на сей раз оседлала меня Америка. После полудня завалились прямо в постель — без остатка предавшись сексу, после чего я окончательно вырубился. Ведь не спал двое суток.

2 апреля

С черепашьей скоростью дотащились по Северной окружной дороге до Ли, простаивая возле каждого светофора, вдыхая гарь тяжелых грузовиков. Грежу о залитых солнцем скоростных шоссе.

О. с землисто-серым лицом лежит в постели, что-то невнятно бормочет.

— Притворяется, — ворчит М., и тут она недалека от истины: этот гром небесный ему отчасти импонирует. Спрятаться в щель и украдкой выглядывать наружу вполне в его репертуаре. В кровать его уложила, нет сомнения, классовая озабоченность, это сумасшедшее стремление сделать все comme il faut[798] или comme il fallait[799] полсотни лет назад. Дэн поглядывает на все это с оттенком какой-то ветреной наивности, М. мелет, мелет, мелет языком, Хейзел паникует, мы с Элиз взираем с неодобрением.

3 апреля

День бракосочетания — ко всему прочему это и самое холодное 3 апреля в этом столетии. Облаченный во взятый напрокат выходной костюм, я сопроводил Хейзел в церковь Олд-Ли, промерз до костей у входа, позируя фотографу, затем проследовал с невестой к подножию алтаря.

— У тебя был такой хмурый вид, — посетовала Элиз.

Рыжеволосый, с недобрыми глазками викарий напыщенным тоном отговорил свое, подозрительно поглядывая на нас, будто ждал, что мы вот-вот разразимся хохотом.

Затем наступил черед грандиозного приема в «Оверклифе»: с одной стороны, О'Салливаны (представлявшие высший слой среднего класса), с другой — Фаулзы (воплощавшие его средний и низший слои) с чувством явной неловкости сливались друг с другом, торопясь разойтись по своим углам. Я рассеянно переходил от группы к группе, силясь вспомнить, как кого зовут, стараясь избежать тех, кого не выносил, и примкнуть к тем, к кому не испытывал неприязни.

Мы задержались еще на два или три дня, бесконечно томительных и монотонных. М. все время выводит нас из себя: ей присуща та не знающая удержу агрессивная разновидность глупости, от которой никакого спасу нет. Через день после нашего отъезда она слегла — как говорит доктор, от полного изнеможения. Но поскольку это изнеможение на девяносто процентов дело ее собственных рук, испытывать к ней сочувствие затруднительно.

В мое отсутствие Элиз завела тесную платоническую дружбу с Поджем и Тарном. Был день, когда она, не ставя в известность ни того, ни другого, в одиннадцать пила кофе с Тарном, потом с ним же чай, а обедала и ужинала с Поджем. Обоим она кажется чародейкой вроде Астарты[800]. Оба ощущают на себе ее способность, не прилагая никаких усилий, казаться такой же умной, как они сами (что чистая правда — она действительно умна), ровно ничего не говоря и даже не чувствуя необходимости как-либо это доказывать. Вчера Тарн заехал за ней и повел в театр. Его дендистские манеры навевают на меня тоску; в них есть что-то странно провинциальное. Своими разглагольствованиями о литературном продвижении с коммерческим душком, трепом о том, как напечатать стихов на гинею, он уводит меня в сторону.

13 апреля

«Леопард». Сделанная Висконти экранизация в таком воплощении… да в любом воплощении — не более чем пародия на роман. Ужасно видеть, как проституировано и опошлено одно

из последних выражений подлинного аристократизма. Висконти называет себя аристократом. Но все его актеры смотрятся как персонажи какого-нибудь голливудского вестерна — к тому же с отвратительным американским дубляжем. То же, что слушать игру Голдберга на киноорган.

«Пионеры» Гарольда Роббинса. Возможно, самая омерзительная из когда-либо написанных книг и наверняка самая омерзительная из тех, какие мне довелось читать. Ее мог бы написать компьютер, запрограммированный на самые низменные инстинкты населения Америки. Притом запрограммированный с высокой степенью точности. Она также интересна как свидетельство того, сколь глубоко укоренено в психике американцев понятие силы (и сексуальной мощи).

* * *

Последнюю неделю провел, внося окончательные поправки в текст «Аристоса» и читая французский перевод «Коллекционера». Перевод не очень хорош: десятки искажений смысла, да и образ Миранды вышел слишком ходульным и очевидным.

17 апреля

Дорогой Джон!

Вчера получил письмо Энтони Шила с предложением условий продажи прав на «Аристос». Он исходит из того, что мы не дадим обратный ход, даже потеряв канадский рынок. Разумеется, так и есть, и даже если предлагаемый им аванс в четыреста фунтов превысит то, что принесет реализация, с удовольствием примем его.

Говоря, что аванс может оказаться больше, нежели выручка с тиража, я отнюдь не склонен умалять достоинства книги, нет, я исхожу, увы, из трезвой оценки того приема, какой она может встретить в Англии. Жаль, если раньше Вам казалось, что я отношусь к ней без того энтузиазма, которого Вы ожидали; но даже в этом случае дело было не столь в недооценке ее достоинств, сколь в опасении — и это опасение еще при мне, — что здесь книгу примут не так хорошо, как Вы надеялись.

Ваш *Том (Мэшлер)*

Издательство «Литтл, Браун» выплачивает мне две тысячи долларов аванса; книгу оно выпустит в октябре. Есть определенная неувязка в связи с правами на канадское издание: я хочу отдать их на откуп ему же. Издательство «Кейп» (Том) от этого не в восторге: затронута некая патриотическая нотка. Английские авторы якобы обязаны отдавать все «имперские» права английским издателям. При этом упрямая экономическая истина (а она заключается в том, что гонорар за продажу одних только канадских прав на «Коллекционера», приобретенных издательством «Литтл, Браун», превышает все, что готово заплатить «Кейп») во внимание не принимается. Но думаю, все будет по-моему.

30 апреля

Сегодня перебрались на Саутвуд-лейн. Вчера постелили ковер — отнюдь не зеленый, который мы заказывали. Срочно перезваниваем, и оказывается, что Элиз неправильно информировали и она заказала не то. С домом все хорошо, но проблема с шумом — это после оглушительной тишины Черч-роу, где никому бы не вздумалось колотить по стенам. А здесь говор,

уличное движение, в соседнем доме обосновалась чета фанатов поп-музыки, рев их проигрывателя разносится по всей округе. Вниз по холму сбегают небольшие зеленые сады, а дальше тянутся лесистые холмы Эссекса, это радует глаз. Как ни странно, мы без сожаления покинули Черч-роу, а въехав сюда, я тоже не испытываю ничего особенного. Место, где обитаешь, уже не так значимо, как прежде.

Ронни и Бетеа переехали в дом за углом — Норт-Хилл, 7; он больше нашего, но тонет в тени Хайпойнта[801]. Тем не менее его простору я тихо завидую и, бывая у них, острее ощущаю тесноту и шум нашего жилища на Саутвуд-лейн.

14 мая

Дом. Он как-то странно влияет на нас. То слегка раздражает, то зачаровывает. По утрам обычно чарует: весь залит солнцем, вниз под горку сбегает маленький садик в кирпичной ограде с буйной порослью ландышей и незабудок. У комнат — особого рода прелесть террас загородных коттеджей; поначалу думаешь, что их форма неправильна, а потом ловишь себя на мысли, что это не так. «Ты не прав, — как бы говорят они, — просто нашу красоту может почувствовать не каждый». А поскольку здесь некогда собирались диссентеры, то и оценивать изящество комнат следует, сообразуясь с этим обстоятельством. Все дома вокруг выстроились в правильные ряды, все фасады на одно лицо, все интригующее и не вписывающееся в правила происходит внутри, ближе к черному ходу. Элиз обуревает невроз обустройства — в доме должен быть порядок; а я одержим неврозом писательства, мне нужно писать. В итоге все трое: дом, Элиз и я — пытаются навязать друг другу свою линию поведения и пока еще не могут прийти к компромиссу.

27 мая

«Волхв». Работаю над ним неделю. Подписывая новый контракт с издательством «Литтл, Браун», обещал закончить его к 1 января 1965 года. Выбрасываю все, что мешает развитию сюжета; все, что опускается ниже определенного уровня напряженности повествования. Ибо в этом: в точной гармонии между содержанием (символикой, интеллектуальной и стилевой направленностью) и повествовательной силой (попросту говоря, старой доброй читабельностью) — заключается, как мне кажется, сущность романа. Словам, заполняющим страницу, надо придать энергию, побуждающую перевернуть ее. Повествование — своего рода магнетическая сила.

Сокращения. Порой удачные сделать так же приятно, как сочинить хороший пассаж.

25 июня — 25 июля

Норвегия[802].

23 августа

В последние две недели вернулся к «Волхву» и опять испытываю на себе все виды писательских недугов. Создание длинного романа требует поистине гигантского физического усилия: против психологического и творческого я ничего не имею. Пусть даже оно сопровождается несварением желудка, геморроем, бессонницей и впадением в прострацию.

Писать от первого лица. Не могу представить себе, что роман можно писать как-то по-другому. Но мне кажется, что это тоже некое проявление трусости. Возможно, когда-нибудь мне придется заставить себя писать в третьем лице. Я хочу сказать, что повествование от третьего лица всегда казалось мне старомодным, невсамделишным; и вот теперь я начинаю в этом сомневаться. Быть может, попытка доставит удовольствие?

Конверт, набитый газетными вырезками о проявлениях секса и жестокости. Пришел в издательство «Джонатан Кейп» на мое имя. К ним также приложен трехстраничный перечень книг о сексе и записка с вопросом о том, почему бы мне не снять фильм под названием «Смерть садиста». Это первое мерзкое письмецо из тридцати или около того, что я получил из Англии и США в связи с «Коллекционером», хотя был еще один весьма любопытный образчик из психиатрической клиники в Беркшире. Ничего не имею против непристойности, но запашок ненависти невыносим.

На следующий день пропала девушка из Тоттриджа, некая Маргарет Харвинг. Анализ фантазии от противного (под этим я подразумеваю сюжетную ситуацию, подсказываемую подсознанием) в связи с данным происшествием: в этой фантазии я допускаю, что девушку похитил автор подметного письма, и передаю письмо полиции, полиция выслеживает преступника и освобождает (спасает) девушку. Удовольствие, какое я испытал от этой фантазии, обусловлено: 1) мыслью о том, что моя книга побудила преступника действовать таким образом; 2) мыслью о моем «благом» поступке и связанной с ним публичностью. Ни малейшего наслаждения от сексуальной стороны фантазии я не получил: все ее детали связывались с переговорами с полицией, моим появлением на суде и т. п. На первый взгляд подобная фантазия кажется болезненной, однако, хотя подобная цепочка событий и доставила бы мне удовольствие, я, разумеется, в полной мере отдаю отчет в том, как следовало бы действовать, имей я возможность остановить или предотвратить ее ход в реальной жизни. Будь я действительно в силах предотвратить похищение человека, я бы, конечно, так и поступил. Моралист

традиционного склада заметит, что, даже рисуя в воображении акт жестокости и злодейства, ослабляешь морально-волевое начало. Но я подозреваю, что такого рода вымышленная антиситуация (в противовес реальной) — иными словами, «реально-вымышленная» ситуация (в противовес «нереально-гипотетическому» предотвращению преступления) — в действительности является источником моральной энергии. Бывают случаи, когда постоянная — и поначалу намеренно невинная — игра с мыслью об убийстве может привести к реальному убийству; однако в девяти случаях из десяти, во всех случаях, когда человек — не убийца, всплывающие в воображении антиситуации оказывают воздействие на его реальное поведение в реальной ситуации, то есть на образ жизни. Тот же механизм видится мне в супружеской верности. В ее подлинной основе лежат подобные же вымышленные антиситуации (экстрамаритальные связи, измены, посещение борделей, извращения и т. п.). Рискну предположить, что самые неверные мужья неверны своим женам не в силу избытка, но от недостатка воображения. Богатое воображение создает идеальный мир, мир фантазии, подпитывающий реальный — подобно тому, как на навозной куче произрастают розы; то есть, говоря опять же экзистенциалистским языком, привычный страх перед «болезненной» фантазией стимулирует восхищение «нормальным» поведением. Думаю, лишь в прошлом году я окончательно избавился от чувства вины за мою ненормально богатую, как я полагаю, фантазию, теперь я, напротив, холю и лелею ее, ибо убежден, что наряду с другими факторами именно она гарантирует — в плане сексуального сосуществования — «прочность» моей верности супружескому обету, то есть, говоря опять же экзистенциалистским языком, обеспечивает его свежесть, постоянную возобновляемость. Это не что иное, как форма сублимации, только, так сказать, гомеопатическая: способ подчинить первичные (аморальные) влечения созданию зрелой моральной установки.

7 сентября

Время идет, и думаешь, что ты наконец-то вырос, я хочу сказать, полагаешь, будто все твои модели поведения, склонности, привычки сформировались и не поддаются изменению, но вот я вернулся из Норвегии в крайне подавленном состоянии. На поверхностном уровне — удрученный зрелищем изнасилованной туристами Европы, на глубинном — нескончаемой загадочностью моего существования после «Коллекционера»: тем, что, за вычетом лишь одной его стороны, я не чувствую себя более счастливым или полнее себя

реализовавшим. Теперь у нас достаточно денег, мы можем позволить себе жить где захочется и делать что захочется. На меня снизошло одно из величайших благословений жизни: никто мной не командует, я вполне принадлежу самому себе. Но счастливее я себя не чувствую.

Тому есть одна или две очевидные — по словам Хайдеггера, Dasein[803] — причины. В последние два-три года на Западе возобладал сильный консервативно-фашистско-эгоистический сдвиг, упадок интеллектуального и подъем визуального подхода к жизни, торжество того, что его сторонники именуют внеморальным (здоровым, исходно свободным от ограничений) отношением к существованию: наслаждайся жизнью, пока можешь, предавайся всем удовольствиям, какие могут тебе доставить общество благоденствия и ты сам, — и того, что его противники называют аморальным (слепо приверженным одному лишь собственному эгоистическому интересу). Поэтому я чувствую то же, что многие, должно быть, чувствовали в 1930-е гг.: что течение несет тебя не туда. Такое состояние обычно описывается выражением «куда волна вынесет». Но сейчас это больше напоминает порыв ветра. Идешь в одну сторону, ветер дует в другую.

Как всегда, меня преследует ощущение собственного неумения претворить в жизнь идеи, в которые я верю. Я никогда не делаю благотворительных дарений, редко вступаю в спор с теми, кто несет ерунду, никогда не иду в ногу со всеми, не участвую в акциях протеста, не действую. Оправдывая свою позицию тем, что писатель — не кто иной, как человек, сублимировавший свои действия в творчество (раб своего предназначения), и лучшее, на что он способен, — это сохранить незыблемой — в литературном и общественно-политическом плане — свою творческую индивидуальность.

В силу всего этого я ощущаю себя вне общественной и коммунальной жизни: по ту ее сторону.

А тут еще мы не можем принять окончательное решение о нашем доме: действительно ли хотим жить в нем или нет. Подчас он кажется слишком тесным. Выходит не на ту сторону, и вообще, хотим ли мы жить в Лондоне? Позавчера Бетеа и Ронни заверяли, что поселились в приглянувшемся им доме «до конца своих дней», это, мол, «наш дом» и все такое. И хотя слышать это мне было не слишком приятно (на мой взгляд, такое безоглядное погружение попахивает застоем), где-то в глубине проснулась дремлющая потребность возвращения к корням, чувство, что необходимо отыскать в этом мире уголок, который станет постоянным прибежищем. Уголок, где будешь высаживать

цветочные луковицы, зная, что на следующий год они прорастут. Сейчас меня буквально обуревает страсть к садоводству: закладываю в почву семена растений, думаю, как на будущий год они дадут всходы. Что, разумеется, символично.

Все эти мои сомнения болезненно сказываются на Элиз, периодически впадающей в депрессию. Со свойственной ей привычкой возводить все на свете к отношениям между полами мою неуверенность в благоприятности географического положения дома она объясняет тем, что между нами нет настоящей любви. Это несерьезно и не на шутку выводит меня из равновесия. Ведь мы приняли друг друга настолько, что оказываемся выше мелких дрязг и неурядиц, способных омрачить прочность нашего союза. Это все равно что мыши дразнить льва: дразнить его можно сколько угодно, но ничто не изменит главного — того, что лев (наш союз) бесконечно больше мыши (ее сомнений).

Я заметил: «За вычетом одной стороны моего существования». Именно в этом плане я чувствую себя счастливее. Попросту говоря, в письме — ибо ощущаю, что наконец-то начинаю отчетливо сознавать, что должен писать и — что, возможно, еще важнее — как писать. Я имею в виду, теперь у меня есть сознание моего гения (в старом смысле этого слова), сознание моих особых писательских возможностей, равно как и моих особых задач. Все больше сходит на нет мое былое стремление увидеть себя в огнях рампы, оказаться в фокусе публичного внимания. Все отчетливее просыпается во мне чувство непреходящего в литературе, чувство того, что останется на века, а что сгинет без следа. Мне думается, обрести ощущение того, что в искусстве долговременно, значит нащупать главнейший — возможно, главнейший — критерий творческого процесса. Это гораздо более значимый критерий, нежели, скажем, ощущение того, что импонирует твоим современникам, чувство, что совершенно или несовершенно по форме (чувство вкуса и чувство слова).

Фактически это чувство неизменно тревожащего (но отнюдь не невротического) творческого благополучия доминирует над всеми прочими моими тревогами и нейтрализует их. Чувствовать, что у тебя получается хорошо (пусть объективно это и не так), и не быть счастливым — нельзя. Вот почему в итоге улыбается Оно и расцветает улыбкой Всё.

«Волхв». Сейчас я на главе 54. Она будет очень длинной. Перерабатываю то, что касается отношений между Николасом и «волшебством»: в первоначальном варианте середины 1950-х я слишком пространно отображал «психическую» иллюзию. Теперь

обрываю ее описание гораздо раньше. Читателям ведомо, что маг вводит их в заблуждение, и все-таки их внимание не ослабевает.

Теперь в моем мозгу окончательно прояснилось символическое соотношение между Алисон (действительностью) и Лилией (воображением). Но стоит заметить, что при второй переделке я оставляю Алисон в повествовании вовсе не из соображений символики. Она сама собой выросла (ведь процесс развития персонажей кажется органическим, выходящим за пределы авторского изобретательства) в подлинную героиню книги. В определенном смысле она воплощает собой мое собственное — ныне твердое — убеждение в том, что два моих символа веры — действительность и разум (первая — в литературе, второй — в философии). Это надо акцентировать. Само собой разумеется, я вовсе не против всего «нереального» и «неразумного»; но я против *необязательного* вкрапления иррациональных моментов в экзистенциализм (отчаяние и Angst[804]— его составляющие, а отнюдь не основополагающие понятия) и произвольного (художественно неоправданного) использования нереалистических художественных средств. Понятно, в конечном счете мои суждения по этой части субъективны. Я «высказываю» их «вслепую».

12 сентября

Любопытно, как все закипает, когда пишется действительно хорошо: возникает точка, на которой волнение от авторского изобретательства преломляется в изобретательство в жизни. Видятся сцены восхваления, «восторженные» отзывы и все такое. До «Коллекционера» я пытался удерживать под контролем этот комплекс Уолтера Митти, сейчас же это, конечно, безнадежно. Я просто смеюсь над этим — и продолжаю фантазировать.

28 сентября

Вечером зашли Шейла и Нэт Хопкин. На прошлой неделе заскочил Подж и рассказал, что разругался с ними: летом они вместе побывали в Польше. Шейла с Нэтом ехали поездом и столкнулись с ним в Варшаве, но спустя три дня разбежались каждый в свою сторону — с порядочной дозой взаимного отторжения. Отчасти комичного, хотя во всем этом проскальзывают трагические нотки. По версии Поджа, причиной послужили несносная старушка Шейла и ее подпевала Нэт, на удивление неадекватно отреагировавшие на его оперативность и весьма детально продуманную программу, которую он разработал.

Версия Шейлы и Нэта гораздо убедительнее. Если им верить, Подж и Кэти всю дорогу в Варшаве подсмеивались над ними; Подж, судя по всему, по уши втюрился в Кэти, даже спит с ней в

одной комнате (ей сейчас семнадцать), все время нервно суетится, грубит попутчикам, совершенно с ними не считается, хотя сам же и уговорил их поехать. Кэти дула с ним в одну дудку, Эйлин заняла нейтральную позицию.

Немного поговорив об этом, Шейла вдруг разразилась взволнованной исповедью. Оказывается, восемь лет назад, когда они с Нэтом только поженились, Подж соблазнил дочь Нэта Линден.

— Принес нам бесплатные билеты на «Оброненную шляпу», а затем вернулся в квартиру и совратил ее. В то время голова у нее совсем не работала, за год или два до этого у нее умерла мать, она была готова отправиться в постель с кем угодно.

Как-то раз Нэт провел с ней серьезную беседу, убеждая, что не дело разгуливать (то бишь спать) с кем ни попадя, а она вдруг спросила: «А как насчет Поджа?» Тогда Подж признался в своем прегрешении и в целом ряде писем попытался оправдаться, ссылаясь на тяготы собственной семейной жизни и на то, что сама Линден в этот период вела себя чуть ли не как нимфоманка. Шейла добавила:

— Это чуть было не разрушило наш брак. Нэт был великолепен. Он простил Поджа.

Она рассказывала, а Нэт плакал. Оба порядком нагрузились виски.

— Я люблю, люблю Поджа, — твердила она. — Знаю его с трех лет, а на будущий год мне стукнет пятьдесят.

То, что она решилась об этом поведать, изумило меня не меньше, нежели то, что Подж оказался способен на такой поступок.

Ночью мне приснился мрачный сон с коннотациями мифа об Эдипе: Подж в нем не появлялся, но, без сомнения, незримо присутствовал — доминируя в ситуации, в которой я чувствовал себя преданным кем-то, воплощавшим для меня отца. Собственно, Подж всегда играл в моей жизни роль второго отца. Начиная с нашей первой встречи в Эксе в 1948 году: тогда мы делили с ним комнату, и я впервые испытал укол зависти, когда он вошел и заявил:

— Ты не против вечерком уступить мне на часок комнату — мне надо наедине потолковать с девушкой?

И в то же время не переставал повторять, как ему хочется поскорее вернуться в Оксфорд и «всласть потрахаться с женой». Только теперь, шестнадцать лет спустя, я сознаю, что еще до того, как меня околдовал его интеллект, между нами уже были налицо все составляющие эдиповских отношений.

Нечто травмирующее было и в той «игре в правду», в которую

он вовлек нас в Ницце (Фейт, Ронни и меня). Нам всем предписывалось в точности высказать то, что мы думаем друг о друге. Помнится, тогда я обвинил его в садизме и соглядатайстве — возможно, не буквально, но достаточно прозрачно. К тому же с самого начала я испытывал сильное влечение к Эйлин, чувство, которое я теперь рассматриваю сквозь призму эдипова комплекса — как симптом самоотождествления с матерью. Я также всегда чувствовал притяжение к Кэти, причем с оттенком вины. В последние годы, возможно, это притяжение носило сексуальный характер, но в какой-то мере присутствовала в нем и проекция былого влечения к Эйлин, равно как и чувство зависти к Поджу. Мне неизменно казалось, что я завидую тому, что у него есть дочь, но показательно, что в этом плане я не испытываю зависти ни к кому другому из имеющих детей. Все сильнее — и отнюдь не беспричинно, если принять во внимание действительно нездоровую близость между Поджем и Кэти, — я стал воспринимать их как мужа и жену: иными словами, как собственных отца и мать, со всей подавленной любовью к последней и неприкрытой привязанностью к первому (то есть, по сути, так, как нынче отношусь к своим родителям). Короче говоря, для меня Портеры оказались субститутом семьи — возможно, потому, что применительно к ним легче проецировать подавленную любовь и, разумеется, легче предаваться фантазиям. Я не могу в воображении сочетаться браком со своей матерью, но могу (и несколько лет назад не раз это делал) вообразить себя мужем Кэти, как до того воображал себя в постели с Эйлин.

Ну и, конечно, в интеллектуальном плане Подж очень кстати восполнял недостатки натуры моего отца. Его симпатия к марксизму, его циничность, его механистический взгляд на жизнь, его вольтерьянство — все это заполняло пробелы в изначальном отцовском имидже.

Другие симптоматичные события: в самый разгар кризиса наших отношений с Элиз я нашел прибежище в Оксфорде. Подж нашел для нас комнату, давал советы, играл роль исповедника и так далее.

Случай, произошедший в то время: нам вздумалось покататься на лодке и оттого запоздать на встречу с Поджем и Эйлин, с которыми мы договорились пересечься в парке. Прождав сколько-то времени, он обозлился и ушел, и в назначенном месте мы застали одну Эйлин. Мне стало стыдно за него, и я обиделся.

Первая книга, которую я написал и попытался опубликовать. Рукопись я отослал Поджу, чтобы узнать его мнение. Он ответил критичным, но очень тактичным письмом, по сути, идеальным образцом рецензии, открывавшим мне глаза на мои писательские

слабости и в то же время дававшим стимул к продолжению работы. Оно так контрастирует с его позднейшей реакцией на «Коллекционера» и «Аристоса», которые он отверг с порога, не проронив ни слова.

Теперь, по крайней мере последние пять лет, я явственно ощущаю перемену в наших отношениях: он все чаще разочаровывает меня, мы все дальше расходимся во мнениях (это особенно сказывается в кричащей произвольности его суждений, его пресыщенности искусством). Ключевым для меня оказался случай, когда в разговоре с Ронни Пейном и корреспондентом «Ивнинг стандард» Сэмом Уайтом я чересчур охотно ссылался на его оценки (полагая, что люди типа Ронни должны относиться к Поджу так же, как я сам) и Сэм Уайт бросил:

— Да кто это такой? Судя по всему, страшный зануда.

Тогда я рассердился, сознавая, впрочем, что в контексте беседы подобная реплика оправданна.

Окончательное разочарование пришло, когда, в мою бытность в Америке, он попытался затащить Элиз в постель; тут я осознал, что уже вовсе не являюсь его преданным адептом, хотя, разумеется, по-прежнему сильно привязан к нему.

Больше того: на протяжении нескольких лет я чувствую, что Подж завидует мне; отсюда его злоязычие, нередко маскируемое подшучиванием, и ирония, сквозящая во внезапных выхлопах неумеренных восторгов. Думаю, отчасти это объясняется его притяжением к Элиз. Она — то, что необходимо не только соблазнить, но и вывалять в грязи, а значит, в очередной раз низвести до собственного уровня. Он жаждет вселить во всех окружающих чувство вины.

Нет сомнения, что над отношениями между нами троими довлеет тень того, что мы сами домыслили, наделив реального Поджа символическими функциями отца: функциями, которых он не отверг и в то же время возненавидел.

Подж как таковой — бесконечная череда вопросов и небольшое количество ответов. Новое обстоятельство, которое мне приходится принять во внимание, — это глубокое чувство вины, которое он должен испытывать в связи с Линден и, не исключено, другими любовными связями.

Что изменило Поджа интеллектуально? Похоже, он уже ни во что всерьез не верит. Чувство вины: попытка выстроить фасад показной гражданской безупречности (участие в Движении за ядерное разоружение, статус советника в муниципальных органах управления и т. п.), за которым прячется внутреннее ощущение моральной нечистоты и бесплодности.

Что произошло между ним и Эйлин? Мне трудно поверить,

что к теперешнему состоянию их привело только исчезновение взаимного сексуального притяжения, в сколь бы жестоких формах оно ни выражалось. Нет, кинжал должен был еще раз повернуться в ране.

А неверность Поджа? Форма компенсации за какое-то более глубокое поражение, отнюдь не только сексуальное. В таком случае его гипертрофированная привязанность к Кэти — не что иное, как попытка подавить чувство неверности, своего рода отдушина. Отдушиной становится Кэти.

Шейла назвала его параноиком. «Ну вот, мы его простили, а он считает нас мазохистами и думает, что может топтать нас ногами». Другими словами: ему кажется, будто своим прощением они наказывают его. Мне вспомнилось, что Подж неизменно принимал сторону Нэта, хотя в последний раз и съязвил:

— Нэт всегда делает то, что скажет Шейла.

Но на протяжении многих лет его отношение к Нэту суммировалось словами «О Нэте можно говорить без конца». Очевидно, его снедают укоры совести и гнетет сознание неискупленной вины.

И еще один симптом этого сознания вины. Совсем недавно, в прошлый уик-энд, он сказал мне:

— Что проку в анализе? Он говорит лишь о прошлом. И не проясняет будущее.

Только сопоставьте это с тем, как он обрушился на психиатра, к которому обратился в прошлом году. Психиатра, который заснул, «пока я изливал ему душу». Что ж, похоже, исповедь оказалась не такой уж искренней.

6—15 октября

Наше маленькое турне на запад. 6-го мы направились в Уинчестер и остановились в новом безлико-интернациональном отеле. Такие отели кажутся мне порочными — не столь в силу их заоблачных цен, сколь в силу пронизывающей их нереальности, оторванности от обычной жизни. Должно быть, то же ощущали чувствительные римляне, тянувшие лямку в варварской Британии; что до римлян бесчувственных, то они, наверное, очень напоминали тех молодых служащих, которыми до отказа набит отель сегодня: со вкусом смакующих блага цивилизации, недоступные аборигенам.

* * *

7-го движемся по древней римской и вьючной тропе к Кингз-Сомборн[805], раскинувшейся на меловых холмах. Густые поросли

тиса, в темно-зеленых ветвях то и дело проглядывают ягоды: очень красивые, розово-кораллового цвета, в каждой прячется косточка. Одну я попробовал: кисло-сладкая. В лесу много дроздов и зябликов, некоторые заливаются во все горло. Из зеленых кустов льется совсем июньская музыка, а чуть подальше безошибочные признаки осени — чибисы на пашне и холодный ветер.

Стоунхендж, из своего естественного предназначения превратившийся ныне в монументальный памятник старины. Как и в Греции, былую гармонию с окружением нарушают проволочные ограды, чайные заведения, пояснительные надписи и входная плата. *Невзначай* набрести на Стоунхендж в наши дни невозможно: он — в безвозвратном прошлом, его можно только *посетить*.

Старинный почтовый постоялый двор в Шафтсбери[806]. Поражает неподвластность маленького провинциального городка ветрам времени: улицы без фонарей, деревенский выговор — во всем этом есть что-то кровосмесительное. И в то же время в нем, таком маленьком, встречаем непривычно современную молодежь, которой — не будь локального выговора — место на улицах любой европейской страны. Стриженные под Иисуса шумливые парни в черных кожаных куртках, столь же непривлекательные девицы; рев тарахтящих мотоциклов и мотороллеров.

Не намного лучше и в самих отелях, где представители английского среднего класса шепчутся за обеденными столиками, чтобы чуть позже подняться и, усевшись в холле, тупо уставиться в телевизор. Снаружи орут неопрятные юнцы, внутри последние адепты ancien regime[807] холят и лелеют свой агонизирующий образ жизни и набившие оскомину джентльменские традиции. Ничему на протяжении наших жизненных сроков не пробить окно, разделяющее эти две Англии — Англию «джентри» и Англию «трудящихся классов».

Но сельская Англия отступать не спешит. На прилавках скобяных лавок — садовые ножницы и силки для кроликов, а чуть выедешь из города — потрясает обескураживающая пустота округи. Где можно, пытаемся ехать проселочными дорогами, а на них — на целые мили ни пешехода, ни встречной машины. Все дело, по-моему, в том, как организовано теперешнее сельское хозяйство. Никогда на фермах не было так мало работников, а те, что еще остаются, ведут арьергардные бои с наступающим городом. Но мы — последнее поколение, знающее эту старую Англию. Население 2064 года, с его тремя автомобилями на семью, автострадами и вертолетами, без остатка сметет ее с лица земли. И оно даже вообразить не сможет, какой одинокий и

мирный еще у нее вид в этом году.

Дорсет. Зеленые долины и соломенного цвета низины — не столь соломенного, сколь серовато-бледного оттенка увядшей травы, кажущейся такой в пасмурную погоду. В дождь почти серой, в солнечный день — чуть ли не золотой.

Ист-Комптон. Изумительные горгульи, окружающие своды церковной башни. Дорсет «славится» горгульями, как и памятниками эпохи неолита, могильниками, курганами.

Все эти дни в Дорчестере сгораю от зависти к Гарди. Такие корни, такая богатая почва и местная история — в нее погружаешься без остатка.

10 октября

До завтрака поднялся на холм за Абботсбери, глянул сверху на простирающийся за Чезил-Бэнк Портланд-Билл: серо-синий пейзаж в неярком насыщенном свете.

Памятник Гарди на Блэк-Даун[808]. Пройдя по полям около мили, наткнулись на каменный круг на Кингстон-Рассел[809]. Оттуда открывается перспектива до самого Дартмура. Отчетливо видны Хей и Риппон-Торс.

Проезжаем Бридпорт и движемся вглубь, до Биминстера, где мне хотелось пообщаться со Стивенсом Коксом — человеком, публиковавшим книжки о Гарди[810]. Сходить за ним предложила женщина, работавшая в антикварном магазинчике. Неряшливый бородатый человечек с маниакальным блеском в голубых глазах.

— Раньше я работал в полиции, — признался он. — Я не так уж люблю Гарди, но мне не терпится доискаться до истины.

И тут-то его понесло, он затараторил с такой быстротой, что скоро не под силу стало понять, кто скрывается под бесконечными «он» и «она». Но при всех невротических симптомах его монолога меня привлекло буйное желание старика разоблачить гения. Он подтвердил, что в жизни Гарди немало грязи, намекнул на кровосмесительную связь писателя с Трифеной, этим «погребенным ребенком»[811]. Первый брак Гарди сложился катастрофически «с самого начала до самого конца»; что до второго, то «Гарди был всего лишь порядочен»[812]. Складывается впечатление, что все уходит корнями в Трифену: таинственность и драма его книг, стихов и его жизни. Подлинная тайна заключается в том, что сделало Гарди великим писателем: отнюдь не факты биографии (они могут свидетельствовать лишь о его побуждениях) и не факты, говорящие о его гениальности.

Бродвиндзор, Уитчерч-Каноникорум, Лайм-Риджис. Лайм нам очень понравился, это, бесспорно, лучший курорт на южном побережье, с его обрывистыми берегами, старинными домами, идущим с моря светом, прекрасной бухтой: Кобб, утесы. Мы

остановились еще в одном отеле в стиле Ионеско, полном постаревших Фредериков Клеггов с их женами, которые перешептываются между собой, деликатно пощипывая невкусную еду, — словом, существуют на одну четвертую отпущенного им бытия.

За завтраком одна из таких «леди» изрекла:

— Разумеется, крайне затрудни-ительно следить за ходом речи популярного проповедника.

До чего же изысканно выражаются в подобных местах.

11 октября

Забрались в Чармут[813] — побродить по юрским отложениям в поисках окаменелостей. Нашли несколько аммонитов, но тут подошел человек с рюкзаком и продемонстрировал такой отличный их набор, да еще в сером камне, что мы устыдились наших мелких и убогих находок.

12 октября

День Гарди. Бокхэмптон[814]: угрюмый деревенский домишко под высокими березами на краю Падлтаун-Хит. Мрачное, убаюкивающее, бездонное, как чрево, место; Гарди так и не вышел из него. Потом прогулялись вдоль маленького, очень живописного ручейка до стинсфордской церкви, такой же безрадостной, темной, чревоподобной.

Минуем бухты Мортон и Галтон и через Уинфрит-Ньюбург добираемся до Лалуорта. Кружным путем доходим до Пеплерз-Пойнт и там перекусываем. Все лежащее на востоке — чуть ли не до Сваниджа, — принадлежит военному ведомству. Здесь никто не живет, никто не селится. Порочный выбор: оккупированная армией пустошь или убогость безобразных застроек. Пусть уж лучше остается как есть.

На машине доехали до унылой бухты в Киммеридже, где слои прекрасного золотистого песчаника окаймляют массу глинистых сланцев цвета сепии. На берегу аммониты и красивые улитки лимонного оттенка. У самой воды нырнул и взлетел вверх чистик. Пустынное место.

А потом — в Корф, где мы зашли в паб и впервые после Лондона поели со вкусом — главным образом потому, что пища была простой и свежей. За столом услышали звон колокола. Корф, похоже, ревностно блюдет традиции, обитая под сенью романтического замка — этаких живописных руин XVIII века (хотя в действительности они гораздо старше)[815], чего-то вроде ненавязчивой попытки англичан обзавестись собственной стражей на Рейне.

12 октября

Из Корфа мы проследовали в Уайк-Риджис мимо коттеджа

Лоуренса Аравийского[816], одиноко стоящего посреди танкового полигона. Странно: целый ряд английских писателей (Шоу, Лоуренс, Гарди), судя по всему, почитали за благо жить в этих безобразных домишках и унылых местах, для них это было чуть ли не потребностью.

Долго едем на север. Бакленд-Ньютон, Стеминстер-Ньютон, Джиллингем, Мер, Деверилз, Читтерн, Тилшид, Девайзес. В последнем — хороший старинный постоялый двор «Медведь», хотя спальни загажены.

Вечером заглянули на несколько минут на предвыборный митинг — встречу с кандидатом от либеральной партии. На мой (вне сомнения, слишком чуткий) слух, вся нынешняя предвыборная агитация — надувательство. В голосах выступающих — ни малейшего чувства, глотки извергают поток безжизненных штампов. Ни в ком не пробуждается огонек надежды, никто всерьез не волнуется, ибо у самих политиков нет и намека на страстность, на жизнь, на истинную убежденность в чем бы то ни было: им небезразлична только собственная карьера. Так и здесь: двое воспитанных людей поднялись с мест и отговорили свое, несколько воспитанных людей в зале похлопали в ладоши. Как марионетки марионеткам.

14 октября

Девайзес[817], базарный день. Отличный маленький городок, органично разместившийся вокруг рыночной площади. Люди приезжают на денек, здороваются с теми, кого не видели неделями, может быть, месяцами. Протяжный выговор, свежие продукты, сыр и масло местного производства.

Эйвберийский каменный круг. Посуда с орнаментом в виде ножек черных дроздов. Боуширские головы. Музей довольно трогательный: первые признаки пробуждения в людях человеческого начала. Горшок с первой попыткой орнамента: под ободком — череда неровно проделанных отверстий. Круг пересекают проезжие дороги, в центре его высятся дома, и все же он масштабнее и долговечнее их, пребывая в гораздо большей гармонии с местным пейзажем, с унылыми пологими холмами и открытым небом.

Спустя четыре часа мы опять оказались в Лондоне; но Лондон кажется на четыре столетия отстоящим от того, что нам довелось увидеть. На сей раз я испытал куда меньшую любовь к нему. Смутно маячившая перед нами цель, сопряженная с поездкой в Дорсет, заключалась в поиске возможного дома, и, вернувшись, я понял, что теперь в силах отважиться на то погружение в прошлое, какое представляет собой жизнь в провинции; в моем мозгу ярче засветился язычок того пламени, в какое подмывает

нырнуть — в нечто отдаленное, обращенное на юго-запад и защищенное с севера холмами, что-нибудь не более позднее, чем 1830-й, но и не более раннее, нежели 1700 год. И самое важное — нырнуть раз и навсегда, чтобы не было нужды переезжать куда-либо вплоть до гробовой доски. Возможно, именно поэтому я никак не могу прийти к окончательному решению. Я хочу, жажду идеального дома, почти сельского, большого парка, воды, моря, красивого вида из окна. Такой дом мне не по карману, хотя, думаю, придет день, когда я смогу себе его позволить; и мысль, что я мог бы купить его когда-нибудь в будущем, делает выбор дома в настоящий момент едва ли не невозможным.

Гарди «Пара синих глаз». Опознать в этой повести родной город Гарди нелегко, хотя по всем меркам это прекрасная работа в стиле ретро. Однако в ней его еще очень далекий от зрелости творческий дух воплощается в двух вещах: мощи воображения (событий, составляющих сюжет, и самой стремительности его развития — иными словами, читабельности) и ненароком роняемой живой фразе или сравнении — «Мир сегодня пахнет, как изнанка старой шляпы».

Ясно, разумеется, и то, что над Гарди довлели архетипы — образ Трифены.

15 октября

Проголосовал за лейбористов[818].

27 октября

Чтобы остаться женщиной в обществе, где господствуют мужчины, требуется, неимоверное мастерство.

Женщины судят по отношениям, мужчины — по вещам.

Вся художественная деятельность, все виды искусства, все парадигмы изначального акта созидания в природе (само собой, не акта первотворения, но акта непрерывного созидания). Все виды искусства суть времена непреложного инфинитива: poein — творить. Поэзия — наиболее гуманное из искусств, ибо это попытка уразуметь творческий процесс.

25 октября

Отношение между героем и диалогом. Здесь три ступени мастерства. Первая: не должно быть расхождения между авторской концепцией образа героя и характеризующим этого героя диалогом; вторая — наличие гармонии (мы привычно замечаем, что у такого-то автора «хороший слух»). Третья ступень: автор наделяет, по сути, нетипичным диалогом прочно укоренившихся в повествовании героев, и именно этот не присущий им диалог (разумеется, наряду с поступками) придает им то особое своеобразие и человеческое правдоподобие, какие ассоциируются с творчеством великих писателей. Думается, здесь

характерен пример Диккенса: он мастерски владеет второй ступенью, а все его незабываемые персонажи характеризуются третьей. Персонажи Джейн Остин почти без исключения относятся к третьей категории. Персонажи Троллопа (и Ч.П. Сноу) — ко второй. Теккерея — к первой: с моей точки зрения, его можно отнести к ряду мастеров романа отчасти благодаря этому единственному свойству — умению выстроить нетипичный для героя диалог и не потерять при этом доверие читателей. Из писателей XX века делать это умеют Во и Грин. Это очень существенный компонент писательского ремесла.

Искусство — величайший природный заповедник таинственного. Функция науки — уничтожение таинственного, искусства — его сохранение.

7 ноября

«Волхв». Первый полный вариант завершен.

27 ноября

Утонул в переделках.

Прием в издательстве «Кейп». Лучше прошлогоднего. На сей раз столкнулся с моей поклонницей Хестер Чапмен: лицо седовласой кокотки, подчеркнуто манерной по внешнему виду и речи, агрессивно наведенные брови, нарумяненные щеки, ярко-красная помада на губах, но добрый, умный, пронизанный юмором взгляд. Подозреваю, такое же впечатление вдали от льстивых придворных могла производить королева Елизавета Первая. Хестер очень доброжелательно отзывается о «Коллекционере».

— Знаете, дорогой мой, нам, порядком пожившим, кажется, — она явно имеет в виду свою давнюю подругу Розамунд Леман и себя, — что вы написали книгу в русле великой традиции английской литературы.

Она хочет познакомить нас с Энгусом Уилсоном.

— Такой мастерской диалог, он умел так искусно пародировать каждую из нас, но вот как только берется описывать отношения между вами и мной, между нею и мной, ничего-то у него не выходит. А знаете почему? — продолжает с фэрбенковским подмигиванием. — Потому что он гомосексуалист.

Последнее слово Хестер произносит на манер ирландско-французской фамилии: «Омм О'Сексуалист».

Тарн и Арнольд Уэскер, блюдя чистоту крови, неразлучны; Уэскер — миниатюрное птицеобразное существо с огромными черными глазищами; такие — вопрошающие и в то же время недобро-подозрительные — бывают порой у очень маленьких людей. Присаживаюсь с ним рядом и спрашиваю, как обстоят

дела в его «Центре-42»[819].

— Хочу полмиллиона, — отвечает он с обезьяньей ухмылкой.

На этом: всецело владеющей им идее и моем прохладном к ней отношении — наш разговор и заканчивается. Разумеется, просвещение пролетариата — задача из числа актуальных, но в свете общемирового голода она не кажется мне столь уж первостепенной. Мы невзлюбили друг друга с первого взгляда. Я — почувствовав в нем инстинктивную неприязнь ко всем нееврeям, он — априорно приписав мне грех антисемитизма.

И вот под конец вижу Эдну О'Брайен. По-человечески, несмотря на ее ирландскую самоиронию и мое английское преувеличенное самоощущение, мы испытываем притяжение друг к другу. Она говорит уклончиво, прибегая к туманным сравнениям, замирающим голосом.

Спрашиваю:

— Вы счастливы?

— Вы меня не знаете. У вас нет права спрашивать меня об этом. — И в то же время наклоняется ко мне, словно ей хочется выплакаться, и прячет замешательство в свой неподражаемый ирландский выговор: — Нет… нет… я несчастлива.

Я замечаю, что при таком писательском даровании она никак не может считать себя несчастной.

— О, со всеми-то этими медными тазами в окошке — знаете эту лавку на Уордор-стрит? — А потом: — Что у меня есть? Только мое умение сопереживать людям.

Будто эта способность — тяжкий крест. Образ, в который она со временем перевоплотилась, — наполовину образ богини-матери, защитницы слабых и убогих, наполовину — раненной жизнью бесприютной женщины; глубоко вживаясь в обе ипостаси, она водружает тернистые, колючие изгороди на пути каждого, кому вздумается доискаться до ее истинной сути. Прощаясь, она инстинктивно жмет мне руку: мать-защитница ободряет близкого ей по духу. Краем глаза вижу, как жена Тарна с подозрением поглядывает на наши незаметно сомкнувшиеся руки: какие, мол, еще каверзы замышляют эти ненормальные кельты, эти ополчившиеся на евреев иноверцы.

А чуть раньше мы стояли с Эдной рядом, вытянув руки. Руки одинаково белые, слабые, бессильные.

— Мы покалечены, — пробормотала она.

Хестер Чапмен об Энгусе Уилсоне: «Знаете, в его «Полудне с миссис Элиот» миссис Элиот — это я. Или почти что я. Ну а сам он понятно кем себя считает. Джордж Элиот, ни больше ни меньше. Высоко замахивается, не правда ли?»

28 ноября

Мы пошли навестить Эдну в ее «зоопарке» в Путни, в доме, полном невесть откуда приблудившихся детей и взрослых, шастающих, словно цыплята, приютившиеся под теплым крылом несушки. Она, сознавая и не сознавая этого, конечно же, стопроцентная ирландка: сельская, каких видишь на каждом шагу, отзывчивая и в то же время добродушно-меланхоличная по отношению к себе самой; на это накладывается ее писательская прозорливость, способность видеть реальное сквозь английский фасад и судить по велению сердца. Подобно многим романистам, воспитанным в католичестве, она любит прибегать к притчам, анекдотам, предпочитая изъясняться не принципами, а иносказаниями. Есть в ней и что-то от любимой церкви: все ее навещают, все ей знакомы, не очень любит куда-то вылезать, предпочитая сидеть дома и принимать гостей.

Ждали Стенли Манна, но он, как с ним не раз бывало, так и не появился. Зато возникла малютка Рита Ташингем, киноактриса, с мужем. На вид ей лет шестнадцать, личико худенькое с сияющими глазами: то самое «милое дитя», которому посчастливилось ответить на запрос аудитории на самую невзыскательную и неприхотливую героиню, какая олицетворяла бы жизнерадостную простоту и скромность низших слоев общества, — иными словами, образ, с которым зрителю можно слиться, говоря сегодняшним языком, «идентифицироваться». Разумеется, в ее резковатых манерах дочери бакалейщика, продавщицы есть и нечто программное: стремление свести специфику кино и театра к обыденности, заурядности — вещам, которых тому и другому, быть может, и недостает, но которые принципиально не способны обеспечить полноценное существование экрана и сцены. Она — антиактриса, антизвезда, и это слегка пугает. Отнюдь не применительно к ее личности, но как показатель ожесточенного наступления на искусство речи, воспитание, фантазию.

После того как они ушли, мы до четырех часов ночи просидели с Эдной на кухне, пили молоко и виски. У нее румяное некрасивое лицо, которое скорее под стать зрелой женщине, нежели молоденькой девушке, неумело наведенные коричневой тушью брови; произнося слово «молодежь», она глотает последнюю согласную; возмущается зверством Тома Мэшлера, пытается понять, отчего так угрюм ее муж Эрни, горько жалуется на бесчувственность своей матери («Она твердит и пишет: «Я молюсь о том, чтобы нас обеих похоронили в одной могиле». Можете поверить? Эта женщина просто невозможна»); вспоминает, как ее старшая сестра — у нее был роман, завершившийся абортом, — «стоя у окна», приобщала Эдну, тогда

еще маленькую девочку, к нелицеприятным истинам бытия: «Я бесплодна, у меня никогда не будет детей». Историю вроде этой, иллюстрирующую людскую жестокость, Эдна рассказывает с каким-то кротко порицающим неверием: так, скажем, могла бы размышлять над собственным мифом Федра.

14 декабря

Какой-то зловредный вирус, от него плывет и раскалывается голова, и я не могу писать, что лишь усиливает и без того снедающую меня депрессию. Валяюсь в постели, потею, воняю и читаю Жене.

15 декабря

Страшный сон. Темная, черная фигура мужчины, сорока или пятидесяти лет, — или целых две фигуры? Обнаруживаю себя в Бурани. Этот мужчина — в каком-то смысле смерть и в то же время — Жене, и он же — Кончис. Часть кошмара заключалась в том, что я знал: он воплощает собой бесконечные исправления и переделки в тексте «Волхва»; вот уже вторую ночь кряду грежу внутри книги. Плутаю в дебрях замкнутого в ней мира. Неотвязное ощущение конца, чувство, будто мой мозг одурманили, закутали в плотное одеяло. Во сне — никакой динамики, никакого повествовательного начала, одна лишь грузная фигура.

Все еще в постели. Не отпускающая головная боль парализует волю. Пережидаю, без толку валяюсь.

23 февраля 1965

Отдали печатать последнюю часть «Волхва». Конечно, до конца книги еще очень далеко, но появилось какое-то ощущение законченности: облегчение, а наряду с ним — все более растущее сомнение. Роман вызывает у меня то злость, то удовольствие. Но за эти последние месяцы я так сжился с ним, что способен судить о нем не лучше, нежели мать о своем младенце в момент, когда тот выныривает на свет меж ее ног. В целом процесс вынашивания меня удовлетворяет, полагаю, из меня вышла бы неплохая, не подверженная неврозу мать. Что ж, надеюсь, что дитя заживет собственной жизнью.

На прошлой неделе в городе возник Уилли с копией фильма. Отобедал с ним в «Кларидже». Он в восторге от фильма, прямо-таки влюблен в него. Наконец мне выпало на долю воочию увидеть Франковича — розоволицего, седовласого, с чуть удивленным, но абсолютно лишенным юмора блеском в глазах, по которому, как по сигнальному фонарю, опознаешь облеченных властью людей. В его глазах недвусмысленно прочитывалось: «Я буду с вами предельно корректен, но и вам лучше со мной не пререкаться».

Один из рассказов Уилли о Максе Офюльсе. «Как-то раз он снимал такой сложный план в движении, что, когда съемка подошла к концу, на площадке не смогли отыскать камеру».

Категорическое неприятие Уилли режиссеров «с выкрутасами»: тех, кто позволяет собственным оригинальным находкам или операторскому решению встать на пути от сюжета к зрителю, — в профессиональном плане самая подкупающая черта его индивидуальности, равно как и самая примечательная сторона фильма. Экранный «Коллекционер» оказался не лучше (и не намного хуже), чем я ожидал: окрашенный в гамму «Техниколора», вычищенный до блеска и начисто оторванный от каких бы то ни было точек соприкосновения с книгой; так что все, что бы я впоследствии ни говорил по его поводу, ложилось на мою совесть не слишком тяжким бременем. Его можно воспринимать не иначе, как голливудскую ленту, а в этом качестве он тянет на честно заработанную четверку. Эдна О'Брайен (она была на просмотре) в своем отзыве назвала всех киношников «бандитами, лишенными вкуса», а Элиз напрочь не приняла его. Конечно, если оценивать его достоинства по шкале, в которой наличествуют произведения Антониони, Бергмана или Трюффо, это всего лишь уродливый недоносок.

Но что для меня в тот вечер на самом деле оказалось сюрпризом, так это работа Сам Эггар. Далеко не сногсшибательная, но гораздо более удачная, чем я предполагал. Терри Стэмп говорит, ее реплики пришлось переозвучивать шесть раз. Что до него самого, то в каком-то смысле я ждал от него большего. Однако весь фильм снят так, чтобы максимально выигрышнее подать Сам — местами монтаж прямо-таки вопиет об этом.

Ненавижу, что меня затягивают обратно в кинематографический мир. Теперь мой мир — это «Волхв», на «Коллекционере» поставлен крест. Вчерашний день — прошедший день.

* * *

Писать — значит поставить себя в положение одинокого и отверженного.

Смерть Черчилля. Странный рецидив красно-бело-голубой Британии. Вся страна оплакивает собственное позорное прошлое. Интересно, переживем мы когда-нибудь травму 1941 года?

9 марта

Отослал рукопись «Волхва» Э. Шилу.

15 марта

Скверные, тревожные дни в ожидании первых отзывов о «Волхве»: видимое безветрие, а под ним набирают силу грозовые тучи. Позавчера вечером зашел Том Мэшлер и унес с собой машинописный экземпляр. Как обычно, распинался о себе, о том, какое прекрасное занятие издавать книги; странно только, что с понятным профессиональным энтузиазмом в его натуре соседствует труднообъяснимая агрессивность. Какая-то неведомая сила побуждает его унижать, умалять достоинство авторов, с которыми он вступает в контакт; Эдна О'Брайен на днях сказала буквально то же самое. Будто именно ты — тот автор, в ком он сомневается, в кого он не верит. Вместо того чтобы объединяться в единый фронт со своими подопечными, он обрекает их на одиночество.

Сегодня в обед заглянул Энтони Шил. Поскольку завтра он улетает в Штаты, рукопись читал кусками всю эту неделю.

— Роман великолепно написан и, я уверен, будет пользоваться успехом, вот только… — И тут последовал длинный список недостатков.

У меня нет ни малейших сомнений в его искренности, больше того, я уверен, что многие его замечания резонны, однако никому не приходит в голову, сколь до нелепого *на данной стадии работы* уязвим писатель. На данном этапе он — не что иное, как наголо остриженный агнец, и малейшее дуновение ветерка, даже теплого, заставляет его дрожать как осиновый лист. Кроме того, достаточно только погрузиться с головой в литературный мир, как все мотивы окружающих начинают вызывать подозрение. Том М. никогда не отзовется о книге благожелательно, ибо это может сказаться на деньгах, которые придется за нее выложить. Что до Э. Шила, то он пользуется прерогативой литагента покровительствовать, а значит, «направлять» и «критиковать», но ведь не суметь найти у другого дефект — в наши дни едва ли не то же, что расписаться в отсутствии собственного ума.

Тем временем мои нервы на пределе. Не могу сказать, что я утрачиваю свою глубинную веру в романиста Джона Фаулза, но я утрачиваю какую бы то ни было уверенность в писание романов как значимый род деятельности. Хочется окончательно завязать с этим видом писательства и сосредоточиться на стихах, эссе, в конце концов начать учиться живописи.

Дело отчасти в том, что меня влечет к себе и пугает — вернее, скорее пугает, нежели влечет — публичная сторона писательского существования. Позавчера мы пригласили на обед Эдну О'Б., а также Терри Стэмпа с его подружкой-манекенщицей Джин Шримптон; а вчера побывали на вечеринке у Эдны: она

собирает у себя чуть ли не весь цвет лондонского художественного мира. Кингсли Эмис и Элизабет Джейн Хоуард, Мордехай Ричлер и Уэскер, кинорежиссеры Клейтон, Доннер и Десмонд Дэвис. Эдна чувствует себя как рыба в воде в этом скоплении людей с громкими именами, в этом райке знаменитостей. И в каком-то смысле я ей завидую (хотя люблю ее ничуть не меньше других литераторов, с которыми знаком). В то же время у меня вызывает живейшее недоверие это стремление пребывать в огнях рампы, находиться в русле пересечения наиболее благоприятствующих современных течений: на стыке романа и кинематографа. В этом мире каждым движет отчаянное желание покончить со своей безвестностью; все, о чем здесь говорится с оттенком тщеславия, — собственные перспективы, или, с оттенком зависти, — перспективы других. Какой издатель приобрел права на книгу такого-то, кто экранизирует такую-то книгу, кто кого в этой экранизации сыграет. Все это отнюдь не сопутствует нормальному творческому процессу, не говоря уже о нормальном образе жизни.

Среди всей этой суеты одиноко, как каменная скала, высится Элиз, убеждающая меня не поддаваться панике, не терять веры в себя, набраться терпения. Ясное дело, всем им нужен еще один «Коллекционер» — нечто компактное и отвечающее нынешним представлениям о том, каким должен быть роман. Между тем быть писателем — значит писать, как полагаешь нужным ты сам, а не как полагают другие, исходя в конечном счете не из литературных (ибо рекомендации и замечания — даже самые здравые — зачастую бывают продиктованы высшими литературными критериями), но из экзистенциальных соображений. Долг заключается в свободе выбора, даже когда совершаешь ошибки, к которым приводит эта свобода.

Роберт Шоу «Солнечный доктор»[820]. Полагаю, как раз такие романы сейчас востребованы. Чистенькие, гладкие, аккуратные, рассчитанные на один сезон и к началу следующего могущие быть с успехом забытыми. Мне как постороннему, беспристрастному очевидцу доподлинно известно, что «Волхв» стоит десятка таких романов. Да только сознавать это — значит испытывать боль. А вовсе не удовольствие. Если бы только внешнему миру дано было постичь этот парадокс писательской жизни: пребывать в сознании, что твоя книга лучше иных других, ничуть не легче, нежели сознавать, что она хуже других.

Сейчас запоем читаю Джона Клэра[821]; помимо всего исторического сочувствия и сострадания, какое к нему испытываешь, меня снедает еще одна мысль, не в пример более пугающая: мысль, что все мы, пишущие, — в своем роде Джоны

Клэры: жертвы того, что пишем, и мира, который обходится с тем, что мы пишем, как ему вздумается. Первое делает нас изгоями, второй — тиранит и мучит.

20 марта

Странный сон: в нем меня извещают, что Эдна О'Брайен только что стала жертвой автокатастрофы в Иерусалиме. Слышу, как за спиной кто-то произносит: «Гвозди: из-за них-то она и погибла». Вижу плечо, испещренное гвоздями — длинными, с плоской головкой (такие я видел на фреске в часовне цеха ремесленников в соборе Ковентри). Похоже, этот сон — показатель вытесненной в подсознание зависти: тайного желания предать распятию. Хотя во сне я не испытывал ничего, кроме мертвящего шока и ужаса. С фрейдистской точки зрения фаллический смысл пронзающего плоть гвоздя очевиден; добавлю, что притягательность Эдны О'Брайен — отчетливо материнского свойства. Она — прирожденный гадкий утенок. Быть может, в основе нашего садистского наслаждения болью кроется подспудное чувство инцеста, ведь это чувство всегда выступает как метафора единственного тотально запретного акта.

Шримптон, чье холодное, грустноватое лицо смотрит со страниц всех женских журналов. Пресыщена ремеслом манекенщицы. О своем романе с Терри отзывается: «Ерунда, это чистая физиология». Под внешне безразличным фасадом прячется этакая простодушная пастушка de nos jours[822], смутно вызывающая в памяти образ Марии Антуанетты. Видя подобную, изначально обреченную на поражение, попытку вернуться на лоно природы (при том, что природа не допускает таких возвращений — уж наверняка возвращений в подобном контексте), испытываешь невольную жалость. Ведь, по сути, девушку распинает на кресте ее собственная привлекательность.

Терри без тени юмора заявил, что каждый из парней ансамбля «Роллинг стоунз» укладывает в постель по девять девчонок на день. А она в ответ только рассмеялась: что, дескать, взять с не-оперившегося юнца, воспитанного лондонским дном.

28 марта

Оба болеем. У Элиз бронхит, а в мой организм вселился какой-то неопознанный вирус, от которого чувствую слабость весь день — а день замечательный, теплый, первый по-настоящему весенний. Оба грызем друг с другом, хандрим, куксимся. Не намерен застревать в этом доме еще на одно лето. Вниз по улице затеяли строительство, со всех сторон прут люди. И меня бесит, что окна в доме выходят не на ту сторону.

Получил телеграмму от Тома Мэшлера (отправленную 24 марта): «Захвачен, заинтригован и очень, очень доволен

«Волхвом». Поздравляю».

29 марта

Из Бостона позвонил Нед Б. Роман ему нравится: никогда не читал ничего подобного. Но, кажется, озадачен символикой сцен после «Суда». «Кто или что такое эта Лилия де Сейтас?»

7 мая

«Волхва» читают уже по обе стороны Атлантики, и общая реакция благоприятна. «Захлебывающиеся» отзывы американцев А здесь пока еще немало сомневающихся. Я вечно приуменьшаю неспособность людей к восприятию символических смыслов Никому, похоже, невдомек, для чего введены в роман две девушки. Читателей завораживает Лилия, Алисон кажется непрошеной, и концовка не убеждает. Более или менее примирился с тем что в текст придется внести существенные изменения, особенно в третью часть. Никому в Англии не по вкусу сцена на Хайгейтском кладбище: слишком мелодраматично, говорят. Само собой но ведь такой она и была задумана — по контрасту с финальный диалогом. Однако в таком романе, как «Волхв», читателя без остатка порабощает чувство… а сам я уже перестаю себя понимать Сознаю лишь, что книга выжала из меня все соки, и молю Господа, чтобы она поскорее оказалась в типографии. И оставила меня в покое.

19 мая

Канн. Компания «Коламбиа» выслала за нами в аэропорт машину. Сам и Том Стерн уже прибыли: Сам беременна и выгляди! чуть раскованнее, чем обычно, а ее «grand athlete de mari»[823], Kat назвала его одна каннская газета, бестолково суетится вокруг всячески пытаясь угодить ей. Мужья кинозвезд, как на подбор, — полулакеи-полуальфонсы. Причина, должно быть, в чем-то на подобие духовной импотенции; не отсюда ли их легко узнаваемая манера общаться, прозрачно намекая на собственную роль г делах («Я работаю над проектом совместно с таким-то…» — из чего следует лишь: «Вчера у нас состоялся телефонный разговор ж полминуты: он позвонил, жену не застал и извинился за беспокойство»); склочность по отношению к обслуживающему персоналу (привычка играть роль дворецкого), сменяющаяся экзальтированным подобострастием? По общему мнению, Стерн настолько невоспитан, что их союз продлится недолго. Я по-прежнему сочувствую Сам, как и большинство других, кто его недолюбливает.

Таксист в аэропорту. Идеальное воплощение данного человеческого типа. «Разумеется, я знаю все здешние развороты». («Разворотом», насколько можно судить, тут именуется «кратчайший путь».) «Помните, мадам, когда мы отъехали от

вашего дома…» Слова «сэр» и «мадам» произносит подчеркнуто значительно, словно желая навсегда пригвоздить вас к занимаемому месту в социальной иерархии. В конце концов они начинают внушать страх, эти образцовые слуги.

В Ницце Сам встречает толпа репортеров; затерявшись позади, мысленно готовимся к тому, чтобы вновь оказаться в мире, где звезда — все, а творец — ничто. Но, как бы то ни было, этому творцу предоставляют прекрасный номер в пентхаусе отеля «Мажестик» с видом на набережную Круазетт, порт и Эстерель. Звезд и столпов киноиндустрии по большей части расселяют в «Карлтоне», но между «Мажестиком», «Мартинесом» и «Карлтоном» ни на минуту не прерывается va-et-vient[824]. Вид из нашего номера: пальмы, флаги, рекламные щиты, отливающее алмазно-голубым блеском море, яхты; все дрожит, поблескивает, колышется в солнечных лучах. Канн — как на полотнах Дюфи.

С моря и песчаного пляжа набережную Круазетт обволакивает ambre solaire[825]. Старлетки принимают картинные позы, фотографы приникают к глазкам камер, взыскуя экстравагантных ракурсов, а прохожие без тени замешательства застывают на тротуаре и глазеют. Кое-кто из стариков, явные вуайеристы, даже вооружился биноклем.

В день прибытия мы оказываемся предоставлены самим себе, и нас исподволь снедает досада. Публичность — недуг заразительный, а симптом постепенного выздоровления от него — смутное беспокойство. Спускаемся вниз, к старому порту, к Франции. Ибо набережная Круазетт — понятие в гораздо большей степени калифорнийское, нежели французское. Но стоит выйти за ее пределы, и даже режущиеся в петанк матросы в порту кажутся сплошной массовкой. Киношная невсамделишность лезет из всех щелей.

20 мая

«Карлтон». Толкучка миллионеров. Весь киномир фланирует между terrace[826] и plage[827]. «Проекты» кочуют со стола на стол. Все в постоянном напряжении, и контраст между морем и лихорадочной потребностью делать бизнес чем-то напоминает кисло-сладкую еврейскую кухню.

Вот поднимается с места поздороваться с нами Франкович. За ним супруги Кон, а затем и Уилли, тугой на ухо и хитрющий, как всегда. Все они — с непостижимым простодушием — полагают, что у фильма отличные шансы на первую премию. На данный момент он — любимое дитя студии «Коламбиа». Не то чтобы он стал хоть на йоту лучше, нежели был изначально, но по голливудским меркам незауряден. Всплывают имена Сюзанны и Джада. Оказывается, несмотря ни на что, они тоже прилетели. Мы

сидим в пляжном ресторанчике, где столуется пресса, и вот они появляются: Сюзанна, колючая как обычно, и Джад, нервный и взъерошенный.

Напяливаю белый смокинг, и мы направляемся на показ «Коллекционера». Вспышки блицев, известность, шум… На сей раз он понравился мне больше, но в художественном плане острые углы фабулы смягчены. На гала-ужине после показа краем уха слышу, как Уилли капает на мозги директору фестиваля по рекламе Креренну:

— Il faut expliquer aux jures que…[828].

И так далее и тому подобное. Какой смысл вкладывали создатели в фильм, почему не удалась пресс-конференция… Креренн согласно кивает, низенький человечек с розовыми щечками и безжалостными темно-серыми, как кожа акулы, глазами.

Гала-ужин. Сюзанна вскакивает и выходит из зала. Джад устремляется за ней. Мы остаемся — наедине с шампанским и клубникой.

На показе Уилли представил меня бегуме[829] Ага-Хан:

— L'auteur[830].

Она окинула меня взглядом, помедлила в поисках слова, затем вымолвила:

— А-а.

21 мая

Робер Оссейн выражает желание этой же зимой поставить в Париже и сыграть главную роль в «Коллекционере». Худой, коварного вида молодой человек с живыми черными глазами. Да, отвечаю. Всем кажется, что это недурная идея. Говорят, Оссейн обладает незаурядным влиянием, пробивной силой[831]. Но мне он импонирует потому, что я чувствую в нем приземленность Клегга.

Николас Рэй. Не сделаю ли я для него разработку «Дьявола и докторов» — произведения Дилана Томаса об анатоме Ноксе, Берке и Хаэре? Рэй — высокий, седовласый, на редкость застенчивый и нелюдимый. После первых «хороших фильмов» лет десять подряд снимает плохие. Демонстрируя мне ничего не говорящие поспешные рисунки, сбивчиво излагает свою идею совмещения трех планов в одном кадре — дабы, по его мысли, одновременно показать на экране три стадии развития сюжета. Однако во всем, что имеет непосредственное отношение к Ноксу, он уклончив, чересчур уклончив. Начинаю смутно улавливать, к чему он стремится: создать нечто экспрессионистское, историческое, в манере Бергмана. Но тут он на полуслове обрывает фразу и умолкает. Встает, садится, ложится на кровать,

не вынимая изо рта недокуренную сигарету «Голуаз». Под полуопущенными веками задумчиво поблескивают голубые глаза. В комнате тяжело повисает продолжительное молчание.

— С ним трудно работать, — комментирует Джад.

До двух ночи перечитываю синопсис Нокса: местами хороший, местами никудышный и так далее. Он настолько эпатажен, что решиться ни на что не могу. Наутро еще раз встречаюсь с Рэем. Еще меньше определенности, еще более гнетущее молчание. Во вторник он позвонит мне из Мадрида.

22 мая

В Сен-Тропе с Джадом и Сюзанной. Дни в их обществе летят так быстро, так бездарно, что все удовольствие пропадает, уступая место несварению желудка — в буквальном и фигуральном смысле слова. Идиллический завтрак в Сент-Огюльфе[832], где, будь моя воля, я остался бы на весь день. Но С. и Дж. только порхают из городка в городок: не успев насладиться выбором блюд в одном ресторане, спешат в другой, из одного квартала дорогих магазинов перебегают в следующий. И при этом даже удовольствия не испытывают, разве что на минутку. Особенно Джад: как типичный американский еврей, он только тем и занят, что сетует на манию бессмысленных покупок.

Таити-пляж[833]. Даже за лежак надо заплатить 7 шиллингов 6 пенсов. Стивену выдают три или четыре франка (шесть или семь шиллингов) на конфеты. Через минуту он возвращается.

— Ну что, купил, Стивен?

— Не-е. Я уронил франки в песок.

— На каком месте?

— Не знаю.

Он пожимает плечами, они пожимают плечами.

— Из песка в песок, — резюмирует Джад.

— Тратить деньги нужно, — наставительно заявляет Сюзанна. — Нужно уметь сделать заказ и большую часть оставить на блюде.

Великолепное угощение в Сен-Тропе: bouillabaisse[834]. Элиз выдавливает сок из краба и заливает шафранно-желтой жидкостью весь соседний столик. Ч.П. Сноу с женой. Наглядное воплощение английского литературного истеблишмента. Этот ресторан переполнен — в основном людьми со стоящих вдоль берега роскошных яхт. С. и Дж. переговариваются между собой громко, на повышенных тонах, по-американски, что мне импонирует. Э. и я стараемся тихо отмалчиваться. В результате тонус их обмена колкостями только повышается.

В Сен-Тропе множество красивых девушек и женщин, а также мужчин. Однако все это побережье ныне превратилось в

раззолоченную сточную канаву. Из Cote d'Azur в Egout d'Or[835].

На просмотре. Урсула Андресс. Платье Афродиты с разрезом до самой талии. Ресницы так зачернены, будто сине-зеленые глаза долго выдерживали в плавильном тигле и к ним намертво прилипли частицы сажи. Любезно протянула руку Сам.

— Я просто в восхищении.

Будто льдинки звякнули о стенку стакана.

Майк Кейн. Паренек из лондонских низов, успешно сделавший карьеру, друг Терри. Играть не умеет, но самого себя воспринимает очень всерьез: любит девочек, обожает dolce vita[836], заботится о престиже. Просто отвратительны эти новые суперкрутые дофины рампы.

Подлинная абсурдность Каннского фестиваля — в том, что он зиждется на столь непрочном фундаменте: даже лучшие из фильмов проживают от силы два-три года. К этому же времени на будущий год девять из десяти будут наверняка забыты. По внутренней сути фестиваль столь же мимолетен, как мыльный пузырь, по внешнему облику — столь же самоупоен, как Версаль.

Мир, над которым господствуют видимости. Имиджи. Преходящие материи.

Потребность тратить деньги — не что иное, как фрейдистский страх перед запором. Непрекращающаяся диарея, которую принято считать нормальным состоянием.

Больше всего этот киномир напоминает Версаль. Пусть в нем нет Короля-Солнца, зато налицо все остальное. Напряженное, кровосмесительное копание в собственных внутренностях, ноль внимания ко всему остальному. Бесконечные интриги. Порочное разбрасывание денег на пустые причуды. Этому миру нужны не столь собственные романисты, сколь свои Сен-Симоны. Первому из них повезло: на его глазах все сосредоточилось в одном месте[837]. А не в десятке городов и фестивалей.

16 июня

«Волхв». Наконец отослали исправленный вариант издателю. Думаю, новая концовка лучше; определенно более созвучна фабуле. В первом варианте я оказался в западне, расставленной Лилией. Дал себя соблазнить полету фантазии.

13 июня

Первые рецензии на «Аристос». В «Обсервере» — язвительная.

Фрэнсис Хоуп. Pensées manquées[838] («Обсервер»).

1. Джон Фаулз является автором в высшей степени успешного романа «Коллекционер»; ныне он выпустил книгу pensées.

2. Пронумеровав их, как Витгенштейн свой «Трактат», разбив на тематические разделы — политика, наука, образование, человечество, искусство, — и снабдив ее подзаголовком

«Автопортрет в мыслях».

3. По тону — претенциозную, по мироощущению — якобы экзистенциалистски-социалистически-гуманистическую, по форме — зачастую оставляющую желать лучшего.

4. Некоторые из вошедших в нее мыслей вполне разумны, плод любого развитого ума. Одна или две даже стоят того, чтобы их запомнили: о новых интеллектуалах («визуалах», как он их именует), о распространении знаний, обнаруживающем тенденцию к выравниванию; или о поэзии, или о восприятии искусства. Всего этого собранного вместе, возможно, хватит страниц на десять. Что до прочих, то они большей частью самоочевидны и не слишком искусно сформулированы. А некоторые — не более чем сотрясения воздуха: «1.117. У всех предметов есть несуществующая сторона. Наша вера в то, что предмет существует, удостоверяется наличием у него несуществующей стороны. 2.262. Чем более абсолютной представляется смерть, тем более подлинной становится жизнь».

5. Иные из них могли даже попасть сюда из другой, более личной записной книжки. В середине дискуссии о проблемах морали встречаем: «36. Продлите время эякуляции». Мало кому придет в голову возразить против подобной рекомендации; но многим покажется сомнительной ее уместность в данном контексте.

6. Гераклит: в книге признается неоплатный долг перед ним. Однако фрагменты, завораживающие читателя, поскольку они — все, что сохранило от классического мыслителя время, предстают утомительно самодовлеющими в устах современного автора. «Trivia»[839] Логана Пирсолла Смита в конечном счете не амбициознее их названия; а бессвязность формы «Неспокойной могилы» Сирила Коннолли в какой-то мере оправдывается ее предметом. Кто же такой м-р Фаулз, чтобы не видеть для себя необходимости думать о композиции, построении, порядке своего сочинения? И с какой стати мы обязаны внимать его беспорядочным мыслям о чем угодно — от фашизма до супружеской измены?

7. Алмаз, пусть не вставленный в оправу, все-таки должен быть алмазом.

8. Героиня «Коллекционера», увиденная безумным взором похитившего ее человека, действительно казалась необыкновенным созданием. Когда же у нас появилась возможность заглянуть в ее дневник, она обернулась всего-навсего полуобразованной девчонкой из Хэмпстеда. Боюсь, ей «Аристос» понравился бы. Мне же понравился «Коллекционер» (особенно его первая часть), а эта книга вызвала сожаление.

9. Можно быть хорошим романистом и неглубоким мыслителем.

10. Едва ли разумно сравнивать эти «pensées» с паскалевскими. Сравнивать эту книгу с книгой Паскаля — заведомая несправедливость.

Ни в одной из этих рецензий не анализируется книга; оценка выносится манере, в которой она написана, и ее автору. Протестовать не имеет смысла; помимо всего прочего, так можно прийти к тому, чтобы возненавидеть саму книгу.

Ясно, что форма не годится. То же самое можно было бы высказать в эссе и снискать гораздо более одобрительные отзывы. Не стоило давать издательству «Кейп» разрешение печатать стереотипное с американским издание, не стоило публиковать книгу так быстро — и так далее. Однако она определила мою позицию в том, что Робб-Грийе называет vie politique[840] — иными словами, в той сфере, какую писатель не может позволить себе ввести в свое творчество.

Плохие рецензии отторгают от мира. В то утро, когда вышел «Обсервер» с рецензией, ко мне заглянул Подж: прочел и ничего не сказал. И даже его появление показало, как может шокировать это завистливое стремление отыграться на чужом провале. Он желает провала всем (эта потребность присуща английским «литераторам» — людям, слишком умудренным опытом и чувствительным, чтобы не сознавать, что сами они потерпели поражение, что их души опустошены, а надежды разбиты) и более всего — мне, одному из самых старых его друзей. То же относится к Энтони Шилу и Тому Мэшлеру: когда я не на коне, они испытывают удовольствие, пусть даже их собственное благосостояние в определенной степени зависит от моих успехов.

У меня тоже есть свои вывихи. После беспредельного захваливания «Коллекционера», после тошнотворного возвеличивания, какой он претерпел в киномире, пройти через такое по-своему освежающе. Писатели даже больше фруктовых деревьев нуждаются в подрезке. Правда, в литературном мире Англии слишком много такого, что по контрасту с научной подрезкой можно назвать грубой обработкой дерева топором, язвить стало настолько модно, что постепенно складывается мягко-добрая противоположность ему — противоположность, единственной целью которой является подпитка того самого злобного брюзжания, что характеризует первую тенденцию. Как бывает всегда, когда утрачивает импульс возникающая из пепла войны воля к добру, все наше время растрачивается на банальность и пустопорожность. Весь вопрос в том, чтобы привлечь покупателей, и справедливость какого бы то ни было

толка, не говоря уж о беспристрастном рецензировании, в еженедельных журналах почитается экономически нецелесообразной.

Ко всему прочему все это наваливается в самое неподходящее время. Теперь, когда «Волхв» окончен, я, как обычно, чувствую себя совершенно опустошенным, родовые схватки ощущаешь еще долго после того, как ребенок окажется завернут в пеленки. Ничего нового не зачато. А то, что было зачато раньше, умерщвлено.

7 июля

Не знаю, как люди могут пребывать в состоянии désoeuvré[841]. Я не могу ни к чему себя приспособить, ничем заняться, ни на чем сосредоточиться. Где-то в дальнем уголке ума шевелится мысль о попытке написать пьесу о Робин Гуде — «Вне закона». Но позавчера вечером мы попали на «Короля Иоанна» Джона Ардена (он идет под названием «Леворукая воля»). Исторические пьесы таят в себе непреодолимые языковые трудности. Когда их язык слишком современен, он режет слух, когда слишком архаичен — навевает скуку. Миллеру, впрочем, в «Суровом испытании» удалось пройти по канату; так что это возможно.

Я мог бы завтра же приняться за «Л.»[842]. Но роман — все равно что гора. Чтобы ее штурмовать, нужны подготовка, время и отвага — потребность достичь вершины.

26 июля — 3 августа

Ищем дом на западе.

Проезжаем Бат. Запах сырого ячменя, прелой пшеницы. Едкий, но не противный.

Янтарно-серые стены Бата. Покупаем несколько антикварных вещиц, что приводит меня в хорошее расположение духа. Сознаю, что ничего хорошего в этом нет, но так получается.

Движемся в Мендипс. Заросли дайерз-гринвида[843], несколько ненароком залетевших мраморных белых[844]. А затем направляемся в Уэльс — чуть ли не итальянский город, живущий туризмом. Припарковаться негде, повсюду толпы любопытствующих, а самих достопримечательностей будто и нет.

Пару дней колеблемся, облюбовав в Стейуэлле, в двух милях к северу от Седжмура[845], дом под названием «Мыза аббата». Сад приятный, дом старый, хотя и реконструированный, его первоначальный каркас погребен под грузом современных удобств. Местность между Мендипсом и Куантоксом очень живописна: плоские луга, серебристые, поросшие вереском и болотной валерианой, коровы, в отдалении — серые и голубые холмы; в это дождливое лето луга залиты водой — чуть по-

голландски, чуть по-французски.

В Уэльсе мычит скот.

Ферма в дальнем Куантоксе, в Спакстоне. Хозяйка-неврастеничка не позволяет нам осмотреть ее изнутри.

— Сколько раз говорить, что дом открыт для осмотра только по субботам!

Вокруг томительная аура безысходности. Садясь в машину, слышим, как она усталым голосом одергивает ребенка:

— Эдвина! Эдвина! Не делай этого!

Ласкающая собаку девочка грустно застывает в окне. Позже узнаем, что муж хозяйки — один из двоих моряков, спасшихся в момент крушения «Гуда» в 1942 году[846]; у него есть деньги в Аргентине, но «он не может их получить». Эдвина, должно быть, наречена в честь леди Маунтбэттен. Физически ощутимы витающие над фермой нищета и социальные претензии, ими насквозь проникнуто прогорклое, как сопревшее сено, существование ее обитателей. В стоящем по соседству пабе заводим разговор с его владельцем, по виду тоже бывшим военным.

— У этой женщины с головой не все в порядке, — откровенничает он по поводу матери Эдвины. — Желая осмотреть ферму изнутри, люди у нас тут по неделе торчат.

Обедаем в Скуирреле, в Веллингтоне. Обслуживает нас миниатюрная официанточка лет пятнадцати или около того, близорукая, светловолосая, с сомерсетским выговором и нездешней (действительно нездешней, так она ангельски невинна) улыбкой. Улыбкой очень неспешной и широкой, как полумесяц. Девушка до того робка и застенчива, что от нее как официантки ни малейшего толку. Но она — придорожное видение, из тех, какие побуждали рыцарей соскакивать с лошади и преклонять колена. Снимаемся с места и снова рассматриваем дома между Тивертоном и Барнстейплом. Но все они находятся слишком далеко, навевают слишком грустные мысли, слишком затеряны в холмах, эти прибежища пасторов викторианства, до сих пор отдающие капустным отваром и старинными деревенскими празднествами.

В Барнстейпле оказываемся в самой гуще массового десанта с промышленного севера в Корнуолл и Девон. Свободных комнат нет нигде. Дождь хлещет как из ведра. Вывески «Ночлег и завтрак» обернуты мешковиной. В конце концов нам удается приземлиться в Торрингтоне, в жуткой гостинице с ярко-красными коврами и стеклом с выгравированными на нем рыбами.

На следующее утро навещаем еще одно меланхолическое

ректорское жилище, потом во Фремингтоне натыкаемся на совсем забавное местечко — прелестный полуразвалившийся георгианский дом, купленный дилетантом — мастером на все руки.

Владелец предпочитает называть себя бухгалтером, но мы подозреваем, что он самый обычный клерк. Он настаивает на том, чтобы продемонстрировать нам все, что есть в доме: каждый чулан, каждое окошко, каждый уголок, каждую балку, — не переставая монотонно и безостановочно говорить. Дом полон начатых и брошенных на полпути переделок. «Из этой комнаты я хотел сделать отдельную спальню», «Тут я намеревался оборудовать ванную», «Здесь я недоклеил обои» и тому подобное. Его чувство цвета и выбор обоев на редкость плохи, как и его жаргон — жаргон бывалого военного летчика. Рассказывая о любой затеянной им «реконструкции», он неизменно приговаривает:

— И тут ништяк получился.

Спрашиваю, часто ли над домом пролетают реактивные самолеты.

— Да я их не замечаю, — отвечает он. — Они ведь только разворачиваются и улетают. И только в будни.

Но самое странное: в доме видимо-невидимо черных детишек. Они с женой присматривают за детьми студентов-африканцев. В кухне полно упитанных черных карапузов с красивыми темными глазами. Особенно выразительны глаза мальчиков: те неспешно, будто вожди племени, оглядывают вас, уподобляясь, несмотря на нежный возраст, благородным животным. Элиз и я в мгновение ока становимся для них «новыми дядей и тетей».

Затем осматриваем коттедж, путь к которому — несколько миль лесом. Нет, заключаем, это слишком далеко. И снова, пересекая Тивертон, едем на юг, а оттуда — через Блэкдаунские холмы назад в Илминстер; а на следующее утро появляемся в Йовиле, где перед нами выкладывают очередной перечень выставляемых на продажу объектов недвижимости. Такого рода инспекционные поездки — один из приятнейших способов проведения отпуска. К вящему удивлению, обнаруживаем, что в этом плане мы не уникальны. Без особых усилий то и дело наталкиваемся на людей, одержимых аналогичными заботами; поговорив, оказываемся в курсе их проблем; а что может быть лучше, нежели с разрешения хозяев не спеша бродить по чужому дому, не чувствуя необходимости демонстрировать подчеркнутую обходительность, как в ходе заранее назначенного визита. Напротив, в таких случаях рассматривать все без стеснения и

делать заметки считается признаком хорошего тона: ведь это знак проявления интереса.

Итак, мы по очереди навещаем не отвечающий нашим ожиданиям дом с вполне подходящим садом, затем неплохой участок со слишком тесным домом, потом пришедший в полное запустение елизаветинский помещичий особняк, переоборудованный по викторианским канонам и, похоже, так и не выбравшийся из XIX столетия, стоящий в ложбине на пару с церквушкой да семейством линяющих канюков, свивших гнездо по соседству Потом ветхий загородный дом в окрестностях Мембери. Некогда интересная женщина с напомаженным лицом, очень выразительного типа, чем-то напоминающая Вивьен Ли; ее муж, в прошлом распорядитель охоты на лис, похоже, отставной генерал, шумный и приветливый, в вельветовых брюках, одетый точь-в-точь как сельский работяга — искусство, в наши дни отличающее уже немногих из деревенских старожилов.

— Есть собака, нужна собака? — громогласно вопрошает он.

Бормочем что-то невразумительное в ответ.

— Дальше по дороге живет старикан Джо, мой бывший загонщик. Знает все о собаках.

Эта информация, судя по всему, фирменный знак данного домовладельца; он сообщает ее с той же доверительностью, с какой другие расхваливают центральное отопление или канализационную систему. Оба, муж и жена, выйдя на дорогу, машут нам на прощание, очевидно, опечаленные нашим отъездом не меньше свихнувшегося клерка во Фремингтоне.

К этому времени мы уже утратили надежду отыскать дом, который действительно захотелось бы купить, но вопреки ожиданиям все же отважились проехать по длинной немощеной дороге к Андерхилл-фарм в окрестностях Лайм-Риджиса. Некрасивый дом с кучей пристроенных сарайчиков и курятников, однако прекрасно размещенный на скалах, в трехстах ярдах от моря, с собственной полоской земли, тянущейся до обрыва и самой воды. Старый, возвышающийся над квадратным, огороженным высокой стеной садом. Смоковница, грядки клубники, за ними море. У меня возникает странное ощущение, о котором я писал в «Волхве»: будто встречаюсь с самим собой, идущим в другом направлении во времени. Вот оно, то самое место: если упустить эту возможность, что-то окажется навсегда утрачено. Угодья нам показывает владелец — странный человек в шортах и черных ботинках, похожий на одного из немецких военнопленных, шаставших по английским деревням после того, как было объявлено о их репатриации. Он и представить себе не может, что существует иная жизнь, чем та, которой жили здесь

они с женой: продавая чай, сдавая внаем комнаты, разводя кур. Чувствуется, что он пробыл тут слишком долго, утратил всякое чувство перспективы. От его присутствия дом кажется непрезентабельным, и это особенно раздражает Элиз. Однако в доме еще жив дух неотразимо влекущего прошлого, дух, который я ощущаю. Полы, вымощенные аммонитом. И привидение.

— Ее зовут Серой леди, мы ее никогда не видели. Вообще-то мы никому этого не говорим, но на самом деле это была старая мисс Баудич.

Жена — она всегда при деле, чем-то занята, в этом доме она верховодит. А муж (он точно странный) на кухне внезапно выпаливает:

— Сюда любила зайти выпить стаканчик Джейн Остин.

Итак, что бы ни было тому причиной: вымощенный аммонитом пол или Джейн Остин, заглядывавшая пропустить стаканчик, смоковница с крупными зелеными плодами или снегирь, свист которого заслышался мне в глубине сада, шум волн у прибрежных рифов или тотальное отсутствие других домов на двести ярдов вокруг, ведущая сюда отдельная дорога или шесть миль нетронутой цивилизацией природы к западу, снующие повсюду барсуки или набредающие в зимнюю пору олени, — я сознаю, что встретил свою пару.

Вернувшись в Йовиль, связываемся с будущим свекром Джейн Ричардс м-ром Халбердом (он возглавляет риелтерское агентство в Лайме), но выясняется, что он охрип, а его помощник по продажам не говорит нам ни да, ни нет[847].

На следующее утро в Лайме другой агент по недвижимости заявляет, что дорога, того и гляди, просядет, цена за дом завышена и прочее в таком духе. Элиз колеблется, она то за, то против, а я чувствую уверенность — такую, какая, скажу, положа руку на сердце, вселяется, только когда ты влюблен. В каком-то смысле мне даже нравится, что дом в чем-то сродни Цирцее, опасной соблазнительнице: что он — отнюдь не фигурально — воздвигнут на зыбкой почве, в самой рискованной на территории Англии зоне оползней. Последнее рождает во мне непривычное ощущение свободы, здоровья, иммунитета к традиционному английскому недугу наших дней: заботе о безопасности, о надежности капиталовложений, об «удачном приобретении» и всем прочем.

Элиз ночью всхлипывает. Это форменное безумие, она не может с ним смириться. Но я чувствую, как во мне крепнет, обретая твердость стального стержня, мое корнуоллское упрямство. Утром мы возобновляем поиски и случайно натыкаемся на мастерскую гончара Дэвида Илза в Мастертоне.

Его пожилые родители, родом из низов, разговорившись, проводят нас по дому, до небес превозносят деревенское житье, и мы чувствуем, как в них пульсирует дух этого уголка Англии: более светлый, более размеренный, более сердечный. Такое ощущение, будто выставил под дождь усталые комнатные цветы и видишь, как они дают новые ростки.

Проходим вдоль берега под утесами Андерхилла. Слои твердого камня проступают сквозь серые отложения юрского периода: затаившаяся в них влага заставляет их медленно сползать к морю. Нижняя часть полей, смыкающихся с самым обрывом, — сплошные заросли высокого папоротника, вытянувшегося на восемь футов или еще выше вверх. А чуть дальше, над поросшей желтоватыми травами глинистой мурeной, таится подход к дому.

В понедельник едем в Эксминстер и отыскиваем землемера. Делаю второе предложение. В воскресенье он отказался уступить дом за 11 тысяч фунтов, говорит что согласен скинуть только до 11 с половиной тысяч.

— Ладно, подождем, пока вы передумаете.

И будут ждать, по всему заметно. Нельзя сказать, что они жадничают; просто эти люди не в силах мыслить иначе, нежели в категориях прибыли и убытка, и, кроме того, боятся проявить инициативу. Я знаю, их можно переупрямить.

Так оно и есть. Землемерная съемка может оказаться такой плохой, что продолжать оформление будет невозможно. Вплотную столкнувшись с внешним миром, они вполне способны вздрогнуть и отшатнуться. Струтт все время твердит что-то о «старом псе».

— Нам не хотелось бы съезжать, пока не сдох старый пес.

Словом, ум у них такой же окаменевший, как аммониты в полу. Так что, хотя я и выдал задаток, до конца еще далеко. А хочется.

5 августа

Телеграмма из Бостона. Гильдия литераторов намерена сделать «книгой января» «Волхва». Сумма потенциального вознаграждения — 35 тысяч долларов.

* * *

Обложка Тома Адамса. Помфрет застраховал ее на две с половиной тысячи фунтов в качестве рекламной акции[848]. Она очень недурна; в ней есть что-то приятно английское: английскость Палмера и оттенок подлинной готики. Жаль, что

она не вызывает более отчетливых ассоциаций с Грецией, нелишним было бы вкрапление греческой синевы, ее простора и света. Но грех жаловаться.

Хейзел. Родила сына. Джонатана Нейла.

10 августа

Ронни Пейн. На днях пригласили его с Бетсой на представление «Тарка». Пустой, глупый фарс, впечатление вконец испортилось, когда в антракте он ни с того ни с сего выпалил:

— По дороге сюда в такси я расплакался. Прямо-таки разрыдался.

Еще раньше Бетеа намекала, что его положение в «Санди телеграф» крайне шаткое. Он порывается уйти, они не собираются его удерживать, но заявление об уходе он не подает, а они никак не решатся его уволить, в результате под идиллической, безоблачной оболочкой их совместной жизни набухает подводный риф несчастья. Р. хочет попробовать себя на писательской стезе, но ему не хватает смелости; Бетеа деликатно, как это ей свойственно, подталкивает его к действию. Элиз она говорит, что у нее денег куры не клюют и у Р. нет материальной необходимости работать, однако он чувствует, что таков его долг — по мнению Э., нелепый предрассудок, уходящий корнями в его рабочее происхождение. Но она не права: в нем дает себя почувствовать нонконформистский дух, унаследованный от отца-священнослужителя. Ко всему прочему у него что-то не так со здоровьем, и они обречены на бездетность. По существу, импотенция снедает его не только в физиологическом плане. И болезненность его существования для меня столь же очевидна, сколь вид саднящей раны на чужом теле; само собой, такого рода непрекращающаяся боль может и подпитывать, побуждая демонстративно делать вид, что с ним все в порядке. Но маска, которую он носит, пугающе тонка. Мы с Бетсой тратим уйму времени, пытаясь придумать, чем бы его всерьез занять, но он еще больше уходит в себя, чураясь благотворительности. Подчас маска английской непроницаемости перестает быть забавой, становясь проклятием.

16 августа

Званый обед у Вирджила Помфрета. Едва ли не самый бессодержательный вечер, какой нам выдался в последнее время: горничная в форме, на столе серебряные подсвечники, после десерта дамы оставляют джентльменов. Не исключаю, что на Кадоган-сквер так живут все, но ныне подобный образ жизни составляет привилегию узкого великосветского круга Найтсбриджа. Привилегию, бессмысленность и провинциальность которой ошеломляют (так же, надо полагать, текли дни в

Амо[849], когда на французском престоле восседала Мария Антуанетта). Вечеринка для очень избранного молодежного круга: все присутствующие моложе нас лет на десять. Очень модный молодой модельер:

— Знаете, какой импульс я получаю в «Ад Либ»? Я буквально высвобождаюсь. Я хочу сказать, эта музыка просто выдувает все у вас из мозгов, понимаете? И ведь вот что потрясающе: вы приходите сюда один и танцуете сам с собой[850].

Модный фотограф и его жена, телевизионная модель. Марк Коллинз, сын издателя, жиденький плаксивый фальцет светского юнца, чье естественное место обитания — ковер, он валяется на нем, изрыгая поток имен баловней сиюминутной славы и старых итонских ничтожеств. Все, о чем здесь говорится, — клуб «Ад Либ», поп-Звезды, глянцевые журналы, вечные пустопорожние сплетни европейских богачей. Думаю, началось это с Версаля: мир, необратимо оторванный от действительности, безраздельно влюбленный в себя самого, в свои моды, в своих героев, в свой жаргон. Конечно, в основе этого — недостаток ума: если у тебя нет ума, остается лишь пребывать на гребне моды. Элиз отмалчивается, а я мягко, даже слишком мягко, поддразниваю и противоречу им.

Андерхилл-фарм. Продолжаем оформление покупки.

17–22 августа

Корнуолл, Монан Смит[851]. Пять дней наедине с Денисом и Моникой. Оба седеют, поседели за последний год в Нигерии, хотя в других отношениях все такие же. Денис — по-прежнему литератор-manque[852], Моника — женщина, активно пребывающая в поиске собственного «я», язвительная и агрессивная в быту. Нам они, разумеется, завидуют, и наши проблемы их нисколько не волнуют. Как-то утром, сидя в пабе, Денис разразился пространной apologia pro sua vita[853]: дескать, у него — и, понятное дело, у Моники — нет ощущения собственного жизненного призвания; их существование бесцельно и большей частью безотрадно (Нигерия вызывает у них отвращение). Накануне вечером Моника утверждала — противореча нам троим в присущем ей безапелляционном тоне, — что в профессии официанта или официантки нет ничего унижающего: это, мол, работа, требующая маски, как и любая другая; и вот в то утро Денис признался мне:

— Я так долго носил маску совестливого преподавателя, что она начинает деформировать мое собственное «я».

Сейчас это ощущается в нем очень остро. Когда-то ты еще верил в скрывавшийся под маской мятежный дух, но постепенно этот дух — или его видимость — сам становится маской. То, что

некогда было условностью, делается реальностью. Как обычно, я принялся уговаривать его засесть за писание, а он заявил:

— Мне нечего сказать. Какой смысл писать, если сказать нечего. — Но тут же добавил: — Я отдал бы все учебники в мире за то, чтобы написать одну приличную книжку или пьесу.

По-видимому, в том же направлении его подталкивает и Моника, но он не поддается: словно гордится тем, что у него такая парадоксальная и противоречивая натура.

Подобно многим другим, кого я знаю (Ронни, Джад), он органически неспособен медленно ходить или вести машину. Любое промедление на пути между двумя пунктами для него невыносимо, но стоит достичь конца маршрута, и он опять не может усидеть на месте. Будто земля жжет ему ноги, и ему не терпится упрыгать еще куда-нибудь. Как-то раз мы отправились в уединенную бухту неподалеку от Лизарда[854]: чудесное сине-зеленое море, усыпанный цветами берег, солнышко; даже самому завзятому горожанину в радость провести тут денек. Но не прошло и часа, как Денис снялся с места. Пустился в долгий, больше мили, путь по скалам, а потом сел за руль и проехал еще несколько ради того, чтобы в гордом одиночестве выпить пинту пива. Точно так же, как Джад этой весной в Сен-Тропе вдруг вскочил на ноги на пляже и сказал:

— Если на пять минут меня не оставят в покое, точно свихнусь.

Беспросветность всего этого чистилища скрашивает ангел, явившийся из другого мира, — Майкл, невиннейшее и очаровательнейшее десятилетнее создание, какое только можно вообразить, ребенок, в котором брызжет теплота, непосредственность, нежность — то, что и раньше встречалось не часто, а ныне кажется почти пугающе чужеродным. Хотя Денис и Моника воспитывают его в духе разумной и здоровой строгости, нельзя сказать, что родители всерьез влияют на его формирование. Он — существо, подобное Блейку: крошечная частица божественного начала, что особенно проявляется в его увлеченности ракетными бомбардировщиками, военными судами, солдатиками — всем тем, что так не вяжется с его незлобивостью. Из него должен выйти либо святой, либо гомосексуалист, а может быть, актер или писатель, кем мечтали стать его родители.

29 августа — 5 сентября

С нами живет Анна. Она — постоянная головная боль для Элиз, изводящей ее своей заботой, своей материнской любовью; но просто чудо, что Анна ни в малой степени не сделалась тем трудным ребенком, тем внушающим чувство неизбывной вины созданием, какое мы сами себе придумали. Рой и Элиз явно

сильнее действуют на нервы друг другу, нежели любой из них — Анне. Пока для меня очевиден один конфликт — конфликт между бегством Роя в некое подобие образа жизни рабочего класса и нашим абсолютно непохожим стилем поведения. Но даже и тут Анна ухитряется пребывать одновременно в двух мирах: мне думается, она, по сути, относится к часто встречающемуся, но редко описываемому типу счастливых шизофреников. В общем-то к моему собственному — к тому, для которого равновесие между добром и злом и убежденность, что то и другое необходимо в жизни, становятся второй натурой.

Мы свозили ее поглядеть на ферму, пока я проводил кое-какие «разыскания» в Эксминстере. Вот еще один повод для переживаний Элиз: придется опять сниматься с места и обустраиваться на новом. Что до меня, то стоит мне увидеть море, вплотную подступающее к старой садовой ограде, как я убеждаюсь в правильности своего решения. Мы пробрались сквозь заросли к берегу, искупались, а потом вскарабкались от бухты Пинхей[855]вверх. Растительность в этих местах необыкновенно густая, почти как в субтропиках. И, вне всякого сомнения, с точки зрения истории Англии экологически первозданная.

16 сентября

Начал писать новый роман под рабочим названием «Разнузданные», действие которого происходит в Турции; это вариация «Волхва», хотя его отголоски при первом чтении вряд ли дадут себя почувствовать. «Турция» (то есть насилие, похоть, мусульманский взгляд на женщину) как антитеза Греции (разуму, морали, любви и т. п.). После этой книги планировал засесть за «Распутника» (или «Терминатора»); но все, что с ним связано, слишком отдает черным, пугает[856]. Я хочу, чтобы это была короткая, жесткая книга, писать такие труднее всего — затрачиваешь максимум времени, и надо набраться храбрости над ней работать. Конечно, писать ее можно и не запасаясь храбростью впрок, по сути, набраться храбрости — значит найти способ дописать ее до конца. Не только заглянув в глаза бездне, но прежде продемонстрировав ее до самых потаенных глубин.

18 сентября

Денис и Моника только что, переночевав у нас, отбыли, а потом после многочасового выяснения отношений уехала и Элиз. Когда мы четверо собираемся вместе, между нами неизменно пробегает какая-то кошка. Элиз утверждает, что виноват во всем я: вел себя нудно, грубо, надоедливо, оскорбительно, испортил вечер и тому подобное. По-моему, дело обстояло не совсем так, хотя правда: все мы порядком устали и ближе к концу обозначился кризис жанра; но, с другой стороны, мы же так

хорошо друг друга знаем, что можем не придавать значения зевкам и паузам. Нет, что ни говори, между мною и ими троими пролегли — причем непреодолимо — мои проклятые книги. Ничего бы мне так не хотелось, как поговорить о проблемах письма — и в частности того, что пишу я, но ведь это запретная тема, столь же недопустимая, как соленая шутка в монастырских стенах. Стоит мне только завести разговор (а, наученный опытом, я теперь завожу его всегда издалека, осторожно, как бы невзначай), стоит мне лишь заговорить о литературе и о себе как писателе, Моника тут же начинает пыхтеть, глаза Дениса затуманиваются защитной пеленой, а Элиз делает боевую стойку, силясь защитить их обоих от моего невыносимого тщеславия, моего бахвальства. Фактически оказываешься перед очень простым выбором: либо помалкиваешь обо всем, что сколь-нибудь серьезно в твоем писательском существовании, либо рискуешь потерять единственных старых друзей. Так что сначала достаешь книжку и царапаешь на ней: «Денису и Монике с любовью, Джон», — а десять минут спустя прячешь ее подальше, ибо не хочешь рисковать, преподнося им — иными словами, отдаляя их от себя.

А теперь вот, в последние месяцы, этот вредоносный вирус подхватила и Элиз. Шесть сотен раз твердит мне, что я эгоцентричен, самодостаточен, полон романтических иллюзий, не способен думать ни о ком, кроме себя, — то самое, что в данной ситуации вправе заявить старые друзья. Они и заявляют это, но не напрямую, а просто не упоминая, тем более не трудясь похвалить то, что ты написал. Последнее не обошло стороной и Элиз: будучи самым близким из моих старых друзей, она не спустила бы мне ровным счетом ничего, случись мне даже оказаться лучшим писателем в стране. А уж поскольку я «всего-навсего романтический романист» (ее слова), то заслуживаю, чтобы меня не просто обижали, но положительно оскорбляли. Ведь я не только самодостаточен, но и второразряден, точнее, обласкан признанием, выпадающим на долю второразрядных литераторов.

Так вот теперь я и живу, подвергнутый своего рода остракизму: ладно, пусть в финансовом плане я преуспеваю, зато во всем достойном упоминания потерпел безнадежный провал и потому мне надлежит вести себя соответственно. Готов согласиться и с этим, ибо отмахнуться легче, чем превозносить собственные достижения.

Элиз более убедительна, жалуясь на утрату своего «я». Не то чтобы я принимал на веру рассуждения феминисток (Бетти Фридан) о невостребованности женщин в обществе. Невостребованных мужчин ничуть не меньше, ибо

востребованность — понятие относительное. Но, разумеется, как для мужчин, так и для женщин приблизиться к востребованности окружающим миром (другими словами, как ни комично, возомнить о себе: «Я востребован») — то же, что оказаться озаренным лучом солнца: лучом, контрастно высвечивающим невостребованность. Все сетования Э. по этому поводу звучат на одной и той же ноте: «Посмотри на меня и посмотри на себя». Указывать ей на то, что она видит себя сквозь искажающее зеркало моего «я», бесполезно: против этого тотчас восстает старая мужская сторона ее натуры. Само собой, смотреться во что-нибудь другое трудно. Но меня выводит из себя то, как она вглядывается в это искаженное отображение и подпитывает им свои раздражение и безысходность.

20 сентября

Трудно понять все причины, которые подвигли меня на такой шаг. Но в моем мозгу он отождествляется с потребностью снова писать стихи и снова вернуться к ручному труду. Три или четыре последних года я прожил в убеждении, что мое время слишком дорого, чтобы тратить его на побочные занятия или ручной труд; единственное, что я могу делать в настоящее время руками, — это стучать на машинке. Но мысль о том, что придется косить траву, шпаклевать стены, красить и счищать краску, внезапно начинает казаться привлекательной. Фрост был таким никудышным фермером, что думал, будто гуси спят на деревьях, и, судя по всему, обессмертил оглашающего окрестности ревуна в статье, которую написал для сельскохозяйственного журнала. Займись я фермерством, наверняка оказался бы ничуть не лучше; с другой стороны, я вовсе не собираюсь превращаться в образцового домохозяина или допускать, чтобы какая-нибудь хозяйственная надобность встала стеной между мною и пишущей машинкой. Одно несомненно: Фрост не позволил бы ничему на своей ферме встать между ним и стихотворением[857]. «Возвращение к земле» — опасный миф, если принимать его всерьез; в то же время оно может скрасить существование в не меньшей мере, нежели что-либо другое. С оговоркой: пока делаешь вид, будто к ней возвращаешься; но не делаешь из этого символ веры.

29 сентября

Последний день оформления документов на Андерхилл-фарм. Теперь она принадлежит нам.

Забросил «Разнузданных». Четыре дня назад начал работу над «Счетоводом».

1 октября

День мучений. Мы с Элиз подхватили какую-то горловую

инфекцию. Меня она не отпускает уже не одну неделю — с трудом глотаю, не могу писать. Был в телецентре на Вуд-лейн; общался там с Мелвином Брэггом, серьезного вида молодым человеком с копной черных волос и розовыми щеками. Он с Джулианом Джеббом вставили меня в какую-то свою культурную программу; на 13 октября намечена премьера «Коллекционера». Джебб — невысокого роста блондин, чуть странноватый, легковозбудимый и любящий передразнивать; внимательный, готовый подловить на слове и клюнуть, но, похоже, не такой злобный, как большинство людишек этого типа. Сидим, и нам приятно общаться друг с другом. Вспоминаю его прекрасную рецензию на «Коллекционера» и, глядя на него, такого молодого и легкого, чувствую некоторое разочарование; наверное, слушая меня — неуклюжего бормочущего зануду, — он испытывает то же самое. На Брэгге черный кожаный пиджак, серый свитер с высоким воротом; он по-своему симпатичен, невозмутим, держится независимо, не поддаваясь шику и блеску телецентра. Центр полон исполненных собственной важности, претенциозно одетых немолодых людей; впору подумать, будто телевидение — какое-то смелое и авангардное искусство, а не набившее оскомину старье.

Вечером встречаюсь с Роджером Барфордом на Парк-лейн. Студия «XX век — Фокс» выдвигает опцию на «Волхва». 10 тысяч сразу, еще 65 — по выходе, скользящая шкала, по которой сумма может возрасти до 100 тысяч, и пять процентов со сборов в прокате. Если выждем, не исключено, что сумма предложенного возрастет вдвое, но это не факт, интерес к книге может угаснуть. Я пытаюсь объяснить, что слишком устал, замотан продажей дома, чтобы выгадывать: достигнув определенного уровня, деньги перестают что-либо значить. В конце концов, обсуждая эти вопросы, думаешь не о чем-то осязаемом, а о престиже. Откровенно говоря, меня устроили бы и семьдесят пять тысяч; лень без конца раздумывать о вознаграждении, какого моя книга заслуживает, о вознаграждении, которое я мог бы выторговать, о вознаграждении, на котором я смогу настоять, если выжду.

Возвращаюсь домой. Телефонный звонок Стивена Уинкорта — юноши, который намеревался купить дом: говорит, его мать (она ищет деньги) и ее поверенный сочли, что план расширения дороги внушает опасения. Так что рисковать им не хочется. Хотя этот вопрос уже два или три дня держит нас в подвесе, звонок действует как удар по голове. Нас буквально накрыла волна уныния. Смешно, не правда ли: ты «успешен», тебя интервьюируют на телевидении, предлагают кучу денег за экранизацию, а чувствуешь, что стоишь на пороге самоубийства. В

довершение всего ощущаю, что самое время писать, а писать нет ни малейшей возможности. Успех — это что-то вроде стены: он не дает работать.

После нашего тоскливого вечера — странный сон. В нем я увидел Моник. Она не снилась мне уже много лет. Возможно, толчком послужило то, что в нашем доме несколько дней провела *Моника* Шаррокс и вот вчера уехала. На самом деле я втайне мечтал, чтобы это случилось поскорее, так что импульсом ко сну было одно это обстоятельство, а отнюдь не желание.

Во сне я был пассажиром океанского лайнера. Мы делили каюту с Моник, хотя ничего в смысле близости из этого не проистекало.

Не знаю, откуда отчалил и куда следовал лайнер. Однако было ясно, что он уже прибыл в место назначения: пассажиры спускались по трапу. И вот я вижу, как она стоит впереди, прижимая к груди несколько книг — какую-то с картинками и несколько в мягкой обложке. Подхожу, намереваясь попросить ее отдать мои (которые, как я подозреваю, она прихватила — по нечаянности?), но, едва увидев ее лицо — она стоит ко мне вполоборота, глядя под ноги, с бесконечно печальным выражением, — чувствую, что вопрос неуместен. В конце концов выдавливаю из себя: «Надеюсь, это не те книги, что я купил в подарок корабельной библиотеке?» Она не отвечает, но само молчание ясно сигнализирует об обратном. На ее лице выражение Mater Dolorosa[858], невыразимо грустное, будто что-то утрачено навсегда. А рядом с нею — еще одна девушка или женщина, которую я не знаю, попутчица или кто-то вроде; две женщины, объятые неизбывным горем: одна погружена в него без остатка, другая изо всех сил старается, чтобы ее скорбь не заметили окружающие.

Осознав всю бессмысленность своего вопроса, отворачиваюсь. Она идет куда-то, куда я не посмею за ней последовать. Знаю, мы расстаемся навсегда, поэтому-то мне так грустно. Но ее скорбь абсолютно не связана со мной. Для нее я не существую.

Суть этого сна — утрата. Каким-то непостижимым образом Моник воплощает для меня безвозвратно уходящее время.

Возможно, в основе моей неприязни к Монике Ш. — неприязни, ныне относящейся больше к прошлому, нежели к настоящему (сейчас мне скорее импонируют ее прямота, независимость, если угодно, ее отвага), — лежит подсознательное нежелание увидеть в Моник воплощение образа Цирцеи (Лилии в «Волхве»). В данном случае «бессознательное» равнозначно «неосознанно сознательному»: я имею в виду, что сознательно изгоняю такие образы из своего внутреннего мира. Словом,

Моника Ш. сознательно не воплощает для меня образ Цирцеи, но у меня нет желания пускаться в тавтологические игры.

4 октября

Сегодня станет известно, пошла ли компания «Фокс» навстречу нашему контрпредложению: повысить сумму на 25 тысяч долларов. Вчера вечером пришел окончательный ответ Уинкортов: они отказываются. Посмотрим теперь, поддержит ли меня банк на плаву до весны: я не стану продавать дом, сдав его по дешевке Дэну и Хейзел. А Монику Ш. мы попросили пять-шесть недель пожить с нами в Лайме. Все настолько просто, что не могу понять, как это раньше не пришло мне в голову, или нет: могу. Причина — злобный Яго, сидящий в подсознании.

Две маленькие девчушки на зеленом холме бросают друг другу голубой воздушный шарик, он мелькает в свете солнца, солнечные лучи сияют у них в волосах, поблескивают на трепетных ножках, а шарик кажется третьим живым существом, какой-то продолговатой голубой собачкой в их веселой игре. Все уменьшаясь на необъятном фоне зеленеющей травы, они взбегают на самую вершину холма, навстречу солнечному свету, поворачиваются и бегут вниз, хрупкие и искрящиеся светом, столь же невинные и неподвластные времени, как само солнце. А увидев, что мы стоим и смотрим на них, смолкают и, оглядываясь, движутся назад. Внезапно солнце оказывается у них за спиной, и мы убеждаемся, что перед нами — самые что ни на есть обыкновенные маленькие девочки. До чего же странно: быть такими непередаваемо прекрасными, ангелоподобными, поэтичными, когда на нас светит солнце, — и такими обычными, когда солнце у нас за спиной.

5–7 октября

На Андерхилл-фарм. Мы выехали за город. На редкость мягкая погода, как в Греции, делает это поэтичное место еще красивее. Элиз все еще сопротивляется, хотя и признает, что на садоводческом фронте потерпела поражение. На смоковнице еще висит несколько крупных поздних плодов, далеко внизу о берег Кобба нежно плещется море; кричат кулики и кроншнепы. Вокруг осенних маргариток облачками вьются бабочки и мотыльки. С утра вышли и набрали грибов. Дом Элиз не переносит: он «весь разваливается». Мне же, наоборот, нравится в нем все старое — и не по вкусу новое. Как-то вечером мы развели большой костер. Запах горящего дерева. Языки пламени.

Обсудить подробности реконструкции наведывается некий м-р Уискомб. В свое время его папаша поселил на ферме «старика Баудича», а сам он накрепко задружился с одним из его сыновей. Первоначально ферма принадлежала некоему м-ру Филпо-ту,

который сдал ее егерю; тот вносил арендную плату, продавая изловленных кроликов. Постепенно Андерхилл-фарм приходила в упадок. И только Баудичи, работая как черти, превратили ее в молочную ферму.

— Старушка Эмма делала лучшие сливки и масло во всей округе. — Тут-то и выяснилось, где собака зарыта. — Вон там, в коровнике, были глиняные стойки, бывало, выставит десять — пятнадцать тазов в ряд. День и ночь вкалывала.

После этого Лондон кажется скучным, закованным в бетон. Ферма — совсем в другом мире. Она сама — королевство.

17 октября

Принимаю предложение «Фокса». 7,5 тысячи долларов за право на экранизацию, 92,5 тысячи — по выходе фильма, 10 тысяч — за написание сценария; с добавкой по 5 тысяч долларов за каждые пять тысяч экземпляров, проданные сверх 25-тысячного тиража, и так вплоть до 55 тысяч; плюс к этому 5 тысяч долларов за первую неделю, в которую книга возглавит перечень бестселлеров, 10 тысяч за две, еще пять тысяч за любые четыре недели на любом месте в перечне; пять тысяч, если продажа издания в бумажном переплете превысит 50 тысяч экземпляров, и 10 тысяч, если она превысит 75 тысяч экземпляров.

19–20 октября

Переезжаем на Андерхилл-фарм. Не перестающее донимать меня саднящее горло перерастает в острый фарингит: не могу ни глотать, ни думать, все ужасно. Целыми днями валяюсь в постели. Моника и Лиз метут, убирают, обустраивают гнездо. Приятный пожилой доктор-шотландец заглядывает мне в горло, прописывает очередной антибиотик. Погода прекрасная, тепло, как весной, а я хандрю, хандрю, хандрю.

В саду, пытаясь ускользнуть от нас, описывает круги хорек. Тычется в каменные стены, потом ищет прибежище в грядках клубники.

Бурые совы. Ухают вокруг всю ночь. Восхитительные льдистые звуки — будто невидимые музыканты играют во тьме на гобоях.

Лязг запираемых на засов дверей.

Какая здесь ночью тишина. Дом поскрипывает и потрескивает. Ни машин, ни прохожих, никого.

23 октября

1. Роман. Вытащить на поверхность персонажей, невесть как долго скрывающихся под землей. Я знаю, что они там, но никогда не знаешь, на кого они похожи, пока не извлечешь их из-под земли.

2. Романист. По сути, рассказчик, фигура, стоящая в уголке

базара. Мне кажется, есть что-то глубоко постыдное, унизительное в том, что ты — романист. Глубоко внутри нас прячется человек, стоящий на дырявом ковре, а весь мир проплывает мимо.

3. Диалог — самая трудная вещь в романе. Вот почему такими неудачными выходят телевизионные драмы. Их авторы не могут позволить себе приличных диалогов: ведь они требуют терпения, времени, бесконечных переделок.

Море внизу вздыхает и плещется о рифы.

* * *

Каждую ночь где-то за фермой раздается непривычный лай: отчаянный и надрывный, точно собака сорвалась с края света и зовет, зовет на помощь, падая, проваливаясь в бездонную глубь.

Впадаю в депрессию, читая статью об оседании грунта. Вся ферма может ненароком соскользнуть в море. И в то же время испытываю безотчетную радость: ведь вся она — как огромная, необъятная поэма. Чувствуешь ее непостижимость, скрытую в ней поэзию.

Свет в спальне. Окошко на удивление маленькое, но старая комната полнится светом, ибо его отражает море.

25 октября

В оранжерее: небо — лазурное, беспримесно чистое, ни тени, ни облачка, ни бирюзовой дымки, так часто окрашивающей английский небосвод.

Подобрал с земли две спелые винные ягоды.

М-р Чичестер. Владелец земель на восток от фермы, кузен мореплавателя Фрэнка Чичестера. Человек завидной прямоты, грубости и напористости.

— Мой отец — четвертый по старшинству из офицеров королевского флота.

Ему не терпится испытать на прочность меня. Кто я такой? Откуда взялся? Как посмел наложить лапу на его ферму? Супруги Струтт предупреждали, что он считает Андерхилл-фарм «своей» — местом, куда он переедет на жительство, выйдя на пенсию.

— Ну, моя жена здесь не появится. Она так и сказала: «Ноги моей больше не будет на Андерхилл…» Конечно же, он мне отказал. Я сказал, что он слишком много запрашивает. И не стеснялся в выражениях. — И добавил: — Я же банковский служащий. Деньги считать умею. — А напоследок обронил: — Струтты купили ее за шесть тысяч сто пятьдесят фунтов. — И его глазки завистливо блеснули. Блеснули с такой нескрываемой

завистью, что стало смешно: так он напоминал малыша, изо всех сил старавшегося вернуть проигранное.

— Я еще вернусь, — пригрозил он у дверей. Бедняга.

Весь фокус в том, что в нашем распоряжении его письмо Струтту, где он предлагает за ферму 11 750 фунтов.

26 октября

Сегодня мне лучше. Заняты сбором картофеля — правда, запоздалым: в каждой картофелине глазки, жучки, волоски. Но урожай большой. Дерево рублю топором, но для дров нужна циркулярная пила. И еще много чего. Но в этом-то много и есть кайф. Тут все дни кажутся слишком короткими.

5 ноября

Холодный восточный ветер доносит городской шум. Треск фейерверка, каскад красно-зеленых гроздьев, взмывающих над голым холмом. А у нас луна любуется собственным отражением в море.

Сегодня отбыла Моника, возвращается в Нигерию. Эти последние недели она просто спасала нас от гибели, спасала своим присутствием. И не только: она работала по дому больше любой прислуги, какую мы могли бы нанять.

Прекрасные дни уходящей осени: ясное синее небо, обжигающий ветер. Но мы его почти не чувствуем: на ферме тепло, она в уединенном месте. Сегодня видел бабочек, расцвело одно из грушевых деревьев, рабочие обедают прямо в саду.

Вчера прошагал по берегу две или три мили, не встретив ни души; вода чистая, ослепительно синяя, побережье усеяно обломками дерева; в бухте Пинхей нарвал замечательного кресс-салата — лучшего, какой мне доводилось есть в жизни. На берег накатываются неторопливые волны, в их холодных зеленых переливах проглядывают красновато-бурые и серые водоросли.

9 ноября

Около полуночи, полнолуние. Свет луны — серый с едва уловимым оттенком зелени — чуть заметно подрагивает на волнах. То тут то там он вспыхивает горделивым блеском чистого серебра: манящего, скользящего, жидкого, немого, прекрасного, такого таинственного. Море — вот красота этих мест. Ее не портят корабли. Море: его шум, его очертания, когда оно вгрызается в землю, ласкает ее.

10 ноября

Сегодня нас навестил старик Баудич, живущий в этих краях вот уже полвека. Краснолицый, со смешным, с двумя горбинками, носом. Дня не может прожить без горячительного.

— Старина Джек шагу не сделает яйцо с земли подобрать, — отзывается о нем один из строителей, — но потащится за

двадцать миль по снегу глубиной шесть футов ради бутылки виски.

Всю жизнь, по всему судя, его содержала толстая флегматичная женушка. Старик не чужд определенного обаяния, прекрасно, с картавостью Рейли обыгрывая дорсетский диалект.

— Земля в этих местах делает реверанс морю, — замечает он. И добавляет: — Она бочком тут стоит, земля-то.

За эту великолепную метафору хочется крепко обнять его.

— Тут все травостой, вплоть до дна морского. А вам, мистер Фаулз, — мое имя он произносит с мягким пришепетыванием, никто еще не выговаривал его с таким нажимом, — а вам, мистер Фаулз, позвольте дать совет. Не задраивайте сточные канавы. Не проводите труб. Они засоряются. Есть добрые старые канавы, не задраивайте их.

В доме сняли пару перекрытий. Балки одного сразу же слетели со стен. Строители только присвистнули. А вот в холле перекрытия из старых корабельных бревен, изогнутые и красивые.

27 ноября

Вяло влачу за собой бремя сценария «Волхва» — занятие, навевающее скуку и отвращение. Не нуждайся я так сильно в деньгах, еще неделю назад можно было бы отказаться. Но по части финансов у нас большой прокол — по той простой причине, что на дом в Хайгейте охотников не находится. Агент занимается этим уже месяц, но ни одного предложения пока не поступило. Так что образовался дефицит в пять тысяч фунтов, не считая здешних расходов.

Здесь хорошо: море у самого дома, свет, тишина по ночам. Временами я еще просыпаюсь и вижу, как все тут распадается на куски. Но днем ферма дремлет, устроившись в своем крохотном земляном гнездышке и показывая стихии язык.

Фотографии

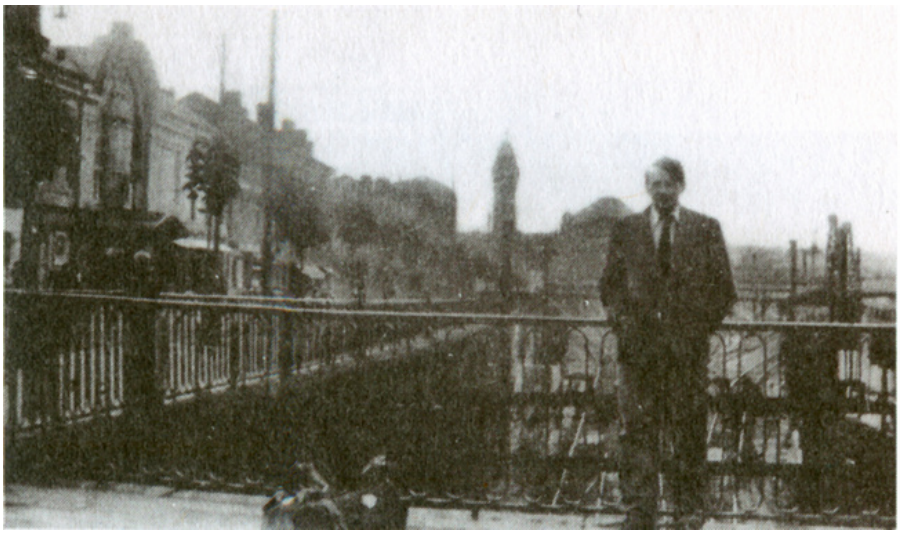
Джон Роберт Фаулз в тринадцатилетнем возрасте

Джон и Глэдис Мей Фаулз в Стоунхендже, 1935 г.

Джон со своей сестрой Хейзел и домашней любимицей Шейлой

Джон в военной форме, 1944 г.

Джон с хлебом и вином. Париж, 1948 г.



Париж, 1948 г.

1950 г. «Вот как я окончил Оксфорд вторым

Школа Анаргироса и Коргиаленеоса. Спеце, Греция

Преподаватели школы Анаргироса. Джон стоит на кнехте

Джон Фаулз, директор школы Герандопулос, Денис Шаррокс, 1952 г.

Джон в своей комнате в школе Анаргироса, 1952 г.

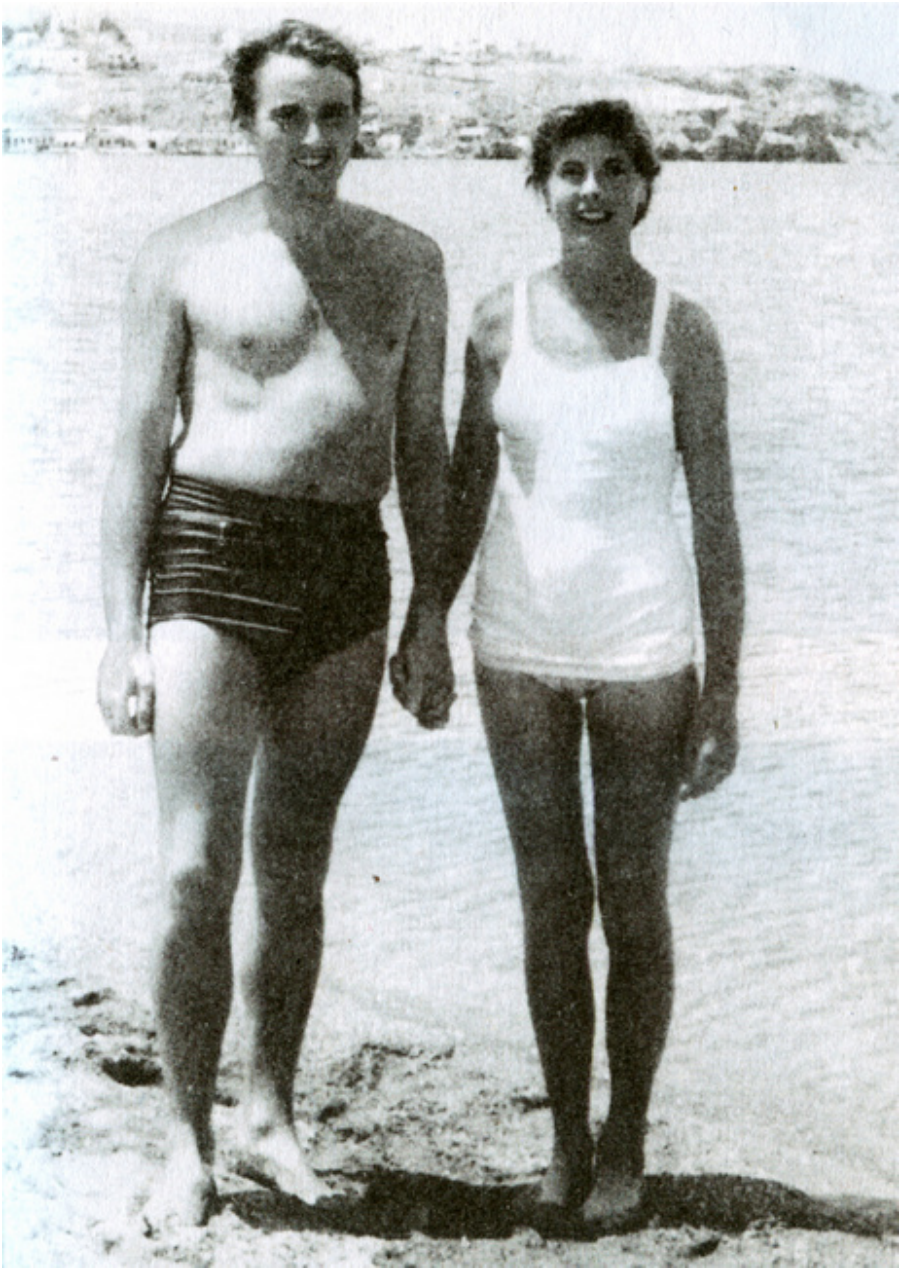
Монемвазия. «Борода: начало положено»

Джон, Элизабет и Рой Кристи. Спеце

Анна, Рой и Элизабет Кристи, а также Джон Фаулз, 1952 г.

Элизабет, Анна, Рой Кристи и Джон с учащимися школы Анаргироса

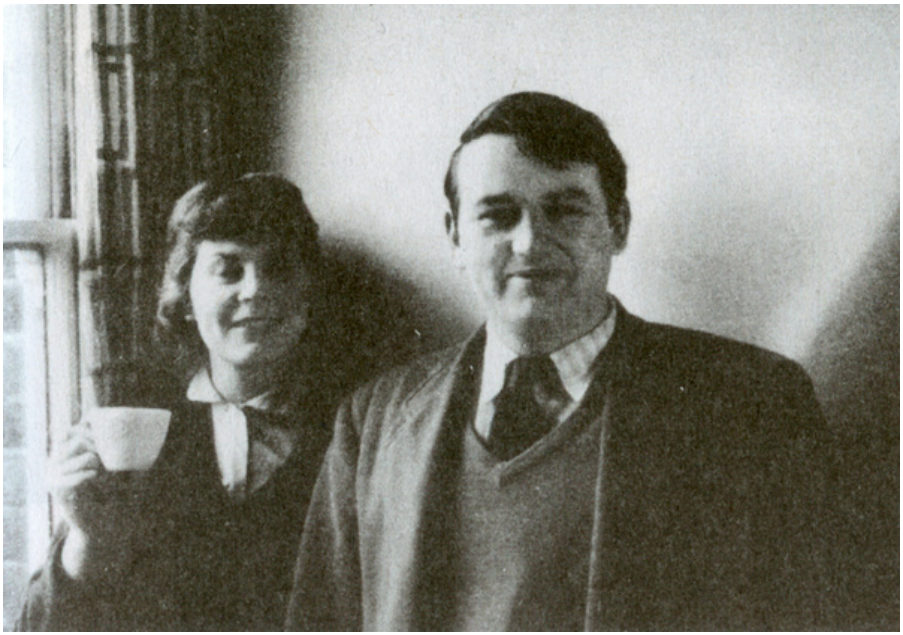
Элизабет и Джон, 1953 г.



Джон и Элизабет в Греции

Джон у ворот колледжа Св. Годрика. Хэмпстед, 1956 г.

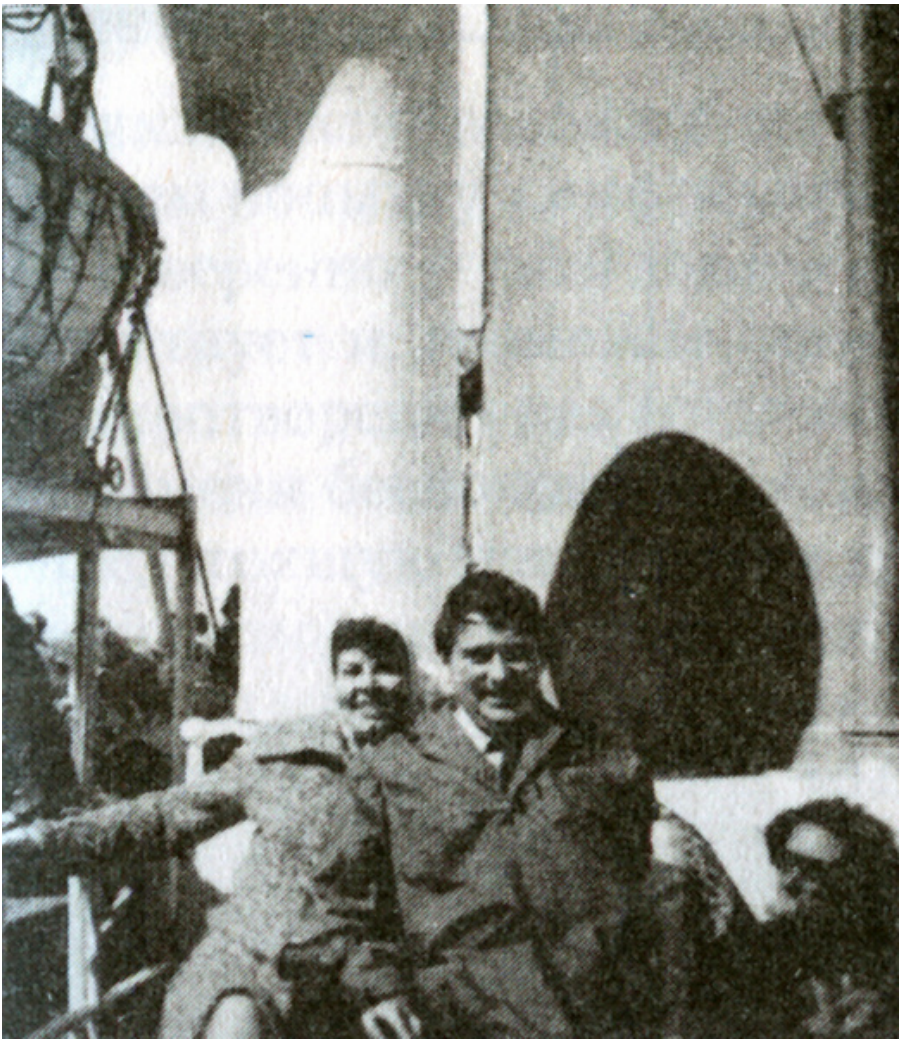
Ли-он-Си, Филлбрук-авеню, 63, 31 марта 1957 г., за два дня до свадьбы Элизабет Кристи и Джона Фаулза. Слева направо: Хейзел, Глэдис Мей, Элизабет, Роберт



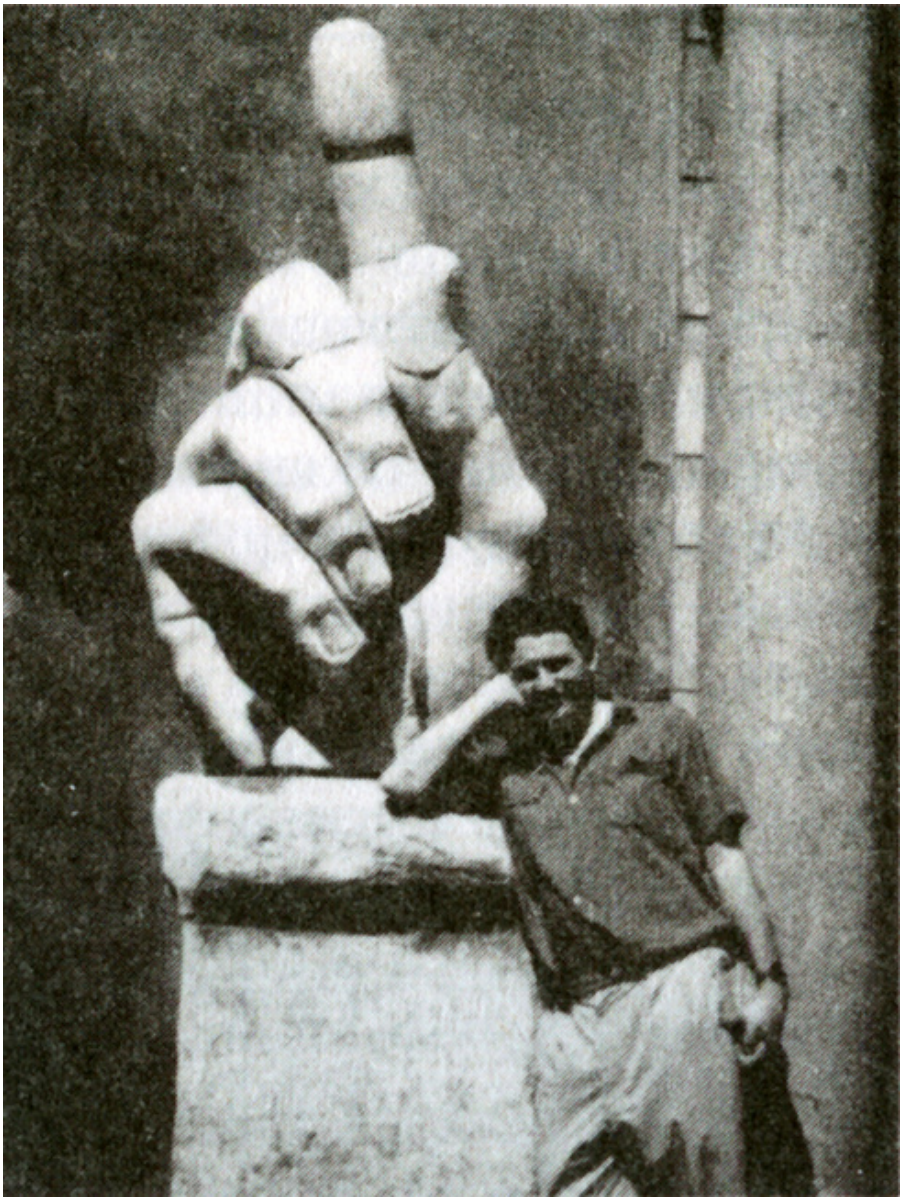
Элизабет и Джон. Хэмпстед, Черч-роу, 28

Джон на Черч-роу

Джон и Элизабет



Элизабет, Джон и Подж Портер во время поездки по северной Франции



Джон в Риме

Литературная конференция в Челтнеме, октябрь 1963 г. Первое публичное появление Джона Фаулза в качестве писателя. Слева направо: Джон Бейли, Джон Фаулз, Айрис Мердок, Джон Б. Пристли, Анне Скотт, Фредерик Рафаэль, Габриэль Филдинг

***Джон и** Элизабет. Андерхилл-фарм, Лайм-Риджис, Дорсет*

notes

Примечания

1

Песни (нем.).

2

Застолья (фр.).

3

Толстяк-коротышка (англ.).

4

Далекой принцессой (фр.).

5

Существует еще одна копия, которая находится в библиотеке Эксетерского университета. — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. англ. издателя.*

6

Растение, известное как морской, или песчаный, шпорник, произрастает на песчаных почвах или солончаках.

7

Блэквуд (1869–1951) — английский писатель, автор произведений о сверхъестественном. Его нежно звали «человек-привидение»; с 1930-х гг. у него началась вторая успешная карьера — он представлял на Би-би-си свои рассказы, интервью и драмы.

8

В Оксфорде Дж. Ф. стал большим поклонником Бетховена. Настоящая запись относится к Третьей «Героической» симфонии (ми-бемоль-мажор).

9

Матери (фр.).

10

Отца (фр.).

11

Гай Харди и Бэзил Бистон — ближайшие друзья Дж. Ф. по Оксфорду, они разделяли его интерес к живой природе. Гай Харди учился в Корпус-Кристи и ездил с Дж. Ф. с орнитологической экспедицией в Норвегию (см. вступление). Бэзил Бистон изучал инженерное дело в Нью-Колледже.

12

Памятник воздвигнут в Оксфорде в 1841 г. в честь протестантских вождей — Крэнмера, Ридли и Латимера, которых обвинили в ереси и сожгли на костре в 1554 г. при королеве Марии, исповедовавшей католичество. Памятник стоит в Сент-Джиле у Боллиол-Колледжа.

13

Сброд (фр.).

14

Роджер Хендри — друг Дж. Ф., в одно время учился с ним в Нью-Колледже. Р.Х. читал классиков и познакомил Дж. Ф. с музыкой Бетховена.

15

Поджи — это Фред Портер и его жена Эйлин. Подж, с которым Дж. Ф. познакомился весной 1948 г. во время поездки студентов Оксфорда в Экс-ан-Прованс, изучал французский язык в колледже Св. Екатерины. После университета Подж преподавал в колледже Магдалины в Оксфорде. Старше Дж. Ф. на двенадцать лет, он был убежденным марксистом и, как близкий друг, повлиял на формирование радикальных взглядов Дж. Ф.

16

Фейт Фолконбридж изучала английский язык в колледже Св. Анны и тоже совершила в 1948 г. путешествие в Экс-ан-Прованс. После окончания университета преподавала и занималась скульптурой. Вышла замуж за Кристофера Толкиена, сына писателя и оксфордского преподавателя Д.Р.Р. Толкиена.

17

Домом Дж. Ф. называет Французский дом, расположенный в то время на Вудсток-роуд, 72. Основан совместными усилиями Оксфордского и Парижского университетов, чтобы способствовать сотрудничеству между научными работниками, преподавателями и студентами обоих заведений. Каждый год там предоставлялись места с полным пансионом для определенного количества студентов последних курсов и ученых.

18

То есть Эйлин Портер.

19

Здесь и далее Дж. Ф. дает портреты некоторых своих приятелей по Французскому дому.

Был в то время директором Французского дома.

21

В своем уголке (фр.).

22

Имеется в виду квартет до-мажор, написанный в 1785 г. (К 465 — по указателю Кехеля). — Примеч. пер.

23

Венки из остролиста — одно из традиционных рождественских украшений в Англии. — Примеч. пер.

24

Сестра Дж. Фаулза, на 15 лет моложе его, родилась в 1942 г.

25

Вот и пожалуйста! (фр.)

26

Без (фр.).

27

Призраков (фр.).

28

Простодушие (фр.).

29

Нефтеочистительный завод и хранилище, построенные компанией «Шелл» на острове Канви, на северном берегу устья Темзы.

30

Каждый за себя (фр.).

31

Бремя (фр.).

32

Был поставлен диагноз — амебная дизентерия. Вскоре после этого Дж. Ф. положили в лондонскую клинику.

33

Опубликованные в 1861 г. «Записки из Мертвого дома» — беллетристическое описание жизни в сибирском остроге, созданное на основании личного опыта. За десять лет до этого Достоевский был приговорен к четырем годам каторги.

34

Что поделаешь! (фр.)

Озабочены (фр.).

Обыденной жизни (фр.).

Сближения (фр.).

38

Семейная фирма но производству табака «Аллен и Райт» много лет испытывала финансовые затруднения, и Фаулзам приходилось приспосабливаться к ухудшавшимся финансовым обстоятельствам.

39

Передышки (фр.).

40

Благодаря содействию преподавателя в Нью-Колледже Дж. Фаулзу представилась возможность в течение года преподавать на английском факультете в университете Пуатье.

41

Первая молодость (фр.).

42

Жизненно важный бросок (фр.).

43

Всеобщие выборы состоялись в четверг 23 февраля 1950 г. Подсчет голосов в 267 (преимущественно городских) избирательных округах начался после окончания голосования, их результаты объявили по радио ночью. Когда на следующий день подсчитали голоса в оставшихся округах, лейбористское большинство снизилось до одного места из шести.

Идут фоном (фр.).

45

Преподаватель французского языка в Нью-Колледже.

Beethoven, Penguin, 1949.

47

Повесть была обнаружена после смерти Лоуренса в 1930 г., в ней рассказывается история Иветты, дочери священника, которая, стремясь вырваться из удушающей, полной социальных предрассудков атмосферы своего мирка, влюбляется в цыгана.

48

«Св. Мор» написан в 1925 г.; это рассказ о молодой американке Лу Уитт, которая, прожив много лет в Англии, привозит своего жеребца Св. Мора на ранчо в Техас. Здесь она чувствует прилив жизненных сил, которых ей не хватало в Европе.

49

Длиннот (фр.).

50

Подруга и впоследствии жена Майкла Фаррера, друга Дж. Ф. по университету. Майкл Фаррер, изучавший агрономию в Нью-Колледже, окончил университет годом раньше Дж. Фаулза и стал управлять семейным поместьем «Коулд-Брейфилд» в Северном Бакингемшире после смерти отца, майора Дениса Фаррера. По линии матери Джоан, сестры Второго лорда Редесдейла, Майкл состоял в родстве с сестрами Митфорд.

51

Джей Гэтсби и Дейзи Бьюкенен любили друг друга перед войной, но Дейзи не вышла замуж за Гэтсби, потому что он был беден. Много лет спустя, когда Дейзи уже замужем за богатым и туповатым Томом Бьюкененом, таинственным образом разбогатевший Гэтсби устраивает роскошные приемы на своей вилле в Лонг-Айленде. Узнав, что его сосед Ник Каррауэй — дальний родственник Дейзи, Гэтсби просит Ника устроить с ней встречу. Гэтсби все еще любит Дейзи и уговаривает ее уйти от мужа. Последующие трагические события показывают, что Ник был прав, когда предупреждал Гэтсби: «Прошлое нельзя вернуть». Джордан — подруга детства Дейзи.

52

Майкл Фаррер, изучавший агрономию в Нью-Колледже, окончил университет годом раньше Дж. Фаулза и стал управлять семейным поместьем «Коулд-Брейфилд» в Северном Бакингемшире после смерти отца, майора Дениса Фаррера. По линии матери Джоан, сестры Второго лорда Редесдейла, Майкл состоял в родстве с сестрами Митфорд.

53

Майор Лоренс — отставной армейский офицер, жил в Ипплпене в то время, когда туда во время войны переехали Фаулзы. Он подружился с Дж. Ф., приучил его к разным сельским развлечениям, в том числе и к браконьерству. См. Введение, с. 9.

Наивность (фр.).

55

Белоэмигрант Родзянко был инструктором по верховой езде у короля Эдуарда VIII, а также тренировал ирландскую команду конников. У Майкла была старшая сестра Барбара, но в действительности женой полковника Родзянко была другая его сестра, Джоан (по прозвищу Робин).

Мать Майкла, Джоан Фаррер (урожденная Митфорд).

57

Знатная дама (фр.).

Отца (фр.).

59

Питер Нерс изучал современные языки в колледже Магдалины. Он сдал все выпускные экзамены на «отлично» и после аспирантуры в Оксфорде стал преподавать французский язык — сначала в Королевском университете Белфаста, потом — в Кентском университете.

60

Фильм снят в 1938 г. (режиссер Марсель Карне, сценарист Жак Превер). «Набережная туманов» — фаталистическая и символическая история обреченной любви; в фильме передан дух предвоенной Франции. Жан Габен играет дезертира, влюбившегося в девушку (Мишель Морган) в Гавре, где он скрывается от полиции. После убийства злонамеренного опекуна девушки (Мишель Симон), связанного с бандой гангстеров, он пытается проникнуть на борт парохода, покидающего Гавр, но его убивает один из гангстеров.

Чувствительности (фр.).

62

Бэзил Гловер — сосед, живший на противоположной от дома Фа- улзов улице в Ли-он-Си.

63

Товарищ Дж. Фаулза по занятиям, изучал в Нью-Колледже курс философии, политики и экономики.

64

Фильм снят в 1948 г., режиссер и исполнитель главной роли (деревенского почтальона) французский комический актер Жак Тати.

Благовоспитанность (фр.).

66

На самом деле брак Поджа и Эйлин, несмотря на все трения, длился еще много лет.

67

Сын сапожника Люсьен Жак (1891–1961) был художником, писателем, поэтом. В число его многочисленных друзей входил Жак Жионо, с которым он перевел на французский язык «Моби Дик» Мелвилла. После войны несколько лет жил в Лурских горах и пас скот.

Выразительна (фр.).

69

Франсуа Вийон (1431 — после 1463) покинул Париж в 1455 г., убив священника. После этого несколько раз сидел в тюрьме за разбой и воровство, в ожидании смертного приговора сочинил «Балладу повешенных». Среди других сочинений сохранились поэма «Лэ» (или «Малое завещание») и «Большое завещание», в котором он пересказывает свою полную треволнений жизнь. Его стихи часто писались в сатирическом ключе, но им не чужды искренность и сердечность.

Имеется в виду Ф.Д.У. Хардинг, преподаватель в Нью-Колледже.

71

Делай что хочешь (фр.).

Хорошо (фр.).

73

Известный философ и политолог, в то время член совета университета; у Дж. Ф. был «моральным наставником», осуществлявшим руководство в личных вопросах.

Возделывай свой сад (фр.).

75

Пьеса ирландского писателя Шона О’Кейси (1880–1964).

76

После поражении Японии в 1945 г. Корейский полуостров разделили по 38-й параллели на две зоны, северную оккупировал Советский Союз, южную — Соединенные Штаты. В 1949 г. американская оккупация закончилась и на юге возникла Республика Корея. Но 25 июня 1950 г. войска Северной Кореи в количестве 135 тыс. человек пересекли 38-ю параллель с намерением объединить всех корейцев. Президент Трумэн направил на защиту Южной Кореи американские войска, а спустя два дня, 27 июня, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая рекомендовала всем ее членам «отразить вооруженную атаку и восстановить мир и безопасность в означенном районе».

Неприятность (фр.).

78

Плевать мне на это (фр.).

Передышки (фр.).

80

Маленькая шведка (фр.).

81

Эта встреча, возможно, имела место во время продолжительных каникул в 1949 г., когда Дж. Ф. ездил в Скандинавию в составе орнитологической экспедиции. См. Введение, с. 12.

82

Напечатанный в 1903 г., через год после смерти автора, этот в некотором роде автобиографический роман описывает судьбу Эрнста Понтифекса, который мечтает освободиться от удушающего влияния ближайших родственников и вернуться к простой жизни своего прадеда, деревенского плотника. Дж. Ф. в автобиографическом эссе «Дерево» пишет: «Мой прадед был клерком у адвоката в Сомерсете, а его отец, кажется, кузнецом. Мне по душе, что мои предки простые люди, а вот мой отец, который принадлежит к первому поколению переселенцев из глубин западных графств в процветающий, меркантильный Лондон, этим недоволен».

83

Дж. Ф. проехал на автомобиле всю Францию до Андорры и обратно в обществе двух друзей, делая в пути продолжительные остановки.

84

В состязании бегунов на погребальных играх в честь погибшего Патрокла, друга Ахилла, Антилох, сын Нестора, получает последний приз, после Одиссея и Аякса. Раздающий призы Ахилл слышит, как Антилох говорит, что Ахилл — единственный грек, который может победить Одиссея. Польщенный Ахилл дает льстецу лишние полталанта. Состязания заканчиваются метанием копья, но, когда на борьбу выходит Агамемнон, Ахилл говорит, что все знают: он лучше всех бросает копье, — и дает ему награду без выступления.

85

Приам просит Ахилла разрешить ему забрать за выкуп тело его мертвого сына Гектора. Тронутый его горем Ахилл соглашается и обещает, что греки воздержатся от военных действий на то время, которое ему потребуется для оплакивания сына.

86

Сын деда Дж. Фаулза по отцу от второго брака. В своих воспоминаниях Дж. Ф. называет его человеком «без всяких талантов», не сумевшим сделать никакой карьеры.

Этими словами начинается глава 14.

88

Эхо в пещере пугает миссис Мор, она впадает в отчаяние; выбравшись из пещеры, она остается с убеждением: «Все есть, но значения не имеет ничего».

89

Пул — небольшая ферма близ Ипплпена, ею владели супруги Хилз.

90

Родившийся в Галикарнасе, в Карии, в 484 г. до н. э., Геродот, «отец истории», описывает в своей «Истории» войну между персами и греками в начале V в. до н. э. Хотя его часто критиковали за отсутствие исторической точности, его мнение выделяется своей благожелательностью и энциклопедическими интересами в других культурах. Он не только описывает исторические перипетии войны, но и пространно повествует об обычаях, преданиях и легендах многих мест, где он побывал за время своих многочисленных путешествий. Умер в Фурии около 420 г. до н. э.

91

Сущности (фр.).

Фальшь (фр.).

93

Повседневное существование (фр.).

94

Питер Нерс изучал современные языки в колледже Магдалины. Он сдал все выпускные экзамены на «отлично» и после аспирантуры в Оксфорде стал преподавать французский язык — сначала в Королевском университете Белфаста, потом — в Кентском университете.

95

Автобиографический, сексуально откровенный роман Генри Миллера о приключениях американского художника в Париже был издан в 1934 г. во Франции, но в Великобритании и США был запрещен до 1960-х гг.

Завтра мы умрем (фр.).

Не люблю педерастов (фр.).

Понимаете? Понимаете? (фр).

99

День всех святых (фр.)

100

Само собой разумеется (фр.).

101

Швейную (фр.).

102

Гражданские похороны (фр.).

103

Старого военного (фр.).

Фуражках (фр.).

105

Ставнями (фр.).

106

Те, что учатся по гранту (фр.).

107

В путешествие (фр.).

108

Войдите (фр.)

109

Леод — коллега Дж. Ф., тоже преподавал на филологическом факультете.

110

Смены (фр.).

111

Американского студента звали Чарлз Гейссер, он окончил курс на историческом факультете Гарвардского университета (Оксфорд, штат Миссисипи).

112

Холеная (фр.).

113

Англичанин (фр.).

114

То есть Кайю Юл, датчанку, с которой у Дж. Ф. был роман во время его пребывания на юге Франции летом 1948 г. См. Введение, с. 12.

115

Неверный тон (фр.).

116

Большой орган (фр.).

117

Ностальгии (фр.).

118

Война в Корее шла из рук вон плохо. В ноябре 1950 г. по распоряжению Мао Цзэдуна китайские войска вторглись на территорию Северной Кореи. Под давлением превосходящих сил противника войска ООН вынуждены были отступить значительно южнее Сеула.

119

Склонности к поддразниванию (фр.).

Зд.: добрый, очень добрый, но не слишком завидный жених.

121

Вы пребываете в унынии (фр.).

122

Равнодушен (фр.).

123

Вы много страдали. Ваша мораль не на высоком уровне (фр.).

124

Вы женитесь на женщине с положением, старше вас. Она будет богата, очень богата. Вы человек честный, правдивый (фр.).

125

Гадалка (фр.).

126

Дама с положением. Может, принцесса?

127

Вы хотите жениться на принцессе Маргарет? (фр.).

128

Подумываю над этим (фр.).

129

Дама в возрасте (фр.).

130

Ага. А чтобы получить молодую жену, какую карту нужно вытащить? (фр.).

131

Червовая дама (фр.).

132

Такой я не знаю (фр.).

133

У вас не сильная воля (фр.).

134

Ты нежный, очень, очень нежный (фр.).

135

Хотите задать вопрос? (фр.).

136

Вы думали, что я скажу «да», не так ли? Вы были совершенно уверены (фр.).

137

В кругу семьи (фр.).

138

Разрешение на охоту (фр.).

139

Соус, в который входит растопленное сливочное масло с добавлением жженого сахара (фр.).

140

Б.У. Брили. См. Введение, с. 9.

141

Дж. — Джинетта Маркайо, студентка, посещавшая лекции Дж. Ф.

142

Непромокаемая (фр.).

143

Студент университета в Пуатье; Дж. Ф. ездил с ним на охоту в Ле-гийон. Броссе разделял любовь своего педагога к природе. Туар — маленький городок к северу от Пуатье, в нем жили некоторые ученики Дж. Ф.

Блаженство (фр.).

145

Добродушием (фр.).

146

Первого любовника (фр.).

147

Гомерический (фр.).

Бабник (фр.).

149

Бал филологов (фр.).

150

Удивительно. Это просто удивительно(фр.).

151

Я никогда не говорю комплименты при всех (фр.).

152

Мы слишком много целуемся (фр.).

153

Большая любовь (фр.).

154

Запись сделана за два года до того, как шерп Тенцинг и Эдмунд Хиллари покорили Эверест. Самая известная до этого экспедиция состоялась в 1924 г.; тогда Джордж Мэллори и Сэнди Ирвин покинули последний лагерь и отправились на штурм вершины, но погибли.

155

Царственной манере (фр.).

156

Прелестную женщину, она так мила с моей женой и детьми (фр.)

157

Запасным колесом (фр.).

158

В пути (фр.).

159

Роковой день! (фр.)

160

Южные (фр.).

161

«Мемуары маленькой графини» (фр.).

162

В сущности (фр.).

163

Будет видно (фр.).

Маленьким дружком (фр.).

165

Блаженства (фр.).

Отупели (фр.).

167

Надо верить (фр.).

168

Действие первого романа Грина «Человек внутри» разворачивается в начале 1800-х гг. В нем рассказывается о Френсисе Эндрюсе, который спасается от контрабандистов и влюбляется в приютившую его женщину. Роман вышел в свет в июне 1929 г., когда автору было двадцать четыре года.

169

Английскому искусству (фр.).

170

В «Максимах» Франсуа Ларошфуко (1613–1680) утверждает, что под явно добродетельными поступками или бескорыстными чувствами обычно таятся эгоистические мотивы.

171

Прошу тебя… оставь меня… хватит (фр.).

172

Острота (фр.).

173

Ярмарка в четвертое воскресенье Великого поста.

Радостное настроение (фр.).

175

Для меня это слишком серьезно (фр.).

176

Вещание с кафедры (фр.).

177

Франсуа де Малерб (1555–1628) был придворным поэтом Генриха IV, сохранил свое влияние при Людовике XIII и кардинале Ришелье. У него была устойчивая репутация сторонника пуризма, отдающего предпочтение не эмоциям, а интеллекту.

Пещерам Норе (фр.).

179

Радость жизни. Маленькие золотые солнышки (фр.).

Хороший вкус (фр.).

181

Прежних лет (фр.).

182

Полбутылки белого вина (фр.).

183

Что поделаешь! (фр.)

184

Лигуж — небольшой городок в восьми километрах южнее Пуатье. Расположенная там приходская церковь XVI в. входит в состав аббатства Св. Мартина, основанного в 361 г.

185

Присущее определенному возрасту (фр.).

Драматическое общество Оксфордского университета.

187

Многого (фр.).

188

Тони Ричардсон (1928–1991) в то время последний год находился на посту президента ДООУ. В своих мемуарах он вспоминает эту поездку: «Мы разыгрывали в провинциальных городах великие пьесы, перед спектаклями я произносил по-французски вступительную речь — экстравагантную и высокопарную («Nous coeurs toq-toquent ensemble» — «Наши сердца бьются в унисон»), и никто не сомневался, что я пьян».

189

Крупному торговцу винами (фр.).

190

Охвачен праздником (фр.).

Ты не имеешь права (фр.).

192

Коллиур — прибрежный город на юго-западе Франции; Дж. Ф. был в нем летом 1948 г. (см. Введение, с. 11). «Бессвязности» — так он называл свои дневники.

193

Кто тебе нужен, так это пудель (фр.).

194

Надежда (фр.).

195

Мировоззрения (нем.).

196

Снятый в 1950 г. фильм повествует о драме религиозного сознания идеалистически настроенного молодого священника, который, окончив семинарию, получает приход в деревне, где прихожане принимают его крайне недружелюбно и даже враждебно.

197

Повесть (фр.).

198

Ничем (фр.).

Вычурные (фр.).

200

В путь! (фр.)

201

Привычны (фр.).

202

Лукавства (фр.).

203

Лимож, расположенный приблизительно в восьмидесяти километрах к юго-востоку от Пуатье, — родной город Джинетты.

204

Мои родители приезжают в воскресенье, и я почти рада уехать из Пуатье. Я провела здесь несколько ужасных дней, ничего не делая и, более того, ничего не желая делать. Для меня невозможно оставаться в Английском клубе, терпеть безжалостные насмешливые взгляды, избегать мест, в которые мы ходили вдвоем, потому что все спрашивают о тебе; короче говоря, находиться в полной изоляции. Это совсем не весело (фр.).

205

Прочитав эти слова в 1993 г., Дж. Ф. объяснил их так: «“Pmassive” — одновременно “пассивный” и “массивный” — довольно наивный неологизм, к которому я довольно часто прибегал в то время. Значение, которое я подразумевал, — страдающий, но стоический, прочный как скала, несмотря ни на что».

206

Город на пути из Пуатье в Лимож, где жила Джинетта, был удобным местом для встреч.

207

Летом 1949 г. Дж. Ф. принимал участие в экспедиции, организованной. Севернским фондом по изучению диких птиц, чтобы подтвердить наличие редкого экземпляра — гаги Стеллера в Арктике. О Шпицбергене — архипелаге островов в Северном Ледовитом океане — Дж. Ф. упоминает часто, хотя на самом Шпицбергене во время этой орнитологической экспедиции (см. Введение, с. 12) не был. Рассказы о необыкновенной уединенности этого места произвели на него глубокое впечатление.

208

Достоверно заявляю, что только тогда начал жить, когда представил себя мертвым. «Исповедь».

209

Мой пуделек (фр.).

210

Подозрительный (фр.).

211

Пассажирском поезде (фр.).

212

Дж. Ф. вспоминает лето 1948 г. См. Введение, с. 11.

213

Подругами (фр.).

Стариков и молодых (фр.).

215

Ужасный ребенок (фр.).

Бестактности (фр.).

217

Острот (фр.).

Игривые истории (фр.).

219

Игривым (фр.).

220

Противный человек (фр.).

221

Сильфида с приплюснутым носом (фр.).

Скорбящей Мадонны (лат.).

223

Дочь народа (фр.).

Шлюха (фр.).

225

Дама полусвета (фр.).

Балетмейстера (фр.).

227

Образцовой домашней хозяйки (фр.).

228

Юный безбородый эгоист (фр.).

229

Лис у Лафонтена (фр.).

230

Остроты (фр.).

231

Интрижку (фр.).

232

Президент (фр.).

233

Старого тигра (фр.).

234

Фонтан взмывает ввысь на 140 м.

235

Гостинице (нем.)

Шайка (фр.).

237

Ель (нем.).

Форель (нем.).

Сердечного согласия (фр.).

240

Все шутники на сцене (фр.).

241

Купанье в юности (фр.).

242

Острот (фр.).

243

Нежное чувство (фр.).

244

Анна (известная как Нинон) де Ланкло (1620–1705) прославилась романами с самыми знаменитыми мужчинами своего времени, ее литературный салон посещали Лафонтен, Расин и Мольер.

245

Построенный в центре старого Инсбрука Голден-дахл (Золотая крыша) — двухэтажная вышка для обозрения, с нее император Максимилиан I обычно следил за дворцовыми развлечениями. Архитектор Николаус Тюринг-старший воздвиг ее в 1594–1596 гг. Ее бросающаяся в глаза крыша составлена из 2600 позолоченных медных пластин.

Водном велосипеде (фр.).

247

Черносмородиновая наливка (фр.).

248

Везелей — горный поселок с пятьюстами жителей, обращенный к Бургундской долине, — знаменит построенной в романском стиле главной церковью аббатства, базиликой Сеп-Мадлен. Считалось что в ней покоятся мощи св. Марии Магдалины; паломники стекались туда вплоть до 1280 г., когда стало известно, что это кости другого человека.

249

Шествие с факелами (фр.).

250

Пожарные (фр.).

251

«Порочный виконт» — Вальмон, в романе Шодерло де Лакло «Опасные связи» он принимает вызов своей сообщницы и корреспондентки маркизы де Мертейль и соблазняет невинную юную девушку Сесиль де Воланж.

«Старое доброе время» (англ.).

253

Остерегайтесь англичан (фр.).

Черт побери, меня перебили (фр.).

255

Целью этого национального фестиваля, проводившегося с мая по сентябрь 1951 г., было поднятие духа нации, прожившей в аскетизме послевоенные годы, в нем приняли участие 18 миллионов человек. По словам министра Герберта Моррисона, курировавшего этот проект, «Англия здесь показывает себя — себе и всему миру». В Лондоне центром мероприятия стала «Выставка на Южном берегу», где демонстрировался только что возведенный комплекс для гуманитарных исследований.

Сассини — бухгалтер семьи.

257

Миллер, Генри. Колосс Маруссийский. На русском языке опубликовано в книге: Генри Миллер. Тропик любви. — М., 2004. — Примеч. пер.

258

Нефтеочистительный завод и хранилище, построенные компанией «Шелл» на острове Канви, на северном берегу устья Темзы.

259

ОЕЭС — Организация европейского экономического сотрудничества, основана в 1948 г., чтобы координировать усилия по восстановлению Европы согласно плану Маршалла.

260

Я пишу тебе письмо, сидя в саду; крошечная роза склоняет свои лепестки — может, она признала друга? Шлю ее тебе. Счастливый цветок! (фр.)

261

Колледж Анаргироса и Коргиаленеоса. Основан согласно завещаниям двух богатых греческих благотворителей, уроженцев Спеце, — табачного барона Сотириоса Анаргироса (1849–1918) и Мариноса Коргиаленеоса (1830–1910). Колледж был создан по типу традиционной английской школы и открыт в 1927 г., его директором стал англичанин Эрик Сломан. «Лучшие семейства отправляли туда учиться своих сыновей, — писал Лоренс Даррелл, — чтобы образовать и воспитать из них будущих государственных деятелей; результат же всегда был, похоже, одинаков — вместо государственных деятелей они становились политиками, а это совсем другая порода».

Старорежимных (фр.).

263

После длительной — пятинедельной — кампании 25 октября состоялись Всеобщие выборы. Лейбористское правительство потерпело поражение, и к власти вновь с перевесом в семнадцать голосов пришли консерваторы во главе с Черчиллем.

По существу (фр.)-

265

По поводу (фр.).

Из простого приличия (фр.).

267

Абадан был центром нефтяной промышленности в Иране. В мае 1951 г., когда иранское правительство национализировало имущество Англо-иранской нефтяной компании, управляемой англичанами, и уволило иностранных сотрудников, разразился международный кризис. Египет же боролся с существованием Зоны канала — территории вдоль Суэцкого канала, оккупированной английскими войсками. В октябре 1951 г. Египет объявил о своем намерении аннулировать англоегипетский договор от 1936 г., согласно которому и была создана Зона канала.

В массе (фр.).

269

Ли-он-Си находился в избирательном округе Саутенд, Уэст. Член консервативной партии и журналист Генри (Чипе) Чэннон (1897–1958) был членом парламента от округа с 1935 г. После его смерти место в парламенте занял его сын Пол Чэннон.

Гарольд Ласки (1893–1950) — профессор политологии в Лондонской школе экономики с 1926 по 1950 г. В книге «Вера, разум и цивилизация» (1944) утверждает, что будущее послевоенного мира связано с «русской идеей». Так же как христианство оживило цивилизацию после падения Римской империи, так и социалистическая революция в России принесет Западу новую эпоху прогресса, в основе которой будет лежать более справедливая и рациональная система социального равенства. Книгу приняли не очень хорошо. Джордж Оруэлл критиковал Ласки за то, что он закрывает глаза на «чистки, расстрелы, диктатуру меньшинства, подавление критики и т. д.».

271

Э.П. Ноубл был директором подготовительной школы Аллин-Корт, где учился Дж. Фаулз.

272

Укрепленный средневековый город Каркасон на юге Франции гордится тремя километрами двойных крепостных стен и сорока восьмью башнями.

Флетчер, поступивший в университет в том же году, что и Дж. Фа-улз, учился на классическом отделении Квинз-Колледжа.

27 4

Родившийся в 1901 г. в ЮАР Рой Кэмпбелл создал себе имя как поэт, автор мемуаров и сатирик, избравший мишенями группу Блумсбери, поэтов Одена, Дей-Льюиса и Спендера. Он разделял любовь Хемингуэя к путешествиям и приключениям, но во время гражданской войны в Испании поддерживал другую сторону. Свое восхищение франкистами он выразил в поэме «Цветущее ружье» (1939), заслужившей суровую критику за предположительно фашистские взгляды автора. Кэмпбелл погиб в 1957 г. в автомобильной катастрофе в Португалии.

Никудышный поэт (фр.).

Денис Шаррокс впоследствии стал близким другом Дж. Ф. Он вырос в Саутпорте, где посещал школу Короля Георга V, затем после военной службы изучал языки и литературу в Ливерпульском университете. С 1948 г. преподавал на английском отделении Колледжа Анаргириоса и Коргиаленеоса. В то время Дж. Ф. не знал, что Кеннета Прингла выгнали из колледжа за гомосексуальные связи с учениками. Директор попросил Шаррокса сопроводить Прингла до Афин, а заодно встретить и привезти на остров нового преподавателя.

Приятной (фр.).

Парадный крытый вход в Акрополь.

279

Небольшой храм на западе Агоры у подножия Акрополя, построен около 450 г. до н. э. и посвящен Гефесту, богу огня.

280

Храм возведен в честь Афины и Посейдона-Эрехтея, в нем усыпальница Цекропса, легендарного основателя Афин; строительство храма завершилось к 395 г. до н. э. Когда стоишь на северной стороне Акрополя, особенно заметно, что этот храм — одно из наиболее совершенных творений древнегреческой архитектуры.

281

Декольтированные (фр.).

282

Галеаццо Чиано (1903–1944) — очень богатый итальянский граф, был министром иностранных дел в правительстве Муссолини, а также его зятем. Под влиянием военных поражений итальянских войск в 1942 г. Чиано склонялся к сепаратному миру с противниками Германии, что стало причиной суда над ним и казни за предательство.

283

Острова Парос и Спеце расположены на южной стороне залива Сароникос, как раз к северо-востоку от Пелопоннеса. Пароход из Пирея сначала останавливался на Паросе, потом в Эрмиони, и наконец, на Спеце. Описание вымышленного острова Фраксоса в «Волхве» точно воспроизводит географию острова.

284

Просматривая дневники спустя сорок лет после их написания, Дж. Ф. сказал следующее: «Думаю, можно считать, что эта январская запись положила начало “Волхву”».

285

Монастырь Св. Николая, являвшийся также кафедральным собором острова, расположен на горе за городом Спеце. Св. Николай — покровитель города Спеце и всех моряков.

286

Добрый день (гр.).

287

Гиппо — прозвище Потамианоса, грека, преподававшего в колледже английский.

Музыкальный вечер (фр.).

289

Франсуа Адриен Буальдье (1775–1834) — крупнейший французский оперный композитор начала XIX в.

290

Девиз Нью-Колледжа, где учился в Оксфорде Дж. Ф., звучал так: «Человека делают манеры».

291

Вид на жительство (фр.).

Сноровки (фр.).

Реставрация в сентябре 1946 г. монархии в Греции разделила страну на враждующие лагери. В декабре 1946 г. из членов военного сопротивления ЭЛ АС была сформирована Демократическая армия Греции (ДАГ), возглавляемая коммунистами. Она действовала преимущественно в горных районах, развернув партизанскую войну против правительственных войск. Обе стороны проявили в борьбе чудовищную жестокость, многие деревни были разрушены, а мирные граждане убиты. В августе 1949 г. ДАГ потерпела поражение, но к этому времени погибло уже более 80 тысяч человек. Это поражение привело к запрету Коммунистической партии Греции (КПГ).

294

Тогдашний греческий премьер-министр генерал Николаос Пластирас (1883–1953) был лидером Национальной прогрессивной партии, вступившей в союз с либералами.

295

Андрей Вышинский (1883–1954) известен как верховный прокурор на процессах 1930-х гг., когда проходила «чистка партии»; с 1949 г. — советский министр иностранных дел.

296

Три острова в заливе Сароникос к северо-востоку от Спеце.

297

Гора на материке примерно в тридцати пяти километрах от Спеце.

298

Таверна называлась «Ламбрис».

299

Славный парень (фр.).

300

«Повсюду — в городе, на холмах, в ручьях, облаках — как снег, летит цвет деревьев» (фр.).

301

То есть с группой студентов, в основном из Туара, с ними Дж. Ф. в предыдущем году путешествовал по Швейцарии, Тиролю и Баварии.

302

«Я не хочу, чтобы теплая дружба превратилась в безнадежную любовь, которая питается короткими встречами и долгой грустью» (фр.).

303

Восхитительно сложенной тайне (фр.).

304

Я совсем не хочу сделать тебе больно, но также не хочу и обольщать до такой степени, что ты забудешь про наши обстоятельства и расстояния, нас разделяющие (фр.).

305

Залив Агиа Параскеви (Святой Пятницы) — там развивается действие романа Дж. Ф. «Волхв».

306

16 февраля 1952 г. журнал «Ныо стейтсмен» опубликовал статью под заголовком «Шанс для королевы», где говорилось, что «категорическое требование национального траура было назойливым и глупым». Там же выражалась надежда, что новый монарх «не упустит возможность изменить порядки при дворе и поддержит образ жизни, соответствующий современной жизни и надеждам народов, которыми управляет страна».

307

Надгробными словами (фр.).

308

Вариант Марди грас у православных греков. Апокриас ежегодно проходит в воскресенье перед чистым понедельником, с которого начинается Великий пост.

309

Игривые (фр.).

310

Зад, задница (англ.). На русский язык Т. Щепкина-Куперник перевела это прозвище как «Основа».

311

С гнильцой (фр.).

Задеть за живое (фр.).

313

В 1939 г. Генри Миллер (1891–1980) ездил в Грецию повидаться со своим другом Лоренсом Дарреллом. В Афинах Даррелл познакомил его с писателем и блестящим рассказчиком Георгосом Кацимбалисом, незаурядным человеком, жившим в Марусси, предместье Афин. «Колосс Маруссийский», впервые опубликованный в 1941 г. сан-францисским издательством «Колт-пресс», — портрет Кацимбалиса, написанный любящей рукой, и рассказ об их совместном путешествии — по инициативе Кацимбалиса — по Греции. Влюбленный в эту страну Миллер называл греков «деятельным, любознательным и пылким народом» и восхищался их «противоречивостью, непоследовательностью и хаотичностью — этими неподдельными человеческими качествами».

Зд.: равнодушие (фр.).

315

Арган — ипохондрик из пьесы Мольера «Мнимый больной».

У него красивые ягодицы (фр.).

317

То есть Кайю Юл, датчанку, с которой у Дж. Ф. был роман во время его пребывания на юге Франции летом 1948 г. См. Введение, с. 12.

«Пападопулос, я отыгрался!» (фр.)

319

Школьный совет управляющих.

320

Софокл Венизелос (1894–1964) — лидер Либеральной партии, разделившей власть с Национально-прогрессивным союзом. Его отец, Элефтериос Венизелос (1864–1936), бывший премьер-министром в 1910–1915, 1924, 1928–1932 и 1933 гг., — самый влиятельный греческий политик первой половины двадцатого столетия.

321

В «Колоссе Маруссийском» Миллер описывает свое пребывание на острове вместе с Кацимбалисом и поэтом Сефериадисом.

322

За что? Что он сделал? (фр.)

323

Я задал ему вопрос, а он мне ответил на английском языке. Вот типчик! (фр.).

324

Так называли огромный дворец, который Нерон построил для себя после большого пожара, уничтожившего половину Рима (64 г. н. э.).

325

То, что уже свершилось (фр.).

Знатная дама (фр.).

327

Профессию (фр.).

328

Непристойное слово, грубо определяющее отношения между полами.

329

Скирон был разбойником, он нападал на путешественников, заставлял их мыть ему ноги, а потом сбрасывал в море. Направляясь в Афины из Трезена, Тесей встретил на своем пути Скирона и обошелся с ним так же. Согласно Овидию, море не захотело принять кости Скирона, и они превратились в те «разбитые скалы», о которых упоминает Дж. Ф.

330

В древности и Средневековье на Акрокоринфе располагался Коринфский акрополь. Развалины бывшего укрепленного сооружения находятся на вершине пятисотметрового холма на краю древнего города.

331

В «Колоссе Маруссийском» Миллер описывает этот спуск в обществе Лоренса Даррелла и его жены Нэнси: «Я отчетливо боялся двух вещей: во-первых, что хлипкая опора у начала спуска обрушится и мы погибнем от удушья в полной темноте, и, во-вторых, что я оступлюсь и покачусь вниз, в яму со змеями, ящерицами и летучими мышами».

332

«Циклопический» — термин для обозначения микенской строительной техники, при которой использовались известняковые глыбы без связующего материала.

333

Герайон — храм богини Геры, покровительницы аргивян, жителей Аргоса. Согласно греческому мифу именно здесь Агамемнона избрали предводителем похода на Трою.

334

Дж. Фаулз посетил руины этих минойских городов во время поездки на Крит на Пасху.

335

Согласно древнегреческому мифу эта гора посвящена Аполлону и музам.

336

Этот небольшой городок в восточной части центральной Греции, в 26 км к западу от Левадии, расположен у подножия горы Парнас, с ее южной стороны.

337

Невозможно. Невозможно (фр.).

Направо… Там нет жилья (гр.).

Да-да, я знаю — направо (гр.).

340

Я не могу (гр.).

341

Привет (гр.).

342

Вот, посмотрите (гр.).

343

Обледеневшие (фр.).

344

У горы Парнас две вершины, между ними небольшая разница в высоте: Ликерий (Волчья гора) — 2457 м; Геронтоврахос (гора Старика) — 2380 м.

345

Греческое название, обозначающее жалкое жилище.

«Здесь я имел в виду литературную славу, успех, — писал Дж. Ф. в 1996 г. — Именно после этого восхождения я впервые поверил в себя как писателя. Надо ли говорить, что это было связано не с осознанием писательского мастерства, а с ощущением поворота в жизни. Тогда же я понял, что полюбил Грецию».

347

Отец Дж. Ф. при предыдущей встрече показал сыну роман, в основу которого были положены его воспоминания о Первой мировой войне.

348

Дж. Ф. собирался присоединиться к той же самой группе студентов, с которой путешествовал в прошлом году по Швейцарии, Тиролю и Баварии.

349

Бальнеологический морской курорт (фр.).

350

Монастырь Св. Томаса. Томас Торквемада (1420–1498), глава инквизиции в Испании, похоронен на территории монастыря.

351

Это гробница не легендарного Дон Жуана, а принца Хуана (1478–1497), единственного сына Фердинанда и Изабеллы.

352

Сосредоточенные в одном месте огромная крепость, монастырь и дворец построены Филиппом II (1527–1598) в пятидесяти километрах к северо-западу от Мадрида.

353

Дж. Ф. имеет в виду «Три возраста человека» (1539): за спиной молодой девушки стоит старуха, которой она станет, и дальше Смерть, которая держит песочные часы. Ганс Балдунг (1484–1545) учился с Альбрехтом Дюрером в Нюрнберге. Грин — его прозвище; возможно, он предпочитал зеленый цвет.

Ревнивец (фр.).

355

Свой роман «Клелия» (1654) Мадлен де Скюдери (1608–1701) снабдила аллегорической «Картой нежности», в которой путь начинается с «Новой дружбы» и заканчивается «Любовью». Путешественник проходит такие пункты, как «Нежность, или Верная дружба», но, если заблудится, рискует угодить в дурные места вроде «утесов Гордости» или «моря Вражды».

356

Поклонник (фр.).

Это для меня. Никто другой ничего здесь не поймет (фр.).

358

Это я и мой Жюль (фр.).

359

Послушайте! Я хочу показать вам фотографию. А вы мне скажете что-нибудь любезное, идет? (фр.).

У него очень серьезный вид {фр.).

361

Кто он по профессии? (фр.).

Он служит во флоте {фр.).

Товарищества (фр.).

364

Трон и алтарь — Пулемет и алтарь (фр.). Согласно Болонскому Конкордату (1515) Франциск I пришел к соглашению с папой (оно было в силе вплоть до Французской революции), по которому французская корона получала полный контроль над распределением высших мест в иерархии французской католической церкви.

365

Кафедральный собор Кордовы, известный как Мечеть, изначально был действительно мечетью халифов Оммейядов; строительство было начато сразу же после захвата города арабскими войсками в VIII в.

Наивность (фр.).

367

Расквасить морду (фр.).

368

Кафедральный собор в Севилье — самое большое готическое строение в мире; построен между 1402 и 1506 гг., в основе — мечеть XII в. Колокольня Гиральда, высотой почти сто метров, первоначально была минаретом.

369

Дворец Алькасар построен королем Педро I в XIV в. и включил в себя фрагменты раннемавританского замка.

Нежность проявляет себя (фр.).

371

Красавица и чудовище (фр.).

А малышка недурна (фр.).

Шиньонетка — та, что носит шиньон, пучок (фр.).

Я с тобой больше не разговариваю. Ты противный (фр.).

Дело (фр.).

Это безобразие (фр.).

377

Никогда не понимаю, что ты хочешь сказать (фр.).

Какая жара! (фр.)

Недурна, если учесть, что цена ей две песеты (фр.).

Да, я беру анализы! (фр.)

— Следовательно, ты ищешь микробов?
— Да, микробов.
— Это интересно?
— Да, мне интересно *(фр.)*.

Тебе это не помешает? (фр.)

383

Я не хочу спать. Давай! (фр.)

— Ну, как?
— Удобно (фр.).

385

Похоже, что-то начинается (фр.).

— Я не помешаю?
— Нисколько (фр.).

Здесь работы часа на два, по меньшей мере (фр.).

388

Какая здесь водится дичь (фр.).

389

Лесочке (фр.).

390

Только взгляните на Джона — он спит; это отвратительно (фр.).

391

Перегородок (исп.).

392

Расположенный на возвышенности близ Гранады комплекс Альгамбры состоит из нескольких дворцов, построенных разными мавританскими правителями. Хотя строительство было начато в четырнадцатом столетии при основателе Насридской династии Ибн-аль-Ахмаре, большая часть того, что можно видеть в наши дни, построена Юсуфом I (1334–1354) и Мохаммедом V (1354–1391). Сотовидными сводами, подковообразными арками и ажурными узорами Альгамбра вызывает в памяти дворцы султанов из «Тысячи и одной ночи».

393

Хассан ибн-аль-Саббах — главарь ливанских разбойников, действовавших в XI в. на территории Персии и Ирака. — Примеч. переводчика.

394

Кариатиды — каменные девы, поддерживающие портик с западной стороны Эрехтейонского храма на территории Акрополя.

395

Вид Моник послужил рождению следующего стихотворения:

Послал ей поцелуй с улыбкой фавна;
Рассмеявшись, она вернула и поцелуй и улыбку
Через залитый утренним солнцем двор.

Она склонилась в окне над шитьем,
Я же, укрывшись в тени и еще до конца не проснувшись,
Весь во власти сна и звезд,
Слежу за пальцами, перебирающими нить,
Как они вспыхивают в солнечном свете.
Она сидит на подоконнике
В голубой пижаме; я же прячусь за стеклянной дверью
И не встаю, уловленный ее шитьем,
Ее веселостью, изяществом и юностью,
И поцелуй, посланной ею,
Для меня важнее всей вечности.

Пансион, Гранада, 20 сентября 1952 г.

Нет, Джон, ты первый увидел… (фр.).

397

Я могу поспать на твоем плече, Джон? Не помешаю? (фр.).

Наглый (фр.).

399

Точная копия «Санта-Марии» в натуральную величину была поставлена на якорь в XIV в. Королевским пароходством в Барселоне, сейчас это экспонат Морского музея. Именно из Барселоны отправился Колумб в свое знаменитое плавание, во время которого открыл Америку.

400

Перпиньян находится всего в нескольких километрах к северу от Коллиура, где Дж. Ф. жил летом 1948 г. См. Введение, с. 11.

401

Озера (фр.).

402

Если тебе неудобно, Джон, рядом с Моник есть свободное место (фр.).

403

С удовольствием туда сяду (фр.).

Получается, что завтра мне работать (фр.).

405

Мы никогда больше не увидимся, Джон (фр.).

406

Я не могу здесь заснуть. Ты не против? (фр.)

Да-да, садись. Я уже выспалась. Правда (фр.).

408

На самом деле Шоле находится приблизительно в пятидесяти километрах к северо-востоку от Туара.

409

Джинетта Маркайо.

410

Рой Кристи родился в 1920 г., учился в одной школе (Короля Георга V в Саутпорте) с Шарроксом, только несколькими годами раньше; потом — в Ливерпульском университете, где они стали друзьями. Кристи вышел из университета архитектором и в 1948 г. начал работать в Кингстонском колледже искусства и архитектуры. Приблизительно в это время он развелся с первой женой, Мари Райт, сокурсницей по университету, на которой женился тремя годами раньше. В 1950 г. Рой женился на Элизабет Уиттон, с ней он познакомился в Кингстоне. В ноябре того же года у них родилась дочь Анна, но и возросшая ответственность за семью не помешала Кристи оставить архитектуру, с тем чтобы профессионально заняться литературой. Обладая романтическим, экстравертным темпераментом, он, говоря словами Дж. Ф., «жил иллюзией, что он Д.Г. Лоуренс». Именно поэтому рассказы Шаррокса о жизни на греческом острове обладали для Кристи особым романтическим обаянием — он чувствовал, что там может в полной мере раскрыться его литературное дарование. Он подал заявку на свободное место учителя и с помощью рекомендательных писем Шаррокса и Дж. Ф. получил это место.

Журналы «Нью стейтсмен» и «Нейшн» критиковали американскую политику свободного рынка и растущую враждебность правительства к Советскому Союзу: по мнению редакций, это могло бы привести к войне.

Никудышного (фр.).

413

В своем 12-томном «Постижении истории» Арнолд Тойнби (1889–1975), очень влиятельная фигура того времени, высказал мысль, что западная цивилизация находится в процессе упадка; изменить ситуацию может только духовное обновление Европы и возвращение к религиозным ценностям.

414

Элизабет Кристи родилась в Уолсолле, близ Бирмингема, 7 октября 1925 г. Ее отец, Эдгар Уиттон, был электриком, мать, Дорис (урожденная Кам), — дочь производителя кисточек для бритья, работала бухгалтером. Сестра, Джоанна, родилась в 1940 г.

415

Восхищение (фр.).

Рой Кристи должен был приехать на Спеце с женой Элизабет и Двухлетней дочерью Анной. Жилье в городке являлось исключением из общего правила: обычно учителя жили в школьных зданиях. «Вы должны жить вне школы! — писал Дж. Ф. Рою в письме, сообщая об условиях, при которых его берут на работу. — Я пытался понять их мотивы и пришел к заключению, что им не хочется, чтобы вы пользовались школьной кухней. Возможно также, они боятся, что Элизабет может отвлекать от занятий учеников (и учителей!)».

417

По курсу того времени 1 фунт равнялся 40 тысячам драхм.

Ранее Дж. Ф. называл его уменьшительным именем Евангелакис.

419

Понимать все (фр.).

420

Таверна на дороге между гаванью и школой. Иногда Дж. Ф. называет это место «У Георгоса».

421

Залив на западном побережье, то есть на отдаленной от поселка Спеце стороне острова.

422

Согласно греческой легенде Бавкида и Филемон были старой супружеской четой и жили бедно в своей хижине во Фригии. Однажды Зевс и Гермес, путешествующие под видом странников, постучались в их хижину и были приняты с таким гостеприимством, что Зевс в благодарность превратил хижину стариков в храм. Там они счастливо жили до глубокой старости. Чтобы ни одному из супругов не пришлось оплакивать другого, Зевс исполнил их просьбу умереть в один день, а после смерти превратил их в деревья, растущие перед храмом из одного корня.

423

Если идти на север от западного побережья, этот залив следующий после залива Анаргироса.

424

Предок Ботасиса был героем греческой борьбы за независимость. Он и его вилла послужили прототипами для Мориса Кончиса и «Бура-пи» в романе Дж. Ф. «Волхв».

425

Горная цепь Парнон на юго-востоке Пелопоннеса идет параллельно побережью залива Арголикос.

426

Написанная зимой 1952 г. «Поездка в Афины» — рассказ о вымышленном путешествии Дж. Ф. по Адриатическому морю на первом году его преподавания в греческой школе.

427

Гостиница в поселке Спеце.

428

Второй день Рождества, когда слуги, посыльные и пр. получают подарки.

429

Отто Олендорф — эсэсовский генерал, возглавлял айнзацгрупп «Д», уничтожившую по меньшей мере 90 тысяч человек в Советской России. Один из главных обвиняемых на процессе; повешен в июне 1951 г.

Повседневной жизни (фр.).

Вариант Марди грас у православных греков. Апокриас ежегодно проходит в воскресенье перед чистым понедельником, с которого начинается Великий пост.

432

Новый учитель в школе.

433

Уроженец Смирны, поэт Георг Сеферис (1900–1971), переехал с семьей в Афины, после того как греков изгнали из Малой Азии. Он работал в греческом дипломатическом корпусе и в 1963 г. получил Нобелевскую премию по литературе «за выдающиеся лирические произведения, вдохновленные любовью к эллинизму».

434

В 1939 г. Генри Миллер (1891–1980) ездил в Грецию повидаться со своим другом Лоренсом Дарреллом. В Афинах Даррелл познакомил его с писателем и блестящим рассказчиком Георгосом Кацимбалисом, незаурядным человеком, жившим в Марусси, предместье Афин. «Колосс Маруссийский», впервые опубликованный в 1941 г. сан-францисским издательством «Колт-пресс», — портрет Кацимбалиса, написанный любящей рукой, и рассказ об их совместном путешествии — по инициативе Кацимбалиса — по Греции. Влюбленный в эту страну Миллер называл греков «деятельным, любознательным и пылким народом» и восхищался их «противоречивостью, непоследовательностью и хаотичностью — этими неподдельными человеческими качествами».

435

Предки греческого поэта Константина Кавафи (1863–1933) жили в Константинополе, он же родился и прожил большую часть жизни в Александрии, будучи на государственной службе. Стихи, которые он сам втайне печатал, при его жизни были известны только друзьям. Признание он обрел после смерти, теперь его называют одним из величайших современных поэтов Средиземноморья.

Прошлогоднем снеге. — Имеются в виду слова из знаменитого рефрена в «Балладе о дамах былых времен» Франсуа Вийона.

437

Дж. Ф. впервые упоминает в дневниках имя дочери Роя и Элизабет. Тогда ей было всего два года. Ее часто оставляли на попечение местного семейства Коркондилас, что давало возможность Элизабет и Рою сопровождать Дж. Ф. в его прогулках по острову и дальних поездках.

438

Хождение туда-сюда (фр.)

Наивности (фр.).

440

Знаменитое старое кафе на улице Панепистимью в центре Афин; закрылось в 2002 г.

441

В Средневековье это место считалось могилой Тезея; теперь оно ассоциируется с храмом Гефеста и зовется Гефестейоном.

442

Парадный крытый вход в Акрополь.

443

Высокий холм на северо-востоке Афин.

444

Одно из последних крупных общественных сооружений, построенных в Афинах, Театр Геродота Аттикуса, был римским театром, возведенным в честь Региллы, жены Геродота, скончавшейся в 160 г.

445

Возвышенность к западу от Акрополя, где в древних Афинах проходило заседание Совета. Там св. Павел произнес свою речь (Деяния, 17. 22–34).

446

Построенный Ликургом в 342–326 гг. до н. э., этот огромный амфитеатр на 20 тысяч мест примыкает с юго-восточной стороны к Акрополю.

Обоих уволили. В письме к Дж. Ф. от 24 июня 1953 г. президент комитета написал: «Директор школы… рекомендует не продлевать с вами контракт на следующий год; он считает, что вы недостаточно квалифицированно исполняете свои обязанности и не участвуете в школьной жизни, как это требуется по контракту».

Вскоре после знакомства с Элизабет Рой Кристи, воспитанный в методистской вере, перешел в католичество, попав под влияние католического мистика и духовного руководителя по имени Фредерик Лор.

449

После развода в 1948 г. с первой женой, Мари, Рой почти сразу же женился снова и, как вспоминает Денис Шаррокс, «на какой-то богачке — возможно, американке, но она сбежала в первый же день медового месяца».

450

В комической поэме Александра Попа «Похищение локона» (1714) «Предприимчивый барон» проводит восхитительный день в обществе молодых красавцев и красавиц во дворце Хэмптон-корт. Когда он срезает локон волос у Белинды, одной из красоток, за которыми он волочится, она бросает ему в лицо щепотку табака и атакует со шпилькой в руках.

Имеются в виду «Поездка в Афины» и «Остров и Греция», где рассказывалось о первом годе преподавания Дж. Ф. на Спеце и путешествии по Греции. В основе третьей книги, написанной зимой 1953 г., — любовная связь, возникшая после появления на острове Роя и Элизабет Кристи. Название «Остров и Греция» тогда объединило все три книги.

452

«Подруга» — Бетти Пейс, ближайшая подруга Элизабет в Бирмингеме

453

Точное выражение (фр.).

Джон Лиделл был подающим надежды, честолюбивым писателем и, подобно Рою, находился под влиянием Фредерика Лора.

455

Джон Уил (р. 1922) писал музыку для английского кино в 1950— 1960-х гг., сочинил также около десятка концертных произведений.

Джинетта Маркайо.

457

Дж. Фаулз имеет в виду Томаса Генри Хаксли (1825–1895), деда Олдоса и Джулиана, профессора естествознания в Королевском горном институте, последователя Дарвина. Он написал несколько значительных трудов по вопросам эволюции, религии и философии.

То есть дядя Стенли. См. Введение, с. 8.

459

Дж. Ф. вступил в ряды Королевского военно-морского флота в конце 1944 г. и после шестинедельной основной подготовки в Диле завершил офицерскую учебу в Терлстоуне (Девоншир). Он вспоминал о своей неспособности «думать на ногах» во время занятий по физической подготовке и слова старшего офицера, заметившего, что из него выйдет плохой морской офицер. Однако он вполне успешно прошел курс обучения и стал офицером военно-морского флота в июле 1945 г.

Боксирование продолжалось три минуты.

461

Эшриджский колледж гражданства размещался в большом особняке вблизи Беркамстеда (Хартфордшир). Основан Консервативной партией как специальное учебное заведение для взрослых в 1929 г. Примыкающий к нему институт благородных девиц создан в 1950 г.

462

Правильно — адмирал, сэр Денис Бойд (1891–1965). Он был 5-м морским лордом во время Второй мировой войны; вышел в отставку в 1949 г.; с 1950 по 1957 г. — директор Эшриджского колледжа.

Неожиданного спасения (букв, бога из машины. — лат.).

Опубликована изд-вом «Рутледж энд Киген Пол» в 1953 г.

Находясь в лишенной смысла Вселенной, экзистенциалист может сделать свою жизнь значительной, осознав, кто он такой и во что верит. Дж. Ф. демонстрирует это индивидуальное сознание на последующих страницах.

Дружелюбия (фр.).

467

Радость жизни (фр.).

Дж. Ф. имеет в виду французского христианского философа-экзис-тенциалиста Габриеля Марселя (1889–1973), делавшего упор в своей философии на важность конкретного опыта, который ставится им выше абстрактного теоретизирования. В «Тайне бытия» (1951) он утверждает: хотя саму жизнь можно рассматривать как факт, ее природа не поддается объективному анализу. Становление человека требует личного погружения в тайну бытия, сущностно связанную с такими непреходящими ценностями, как вера и любовь, которые научное мышление бесстрастного механистического мира старается не замечать.

469

Литтл-Гэддесден — ближайшая к колледжу деревня.

За неимением лучшего (фр.).

Оправдание (фр.).

Существование (фр.).

473

Через несколько дней Элизабет поселилась в Хэмпстеде по адресу: Холли-Хилл, 8.

Долина в Этридже, благоустроена в конце XVIII в.

Существование верности (фр.).

Пол Скотт (1920–1978) позднее прославился как автор цикла романов, известных как «Королевский квартет».

477

На пути (фр.).

478

Простота (лат.)

Наивность (фр.).

480

«Честерфилд» — Филип Дормер Стэнхоп, четвертый граф Честер-филд (1694–1773), государственный деятель и писатель. Точное выражение, приписываемое ему, звучит так: «Краткое наслаждение, нелепое положение и ужасные расходы».

481

В своем эссе «Англичанин — но не британец», 1964 г. (вставлено в «Червоточины», Джонатан Кейп, 1998, с. 96), Дж. Ф. объясняет, почему его так волнует легенда о Робин Гуде. Он говорит о «сохранении в сознании англичанина этого примитивного и в то же время мощного архетипа «справедливого разбойника»… Каждый раз, когда этот человек должен скрываться или мириться с несправедливостью, он прячется среди деревьев». Хотя Дж. Ф. не раз возвращается к этой теме в своем творчестве, единственная опубликованная работа, затрагивающая ее, рассказ «Бедный Коко» в «Башне из черного дерева».

Вздернутый (фр.).

483

Конец игры (фр.).

В 1952 г. США взорвали водородную бомбу, Советский Союз сделал то же самое годом позже. 26 июля СССР предложил созвать конференцию по проблемам коллективной европейской безопасности, подчеркнув разрушительность нового оружия и вытекающую отсюда важность установления контроля над ним.

В Индокитае Франция и ее союзники в течение восьми лет вели войну с Вьетнамом. В июле 1954 г. состоялась международная конференция, которой предстояло обсудить условия заключения мира. 21 июля было решено разделить Вьетнам на две части: коммунистический Вьетнам *осуществлял* контроль над территорией страны севернее 17-й параллели. В течение двух лет должны были состояться выборы, им предстояло определить дальнейшее будущее страны.

28 июля Британия и Египет заключили соглашение, согласно которому британские войска должны были в течение двадцати месяцев покинуть зону Суэцкого канала.

485

Питера Уолша В. Вулф описывает как «очаровательного, умного, обо всем имеющего собственное мнение», он давний друг Клариссы Дэллоуэй, которого она оставила, чтобы выйти замуж за члена парламента.

Влечение к грязи (фр.).

487

Чтобы жить вместе с Элизабет, Дж. Ф. устроился на работу в колледж Св. Годрика в Хэмпстеде, готовивший секретарей и переводчиков.

488

За долгие столетия сложилось много версий этого средневекового рыцарского романа, в основе которого лежит кельтская легенда, но центральные события следующие… Корнуоллский король Марк хочет жениться на принцессе Изольде. Он посылает племянника Тристана в Ирландию, чтобы тот от имени дяди сделал ей предложение. Предложение принимается, но на обратном пути в Корнуолл Тристан и Изольда случайно выпивают любовный напиток, который мать Изольды приготовила для дочери и короля Марка. Роковым образом они влюбляются друг в друга. Марк предпринимает много попыток поймать их и наказать, но в конце концов Тристан решает, что должен оставить Изольду и отправиться в изгнание в Британию. Там он женится на дочери герцога Изольде Белоручке только из-за ее имени, но в супружеские отношения с ней не вступает. Раненный отравленной стрелой, он посылает за любимой Изольдой — единственной, кто может его исцелить. Если она согласится приехать, на корабле должны быть белые паруса, если нет — черные. Но ревнивая жена Тристана, видя белые паруса и Изольду на палубе корабля, говорит мужу, что корабль идет под черными парусами. Тристан гибнет, а прибывшая слишком поздно Изольда тоже умирает, не в силах перенести такое горе.

489

Джон Лавридж, чьей семье принадлежал Св. Годрик, был годом старше Дж. Ф. Долгое время состоял в партии тори, выдвигал свою кандидатуру в парламент от Аберавона (1951) и Брикстона (1952), но оба раза не прошел. В конце концов избран членом парламента сначала от Хорнчерча (1970–1974), а затем от Апминстера (1974–1983). В 1988 г. возведен в рыцарское достоинство.

Но надо жить (фр.).

491

Энтони Элперс, Джонатан Кейп, 1954.

492

Кэтрин Мэнсфилд познакомилась с Джоном Миддлтоном Марри в декабре 1911 года, когда отдала один рассказ в «Ритм», литературный журнал, который он редактировал. Мэнсфилд к тому времени разошлась с первым мужем и предложила Марри часть своей квартиры. Они полюбили друг друга и в течение следующих трех лет жили весьма бедно на скромные литературные заработки и постоянно искали недорогое жилье, где могли бы чувствовать себя комфортно. В их отношениях появилось напряжение, когда Мэнсфилд стала уставать от того, что Элперс называет «давящей рассудочностью», и стала стремиться к лучшей и более беспечной жизни.

493

Ксантиппа — жена Сократа, известная скверным характером.

Белая ночь (фр.).

495

Подземная темница (фр.).

496

Поставленный Жаном Кокто в 1943 г. вместе с режиссером Жаном Деланua фильм «Вечное возвращение» был современной версией истории Тристана и Изольды.

497

Зловещий гипнотизер, герой романа Джорджа дю Морье «Трильби».

В «Тезее», последнем романе Жида, Тезей побеждает Минотавра, влюбляется в Ариадну, дочь царя Миноса, но в Наксосе бросает ее. Затем приходит в Афины, поселяется там и доживает до глубокой старости. Он изображен абсолютно «свободным человеком» — личностью, сумевшей освободиться от уз прошлого, от чувства вины и сожалений.

499

Воспитанность, находчивость *(фр.)*.

500

Смысл жизни (фр.).

501

Молли Лор — жена Фредерика Лора, религиозного наставника Роя. Рой поручил Анну ее заботам.

502

Самый большой в мире сборник английской клавирной музыки XVI–XVII вв., записанный Фрэнсисом Треджианом (1574–1619), когда он сидел в тюрьме Флит за неповиновение власти. Наиболее выдающиеся композиторы — Уильям Берд, Джон Бул и Джайлс Фарнеби.

503

Джайлс Фарнеби (1563–1640) сочинял мадригалы, музыку для псалмов и много клавирной музыки. Уильям Берд (1540–1623) — композитор, музыкальный издатель. Хотя его несколько раз привлекали к суду как католика, не посещавшего англиканские службы, он писал музыку и для англиканских, и для католических богослужений, а также мадригалы и песни для струнных инструментов. Лютнист и композитор Джон Дауленд (1563–1626) считается чуть ли не самым значительным сочинителем музыки для лютни.

504

В этом рассказе мужчина убеждает свою подругу сделать аборт. Разговор кладет начало недоверию и разладу между любовниками. Девушка знает, что их отношения никогда не станут прежними, хотя мужчина уверяет ее в обратном.

505

Эдвига Фейер (1907–1998) — известная актриса французского театра и кино. После ее удачного выступления в роли Маргариты Готье в «Даме с камелиями» на Эдинбургском фестивале пьесу взял лондонский театр «Дьюк-оф-Йорк», где ее и смотрели Дж. Ф. и Элизабет. На следующий день они видели Астера и Карон в фильме «Долгоножка».

506

Поль Скаррон (1610–1660) — поэт, сатирик и драматург, его комедии предвосхитили стиль Мольера. Наиболее известная из них «Жодле, или Хозяин-слуга» (1645).

507

Хотя журналы рассказ отвергли, однако он — всего один из рассказов Дж. Ф. этого времени — сохранился. Это история человека, который шпионит за трудно живущим молодым писателем и его любовницей, пишет писателю письма, но не отправляет. Чувство несостоятельности толкает его со временем на самоубийство.

508

Римский поэт Марк Валерий Марциал (40—104); в двенадцати книгах эпиграмм дал остроумный, правдивый и подчас язвительный комментарий к жизни тогдашнего Рима.

509

Радиоверсия пьесы Лиллиан Хеллман 1941 г. об американской семье, которая вдруг понимает опасность нейтральной позиции, когда их дочь возвращается из Европы женой немца — противника нацистского режима.

510

Фильм снят по повести Стивена Крейна; герой — молодой новобранец, который получает первое боевое крещение во время Гражданской войны в Америке.

511

Фильм снят режиссером Марселем Паньолем в 1936 г. с Ремю в роли Сезара, хозяина бара в Марселе; это третий фильм в трилогии Паньоля «Мариус».

512

«Горное озерцо» (1936) — единственный роман Сирил Коннолли, которая вместе со Стивеном Спендером основала литературный журнал «Горизонт». В романе рассказывается о приключениях молодого литератора из Оксфорда, который проводит лето в артистической колонии экспатриантов на Французской Ривьере. Вначале он бесстрастно изучает жизнь колонии, словно натуралист, изучающий жизнь в горном озерце, но постепенно сам оказывается вовлеченным в их мир.

513

Премьера пьесы Сэмюеля Беккета, поставленной Питером Холлом, состоялась 3 августа 1955 г. в «Артс тиэтр клаб»; 12 сентября спектакль перенесли в «Крайтерион тиэтр», где он долго и с успехом шел.

514

Международный союз защиты природы — организация, созданная в 1948 г под эгидой ЮНЕСКО и французского правительства.

515

Переложение для радио сатирического романа Кристофера Ишервуда о киноиндустрии; действие романа разворачивается в Вене 1930-х гг.

516

Полковник авиации Питер Таунсенд (1914–1995) — герой Второй мировой войны и королевский конюший; с 1953 г. у принцессы Маргарет был с ним довольно открытый роман, вызывавший особенное неприятие у королевской семьи из-за того, что Таунсенд был разведен. Вечером 31 октября 1955 г. принцесса Маргарет сделала сообщение из Кларенс-Хаус: «Хотелось бы, чтобы все знали: я решила не выходить замуж за полковника Питера Таунсенда. Я знала, что, отрекшись от прав на престол, могу вступить в гражданский брак. Но, памятуя, что согласно Церковному учению христианский брак нерушим, и сознавая свой долг перед содружеством, решила поставить эти соображения выше всего остального».

517

«Корабль ее величества “Одиссей”» — первый роман поставщика приключенческих бестселлеров Алистера Маклина (1922–1987). Ему предложили написать роман в издательстве «Уильям Коллинз» после того, как он за год до этого занял первое место в конкурсе на лучший рассказ.

То есть (фр.).

519

Джерард Мэнселл (р. 1921) в то время работал на европейском канале Би-би-си. Предсказание Дж. Ф. сбылось: он действительно далеко пошел — стал руководителем программ на радио Би-би-си (1970) и заместителем генерального директора Би-би-си (1977–1981).

«При закрытых дверях» — пьеса Ж.-П. Сартра.

521

Светский брак (фр.).

522

Навязчивая мысль (фр.).

Оксфордский словарь английского языка. — *Примеч. переводчика.*

524

Содержащий поэзию, прозу и литературную критику ежеквартальный журнал «Стэнд» был основан в 1952 г. поэтом Ионой Силкиным (1930–1997); в его задачу входила «попытка поправить интеллектуальную ситуацию как для читателя, так и для поэта».

525

Ничего не меняется (фр.).

526

Комедия масок, комедия дель арте (ит.).

527

«Плохой» фильм — итальянская картина «Улисс» (1954) с Керком Дугласом и Сильваной Маньяно в роли Цирцеи.

528

Провокатор (фр.).

529

К этому времени Ронни Пейн был парижским корреспондентом «Дейли телеграф».

530

Миссис Клэр Льюс (1903–1987) была в 1953 г. назначена американским послом в Италии; приступив к работе, стала периодически болеть. Со временем выяснилось, что в краске на стенах ее спальни было большое количество мышьяка. Эту историю донес до общественности вышедший 16 июля еженедельник «Тайм». Владельцем журнала был Генри Р. Льюс, муж миссис Льюс.

531

Один из де ла Маготьеров преподавал в Св. Годрике.

532

Родившийся в 1914 г. в Стамбуле Орхан Вели — выдающийся турецкий поэт и редактор литературного журнала «Япрак». Страдавший алкоголизмом, он в 1950 г. умер от кровоизлияния в мозг.

533

26 июля 1956 г. после отказа англичан финансировать строительство Асуанской плотины президент Египта Насер национализировал Суэцкий канал, принадлежавший франко-британской компании «Суэцкий канал». Английское правительство, заявив, что оно не готово видеть канал в неограниченной собственности Египта, направило в зону конфликта военные корабли и призвало на военную службу резервистов.

534

Огромный успех вышедшего в 1954 г. романа Кингсли Эмиса о преподавателе провинциального университета породил моду на протестную литературу и явился предпосылкой возникновения — после пьесы Осборна — движения «сердитых молодых людей». После премьеры в мае 1956 г. пьесы «Оглянись во гневе» критики сошлись во мнении, что Осборн создал скорее проповедь, чем добротную пьесу. «Общая направленность пьесы неадекватна, — объявила «Таймс». — Пьеса состоит по большей части из гневных тирад». Заметными исключениями среди откликов стали рецензии Гарольда Хобсона в «Санди тайме» и Кеннета Тайнана в «Обсервер» — оба дали восторженные отзывы. Дж. Ф., должно быть, видел первую постановку труппы «Инглиш стейдж компани» под руководством Тони Ричардсона в театре «Ройял корт». Премьера состоялась 8 мая 1956 г.; пьеса держалась в репертуаре театра до 27 октября того же года.

535

25 октября Россия направила советские войска на подавление антикоммунистического восстания в Венгрии. 29 октября израильские войска вторглись в Египет и стали продвигаться к Суэцкому каналу. На следующий день английский премьер-министр сэр Энтони Иден заявил в парламенте, что французское и английское правительства предъявили ультиматум одновременно Египту и Израилю с требованием отвести войска от зоны Суэцкого канала, иначе туда войдут объединенные англо-французские вооруженные силы.

536

В девичестве Фелиция Доротея Браун; родилась в 1793 г., в пятнадцать лет опубликовала первый (из многих) поэтический сборник. Ее стихи с преобладанием историко-патриотической тематики пользовались бешеной популярностью; среди них особой известности удостоилось стихотворение «Касабьянка», первая строка которого звучала так: «Юноша стоял на пылающей палубе…» В 1812 г. вышла замуж за капитана Хеменза и родила от него пятерых сыновей; в 1818 г. супруги расстались. Умерла поэтесса в 1835 г.

537

Анна Радклиф (1764–1823) больше известна как автор таких готических романов, как «Удольфские тайны» (1794) и «Итальянец» (1797).

538

Фанни Кембл (1809–1893) — дочь актера Чарлза Кембла и сама чрезвычайно популярная актриса своего времени. Она, однако, не чувствовала расположения к актерскому ремеслу и так писала о своей сценической карьере: «Выступая перед публикой, я всегда испытывала чувство неловкости». В 1834 г. вышла замуж за американского плантатора Пирса Батлера, но, потрясенная обращением с рабами, развелась с ним в 1849 г. и после опубликования «Дневника, написанного во время пребывания на плантации в Джорджии» (1863) обрела репутацию последовательной аболиционистки. Кроме этой книги и единственного сборника стихов (1844) она написала несколько томов мемуаров, ряд пьес, переводила Дюма и Шиллера.

539

Уроженка Лиона, поэтесса Луиза Лабе (1525–1565) писала любовные элегии и сонеты.

Дж. Ф. имеет в виду вторую часть, главу седьмую («Порох»). Беспринципный политик Джеймс Хартхауз вынашивает план соблазнения хорошенькой Луизы Баундерби, состоящей в несчастливом браке с богатым стариком Джошуа Баундерби. Большие долги Тома Грэдграйнда, любимого брата Луизы, могут вынудить его влиять на чувства сестры. У озера в поместье Баундерби Хартхауз говорит Тому, что тот «здорово влип». Том рвет на мелкие клочки розовые бутоны, что говорит о его крайнем волнении: «Теперь он уже грыз бутоны, извлекая их остатки изо рта дрожащими, как у старика, руками».

541

Имеется в виду французский художник Шарль Мерийон (1821–1868), среди его работ наиболее известны зарисовки архитектуры Парижа.

542

Альфред Адлер (1870–1937) разработал метод «индивидуальной психологии», в основе которого тезис о том, что ключевая мотивация человеческого поведения — потребность в самореализации. Когда эта потребность подавлена, возникают чувство неадекватности и как следствие — попытки компенсации, могущие развиться в комплекс неполноценности, Делающийся доминирующим мотивом поведения индивидуума.

543

Дневник инсценирован Альбертом Хеккетом и Фрэнсис Гудрич. Драма, годом раньше поставленная на Бродвее и получившая премию «Тони» за лучшую пьесу года, впервые увидела свет рампы в Лондоне 29 ноября 1956 года на сцене театра «Феникс».

544

Эпический фильм Д.У. Гриффита об американской Гражданской войне, выпущенный в 1915 году, создан по мотивам пьесы Томаса Дик-сона-младшего «Человек клана». Фильм получил дурную известность как апология ку-клукс-клана, но благодаря своей художественной новизне стал вехой в истории раннего голливудского кинематографа: в нем впервые оказалось продемонстрировано множество технических приемов, которые станут хрестоматийными: от параллельного действия до крупного плана.

545

Роберт Керзон (1810–1872) — 14-й барон Зук. «Поездка по монастырям Леванта» (1849) стала итогом его странствий по Греции, Палестине и Египту в поисках древних папирусов.

Приблизительно на расстоянии мили в глубь берега от Ли-он-Си, нависая над лугами Эссекса и устьем Темзы, разместились руины построенного в XIII в. замка Хэдли, в свое время послужившего натурой для картины Констебла.

Категории «немо» Дж. Ф. посвятит главу в своей философской работе «Аристос» (1965).

548

Персонаж романа Генри Филдинга «Приключения Джозефа Эндрюса и его друга м-ра Абрахама Адамса» (1742): провинциальный джентльмен, которого Эндрюс встречает в ходе своих странствий. Подробно повествуя о своей жизни, он рассказывает Эндрюсу, как после многих злоключений в Лондоне обрел любовь и семью и, распрощавшись с опустошенностью большого города, благополучно зажил в провинции.

549

Неподдельной любви (фр.).

550

Согласно учению философа досократовского периода Гераклита Эфесского (ок. 540–480 гг. до н. э.), Вселенная являет собой непрерывное столкновение противоположностей, управляемое Логосом (разумом). Основной водораздел в мире людей пролегает между hoi aristoi (благими) и hoi polloi (большинством). Aristoi воплощают интеллектуальную элиту, благодаря которой общество прогрессивно развивается; hoi polloi бездумно следуют по предначертанному им пути. Воплощением наивысшего блага является aristos — «лучший или самый замечательный среди себе подобных человек или предмет». Дж. Ф. опирался на учение Гераклита как в романе «Волхв», так и в своем философском трактате «Аристос». Во второй половине 1950-х гг. эти два замысла развивались параллельно, порой пересекаясь; на протяжении какого-то времени Дж. Ф. даже раздумывал, не назвать ли свой роман «Магарис-тос». Комментарий Кончиса к учению Гераклита, о котором упоминает здесь Дж. Ф. как о дополнении к роману «Волхв», в конечном итоге обособился в книгу, вышедшую под названием «Аристос».

551

Дж. Ф. имеет в виду Медицинский исследовательский институт в Маунт-Верноне, в Хэмпстеде, где недавно приступила к работе Элизабет.

Другими (фр.).

553

Джоанна.

См. Введение, с. 8.

555

Дед Дж. Ф. по материнской линии, Джон Ричардс (1864–1930), уроженец Корнуолла, обосновавшийся в Лондоне вскоре после своей женитьбы на Элизабет Пэско Уир, был главным закупщиком кружев Для товарного склада фирмы Джона Льюиса. Глэдис Мэй — старшая из Двух его детей — родилась в 1899 г., младший, Стенли, — в 1905 г.

556

Альфред Адлер (1870–1937) разработал метод «индивидуальной психологии», в основе которого тезис о том, что ключевая мотивация человеческого поведения — потребность в самореализации. Когда эта потребность подавлена, возникают чувство неадекватности и как следствие — попытки компенсации, могущие развиться в комплекс неполноценности, Делающийся доминирующим мотивом поведения индивидуума.

«Гордость и предубеждение».

558

После того как брат Лоренцо сообщает Ромео, что он изгнан из Вероны, тот падает на землю и угрожает покончить самоубийством. Брат укоряет его:

Стой, удержи отчаянную руку.
Мужчина ль ты! Да, с виду ты мужчина,
Но плачешь ты по-женски, а поступки
Гнев зверя неразумный выдают.
Ты — женщина во образе мужчины
Иль дикий зверь во образе обоих.
Ты изумил меня, клянусь святыми.
Благоразумней я тебя считал!

(Перевод Т. Щепкиной-Куперник)

559

Матери (нем.).

560

Медицинский исследовательский институт.

561

Стефан Малларме (1842–1898) полагал, что главная задача поэта заключается в выражении идеала — не в описании, к примеру, того или иного цветка, но в воплощении сущности всех цветов. Стремясь достичь этого, он обрек себя на пожизненное единоборство со словом в процессе создания более насыщенного поэтического языка, которому было бы под силу выразить подобные сущности.

562

Фрэнсис Мэри Пирд (1835–1922) была плодовитым автором исторических и остросюжетных романов, адресованных по большей части юным девушкам. В «Одном годе» запечатлена история осиротевшей дочери французского художника Урсулы, на протяжении двенадцати месяцев переживавшей изменение настроений от печали к счастью.

563

Миссис Хофланд (1770–1844) — популярный автор книг для детей и весьма напыщенных нравоучительных историй. Была женой пейзажиста Томаса Кристофера Хофланда.

«Шейх» — опубликованный в 1919 г. первый роман жены фермера-свиновода из Дербишира Эдит Мод Халл. Его главную героиню — английскую аристократку Дайану Мэйо похищает в пустыне арабский шейх. Поначалу оказывая похитителю яростное сопротивление, она вновь и вновь становится жертвой грубого насилия, но постепенно проникается любовью к своему мучителю, который оказывается некогда потерянным и забытым сыном английского дворянина. Критики восприняли роман как образец порнографического чтива, однако он стал бестселлером и в 1921 г. был экранизирован с участием Рудольфа Валентино.

565

Во второй декаде мая на протяжении недели Московский Художественный театр показал на сцене театра «Садлерз Уэллс» три пьесы Чехова — «Вишневый сад», «Три сестры» и «Дядя Ваня». Разбирая последнюю, рецензент «Таймс» писал об игре актеров: «Это впечатляющая демонстрация того, как актеры, работающие в постоянном составе, вечер за вечером выходят на сцену после долгих месяцев изматывающих репетиций с неподдельной свежестью и непосредственностью чувств» («Таймс», 19 мая 1958 г.).

566

В книге «Глубины эксперимента» («Раутледж и Киган Пол», 1955) П.У. Мартин подверг анализу различные аспекты того, как психолог Карл Юнг, поэт Т.С. Элиот и историк А. Дж. Тойнби, каждый по-своему, прибегают к «мифологическому методу» — иными словами, исследуют символы, видения и идеи, которые, оказывая воздействие на бессознательное, побуждают массы людей открывать новые ценности и цели существования. Полагая, что в подавляющем большинстве случаев данным методом, искажая его суть, пользовались носители тоталитарных идеологий, Мартин намечал пути его применения в более гуманных целях.

567

Юнговский архетип мифической праматери.

568

«Простаки за границей» — комическое изложение пешего путешествия священнослужителя Джозефа Твичелла по Германии, Швейцарии и Италии в 1878 г. Компаньоном последнего в этом походе становится некий м-р Харрис, нанятый «в качестве агента».

569

Сточный желоб (фр.).

Так проходит… (лат.)

Женскую школу второй ступени перевели в новое здание в Эйлсбери, а спустя еще год в поместье Эшридж найдет себе приют новое образовательное учреждение — Эшриджский колледж менеджмента; в этом качестве он существует и по сей день.

Острое (фр.).

573

Индрани Баджпай Рахман (1930–1999) — дочь хорошо известной танцовщицы и педагога Раджини Деви, в ряде гастрольных турне по разным частям света познакомила зрительские аудитории с искусством классического индийского танца. Программу данного ее турне составил практикуемый на юге Индии танцевальный стиль «бхарата натъям».

Правдоподобен (фр.).

Неправдоподобным (фр.).

Роман Джона Брейна (1957) описывает карьеру авантюриста Джо Лэмптона, с помощью интриг и секса пробивающего себе путь наверх в провинциальном городке. Денри Мэкину — главному герою романа Арнолда Беннетта «Фигура» (1911) — свойственна та же жажда материального преуспеяния, которого он добивается столь же авантюристично, возвышаясь от скромной должности служащего юридической конторы до поста мэра города Барсли.

Манерность (фр.).

578

Герой второго романа Ф. Скотта Фицджеральда (1922) Энтони Пэтч женится на женщине великосветского круга Глории Гилберт, пуская по ветру завещанное ему огромное состояние. Говоря словами Фицджеральда, обоих героев «выносит на отмель досужих развлечений».

579

В просторечии "мастер" (фр.).

580

Поживем — увидим (фр.).

581

Спасайся кто может (фр.).

582

См. с. 65.

583

Ложные выводы (лат.).

Задуманная как мозаика фрагментов повествования, эта неопубликованная рукопись, которую автор будет не раз перерабатывать в последующие годы, начинается с рассказа о несчастной любовной связи его друга, перерастая затем в роман о начале супружеской жизни Дж. Ф.

585

Лоррейн Робинсон.

586

Коммодор воздушного флота — кузен Джона Лавриджа, руководивший в колледже административной деятельностью.

587

Лоррейн Робинсон оставила свой пост в колледже Св. Годрика, чтобы соединиться со своим избранником во Франции.

588

Став лондонским джентльменом, Пип спустя много лет возвращается в дом мисс Хэвишем. В нем снова вспыхивает страсть к ее воспитаннице — прекрасной Эстелле. Эстелла предупреждает его: у нее нет сердца, — но мисс Хэвишем, некогда покинутая собственным возлюбленным в день свадьбы, побуждает его любить Эстеллу, несмотря на все ее бессердечие: «Если она к тебе благоволит — люби ее! Если мучит тебя — все равно люби! Если разорвет твое сердце в клочки — а чем старше человек, тем это больнее, — люби ее, люби ее, люби!» *(Пер. М. Лорие.)*

589

Выражение «Вам никогда не бывало так хорошо» ассоциировалось в широком общественном мнении с развертывавшейся в этот период предвыборной кампанией консервативной партии. Некогда бывшее лозунгом демократической партии США, выдвинутым на выборах 1952 г., оно было взято на вооружение премьер-министром Гарольдом Макмилланом; в речи, произнесенной в июле 1957 г., он заявил: «Будем откровенны: большинству нашего народа никогда еще не бывало так хорошо».

Всеобщие выборы прошли 8 октября 1959 г. Несмотря на целый ряд провалов во внешней политике, консерваторы одержали очередную победу, получив сто мест в парламенте. В ноябре 1956 г., после перемирия, заключенного под эгидой ООН, англичане вынуждены были вывести свои войска из зоны Суэцкого канала. На Кипре кампания вооруженного протеста против британского правления, вкупе с нарастающими конфликтами между греческой и турецкой общинами, привела к убийственному британскому плану разделения острова на две зоны. В находившемся под британским протекторатом Адене, после того как в 1958 г. там было введено чрезвычайное положение, с новой силой зазвучали голоса арабских националистов, требовавших независимости.

591

«Беппо. Венецианская повесть» (1818) лорда Байрона, переданная вечером по третьей программе Би-би-си.

Общество распространения христианских знаний.

593

Ни (фр.).

Музы Сицилии…

Эклога IV, написанная в 40 г. до н. э., предвещает появление ребенка, в правление которого воцарится всеобщий мир и на Земле вновь настанет Золотой век.

«Последний век», «Дева грядет к нам опять», «снова с высоких небес посылается новое племя», «род золотой» (лат.).

597

Люблю и ненавижу (лат.).

598

Влиятельное направление в литературной критике США середины XX в., согласно постулатам которого стихи следует рассматривать как самодостаточные объекты без учета внешних условий их создания.

599

Район Древнего Рима, вошедший в поговорку царившими в нем нищетой и пороками.

600

Джос Сэдли — один из персонажей романа Теккерея «Ярмарка тщеславия»: разжиревший лентяй и обжора, брат школьной подруги Бекки Шарп Эмилии, которого Бекки, рассчитывая на его состояние, безуспешно старается женить на себе.

601

Джон Флетчер, коллега Дж. Ф. по колледжу Св. Годрика.

602

Кингсдаун — деревушка на побережье Кента в двух милях к югу от Дила.

603

Две отстоящие одна от другой на три мили и расположенные в пяти милях от берега деревушки в районе Дувр — Фолкстон, графство Кент.

604

Сент-Маргарет-на-Утесе — небольшой городок в бухте Сент-Маргарет в трех милях вверх по побережью от Дувра.

605

Снискавший известность своей жизнерадостной натурой и за свой «замечательный талант и искусство проповедовать» назначенный королем Яковом I придворным капелланом Ричард Корбет (1582–1635) писал стихи — по большей части сатирического свойства. Был возведен в сан епископа Оксфордского, а затем Норвичского.

606

В романе Гюстава Флобера «Воспитание чувств» студент-юрист Фредерик Моро влюбляется в мадам Арну, но не находит в себе мужества признаться ей в своих чувствах. Мадам Арну с мужем уезжают из Парижа, а Фредерик проводит много лет в странствиях, затем возвращается в Париж, все еще влюбленный в нее. Спустя еще несколько лет он вновь встречает мадам Арну. Они говорят о том, что могло бы статься, ибо она догадывалась о его чувствах и ощущала взаимную привязанность. Потом она покидает его, даря на память прядь своих волос, уже поседевших.

«И это было все» (фр.).

608

Эдвард Казобон — в романе «Миддлмарч» педантичный священнослужитель и ученый, сочетающийся браком с Доротеей Брук, девушкой намного моложе его, в надежде, что ее присутствие развеет одинокую тоску его ученых студий. Он умирает, не успевая взять с нее обещание, что она приведет в порядок его заметки к «Ключу ко всем мифологиям» — труду, который отнял у него много лет.

609

Сверху вниз (фр.).

610

Острая (фр.).

611

Эта выставка, организованная Советом по делам искусств, была открыта в галерее Тейт с 6 июля по 18 сентября I960 г. и собрала рекордное число посетителей — 450 тыс. человек.

612

См. с. 498.

613

Выступив на Эдинбургском фестивале, эта труппа на протяжении недели гастролировала в лондонском театре «Скала». Из двух представленных ею на гастролях хореографических драм Дж. Ф. увидел «Панча-тантру» («Искусство заводить друзей»), состоявшую из ряда сказок в стиле Эзопа.

614

Простейшей музыки (лат.).

615

После соития (лат.).

616

Разрабатывая идеальный поэтический язык, Малларме неустанно стремился к недостижимому идеалу художественного совершенства. Как и Дж. Ф. на данном этапе своего жизненного пути, Малларме зарабатывал на жизнь, преподавая английский. См. примеч. 1 на с. 540.

617

Систему (лат.).

618

Дороти Осборн (1627–1695) познакомилась с сэром Уильямом Темплом (1628 1699), дипломатом и эссеистом, в 1648 г. на острове Уайт и, вопреки сильному сопротивлению со стороны своей семьи, вышла за него замуж в 1654 г. «Любовные письма» писались на протяжении двух лет, предшествовавших этому браку. Впервые были опубликованы как приложение к биографии Темпла, написанной Т.П. Кортни, а позднее, в 1888 г., напечатаны отдельно.

619

Это или искусство, или любовь (фр.).

620

В оде 3.4 Гораций взывает к музам наделить его вдохновением и мудростью.

621

15 декабря 1960 года Шекспировский мемориальный театр, который вскоре переименуют в Королевский Шекспировский театр, переехал в новое лондонское помещение — «Олд Вик». В открывшей сезон постановке Пегги Эшкрофт сыграла главную роль.

622

В главе 1 «На ловле» папаша Хэксем и его дочь Лиззи, плывущие по Темзе, обнаруживают труп.

623

В образах Венирингов и Подснепов Диккенс сатирически показывает представителей новой формации дельцов из среднего класса, разбогатевших на спекуляциях и по большому счету глухих к социальным проблемам своего времени.

624

Хромая молодая портниха, настоящее имя которой Фанни Кливер. Она заботится о своем пьющем отце и сдает комнату Лиззи Хэксем, к которой относится с неизменной преданностью.

625

Человеческий голос (лат.).

626

Юджин Рэйберн — досужий юрист из высшего сословия, влюбляющийся и в конечном счете сочетающийся браком с Лиззи Хэксем. Он едва не погибает, когда его сталкивает в реку Брэдли Хэдстон, другой претендент на руку девушки, но Лиззи спасает его и роман приближается к традиционному, счастливому для его героев финалу.

627

В фильме Ричарда Брукса, снятом в I960 г., Берт Ланкастер сыграл роль коммивояжера с темным прошлым, становящегося религиозным проповедником. Оказавшись в приходе сестры Шарон Фалконер (Джин Симмонс), он посредством своих зажигательных проповедей помогает ей осуществить давнюю мечту — основать собственное вероучение. В сценарии фильма нашла отражение лишь первая половина романа Синклера Льюиса (1927). В фильме также появился Джордж Бэббит — жаждущий более увлекательной жизни бизнесмен со Среднего Запада, фигурирующий в одноименном романе того же автора (1922).

628

Ухоженная (фр.).

629

Изучив право, Мишель Эйкем Монтень (1533–1592) стал советником парламента в Бордо, а в 1571 г. удалился в свое поместье в Мон-тене в провинции Периге, где и написал «Essais» («Опыты»). Ему принадлежит и само это слово: эссе — не что иное, как assay, испытание на прочность мысли или идеи. «Опыты» являют собой попытку обрести мудрость, анализируя собственные привычки, мысли и чувства, равно как и те, что бытуют в обществе; попытку, все более неуклонно подводящую к выводу, что подобная мудрость недостижима. Недаром с 1576 г. его девизом стало «Que sais-je?» («Как знать?»). Монтеневские бескомпромиссные поиски истины стали для Дж. Ф. источником вдохновения в процессе создания дневников.

Дж. Ф. имеет в виду обыкновение Монтеня перескакивать с одной темы на другую (sauter de coq à l’âne).

631

В 1845 г. американский литератор Генри Дэвид Торо (1817–1862), удалившись от общества, выстроил для себя бревенчатую хижину на берегу Уолденского озера в окрестностях Конкорда, штат Массачусетс. Эта попытка автономного существования запечатлена в его книге «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854).

632

Комениус — латинизированная форма имени чешского литерато-ра-просветителя Яна Амоса Коменского (1592–1670), считавшего, что ключом к европейской культуре является знание латыни. В поисках «естественного метода» (в противоположность старым педантическим методикам) преподавания языка он написал сочинение «Janua Linguarum», в котором посредством параллельных текстов на латыни и чешском излагались сведения о мире. Эта работа была впоследствии переведена на шестнадцать европейских языков.

633

В романе «Коллекционер» не получивший образования клерк и собиратель бабочек Фредерик Клегг похищает и заточает в своем доме студентку художественного училища Миранду Грей.

Обоих уволили. В письме к Дж. Ф. от 24 июня 1953 г. президент комитета написал: «Директор школы… рекомендует не продлевать с вами контракт на следующий год; он считает, что вы недостаточно квалифицированно исполняете свои обязанности и не участвуете в школьной жизни, как это требуется по контракту».

635

Согласно древнегреческому мифу, царь Фракии съел собственного сына Итиса после того, как его убила и подала к столу супруга царя Про-кна.

636

Прыгающие пауки.

637

Третьей супругой (фр.).

В июле 1959 г. Рой Кристи сочетался браком с Джуди Бойдел. У них родилось двое детей: Адам (1962) и Рейчел (1965).

639

Медик и естествоиспытатель сэр Мартин Листер (1639–1712) является автором монографии «Английские пауки» — первого серьезного труда в области научной классификации насекомых.

640

Приходит, побеждает (лат.).

641

Уроженец Вероны Катулл (84–54 гг. до н. э.) в юности перебрался в Рим, где стал ведущей фигурой литературного кружка так называемых неотериков (молодых поэтов). Из дошедших до нашего времени стихотворений Катулла наибольшую известность приобрели двадцать пять, повествующие о его любовном союзе с замужней женщиной, которую он именует Лесбией. В высшей степени искусные, но непосредственные, стихи эти с необыкновенной откровенностью и интенсивностью отражают всю широту любовных переживаний — от восторга до разочарования и отчаяния. Реакцией многих исследователей Викторианской эпохи и первых десятилетий XX в. на произведения Катулла было инстинктивное неприятие их открытости. Даже сравнительно недавно в выпущенном в 1961 г. издательством «Оксфорд юниверсити пресс» под редакцией Ч. Дж. Фордиса комментированном издании поэзии Катулла некоторые из его стихов опущены — ввиду их предполагаемой непристойности.

642

Блез де Лассеран-Массенком Монлюк (1502–1577) был военным, принимавшим участие во всех войнах, которые Франция вела начиная с 1521 г. и до его смерти. В 1574 г. произведен в маршалы Франции. Оставил книгу мемуаров «Commentaires», задуманную как руководство для молодых офицеров.

643

Изучив право, Мишель Эйкем Монтень (1533–1592) стал советником парламента в Бордо, а в 1571 г. удалился в свое поместье в Мон-тене в провинции Периге, где и написал «Essais» («Опыты»). Ему принадлежит и само это слово: эссе — не что иное, как assay, испытание на прочность мысли или идеи. «Опыты» являют собой попытку обрести мудрость, анализируя собственные привычки, мысли и чувства, равно как и те, что бытуют в обществе; попытку, все более неуклонно подводящую к выводу, что подобная мудрость недостижима. Недаром с 1576 г. его девизом стало «Que sais-je?» («Как знать?»). Монтеневские бескомпромиссные поиски истины стали для Дж. Ф. источником вдохновения в процессе создания дневников.

644

Главный герой романа аббата Прево (1697–1763) «Манон Леско». Охваченный безответной страстью к Манон Леско, шевалье де Грие проходит через целый ряд злоключений.

645

«Подруги» (фр.). — Фильм, поставленный Антониони в 1955 г. по сценарию Сузо Чекки д'Амико, рассказывал историю Клелии, покидающей Рим с намерением открыть в родном Турине дом моделей. Когда ее соседка по гостиничному номеру Розетта предпринимает попытку самоубийства, Клелия невольно оказывается вовлечена в круг ее знакомых — состоятельных молодых женщин. Параллельно она влюбляется в Карло — помощника архитектора, руководящего отделкой ее дома моделей. После того как Розетта, безответно влюбленная в художника Ло-ренцо, совершает вторую увенчивающуюся успехом — попытку покончить с собой, Клелия возлагает моральную ответственность за ее гибель на одну из ее бывших подруг, бессердечную и легкомысленную Момину, и возвращается в Рим, порвав с Карло.

646

Людвиг Витгенштейн (1889–1951) утверждал, что философского утверждения или философской истины, с которой согласились бы все, не существует. Задача философии заключается не в том, чтобы установить конечную истину, но в том, чтобы внести ясность в хитросплетения языка, из которых проистекает вся философская путаница. Его взгляды, изложенные в «Логико-философском трактате» (1921) и посмертно вышедших «Философских исследованиях» (1953), стали основой аналитического, лингвистического подхода к философии, преобладавшего на протяжении второй половины XX в.

647

«Приключение» фильм снят Антониони по собственному сценарию в 1960 г. с участием Моники Витти, Леа Массари и Габриэле Фер- цетти. Во время круиза на яхте на необитаемом острове таинственно исчезает Анна. Ее любовник архитектор Сандро и подруга Клаудиа разыскивают Анну сначала на острове, затем на материке. По мере того как поиски оказываются тщетными, оба начинают испытывать некое подобие непрочной любовной привязанности друг к другу.

О легенде о Тристане и Изольде см. примеч. на с. 444.

649

Лес, в котором Тристан соединился с Изольдой.

«Сладкая жизнь».

651

Фильм Федерико Феллини, выпущенный в 1960 г., повествует о тщетных поисках смысла существования журналистом Марчелло Руби-ни (Марчелло Мастроянни), соблазняемым блеском жизни тех знаменитостей, которых он описывает, и препятствиях на пути к осуществлению его мечты стать серьезным писателем. Стремясь написать роман, он прощается с римской «сладкой жизнью» и удаляется на побережье. Там он встречает девочку-подростка Паолу, чья невинность контрастирует с изощренностью фотомоделей, кинозвезд и красавиц из высшего света; однако вскоре сила привычки возвращает его в этот поверхностный мир. // В финале фильма он после пьяной оргии оказывается на пляже. На расстоянии он видит Паолу — этот символ чистоты, зовущий его к себе, но не может расслышать ее голоса, перекрываемого рокотом волн. Помахав ей рукой, он отворачивается и возвращается на вечеринку.

Массового (фр.).

Тотс — тетя Дороти, сестра отца Дж. Ф.

Зд.: почтения к родителям (фр.).

655

Отсылка к сатирическому роману Найджела Денниса (1912–1989) «Удостоверения личности» (1955), годом позже инсценированного и поставленного на сцене театра «Ройял корт». На заседании тайного общества, носящего название «Клуб выдающихся личностей», проводимом в загородном поместье, один из членов общества зачитывает доклад о культе барсучьего племени, озаглавленный «Дело об опекунстве над барсуками».

Сосед семьи Фаулз, чуть старше годами, чем Дж. Ф.

То есть дядя Стенли.

658

Децим Юний Ювенал (60—136) — друг и современник Марциала. Его шестнадцать сатир, воплощающие точку зрения непримиримого стоика, бичуют пороки, нищету и убожество Рима эпохи упадка.

«Люблю и ненавижу» (лат.).

660

Баллингдонский клуб — снискавший известность принадлежностью своих членов к высшим кругам общества и шумными обедами клуб студентов выпускного курса Оксфордского университета. В сатирическом свете выведен Ивлином Во в романе «Упадок и крах» под названием Боллинджер-клуба.

661

Отсутствующий творец (лат.).

662

Во время Второй мировой войны Элизабет служила в Женском вспомогательном корпусе Военно-воздушных сил.

663

Мысль правит стилем (фр.).

Изначально Великобритания отказалась присоединиться к Европейскому экономическому сообществу, однако к 1962 г. финансовые выгоды членства в нем начали становиться все более очевидными и британское правительство решило возобновить переговоры о вступлении в ЕЭС. Спустя год заявка на вступление Британии в эту международную организацию была отвергнута президентом Франции де Голлем на том основании, что страна находится в слишком тесной связи с Соединенными Штатами.

665

В фильме, снятом в 1960 г., главные действующие лица, роль которых исполняют Марчелло Мастроянни и Жанна Моро, — супружеская пара, на протяжении одного дня и последующей затянувшейся за полночь вечеринки обнаруживающая, что их любви друг к другу пришел конец.

666

20 февраля 1962 г. подполковник Джон Гленн стал вторым американцем, вышедшим в космическое пространство, и первым, вышедшим на околоземную орбиту, когда его космический аппарат «Френдшип-7»

667

Мой отец умер (фр.).

Я знала, что он умрет (фр.).

669

Вы милы, вы очень любезны (фр.).

Ностальгия по самому себе (фр.).

671

Великая определенность, в общем-то она и есть забвение (фр.).

В 1959 г. романист Ч.П. Сноу прочел в Кембридже лекцию под названием «Две культуры и научная революция», в которой постулировал, что в культурной жизни Англии налицо раздвоение между двумя сегментами: научным и гуманитарным; при этом решительное предпочтение он отдавал первому. Спустя три года выдающийся литературный критик Ф.Р. Ливис призвал его к ответу в собственной лекции, прочитанной в том же Кембридже. В статье «Значение Ч.П. Сноу», опубликованной «Спектейтором» 8 марта 1962 г., он подверг сокрушительной критике как материалистический взгляд Ч.П. Сноу на будущее, так и его место в литературе как романиста. «Было бы нелепо, — писал Ф.Р. Ливис, — считать его способным всерьез размышлять над проблемами, решение которых он предлагает миру». Он замечал также: «У Шоу отсутствуют не только зачатки дарования романиста; он лишен даже проблесков того, что называется творчеством и что придает значимость литературе».

673

Неделю спустя после публикации статьи Ф.Р. Ливиса «Спектей-тор» опубликовал семнадцать читательских писем, авторы которых единодушно защищали Ч.П. Сноу и оспаривали точку зрения Ф.Р. Ливиса.

См. примеч. на с. 388.

675

Элизабет Мейвор (р. 1927) — автор нескольких романов и биографий, таких как «Лето в оранжерее» (1959), «Храм Флоры» (1961), «Девственная любовница: биография герцогини Кингстонской» (1964), «Дамы Ланголлена: романтическая дружба» (1971) и номинированное на премию Букер «Зеленое равноденствие» (1973).

676

Алан Уоттс (1915 1973) родился в Англии, в 1938 г. переехал в США, где снискал себе репутацию самого авторитетного из интерпретаторов восточных философских учений в западном мире. Его двухтомная работа «Путь Дзэн», вышедшая в 1957 г., является классическим введением в мироучение дзэн-буддизма. В первом томе излагаются обстоятельство и история его становления; второй посвящен трактовке его принципиальных положений, главные из которых — сколь важно жить текущим моментом, принимать как должное быстротечность бытия и сознавать взаимосвязанность всего сущего.

677

Уже виденное (фр.).

Данная проблема подверглась широкому обсуждению, поскольку месяцем раньше Британия провела свое первое подземное ядерное испытание в Неваде.

Так называемых (фр.).

680

Слово индуистского происхождения из лексикона дзэн, означающее переживаемую иллюзию.

681

В «Максимах» Франсуа Ларошфуко (1613–1680) утверждает, что под явно добродетельными поступками или бескорыстными чувствами обычно таятся эгоистические мотивы.

Дж. Ф. и Элизабет пробыли там с 24 но 29 апреля.

683

Джеймс Кинросс был представителем агентства «Энтони шейл ли-митед». Обратиться к нему Дж. Ф. рекомендовала его машинистка миссис Ширли.

684

Эдвард Бульвер-Литтон (1803–1873) — чрезвычайно популярный писатель Викторианской эпохи, в чьем обширном творческом активе множество исторических романов, научно-фантастических произведений и оккультных историй.

685

Ричард Уиттон. Псевдоним сложился из сочетания девичьих фамилий матери и жены Дж. Ф.: Ричардс и Уиттон.

686

Имевшая необыкновенную популярность у аудитории комедийная передача Би-би-си, выходившая в 1940-е гг. «ООЗ» — аббревиатура ее полного названия («Опять он здесь»).

Имеются в виду «Поездка в Афины» и «Остров и Греция», где рассказывалось о первом годе преподавания Дж. Ф. на Спеце и путешествии по Греции. В основе третьей книги, написанной зимой 1953 г., — любовная связь, возникшая после появления на острове Роя и Элизабет Кристи. Название «Остров и Греция» тогда объединило все три книги.

688

«Виктория армз» — популярный паб на берегу реки Черуэлл.

689

Элизабет Мейвор, супруга Хейро Ходсона.

690

Незадолго до этого издательство «Джонатан Кейп» опубликовало сборник рассказов Лаури «Услышь нас, Боже, с горней высоты», рецензию на который опубликовал в газете «Обсервер» Филип Тойнби (1916–1981).

691

К этому времени кинорежиссер Карел Реши (1926–2002) приобрел широкую известность своей экранной версией романа Алана Силлитоу «В субботу вечером, в воскресенье утром».

692

Имеется в виду преступление, в ходе которого мужчина похитил Девушку и на протяжении нескольких недель удерживал ее в бомбоубежище, находившемся на территории принадлежавшего ему сада.

693

В опере Белы Бартока «Замок Синей Бороды» (1911) герцог Синяя Борода предупреждает свою новоиспеченную невесту Юдифь не открывать ни одну из семи дверей в своем замке. Однако, влекомая любопытством, она все-таки нарушает запрет и убеждается сначала в существовании камеры пыток, а затем и других мрачных сторон его прошлого. И в конце концов, открывая последнюю дверь, сталкивается с призраками былых жен своего избранника.

Прогулку (ит.).

695

По-милански (ит.).

696

Дж. Ф. размышляет о первом романе Генри Джеймса «Родрик Хадсон», повествующем об американском живописце, направляющемся в Рим со своим богатым покровителем. Там он влюбляется в ослепительную красавицу Кристину Лайт, по настоянию своей семьи выходящую замуж за князя Казамассиму.

697

Средневековый городок на холмах в пятидесяти километрах от Рима. Прямо на выезде из него находятся развалины виллы Горация.

698

Имеется в виду Гилберт Хайгет (1906–1978), в чьей книге «Поэты на лоне природы» (1957) рассказывается о паломничестве автора по местам, связанным с жизнью и творчеством семи римских поэтов.

699

Гораций. Сатиры, 2:6 (пер. М. Дмитриева).

О, когда ж я увижу поля! (лат.)

701

Умывальня (лат.).

702

Годной для питья, но ледяной (лат.).

703

В одной из своих од (3:13) Гораций воспевает «источник Бандузии», возможно, находившийся в его сабинском поместье, и упоминает saxis cavis — окружавшие его полые камни.

704

Западный ветер, в полуденные часы поднимающийся с Тирренского моря и приносящий в город прохладу

705

Огромный, напоминающий храм ансамбль на нижних склонах Капитолийского холма, получивший известность как Altare della Patria — Алтарь отечества (um.), был открыт в 1911 г. в ознаменование объединения Италии; обычно считается одним из самых уродливых памятников в городе.

706

Немой ужас (лат.).

707

Обширный комплекс из примерно тридцати строений, расположенный на склоне холма на выезде из Тиволи, в двадцати восьми километрах от Рима, был любимой резиденцией императора Адриана.

Золотом доме (лат.).

709

Отсылка к еще одному из строений виллы Адриана — храму Сера-писа, расположенному за озером Канопус и колоннадой.

Не прикасайся ко мне (лат.).

711

Огромный полуразрушенный архитектурный комплекс, построенный императором Каракаллой (188–217 гг.), вмещавший до полутора тысяч купальщиков.

Могущество театральной иллюзии (фр.).

713

«Священная пещера», в которой обитал отшельником св. Бенедикт до того, как основал несколько монастырей в Субиако и его окрестностях. Затем он перебрался в Моите-Кассино близ Неаполя, где и создал свой знаменитый Монастырский устав.

714

Имя автора — Дэвид Джон Пейн; книга вышла в том же году в США в издательстве «Голд медал букс».

715

Главный герой романа Жан-Поля Сартра «Тошнота» Антуан Ро-кантен воспринимает окружающих людей и предметы всего лишь как фасад, за которым прячется бессмысленность существования.

716

Тем хуже (фр.).

717

Как и следовало ожидать *(фр.)*.

Он хотел как лучше (фр.).

719

Проныра (фр.).

720

Начиная с романа «Из России с любовью» (1957), Ричард Чоппинг оформлял суперобложки всех изданий романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде в твердом переплете, за исключением четырех.

721

24 октября началась блокада Кубы вооруженными силами США, вызванная обнаружением на острове советских ракет с ядерными боеголовками. Все время, пока суда СССР двигались в направлении зоны карантина, объявленной советским правительством незаконной, мир находился под угрозой возможного ядерного конфликта.

Такое название было у исправленной и переименованной рукописи «Поездка в Афины».

723

Наивность (фр.).

Рисунок в технике обманки *(фр.)*.

725

Хвастливого воина (лат.).

726

В ходе Карибского кризиса философ и сторонник мира Бертран Рассел направил телеграмму лидеру Советского Союза Никите Хрущеву с призывом не поддаваться на провокацию Соединенных Штатов, установивших «неправомерную» морскую блокаду. Уступку Советского Союза Хрущев облек в форму публичного ответа на послание Бертрана Рассела.

Имеется в виду Кристофер Вудхаус, в то время — член парламента от Оксфорда (от партии консерваторов) и заместитель министра внутренних дел.

«Остров Святых» (Артур Бейкер, 1962).

729

Джон Кон и Джад Кинберг — американские сценаристы и продюсеры, владевшие в Лондоне кинокомпанией «Блейзер филмз».

Отец Дж. Ф. — без сомнения, думая о «Буре», в которой Миранда и Фердинанд встречаются на острове Просперо, — имеет в виду Фредерика Клегга, «коллекционера», похищающего студентку художественного училища Миранду Грей.

731

«Парень-художник» — духовный учитель Миранды Джордж Пас-тон. Следуя его совету вести аскетичный, преданный искусству образ жизни, Миранда порывает отношения со своей теткой, не умеющей разбираться в живописи, — поступок, отчасти напоминающий то неприятие, какое в реальной жизни испытывал Дж. Ф. по отношению к своей матери.

В первые двадцать лет жизни у Монтеня не было постоянного источника доходов, и он зависел от помощи друзей. Его денежные траты были случайными, что делало их еще более приятными; со временем Монтень обнаружил, что его друзья щедро субсидируют его, потому что он всегда добросовестно отдает долги. Вторую стадию ознаменовало появление денег. Он откладывал накопленное, пытаясь застраховать себя от любой непредвиденной ситуации, однако неизменно оказывалось, что на все случаи, какие он пытался предусмотреть, денег все-таки не хватает. В итоге Монтень обнаружил, что чем больше он откладывает, тем больше его терзают сомнения по поводу собственного будущего. Третьей стадией стало решение найти верное соотношение доходов и расходов. Осознав, что ему никогда не удастся скопить достаточно, чтобы обезопасить себя от всех прихотей судьбы, он удовлетворился количеством, необходимым для покрытия текущих нужд.

733

Литератор (фр.).

«Ночной страж» (фр.).

«Черепки» (лат.).

736

Фильм-экранизация романа Джона Рея «Яичные ребята» рассказывает о группе шовинистически настроенных подростков, кончающих школу в период Второй мировой войны. Играя в грубые военные игры, они исподволь мечтают попасть на фронт прежде, чем закончатся военные действия. Один из них заводит дружбу со сверстником — беженцем; еврейского происхождения, которого окружающие подвергают остракизму.

Вместе со своей компаньонкой Харрисон тетя Дороти содержала Дом для престарелых в Уэстклифф-он-Си.

738

«Эта спортивная жизнь», снятая Линдсеем Андерсоном по мотивам романа Дэвида Стори с участием Ричарда Харриса в роли Артура Мейчина, рассказывает о профессиональном игроке в регби, влюбляющемся в свою овдовевшую домовладелицу

739

В фильме «Жить своей жизнью» запечатлен один день из жизни проститутки. Дж. Ф. ошибочно приписывает его авторство Франсуа Трюффо. В действительности фильм снят Жаном Люком Годаром.

Новой волны (фр.).

741

Не важно (фр.)-

742

«Письма и литературные реликвии» Эдварда Фицджеральда, прославившегося своими переводами из Омара Хайама.

743

«С Лоуренсом Аравийским» (1924) Лоуэлла Томаса (1892–1981) — американского журналиста, встречавшегося с Т.Э. Лоуренсом в Иерусалиме в 1917 г. Именно он своими репортажами с Ближнего Востока и лекциями послевоенного периода заложил фундамент легенды о подвигах Т.Э. Лоуренса; ему же принадлежала мысль наградить своего героя эпитетом «Аравийский».

744

«Барбеллион» — псевдоним Брюса Фредерика Каммингса (1889–1919), создателя двухтомного «Дневника», запечатлевшего длительную борьбу с недугом, диагностированным медиками как «рассеянный склероз».

Дж. Ф. имеет в виду Д.Г. Лоуренса и Ричарда Джеффриса (1848–1887), создателя ряда книг, действие которых развертывается в сельской местности. Наиболее известная из них — роман для детей «Бивис. История мальчика», выросший из воспоминаний автора, проведшего детские 1 оды в сельском Уилтшире. Бивис живет на ферме и играет со своим дру-гом Марком, воображая, что вокруг лежат не луга, а джунгли и пустыни.

746

Борис Христов (1914–1993) — популярный в те годы болгарский оперный исполнитель.

Принцессы Грезы (фр.).

748

Христианский философ Сёрен Кьеркегор (1813–1855) считал, что решению принять христианство обязательно предшествует ощущение страха.

749

См. Введение, с. 12.

В отмеченной сдержанно-похвальной тональностью рецензии Саймон Рейвен писал: «У этой книги два достоинства. Во-первых, она содержит интригующее исследование извращенной сексуальности… Во-вторых, развитие событий в ней отмечено мастерски нарастающим напряжением… Еще более располагает к этой книге вполне правдоподобный финал».

751

Это название Дж. Ф. присвоил вилле своего персонажа Кончиса. Ее архитектура выстроена по образцу виллы Джасмелии, на которой он нередко бывал в период преподавательской работы на острове Спеце. См. примеч. 2 на с. 347.

752

Садбери — небольшой торговый городок на реке Стаур в Суффолке. Чтобы доехать до него, Дж. Ф. и Элизабет пришлось сесть в Лондоне на поезд до Маркс-Тей. Глемсфорд — небольшая суффолкская деревушка, расположенная к северо-западу от Садбери; она разместилась на холме с видом на реку Стаур.

753

Еще две деревушки в окрестностях Садбери в Южном Суффолке.

754

Музей Гейнсборо был открыт в 1961 г. в Садбери, в доме, где родился Томас Гейнсборо (1727–1788).

755

Потомок американцев, родившийся в Аргентине, Уильям Генри Хадсон (1841–1922) в 1874 г. переселился в Англию, где издал несколько романов и книг о природе. Главный герой «Зеленых угодий» (1904) Абел, спасаясь от преследований в Венесуэле, скрывается в сельве, где влюбляется в «дочь джунглей» Риму. Роман заканчивается тем, что Риму пленяют и сжигают на костре индейцы.

756

Ничто (фр.).

757

Имеется в виду Мэри Уэлш (1908–1986) — четвертая и последняя жена Эрнеста Хемингуэя; они сочетались браком в 1946 г.

758

Джон Уайтинг (1917–1963) положил в основу своей пьесы книгу Олдоса Хаксли «Бесы Лудена», описывавшую реальный случай одержимости дьяволом во Франции в XVII в. Премьера пьесы состоялась в театре «Олдуич» в 1961 г.

759

В романе «Повелитель мух» (1954) за Ральфом начинается охота, как только терпит крах его попытка объединить сверстников по школе в подобие цивилизованного сообщества на острове, где они оказались в результате воздушной катастрофы; в итоге его спасает от гибели появление военного судна.

Блестящий образец (фр.).

761

Герой-повествователь романа «Воришка Мартин» (1956) — офицер британского флота, в результате кораблекрушения выброшенный на скалистое побережье посреди Атлантического океана. Лихорадочно пытаясь выжить, он вспоминает подробности своей былой жизни.

Настороже (фр.).

Скандал с лордом Профьюмо не сходил с газетных полос с марта месяца, когда министр обороны Великобритании опроверг в парламенте слухи о своих «неподобающих» отношениях с Кристиной Килер. В июне Профьюмо признал, что ввел парламент в заблуждение, и подал в отставку. В августе того же года популярный в высшем свете врач Стивен Уорд, некогда познакомивший министра с Кристиной Килер в поместье лорда Астора в Кливдене, покончил самоубийством, будучи привлечен к судебной ответственности за то, что жил на средства, добытые безнравственным путем.

764

Имеется в виду Алине Сааринен (1914–1972), выдающаяся исследовательница искусства и архитектуры, вдова финского архитектора Ээро Сааринена (1910–1961).

765

В пьесе Эдварда Олби, премьера которой состоялась на Бродвее 13 октября 1963 г., Джордж и Марта — супруги, напивающиеся за полночь в компании припозднившихся гостей-коллег Ника и Хани, — играют в жестокие игры, обвиняя друг друга во всевозможных слабостях и пороках.

766

Ставшая в 1934 г. в возрасте десяти лет наследницей огромного состояния рода Вандербилтов, она получила прозвище «бедной богатой девочки» после того, как ее делу об опекунстве над нею.

767

Нью-йоркский аэропорт, построенный на одноименном поле для игры в гольф; в скором времени его переименуют в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди.

Заимствованными мыслями (фр.).

769

Габриэл Филдинг — литературный псевдоним поэта и романиста Алана Барнсли (1916–1986), годом раньше удостоенного премии У. Х. Смита за роман «Король дня рождения».

770

Томас Хайнд и Сьюзен Читти — псевдонимы сэра Томаса Уиллза и Сьюзен Глоссоп.

771

Бейли в одно время с Дж. Ф. работал в Нью-Колледже, преподавая английский язык. В действительности поездка в Экс имела место в 1948 г. См. Введение, с. И.

Постельный союз (фр.).

773

Вольф Манкович (1924–1998) получил известность как романист, журналист и драматург, но на протяжении длительного времени был и очень популярным сценаристом.

Натаниэл Тарн родился в Париже в 1928 г. Вплоть до начала Второй мировой войны, вынудившей его семью эмигрировать в Англию, жил в Бельгии.

775

Пол Скофилд и Диана Ригг (последняя — в роли Корделии) сыграли главные роли в постановке «Короля Лира» на сцене театра «Олдуич», осуществленной Питером Бруком в 1962 г.

776

Интрига в стиле Мариво (фр.). Роман, написанный Айрис Мердок в 1961 г. и годом позже инсценированный Дж. Б. Пристли, в сатирическом свете отображает мораль среднего класса. Импортер вин Мартин Линч-Гиббон длительное время состоит в связи с молодой женщиной из академических кругов, однако его шокирует, что с ним намеревается развестись его собственная жена, затеявшая роман со своим психоаналитиком.

777

Айрис Мердок преподавала философию в колледже Св. Анны в Оксфорде.

778

Голливудский кинорежиссер Уильям Уайлер (1902–1981), удостоенный премии «Оскар» за фильмы «Миссис Минивер» (1942), «Лучшие годы нашей жизни» (1946) и «Бен-Гур» (1959), в недалеком будущем окажется постановщиком экранной версии «Коллекционера».

779

Луи Жуве (1887–1951) — выдающийся французский актер и театральный деятель.

«Это публика должна разрыдаться. Не вы» (фр.).

781

Кеннеди был убит в половине первого 22 ноября. Позднее в тот же день был задержан его предполагаемый убийца Ли Харви Освальд; спустя два дня, находясь под арестом, он был застрелен Джеком Руби.

782

В романе Алена-Фурнье, написанном в 1913 г., семнадцатилетний Огюстен Мольн оказывается в таинственном «затерянном королевстве», где влюбляется в красавицу Ивонн де Гале. Но, однажды покинув этот зачарованный край, он оказывается не в силах заново обрести свой утраченный рай, хотя и ищет его всю оставшуюся жизнь.

783

Роберт Пэрриш (1916–1995) — голливудский монтажер, ставший впоследствии кинорежиссером и в 1960-е гг. по большей части работавший в Британии.

Патерсон (р. 1915 г.) приобрел широкую известность, написав сценарий фильма «Мансарда» (1959), за который был удостоен премии Американской киноакадемии.

785

Томас Х. Джонсон. Эмили Дикинсон: аналитическая биография. (Кембридж, Массачусетс, Белнап пресс, 1955); Ричард Чейз. Эмили Дикинсон (Метьюэн, 1952).

Безвкусными (фр.).

Церемония в опочивальне короля (фр.).

788

До того как принять британское подданство, принц Филип носил династический титул Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксбург.

789

Через упорный труд — в глубины! (лат.)

790

Зима 1963 г. выдалась одной из самых холодных на памяти нынешнего поколения Великобритании.

791

Джулиан Бах был литературным агентом Дж. Ф. в США.

Вечное движение (лат.).

«Большой Мольн» (фр.).

«Красное и черное» (фр.).

795

Бездарность (идиш).

С Самантой Эггар был перезаключен контракт. Ее роль в «Коллекционере» принесла ей как лучшей актрисе награду «Золотой глобус» и приз Каннского кинофестиваля, а также номинацию на «Оскар».

797

Сестра Дж. Ф. Хейзел готовилась выйти замуж за преподавателя Дэниэла О’Салливана.

Как подобает (фр.).

799

Как подобало (фр.).

800

Астарта — богиня любви у финикийцев.

801

Квартал многоэтажных домов.

802

Дж. Ф. подрядился написать путевой очерк об этой стране для американского журнала «Венчур».

803

Коренящиеся в истории (*нем.*).

804

Тревога (нем.).

805

Деревушка в Гэмпшире на реке Тест, в семи милях на запад от Уинчестера.

806

Рыночный городок в Северном Дорсете, построенный на холме высотой 750 футов над уровнем моря, «Шестой», в котором происходит действие романов Томаса Гарди.

807

Старого режима (фр.).

808

Этой каменной статуей, воздвигнутой на холме высотой 770 футов, увековечена память не поэта и романиста Томаса Гарди, а вице-адмирала сэра Томаса Мастермана Гарди (1769–1839), в момент битвы при Трафальгаре служившего на борту корабля флота его величества «Виктория». Памятник находится в пяти милях на юго-запад от Дорчестера и в миле к северу от деревни Портшем, графство Дорсет, где будущий адмирал Гарди жил с девяти лет.

809

Расположенный на вершине хребта круг построен около четырех тысяч лет назад и сложен из восемнадцати плит.

810

Кокс выпустил серию брошюр о разных сторонах биографии Гарди в рамках издательства «Тьюкан пресс».

811

В монографии «Трифена и Томас Гарди», выпущенной издательством «Тьюкан пресс» в 1962 году, Лоис Дикон утверждает, что в свое время Гарди был помолвлен со своей двоюродной сестрой Трифенои Спаркс. В более поздней работе «Провидение и м-р Гарди» (Хатчинсон, 1966) исследовательница заявляет, что у них был внебрачный ребенок.

812

Гарди женился на Эмме Гиффорд в 1874 году. Через два года после ее кончины в 1912 году он сочетался браком с Флоренс Дагдейл.

813

Город в двух милях к востоку от Лайм-Риджиса по побережью.

814

Деревушка в окрестностях Дорчестера, где родился Гарди.

815

Замок Корф построен в XI в. из местного пербекского камня на месте деревянной постройки IX в.

816

С 1923 года вплоть до своей гибели в 1935 г. Томас Эдвард Лоуренс жил на Клаудс-Хилл, в окрестностях деревни Бовингтон.

817

Маленький рыночный городок на реке Кеннет в Северном Уилтшире.

818

15 октября 1964 г. состоялись всеобщие выборы. Победу с перевесом в четыре места в парламенте одержали лейбористы, положив конец тринадцатилетнему периоду правления консервативной партии.

819

Организация, основанная Арнольдом Уэскером в 1962 году с целью сделать искусство доступным рабочему люду.

820

Второй из пяти романов Роберта Шоу, «Солнечный доктор» был удостоен премии Хоторндена за 1962 год. Шоу (1927–1978) получил также широкую известность как киноактер.

821

Поэт крестьянского происхождения, Джон Клэр (1793–1861) трудился работником на ферме. Он писал стихи, восславлявшие природу, скорбя об исчезновении первозданных красот сельской Англии, в ходе Промышленной революции все более теснимых огораживанием, строительством дренажных сооружений и новых дорог. Все острее переживая чувство отторжения от окружающего мира, страдая от учащавшихся приступов депрессии, в 1837 году он был объявлен душевнобольным и почти весь остаток жизни провел в стенах психиатрической лечебницы. Дж. Ф. отмечает его «поразительную близость к природе» и считает, что Джон Клэр — «гораздо более важная фигура на горизонте поэзии, нежели Шелли».

822

Наших дней (фр.).

823

Спортивного вида муж (фр.).

824

Общение проживающих (фр.).

825

Янтарная солнечная пелена (фр.).

Террасой (фр.).

827

Пляжем (фр.).

828

Членам жюри необходимо объяснить, что… (фр.)

829

Госпоже.

830

Автор (фр.).

831

Оссейн (р. 1927), получивший известность как актер и режиссер в театре «Гран-Гиньоль» на Монмартре, дебютировал в кино в качестве режиссера в 1955 году; кроме того, он сыграл (обычно — роли злодеев) в целом ряде криминальных фильмов. К моменту знакомства с Дж. Ф. он находился на гребне коммерческого успеха костюмной исторической ленты «Анжелика — маркиза ангелов» (за ней последовало несколько продолжений), где исполнял роль возлюбленного главной героини графа де Пейрака.

832

Деревушка на Ривьере на полпути от Канна к Сен-Тропе.

833

Пляж в Сен-Тропе.

Буйабез (фр.).

835

Из Лазурного Берега в Золотую Клоаку.

836

Сладкую жизнь (ит.).

837

Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (1675–1755), нарисовал в своих «Мемуарах» яркую и живую картину придворной жизни в последние годы царствования Людовика XIV.

838

Недодуманные мысли (фр.).

«Банальности» (лат.).

Политической жизнью (фр.).

841

Праздности (фр.).

842

Рабочее название этого неосуществленного замысла — «Лис». Роман должен был стать повествованием о выходце из английской аристократии, принимающемся истреблять людей из среднего и низшего классов.

843

Луговой кустарник без шипов.

844

Черно-белая бабочка с приметной окраской.

845

Полоса земли в Западном Сомерсете, окружающая холмы Мендип и Куанток.

846

В действительности корабль флота его величества «Гуд» был потоплен «Бисмарком» в 1941 году, от гибели спаслись трое находившихся на его борту моряков.

847

Джейн Ричардс — двоюродная сестра Дж. Ф., по стечению обстоятельств проживавшая в Лайме.

848

Вирджил Помфрет — агент художников. В числе других представлял интересы Тома Адамса.

849

Потемкинская деревня, сооруженная в Версале по инициативе Марии Антуанетты.

850

Размещавшийся на верхнем этаже театра «Принц Чарлз» на Лес-тер-плейс клуб «Ад Либ», излюбленное место выступлений группы «Битлз», был одним из самых популярных увеселительных заведений «свингующего» Лондона.

851

Деревушка в двух милях на юго-запад от Фолмаута.

852

Бунтарь (фр.).

853

Речью в защиту своего образа жизни (лат.).

854

Полуостров, мыс которого является самой южной точкой Великобритании.

855

Бухта к западу от Лайм-Риджиса на небольшом расстоянии от Андерхилл-фарм.

«Распутник» — второе название романа «Лис».

857

Имеется в виду поэт Роберт Фрост (1874–1963).

Скорбящей Богоматери (лат.).